

Р. ГАЙМЪ.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ ФОНЪ-ГУМБОЛЬДЪ

ОПИСАНІЕ ЕГО ЖИЗНИ
И ХАРАКТЕРИСТИКА.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО.

Издание К. М. Солдатенкова

Р. Гайм

**ВИЛЬГЕЛЬМ
фон
ГУМБОЛЬДТ**

**ОПИСАНИЕ ЕГО ЖИЗНИ
И ХАРАКТЕРИСТИКА**

Перевод с немецкого

Издание второе



УРСС

МОСКВА

Гайм Рудольф

Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика: Пер. с нем. Изд. 2-е. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 544 с.

ISBN 5-354-00992-8

Вниманию читателя предлагается книга крупного немецкого историка и методолога литературы Рудольфа Гайма. Книга посвящена жизни, деятельности и творчеству выдающегося немецкого философа и лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта.

Автор подробно рассказывает о событиях и людях, оказавших влияние на формирование жизненных воззрений Гумбольдта. Занятие древними языками и переводы с греческого, путешествия в Испанию и Италию, государственная и дипломатическая служба — об этом первые три части книги. Четвертая часть называется «Вдали от света»; ее первая половина представляет собой анализ научного метода Гумбольдта-лингвиста, его взглядов на язык и языкознание. Р. Гайм завершает книгу рассказом о Гумбольдте «вне возраста» и вне времени.

Увлекательно написанная, эта книга будет интересна историкам науки, философам и филологам, государственным деятелям и дипломатам.

Издательство «Едиториал УРСС». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.

Лицензия ИД № 05175 от 25.06.2001 г. Подписано к печати 05.10.2004 г.

Формат 60×90/16. Тираж 500 экз. Печ. л. 34. Зак. № 2-1571/741.


Отпечатано в типографии ООО «РОХОС». 117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.

ISBN 5-354-00992-8

© Едиториал УРСС, 2004

ИЗДАТЕЛЬСТВО **УРСС**
НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

E-mail: URSS@URSS.ru
Каталог изданий
в Internet: <http://URSS.ru>
Тел./факс: 7 (095) 135-42-18
Тел./факс: 7 (095) 135-42-46



2870 ID 24616



9 785354 009923 >

ОГЛАВЛЕНІЕ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Юность и самый ранній періодъ развитія (1767—1792).

ГЛАВА ПЕРВАЯ. До вступленія на государственную службу (1767—1790).

Стр.

Характеристика эпохи. — Семья и первоначальное воспитаніе. — Первая литературная работа. — Вліяніе женщинъ. — Вступленіе въ университетъ. — Франкфуртъ. — Геттингенъ. — Экскурси изъ Геттингена. — Антипросвѣтительные кружки. — Отношеніе къ Якоби. — Отношеніе къ Форстеру. — Путешествіе въ Парижъ. — Въ Швейцаріи. — Встрѣча съ Лафатеромъ

1

ГЛАВА ВТОРАЯ. Государственная служба и досугъ. (1790—1792).

Возвращеніе въ Берлинъ. — Вступленіе на государственную службу. — Верховный судъ и процессъ Унгера. — Эпикурейское направленіе эпохи. — Жизневозрѣвіе Гумбольдта; различіе между нимъ и Форстеромъ. — Женижба и оставленіе государственной службы. — Бругъ Дольберга. — Идеи о государственномъ устройствѣ. — Смытъ «О границахъ дѣятельности государства». — Основная тенденція этого сочиненія въ связи съ политическимъ характеромъ эпохи. — Отношеніе къ Кантовской философіи. — Отголоски классической древности. — Ходъ мыслей Гумбольдтовскаго изслѣдованія. — Цѣнность и справедливость преподаваемой въ немъ политической теоріи. — Глава о религіи. — Экскурси въ область эстетики. — Историко-философскія положенія. — Взглядъ на прошлое и будущее Гумбольдта

26

КНИГА ВТОРАЯ.

Дальнѣйшая работа надъ саморазвитіемъ. (1792—1808).

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Изученіе древности. (1792—1794).

Стр.

Новая эпоха въ филологіи.—Гейне (Неупе) и Ф. А. Вольфъ.— Знакомство съ Вольфомъ.— Взглядъ Гумбольдта на изученіе греческой древности.— Объѣздъ мыслей по этому предмету съ Вольфомъ.— Этюдъ о грекахъ.— Обратное воздѣйствіе на Вольфа.— Программа филологическихъ занятій Гумбольдта и его литературные планы.— Духъ и методъ этихъ занятій.— Личное отношеніе къ Вольфу и переписка съ нимъ.— Квѣтистическое вліяніе на него его занятій древностью.

59

ГЛАВА ВТОРАЯ. Философія и эстетика. (1794—1797).

Знакомство съ Шиллеромъ.— Шиллеровскія изслѣдованія по эстетикѣ.— Вліяніе на Гумбольдта.— Переселеніе въ Іену.— Шиллеръ и планъ изданія «Ноген».— Внутреннее отношеніе между Шиллеромъ и Гумбольдтомъ.— Родство и различіе между ними.— Ихъ бсѣды.— Вліяніе на Гумбольдта.— Рецензія на «Вольдемара» Якоби.— Критическій характеръ и философское содержаніе рецензіи.— Статья въ «Ноген» о различіи между полями.— Отношеніе къ натурфилософіи.— Ходъ мыслей и стилистическій характеръ статьи.— О мужской и женской формѣ.— Стилъ, методъ и содержаніе статьи.

74

Отъ Іены до Берлина.— Духовная атмосфера столицы.— Рахиль.— Гептцъ.— Вліяніе на Гумбольдта берлинской жизни.— Переписка съ Шиллеромъ.— Критическое участіе въ работахъ Шиллера.— Характеръ Гумбольдтовской и Кернеровской критики.— Сужденіе Гумбольдта о повѣстической индивидуальности Шиллера.— Односторонность этого сужденія.— О призваніи Шиллера какъ драматурга.— Сравненіе Шиллера съ греками.— Непрерывныя занятія древностью.— Соединеніе эстетическаго интереса съ филологическимъ.— Связанные съ этимъ литературные планы.— Планъ характеристики греческаго духа.— Планъ характеристики современной эпохи.— Судьба всѣхъ этихъ плановъ

101

Вторичное пребываніе въ Іепѣ.— Отношеніе къ Гёте.— Оцѣнка гётевскихъ работъ.— Участіе въ созданіи «Германа и До-

ротек». — Статья о «Германъ и Доротея». — Основные воззрѣнія этой статьи. — Преподанная въ ней эстетическая теорія. — Отношеніе къ Гегелевской эстетикѣ. — Зависимости отъ Канта и дальнѣйшее развитіе Кантовскихъ идей. — Отношеніе къ Шиллеровскій эстетикѣ. — Сравнительная оцѣнка поэзіи Шиллера и Гёте. — Формальные качества статьи. — Гумбольдтъ и А. В. Шлегель. — Отисненіе къ эстетической критикѣ романтической школы 121

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Путешествія (1797—1802).

Планы путешествій. — Поѣздка въ сѣверную Германію. — Смерть матери Гумбольдта. — Вліяніе его путевыхъ плановъ на планы научныхъ занятій. — Приготовленія къ большому путешествію. — Дрезденъ. — Сношенія съ Кёрнеромъ. — Вѣна. — Измѣненіе первоначальнаго плана путешествія. — Парижъ. — Жизнь и интересы въ Парижѣ. — Наблюденіе міра съ эстетико-антропологической точки зрѣнія. — Французскій театръ. — Статья о немъ. — Физіономика. — Статья о «Musée des petits Augustins». — Путевыя впечатлѣнія и занятія. — Путешествіе въ Испанію. — Цѣль и методъ путешествія вообще. — «Путевыя очерки изъ Бискайнъ». — Описаніе Монсеррата. — Идея поэтической космогоніи. — Стихотвореніе въ Сьерра Морна. — Значеніе путешествія для его развитія. — Начало лингвистическихъ занятій. — Языкъ басковъ — Возвращеніе въ Германію. — Пробываніе въ Берлинѣ 143

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Италія (1802—1808).

Потребность въ урегулированной дѣятельности. — Назначеніе резидентомъ въ Римъ. — Прибытіе въ Римъ. — Характеръ римскаго поста. — Отношеніе Гумбольдта къ своей миссіи. — Значеніе его пребыванія въ Римѣ. — Завершеніе самообразованія. — Воспоминанія о родняхъ. — Смерть Шиллера. — Личныя и общественныя связи. — Семейныя дѣла. — Смерть сына. — Общее впечатлѣніе отъ Рима. — Римъ — воплощеніе древняго міра. — Римъ — средоточіе древняго и новаго міра. — Римъ — зеркало всемірной исторіи. — Римъ — всецѣло идеальное мѣсто. — Цѣнность и основательность такого представленія. — Вырастающее изъ него элегическое настроеніе. — Религіозное настроеніе. — Духовное наслажденіе. — Занятія въ Римѣ. — Переводы изъ Пиндора и Эсхила. — Прежняя его дѣятельность въ качествѣ переводчика. — Внутренняя исторія Гумбольдтовыхъ переводовъ. — Переводъ «Агамемнона». — Его достоинство и харак-

теръ. — Связь съ лингвистикой. — Лингвистическія воззрѣнія и изслѣдованія въ Римѣ. — Поэтическіе опыты. — Стихотвореніе «Римъ». — Стихотворное обращеніе къ Александру Гумбольдту. — Возвращеніе въ Германію. 168

КНИГА ТРЕТЬЯ.

Государственная дѣятельность (1809—1819).

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Управление департаментомъ исповѣданій и народнаго просвѣщенія (1809—1810).

Привязанность Гумбольдта ко всему нѣмецкому. — Печать, наложенная на это воззрѣніе эпохой. — Политическія судьбы Германіи и Пруссіи. — Впечатлѣніе, произведенное этимъ на Гумбольдта. — Призывъ Гумбольдта въ министерство. — Мотивы принятія имъ назначенія. — Эпоха литературы и практическая дѣятельность. — Отношеніе Гумбольдта къ практической дѣятельности. — Идеалистическое настроеніе и соответствующее этому положеніе прусскаго государства. — Совпаденіе его идей съ идеями и дѣятельностью Штейна. — Просвѣтительный характеръ политической дѣятельности Гумбольдта. — Его индивидуализмъ и демократизмъ. — Духъ его реформъ въ дѣлѣ преподаванія и воспитанія. — Первоначальное воспитаніе. — Неистолци. — Высшее образованіе. — Гимназіи и университеты. — Основаніе берлинскаго университета. — Гуманистическій характеръ насмѣдаемой Гумбольдтомъ системы образованія. — Противудѣйствіе утилитарному и теологическому направленію. — Отношеніе къ религіи. — Эгаленизирующее направленіе. — Метафизическая тонкость въ формѣ. — Практическое искусство. — Отношеніе къ Вольфу. 209

ГЛАВА ВТОРАЯ. Дипломатическая дѣятельность. (1810—1818).

Ложное положеніе въ министерствѣ Альтенштейна. — Паденіе этого министерства. — Возвращеніе Гумбольдта на дипломатическое поприще.

Назначеніе Гумбольдта посломъ въ Вѣну. — Визитъ Штейну. — Особенности вѣнскаго поста. — Досугъ и занятія за время пребыванія въ Вѣнѣ. — Личныя связи. — Катастрофа въ Россіи. — Измѣнившееся значеніе вѣнскаго поста. — Положеніе Австріи; задача и образъ дѣй-

- ствія Гумбольдта. — Австрія отворачивается отъ Франціи. — Гумбольдтъ оставляетъ Вѣну. — Пребываніе въ Ратиборѣ. — Вліяніе событій на настроеніе Гумбольдта и его воззрѣнія. 236
- На Пражскомъ конгрессѣ. — Взглядъ Гумбольдта на положеніе вещей. — Общая ситуація. — Ходъ конгресса. — Результаты 251
- Пребываніе въ главной квартирѣ. — Теплицъ. — Совѣстная дѣятельность со Штейномъ. — Нѣмецкое государственное устройство. — Центральное управленіе. — Франкфуртъ. — Походъ во Францію. — Фрейбургъ. — Конгрессъ въ Шатильонѣ. — Первый парижскій миръ. — Путешествіе въ Англію и Швейцарію 256
- Вѣнскій конгрессъ. — Положеніе Гумбольдта. — Характеристика его дѣятельности на конгрессѣ. — Его дипломатическое дарованіе и методъ. — Вопросъ о государственномъ устройствѣ Германіи. — Проекты Гумбольдта по этому вопросу. — Нота отъ 10 февраля. — Вопросъ о возстановленіи императорскаго сана. — Записка противъ возстановленія императорскаго сана. — Судьба этого вопроса и вѣспроса о вѣмецкомъ государственномъ устройствѣ. — Возобновленіе союза противъ Наполеона. — Окончаніе конгресса. — Черезъ Берлинъ къ Парижъ 264
- Второй парижскій миръ. — Положеніе вещей и роль умиротворителей. — Гумбольдтъ, Блюхеръ, Гарденбергъ. — Записка Каподистрии. — Гумбольдтово опроверженіе ея. — Крушеніе прусскихъ плановъ — Священный союзъ. — Неудовольствіе Гумбольдта. — Конецъ его пребыванія въ Парижѣ 289
- Пребываніе въ Франкфуртѣ. — Территориальная коммиссія. — Временное исполненіе обязанностей посла при союзномъ сеймѣ. — Отношеніе Гумбольдта къ австрійскому представителю при союзномъ сеймѣ. — Открытіе союзнаго сейма. — Назначеніе посломъ въ Лондонъ. 301
- Пребываніе и дѣятельность въ Берлинѣ. — Прусскія дѣла. — Назначеніе членомъ государственнаго совѣта. — Отношеніе къ Гарденбергу. — Оппозиція противъ него. — Ходъ дѣлъ въ государственномъ совѣтѣ. — Раздоръ съ государственнымъ канцлеромъ и послѣдствія этого. 306
- Посольство въ Лондонѣ. — Просьба объ отозваніи. — Внутренняя жизнь за время дипломатической дѣятельности. — Переговоры объ отозваніи. — Мотивы ходатайства. — Возвращеніе изъ Лондона. — Аахенскій конгрессъ. — Вступленіе вновь въ франкфуртскую территориальную коммиссію 310

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Конституція.

Стр.

Учрежденіе министерства для сословныхъ дѣлъ.—Сношеніе Гумбольдта со Штейномъ во Франкфуртѣ.—Записка о земскомъ устройствѣ.—Мотивы дарованія конституціи.—Общій характеръ Гумбольдтовскаго представленія о государственномъ устройствѣ.—Принципы организаціи.—Противудоктринерскій консерватизмъ.—Дворянскій вопросъ.—Исправленіе старо-сословныхъ учрежденій.—Общая картина конституціи.—Оцѣнка ея.—Ходъ ея введенія.—Продленіе своего пребыванія во Франкфуртѣ.—Прибытіе въ Берлинъ.—Дѣла въ министерствѣ.—Противудѣйствіе введенію конституціонныхъ учрежденій.—Преслѣдованіе демагоговъ и Карлсбадская конференція.—Опозіція Гумбольдта.—Его отставка.—Взглядъ на прошлое. . . . 318

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вдали отъ свѣта.

Первая половина.

Языкознаніе.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Ходъ лингвистическихъ занятій Гумбольдта и развитіе его воззрѣній.

Постепенное закрѣпленіе интереса въ языкознанію —Періодизація его лингвистическихъ воззрѣній.—Первый періодъ: исходный пунктъ—языкъ басковъ.—Второй періодъ: вліяніе санскритскаго языка.—Третій періодъ: изслѣдованіе малайской группы языковъ.—Трактатъ о различіи въ строеніи человѣческаго языка 355

ГЛАВА ВТОРАЯ. Философія предпосылки и основоположенія.

Зависимость отъ формальныхъ опредѣленій Кантовской философіи.—Согласіе съ духомъ этой философіи.—Интересъ къ свободѣ.—Дуалистическое воззрѣніе.—Вліяніе эстетизма —Отголоски «Наукоученія» Фихте.—Независимость отъ философскаго догматизма романтики . 368

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Методъ и способъ изложенія

Истинно научный методъ, изложенный въ статьѣ: «О задачахъ исторіографа».—Видимое отступленіе отъ этого метода.—Практи-

ческое примѣненіе этого метода. — Его характеръ. — Сравненіе съ Лес-
 сингомъ. — Сравненіе съ Нибуромъ. — Литературные недостатки. —
 Причина ихъ — Стилъ. — Сравненіе съ Шиллеровскимъ стилемъ. —
 Отношеніе къ иностраннымъ языкамъ 382

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Результаты.

I. Вопросъ о происхожденіи и существѣ языка.

Происхожденіе языка. — Дальнѣйшее развитіе Гердеровскаго воз-
 зрѣнія. — Сущность языка. — Языкъ какъ посредникъ. — Антиноміи
 въ существѣ языка и разрѣшеніе ихъ. 405

II. Подробный анализъ способа образованія языка.

Абстрактная основа способа образованія языка. — Конкретное со-
 держаніе этого способа. — Конститутивные элементы языка. — Про-
 цессъ проникновенія этихъ элементовъ. — Аналогія между мыслью
 и звукомъ. — Членораздѣльность. — Процессъ языка въ его реальномъ
 проявленіи въ формѣ слова и рѣчи. — Обозначеніе понятій, катего-
 рій и отношеній (корни, слова и грамматическіи формы). — Обозна-
 ченіе подражательное, символическое и аналогическое. — Схематизмъ
 языка. — Языкъ какъ выраженіе никогда не достигающаго своей цѣли
 стремленія 412

III. Языкъ какъ явленіе.

Языкъ какъ организмъ. — Принципъ языка. — Форма и характеръ
 языка 422

IV. Идеи языка и отдѣльные языки. Опытъ классификаціи.

Отношеніе между идеей совершеннаго языка и дѣйствительными
 языками. — Причина различій между этими послѣдними. — Класси-
 фикація. — Флексія, изолированіе, агглютинація. — Флексія, изолирова-
 ніе, всесовокупленіе. — Значеніе глагола, союза и относительнаго мѣ-
 стоименія. — Противуположность между чисто закономѣрною формой
 языка и формой, уклоняющеюся отъ этой закономѣрности. — Языки
 китайскій, санскритскій и находящіеся въ среднѣхъ между ними. —
 Результатъ всѣхъ этихъ попытокъ классификаціи. 426

V. Языкъ и исторія.

Стр.

Историческое развитіе каждаго языка.—Періоды въ развитіи языка.—Первый, второй и третій періодъ.—Ступени развитія въ предѣлахъ перваго періода.—Первая, вторая, третья, четвертая ступень.—Отношеніе этихъ ступеней во времени къ ступенямъ идеальнымъ; представленныя какъ переходъ отъ односложности къ многосложности.—Ступени развитія въ позднѣйшихъ періодахъ. 439

VI. Понятіе и цѣль языкознанія. Связь его съ философіей исторіи.

Значеніе и понятіе языкознанія.—Различныя части его.—Необходимое соединеніе этихъ частей.—Связь съ философіей исторіи.—Телеологическая и динамическая точка зрѣнія.—Послѣдняя—наиболѣе высокая для историко-философскаго взгляда на языкознаніе.—Критика этой точки зрѣнія.—Историко-философскія положенія.—Первый, второй, третій законъ. 452

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вдали отъ свѣта.

Вторая половина.

Дѣятельность въ другихъ областяхъ и послѣдній періодъ жизни (1820—1835).

Устройство въ Тегель.—Путешествія и перемѣна мѣста пребыванія.—Путешествіе въ Парижъ и Лондонъ.—Образъ жизни. . . 465

Отголоски политической дѣятельности.—Взглядъ на политическое положеніе со времени 1820 г.—Письма къ Штейну.—Отвѣтъ на записку Фике.—Смерть Гарденберга.—Старанія Воцлебена о назначеніи Гумбольдта государственнымъ канцлеромъ. . . 470

Научная дѣятельность.—Лингвистика.—Греческая древность и новая характеристика грековъ.—Индусская древность.—Внутреннее сродство съ духомъ индусовъ.—Статья о Багавадъ-Гита . . 474

Жизнь души и личныя связи.—Женщины.—Шарлотта Диде.—Переписка съ нею.—Характеристика «Писемъ къ другу». —Жена Гумбольдта.—Отношеніе Гумбольдта къ женѣ.—Болѣзнь и смерть жены Гумбольдта 482

Новый періодъ жизни.—Уединеніе.—Семейная жизнь и личныя связи.—Іюльская революція.—Назначеніе вновь въ государственный совѣтъ.—Коммиссія для учрежденія музея искусствъ.—«Общество любителей искусствъ въ прусскомъ государствѣ.—Склонность къ античному направленію въ искусствѣ». — Ограничительное признаніе современнаго ему направленія.—Углубленіе эстетическихъ воззрѣній.—Новая характеристика Гёте.—Изданіе Гумбольдтомъ своей переписки съ Шиллеромъ и его предисловіе къ ней.—Похвильное слово Канту.—Отношеніе къ гегелевской философіи.—Жизнь въ воспоминаніяхъ.—Воспоминаніи о женѣ.—Ея памятникъ, ея портретъ, ея письма.—Сонеты.—Ихъ форма и внутренній характеръ . . . 514

Заключительная характеристика . — Гумбольдтъ — «нѣтъ возраста». — Старость какъ завершающій періодъ жизни.—Презренная двусмысленность и парадоксальность.—Объединеніе всего существа въ совершенную гармонию.—Вліяніе вѣшнихъ условій жизни.—Античные и современные моменты его характера.—Смягченіе индивидуализма.—Любовь къ природѣ.—Благочестіе.—Вѣра въ продолженіе личнаго существованія за предѣлами этой жизни . 514

Последніе годы.—Путешествія, болѣзнь, смерть.—Эпилогъ . 527

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ

<i>Стран.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ читать.</i>
83	6 снизу	„Общественное мышленіе	„Мышленіе сообща
110	7 —	исходятъ	исходитъ
304	1 —	порученіе	поруганіе
308	4 сверху	реакцій	реакціи
318	30 —	росписки	росписи
324	7 —	выпустить слово:	сдѣлалась
344	20 —	конструкціи	конституціи
349	20 —	выпустить слова:	противъ нихъ

КНИГА ПЕРВАЯ.

Юность и самый ранний периодъ развитія.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

До вступленія на государственную службу.

Это были послѣдніе годы царствованія Фридриха Великаго. Умственная жизнь, распутившаяся при поощреніи и подъ покровительствомъ великаго короля, достигла въ столицѣ Пруссіи своего полнаго расцвѣта: если Пруссія была по преимуществу государствомъ просвѣщенія, то Берлинъ представлялъ его главную квартиру. Самъ Фридрихъ доказалъ своимъ примѣромъ, что при ясномъ умѣ и сильной волѣ возможно добиться отъ жизни самыхъ обширныхъ результатовъ. При помощи морали и духа просвѣщенія онъ создалъ внушающее почтеніе государство. Неудивительно, что просвѣщеніе—религіозный культъ этого вызывающаго сираведливое удивленіе монарха—стало также и національнымъ культомъ. Но конечно не менѣе естественно и то, что просвѣщеніе, распространившееся въ странѣ, нѣсколько разнилось отъ того, которое господствовало при дворѣ: при дворѣ оно было по преимуществу французскимъ, въ странѣ—нѣмецкимъ; здѣсь французская окраска соединялась съ нѣкоторымъ аристократизмомъ, тамъ оно было низведено до скромнаго мѣщанства. Представленное по преимуществу многочисленнымъ чиновничествомъ, на которое опирался просвѣщенный деспотизмъ, оно видоизмѣнялось въ зависимости отъ возрѣній, чувствъ и потребностей, господствующихъ въ канцеляріяхъ, этой узкой сферы, которою ограничиваются призваніе и трудъ чиновника. Король могъ находить извѣстную прелесть въ саркастической мудрости Вольтера, въ карикатурной теоріи де Ля-Меттря, въ грубомъ матеріализмѣ Гольбаховой *Systeme de la nature*, подобно тому какъ онъ находилъ удовольствіе во французской стряпнѣ, повлиявшей за его столомъ,—но именно только для своего ума, ибо онъ обладалъ стоицизмомъ, вѣрой, а прежде всего—геніемъ. Однако, для домашняго обихода эту слишкомъ остроумную философію приходилось нѣсколько разбавлять: ей не слѣдозало стре-

миться такъ неуклонно къ своимъ конечнымъ выводамъ, а главное—выступать такъ рѣзко и беспощадно. Насколько умѣреннѣе была по сравненію съ ней англійская моральная философія, насколько положительнѣе и болѣе соответствовалъ національному характеру догматизмъ нѣмецкой, Вольфовой философіи: его именно и придерживался мѣщанскій умъ и честная душа нѣмецкаго народа. Было бы, конечно, стыдно, живя подъ скипетромъ Фридриха, вѣрить въ привидѣнія или въ чорта, но, отказавшись отъ суевѣрія и фанатизма, нужно ли было бросаться очертя голову въ пучину невѣрія и скептицизма? Существовалъ ли средній путь, золотая середина; эта серединная мудрость, не требовавшая ни геніальности, ни нравственныхъ усилій и между тѣмъ дававшая съ одной стороны—сознаніе своего превосходства надъ некультурными средними вѣками, съ другой—возможность чувствовать себя счастливѣе и лучше французскихъ атеистовъ и насмѣшниковъ,—эта-то серединная мудрость завладѣла всею нѣмецкою умственною жизнью. Ею жили, ею вдохновлялись: она господствовала въ государственной, какъ и въ частной жизни, въ чиновничьей, какъ и въ промышленной сферѣ; она доставляла матеріалъ для свѣтскаго разговора; о ней говорили при встрѣчахъ въ ресторанахъ и театрахъ, она раздавалась съ церковныхъ и университетскихъ кафедръ; въ ея духѣ государство писало законы, ея духомъ жила наука; на зло религіи выказывали передъ ней благочестіе, на зло поэзіи писали при ея помощи стихи и рассуждали объ искусствѣ. Это была мудрость совершенно отвѣчающая умственной посредственности, которая составляетъ испоконъ вѣка принадлежность той толпы, которая зовется образованными людьми. Конечно, многіе стояли ниже этой средней мѣрки, немногія единичныя личности—выше ея. Такъ, съ одной стороны, высоко надъ уровнемъ этого воззрѣнія поднялся, благодаря безграничной гибкости своего ума, Лессингъ. Тотъ умѣлъ дѣлать изъ желѣза сталь; онъ, этотъ геній просвѣщенія, сумѣлъ придать мудрости и разуму эпохи такую отдѣлку, что они стали неузнаваемы. Съ другой—Кантъ мощью своего ума не только удивительно углубилъ это воззрѣніе, но силою своего мышленія, какъ и величіемъ своего нравственнаго характера, положилъ основаніе новой паузѣ и новаго склада жизни. Вездѣ закопошился свѣжій и глубокій духъ, пока еще въ смутномъ броженіи, но уже сильный и дѣятельный: ибо геній Гёте—эта звѣзда будущаго и вмѣстѣ съ тѣмъ вождь новаго поколѣнія—усилъ уже проявить себя въ удивительныхъ созданіяхъ. Однако прусскою по происхожденію и характеру была изъ всѣхъ этихъ движеній только Кантовская реформа; всѣ они безъ исключенія имѣли мѣсто внѣ Берлина, который былъ все еще резиденціей просвѣщенія, въ то время, какъ въ остальной Германіи его звѣзда была уже близка къ закату. Это бычь главнымъ образомъ центръ просвѣтительной про-

паганды. Николай и его друзья все еще продолжали упражняться въ литературномъ и художественномъ критиканствѣ въ Allgemeine Deutsche Bibliothek, борясь противъ «предразсудковъ и суевѣрія». Незадолго еще передъ тѣмъ возникъ въ Берлинѣ новый ежемѣсячный журналъ, подъ редакціей Гедике и Бистера, поставившій себѣ задачей самое широкое «распространеніе полезнаго просвѣщенія» и «искорененіе гибельнаго невѣжества». Берлинцы редактировали эти журналы, они же ихъ большею частью пополняли. Берлинъ имѣлъ честолюбивую мечту—стать веллкою державой отъ литературы и посылателемъ почетнаго званія Пруссіи, какъ представительницы протестантизма и просвѣщенія: просвѣщеніе и берлинизмъ стали тождественными понятіями. На той песчаной почвѣ, на которой росли сосны Тиргартена, произростала всего лучше и эта сухая разсудочность. вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь же все это направленіе легко воспринимало какъ духъ прусскаго государства, такъ и немалую долю блеска и обычаевъ королевской резиденціи. Николай былъ любимцемъ Герцберга, Бистеръ состоялъ въ интимныхъ отношеніяхъ съ Педлицемъ. Существовала извѣстная преемственность, извѣстная солидарность между государственными и литературными интересами. Государственные люди интересовались научными вопросами, литераторы—практическими. Первые не избѣгали при случаѣ пускаться въ пренія о границахъ терпимости или объ отношеніи скептицизма къ суевѣрію; послѣдніе, въ свою очередь, не пренебрегали вопросами фипансовой науки и государственной экономіи. Отличительною чертой просвѣщенія берлинцевъ былъ извѣстный унiversalизмъ, извѣстная тенденція къ практическимъ вопросамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ оно обладало и нѣкоторымъ столичнымъ лоскомъ. Свобода общенія, очень далекая отъ педантизма профессорскихъ кружковъ, распространяла свое благотворное вліяніе и на литературу. Скука берлинскихъ проповѣдниковъ не была лишена нѣкотораго изящества. Привычка вращаться въ гостинныхъ высшихъ сановниковъ отражалась на тонѣ берлинскихъ писателей. Они старались не отставать въ легкости и лоскѣ отъ французовъ, къ которымъ Фридрихъ питалъ такое пристрастіе. Какъ Рамлеръ свои стихи, такъ Мендельсонъ отдѣлывалъ свою прозу, а Энгель пріобрѣлъ среди элегантной берлинской публики репутацію писателя, уподобившагося по своему остроумію и красотѣ языка Платону, а по корректности и краснорѣчію Цицерону.

Вотъ та образовательная атмосфера, въ которую пришлось вступить юному Вильгельму фонъ Гумбольдту.

Въ домѣ майора и камергера Александра Георга фонъ Гумбольдта, принадлежавшаго къ старинному дворянскому роду, домашнимъ учителемъ былъ Іоахимъ Кампе. Ему было здѣсь довѣрено воспитаніе старшаго сына госпожи фонъ Гумбольдтъ (урожденной фонъ Коломбъ) отъ ея перваго брака съ барономъ фонъ Гальведе. Такимъ образомъ

случилось, что знаменитый впоследствии человеколюбивый педагогъ, чистѣйшій представитель эпохи просвѣщенія, сдѣлался также первоначальнымъ учителемъ и двоихъ сыновей отъ второго брака: Карла Вильгельма, родившагося въ Потсдамѣ 22 июня 1767 года и Фридриха Генриха Александра, бывшаго двумя годами моложе брата. Когда же въ половинѣ семидесятыхъ годовъ Кампе оставилъ ихъ домъ, оба брата перешли въ руки другого воспитателя, двадцатилѣтняго молодого человѣка по имени Кунта, извѣстнаго впоследствии какъ по своей дѣятельности на прусской государственной службѣ, такъ и по дружбѣ со Штейномъ. Кунтъ отличался уже и тогда большими познаніями и честнымъ образомъ мыслей, но былъ не по лѣтамъ серьезенъ и трезвъ, что мало соответствовало живому уму его питомцевъ; это была одна изъ тѣхъ натуръ, изъ которыхъ выходятъ честные труженики и хорошіе чиновники ¹⁾. Дѣти рано лишились отца (въ 1779 году). Мать была слабаго здоровья и вслѣдствіе болѣзненности часто дурно настроена; но то, что они теряли въ силу этого въ смыслѣ юношескихъ радостей, вознаграждалось для нихъ неустанною заботой объ ихъ воспитаніи, какъ со стороны матери, такъ и воспитателя, который вскорѣ сталъ ея другомъ и совѣтникомъ. На зиму мать переезжала изъ своего имѣнія въ Тегель въ Берлинъ. Сыновья со своимъ воспитателемъ оставались въ городѣ и лѣтомъ и обыкновенно ѣздили только по воскресеньямъ верхомъ въ предѣльное помѣстье, расположенное на берегу озера ²⁾. Все, что столица могла дать въ смыслѣ образовательныхъ средствъ, было примѣнено при воспитаніи обоихъ братьевъ. При помощи самыхъ разнообразныхъ частныхъ уроковъ они были подготовлены къ университету. При посредствѣ Кунта они получали доступъ въ тѣ кружки, которые составляли центръ просвѣтительнаго движенія. Съ осени 1785 и до лѣта 1786 года Домъ (Dohn) читалъ, по приглашенію министра Шуленбурга, рядъ статистико-политическихъ лекцій молодому графу Армину, къ которому присоединились и братья Гумбольдты ³⁾. По инициативѣ Энгеля имъ читалъ лекція по естественному праву Клейпъ, принимавшій съ 1781 года дѣятельное участіе въ работахъ по коренному преобразованію прусскаго законодательства ⁴⁾. Но главная роль въ образованіи нашего Гумбольдта при-

¹⁾ См. некрологъ Кунта, составленный по инициативѣ Вильгельма Гумбольдта штатсратомъ Гофманомъ на основаніи соч. Порта Loben Stein's VI, 789 и помѣщенный въ официальной газетѣ отъ 3 ноября 1829. См. также Fürst. Henriette Herr, 148.

²⁾ Wilhelm Humboldt, Briefe an eine Freundin (Письма къ другу).

³⁾ См. Gronau Biogr. Дома, стр. 127; Schlesier I, 19. Ср. Briefe an eine Freundin I, 84.

⁴⁾ Lowe: Bildnisse jetzt lebender Berliner Gelehrten (Портреты современныхъ берлинскихъ ученыхъ), автобіографія Клейца, стр. 59.

надлежитъ, по его собственному свидѣтельству ¹⁾, тому самому человеку, который былъ впоследствии воспитателемъ будущаго короля Фридриха Вильгельма—Энгелю. Онъ именно сроднилъ его юношескій духъ съ тою скромною, сдержанною, практически разумною и привлекательною философiей, въ изложенiи которой онъ, на ряду съ Гарве и Мендельсономъ, такъ славился; онъ научилъ его искать въ писанiяхъ Ксенофонта и Платона, Цицерона и Сенеки духъ и форму именно этой философiи. Имѣть своимъ руководителемъ въ образованiи Энгеля была несомнѣнная удача, потому что въ немъ просвѣщенiе проявилось въ самой симпатичной своей формѣ. Ничто въ Энгелѣ не свидѣтельствовало о гениальности, но въ немъ жило прекрасное и гармоническое сочетанiе ума и чувства, благотворная ясность и вѣрный вкусъ. Доморощенная мудрость популярной философiи являлась въ его изложенiи прикрашенною свойственною ему тонкостью и грацией. Это былъ настоящiй «философъ жизни» (Philosoph für die Welt). Невозможно походить болѣе его на Платона, не имѣя поэтической жгучести послѣдняго, и на Лессинга, не имѣя его глубины и смѣлости. Положимъ; его ясность была нѣсколько водниста и его пресловутая корректность нѣсколько суха и скучна; его любезность отличалась нѣкоторою расплывчатостью и грация его стиля была довольно пуста и тяжеловѣсна; пресловутая внѣшняя форма, которую онъ такъ владѣлъ, была тоже не чистопробна,—его добродушіе и учтивость подходили скорѣе педагогу, въ этой формѣ виденъ скорѣе школьный учитель, чѣмъ платоникъ. Но тѣмъ лучше: что такимъ образомъ теряетъ писатель и философъ, то выплываетъ учитель и педагогъ. Онъ былъ безспорно прекраснымъ учителемъ и именно для Гумбольдта. Если въ послѣднемъ хоть сколько нибудь заложено было ядро того, чѣмъ онъ сдѣлался впоследствии, то его должно было тогда особенно привлекать какъ изящество формы, такъ и вполне логическое мировоззрѣніе учителя. Первое дѣйствовало привлекательнымъ образомъ на его эстетическій вкусъ и мягкосердечіе, второе—на пронизательный и тонкій умъ, которые составляли врожденные черты его натуры. Было бы, можетъ быть, слишкомъ смѣло видѣть слѣды Энгелевскаго преподаванiя въ отличавшихъ Гумбольдта впоследствии тонкости анализа, благопристойной скромности, интересъ къ психологическимъ вопросамъ, въ заботѣ о стилѣ и наконецъ въ его неизмѣнной разсудительности. Несомнѣнно однако же, что это вліяніе ясно выступаетъ въ самомъ раннемъ изъ его дошедшихъ до насъ сочиненiй, которое онъ 19-ти лѣтнимъ юношей передалъ Целлеру для помѣщенiя въ его *Lesebuch für alle Stände* ²⁾. Онъ повто-

¹⁾ Gesammelte Werke, (Собр. сочин.) III, 108. Автобіогр. Клейна, I. с.

²⁾ „Socrates und Platon über die Gottheit, über die Vorsehung und Unsterblichkeit“ (Сократъ и Платонъ о божествѣ, провидѣніи и безсмертіи). Перепеч. въ собр. его соч. III, стр. 103 и слѣд.

рять здѣсь мысль своихъ учителей, что въ вопросахъ о Провидѣніи и безсмертіи заключается та истинная философія, которая «даетъ полезныя для практической жизни результаты». Молодой авторъ стоитъ всецѣло на точкѣ зрѣнія умѣренной нѣмецкой популярной философіи, которая не хочетъ имѣть ничего общаго съ рискованными гипотезами и діалектическими тонкостями и удовлетворяется «покоющимся на доводахъ сердца одобреніемъ прямого и безпристрастнаго человѣческаго разсудка». Онъ вполне согласенъ съ почтеннымъ Тобиасомъ Виттомъ, рассказывавшимъ всегда попарно свои исторіи въ похвалу золотой середины, также какъ и съ господиномъ фонъ Мильвицемъ, который, бросивъ въ огонь дорого заплоченный экземпляръ *Système de la nature*, принадлежавшій его другу, барону, присылаетъ ему на другой день вмѣсто него «Естественную религію» Реймаруса. Съ такою же опредѣленностью высказывается юный авторъ и противъ скептицизма и мечтательности, стоя на сторонѣ истинной мудрости просвѣщенія, равно удовлетворяющаго какъ умъ, такъ и сердце. Но въ то же время онъ поклонникъ древняго міра. Онъ любитъ его, онъ судить о немъ приблизительно въ томъ же духѣ, какъ господа Рамлеръ и Гедике, Энгель и Гарве. Онъ далекъ отъ высокоумія просвѣтителей, убѣжденныхъ въ томъ, что нашъ вѣкъ просвѣщеніе всѣхъ своихъ предшественниковъ. По его мнѣнію и въ наше время нигдѣ нельзя лучше научиться логикѣ, какъ изъ разговора Сократа съ Менономъ и морали — какъ изъ трактата, написаннаго Тулліемъ для своего сына Марка. Точно также можно найти отвѣты на вопросы естественной религіи у Ксенофонта и Платона, Цицерона и Сенеки. Въ эпоху, когда жили эти мужи, просвѣщеніе не было такъ широко распространено, какъ въ наше время, но нѣкоторые, немногіе мудрецы владѣли уже тогда, частью сокровеннымъ образомъ, истинами, которыя мы признаемъ таковыми еще и теперь. Другими словами: Сократъ и его ученики могли бы занять почетное мѣсто и въ 18 вѣкѣ, который нисколько не роишетъ своего достоинства, прислушиваясь при случаѣ къ разговорамъ академіи и лицей. Поэтому склонный къ философствованію молодой авторъ, знакомый отчасти съ Вольфомъ и основательно — съ писаніями Энгеля, Гарве и Мендельсона, задается цѣлью «ислѣдовать, какъ думали въ самую цвѣтущую эпоху въ Афинахъ и Римѣ о Богѣ, Провидѣніи и безсмертіи»; онъ приступаетъ къ переводу нѣкоторыхъ вещей изъ философскихъ сочиненій греческихъ и римскихъ писателей, трактующихъ объ этихъ матеріяхъ, съ тѣмъ, чтобы составить изъ нихъ въ заключеніе нѣчто по возможности цѣльное. Энгель одобрилъ этотъ планъ. Изъ этого намѣренія приведена въ исполненіе только одна попытка — переводъ двухъ мѣстъ изъ *Memoabilia* Ксенофонта и большого мѣста изъ Платоновыхъ Законовъ. Она должны были служить для выясненія степени просвѣщенности древнихъ философовъ, въ то время, какъ

въ отдѣльныхъ примѣчаніяхъ попутно восполняются мнимые пробѣлы этого просвѣщенія.

Однако не одно преподаваніе Ангеля было виною такого образа мыслей Вильгельма Гумбольдта. Молодой человѣкъ, работы котораго признавались достойными фигурировать въ сборныхъ изданіяхъ берлинцевъ, сталъ вскорѣ желаннымъ гостемъ и въ ихъ общественныхъ кружкахъ. Его настоящіе учителя принадлежали къ кружку друзей Мендельсона; съ этимъ кружкомъ и слилась его жизнь, также какъ и образованіе. Какъ младшій къ старшимъ относился онъ къ друзьямъ своихъ учителей, къ людямъ, какъ Бистеръ, Фридендеръ, Герцъ, Рамлеръ, Морлицъ, Теллеръ и др. Каковъ бы ни былъ по своимъ свойствамъ одушевляющій этихъ людей духъ, онъ имѣлъ уже одно то достоинство, что это былъ связующій и увлекающій духъ. Чувствовалась общность стремленій, въ законность и цѣнность которыхъ человѣкъ непоколебимо и даже восторженно вѣрилъ. Такая вѣра, дѣйствовавшая, такъ сказать, сомкнутымъ строемъ, имѣла въ себѣ нѣчто импонирующее. Молодой человѣкъ съ умомъ не могъ не чувствовать себя хорошо въ такомъ кругу, который къ тому же отличался юношескимъ оживленіемъ, умственной впечатлительностью, непринужденностью и истиннымъ либерализмомъ. Философски-литературный клубъ, въ который доставлялись и гдѣ разбирались научные рефераты, литературные кружки, въ которыхъ читались всѣ новѣйшія произведенія текущей литературы, объединяли друзей. Въ послѣднихъ принимала участіе и молодые Гумбольдты, и вскорѣ старшій изъ нихъ сблизился тѣснѣе съ нѣкоторыми изъ этихъ личностей. Ближе всего онъ сошелся съ Бистеромъ и Давидомъ Фридендеромъ. Покидая Берлинъ онъ былъ ангелианцемъ и бистеріанцемъ, апостоломъ «Берлинскаго Ежемѣсячника» (Berliner Monatsschrift), преисполненнымъ тенденціей берлинскаго просвѣщенія.

Однако его натура, хотя и подчинявшаяся легко своей разсудочною стороною «логическому воспитанію» и укѣпившаяся въ сухомъ и трезвенномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ честномъ и здоровомъ берлинскомъ духѣ, имѣла еще и совершенно другія потребности: у него были потребности чувственныя, потребности сердца. Да по правдѣ сказать и сами герои берлинскаго просвѣщенія не уходили зполнѣ въ свой разсудочный энтузіазмъ. Не всѣ они были такими огюстами, какъ Мендельсонъ, не всѣ—такими высохшими деревяшками, какъ Николай. Охотнѣе всего ихъ аналитическій умъ обращался къ задачамъ психологіи; послѣднія—расчлененіе ощущеній, наблюденіе надъ своимъ «я» -- составляли самое лакомое блюдо популярной философіи. Стереотипное соединеніе ума и сердца не было только фразой: мораль и эстетика этихъ писателей основывалась преимущественно на ихъ интересѣ къ человѣческому сердцу. Экскурсія въ область сердечныхъ ощущеній спасала ихъ отъ холодности и поверхностности

ихъ резонерства. Здѣсь они находили отпушеніе своихъ грѣховъ— тривіальности ихъ вѣры и пелагианства ихъ морали. Несмотря на свое отвращеніе ко всему эксцентрическому и мечтательному, они не стыдились тѣхъ слезъ, которыхъ не могли удержать при чтеніи трогательныхъ сценъ въ пьесахъ Ифлинда и Коцебу; мало того— они симпатизировали даже— съ оговоркой протпвъ необходимости самоубійства— чувствамъ и страданіямъ Гётевскаго Вертера. Наконецъ даже и самая предель, которую они находили въ умственномъ общеніи съ другими, обуславливалась по меньшей мѣрѣ столько же одинаковостью ихъ убѣжденій, сколько и удовольствіемъ, которое имъ доставляло взаимное выкладываніе другъ передъ другомъ своихъ чувствъ и настроеній. И если у мужской части общества перевѣсъ брала умственная сторона, то женская часть являлась зато истинною проводницею сентиментальнаго флюида. У женщинъ, вообще болѣе впечатлительныхъ, должна была, конечно, раньше сказаться скука, навѣянная старческою разсудочностью и филистерскимъ однообразіемъ. Здѣсь прежде всего оказала свое дѣйствіе юная, южнонѣмецкая литература, сверхмѣрно чувствительная и патетически страстная. Домашній мдръ несколько, впрочемъ, не страдалъ отъ того, что почтенный Маркусъ Герцъ объявлялъ неслѣпостью тѣ самые продукты новой школы, которые возбуждали въ его желѣ мечтательный восторгъ. Женщины занимались изо всѣхъ силъ пропагандой, и такъ какъ онѣ были одновременно умны и красивы, то младшіе члены не могли устоять. Тутъ сказалась потребность въ романтическомъ оазисѣ среди раціоналистической пустыни; вѣдь, и само просвѣщеніе имѣло въ гуманитарномъ союзѣ масоновъ свои мистеріи и цѣлый аппаратъ романтической мечтательности: ордена и союзы были вообще въ ходу. Такииъ образомъ и въ Берлинѣ начали мало по малу мечтать. Съ одной стороны присоединились къ разсудочности мужской половины, храпя вѣрность Менделсоновско-Лессинговымъ традиціямъ, съ другой— отдавались жизни чувства, предельи таинственности и мечтательности. Между первыми, воспринявшими заразу, былъ и Вильгельмъ Гумбольдтъ, ставшій однимъ изъ наиболѣе усердныхъ учениковъ, ибо эта была натура съ большимъ запасомъ чувственныхъ и эмоціональных силъ; ему не было надобности, подобно многимъ другимъ, притвориться сентиментальнымъ и играть роль. Въ ту эпоху въ Берлинѣ жила женщина, соединявшая въ себѣ съ необыкновенной красотой богатый міръ ума и чувства. Кунтъ ввелъ молодого человека въ домъ Маркуса Герца, и какъ Гумбольдтъ ни былъ увлеченъ просвѣщеніемъ, это не помѣшало его сердцу воспылать страстью къ прекрасной Генриеттѣ Герцъ. Она завладела имъ всецѣло; она ввела его въ свѣтъ, познакомила его съ своими подругами. Въ кругу этихъ подругъ и ихъ друзей возникъ въ это время союзъ, въ которомъ морализирующее направленіе мужчинъ сочеталось съ сентимен-

тальностью женщины; это былъ своего рода «союзъ добродѣтели» (Tug-undbund), поставившій себѣ цѣлью взаимное нравственное и умственное совершенствованіе, также какъ и упражненіе въ дѣятельной любви. Союзъ, разумѣется, имѣлъ свой орденскій уставъ и свой собственныи шифръ; притимное «ты» соединяло всѣхъ членовъ, въ числѣ которыхъ были и иногородные: такъ пріятно было состоять между собою въ тайной перепискѣ, наслаждаться взаимными изліяніями чувствъ. Безспорно, это было ребячество, забава, — въ наше время двѣнадцатилѣтняя дѣвочка считала бы себя для этого слишкомъ взрослою, но въ то время къ такой забавѣ относились чрезвычайно серьезно. Въ совѣтѣ союза было постановлено принять Вильгельма Гумбольдта въ число своихъ членовъ. Но милый юноша велъ себя въ послѣднее время, повидимому, не совсемъ стоически; влѣдствіе этого онъ бросился къ своей наперсницѣ и заявилъ ей, что къ несчастію, чувствуетъ себя недостойнымъ оказанной ему чести: такіа сцены покаянія были совершенно въ дамскомъ вкусѣ; онъ получилъ отпущеніе и былъ торжественно посвященъ ⁴⁾.

Между тѣмъ наступило время, когда братьямъ Гумбольдтамъ предстояло покинуть Берлинъ. Съ сердцемъ полнымъ сентиментальнаго волненія, утоная въ чувствахъ любви и дружбы и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко пропикнутый воззрѣніями и понятіями берлинскаго просвѣщенія, отправился Вильгельмъ Гумбольдтъ, осенью 1787 года, въ сопровожденіи брата и своего воспитателя, во Франкфуртъ на Одерѣ для поступленія въ тамошній университетъ. Лекція Дома и Клеина подтолкнули его къ изученію юриспруденціи. Но уже къ Пасхѣ слѣдующаго года онъ перешелъ изъ Франкфурта въ Геттингенъ. Здѣсь онъ впервые очутился одинъ, предоставленный самому себѣ. «Чопорный, необщительный Геттингенъ», какъ его называетъ Форстеръ, составлялъ контрастъ съ живымъ въ общественномъ отношеніи Берлиномъ и даже съ Франкфуртомъ, гдѣ онъ къ тому же жилъ въ домѣ своего бывшаго учителя, профессора Лёффлера. Зато въ научномъ отношеніи тогдашній Геттингенъ представлялъ для штудирющаго богатую почву. Рядомъ съ юридическимъ факультетомъ, представленнымъ такими учеными, какъ Пютеръ, Рунде, Мартенсъ, и др., стоялъ философскій, прекрасно обставленный. Здѣсь преподавали Михаэлясъ, Бюменбергъ, Кестнеръ и Лихтенбергъ, историки Шлецеръ, Гаттереръ и Шпитлеръ. Впрочемъ, по отношенію къ философіи въ собственномъ смыслѣ Георгія Августа была не совсемъ благосклонна: эклектикъ Федеръ могъ мало что прибавить къ пониманію Канта, которое нашъ юноша вывезъ изъ Берлина; приходилось, слѣдовательно, изучать Канта по его сочиненіямъ. Зато филологія являла блестящаго представителя въ лицѣ Гейне (Heune). Онъ объяснялъ Горація, Го-

⁴⁾ Рассказъ Георгіетты Герцъ, приведенный у Fürst'a.

мера и Пиндара; одновременно читалъ онъ курсъ исторіи литературы и древностей. Но важнѣе его лекцій сталъ для юноши его домъ, ибо несмотря на то, что его дочь Тереза была уже замужемъ за Георгомъ Форстеромъ, Вильгельмъ Гумбольдтъ писалъ о ней своему другу Генриеттѣ Герцъ въ такихъ страстныхъ выраженіяхъ, какъ будто бы она была еще для него достижима. Съ ней онъ могъ продолжать ту жизнь сердца, которая такъ очаровала и такъ глубоко захватила его въ Берлинѣ. «Днями блаженнѣйшихъ воспоминаній» стали для него и тѣ три іюльскихъ дня, которые онъ провелъ во время прогулки, предпринятой изъ Геттингена въ обществѣ юной дочери пастора, молже его нѣсколькими годами, въ аллеяхъ и долинахъ Пирмонта. Листовъ изъ его альбома, данный имъ этой своей подругѣ, позволяетъ намъ заглянуть въ его настроеніе и впечатлѣнія въ эту эпоху. Онъ преисполненъ того идеализма, для котораго идеи «истины, добра и красоты» не сдѣлались еще общимъ мѣстомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ помогъ еще той юношеской мягкости, при которой возможность раздѣлять это чувство съ женскою, сочувствующею душой составляетъ условіе, повышающее наслажденіе ¹⁾. Первые дружескія связи съ мужчинами относятся также къ этой эпохѣ. Дружба съ графомъ Дона-Шлобиттенъ (Dohna-Schlobitten), съ которымъ ему пришлось впоследствии сотрудничать на государственномъ поприщѣ, завязалась еще во Франкфуртѣ и продолжалась также и въ Геттингенѣ. Другимъ его геттингенскимъ другомъ былъ Іоаннъ Штяглицъ, впоследствии врачъ въ Ганноверѣ. Ему удалось спасти однажды Гумбольдта, какъ рассказываетъ Варнгагенъ, ²⁾ когда тотъ, купаясь въ Лейнѣ, едва не утонулъ. Этотъ случай показываетъ намъ, какъ глубоко скрывалась сентиментальность въ его холодной рассудочности. «Гумбольдтъ, — такъ повѣствуетъ Варнгагенъ, — описалъ впоследствии свои ощущенія: это было чувство самой нѣжной, самой высокой дружбы къ присутствующему другу и сердечное воспомнаніе о далекой возлюбленной; но ничего подобнаго не обнаружилось въ его словахъ, слѣдовавшихъ непосредственно за происшествіемъ; онъ еще долго гулялъ въ эту дунную ночь съ спасшимъ его другомъ, смѣясь и шутя съ нимъ».

Неизгладимое вліяніе на ходъ развитія Гумбольдта имѣло одно знакомство, завязанное также въ домѣ Гейне. Возвратившійся изъ Вильны мужъ Терезы Гейне, Георгъ Форстеръ провелъ передъ своимъ переселеніемъ въ Майнцъ лѣто 1788 года въ Геттингенѣ. Онъ обращалъ въ это время мало вниманія на юношу, онъ предоставлялъ его своей Терезѣ и только впоследствии, когда Форстеръ уѣхалъ изъ Геттин-

¹⁾ Имя этой подруги — Шарлотта Диеде. Къ ней обращены „Письма къ другу“ (Briefe an eine Freundin), цитированныя нами уже на разѣ. Оттуда же мы извлекаемъ и настоящую замѣтку.

²⁾ „Воспомнанія“ (Denkwürdigkeiten V, 129, zweite Aufl.).

гена, знакомство превратилось въ дружбу. Гумбольдтъ рѣшилъ воспользоваться осенними каникулами для поѣздки по Рейну; въ это же самое время Форстеръ готовился къ переезду въ Майнцъ. Рекомендательное письмо Форстера должно было ввести Гумбольдта къ Юг. Мюллеру. Его интересуютъ, говорилось въ письмѣ, все человѣческое; его девизъ—изреченіе Теренція: homo sum, humani nihil a me alienum puto. По преимуществу его интересуютъ исторія и политика, такъ же какъ и характеры замѣчательныхъ и знаменитыхъ современниковъ ¹⁾. Прилѣты, какъ мы думаемъ, вѣрно схвачены, потому что въ ту эпоху въ антропологическомъ интересѣ соприкасались трезвая наблюдательность и психологическій прагматизмъ просвѣщенія съ вытекающимъ изъ потребности чувствительнаго сердца культомъ индивидуальностей. Поэтому-то одаренный критически Лихтенбергъ занимался по своему физиономикой не хуже восторженнаго Лафатера; по той же причинѣ и Николай со своими приспѣшниками, такъ же какъ и Якоби со своимъ—гонялись за знаніемъ людей. Это знаніе людей и это знакомство съ ними было тогда совершенно въ духѣ времени. Треть жизни уходила на переписку, другая треть тратилась на пріемъ троѣжающихъ незнакомцевъ и друзей. Этимъ интересомъ и Гумбольдтъ былъ глубоко проникнутъ и, какъ мы увидимъ позже, этотъ интересъ имѣлъ въ немъ болѣе глубокіе и сильныя корни, нежели у кого бы то ни было изъ его современниковъ. И дѣйствительно, онъ внесъ въ это изученіе человѣка больше ума, систематичности, основательности, чѣмъ кто бы то ни былъ другой и достигъ болѣе успѣшныхъ результатовъ. «У меня была въ то время, говоритъ онъ почти сорокъ лѣтъ спустя ²⁾, своего рода страсть—сближаться съ интересными людьми, видѣть многихъ вообще, но этихъ послѣднихъ съ особеннымъ вниманіемъ и создавать себѣ въ душѣ ихъ обликъ. Главный интересъ заключался тутъ для меня въ знаніи. Я пользовался имъ для общихъ идей, классифицировалъ для себя людей, сравнивалъ ихъ, изучалъ ихъ физиономію—однимъ словомъ дѣлалъ изъ этого, насколько это удавалось, особый предметъ изученія». Такъ и теперь, предпринимая поѣздки по Рейну, онъ хотѣлъ видѣть не столько самый Рейнъ, сколько живущихъ по Рейну выдающихся людей. Онъ хотѣлъ видѣть Мюллера и Гейнзе; видѣлъ въ Оффенбахѣ госпожу Ля Рошъ ³⁾. У Форстера, который за нѣсколько дней до того поселился въ Майнцъ, онъ сдѣлалъ продолжительную остановку. На обратномъ пути, онъ пробылъ 10 дней въ Аахенѣ у своего прежняго учителя Дома, который былъ теперъ прусскимъ посланникомъ при Нижнерейнско-Вест-

¹⁾ G. Forster's sämtliche Schriften VIII, 22. Дальнѣйшее изложеніе основывается также главнымъ образомъ на перепискѣ Форстера.

²⁾ Briefe an eine Freund. I, 167.

³⁾ Ibid. I, 276.

фальскомъ округѣ и занимался устройствомъ аахенскаго управленія. Затѣмъ съ другимъ рекомендательнымъ письмомъ Форстера онъ явился къ Якоби, въ Пемпельфортъ. Онъ долженъ былъ поселиться у него и радушное гостепріимство послѣдняго задержало его такъ долго, что ему пришлось отказаться отъ своего намѣренія — навѣстить свою пирмонтскую знакомую въ домѣ ея родителей. Начало лекцій призывало его назадъ въ Геттингенъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что Гумбольдтъ приходитъ сразу въ соприкосновеніе съ цѣлой массой людей, возрѣнія и дѣятельность которыхъ въ большей или меньшей степени противорѣчатъ возрѣніямъ и дѣятельности его берлинскихъ друзей и наставниковъ. Даже больше — они находятся стчаси въ партійномъ противорѣчій. Люди чувства и вѣры, богато одаренные и восторженныя, вели именно тогда съ берлинцами борьбу, полную страстнаго одушевленія. Трезвенный Николаи въ своихъ «Путевыхъ замѣткахъ» первый указалъ на опасность, угрожающую протестантизму и просвѣщенію со стороны неутомимаго въ своей дѣятельности папизма и іезуитскихъ происковъ. Berliner Monatsschriftъ вскорѣ присоединилась къ нему. Въ Бистерѣ горячее рвеніе къ просвѣщенію и интересамъ разума соединилось съ неутомимымъ трудолюбіемъ библіотекаря и статистика. Какъ горячій другъ свѣта и права, какъ добрый протестантъ, онъ чувствовалъ глубокое и честное отвращеніе ко всему, что носило пмя предразсудка и суевѣрія. Честный, правдивый, благородный, онъ пылалъ гнѣвомъ противъ всего, что походило на обманъ и былъ непримиримымъ врагомъ всякой интриги, всякихъ тайныхъ ухищреній. Наконецъ, какъ практикъ и реалистъ, онъ не могъ дѣлать себѣ иллюзіи относительно прочности положенія протестантизма и безвредности обскурантскихъ усилій. Неопытное добродушіе и добродушный идеализмъ Гарве разстраивали и сердили его; онъ обладалъ инстинктомъ правителя, который долженъ былъ еще развиться благодаря его положенію секретаря при министрѣ Цедлицѣ. Просвѣщеніе и его противоположность были для него не только духовными, но чмѣстъ съ тѣмъ и практическими и государственными вопросами. Онъ считалъ себя призваннымъ содѣйствовать имъ путемъ литературы, такъ точно, какъ Фридрихова политика содѣйствовала имъ государственными мѣрами. Поэтому Allgemeine Monatsschriftъ сдѣлалась полицейскимъ бюро на службѣ просвѣщенія, въ которое сообщалось обо всемъ подозрительномъ и преступномъ. Всегда хорошо освѣдомленные путемъ чтенія, сношеній и переписки Бистеръ и его друзья были неутомимы въ сообщеніи фактовъ и документовъ, въ обличеніи іезуитскихъ происковъ и католическихъ попытокъ совращенія, въ раскрытіи опасности, угрожающей со стороны распространяющихъ свою дѣятельность тайныхъ обществъ, мистицизма и суевѣрія. И все это безспорно не были призраки. Нѣкоторые изъ приведенныхъ доказательствъ

были непреложны, нѣкоторые изъ раскрытыхъ попытокъ свращенія были очевидны; другія, казавшіяся мѣже безспорными, нашли въ послѣдствіи блестящее подтвержденіе. Конечно, съ другой стороны, во всемъ этомъ было кое-что, не заслуживающее безусловнаго одобренія. Дѣлаемые сообщенія страдали часто нескромностью; сдѣланные изъ нихъ выводы были не всегда убѣдительны; литературная полиція просвѣщенія ошибалась иногда въ своихъ предположеніяхъ, она чула іезуитскіе происки, гдѣ ихъ не было. Предполагая вездѣ и во всемъ интриги, слишкомъ усердные изъ нихъ припимали сами видъ интригановъ, они имѣли свою, нѣсколько узкую мѣрку того, что умно и просвѣщенно. Они думали, какъ замѣтилъ имъ Якоби, что «ихъ мнѣніе есть разумъ и разумъ есть ихъ мнѣніе». Ихъ просвѣтительное усердіе имѣло фанатическую окраску, и ихъ бдительность отдавала инквизиціей и духомъ гоненія.

Неудивительно, что официальные фizioноміи, съ которыми берлинцы стояли на стражѣ своего реалистическаго Сіона, опираясь на свое просвѣщеніе, возбуждали неудовольствіе въ кругу тѣхъ людей, которые и безъ того не симпатизировали этой сухой разсудочности и полагали, что носятъ въ своихъ богато одаренныхъ душахъ новую, болѣе высокую духовную жизнь. Противоположность этихъ направленій рѣзко сказала уже въ Якоби-Мендельсоповскѣмъ спорѣ о Лессингѣ. Въ свою очередь берлинцы привлекли къ своему суду безумства и нелѣпости Лафатера; примѣромъ этого представителя самой вздорной мечтательности и мистификаціи, этого главнаго святого и пророка новаго вида геніальности, они иллюстрировали опасности, угрожающія протестантизму со стороны подстерегающаго его іезуитизма и католицизма. Этого нельзя было простить; и въ рядахъ людей «чувства и геніальности» вдругъ разразилась буря противъ николаястовъ и бистеріанцевъ. Тѣ преслѣдовали избытокъ вѣры и суевѣрія во всѣхъ ихъ видахъ, а Шлоссеръ, Якоби и Лафатеръ отвѣчали имъ упрекомъ въ невѣрія и натурализмъ; ихъ называли «шпіонами и товарищами шпіоновъ, іерархами и инквизиторами», ихъ упрекали въ «философскомъ папизмѣ, ханжествѣ и іезуитизмѣ». Особенно разгорячился Якоби, разгорячился такъ, что самъ Гаманъ долженъ былъ воззвать къ нему, чтобы онъ оставилъ перо и въ своемъ полемическомъ азартѣ противъ враждебныхъ берлинцевъ не канулся въ объятія ихъ «болѣе ортодоксальныхъ и ярыхъ противниковъ». Онъ, какъ и Шлоссеръ, охотно призвалъ бы духъ Лессинга для борьбы съ тѣми, которые называли себя друзьями Лессинга par excellence. Но тщетно было уснащать свои декламации противъ берлинцевъ цитатами изъ Антигёцевскихъ статей, загромаждая ихъ въ то же время Гамановой и Лафатеровой напыщенностью. Его чувство, его натура, его темпераментъ гибли вмѣстѣ съ его умомъ благородствомъ, лессингианствомъ, и прежде чѣмъ онъ успѣлъ оглянуться,

онъ сталъ нетерпимѣе, несправедливѣе и виновнѣе своихъ противниковъ. Онъ думалъ защитить разумъ, а защитилъ только глупца, какъ Лафатеръ, и негодяя, какъ Штаркъ. Онъ возмущался шпионствомъ, заподозриваніемъ, доносами и въ то же время въ глубинѣ своего благороднаго сердца былъ убѣжденъ, что честный Бистеръ по меньшей мѣрѣ «негодяй».

Съ этимъ-то человѣкомъ, безспорно самымъ значительнымъ изъ всего кружка гениальностей, познакомился Гумбольдтъ черезъ посредство Форстера. Въ этомъ посредствѣ, впрочемъ, не нуждался другъ Бистера и другихъ антиякобитовъ. Радущій хозяинъ Пемпельфорта, поручившійся даже передъ Николаемъ въ томъ, что за его столомъ онъ не найдетъ пира лангеовъ принялъ молодого человѣка какъ дружелюбнѣе, которое его столько же удивило, сколько и обрадовало. Джентльмэнъ пришелъ къ джентльмену, человѣкъ ума къ другому человѣку ума. Младшій былъ подкупленъ предупредительностью, чистосердечіемъ и общительностью старшаго, тотъ въ свою очередь—отзывчивою и вдумчивою впечатлительностью, необычною для берлинца, а также въ значительной степени и надеждой найти въ немъ ученика и послѣдователя. Оба были взаимно польщены и почувствовали влеченіе другъ къ другу; оба нахвалиться не могли другъ другомъ. Гумбольдтъ находилъ у своего хозяина большое богатство новыхъ, значительныхъ и глубокихъ идей и восхищался живымъ и прекраснымъ языкомъ, которымъ онъ излагались. Онъ удивлялся благородству характера Якоби и не могъ сказать, завоевалъ ли онъ его умъ или скорѣй его сердце ¹⁾. Якоби, съ своей стороны, нашелъ у него умозрительный умъ необыкновеннаго калибра, какихъ мало, и былъ очень радъ возможности пофилософствовать съ нимъ вволю—такъ, какъ ему удавалось философствовать только съ своимъ другомъ Виценманомъ ²⁾. Эта философская бесѣда длилась всѣ шесть дней, втеченіе которыхъ Гумбольдтъ гостилъ у Якоби. Они условились переписываться и предполагали свидѣться будущю осенью, если не удастся раньше.

Совершенно естественно было удовольствіе, вынесенное Гумбольдтомъ изъ знакомства съ Якоби; удивительно, напротивъ, то вѣрное и тонкое сужденіе объ его умѣ и характерѣ, которое онъ, несмотря на то, себѣ составилъ; не менѣе удивительна и та самостоятельность, съ которой онъ умѣлъ себя держать по отношенію къ увлекательному Якоби. Завязавшееся знакомство продолжалось. Въ постоянной перепискѣ обсуждались далѣе темы, затронутыя въ устной бесѣдѣ. Чтобы повидаться съ Якоби во время его поѣздки въ Пир-

¹⁾ Гумбольдтъ въ письмѣ къ Форстеру, G. W. I, 272. Эти нисыма служить однимъ изъ источниковъ и для дальнѣйшаго.

²⁾ Письмо Якоби къ Форстеру, Werke Jacobi's III, 513.

монть, Гумбольдтъ ѣздилъ лѣтомъ слѣдующаго года въ Ганноверъ; здѣсь онъ провелъ пять дней, почти непрерывно въ обществѣ Якоби и вмѣстѣ съ нимъ въ кругу Реберга, Брандеса и Циммермана. При этомъ свиданіи для него выступила опять рельефно личная симпатичность Якоби, онъ понялъ, насколько его значеніе обусловливается именно свойствами его личности. При этомъ отъ него не ускользнули и слабыя стороны этой личности—его раздражительность и то возвышенное тщеславіе, которое облагораживалось сознаніемъ цѣнности его идей. Еще менѣе подчинялся онъ, несмотря на свое неизмѣнное уваженіе къ его умственнымъ дарованіямъ и характеру, его странностямъ и эксцентричности. Для него скоро стало яснымъ, какъ одной сторонѣ Якоби иногда судилъ. Однимъ изъ предметовъ ихъ переписки было, что сверхчувственное не можетъ быть созерцаемо, какъ утверждалъ Якоби, и что такое утвержденіе ведетъ къ мистицизму. Въ его философіи онъ усматривалъ опасное пренебреженіе формальными элементами познанія. Во всѣхъ этихъ пунктахъ его чистый, глубокий, трезвый и неподкупный умъ боролся противъ философіи чувства своего друга и вышель нетронутымъ изъ соприсношенія съ его идеями и пагосомъ. Настолько онъ оставался еще вѣрнымъ Берлину и, рискуя испортить свои отношенія съ Якоби, являлъ ему откровенно при подходящемъ случаѣ, что онъ совершенно не согласенъ съ нимъ въ оцѣнкѣ нравственныхъ свойствъ Бистера.

Совершенно другого характера было его отношеніе къ Форстеру. Глубоко различными путями шло ихъ развитіе,—какъ внѣшнее, такъ и внутреннее. Гумбольдтъ выросъ среди комфорта и беззаботности богатства. Форстеру въ самой ранней юности пришлось познакомиться съ горечью бѣдности, съ принудительною работою ради хлѣба насущнаго. Среди уединенія отцовскаго помѣстья и въ образованнѣйшихъ общественныхъ кругахъ столицы началось образованіе перваго. Второй пересталъ быть ребенкомъ въ томъ возрастѣ, когда другіе именно становятся дѣтьми. Самое ученіе въ его дѣтствѣ походило на научныя занятія взрослого. Онъ учился, какъ и жилъ, насущнымъ пропитаніемъ. Въ томъ возрастѣ, когда Гумбольдтъ находился еще подъ опекой гувернера, Форстеръ учительствовалъ и писательствовалъ уже самъ. Семнадцати лѣтъ онъ сопровождалъ отца къ его кругосвѣтному путешествію, двадцати—сдѣлалъ описаніе этого путешествія. Онъ долженъ былъ жить, дѣйствовать, работать, прежде чѣмъ получилъ воспитаніе: свѣтъ былъ его школою, жизнь его воспитательницей. И выйдя изъ этой бурной школы, изъ практической жизни въ идейную, онъ и тутъ въ силу случая шелъ совершенно противоположнымъ путемъ. И какимъ противоположнымъ путемъ велъ его случай по выходѣ изъ этой бурной школы, при переходѣ изъ практической жизни къ идейной! Онъ попалъ прежде всего въ кружокъ Якоби, и именно это направленіе чувства и вѣры захватило его и

внушило ему; глубокую антипатію къ людямъ, которымъ Гумбольдтъ былъ обязанъ своимъ первымъ образованіемъ. Онъ былъ совершенно готовъ броситься очертя голову въ море нѣмецкой мистики и мечтательности: мальчикомъ его манили чудеса океана и отдаленныхъ странъ; теперь его привлекаютъ мистеріа розенкрейцеровъ. Но его здоровая натура, его здравый, воспитанный не на умозрѣніи умъ вскорѣ его освобождаетъ и ведетъ его отъ аскетической и мечтательной вѣры обратно къ молодой жизнерадостности и рационалистическимъ воззрѣніямъ. Такимъ Гумбольдтъ зналъ его въ Геттингенѣ и Майнцѣ. На него сразу подѣйствовала внушающимъ образомъ его личность и вся его манера; онъ былъ счастливъ дружбой и довѣріемъ, которыми оказывалъ ему Форстеръ. Любезность молодого путешественника была чарующаго характера. Въ его открытомъ лицѣ, въ его большихъ свѣтлыхъ глазахъ, отражалась горячность его души и дѣтское простодушіе его сердца. Его пылкая стремительная рѣчь проникала въ душу; совершенно особенный юношескій отпечатокъ лежалъ на всемъ его существѣ, тѣмъ болѣе захватывающій, что тридцати лѣтъ онъ имѣлъ уже позади цѣлую жизнь, полную нужды, труда и испытаній. Къ старшему и болѣе его опытному человѣку Гумбольдтъ чувствовалъ почтеніе, но отъ его юношескаго пыла воспламенялось все, что и въ немъ было еще молодо. То и другое его привлекало, въ томъ и другомъ онъ чувствовалъ часть своей собственной природы, потому что и въ немъ также Форстеръ цѣнилъ «юношескую горячность чувства при такомъ мужественномъ умѣ, при такомъ зрѣломъ, свободномъ отъ предразсудковъ сужденіи». И эта двойственность, это соединеніе сердечной мягкости съ мужественнохолоднымъ и сильнымъ умомъ составляло дѣйствительно особенность природы Гумбольдта, въ то время еще отличавшейся естественною живостью и свѣжестью юности—она не было еще прикрыта и сглажена дипломатическою практикою. То же самое онъ встрѣтилъ и въ другѣ; онъ удивлялся плодотворному богатству его идей, возникающихъ при каждомъ удобномъ случаѣ, живой ясности, съ которою онъ ихъ излагалъ. Онъ встрѣтился съ нимъ въ одинаковомъ рвеніи и энтузіазмѣ къ истинѣ и добру; его собственному мягкому, кроткому, деликатному характеру совершенно соответствовала деликатность друга по отношенію ко всему, что другіе считаютъ истиннымъ и хорошимъ. Нѣжное, чувствительное сердце Гумбольдта воспламенилось любовью отъ того сердца, которое само такъ охотно привязывалось, такъ охотно дарило счастье любви. Онъ любилъ тогда Форстера, онъ обожалъ его, какъ молодые люди обожаютъ поэта, который пользуется привилегіей поэзіи, показываетъ имъ, ихъ собственный душевный міръ въ блестящемъ, позолоченомъ огнемъ фантазій видѣ. Слабыя стороны любимаго поэта не замѣчаются, потому что ихъ любимецъ—поэтъ, и они сами молоды. Совершенно такъ относился Гумбольдтъ къ Форстеру;

слабыя стороны Форстера были такого рода, что онъ должны были ускользнуть отъ вниманія юнаго Гумбольдта, но могли ускользнуть именно только у юнаго. Что объяснялось въ Гумбольдтѣ его молодостью, то у Форстера составляло сложившуюся черту характера; то, что давало ему превосходство надъ Гумбольдтомъ, чѣмъ онъ могъ ему импонировать, было именно такого рода, что только юноша не могъ ему противиться. Зрѣлый мужъ выбираетъ себѣ обыкновенно другого поэта-любимца, чѣмъ мальчикъ. То же самое произошло и въ отношеніяхъ Гумбольдта къ Форстеру, котораго онъ считалъ въ 1788 и 1789 гг. наиболѣе близкимъ для себя человекомъ; между ними «существовало полное пониманіе, какого онъ не испытывалъ ни съ кѣмъ другимъ». Между тѣмъ подъ конецъ своей жизни, когда Форстеръ уже давно лежалъ въ землѣ, гдѣ нашель успокоеніе отъ страданій, до времени приведшихъ его къ могилѣ—цѣлое поколѣніе и даже болѣе успѣло сойти съ арены жизни, Наполеонъ побѣдилъ Европу и Европа въ свою очередь побѣдила Наполеона,—Гумбольдтъ высказалъ о Форстерѣ мнѣніе, своею безстрашною жесткостью рѣзко отличающееся отъ восторженнаго тона писемъ, которыя онъ когда то писалъ къ нему изъ Геттингена. Въ основаніи этого поздняго сужденія лежалъ полный контрастъ ихъ жизненныхъ путей, полное различіе ихъ характеровъ. Ту горячность чувства, которая нѣкогда его согрѣвала, онъ называетъ теперь кажущеюся; въ глубинѣ чувства онъ ему также отказываетъ: вездѣ у него, говоритъ онъ, замѣчалась «оглядка на себя», дажо его способность къ самопожертвованію имѣла въ своемъ корнѣ, какъ побудительный мотивъ, самодовольство и потребность проявлять себя ¹⁾. Справедливо ли это мнѣніе или нѣтъ—во всякомъ случаѣ оно не было мнѣніемъ Гумбольдта въ описываемую нами эпоху. Отношеніе юноши Гумбольдта къ Форстеру было также сердечно, какъ впоследствии отношеніе зрѣлаго мужа къ Шпллеру. Не разъ уже дѣлались справедливыя попытки провести параллель между тѣми и другими отношеніями, такъ же какъ справедливо сравнивали Форстера съ Шиллеромъ. Какъ люди и какъ писатели, они имѣли много общаго. И идеалистическій полетъ ума, и любовь ко всему свободному и гуманному, и нерасположеніе къ отвлеченному умозрѣнію рядомъ съ такою сильною склонностью къ философствованію, и мужественная серьезность въ соединеніи съ юношескимъ пыломъ, и влеченіе къ риторикѣ и паѳосу, такъ же какъ и легкость украшенной вымысломъ дикція—все это въ одномъ постоянно напоминаетъ другого. Но еще болѣе сходства въ томъ, чѣмъ они оба были для Гумбольдта. Именно перечисленные выше качества привлекали его въ одномъ, какъ и въ другомъ. И въ томъ, и въ другомъ онъ нашель то, въ чемъ всегда

¹⁾ Briefe a c F. II, 19.

всего болѣе нуждался. Онъ былъ человѣкомъ ума скромнаго и робкаго, тихій и впечатлительный, рѣдко склонный къ инициативѣ; запасъ идей, дремавшій въ немъ, нуждался въ бесѣдѣ, какъ средствѣ пробудить и привести въ движеніе эти идеи. Именно это живое движеніе умственной жизни, которое почти постоянно кипѣло въ Форстерѣ и Шиллерѣ, было необходимо для того, чтобы дать ему толчекъ, подогрѣть его. Оба они обладали тою легкою продуктивностью, которой ему не доставало; оба отличались тою энергіею мысли и чувства, передъ которою его робкій умъ, приведенный въ дѣйствіе полученнымъ толчкомъ, не колеблясь, раскрывался и сообщался.

Кромѣ этой однородности въ натурахъ Форстера и Гумбольдта, кромѣ того благороднаго оживляющаго вліянія, которое Форстеръ на него имѣлъ, они совершенно сходились въ своихъ воззрѣніяхъ, въ исходной точкѣ своего міросозерцанія. Выйдя изъ противоположныхъ крайностей, они сошлись въ одномъ общемъ среднемъ пунктѣ. Форстеръ освободился отъ мистицизма, но несмотря на то, не перешелъ въ лагерь просвѣтителей. Гумбольдтъ рано нашелъ въ своемъ душевномъ мірѣ дополненіе къ раціоналистической односторонности берлинцевъ, но однако не нарушилъ верховенства ума надъ сердцемъ и предоставлялъ уму всегда первое мѣсто. Оба сошлись въ той удивительной ясности, съ какою смотрѣли на все, въ безпристрастной и истинно гуманной оцѣнкѣ всего человѣчнаго. Они оба любили ясность и избѣгали только сухости разсудка. Глубина человѣческаго духа была имъ хорошо извѣстна, но не представляла для нихъ опасности. Ихъ нормальное зрѣніе было одинаково свободно, какъ отъ близорукости николаистовъ, такъ и отъ блуждающаго въ дали взора якобитовъ, и, главное, оба они были выше пристрастія и фанатизма какъ того, такъ и другого лагеря. Вообще они не были людьми извѣстной школы: Форстеръ, по общему признанію, дилетантъ въ философскихъ вопросахъ, Гумбольдтъ только еще новичекъ въ изученіи твореній Канта,—они сходились, слѣдовательно, во всемъ, что касалось человѣческаго вообще, какъ въ смыслѣ теоретическихъ взглядовъ, такъ и въ смыслѣ пратическихъ вопросовъ, были одинаковаго образа мыслей, какъ въ научныхъ, такъ и въ гуманитарныхъ вопросахъ. Они тѣмъ болѣе чувствовали себя въ этой области единомышленными, что въ силу интересовъ, волновавшихъ тогдашнюю умственную жизнь, между ними заходила рѣчь только о самомъ общемъ или, наоборотъ, о самомъ индивидуальномъ. Чтобы быть единомышленными, въ то время достаточно было имѣть одинаковый вкусъ въ литературныхъ вопросахъ и думать согласно о высшихъ матеріяхъ, о религій, а Гумбольдтъ и Форстеръ были особенно въ послѣднемъ вопросѣ совершенно согласны. Точка зрѣнія Форстера исходила изъ абсолютной гуманности, или говоря иначе, была точкой

зрѣнія Лессинга. Онъ обладалъ тою истиною, тою безусловною терпимостью, которая становится въ силу этого религіей. Въ этомъ отношеніи, онъ — этотъ протестантъ въ католическомъ государствѣ, другъ Лихтенберга и Якоби, указывалъ на примѣръ Англіи, гдѣ свободнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, пользуются правомъ исповѣдывать и проповѣдывать любую религію, и гдѣ тѣмъ не менѣе существуетъ истинная религіозность, и даже благочестивая и слѣпая гѣра непоколебимо продолжаетъ существовать. Такъ писалъ Форстеръ, и Гумбольдтъ находилъ это соответствующимъ тому духу, въ которомъ онъ многое желалъ бы видѣть написаннымъ. Онъ самъ написалъ тогда первый набросокъ той статьи о религіи которая вошла потомъ въ его первое сочиненіе; тамъ онъ въ полномъ единеніи съ Лессингомъ и Форстеромъ развиваетъ мысль, что религія имѣетъ совершенно субъективный характеръ, обусловленный особенностями характера представленій каждаго даннаго человѣка, что человѣкъ долженъ всегда питать уваженіе къ образу мыслей и чувствъ другого, что слѣдовательно безусловная терпимость есть единственно разумное отношеніе, возможное какъ для государства, такъ и для отдѣльныхъ личностей, въ вопросахъ религіознаго чувства и исповѣданія. Ихъ единодушіе имѣло случай проявиться и болѣе убѣдительнымъ образомъ. Въ августовской книжкѣ за 1789 годъ *Berliner Monatsschrift* помѣстила новый документъ, предостерегающій противъ опасностей, угрожающихъ протестантской религіи. Она напечатала письмо одного чиновника изъ Рейнской области, адресованное къ католичкѣ, вдовѣ протестанта, въ которомъ пишущій письмо ея другъ отсовѣтываетъ ей воспитывать сыновей въ протестантской религіи. Это письмо должно было, разумѣется, поставить къ позорному столбу ищущаго прозелитовъ чиновника и служить устрашающимъ примѣромъ коварства католиковъ, вербующихъ исполтишка для своей религіи прозелитовъ. Изъ мухи сдѣлали слона, съ послѣпшною нескромностью вывели на судъ публики человѣка безукоризненной репутаціи. Такой пріемъ возмутилъ Форстера, онъ считалъ его и негуманнымъ, и нетерпимымъ, и неприличнымъ, и нечестнымъ. Поэтому онъ сталъ на этотъ разъ на сторону Гарве, Якоби и Шлоссера, но выступилъ иначе — съ болѣе убѣдительными доводами, чѣмъ Гарве, съ болѣе благородною страстностью, чѣмъ Якоби. Противъ нетерпимости просвѣтителей защищаетъ онъ въ сочиненіи, озаглавленномъ *Ueber Proselitenmacherei* (О прозелитическомъ рвеніи) истинную терпимость. Онъ высказывается за Лессинговскій протестантизмъ любви и абсолютной свободы духа. При помощи какъ практическихъ, такъ и философскихъ аргументовъ борется онъ противъ *Nul l'auga d'ésprit hors nous et nos amis* и противъ клерикальныхъ пріемовъ берлищевъ. Самымъ определеннымъ образомъ высказывается онъ противъ ихъ страсти къ заподозриванію и ихъ нескромнаго образа дѣйствія и заключаетъ

словами Лессинга из Натановой басни о трех кольцах. Сотрудником его в сочинении был Гумбольдт, вторично приехавший как раз тогда, в сентябрь 1789, на два недели к своему другу в Майнц. Исход редакцией его и Земмеринга был написан этот манифест больше свободного воззрения на религиозные и жизненные задачи против мелочно-ограниченной точки зрения берлинских журналистов. Ежедневно прочитывал Форстер своим друзьям написанное им и изменял то, что Гумбольдт находил недостаточно определенным или Земмеринг — недостаточно оговоренным. Ежедневно философствовали друзья на тему этого сочинения и, когда оно было готово, Гумбольдт мог бы вполне подписать его. Это было и его исповедывание веры, совершенно определяющее его положение как справа, так и слева, и действительно, Якоби был сильно недоволен первым сведением, а Бистер, которому оно было послано для помещения в *Berliner Monatschrift*, напечатал его только после продолжительного колебания и то с оговорками.

По истине странно! Будущий революционер Форстер и будущий государственный человек — Гумбольдт неутомимо спорили о свободе совести и прозелитическом рвении, о просвещении и терпимости, — спорили как раз в тот момент, когда во Франции совершался тот великий государственный переворот, который в течение полувѣка подвергал жесточайшим потрясениям цѣлую Европу. Удивительнее еще на самом дѣлѣ, чѣм оно представляется на первый взгляд, ибо не из Геттингена приехал на этот раз Гумбольдт в Майнц, а прямо с театра революція. То, что заключалось человѣчески-великаго и интереснаго въ тѣхъ событіяхъ, о которыхъ съ іюня 1789 говорили всѣ газеты, не могло отъ него ускользнуть. Именно осенью этого года онъ закончилъ свое университетское образованіе; въ это время ему представился случай видѣть Парижъ въ самомъ лучшемъ обществѣ: его прежній воспитатель, Кампе, посвятившій себя въ Брауншвейгѣ просвѣтительно-педагогической дѣятельности на почвѣ литературной и книгопродавческой, въ полномъ восторгѣ отъ этихъ газетныхъ извѣстій, рѣшилъ присутствовать собственною персоною при «погребеніи французскаго деспотизма». Въ Гольцмиנדѣ Гумбольдтъ съѣхался и съ третьимъ компаніономъ и 19 іюня они выѣхали оттуда черезъ Вестфалію и Брабантъ въ Парижъ ¹⁾. Уже въ Аахенѣ они узнали о взятіи Бастиліи и видѣли толпы французскихъ бѣглецовъ. Это заставило ихъ ускорить свое путешествіе по встревоженному Брабанту, чтобы видѣть хоть второй актъ великаго міроваго событія. Они достигли своего намѣренія. Запасившись въ Аахенѣ и Лютихѣ французскими и прусскими паспортами, а въ Валансиенѣ новой національной кокардой, прибыли они 3 Августа

¹⁾ Briefe a. e. F. II. 189.

въ Парижъ, какъ разъ въ надлежащій моментъ, чтобы быть свидѣтелями энтузіазма, въ который весь Парижъ былъ повергнутъ событіями слѣдующей ночи. Они постарались использовать во всѣхъ отношеніяхъ немногія недѣли, опредѣленные ими для своего пребыванія въ Парижѣ. Они не упустили изъ виду какъ достопримѣчательностей стараго Парижа, такъ и чудеса новой Франціи. Съ сугубымъ интересомъ осматривали они Палэ-Рояль, Тюльери и театръ борьбы 14 іюля. Они любовались красотами Версаля, были зрителями и слушателями преній въ Национальномъ Собраніи. Случай доставлялъ имъ возможность замѣшаться между депутатами, подносящими 13 Августа Людовику XVI адресъ, привѣтствовавшій его какъ возстановителя французской свободы. Имъ удалось также присутствовать въ день Св. Людовика въ засѣданіи французской академіи; еще ранѣе, чтобы не упустить чего бы то ни было, стояшаго въ связи съ Парижемъ и революціей, они предприняли паломничество въ Эрменонвиль, на могилу Руссо.

Къ сожалѣнію, мы имѣемъ объ этомъ путешествіи въ Парижъ только сообщеніе Кампе ¹⁾, въ которомъ, какъ само собою разумѣется, главное дѣйствующее лицо самъ Кампе. Тѣмъ не менѣе не подлежитъ сомнѣнію, что для Гумбольдта все видѣнное представлялось не совсемъ въ томъ свѣтѣ, въ какомъ оно представлялось почтенному канонику, который, дѣйствительно, разсматривалъ все съ престоудшесімъ ребенка. Въ Германіи онъ заучилъ слова: свѣтъ, истина, просвѣщеніе, разумъ; то, что онъ видѣлъ во Франціи, представлялось ему, какъ осуществленіе этихъ словъ. Въ революціи онъ видѣлъ торжество разума, неразрушимый и ненарушимый продуктъ «культуры и просвѣщенія», который созрѣлъ во Франціи болѣе, чѣмъ гдѣ либо на землѣ. А за культуру и просвѣщеніе онъ принималъ все, съ чѣмъ здѣсь встрѣчался: и любезность почтмейстера, и вѣжливость таможенныхъ чиновниковъ, и легкомысліе народа, и остроуміе габена. Даже въ ужасающей фривольности и жестокости черна онъ находилъ еще слѣды ума и подтвержденіе своего вѣчнаго прѣлѣва: отнынѣ тщетны будутъ всѣ установленія деспотизма для подавленія разума. Въ комнатѣ, въ которой умеръ Руссо, стоя противъ островка, на которомъ покоится прахъ автора Эмиля, нашъ почтенный филантропъ окончательно одурѣлъ. И въ его молодомъ спутникѣ была немалая доля сентиментальности и несомнѣнно немалая доля сочувствія къ идеямъ, страданіямъ и славѣ Жанъ Жака, но сужденіе и чувство его были такъ глубоки, что сентиментальная рутинна и поверхностное одушевленіе Кампе нарушали то благоговѣнное настроеніе, ко-

¹⁾ Въ его *Reise von Braunschweig nach Paris* (Путешествіе изъ Брауншвейга въ Парижъ) и въ особенности въ *Briefe aus Paris, zur Zeit der Revolution geschrieben*. (Письма, писанныя изъ Парижа во время революціи).

торое при другихъ обстоятельствахъ заставило бы и его пролить слезу. Вопреки своему образованію въ духѣ просвѣщенія, онъ не раздѣлялъ ни образа мыслей, ни сужденій своего учителя въ отношеніи характера и хода революціи. Онъ врядь ли былъ достаточно зрѣлъ, врядь ли обладалъ достаточною прозорливостью, болѣе этого—онъ не имѣлъ настолькоъ влеченія и интереса къ государственнымъ вопросамъ, чтобы отважиться высказать прагматическое сужденіе о дальнѣйшемъ развитіи, послѣдствіяхъ и исходѣ движенія. Такого быстро сложившагося убѣжденія, такого не знающаго сомнѣній энтузіазма парижскія событія въ немъ не вызвали; онъ описалъ Форстеру парижскую свободу въ такомъ свѣтѣ, что и тому она совсѣмъ не показалась райскою. Вообще онъ смотрѣлъ на нее, какъ намъ кажется, скорѣе съ точки зрѣнія философа, чѣмъ политика; политическая сторона интересовала его меньше, чѣмъ общечеловѣческая. То, что онъ всегда съ страстнымъ интересомъ изучалъ въ отдѣльныхъ явленіяхъ, то самое онъ изучалъ здѣсь въ цѣломъ. Точно такъ, какъ онъ наблюдалъ движеніе людей въ Палэ-Роялѣ, осматривалъ и наблюдалъ онъ и все, что революція передъ нимъ выдвигала, видя и въ томъ и въ другомъ только сцены и картины человѣческой жизни, только въ большемъ и наибольшемъ масштабѣ. И весьма вѣроятно, что и тутъ еще частности были для него интереснѣе цѣлаго—возможно, что фигура и фізіономія Мирабо привлекали его больше, нежели пренія Національнаго Собранія, рѣчь аббата Бартеlemi—болѣе, нежели торжественная обстановка академіи. Онъ имѣлъ прекрасный случай наблюдать цѣлую націю въ самый интересный моментъ. Не менѣе цѣнилъ онъ, конечно, и возможность видѣть Мерсье и Беркена, Лаланда и Виллуазона и вообще такую массу выдающихся въ политическомъ и литературномъ отношеніи людей.

5 сентября возвратился Гумбольдтъ вмѣстѣ съ Кампе въ Майнцъ. Они выѣхали изъ Парижа 27 августа и совершили обратный путь черезъ Шампань и Мецъ. Но прежде, чѣмъ отправиться въ Берлинъ для отбыванія послѣ окончанія университета пробнаго юридическаго курса, онъ хотѣлъ посмотрѣть еще и другой уголокъ земли, другихъ людей; онъ собрался въ Швейцарію. Его письма къ Форстеру, проводившаго его 22 сентября до Оппенгейма, даютъ намъ возможность возстановить какъ маршрутъ, такъ и способъ его путешествія. Онъ интересуется величіемъ и красотами природы, но не менѣе заманчива для него и возможность расширить свое знаніе людей. Онъ живо чувствуетъ красоты природы. Прекрасное мѣстоположеніе Гейдельберга, разнообразный ландшафтъ долины Неккара внушаютъ ему вдумчивое чувство. Величественныя картины швейцарской природы возбуждаютъ его чувство и фантазію, притомъ такъ, что эти впечатлѣнія переводятся тотчасъ въ область духовнаго и человѣческаго. Возвышающіяся горныя вершины, одѣтыя снѣгомъ скалистыя массы про-

буждаютъ въ его душѣ предчувствіе неизмѣримо далекой, постоянно разрушающей и созидающей будущности. Въ тѣснотѣ замкнутыхъ недоступными вершинами долинъ онъ чувствуетъ, какъ все близкое, современное, извѣстное въ его душѣ исчезаетъ, уступая мѣсто обвѣвающимъ его грезамъ о прошедшемъ, будущемъ, далекомъ. Онъ страстно желаетъ совершить когда нибудь вмѣстѣ съ своимъ Форстеромъ путешествіе въ горы.

Больше чѣмъ объ этихъ впечатлѣніяхъ, можно было сообщить о людяхъ, которыхъ онъ вездѣ разыскивалъ и считалъ эти встрѣчи другою главною цѣлью своего путешествія. О людяхъ — это значить объ ученыхъ и литературныхъ знаменитостяхъ, а не о людяхъ въ цѣломъ, въ массѣ, не о характерѣ страны, племени, націи. Только индивидуумъ, только индивидуальныя мнѣнія людей, ихъ манера, ихъ приемы интересуютъ его. Онъ взялъ навѣрное съ собою списокъ всѣхъ знаменитостей и цѣлую сумку рекомендательныхъ писемъ. Онъ не засталъ Иффлинда въ Мангеймѣ, но въ Гейдельбергѣ съ Мигомъ продолжаютъ уже бесѣды о «нетерпимости разума». Въ Штутгартѣ онъ ведетъ философскіе разговоры съ Абелемъ; встрѣчается съ поэтомъ Шубартомъ. Нѣсколькими штрихами онъ передаетъ впечатлѣніе, которое на него произвели Рейсъ, Швабія и Дрюкъ (Jütk). Далѣе онъ направляется черезъ Тюбингенъ въ Констанцъ и Шафгаузенъ; въ первыхъ числахъ октябри онъ уже въ Цюрихѣ. Другъ Бистера долженъ былъ, разумѣется, познакомиться прежде всего съ личностью, котораго всѣ искатели гениальности, всѣ сентиментальничавшіе чтили, какъ своего апостола — этого страннаго святого, который инымъ представлялся дуракомъ, если не плутомъ. Письмо Якоби ввело его въ домъ фізіономиста, который былъ ему рекомендованъ съ лучшей стороны восторженною дружбой Якоби; судя по тому, что онъ самъ читалъ изъ его сочиненій, онъ надѣялся встрѣтить хотя и фантазера, но во всякомъ случаѣ умнаго фантазера. Однако же Гумбольдтъ оказался настолько опытенъ въ познаніи людей, умъ его былъ такъ безусловно здоровъ, что ни предвзятое въ его пользу мнѣніе, ни вся мишура, которою Лафатеръ былъ окруженъ, не обманули его на счетъ его внутренней пустоты. Для Гёте было нѣчто чарующее въ его энтузіазмѣ; для яснаго ума Гумбольдта эти чары не существовали. Представимъ себѣ, что ему пришлось бы теперь судить о Николаи. Мы совершенно увѣрены, что онъ такъ же ясно созналъ бы односторонность и ограниченность этого просвѣтителя par excellence, какъ и пустоту и скудость героя культа гениальности. Убѣжденіе въ собственной гениальности и претензія казаться умнымъ и глубокомысленнымъ сдѣлали Лафатера дуракомъ. То, что онъ выдавалъ за умъ, было также тривіально, какъ и тривіальности Николаи. Но онъ повторилъ собою исторію Донъ Рандо изъ комедіи: чѣмъ ниже онъ падалъ, тѣмъ онъ становился претен-

ціоанте, чѣмъ бѣднѣе—тѣмъ снѣспвѣе. Чтобы скрыть свою наготу, онъ одѣвался въ лохмотья геніальности, онъ шарлатанлъ своимъ умомъ и ему удалось обмануть не только другихъ, но и себя самого. Этого гостя ему однако же не удалось провести. Цѣлыхъ двѣ недѣли пробылъ Гумбольдтъ въ Цюрихѣ и старался пользоваться каждымъ днемъ, чтобы присмотрѣться поближе къ пророку и къ аппарату его геніальности; уѣзжал, онъ имѣлъ совершенно опредѣленное мнѣніе. Онъ видѣлъ въ немъ мелкую душу—такъ пишетъ онъ Форстеру—у котораго постоянная оглядка на себя, тщеславіе, выраженіе нелѣпныхъ и пошлыхъ сердечныхъ чувствъ и игра словами отнимаютъ всякую силу. Занятія великаго человѣка показалась ему просто ребяческой забавой. Картонные футляры на книжныхъ полкахъ, изреченія въ рамкахъ по стѣнамъ и всѣ другія достопримѣчательности Лафатероваго кабинета открываетъ онъ передъ нами. Гумбольдтъ спрашивалъ себя совершенно справедливо—когда этотъ человѣкъ можетъ заняться сущностью, когда форма отнимаетъ у него такъ много времени? Нѣсколько мягче судилъ онъ о самой фізіономікѣ. Онъ видѣлъ въ ней идею и представлялъ себѣ довольно интереснымъ углубиться въ нее, какъ слѣдуетъ. Но вообще Лафатеръ во всякомъ случаѣ пересталъ быть для него величиной. Мы видимъ, что онъ все болѣе и болѣе опредѣленнымъ образомъ занимаетъ среднее положеніе между крайними пунктами ума и сердца, одинаково готовый признать права обѣихъ сторонъ, одинаково способный видѣть слабыя стороны обѣихъ, питая одинаково отвращеніе къ фанатизму и несправедливости обѣихъ, одинаково возвышающійся надъ скудостью мысли и сухой разсудочностью однихъ, какъ и надъ пошлымъ сентиментальничаніемъ и надъ мишурой геніальности другихъ.

Изъ Цюриха онъ съѣздили въ Цугъ и Люцернъ, исходилъ пѣшкомъ часть Бернскаго Оберланда; затѣмъ на Бернъ и Невшатель отправился въ Базель. Во Франкфуртѣ онъ не могъ миновать брата Якоби. Въ Кольмарѣ онъ видится съ Ифелелемъ, въ Страсбургѣ съ Брункомъ, Германомъ и Оберлипомъ. Въ началѣ декабря онъ вернулся наконецъ къ своему другу Форстеру, въ Майнцъ, познакомившись еще попутно въ Карльсруѣ съ Шлоссеромъ. За письменнымъ отчетомъ послѣдовалъ, надо думать, и устный отчетъ о путешествіи, но Форстеръ и на этотъ разъ и даже сильнѣе прежняго направлялъ разговоръ на политику. Предметомъ разговора были, вѣроятно, положеніе дѣлъ въ нѣмецкомъ государствѣ, турецкая война и, главнымъ образомъ, услѣвшая за это время значительно подвинуться французская революція. Нѣсколько дней спустя, 8 декабря, они разстались. Это было ихъ послѣднее свиданіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Государственная служба и досугъ.

Снова вернулся Гумбольдтъ въ тѣ берлинскіе кружки, изъ которыхъ когда то вышелъ. За этотъ промежутокъ времени какъ ихъ положеніе, такъ и значеніе успѣло измѣниться. Берлинъ 1790 года былъ не совѣтъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ половинѣ восьмидесятихъ годовъ. Надежды, высказанныя Энгелемъ въ его знаменитомъ похвальномъ словѣ Фридриху Великому относительно правленія его преемника, не оправдались ни въ какомъ отношеніи, и менѣе всего въ области религіозной и научной жизни. За либеральнымъ началомъ царствованія Фридриха Вильгельма II послѣдовало быстрое разочарованіе. Просвѣщеніе, пережившее при великомъ королѣ свой золотой вѣкъ, увидѣло себя вдругъ опальнымъ, гонимымъ: *Ecclesia triumphans* разума превратилась вдругъ въ *ecclesia pressa*. Устрашающія сновидѣнія Бистера и компаніи о новомъ вторженіи обскурантизма, казалось, должны были осуществиться въ полной мѣрѣ. За невѣріемъ послѣдовала слишкомъ широкая вѣра. Если Фридрихъ II забавлялся фривольнымъ остроуміемъ Вольтера и дерзкими парадоксами Ла-Меттри, то теперь розенкрейцеры и зачинатели духовъ сдѣлали себѣ забаву изъ легковѣрной слабости Фридриха Вильгельма. Форсированное свободомысліе замѣнилось притворною набожностью. Названіе просвѣщенія служило прежде личиною не только для здороваго, но и для фривольнаго ума; а теперь злоупотребляли почтеннымъ именемъ религіи съ цѣлю поразить ею болѣе свободу, чѣмъ богохульство и вмѣсто мнѣній и совѣсти, не знающихъ подчиненія, властвовать надъ рѣчами и выраженіемъ лица, надъ внѣшними приемами и дѣйствіями людей. Высокообразованнаго и ревностнаго поклонника просвѣщенія, министра фонъ Цедлица, замѣнилъ авантюристъ и невѣжда, тотъ самый Вельнеръ, который полагалъ свое честолюбіе въ угнетеніи свободомыслія и въ быстрой фабрикаціи религіи и благочестія. Явился памятный указъ о религіи. Явился и не менѣ замѣчательный цензурный указъ, имѣвшій цѣлю «положить предѣлъ распушенности такъ называемыхъ теперь просвѣтителей». *Berliner Monatsschrift* принадлежала къ числу наименѣ любимыхъ продуктовъ прессы, ей пришлось болѣе другихъ испытать всю суровость инструкцій данныхъ цензору, а также несправедливость самого цензора. Несмотря на различнаго рода затрудненія Бистеръ и его сотрудники твердо держали свое знамя; къ нимъ присоединился и Гумбольдтъ. Онъ занялъ позицію тамъ, гдѣ все еще находилъ себѣ твердое убѣжище свободный и просвѣщенный духъ Фридрихова правленія, гдѣ оппозиція противъ новаго направленія имѣла легальную почву. Онъ работалъ теперь въ

качествѣ референдаря при верховномъ судѣ (Kammergericht), который, стоя надъ шедшей сверху деморализаціей, непоколебимо хранилъ духъ права и свободы. Онъ представлялъ послѣднее прибѣжище для всякаго законнаго права, въ томъ числѣ и права разума и свободы совѣсти, противъ которыхъ съ такою силою обратилось новое теченіе. По поводу судебного опредѣленія, направленнаго противъ авторъ одного критическаго изслѣдованія помянутаго указа о религіи, онъ высказалъ твердое положеніе, что въ Пруссіи должно быть разрѣшено научное изслѣдованіе законовъ. Другой цензурный случай далъ верховному суду новый поводъ высказать во всеуслышаніе протестъ противъ Вельнеровскихъ максимъ; Гумбольдту, въ качествѣ депутата суда и протоколита, пришлось приэтомъ играть дѣятельную роль вмѣстѣ съ своимъ прежнимъ учителемъ Клейномъ.

Въ началѣ 1791 года рескриптомъ министра воспрещена была продажа опубликованнаго книгопродавцемъ Унгеромъ сочиненія, направленнаго противъ предполагавшагося введенія общаго національнаго катехизиса. Воспрещеніе произошло вопреки разрѣшительной цензурной помѣтки, сдѣланной читавшимъ книгу старшимъ совѣтникомъ консисторіи Цельнеромъ. Направленный съ искомъ объ убыткахъ къ автору и цензору, книгопродавецъ предъявилъ искъ къ послѣднему и дѣло предстало на рѣшеніе верховнаго суда. Рѣшивъ его въ пользу Цельнера и противъ Унгера, онъ рѣшилъ его вмѣстѣ съ тѣмъ и противъ министра. Оправдательный приговоръ основывался на мнѣніи, что, разрѣшая печатаніе, обвиняемый не совершилъ никакого проступка. «Напротивъ», такъ сказано было въ составленныхъ Клейномъ мотивахъ рѣшенія, «обвиняемый заслуживаетъ общественной благодарности за то, что высказалъ свое мнѣніе свободно, безъ постороннихъ соображеній, какъ добросовѣстный и разумный слуга государства и, насколько въ его силахъ, поддержалъ права разума и связанную съ ними честь прусскаго правительства». Гумбольдта радовала какъ его собственная скромная роль, которую онъ игралъ въ этомъ дѣлѣ, такъ и прекрасное рѣшеніе. Если бы ему самому пришлось составить его, онъ сдѣлалъ бы это только не такъ книжно, въ еще болѣе объективномъ тонѣ и тщательно избѣгая всякаго просвѣтительнаго задора. И нужно отдать ему справедливость: его протоколы дѣйствительно, какъ онъ хвалится передъ Форстеромъ, свободны отъ всего этого. То была на самомъ дѣлѣ странная литературная работа; самъ Унгеръ напечаталъ акты этого процесса¹⁾.

¹⁾ Process des Buchdruckers Unger gegen den Oberconsistorialrath Zöllner in Censurangelegenheiten wegen eines verbotenen Buches. (Процессъ книгопродавца Унгера съ старшимъ совѣтникомъ консисторіи Цельнеромъ по поводу запрещенной цензурою книги). Berl. bei Unger 1791. Принадлежащіе Гумбольдту №№ см. стр. 14 и сл., 31 и сл. и 41 и сл. Ср. письмо къ Форстеру l. c. стр. 291.

Не подлежит сомнѣнію, что при характерѣ правленія, подобномъ тогдашнему, положеніе судьи являлось наиболѣе заманчивымъ для человѣка либеральнаго образа мыслей; оно одно давало независимость; оно одно давало возможность, какъ въ выше упомянутомъ случаѣ, противопоставлять произволу право и приносить такимъ образомъ самую разнообразную пользу. Кто занималъ такое положеніе, тотъ несъ обязанность понимать его и дѣйствовать въ этомъ смыслѣ. Для человѣка съ талантомъ и характеромъ, съ умомъ и дарованіемъ, этотъ долгъ еще усугублялся. Какъ ради того, чтобы служить примѣромъ другимъ, такъ и ради результатовъ, отъ него можно было по праву требовать, чтобы онъ оставался на своемъ посту. Такого мнѣнія держались и друзья Гумбольдта въ тотъ моментъ, когда онъ вдругъ объявилъ имъ, что рѣшилъ оставить службу. Разнообразные мотивы содѣйствовали по всей вѣроятности такому рѣшенію. Врядъ ли берлинцы были ему теперь въ той-же степени симпатичны, что и прежде; на тѣхъ, которыхъ онъ нѣкогда наиболѣе уважалъ, онъ смотрѣлъ теперь другими глазами. Политическія условія не могли остаться безъ вліянія и на социальныя; къ тому же, что важнѣе всего, это не былъ надлежащій моментъ для созданія духа общественности и рвенія на пользу государства. За напряженностью и возбужденностью предшествующаго поколѣнія послѣдовали вялое утомленіе и безпечность современнаго. Считалъ же самъ преемникъ Фридриха Великаго, что прусскій король въ правѣ ставить на первое мѣсто наслажденіе жизнью и только на второе—дѣла. Эпикуреизмъ на самомъ дѣлѣ составлялъ общее настроеніе эпохи, и нигдѣ онъ не свирѣпствовалъ такъ во всѣхъ формахъ и отгѣнкахъ, какъ въ столицѣ. И Гумбольдтъ самъ былъ отчасти зараженъ этимъ духомъ, и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе онъ по своей организаціи и по интенсивности своихъ чувствъ былъ наклоненъ къ наслажденію. Существуетъ слишкомъ достаточно доказательствъ, что онъ не пренебрегалъ и чувственными наслажденіями; такъ онъ завязалъ или возобновилъ классическое въ этомъ отношеніи знакомство: съ подружился тогда въ Берлинѣ съ молодымъ Гентцомъ. Правда, что отъ распущенности этого послѣдняго его оберегалъ спокойный темпераментъ, безстрастная холодность его натуры. Отъ гнусности и фривольности берлинской жизни его кромѣ того оберегало благородство его натуры и преобладающая тенденція въ сторону вопросовъ высшаго порядка, какъ интеллектуальной, такъ и эмоціональной жизни. Поэтому то упомянутый эпикуреизмъ берлинской жизни принялъ у него самую благородную форму, па какую онъ только способенъ. Будучи человѣкомъ со средствами, онъ рѣшилъ жить не для государства, а для себя самого. Это былъ тотъ направленный на сферу частной жизни и единичнаго существованія эгоизмъ, который, въ моменты приниженія и паденія общественныхъ интересовъ такъ часто

охватываетъ даже и лучшихъ людей. Его онъ охватываетъ именно такъ, какъ онъ можетъ охватить только лучшихъ. Рѣшая жить для себя, онъ рѣшилъ жить для своего образованія. Отвернувшись отъ общественнаго и общепользнаго мысля его была облагорожена любовью къ высшимъ идеальнымъ интересамъ. Она покоилась или, лучше сказать, вылилась въ цѣлую теорію, въ принципиальное міровоззрѣніе, корни котораго лежали столько же въ характерѣ всей эпохи, сколько и въ индивидуальности самой личности. Въ письмѣ къ Форстеру нѣсколько недѣль спустя послѣ ихъ разлуки, онъ впервые говоритъ объ этомъ направленіи—къ Форстеру, который незадолго передъ тѣмъ высказался передъ нимъ въ духѣ, особенно благоприятномъ для обнаруженія скрытаго до сихъ поръ различія ихъ натуръ и взглядовъ, а именно: чѣмъ болѣе разгоралось въ сосѣдней странѣ революціонное движеніе, тѣмъ сильнѣе въ его безпокойной, живой натурѣ возрастала старая страсть къ движенію и перемѣнѣ; кровь текла быстрѣе въ его жилахъ, и нетерпѣніе все болѣе и болѣе охватывало его въ то время, какъ онъ сидѣлъ за своею конторкою, за которою часто чувствовалъ себя какъ въ заключеніи; его душа жаждала дѣятельности, его восторженная натура стремилась «работать для великаго цѣлаго»; вынужденный жить научно-литературнымъ трудомъ и замкнутый въ тѣсную сферу дѣятельности, онъ возвелъ эту необходимость въ принципъ: это тоже служить «великому цѣлому» и можетъ быть вѣрнѣе, нежели то, что болѣе бросается въ глаза; и тотъ, кто пишетъ книгу для многихъ и вліяетъ такимъ образомъ на ихъ образъ мыслей, тоже служить въ концѣ концовъ «великому цѣлому». Этому плохо скрываемому стремленію выйти изъ своей ограниченной сферы дѣятельности Гумбольдтъ противопоставилъ совершенно другое положеніе, которое онъ годъ спустя подтвердилъ на практикѣ, отказавшись отъ всякой общественной и профессиональной дѣятельности, не смотря на противорѣчія и неодобреніе своихъ друзей. «Для меня, писалъ онъ Форстеру, «служить великому цѣлому» значитъ: вліять на характеръ человѣчества, а на него вліяетъ всякій, какъ только онъ работаетъ надъ собой и только надъ собой». «Нужно только быть великимъ и многимъ (*gross und viel*), люди замѣтятъ это и воспользуются имъ». «Если столь немногое въ жизни осуществляется, то это не потому, что наше положеніе и обстоятельства мѣшаютъ намъ дѣйствовать, а потому, что они мѣшаютъ намъ чѣмъ нибудь стать и быть (*zu werden und zu sein*)». «Ибо дѣйствительно великій, т. е. дѣйствительно умственно и нравственно развитый человѣкъ уже тѣмъ однимъ вліяетъ больше, чѣмъ всѣ другіе, что онъ существуетъ или существовалъ». Съ такими воззрѣніями вступилъ онъ на свое служебное поприще, этими же воззрѣніями объяснялъ онъ свой выходъ въ отставку. Важнѣе, пишетъ онъ одному изъ своихъ друзей, Фридендеру, выполнять свое мѣсто,

велико ли оно или мало, чѣмъ занимать именно то или другое мѣсто; внутреннее величіе важнѣе внѣшняго; стремленіе отъ цѣли къ цѣли заставляетъ умъ разсѣваться; останавливаясь на одной цѣли, онъ выигрываетъ въ силѣ и глубинѣ, и только этотъ выигрышъ и привлекаетъ меня. Въ письмѣ къ Форстеру онъ формулируетъ свой идеалъ какъ «стремленіе къ высшему и многостороннему образованію». «Положенія, пишетъ онъ, что нѣтъ ничего важнѣе, какъ высшая сила и многостороннѣйшее развитіе индивидуальности, и что поэтому первый законъ истинной нравственности: образуй себя самого, и только второй: вліяй на другихъ посредствомъ того, что ты есть—эти максимы слишкомъ входятъ въ мою плоть и кровь, чтобы и могъ отъ нихъ отказаться. И какъ могъ я, проникнутый ими, оставаться въ положеніи, которое не давало мнѣ возможности надѣяться хоть медленными шагами приблизиться къ идеалу, наполнявшему мой умъ и сердце, могло ли меня вознаградить сознаніе пользы, которую я, правда, приносилъ и которую въ будущемъ приносилъ бы въ безконечно большей мѣрѣ? И вотъ я предпочелъ болѣе скромную долю: тихое домашнее существованіе, болѣе тѣсную сферу дѣятельности. Въ ней я могу жить для себя, могу создать для самыхъ близкихъ мнѣ людей пріятное и спокойное существованіе и можетъ быть, если добрый геній подарить меня счастливыми часами—содѣйствовать кое-чѣмъ тому, чему въ сущности служить какъ средство— даже противъ своей воли—вся дѣятельность на землѣ: обогащенію или провѣркѣ нашихъ идей».

Въ Форстерѣ Гумбольдта привлекало и поставило его вмѣстѣ съ нимъ въ среду людей, какъ Бистеръ съ одной стороны и Лафатеръ— съ другой, симпатичное соединеніе свободного отъ предразсудковъ разума съ теплымъ чувствомъ и живою фантазіей, прекрасное и истинно человѣчное въ его натурѣ. Тошій школьный педантъ, какъ онъ однажды выразился, былъ ему такъ же ненавистенъ, какъ и мечтатель. Онъ не любилъ философіи, занимающейся только анализомъ созданныхъ ею же понятій, т. е. собственно только формальными идеями; такъ же мало цѣнилъ онъ и философію, освобождающуюся фантастическими порывами отъ узды формальнаго разума и логики: по его мнѣнію, во всякой наукѣ рядомъ съ анализомъ долженъ идти синтезъ, и расчлененіе, безъ котораго абстракція, конечно, обойтись не можетъ, должно находить поправку, основанную на сознаніи той связи (Coexistenz), которая существуетъ между расчлененнымъ въ конкретномъ бытіи. Задачу истинной науки онъ полагалъ въ наблюденіи природы и въ плодотворномъ сочетаніи сдѣланныхъ наблюденій посредствомъ идей. Это-то стремленіе онъ и уважалъ еще въ Лафатеровой физиономикѣ; эстетическое чувство онъ опредѣлялъ при этомъ случаѣ, какъ орудіе науки, какъ «дѣйствительнаго посредника между смертнымъ взглядомъ и безсмертною первоидеєю».

При помощи этого эстетическаго чувства онъ самъ составилъ себѣ понятіе о личности Форстера, онъ нашелъ въ немъ полное равновѣсіе болѣе идеальнаго и болѣе чувственнаго направленія ума, чувства и фантазіи. Именно поэтому то онъ я впоследствии такъ цѣнилъ его «Виды на низовьяхъ Рейна» (Ansichten vom Niederrhein): и въ нихъ онъ нашелъ то, что ему всегда внушало такое горячее удивленіе, «строгую правильность идей, соединенную съ пламеннѣйшимъ воодушевленіемъ». Но какъ бы въ этомъ сочиненіи ни рисовался для него весь Форстеръ, какъ бы въ его переводѣ Сакунталы ни обнаруживались его высокія чувства, отмѣченный выше контрастъ былъ сильнѣе того родства, которое положило начало ихъ дружбѣ. Въ концѣ концовъ они были люди различной организаціи, къ тому же и во внѣшнемъ ихъ положеніи была огромная разниа. Гумбольдтъ отказалъ своему другу въ статьѣ, о которой тотъ его просилъ, потому что долженъ былъ выждать настроенія, въ которомъ одномъ могли созрѣть идеи, необходимыя для окончанія этой работы. Хорошо было ему говорить о созрѣваніи въ теплицѣ, «которое предоставляется идеямъ тѣмъ, что человекъ садится и размышляетъ». Будь его другъ также добросовѣстенъ, его жена и дѣти насидѣлись бы безъ хлѣба. Только тотъ могъ всецѣло посвятить свою жизнь достиженію индивидуальнаго высшаго и многостороннѣйшаго образованія, кто, взысканный счастьемъ, избавленъ отъ заботъ о хлѣбѣ насущномъ. И даже если бы Форстеръ не былъ Форстеромъ, то и въ такомъ случаѣ его финансовое положеніе не позволило бы ему раздѣлять максимы друга «о высшемъ законѣ истинной морали». Этотъ нравственный законъ былъ на самомъ дѣлѣ—до такой степени мнѣнія людей опредѣляются внѣшними условіями—весьма аристократическій или, собственно говоря, тимократическій законъ.

Тотъ былъ бѣденъ, этотъ богатъ. Одного этого обстоятельства было бы недостаточно, но оно содѣйствовало тому, чтобы сдѣлать одного аполлетомъ вліянія на другихъ, другого—аполлетомъ вліянія на себя самого. Вслѣдствіе разницы въ темпераментахъ, въ характерахъ и поприщѣ дѣятельности, на которомъ они стояли, наконецъ вслѣдствіе разницы въ ихъ внѣшнемъ положеніи—по всѣмъ этимъ причинамъ въ совокупности они начали расходиться. Они все еще продолжали переписываться—и здѣсь проявилась прекрасная, не теряющаяся никогда я впоследствии черта вѣрности и постоянства въ характерѣ Гумбольдта: каждый разъ, когда онъ ему писалъ, въ его памяти становилась воспоминанія о студенческой жизни и внушали ему слова самой искренней и благодарной любви. Несмотря на то, отношенія съ Форстеромъ рѣшительно отошли на задній планъ. Небольшой промежутокъ времени—и они разошлись такъ далеко, что ни ихъ взгляды, ни ихъ голоса не могли бы уже достигнуть другъ друга. Оба они въ своихъ совершенно противоположныхъ направле-

нихъ служить доказательствомъ нездоровости отечественныхъ порядковъ того времени. Въ полномъ расцвѣтѣ молодости оставилъ одинъ изъ нихъ мѣсто, обѣщавшее ему самую благотворную практическую дѣятельность, удалился въ уединеніе, чтобы въ идеалистическомъ квіэтизмѣ работать надъ самообразованіемъ. Отечество не представляло для него ничего, идеи были для него все. Онъ зналъ только «индивидуумъ» и «человѣчество». Съ сангвиническимъ порывомъ мальчика бросился другой въ совершенно зрѣломъ возрастѣ въ круговоротъ французской революціи. Отечество и для него ничего не представляло, и онъ былъ космополитомъ. Онъ также поклонялся республикѣ, потому что поклонялся идеѣ свободнаго человѣчества. Вопросы счастья и успѣхъ. Форстеръ былъ быстро поглощенъ волнами революціи и такъ же быстро выброшенъ ими вповѣ. После крушенія онъ очутился въ абсолютномъ одиночествѣ; онъ умеръ отверженный и разочарованный, сохраняя въ разбитомъ сердцѣ вѣру въ человѣчество и энтузіазмъ къ высшимъ идеямъ. Гумбольдта сопровождало на его пути благоволеніе всѣхъ боговъ въ досугѣ и уединеніи самообразованія онъ имѣлъ возможность спасти свою индивидуальность. Его планъ необыкновенно удался: намѣреваясь работать для самообразованія, онъ на самомъ дѣлѣ образовался для своей націи. Когда наступилъ моментъ, въ который культъ индивидуальности былъ бы преступленіемъ, онъ явился съ блестяще обогащеннымъ умомъ и характеромъ на службу государства, которое въ немъ нуждалось: выступилъ воодушевленный, проникнутый высшимъ идеализмомъ, общественнымъ чувствомъ, съ энергіей, не ослабленною покоемъ, а, напротивъ, усиленною: «государственный человѣкъ съ величіемъ духа Перикла» выступилъ на службу «великому племени».

Тотъ «тѣсный кругъ дѣятельности», въ который онъ удался, открылся для него вмѣстѣ съ раемъ супружеской любви. Если вѣрить разсказу госпожи Герцъ, то его счастье обязано своимъ существованіемъ сентиментальному берлинскому союзу дружбы и нравственнаго совершенствованія. Съ энтузіазмомъ писалъ онъ своимъ берлинскимъ жепщинамъ-друзьямъ о Терезѣ Форстеръ. Эти дамы знали одно женское существо нѣсколько похожее на Терезу и какъ бы специально созданное для него: такою имъ рисовалась въ своихъ полныхъ ума и чувства письмахъ Каролина фонъ-Дахереденъ, дочь камеръ-президента фонъ Дахереденъ, родственника коадьютора Дальберга въ Эрфуртѣ. Онѣ посовѣтовали своему молодому другу познакомиться съ нею. Гумбольдтъ пошелъ на встрѣчу дамскимъ планамъ и вскорѣ очутился въ сѣтяхъ, сотканныхъ нѣжными руками. Веденіе этого дѣла взяла на себя Каролина фонъ-Ленгефельдъ, въ то время еще жена совѣтника посольства фонъ-Бельвица. Она также принадлежала къ сентиментальному берлинскому кружку; она и ея сестра Шарлотта, невѣста Шиллера, были чрезвычайно дружны съ Каролиной фонъ

Дахереденъ. Отъ времени до времени подруги выдались въ Веймаръ и Эрфуртъ. Въ Эрфуртъ онѣ жили съ Дальбергомъ, который былъ здѣсь намѣстникомъ, и вели очень разсѣянную, веселую жизнь, богатую пищей и для ума, и для сердца. Сюда въ декабрѣ 1789 года прѣхалъ изъ Майнца Гумбольдтъ. Онъ скоро сблизился съ Дальберговскимъ кружкомъ; въ Каролинѣ Дахереденъ онъ нашелъ больше, чѣмъ ожидалъ. Несмотря на поверхностное знакомство Шиллеръ призналъ ее необыкновеннымъ и идеальнымъ существомъ, полнымъ благородства и изящества; его ослѣплялъ свойственный ей блескъ. Въ Веймарѣ, куда сестры фонъ-Ленгефельдъ съ своей подругой и въ сопровожденіи Гумбольдта отправились на Рождество, рѣшился вопросъ о союзѣ, который былъ для Гумбольдта втеченіе всей его жизни источникомъ исключительнаго счастья. Въ февралѣ 1790 года мы еще застаемъ его въ Эрфуртъ. Различные планы строились тогда въ связи съ его помолвкой. Они связывались съ Майнцемъ и съ Дальбергомъ. Между тѣмъ онъ долженъ былъ начать свою юридическую службу въ Берлинѣ. Наконецъ пробный годъ окончился, и съ чиномъ совѣтника посольства онъ оставилъ государственную службу съ тѣмъ, чтобы жить для себя и своей молодой любви. Обвѣнчанные въ іюлѣ 1791 года, она поселились въ имѣніи жены, въ Бургернерѣ, недалеко отъ Мансфельда ¹⁾.

Сватовство Гумбольдта ввело его въ новый кругъ людей. Онъ подружился съ близкою подругою своей жены, виновницей ихъ брака, и эта дружба съ Каролиной фонъ Вольцогенъ длилась до самой смерти. При посредствѣ ея и ея сестры онъ познакомился съ Шиллеромъ, который посѣщалъ сестеръ въ Веймарѣ; вскорѣ послѣ этого, изъ Веймара же Гумбольдтъ поѣхалъ къ молодому поэту въ Іену. Наконецъ, что важнѣе всего, онъ вступилъ въ высшей степени сердечныя и близкія отношенія съ коадьюторомъ, и именно эти отношенія были въ данный моментъ самыми плодотворными. Съ этого времени въ его теперешнемъ уединеніи начинается новое направленіе въ его занятіяхъ. Поводъ къ возникновенію перваго сочиненія Гумбольдта далъ Дальбергъ. Въ этомъ сочиненіи онъ подвелъ итогъ образованію своей молодости и своему теперешнему міросозерцанію; имъ поэту заключается вся первая эпоха его развитія.

При томъ настроеніи, которое привело его въ идилическое уединеніе Бургернера, великія событія во Франціи, — принимавшая съ каждымъ днемъ все большіе размѣры революція — наводили его только на размысленіе объ измѣчивости всего земного, о томъ, какъ бе-

¹⁾ Кромѣ разсказа Генриетты Герцъ, вышеизложенное основывается также и на перепискѣ Шиллера съ сестрами фонъ-Ленгефельдъ, извлеченной изъ посмертныхъ бумагъ Каролины Вольцогенъ (*Literarischer Nachlass von Caroline v. Wolzogen*). Ср. также для послѣдующаго: I. 202, 329, 353, 362, 365, 372.

зумно довѣряться «событіямъ.» Мораль, выведенная имъ изъ великаго всеобщаго переворота, заключалась въ томъ, что каждое происшествіе и каждую эпоху нужно разсматривать какъ полезный и поучительный рассказъ, довѣрять же слѣдуетъ только неизмѣнному, внутреннему закону идеи. Тотъ родъ научныхъ занятій, къ которому онъ теперь обратился, былъ впрочемъ всегда его любимымъ. Онъ находился теперь совершенно въ томъ же положеніи, какое занималъ и Якоби, и котораго тотъ для него желалъ. Онъ предавался преимущественно изученію философіи; Кантъ и Платонъ составляли его постоянное чтеніе. И несмотря на то, вліяніе времени сказалось и здѣсь неопровержимымъ образомъ. Французская революція представляла явленіе настолько замѣчательное, что не могла не привлечь вниманія даже и тѣхъ, которые пытались незначительный интересъ къ современной исторіи и политикѣ. Все возрастающее безумство якобинцевъ, бѣгство и возвращеніе короля были явленіями, дѣйствовавшими даже и на людей наименѣ заинтересованныхъ въ политикѣ, подобно тому, какъ явленія сѣвернаго сіянія или кометы дѣйствуютъ даже на человѣка, совершенно индифферентнаго къ астрономіи. Къ тому же событія во Франціи представляли характеръ совершенно отличный отъ обычнаго характера политическихъ движеній. Философія—совершенно обыкновенная философія—въ значительной мѣрѣ содѣйствовала возникновенію всего этого движенія; какъ разъ въ этотъ моментъ національное собраніе разсматривало общія права человѣка, и эти пренія напоминали болѣе за сѣданія философской академіи, нежели законодательнаго корпуса. Именно этотъ философскій характеръ революціи долженъ былъ внушить интересъ человѣку, который такъ мало, какъ тѣло возможно, интересовался фактами, какъ таковыми, и ихъ прагматизмомъ. Съ этой стороны и Гумбольдтъ заинтересовался французскими происшествіями. Они представляли для него темы политической философіи; въ письмахъ къ своимъ берлинскимъ друзьямъ онъ при случаѣ дѣлился своими размышленіями на эти темы. Между этими друзьями многіе принадлежали къ числу такихъ рьяныхъ защитниковъ разума, что они съ восторгомъ относились къ апіоризму, съ которымъ французская нація приступила къ построенію новаго правового зданія на развалинахъ разгромленнаго стараго государства. Къ одному изъ этихъ друзей Гумбольдтъ обратился въ августѣ 1791 года съ посланіемъ, въ которомъ развиваетъ совершенно иные взгляды ¹⁾. Онъ самъ и заранѣе называетъ свое мнѣніе парадоксальнымъ. Это была та же парадоксальность, которая заставила его уже въ вопросахъ религіи

¹⁾ Ideen über Staatsverfassung durch die neue französische Constitution veranlasst. (Идеи о государственномъ устройствѣ, вызванныя новою французскою конституціей) G. W. I, 301 и слѣд.

и терпимости занять мѣсто, одинаково удаленное какъ отъ Бистера, такъ и отъ Лафатера, которая внушила ему педовѣріе къ созерцательной философіи Якоби и презрѣніе къ логическому формализму популярныя философовъ. То, что онъ признавалъ верховнымъ закономъ всякаго истинно научнаго метода—наблюденіе природы, руководимое и оплодотворяемое идеями,—то же самое считалъ онъ и высшимъ закономъ политической дѣятельности. Таково же было его мнѣніе и въ данную минуту, когда онъ смѣлъ передъ глазами политической экспериментъ французской націи. Онъ несомнѣнно былъ свободенъ отъ политическихъ предразсудковъ, былъ чуждъ «малодушнаго трепета передъ всѣмъ новымъ и необычайнымъ»; онъ несомнѣнно не ставилъ себѣ задачей защиту деспотизма Людовиковъ и осужденіе возставшаго съ негодованіемъ противъ гнета этого деспотизма французскаго народа. Онъ просто высказалъ опредѣленное мнѣніе о благотворныхъ послѣдствіяхъ французской революціи: революція, конечно, на ново просвѣтитъ идея, снова возбудитъ всякую дѣятельную добродѣтель и такимъ образомъ современемъ распространитъ свое благотворное дѣйствіе далеко за предѣлы Франціи; но несмотря на то, она, по его мнѣнію, представляетъ собою крайность, вызванную противоположною крайностью предшествующаго деспотизма. Онъ рѣшительно предсказалъ непрочность вотированнаго національнымъ собраніемъ государства — на томъ основаніи, что это государственное устройство построено было совершенно апіористически, исключительно «на началахъ разума». Построить его конечно можно, но процвѣтать оно не будетъ. Процвѣтать можетъ только то устройство, которое возникаетъ изъ борьбы болѣе сильной случайности съ противодействующимъ ей разумомъ; причина этого лежитъ въ существѣ разума, въ природѣ всякаго познанія. Тамъ, гдѣ дѣло касается пракческаго творчества, одинъ разумъ недостаточенъ и безсиленъ по двумъ основаніямъ: онъ недостаточенъ для познанія настоящаго, онъ совершенно недостаточенъ для созданія и опредѣленія будущаго. Все наше знаніе и познаніе покоится на общихъ — т. е. когда рѣчь идетъ объ объектахъ опыта — неполныхъ и лишь на половину истинныхъ идеяхъ; индивидуально мы очень мало познаемъ, а между тѣмъ тамъ, гдѣ представляется необходимость прavitъ новый политическій порядокъ къ старому, все зависитъ «отъ индивидуальныхъ силъ, индивидуальной дѣятельности, индивидуальнаго страданія и наслажденія». Разумъ также обладаетъ способностью «строить изъ существующаго матеріала, но не силою — создавать новый». Эта сила заключается единственно въ существѣ вещей; онѣ то и дѣйствуютъ. Отсюда сами собою вытекаютъ законы политической дѣятельности. Нужно предоставить дѣйствовать случаю, т. е. «всей совокупности индивидуальныя свойства настоящаго, личной суммѣ индивидуальныя человѣческихъ силъ». На долю разума остается только двойное дѣло: «возбуждать эти силы къ дѣя-

тельности и направлять ее». Онъ отрывается отъ единовластія: истинная дѣятельность законодателя не революціоннаго, а преобразовательнаго характера.

Это посланіе Гумбольдта случайно попало въ январскую книгу *Berliner Monatsschrift* за 1792 годъ и приблизительно тогда же было прочтано коадьюторомъ: Гумбольдтъ въ это время въ виду ожидаемыхъ родовъ жены переѣхалъ изъ Бургернера въ Эрфуртъ. Почтенная роль Дальберга въ нѣмецкой литературѣ, какъ ревнителя искусства и литературы, покровителя начинающихъ талантовъ, извѣстна. Не менѣе извѣстна также и плачевная роль, которую онъ игралъ въ наполеоновскій и послѣдующій за нимъ періоды въ политикѣ. Онъ былъ вездѣ человѣкомъ доброй воли. Его просвѣтительная ревность, его сердечная доброта и легко воспламеняющаяся натура дѣлали его, вѣроятно, привлекательнымъ при первомъ знакомствѣ; но его поверхностность, рыхлость и безхарактерность должны были болѣе благороднымъ натурамъ внушать съ теченіемъ времени отвращеніе и дѣйствовать на нихъ отталкивающимъ образомъ. Изъ благожелательности и тщеславія онъ охотно самъ сдѣлался бы менепатомъ всѣхъ великихъ писателей; еще охотнѣе онъ самъ сдѣлался бы великимъ писателемъ: но для перваго ему не доставало власти, для втораго—генія. Онъ такъ охотно выработалъ бы изъ себя путемъ научной, эстетической и нравственной культуры образцоваго человѣка, если бы только боги не затруднили въ такой мѣрѣ доступа къ добродѣтели, и если бы имѣть добрыя намѣренія и любоваться самимъ собою не было гораздо легче, чѣмъ приводить ихъ въ исполненіе и, дѣйствуя, забывать себя. Всего болѣе онъ желалъ бы быть образцовымъ правителемъ, имѣть хоть только половину геніальности Фридриха Великаго, но затѣ быть вдвое либеральнѣе, благожелательнѣе, гуманнѣе Юлифа II,—если бы только ему не пришлось жить какъ разъ въ эпоху Наполеона и Рейпскаго союза—въ эпоху, когда любовь къ отечеству, мужество и вѣрность нѣмецкихъ государей были поставлены на пробу и удостовѣрены какъ весьма ничтожныя. Но коадьюторъ не предчувствовалъ еще пока, что такой моментъ приближается, и что курфюршеству первому суждено обнаружить, какъ жалкое состояніе нѣмецкихъ имперскихъ порядковъ, такъ и отсутствіе достоинства, соединенное съ бессиліемъ, нѣмецкихъ правительствъ. Тѣмъ временемъ онъ съ импатіями нѣмецкаго просвѣтителя слѣдилъ за экспериментомъ, предпринятымъ французами—осуществить въ своемъ новомъ государствѣ идеаль разума. Вопросы практической и политической философіи интересовали его въ высшей степени. Ему грезились роль отца своего народа. Какъ щедро будетъ поддерживать онъ искусство и науку! Какъ удивится міръ при видѣ нѣмецкаго князя церкви, съ высоты трона пробивающаго дорогу просвѣщенію и проводящаго реформы, котораго обнаружатъ въ немъ ученика Руссо! Съ какою готовностью будетъ онъ про-

тягивать руку помощи, какъ будетъ заботиться о благѣ своихъ подданныхъ! Какіе блестящіе планы—воспитательные, законодательные были у него уже наготовѣ! Какъ онъ гордился бы многосторонностью заботъ своего правленія и какъ счастливо было бы Майнцкое курфюршерство подъ его милостивымъ и просвѣщеннымъ епископскимъ жезломъ! Возбужденный такими мечтами, исполненный такихъ мыслей, прочелъ онъ «парадоксы» своего молодого друга. Скромная роль отводимая ими законодательству, холодное спокойствіе, съ которымъ они говорятъ о невозможности основать государство на одномъ разумѣ, все это совершенно не гармонировало съ его системой. Но тутъ были мѣста, которыя ставили его еще болѣе втупикъ. Положеніе, что государство обязано заботиться какъ о физическомъ, такъ и о нравственномъ благѣ и счастіи націи, авторъ обозначаетъ какъ формулу «самаго гнетущаго, самаго худшаго деспотизма». Но что же остается дѣлать правительству, если оно не должно посвящать себя благу своихъ подданныхъ? Гдѣ же въ такомъ случаѣ дѣятельность государства была бы у мѣста? вотъ вопросы, съ которыми коадьюторъ приступилъ къ автору посланія. Онъ просилъ его изложить свои мысли относительно дѣйствительныхъ предѣловъ государственной дѣятельности. Гумбольдтъ и самъ интересовался этою темой; онъ интересовался ею вдвойнѣ, такъ какъ имѣлъ основаніе надѣяться, что его работа повліяетъ на принципы и правленіе будущаго Майнцскаго регента. При этомъ случаѣ онъ долженъ былъ въ глубинѣ души сознать, что теоретическія положенія выигрываютъ въ привлекательности тамъ, гдѣ ихъ примѣненіе предвидится въ близкомъ будущемъ. Дѣйствовать посредствомъ идей составляло, вѣдь, одну изъ самыхъ дорогихъ для него надеждъ. Онъ воспользовался поэтому темой, которая уже давно и много занимала его умъ, о которой онъ бесѣдовалъ съ Форстеромъ еще въ своихъ письмахъ изъ Геттингена. Работа просто кипѣла подъ его руками. Въ маѣ 1792 года, когда онъ ее окончилъ, она представляла уже порядочный томикъ, предположенный къ печатанію подъ заглавіемъ: *Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen*. (Опытъ опредѣленія границъ государственной дѣятельности). Но въ Берлинѣ цензора оказались несговорчивыми; даже Шиллеру, къ которому онъ обращался съ этою просьбой, удалось найти для него издателя только тогда, когда у него явились уже сомнѣнія въ цѣнности своей работы. Такимъ образомъ печатаніе, встрѣтившееся вначалѣ съ внѣшними, а затѣмъ и съ внутренними препятствіями, было отложено, а тамъ Гумбольдтъ и совершенно отказался отъ этой мысли. Нѣкоторые отрывки изъ рукописи были между тѣмъ напечатаны Бистеромъ въ *Berliner Monatsschrift* и Шиллеромъ въ его *Talia*. Долгое время эти отрывки составляли все, что было извѣстно изъ этого труда молодого Гумбольдта, и только много лѣтъ спустя вся эта работа, най-

денная въ его посмертныхъ бумагахъ, была напечатана почти цѣлкомъ. Она даетъ намъ возможность составить себѣ ясное и полное представление о міросозерцаніи автора, какъ о продуктѣ всего его предшествовавшаго развитія»¹⁾.

Политическая мысль, которую проводитъ это небольшое сочиненіе, очень проста. Она опредѣляется словами Мирабо старшаго, которыя служатъ ему эпиграфомъ: вѣрный принципъ государственнаго управленія заключается въ томъ, чтобы остерегаться *la fuite de gouverner, la plus funeste maladie des gouvernements modernes*. Этою болѣзнью правленіе Фридриха Великаго было въ сильнѣйшей степени заражено, — онъ считалъ возможнымъ направлять своими указами даже вѣвѣсть и религіозныя убѣжденія народа. Опасные симптомы этой болѣзни замѣчались и у коадьютора, который изъ ревностнаго желанія управлять хорошо, намѣревался управлять какъ можно больше. Гумбольдтъ видѣлъ вблизи и возненавидѣлъ всю тяжесть незойливаго прусскаго правленія посредствомъ указовъ, такъ же какъ и всю сложную машину прусской бюрократіи. Онъ считалъ своимъ долгомъ предостеречь будущаго регента архіепископства противъ зла слишкомъ усерднаго управленія и нарисовать передъ нимъ картину государства, удовлетворяющагося самыми тѣсными предѣлами дѣятельности. Поэтому вся его система при первомъ же знакомствѣ представляется практически обоснованною, имѣющею въ виду практическіе результаты, ибо для изображенія противоположной системы служили, очевидно, порядки прусскаго государства. На основаніи собственныхъ наблюдений изображались авторомъ эти темныя стороны просвѣщеннаго деспотизма, девизомъ котораго является: все для народа, ничего посредствомъ народа. Государству Фридриха Великаго былъ особенно свойственъ этотъ бюрократическій механизмъ, «дѣлающій изъ людей машины» и «притупляющій умъ праздными занятіями», отнимая цѣлую массу силъ у настоящей работы; оно избивало и тѣмъ разнообразіемъ дѣлъ, и все возрастающимъ формализмомъ и педантичностью, и тѣмъ безграничнымъ распространеніемъ контроля и безконечной перепиской, отпиской, регистраціей, какъ характеризуетъ его Гумбольдтъ. Подобно тому, какъ впоследствии Штейнъ, онъ предвидитъ уже теперь вредныя послѣдствія системы управленія, потерпѣвшей только нѣсколько десятилѣтій спустя первое пораженіе: и духъ раболѣпія, воспитываемый ею въ чиновникахъ, и подавленіе въ управляемыхъ всякой самостоятельности и способности къ практической дѣятельности, и «извращеніе понятія о важномъ и неваж-

1) Болѣе подробныя свѣдѣнія объ исторіи этого произведенія, см. въ введеніи, которое Сачеръ предпослалъ своему изданію (Bresl. 1851). Кроме того см. Humboldt an F. A. Wolf, въ собр. сочин. V. 46.

номъ, достойномъ уваженія и презрѣнномъ», и вызываемое ею въ силу всѣхъ этихъ причинъ нравственное и умственное паденіе націи ¹⁾.

Не удивительно, что берлинскіе цензора колебались пропустить сочиненіе, полемизирующее одновременно какъ противъ бюрократической, такъ и противъ военной рутины, заключающее въдобавокъ цѣлый рядъ мѣстъ, которыя могли быть прямо истолкованы въ смыслѣ порицанія системы министра Велльнера въ вопросахъ религіи, и восхваляющее «поощреніе духа свободнаго изслѣдованія», какъ единственнаго средства для содѣйствія развитію религіозности. Съ другой стороны трактатъ не безъ намѣренія превозносилъ правителя, считающаго предоставленіе свободы—постоящей свободы, своею первою и неотложною обязанностью. Исключительно на Дальберга разсчитана послѣдняя глава, трактующая о примѣненіи изложенной теоріи къ дѣйствительности; его іосифовское рвеніе имѣетъ авторъ въ виду, давая совѣтъ освобождать связывающія народъ узы только постепенно и именно въ томъ порядкѣ, который указывается пробуждающемуся въ немъ потребностью свободы. Это была памятная записка политика-философа регенту-философу. Дальбергъ обсудилъ его съ Гумбольдтомъ положеніе за положеніемъ и составилъ себѣ затѣмъ изъ своихъ и Гумбольдтовыхъ идей эклектическую систему. Въ 1793 г. вышелъ въ Лейпцигѣ трактатъ подъ заглавіемъ «*Von den wahren Grenzen der Wirksamkeit des Staats*». (О дѣйствительныхъ предѣлахъ государственной дѣятельности). Это былъ отвѣтъ Дальберга на предложеніе и воззрѣнія Гумбольдта,—программа, по которой коадьюторъ намѣревался со временемъ править ²⁾.

Странная программа! но, если взглянуть внимательнѣе, еще болѣе странная записка! Какъ она, при всей практической связи съ прошлымъ и будущимъ всецѣло и откровенно теоретична! Авторъ занимаетъ по отношенію къ государству позицію, подобную той, какую нѣкогда занималъ Платонъ въ своей республикѣ, или, вѣрнѣе, какую занимали въ этомъ отношеніи стоическая и эпикурейская философія. Причина ясна. Какъ эта философія, такъ и воззрѣнія Гумбольдта представляютъ продуктъ эпохи, въ которой живая связь единичной личности съ государственнымъ или народнымъ дѣломъ утрачена. Абсолютистическое и бюрократическое государство развилось въ одинокую и отвлеченную силу, которая считала возможнымъ обходиться безъ свободнаго содѣйствія народа и потому лишилась его любви и привязанности. Въ Германіи вмѣстѣ съ государственнымъ чувствомъ угасло и національное. Единичный человекъ понималъ, что то, что

¹⁾ Ср. въ особенности стр. 34 и сл. въ изданіи Saueg'a, по которому мы цитируемъ. Въ собр. соч. (G. W.) извѣстны только первоначально отрывки разбѣяны въ 1 и 2 тт. и въ обратномъ порядкѣ. Все въ цѣломъ намѣчено въ 7 т.

²⁾ Saueg во введеніи къ своему изданію.

составляетъ лучшее его достояніе—его свободу, его умственную и нравственную жизнь—государство скорѣе стѣсняетъ, чѣмъ поддерживаетъ. Лишенный практической дѣятельности, онъ ушелъ въ область идей и чувствованій. Онъ отдѣлился внутренно отъ государства, которое отдѣлилось отъ него; онъ искалъ удовлетворенія въ частной жизни, въ индивидуальныхъ отношеніяхъ, въ той идеальной общности, которая, возвышаясь надъ государствомъ, обнимаетъ весь человѣческій родъ. Духъ общности выродился въ духъ общительности, въ дружескія сношенія. Человѣкъ взялъ верхъ надъ гражданиномъ, космополитизмъ поглотилъ патриотизмъ. Это настроеніе, достигшее наибольшаго развитія въ Германіи, имѣло кое что родственное съ духомъ, вызвавшимъ во Франціи великій переворотъ. Французская нація еще сильнѣе ощущала гнетъ абсолютнаго правительства: она не была равнодушна къ существующему государству, а озлоблена противъ него. Съ другой стороны, давно объединенная—она по крайней мѣрѣ никогда не теряла чувства національной общности. Наконецъ она была заинтересована въ государствѣ, какъ таковомъ, благодаря хоть бы тому блеску и славѣ, которые связаны были съ именемъ монархіи и французскихъ войскъ. Притомъ же французская нація по основному свойству своего характера была болѣе склонна къ вышнему—къ дѣйствию, успѣху, эффекту. Идеализмъ, который и здѣсь явился какъ результатъ отсутствія общей политической дѣятельности быть менѣе внутренняго характера, онъ оставлялъ мѣсто и для практической дѣятельности. Вслѣдствіе этого государству необходимости (Nothstaat) противопоставили государство отъ разума (Vernunftstaat): государству, какимъ оно было,—идейное государство; нападая на старое государство съ практическимъ пафосомъ и съ революціонною страстностью, они дѣлали смѣлую попытку построить вмѣсто него новое государство—по плану, составленному разумомъ. Параллелью и въ то же время антиподомъ этого является ученіе Гумбольдта. Это ничто иное, какъ возможно вѣрная формулировка настроенія тогдашней Германіи,—настроенія, параллельнаго и въ то же время противоположнаго революціонному французскому. Хотя Гумбольдтъ и Форстеръ являются представителями двухъ противоположныхъ направленій, но тѣмъ не менѣе эти крайности имѣютъ въ существѣ одно общее основаніе. Нѣмецкій духъ тоже былъ революціоннымъ, но онъ не разрушалъ, а разлагалъ. Существующее государство, по теоріи Гумбольдта, должно быть не разрушено, а устраниено, сведено къ минимуму; не абстрактное государство отъ разума должно поставитъ на мѣсто государства необходимость, такъ какъ и самое лучшее государство только необходимо зло. Тутъ нѣтъ рѣчи о реальномъ нападеніи на какое нибудь опредѣленное государство,—высказывается отрицательное отношеніе къ государству вообще. Тамъ рѣчь идетъ о замѣнѣ плохого государства хорошимъ,

туть—вовсе нѣтъ рѣчи о государствѣ, а единственно о томъ, «какое положеніе въ государствѣ наиболее выгодно для человѣка». Такимъ образомъ, эта теорія по духу своему родственна и въ то же время противоположна практикѣ французской революціи: борясь противъ нея она въ то же время ей симпатизируетъ; но симпатизируя ей, она проповѣдуетъ совершенно противоположныя цѣли и совершенно другіе пути.

По отношенію къ государству Гумбольдтъ находится, слѣдовательно, въ положеніи и настроеніи, напоминающемъ положеніе Руссо по отношенію къ обществу и современной культурѣ. Съ неудовольствіемъ, отворачиваясь онъ отъ него; онъ удаляется въ тишину частной жизни и возводитъ это неудовольствіе и это удаленіе въ систему. «Когда-же, восклицаетъ онъ ¹⁾, явится человѣкъ, который будетъ для законодательства тѣмъ, чѣмъ Руссо былъ для воспитанія»? И по своимъ принципамъ онъ — этотъ теоретикъ, переносящій центръ тяжести отъ внѣшнихъ, физическихъ результатовъ къ «внутреннему развитію человѣка» — самъ является этимъ вторымъ Руссо. Но такъ же, какъ и съ «Эмилемъ» Руссо, онъ могъ бы сопоставить свою политическую теорію и съ Кантовой критикю разума. Въ самомъ дѣлѣ, каждая страница его сочиненія свидѣтельствуетъ о близкомъ знакомствѣ съ сочиненіями Канта. И не то, чтобы онъ вслѣдствіе этого сдѣлался кантіанцемъ. Ничто, можетъ быть, не характеризуетъ такъ хорошо двадцатипятилѣтняго Гумбольдта, какъ полнѣйшая оригинальность его образа мысли, выраженія и взглядовъ. Оригинальность, впрочемъ, не совѣмъ соответствующее слово, — оно должно обозначать здѣсь больше самобытность, нежели самостоятельность и своеобразіе развитія: вездѣ чувствуются вліяніе старыхъ и новыхъ писателей, но они такъ совершенно переработаны, такъ своеобразно взаимно согласованы, что всѣ они отодвигаются на задній планъ этимъ индивидуальнымъ Гумбольдтовымъ складомъ. Нельзя обладать болѣею готовностью учиться; нельзя быть менѣе чело-вѣкомъ школы; никто не подчиняется съ болѣею скромностью и уваженіемъ воззрѣніямъ такого человѣка, какъ Кантъ; никто не можетъ быть болѣе застрахованъ отъ опасности поддаться вліянію авторитета, дать умственной силѣ увлечь себя въ одностороннемъ направленіи. Даже глубина и систематика великаго философа не имѣютъ надъ нимъ власти; но онъ симпатизируетъ ему отъ всей души; онъ восхищается его воззрѣніемъ, потому что это было-бы и безъ Канта, его собственное воззрѣніе. Именно это обращеніе къ внутреннему чело-вѣку, это перенесеніе центра тяжести отъ внѣшняго явленія къ глубинамъ чело-вѣческаго существа составляетъ ту трансцендентальную черту, которую онъ раздѣляетъ съ Кантомъ.

¹⁾ См. приложение стр. 71.

Кантъ слѣдуетъ ей наперекоръ метафизическимъ построениямъ своихъ предшественниковъ; Гумбольдтъ — наперекоръ виѣшнимъ и блестящимъ правительственнымъ и законодательнымъ системамъ своего столѣтія. Въ обоихъ случаяхъ проявляется все тотъ же субъективизмъ. Они оба ищутъ челоуѣка, затемненнаго и скрытаго перемудрившимъ себя умозрѣніемъ и ненормальнымъ государственнымъ устройствомъ. Это — старинное протестантско-германское влеченіе къ внутреннему и индивидуальному, возобновленный протестъ реформаціи противъ несвободнаго состоянія и противъ стремленія къ виѣшнему, вызывающей, при общей мизерности нашихъ жизненныхъ условій, тамъ — отвлеченное философское ученіе, тутъ — эксцентричную теорію о предѣлахъ государственной дѣятельности.

Челоуѣка, слѣдовательно, имѣетъ своимъ отправнымъ пунктомъ эта теорія. Уже во время своей побѣдки въ Парижѣ Гумбольдта главнымъ образомъ интересовало то, что революція сдѣлала изъ французъ, а не то, что французы сдѣлали изъ своего государства. Нація интересовала его больше, нежели государство, а челоуѣкъ — больше, чѣмъ нація. Челоуѣкъ въ единственномъ числѣ составлялъ главный предметъ его изученія, индивидуально — главный предметъ его вниманія. Въ этомъ именно пунктѣ и заключается отличіе его отъ Канта, ибо то, что его привлекало былъ челоуѣкъ не въ отвлеченіи, а конкретный, — не познающийъ субъектъ, а челоуѣкъ въ цѣломъ — въ гармоніи всѣхъ своихъ силъ. Съ этою симпатіей сплетается у него и другая: чѣмъ менѣе находилъ онъ этотъ идеалъ современнаго челоуѣка въ настоящемъ, гдѣ онъ встрѣчалъ постоянно одностороннее развитіе то ума, то сердца, — тѣмъ болѣе привлекала его картина, которая рисовалась ему въ древности. Его упоеніе представленіемъ о гармонически современной челоуѣчности, его собственное стремленіе къ всестороннему истинно челоуѣческому развитію, находило поддержку въ впечатлѣніяхъ, которыя онъ вынесъ изъ исторіи древняго міра, изъ чтенія Гомера, Пиндара, Платона. Съ истиннымъ и великимъ восторгомъ, съ энтузіазмомъ, вытекающимъ изъ сердца — въ самомъ дѣлѣ, скорѣе изъ сердца, чѣмъ изъ глубокаго знакомства — восхваляетъ онъ «невыразимо прекрасный древній міръ». Онъ впалъ при этомъ въ странную ошибку. Два идеала оспаривали въ его душѣ другъ у друга первенство: возможно разпостороннее образованіе составляло для него потребность; но съ другой стороны онъ чувствовалъ, что образованіе ничто безъ самой интенсивной силы; онъ полагалъ высшую цѣль челоуѣка въ наивысшемъ и пропорціональномъ развитіи всѣхъ его силъ для образованія одного цѣлаго, а въ то же время называлъ энергію первую изъ всѣхъ добродѣтелей, добродѣтелью, какъ таковую, въ которой всѣ остальные исчезаютъ. Эта двойственность, находящаяся какъ-бы въ противорѣчій сама съ собой, сливалась при помощи его фантазіи въ образъ древняго міра,

какимъ онъ ему представлялся. За эту ошибку должна была заплатить современная эпоха. Она, по его мнѣнію, стремится только къ счастью, тогда какъ древніе стремились къ добродѣтели; она пренебрегаетъ людьми ради вещей, живую человѣческую силу ради ея продуктовъ ¹⁾. Онъ очевидно имѣетъ при этомъ въ виду погрѣшности образованія 18 вѣка, въ особенности его государства; но онъ совершенно не замѣчаетъ, что его собственный взглядъ на высшую форму человѣческой жизни, также какъ и законъ, — что «каждый долженъ развиваться только изъ себя и для себя» ²⁾, — значеніе, которое онъ придавалъ «своеобразію» и уваженію къ чужому своеобразію, — что все это были продукты современнаго образованія. Онъ смѣшивалъ чувственную силу и оригинальность древности съ сознательнымъ уваженіемъ къ индивидуальному, являющимся исключительно продуктомъ новаго времени, — именно поэтому ему приходится еще разъ повернуть. Онъ очень хорошо сознавалъ, что его ученіе объ индивидуализмѣ ни въ Спартѣ, ни даже въ Аѳинахъ, не было-бы ни понято, ни одобрено, такъ что въ концѣ концовъ онъ соединяетъ древнія и современныя краски и пишетъ этою смѣшанною краскою картину народа, всецѣло соответствующаго его идеалу. Пользуясь самою неограниченною свободой, такой народъ создалъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ и самое совершенное государственное устройство. Вмѣстѣ съ цивилизаціей возросли-бы въ немъ и сила и богатство характера. Какая сила должна бы развиться въ такомъ народѣ, если-бы каждый индивидуумъ самъ изъ себя развивался, и, вѣчно окруженный прекрасными образами, съ неограниченною самостоятельностью претворялъ-бы эти образы въ себя! Какъ иѣжно и прекрасно должно бы быть при такихъ условіяхъ развитіе внутренней жизни въ челоѣкѣ, какіе разнообразныя и прекрасныя оттѣнки благороднаго человѣческаго характера должны бы при этомъ возникнуть, какъ въ такомъ народѣ не пропадали-бы никакая сила, никакая рука для содѣйствія возвышенію и наслажденію человѣческаго существованія, и какъ при благотворныхъ послѣдствіяхъ свободнаго развитія и взаимодѣйствія даже неизбѣжныя бѣдствія человѣческаго рода потеряли бы значительную часть своего ужаса ³⁾.

Юношеское одушевленіе, съ какимъ набросана эта картина, не отнимаетъ у разсужденія ни его проникательности, ни его послѣдовательности. Челоѣкъ -- и именно внутренней челоѣкъ, въ полномъ расцвѣтѣ силъ и гармоніи своего существа, составляетъ его исходную точку. При такой предпосылкѣ необходимо выясняются назначеніе и сфера дѣятельности государства. Для достиженія этой

¹⁾ См. приложеніе стр. 7.

²⁾ Тамъ же стр. 6.

³⁾ Тамъ же стр. 33.

цѣли свобода является первымъ, необходимымъ условіемъ. Всѣ тѣ цѣли, которыми политика обыкновенно задается, — могущество, процвѣтаніе, благосостояніе, — осуществляются самп собою въ такомъ государствѣ, которое, предоставляя высшую свободу, содѣйствуетъ развитію, возвышенію и облагороженію истинной творческой силы—человѣка. Съ другой стороны, именно эта сила, имѣетъ безусловное значеніе, она та конечная цѣль, которая дѣлаетъ желательными всѣ эти жизненные блага; живой человѣкъ, страдаетъ тамъ, гдѣ благосостояніе и просвѣщеніе непосредственно создаются и навязываются гражданамъ единственною дѣятельною силою правительствомъ. Государство для человѣка, а не человѣкъ для государства; государственное устройство не есть само по себѣ цѣль, оно является только средствомъ для развитія человѣка. Поэтому долдой всякую положительную заботу о благѣ націй. Все, что государство можетъ сдѣлать для человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ косвенно и для себя, заключается въ томъ, чтобы ничего не дѣлать. Самое положительное, что оно можетъ сдѣлать, это — воздержаніе отъ всякаго воздѣйствія па самостоятельную дѣятельность гражданъ. Оно было-бы по истишъ излишне, если-бы не одно обстоятельство, которое дѣлаетъ его необходимымъ. А именно: насколько свобода является условіемъ человѣческаго развитія, настолько-же и безопасность есть условіе свободы; вмѣстѣ съ тѣмъ это и единственное, чего человѣкъ не въ силахъ себѣ самъ доставить. Поэтому-то обезпеченіе безопасности какъ отъ внѣшнихъ враговъ, такъ и отъ внутреннихъ раздоровъ, есть единственная задача государства. Въ этомъ его понятіе: оно есть учрежденіе для обезпеченія безопасности (Sicherheitsanstalt). Но и это назначеніе оно должно выполнить такъ, чтобы не противодѣйствовать какимъ нибудь образомъ конечной цѣли—свободѣ. Только въ цѣляхъ свободы, но отнюдь не па ея счетъ, должно оно развивать свою гарантирующую безопасность дѣятельности. Напротивъ, и въ этой специфически-принадлежащей ему сферѣ оно должно по возможности пользоваться развивающимися благодаря свободѣ индивидуальными силами. Напримѣръ, для войны оно должно по возможности стараться употреблять не одни только постоянныя войска; защиту оно должно искать не только въ духѣ солдатской субординации, а прежде всего въ духѣ самоотверженія свободныхъ гражданъ. Для охраны внутренней безопасности оно не должно пользоваться средствами, рассчитанными на непосредственное воздѣйствіе на нравы и характеръ. Не нужно заботы о воспитаніи, не нужно надзора за религіей, не нужно законовъ противъ роскоши и безправственности! Дѣятельность государства должна единственно и исключительно распространяться на такіа дѣйствія, которыа непосредственно п прямо нарушаютъ чужія права; оно должно рѣшать спорные вопросы права, возстановлять нарушенное и карать нарушителей его.

Но во всѣхъ этихъ областяхъ — полицейскаго, гражданскаго и уголовного законодательства — предѣлы его дѣятельности должны опредѣляться все тѣмъ-же основаніемъ, — что человекъ не долженъ приноситься въ жертву гражданину и безопасность не должна быть достигаема средствами, ограничивающими свободу болѣе, чѣмъ это положительно необходимо. Исходя изъ этой точки зрѣнія молодой юристъ довольно подробно входитъ въ детали законодательства. Этотъ отдѣлъ напоминаетъ, что онъ былъ ученикомъ Клейна, самого дѣятельнаго помощника Кармера, и что его молодость совпала съ эпохою возникновенія прусскаго ландрехта, только его ландрехтъ врядъ-ли менѣе отличался-бы отъ прусскаго, чѣмъ государство, которое онъ строитъ, отличалось отъ государства Фридриха Великаго. Такъ, въ его кодексѣ не существуетъ вовсе ограниченій права развода; право завѣщательное также совершенно отсутствуетъ; его уголовное уложеніе рекомендуетъ самыя мягкія наказанія и требуетъ совершеннаго исключенія позорящихъ наказаній; даже по отношенію къ уличенному преступнику слѣдуетъ — съ такою безусловною послѣдовательностью проводится теорія свободы и индивидуализма — самымъ тщательнымъ образомъ оберегать его человѣческія и гражданскія права и даже преступнику не должно быть навязываемо поученіе и исправленіе, потому что «право преступника» заключается въ томъ, чтобы подвергаться только законному наказанію.

Но если свобода составляетъ первое и существеннѣйшее условіе возможно широкаго развитія человека, то вторымъ условіемъ его, связаннымъ однако-же съ первымъ, является разнообразіе ситуаций. Самый свободный, самый независимый человекъ, поставленный въ однообразныя условія, не можетъ вполнѣ развиваться. Свобода не есть изолированіе, индивидуализмъ не долженъ переходить въ атомизмъ. Нужно связать человека съ его согражданами возможно большимъ числомъ узъ; цѣпи, налагаемыя государствомъ, разрываются и замѣняются увеличеннымъ числомъ узъ свободнаго союза. Отъ докучнаго гнета государства Гумбольдтъ ищетъ убѣжища въ тѣхъ сферахъ, въ которыхъ онъ самъ въ юности нашель такъ много счастья и наслажденія, — въ сферѣ семьи, дружбы, свободного общенія. Вся живущая въ государствѣ нація представляется ему въ образѣ благороднаго общества. Государственный союзъ замѣняется, согласно его идеалу, «союзомъ народнымъ (Nationalverein)», только, говорить онъ, «свободная дѣятельность народа является хранителемъ всѣхъ тѣхъ благъ, стремленіе къ которымъ соединяетъ людей въ общества»¹⁾. И этотъ свободный союзъ оказывается пригоднымъ, какъ для наслажденія, такъ и для дѣятельности. Съ искусствомъ обхожденія съ людьми соединяется привычка къ добровольнымъ договорамъ. Индивидуализмъ не

¹⁾ Тамъ-же, стр. 155.

удовлетворяется однимъ общеніемъ, — тамъ, гдѣ дѣло касается практическихъ цѣлей, онъ создаетъ свободныя ассоціаціи. Достиженіе всякой великой конечной цѣли требуетъ единства распорядженія, также точно, какъ и всякое предупрежденіе или устраненіе большихъ бѣдствій. Но это единство создается не однимъ только государственнымъ установленіемъ, но также и народными. Нужно только предоставить, какъ отдѣльнымъ частямъ націи, такъ и всей націи въ цѣломъ, свободно объединяться посредствомъ договоровъ. Даже мѣры безопасности, поскольку онѣ имѣютъ предохранительный характеръ, должны обусловливаться свободными договорами, а не правительственными распоряженіями. Наиболее достойная задача государства заключается и здѣсь въ стремленіи «сдѣлать себя ненужнымъ». Оно должно стремиться воспитать путемъ свободы людей такъ, чтобы легче возникали общины, дѣятельность которыхъ могла-бы замѣнить дѣятельность государства ¹⁾).

Несомнѣнно, все это здравые и вѣрные принципы; принципъ свободы въ противоположность практикѣ абсолютизма, мысль о самоуправленіи въ противоположность системѣ бюрократической и полицейской опеки, дѣятельность народа вмѣсто дѣятельности государей и чиновниковъ, правительство снизу взамѣнъ правительства сверху, право свободной ассоціаціи взамѣнъ всемогущаго вмѣшательства и исключительной дѣятельности государства ²⁾). Но не менѣе несомнѣнно, что это — преувеличенное и невѣрное примѣненіе хорошихъ принциповъ. Плохое было государство и плохая практика, противъ которыхъ направлена была эта теорія; но то, чѣмъ она ихъ замѣнила, не было вообще государствомъ, оно было практически неосуществимо. Конечно, тутъ не было мысли перенести сразу и прямо въ дѣйствительность то, что ставилось здѣсь какъ требованіе разума. — индивидуализмъ по самой своей природѣ не имѣетъ революціоннаго характера; но эти требованія въ ихъ радикальной послѣдовательности несовмѣстимы съ существованіемъ государства вообще, безсильны создать какую-бы то ни было организацію; они были разлагающаго и отрицательнаго характера. То, что авторъ пытается сдѣлать въ видѣ прибавленія въ послѣдней главѣ, должно-бы составлять тему всего сочиненія. Задача заключалась-бы въ томъ, чтобы выяснить права индивидуальной свободы въ государствѣ, создать самому государству новую жизненную силу изъ индивидуальныхъ силъ

¹⁾ Тамъ-же, стр. 101.

²⁾ Поэтому въ Англии, странѣ, которая обладаетъ старѣйшимъ опытомъ въ практикѣ самоуправленія, юпошеское сочиненіе Гумбольдта было переведено на англійскій языкъ, какъ только оно было напечатано въ цѣломъ. Ср. разборъ въ радикальномъ духѣ этого сочиненія въ переводѣ Джозефа Коултгарда (Coulthard, Lond. 1854) въ *Westminster-Review*, *New Series*, № 12, октябрь 1854, стр. 473 и слѣд.

его гражданъ. Въмѣсто того свобода оказывается здѣсь существующею только рядомъ съ государствомъ, которое остается по прежнему неисправленнымъ—врагомъ свободы; слѣдовательно, необходимо слѣзуть его дѣятельность до крайности и слѣлать по возможности безвредною. Свобода, по мнѣнiю Гумбольдта, возможна только тамъ, гдѣ существуетъ безопасность, безопасность только тамъ, гдѣ существуетъ рѣшающая власть, гдѣ существуетъ государство; такимъ образомъ изъ самого основанiя той-же теорiи какъ-бы постулируется положительное соотношенiе индивидуальной свободы и государственной власти. А между тѣмъ эта теорiя отнюдь не приходитъ къ такому положительному соотношенiю. Необходимое государство и абсолютная конечная цѣль—свободный человѣкъ—не заключаютъ союза, они входятъ въ соглашенiе, какъ двѣ враждующiя стороны въ судебномъ разбирательствѣ. Они отграничиваются, взаимно исключаютъ другъ друга, отдаляются другъ отъ друга. Чѣмъ больше власти у государства, тѣмъ меньше свободы у наци. Управляемые пользуются тою долей свободы, которую имъ предоставилъ правитель, въ рукахъ которыхъ находится власть. Свобода народа и государственная власть не тождественныя понятiя, это противоположныя коррелаты. Абсолютизмъ какъ бы вывернуть здѣсь наизнанку: государство все еще абсолютно, управляемые, поскольку ими управляютъ, по прежнему несвободны; измѣнилась не сущность, а только объемъ правленiя; прежде оно занимало всю поверхность національной жизни, теперь же оно занимаетъ только одианъ единственный пунктъ этой поверхности. Конечно, было бы прекрасно, по его мнѣнiю, если бы положенiе человѣка и гражданина по возможности совпадали, но только тогда, когда положенiе гражданина требуетъ такъ мало особенныхъ качествъ, что естественный образъ человѣка можетъ, ничѣмъ не жертвуя, сохраниться. То и другое должно бы совпадать. Онъ чувствуетъ, что необходимо стремиться, «связать крѣпкою и прочною связью цѣли государства въ цѣломъ съ суммою всѣхъ цѣлей отдѣльныхъ гражданъ»; по средство, которое онъ для этого предлагаетъ, заключается въ ограничепiи государственной дѣятельности департаментомъ охраненiя безопасности: Связь, которую онъ создаетъ, исключительно отрицательнаго характера, —это не столько связь, сколько ограда. Не о государственной дѣятельности на почвѣ свободы, но о «границахъ» той и другой трактуетъ все сочиненiе.

А на самомъ дѣлѣ, какъ легко было отыскать эту положительную связь! Все, повидимому, паводить автора на это, и тѣмъ характернѣе для его своеобразной природы и для направленiя эпохи, что онъ всетаки прошелъ мимо него. Онъ горячо рекомендуетъ для всѣхъ цѣлей общезитiя—даже и для отдѣльныхъ, относящихся въ области безопасности—свободное соединенiе и самоуправленiе, но именно въ то время, когда онъ долженъ бы распространить это требованiе Self-

government'a также на сферу государственного устройства, онъ отступаетъ передъ представленіемъ о государствѣ, какъ преградѣ для свободы, — отъ этого представленія онъ никакъ не можетъ освободиться. Онъ борется противъ смѣшенія государственного устройства съ національнымъ союзомъ, — какъ будто бы это именно смѣшеніе не составляло сущности прославленныхъ имъ въ такой степени древнихъ государствъ, — какъ будто бы при этомъ не осталось бы достаточно простора для подчиненныхъ цѣлей и потребности для частнаго общенія и свободныхъ ассоціаций! Затѣмъ онъ, вѣрный воззрѣніямъ Руссо, преслѣдуетъ самой отвлеченный индивидуализмъ и протестуетъ противъ отождествленія государственнаго и національнаго союза по той причинѣ, что не желаетъ признать ни представительства, ни рѣшенія по большинству голосовъ, — какъ будто бы маленькіе союзы могутъ надолго обходиться безъ этихъ установленій? На томъ же самомъ основаніи онъ опасается всякаго обширнаго союза; только въ женскихъ ассоціацияхъ онъ не видитъ опасности для «человѣка». Его индивидуализмъ питаетъ малодушный страхъ передъ всякою организацией, построенной на болѣе широкомъ основаніи. Совершенно ясно понимаетъ онъ дѣйствительную проблему: самобытность и самостоятельность должна идти объ руку съ самымъ разнообразнымъ и внутреннимъ соединеніемъ людей; частные интересы гражданъ должны быть болѣе выдвинуты, но въ то же время общественные не должны отъ этого терять въ своей силѣ. Рѣшеніе этой задачи заключается совершенно очевиднымъ и осизательнымъ образомъ въ такой формѣ правленія, которая была бы построена на принципѣ самоуправленія, участія всѣхъ въ государствѣ, — политической организациі народа, доведенной до мельчайшихъ группъ. Между тѣмъ какъ разъ въ этомъ пунктѣ совершенно падаетъ интересъ автора, какъ и его избрѣтательность. Въ эпоху, когда вопросъ о наилучшей формѣ правленія разсматривался во французскомъ національномъ собраніи и занималъ вслѣдствіе этого весь міръ, Гумбольдтъ всецѣло предоставляетъ ему висѣть въ воздухѣ. Онъ удовлетворенъ тѣмъ, что сдѣлалъ государство «безвреднымъ»; его интересъ исчерпанъ послѣ того, какъ онъ спасъ «человѣка». Безразлично, какая форма правленія будетъ существовать въ государствѣ, лишь бы человѣкъ былъ въ этомъ государствѣ поставленъ въ самыя благоприятныя условія, лишь бы только онъ встрѣчалъ какъ можно менѣе препятствій въ томъ, чтобы жить и развиваться достойнымъ человѣка образомъ.

И такъ какъ человѣкъ, а не государство, занимаетъ Гумбольдта положительнымъ образомъ, то и центр тяжести всего трактата лежитъ въ тѣхъ частяхъ его, которыя пытается развить его гуманистическій идеалъ. Политическія разъясненія этой теоріи гуманизма, послѣ ближайшей цѣли сочиненія, правда, наиболѣе развиты, но тѣмъ не менѣе они составляютъ только часть, именно только прикладную часть

ея. Полнѣе выясняется для насъ какъ ядро трактата,—центральный пунктъ Гумбольдтовыхъ воззрѣній,—такъ и своеобразіе его личности, изъ тѣхъ отдѣловъ, въ которыхъ развиваются болѣе положительныя и интимныя стороны человѣческаго существа, а не изъ тѣхъ, которыми онъ обращенъ къ государству. Это отношеніе человѣка къ религіозной и эстетической области.

Отдѣлъ, трактующій о религіи, есть только болѣе подробное развитіе очерка, сдѣланнаго имъ раньше, и принадлежитъ безспорно къ прекраснѣйшимъ мѣстамъ всего сочиненія. Никогда еще эта тема не трактовалась въ болѣе свободномъ и болѣе широкомъ смыслѣ. Только Лессингъ могъ бы такъ писать объ этомъ; только Шлейермахеровы *Reden über die Religion* (Рѣчи о религіи) написаны въ родственномъ этому духѣ. По сравненію съ изложеннымъ здѣсь воззрѣніемъ, Шлейермахерово представляется одностороннимъ и утробованнымъ, также какъ и Кантовское,—только въ другую сторону. Ибо здѣсь религія переносится вновь во внутреннее существо человѣка; она есть «потребность души». Всѣ формы, въ которыхъ религія на протяженіи исторіи проявлялась, всѣ представленія, съ которыми она связывается, всѣ роды культа, которыми она себя окружаетъ, вызваны этою потребностью, которая преимущественно не обусловливается ни одною изъ нихъ. Борьба, истощившая силы Лессинга,—борьба противъ подчиненія религіи авторитету буквы и вѣрѣ въ случайныя историческія истины,—протестъ Канта противъ церковнаго вѣрованія по уставу, устраненія всякой догматики и міеологіи изъ внутренней сущности религіи, съ которыми выступилъ Шлейермахеръ—черезъ все это перешагнуло воззрѣніе Гумбольдта. Чтò бы изъ внѣшнихъ отношеній ни наславалось на религіозномъ чувствѣ, только въ немъ одною ищетъ онъ сущности и значенія религіи. Онъ одинаково далекъ, какъ отъ подчиненія вмѣстѣ съ кенигсбергскимъ старцемъ религіознаго чувства императиву долга, такъ и отъ признанія ея, съ догматическою жесткостью автора «Рѣчей о религіи», «основнымъ условіемъ человѣческаго существованія». Онъ считаетъ ее важною стороною внутренняго человѣка и радуется, любовно проникаясь состояніемъ, религіозно настроенной души, вліянію такого настроенія на образъ мысля и дѣйствія людей. Мало того, онъ не только умѣетъ находить и уважать во всѣхъ религіяхъ религію,—онъ требуетъ равнаго полномочія и для такого душевнаго склада, который полагаетъ возможнымъ совершенно отказаться отъ религіозныхъ идей. Онъ освобождаетъ религію отъ всѣхъ внѣшнихъ формъ: онъ возвышаетъ до аналога религіи нравственное чувство, стремящееся къ идеалу совершенства помимо представленія о Богѣ и безсмертіи. Онъ стоитъ на точкѣ зрѣнія абсолютнаго гуманизма. Его уваженіе къ вѣчно человѣчному въ безкопечномъ многообразіи человѣческихъ особенностей относится къ многовѣрующему, также какъ и къ псевдую-

щему, — къ поклоняющемуся богамъ и идоламъ, также какъ и къ атеисту, — къ благочестивовѣрующему, какъ и къ мужественному, прометеевскому образу мыслей. Съ одинаковымъ сочувствіемъ и пониманіемъ изображаетъ онъ я тотъ и другой. Его гуманизмъ до такой степени зараженъ Кантовскою философіей, что онъ усматриваетъ ядро человѣческой натуры въ нравственномъ настроеніи и чистоту нравственности въ ея безусловной независимости и автономіи. Но это ядро не кажется ему погибшимъ тамъ, гдѣ онъ видитъ его въ оболочкѣ религиозныхъ идей и чувствованій, — чистота кажется ему ненарушевною, когда нравственная воля претворяется въ чувство и вдохновеніе. Первый портретъ онъ списываетъ, какъ кажется, съ людей въ родѣ Якоби, для послѣдняго онъ заимствуетъ нѣкоторыя черты изъ Гетевского «Прометей», больше же всего — изъ собственного душевнаго настроенія. Онъ, въ самомъ дѣлѣ, рисуетъ свой собственный портретъ: онъ самъ и есть именно тотъ, кто удовлетворяется «идеей совершенства, не соединяя сущимъ всего нравственнаго добра въ идеалѣ божества», — тотъ, кто въ цвѣтѣ молодости, «черезъ полноту и сознаніе внутренней силы чувствуетъ себя возвышеннымъ надъ всѣмъ преходящимъ». Онъ чувствуетъ себя человѣкомъ, который, безъ представленій о Богѣ и безсмертіи, проникнуть божествомъ, — человѣкомъ, чье сердце и безъ религиозныхъ представленій — «святое, пламенное сердце». Ибо эта идея совершенства для него «не одна лишь холодная разсудочная идея», а «горячее движеніе сердце». Онъ признаетъ и умѣетъ понимать тѣхъ, «которыхъ непреодолимо влечетъ отъ доступнаго чувствамъ и фантазіи человѣка міра къ предчувствію сверхчеловѣческаго существа и къ надеждѣ на непосредственное созерцаніе въ другіе періоды ихъ бытія». Но самъ онъ находитъ «болѣе высокое наслажденіе въ стремленіи, оглаживаясь міромъ, воспріятіе котораго ему доступно, живѣе слетать чувственную и сверхчувственную природу, придавая символу болѣе богатый смыслъ, правдѣ — болѣе понятное, болѣе содержательное обозначеніе»; онъ самъ «находитъ удовлетвореніе, вмѣсто этого упоительнаго восторга упованія, въ постоянно сопровождающимъ его сознаніи успѣшности его стремленія». Онъ прекрасно понимаетъ, что приводитъ очень многихъ къ представленію о премудромъ Создателѣ и Правителѣ міра: это — свойственная уму человѣка естественная склонность удивляться «мудрому порядку среди безчисленнаго множества разнообразныхъ и, можетъ быть, даже враждующихъ между собою индивидуумовъ». «Но для другихъ», продолжаетъ онъ, несомнѣнно излагая свой собственный образъ мыслей, «для другихъ сила индивидуальности болѣе дорога, она привлекаетъ ихъ больше, нежели всеобщность порядка», и этимъ послѣднимъ поэтому естественнѣе открывается другой путь, тотъ путь, «на которомъ само существо индивидуума, развиваясь само въ себя и видоизмѣняясь подъ вліяніемъ различныхъ воздѣйствій, само себя настраи-

ваетъ къ той гармоніи, въ которой одной умъ и сердце человѣка находятъ успокоеніе» ¹⁾.

Такимъ образомъ онъ противопоставляетъ божественному—человѣческое, виѣшнему—внутреннее, общему и цѣлому—отдѣльное и индивидуальное. Въ послѣднемъ, и именно въ образѣ прекрасной человѣческой индивидуальности, всѣ его идеальныя представленія соединяются какъ-бы въ фокусѣ, образуя его конечный идеаль. Изображаетъ-ли онъ набожное или ненабожное душевное состояніе, онъ всегда при этомъ имѣетъ въ виду гармонически настроенную душу, «истинно прекрасное, существованіе, которому одинаково чужды какъ холодность, такъ и фанатизмъ». При этомъ блажелательный характеръ его образа мыслей не позволяется ему принять возраженіе, будто-бы какъ изложенное имъ относится только къ человѣку, особенно благопріятствуемому природою и обстоятельствомъ. Возраженіе это, однако, достаточно основательно: его гуманизмъ имѣетъ существенно аристократическую окраску, но эта аристократическая окраска совершенно совпадаетъ съ его идеализмомъ, также какъ и его идеализмъ съ его эстетизмомъ. Поэтому-то его разсужденія о религіи восполняются экскурсіями въ область вопросовъ и сущности искусства и значенія прекраснаго. Онъ опредѣляетъ понятіе искусства, исходя, конечно, всецѣло изъ человѣка, и въ этомъ онъ присоединяется къ Канту. Всецѣло, съ точки зрѣнія эстетики опредѣляетъ онъ, наоборотъ, понятіе о человѣкѣ, и этимъ уклоняется отъ Канта. Примыкая къ «*Kritik der Urtheilskraft*» вносить онъ въ искусство чувственные элементы, совершенно также какъ въ религію. Человѣкъ ищетъ въ искусствѣ «изображеніе человѣческихъ ощущеній». Эстетическое чувство, для котораго «чувственное есть оболочка духовнаго, а духовное—животворящее начало чувственаго міра» даетъ настоящій отпечатокъ человѣческой натурѣ. «Постоянное изученіе этой фізіономіи природы развиваетъ истиннаго человѣка». Его сущность заключается въ эстетическомъ соединеніи страстнаго стремленія къ невидимому съ чувствомъ сладостной необходимости видимаго міра». Здѣсь коренится какъ прекрасное, такъ и возвышенное; здѣсь-же нужно искать и источникъ всѣхъ философскихъ системъ. Но съ этимъ взглядомъ на эстетическую природу человѣка Гумбольдтъ попадаетъ въ коллизію съ кантовскимъ морализмомъ, въ коллизію, подобную той, въ какую позднѣе попалъ Шиллеръ. Тотъ старался разрѣшить эту коллизію такъ, что онъ тиранію «долга» по отношенію къ «влеченію» превратилъ въ равноправное между ними отношеніе; Гумбольдтъ же разрѣшаетъ на этотъ разъ задачу болѣе близкимъ воззрѣнію Канта образомъ. Онъ вообще не находитъ противорѣчія между идеей возвышеннаго и «безусловно повелѣвающимъ закономъ». Она даетъ человѣку возможность

¹⁾ См. прилож. стр. 57—64.

повиноваться этому закону человѣчнымъ, основанномъ на чувствѣ, образомъ. Но и эстетическое чувство не наноситъ никакого ущерба чистотѣ нравственной воли, ибо оно не должно служить въ качествѣ побужденія къ нравственности; оно лишь посредникъ между отвлеченнымъ закономъ и конкретнымъ примѣненіемъ его, — оно должно только пыскивать для этого закона болѣе разнообразныя примѣненія, чѣмъ это удалось-бы холодному и потому менѣе свободному разсудку. До этого пункта Гумбольдтово изложеніе не идетъ дальше разсужденія Канта о прекрасномъ, какъ о «символѣ нравственнаго добра». Но онъ на этомъ не успокаивается. Болѣе эстетикъ, нежели Кантъ, болѣе чувственный, нежели Шиллеръ, онъ тотчасъ-же приписываетъ чувственности болѣе глубокія права и гораздо болѣе значительное вліяніе на нравственность, чѣмъ они оба. Надѣленный именно тѣмъ эстетическимъ чувствомъ, въ которомъ онъ усматриваетъ источникъ всякаго истинно человѣческаго творчества, онъ прямо дѣлаетъ чувственную природу носительницей нравственной силы; онъ не соединяетъ долгъ и влеченіе въ нѣчто третье, — самое строгое исполненіе обязанности кажется ему совмѣстимымъ или, лучше сказать, оно кажется ему обусловленнымъ полнѣйшею свободой и ревностнѣйшимъ культивираніемъ чувственной природы. На почвѣ чувственности онъ наблюдаетъ произростаніе прекраснѣйшихъ плодовъ интеллектуальныхъ стремленій, мало того — онъ высказываетъ здѣсь впервые* болѣе развитую имъ въ послѣдствіи любимую свою мысль аналогію духовнаго творчества и тѣлеснаго воспроизведенія. На почвѣ чувственности онъ наблюдаетъ также и возникновеніе практической дѣятельности въ ея высшемъ совершенствѣ. Для того, что Кантъ въ абстрактномъ смыслѣ обозначилъ какъ вершину духовной природы человѣка, онъ усматриваетъ въ чувственной природѣ твердый базисъ, питающій корни. Это платоновское ученіе объ *ἔρωσ'ς*, соединенное съ кантовскимъ императивомъ. «Всякая сила» — такъ гласитъ этотъ платонизированный кантіанализъ — «беретъ начало въ чувственности, и какъ-бы она ни была удалена отъ своего корня, она все-же всегда, если можно такъ выразиться, на немъ покоится. Кто безпрестанно стремится поднять свои силы и обновлять ихъ посредствомъ частаго наслажденія, кто часто пользуется силою своей воли для утвержденія своей независимости отъ чувственности, кто такимъ образомъ стремится соединить эту независимость съ величайшею впечатлительностью, чье прямое и глубокое чувство правды неутолимо изслѣдуетъ, чье тонкое и вѣрное эстетическое чувство не пропускаетъ красоты ни въ одномъ ея проявленіи, кто чувствуетъ потребность воспринимать все, стоящее вѣдѣ его и все воспринятое оплодотворять для новаго творчества, кто чувствуетъ потребность дѣлать все прекрасное достояніемъ своей индивидуальности и, соединившись съ нимъ всеѣмъ своимъ существомъ, стремится произвести новыя формы красоты, — тотъ можетъ наслаж-

даться сознаниемъ, что находится на вѣрномъ пути къ тому идеалу, который рисуетъ передъ человѣчествомъ самая смѣлая фантазія ¹⁾. Такъ высказывается, сказали мы, платонизированный кантіанизмъ. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь не теорія только излагается, но сама Гумбольдтова индивидуальность выступаетъ передъ нами наружу въ этомъ изображеніи идеала, человѣчности,—точно также, какъ мы слышимъ здѣсь не теорію о религіи, а индивидуальное Гумбольдтово исповѣданіе вѣры.

Та-же Гумбольдтова индивидуальность, характеристика которой насъ теперь занимаетъ, отражается какъ въ его политической, религіозной и эстетической теоріи, такъ и въ тѣхъ немногихъ положеніяхъ, которыя можно-бы назвать его философіей исторіи. И здѣсь мы опять встрѣчаемся съ тѣмъ-же эстетизированнымъ капитализмомъ,—этимъ вполне современнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ всецѣло антично-языческимъ воззрѣніемъ: съ добродѣтельнымъ гуманизмомъ, индивидуалистическимъ гармонизмомъ. Внутренняя сила человѣка, проявляясь въ цѣлой цѣпи поколѣній, даетъ образъ вѣчно-человѣческой сущности въ удивительной разносторонности. Гумбольдтъ выражаетъ мысль гуманистически окрашенной теодицеи. «Все, что происходитъ на землѣ, хорошо и благотворно, потому что все управляется внутреннею силою человѣка, какова бы не была его природа, и эта внутренняя сила въ какомъ бы то ни было проявленіи не можетъ дѣйствовать иначе, какъ благотворно». Это человѣческое, проявляющееся въ индивидуальности, есть именно сила, творящая исторію. Въ немъ лежитъ исходная точка для пониманія и разработки этой послѣдней. Поворотные пункты въ исторіи находятъ себѣ объясненіе въ періодическихъ возмущеніяхъ человѣческаго духа; всю исторію человѣческаго рода надо разсматривать, какъ естественное послѣдствіе переворотовъ, производимыхъ человѣческою силой ²⁾.

Мы остановились подробно, намѣренно подробно, на этомъ юношескомъ сочиненіи Гумбольдта. Послѣ него онъ не написалъ ничего, что равнялось-бы ему по законченности, по строгости и ясности мысли. Изъ всѣхъ его сочиненій это менѣе всего отрывочно. И оно тоже представляетъ собственно не научную систему; зато оно заключаетъ систему Гумбольдтовой индивидуальности. Всѣ черты его духовнаго облика представляются намъ въ совокупности въ этомъ первомъ юношескомъ изліяніи, подобно не распустившейся еще почкѣ. Сильно выраженное влеченіе къ индивидуальнымъ особенностямъ, глубокое уваженіе къ свободѣ и внутреннему достоинству человѣка, тенденція

¹⁾ Тамъ-же, стр. 80—85.

²⁾ Тамъ-же стр. 158, съ чѣмъ ср. „Ideen über Staatsverfassung“ (Идеи о государственномъ устройствѣ), стр. 310, 311.

въ сторону силы и твердости характера въ связи съ наклонностью къ универсальному образованию, равномерное пристрастіе къ древности съ ея пластически законченнымъ образованіемъ и къ духу новаго времени съ его разносторонностью, его сознательностью и субъективизмомъ; рѣзко выступающая чувственность, на вершинѣ которой высится возвышеннѣйшій спиритуализмъ, глубина чувства рядомъ съ ясностью мысли, вкусъ къ эпикуреизму рядомъ съ жидкой стоицизмомъ, интересъ къ политико-практическимъ вопросамъ рядомъ съ воззрѣніемъ, всецѣло направленнымъ на внутреннюю жизнь живущихъ въ мірѣ идей: такимъ является намъ въ своемъ сочиненіи Гумбольдтъ-юноша. Этому-же портрету въ существенномъ остался вѣреть и мужъ, и старецъ. Еще въ советахъ его старости или въ письмахъ, которыя онъ писалъ на склопѣ своей жизни той подругѣ, съ которою онъ познакомился въ Нирмонтѣ, встрѣчаются настроенія и взгляды, представляющія тѣ же, но какъ бы нѣсколько оттѣненные положенія, какія выставлены въ его юношескомъ трактатѣ. Несмотря на то, все черты этого многосторонняго существа были втеченіе его жизни углублены, и судьба была къ нему такъ благосклонна, что въ различные періоды жизни позволяла ему преслѣдовать то одно, то другое направленіе во всей его широтѣ и объемѣ. Мы видѣли, что въ юности его существо сосредоточивалось главнымъ образомъ въ культѣ прекраснаго и въ восторженной любви къ древности. Это были именно тѣ направленія и пути, по которымъ двигался вообще въ концѣ прошлаго вѣка нѣмецкій духъ, убѣгая отъ практическихъ интересовъ ничтожной дѣйствительности. Гумбольдтъ также отвернулся отъ этихъ интересовъ, живя въ самимъ имъ для себя выбранномъ бездѣйствіи. Онъ слѣдовалъ своей собственной индивидуальности и слѣдовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ теченію нѣмецкой умственной жизни, посвящая свой досугъ изученію древности и поэзіи. Требовался только личный толчекъ со стороны родственной индивидуальности, чтобы втянуть его совершенно въ эту область.

Въ Дальберговомъ кружкѣ онъ встрѣтилъ специалиста въ наукѣ древности; тамъ же онъ познакомился и съ молодымъ поэтомъ, готовящимся овладѣть мастерствомъ поэтическаго ремесла. Фридрихъ Августъ Вольфъ и Шиллеръ стали для Гумбольдта посредниками въ филологическихъ и эстетическихъ занятіяхъ. Завлекаемый и руководимый ими, онъ углубляется сначала въ одно, а затѣмъ и въ другое. Теперь мы послѣдуемъ за нимъ въ новый періодъ его развитія жизни, на порогъ котораго онъ теперь находился.

КНИГА ВТОРАЯ.

Дальнѣйшая работа надъ саморазвитіемъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Изученіе древности.

Мы видѣли, какъ уже въ «Идеяхъ о границахъ государственной дѣятельности» вплетаются картины республиканской государственной жизни древнихъ. Эти идеи были окрашены энтузіазмомъ къ античнымъ формамъ жизни и духа. Цитаты изъ Платоновой «Республики» и Аристотелевой «Политики», какъ и изъ другихъ писателей древности, чередуются съ цитатами изъ Гёте и Канта, Руссо и Мирабо. Непосредственно отъ этого политическаго труда Гумбольдтъ обратился къ занятіямъ Пиндаромъ. Увлеченный духомъ древняго лирика, онъ сдѣлалъ переводъ второй олимпійской оды. Онъ горѣлъ желаніемъ сдѣлать нѣсколько подобныхъ попытокъ. Мнѣніе Шиллера должно было рѣшить вопросъ и несомнѣнно въ силу его переводъ былъ напечатанъ ¹⁾.

Гейне (Heune) былъ не особенно доволенъ этимъ образчикомъ произведеній бывшаго своего ученика ²⁾. Несмотря на то, мы врядъ-ли ошибемся, приписывая интересъ къ древности вообще и къ Фиванскому поэту въ особенности, главнымъ образомъ влиянію этого ученаго, съ которымъ Гумбольдтъ во время своего пребыванія въ Геттингенѣ былъ связанъ не только отношеніями ученика къ учителю. Гейне принадлежитъ заслуга введенія въ филологію того возрѣнія на древность и на примѣненіе ея, какія были установлены Лессингомъ и Винкельманомъ. Онъ первый поставилъ филологію въ болѣе живое отношеніе къ эстетикѣ. Съ высоты университетской кафедры шелъ онъ на встрѣчу стремленіямъ этихъ филологически образованныхъ эстетиковъ и требовалъ учрежденія осо-

¹⁾ Berlin 1792. 8., теперь — G. W. II, 349 и слѣд. Ср. переписку Шиллера съ В. фонъ Гумбольдтомъ, стр. 89 и слѣд.

²⁾ Письмо Гумбольдта къ Вольфу, G. W. V, II Все послѣдующее изложеніе основано на перепискѣ Гумб. съ Вольфомъ, помѣщенной—хотя и въ неполномъ, значительно урѣзанномъ видѣ—въ пятомъ томѣ Ges. Werke.

беннаго факультета для двойственной науки филологіи и эстетики. Благодаря живости и вкусу, не часто встрѣчавшимся среди нѣмецкихъ ученыхъ, онъ возвысился надъ господствовавшею до тѣхъ поръ филологическою схоластикой и устранялъ преграду между старою и современною эпохой. Онъ не пренебрегалъ сопоставленіемъ и сравненіемъ греческой и римской литературъ съ литературами новыхъ языковъ и объяснялъ Гомера и Виргилія при помощи Аріоста и Тасса. Изъ-за латинскаго и греческаго языка древнихъ поэтовъ онъ не забывалъ, что они были поэтами и поэтами живого языка. Онъ былъ беллетристомъ между филологами и филологомъ между беллетристами. Какъ лекторъ и какъ писатель, онъ болѣе, чѣмъ кто-либо до него, содѣйствовалъ въ своихъ многочисленныхъ изданіяхъ, рѣчахъ и сочиненіяхъ по различнымъ поводамъ развитію и популяризаціи гуманитарныхъ наукъ. Онъ придалъ изученію древности болѣе современную отдѣлку; онъ гуманизировалъ гуманизмъ; облегчалъ и во всѣхъ отношеніяхъ украсилъ путь въ Элладу и Лаціумъ.

Но какъ ни плодотворенъ былъ такой поворотъ въ изученіи филологіи, онъ внушалъ тѣмъ не менѣе немалочисленные опасенія. Преобладающее вниманіе, направленное на духъ и эстетическое достоинство древнихъ, могло слишкомъ далеко отодвинуть отъ насъ вниманіе къ ихъ буквѣ. Угрожала опасность изъ за эстетики забросить критику; для того чтобы стать блестящимъ, популярнымъ и любимымъ—перестать быть основательнымъ и тѣмъ болѣе удалиться отъ дѣйствительнаго духа древности, чѣмъ сильнѣе будетъ стремленіе распространить его и сдѣлать болѣе доступнымъ для современнаго пониманія. Нѣмецкая наука однако-же сѣмъ избѣжать этихъ опасностей. Въ то время, какъ вліяніе Гейне развивало свои благотворныя послѣдствія, Фридрихъ Августъ Вольфъ устранилъ всѣ опасныя ихъ стороны. Онъ считался ученикомъ Гейне, а на самомъ дѣлѣ воспитался только въ школѣ древнихъ и почти всѣмъ обязанъ былъ усиленіемъ своего трудолюбія и внушеніямъ своего собственнаго генія. Онъ не отставалъ отъ Гейне; и для него древній міръ не былъ единственно только памятникомъ старины. И онъ стремился сохранить живую связь, живой обмѣнъ между нашею нынѣшнею и древне-классическою умственной жизнью. Но онъ превосходилъ его во всѣхъ отношеніяхъ. То, что Гейне дѣлалъ съ поверхностнымъ умѣніемъ, Вольфъ дѣлалъ съ глубокимъ пониманіемъ. За филологическимъ талантомъ слѣдовалъ филологическій геній. Гейне шелъ только на встрѣчу духу Лессинга и Винкельмана,—въ Ф. А. Вольфъ самъ этотъ духъ возродился. Для пониманія духа и художественнаго значенія древнихъ писателей Вольфъ вновь поставилъ необходимымъ условіемъ самое добросовѣстное отношеніе къ тексту. Для соединенія духовнаго міра съ новымъ онъ требовалъ, какъ единственнаго прочнаго основанія, самоотверженнаго углубленія въ него. Увлеченный духомъ строжай-

шей добросовѣстности, обостренной у Лессинга и Канта разсудочнымъ направлеиіемъ 16 вѣка; онъ былъ одновременно и панегиристомъ и мастеромъ филологической критики. Одаренный тою-же способностью пониманія дѣйствительности, благодаря которой нѣмецкая поэзія подялась на новую высоту, онъ возвратилъ филологію на почву исторіи. Зъ немъ была частица того, чѣмъ былъ великъ Кантъ, и того, чѣмъ былъ великъ Гёте. Самъ онъ представлялъ такую крупную личность. благодаря своей духовной организаціи, представлявшей какъ-бы обратную сторону Лессинговой организаціи: если у Лессинга развитый до совершенства умъ возвысился до гениальности, то у Вольфа гениальность проявилась въ формѣ ума и критическаго сужденія. Критическій разборъ и провѣрка шли у него рука объ руку съ глубокимъ историческимъ пониманіемъ. Комментировать классическихъ писателей значило для него перенестись въ ихъ эпоху и индивидуальность, сжитыя съ ними; только такимъ образомъ являлась для его критическаго духа возможность изображать древній міръ въ его самобытныхъ формахъ и правдивомъ своеобразіи. Конгениальное пониманіе древности было основаніемъ, поистинѣ гениальныя способности—орудіемъ его критической дѣятельности. Онъ началъ инстинктомъ предвидѣнія, а окончилъ ясными доводами и строгою аргументаціею. Благодаря своимъ дарованіямъ, а затѣмъ и методу, онъ соединилъ всѣ одностороннія направленія, по которымъ блуждала до тѣхъ поръ филологія и сталъ творцомъ настоящей и истинной филологіи. Сохранило свои права направлеиіе Гейне, центръ тяжести котораго лежалъ въ интерпретаціи; снова нашли свое оправданіе односторонность голландскихъ ученыхъ, установленное Гемстергуисомъ (Hemsterhuis) и Рункеномъ (Ruhnken) понятіе филологіи, какъ критики *par excellence*. Въ предѣлахъ древней исторіи филологическая наука сдѣлалась даже снова въ извѣстномъ смыслѣ полигисторіей, какою она по болѣе древнему понятію была. Въ образѣ теоріи и наукъ вернулась она къ стремленію своей первой юности, къ цѣли, преслѣдовавшейся когда-то практически гуманистами XIV и XV вв.—всѣцѣло перенестись въ жизнь Греціи и Рима.

Въ этомъ пересозданіи филологіи, вызванномъ дѣятельностью Вольфа, Вильгельму Гумбольдту предназначено было во многихъ отношеніяхъ принять участіе. Среди своего посвященнаго самообразованію досуга, въ которомъ мы его оставили, ему предстояло принять участіе въ изученіи и трудахъ Вольфа. Вся его индивидуальность должна было сдѣлать его въ нѣкоторомъ родѣ живымъ изображеніемъ и воплощеніемъ новаго духа Вольфовой психологіи. И наконецъ его философское направлеиіе въ связи съ его индивидуальностью помогли Вольфу придти къ болѣе опредѣленной научной формулировкѣ его филологическихъ тенденцій.

По всей вѣроятности еще въ 1790 году, въ домѣ Дахерёдовъ, за-

вязалось знакомство Гумбольдта съ великимъ филологомъ, преподававшимъ съ 1783 года въ университетѣ въ Галле; однако, прочное основаніе сношенію между ними обоими, сохранившемуся въ существенномъ неизмѣннымъ до смерти Вольфа, было положено лишь лѣтомъ 1792 года, когда Гумбольдтъ посѣтилъ его въ Галле. Это посѣщеніе было непродолжительно, оно длилось только нѣсколько часовъ. Гумбольдтъ объявилъ себя ученикомъ той области, хозяиномъ которой онъ призналъ Вольфа. Послѣдній, находившій какъ разъ въ ту эпоху величайшее наслажденіе въ живой академической учебной дѣятельности, охотно призналъ въ Гумбольдтѣ ученика, въ которомъ надѣялся встрѣтить друга и товарища. Подобно тому, какъ изъ среды студентовъ своей семинаріи въ Галле онъ избиралъ себѣ сотрудниковъ, такъ точно могло ему показаться привлекательнымъ распространить свое возбуждающее вліяніе и за предѣлы этого круга. Часть его задачи заключалась въ томъ, чтобы освободить филологію и на практикѣ отъ остальныхъ наукъ и привлечь къ ней прозелитовъ изъ лагеря теологіи и юриспруденціи. Въ Гумбольдтѣ онъ нашелъ независимаго человѣка, оставившаго свое общественное поприще, рѣшившагося жить для своего самообразованія и готоваго наполнить свой досугъ филологическими занятіями. Рѣчь зашла о Платонѣ. Уже въ качествѣ учителя въ Ильфельдѣ Вольфъ много занимался его діалогами и носился съ мыслью о новомъ критическомъ и пояснительномъ изданіи отдѣльных діалоговъ. Съ этой областью какъ разъ и Гумбольдтъ былъ всего болѣе знакомъ. Это было чѣмъ-то въ родѣ семинарской работы, когда Вольфъ попросилъ его прочесть Федра и отмѣтить мѣста, которыя представляютъ для него затруднительными; Вольфъ забоялся объ исполненіи имъ этой работы, и вслѣдствіе напомнанія съ его стороны, Гумбольдтъ отослалъ ее ему 22 октября, съ робостью ученика, съ признаніемъ, «что онъ никогда не занимался методическимъ изученіемъ греческаго языка».

Съ тѣхъ поръ общеніе между ученикомъ и учителемъ не прерывалось. Данный Вольфомъ толчекъ продолжалъ дѣйствовать. Изученіе классиковъ, до тѣхъ поръ сопровождавшее философско-политическія занятія, заняло вслѣдствіе этого исключительное положеніе. Въ уединеніи Аулебена, — другое имѣніе жены близъ Нордгаузена, гдѣ Гумбольдтъ поселялся послѣ своего пребыванія во Эрфуртѣ, — древніе писатели вскорѣ стали его единственными собесѣдниками. Личность такого филолога, какъ Вольфъ, рѣшила вопросъ о выборѣ занятія, къ которому уже давно влекла внутренняя сила. Но такимъ рѣшающимъ образомъ его личность повліяла повидямому только потому, что эти занятія удовлетворяли все существо Гумбольдта, потому что они наиболѣе соответствовали конечной цѣли его самообразованія — идеѣ законченнаго и всесторонняго человѣческаго развитія. Эта идея слилась у него съ тѣмъ представленіемъ о древнеи мірѣ, ко-

торое онъ носилъ уже въ своей душѣ. На этомъ основаніи онъ составилъ и намѣтилъ себѣ планъ, по которому «изученіе древняго міра и въ особенности Греціи должно быть его исключительнымъ занятіемъ», — и исходя изъ этого онъ самъ поставилъ себѣ цѣль, составилъ программу своихъ занятій, развилъ ихъ понятіе и точку зрѣнія. Заниматься въ качествѣ специалиста - филолога онъ не считалъ для себя возможнымъ; полученное имъ воспитаніе и образованіе не давало ему на то право. Да и насколько для насъ уже выяснилась его индивидуальность, онъ не былъ склоненъ идти въ ту или другую специальную область, въ ту или другую отрасль науки; вмѣсто этого онъ стремился къ всестороннему, равномѣрному и гармоническому образованію, тому образованію, «которое какъ бы объединяетъ всего человѣка, дѣлаетъ его не только способнѣе и сильнѣе, лучше въ томъ паче другомъ отношеніи, но дѣлаетъ его вообще болѣе значительнымъ, болѣе благороднымъ человѣкомъ». Съ этой точки зрѣнія на самообразованіе совпадала вполнѣ и восторженное представленіе, которое онъ составилъ себѣ о древнихъ и въ особенности о грекахъ; эти послѣдніе представляли для него народъ съ такою формою образованія, къ какой онъ именно самъ стремился. Невозможно усвоить его себѣ лучше, по его мнѣнію, какъ посредствомъ изученія гармонически развитаго человѣка, — словомъ, какъ путемъ изученія грековъ.

Но такіе воззрѣнія, какъ высказанныя Гумбольдтомъ въ письмѣ къ Вольфу отъ 1 декабря 1792 года, должны были произвести сильное вліяніе и на Вольфа. Самъ Вольфъ, какимъ-бы онъ выдающимся филологомъ ни былъ, — онъ, который уже при своемъ вступленіи въ университетъ настоялъ, вопреки всѣмъ обычаямъ, чтобы его имматрикулировали въ качествѣ «студента филологіи», — самъ Вольфъ не былъ филологомъ по ремеслу. Все его стремленіе заключалось въ томъ, чтобы сдѣлать ремесло наукой и технику возвысить на степени искусства. Впродолженіе многолѣтняго лекторства онъ все полнѣе изслѣдовалъ сумму доктринъ, относящихся къ изученію древнихъ и все болѣе и болѣе внушалъ себѣ самому и своимъ ученикамъ мысль объ общей связи и самостоятельномъ единствѣ всѣхъ этихъ отраслей знанія. Нѣсколько разъ предпринималъ онъ, подъ именемъ энциклопедія и методологія изученія древности, рядъ лекцій, которыя должны были представить обзоръ всей области филологіи, какъ это было уже давно въ обычаѣ для другихъ факультетскихъ предметовъ. Но и этого было ему мало. Безпрестанно — употребляя его собственное выраженіе — беспокоило его желаніе дать себѣ самому и своимъ слушателямъ болѣе опредѣленный отчетъ въ понятіи, содержаніи, связи и главной цѣли этой науки, и ни одно изъ бывшихъ въ то время въ употребленіи объясненій по этому предмету не могло его удовлетворить; они были частью слишкомъ односторонни, частью просто непригодны; они или сводили филологію къ извѣстнымъ от-

дѣльнымъ научнымъ цѣлямъ, или просто хотѣли принизить ее до степени прислужницы для практическихъ, утилитарныхъ цѣлей. Понятно, что его собственный взглядъ и его собственное чувство болѣе универсальнаго назначенія и высшаго достоинства науки о древности было затронуто, когда Гумбольдтъ заявилъ о своемъ намѣреніи заниматься этой наукой исключительно для нея самой, какъ свободный человѣкъ, когда онъ жизнь въ ней прямо отождествлялъ съ понятіемъ образованія, человѣка съ гармоническимъ развитіемъ силъ объявилъ объектомъ, а слѣдовательно, и цѣлью этого изученія. Очевидно, точка зрѣнія, которую Гумбольдтъ выдвинулъ, какъ специальную и особую, въ своемъ изученіи древняго міра, была болѣе высокою, истинною и заслуживавшей сдѣлаться всеобщею. Дѣло было за дальнѣйшимъ ходомъ взаимнаго пониманія, для обѣихъ одинаково желательнаго и интереснаго. Рождественскіе каникулы съ 1792 на 1793 годъ Вольфъ провелъ у своего «филологическаго друга» въ Аулебенѣ. Разговоръ вращается около Гомера и Платона, метрики Пиндара, текста теогоніи, но постоянно снова возвращается къ главному ихъ интересу—къ значенію древнихъ грековъ для нашего современнаго образованія и къ вопросу: для какой цѣли изучаемъ мы ихъ языкъ, ихъ сочиненія, исторію? И все-таки предметъ далеко не былъ исчерпанъ этими разговорами. Вольфъ первый возбуждаетъ снова этотъ вопросъ въ своихъ письмахъ. Передъ лицомъ такого глубокаго и основательнаго знатока древности Гумбольдтъ не колеблется изложить въ быстро набросанномъ очеркѣ свой взглядъ на характеръ грековъ и на цѣль ихъ изученія. Его перомъ ведетъ одушевленіе, охватившее его при первомъ взглядѣ на это обширное научное поле. Познакомившись впервые только съ лучшими и благороднѣйшими писателями древней Греціи; онъ составилъ себѣ—онъ не скрываетъ этого отъ себя—о греческомъ духѣ можетъ быть слишкомъ идеальное мнѣніе. Зато его взглядъ не ограниченъ отдѣльными явленіями, не служенъ ими. Онъ знаетъ, что о многомъ онъ судитъ только на основаніи смутнаго ощущенія,—тѣмъ опредѣленнѣе за то его мысли о цѣли образованія вообще; занятія философій, размышленія надъ самимъ собой, придали его разсужденіямъ въ этомъ направленіи глубину и ясность, къ которымъ тщетно стремился Вольфъ. Въ одномъ, впрочемъ, они успѣли сговориться: что «знакомство съ древнимъ человѣчествомъ» составляетъ конечную цѣль изученія древности, это были уже тогда слова Вольфа. Что это знакомство служитъ наилучшимъ средствомъ «для образованія прекраснаго человѣческаго характера»,—это Гумбольдту нужно было только высказать, чтобы встрѣтить со стороны Вольфа пониманіе и одобреніе. Но афоризмы, которые первый теперь высказывалъ, заходили еще дальше; глубже и богаче развивали они это воззрѣніе. А именно: общая категорія, къ которой относится знакомство съ древнимъ міромъ, есть, по мнѣ-

нію Гумбольдта, «философское знаніе человѣка вообще». Всякому человѣку, въ качествѣ такового, это знаніе необходимо, какъ практику, такъ и занимающемуся идеями, — историку, философу, художнику, просто наслаждающемуся человѣку. Дѣйствующему оно необходимо потому, что тотъ долженъ поставить себѣ цѣлью постоянное возрастаніе нравственнаго благородства: всѣ несовершенства человѣка могутъ быть объяснены неправильнымъ отношеніемъ между его силами; высшее же изученіе человѣка выясняетъ для него всю его цѣльность: оно показываетъ ему, какъ это несоотвѣтствіе можетъ быть сглажено, и эти несовершенства устранены. Но также точно оно необходимо и просто наслаждающемуся человѣку: наслаждаются люди въ самые благородные свои моменты, а въ такіе моменты — и возможно ли здѣсь опять не видѣть, что Гумбольдтъ характеризуетъ себя самого? — наиболѣе высокими являются тѣ радости, которыя получаются «изъ самонаблюденія и изъ общенія съ людьми въ разнообразныхъ его отгѣнкахъ»; но получить эти радости можно только посредствомъ глубокаго пониманія своего и чужого бытія, а послѣднее въ свою очередь невозможно безъ глубокаго изученія человѣка вообще. Это же изученіе есть средство возвышать и разнообразить другія равно природныя наслажденія, — эстетическое наслажденіе произведеніями природы и искусства. Оно служитъ наковнецъ средствомъ для ослабленія чувства несчастія, ибо «страданіе, какъ и порокъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказывается всегда только частичнымъ: тотъ, кто имѣетъ передъ глазами человѣчество въ цѣломъ, видитъ, какъ въ одномъ мѣстѣ наблюдается подъемъ, когда въ другомъ замѣчается паденіе». — Отъ такого рода разсужденій общаго характера, — разсужденій, всецѣло вытекающихъ изъ его индивидуальных особенностей и настроеній, — Гумбольдтъ только въ позднѣйшихъ параграфахъ переходитъ къ грекамъ; это философское изученіе человѣка отождествляется для него съ изученіемъ греческаго мира. Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, котораго намъ рисуютъ греческіе писатели, составленъ изъ однихъ только простыхъ, крупныхъ и прекрасныхъ чертъ; и вездѣ въ Греція — эта мысль была высказана уже въ «Опытѣ о границахъ государственной дѣятельности» — передъ нами выступаетъ человѣкъ, тогда какъ новое время устремляетъ свое вниманіе болѣе на предметы, чѣмъ на людей, на массы болѣе, чѣмъ на индивидуумовъ, — притомъ человѣкъ индивидуальный, ибо все у нихъ индивидуализировалось: ихъ языкъ, исторія, ихъ поэзія и даже ихъ философія; индивидуальный — и потому цѣльный, во всей своей гармонической цѣльности. Греки были народомъ по существу эстетическимъ; они рано усвоили себѣ тонкое пониманіе красоты природы и искусства; забота объ умственномъ развитіи была у нихъ всегда неразрывно связана съ заботой о развитіи физическомъ и руководилась всегда идеями красоты. Эта эстетическая культура объеди-

няеть все существо человѣка, и потому именно она могла бы стать коррективомъ нашего нынѣшняго образованія, которое вслѣдствіе обилія своихъ направленій грозитъ лишеніемъ всякаго вкуса и эстетическаго чувства.

Къ сожалѣнію, только отрывками изъ его «Этюда о грекахъ» (*Skizze über die Griechen*) могли мы воспользоваться для выясненія его точки зрѣнія. Они достаточно однако же уясняютъ направленіе, которое онъ придалъ своимъ занятіямъ по изученію древности, и представленіе, которое онъ составилъ себѣ о грекахъ вскорѣ послѣ того, какъ приступилъ къ обстоятельному изученію классиковъ. Они достаточны въ особенности для уясненія того вліянія, которое Гумбольдтъ имѣлъ на исходищую отъ Вольфа реформу филологіи, и главное — на установленное послѣднимъ понятіе о наукѣ древности. Отъ Вольфа этотъ очеркъ перешелъ въ руки Дальберга и Шиллера. Оба покрыли его поля своими разъясненіями. Что касается Вольфа, то онъ возрѣніи своего друга сдѣлалъ своею полною собственностью и воспользовался его указаніями для выясненія и углубленія своихъ собственныхъ взглядовъ. Ему обязаны мы знакомствомъ съ этими немногими отрывками изъ Гумбольдтовой статьи. Четырнадцать лѣтъ спустя онъ написалъ свою *Darstellung der Alterthumswissenschaft*, въ которой высказалъ, сколь многимъ обязанъ устнымъ и письменнымъ бесѣдамъ съ «благороднымъ и прекраснымъ товарищемъ въ занятіяхъ филологіей» (*συμφιλολο-γούρντος τινοῦ ποθ' ἡμῶν κάλοῦ καγαθοῦ*); онъ далъ здѣсь обстоятельный текстъ къ цѣлому ряду мѣстъ, извлеченныхъ изъ сочиненія Гумбольдта и являющихся такимъ образомъ примѣчаніями къ его собственной работѣ ¹⁾). Гумбольдтовы мысли въ этомъ сочиненіи совершенно неотдѣлимы отъ мыслей великаго филолога. Болѣе энциклопедическая тенденція послѣдняго подъ вліяніемъ Гумбольдта очевидно перешла въ стремленіе соединять филологическіи доктрины въ одно «органическое цѣлое». Его болѣе историческое направленіе, благодаря тому же вліянію, проиялось и философскими тенденціями, такъ что рѣчь заходитъ уже теперь о возвышеніи знакомства съ древнимъ миромъ на степенъ «философско-исторической науки». Въ обояхъ этихъ стремленіяхъ Вольфъ, пожалуй, не достигнулъ своей цѣли: организмъ его «науки о древности» въ концѣ-концовъ распадается, ясность логической конструкціи отчасти исчезаетъ въ массѣ болѣе конкретныхъ возрѣній; но эта цѣль все же высказана и разъ навсегда установлена. По крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ Вольфъ достигаетъ кульминаціоннаго пункта своего изложенія, онъ примыкаетъ самымъ тѣснымъ образомъ къ Гумбольдтову «Этюду о грекахъ» и съ величайшею опредѣленностью выдвигаетъ эту уни-

¹⁾ Museum der Alterthumswissenschaft von Wolf und Buttmanн Bd. I, тахъ же стр. 126—129 и 133—137.

версальную, истинно философскую точку зрѣнія. Тамъ, гдѣ онъ желаетъ показать читателю конечную цѣль изученія древняго міра,— «какъ бы эпоптію святѣйшаго, какъ его называли элевзинскіе жрецы»,—тамъ онъ опредѣляетъ науку о древности какъ «изученіе дрепняго человечества» и видятъ цѣль этого изученія въ желательномъ «знакомствѣ съ человѣческой природой вообще». Для возможно полнаго достиженія этой цѣли «нашъ взглядъ долженъ быть долго устремленъ на какую нибудь великую націю и на ходъ ея развитія». Нужно изучать такую націю какъ отдѣльный индивидуумъ,—что для послѣдняго даетъ біографическое описаніе, то для перваго должна дать «картина всего національнаго бытія», И, разумѣется, онъ тотчасъ, въ полномъ согласіи съ Гумбольдтомъ, выставляетъ именно грековъ, какъ настоящій образцовый народъ для ознакомленія съ истинно человѣческою природой. Но даже тамъ, гдѣ онъ говоритъ о характерѣ направленаго на такія цѣли изученія древности, передъ его воспоминаемъ очевидно встаетъ образъ прежняго товарища. Онъ изображаетъ науку о древности, какъ Аристотель изображалъ философію: она труднѣе передается, нежели большинство другихъ познаній; она поощряетъ и награждаетъ, подобно философіи, только тѣхъ, которые слѣдятъ за ея постепеннымъ развитіемъ, которые занимаются ею ради нея самой, а не по долгу службы или для того, чтобы убить время; при такомъ отношеніи къ ней она становится средствомъ къ достиженію высшей ступени духовной культуры, заставляя насъ направлять наши силы и способности къ совмѣстной дѣятельности; ея плодъ—многосторонность ума и чувства. Въ этихъ воззрѣніяхъ отражается самосознаніе и аристократизмъ собственной гениальности; но въ этомъ отражается также воспоминаніе, какъ о словахъ, такъ и о родственной ему личности и характерѣ друга.

Но если такова была идея, которую составилъ себѣ Гумбольдтъ, при живѣйшемъ сочувствіи Вольфа, объ изученіи древности, то именно она и должна была представить собою программу для его занятій въ этой области. Прежде всего онъ желалъ достигнуть яснаго и полнаго знакомства съ источниками; онъ поставилъ себѣ задачей перечитать всѣхъ важнѣйшихъ писателей древности, болѣе того—воплотить ихъ *in succum et sanguinem*. Съ этимъ стремленіемъ къ проникновенію въ духъ древнихъ, къ полному усвоенію его, непосредственно соединялись постоянно повторявшіяся попытки перевода. Переводъ Пиндара былъ первымъ проявленіемъ любви къ древне-греческому міру. Чѣмъ долѣе онъ жилъ въ мірѣ древнихъ, тѣмъ чаще вызванный прочитаннымъ восторгъ увлекалъ его къ попыткамъ подражать имъ. Во всѣхъ этихъ опытахъ выражается единое направленіе, въ которомъ онъ велъ эти занятія, и все въ усиливающейся степени. Такъ, онъ перевелъ въ ближайшіе затѣмъ годы нѣсколько одъ Пиндара, многіе хоры изъ «Эвменидъ» Эсхила, одно мѣсто изъ Си-

мония. Увлеченный возвышенною красотой Эсхиловаго «Агамемнона», онъ охотно перевелъ бы, съ благословенія музъ, и хоры изъ этой трагедіи. Онъ носился съ мыслью о переводѣ Платоновскаго Менексена, о переводѣ Геродота и Фукидида. Его планы шли дальше. Въ первомъ пылу увлеченія идеей изученія древняго міра онъ намѣревался предпринять періодическое изданіе, посвященное исключительно греческой литературѣ, подъ названіемъ «Эллады»; въ немъ онъ хотѣлъ дать вѣрную картину древней Греціи. Переводы и характеристика должны были составлять ея содержаніе; ея цѣль—способствованіе тѣму именно способу изученія древности, который онъ избралъ. Ознакомленіе съ греческимъ міромъ съ точки зрѣнія ознакомленія съ человѣкомъ вообще составляло также цѣль всѣхъ проектовъ, которые вскорѣ вытѣснили первый. Онъ имѣлъ отдаленное намѣреніе заняться изложеніемъ греческой философіи, представить картину нравовъ и міровоззрѣніе грековъ; печатавъ переводъ одного изъ хоровъ «Эвменидъ» въ *Veitinger Monatschrift*¹⁾, онъ сопровождаетъ его замѣтками къ характеристикѣ греческой лирики и греческихъ религіозныхъ идей. Однако, всѣ эти планы и намѣренія были отодвинуты на задній планъ самымъ изученіемъ предмета. Чистое, наслаждающееся въ высшемъ смыслѣ углубленіе въ содержаніе и форму человѣческой природы у грековъ не было уже само по себѣ наклонно къ продуктивности и общительности; еще менѣе была къ тому склонна натура Гумбольдта. Только переводы поэтическихъ вещей, трудъ, въ которомъ это углубленіе и это наслажденіе чувствовалось положительнымъ и болѣе усиленнымъ образомъ, увлекало его иногда; въ остальномъ онъ скоро созналъ, что «для него собственныя работы имѣютъ мало значенія, главное для него это—изученіе».

Изъ всего предыдущаго можно было бы, пожалуй, вынести такое впечатлѣніе, что занятія Гумбольдта носили чисто диллетантскій характеръ. Къ этому приводитъ и собственное признаніе Гумбольдта въ крайней несплестематичности и неполнотѣ своихъ свѣдѣній. Болѣе того — именно сознаніе этой недостаточности, т. е. въ сущности диллетантизмъ, привело его къ той высокой точкѣ зрѣнія на изученіе древности, которую врядъ ли выразила бы для себя цеховая филологія. Вѣрно, однако, то, что эта точка зрѣнія и строгость, съ которою онъ ее проводилъ, вскорѣ отвлекли его отъ диллетантизма къ самому основательному и добросовѣстному отношенію къ своей темѣ. Если строгая ученость Вольфа подъ влияніемъ Гумбольдтовыхъ идей получила болѣе широкій взглядъ и болѣе обширное понятіе о наукѣ о древности, то Гумбольдтъ, благодаря прямѣру и помощи Вольфа, вскорѣ оказался введеннымъ во всѣ детали и трудности филологическихъ тонкостей. Онъ вездѣ стремился къ индивидуализаціи общаго, къ выполненію понятія

1) 1793 г. т. 22, стр. 149 и слѣд.; теперь въ G. W. III. 97 и слѣд.

всю, до самой своей глубины исчерпанною дѣйствительностью, и въдѣ невозможно было углубиться въ истинныя формы дреялаго міра, испытать его настоящій вкусъ, не разложивъ его на его первѣйшіе элементы и не подвергнувъ ихъ испытанію, — настоящіе ли они въ самомъ дѣлѣ! Да и Вольфъ далъ замѣчательный примѣръ того, какъ съ доведенною до микрологіи критическою и грамматическою строгостью можетъ соединяться граничащая съ неустрашимостью гениальность и глубокомысленная свобода взгляда. Хотя Гумбольдтъ и придумалъ особую точку зрѣнія для своихъ занятій древностью, но онъ, однако, считалъ не менѣе нужнымъ «стремиться всѣми силами къ основательности также и въ грамматическихъ молочахъ, въ стихосложеніи, удареніи и т. п.» Кто, работая съ Вольфомъ, хотѣлъ или могъ бы освободиться отъ этихъ требованій! И скорѣе мы видимъ, какъ ученикъ, наперерывъ съ учителемъ и совершенно въ его духѣ, хлопочетъ о вѣрно восстановленномъ и подлинномъ текстѣ Гезіода, объ исправленіи мѣсть у Эсхила и Геродота. Идея Вольфовскаго Гомера захватываетъ его; полный ошаданіи, онъ готовится увидѣть въ немъ «канонъ всего изданнаго». Онъ набрасывается на изученіе старыхъ грамматиковъ; но даже и этотъ сухой предметъ вызываетъ въ немъ идею о ходѣ развитія языка и литературы. Глубже всего держится у него любовь къ Пиндару. Его трогаетъ и плѣняетъ «соединенная съ граціей глубина» этой лирики, но онъ чувствуетъ, что ея духъ неразрывно связанъ съ группировкой долгихъ и короткихъ слоговъ, что полное наслажденіе этимъ поэтомъ возможно только при ощущеніи музыки его стиховъ. Поэтому онъ углубляется съ неустаннымъ прилежаніемъ въ метрику. На этомъ мало еще обработанномъ полѣ прокладываетъ онъ самостоятельную дорогу и преодолеваетъ терніи этого изученія съ терпѣніемъ, которое онъ, къ счастью, рано выработалъ въ себѣ благодаря своимъ юридическимъ занятіямъ. Однако загадки, представляемыя метрикой, не разрѣшмы безъ пониманія греческой музыки. Профанъ во всемъ что касается музыки, онъ долженъ для этого ознакомиться прежде съ ея элементами. Пользуясь пребываніемъ въ Эрфуртѣ, въ мартѣ и апрѣлѣ 1793 года, онъ занимается съ однимъ изъ мѣстныхъ органистовъ теоріей музыки. На ряду съ старыми стихотворцами онъ принимается за чтеніе старыхъ музыкантовъ. Сухость предмета не отталкиваетъ Гумбольдта — его привлекаетъ его тонкость. Чѣмъ запутаннѣе вопросъ, тѣмъ настойчивѣе и основательнѣе приступаетъ онъ къ нему. Онъ ставитъ себѣ правиломъ добиваться въ нихъ по крайней мѣрѣ «той степени незнанія, которая можетъ быть оправдана ясными доводами». Его положительность и правдивость, въ соединенія съ терпѣніемъ и тонкимъ пониманіемъ, производятъ истинную филологическую основательность, ибо должному онъ предпочитаетъ знаніе незнанія, смѣлости и неточности — скромность *объ оѣдѣ*.

То, чѣмъ занимался Гумбольдтъ, была Вольфовская филологія. Личное отношеніе къ Вольфу придавало этимъ занятіямъ особую прелесть. Во многихъ однако же отношеніяхъ они оба представляли различныя натуры. Въ характерѣ Вольфа было нѣчто глубоко страстное, вслѣдствіе чего пожилой человекъ казался моложе юнаго Гумбольдта, все существо котораго было проникнуто спокойною кротостью. Эта разница въ темпераментахъ придавала и умственнымъ качествамъ Вольфа другую окраску, отличную отъ его молодого друга. Болѣе чѣмъ Гумбольдтъ, производилъ онъ впечатлѣніе гениальности. Съ божественною увѣренностью, казалось, дѣлалъ онъ самые смѣлые шаги, тогда какъ Гумбольдту чужда была всякая смѣлость, и онъ шелъ шагъ за шагомъ съ осторожною обдуманностью. Казалось, трудно было вѣрить, что такая вспыльчивость и раздражительность одного можетъ мириться съ такою кротостью и мягкостью въ другомъ, такая отвага—съ такою робостью, такая самонадѣянная гордость—съ такою сдержанною скромностью. И дѣйствительно, наступило время, когда нужно было все умѣряющее спокойствіе Гумбольдта, чтобы переносить крайности Вольфовой натуры и успокоивать надменный, болѣзненно раздражительный его умъ. Но пока еще Вольфъ былъ въ расцвѣтѣ своихъ силъ, въ разгарѣ бодрой, плодотворнѣйшей дѣятельности, въ полномъ обладаніи и во власти своего лучшаго «я». Кромѣ того, въ этотъ періодъ самое отношеніе къ нему Гумбольдта, какъ ученика къ учителю, содѣйствовало уживчивости ихъ характеровъ. Между ними было много и общаго. Оба они отличались сильною чувствительностью и потребностью наслажденія. Оба при своемъ реалистически изощренномъ пониманіи знали прелесть духовныхъ наслажденій. Оба они имѣли высоко развитый вкусъ ко всему прекрасному; въ поискахъ за нимъ они встрѣтились на почвѣ греческой жизни. Чистая любовь къ прекраснымъ твореніямъ древности направляла ихъ духовныя силы къ одной и той же цѣли. Ихъ научныя стремленія соединились въ одно цѣлое съ личными. Предметомъ ихъ изученія была жизнь и индивидуальная реальность, поэтому-то общности этихъ занятій приводила ихъ къ живому индивидуальному общенію. Здѣсь, въ уединеніи Гумбольдтова помѣстья, ученость теряла свой мрачный и труженническій видъ, жизнь отдавала ей свои прелестнѣйшія одѣянія, современность окрашивала своими свѣжими красками.

Возлѣ очаровательной, нѣжно любимой жены погружается онъ въ мысли и чувства, формы и звуки прекраснѣйшаго прошлаго, какое только знаетъ исторія. Подруга жизни становится для него подругой въ занятіяхъ. Она сопровождаетъ его всюду, гдѣ дороги болѣе проторены, гдѣ виды прекраснѣе. Онъ читаетъ съ ней Гомера и Геродота. При ея помощи она усвоиваетъ себѣ языкъ Іонія, и онъ находитъ, что въ ея устахъ исторія Пенелопы или Навзикеи вдвое выигрываетъ въ прелесть, и что онъ только теперь вполнѣ постигъ разумную на-

ивность стараго рассказчика. Ставя себѣ задачей переводъ Пиндара и Овидіа, онъ думаетъ, что ей можетъ быть впослѣдствіи удастся переводъ Геродота. Отъ греческаго она тотчасъ хочетъ перейти къ латинскому и Гумбольдтъ не препятствуетъ ей, когда она для своего первоначальнаго обученія избираетъ «Метаморфозы» Овидія. Для ихъ друга изъ Галле она берется, если только онъ пріѣдетъ къ нимъ опять, находить мѣста у Гомера такъ, какъ онъ этого требуетъ¹⁾. Что за жизнь будетъ тамъ, когда Вольфъ перенесетъ свой музей и аудиторію въ Аулебенъ! Каролину фогъ-Дахерёденъ онъ зналъ еще въ родительскомъ домѣ гораздо ранѣе, чѣмъ нашель въ ея мужъ такого вѣрнаго друга и товарища по занятіямъ. Когда онъ болталъ съ ними обоими о Гомерѣ и грекахъ, онъ охотно забывалъ своихъ студентовъ. Онъ могъ и работать въ Аулебенѣ: если онъ и не имѣлъ тамъ всѣхъ своихъ книгъ, то тамъ была всетаки маленькая избранная бібліотека, которую онъ самъ прозвалъ «настолюною бібліотеккой». Въ обыкновенное время письменное общеніе должно было замѣнять устное; разъ или даже два раза въ недѣлю друзья писали другъ другу. Въ письмахъ Гумбольдта, въ его всегда ровномъ тонѣ, выражается чувство искреннѣйшей, благодарнѣйшей дружбы; невозможно говорить скромнѣе, съ большимъ уваженіемъ и подчиненіемъ. Нельзя благороднѣе соединять отношенія ученничества съ дружбою, сознающею свою собственную цѣну и равноправность. И это чувство преданности такъ искренно и правдиво, что онъ ставитъ себѣ искренность и правдивость въ священную обязанность. На этой правдивости основываются со стороны Гумбольдта всѣ ихъ отношенія. «Рѣшающимъ», пишетъ онъ однажды, «является для него мнѣніе Вольфа», — «не рѣшающимъ», прибавляетъ онъ, «въ смыслѣ сужденій, — Вы сами менѣе всего желали-бы видѣть во мнѣ человѣка безсмысленно повторяющаго Ваши слова, — но рѣшающимъ въ смыслѣ результата того впечатлѣнія, которое производятъ на Васъ мои работы, потому что я твердо убѣжденъ, что Вы не скажете мнѣ ничего кромѣ голой и простой правды; на такую-же искренность Вы можете рассчитывать и съ моей стороны». Съ этою правдивостью связанъ и чисто объективный интересъ къ научнымъ предметамъ, вокругъ котораго вращается ихъ переписка. Онъ самъ исключительно занятъ этимъ интересомъ. Такой-же далекій отъ какихъ-бы то ни было соображеній славы или выгоды образъ мыслей, такую-же любовь къ наукѣ ради нея самой предполагаетъ онъ и въ Вольфѣ. Поэтому-то онъ такъ счастливъ ихъ близостью, поэтому-то онъ постоянно повторяетъ ему, какое наслажденіе ему доставляетъ переписка съ нимъ. И на самомъ дѣлѣ, въ этойъ именно и заключается прелесть этой переписки и для всякаго посторонняго.

¹⁾ Ср. кромѣ мѣстъ въ письмахъ къ Вольфу, письма Гумбольдта къ Каролинѣ Вольцогенъ въ ея посмертныхъ бумагахъ, II, 4.

Одно дѣло споръ о научныхъ вопросахъ, хотя-бы и между друзьями, другое—дружеская бесѣда, хотя-бы и между учеными. Между тѣмъ, то и другое переплетается здѣсь, болѣе того: то и другое здѣсь совершенно сливается. Выраженіе личныхъ ощущеній, рассказъ о семейныхъ событіяхъ смѣняется здѣсь разсужденіями о вариантахъ, вопросахъ о смыслѣ или построеніи какого-нибудь труднаго мѣста. Чрезвычайно мѣтко Гумбольдтъ называетъ себя «греческимъ другомъ» Вольфа: это была дѣйствительно настолько въ полномъ смыслѣ этого слова филологическая дружба, что слова и ударенія въ такой-же степени составляютъ предметъ ихъ разговора, въ какой обыкновенно составляютъ его только чувства и интересы самаго личнаго характера. Самыя ученныя темы даютъ матеріалъ для самой пріятной болтовни. Гумбольдтъ сообщаетъ, какъ о своихъ занятіяхъ и успѣхахъ, такъ и о домашнихъ дѣлахъ; онъ спрашиваетъ мнѣнія друга то о какой-нибудь попыткѣ исправленія, то о попыткѣ разъясненія. Онъ счастливъ, если его другъ сообщаетъ ему, изъ сокровищницы своего знанія, смѣтри по предмету занятій въ тотъ или другой моментъ, то филологическую замѣтку, то какое-либо указаніе, то критическое или грамматическое разъясненіе. Побольше-бы только такихъ «кводлибтарныхъ писемъ» писалъ Вольфъ: очень хорошо, что онъ сообщаетъ ему случайныя обрѣзки свскихъ занятій; благодаря этому, онъ можетъ какъ-бы непосредственно въ нихъ участвовать. Все такимъ образомъ сообщенное тщательно сохраняется любознательнымъ другомъ. Онъ вноситъ все въ особую книгу, которая носитъ названіе «Wolfiana» и которую онъ для ихъ общаго употребленія по филологическому обычаю снабжаетъ указателемъ.

Почти полтора года провелъ такимъ образомъ Гумбольдтъ, особенно во время пребыванія въ Аулебенѣ, гдѣ онъ посвящалъ свое время исключительно и непрерывно филологіи и своему повому плану образованія и жизни, въ общенія съ Вольфомъ и съ древнимъ міромъ. Это продолжалось до начала марта 1793 года, когда онъ поселился на продолжительное время у родителей своей жены въ Эрфуртѣ. Здѣсь, конечно, семейныя помѣхи и присутствіе курфюрста оставляли мало времени для чтенія греческихъ авторовъ. Только Пиндаръ не забрасывался, несмотря на «злосчастныя эрфуртскія развлеченія», также какъ и изученіе ради него старой и новой музыки. И тѣмъ болѣе былъ онъ благодаренъ Вольфу за постоянныя филологическія извѣстія, тѣмъ болѣе радовался онъ большему досугу, въ Тегель, въ май, когда онъ получилъ возможность на нихъ отвѣчать. И здѣсь встрѣчались неслучайныя помѣхи и развлеченія, но ему удавалось однакоже большею частью посвящать все утро «Graeculis». Наконецъ осенью онъ черезъ Дрезденъ вернулся въ Аулебенъ и оттуда въ Бургернеръ. Пребываніе на Рождествѣ у Вольфа, въ Галле, вознаградило его вполнѣ за потерянное время, и втеченіе всей зимы, проведенной въ Бургер-

перѣ, греки занимали почти то же мѣсто, что и въ Аулебенѣ. Однако, и посреди этихъ отклоненій и перерывовъ для него было непреложно, что онъ нахренъ предаться изученію древности и только ему. Все болѣе и болѣе чуждыми становились для него вопросы политити. Чтеніе Гентцевской обработки «Размышлений» Борка и казнь французскаго короля едва вызываютъ съ его стороны мимолетное упоминаніе. Теперь только онъ вполне вкусилъ досуга, созданнаго имъ для себя. Наслаждаясь греческимъ духомъ, онъ все глубже и глубже уходилъ въ наслажденіе свободнымъ отъ дѣлъ уединеніемъ, въ квіэтизмъ частной жизни. «Съ каждымъ днемъ», писалъ онъ изъ Эрфурта Вольфу, «меня все болѣе плѣняетъ изученіе грековъ; могу сказать по-истинѣ, что изъ всѣхъ моихъ предшествующихъ занятій, ни одно не дало мнѣ такого удовлетворенія, и я долженъ прибавить, что и тѣнь охоты вести дѣятельную и дѣловую жизнь никогда не исчезала во мнѣ такъ, какъ съ того момента, когда я ближе ознакомился съ древностью». Въ созерцаніи прекраснѣйшей жизни прошлаго весь вкусъ къ дѣятельной жизни въ настоящемъ какъ-бы исчезалъ подъ влияніемъ чаръ, ублаживался даже теоретическій интересъ къ практическимъ вопросамъ. Онъ сообщилъ Вольфу свою рукопись. «О граняхъ государственной дѣятельности»; по этому поводу Вольфъ заговорилъ о напечатаніи ея и упомянулъ о возвращеніи Гумбольдта къ политикѣ. Последній отложилъ то и другое на неопредѣленное будущее. «Ибо это», такъ пишетъ онъ ему изъ Тегеля, «не надлежащій моментъ для того, чтобы спокойный и особенно такой чисто теоретическій писатель могъ рассчитывать на пониманіе. Что касается вопроса вернусь-ли' и когда-нибудь къ политикѣ, то желалъ-бы отвѣчать на него утвердительно. Греки совершенно меня поглощаютъ». Да, изъ за занятій и созерцанія пропадала даже охота и влеченіе къ литературной работѣ. Даже и это слишкомъ вводило его въ общественную среду, которой онъ избѣгалъ, и принуждало его созерцательную натуру къ напряженію, которое было ему непріятно. Какъ мы уже видѣли: одинъ проэктъ за другимъ снимался съ очереди. Наконецъ остался только одинъ — переводъ Пипдара. «Вообще», такъ повторяетъ онъ снова въ концѣ этого періода, «я теперь не продуктивенъ, и всѣ мои планы такого рода, что я буду радъ, если моей жизни достанетъ для ихъ осуществленія. Пока жизнь проходитъ все-же прекрасно и легко, и я никогда не заботился особенно о сочиненіяхъ» 1).

1) Письмо къ Каролинѣ фонъ Вольфенбухенъ, въ ея литературномъ наследіи, II, 4.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Философія и эстетика.

Какъ ни всецѣло предался Гумбольдтъ изученію древности, какъ бы этотъ міръ ни соответствовалъ вполне складу его ума, эти занятія—его наклонностямъ и способностямъ, въ его натурѣ существовала однако-же сторона, которая при случаѣ могла завлечь его за предѣлы этого круга. Въ немъ билась чисто современная жила, и эта жила развилась въ немъ какъ вслѣдствіе «логическаго воспитанія берлинцевъ», такъ и подъ влияніемъ научныхъ занятій и сношеній съ людьми. Въ его натурѣ и въ его образованіи ясно сказывалось влияние умственной и эмоциональной жизни эпохи просвѣщенія и философіи. Онъ походилъ на грековъ своимъ стремленіемъ къ гармоніи и цѣльности человеческой природы; но онъ отличался отъ нихъ наклонностью и талантомъ постоянно чувствовать и сознавать это содержаніе своей природы. Для него являлось естественнымъ и обычнымъ размышлять надъ своими чувствами и въ своей рефлексіи находить новый предметъ для своего ощущенія и наслажденія. Вооруженный философіей, онъ подошелъ къ изученію греческаго міра, и эти филологическія занятія въ свою очередь наполнили идеями его голову. Любимцами его среди древнихъ писателей были тѣ, у которыхъ красота формы всегда соединялась съ глубиною мысли и мудростью. Образное, ритмически переливающееся богатство мысли Пиндара привлекало его болѣе, нежели дивные въ своей простотѣ природные звуки Гомера; болѣе, нежели мягкая прелесть Софокла, привлекала его богатая мыслями возвышенность Эсхила; изъ прозаиковъ онъ Платона и Фукидида предпочиталъ Ксенофонту и Геродоту. Такимъ образомъ онъ искалъ у древнихъ содержанія, и эта жившая въ немъ потребность выводила его за предѣлы ихъ круга. У Вольфа кромѣ того онъ находилъ мало таланта для пониманія и оцѣнки умозрительной области вообще. Достаточно было незначительнаго толчка, чтобы положить конецъ этой исключительности въ занятіяхъ древностями и дать мѣсто интересамъ, которые никогда не были для него внутренне чуждыми и которые легко примкнули къ занимавшимъ его до тѣхъ поръ интересамъ. Ни его стремленіе къ полному, чисто человѣчному развитію, ни вообще какая-бы то ни была сторона его богатой природы не потеряли въ своемъ существѣ урона отъ этого исключительнаго интереса къ Греціи. Изученіе Греціи могло по прежнему занимать часть его умственной жизни, хотя онъ снова устремился къ другимъ матеріямъ и по болѣе разнообразнымъ нутямъ.

Такой именно толчекъ испыталъ Гумбольдтъ, когда въ апрѣлѣ 1793 года, живя въ Эрфуртѣ, навѣстилъ Шиллера въ Йенѣ. Ихъ свели перво-

начально сердечныя дѣла. Они видѣлись впервые въ Веймарѣ и Іенѣ въ 1789 и 1790, можетъ быть даже и лѣтомъ 1792 года, когда братья Гумбольдты гостили въ Рудольштатѣ¹⁾. Гумбольдтъ старался съ тѣхъ поръ по отношенію къ болѣе сдержанному Шиллеру²⁾ придать ихъ отношеніямъ болѣе теплоты и прочности, ибо онъ началъ преклоняться передъ творцомъ «Донъ Карлоса», «Художникъ» и «Боговъ Греціи», когда не зналъ его еще лично. Онъ нашель, что тотъ-же блескъ, лежащій на этихъ произведеніяхъ, окружаетъ и личность поэта. Онъ нашель, что его разговоръ блещеть тѣмъ-же умомъ, которымъ проникнуты письма Юлія и Рафаэля. Онъ слышалъ, какъ онъ въ устной бесѣдѣ судить о произведеніяхъ поэзіи и литературы съ тою-же самою строгою справедливостію, съ той-же самой идеальной точки зрѣнія, съ тою-же широтой взгляда, съ какими онъ высказывался публично о поэзіи Бюргера. Поэтому-то онъ представилъ именно на его судъ свою первую попытку перевода Пиндара, готовый преклониться передъ его сужденіемъ, каково-бы оно ни было; ему-же онъ сообщилъ и свою рукопись «о предѣлахъ государственной дѣятельности». Какъ охотно выпустилъ-бы онъ въ свѣтъ это сочиненіе въ сопровожденіи разсужденій Шиллера на ту же тему! Какъ охотно и съ какою благодарностію принялъ онъ измѣненія, сдѣланныя Шиллеромъ при помѣщеніи отрывка этого сочиненія въ его «Новой Талии»! Онъ просилъ его также о примѣчаніяхъ къ своему «Этюдъ о грекахъ» и тѣмъ болѣе радовался нѣкоторымъ изъ этихъ замѣчаній, чѣмъ болѣе его удивляли безплодныя и вызванныя непониманіемъ замѣчанія Дальберга.

Однако не греки преимущественно занимали въ этотъ моментъ Шиллера. Онъ познакомился съ ними по своему въ предшествующіе годы. Жизнь въ Веймарѣ внушила ему этотъ интересъ; пребываніе же въ Іенѣ привело его къ занятію совершенно другого рода. Іенскій университетъ сдѣлался главнымъ разсадникомъ новой философіи, и Рейнгольдъ былъ главнымъ апостоломъ кантіанства. Шиллеръ также обратился къ изученію сочиненій Канта, въ началѣ, правда, слегка и только въ видѣ опыта. Наконецъ «Исторія тридцатилѣтней войны» была осенью 1792 года окончена. Отъ поэзіи, къ которой онъ долженъ бы собственно снова вернуться, его отвлекали обязанности его академической дѣятельности; начало лекцій было на носу. Профессоръ Шиллеръ объявилъ курсъ эстетики, и то, что было въ началѣ чисто ви́шнимъ обязательствомъ, превратилось скоро въ свободный и страстный интересъ. Исходя изъ Кантовой «Критики силы сужденія», онъ все

¹⁾ Письмо Каролины фонъ Вольцогенъ къ ей будущему второму супругу, въ ея посмертныхъ бумагахъ II, 168. Упомянутое здѣсь письмо не можетъ относиться, какъ полагаетъ издатель, къ 1793 году, — оно написано повидимому годомъ раньше.

²⁾ Каролина фонъ Вольцогенъ. Посм. изд. I, 362.

болѣе и болѣе углубляется въ свой предметъ. Онъ проникается до такой степени идеями критицизма, что даже его поэтическіе проекты относятся къ этой системѣ. Ближайшій его литературный планъ имѣлъ въ виду діалогъ, подъ заглавіемъ *Kallias*, посвященный изслѣдованію понятія и природы прекраснаго. Онъ близокъ уже къ уловленію этого понятія; онъ стремится придать ему совершенно объективный характеръ и «доказать совершенно а priori его происхожденія изъ природы разума»; это удается ему наконецъ. Понятіе прекраснаго входитъ въ область практическаго разума, поскольку этотъ послѣдній отражаетъ свою форму въ міръ явленій. Эта форма практическаго разума есть чистое самоопредѣленіе, но чистое «я» (*das Selbst*) природнаго существа есть природа. Эта аналогія свободы, каждый разъ, когда она открывается практическимъ разумомъ въ какомъ нибудь природномъ существѣ, дѣлаетъ это послѣднее прекраснымъ. Красота есть ничто иное, какъ «свобода или автономія въ явленіи».

Это понятіе прекраснаго Шиллеръ развивалъ втеченіе зимы не только передъ своими студентами, но и передъ своимъ другомъ Кёрнеромъ, входя все въ большія подробности и устраняя возраженія и недоразумѣнія своего друга. Онъ жилъ исключительно этими идеями и пріобрѣталъ въ ихъ сферѣ все больше свободы и увѣренности. Разговоръ съ Гумбольдтомъ при посѣщеніи имъ послѣднимъ въ апрѣлѣ не могъ привести ни къ какому другому предмету. Какъ раньше Кёрнеръ, такъ теперь Гумбольдтъ былъ введенъ въ кругъ мыслей Шиллера. Слишкомъ близко было изслѣдованіе понятія красоты къ изученію вѣчныхъ образцовъ поэзіи, такъ естественно было испробовать на нихъ это понятіе! Гумбольдтъ не могъ больше освободиться отъ этихъ идей; онѣ сопровождали его въ Дрезденъ, гдѣ жилъ Кёрнеръ. Бесѣды съ послѣднимъ должны были снова осѣжить въ немъ интересъ къ философско-эстетическимъ вопросамъ. По пріѣздѣ въ Бургёрнеръ онъ, не взирая на Пиндара и Гомера, находитъ время проштудировать еще разъ все написанное Кантомъ послѣ «Критики чистаго разума». Это должно было служить подготовленіемъ къ его работѣ о Греціи, и вмѣстѣ съ тѣмъ подготовленіемъ къ преніямъ съ Шиллеромъ, который, какъ зналъ Гумбольдтъ, продолжалъ свои изслѣдованія и уже началъ ихъ публично излагать¹⁾; ибо онъ рѣшилъ пожить нѣкоторое время съ Шиллеромъ, который самъ предложилъ ему это въ апрѣлѣ предыдущаго года. Йена, —эта тихая и вмѣстѣ съ тѣмъ въ научномъ отношеніи такая оживленная резиденція музъ,—привлекала его вообще. Въ концѣ концовъ онъ почувствовалъ, что уединеніе въ Бургёрнерѣ, —его Аскрѣ, какъ онъ называлъ его теперь—связано съ нѣкоторыми литературными и личными неудобствами. Уединеніе и досугъ для научныхъ занятій онъ надѣялся сохранить и въ Йенѣ; съ

¹⁾ Письмо къ Каролинѣ фонъ Вольцогенъ. Поем. изд. II, 3. 4.

другой стороны, онъ имѣлъ полное основаніе рассчитывать гайти тамъ какъ книги, такъ и общество, — поскольку оно окажется для него желательнымъ. На Рождествѣ уже переселеніе было рѣшено и наконецъ къ концу февраля 1794 года, послѣ непроизвольно затянувшася пребыванія въ Эрфуртѣ, онъ прибылъ съ семьей въ Іену и устроился на первыхъ порахъ въ тишинѣ и тѣсотѣ прелестно расположенной среди сада квартиры.

Однако моментъ этого переселенія былъ не особенно счастливо выбранъ: Шиллеръ, этотъ главный магнитъ, привлекшій Гумбольдта въ Іену, былъ въ отсутствіи. Только къ Пасхѣ ждали его возвращенія изъ Швабін, гдѣ онъ проводилъ уже седьмой мѣсяць. Несмотря на то, поворотъ въ занятіяхъ Гумбольдта былъ рѣшенъ въ первые же дни его пребыванія въ Іенѣ. Академическая атмосфера произвела свое дѣйствіе. Греки, само собою разумѣется, не были преданы забвенію; изученіе Пиндара и его метрики должно было идти свсимъ чередомъ, также какъ и чтеніе Софокла, которое должно было замѣнить Эсхила, но самъ Вольфъ совѣтовалъ своему другу быть менѣе педантичнымъ въ занятіяхъ и свободы изученія не приносить въ жертву основательности. Такимъ образомъ были урѣзаны нѣкоторыя бесполезныя и обширныя работы, было выиграно время для нѣкоторыхъ нефилологическихъ занятій и именно для тѣхъ, которыя занимали его до знакомства съ Вольфомъ и къ которымъ онъ подъ влияніемъ Шиллера и Кёрнера недавно вернулся. «Я рѣшилъ», пишетъ онъ Вольфу, «заняться здѣсь, гдѣ я вижу болѣе разнородныхъ людей и имѣю болѣе разнообразныя книги, нѣкоторыми старыми работами и разработать нѣкоторыя идеи, которыя я давно ношу въ себѣ. Такимъ образомъ я серьезно занимаюсь философіей, политикой, эстетикой». Въ позднѣйшемъ письмѣ повторяется это признаніе. Да и кто могъ-бы жить тогда въ Іенѣ, не принимая такъ или иначе участія въ современныхъ философскихъ теченіяхъ? Философія и всеобщая литература составляли два неизбѣжныхъ фокуса тогдашней Іены. Онъ и оглянуться не успѣлъ, какъ уже былъ вытѣсненъ изъ узкаго круга своихъ обычныхъ занятій; онъ сталъ оффиціальнымъ сотрудникомъ критическаго отдѣла большаго журнала и долженъ былъ читать и давать отзывы о нѣкой дюжинѣ самаго разнообразнаго содержанія книгъ, присылаемыхъ ему Шютцемъ на домъ. Менѣе неизбѣжны и навязчивы были люди. Общественныя отношенія складывались тогда въ Іенѣ, какъ и теперь: можно было съ одинаковою легкостью встрѣчать, какъ и избѣгать другъ друга, держаться въ сторонѣ или пользоваться негнужнымъ общеніемъ съ другими. Такъ жила въ Іенѣ Шиллеръ, такъ жили Фихте и Гумбольдтъ. Тутъ былъ Шютцъ, съ которымъ онъ уже давно при случаѣ переписывался о филологическихъ вопросахъ, тутъ былъ Гюфеландъ, съ которымъ онъ могъ бесѣдовать о юриспруденціи и политикѣ, тутъ былъ и славный Паулусъ со своею милою женой. Со

всѣми ими Гумбольдтъ очень скоро близко сошелся и поддерживалъ съ ними во многихъ отношеніяхъ благотворное для него общеніе. Некоторые болѣе молодые люди, какъ напр., Гроссе, Давидъ Фейтъ и сынъ давнишняго его друга Якоби были приняты также и въ его семьѣ. Наконецъ тутъ же гостилъ и прѣхавшій изъ Бейрейта братъ его, Александръ, которому не были чужды филологическія занятія своего брата, и который въ свою очередь побуждалъ брата заглядывать и въ естественнонаучную область.

Но окончательно полюбилъ онъ Іену и нашелъ исполненіе всѣхъ своихъ желаній только послѣ того, какъ 15 мая вернулся со своей родины Шиллеръ. Отношенія, которыя уже раньше такъ плѣняли Гумбольдта, достигли здѣсь своего расцвѣта. Только теперь Шиллеръ все болѣе и болѣе уяснялъ себѣ духовный складъ и вообще все существо своего друга, только теперь онъ вполнѣ сблизился съ нимъ и сдѣлалъ эту близость плодотворною для своего развитія. Не прошло и нѣсколькихъ дней, какъ ужъ онъ былъ очарованъ «рѣдкою цѣлностью», открытою имъ въ Гумбольдтѣ. Онъ не находилъ болѣе въ немъ отсутствія «той душевной тишины, которая съ любовью вынашиваетъ свою мысль», какъ онъ заключалъ когда-то слишкомъ поспѣшно. Онъ находилъ, что въ разговорѣ съ Гумбольдтомъ всѣ его идеи быстрѣе и удачнѣе развиваются. Онъ былъ готовъ опредѣлить ему по меньшей мѣрѣ второе мѣсто рядомъ съ Кёрнеромъ, которымъ и Гумбольдтъ не могъ нахвалиться. Онъ сталъ уже говорить о прекрасномъ триумvirатѣ, который образовался-бы, если-бы и Кернеръ прѣхалъ изъ Дрездена и вскорѣ они оба стали для него одинаково мѣлыми, одинаково равноправными товарищами. Гумбольдтъ также нашелъ въ Шиллерѣ не только того, кого зналъ раньше, но нѣчто большее и лучшее. Это былъ все тотъ же блестящій и пламенный духъ, тотъ-же возвышенный гений, соединенный съ благородствомъ характера. Все это было на лицо и даже въ еще болѣе высокой степени, но оно было теперь проникнуто удивительнымъ спокойствіемъ и мягкостью. Въ самой глубинѣ своего существа Шиллеръ приблизился къ Гумбольдту, и эта перемена проявлялась весьма благотворно въ разговорѣ и обращеніи.

И съ какимъ богатствомъ Шиллеръ вернулся въ Іену! Во время своего пребыванія въ Людвигбургѣ и Штутгартѣ онъ еще разъ пересмотрѣлъ весь запасъ своихъ идей о существѣ эстетики и при этомъ систематизировалъ и углубилъ ихъ. Изъ задуманнаго когда-то Калліаса возникли письма къ герцогу Аугустенбургскому и эти письма, полная теорія прекраснаго, предполагалось еще разъ переработать и привести въ законченный видъ. Въ связи съ этимъ находился и большой литературный проектъ, съ которымъ онъ уже давно посылалъ и для котораго ему удалось найти въ Штутгартѣ издателя. Дѣло шло объ осуществленіи того, что для нѣмецкаго поэта конца 18 вѣка представлялось высшимъ литературнымъ идеаломъ. То самое, къ чему

Гумбольдтъ стремился лично для себя, должно было сдѣлаться публичнымъ и всеобщимъ. Шумъ войны, борьба политическихъ мнѣній,— все это должно быть забыто; въ виду захватывающаго, дугающаго и всетаки преходящаго интереса дня, надо было направить взоры въ область чисто и вѣчно человѣчнаго, необходимо было путемъ правды и красоты возвысить мѣръ до истинной гуманности. Для этой цѣли нужно было предпринять изданіе журнала, который былъ бы для всей публики тѣмъ, чѣмъ классическая древность была для Гумбольдта; и для того, чтобы дѣйствительно привлечь всю читающую публику, этотъ журналъ долженъ былъ состояться соединенными усиліями избранныхъ нѣмецкихъ писателей; лучшіе должны были дать лучшее и особый критическій трибуналъ долженъ былъ рѣшать вопросъ о принятіи каждой отдѣльной вещи. Образованіе, которое этотъ журналъ долженъ былъ представлять и пропагандировать, понималось въ духѣ классической древности. О греческомъ религіозномъ миѣіи и его значеніи напоминало уже самое названіе, стоящее въ заголовкѣ журнала. Богини,—сестры Горы, составляющія свиту грацій и означающія поддерживающія мѣръ порядоки,—вотъ что должно было провозгласить духъ и программу журнала. Такимъ образомъ съ полными руками выступилъ Шиллеръ на встрѣчу тому, что Гумбольдтъ, по своему болѣе тихому обыкновению, носилъ въ себѣ самою. Ихъ идеаль образованія, ихъ отношенія къ тому, что волновало остальной мѣръ, было по существу однородно. Проникнутый живымъ творческимъ и дѣятельнымъ стремленіемъ, Шиллеръ не довольствовался своимъ собственнымъ индивидуальнымъ образованіемъ, а напротивъ—устремлялся съ своими требованіями въ широкія сферы; это совершалось силою его гевія, передъ которымъ Гумбольдтъ преклонялся. Если вмѣсто простого углубленія въ прошедшую эпоху эллинской жизни Шиллеръ стремился вызвать родственную ей жизнь въ настоящемъ, то Гумбольдтъ не могъ чувствовать отсутствія первой, имѣя передъ глазами вторую. Какъ нѣкогда въ борьбѣ съ возставшими передъ нимъ противорѣчійми, онъ нашелъ въ Форстерѣ челоуѣка, который, благодаря своей болѣе богатой и болѣе свободной духовной организаціи, сумѣлъ, казалось, ихъ примирить, такъ и теперь онъ видѣлъ въ Шиллерѣ живое воплощеніе, того прекраснаго, истинно челоуѣческаго развитія, отзвукъ котораго слышался ему съ тѣхъ поръ въ твореніяхъ Пиндара и Гомера. Какъ нѣкогда Форстеръ плѣнилъ его впечатлительную душу силою своей рѣчи, всегда готовой вылиться, и пыломъ своихъ произведеній,—такъ теперь его увлекъ Шиллеръ, который представлялъ еще болѣе чистое и высокое развитіе, выразившееся притокомъ и въ болѣе могущественной ораторской и творческой силѣ. Отношеніе, въ которомъ онъ находился теперь къ Шиллеру, было совершенно аналогично его прежнему отношенію къ Форстеру: болѣе зрѣлый челоуѣкъ стоялъ теперь по отношенію къ болѣе зрѣлому уму такъ, какъ

иногда юноша—къ сохранившему юношескій пылъ другу. Только на этотъ разъ не существовало иллюзій, и немислима была переѣна въ отношеніяхъ. Характеръ ума какъ Шиллера, такъ и Гумбольдта въ существенномъ уже сложился; точно также ихъ идеаль развития вышли уже изъ періода образованія и колебанія; близость ихъ идеаловъ вытекало изъ сродства натуръ, — одно соответствовало другому. Если Гумбольдтъ съ признательностью принялъ слова Шиллера, что они понимаютъ другъ друга въ томъ, въ чемъ ихъ никто не понимаетъ, если онъ впоследствии не разъ хвалится своею искреннею и сердечною дружбой съ Шиллеромъ, и только относительно Кёрнера допускаетъ, что тотъ былъ съ Шиллеромъ въ одинаковой съ нимъ близости, то эти отношенія основывались на томъ, что онъ въ своемъ собственномъ индивидуальномъ бытіи достигъ той самой высоты, на которой находился Шиллеръ: по собственнымъ Гумбольдтовымъ словамъ — «выше всякаго отдѣльнаго стремленія, даже выше своего поэтическаго гения». Человѣкъ — вотъ тотъ пунктъ, который былъ у нихъ общій, поэтому-то они сходились именно въ томъ стремленіи, которое господствовало надъ всею ихъ дѣятельностью и надъ всѣмъ ихъ вѣдшимъ проявленіемъ. Самообразование, цѣльное, гармоническое развитіе «болѣе крупнаго и болѣе благороднаго человѣка» — вотъ къ чему направлена была до сихъ поръ вся дѣятельность Гумбольдта, и что удерживало его отъ работы для «великаго цѣлаго». Этимъ-же самообразованіемъ постоянно сопровождался и весь творческій стимуль, который дѣйствовалъ въ Шиллерѣ, и онъ болѣе, чѣмъ кто-либо другой, былъ въ правѣ поставить такому поэту, какъ Бюргеръ, требованіе, что поэтъ прежде всего долженъ «возвысить свою индивидуальность на степень самой чистой, самой прекрасной чело-вѣчности».

Но въ этомъ стремленіи къ идеалу совершеннаго человѣка заключалась непосредственно еще одна особенность, общая обоимъ друзьямъ. Оба стремились такъ къ цѣльности и совершенству, потому что оба они — какъ они впоследствии взаимно признавались — были «идеалистами». Невозможно говорить въ болѣе прекрасныхъ выраженіяхъ объ идеализмѣ Шиллера, чѣмъ это сдѣлалъ Гумбольдтъ, и поскольку дѣло идетъ о наглядномъ поясненіи, не существуетъ болѣе подходящихъ выраженій. «Мысль составляла настоящую стихію его жизни; онъ жилъ не иначе, какъ окруженный высшими идеями и прекраснѣйшими образами и въ неустанномъ духовномъ совершенствованіи разсматривалъ всегда свою жизнь и дѣятельность какъ что-то безконечное; съ глубокою любовью, съ истинною и постоянною страстью былъ онъ погруженъ въ свое творчество и въ его объектъ; все низменное лежало безконечно ниже его и даже обыкновенное облагораживалось высотой воззрѣнія и отношенія къ нему». Но говорить такимъ образомъ о Шиллерѣ могъ только тотъ, кто своимъ родственнымъ

духомъ былъ въ состояніи глубоко понимать его существо. Забѣчаніе Гумбольдта, что для него нѣтъ ничего выше «идей», и что «всякую даже самую обширную внѣшнюю сферу дѣятельности, онъ разсматриваетъ всегда, какъ нѣчто подчиненное этому высшему» — относится къ эпохѣ, когда онъ уже давно разстался съ Шиллеромъ. Это возрѣніе не покидало его никогда, но врядъ-ли оно проявлялось въ болѣе чистомъ и ясномъ видѣ на закатѣ его уединенной жизни, нежели теперь въ моментъ общенія съ Шиллеромъ. Въ пору юношескихъ стремленій тотъ, чуждый какимъ-бы то ни было цѣлямъ честолюбія или внѣшняго успѣха, отдался исключительно совершенствованію своего внутренняго существа. Въ этомъ стремленіи къ безконечности и цѣльности идеала и его жизнь протекала вся на духовной почвѣ; и его стихію составляла мысль и чувство, сопровождающее мыслью; и его горизонтъ заключалъ не какой-либо иной, а тотъ-же самый идеальный міръ, который населяли прекрасные образы и формы Шиллеровой поэзіи; и его духъ былъ въ самой высокой степени способенъ къ тому же непрерывному напряженію, къ тому-же интенсивному углубленію въ область идей, какъ и духъ Шиллера.

И все же нестолько, можетъ быть, это сходство, сколько различіе въ ихъ духовномъ складѣ создали такую удивительную гармонию между ними. Та цѣльность Гумбольдтова существа, о которой Шиллеръ отзывался съ такою похвалою, дѣйствительно была гораздо значительнѣе, гораздо опредѣленнѣе, нежели у Шиллера. Полнота и уравновѣшанность его чувственныхъ и духовныхъ силъ, составляли настолько его силу, что въ нихъ же заключалась и его слабость: чувство и сила такъ равномерно распредѣлены были въ немъ, что они рѣдко могли соединиться и сгуститься для какого-нибудь выдающагося проявленія. Этимъ объясняется, почему Шиллеръ въ началѣ замѣтилъ въ немъ «больше ширины, чѣмъ глубины», и что Кёрнеръ не замѣчалъ въ немъ никакихъ проблесковъ дѣйствительной гениальности. Глубина его духа была глубина широкая, а гениальность его была хотя и истинная, но блѣдная. Если его существо тяготѣло сильнѣе къ какой-либо сторонѣ, то это была сторона чувственности и чувственной впечатлительности и затѣмъ также чистая, слегка настраиваемая чувствомъ, мысль. И въ этой наклонности и способности къ мышленію, въ этой тонкой пронизательности сужденій онъ близко соприкасался съ Шиллеромъ. Но повидимому Шиллеръ съ своей стороны гораздо меньше интересовался впечатлительностью и тонкостью эмоциональной жизни Гумбольдта, — даже болѣе: проникнутыи серьезностью и величіемъ своей духовной дѣятельности, онъ едвали замѣчалъ чрезмѣрную любовь своего друга къ наслажденію. Даже тамъ, гдѣ онъ необыкновенно мѣтко усматриваетъ его силу въ его способности къ наслажденію и сужденію, противопоставляя ее про-

дуктивной способности, онъ понимаетъ первую скорѣе въ смыслѣ созпательно критическаго, нежели чувственно инстинктивнаго наслажденія. Именно этой, болѣе женственной сторонѣ характера Гумбольдта онъ былъ совершенно чуждъ, и именно потому послѣдній «съ невыразимымъ восторгомъ» встрѣтилъ въ стихотвореніи «*Würde der Frauen*» выраженныя въ поэтической формѣ мысли и чувства, которыя—какъ онъ писалъ Шиллеру—«можетъ быть болѣе, чѣмъ вы думаете; связаны со мной и всѣмъ моимъ существомъ». Гумбольдтъ вообще глубже и правльнѣе понималъ духъ и особенности Шиллера, нежели тотъ понималъ его самого. Освященная энергіей творческая сила Шиллера, его неутомимо дѣятельное стремленіе выразить свой идеаль въ живомъ воплощеніи, вытѣсняло у него все прочее. Цѣльность его существа сосредоточивалась въ плодотворномъ взаимодействіи между интеллектомъ и фантазіей; и это удивительное явленіе плѣняло главнымъ образомъ вдумчивое и благоговѣнное вниманіе Гумбольдта, плѣняло потому, что именно это недоставало его собственному дарованію. Шиллеръ вѣрно замѣтилъ: индивидуальное совершенство Гумбольдта заключалось въ наслажденіи и сужденіи, его собственное—въ свободномъ творествѣ, образованіи и изобрѣтательности. Первый былъ натурой по преимуществу воспринимающею, послѣдній преимущественно продуктивною. Гумбольдтъ не переставалъ удивляться поразительной дѣятельности своего друга, не переставалъ восхвалять свободу его гения, ценсчерпаемое богатство, притекающее къ нему изъ невидимыхъ источниковъ и счастливый удѣлъ ума, который «низъ самого себя можетъ почерпнуть достаточно для того, чтобы наполнить цѣлую жизнь прекраснымъ многообразіемъ». Совершенно очевидно, что къ этой похвалѣ, къ этому удивленію примѣшивалось сознаніе того противоположнаго положенія, которое онъ занималъ по отношенію къ такой силѣ. Въ другой разъ онъ говоритъ о невыразимой прелести научныхъ занятій, одушевляемыхъ исключительно только стремленіемъ къ знанію, прелести, которая такъ завлекательна, что нужно остерегаться того, чтобы она не отвлекала отъ болѣе опредѣленной дѣятельности. Онъ тутъ имѣетъ въ виду себя и свой личный опытъ; его собственная личность служитъ ему основаніемъ для характеристики поэта, когда онъ прибавляетъ, что онъ не зналъ этого очарованія и презиралъ такое знаніе, какъ слишкомъ матеріальное. Несомнѣнно—полная противоположность, но и въ этой противоположности отражается все-таки духовное родство обоихъ мужей, ибо одно и тоже стремленіе къ идеализму и цѣльности отличало продуктивное направленіе одного и воспринимающее направленіе другого. Извѣстно, въ какихъ восторженныхъ словахъ Шиллеръ говоритъ о планѣ идилліи, въ которой должны быть «только свѣтъ, только свобода, только сила, никакой тѣни, никакихъ преградъ»; для выполненія этой задачи онъ намѣревается

«собрать еще разъ воедино всѣ свои силы, всю духовную сферу своей натуры, если бы даже пришлось при этомъ израсходовать себя всего». Это мѣсто заключаетъ въ себѣ полное выраженіе сознанія свободной творческой силы и сопровождающаго ее блаженства. Но есть другое мѣсто, въ которомъ съ подобнымъ же одушевленіемъ высказывается противоположное настроеніе впечатлительнаго, какъ бы жаждущаго чувственной жизни, духа. Великая жажда знанія, пишетъ Гумбольдтъ Шиллеру, вдругъ какъ бы снова меня охватила. «Я насылу могу противустоять стремленію, какъ можно больше видѣть, знать, изслѣдовать. Человѣкъ, кажется, все-таки для того и существуетъ, чтобы превращать все окружающее его въ свое достояніе, въ достояніе своего разума,— а жизнь коротка. Я хотѣлъ бы, когда придется умирать, оставить послѣ себя какъ можно меньше того, съ чѣмъ я не былъ въ соприкосновеніи».

Таково было взаимное отношеніе этихъ натуръ: одна направлена была исключительно на творчество, другая—исключительно на наслаждающееся и вдумчивое ощущеніе; поэтъ, котораго могучая фантазія охотнѣе всего парила высоко въ эфирѣ мысли, и мыслитель, острый умъ котораго, испытывая, посылалъ свои корни глубоко внизъ, въ самую почву чувственнаго. Для возможности ихъ взаимнаго и плодотворнаго сближенія чрезвычайно благоприятно было то обстоятельство, что поэтъ въ тотъ именно моментъ нуждался въ мыслителѣ. Онъ самъ сталъ философомъ и критикомъ. Въ качествѣ изслѣдователя подошелъ онъ самъ къ своему искусству, къ своему собственному гению. Онъ философствовалъ, и объектомъ его умозрѣнія было существо и происхожденіе прекраснаго; онъ сомнѣвался, и объектомъ его сомнѣній было его собственное призваніе къ поэзии. Среди такихъ занятій и такого настроенія засталъ его Гумбольдтъ, и именно къ этому былъ и онъ подготовленъ: онъ размышлялъ уже самъ по себѣ о понятіи прекраснаго, онъ ушелъ опять совершенно въ критическую философію, онъ переписывался уже о томъ и о другомъ съ Кёрнеромъ. А главное—онъ былъ по преимуществу человѣкъ бесѣды и научныхъ преній: столь богатый знаніемъ и идеями и не смотря на то, вѣчно жаждущій большаго знанія, большей ясности; такой общительный и вмѣстѣ съ тѣмъ настолько нуждающійся въ общеніи; всецѣло углубляющійся въ предметъ и при этомъ все жѣ охотно соединяющій съ этимъ элементъ личности, онъ, благодаря всему этому, былъ наиболее продуктивенъ въ письменной и устной бесѣдѣ. «Общественное мышленіе (gesellschaftliches Denken)» какъ онъ самъ выражается, было настоящей стихіей его духа. Онъ сходилъ съ Аддисономъ въ мнѣніи, что нѣтъ ничего лучше настоящаго разговора, т. е., разговора вдвоемъ. Вотъ почему онъ былъ такъ безконечно доволенъ научнымъ разговоромъ съ Вольфомъ, также какъ и еще болѣе живымъ разговоромъ съ Шиллеромъ. Шиллеръ тоже

былъ виртуозомъ разговора. Мы готовы думать, что половина его стихотвореній не составило бы слишкомъ дорогой цѣны за проведенную въ разговорѣ съ нимъ ночь и вмѣстѣ съ Кёрнеромъ жалѣемъ, что задуманный діалогъ Kallias не былъ написанъ: онъ несомнѣнно былъ бы достоинъ стать рядомъ съ «Ernst und Falk», ибо описанная Гумбольдтомъ манера Шиллера вести разговоръ отличалась отъ манеры большинства людей: это не была ни рѣчь, ни катехизация; это былъ настоящій разговоръ; это былъ живой обмѣнъ, плодотворная, вдумчивая и возбуждающая пониманіе взаимность. Онъ носилъ на себѣ печать минуты и вмѣстѣ съ тѣмъ стремился къ безконечности мысли. Онъ какъ бы переливался свободною волной и при этомъ, вращаясь вокругъ неподвижнаго фокуса, двигался къ опредѣленно сознанный цѣли. Это не было перевертываніе стараго матеріала, стараго имущества, но изысканіе и произведеніе новаго. Одушевленіе творчества искрилось въ словахъ, лившихся съ его устъ и въ пламени, горѣвшемъ въ его глазахъ. Все его существо участвовало въ этомъ; его величіе сливалось съ его привлекательностью; ни одинъ смертный не могъ сравниться съ нимъ въ лучшія минуты его разговора ¹⁾.

Въ такихъ разговорахъ отношенія между друзьями находили себѣ выраженіе, точнѣе—даже ими исчерпывались. Она покоилась на почвѣ давнишней личной близости, въ такой же дружбѣ были и ихъ жены. Обѣ семьи жили какъ одна; съ наступленіемъ зимы они поселились даже поближе другъ къ другу ²⁾. Они сходились регулярно каждый вечеръ, большею частью даже два раза въ день. Видѣться значило разговаривать, и разговоръ часто затягивался до глубокой ночи. Главнымъ предметомъ его были «Nogel». Говорили о планѣ, сотрудничкахъ, матеріалахъ, внѣшности и содержаніи предпріятія. Кёрнера слѣдовало, разумѣется, также привлечь къ участию въ журналѣ. Обсуждалось, какіе именно вопросы слѣдуетъ ему предоставить въ соотвѣтствіе съ особенностями его дарованія; говорилось о томъ, чего можно ждать отъ Гёте; можно ли надѣется, что старикъ Кантъ приметъ посланное ему приглашеніе участвовать въ журналѣ, а также о томъ, чѣмъ самъ Гумбольдтъ полагаетъ дебютировать. Между тѣмъ начали уже получаться первыя статьи, нужно было ихъ прочесть и обсудить. Гумбольдтъ также выбралъ наконецъ себѣ тему, а Шиллеръ съ удвоеннымъ рвеніемъ принялся за свои письма объ эстетикѣ. Они привели прямо къ Кантовой философіи; прежде чѣмъ закончить свои эстетическія изслѣдованія, Шиллеръ долженъ былъ предварительно выяснить свое отношеніе къ Канту: Гумбольдтъ не напрасно

¹⁾ См. кромѣ предисловія къ перенескѣ Шилл. съ Гумбольдт., письмо послѣдняго къ Кёрнеру, въ сочиненіи: *Aus Weimars Glanzzeit.*

²⁾ Письмо Гумбольдта къ Волюфу, G. W. V. 115; письмо Шиллера къ Якоби, см. перениска Якоби, II, 196.

призывался на помощь. Кроме того для нихъ обоихъ новымъ явлениемъ былъ Фихте, прибывшій на Пасхѣ 1794 года въ Йену на мѣсто Рейпгольда. Новое направление, данное имъ критицизму, нужно было проверить и связать съ принятыми уже эстетическими взглядами. Но центральнымъ пунктомъ разговоровъ должна была стать теорія эстетики. Къ возраженіямъ Кёрнера присоединились сомнѣнія Гумбольдта; высказанное Кёрнеромъ въ письмѣ къ Гумбольдту по поводу какъ этого вопроса, такъ и отношенія Кантовыхъ категорій къ понятію прекраснаго, увеличило матеріалъ для разговоровъ. Очень желательно было обсудить все это втроемъ. Свиданіе было условлено въ концѣ августа, въ Вейсенфельсѣ; здѣсь они въ теченіе полтора дней сообща пережили и переговорили обо всемъ, что было у нихъ на душѣ ¹⁾. А въ мысляхъ у Шиллера было теперь нѣчто поважнѣе: журнала и теоріи прекраснаго, чѣмъ болѣе онъ погружался въ философію, чѣмъ болѣе вся его умственная дѣятельность захватывалась письмами объ эстетикѣ, тѣмъ болѣе онъ искалъ посреди всего этого поэта, которымъ онъ пересталъ быть. Развитіе вкуса, знакомство съ греками, примѣръ Гёте, наконецъ его собственные критико-эстетическіе взгляды — все это вмѣстѣ сдѣлало для него чуждыми его прежнія произведенія. Донъ-Карлосъ внушалъ ему отвращеніе, мысль о Валленштейнѣ пугала его. Онъ боялся, что сила воображенія оставитъ его какъ разъ въ тотъ моментъ, когда наступитъ ея царство. Онъ чувствовалъ, что духъ поэзіи неожиданно заявляетъ о себѣ тогда, когда онъ намѣренъ быть философомъ и это тѣмъ болѣе убѣждало его, что онъ собственно представляетъ собою всего менѣе поэта. Онъ колебался относительно своего предназначенія, онъ сомнѣвался въ своемъ поэтическомъ призваніи. Гумбольдтъ былъ всегда вполне въ своей стихіи, какъ только дѣло касалось философскихъ идей, и еще болѣе, когда требовалось пониманіе какой-нибудь индивидуальности. Въ особенности личность Шиллера представляла для него дѣлюю науку. Размышлять о себѣ самомъ, о своемъ другѣ, о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ и объ ихъ общеніи было для него пріятнымъ и обычнымъ занятіемъ. Поэтому онъ всегда былъ расположенъ, какъ философствовать, такъ и объяснять своему другу его самого. Это были неисчерпаемыя темы, къ которымъ они оба относились съ неослабвающимъ интересомъ. Легко и какъ бы случайно, всегда безъ всякаго намѣренія, начинался вѣроятно такой разговоръ: это были часы отдохновенія для обоихъ, и жены ихъ присутствовали при этихъ разговорахъ, участвовали въ нихъ. Глубокая серьезность Шиллера не мѣшала его непринужденной веселости; Гумбольдтъ въ личныхъ сношеніяхъ отличался веселымъ добродушіемъ и шутливымъ

¹⁾ Переписка Шиллера съ Кёрнеромъ; письма Шиллера къ Кёрнеру отъ 4 августа и сентября 1794 года; III, 188, 189.

подчеркиваніемъ всего смѣшнаго. Но едва только разговоръ коснулся интереса болѣе серьезнаго, и ужь мы какъ бы слышимъ, какъ Гумбольдтъ со свойственною ему словоохотливою обстоятельностью въ него погружается. Мы какъ бы видимъ, какъ Шиллеръ, предоставляя свободу этому ровному и спокойному, но глубокому теченію мыслей и чувствъ, вдругъ совершенно неожиданно бросается въ самую его глубину, черпая оттуда искусною рукой и закрѣпляя все колеблющееся. Изъ сырого матеріала Гумбольдтовыхъ идей подъ его руками вырастаютъ готовые образы, опредѣленные очертація. Изъ обмѣна рѣчей выдвигаются готовые идеи; онѣ сочетаются, приводятся въ порядокъ, группируются. Среди путаницы мыслей начался разговоръ, широко разливаясь во всѣ стороны, но затѣмъ русло его суживается и онъ завершается въ нѣсколькихъ блестящихъ словахъ и счастливыхъ образахъ. И въ моментъ, когда дивный кладъ найденъ, роли мѣняются. Съ живою впечатлительностью, съ полною отзывчивостью схватываетъ Гумбольдтъ мысли своего собесѣдника. Имъ недостаетъ еще опредѣленности. Онъ окружаетъ ихъ новыми соображеніями, переворачиваетъ ихъ, изслѣдуя и сравнивая на всѣ лады. Онъ требуетъ дальнѣйшихъ выдѣленій, исключеній, болѣе опредѣленныхъ ограниченій, болѣе тонкихъ различій. Разговоръ съ нимъ, какъ писалъ Кёрнеру Шиллеръ: «будитъ всякую дремлющую мысль и принуждаетъ къ самой строгой опредѣленности». Отдыхъ является только, когда цѣль достигнута, и передъ яснымъ взоромъ вырисовываются чистые контуры мысли.

Такъ или въ такомъ родѣ обрисовывается для насъ, на основаніи собственныхъ показаній обоимъ друзьямъ, а также современниковъ, картина ихъ ежедневныхъ бесѣдъ. Несомнѣнно то, что выигрышь при этомъ былъ на сторонѣ Гумбольдта. Не то чтобы, какъ понимаетъ это Шиллеръ, ему данъ былъ «матеріалъ для отточеннаго лезвія его интеллектуальныхъ силъ», — Гумбольдтъ не имѣлъ недостатка въ матеріалѣ. Но этотъ матеріалъ былъ заложенъ въ самой глубинѣ его духа, онъ былъ слишкомъ тѣсно связанъ съ его индивидуальнымъ бытіемъ, онъ использовалъ и истратилъ его слишкомъ эгоистично, слишкомъ подавляя его своимъ непрестанно дѣйствующимъ критическимъ сознаніемъ. Вліяніе Шиллера заключалось въ томъ, что онъ какъ бы будилъ и освобождалъ эту лѣнивую идейную массу. Шиллеръ возбуждалъ въ Гумбольдтѣ продуктивность; тотъ научался у Шиллера примѣнять къ чему-нибудь свое внутреннее богатство. Вслѣдствіе сопряженія съ продуктивнымъ духомъ поэта развивались у Гумбольдта рвеніе и мужество къ собственному творчеству и изложенію. Онъ перенялъ методъ творчества у Шиллера, который вмѣстѣ съ Кёрнеромъ взялъ его къ себѣ въ качествѣ литературныхъ дѣлъ учителя. Послѣ своей первой Пяндаровой оды онъ ничего не напе-

чаталъ; единственное болѣе крупное произведеніе, написанное имъ, оставалось въ его портфель; имъ овладѣло непобѣдимое недовѣріе къ себѣ, безконечная робость по отношенію къ публикѣ. Шиллеръ и Кёрнеръ, «Литературная газета» и «Ногел» развязали ему языкъ: цѣлый рядъ работъ возникъ во время его пребыванія въ Іенѣ.

Впрочемъ, первая изъ нихъ возникла бы, можетъ быть, и безъ вліянія Шиллера, слѣды котораго въ ней не имѣютъ рѣшающаго значенія. Шютцъ и Гуфеландъ уговорили его участвовать въ «Литературной газетѣ», причѣмъ онъ выговорилъ себѣ право писать рецензіи только о тѣхъ вещахъ, которыя его сами по себѣ заинтересуютъ. Такъ онъ въ высшей степени заинтересовался странною книгой, подъ заглавіемъ *Woldemar*, которую ему переслалъ самъ Якоби. Ни романъ, ни философское сочиненіе,—это было чистѣйшее выраженіе собственной индивидуальности автора. Читая его, Гумбольдтъ могъ себѣ легко представить, что слышитъ самого Якоби. Описаніе остроумной болтовни на виллѣ Доренбурга могло ему напомнить его собственное пребываніе въ гостепріимномъ Пемпельфортѣ; застольные разговоры между Вольдемаромъ и Сиднеемъ—его собственныя бесѣды съ радушнымъ философомъ. Эта книга подѣйствовала не какъ книга, а какъ лицо, какъ фигура и рѣчь друга; такъ она его интересовала и нравилась ему. Съ свойственнымъ ему въ такой степени и привычнымъ проникновеніемъ въ чужую индивидуальность, онъ попытался сдѣлать объяснительное изложеніе этого сочиненія, и какъ на письмо отвѣчаютъ письмомъ, такъ онъ на пересылку Вольдемара отвѣтилъ присылкой рукописи рецензіи, которая только позднѣе появилась передъ читающею публикою въ Литературной газетѣ¹⁾. Это была статья о книгѣ, которая, правду сказать, такъ же мало могла назваться рецензіей, какъ и «Вольдемаръ». романомъ. Последній былъ чистѣйшимъ Якоби и только имъ, первая—чистѣйшимъ Гумбольдтомъ и только имъ. Очень многимъ сторонамъ натуры Якоби, какъ она выразилась въ этомъ удивительномъ произведеніи, нашъ рецензентъ симпатизировалъ. Эта аристократическая манера наслажденія, эта жизнь, бьющая ключемъ въ идеяхъ и рѣчахъ, это переживаніе умственныхъ настроеній, это резонерство по поводу чувствованій, это смакованіе удовольствія, доставляемаго общеніемъ съ людьми и разговорами, это изученіе и поклоненіе женской натурѣ въ ея отношенія къ мужской, все это находило въ немъ полное сочувствіе. Зато во многомъ другомъ онъ значительно удалялся отъ Якоби. Онъ понималъ его вполне, какъ понималъ его уже тогда при ихъ первой встрѣчѣ. Гумбольдтъ былъ слишкомъ трезвенъ, слишкомъ холодно разсудителенъ, слишкомъ наклоненъ къ критицизму, и потому философія Якоби, какъ

1) Ienaische Literatur-Zeitung 1794, № 315—317 теперь Ges. W. I, 185 и слѣд.

философія, не могла его удовлетворить. Требования, которыя онъ предъявлялъ къ поэзія и умозрѣнію, были такъ высоки и идеальны, что онъ не могъ не понимать диллетантизма Якоби. Восполнять пробѣлы разсудочнаго пониманія мечтаніями, какъ это дѣлалъ авторъ Allwill'a и Woldemar'a, было совершенно не въ его вкусѣ. Потребность въ послѣдовательности была въ немъ настолько сильна, что пресловутые *salto mortale* Якоби не могли ему нравиться болѣе, чѣмъ Лессингу. Наконецъ, въ немъ самомъ чувство и разсудокъ находились въ такихъ ясныхъ отношеніяхъ, что пылкое краснорѣчіе Якоби не могло привести его къ одобренію шаткаго компромисса между ними. Но ему свойственно было тамъ, гдѣ онъ симпатизировалъ, дѣлать это отъ всего сердца, горячо; тамъ же, гдѣ онъ не соглашался, выражать свое несогласіе только въ формѣ мягкихъ и вѣжливыхъ замѣчаній, осторожныхъ и скромныхъ сомнѣній. Его критическій даръ, при всей его силѣ, тоже долженъ былъ служить для увеличенія положительной суммы наслажденія; онъ былъ бы рѣзко пренебрежителенъ и холодно ирониченъ тамъ, гдѣ не чувствовалъ бы ничего кромѣ антипатіи; онъ былъ добродушенъ и мягокъ въ отрицаніи и переносилъ центр тяжести своего сужденія въ сторону положительную тамъ, гдѣ въ общемъ чувствовалъ симпатію. Такимъ образомъ возникла эта рецензія на Woldemar'a, — статья съ такимъ преобладающимъ положительнымъ характеромъ, что Рахиль въ своемъ афористическомъ энтузіазмѣ объявила ее произведеніемъ гораздо болѣе гениальнымъ, чѣмъ вызвавшая ее книга. Рецензентъ совершенно проникся чувствами автора, его личностью. Онъ совершенно отождествлялъ сочиненіе съ его авторомъ и себя самого съ этимъ послѣднимъ. Цѣль его — «изобразить человѣческую природу, какъ она есть, самымъ добросовѣстнымъ образомъ» — онъ могъ только одобрить, но онъ находилъ также, что эта цѣль имъ достигнута, и что «каждая строка дышетъ самымъ чистымъ, самымъ истиннымъ и самымъ нравственнымъ чувствомъ, тѣснѣйшимъ образомъ соединеннымъ съ самымъ нѣжнымъ и гибкимъ эстетическимъ вкусомъ». Затѣмъ онъ далъ подробный и сочувственный разборъ содержанія и такое же изложеніе заключающейся въ Allwill'ѣ и Woldemar'ѣ практической философіи Якоби. Врядъ ли найдется много читателей этого романа, которые не чувствовали бы терзанія и скуки, внушаемыхъ удручающею неестественностью отношеній между Вольдемаромъ и Генриеттой; Гумбольдтова же рецензія находить яхъ интимную жизнь «очаровательно изображенною». Всякій, конечно, вмѣстѣ съ Рахилью усмотритъ главный недостатокъ романа въ томъ, что вмѣсто изображенія характеровъ и событій авторъ нанизываетъ на ничтожнѣйшія происшествія безконечныя рѣчи и разсужденія; Гумбольдтова рецензія другого мнѣнія: она хвалитъ именно то, что въ книгѣ не только «слышишь разсужденія о людяхъ, но и видишь людей дѣйствующими въ интереснѣйшихъ по-

ложеніяхъ». Характеры въ этомъ романѣ, по мнѣнію Гумбольдта, «созданы изъ самаго прочнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ тончайшаго матеріала, который только возможенъ для человѣка и вылиты въ самую благородную форму, которую онъ способенъ принять». Все сочиненіе проникнуто «глубокимъ философскимъ пониманіемъ, также какъ и тонкимъ поэтическимъ даромъ»; рядъ событій, повинувся только внутренней послѣдовательности, развиваются непринужденно и легко и разсужденіе кажется какъ бы само собою и безъ всякаго нагѣренія въ него влетеннымъ». Короче говоря: жалкое произведеніе, нѣчто среднее между романомъ и системой, не только осыпается похвалами, но эти похвалы почти сплошь повышаются въ превосходную степень.

Но истинѣ удивительно! Но еще удивительнѣе то, что такая масса похвалъ пускается въ ходъ какъ бы только для прикрытія такой же дозы порицанія. Изъ недостатковъ сочиненія—если присмотрѣться внимательнѣе—ни одинъ не скрылся отъ вниманія рецензента. Даже тамъ, гдѣ онъ только передаетъ содержаніе, онъ выказываетъ себя гораздо болѣе тонкимъ знатокомъ людей, нежели самъ авторъ. Невозможно правильнѣе судить и тоньше подмѣчать всѣ слабыя стороны плана, всѣ погрѣшности въ исполненіи. Въ сущности всякая похвала тутъ же берется назадъ. Посреди всѣхъ похвальныхъ эпитетовъ въ превосходной степени мы читаемъ признаніе, хотя и прикрытое,—что всѣ изображенные въ романѣ характеры, всѣ эти живущіе исключительно своими ощущеніями люди «заключаютъ въ себѣ нѣчто неестественное». Они возбуждаютъ въ насъ, какъ онъ совершенно справедливо замѣчаетъ, мучительный интересъ, потому что мы видимъ ихъ изнывающими отъ страданія, «которыя мы склонны были бы назвать выдуманными». Не лучше, чѣмъ съ прославленными характерами, обстоитъ дѣло и съ свободно вплетающимися въ событія рѣчами: по крайней мѣрѣ, разговоры женщинъ, говоритъ онъ, «длиннѣе, разсудочнѣе и поучительнѣе, чѣмъ можно ожидать отъ жеской скромности». Можно бы удивляться, что никому еще не пришло въ голову считать подобную рецензію образцомъ пронія; ибо какъ ни нелѣпо было бы подобное допущеніе, несомнѣнно однако же, что нѣсколькихъ искусныхъ штриховъ было бы достаточно, чтобы превратить всю статью въ самую тонкую и блестящую сатиру. Но какъ намъ кажется, мы достаточно объяснили причину такого характера статьи. Рецензенту недостаетъ не способности къ составленію наиболѣе дроницательнаго и вѣрнаго сужденія, а мужества и охоты, у него отсутствуетъ *animus vituperandi*. Онъ цѣнитъ и понимаетъ индивидуальность Якоби во всемъ ея объемѣ; онъ чувствуетъ свое духовное родство съ этими людьми, «живущими въ центрѣ своихъ ощущеній». Поэтому-то скрываетъ онъ свою критику въ маскѣ похвалъ; поэтому-то его возраженія имѣютъ видъ возраженій между строфъ. Онъ прямо указываетъ всѣ недостатки романа, но дѣлаетъ

это такъ, какъ указываютъ слабыя стороны человѣка, котораго не-смотря на то отъ души уважаютъ и любятъ.

То, что мы высказали относительно критики романа, относится также и къ сужденію Гумбольдта о философіи Якоби. Эта философія, по его словамъ, можетъ быть понята и оцѣнена только, какъ философія именно этого философа; ея содержаніе находится въ тѣснѣйшей связи съ индивидуальностью ея творца. Послѣ такого замѣчанія, характернаго, какъ для критики, такъ и для критикуемаго, всякое заключеніе относительно объективной цѣнности развитыхъ въ Woldemar'ѣ воззрѣній кажется устраненнымъ. Тѣмъ не менѣе собственное воззрѣніе рецензента не можетъ однако же быть совершенно скрытымъ и потому становится возможнымъ составить себѣ уже теперь приблизительное представленіе о его философскомъ образѣ мысли. Онъ вполнѣ соответствуетъ тому, чего мы вправѣ ожидать отъ автора «Опыта» и послѣ его вторичнаго обращенія къ великимъ сочиненіямъ Канта. Конечную цѣль всякой философіи онъ понимаетъ совершенно такъ, какъ ее впервые опредѣлилъ Кантъ, — онъ понимаетъ ее какъ критическую и трансцендентальную. «Истинная философія должна положить въ основаніе полную оцѣнку всѣхъ человѣческихъ силъ для того, чтобы опредѣлить такимъ образомъ возможность объективнаго познанія и отыскать общіе законы дѣятельности этихъ силъ». Но отъ результатовъ Кантова изслѣдованія онъ нѣсколько удалется и настолько же приближается къ воззрѣнію Якоби, — по крайней мѣрѣ это имѣетъ мѣсто по отношенію къ практической философіи, которая здѣсь только и имѣется въ виду. Безжизненный практическій разумъ и суровый категорическій императивъ, противуположеніе долга и влеченія, жесткость и формализмъ Кантовой морали, — всего этого Якоби не признавалъ; его чувство протестовало противъ этого, и онъ искалъ помощи у Аристотеля. Самымъ сильнымъ образомъ подчеркиваетъ онъ патологическій элементъ въ добродѣтели. Въ чувственной природѣ человѣка искалъ онъ того широкаго базиса, на которомъ абстрактное велѣніе долга возвышается лишь какъ кульминаціонный пунктъ. Вся добродѣтель покоится, по его мнѣнію, на необъяснимомъ «влеченіи», на «инстинктѣ» нашего чувственно разумнаго существа, который заставляетъ человѣка создать изъ себя добродѣтель. Это было также и мнѣніемъ Гумбольдта, который въ главныхъ чертахъ высказалъ его уже въ персонѣ своемъ произведеніи. Однако же тутъ онъ опять возвращается къ Канту. Это воззрѣніе, по его мнѣнію, есть ничто иное, какъ «правильно понятая (rechtverstandene)» система морали самой критической философіи, — нужно только углубить ее, придерживаясь его же собственного духа. Его не удовлетворяетъ простой прстестъ чувства; его не удовлетворяетъ одно только указаніе на такой инстинктъ. Лишь какъ догадку, допускаетъ онъ то, что этотъ инстинктъ покоится

въ свою очередь на нѣкоторомъ основномъ влеченіи человѣческой природы къ соглашенію внутренняго съ внѣшнимъ. Тутъ именно необходимо «при помощи соединенныхъ усилій всѣхъ человѣческихъ силъ» проникнуть еще глубже въ существо человѣка, какъ цѣлаго. Только такимъ образомъ, — путемъ поправки, вносимой древней философійю, понимающей человѣка какъ нѣчто цѣлое, въ отвлеченный анализъ трансцендентальной философій, — могла бы создаться «законченная, удовлетворительная во всѣхъ отношеніяхъ философія». Эта философія, а съ нею вмѣстѣ и истинная система морали, составляютъ для Гумбольдта пока еще идеалъ, но для насъ уже ясно, въ чемъ онъ заключается. Эта будущая философія не должна быть лишена, подобно философій Якоби, строгой послѣдовательности и совершенной точности опредѣленій; она не должна, подобно философій Канта, изъ-за тщательности анализа и точности опредѣленій, пренебрегать пониманіемъ въ полномъ ея объемѣ конкретной цѣльности человѣческой природы. Философскій идеалъ Гумбольдта заключается въ зрѣломъ кантіанствѣ, въ построенномъ на Кантовой критикѣ и проникнутомъ эстетическимъ духомъ древнихъ изученій человѣка въ его единствѣ и цѣльности.

По пути къ тому же самому идеалу, къ той же цѣли двигались очевидно и философскія усилія Шиллера. Приблизительно одновременно написали они свои рецензіи: одинъ — на книгу Якоби, другой — на Матиссоновскія стихотворенія. Гумбольдтъ самостоятельно выразилъ свое отношеніе къ Якоби и засвидѣтельствовалъ такимъ образомъ свое знакомство съ критическою философійю. Также самостоятельно подѣлился Шиллеръ съ публикой, какъ уже раньше въ своей «Anmuth und Würde», кое-чѣмъ изъ своихъ историческихъ выводовъ; но теперь началось боѣе энергическое вліяніе, болѣе оживленное взаимодействіе между ними. Гумбольдтъ извлекъ предназначенную имъ для «Horen» тему изъ сокровенныхъ тайниковъ своей души. Между тѣмъ какъ Шиллеръ вкладывалъ свои лучшія, наиболѣе глубокія стороны своей души въ письма объ эстетическомъ образованіи человѣка, Гумбольдтъ засталъ за трактатъ «о женщинахъ»; подъ этимъ названіемъ фигурируетъ Гумбольдтова тема въ перепискѣ Шиллера съ Кёрнеромъ. Исходнымъ и центральнымъ пунктомъ этого изученія человѣческой природы было взаимное отношеніе половъ. Символь его собственнаго существа и его философій! Въ этомъ человѣкѣ холоднаго критическаго разсудка, въ этомъ папегиристѣ энэргій, было такъ много женственнаго и такая сильная въ немъ потребность! Онъ рано извѣдалъ всю прелесть общенія съ другимъ поломъ; онъ зналъ, что женщина можетъ дать мужчинѣ, и ощущеніе этого глубоко сплелось, какъ съ его наиболѣе духовными, такъ и съ самыми чувственными настроеніями. Онъ имѣлъ жену, въ глазахъ и на устахъ которой онъ читалъ самое глубокое пониманіе своей душевной жиз-

ни, жецу, съ которою онъ каждый день тѣснѣе сближался въ мысляхъ и чувствѣ. Въ то время, какъ всѣ его мысли были обращены на цѣнность человѣческой природы, онъ всего глубже и осязательнѣе наслаждался ею и чувствовалъ ее въ любви. «Индивидуумъ одного рода не исчерпываетъ, даже на протяженіи всѣхъ своихъ состояній, всѣхъ чувствъ». Это относится какъ къ мужчинѣ, такъ и къ женщинѣ, и потому, чтобы испытать «всю красоту человѣка въ цѣломъ, должно существовать средство, которое даетъ чувствовать преимущества обоихъ половъ, хотя бы только минутами и въ различныхъ степеняхъ соединенія; и это средство должно сохранить прекраснѣйшее наслажденіе прекраснѣйшей жизни». Такъ писалъ Гумбольдтъ въ первые педѣлы своей супружеской жизни ¹⁾. Эти слова составляютъ предметъ его статей «Ueber den Geschlechtsunterschied» (О различіи половъ) и «Ueber mannliche und weibliche Form» (О мужской и женской формѣ). Смыслъ ихъ составляетъ ключъ, при помощи котораго Гумбольдтовой индивидуальности открылось пониманіе всего внутренняго и внѣшняго міра, человѣка и природы.

Дѣйствительно, Гумбольдта занимало не только описаніе мужскаго и женскаго характеровъ. Полное заглавіе его первой статьи гласитъ: Ueber den Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur (О различіи половъ и его вліяніи на органическую природу) ²⁾. Нравственный и антропологическій интересы, расширившись, превратились въ естественно научный. Не подлежитъ сомнѣнію, что многократное пребываніе въ Іенѣ его брата направило его въ эту сторону; онъ всю зиму слушалъ лекціи Лодера по анатоміи; братья и въ перепискѣ съ нимъ обсуждали вопросы физики. Но онъ тотчасъ умѣетъ угадывать въ этихъ предметахъ ихъ внутренній смыслъ. Онъ вводитъ природу въ свое общее философское воззрѣніе; съ своею антропологическою точкою зрѣнія онъ входитъ въ область натур-философій. Постоянно стремясь къ универсальности и цѣльности, онъ еще ранѣе говорилъ о «фізіономікѣ природы» и опредѣлялъ при другомъ случаѣ эстетическое чувство, какъ посредника, благодаря которому чувственное становится для насъ оболочкой духовнаго и духовное одухотворяющимъ началомъ чувственнаго. Этой все объединяющей точки зрѣнія требуетъ онъ и теперь. Онъ выводитъ это требованіе изъ своего воззрѣнія на человѣческую природу, ибо «уже въ тѣлесной части своего существа находить человѣкъ ясно начертаннымъ то, что онъ долженъ стремиться проявить въ духовной»; Поэтому, изслѣдуя физическій міръ, мы должны каждый разъ имѣть въ виду и нравственный; наоборотъ, для пониманія своей нравствен-

¹⁾ Въ его „Ideen über Staatsverfassung“, g. W. I, 311.

²⁾ Въ собр. соч. съ статьи разъединены и первая (Hogen I. 2. стр. 91 и слѣд.) помѣщена въ четвертомъ, вторая (Hogen I. 3. стр. 80 и слѣд. и I. 4, стр. 14 и слѣд.) въ первомъ томѣ.

ной природы человѣкъ нуждается въ внимательномъ и серьезномъ изученіи окружающаго его физическаго міра. Оба они—физическій и нравственный міры, составляютъ одно великое цѣлое и «явленія въ томъ и другомъ слѣдуютъ одинаковымъ законамъ». Поэтому послѣ изслѣдованія ихъ обоихъ, «остается еще рассмотреть взаимное отношеніе этихъ обоихъ совершенно различныхъ царствъ, чтобы открыть тѣ законы, которые, господствуя въ обоихъ, завершаютъ полное объединеніе природы во всемъ ея объемѣ». Только съ этой высшей точки зрѣнія естествоиспытатель, также какъ и изслѣдователь нравственной природы, увидятъ «свою собственную область въ новомъ и на этотъ разъ уже истинномъ видѣ».

Въ подобныхъ идеяхъ не трудно усмотрѣть провозвѣстіе Шеллинговой натурфилософіи и философіи тождества. Мы съ своей стороны видимъ въ нихъ нѣчто большее и лучшее. Утвержденіе живой связи и глубоко обоснованной аналогіи между духовною областью и физическою имѣетъ подъ собою болѣе твердую почву, нежели Шеллингова формула о «тождествѣ субъективнаго и объективнаго». Требованіе изслѣдовать законы, общіе обоимъ этимъ великимъ мірамъ, и, помня о заключающемъ ихъ оба цѣломъ, при изученіи явленій одной области имѣть всегда передъ глазами другую, при изученіи же ихъ обѣихъ—лежащее въ ихъ основѣ единство,—это требованіе менѣе замысловато и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе плодотворно, нежели смѣлое намѣреніе вывести изъ идеи тождества апіористически и путемъ чисто фантастическаго построенія соотвѣтствующія потенціи идеальнаго и реальнаго міра. Не желалъ бы быть понятымъ превратно. И метафизическая формула имѣетъ свою цѣну, и за умозрительною смѣлостью остается заслуга. Но одно дѣло высказывать глубокомысленныя догадки, другое—построить философскую систему. Шлифованныя стекла представляютъ прекрасное вспомогательное средство для слабаго зрѣнія, философскія формулы и схемы—прекрасное вспомогательное средство для умовъ. Они не замѣняютъ ума и генія, но служатъ ихъ суррогатомъ въ процессѣ развитія науки. Понять требованіе, которое Гумбольдтъ ставитъ какъ естествоиспытателю, такъ и изслѣдователю нравственной области, не легко, исполнять его хорошо—дѣло генія; между тѣмъ какъ схема ученія о тождественности легко усваивается и недалекими умами. Категорическое и абстрактное имѣетъ удивительную силу, особенно по отношенію къ нѣмцамъ и въ поколѣніи такъ сильно увлеченномъ метафизикой. Эти положенія Гумбольдта о живомъ, неразрывномъ соотношеніи духовнаго и физическаго міровъ, и о необходимости основаннаго на этомъ соотношеніи научнаго метода прошли безслѣдно. Пустыя формулы, отвлеченныя коложенія, смѣлыя построенія и необузданные парадоксы Шеллинговой системы дали этимъ воззрѣніямъ ходъ, и нѣчто вродѣ упомянутаго метода сначала вошло было въ славу, но затѣмъ скоро ея лишилось. Это послѣднее обстоя-

тельство вполне понятно и совершенно въ порядкѣ вещей. Потому, что то великое цѣлое, которое, по мнѣнію Гумбольдта, должно всегда имѣть передъ глазами, есть реальность и вѣчный укоръ научному изслѣдованію: абсолютное Шеллинговой школы есть метафизическое ничто, фантазія разсудка, которая надоѣдаетъ именно потому, что представляется какъ ручательство успѣшнаго изслѣдованія и обладанія истиной. Это различіе коренится въ различныхъ источникахъ этихъ обоихъ воззрѣній. И Шеллинга естественныя науки вызвали пзъ односторонняго отвлеченія чисто субъективнаго идеализма, — отъ «я» онъ перешелъ къ природѣ; но это «я» не было для него цѣлымъ, живымъ человѣкомъ, а лишь механизмомъ сознанія. Его-то онъ схематизирова и перевелъ на природу и она стала абстракціей. Онъ понималъ въ концѣ-концовъ идею абсолютнаго въ смыслѣ тождества субъективнаго и объективнаго и требовалъ отъ истиннаго познанія, чтобы оно стояло на нейтральной точкѣ между идеальнымъ и реальнымъ. Именно въ этой абстракціи представляется ему теперь духъ, соединившій въ твореніяхъ нашихъ великихъ писателей духовное съ чувственнымъ для созданія красоты. Охваченный извнѣ этимъ духомъ, онъ въ качествѣ усерднаго ученика новой эстетики, подражалъ при помощи своей комбинаціонной способности — творческой фантазіи поэтовъ, формулировалъ законъ поэтическаго творчества, какъ сухую и единообразную схему всякаго бытія. Совершенно иначе отнесся къ этому вопросу Гумбольдтъ. Отъ стремленія уловить человѣка во всей полнотѣ и гармоніи его существа, онъ перешелъ къ природѣ. И на нее онъ взглянулъ съ живымъ чувствомъ ея неисчерпаемой глубины и мощи. И наконецъ изъ глубины своей собственной индивидуальности, съ тѣмъ пониманіемъ цѣльности и общей связи, которое онъ не замѣщавалъ у поэтовъ, — оно было у него съ ними общее, — искалъ онъ той точки, поднималъ свой взоръ къ той высотѣ, съ которой одинъ и тотъ же свѣтъ освѣщаетъ физическій, какъ и нравственный міръ. Родственный по духу нѣмецкимъ поэтамъ и другъ ихъ, онъ довольствовался тѣмъ, что пользовался тѣмъ самымъ духомъ, сплюю котораго они творили, какъ оживляющимъ началомъ, науки, между тѣмъ, какъ творецъ натуральной философіи, этотъ эпигонъ нашего классицизма, превратилъ генія поэзіи въ мертвую формулу вселенной.

Какъ бы то ни было: именно эта точка зрѣнія, съ которой духовный и физическій миры представляются эстетическому чувству соединенными во единое, т. е. точка зрѣнія гармоніи и цѣльности, положена въ основаніе упомянутаго выше сочиненія, въ особенностяхъ при обсужденіи вопроса о разлчии половъ. Стремленіе природы направлено къ безконечности, но реализуетъ она его въ предѣлахъ конечнаго и конечными средствами. Это становится возможнымъ только благодаря тому, что неоднородность различныхъ силъ устраняется подъ давленіемъ какой-нибудь потребности. Это-то и со-

ставляетъ понятіе пола. Послѣдній обозначаетъ ничто иное, какъ такую своеобразную рознородность различныхъ силъ, при которой онѣ только въ соединеніи составляютъ одно цѣлое, и обоюдную потребность создавать это цѣлое путемъ взаимодействія». Въ актѣ рожденія это проявляется особенно энергично. Рожденіе отлично отъ простаго видоизмѣненія (Bildung),— оно есть пробужденіе новаго существованія. Каждое производящее существо чувствуетъ, что собственныя его силы находятся въ высшей гармоніи; кромѣ того, всякое дѣторожденіе есть соединеніе двухъ различныхъ, разнородныхъ принциповъ. Это относится одинаково какъ къ міру тѣлесному, такъ и къ духовному. Уже раньше, при другомъ случаѣ, въ одномъ политическомъ сочиненіи, Гумбольдтъ сдѣлалъ указаніе, какъ духовное творчество можетъ быть понимаемо какъ «болѣе нѣжный цвѣтокъ физическаго творчества». Теперь наступилъ моментъ, когда онъ пускаетъ въ оборотъ весь запасъ своихъ идей. Духовная творческая сила, говоритъ онъ, — это именно и есть геніальность, ибо «то, что носить на себѣ истинную печать генія, уподобляется особому существу, одаренному собственной органическою жизнью»; оно «въ свою очередь вдохновляетъ генія и продолжаетъ такимъ образомъ свой собственный родъ». Геніальное творчество заключается въ взаимодействіи самодѣятельности и воспріимчивости; только такимъ образомъ удастся генію «выйти изъ самого себя (sich aus sich selbst herauszustellen)». И этотъ параллелизмъ духовнаго и физическаго не тернется имъ больше изъ виду. Сочиненіе обращается отъ момента творчества къ наблюденію предшествующаго ему состоянія, которое онъ изображаетъ преимущественно въ отношеніи къ духовному творчеству. Въ этомъ состояніи «чувство чрезмѣрной полноты соединяется съ чувствомъ крайняго недостатка». Въ сосредоточенной въ себѣ самой силѣ обнаруживается тревожное стремленіе, побуждающее къ воспроизведенію; она предчувствуетъ нѣчто другое, съ чѣмъ она стремится соединиться. Происходитъ «волненіе, колебанія въ ту и другую сторону, и стремленіе достигаетъ болѣзненной высоты»: это моментъ, когда изъ высшаго напряженія бытія возникаетъ новое бытіе. Но откуда и для какой цѣли двойственность пола? Почему жизнь не производить непосредственно жизнь, одна сила—другую? Потому, что такая сила всегдаго существа требуетъ тѣла. Поэтому въ каждомъ органическомъ существѣ дѣйствіе соединяется съ обратнымъ дѣйствіемъ и произведеніе органическихъ существъ требуетъ поэтому двойственнаго застроенія, относящагося къ дѣйствию и къ реакціи. Отсюда онъ переходитъ къ характеристикѣ половыхъ особенностей. Мужской полъ обнаруживаетъ болѣе самодѣятельности, женскій—болѣе пассивной воспріимчивости, но такъ, что это различіе является не столько различіемъ въ силѣ, сколько въ направленіи. Различіе проявляется также и въ состояніи, которое въ обоихъ полахъ непосредственно пред-

шествуетъ воспроизведенію; Гумбольдтъ изображаетъ эту разницу между мужскимъ и женскимъ настроеніемъ тонко, въ то же время ясно и вполнѣ правдиво. И снова переноситъ онъ это воззрѣніе на духовное творчество. «Инымъ образомъ организована душевная жизнь тѣхъ, которымъ предопредѣлено производить, иначе — тѣхъ, которымъ предопредѣлено воспринимать». Ясно еще, чѣмъ въ умственной жизни, выступаетъ это различіе въ жизни практической. Тутъ то уваженіе къ закону побуждаетъ нравственное чувство къ сильному, мужественному поступку, — то добродѣтель привлекаетъ сильнѣе своею прелестью: нравственное чувство болѣе воспринимаетъ, нежели производитъ. Та-же особенность воспринимающихъ и творящихъ силъ проявляется не только въ моментъ наивысшей ихъ дѣятельности, ибо не только произведеніе, но и поддержаніе, постоянно возобновляющееся творчество, есть дѣло этихъ обѣихъ силъ. Это замѣчаніе открываетъ собою новый рядъ чертъ къ ихъ характеристикѣ. Но оно же возвращаетъ все разсужденіе къ его первоначальной исходной точкѣ. А именно: все, что характеризуетъ какъ ту, такъ и другую силу, служить въ совмѣстномъ дѣйствіи къ осуществленію послѣдней конечной цѣли природы, какъ цѣлаго и безконечнаго. «Все мужское обладаетъ напряженной энергіей, все женское — терпѣливымъ постоянствомъ; изъ непрерывнаго ихъ взаимодействія образуется безграничная сила природы». Отъ одного пола неизмѣнная въ своей цѣльности природа заимствуетъ неутомимость, въ то время какъ другой обеспечиваетъ ей постоянство. Изъ взаимодействія формы и матеріи, изъ контраста силъ, направленныхъ одна — на энергію, другая — на бытіе, создается вѣчная жизнь природы, — ибо бытіе, одушевленное энергіей, есть жизнь, а высшая жизнь есть конечная цѣль природы. Влеченіе, заставляющее оба пола служить этой цѣли, тѣсно сближая ихъ между собою, есть любовь. «Природа, говоритъ Гумбольдтъ въ заключеніе, повинуется тому же божеству, которому провидица мудрость грековъ отвела въ удѣлъ внесеніе порядка въ хаосъ».

Таково было сочиненіе, о которомъ Кантъ писалъ Шпллеру, что оно для него не совсѣмъ ясно, хотя «авторъ кажется ему большимъ умомъ». Ему лично, — прибавляетъ онъ, — это устройство природы, обуславливающее всякое размноженіе двойственностью половъ «казалось всегда удивительнымъ и представлялось какъ бы обрывомъ для человѣческаго мышленія». Эту подчеркнутую Кантомъ трудность пониманія нужно отчасти отнести на счетъ способа изложенія и стиля. По крайней мѣрѣ Шпллеръ и Кёрнеръ видѣли въ этомъ главный недостатокъ работы. Съ тѣмъ яснымъ критическимъ взглядомъ на ошибки и недостатки въ чужихъ произведеніяхъ, которымъ отличался Кёрнеръ, онъ въ первыхъ же работахъ Гумбольдта, сообщенныхъ ему послѣднимъ въ Дрезденѣ, замѣтилъ ихъ литературные недостатки. «Онъ грѣшить, писалъ тогда Кёрнеръ

Шиллеру»: противъ порядка, не поддерживаетъ интереса, утомляетъ излишнею обстоятельностью, становится тяжеловѣсенъ, не умѣетъ распредѣлять свѣтъ и тѣни». Позже онъ присоединялъ къ этому—такъ же справедливо—обвиненіе въ слишкомъ большой мягкости: прямой противоположность излишне жесткому слогу Фихте. Шиллеръ, имѣвшій въ общемъ почти еще худшее мнѣніе о литературномъ талантѣ своего друга, былъ очень доволенъ, что Кёрнеръ высказалъ ему письменно это свое мнѣніе совершенно откровенно. Онъ такъ горячо относился къ Гумбольдту и къ «Горамъ», что, когда рукопись «Ueber den Geschlechtsunterschied» (О различіи половъ) была наконецъ готова, онъ заказалъ Кёрнеру обязательно строгую критику ея. Она была написана, и намъ приходится вмѣстѣ съ Шиллеромъ согласиться со всеми пунктами этой критики. Вторично высказывается здѣсь Кёрнеръ объ изложеніи у Гумбольдта. Для читателя, не любящаго себя утруждать, отвлеченная форма сочиненія утомительна; методичный мыслитель нашелъ-бы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ недостатокъ определенности. Спокойствіе и простота, конечно, прекраснѣйшій приѣмъ, но только тогда, когда возможно дать совершенно полное понятіе о какомъ-нибудь предметѣ—а здѣсь это не имѣетъ мѣста; если же цѣль автора была дидактическая, то цѣлесообразнѣе былъ бы, кажется, иной ходъ разсужденія. Наконецъ, что касается построенія періодовъ, то оно не лишено благозвучія, но выпало бы отъ большаго контраста между длинными и короткими періодами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, Кёрнеръ совершенно справедливо усматривалъ причину этихъ недостатковъ изложенія главнымъ образомъ въ трудности матеріи. Самый предметъ не допускаетъ слишкомъ большой ясности. То, изъ чего авторъ исходитъ, не составляетъ ни общихъ понятій, ни единственно только опыта; лишь тончайшимъ ароматомъ опыта можно здѣсь пользоваться,—понятія высшей абстракціи должны представиться какъ бы путемъ созерцапія. Къ критикѣ Кёрнера мы можемъ прибавить только одно. Въ этомъ двойственномъ свѣтѣ чувственного представленія и абстрактности понятій постоянно вращается Гумбольдтово мышленіе. Оно неизбежно въ него попадаетъ: онъ просто сроденъ его индивидуальности. Предметъ, «не допускающій слишкомъ большой ясности», есть именно тотъ предметъ, который его всего болѣе интересуетъ и совершенно его наполняетъ. Тайна гармоніи между духомъ и природой можетъ быть только предчувствуема; именно поэтому Кантъ ощущалъ на краю этой пропасти головокруженіе, между тѣмъ все существо Гумбольдта сосредоточено на этомъ и только на этомъ. Форма его философствованія совершенно соответствуетъ цѣли и содержанію его мышленія; стремясь къ цѣльности, оно не можетъ ни на минуту забывать объ этой цѣльности. То, что составляетъ высшую идею его философіи, есть вмѣстѣ съ тѣмъ и идеаль его философствованія. Уже ранѣе, въ письмѣ къ

Форстеру, онъ высказалъ требованіе, чтобы философскія абстракціи предшествующаго времени сгущались подъ вліяніемъ живой дѣятельности, чтобы синтезирующій духъ вносилъ поправку въ логическій анализъ. Яснѣе и настойчивѣе повторяетъ онъ здѣсь то же требованіе. Характеръ вещей и дѣйствующихъ силъ не можетъ быть исчерпанъ «рапсодическимъ перечисленіемъ отдѣльныхъ признаковъ», онъ долженъ быть воспринятъ во всемъ своемъ единствѣ «внутреннимъ созерцаніемъ». Однородное цѣлое тоже можетъ быть понято только «совокупностью силъ». Въ гармоническомъ союзѣ съ мыслью должно дѣйствовать чувство. Послѣ того какъ разсудокъ изслѣдовалъ при помощи понятій природу и характеръ дѣятельности существа, фантазія должна схватить внѣшній образъ этого явленія, форму его содержанія, и только единство, къ которому разумъ стремится привести этотъ двойственный результатъ, можетъ сколько-нибудь соответствовать искомому. Другими словами: способъ воззрѣнія Гумбольдта—эстетическій, таковъ же и методъ, мелькающій передъ нимъ въ качествѣ идеала. Кёрнеръ дѣйствительно попалъ въ самую точку. «Для такого предмета»—говоритъ онъ - «была бы очень выгодна поэтическая оболочка, пли, по крайней мѣрѣ, какая-либо форма, въ которой проявлялась бы и личность автора». Этотъ намекъ былъ тотчасъ-же подхваченъ Шиллеромъ. Только когда впоследствии явились «Würde der Frauen» и «Die Geschlechter» Гумбольдтъ понялъ, что высказано наконецъ то, что онъ самъ тщетно стремился высказать: только въ устахъ поэта получило оно, по его словамъ, «законченность, жизнь и собственную организацію».

Прежде всего онъ серьезно старался воспользоваться блестящимъ примѣромъ Шиллера и критическими примѣчаніями Кёрнера. Съ весьма замѣтнымъ тщаніемъ принялся онъ снова за свою любимую тему. Мы взяли бы указать въ его второй статьѣ, помѣщенной въ «Neben», «Ueber männliche und weibliche Form» (О мужской и женской формѣ) слѣды тѣхъ перерывовъ, съ какими она писалась. Еще менѣе, нежели первая статья, написана она въ одинъ присѣсть пли хотя бы однимъ творческимъ порывомъ. И опять приходится согласиться съ Кёрнеромъ, что въ цѣломъ она не производитъ удовлетворительнаго впечатлѣнія. И здѣсь снова, и даже болѣе, чѣмъ въ первой статьѣ, утомляетъ пространность изложенія, поэтической колоритъ стили затемняетъ ясное представленіе объ изгибахъ его мыслей. Это постоянное колебаніе, эти скачки то впередъ, то назадъ, это повтореніе и вращеніе въ кругъ, это ограничиваніе и предупрежденіе — все вмѣстѣ взятое производитъ такое впечатлѣніе, что авторъ постоянно пытается высказать то, что доступно только созерцанію и чувствуванію. Шиллеръ совершенно справедливо замѣтилъ по поводу позднѣйшей работы Гумбольдта: продукты воображенія, эстетическое вообще, не могутъ быть инымъ образомъ восприняты, какъ только самимъ воображеніемъ; абстракція

и рѣчь неспособны измѣрить созерцаніе и чувствованіе. При всемъ томъ Гумбольдтово изложеніе все же усвоило себѣ кое что изъ удачной манеры Шиллера, изъ его метода—посредствомъ опредѣленія конкретныхъ противоположностей и затѣмъ соединенія ихъ между собою создавать мало-по-малу представленіе о предметѣ во всемъ его объемѣ. Онъ заимствовалъ отъ него и другой приѣмъ, притомъ гораздо болѣе успѣшно. Читатель, конечно, помнитъ, какъ Шиллеръ въ своей статьѣ «*Ueber Anmuth und Würde*» пользуется греческимъ стихотвореніемъ о поясѣ Афродиты какъ текстомъ, на который его идеи, какъ бы комментируя его, опираются. То, что Шиллеръ сдѣлалъ инстинктивно, повинаясь произвольной поэтической интуиціи, то Гумбольдтъ повторяетъ въ силу сознательнаго размышленія. Онъ намѣревается изобразить характеръ мужской и женской формы. Онъ долженъ быть схваченъ со всею логическою ясностью и вмѣстѣ съ тѣмъ во всей его чувственно-индивидуальной опредѣленности. Старое требованіе и старое затрудненіе выступаютъ снова на сцену: «Разумъ можетъ дать только слѣдныя абстракціи, а между тѣмъ тутъ необходимъ полный, чувственный образъ, ибо истинный смыслъ половыхъ особенностей можетъ выразиться только въ живомъ соединенномъ дѣйствіи всѣхъ отдѣльныхъ чертъ». Что же дѣлать въ такомъ затруднительномъ случаѣ? Только «творческая сила воображенія» можетъ рѣшить проблему, и она ее рѣшила. Особенно богатъ одаренный отъ природы этою удивительною силой, «грекъ населилъ свой Олимпъ идеальными образами»; греческому художнику удалось даже «самый идеаль сдѣлать индивидуумомъ». Такимъ образомъ эта характеристика мужской и женской формы остроумно и удачно связывается съ изображеніемъ личностей греческихъ боговъ и богинь, и только тогда, когда авторъ оставляетъ эту почву, изложеніе снова расплывается и опять начинается прежнее колебаніе между терминами понятій и ощущеній.

Но не только форма — самое содержаніе этой второй статьи еще болѣе обнаруживаетъ удивительную зависимость автора отъ круга Шиллеровыхъ идей. Все чѣмъ Гумбольдтъ жилъ, изъ чего онъ исходилъ, всѣ эти элементы соединились въ этой теоріи. Основной матеріалъ этого сочиненія: ощущеніе различія половъ, принадлежитъ всецѣло Гумбольдту. Этому матеріалу должны служить всѣ свѣдѣнія, приобретенныя имъ изъ анатоміи. Онъ приводится въ связь съ изящными искусствами и міеологическимъ міромъ древней Греціи, но подчиняется все это воззрѣніямъ, такъ много разъ обсуждавшимся совместно съ Шиллеромъ; вездѣ звучатъ идеи, развитыя Шиллеромъ въ его «*Anmuth und Würde*» и въ «*Aesthetische Briefe*», въ которыя, какъ въ готовую форму, Гумбольдтъ вкладываетъ только свои собственные мысли. Изъ чистой сущности человѣческой природы развили Шиллеръ понятіе идеально-прекраснаго. Онъ вывелъ его какъ высшую точку человѣческаго бытія изъ взаимодействія двухъ противоположныхъ

побуждений: предметнаго, привязывающаго человѣка къ чувственному, и формальнаго, освобождающаго и возвышающаго его надъ предѣлами конечнаго. Въ третьемъ побужденіи, которое онъ назвалъ «инстинктомъ игры» (Spieltrieb) первыя два дѣйствуютъ совмѣстно. Объектомъ этого третьяго побужденія была для него красота, и потому ея существо, по его мнѣнію, заключается въ полнѣйшемъ равновѣсіи реальности и формы, необходимости и свободы. Такое отвлеченное толкованіе понятія красоты черезъ введеніе въ него Гумбольдтомъ конкретнаго образа человѣческой природы еще усиливается въ значительной мѣрѣ. Шиллеровымъ понятіемъ прекраснаго, на которое онъ прямо ссылается, онъ пользуется для опредѣленія того, что такое человѣческая красота. Трансцендентальныя изслѣдованія Шиллера служатъ ему для антропологическаго изслѣдованія; его эстетическую теорію онъ подвергаетъ естественнонаучному испытанію. Если Шиллеръ исходилъ изъ контраста между разумомъ и чувственностью, то Гумбольдтъ исходитъ изъ полярной двойственности мужскаго и женскаго элементовъ. Если у Шиллера этотъ контрастъ находитъ разрѣшеніе въ понятіи «высокой красоты», то для Гумбольдта половой контрастъ исчезаетъ въ «идеаль чистой безполой человѣческой природы». Здѣсь трансцендентальное и антропологическое возрѣнія взаимно покрываются, ибо, если Шиллеръ въ идеально-прекрасномъ усматриваетъ «уничтоженіе (Consummation) человѣческой природы», то, по мнѣнію Гумбольдта, индифференцированная въ отношеніи пола человѣческая природа относится къ красотѣ, какъ дѣйствительность къ явленію, прообразъ къ снимку. Но идеально-прекрасное—такъ объясняютъ «Эстетическія письма»—распадается въ опытной области на томную (schmelzende) и энергичную красоту. Не совпадающая правда съ этимъ дѣленіемъ, но соотвѣтственно ему, красота, по Гумбольдту, распадается, сообразно двойственности пола, на мужскую и женскую красоту. «Выраженіе божіе полнаго господства воли вызываетъ въ мужскомъ складѣ болѣе опредѣленныя формы; выраженіе большей естественной свободы въ женскомъ будетъ поддерживать болѣе постоянство матеріи». Тамъ больше свободы и силы, здѣсь больше чарующей прелести. Тамъ аналогія того, что Шиллеръ понималъ подъ энергическою красотой, тутъ аналогія того, что онъ называлъ томною красотой. Прибавляя такимъ образомъ все новыя и новыя черты, пытается Гумбольдтъ изобразить характеръ прекраснаго мужскаго и прекраснаго женскаго образа. Идея глуболежащаго параллелизма или скорѣе тождества сущностей физической и нравственной природы направляетъ тотчасъ-же эту характеристику всецѣло по слѣдамъ Шиллеровой философіи. Въ упомянутомъ выше равновѣсіи разума и чувственности, свободы и необходимости, Шиллеръ открылъ не только законы красоты, но вмѣстѣ съ тѣмъ и идеаль «прекрасной нравственности». И этотъ идеаль, въ защиту котораго Шиллеръ выступилъ противъ суровости Канта морализма съ

такимъ страстнымъ одушевленіемъ совпадаетъ, по Гумбольдту, съ идеаломъ безполной человѣческой природы. Подобно тому какъ существуютъ мужская и женская красота, точно также существуетъ, какъ ихъ внутренній типъ; мужская и женская добродѣтель. Изъ равновѣсія обѣихъ возникаетъ высшее нравственное поведеніе—то именно, за которое Гумбольдтъ въ существенномъ уже ранѣе стоялъ и которое онъ теперь характеризуетъ почти подлинными словами поэта-философа. Оно заключается въ томъ, что воля господствуетъ—«но не надъ противодѣйствующею ей, а надъ согласною съ нею природою». Безполная человѣческая природа тождественна какъ съ прекрасною, такъ и съ нравственно облагороженною человѣческою природою; въ ней «требованіе разума возникаетъ, какъ свободное направленіе склонности, а голосъ страсти, какъ выраженіе разумной воли».

Такъ тѣсно сжились Гумбольдтъ съ Шиллеромъ, такъ сплелись между собою ихъ идеи! Но чѣмъ для него былъ Шиллеръ, это Гумбольдтъ узналъ только тогда, когда ихъ общая жизнь была прервана. Въ началѣ іюля 1795 года, послѣ шестнадцатимѣсячнаго пребыванія, Гумбольдтъ съ семьей покинулъ Іену. Сыновнія обязанности и семейныя отношенія побудили его поселиться на время вблизи матери, дни которой были, казалось, уже сочтены. Вначалѣ имѣлось въ виду провести въ Тегелѣ три мѣсяца, но затѣмъ срокъ отъѣзда откладывался все далѣе и далѣе. Прошла осень и зима, прошло наконецъ и лѣто, и только послѣ почти полутора-лѣтней разлуки друзья свидѣлись снова. Тяжелое было это для Гумбольдта время. Подъ гнетомъ заботы о больной матери, въ уединеніи Тегеля и почти еще болѣе среди развлеченій столицы тосковалъ онъ вдвойнѣ по Іенѣ. Съ самаго начала онъ нѣсколько разъ ѣздилъ въ Берлинъ. Разсчитанное на нѣсколько только недѣль пребываніе затянулось съ декабря на продолжительное время. Но берлинская атмосфера удовлетворяла его теперь еще менѣе, чѣмъ послѣ возвращенія изъ университета. Какъ далеко ушелъ онъ за это время отъ Энгелля и Бистера, отъ Цельнера и Гедике! Какъ тѣсенъ показался ему кругъ, въ которомъ вращалась фаптанія автора Lorenz'a Stark'a, какъ пошла и низменна—мудрость «Bibliothek der schönen Wissenschaften», какъ суха и неплодна—вся вообще почва берлинской духовной жизни! Высоко поднялся онъ, благодаря общению съ древнимъ міромъ и участію въ Шиллеровомъ мышленіи и творчествѣ, надъ тѣмъ просвѣтительнымъ движеніемъ, которое имѣло такое сильное вліяніе на его юношеское развитіе. Онъ вступилъ теперь въ другой фазисъ образованія, совершенно отличный отъ того, въ которомъ продолжали сидѣть его берлинскіе друзья и учителя. Веймаръ и Іена перешли уже въ міръ эстетическихъ воззрѣній, Берлинъ все еще продолжалъ жить въ міръ просвѣтительной разсудочности. Философія журнала «Hog-n» была не по вкусу берлинцевъ и превосходила ихъ пониманіе. Даже лучшіе между ними до та-

кой степени зачтались своими Лессингомъ и Мендельсономъ, а въ лучшемъ случаѣ Кантомъ, что «Письма объ эстетическомъ воспитаніи» и статья «О наивномъ и сентиментальномъ» казалась пмъ написанными какъ бы на чуждомъ языкѣ. Тщетно объяснялъ Гумбольдтъ такому остроумному человѣку, какъ его старшій другъ Герцъ, что легче писать остроумно, нежели эстетично, изысканно, нежели глубоко,— что недостатокъ прежняго философствованія заключался въ безопадной логикѣ, съ какою разсматривались всѣ предметы, тогда какъ преимущество новаго—это проингновеніе въ самую индивидуальную суть вещей. Для пониманія этихъ разъясненій большинству изъ нихъ недоставало потребнаго органа; они были слишкомъ стары для того, чтобы учиться. Только среди молодежи и женщинъ, т. е., тамъ, гдѣ уже ранѣе сентиментальность нашла себѣ главную поддержку, началъ производиться свое дѣйствіе и новый эстетизмъ. Поэтому только съ ними нашелъ здѣсь Гумбольдтъ нѣкоторыя точки соприкосновенія. Въ качествѣ средоточія молодого образованнаго Берлина стала выдвигаться Рахиль Левина, приверженная на половину старому, на половину повому образованію, полная чувства даже въ наиболѣе разсудочныхъ своихъ сужденіяхъ, остроумная даже въ своемъ чувствованіи. Ей пришлось по душѣ рецензія Гумбольдта о Woldemar'ѣ, тогда какъ въ Шиллеровой рецензіи о Маттессонѣ Лессинга она находила недостатокъ увѣренности и свободы. Ея раздражительное безпокойство, отсутствіе гармоніи въ ея натурѣ, сообщавшую какъ ея ощущеніямъ, такъ и сужденіямъ отрывочность и недодѣланность, ея черезъ-чуръ женственная и вмѣстѣ съ тѣмъ почти мужская натура, не производили на Гумбольдта плодотворнаго вліянія. Тѣмъ не менѣе ея остроуміе и здравый смыслъ, пропикнутые тонкимъ тактомъ и глубокимъ чувствомъ, соприкасались съ его собственнымъ существомъ въ двухъ его полюсахъ. Жена Гумбольдта была также очень дружна съ Рахилью. Съ ней можно было всегда вести интересный разговоръ, поговорить, по крайней мѣрѣ, о глубочайшихъ, важнѣйшихъ вопросахъ. Онъ говорилъ о ней какъ объ единственной, съ которою онъ и ранѣе въ Берлинѣ охотно и близко сходилъ,—теперь она занимала у него первое мѣсто, по крайней мѣрѣ, между женщинами. Что касается мужской половины берлинскаго общества, то изъ прежнихъ его знакомыхъ самымъ пріятнымъ былъ для него Генцъ, хоть большаго контраста характеровъ, какъ Генцъ и Шиллеръ, нельзя себѣ и представить. Кто не хотѣлъ видѣть или признавать генія въ Шиллерѣ, тотъ долженъ былъ во всякомъ случаѣ признать благородство его характера; Генцъ не имѣлъ въ себѣ безъ сомнѣнія ничего геніальнаго, еще несомнѣннѣе не имѣлъ онъ ничего, что заслуживало бы названія характера. Съ совершеннымъ безсудіемъ въ области самостоятельной мысли въ немъ соединялось необузданное легкомысліе, абсолютная безпринципность. Что близкій другъ Шиллера могъ быть въ

то-же самое время и другомъ самаго распутнѣйшаго и умственно самаго несамостоятельнаго изъ людей представляется на первый взглядъ парадоксальнымъ, но при ближайшемъ разсмотрѣніи эта парадоксальность печезаетъ. У Гумбольдта и Генца было два общихъ элемента: чрезвычайно тонкая чувственность и затѣмъ пронизательный и быстрый умъ. Генць былъ человѣкомъ, любящимъ наслажденія и умнымъ—ничѣмъ болѣе. Гумбольдтъ кромѣ этихъ двухъ качествъ обладалъ и кое-чѣмъ другимъ. Ядро его существа состояло изъ матеріала, родственнаго тому, изъ котораго былъ созданъ Шиллеръ, оболочка—изъ одного матеріала съ Генцомъ, и онъ любилъ поэтому въ немъ добраго малаго, съ которымъ можно было легко ладить, и умнаго человѣка, съ которымъ можно было болтать до безконечности. Онъ тѣмъ болѣе любилъ его, что то, что было у нихъ общаго, въ Генцѣ переливалось въ рѣзкихъ краскахъ, тогда какъ въ немъ самомъ оно являлось сѣрымъ, безцвѣтнымъ. Генць-жуиръ былъ тогда, во дни своей юности, распутень и страстенъ. Генць-резонеръ былъ полонъ огня и оживленія. По отношенію къ этой пылкости Гумбольдту было такъ легко сохранять свое спокойствіе; онъ могъ импонировать другу безстрастіемъ въ наслажденіи, тонкостью и упорствомъ въ разсужденіи, онъ могъ при помощи того, что Генць называлъ въ немъ демоническимъ и софистическимъ, въ любой моментъ обуздать его, удержать его на извѣстномъ разстояніи, тогда какъ его неудержимая экспансивность его возбуждала и оживляла. И раньше онъ часто бродилъ съ нимъ ночью по улицамъ Берлина и при случаѣ радъ былъ видѣть его въ Бургернерѣ. Теперь онъ снова пригласилъ его къ себѣ въ Тегель, возобновилъ съ нимъ въ Берлинѣ прежнее интимное знакомство и истушилъ съ нимъ въ постоянныя литературныя сношенія. Переводчикъ Борка казался іенскимъ друзьямъ недурнымъ приобретеніемъ для «*Норен*». Съ другой стороны, на легко возбуждающагося Генца перья книги этого журнала произвели чрезвычайно сильное впечатлѣніе. И на самомъ дѣлѣ, именно тѣ качества, которыя сближали его съ Гумбольдтомъ, дѣлали его способнымъ овладѣть до извѣстной степени духомъ и формой новой эстетики. Онъ нашель въ себѣ аналогію того чистаго пониманія красоты, и суррогата того серьезнаго нравственнаго паюса, которыми были преисполнены философія и рѣчь Шиллера. Онъ обладалъ вкусомъ и здравымъ смысломъ, пониманіемъ красоты формы и удивительно развитымъ подражательнымъ талантомъ. «Изъ всѣхъ, съ кѣмъ мнѣ приходилось говорить»—писалъ Гумбольдтъ Шиллеру—«Генць единственный, въ которомъ ваши письма вызвали истинный и осмысленный энтузіазмъ, да и вообще это несомнѣнно наиболѣе мыслящій здѣсь человѣкъ». Генць подтвердилъ вскорѣ это замѣчаніе. Укрѣпленный Гумбольдтомъ въ своемъ энтузіазмѣ, онъ началъ издавать ежемѣсячный журналъ, который долженъ былъ представлять pendantъ къ Шиллеровымъ «*Норен*». Въ своей исторіи Маріи Стю-

артъ онъ пытается соперничать съ авторомъ «Осады Антверпена». Въ одной изъ своихъ статей онъ открыто восхваляетъ Шиллера, въ другой—даетъ теорію государственнаго управленія, составленную по образцу Шиллеровой теоріи прекраснаго, вездѣ онъ стремится посредствомъ изящества и реторики придать своему стилю сходство съ Шиллеровымъ. Однимъ словомъ, образъ мысли и изложенія Шиллера была пмъ, казалось, перенесены—хорошо-ли, дурно-ли они могли тамъ произростать—на неплодную берлинскую почву. Если Гумбольдтъ могъ почувствовать къ кому-нибудь болѣе сильный интересъ, то это именно къ Генцу; если онъ могъ съ кѣмъ сговориться по вопросамъ, которые были всего ближе его сердцу, то именно съ нимъ,—онъ одинъ могъ замѣнить ему Шиллера ¹⁾).

Плохая и печальная замѣна! Несмотря на общество Генца и Рахли, Гумбольдтъ чувствовалъ себя безконечно одинокимъ. Вездѣ и во всемъ чувствовалъ онъ отсутствіе того возбужденія и оживленія, того обогащенія и наслажденія, которыя онъ почерпалъ въ разговорѣ съ Шиллеромъ. Его письма къ послѣднему проникнуты глубочайшею тоской по отсутствующему другѣ; онъ повторяетъ нѣсколько разъ свои опасенія умственно оскудѣть въ разлукѣ съ нимъ. «Я чувствую, пишетъ онъ однажды, что моя умственная дѣятельность дѣйствительно нуждается въ возбужденіи, питаніи и поддержкѣ со стороны». Такъ оно и было. Въ то время какъ въ Іенѣ, въ обществѣ Шиллера, онъ проявлялъ сравнительно большую продуктивность, въ этотъ послѣдній періодъ онъ не сдѣлалъ почти ничего. Снова, какъ тогда въ Аулебенѣ и Бургёрнерѣ, онъ громоздилъ планы на планы. Онъ обѣщавъ Шиллеру написать эстетическій разборъ Фоссовой «Луизы». Онъ согласился, по желанію Шиллера, написать комментарий къ одному изъ его стихотвореній. Онъ принялъ на себя порученіе Шиллера сдѣлать подробный разборъ «Рейнке-Фукса». Обстоятельно и основательно готсвился онъ къ этимъ работамъ, также точно какъ и къ нѣсколькимъ литературнымъ работамъ, намѣченнымъ имъ самимъ. Но дѣло такъ и окончилось приготовлениями: уныло отворачивался онъ отъ своихъ проектовъ или отъ начатыхъ уже работъ. Никогда различіе между нимъ и Шиллеромъ не выступало съ такою яркостью. Въ это лѣто 1795 года и Шиллеръ былъ болѣе одинокъ, чѣмъ обыкновенно, такъ какъ и Гёте отсутствовалъ продолжительное время; и ему недоставало общества друга, ежедневная бесѣда съ которымъ была такъ долго лучшимъ и, можетъ быть, единственнымъ его отдохновеніемъ. Слѣдствіемъ этого было однако же то, что онъ съ удвоенной энергіей предался творчеству. Онъ именно обладалъ—примѣняя его собственное выраженіе—искусствомъ и стремленіемъ дѣлать изъ малаго многого и семью политій, которую онъ имѣлъ въ своей власти, расширять до

1) Ср. мою біографію Генца въ энцикл. Эрша и Грубера.

предѣловъ цѣлаго міра. Оплакивая свою собственную скудость и кропотливость, Гумбольдту приходилось именно теперь болѣе чѣмъ когда-либо удивляться неисчерпаемой плодovitости и удивительной энергіи своего друга. Не составивъ заранѣе сколько-нибудь опредѣленнаго плана, Шиллеръ написалъ въ концѣ 1795 года свои трактаты «О наивномъ и септиментальномъ». У него «совершенно не было досуга» для составленія плана, и именно досугъ мѣшалъ Гумбольдту работать, а планы препятствовали выполнению.

Въ такомъ положеніи и настроеніи онъ, по его собственнымъ словамъ, искалъ убѣжища въ воспоминаніяхъ и мысленно проводилъ лучшую часть своего времени съ своимъ другомъ. Усердная переписка съ обѣихъ сторонъ служила замѣной и продолженіемъ ихъ разговоровъ. Въ своемъ уединеніи Шиллеръ называлъ письма изъ Тегеля своею почти единственною точкою соприкосновенія съ внѣшнимъ міромъ; письма изъ Іены, говорилъ Гумбольдтъ, представляютъ почти единственную его связь съ духовною дѣятельностью. Не все, правда, можно было изложить въ письмѣ, что въ устномъ разговорѣ; несмотря на то, у друзей вошло въ привычку бесѣдовать письменно, какъ бы сидя рядомъ, о всѣхъ высшихъ вопросахъ, которые ихъ интересовали; важны были обсуждаемые въ этой перепискѣ вопросы, благородны и серьезные соединившія обѣ эти личности отношенія, но сверхъ этого сохранившіеся документы этого письменнаго общенія обладаютъ еще прелестью непосредственной откровенной бесѣды. Если содержаніе этихъ писемъ Гумбольдта къ Шиллеру болѣе высокаго значенія, чѣмъ въ его же письмахъ къ Вольфу, то, съ другой стороны, и самый тонъ ихъ выражаетъ болѣе сердечную и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе интимную дружбу. Чѣмъ живительнѣе дѣйствовало на Гумбольдта это общеніе съ другомъ, тѣмъ болѣе онъ считалъ нужнымъ «относиться къ письмамъ, какъ къ разговорѣ». Шиллеръ, съ другой стороны, своими удававшимися ему теперь работами не только доставлялъ другу высшее умственное наслажденіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ давалъ и полное впечатлѣніе своей личности. Поэтому-то для перваго было «положительно любимѣйшимъ занятіемъ» читать его работы и бесѣдовать съ нимъ о нихъ. Онъ примирился съ своимъ непродуктивнымъ настроеніемъ. Послѣ словъ Шиллера, что его сила заключается въ сужденіи и наслажденіи, онъ совершенно ушелъ въ наслаждающееся подражаніе, въ комментированіе и критику. Роли распредѣлились наиболѣе соответствующимъ и характернымъ для обѣихъ индивидуальностей образомъ. Какъ разъ въ то время, когда Гумбольдтъ уѣхалъ въ Берлинъ, Шиллеръ перешелъ отъ философіи къ поэзіи и къ работамъ, объединяющимъ ту и другую. Какъ для него, согласно его собственному теперешнему пониманію, критика и метафизика составляли только переходную ступень для дальнѣйшаго творчества, такъ Гумбольдтъ во время Іенскаго періода казалось испы-

тывалъ себя въ творествѣ только для того, чтобы быть теперь тѣмъ болѣе способнымъ къ воспріятію, тѣмъ лучше вооруженнымъ для обсуждения чужихъ произведеній. «Такъ какъ вы слишкомъ робки и стыдливы,—писалъ поэтъ критику,—чтобы производить съ музой своихъ собственныхъ дѣтей, то усыновите или, вѣрнѣе, воспитайте мнѣ моихъ; за это вы будете дѣлать со мною отцовскія радости». Въ полной мѣрѣ раздѣляя Гумбольдтъ эти радости и добросовѣстно исполняя эти свои воспитательскія обязанности.

Необходимость пополнить свой *Musenalmanach* заставила вдругъ въ это время Шиллера вернуться къ музѣ, которую онъ покинулъ на такое продолжительное время ради болѣе холодной богини. Въ нѣсколько недѣль онъ поразилъ своихъ друзей цѣлымъ потокомъ стихотвореній. «Macht des Gesanges», «der Tanz», «das Reich der Schatten», «Natur und Schule», «die Ideale», «die Würde der Frauen», цѣлый рядъ меньшихъ стихотвореній и наконецъ самое большое и самое прекрасное изъ нихъ, несравненная «Elegie» — все это было написано почти въ одинъ присѣсть и свѣжими, только что вышедшими со станка поэта, сообщены одновременно въ Дрезденъ Кернеру, въ Берлинъ Гумбольдту, наблюдавшему тамъ за печатаніемъ альманаха. На долю поэта рѣдко выпадало счастье имѣть такихъ друзей и въ такихъ друзьяхъ—такихъ судей и совѣтниковъ. Оба были связаны съ Шиллеромъ узамъ искреннѣйшей, преданнѣйшей любви; оба соединяли съ любовью къ Шиллеру благороднѣйшую правдивость и высшее безпристрастіе; оба были болѣе способны къ критицѣ, чѣмъ къ творчеству. Оба были одарены тѣми двумя способностями, которыя обуславливаютъ компетенцію эстетическаго критика: выдающеюся силою сужденія и развитымъ пониманіемъ красоты. Но важнѣе всего для Шиллера было то, что оба въ пониманіи его произведеній и въ способѣ ихъ обсуждения взаимно другъ друга дополняли. Удивительно, какъ согласно они о многомъ думали и какъ различно они приступали къ обсужденію, — какъ согласны были ихъ приговоры въ общемъ и какъ различны въ частностяхъ. Кернеръ любилъ въ Шиллерѣ болѣе чело-вѣка и только въ чело-вѣкѣ поэта, Гумбольдтъ любилъ больше его гешіи и въ поэтѣ чело-вѣка. Поэтому-то первый былъ свободнѣе въ сужденіи о произведеніяхъ Шиллера, чѣмъ второй. Однако, не только потому: Гумбольдтъ не былъ собственно энтузіастомъ по натурѣ, онъ ясно видѣлъ слабыя стороны какъ вещей, такъ и людей, но его зрѣніе мутилось, какъ только онъ открывалъ въ вещахъ или въ людяхъ стороны, которыя въ немъ самомъ находили сильный отзвукъ. Такой случай имѣлъ мѣсто по отношенію къ роману Яоби. Тоже самое и въ самой высокой степени имѣло мѣсто и по отношенію къ Шиллеру и его произведеніямъ. Значительнѣйшія изъ написанныхъ для *Musenalmanach*'а стихотвореній заключали въ себѣ темы, о которыхъ они много разъ бесѣдовали съ поэтомъ, которыя нѣкоторымъ

образомъ составляли ихъ общее достояніе. Нѣкоторыя, какъ, напри-
мѣръ, «Würde der Frauen» и «Geschlechter» еще болѣе ему принадле-
жали, они представляли плоть отъ его плоти, кость отъ его кости.
Другія казались ему въ нѣкоторомъ смыслѣ какъ бы вылившимися
изъ его собственнаго душевнаго настроенія. Такъ, напри-мѣръ, онъ
пишетъ: «Die Macht des Gesanges» касается какъ разъ той области, къ ко-
торой мнѣ всегда особенно свойственно тяготѣть: она касается со-
кровеннѣйшей и наиболѣе таинственной стороны человѣческой при-
роды: непонятнаго перехода и соотношенія мысли и ощущенія». Въ
другой разъ онъ подчеркиваетъ богатый матеріалъ, лежащій въ основѣ
стихотворенія «Der Spaziergang» и прибавляетъ: «кромѣ того, это
именно тотъ матеріалъ, который мнѣ, по моимъ воззрѣніямъ, осо-
бенно близокъ»; стихотвореніе «составляетъ измѣнчивое стремле-
ніе человѣка съ твердою неизмѣнностью природы, приводитъ къ пра-
вильной точкѣ зрѣнія на то и другое и связываетъ такимъ образомъ
во едно самое высокое, что человѣкъ способенъ мыслить». Такъ
обстояло дѣло съ стихотвореніями Шиллера; не иначе обстояло оно
и съ его прозаическими сочиненіями. Въ это время появились уже
его разсужденія «О наивной и септимальной поэзіи». Главное впечатлѣ-
ніе, произведенное ими на Гумбольдта, заключалось, какъ онъ
пишетъ, въ томъ, «что они разрѣшили всѣ сомнѣнія, которыя за-
ставляли меня прежде иногда колебаться въ критическихъ сужденіяхъ
о поэтахъ и дали опредѣленный ясно формулированный базисъ даже
основнымъ мопмъ сужденіямъ». При такой зависимости отъ круга
идей и чувствъ, выраженныхъ въ Шиллеровыхъ произведеніяхъ, при
такой идіосинкразіи по отношенію къ идеямъ и настроеніямъ, изъ
которыхъ эти произведенія возникли, свободное критическое сужденіе
было невозможно. Даже и Кёрнеръ былъ не въ состояніи такъ глупо,
такъ точно, такъ по Шиллеровски прочувствовать какое нибудь
стихотвореніе Шиллера, какъ Гумбольдтъ. Это объясняется тѣмъ, что
онъ сохранилъ свободу въ своихъ мысляхъ и чувствахъ; онъ былъ
плѣненъ, но не подкупленъ, восхищенъ, но не увлеченъ. Онъ могъ
хвалить, но могъ рядомъ съ этимъ и порицать. Не таково было от-
ношеніе къ нимъ Гумбольдта. Его сужденіе обыкновенно гораздо
глубже захватывало, оно было и гораздо лучше обосновано, но это
сужденіе подкупленнаго чувства. Онъ исходитъ обыкновенно изъ во-
сторга, который вызываютъ въ немъ слова поэта. Онъ перечиты-
ваетъ ихъ еще и еще; онъ становится ихъ переводчикомъ и толко-
вателемъ. Онъ пытается расчленивъ и разобрать соотношеніе мыслей
и ихъ переходы. И наконецъ онъ переживаетъ, какъ ему кажется,
какъ оно возникло въ душѣ поэта. Онъ кончаетъ тѣмъ же съ чего
началъ: его одушевленіе возросло, онъ даетъ подробное переложеніе
и повторяетъ восторженную похвалу. Не помогаетъ ему и его соб-
ственное сознаніе, «что онъ вездѣ въ своей критикѣ слишкомъ легко

увлекается въ сторону одобренія», и потому пытается «нарочно придать себѣ болѣе строгости». Его критическій взглядъ не затемненъ только въ тѣхъ пунктахъ, которые не соприкасаются непосредственно съ чувствомъ, вызываемымъ цѣлымъ. Его критика подчеркиваетъ самыя тонкія, самыя высокія вершины и самыя мелкія и наиболѣе внѣшнія стороны. То, на что онъ обращаетъ наше вниманіе, — это вещи, для которыхъ каждый другой взглядъ оказался бы недостаточно проникающимъ; то, что онъ осуждаетъ, — пятна, которыя были бы очевидны для всякаго другого взгляда, если бы только онъ хотѣлъ на нихъ остановиться: это тончайшія искры мысли и чувства, мѣстами же это такія элементарныя указанія, какъ неудачныя рѣмы или просядическія промахи. Еще одно обстоятельство отличаетъ Гумбольдтову критику отъ Кёрперовой. Первая такъ мягка еще и потому, что она сопровождается уваженіемъ къ индивидуальности, которое проявляется вездѣ какъ основная черта Гумбольдтова образа мыслей. Шиллеръ совершенно справедливо выдаетъ своему другу свидѣтельство, что онъ вполнѣ овладѣлъ этою идеей и потому всегда твердъ въ высокомъ ея примѣненіи. Онъ твердо за нее держался и въ сужденіи о произведеніяхъ Шиллера. Если бы они были ему даже менѣе родны, онъ и тогда не въ силахъ былъ бы высказывать такое положительное неодобреніе, давать совѣты, какъ Кёрнеръ, который далъ своему другу маленькое указаніе, по нашему мнѣнію, чрезвычайно мѣткое; справедливость его самъ Шиллеръ, сравнивая себя съ Гёте, долженъ былъ признать. Онъ обратилъ его вниманіе на то, что его поэзія представляла бы болѣе полную гармонію, если бы онъ предоставлялъ болѣе свободы своему воображенію и менѣе подчинялся своей склонности къ общему и отвлеченному. Шиллеръ былъ человѣкомъ, способнымъ всю свойственную ему энергію волн и стремленія направлять къ достиженію каждой цѣли, которую признавалъ достойною. Сношенія и духовное общеніе съ Гёте дѣйствительно все болѣе и болѣе направляли его по этому пути. Но Гумбольдтъ былъ другого мнѣнія. Уваженіе къ чужой индивидуальности запрещало ему ставить подобныя требованія. То, на что намскалъ Кёрнеръ, не казалось ему недостаткомъ. Перемены въ этомъ отношеніи онъ не могъ ни ожидать, ни желать. «Это, — пишетъ онъ, — противорѣчатъ моему теоріи развитія вообще. Каждый долженъ стремиться открыть присущую ему особенность и очистить ее, выдѣляя все случайное». И наконецъ эта осторожная мягкость и деликатность усиливались еще на дѣлѣ его робостью, которая сопровождала его на поприщѣ критики, также какъ и въ сферѣ творчества. Ему недоставало смѣлой поэзіи и увѣренной въ себѣ твердости критика. Ему недоставало также пракческаго интереса и находчивости совѣтника. Поэтому прямой и трезвенный Кёрнеръ съ дѣловитою увѣренностью указываетъ пункты, которыя его не удовлетворяютъ; Гумбольдтъ рѣшается только наме-

вать и самъ сомнѣвается въ собственныхъ указаніяхъ. Первый рѣшаетъ, второй обдумываетъ; первый высказываетъ приговоры, второй выражаетъ опасенія. Первый большею частью категориченъ, второй почти всегда въ сомнѣніи. Кёрнеровскія сужденія отличаются почти всегда лаконическою краткостью, Гумбольдтовы—обстоятельностью; первыя часто почти не мотивированы, вторыя—обставлены и прикрыты цѣлою массою мотивовъ; первыя совершенно ясны и въ болѣе сложныхъ случаяхъ могутъ быть безъ труда примѣнены; вторыя часто съ трудомъ понимаются и еще труднѣе непосредственно примѣнимы. Образецъ той глубокой, конгеніальной критики, которая, исходя изъ самой сущности предмета, судить пронизательно и вмѣстѣ съ тѣмъ мягко и, несмотря на свой энтузіазмъ, сохраняетъ хладнокровіе и твердость—образецъ такой критики далъ Шиллеръ въ своей статьѣ о Гётевскомъ «Мейстерѣ». То, что мы видимъ здѣсь соединеннымъ, раздѣляется почти поровну между Кёрнеромъ и Гумбольдтомъ какъ критиками. Если мы, какъ и слѣдуетъ по справедливости, присоединимъ къ критическимъ голосамъ, имѣвшимъ вліяніе на творчество Шиллера, голосъ того, кто вліялъ на него, правда, еще болѣе своимъ примѣромъ и своею личностью, нежели своими сужденіями, то различные звуки этихъ голосовъ составятъ полную и гармоническую гамму тоновъ. Все, что имѣло силы и право его критиковать, распологалось вокругъ него концентрическими кругами. Его собственному индивидуальному духу наиболѣе близокъ былъ Гумбольдтъ; онъ представлялъ для него въ формѣ сужденія его собственный духъ, изъ котораго онъ почерпалъ свои творенія. Въ Гёте ему былъ близокъ самый духъ поэзіи, и наконецъ въ сужденіи Кёрнера была представлена нація и публика.

Но именно пріемъ, посредствомъ котораго Гумбольдтъ разсматривалъ Шиллеровыя произведенія, все его имѣвшее глубокіе корни отношеніе къ Шиллеру заставляли его постоянно обращаться къ индивидуальности поэта. Онъ переживалъ и изучалъ, обсуждалъ и разбирали не только его произведенія, но въ нихъ и вмѣстѣ съ ними и ихъ автора. И такимъ образомъ произошло, что его мнѣніе о первыхъ никогда не могло освободиться отъ зависимости отъ его мнѣнія о послѣднемъ, а обстоятельства сдѣлали то, что его сужденія о томъ и о другомъ не были совершенно свободны отъ случайныхъ вліяній эпохи, съ которою совпали его отношенія къ Шиллеру. При свойственномъ ему своеобразіи и способности хранить и дѣлать это своеобразіе, его представленіе о Шиллерѣ при всякихъ условіяхъ носило бы субъективную окраску. Но какъ разъ теперь случилось, что поэтъ находился въ такомъ фазисѣ своего развитія, который былъ особенно сродни Гумбольдтовой индивидуальности. То, что ему пришлось теперь вмѣстѣ съ Шиллеромъ пережить, былъ внезапный переходъ послѣдняго отъ философской дѣятельности къ поэтической; произведе-

нія, созданныя почти передъ его глазами, носили характеръ философско-поэтическій и поэтично-философскій. Какъ бы шутя и смѣясь надъ своими собственными затѣями, Шиллеръ провелъ вдругъ черту подъ своими письмами объ эстетикѣ. Съ твердой земли метафизики ушелъ онъ вдругъ въ стихію поэзіи, но онъ не рѣшился—употребляя его собственное прекрасное выраженіе—пуститься въ открытое море и лавировалъ только вдоль берега философіи. Онъ переложилъ свою эстетическую теорію въ стихи, онъ превратилъ въ стихотворенія идеи, возникавшія въ разговорѣ съ Гумбольдтомъ съ той и другой стороны. Последнее уже ранѣе вызывало удивленіе его друга. «Удивительное явленіе, — писалъ онъ еще въ ожиданіи возвышенной ему Шиллеромъ присылки новыхъ стиховъ, — то, что вашему уму оба эти направленія въ такой поразительной степени свойственны, само по себѣ мало понятно и при болѣе тщательномъ изученіи значительно выясняетъ внутреннее родство поэтическаго и философскаго духа». И вслѣдъ затѣмъ онъ пытается проанализировать это явленіе и разгадать психологическую тайну Шиллерова духа. Поэтъ и философъ, говоритъ онъ, не раздвоиваются въ Шиллерѣ, они сливаются совершенно воедино. Поэтому въ его поэзіи, какъ и въ его философіи, заключается болѣе истины и эта послѣдняя болѣе возвышеннаго характера, нежели людямъ обыкновенно свойственно понимать; въ поэзіи—сильнѣе выраженная необходимость идеала, въ философіи—больше естественности и глубины. Великое различіе между правдою дѣйствительности и правдою въ идеѣ для Шиллера очевидно какъ бы не существовать. Вслѣдствіе полноты его духовныхъ силъ недостатокъ сущности (Wesenheit) въ дѣйствительности гонитъ его въ область идеи, скудость идеи возвращаетъ его къ дѣйствительности. Отсюда объясняется его неутомимая духовная дѣятельность, отсюда и значительная самостоятельность его духовныхъ силъ. Ибо только въ общемъ направляется она вышнимъ наблюденіемъ въ сторону дѣйствительности, но она не заимствуетъ изъ нея собственно ничего, она дѣйствуетъ въ самой себѣ, только въ гармоніи съ дѣйствительнымъ ходомъ вещей въ сферѣ опыта. Но покоится это внутреннее своеобразіе въ концѣ-концовъ на взаимодействіи разума и воображенія, которое вслѣдствіе перевѣса перваго становится болѣе творческою, нежели воспроизводящею силой.

Это, очевидно, нѣсколько преувеличенное пониманіе; преувеличенное — потому, что исходить изъ индивидуальной симпатіи и находится въ зависимости отъ излюбленной критикомъ идея. Тѣмъ болѣе поэтому должны были утвердить его въ этомъ пониманіи духовнаго склада Шиллера послѣдовавшія вслѣдъ за тѣмъ произведенія послѣдняго. Мнѣніе, которое онъ составилъ себѣ объ этомъ на основаніи такихъ стихотвореній какъ «Künstler» и «Götter Griechenlands» и такихъ статей, какъ «Anmuth und Würde» и «Письма объ эстетикѣ»,

нашло теперь подтвержденіе въ стихотвореніяхъ: «Die Macht des Gesanges», «das Schattenreich», «die Elegie», также какъ и въ его трактатахъ «О наливномъ и сентиментальномъ». Въ этихъ стихотвореніяхъ онъ видѣлъ образцы дидактически-лирическаго рода, въ этихъ трактатахъ—образцы истиннаго философствованія. Онъ видѣлъ въ Шиллерѣ вполне законченнаго мастера истинной дидактической поэзіи и идеальнаго философскаго стиля. Идея, что поэзія и умозрѣніе принадлежатъ къ одному и тому же роду, что корни ихъ срослись, составила въ его представленіи фонъ, на которомъ вырисовывалась для него фигура Шиллера; личность поэта сдѣлалась для него иллюстраціей и воплощеніемъ его идеи. И дѣйствительно, это воззрѣніе было вполне справедливо. Тотъ, кто не проникнется имъ, не будетъ въ состояніи ни оцѣнить Шиллера по достоинству, ни понять характера его творчества. Но Гумбольдтъ до такой степени имъ проникся, что попытался охарактеризовать поэта, основываясь единственно на немъ, вслѣдствіе чего многія не менѣе существенныя стороны его натуры отодвинулись на задній планъ. Въ чемъ онъ полагалъ основную форму Шиллерова духовнаго склада въ половинѣ пятидесятихъ годовъ—того онъ продолжалъ держаться съ тою удивительною, можно сказать, монотонною вѣрностью и постоянствомъ, отличавшими его всегда въ отношеніяхъ къ идеямъ и людямъ, которые были ему дороги. Какъ теперь въ письмахъ къ Шиллеру, такъ и въ сочиненіи, написанномъ нѣсколько лѣтъ спустя и посвященномъ характеристикѣ поэтической индивидуальности Гёте, онъ опредѣляетъ тѣми же самыми чертами его характеръ. То же самое опредѣленіе повторяетъ онъ въ письмахъ по поводу смерти Шиллера, также какъ и много лѣтъ спустя при всякомъ подходящемъ случаѣ. Чудное предисловіе, предосланное имъ въ 1830 году изданію своей переписки съ Шиллеромъ, останавливается какъ разъ на томъ моментѣ въ процессѣ развитія, изъ котораго путемъ разбора его лучшихъ драматическихъ произведеній могла выясниться новая или по крайней мѣрѣ существенно измѣненная точка зрѣнія для его характеристики. Эта характеристика старается внушить одно, и на этомъ одномъ преимущественно останавливается, — а именно, что поэтической геній Шиллера «былъ самымъ тѣснымъ образомъ связанъ съ мышленіемъ на всѣхъ его глубинахъ и высотахъ», — что «онъ выступалъ главнымъ образомъ на фонѣ интеллектуальности, которая стремилась, изучая—расчленять и связывающая—объединять все въ одно цѣлое». Именно въ этомъ введеніи упоминается попутно объ аналогіи, которую представляла поэтическая манера Шиллера съ своеобразнымъ соединеніемъ поэзіи и философіи, какъ оно выразилось въ литературѣ Индіи. На самомъ же дѣлѣ для насъ это сходство далеко превышаетъ различіемъ между изнѣженнымъ характеромъ одной и энергическо-патетическимъ другой, но для Гумбольдта это сравненіе было необыкновенно дорого. Еще до того,

какъ онъ написалъ это введеніе, изученіе индійской Багавадъ-Гиты живѣйшимъ образомъ пробудило вновь его излюбленную идею, — что «поэзія и философія коренятся въ одной и той же почвѣ», и эта излюбленная идея вызвала вновь въ его душѣ образъ автора «Художниковъ» и «Тѣней». Чего онъ не находилъ ни у Лукреція, ни у Эмпедокла, ни у Парменида, то онъ видѣлъ въ Шиллерѣ: «истиннаго поэта-философа», какъ онъ выражался, поэта, «котораго душевный складъ повидимому заставлялъ признавать несовершенными поэзію и философію въ раздѣльности, — который вносилъ всегда въ свою поэзію высшій полетъ мысли и не боялся спускаться съ него до ея послѣднихъ глубинъ; если бы можно было утверждать, что онъ не достигнулъ вершины поэзіи, то пришлось бы признать, что ему, конечно, могло въ этомъ помѣшать только то, что онъ стремился къ чему-то еще болѣе возвышенному и хотѣлъ дѣйствительно соединить несоединимое»¹⁾. Это настолько исчерпывало въ его глазахъ сущность поэта и его поэзіи, настолько составляло для него мѣрило для оцѣнки послѣдней, что онъ такое стихотвореніе какъ «Die Ideale» недостаточно высоко цѣнилъ только потому, что, вызванное простымъ субъективнымъ чувствомъ, оно не представляетъ строгаго стиля философской поэзіи, но, на самомъ дѣлѣ, тѣмъ болѣе приближается къ чисто лирическому. Тоже самое мѣрило онъ прилагалъ и къ позднѣйшимъ драматическимъ произведеніямъ Шиллера каждый разъ, когда ему приходилось высказывать о нихъ свое сужденіе; такъ, напр., въ письмѣ о «Braut von Messina» и въ упомянутомъ уже выше предисловіи. Оно же служило ему руководящимъ началомъ, когда онъ, вскорѣ послѣ того, какъ Шиллеръ вновь ощутилъ свои поэтическія силы, — былъ призванъ оказать ему величайшую услугу, какую критикъ можетъ оказать поэту.

Прежде Шиллеръ сомнѣвался вообще въ своемъ поэтическомъ призваніи и Кернеръ, какъ и Гумбольдтъ помогли ему побороть это сомнѣніе своимъ знаніемъ и вѣрой въ его поэтической геній. Послѣ своихъ послѣднихъ опытовъ онъ уже не сомнѣвался болѣе въ своемъ поэтическомъ призваніи вообще; охваченный новымъ сомнѣніемъ, онъ требовалъ отъ нихъ отвѣта на вопросъ: «эпическій талантъ или драматическій?» Этотъ «эстетическій вопросъ совѣсти», какъ его назвалъ самъ Шиллеръ, заставилъ Гумбольдта углубиться еще разъ въ изученіе склада поэтической индивидуальности Шиллера. Не трудно было ее вѣрно понять. Гумбольдтъ пришелъ къ заключенію, къ которому долженъ былъ придти всякій, кто хоть издали наблюдалъ процессъ развитія автора «Разбойниковъ» и «Донъ-Карлоса». Очевидно поэтъ, всѣми своими силами коренившійся въ нравственной области, — для

¹⁾ Ueber die Bhagavad-Gitā. G. W. Bd. I, S. 101.

котораго все историческое было неизмѣримо ближе реального, могъ дать больше всего въ томъ именно родѣ, который по самому своему содержанию призванъ изображать столкновение этическихъ круговъ и силъ какъ въ жизни, такъ и въ душѣ человѣка. Этимъ мнѣніемъ руководился и Гумбольдтъ, но онъ взялъ его, сообразно собственному образу мыслей и своему представлению о Шиллерѣ, съ другого конца. Опять-таки исходитъ онъ изъ того, что поэтическия прозвѣденія Шиллера «обнаруживаютъ болѣе значительное участіе идейнаго содержанія, чѣмъ мы встрѣчаемъ вообще у другихъ поэтовъ, и чѣмъ мы, безъ этого опыта, считали бы совмѣстимымъ съ поэзіей». Онъ исходитъ изъ того «излишка самодѣятельности» въ его умѣ, — самодѣятельности, «которая создаетъ для себя даже матеріалъ, который могла бы взять готовый, но сочетается съ нимъ затѣмъ какъ съ чѣмъ-то просто даннымъ». Отсюда отпечатокъ величія, достоинства и свободы, стремленіе къ глубинѣ и возвышенности во всѣхъ его прозвѣденіяхъ, наконецъ тотъ идеалистическій блескъ, который, правда, замѣняетъ иногда естественныя краски. Къ возвышенному стремится также и героическая драма, ибо, изображая человѣка въ борьбѣ съ судьбой, она является на самомъ дѣлѣ изображеніемъ идея. Здѣсь поэтому Шиллерова оригинальность является въ своей настоящей сферѣ. «Здѣсь», — говоритъ онъ въ заключеніе, и будущее блестящимъ образомъ оправдало его слова, — «здѣсь, если вы удачно выберете сюжетъ, никто съ вами не сравнится».

Къ характеристикѣ Шиллера, на которую онъ самъ его все снова и снова вызывалъ, Гумбольдтъ подошелъ однако еще и съ другой стороны.

Работая надъ своимъ трактатомъ «О наивномъ и сентиментальномъ», Шиллеръ нашелъ, путемъ сравненія древнихъ и новыхъ поэтовъ, конкретный субстратъ для своихъ философскихъ дилеммъ. Точно также и у Гумбольдта сравненіе съ греками входило въ то психологическое воззрѣніе, которое онъ себѣ составилъ на почвѣ Кантовой философіи, о поэтическомъ геніи Шиллера; это сравненіе преимущественно и служило для него исходнымъ пунктомъ. Съ одной стороны, его поражала діаметральная противоположность поэзіи Гомера или Софокла и Шиллера, но съ другой — онъ все же находилъ, что всѣ главныя красоты классической поэзіи присущи также поэзіи Шиллера. Рѣшеніе этого кажущагося противорѣчія заняло тотчасъ мысль Шиллера. Сомнѣнія въ себѣ самомъ, побужденныя сознаніемъ своихъ поэтическихъ силъ и слившіяся съ его прежними эстетическими воззрѣніями, — все это вмѣстѣ сложилось наконецъ въ новѣйшихъ журнальныхъ статьяхъ въ теорію двоякаго рода поэзіи «наивной» и «сентиментальной». Предметъ первой — по толкованію этихъ статей — дѣйствительность, второй — идеаль. Первая трогаетъ насъ посредствомъ естественности и чувственной правды, вторая — посредствомъ идей.

Преимущество поэтовъ древности передъ современными заключается въ большей чувственности, въ большей простотѣ и цѣльности. Зато послѣдніе превосходятъ ихъ богатствомъ содержанія, короче говоря—тѣмъ, что называется духомъ художественнаго произведенія. Если древніе писатели велики въ томъ смыслѣ, что исполняютъ въ совершенствѣ поставленную себѣ задачу,—зато сама эта задача представляетъ собою нѣчто ограниченное. Если современные писатели никогда не выполняютъ своей задачи вполне, зато ихъ величіе лежитъ въ безвѣчности той задачи, къ которой они стремятся. Поэтому до древнихъ писателей нельзя достигнуть, но ихъ можно превзойти. Таковы приблизительно были идеи, посредствомъ которыхъ Шиллеръ пытался завоевать себѣ особое мѣсто въ сферѣ поэзіи, и посредствомъ которыхъ онъ въ то же время пытался измѣрить совершенно всю эту сферу. Это были идеи, которыя въ силу естественной необходимости развились какъ продуктъ всего его мышленія во всемъ его объемѣ. Мы видимъ ихъ эскизъ въ совершенно необработанномъ видѣ въ примѣчаніи, написанномъ имъ за нѣсколько лѣтъ до того къ сочиненію Гумбольдта «Ueber die Griechen», въ примѣчаніи, въ которомъ намъ тоже дается схема паденія и возстановленія въ болѣе возвышенномъ видѣ формы эллинскаго развитія ¹⁾. Но какъ тогда Гумбольдтъ далъ Шиллеру поводъ къ подобнымъ брошеннымъ мимоходомъ намекамъ, такъ теперь идеи послѣдняго побудили Гумбольдта обратиться снова къ своимъ возрѣніямъ на грековъ и провѣрить ихъ съ новой точки зрѣнія. И прежде всего въ видахъ болѣе полной характеристикъ Шиллера. Греки—такъ сговорились они съ Шиллеромъ относительно характеристикъ этого послѣдняго—обладали удивительною способностью подчиняться вполне высшей природѣ и въ то же время тѣмъ же самымъ способомъ своей самодѣтельности вліять съ своей стороны на нее. Изъ этого равновѣсія созерцательной и творческой силы, правды и поэзіи, возникла та ясность, то спокойствіе и то благородное сознание своего достоинства, которыми свойственны всему истинно греческому. Но отсюда же возникла и нѣкоторая скудость. Грекамъ недостаетъ того плодотворнаго умственного содержанія, въ которомъ многообразіе сочетается съ глубиной. Ихъ характеры производятъ на насъ вліяніе скорѣе группами, чѣмъ взятыя въ отдѣльности. Ихъ поэзія, направленная всегда къ изображенію одного ощущенія, одного образа, чувствена въ иномъ, чѣмъ въ обыкновенномъ, смыслѣ. Возьмемъ въ сравненіе новыхъ писателей. Всѣ они не обладаютъ такою чувственною впечатлительностью, такою спокойною созерцательностью: самодѣтельность беретъ у нихъ перевѣсъ надъ воспримчивостью. Этимъ объясняется ихъ болѣе богатое содержаніе, особенно у нѣмцевъ—глубина чувства и мысли.

¹⁾ Письмо Гумбольдта къ Вольфу, G. W. V. S. 38.

Это—та почва, на которой стоит Шиллеръ: именно его произведенія послать на себѣ по преимуществу отпечатокъ самодѣятельности; въ этомъ смыслѣ онъ прямая противоположность грековъ—«современнѣйшій изъ современныхъ». Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ этотъ общій характеръ современныхъ писателей представленъ въ самомъ чистомъ, безпримѣсномъ видѣ: въ его произведеніяхъ болѣе чѣмъ въ какихъ-либо другихъ проявляется необходимость формы и въ этомъ отношеніи онъ изъ всѣхъ современниковъ все же наиболѣе приближается къ грекамъ.

Правда, тутъ же присовокупляется, что даже это пониманіе чистой художественной формы у Шиллера модернизировано, ибо у него она берется всецѣло изъ разума, тогда какъ греки заимствовали ее изъ содержанія внѣшней природы. Однако, и съ этими оговорками характеристика Шиллера какъ поэта очевидно является еще въ слишкомъ прикрашенномъ видѣ; она соотвѣтствуетъ болѣе тому идеалу, который передъ нимъ безпрестанно носился, нежели дѣйствительности. Склонный вообще къ идеализаціи, Гумбольдтъ въ этомъ случаѣ судья вдвойнѣ подкупленный,—подкупленный своею любовью къ Шиллеру и своимъ поклоненіемъ передъ древними. Поэтъ, произведенія котораго онъ всею своею душой переживаетъ, долженъ быть прекрасенъ, а прекрасное должно быть родственно древней Греціи. Не подлежитъ, правда, сомнѣнію, что поэзія Шиллера все болѣе и болѣе приближалась къ греческому типу: явилась же ему именно теперь мысль учиться по гречески, высказывалъ-же онъ именно теперь намѣреніе окружить себя всецѣло и исключительно «спокойнымъ разумомъ и прекрасною природой древнихъ». Но несомнѣнно также и то, что, во первыхъ, тенденція къ идеализму въ соединеніи съ стремленіемъ къ классицизму грозила возрастаніемъ пустого формализма; во вторыхъ, что реалистическая поэзія Гёте гораздо болѣе нежели Шиллерова стояла въ кровномъ родствѣ съ греческой. Впослѣдствіи Гумбольдтъ, кажется, ясное понималъ это и судилъ безпристрастнѣе. То, что онъ высказываетъ въ своемъ введеніи къ перипеткѣ относительно «*Kraniche des Ibykus*» и «*Siegesfest*», а именно,—что эти стихотворенія проникнуты духомъ древности, но болѣе отвлечены,—въ общемъ не вызываетъ спора. Но эти отдѣльныя мнѣнія представляютъ только остатокъ прежняго преувеличеннаго общаго сужденія о поэтѣ, которое, очевидно, являло болѣе слѣдовъ фантазіи, чѣмъ объективной правды.

Какъ-бы то ни было—именно въ этотъ моментъ интересъ Гумбольдта къ эстетикѣ и поэзіи Шиллера сочетался съ его интересомъ къ древней Греціи. Казалось, настало время, когда оба охватившія его въ послѣдніе годы теченія—философско-эстетическое и филологическое—сольются въ одномъ руслѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, оба эти стремленія шли все время рука объ руку.

Правда, въ первые мѣсяцы его пребыванія въ Іенѣ, греки отступили на задній планъ и послѣ возвращенія Шиллера отступали все далѣе и далѣе. Переписка съ Вольфомъ въ теченіе этой зимы, проведенной въ Іенѣ, не была уже тѣмъ, что раньше — въ зиму, проведенную въ Бургѣрнерѣ. Все же ни одинъ день не проходилъ sine Graecis, и всегда оставалось нѣсколько часовъ для чтенія трагиковъ или для изученія метрики. Между тѣмъ Вольфовы «Пролегомены» дали новый полетъ филологическимъ интересамъ; подъ ихъ влияніемъ онъ серьезно углубился въ Гомеровскій вопросъ и призналъ себя побѣжденнымъ аргументами Вольфа ¹⁾. Но еще болѣе оживился этотъ интересъ во время посѣщенія его Вольфомъ, за нѣсколько недѣль до его отъѣзда изъ Іены. Возобновилась давнишняя дружба и общность научныхъ занятій. Было условлено, что Гумбольдтъ напишетъ для *Literaturzeitung* рецензію на новое изданіе Одиссея, предпринимаемое Вольфомъ, а появившаяся вслѣдъ затѣмъ рецензія ²⁾ представляетъ настоящій памятникъ ихъ прежнихъ отношеній. Это было произведеніе филолога и именно послѣдователя Вольфа. Онъ восхвалялъ Вольфово изданіе Гомера, какъ несравненный образецъ критической провѣрки текста; онъ вступаетъ за критическій методъ Вольфа противъ неосновательности остроумячающихъ и эстетизирующихъ филологовъ. Съ большимъ искусствомъ показываетъ онъ, что изслѣдованіе духа древности неразрывно связано съ внимательнымъ отношеніемъ къ такимъ незначительнымъ вещамъ, какъ удареніе и правописаніе, и что разумные приемы отличаются отъ педантическихъ не небрежнымъ отношеніемъ къ этимъ вещамъ, но шпротою взгляда, охватывающаго одновременно цѣлое. Условлено было также возобновить опять по старому филологическую переписку. И вообще вооруженный самымъ лучшимъ намѣреніемъ отправился Гумбольдтъ въ Берлинъ. Кромѣ того, что онъ предполагалъ подвести наконецъ итоги своимъ изученіямъ метрики Пиндара, его крайне занимали нѣкоторые филологическіе вопросы, самымъ тѣснымъ образомъ связанные съ его эстетическимъ интересамъ. Онъ намѣревался предпринять съ Вольфомъ критическій разборъ Аристотелевой поэтики. Онъ занялся «Луизой» Фосса и она привела его къ Теоокриту и къ древне сицилійскимъ мимамъ. Кое что изъ этихъ плановъ было даже осуществлено, насколько это было возможно при злополучныхъ условіяхъ тогдашней жизни въ Тегелѣ. Изученіе метрики было дѣйствительно до нѣкоторой степени закончено ³⁾. Чтеніе тоже получило

¹⁾ Письмо № XXII къ Вольфу. Совершенно очевидно, что только по грубому недосмотру это письмо попало на то мѣсто, которое занимаетъ нынѣ въ собр. письмъ. Оно должно быть помѣщено между №№ XXVIII и XXIX и относится не къ 30 янв. 1794, а къ 1795 году.

²⁾ *Literaturzeit.* 1795, № 167. G. W. I. 262 и слѣд.

³⁾ Я заключаю объ этомъ изъ встрѣчающагося въ перепискѣ Шиллера

болѣе устойчивый характеръ. Читая въ мѣстѣ съ женой трагиковъ, онъ одинъ изучалъ Аристофана и съ успѣхомъ перевелъ начало Лизистраты. За комиками должны были слѣдовать ораторы; все болѣе и болѣе приближался онъ къ цѣли, поставленной нмъ себѣ въ самомъ началѣ — обозрѣть вполнѣ весь кругъ классическихъ авторовъ.

Это привело-бы его, вѣроятно, снова къ его первоначальному проекту — написать характеристику греческаго духа, даже и въ томъ случаѣ, если-бы переписка съ Шиллеромъ не вліяла еще болѣе опредѣленнымъ образомъ въ этомъ же направленіи, ибо онъ всегда имѣлъ въ виду свой первоначальный планъ. Кёрнеръ занимался также по своему, но дилеттантски, древними. Послѣ встрѣчи въ Дрезденѣ въ его перепискѣ съ Гумбольдтомъ, рядомъ и въ связи съ эстетическими вопросами, не разъ заходила рѣчь также и объ этой общей ихъ страсти, Кёрнеръ также любилъ строить литературные проекты, которые вслѣдствіе его непродуктивности никогда не приводились въ исполненіе. Вскорѣ послѣ свиданія въ Вейсенфельсѣ друзья составили проектъ періодическаго изданія, посвященнаго греческой литературѣ и искусству совершенно въ томъ родѣ, какой Гумбольдтъ представлялъ себѣ когда то подъ названіемъ «Hellas», которое должно было издаваться рядомъ съ «Norden» и въ одномъ съ ними духѣ. Къ этому присоединилось то, что чѣмъ далѣе Гумбольдтъ работалъ на поприщѣ филологіи, тѣмъ болѣе укрѣплялся онъ въ убѣжденіи, съ которымъ вступилъ на него, а именно: что для настоящаго филолога ему слишкомъ многого не достаетъ. Онъ сравнивалъ себя въ области философскаго писательства съ Шиллеромъ: въ результатѣ получалось смущеніе и уныніе. Онъ сравнивалъ себя въ области филологіи: съ Вольфомъ: получался тотъ-же результатъ. Онъ удивлялся философско-критическому гению автора «Пролегоменовъ», также какъ и поэтическо-философскому гению автора «Элегій» и «Тѣней». Онъ находилъ, что онъ одинаково далекъ отъ одного, какъ и отъ другого. Предпринятый вмѣстѣ съ Вольфомъ критическій пересмотръ Аристотелевсей поэтики особенно убѣдительно, какъ ему казалось, доказалъ, что въ критикѣ онъ не годится. «Я удивляюсь», писалъ онъ по прочтеніи одной статьи Вольфа о поэтикѣ, «я удивляюсь вашей начитанности, вашей проинпцательности, по почти еще больше удивляюсь вашему счастливому таланту при этой начитанности имѣть всегда передъ глазами факты въ ихъ чистѣйшемъ видѣ вмѣстѣ съ послѣдствіями, которыя могутъ быть изъ нихъ выведены, во всей ихъ всеобщности — необходимѣйшее качество для изслѣдователя старины, отсутствіе котораго для меня такъ ужасно невыгодно». Одно только оставалось ему еще

съ Гёте (V. стр. 327 и 322) упоминалія о написанномъ Гумбольдтомъ изслѣдованіи о триметрѣ.

сдѣлать. Онъ могъ, не соперничая ни съ Вольфомъ, ни съ Шиллеромъ, занять середину между ними обоими. Онъ могъ примѣнить съ усилѣхомъ свои филологическія познанія къ эстетикѣ, свои эстетическія воззрѣнія къ изученію древности. Что, если-бы ему вздумалось серьезнымъ образомъ подвести итоги своему изученію греческихъ авторовъ? Что, если-бы онъ попытался сдѣлать характеристику грековъ, исходя изъ точки зрѣнія, выяснившейся для него благодаря Шиллеру? Что, если-бы онъ занялся провѣркой и разъясненіемъ новой эстетической теоріи на грекахъ? Не была-ли бы это работа, которую онъ былъ-бы вправѣ считать соответствующей своимъ силамъ и которая соединила-бы въ себѣ его философскія, филологическія, даже естествонаучныя познанія? Письмо, въ которомъ онъ отвѣчаетъ Шиллеру на его «поэтическій вопросъ совѣсти», рѣшило дѣло. Онъ имѣлъ намѣреніе, какъ онъ писалъ Вольфу, «изобразить греческую индивидуальность въ различные періоды ея развитія» или прежде всего, какъ онъ писалъ Шиллеру: «образъ греческаго поэтическаго духа, въ немногихъ характерныхъ чертахъ и нѣсколькими выдающимися примѣрами». Такого рода планъ былъ превосходенъ. Онъ встрѣтилъ полное одобреніе со стороны Шиллера, и его ободряющее слово могущественнымъ образомъ повліяло на Гумбольдта. Нѣкоторое время онъ весь ушелъ въ идею этой работы, но его собственные опасенія, какъ бы робость и нерѣшительность не помѣшали исполненію этого намѣренія, слишкомъ скоро оправдались. Если-бы онъ былъ въ это время въ Іенѣ, возможно, что примѣръ Шиллера сдѣлалъ-бы его болѣе мужественнымъ и рѣшительнымъ, теперь-же Тегелевскій досугъ былъ вскорѣ прерванъ развлеченіями и занятіями въ столицѣ, и эти неблагоприятныя обстоятельства усилили затрудненія, воздвигаемыя противъ работы его собственной индивидуальностью и въ самомъ дѣлѣ непобѣдимыя. Дѣло въ томъ, что его силы не соответствовали все-же и этой работѣ. Онъ не въ состояніи былъ найти равновѣсіе между цѣлымъ и единичнымъ. Его взоръ то терялся въ безконечной дали, то прикрѣплялся къ мельчайшему и ближайшему. Онъ безпрестанно колебался между стремленіемъ къ глубинѣ и исчерпывающей пространности—и стремленіемъ къ микрологическому и педагогическому разсмотрѣнію единичнаго. Это было разумное самоограниченіе съ его стороны, когда онъ рѣшилъ для начала вмѣсто характеристики греческаго духа вообще, заняться только духомъ греческой поэзіи. Онъ припомнилъ тѣ обстоятельства, при которыхъ была написана его работа: «Ueber den Geschlechtunterschied». Онъ хотѣлъ тогда сразу сказать все и потому былъ теменъ и абстрактенъ; онъ рѣшилъ на этотъ разъ избрать противоположный путь. Прежде всего нужно было постараться дать удачную характеристику греческой лирической поэзіи. Но и эту послѣднюю нельзя изобразить сразу въ цѣломъ. Поэтому онъ еще разъ суживаетъ гра-

ницы: начало должна положить характеристика Пиндара, въ котораго онъ вчитался болѣе, чѣмъ въ кого-либо другого. Но чѣмъ болѣе онъ себя ограничиваетъ, тѣмъ распространеннѣе становится цѣлое. Онъ не можетъ не чувствовать этого самъ. И вотъ возникаютъ тѣ сомнѣнія, которыя должны затормозить всякое творчество. Не слишкомъ-ли специальна для этой работы характеристика Пиндара? Или не отбросить-ли все остальное? Не продолжать-ли работы о Пиндарѣ, переплетая ее переводами лучшихъ мѣстъ изъ его сочиненій? Онъ колебался; затѣмъ онъ возвращался опять къ мысли сравнить характеры, данные древними авторами, съ характерами, изображенными современными писателями. Такъ это продолжалось до переселенія въ Берлинъ, гдѣ въ первые-же мѣсяцы былъ положенъ конецъ какъ этимъ колебаніямъ, такъ и всему этому проекту.

Еще не настало время, еще не найденъ былъ предметъ, въ которомъ философія и филологія могли-бы для Гумбольдта совершенно слѣпиться. Снова очутилась послѣдняя въ Берлинѣ въ тылу, хотъ онъ и читалъ съ женой Пиндара и Эвриппида, хотя корректура Вольфовыхъ писемъ къ Гейне (Heune), также какъ раньше споръ Вольфа съ Гердеромъ, снова напомнили ему споръ о Гомерѣ. Такимъ образомъ отъ частнаго—Пиндара—онъ былъ снова отброшенъ въ даль, даже въ безграницую даль. Посредствомъ salto mortale перенесся онъ отъ самыхъ древнихъ къ самымъ новымъ временамъ, отъ грековъ и римлянъ къ французамъ и англичанамъ, отъ филологическихъ частностей къ философскимъ обобщеніямъ. «Очень посредственная книга о духѣ восемнадцатаго вѣка» оживила въ немъ давнюю мечту написать характеристику современности. Онъ занялся этою мыслью и старался выяснить себѣ требованія, трудности и планъ такой характеристики. Характеръ такой работы,—общій и какъ-бы предварительный,—овладѣлъ имъ сразу. Онъ засѣлъ за работу «о философскомъ изображеніи и оцѣнкѣ характера извѣстной эпохи». Она должна была служить введеніемъ къ характеристикѣ столѣтія; это было за самою дѣль нѣчто въ родѣ того, что можетъ находиться въ головѣ писателя до какого-бы то ни было введенія. Самъ Гумбольдтъ, хотъ и вполне разсчитывавшій выпустить это введеніе уже въ слѣдующемъ году, оставлялъ открытымъ вопросъ,—доберется-ли онъ когда нибудь до выполненія главной части. Можно смѣло утверждать, что авторъ, который владѣлъ-бы необходимымъ для характеристики восемнадцатаго вѣка матеріаломъ, никогда-бы не остановился на философской характеристикѣ этой характеристики,—также точно и то, что авторъ, который пользуется идеей подобной книги, чтобы написать свою собственную книгу, врядъ-ли способенъ написать такую книгу. Въ характерѣ самого предмета заключалась на этотъ разъ судьба новаго литературнаго плана. Сочиненіе, которое должно было теперь возникнуть, уже по своему названію и идее было тѣмъ, чѣмъ были

всѣ работы Гумбольдта того періода, т. е., не книга, а только концепція ея, ее выполненіе, а только приготовленіе къ нему, писательское покушеніе, цвѣтокъ, не несущій плода. Въ этомъ именно заключалась привлекательная сторона этой работы для Гумбольдта, и потому онъ написалъ порядочную часть ея, но потому же самому, съ другой стороны, — ни введеніе, ни самое сочиненіе не были написаны. Тѣмъ же менѣе идея этой работы была тѣсно связана не только съ его научными занятіями, но и съ самыми глубокими интересами его ума и всего его существа. Она имѣла въ виду связать классицизмъ древности съ новою нѣмецкою классическою литературой, описать современныхъ писателей посредствомъ строго проведенной параллели съ древними авторами. Мало того: имѣлось въ виду нечто большее. Съ идеей этого сочиненія Гумбольдтъ спустился къ самой первичной основѣ всѣхъ своихъ идей, къ тому пункту, въ которомъ индивидуально соединялись всѣ его стремленія и весь міръ его представленій. Образовать себя самого, сдѣлать себя человекомъ въ высшемъ смыслѣ этого слова—вотъ тенденція, которою онъ жилъ. Съ этою тенденціей въ ея отвлеченнѣйшемъ понятіи совпалъ новый литературный планъ, также точно, какъ къ этой-же тенденціи относились и изученіе древности и его эстетико-философскія занятія. Вотъ какъ онъ разъяснилъ Шиллеру эту точку зрѣнія. «Если представить себѣ человека» — писалъ онъ ему, «который живетъ исключительно для своего самообразованія, то его умственная дѣятельность въ концѣ концовъ сведется исключительно къ слѣдующему: онъ установитъ совершенно ясно и полно идеальнъ человека а priori и образъ реальнаго человека — а posteriori, сравнить ихъ между собою и изъ этого сравненія извлечетъ практическія предписанія и максимы». На этотъ образъ человека устремилъ онъ свое вліяніе, углубившись въ жизнь древнихъ. На его глазахъ Кантъ связалъ съ этимъ идеаломъ человека свою философію, Шиллеръ—свою эстетику; онъ самъ связалъ съ нимъ свои мысли о нравственномъ и эстетическомъ значеніи различіи половъ. Теперь дѣло шло о томъ, чтобы соединить образъ человека съ этимъ идеаломъ, привести ихъ въ живую связь и дать ему болѣе широкое историческое обоснованіе. Въ интересахъ собственнаго гуманистическаго образованія, онъ нуждался въ исторіи человѣческаго духа или, пожалуй, въ философіи исторіи. Для него выяснились вполне смыслъ и цѣль, побуждавшіе его искать этотъ образъ человека. Онъ хотѣлъ привести его въ живую связь съ собственнымъ бытіемъ и дѣйствіемъ. Для человека возможно, такъ выразился онъ при этомъ случаѣ, двоякая жизнь; одна вся только дѣятельность и дѣятельность высшая, при посредствѣ которой онъ стремится изобрѣтать что нибудь, творить или быть чѣмъ-нибудь, что частью переживаетъ его самого, частью же извѣстное время незамѣтнымъ образомъ черезъ него дѣйствуя, вліяетъ вообще возвы-

шающимъ образомъ на человѣческой духъ; другая — не болѣе какъ спокойная радость и веселое наслажденіе, при ней человѣкъ удовлетворяется тѣмъ, что онъ счастливъ и не чувствуетъ за собой никакой вины. Обѣ заключаютъ въ себѣ опредѣленную цѣль и вѣрную награду. Возможенъ еще одинъ родъ жизни, роковой, но встрѣчающійся весьма часто: здѣсь одинъ лишь трудъ, безъ наслажденія по крайней мѣрѣ, наслажденіе, не перевѣшиваетъ труда, — при этомъ трудъ служить лишь для удовлетворенія потребностей. Себя самого я разсматриваю всегда въ этихъ трехъ направленіяхъ и только такимъ образомъ я могу сводить счеты какъ съ самимъ собою, такъ и съ случаемъ, который играетъ каждымъ человѣкомъ». Наоборотъ, совершенно не ясны были для него орудія и приемы, при помощи которыхъ онъ могъ бы подойти къ историческому матеріалу и извлечь изъ него то, что могъ бы изъ него усвоить. Его образъ человѣка былъ такъ широко и основательно задуманъ, что ему не такъ легко было найти тотъ разрѣзъ исторіи человѣчества, которой даль-бы ему о ней ясное представленіе. Только гораздо позднѣе открылъ онъ подходящій уголъ зрѣнія для историкофилософскаго изученія человѣчества, — «экипажъ», какъ онъ выразился тогда, «годный для ѣзды по всемъ глубинамъ и высотамъ». Такимъ образомъ еще разъ оборвалась для него такъ усердно связываемая нить работы ¹⁾. Съ пустыми почти руками вернулся онъ осенью къ своимъ друзьямъ. Единственное, что онъ привезъ, кромѣ работъ по метрикѣ, была начатая рукопись и отрывокъ изъ перевода Аристофана. Единственное, что онъ за это время напечаталъ, это старый, выпрошенный у него Генцомъ для своего журнала переводъ одной изъ Шпидаровыхъ одъ; и такъ мало былъ онъ писателемъ, что гораздо болѣе сожалѣлъ о томъ, что позволялъ у себя его выпросить, чѣмъ что застрѣлъ со всеми своими другими работами ²⁾.

Къ первому ноября 1796 года вернулся Гумбольдтъ въ Іену къ своимъ друзьямъ-поэтамъ, посѣтивши въ Галле своего «филологическаго друга». Ровно шесть мѣсяцевъ продолжалось это второе пре-

¹⁾ Письмо къ Шиллеру отъ 2 февр. 1796 г.; къ Вольфу отъ 11 іюня и 16 іюля того-же года. Къ *Einleitung zu einer Charakteristik des 18 Jahrhunderts* я отношу и мѣсто въ письмѣ Кёрнера къ Шиллеру отъ 25 іюня 1797 г. (IV, стр. 36, 37) и отъ 25 авг. того-же года (тамъ-же, стр. 49).

²⁾ Письмо къ Шиллеру отъ 13 ноября 1795 г.; къ Вольфу отъ 26 ноября 1795 г. и отъ 5 янв. 1796 года. Переводъ четвертой швейцкой оды былъ помѣщенъ въ декабрьской книжкѣ *Monatschrift*, теперь G. W. II, 297 и слѣд. Только самое прямое и непреложное вышнее свидѣтельство могло бы насъ заставить признать рецензію на *Musenalmnach* Шиллера 1796 года (A. L. Z. 1796. № 166) принадлежащую перу Гумбольдта. Пока-же мы остаемся при убѣжденіи, что рецензентъ Woldemar'a и Вольфовъ Одиссеи всего менѣе способенъ былъ въ дѣлѣ, касающемся Шиллера, низвести свой тонъ до такого вульгарнаго рецензентскаго тона.

бываніе въ Іенѣ. Часы счастливѣйшаго и плодотворнѣйшаго общенія и бесѣдованія съ Шиллеромъ возобновились снова ¹⁾. Разлука содѣйствовала возвышенію сердечности ихъ личныѣхъ отношеній. Зато работы двоихъ друзей расходились теперь нѣсколько болѣе. «*Ноген*» не занимали болѣе перваго плана. Увлечение ими у Шиллера падало по мѣрѣ того, какъ падалъ интересъ къ философіи. Ничто не должно было болѣе связывать его свободной, самоопредѣляющейся дѣятельности, ничто не должно было отвлекать его отъ исключительнаго занятія поэзіей. Онъ раздумывалъ надъ своимъ Валленштейномъ и какъ ни колоссальна была задача—овладѣть этимъ міромъ и дать ему форму, несомнѣнно, что онъ могъ выполнить его только одинъ, единственнымъ его совѣтникомъ могъ быть только его геній. Только исполнивъ ее, только удавшееся цѣлое хотѣлъ онъ сообщать своимъ друзьямъ, но пока не было еще ничего законченнаго. Съ другой стороны, именно это обстоятельство, затѣмъ историко-философскій проектъ, наконецъ возобновившееся общеніе съ Вольфомъ—все вмѣстѣ содѣйствовало тому, что Гумбольдтъ опять обратился къ грекамъ. Послѣ многихъ колебаній, онъ отдался переводческой страсти. На этотъ разъ и онъ сталъ писать стихи вмѣсто того, чтобы философствовать. Онъ подражалъ Пиндару и Эсхилу; въ то же время подвигался онъ отъ сцены къ сценѣ и въ Агамемнонѣ. И это, конечно, давало достаточно матеріала для преній съ Шиллеромъ; странно только то, что онъ совѣтовалъ послѣднему писать Валленштейна прозой, и что Шиллеръ никакъ не могъ войти во вкусъ перевода Агамемнона.

Ко всему этому теперь присоединилось другое обстоятельство. При посредствѣ Шиллера и именно прежде всего по дѣламъ «*Ноген*» Гумбольдтъ, еще во время перваго своего пребыванія въ Іенѣ, пришелъ въ болѣе близкое соприкосновеніе съ Гёте. Онъ, какъ и Кёрнеръ, былъ неразрывно связанъ съ Шиллеромъ и имѣлъ на то право. Сблизившись въ сентябрѣ 1794 года съ Шиллеромъ, Гёте получилъ какъ бы въ придачу и обоихъ его друзей критиковъ. Особенно съ Гумбольдтомъ, который былъ тутъ на лицо, Гёте вскорѣ оказался связаннымъ такими же отношеніями втораго разряда, въ какихъ Шиллеръ былъ съ другомъ и единомышленникомъ Гёте, знаткомъ искусства—Мейеромъ. Устройство критическаго трибунала при редакціи «*Ноген*» доставило Гумбольдту внѣшній поводъ высказать свое мнѣніе также и о работахъ Гёте. Еще большее право на то ему дало его давнишнее поклоненіе генію Гёте, его сходство съ обоими поэтами въ принципахъ и въ характерѣ воспріятія. На «*Вильгельмъ Мейстеръ*» произошла первая проба этого сходства. Мнѣніе Шиллера объ этомъ присылавшемся ему по частямъ романѣ сопровождалось и поддержи-

¹⁾ Къ этому времени относится описаніе Бургдорфа въ его письмѣ къ Рахли: *Var iagenъ. Gallerie von Bildnissen*, I, 113 ff.

валость почти всегда мѣняемъ Гумбольдта, и обыкновенно Гёте требовалъ даже прямо мѣняи обоихъ. Взаимныя посѣщенія изъ Веймара въ Йену и изъ Йены въ Веймаръ содѣйствовали взаимному пониманію и завязали вмѣстѣ съ тѣмъ дружескую личную связь. При посредствѣ Гумбольдта установились также отношенія между Гёте и Вольфомъ. Далѣе къ ихъ же союзу присоединился и братъ Гумбольдта Александръ; при этомъ связующимъ звеномъ служилъ интересъ обоихъ братьевъ къ естественно научнымъ, особенно же къ остеологическимъ работамъ Гёте. Идеализмъ, такъ тѣсно сближавшій Шиллера съ Гумбольдтомъ, не препятствовалъ теперь уже болѣе взаимному пониманію. Универсальный интересъ ко всему человѣческому, мягкая и любвеобильная впечатлительность, многосторонность Гумбольдтова существа и его обширныя знанія—все это вмѣстѣ создало въ свою очередь для его отношеній къ Гёте болѣе широкое основаніе. Вездѣ и во всѣхъ отношеніяхъ Гумбольдтъ особенно подходилъ для роли третьяго въ союзѣ этихъ двоихъ поэтовъ; частью посредникъ, частью участникъ той несравненной дружбы, которая вмѣстѣ съ шедеврами поэзіи составила славу нѣмецкой литературы и «возвеличила нѣмецкое имя».

Уже тогда, когда Гумбольдтъ вернулся въ Йену, эта дружба поэтовъ успѣла явиться міру самымъ замѣтнымъ и удивительнымъ образомъ. Въ качествѣ тѣсно связанныхъ между собою соратниковъ, одинаково вооруженные, неразличимые, они пустили цѣлую тучу стрѣлъ въ лагерь литераторовъ. Молодая дружба сдѣлала ихъ задорными и воинственными, какъ причлествуетъ молодости. Они отапли изъ общахъ имъ обопмъ эстетическихъ, этическихъ и научныхъ убѣжденій острымъ эпиграммы, поэтическо-политическія изреченія и бросили ихъ въ качествѣ подарковъ въ толпу. На переборъ Горизонтамъ они въ «Ксеніяхъ» «такъ тѣсно переплелись», что даже соединенные умы и чутье Гумбольдта и Вольфа не въ состояніи были ихъ различить. Въ высшей степени довольный «Ксеніями», Гумбольдтъ могъ уже сообщить друзьямъ, какой шумъ прозвучалъ въ обществѣ ихъ непрошенные подарки и какъ имъ удалась ихъ цѣль «распространить среди авторовъ страхъ и надежду». Вскорѣ ему пришлось увидѣть болѣе зрѣлый и прекрасный плодъ ихъ поэтическаго союза. Гёте былъ въ этотъ моментъ продуктивнѣе Шиллера. Его творческая сила, казалось, почерпнула новую плещу въ соприкосновеніи съ духовною жизнью, столь рѣзко отличною отъ его собственной. Онъ возбуждалъ себя и своего товарища къ самой бодрой и благородной дѣятельности. «Ибо послѣ сумасбродной выходки съ «Ксеніями», писалъ онъ ему, «мы должны стремиться только къ созданію крушнихъ и цѣнныхъ художественныхъ произведеній и претверять нашу Протеевскую натуру, къ посрамленію нашихъ противниковъ, въ образы благородства и добра». Не мало способствовало

такому радостному настроенію также и вдумчивое участіе тѣхъ двоихъ писателей, которыми подарила его дружба Шиллера.

Объ одобрительныхъ отзывахъ Кёрнера ему постоянно сообщалъ Шиллеръ. Гумбольдтъ высказывалъ свое одобреніе непосредственно ему самому. Восхищеніе, внушенное ему прелестію идилліей «Alexis und Dora», въ послѣднемъ Шиллеровомъ *Musenalmanach*’ѣ, онъ выразилъ въ своемъ собственномъ письмѣ къ Гёте. Вскорѣ по возвращеніи въ Іену, онъ, воспользовавшись поѣздкой въ Эрфуртъ, посѣтилъ Гёте въ Веймарѣ. Шиллеръ сообщилъ Гёте уже между тѣмъ подробный разборъ оконченнаго теперь уже «Вильгельма Мейстера», сдѣланный Кёрнеромъ. Это дало тотчасъ-же поводъ Гумбольдту высказать ему письменно и свое мнѣніе о романѣ, отличающагося въ нѣкоторыхъ существенныхъ частяхъ отъ мнѣнія Кёрнера. Гёте былъ въ высшей степени радъ и благодаренъ. Нѣсколько разъ высказываетъ онъ Шиллеру, какъ «утѣшительно и живительно» дѣйствуетъ на него обладаніе такими «участливыми друзьями и сосѣдями», съ которыми чувствуешь «такое благородное и тѣсное родство въ симпатіяхъ и мнѣніяхъ». Изъ этого настроенія выросло то наилучшее, чѣмъ мы обязаны позднѣйшему періоду въ жизни поэта.

Теперь уже были написаны первыя три пѣсни того несравненнаго поэтическаго произведенія, красота котораго должна была впоследствии совершенно затмить прелесть Фоссовой «Луизы». Гумбольдтъ и Шиллеръ были первыми, которыхъ Гёте просилъ высказать свои замѣчанія о началѣ поэмы «Гермацъ и Доротея». Къ концу зимы Гёте окончательно переселился въ Іену. Въ маленькой резиденціи музы было теперь болѣе жизни и оживленія, чѣмъ когда-бы то ни было. Братъ Гумбольдта также пріѣхалъ и, пишетъ Гете ¹⁾, «какъ богатый Сопли соріае щедро расточалъ свои дары»; Фихте ревностно работалъ надъ новымъ изложеніемъ своей теоріи познанія; Вильгельмъ Шлегель трудился надъ переводомъ Шекспира, Гумбольдтъ—Эсхила. Среди этой массы стремленій, къ которой для Шиллера присоединялись еще нѣкоторыя семейныя визиты, его широко задуманный трудъ—Валленштейнъ, испытывалъ скорѣе помѣху, чѣмъ содѣйствіе. Онъ могъ принимать живое участіе только въ теоретическихъ разговорахъ, которые возбуждались, по поводу его возникающей трагедіи и эпоса Гёте, о природѣ обоихъ родовъ поэзіи. Гёте со всею мощью и гибкостью своего ума отдавался всемъ этимъ вліяніямъ, сосредоточиваясь въ то же время въ центрѣ своихъ силъ. Съ Александромъ фонъ-Гумбольдтомъ входилъ онъ въ область химическихъ, физическихъ и физиологическихъ знаній; въ переводѣ Агамемнона, которымъ занимался Вильгельмъ, онъ принималъ такое участіе, какое только можетъ принимать человѣкъ въ работѣ другого; въ тоже самое время онъ до-

¹⁾ Перениска съ Кнебелемъ, I. 143.

кончилъ, съ удивительностью легкостью и однимъ гениальнымъ порывомъ, свой эпическій шедевръ. Онъ выросъ на глазахъ у Гумбольдта, который слышалъ его изъ устъ поэта. Вышедшее изъ рукъ мастера въ законченномъ, совершенномъ видѣ, оно представляло мало простора для критики. Тутъ приходилось любоваться и удивляться, а не порицать или поправлять. Несмотря на то, Гумбольдтъ былъ именно тотъ человѣкъ, который могъ быть полезенъ въ единственномъ мѣстѣ, гдѣ чужая помощь была возможна и даже необходима: онъ являлся совѣтникомъ въ вопросахъ метрики при послѣдней отдѣлкѣ, которой художникъ подвергъ свое произведеніе. Въ Веймарѣ, куда Гумбольдтъ проводилъ Гёте, состоялся «просодическій судъ» надъ послѣдними пѣснями; въ Берлинѣ еще, куда онъ отправился въ концѣ апрѣля 1797 года, онъ долженъ былъ слѣдить критическимъ окомъ за печатаніемъ всего произведенія; онъ не могъ имъ ни начитаться, ни поговорить; въ письмѣ къ Гёте, написанномъ изъ Берлина, онъ еще разъ обстоятельно высказывается объ этомъ произведеніи.

Но еще гораздо глубже и продолжительнѣе жили въ его умѣ впечатлѣнія, получившія въ Іенѣ въ это его пребываніе. Оглядываясь послѣ его отъѣзда оттуда на ихъ взаимныя отношенія, Шиллеръ не безъ грусти видитъ въ нихъ нѣчто «завершенное, не могущее болѣе повториться». Гумбольдтъ считалъ ихъ вѣчными. Въ его умѣ не переставали жить образы изъ ихъ жизни въ Іенѣ. Богатый идеями разговоръ Шиллера звучалъ въ его ухахъ—тѣмъ дальше, тѣмъ внятнѣе. Образы изъ стихотворенія Гёте, которые онъ сдѣлалъ своими силою своего вдумчиваго интереса, двигались передъ его глазами. Изъ разговоровъ съ Шиллеромъ онъ вынесъ благороднѣйшее и высшее представленіе о поэзіи; изъ стихотворенія Гёте—непосредственное явленіе настоящей и законченной поэтической природы. То и другое слилось у него и составило одно цѣлое. Наконецъ-то наступилъ моментъ, когда исполненіе заставило его забыть тѣ опасенія, изъ-за которыхъ онъ до этихъ поръ такъ часто отказывался отъ своихъ литературныхъ проектовъ. Сила вліяній, испытанныхъ имъ еще на послѣдокъ въ Іенѣ, побѣдила всѣ его размышленія и всѣ его намѣренія. Онъ не отказался еще, во время своего пребыванія въ Іенѣ, отъ мысли написать характеристику того времени. Рядомъ съ этимъ онъ задумалъ планъ «сравнительной антропологіи». Онъ сговорился кромѣ того съ Кёрнеромъ о совместной работѣ, которая должна была заключать психологико-критическіе разборы и изложенія изъ области литературныхъ явленій. Частица всего этого въ самомъ дѣлѣ заключалась въ работѣ, которую онъ наконецъ дѣйствительно написалъ, но прежде всего это былъ самый естественный и простой плодъ его пребыванія въ сферѣ мысли и творчества Шиллера и Гёте. Годъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ пожалъ послѣднему на прощаніе руку; изъ Іены онъ былъ занесенъ въ Парижъ; и вдругъ онъ удивилъ своихъ друзей присылкой руко-

писи. Это была книга, какую вообще были его письма — обширное сочинение «О Германе и Доротеи» Гёте»¹⁾.

Какъ уже сказано было выше — сюда вошли по немногу всё его прежние литературные планы: «Германъ и Доротея» заняло у него мѣсто *Keineke Fuchs'a*, Фоссовой «Луизы», даже Шиллера. По крайней мѣрѣ здѣсь данъ былъ такой критико-психологическій разборъ, какъ его понимали Кернеръ и Гумбольдтъ, какой они дѣйствительно привыкли давать въ своихъ письмахъ по поводу отдѣльныхъ произведеній Шиллера и Гёте. Здѣсь были приведены черты сравненія древнихъ и современныхъ писателей, которые должны были составить полную картину въ «Характеристикѣ эллинскаго поэтическаго духа». Эта работа представляетъ только какъ-бы отрѣзокъ отъ задуманной характеристики вѣка, но она была вся проникнута идеями, которыя Гумбольдтъ имѣлъ намѣреніе переработать для сравнительной антропологии. Всѣ его литературные планы получили наконецъ тутъ свое осуществленіе, свою форму, даже болѣе — тутъ нашло свое выраженіе все то, что лежало въ самомъ основаніи всѣхъ этихъ плановъ. Въ письмѣ, въ которомъ онъ разъясняетъ Шиллеру идею и направленіе своей историко-философской вступительной статьи, онъ подробно говорить о своихъ тогдашнихъ основныхъ воззрѣніяхъ это тѣ воззрѣнія, которыми онъ мотивируетъ, во введеніи къ настоящей статьѣ, ея направленіе. Опытъ эстетической критики «Германа и Доротеи» даетъ намъ представленіе о Гумбольдтѣ, послѣ прохожденія имъ школы древнихъ и эстетической школы Шиллера и Гёте, также точно какъ попытка опредѣленія границъ государственной дѣятельности показала намъ его до этого прохожденія. Поэтому то оба эти сочиненія заканчиваютъ и подводятъ итоги двумъ различнымъ эпохамъ его развитія. Оба они интересны заключающимися въ нихъ научными результатами, но еще интереснѣе они тѣмъ, что даютъ намъ возможность заглянуть въ индивидуальность, въ сферу мысли и чувства ихъ автора.

«О какомъ-бы предметѣ ни шла рѣчь, такъ говорится во вступленіи къ этому сочиненію, всегда можно привести его въ связь съ человѣкомъ, и именно, со всею его интеллектуальною и нравственною организаціей въ совокупности». Это направленіе и принимаетъ разборъ стихотворенія Гёте. Точка зрѣнія Гумбольдта — гуманистическая, точнѣе: антрополого-педагогическая и историко-философская. Центральный пунктъ ея составляетъ «развитіе человѣка», — единичнаго, какъ и всего человѣческаго рода. Зданіе, для постройки котораго онъ желаетъ положить камень, есть изслѣдованіе того, что онъ въ письмѣ къ Шиллеру называетъ «образцомъ

¹⁾ Книга появилась подъ заглавіемъ „Aesthetische Versuche. Erster Theil“ (Эстетическіе опыты, часть первая). Braunschweig 1799. Теперь G. W. IV, 1 и слѣд.

человѣчества» и что теперь опредѣляется какъ «характеристика чело-
вѣческой души съ ея возможными способностями и дѣйствитель-
ными различіями, которыя открываетъ намъ опытъ». Изъ того, что
даетъ существеннаго трансцендентальная философія и исторія, Гум-
больдтъ строить идею науки наукъ; наука «философско-эмпирическаго
познанія людей», практическою отраслью котораго тотчасъ-же явится
«философская теорія челоѣческаго развитія». Образъ и выраженіе
его собственной природы и стремленій, — это была-бы настоящая
Гумбольдтова наука; трудности, и мы можемъ прибавить неопредѣ-
ленность ея и были причиной того, что онъ не могъ даже построить
ее; но въ миниатюрѣ и въ строго опредѣленныхъ предѣлахъ онъ по-
строилъ ее позднѣе въ своей философіи языка. На ней, какъ на вообра-
жаемомъ основаніи, покоился теперь этотъ «эстетическій опытъ». Въ его
собственной жизни и въ его душѣ она нѣкоторымъ образомъ суще-
ствовала. Тутъ находился индивидуальный, невидимый центръ, изъ
котораго, за несуществованіемъ такой науки, сочиненіе о «Германѣ и
Доротее» заимствовало свѣтъ и единство. Онъ совершенно вѣрно пи-
салъ Вольфу: идею этого сочиненія онъ прилагалъ «во всѣмъ частямъ
своей мыслительной системы и нигдѣ не нашелъ дисгармоніи».

Только одна вѣтвь этой науки—этого, говоря словами Бэкона, вели-
каго desideratum на *Globus intellectualis*—была теперь представлена Гум-
больдтомъ. Выдвинулась только та созрѣвшая для выраженія сторона,
которая была въ послѣднее время наиболѣе сильно развита въ немъ
самомъ. То была эстетика. Ближайшею его литературною задачей
было: «прослѣдить сущность искусства въ его первоначальныхъ осно-
вахъ и дойти до высшихъ основоположеній элементарной эстетики». Онъ
хотѣлъ «весь запасъ своихъ эстетическихъ идей систематически
расположить такъ, чтобы составить одно по возможности закончен-
ное въ себѣ цѣлое». Но и здѣсь ему, конечно, представлялось нѣчто
болѣе значительное, чѣмъ то, что онъ, какъ онъ самъ сознавалъ, уже
совершилъ. Болѣе узкое desideratum составляетъ для него «совершенно
разработанная эстетика ¹⁾), соответствующая требованіямъ истиннаго
пониманія искусства». Слѣдовательно, эстетика—такъ кажется на пер-
вый взглядъ—въ родѣ той, какою мы, по нашему мнѣнію, со времени
Гегелевскихъ лекцій дѣйствительно обладаемъ. Однако-же Гумбольдтъ
врядъ-ли призналъ бы въ этой послѣдней осуществленіе своей мечты.
Здѣсь мы снова приходимъ къ той пропасти, которая отдѣляетъ по-
Кантовскую философію отъ Гумбольдтовыхъ идей. Послѣднія стоятъ на
одной почвѣ съ воззрѣніями и съ поэзіей Шиллера и Гёте; первая же—
паритъ надъ этою почвою. И въ этомъ сочиненіи, какъ и въ трак-
татѣ о различіи половъ, снова всплываетъ идея, что духъ природы
и духъ челоѣчества собственно между собою тождественны ²⁾, и этотъ

¹⁾ G. W. IV, 147, 268—269.

²⁾ Тамъ-же, стр. 140.

«великій идеаль» почерпнуть на этотъ разъ, какъ онъ самъ высказывается, изъ произведеній Гёте, поэзія котораго всѣми своими силами направлена къ выраженію этого идеала и его формъ. Изъ того же источника вытекаетъ и представленіе, господствующее въ системах Шеллинга и Гегеля. Въ существѣ дѣла Гумбольдтъ является посредникомъ между нѣмецкими поэтами—классиками и тою нѣмецкою метафизикой, которая послѣдовала за метафизикой классическою; однако, болѣе признанъ въ этой роли Шиллеръ, и дѣйствительно только онъ одинъ фактически взялъ на развитіе нѣмецкой философіи. Любопытно то мѣсто въ лекціяхъ Гегеля объ эстетикѣ, въ которомъ выражено признаніе этой зависимости. «Единство духовнаго и природнаго» — говорится въ этомъ мѣстѣ — ¹⁾, «которое Шиллеръ научно понимаетъ какъ основу и сущность искусства и неутомимо стремится перенести путемъ искусства и эстетическаго развитія въ дѣйствительную жизнь, сдѣлано позднѣе Шеллингомъ, въ качествѣ самой идеи, принципомъ познанія и жизни». Признаніе этой зависимости такъ же замѣчательно, какъ и точное опредѣленіе различія. Это именно различіе отдѣляетъ Гумбольдта отъ обоихъ представителей умозрѣнія: онъ, остерегался сводить этотъ великій идеаль, формы котораго выражены были на его глазахъ обоими поэтами, къ его «идеѣ» или помѣстить его какъ метафизическое понятіе абсолютнаго въ безвоздушное пространство. Онъ осуществлялся для него въ творческой силѣ и въ твореніяхъ поэта; какъ начало правды, оно осуществлялось для него въ живомъ человѣкѣ. Поэтому то въ этомъ пунктѣ расходятся пути Гегелевой эстетики и той, о построеніи которой мечталъ Гумбольдтъ. Первая выводила обратнымъ путемъ понятіе красоты изъ возведеннаго на высоту метафизическаго понятія существа, изъ поднятой на степень «идеи» энергіи искусства и самого художника; Гумбольдтъ, напротивъ, считалъ возможнымъ приблизиться сколько-нибудь къ природѣ прекраснаго, только становясь на твердую почву, представляемую человѣческимъ существомъ. Если то, что онъ теперь давалъ, онъ опредѣлялъ только какъ «фрагментъ» эстетики, возможной лишь въ будущемъ, то это происходило отъ того, что эстетика, которую онъ имѣлъ въ виду должна была составлять крѣпко связанное звено этой высшей науки «философско-эмпирическаго знанія людей». Одно его требованіе исполнила по своему Гегелева эстетика. Онъ требовалъ, чтобы эстетика въ томъ, что касается поэзіи, «излагала и цѣнила какъ различныя поэтическія натуры, такъ и различныя роды поэзіи». Но онъ требовалъ во вторыхъ—гдѣ же въ «абсолютной» метафизикѣ можетъ быть найдено, не говорю уже выраженіе, хотя-бы пониманіе этихъ вещей? — онъ требовалъ, чтобы она «связывала всегда искусство съ человѣкомъ и съ его внутреннимъ существомъ и привела бы его такимъ образомъ въ

¹⁾ Werke, Bd. X, Abth. I, S. 80, zweite Aufl.

болѣе близкое соотношеніе съ нравственнымъ развитіемъ». Только человѣкъ составляетъ, по мнѣнію Гумбольдта, конечную цѣль какъ всякой философіи, такъ и эстетики. Это и есть тотъ пунктъ, въ которомъ эстетика совпадаетъ съ моралью и первая существуетъ только для того, «кто жаждетъ посредствомъ художественныхъ произведеній развитіи свой вкусъ, а посредствомъ свободнаго и очищеннаго вкуса — свой характеръ». «И никогда» — прибавляетъ онъ, въ виду революціонной Франціи и въ духъ требуемаго Шиллеромъ «эстетическаго образованія» — «никогда развитіе и укрѣпленіе внутреннихъ формъ характера не было такъ необходимо, какъ именно теперь, когда внѣшнія формы условій жизни и привычки угрожаютъ съ такою страшною силою всеобщимъ крушеніемъ».

Послѣ всего сказаннаго врядъ ли нужно упомянуть, что эстетическія разсужденія этого сочиненія основываются на Кантѣ и Шиллерѣ. Общая точка зрѣнія автора — трансцендентальная. Онъ полемизировать бы противъ метафизической эстетики, если бы таковая уже существовала. Тѣмъ болѣе полемизируетъ онъ противъ господствовавшаго тогда еще въ эстетикѣ объективизма и усматриваетъ коренную ошибку всѣхъ прежнихъ ложныхъ взглядовъ на вопросы эстетики въ томъ, «что въ объектѣ находятъ то, что скрыто только въ субъектѣ». Въ этомъ пунктѣ онъ сходится съ Кантомъ, какъ и съ Шиллеромъ, но отличается отъ нихъ обоихъ исключительнымъ вниманіемъ, которое онъ удѣляетъ душевной силѣ, являющейся источникомъ художественнаго творчества. Шиллеръ занимается въ эстетическихъ письмахъ общемою сущностью идеально-прекраснаго и задается цѣлью представить его тождественнымъ съ идеально-человѣческимъ. Кантъ, въ «Критикѣ силы сужденія», изслѣдуетъ отношеніе прекраснаго и возвышеннаго, а также чувства, какъ его органа, къ силѣ познанія. Гумбольдтъ же интересуется прежде всего генезисомъ художественно прекраснаго — процессомъ, проходящимъ въ душѣ художника и поэта; поэтому его взглядъ, и безъ того охотно проникающей въ темную глубь чело-вѣческой природы, устремленъ «на самую загадочную изъ всѣхъ чело-вѣческихъ силъ». Изслѣдовать силу воображенія, стараться постигнуть ее при помощи понятій, вывести изъ нея сущность всякаго искусства — вотъ его конечная цѣль. Если бы Кантъ руководился тѣмъ же интересомъ, мы имѣли бы критику силы воображенія вмѣсто критики силы сужденія. Если бы Шиллеръ въ своемъ главномъ философскомъ произведеніи занимался не столько эстетическимъ образованіемъ, сколько эстетическимъ творчествомъ, то его «инстинктъ игры» (Spieltrieb) былъ бы болѣе опредѣленнымъ образомъ связанъ съ творческой силой фантазіи и, можетъ быть, помѣнялся бы съ послѣдней въ томъ и именемъ. Менѣе интересуясь понятіемъ прекраснаго, нежели его происхожденіемъ, — его критикою менѣе, чѣмъ его созда-

ніемъ, Гумбольдтъ занимаетъ промежуточное мѣсто между тѣмъ, что развили съ одной стороны Шиллеръ, съ другой—Кантъ. Но такъ какъ воображеніе играетъ у Канта гораздо болѣе значительную роль, нежели у Шиллера, то онъ вслѣдствіе этого гораздо ближе къ первому, чѣмъ къ послѣднему. Впрочемъ, онъ исходитъ по обыкновенію изъ человѣка, какъ цѣлаго, и становится тѣмъ самымъ прежде всего въ кругъ воззрѣній Шиллера; мы находимъ эти воззрѣнія, хотя въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, въ первыхъ же положеніяхъ его эстетическихъ дедукцій. Существуютъ, говоритъ онъ, три общія душевныя состоянія и во всѣхъ трехъ всѣ участвующія въ нихъ силы хотя и равнодѣтельны, но въ каждомъ онѣ все же подчинены какой нибудь изъ нихъ, какъ преобладающей. «Мы заняты или собираніемъ, систематизаціей и примѣненіемъ простыхъ эмпирическихъ знаній, или изысканіемъ понятій, независимыхъ отъ опыта, или же мы живемъ посреди ограниченной и конечной дѣйствительности, но такъ, какъ если бы она была неограничена и безконечна». Но отъ этихъ положеній авторъ тотчасъ же переходитъ къ силѣ воображенія, а этимъ самымъ и къ положеніямъ «Критики силы сужденія». Это послѣднее состояніе, говоритъ онъ, можетъ принадлежать только силѣ воображенія, единственной изъ нашихъ способностей «которая въ состояніи соединять противорѣчащія другъ другу свойства», — которая, какъ онъ выразился еще ранѣе въ письмѣ къ Шиллеру, можетъ, «удерживать одновременно несомѣстимое (Incompatible)». Поэтому искусство есть «умѣніе дѣлать воображеніе, по извѣстнымъ законамъ, продуктивнымъ», или какъ опять тамъ гласитъ одно мѣсто въ прежней его перепечаткѣ съ Шиллеромъ, — «способность подчинять фантазію закону, не нарушая ея свободы». Далѣе. Поступая такимъ образомъ, художникъ превращаетъ дѣйствительность въ образъ, поднимаетъ природу за предѣлы дѣйствительности, идеализируетъ ее. Это значитъ: онъ устраняетъ въ ней все случайное, подчиняетъ каждую ея черту другой и совокупность ихъ себѣ самой, создаетъ единство, но не единство понятія, а единство формы. Идеалъ есть то, что недостижимо для дѣйствительности и не исчерпывается никакимъ выраженіемъ. Но вмѣстѣ съ идеальностью достигается также цѣльность, и весь міръ открывается передъ нами съ одной точки зрѣнія: ибо силой воображенія устраняется какъ случайность дѣйствительнаго міра, такъ и его ограниченность и разрозненность. То и другое, идеальность и цѣльность, непосредственно связаны, или даже тождественны¹⁾.

Въ этомъ заключается принципиальное ядро Гумбольдтовой эстетики; достаточно бѣглого взгляда, чтобы видѣть, насколько оно проникнуто кантіанствомъ, даже въ способѣ выраженія. Мы безъ труда вспомнимъ Кантово опредѣленіе художественно-прекраснаго

¹⁾ § III—XI, тамъ же, стр. 17 и слѣд.

какъ «выраженіе эстетической идеи»; такая идея является для Канта «представленіемъ воображенія, заставляющимъ много думать, хотя и не существуетъ понятія, которое могло бы быть ему адекватнымъ». «Воображеніе» — такъ говорится въ «Критикѣ силы сужденія», и это еще ближе къ Гумбольдтовымъ положеніямъ — «очень сильно въ созданіи, такъ связать, новой природы изъ того матеріала, который ей даетъ дѣйствительная; этотъ матеріалъ можетъ быть нами переработанъ въ нѣчто другое, и именно въ то, что превосходитъ природу». «Поэзія», говоритъ Гумбольдтъ, «превращаетъ индивидуумы въ идеалы» и вводитъ природу въ «область идеи»; она затрогиваетъ въ человѣкѣ струны, которыя берутъ свое начало не въ этомъ чувственномъ мірѣ, она внушаетъ «высшій и прекраснѣйшій энтузіазмъ къ великимъ дѣламъ», но лишь отдавая человѣка самому себѣ, она даритъ его міру». Кенигсбергскій старецъ говоритъ по своему тоже самое. «Поэзія», такъ говорится въ «Критикѣ», «укрѣпляетъ душевныя силы въ томъ, чтобы разсматривать и обсуждать природу какъ явленіе, съ такихъ сторонъ, которыя она сама по себѣ, въ опытѣ ни для чувства, ни для разсудка не открываетъ, и чтобы затѣмъ воспользоваться этимъ для цѣлей сверхчувственного и какъ бы въ качествѣ его схемы».

Отсутствіе поддержки со стороны Канта Гумбольдтъ почувствовалъ тотчасъ же, какъ только перешелъ къ тѣмъ частямъ своей эстетики, въ которыхъ Гердеръ взялъ въ послѣдствіи мнимый перевѣсъ надъ великимъ мыслителемъ въ своей претенціозной вылазкѣ противъ критицизма. Обширное поле представлялось тому, кто хотѣлъ бы прилечь основныя положенія Канта къ конкретному изученію искусства. Дѣло шло о происхожденіи различныхъ искусствъ, объ опредѣленіи различныхъ родовъ поэзіи, о характеристикѣ различныхъ эстетическихъ настроеній и натуръ. Одна часть задачи лежала прямо и неизбежно на Гумбольдтовомъ пути, другую онъ намѣренно сюда привлекъ. Онъ долженъ былъ высказаться о сущности эпоса и идилліи, затѣмъ онъ хотѣлъ еще высказаться объ отличіи этой послѣдней отъ прочихъ родовъ поэзіи, о противуположности древней и современной поэзіи, о различныхъ направленіяхъ въ послѣдней. По нѣкоторымъ изъ этихъ вопросовъ онъ долженъ былъ самъ пролагать пути. Такъ, напр., въ вопросѣ о происхожденіи различныхъ родовъ поэзіи, — ибо Шплеръ въ своемъ послѣднемъ большомъ трактатѣ говорилъ только попутно и только для характеристики сентиментальныхъ поэтовъ объ особенностяхъ скорѣе идиллическаго, сатирическаго и элегическаго стплей, чѣмъ объ особенностяхъ различныхъ соответствующихъ родовъ поэзіи; онъ вообще не исполнилъ желанія Гумбольдта «вывести наивную и сентиментальную поэзію изъ ихъ высшаго понятія»¹⁾. Къ послѣднему, т. е. къ построенію хотя

¹⁾ Черевинска, стр. 266.

бы только общаго понятія поэзіи, и приступилъ Гумбольдтъ, опираясь на Канта. Но предварительно надо было установить дѣленіе ея на различные роды. Согласно духу Кантова ученія, основаніе для этого дѣленія почерпалось опять таки изъ природы поэтическаго воображенія, а не изъ этого самого объекта. По аналогіи съ прежнимъ методомъ, также какъ и съ методомъ Шиллера—имѣть всегда передъ собою всего человѣка, эта трансцендентальная дедукція должна была получить болѣе широкой антропологическій базисъ: она должна была одновременно принимать въ соображеніе различные состоянія души. Признаніемъ такихъ «душевныхъ состояній» Гумбольдтъ очистилъ себѣ дорогу къ понятію искусства и поэзіи вообще. И теперь, приискивая основу для различенія эпоса отъ другихъ родовъ поэзіи, онъ продолжаетъ идти тѣмъ же путемъ. Существуетъ, такъ утверждаетъ онъ, два специфически различныхъ душевныхъ состоянія: состояніе «общаго созерцанія» (*allgemeine Beschauung*) и состояніе «опредѣленнаго ощущенія» (*bestimmte Empfindung*). Изъ взаимодействія поэтическаго воображенія и того или другого изъ этихъ душевныхъ состояній возникаетъ, съ одной стороны, эпическая, съ другой — въ самомъ обширномъ смыслѣ—лирическая поэзія, къ которой принадлежитъ и трагедія. Изъ тщательнѣйшаго анализа обоихъ дѣйствующихъ одновременно факторовъ, созерцательнаго душевнаго состоянія и связанной съ нимъ силы воображенія, онъ выводитъ наконецъ опредѣленіе эпической поэзіи. Выходитъ, что «она есть такое поэтическое изображеніе дѣйствія посредствомъ разсказа, которое приводитъ нашу душу въ состояніе живѣйшаго и наиболѣе общаго чувственнаго созерцанія».

При помощи такого приема нашему автору дѣйствительно въ высокой степени удалось опредѣленіе эпической поэзіи во всѣхъ ея направленіяхъ и во всемъ ея своеобразіи. Менѣе удалось это ему въ отношеніи къ трагедіи. Врядъ ли однако нуженъ былъ послѣдній опытъ, чтобы внушить намъ недовѣріе къ основательности всего этого рода дедукція. Кто въ концѣ-концѣ не съумѣлъ бы представить себѣ такое состояніе душевнаго равновѣсія, при которомъ душа, руководимая исключительно общими интересами объекта, равномерно распределяетъ свое вдумчивое вниманіе между всѣми его пунктами — состояніе, отличительными признаками котораго были бы слѣдовательно безпристрастіе и всеобщность, объективность и широта взгляда? Но кто былъ бы при этомъ убѣжденъ, что такое состояніе въ натурѣ человѣка есть нѣчто необходимымъ образомъ выдѣляющееся изъ ряда другихъ, собственнымъ понятіемъ себя ограничивающее, непреложно о себѣ заявляющее? Стремленіе Гумбольдта вывести поэзію и необходимые ея роды изъ цѣльнаго реальнаго человѣка заслуживаетъ всякой похвалы. Но оно ему не удалось. Строгія дѣленія, встрѣчающіяся постоянно у Канта, — различеніе въ человѣкѣ чувствительности, разсудка и разума несомнѣнно отвлеченно, не

при всей своей рѣзкости оно пріобрѣтаетъ законность въ силу внутренней необходимости понятія. Гумбольдтовы дѣленія несомнѣнно конкретны, но несмотря на тщательнѣйшую обстоятельность, съ какою онъ ихъ проводитъ, они непредѣланны и гупы, — они не схватываютъ и не рѣжутъ, — говоря словами Платона: *κατ' ἄρθρα ἢ πέφυκεν*. Несомнѣнно, его изслѣдованія тонки и содержательны, но они страдаютъ нѣкоторою безпомощностью. Тамъ, гдѣ онъ лишенъ поддержки Канта, и гдѣ Шиллеръ не подготовилъ ему пути, онъ рѣдко приходитъ къ яснымъ и удобопонятнымъ результатамъ.

Но Шиллеръ подготовилъ ему путь цѣлымъ рядомъ отдѣльныхъ опредѣленій и прежде всего удачнымъ приемомъ противопоставленія наивнаго поэтическаго характера сентиментальному. Поэтому-то Гумбольдтъ со своими эстетическими положеніями вступаетъ на путь Шиллеровыхъ идей каждый разъ, какъ только попадаетъ въ ихъ сосѣдство. Разумѣется, мѣстами онъ измѣняетъ опредѣленія Шиллера, онъ обогащаетъ ихъ конкретными примѣрами, даетъ имъ болѣе широкое примѣненіе; онъ распределяетъ ихъ съ другихъ точекъ зрѣнія, пересыпаетъ собственными опредѣленіями, но въ общемъ они совершенно овладѣваютъ его воззрѣніями. Противоставляя музыкальную и пластическую поэзію, онъ слѣдуетъ намеку, выраженному Шиллеромъ. У Шиллера заимствуетъ онъ опредѣленіе характера древней поэзіи — какъ наивной, новой — какъ сентиментальной. Подобно Шиллеру, разъясняетъ онъ это различіе на Гомеръ и Аріостъ. Подобно Шиллеру, выдвигаетъ онъ родство Гётевской поэзіи съ наивнымъ родомъ, признаетъ проявляющееся у Гёте сочетаніе наивнаго съ современнымъ и сентиментальнымъ. Опираясь явнымъ образомъ на Шиллерово положеніе, что назначеніе поэзіи дать возможно полное выраженіе человѣческой природы, — онъ высказывается объ авторѣ «Германа и Доротея» слѣдующимъ образомъ: то, къ чему онъ стремился и чего достигъ, есть «изображеніе всего человѣка въ его вѣншемъ образѣ и внутреннемъ существѣ» и именно — «изображеніе силою фантазіи». вмѣстѣ съ Шиллеромъ сочетаетъ онъ сатиру съ идилліей и въ давнишнемъ согласіи съ нимъ онъ по поводу идилліи набрасываетъ въ общихъ чертахъ процессъ развитія человѣческаго рода, изображая какъ его исходный пунктъ гармонию съ природой и какъ конечную его цѣль обратное возвращеніе къ ней обогащеннымъ и развитымъ.

Съ полною справедливостью и въ сознаніи того, чѣмъ онъ самъ обязанъ Шиллеру, говоритъ онъ въ своемъ предисловіи къ перепискѣ Шиллера, что оба большихъ эстетическихъ трактата Шиллера заключаютъ въ себѣ все въ этой области существенное, притомъ въ такомъ видѣ, что ихъ невозможно будетъ никогда превзойти. Шиллеръ въ письмѣ, посланномъ ему какъ отъ своего имени, такъ и отъ имени Гёте, послѣ послуженія рукописи о «Германѣ и Доротей», дѣлаетъ ему тотъ же са-

мый комплиментъ. Онъ не скрылъ отъ него, что статья, въ силу своей философской высоты, мало пригодна для поэтической практикы. Это напоминаніе исходило отъ поэта, который все болѣе и болѣе отворачивался отъ умозрѣнія и въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ, — какъ, напримѣръ, въ написанной имъ въ послѣднюю зиму въ сообществѣ съ Гете статья о характерныхъ особенностяхъ эпоса и трагедіи, — все болѣе приближался къ реалистической точкѣ зрѣнія. Это побудило Гумбольдта объяснить въ предисловіи къ своему сочиненію, что онъ дѣйствительно своимъ философствованіемъ объ искусствѣ имѣлъ въ виду быть полезнымъ не художнику, а человѣку и философу. И съ этой именно точки зрѣнія Шиллеръ расточаетъ рукописи высшую похвалу: что бы послѣдствіи ни было сдѣлано для философскаго обоснованія эстетики, оно не будетъ противорѣчить Гумбольдтовымъ положеніемъ, а лишь разъяснять ихъ, — въ сочиненіи Гумбольдта навѣрное можно будетъ указать мѣсто, изъ котораго оно выросло и которое заключало его въ себѣ *implicite*. Этимъ много сказано — слишкомъ много, думается намъ, но, съ другой стороны, тутъ было мало сказано или далеко не все. Лучшее въ статьѣ Гумбольдта было очевидно не общая часть, посвященная философіи искусства, а та специальная, которая относилась къ Гете и къ его произведенію. Мужество высказать свои эстетическіе взгляды и вообще выступить на литературное поприще Гумбольдтъ нашель у себя только благодаря тому, что здѣсь нѣчто совершенно индивидуальное должно было открыть ему доступъ къ общему, и что отъ общаго онъ могъ постоянно возвращаться къ индивидуальному. Изложеніе эстетической теоріи идетъ рядомъ съ характеристикой отдѣльнаго произведенія, отдѣльнаго поэта; то и другое совпало, и общія теоретическія положенія лишь изрѣдка захватываютъ болѣе широкое поле. Подобно тому, какъ ранѣе онъ охарактеризовалъ совершенную форму женственности образами Геры и Афродиты, такъ теперь поэтической характеръ Гете является для него представителемъ философіи искусства. Такого рода пріемъ являлся, правда, результатомъ переоцѣнки «Германа и Доротен»: вслѣдствіе оптического обмана, свойственнаго его глазу, онъ отождествилъ идеальное съ индивидуальнымъ. Онъ поступилъ теперь по отношенію съ Гете, какъ ранѣе относительно Шиллера; онъ возвелъ свой предметъ на степень абсолюта и приложилъ къ нему то идеальное мѣрило, которое отчасти у него же самого и заимствовалъ. Онъ исходитъ изъ того, что «это произведеніе усвоило себѣ въ качествѣ спеціальнаго свойства общую природу поэзіи и искусства въ болѣе чистомъ видѣ, чѣмъ это было бы возможно для другаго» и приходитъ такимъ образомъ къ такой критикѣ, «которая изображаетъ въ отдѣльномъ примѣрѣ цѣлый родъ и въ отдѣльномъ произведеніи — самого художника». И въ самомъ дѣлѣ, ошибка на этотъ разъ была не особенно велика. Замѣтите

всего она должна была проявиться въ специально критическихъ частяхъ статьи, и потому здѣсь повторилось тоже явленіе, какъ и при оцѣнкѣ Шиллера: если цѣлое представляется просто идеальнымъ, то критическія замѣчанія могли касаться исключительно только самаго желаннаго и самаго частнаго, или же совершенно вѣшняго и побочнаго. Не могла остаться эта ошибка совершенно безъ вліянія и ла эстетическую доктрину; она должна была въ нѣкоторой степени притупить логическую остроту и ясность. Но въ отношенія изображенія и характеристерики, какъ самаго Гёте, такъ и его произведенія, она почти не была ошибкой, такъ какъ они могли болѣе выиграть отъ его любви и энтузіазма, чѣмъ проиграть отъ недостатка трезвой строгости. Никогда еще, можетъ быть, поэтъ и его произведенія не были поняты такъ глубоко и въ то же время съ такою ясностью. Гумбольдтъ справедливо досказываетъ, что этотъ эносъ «напоминаетъ болѣе требованія и сущность искусства вообще и образовательнаго въ особенности, чѣмъ особенную природу поэзіи». Примикая явнымъ образомъ къ установленному Лессингомъ различію между поэзіей и живописью, онъ развиваетъ вѣрную мысль: при замѣченномъ выше родствѣ своего произведенія съ образовательными искусствами Гёте вмѣстѣ съ тѣмъ выдвигаетъ и особыя преимущества поэзіи; такъ, у него самое описаніе образа «является само по себѣ дѣйствіемъ, и его дѣйствіе становится образомъ». Справедливо подчеркивается тутъ строгая объективность произведенія и въ сочетаніи этого качества съ простодушною наивностью и правдивостью усматривается родство его съ произведеніями древнихъ. Превосходно разъясняется затѣмъ, что его тѣмъ не менѣе отличаетъ отъ древнихъ писателей и указываетъ ему мѣсто среди современныхъ,—какъ меньшее богатство чувственныхъ элементовъ вознаграждается у него тѣмъ болѣе обширнымъ и глубокимъ міромъ чувства, причемъ то и другое является у него гармонически уравновѣшеннымъ: по удачному выраженію Гумбольдта, «у человѣка и у природы онъ живописуетъ душу, всегда притомъ образно и живо». Наконецъ онъ прекрасно доказываетъ, что именно въ этомъ сказывается наконецъ специально нѣмецкій характеръ поэта. Есть одно мѣсто, которое нельзя достаточно перечитывать,—то, гдѣ поэтъ и его произведеніе слѣваются въ одной общей характеристикѣ. «Если» — такъ гласитъ это мѣсто — «когда либо существовалъ человѣкъ, одаренный отъ природы способностью воспринимать все окружающее его ясно и какъ бы окомъ изслѣдователя природы, который во всѣхъ объектахъ мысли и чувства цѣнитъ только истину и благородное содержаніе, для котораго не существуетъ художественнаго произведенія, не имѣющаго въ своемъ основаніи разумнаго и правильнаго плана, нѣтъ разсужденія, не основаннаго на провѣренномъ наблюденіи, нѣтъ дѣйствія, не управляемаго послѣдовательными максимами; и если притомъ этотъ чело-

вѣкъ всѣмъ своимъ существомъ призванъ быть поэтюмъ, и весь его характеръ до такой степени слился съ этимъ призваніемъ во-едино, что его произведенія несутъ на себѣ печать его принципювъ и воззрѣній; если онъ наконецъ пережилъ цѣлый рядъ лѣтъ, если онъ освоился съ классическимъ духомъ древнихъ и проникся всѣмъ, что есть лучшаго въ новыхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ индивидуализируется, что могъ явиться только среди своей націи и именно въ свое время, что все усваиваемое имъ чужое преобразуется соотвѣтственно его индивидуальности, и вслѣдствіе этого онъ можетъ быть вполнѣ понятъ только на его родномъ языкѣ, на другіе же языки именно въ томъ, что составляетъ его особенность, просто непереводимъ; и если ему при этомъ удастся объединить въ поэтическую идею результаты своего опыта касательно жизни и счастья людей и выполнить эту идею въ совершенствѣ—тогда должно было и только такимъ образомъ могло возникнуть художественное произведеніе, подобное настоящему»¹⁾).

Отсюда совершенно ясно, что изъ того прекраснаго впечатлѣнія, произведеннаго на Гумбольдта «Германомъ и Доротеей», не малая доля должна быть отнесена насчетъ содержанія. При оцѣнкѣ произведенія очевидно дѣйствовало и то, что Шиллеръ называлъ идіосинкразіей его чувствованія. Для него съ «Германомъ и Доротеей» повторилось то, что было и съ Шиллеровыми «Macht des Gesanges», «Würde der Frauen» и «Spaziergang». Въ еще болѣе высокой степени соприкасалось оно со всѣмъ, что было лучшаго, наиболѣе глубокаго въ сферѣ его мысли и чувства. Онъ превратился въ комментатора этого произведенія, потому что видѣлъ въ немъ изложенную въ поэтической формѣ квинтэссенцію своего существа. Неподражаема поэтому та часть его статьи, въ которой онъ, погруженный мыслью въ образы поэта, твердою рукою ихъ возсоздаетъ. Неподражаемо въ особеннсти его изложеніе содержанія поэмы. Онъ повторяетъ какъ будто свои собственные мысли, знакомыя намъ и все повторяющіяся luci его индивидуальнаго мышленія,—и все-таки не отстываетъ ни на шагъ отъ текста, который онъ комментируетъ. По мнѣнію Гумбольдта, передъ нами выступаетъ въ этомъ произведеніи человечество и судьба; оно занято вопросомъ: какимъ образомъ общій цѣль человечества можетъ быть соединена съ природною индивидуальностью каждаго? Отвѣтъ на этотъ вопросъ—Гумбольдто-Гётевскій отвѣтъ—слѣдующій: то и другое соединимо путемъ сохраненія и развитія природеннаго намъ индивидуальнаго характера,—путемъ мужественнаго противопоставленія своего прямого и здраваго смысла вѣшнимъ невгодамъ, подверженія себя дѣйствию высшихъ и лучшихъ впечатлѣній и противудѣйствія всею своею силой духу смятенія и тревоги. Нравственное развитіе характера, какъ необходимое осно-

¹⁾ Тамъ же, стр. 143, 144.

ваніе политической культуры, воспитательная сила женщины, прогрессирующее облагораживаніе человѣческаго рода, руководимое величіемъ судьбы—вотъ темы, которыя Гумбольдтъ совершенно справедливо извлекаетъ изъ поэмы Гёте. Онъ одинаково восторгается и его эстетическими достоинствами и его гуманнымъ содержаніемъ. Поэтому-то оно представляется ему чѣмъ-то абсолютнымъ, канономъ и ориентиромъ для пониманія искусства и вообще человѣка. Авторъ такого произведенія «заслуживаетъ болѣе чѣмъ кто-либо другой быть признаннымъ истинно человѣчнымъ, ибо никто другой не обращался къ нашему сердцу въ такихъ многообразныхъ, такихъ высокихъ и необыкновенныхъ и все же такихъ простыхъ тонахъ». Точно также представляетъ оно собою и максимумъ поэтического совершенства: «ни у кого изъ древнихъ писателей не встрѣчаемъ мы такой высокой, благородной и идеалистической чувствительности, ни у одного изъ новыхъ писателей — такой безыскусственной естественности, такой простой правдивости, такой душевной искренности».

Съ такимъ безусловнымъ и безграничнымъ восторгомъ говоритъ Гумбольдтъ о Гёте. Все сочиненіе является только развитіемъ этой темы. Имя Шиллера въ немъ не встрѣчается; несмотря на то, онъ послалъ Шиллеру рукопись и поручилъ ему заботу о напечатаніи ея. Намъ представлялось всегда однимъ изъ непреложнѣйшихъ доказательствъ чистоты и привлекательности Шиллерова характера то, что онъ отнесся къ этому сочиненію своего друга съ совершенно безпристрастнымъ одобреніемъ. Онъ имѣлъ кое-что и противъ него, но это порицаніе относилось частью къ формѣ, частью-же къ тому именно, въ чемъ онъ усматривалъ результатъ своего вліянія на друга. Къ этому порицанію не примѣшивалось ни тѣни самолюбивой обидчивости. Въ литературѣ это несомнѣнно было чрезвычайно рѣдкимъ явленіемъ. Но удивительнѣе еще то, что Гумбольдтъ предполагалъ въ Шиллерѣ именно такое отношеніе; не менѣе, конечно, удивительно, что онъ говоритъ теперь о поэтическомъ гениі Гёте почти въ тѣхъ-же выраженіяхъ, въ какихъ онъ говорилъ раньше о гениі Шиллера.— между тѣмъ два такихъ идеала, казалось, невозможно было совмѣстить. Форма, въ какой Гёте былъ представленъ какъ *Non plus ultra* поэтического величія либо являлась приниженіемъ Шиллера, либо требовала такого средства, которое настолько возвысило-бы отодвинутого на второй планъ, чтобы вопросъ о первенствѣ между обоими оставался нерѣшеннымъ. Вѣрнѣе всего это могло быть достигнуто, если-бы Гумбольдтъ разобралъ такимъ-же образомъ какое нибудь изъ произведеній Шиллера. Но Валленштейнъ еще не былъ оконченъ, а когда онъ появился, Гумбольдтъ успѣлъ уже завершить свой эстетико-философскій періодъ. Средство, при помощи котораго онъ старался примирить оба культа — Шиллера и Гёте, при

помощи котораго онъ спасалъ свое давнишее убѣжденіе, что «оба поэта могутъ достигнуть высочайшей вершины, не отнимая ниче-го другъ у друга»—это средство было искусственно и сильно походило просто на средство выйти изъ затруднительнаго положенія. Категоріи наивнаго и септиментальнаго, античнаго и современнаго, оказы-ваются недостаточными послѣ того, какъ Гёте былъ представленъ стоящимъ выше этихъ противоположеній. На помощь явились кат-горіи весьма страннаго вида, такъ что Шиллеръ сознавался, что не-достаточно ясно ихъ уразумѣлъ. Для того, чтобы пристроить поэзію Шиллера и предоставить ей высшее мѣсто рядомъ съ другой вы-шей, Гумбольдтъ трактуеть—въ одномъ изъ уголковъ своего сочи-ненія и не называя поэта по имени—«о поэзіи, какъ о говорящемъ искусствѣ»¹⁾. Онъ исходитъ изъ того, что поэзія есть искусство, являющее своимъ орудіемъ языкъ. Последний,—по его мнѣнію, очень далекому отъ его позднѣйшихъ воззрѣній на сущность языка,—слу-жить только «для разсудка»; онъ «превращаетъ все въ общія поня-тія». Отсюда возникаетъ противорѣчіе. Ибо искусство «живетъ только въ воображеніи и ищетъ только индивидуальностей». «Языкъ»—такъ формулируется эта антиномія «естъ орудіе человѣка», искусство есть—«зеркало міра». Это противорѣчіе примиряется поэзіей и именно двойнымъ образомъ. Поэтъ можетъ проявить въ искусствѣ индиви-дуальную природу языка, или-же проявить индивидуальную природу искусства черезъ посредство языка. Первое имѣетъ мѣсто, когда онъ избираетъ своимъ объектомъ внутреннія формы въ человѣкѣ; тогда именно онъ открываетъ въ языкѣ совершенно особенный кладъ но-выхъ, неизвѣстныхъ прежде средствъ вслѣдствіе того, что фантазія, которая обыкновенно подчиняется чувствамъ, вынуждена въ этомъ случаѣ примкнуть къ разуму. Этотъ родъ творчества есть «истинный кульминаціонный пунктъ новой поэзіи». Поступающій такимъ обра-зомъ поэтъ заслуживаетъ это названіе въ еще болѣе полномъ смыслѣ, нежели тотъ, кто ставитъ себѣ задачей образное и паглядное вос-произведеніе передъ нашимъ воображеніемъ живой дѣйствительности. Онъ можетъ быть одинаково великимъ поэтомъ, но «онъ даетъ больше и именно то, что доступно одной только поэзіи и ни одной изъ ея сестеръ; онъ идетъ уединенною дорогою, на которую не вступаетъ никто другой». Это возможно только для лирическаго, дидактическаго и трагическаго поэта. Это—можемъ мы прибавить—родъ творчества Шиллера; поэзіи Гёте и въ особенности «тому роду, къ которому принадлежитъ «Германъ и Доротея», онъ прямо противоположенъ».

Такое нѣсколько искусственное построеніе сравнительной оцѣнки поэзіи Шиллера и Гёте покоится очевидно на одинаковомъ съ его стороны расположеніи къ обоимъ. Все его существо раздѣлилось на

¹⁾ § XIX, тамъ-же, стр. 59 и слѣд.

двѣ равныя части между двумя поэтами; онъ былъ внутренне вынужденъ цѣнить ихъ обоихъ одинаково. Поэтому-то эта равная оцѣнка представляетъ въ его построеніи вѣчно постоянное; онъ придерживался ея всю свою жизнь. Много лѣтъ спусти она сказалась въ двухъ статьяхъ, слѣдовавшихъ непосредственно одна за другою и посвященныхъ одна Шиллеру, другая Гёте. Она сказалась въ предисловіи къ перепискѣ Шиллера и въ рецензіи на второй томъ итальянскаго путешествія Гёте; и Гумбольдтъ съ полнымъ правомъ писалъ Каролигъ фонъ-Вольцогенъ ¹⁾, что обѣ статьи составляютъ одно цѣлое и въ его умѣ тѣсно связаны. Напротивъ, искусственность, съ которою онъ въ настоящей статьѣ мотивировалъ эту равную оцѣнку, обуславливалась господствующимъ въ статьѣ планомъ — развить общую доктрину, пользуясь индивидуальнымъ матеріаломъ. Такой планъ имѣлъ еще и другія неудобныя стороны: онъ еще разъ придавъ формѣ этого произведенія его неопредѣленно переливающуюся окраску, среднюю между художественнымъ и прозаическимъ изображеніемъ, между эстетическимъ и дидактическимъ изложеніемъ. Въ этомъ отношеніи эстетическій опытъ Гумбольдта является наиболее неудачнымъ изъ всего, что имъ написано. Нѣкоторое равновѣсіе между логическими и эстетическими элементами придадо его первому произведенію оченъ удобочитаемый характеръ. Перевѣсъ эстетики сдѣлалъ его статьи въ «*Посен*» тяжеловѣсными и темными. Стараясь избѣгнуть этого недостатка, онъ въ статьѣ о «*Германѣ и Доротей*» впалъ въ еще худшій недостатокъ. Онъ хотѣлъ быть совершенно яснымъ и сталъ невыносимо обстоятельнымъ; онъ хотѣлъ писать строго логически и методически -- и писалъ педантически и схоластически. Лучшее, что было въ статьѣ заключалось въ полномъ переживаніи того, что даетъ искусство вообще и Гёте въ особенности. Вслѣдствіе стремленія представить его со всею логическою тонкостью, передать неречуемое въ совершенно исчерпывающемъ анализѣ, ничего не упуская, вслѣдствіе сжѣшенія постоянно враждующихъ между собою индивидуальнаго изображенія и общихъ размышленій, терминовъ чувства и школьной метафизики, изложеніе сдѣлалось во многихъ мѣстахъ вялымъ, въ другихъ — деревяннымъ. Ни одно изъ сочиненій Гумбольдта не представляетъ такой строгой схематической разработки и такой строгой планировки. Раздѣленіе цѣлаго на параграфы имѣеть въ виду ясность пониманія. Развитие цѣлаго можетъ быть и не самое цѣлесообразное, но оно совершенно симметрично и логически правильно. За исходный пунктъ берется истинно поэтическое впечатлѣніе, производимое поэмою Гёте. Этимъ впечатлѣніемъ объясняется принятый въ сочиненіи планъ — соединить изслѣдованіе о сущ-

¹⁾ Literarischer Nachlass von Caroline von Wolzogen. (литературное завѣщаніе К. фонъ-Вольцогенъ), II. 58.

ности поэзии съ изложеніемъ характера именно этого произведенія. Эта двойная задача распадается тотчасъ на двѣ части. Во-первыхъ, общее эстетическое и, во-вторыхъ, специальное, техническое изученіе. «Германъ и Доротея», разъясняетъ первая часть, есть истинное художественное произведеніе и истинная поэзія. Изъ понятія искусства выводится истинный поэтический стиль, отъ котораго различается «ложный стиль» (Aftersstil) поэзія. Постепенно прогрессирующее развитіе характернаго для истиннаго искусства понятія «объективности» даетъ тотчасъ-же подходящій случай для характеристики творчества Гёте и Шиллера, далѣе — для характеристики болѣе пластическаго стиля и болѣе музыкальнаго, наконецъ наивнаго и сентиментальнаго стиля, и такимъ образомъ мало по малу все точнѣе обозначается поле, въ которомъ авторъ «Германа и Доротеи» проявилъ свое мастерство. За этимъ слѣдуетъ вторая часть разбора: «Германъ и Доротея» представляетъ собою настоящій эпосъ. Изслѣдованіе открывається субъективно-генетическимъ опредѣленіемъ сущности эпопеи, которое замыкается въ нѣсколько постепенно суживающихся круговъ. Прежде всего отдѣляется эпическая поэзія отъ лирической и трагической; затѣмъ уничтожается граница между эпосомъ и идилліей, отъ эпоса отдѣляется повѣствовательное стихотвореніе, и наконецъ устанавливается настоящее мѣсто произведенія Гёте какъ эпоса мѣщанскаго въ отличіе отъ героическаго. Затѣмъ изъ установленнаго такимъ образомъ понятія эпопеи выводятся отдѣльные законы этого рода поэзии, съ которыми сопоставляется одинъ за другимъ планъ, характеры, изложеніе произведенія и изъ ихъ согласія съ законами объясняется чисто поэтическое общее впечатлѣніе, производимое имъ. Это впечатлѣніе и есть отправной пунктъ всей работы. Строго-методически, «quod erat demonstrandum», возвращается она въ концѣ къ этому началу. Эта связность всѣхъ частей статьи отклоняла іенскихъ друзей автора отъ намѣренія переработать ее въ цѣломъ, — они боялись, что при перестройкѣ зданія, «придется его такъ шевелить, что оно врядъ-ли устоитъ». Это-то строго методическое развитіе, долженствовавшее удовлетворить всѣмъ, какъ дидактическимъ, такъ и эстетическимъ требованіямъ, совершенно не достигло своей цѣли. Самъ авторъ признавалъ недостатокъ своей работы только чрезмѣрную пространность. Обстоятельнѣе разсматриваются литературные недостатки въ письмахъ друзей. Невозможно видѣть ихъ яснѣе и охарактеризовать вѣрнѣе, чѣмъ это сдѣлано Шиллеромъ. «Вы, правда, хотѣли—писать о нѣ Гумбольдту—избѣгнуть нѣкоторой педантичности выраженій, но это вамъ не вполне удалось». Это придаетъ сочиненію нѣсколько неопредѣленный характеръ: для обыкновеннаго человѣка оно слишкомъ специально и серьезно, для знатока—слишкомъ подробно и популярно. «Гумбольдту недостаетъ» — пишетъ

онъ подробнѣе Кёрнеру — «нѣкоторой необходимой смѣлости въ выраженіи своихъ идей, и въ способѣ трактованія цѣлаго — искусства управлять массами, которое такъ-же необходимо въ дидактическомъ изложеніи, какъ и въ любомъ художественномъ произведеніи. Вслѣдствіе этихъ недостатковъ его выводы не легко овладѣваются умомъ и еще менѣе запечатлѣваются они въ воображеніи; приходится разыскивать ихъ въ отдѣльности, одно положеніе вытѣсняетъ другое, вниманіе направляется одновременно на многое, и ничто не овладѣваетъ имъ вполнѣ».

Произведеніе такого характера не могло имѣть успѣха въ публикѣ: и по сіе время оно не болѣе, какъ историко-литературный памятникъ. Даже друзья автора были только на половину довольны и не предсказывали книгѣ благоприятнаго будущаго, герои-же Атенея избрали его мишенью для своего остроумія; они встрѣтили скучную метафизику и педантическую художественную критику Гумбольдтовой книги насмѣшливою ксеніей въ прозѣ. Они и на самомъ дѣлѣ начали смотрѣть на эстетику и эстетическую критику, какъ на свою монополию. Младшій Шлегель выступилъ съ рецензіей на Woldemar'a Иогби, въ респектѣ къ рецензіи Гумбольдта, въ качествѣ соперника послѣдняго. Августъ Вильгельмъ Шлегель предупредилъ его, напечатавъ подробный разборъ «Германа и Доротеи». Въ основательности и философскомъ значеніи статья уступала работѣ Гумбольдта; это была именно рецензія, а не сочиненіе, и по правдѣ сказать, она именно поэтому должна была взятъ перевѣсъ надъ кропотливымъ и тяжеловѣснымъ произведеніемъ Гумбольдта. Въ своихъ основахъ и въ общемъ пониманіи Гётева произведенія она вполнѣ сходилась съ работой Гумбольдта. Шлегель тоже требовалъ построенія теоріи поэзіи и опредѣленія отдѣльных родовъ ея изъ «неизмѣнныхъ законовъ человеческого духа». Но его практическая и литературная мудрость не позволила ему подвѣсить тяжесть этихъ теоретическихъ дедукцій на тонкой вѣтви прекраснаго продукта фантазіи. Онъ не приглашалъ публику наслаждаться ароматомъ благоухающаго букета съ тѣмъ, чтобы прочесть ей систематическую лекцію по ботаникѣ. Онъ воспользовался тѣмъ неоцнимымъ преимуществомъ, которое историкъ имѣетъ передъ философомъ. Онъ возбуждалъ въ читателѣ интересъ къ теоріи эпоса, разъясняя его наглядно на Гомерѣ, и выводилъ изъ исторіи поэзіи тѣ положенія, которыя подтверждаются взглядомъ, брошеннымъ въ глубину человеческого духа. Подобно Гумбольду, высказывалъ онъ, что искусство есть не столько раздраженіе, сколько «преобразование природы по законамъ человеческого духа», — что равновѣсіе и чувство мѣры, спокойствіе и неизмѣнность, безпристрастіе и объективность, составляютъ характерныя особенности эпической поэзіи; и онъ также проводилъ параллель между авторомъ «Германа и Доротеи» и пѣвцами Илиады и Одис-

сен: и онъ также подчеркивалъ искусство, съ которымъ въ этомъ произведеніи индивидуальнѣйшее соединяется съ самымъ общимъ, будничное—съ человѣчески наивысшимъ и важнѣйшимъ, а также, что точка зрѣнія поэта самая гуманная, и наконецъ, что его произведеніе есть одновременно—«совершенное художественное произведеніе въ высокомъ стилѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ понятное, сердечное, родное, народное—книга полная золотыхъ поученій мудрости и добродѣтели»: говоря короче, онъ высказалъ все то, что, за исключеніемъ нѣсколькихъ тонкихъ замѣчаній Гумбольдта, обыкновенный читатель можетъ извлечь изъ книги послѣдняго. То, что заключалось въ ней сверхъ того имѣло для художника мало значенія, для философа—умѣренное значеніе, для публики—никакого, и проигрывало вообще отъ пространнаго, сухого и чопорнаго изложенія. Правда, кто желалъ-бы уяснить себѣ, какимъ образомъ рецензія подобная Шлегелевой могла явиться вслѣдъ за поэмой, подобной поэмѣ Гёте, какимъ образомъ такіа вѣрныя эстетическія воззрѣнія и въ такой цѣлесообразной формѣ выраженные могли слѣдовать непосредственно за появленіемъ благороднѣйшаго поэтическаго произведенія, тотъ долженъ-бы обратиться къ трактатамъ Шиллера и книгѣ Гумбольдта. Ибо здѣсь находится источникъ воззрѣній и лабораторія духа, который въ критическихъ трудахъ романтической школы только яснѣе выразился и далѣе распространился. Какъ духъ умозрительной философіи, такъ и духъ эстетической критики коренился въ соединеніи кантіанства съ классическою поэзіей Шиллера и Гёте: къ этимъ именно корнямъ и примыкають философскія и эстетическія стремленія Гумбольдта. Для изслѣдователя внутренней исторіи нѣмецкой умственной жизни они представляютъ собою наиболѣе поучительный интересъ. Они показываютъ намъ соединеніе этихъ обоихъ факторовъ въ примитивнѣйшей, еще неуклюжей и для вѣдннлаго дѣйствія незрѣлой еще формѣ. Новое наслоеніе литературы должно было покрыть классическую для того, чтобы эти стремленія могли стать плодотворными для общественнаго сознанія. Тутъ-то романтики, — въ эстетикѣ главнымъ образомъ братья Шлегели, — выступили въ качествѣ посредниковъ. Гумбольдтъ и лично стоялъ въ близкихъ отношеніяхъ съ ними. Онъ не разъ уже относился къ ихъ работамъ съ самымъ серьезнымъ участіемъ; во время своего вторичнаго пребывания въ Іенѣ онъ имѣлъ случай наблюдать ихъ въ наибольшей близости. У него были съ ними общіе интересы — филологическіе и эстетическіе. Онъ подходилъ на нихъ по характеру своего воспримчиваго къ поэзии и философіи, питающагося чужимъ творчествомъ ума. Глубиной и серьезностью, основательностью и устойчивостью онъ бесконечно ихъ превосходилъ. За то они превосходили его быстротою пониманія, легкою подвижностью, блестящимъ талантомъ груп-

провоки и изложенія; они обладали инстинктомъ эффекта, остроуміемъ, — словомъ всёмъ, что составляетъ даръ писателя. Второго Лессинга пація не имѣла, поэтому на умныхъ и опытныхъ людяхъ лежала задача распространенія новаго эстетическаго духа. Однако, немного времени прошло — и этотъ благородный духъ выродился на рыхлой и мелкой почвѣ. Возникла мнимая поэзія и ложная философія. Изъ парадоксовъ чеканились прищипы, а фантазію освободили отъ узъ разума и совѣсти. Тѣмъ временемъ Гумбольдтъ носилъ въ своей окрѣпшей душѣ истинный духъ изслѣдованія и поэзіи, захватывающій всего человѣка въ цѣломъ. По отношенію къ романтикамъ онъ твердо держался разумныхъ началъ того просвѣтительнаго образованія, съ которымъ совпала его юность; такъ же твердо держался онъ морализма, составившаго ядро Кантовой философіи: онъ держался наконецъ эстетическаго идеала, найденнаго имъ въ произведеніяхъ древнихъ и обогащеннаго еще и углубленнаго — въ твореніяхъ обоихъ великихъ нѣмецкихъ поэтовъ. Тѣ писатели, которыми онъ проникся, на которыхъ онъ окрѣпъ, были лучшими умами восемнадцатаго вѣка; они остались путеводными звѣздами его жизни. Они-то открыли его взору глубину науки, которой было предназначено собрать всё лучи его существа въ одинъ фокусъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Путешествія.

Изъ Парижа явилась вдругъ статья Гумбольдта о «Германѣ и Доротеѣ», совершенно неожиданно для его друзей. Что-же увлекло его такъ далеко отъ ихъ круга?

Мы знаемъ, что онъ давно уже мечталъ о путешествіи; уже въ 1792 году онъ былъ готовъ отправиться вторично въ Гарижъ ¹⁾. Позднѣе, благодаря тому, что его вниманіе было преимущественно обращено на древности и искусство, его планы обратились въ сторону Италіи. Не разъ упоминаетъ онъ объ этомъ планѣ въ своихъ письмахъ къ Шиллеру, изъ Берлина. Онъ стремился не столько къ непосредственному наслажденію искусствомъ, считая свой художественный вкусъ недостаточно для этого призреніемъ, — сколько къ тому, чего онъ искалъ всегда и повсюду: расширенія своего жизненнаго опыта и своего образованія; цѣлью его, какъ и всегда былъ человѣкъ и человеческое. «Кромѣ того», такъ пишетъ онъ другу, «что меня дѣйствительно болѣе привлекаетъ жизнь среди богатой, пре-

¹⁾ Письмо къ Шиллеру, стр. 98.

красной природы и мягкаго климата, я жду значительнаго расширенія моего знанія людей отъ изученія этой націи. Насколько я ее теперь знаю, я полагаю, что она представляетъ, при всей своей культурѣ и рядомъ съ нею, въ значительной степени первоначальную, естественную человѣческую природу, хотя и не особенно благородную, вслѣдствіе того, что у нея, кажется, чувственныя влеченія и наклонности особенно развиты. Она обладаетъ, вѣроятно, менѣе опредѣленными формами, нежели какая-бы то ни была другая нація, и потому она особенно удобна для изученія нѣкоторыхъ сторонъ человѣческой природы. Въ этомъ отношеніи она должно быть очень подходитъ къ древнимъ, представляетъ какъ-бы ихъ тѣнь. Съ этой стороны она такъ соприкасается со всѣмъ, что меня интересуетъ и занимаетъ, что я съ большимъ интересомъ приступаю къ наглядному ея изученію». Рѣшающіе мотивы при составленіи плана этого путешествія были, слѣдовательно, тѣ же самые, которые лежали въ основѣ его научныхъ занятій. Путешествіе въ Италію составляло одинъ изъ этапныхъ пунктовъ на его общемъ пути къ развитію, — такъ же какъ изученіе древности, какъ философій и естественныя науки, какъ интересъ къ произведеніямъ нашихъ поэтовъ. Все это объединялось общностью исходныхъ точекъ. Поэтому-то путешествіе въ Италію было только однимъ изъ его плановъ. Онъ желалъ вообще войти въ возможно разнообразное соприкосновеніе съ жизнью и людьми. Его памѣненіе, — до сихъ поръ онъ его исполнялъ, — было «не имѣть опредѣленнаго мѣстопробыванія, а придерживаться середины между ямъ и путешествіемъ». И въ немъ также сидѣла немалая доля той облагороженной научными цѣлями страсти къ снѣтанію, къ знакомству со свѣтомъ и людьми, той жажды открытій и приключеній, которыми отличался его братъ, — съ тою только разницей, что онъ при этомъ имѣлъ болѣе въ виду собственное развитіе, нежели расширеніе и обогащеніе науки. Ненасытная жажда знанія, потребность «какъ можно больше видѣть, знать и изслѣдовать», приковывала его къ письменному столу, она же выводила его за предѣлы книги видѣть «города людей», знакомиться съ ихъ «нравами и обычаями».

Однако до Италіи было еще далеко, и многое еще мѣшало задуманному путешествію. Прежде всего болѣзнь матери, измѣнившая и отодвинувшая всѣ его планы, какъ относительно занятій, такъ и относительно мѣстопробыванія и поѣздки. Но тѣмъ болѣе обострилось желаніе путешествовать. Онъ чувствовалъ потребность отдохнуть отъ гнета занимаемой имъ въ Берлинѣ позиціи ¹⁾. Но и съ отдыхомъ онъ нашелъ возможность соединить другую, болѣе высокую цѣль. Задуманная въ Берлинѣ поѣздка на воды превратилась по внезапному рѣ-

¹⁾ Письмо Шиллера къ Кёрнеру, III, 355.

шенію въ большую экскурсію ¹⁾. Ему хотѣлось теперь еще, прежде чѣмъ оставить родину на болѣе продолжительное время, побывать въ сѣверной Германіи, куда онъ врядъ-ли могъ надѣяться попасть поздне. Ему хотѣлось повидаться тамъ съ цѣлою массою людей, лично ему симпатичныхъ. Онъ хотѣлъ пожать еще руку Якоби, жившему тогда въ Вандсбекѣ,—хотѣлъ познакомиться съ жившимъ въ Эйтинѣ Фоссомъ, поэтомъ, переводчикомъ, знатокомъ древности, другомъ Ф. А. Вольфа. Тамъ же онъ надѣялся увидѣть Шгольберга, Клопштока, Клаудіуса и цѣлую массу другихъ. Итакъ, вмѣсто того, чтобы ѣхать на Дрезденъ въ Карлсбадъ, онъ выѣхалъ 4 августа 1796 года съ женой и ребенкомъ на Штральзундъ, Рюгитъ, Роштокъ и Любекъ въ Эйтинъ и оттуда въ Гамбургъ. Болѣе всего онъ желалъ познакомиться съ Фоссомъ и не обманулся въ своихъ ожиданіяхъ. Онъ нашелъ автора «Луизы» изящнѣе, мягче, поэтичнѣе, чѣмъ представлялъ его себѣ, и, какъ и слѣдовало ожидать, вынесъ самое пріятное впечатлѣніе изъ знакомства съ его характеромъ и домашнею жизнью; какъ и всякій, кто ближе ознакомился съ славнымъ голштейнцемъ, онъ восхваляетъ его честность, благородство и вмѣстѣ съ тѣмъ его чрезвычайную любезность ²⁾.

Въ началѣ сентября Гумбольдтъ вернулся въ Берлинъ. Въ концѣ октября онъ выѣхалъ снова черезъ Галле въ Іену, куда еще раньше выслалъ свою семью, хотя въ безнадежномъ состояніи его матери не произошло никакихъ перемѣнъ. Нѣсколько недѣль спустя, 20 ноября, депеша извѣстила его о ея смерти. Это событіе имѣло рѣшающее значеніе, какъ для его внутренней, такъ и для внѣшней жизни. Невольно переживалъ онъ мысленно послѣдній печальный періодъ своей жизни,—тѣмъ болѣе печальный, что при собственномъ недомоганіи его тревожила продолжающаяся болѣзненность жены. Воспоминанія прошлаго, размышленія надъ собой и своими планами завладѣли имъ. При своей привычкѣ переживать все внутри себя, онъ былъ въ этотъ моментъ болѣе чѣмъ когда-либо настроенъ свести счеты съ самимъ собою. Съ душевнымъ сокрушеніемъ—такъ выражается онъ въ своихъ признаніяхъ Вольфу—оглядывается онъ на себя и на прожитые имъ послѣдніе годы. Онъ находитъ, что если у него и не было недостатка въ рвеніи и выдержкѣ, за то чувствовалось отсутствіе метода. Изъ этого онъ вывелъ заключеніе, что ему прежде всего слѣдуетъ продолжать надъ собой работать, чтобы то, что составляетъ его индивидуальныя недостатки, не переносить на разсматриваемые предметы. Далѣе онъ пришелъ при этомъ самоанализѣ къ

¹⁾ Письмо къ Вольфу, G. W. V, 165; Шиллеръ къ Кёрнеру, III. 343.

²⁾ Письмо Гумб. къ Вольфу у Варнгагена въ его Denkwürdigkeiten (Воспоминаніяхъ) 147 и сл. Издатель Гумбольдтовыхъ сочиненій счелъ излишнимъ помѣщать это письмо, въ которомъ Г. даетъ Вольфу отчетъ о своемъ путешествіи.

заключенію, что онъ не способенъ ни къ историко-критическимъ, ни къ философски-аналитическимъ работамъ. «Если я къ чему либо», прибавляетъ онъ, «болѣе способенъ, чѣмъ громадное большинство людей, то это къ соединенію вещей, разсматриваемыхъ обыкновенно въ отдѣльности, сочетанію разныхъ сторонъ и раскрытію единства въ разнообразіи явленій» ¹⁾. И этотъ взглядъ тотчасъ же отражается на его путевыхъ планахъ. Смерть матери существенно улучшило его матеріальное положеніе; только теперь онъ получалъ возможность серьезно приступить къ выполненію своихъ широко задуманныхъ проектовъ ²⁾. Въ комбинаціи и синтезѣ усмотрѣлъ онъ свою настоящую силу; его внѣшнее положеніе, съ другой стороны, давало ему возможность болѣе нежели другимъ видѣть свѣтъ и людей. Областью, въ которой ему слѣдуетъ работать, говоритъ онъ въ заключеніе, будетъ слѣдовательно «индивидуальная характеристика», или, говоря точнѣе: «изученіе и оцѣнка человѣческаго характера въ различныхъ его формахъ». Въ эту область входила также и «характеристика нашего времени», съ которой онъ теперь носился. Какъ мы уже видѣли выше, онъ формулировалъ вмѣстѣ съ тѣмъ все содержаніе своего проекта «сравнительной антропологии», т. е. онъ придалъ задачѣ «эмпирически-философскаго изученія людей» характеръ, поставившій его въ связь съ его путевыми планами; подобно тому какъ сравнительная анатомія сравниваетъ между собой физическую организацію людей и животныхъ, также точно намѣревался онъ сопоставить различіе въ духовной организаціи различныхъ классовъ и индивидуумовъ. Ясно, что его путевые планы воздѣйствовали на его литературные проекты; съ другой стороны, его научныя тенденціи, придали имъ болѣе опредѣленное направленіе и болѣе конкретное содержаніе.

Таковы были условія, при которыхъ его неотступно занимала мысль о путешествіи въ Италію. Гёте долженъ былъ снабдить его книгами, Вольфъ — указаніями, рекомендаціями, порученіями. Съ основательностью филолога приготовился онъ къ изученію Италиі. Ничто въ этой новой для него части вселенной не должно было ускользнуть отъ его вниманія; но всему онъ долженъ былъ приготовиться: къ итальянскому искусству, итальянской странѣ, итальянскимъ людямъ. На почвѣ новой Италиі онъ хотѣлъ возстановить въ своемъ воспоминаніи судьбы старой: онъ запасся отъ Вольфа указаніями для изученія сравнительной топографіи Рима и Италиі. Въ странѣ, въ которой раньше другихъ возродился гуманизмъ, гдѣ на спасенныхъ развалинахъ греческаго и римскаго міра возгорѣлся духъ новой филологіи, онъ намѣревался возобновить занятія, начатыя въ

¹⁾ С. W. V, стр. 173 и сл.

²⁾ Письмо Шиллера къ Кёрнеру III, 390.

Бургернеръ и Аулебенъ; онъ просилъ указаній, какихъ кодексовъ искать въ бібліотекахъ, какія древности разыскивать въ музеяхъ. Наконецъ онъ запасся спискомъ всѣхъ тамошнихъ знаменитостей, ибо, такъ говорить онъ въ письмѣ къ Вольфу, «я хотѣлъ-бы хорошенько познакомиться съ Италіей и не пропустить никого, кто можетъ быть хоть сколько нибудь интересенъ». Устные переговоры съ Вольфомъ, постоянно откладывавшіеся, также какъ и отъѣздъ изъ Іены, повидимому все таки состоялись. Въ концѣ апрѣля стправился онъ, по всей вѣроятности, черезъ Галле, въ Берлинъ, гдѣ задержался на нѣсколько дней для устройства личныхъ и цѣлой массы, вызванныхъ смертью его матери дѣлъ. вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ-же былъ установленъ планъ путешествія и приобрѣтенъ наиболѣе желательный спутникъ. Черезъ Дрезденъ, Вѣну и Швейцерію семья Гумбольдта намѣревалась посѣтить сначала Италію и затѣмъ Францію. Александръ Гумбольдтъ хотѣлъ тоже присоедииться къ компаніи.

Встрѣтились въ Дрезденѣ. Пребываніе въ этомъ городѣ, затянувшееся до половины іюля, было также посвящено устройству семейныхъ дѣлъ. Оно было вмѣстѣ съ тѣмъ проникнуто совершенно тѣмъ же интересами, которые занимали Гумбольдта и въ Іенѣ; вѣдъ Кернеръ и его семья составляли какъ-бы колонію Шиллерова семейства. Оба брата Гумбольдты были своими людьми въ домѣ Кернеровъ и оба друга Шиллера были соединены цѣлою массой старыхъ и новыхъ связей. Кернеръ принималъ живѣйшее участіе въ работахъ, планахъ и идеяхъ Гумбольдта; это было соединеніе двухъ болѣе критическихъ, нежели продуктивныхъ натуръ,—двухъ строителей плановъ; они построили сообща планъ совместнаго критико-литературнаго труда. Чаще всего ихъ разговоръ возвращался къ Шиллеру. При этомъ, несмотря на согласіе въ существенныхъ пунктахъ этого вопроса, который былъ для обоихъ вмѣстѣ и вопросомъ сердца, возникало разногласіе въ отдѣльныхъ пунктахъ. Такъ было и теперь. Гумбольдтъ все еще былъ того мнѣнія, что Шиллеръ долженъ писать своего Валленштейна въ прозѣ; Кернеръ желалъ видѣть его въ стихахъ. И въ то время, какъ происходили эти пренія по поводу только еще начатаго произведенія, Шиллеровы письма и новѣйшія произведенія его музы давали новый матеріалъ, какъ для ихъ споровъ, такъ и для ихъ участія. Прекрасный прологъ къ Валленштейну былъ между тѣмъ законченъ и болѣе чѣмъ на половину оправдалъ мнѣніе Кернера, стоявшаго за ямбы. Между тѣмъ для украшенія альманаха на будущій годъ Шиллеръ рѣшилъ попытать свой талантъ въ совершенно новомъ родѣ. Въ состязаніи съ Гёте, написалъ онъ Надовессову пѣсню (*Nadowessisches Lied*) и цѣлый циклъ балладъ. Тутъ ужъ не было конца разговору о предѣлахъ и призваніи Шиллерова поэтическаго генія, о выборѣ матеріала и его обработкѣ, о различіи характера Шиллеровыхъ и Бюргеровыхъ балладъ. Каждый

выбиралъ себѣ стихотвореніе по вкусу. Кёрнеръ долженъ былъ взять подъ свою защиту «*Todtenklage*» противъ Гумбольдта, котораго она «бросала въ дрожь». Зато первый находилъ въ «Ивиковыхъ журавляхъ» нѣкоторую сухость содержанія, въ то время какъ послѣдній былъ въ восторгѣ отъ стихотворенія, въ которомъ находилъ отзвукъ своего Эсхила; стихотвореніе осуществляло для него въ эпической формѣ ту же идею, которую онъ въ философско-дидактической формѣ находилъ въ «Силѣ пѣсни» и въ «Художникахъ». «*Der Gang nach dem Eisenhammer*» былъ однимъ изъ любимѣйшихъ стихотвореній Кёрнера; его восхищало въ Фридолинѣ благочестіе сѣверяннина, которое Гумбольдту рѣшительно не нравилось ¹⁾. Тутъ друзья вообще расходились: помѣщенный Гумбольдтомъ въ *Musenalmach*'ъ за 1798 годъ переводъ отрывка изъ десятой Немейской оды ²⁾ Пиндара не встрѣтилъ одобренія со стороны Кёрнера. Для Гумбольдта не было ничего выше всего греческаго и изъ греческаго ничего выше Пиндара. Кёрнера же задѣлывалъ «миѳологическій аристократизмъ содержанія»; истинно греческое не представлялось ему непременно истинно человѣчнымъ и въ его сужденіяхъ объ истинно человѣчномъ порою проглядывало нѣмецкое филистерство.

Какъ бы то ни было, ихъ разговоры и встрѣчи связали ихъ сердечною любовью, и Гумбольдты неохотно покинули Дрезденъ. Въ началѣ августа прибыли они въ Вѣну. По прежнему намѣревались они отправиться отсюда въ Италію, и затѣмъ во Францію. Но Италія не была уже тою Италіей въ которой Гёте могъ безмятежно предаваться наслажденію искусствомъ и природой: теперь Италія стала театромъ военныхъ дѣйствій; шумъ оружія наполнялъ всю сѣверную часть полуострова, какъ нѣкогда во времена Ганнибала или Франциска I. Французскіе орлы стремились отъ побѣды къ побѣдѣ. Побѣдоносный Бонапартъ хозяйничалъ какъ диктаторъ и диктовалъ итальянскимъ государствамъ законы республики. Военныя силы Австріи не устояли передъ полководцемъ республики; его страсть къ завоеваніямъ не остановилась передъ достоинствомъ святѣйшаго престола, его страсть къ грабежу—передъ почтенною древностью памятниковъ искусства. При такихъ обстоятельствахъ посѣщеніе Италіи не было ни пріятно, ни безопасно. До Вѣны ежедневно доходили самые тревожные слухи объ ужасахъ войны и опасности путей сообщенія. Приходилось отказаться на время отъ посѣщенія этихъ мѣстъ; самый удобный выходъ изъ такого положенія заключался въ томъ, чтобы совершенно перевернуть первоначальный планъ. Государственный переворотъ 18 Фруктидора якобинизировалъ, правда, снова пра-

¹⁾ Переписка Шиллера съ Кёрнеромъ, IV, 109, Шиллера съ Гёте, III 174.

²⁾ Полный переводъ этой оды помѣщенъ въ G. W. II. 343 и слѣд.

вительство Франціи, но положеніе страны и столицы могло все же отнынѣ считаться болѣе безопаснымъ, чѣмъ оно было при безсильномъ правленіи свергнутой директоріи; кромѣ того предстояло заключеніе мира между Австріей и Франціей; оно состоялось 17 октября въ замкѣ Кампо Форміо. Еще ранѣе этого числа Гумбольдты покинули Вѣну; въ Зальцбургѣ Александръ разстался съ остальными членами семьи, которые въ концѣ октября были въ Мюнхенѣ и отсюда направились въ Базель. Гёте, отправившійся тоже на югъ и тоже задержанный на пути военными дѣйствіями, надѣялся встрѣтиться съ ними въ Швейцаріи; однако Гумбольдту не пришлось уже съ нимъ видѣться. Полученныя въ Базелѣ извѣстія о положеніи дѣлъ въ Парижѣ подкрѣпили его рѣшеніе и отклонили отъ намѣренія провести зиму въ Швейцаріи. Предпринята была только экскурсія въ Цюрихъ и повидимому въ ноябрѣ уже они благополучно прибыли во французскую столицу ¹⁾).

Втеченіе всего этого времени и еще значительную часть его пребывания въ Парижѣ, нашего путешественника болѣе занимали старыя впечатлѣнія нежели новыя. Въ бібліотекахъ Вѣны и Парижа онъ усердно разыскивалъ критическіе матеріалы для своего Пандара, посреди шума парижской жизни онъ сумѣлъ создать себѣ необходимый для занятій покой; какъ въ Аулебенѣ, читалъ съ женой «за нѣмецко-домашнимъ» чайнымъ столомъ Гомера по гречески. На ряду съ греческою его интересовала и нѣмецкая поэзія; чѣмъ далѣе отъ него были іенскіе и веймарскіе друзья, тѣмъ болѣе окружалъ онъ себя духомъ ихъ мысленія, поэзіи, дѣятельности: онъ написалъ тутъ свое сочиненіе о «Германѣ и Доротеѣ», о которомъ мы говорили выше. Живя въ занятіяхъ, связанныхъ съ родиной, онъ пытался также продолжать обмѣнъ мыслей съ друзьями, живущими на родинѣ. Молчаніе Вольфа беспокоило, но не утомляло его; ему очень хотѣлось заманить къ себѣ своего «филологическаго друга» сокровищами парижской бібліотеки. Къ Шиллеру и Кёрнеру онъ также по временамъ обращался съ обстоятельными письмами. То тотъ, то другой изъ нихъ хвасталъ «большимъ письмомъ» отъ Гумбольдта, и въ каждомъ изъ этихъ писемъ ссылали тоска по ихъ бесѣдѣ и обществу. Конечно, въ оживленной и говорливой столицѣ міра не было недостатка въ разговорахъ и людяхъ. Благодаря личной привлекательности и общественнымъ талантамъ г-жи Гумбольдтъ, ихъ домъ въ Парижѣ сдѣлался, какъ она сама писала Рахили, «point de ralliement» для нѣмцевъ и французовъ. Любовь къ людямъ заставляла самого Гумбольдта вступать въ многочисленныя сношенія. Такой рѣдкій человѣкъ, какъ графъ Шлабрендорфъ, долженъ былъ внушить ему самыя глубокія

¹⁾ Письмо къ Вольфу. G. W. V. 199, 202, 203. Пер. Шиллера съ Гёте III 277, 291, 318. Пер. Шиллера съ Кёрнеромъ IV, 50, 60, 64.

интересъ. Охотно встрѣчался онъ также со старыми знакомыми по Берлину и Ленѣ—съ Густавомъ фонъ Бринкманомъ и Вильгельмомъ фонъ Бургсдорфомъ. И если парижская жизнь привлекала его главнымъ образомъ «движеніемъ и разнообразіемъ», отличавшемъ ее въ цѣломъ, то, вѣрный своей методѣ и своимъ принципамъ, онъ не пропускалъ безъ вниманія и единичныхъ явленій, сколько нибудь выдающихся. Его привлекала не политическій, а художественный и ученый міръ. Онъ сблизился болѣе или менѣе съ французскими художниками Давидомъ и Форестье, съ молодыми нѣмцами, какъ напримѣръ, Шикомъ и Тикомъ, которые тамъ штудировали. Въ качествѣ собрата по профессіи познакомился онъ съ Виллуазономъ и Милленомъ, съ Du Theil'емъ, St. Croix, Corai, Chardon de la Rochette. Болѣе чужды были ему въ этотъ періодъ представители молодой французской литературы. Съ естествоиспытателями, какъ Лаландъ, Кювье и др., онъ познакомился по всей вѣроятности благодаря брату Александру, тоже пріѣхавшему весной 1798 года въ Парижъ. По крайней мѣрѣ хоть одинъ онъ служилъ ему замѣнсой далекой родины, отсутствующихъ друзей. Нѣсколько мѣсяцевъ провели братья подъ одной кровлей въ постоянномъ общеніи. Только въ октябрѣ имъ пришлось снова разстаться: Александръ предполагалъ отправиться изъ Марсейля въ Алжиръ и оттуда, какъ только позволятъ обстоятельства, на востокъ, но уже въ Марсейлѣ пришлось конечно, измѣнить этотъ маршрутъ. Какъ онъ задумалъ былъ первоначально, онъ соблазнялъ и Вильгельма, который только по семейнымъ соображеніямъ устоялъ противъ искушенія сопроводить брата ¹⁾.

Между тѣмъ тѣ именно интересы, которые посреди чуждой ему свѣтской жизни влекли его все снова къ тому, что было для него на родинѣ самага дорогого, сдѣлались побудительною причиной, заставившей его обратиться къ новому, въ томъ смыслѣ и съ тою цѣлью, которые онъ имѣлъ въ виду, создавая для себя программу этого новаго періода своего развитія. Эстетика и антропология стали для него органами, посредствомъ которыхъ онъ теперь видѣлъ и наблюдалъ; онѣ дали рамки для тѣхъ идей, которыми его обогатила масса новыхъ наблюденій и воззрѣній. Онъ поставилъ себѣ цѣлью изучить французскую національность, какъ особенную форму великаго образа человѣчества. Другой судилъ-бы о ней по ея общественнымъ проявленіямъ, по характеру ея политической дѣятельности, изучалъ бы ее въ ея государственныхъ людяхъ и полководцахъ; онъ попытался-бы выяснитъ непосредственно ея нравственное состояніе, религіозныя воззрѣнія народа, прослѣдилъ-бы вліяніе революціи на взгляды массы, на нравы и обычаи въ ея повседневной жизни. Иначе поступилъ онъ, одинъ изъ

¹⁾ Письмо къ Вольфу. G. W. V. 206. 207.

творцовъ классическаго періода нѣмецкой литературы; сынъ народа, политическій характеръ котораго заключался въ томъ, что онъ вмѣсто политическаго имѣеть исключительно одинъ только литературный характеръ. Почти исключительно въ ея эстетическихъ особенностяхъ изучаетъ Гумбольдтъ французскую націю какъ таковую. Въ театрѣ знакомится онъ съ французами; на основаніи стиля ихъ мимическаго искусства онъ отваживается дѣлать заключенія относительно ихъ національныхъ особенностей вообще. О театрѣ и балетѣ говорится въ его первомъ письмѣ изъ Парижа къ Кёрнеру ¹⁾; о французскомъ театрѣ пишетъ онъ и Шиллеру ²⁾; наконецъ о томъ-же предметѣ присылаетъ онъ статью Гёте для его Пропилей ³⁾.

Французскій актеръ — такъ говорятъ этотъ тонкій наблюдатель — изображаетъ въ общемъ болѣе страсть, нежели характеръ; онъ даетъ зрителю скорѣе картину минутнаго душевнаго состоянія; въ меньшей степени даетъ онъ ему заглянуть въ глубь своей души, въ процессъ развитія своего чувствованія. Поэтому передача различныхъ ролей не отличается богатствомъ индивидуальныхъ оттѣнковъ, она скорѣе слѣдуетъ опредѣленнымъ повторяющимся типамъ. И самое выраженіе страсти скорѣе физическое, природное, нежели высшее, идеальное; не въ ея внутреннихъ формахъ изображаетъ онъ ее, а въ ея внѣшнемъ проявленіи, не въ связи со всею душевною жизнью, а какъ нѣчто отдѣльное. Однимъ словомъ, игра французовъ слишкомъ натуралистична и недостаточна идеалистична. Человѣкъ, просто какъ человекъ, получаетъ при этомъ меньшую дозу наслажденія, чѣмъ даетъ хорошая нѣмецкая сцена. Зато тѣмъ болѣе высоко наслажденіе даетъ она художнику, потому что эти недостатки французской игры, съ другой стороны, искупаются ея бросающимися въ глаза преимуществами. Чѣмъ менѣе идеализируется природа изнутри, тѣмъ полнѣе украшается она всѣмъ блескомъ искусства извнѣ: какъ въ искусствѣ вообще, такъ особенно въ театральномъ искусствѣ, французъ ищетъ прежде всего техники, правильности, симметріи; въ этомъ отношеніи игра французовъ всегда эстетична, она соединяется съ другими родственными искусствами: въ артистѣ видны вмѣстѣ съ тѣмъ живописца, скульптора, танцовщика-пантомима; даже самая незначительная сторона его игры отличается художественною гармо-

¹⁾ Переп. Шиллера съ Кёрнеромъ IV, 69.

²⁾ Переп. Шиллера съ Гёте, IV, 140.

³⁾ Очень возможно, впрочемъ, что эта статья, написанная также въ формѣ письма и помѣченная: августъ 1799, — теперь въ G. W. III, 142 и слѣд. — есть просто сводъ прежнихъ эпистолярныхъ сообщеній; что по крайней мѣрѣ въ основаніи его легло главнымъ образомъ записанное имъ лѣтомъ 1799 года письмо къ Гёте, мы считаемъ себя въ правѣ заключить изъ письма Гёте къ Шиллеру V, №. 643

нiей и красотой. Напрасно было бы искать у него настоящаго слiянiя челоуѣка съ художникомъ: онъ всегда только стремится—и дѣлаетъ это артистически,—къ соединенiю декламационной, музыкальной, мимической и живописной красотъ. Ему угрожаетъ опасность обнаружить въ одно и тоже время слишкомъ много реализма съ одной стороны, слишкомъ много искусства—съ другой и вслѣдствiе этого впасть въ манерность и преувеличенiе. Поэтому для приданiя нѣмецкой сценѣ того, чего ей еще недостаетъ,—силы и блеска реализма, эстетической формы и законченности,—нужно только дальнѣйшее развитiе, тогда какъ нельзя даже и предусмотрѣть, какимъ образомъ французское сценическое искусство могло-бы достигнуть того, чего ему недостаетъ—настоящей правдивости, душевнаго и идеалистическаго изображенiя челоуѣка. Въ томъ, чѣмъ обѣ обладаютъ и чего имъ обѣмъ недостаетъ, отражается разница между нѣмецкимъ и французскимъ характеромъ вообще. «Въ нашей трагедiи», говоритъ Гумбольдтъ, «дается слишкомъ мало для глаза, слишкомъ мало въ эстетическомъ и еще менѣе въ реальномъ отношенiи». Теперь уже онъ не желалъ-бы болѣе видѣть Валленштейна написаннымъ въ прозѣ; именно въ стихотворной формѣ онъ видитъ теперь то средство, которое должно мало по малу привести нѣмцевъ къ тому, въ чѣмъ они отстали отъ французовъ. Почему-же однако они отстали? Виновата въ этомъ нѣмецкое своеобразие. Ихъ органы чувствъ вообще недостаточно развиты: ихъ ухо недостаточно музыкально, ихъ глазъ недостаточно развитъ въ художественномъ отношенiи. Они придаютъ слишкомъ мало значенiя внѣшнему, потому что совершенно справедливо придаютъ такъ много значенiя внутреннему. «По сравненiю съ французомъ нѣмецъ менѣе чувствуетъ необходимость въ знакахъ», онъ переходитъ «непосредственно и независимо отъ нихъ прямо къ самой вещи». Французъ удовлетворяется самою ординарною мыслью, если только она выражена въ удачной формѣ; нѣмецъ простоудушно хватается сразу за смыслъ и легко прощаетъ неясность и неправильность, если только его умъ и сердце удовлетворены. Французская метафизика усматриваетъ всю тайну философи почти исключительно во влiянiи символовъ на понятiя; у нѣмцевъ подобное заблужденiе встрѣчалось только въ такъ называемой популярной философи. Французская рѣчь плавная и свободная, нѣмецкая—запинающаяся, затрудненная. «Нѣмецъ желалъ-бы воспринимать непосредственно своимъ умомъ и чувствомъ; онъ желалъ-бы перешагнуть черезъ пропасть, отдѣляющую бытiе отъ бытiя и силу отъ силы такимъ образомъ, что они могутъ понимать другъ друга только посредствомъ символовъ». То, что онъ чувствуетъ и мыслить, представляется оратору, какъ и художнику несразу въ удачной формѣ. Мы нацiя, лишенная жестовъ (*eine gebärdenlose Nation*). У насъ меньше языка, чѣмъ у другихъ нацiй, между тѣмъ какъ «мы могли бы сказать

другъ другу больше другихъ и лучшее, чѣмъ у другихъ». Также точно и французскій актеръ раздѣляетъ недостатки своихъ поэтовъ и своей націи вообще. Если онъ изображаетъ всегда только страсть и почти никогда собственно характеръ, то это вина его поэтовъ, которые тоже рисуютъ только страсти и почти никогда живыхъ индивидуумовъ. Въ этомъ виноваты ихъ философы, занимающіеся почти исключительно логическою частью своей науки. Виноваты метафизики, не желающіе признать, и обратиться къ тому, что первично и необъяснимо. Наконецъ, въ томъ, что французскіе актеры часто неестественны, что ихъ привлекаетъ все поражающее, контрастирующее, — виновата вся нація въ цѣломъ: она именно этого желаетъ и сама часто дѣлаетъ.

Такимъ-то образомъ составляетъ Гумбольдтъ изъ суммы своихъ эстетическихъ наблюдений капиталъ «эмпирическаго изученія чело-вѣка»; такимъ образомъ эстетика служитъ вспомогательнымъ средствомъ для характеристики націй. Тонкость его наблюдений, тѣсное сплетеніе художественнаго и антропологическаго интересовъ привели его къ еще болѣе специальной области, — области, которую можно было-бы по праву разсматривать какъ узкую грань между философіей искусства и тѣмъ эмпирико-философскимъ знаніемъ людей, которое, согласно мнѣнію Гумбольдта, составляется изъ трансцендентальной философіи, антропологическаго естествознанія и философіи исторіи. О великомъ англійскомъ философѣ Бэконѣ мы знаемъ что мальчикомъ онъ предавался размышленіямъ о фокусничествѣ, юношей — статистикѣ и дипломатіи, и нетрудно понять какую прелесть эти необработанныя и заброшенныя науки могли имѣть для ума, создавашаго въ періодъ зрѣлости *Novum Organon* и *De augmentis scientiarum*. Подобнымъ-же образомъ пришелъ Гумбольдтъ къ размышленіямъ о физиономикѣ. Былъ моментъ, когда онъ искалъ въ ней того, что нашелъ впоследствии въ филологіи, подобно тому, какъ Бэконъ изучалъ принципы дешифрованія различнаго рода письменъ прежде чѣмъ создалъ методъ, при помощи котораго стало возможнымъ разгадать письменна природы. Гумбольдтомъ руководилъ при этомъ свойственный тому времени интересъ, результатъ наполовину просвѣтительнаго, наполовину сентиментальнаго любопытства относительно того, что заключено въ чело-вѣкѣ — отголосокъ его знакомства и бесѣды съ цюрихскимъ пророкомъ. Въ этомъ вопросѣ онъ сосредоточилъ все одушевлявшія его научныя воззрѣнія и мотивы развитія. Они выступаютъ передъ нами какъ-бы въ уменьшительномъ зеркалѣ, но тѣмъ болѣе ярко и выпукло, въ его письмахъ къ Гёте по поводу *Musée des petits Augustins*, написанныхъ вѣроятно только немногo позднее его размышленій о французскомъ театрѣ ¹⁾).

¹⁾ G. W. V, 363 и сл.; что они писаны къ Гёте явствуетъ изъ стр. 367.

Въ монастырѣ «Des petits Augustins» были собраны всѣ произведе- нія искусства, уцѣлѣвшія отъ революціоннаго разгрома и разсѣяныя до тѣхъ поръ въ разныхъ пунктахъ столицы; они были размѣщены въ хронологическомъ порядкѣ. Такимъ образомъ здѣсь можно было изучать исторію образовательныхъ искусствъ во Франціи. Но большею частью эти произведенія искусства были вмѣстѣ съ тѣмъ и историческими памятниками. Въ залахъ монастыря разставлены были въ хронологическомъ порядкѣ статуи, бюсты и рельефы многихъ наиболѣе замѣчательныхъ мужей Франціи, начиная эпохою Хлодвига и кончая временемъ Людовика XV. Такимъ образомъ посѣтитель имѣлъ передъ собою собраніе изображеній, иллюстрирующихъ исторію страны; при видѣ фигуры и лица выдающихся личностей передъ нимъ оживала картина прошедшаго времени. Это былъ, конечно, цѣнный матеріалъ для того, кто изучалъ «образъ человѣчества» со стороны исторической, естественно-научной и философской и готовился построить «сравнительную антропологию», на сопоставленіи различныхъ характеровъ разныхъ вѣковъ и народовъ. Тутъ онъ имѣлъ дѣло съ произведеніями искусства; онъ нашелъ, слѣдовательно, какъ бы заранѣе подобранный къ его эстетическимъ воззрѣніямъ матеріалъ: наглядное изображеніе, иллюстрирующее понятія и возможность, даже необходимость, отъ созерцанія и образовъ восходить обратно къ понятіямъ. А въ то же время это были изображенія людей. Гумбольдтъ, всегда стремившійся запечатлѣть въ своей памяти фізіономіи интересныхъ людей, любившій изучать лица людей, — проходилъ-ли мимо него взводъ солдатъ, или онъ самъ находился въ толпѣ, — могъ здѣсь прослѣдить человѣческія изображенія въ цѣломъ рядѣ временъ и поколѣній. Поэтому-то онъ посѣщалъ эти залы преимущественно съ цѣлью изученія фізіономій. Онъ разсматривалъ различныя головы, изучалъ въ ихъ чертахъ ихъ характеръ, сравнивалъ ихъ между собою во многихъ отношеніяхъ и стремился въ этомъ многообразіи различныхъ эпохъ найти, то нѣчто общее, принадлежащее націи въ цѣломъ, то отличительную черту того или другого вѣва.

Именно въ этомъ онъ видѣлъ истинный смыслъ и значеніе фізіономіи. О фізіономіи, какъ ее понималъ Лафатеръ, онъ былъ не лучшаго мнѣнія, чѣмъ авторъ «Fragments von Schwänzen». И по его мнѣнію также столько-же нелѣпо, сколько и самонадѣянно разсматривать черты лица какъ «нравственные гіероглифы» и надежный и ясный языкъ поступковъ и рѣчей замѣнять двусмысленнымъ и темнымъ языкомъ нѣсколькихъ такъ или иначе изогнутыхъ очертаній.

Мы относимъ ихъ къ этому времени, основываясь на стр. 376, гдѣ считается уже 10 лѣтъ съ начала революціи, и на стр. 399, изъ которой видно, что авторъ писалъ незадолго до своего путешествія въ Испанію.

Но существуетъ другая, истинная физиономика; насколько она не цѣлесообразна для потребностей обыкновеннаго знанія людей, настолько-же она необходима для высшаго. Правда, что она, на самомъ дѣлѣ, представляетъ «роскошь человѣческаго разума»; тѣмъ не менѣе для двухъ разрядовъ людей она имѣетъ большое значеніе, — именно для философа и для художника. Философъ обязанъ изучать человѣка во всѣхъ его мельчайшихъ проявленіяхъ и принимать въ соображеніе даже «тонкости тонкостей»; физиономія указываетъ ему прежде всего въ общемъ то мѣсто, на которое долженъ быть поставленъ индивидуумъ, а сосредоточивая вниманіе на индивидуальныхъ особенностяхъ онъ находитъ коррективъ для своего отвлеченно-логическаго познанія. Художникъ, съ другой стороны, изученіемъ истинной физиономіи ограждается отъ тѣхъ ошибокъ, которыя такъ часто дѣлаются во всѣхъ искусствахъ и которыя являются погрѣшностями противъ правды и богатства природы. Живописецъ, напримѣръ, научи'ся такимъ образомъ избѣгать соединенія неподходящихъ чертъ въ одномъ лицѣ, неподходящихъ лицъ въ одной картинѣ; онъ научится отличать выраженіе лица отъ самого лица, временное расположеніе чертъ отъ постояннаго; онъ научится изображать многообразіе въ различныхъ лицахъ и основной характеръ въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ. Но для того, чтобы физиономика могла дѣйствительно служить этой двойной цѣли, нужно, чтобы она совершенно перешла въ область наблюденія природы; очертанія лица должны такимъ образомъ разсматриваться лишь какъ природныя формы (als Naturformen) и задача физиономики заключается въ отвѣтъ на слѣдующій вопросъ: какъ поступаетъ природа при образованіи человѣческихъ формъ, безразличныхъ для внутренней общей организаци? Уже изъ этого слѣдуетъ, что физиономисту приходится отказаться отъ мысли устанавливать законы. Онъ знаетъ только «типы», т. е. извѣстныя, повторяющіяся формы, которыя могутъ быть только наблюдаемы, но не выводимы съ необходимостью изъ понятій.

Въ соотвѣтствіи съ этой теоріей дѣлаются въ письмахъ замѣчанія по поводу выставленныхъ въ музеѣ памятниковъ. Обращая вездѣ преимущественное вниманіе на «типъ» физиономіи и на его постоянство или измѣняемость въ рядѣ поколѣній и вѣковъ, онъ дѣлаетъ рядъ замѣчаній настолько-же тонкихъ и поучительныхъ, насколько толкованія Лафатера обыкновенно пусты и праздно. Онъ проводитъ параллели между типомъ физиономіи даннаго времени и характеромъ современной поэзіи. Его радуетъ наблюденіе, что «искусство достигаетъ значительнаго прогресса именно въ то время, когда и человѣчество получаетъ болѣе высокое и благородное выраженіе». Еще болѣе радуетъ его результатъ его наблюденій, а именно, — что прогрессирующее умственное и нравственное облагороженіе человѣческаго рода ведетъ за собою и замѣтное облагороженіе человѣческой наруж-

ности, какъ въ опредѣленныхъ чертахъ лица, такъ и въ подвижной игрѣ его выраженія.

Однако-же не только при посредствѣ эстетики, не только въ театрѣ, музеяхъ и картинныхъ галлерейхъ находить онъ матеріалъ для своихъ антропологическихъ тенденцій. Онъ не ограничивается одними художественными наблюденіями, онъ не забываетъ и своей роли туриста; реальная природа и человѣкъ подвергаются также его внимательному и вдумчивому наблюденію. Какъ привлекательна показала ему сразу Вѣна съ ея своеобразнымъ характеромъ — легкимъ юморомъ и веселою жизнерадостностью ея обитателей! Какъ понравился ему характеръ баварскаго народа! Какъ быстро онъ заинтересовался сравненіемъ южно-германскаго характера съ сѣверо-германскимъ и послѣдованіемъ вопроса, какое вліяніе онъ имѣлъ-бы на развитіе германскаго ума вообще, если-бы культура нѣмецкаго языка и литературы шла съ юга Германіи на сѣверъ, а не съ сѣвера на югъ ¹⁾. Его письма къ друзьямъ на родинѣ заключали въ себѣ главнымъ образомъ замѣчанія и размышленія объ искусствѣ; ему принадлежатъ и сообщенія о методѣ, применяемомъ Форестье при обученіи живописи, и о двухъ картинахъ Давида и Жерара, нашедшія мѣсто въ Пропилеяхъ, въ отдѣлѣ смѣси ²⁾. При случаѣ онъ сообщаетъ и о такихъ предметахъ, какъ филантропическія заведенія баварскаго министра Румфорда, соляныя копи возлѣ Берхтольдегадена, социальныя условія французской столицы ³⁾ подъ вліяніемъ новой свободы и т. п. Чѣмъ болѣе онъ приходилъ въ соприкосновеніе съ внѣшнимъ міромъ, тѣмъ болѣе оживлялся его интересъ ко всему существующему; чѣмъ долѣе оставался онъ на чужбинѣ, тѣмъ болѣе становился онъ туристомъ.

Вполнѣ вошелъ онъ въ эту роль во время путешествія, предпринятаго позднею осенью 1799 изъ Парижа въ Испанію, потому что отъ путешествія въ Италію ему пришлось наконецъ отказаться: вновь возгорѣвшаяся война преградила туда дорогу. Чтобы видѣть все-же какую-нибудь южную націю, какъ онъ пишетъ Вольфу, а также и потому, что онъ не надѣялся быть еще когда-нибудь также близко отъ Испаніи, какъ теперь, будучи въ Парижѣ, рѣшился онъ перебраться вмѣсто Альпъ черезъ Пиринеи. Въ сопровожденіи своей семьи и еще одного спутника тронулся онъ въ путь позднею осенью, не ранѣе конца августа во всякомъ случаѣ. Первоначально предполагалось, что его жена съ дѣтьми останется въ Пиринеяхъ, но она совершила съ нимъ путешествіе по всему полуострову. Черезъ Байонну

¹⁾ Письмо къ Вольтеру. V, 193 и сл. къ Шиллеру изъ Мюнхена, см. пер. Шил. съ Гёте III, 318.

²⁾ Тамъ-же III, 1, стр. 110 и слѣд.

³⁾ Переп. Шиллера съ Гёте. тамъ-же; Шил. съ Кёрнеромъ IV, 64.

достигли они С. Жанъ де Люцъ, на берегу Бискайскаго залива, и тотчасъ-же перебрались черезъ пограничную между Испаніей и Франціей рѣку Бидасоа. Изъ Витторіа, столицы Алавы, направились они черезъ Бискайскія провинціи къ берегамъ Эбро и оттуда черезъ пустынные равнины Кастиліи въ Мадридъ. Библіотеки и картинныя галереи столицы задержали ихъ здѣсь на болѣе продолжительное время; только въ послѣдніе дни этого года покинули они Мадридъ и направились южнѣе, къ Кадиксу, на морской берегъ. Намѣреніе посѣтить также и Лиссабонъ было оставлено. Изъ Кадикса путешественникамъ пришлось направиться снова къ сѣверу черезъ древнюю Бастуку, Севилью и Сиерру Морену. Въ долинахъ Валенсіа они мновали «плачущія развалины Италики» и остатки древняго Сагунта, нынѣшняго Мурвиедро. Изъ Барселоны они предприняли въ самомъ концѣ марта 1800 года поѣздку въ Монсерратъ. Черезъ долины и горы Каталоніи направились они снова къ Пиринеямъ и уже въ концѣ апрѣля прибыли опять въ Парижъ ¹⁾.

Это путешествіе впервые осуществило въ полной мѣрѣ всѣ тѣ цѣли, ради которыхъ Гумбольдтъ покинулъ отечество. Онъ не упустилъ, конечно, посѣтить библіотеку Эскуриала; вмѣстѣ съ женой наслаждался онъ сокровищами живописи, которыми обладаетъ столица Испаніи. Но рядомъ съ этимъ онъ отдавался и цѣлой массѣ другихъ интересовъ. «Я интересуюсь», писалъ онъ изъ Мадрида Вольфу, «массой вещей, можетъ быть слишкомъ многими». Если ихъ было и слишкомъ много, то они объединялись у него одною общею цѣлью, которою онъ уяснилъ себѣ еще до своего путешествія, но которая только теперь предстала передъ нимъ во всей своей ярости и осязательности. Онъ хотѣлъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этихъ словъ—«познакомиться съ людьми и съ націями». Онъ хотѣлъ «составить себѣ наглядное представленіе о различныхъ особенностяхъ», такое представленіе, котораго нельзя было почерпнуть изъ книгъ, а только изъ самостоятельнаго наблюденія. Какъ ранѣе портреты французскихъ королей иллюстрировали для него французскую исторію, такъ только теперь, увидѣвши испанскихъ погонщиковъ муловъ, онъ, какъ ему казалось, понялъ фигуру Санхо Панча,—ибо все дѣло именно въ томъ, чтобы «видѣть каждый предметъ на его родной почвѣ, каждый предметъ въ общей связи съ другими предметами, которые его одновременно поддерживаютъ и ограничиваютъ». Все его стремленіе заключалось въ

¹⁾ Письмо къ Вольфу, V, 216. Нѣкоторыя уклопенія въ нашемъ текстѣ отъ указаній Штеалера, II, 31—36, основываются на письмѣ къ Вольфу, Мадр. 20 дек. 1799, V, 211, а также на томъ, что, по нашему мнѣнію, упоминаніе о Сагунтѣ и Италикѣ въ стих. „In der Sierra Morena. (G. W. 1, 379 и сл.) есть только антиципация. Къ сожалѣнію, это стихотвореніе составляетъ единственный нашъ источникъ для большей части этого путешествія.

томъ, чтобы свободно отдаваться влиянію всего, что ему встрѣчалось и воспринять въ себя какъ можно больше высшаго міра. Онъ стремился «только скитаться, видѣть людей и говорить съ ними, жить и наслаждаться, воспринимать каждое впечатлѣніе во всей его полнотѣ и воспринятое сохранять». Чтобы придать современному болѣе ясности и живости, онъ ставилъ его въ историческую связь. Онъ пишетъ: «отъ современнаго положенія страны я обратился къ ея прошлому, ибо образъ человѣка пріобрѣтаетъ полноту только въ цѣломъ рядѣ временъ». Съ нимъ соединялъ онъ наконецъ и изученіе литературы; онъ сравнивалъ видѣнное имъ съ національною литературой, «чтобы и въ ней не пропустить чего-нибудь характернаго». Мы встрѣчаемся здѣсь съ его старымъ методомъ, въ которомъ отражаются мотивы, лежавшіе въ основаніи его прежнихъ эстетическихъ и фізіономическихъ опытовъ, — только на болѣе широкомъ базисѣ и въ болѣе широкомъ примѣненіи: онъ и здѣсь, слѣдуя своему старому эстетическому чувству стремится дополнить отвлеченное понятіе наблюденіемъ реального предмета, такъ какъ только такимъ образомъ могутъ найти удовлетвореніе высшія и лучшія силы человѣка «глубокозаложенное чувство правды и красоты». Исходя изъ этой эстетической точки зрѣнія, предъявляетъ онъ путешественнику требованіе «составить себѣ совершенное индивидуальное представленіе о видѣнномъ и передать другимъ это представленіе въ той-же полнотѣ и яркости». И это требованіе опять-таки приводится въ связь съ тою самою высшею цѣлью, которою онъ ясно сознавалъ при своихъ прежнихъ занятіяхъ фізіономіей. Какъ тамъ эта цѣль, крайне гибкая, совершенно сузилась, такъ здѣсь она широко разрослась. Эти умозрѣнія въ области фізіономіи должны были служить тому высшему знанію людей, которое необходимо для философа и художника. То же относится и въ стремленію туриста воспринять и передать индивидуальныя формы, какъ-бы истинную фізіономію природы и человѣка. И тутъ въ концѣ-концовъ имѣется въ виду ничто иное, какъ «пониманіе человѣка въ его высшемъ многообразіи». Оно тоже, по его мнѣнію, не приноситъ никакой пользы обыкновенному практическому знанію людей, но такая попытка должна быть желательна «для художника и для человѣка, — первому для созданія своего произведенія, второму — для саморазвитія».

Эта точка зрѣнія имѣла въ его душѣ глубокіе корни, исходила изъ самаго центра его міровоззрѣнія, и, развивая ее, онъ касался, казалось ему, самыхъ сокровенныхъ сторонъ души другого человѣка. Для Гёте описывалъ онъ музей августиновъ; для него-же составилъ онъ теперь подробный отчетъ о своей экскурсіи на Монсерратъ, къ которому онъ присоединилъ вышеизложенныя разсужденія. Этотъ отчетъ былъ только предварительнымъ наброскомъ подробнаго описанія путешествія, составленнаго имъ немедленно по возвращеніи въ Парижъ

и предназначеннаго для печати. Подобныя-же отрывки представляют и «Reiseskizzen aus Biscaya». Къ сожалѣнiю, мы все еще не имѣемъ тѣхъ отчетовъ, которые онъ посылалъ Гёте еще во время пути, по крайней мѣрѣ, до Мадрида ¹⁾.

Всѣ эти отрывки читаются съ большимъ удовольствiемъ. Сравнивая ихъ, также какъ и его отчеты о музеяхъ и театрахъ, со статьею о «Германъ и Доротея» или со статьями, помѣщенными въ «Hogen», становится яснымъ, насколько авторъ искуснѣе въ обрисовкѣ индивидуальных образовъ, нежели въ развитiи общихъ понятiй. Съ совершенною непринужденностью ведутъ насъ эти картины отъ предмета къ предмету, отъ интереса къ интересу. Мы какъ будто сами путешествуемъ: такъ естественно смѣняются передъ нами предметы, приковывая наше вниманiе своею пестрою смѣной. Мы стоимъ вмѣстѣ съ путешественникомъ на берегу моря, слѣдя за неустаннымъ движенiемъ волпъ; мы углубляемся вмѣстѣ съ нимъ во внутренность страны; живописные берега Бискайскаго залива исчезли какъ будто у насъ изъ глазъ; мы перешагнули границы двухъ странъ и нашъ глазъ не можетъ не замѣтить разницы въ характерѣ французскихъ басковъ по сю сторону и испанскихъ по ту сторону горъ. Путешественникъ прислушивается къ своеобразному диалекту послѣднихъ; отъ его вниманiя не ускользаетъ, какъ сильно они сохранили свою самобытность и своеобразие. Человѣкъ, съ которымъ Гумбольдту предстояло встрѣтиться позднѣе на общественномъ поприщѣ, оберпрезидентъ фонъ Финке (Vinske), желалъ два года спустя присутствовать въ засѣданiи генеральной юнты провинцiи Бискайя: Гумбольдтъ также обратилъ вниманiе на политическiя особенности этой провинцiи. Французскiе баски хотя и сохраняютъ нѣкоторую самостоятельность въ языкѣ, нравахъ и любви къ родинѣ, но въ другихъ отношенiяхъ сливаются съ окружающею национальностью; бискайцы въ Испанiа, напротивъ, остались какъ-бы обособленною нацией: сами управляютъ, имѣютъ свои особые законы, свои областныя привилегiи, которые ревниво охраняютъ. Такая разница объясняется различiемъ ихъ историческихъ судебъ. И тотчасъ-же отдѣльное историческое воспоминанiе связывается съ маленькимъ островомъ, названнымъ Фазаньямъ. Здѣсь Мазарини заключилъ Пиринейскiй миръ, здѣсь-же произошло свиданiе между Генрихомъ IV Кастильскимъ и Людовикомъ XI. Но отъ этихъ воспоминанiй отвлекаетъ насъ живая дѣйствительность, прекрасная природа Гвипуцкоа съ ея очаровательными горами и долинами. Совершенно отчетливо рисуется передъ нами весь горный пейзажъ. Мы

¹⁾ Перев. Шил. съ Кёрнеромъ. IV, 191. Статья о Монсератѣ предназначалась прежде всего для Пропислей (череп. Шил. съ Гёте, V, 302, 303), но вслѣдствiе прекращенiя этого изданiя, появилась въ Allgemeine geogr. Erheneriden Гаспара и Вертуха, за мартъ 1803. Она помѣщ. въ G. W. Ш. 173 и сл.; тамъ-же, стр. 213 и сл. Reiseskizzen aus Biscaya.

видимъ покрывающую его растительность, видимъ, какъ люди живутъ и какъ обрабатываютъ землю. Но вотъ пейзажъ оживаетъ: тамъ сильныя руки работаютъ надъ твердыми глыбамъ лавы; тутъ слышится громкій скрипъ запряженныхъ волами телѣгъ и сливающихся съ нимъ звонъ колокольчиковъ, привязанныхъ къ упряжѣ муловъ. Наконецъ вступаемъ мы въ городъ Витторія. Намъ остается еще время посматрѣть нѣсколько картинъ въ церквахъ и частныхъ коллекціяхъ; мы знакомимся съ учебнымъ клерикомъ, докторомъ Лоренцо Трестумеро, который даетъ намъ объясненія относительно бискайскаго языка, статистическаго положенія провинціи, ея древностей. Разговоръ съ простолудиномъ знакомитъ насъ съ характеромъ и воззрѣніями націи, ея пословицы—съ ея нравами и обычаями, съ умомъ и взглядами. Словомъ, мы знакомимся со страной и народомъ самымъ удобнымъ способомъ и незамѣтнымъ образомъ сливается цѣлая масса чертъ, пополняющихъ прелестнѣйшую характеристику.

Привлекательнѣе еще и отчетливѣе описаніе Монсеррата, этой похожей на островъ горы, съ ея монастыремъ и кельями отшельниковъ. Мы знакомимся съ нимъ, подымаясь на него. Пейзажъ измѣняется съ каждымъ нашимъ шагомъ, съ каждымъ поворотомъ. Твердыми, ясными штрихами написаны картины величественной и совершенно своеобразной природы. Рисуемое ихъ воображеніе скромно въ употребленіи красокъ, подобно разуму. Колоритъ не отличается блескомъ и яркостью, но онъ свѣтелъ и производитъ сильное дѣйствіе. Этихъ картины Вильгельма Гумбольдта отличаются отъ богатой красками живописи, которою такъ искусно написалъ свои картины тропическаго міра его братъ Александръ. Здѣсь выносишь впечатлѣніе, какъ будто созерцающее око и воспринимающая душа не нуждаются въ посредничествѣ фантазіи. Созерцаемое воспринимается и чувствуется въ самый моментъ созерцанія и запечатлѣвается простыми и ясными штрихами въ самой глубинѣ души. Это скорѣе характеристика нежели живопись; чувствуется, что художникъ обладаетъ чрезвычайно тонкимъ чувствомъ формы, тогда какъ чувство красокъ развито слабѣе. Первые онъ передаетъ съ удивительною вѣрностью изображаемому, послѣднія онъ почерпаетъ болѣе изъ собственнаго ощущенія, нежели изъ изображаемой имъ природы.

Тутъ именно эстетическій реализмъ, исповѣдуемый Гумбольдтомъ, встрѣчаетъ свой предѣлъ. Описаніе природы есть лучшій пробный камень для истинно реалистическаго чувства. Въ путевыхъ очеркахъ Гумбольдта оно занимаетъ всегда второстепенное мѣсто, — на первомъ планѣ стоитъ изображеніе человѣка. Образы, какъ природы, такъ и человѣка сколько онъ ни старается видѣть ихъ «правдиво и ярко» — отражаются для него всегда въ элементахъ внутренней жизни, въ зеркалѣ чувства и интеллекта. Представляющая изъ себя подобіе острова гора близъ Барселопы являлась для него символомъ замкнутаго человѣческаго со-

стоянія, которое имѣетъ здѣсь свое убѣжище. Въ монастырѣ и уединенныхъ кельяхъ этой горы находило удовлетвореніе стремленіе къ жизни наединѣ съ собой и съ природой. То же настроеніе вызываетъ и Гумбольдтъ своимъ описаніемъ; «оно выводитъ читателя, какъ выразился Шиллеръ, изъ міра внѣшняго и вводитъ его въ его собственный внутренний міръ». Гёте въ своемъ отрывкѣ, озаглавленномъ «Die Geheimnisse», задавался мыслью представить въ образахъ религіозной символистки тайну человѣческаго существованія и чувства. Впослѣдствіи онъ называлъ это стихотвореніе «духовнымъ Монсерратомъ», имѣя въ виду статью Гумбольдта, въ которой тотъ находилъ, что «смыслъ этого стихотворенія онъ тогда только вполне уразумѣлъ и пережилъ, когда, подобно Гётевскому пилигриму, поднимался по тропинкѣ, ведущей въ Монсерратскій монастырь. Кресты на обнаженныхъ утесахъ Монсеррата напоминали ему тотъ крестъ,

„zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet
zu dem viel tausend Herzen warm gefiehet“¹⁾;

онъ понялъ тамъ, что между собственнымъ воззрѣніемъ и благочестивымъ суевѣріемъ все же «человѣкъ является посредникомъ» — какъ въ стихотвореніи Гёте:

„Humanus heisst der Heilige, der Weise“²⁾.

Вслѣдствіе этого онъ въ своемъ описаніи этой замѣчательной горы останавливается преимущественно на образѣ жизни отшельниковъ, для которыхъ она служитъ пріютомъ. Описывающій ощущаетъ въ себѣ самую нѣкоторую долю характера и настроенія, которые онъ предполагаетъ въ отшельникахъ. Его привлекаетъ мысль разяснить психологическое состояніе, которое приводитъ къ выбору подобнаго образа жизни, и онъ разясняетъ его, переносясь совершенно въ душевное состояніе этихъ разочаровавшихся въ суетѣ міра и отрезвившихся отъ его очарованія людей.

Но подобныя размышленія не всегда прямо вызываются, какъ въ этомъ случаѣ, самимъ предметомъ. Онъ самъ всегда склоненъ давать такой оборотъ своимъ описаніямъ. Такъ, переступая рубежъ, отдѣляющій Францію отъ Испаніи, онъ размышляетъ о соотношеніи историческихъ и физическихъ вліяній, о преобладающей силѣ нравственныхъ вліяній по сравненію съ вліяніями природы. Такъ, въ другомъ мѣстѣ, видъ моря наводитъ его на цѣлую систему мыслей. Онъ сравниваетъ непрерывное, угрожающее всему земному шару движеніе океана съ вѣчнымъ покоемъ тѣхъ незыблемыхъ массъ, которыя онъ видѣлъ въ Пиринеяхъ. Въ томъ и другомъ онъ открываетъ «ди-

1) Т. е.: къ которому прибѣгло много тысячъ душъ, котораго молило много тысячъ сердецъ.

2) Т. е.: Гуманусомъ зовется тотъ святой, тотъ мудрый.

кіе элементы хаоса, образы, въ которыхъ природа являетъ человѣку свое величіе, въ которыхъ дѣйствуетъ темная и неразгаданная сила, и рядомъ съ которыми всякая духовная сила умолкаетъ и исчезаетъ». И все-же на ряду съ этимъ существуетъ сила жизни, всему присущее стремленіе къ развитію: изъ трещины скалы поднимается растеніе, вездѣ посреди запустѣнія возникаетъ живая организація. И въ человѣкѣ происходитъ то же самое, что въ природѣ. И въ немъ безформенная матерія, неопредѣленное стремленіе борется съ регулирующею мыслью и образующимъ созерцаніемъ. Для поэтическаго воображенія было-бы, по его мнѣнію, достойною задачей проникнуться этой аналогіей силъ человѣка и природы и положить ее въ основу новой космогоніи. Дидактическая поэзія обогатилась-бы этимъ путемъ новымъ, неизвѣстнымъ еще образцомъ. Нужно-бы представить, какъ неорганизованная матерія сочетается вездѣ съ стремленіемъ къ развитію; борьба и соединеніе самихъ творческихъ силъ должны бы быть представлены въ большой космогонической картинѣ. Видѣлъ-ли Гумбольдтъ, излагая эти размышленія, въ Шиллерѣ того поэта, которому такая задача была бы по силамъ? Неизвѣстно; но во всякомъ случаѣ онъ охотнѣе всего встрѣтилъ-бы такую могучую попытку со стороны Шиллера. И только когда Шиллера не стало, онъ приступилъ самъ къ этой задачѣ. Этотъ рядъ мыслей соприкасается въ нѣкоторыхъ пунктахъ съ идеями его статей въ «Норел». Онъ никогда не упускалъ ихъ совершенно изъ виду; особенную же живость они приобрѣли для него, когда онъ узналъ изъ устъ брата о тѣхъ чудесахъ природы новаго свѣта, которыя тотъ видѣлъ и изслѣдовалъ. Восемь лѣтъ спустя послѣ появленія статьи о Монсерратѣ, онъ, живя въ Альбано, обратился съ большимъ стихотвореніемъ къ вернувшемуся изъ Америки брату. Съ привѣтствіемъ къ нему онъ перешлетаетъ въ нѣсколькихъ возвышенныхъ стансахъ тѣ самыя космогоническія идеи, которыя онъ намѣтилъ когда-то въ прозѣ.

Но и теперь уже эти—и не только однѣ эти—идеи выливаются у него въ поэтическую форму. Стихотвореніе, написанное во время его путешествія по Испаніи можетъ служить самымъ лучшимъ свидѣтельствомъ всегда присущаго ему стремленія къ внутреннему пониманію внѣшняго міра, — природа въ концѣ-концовъ была для него только «полнымъ чувствомъ знакомъ», символомъ духовнаго. Видѣтъ вещи онъ хотѣлъ такъ, какъ творецъ «Германа и Доротея»; а онъ мыслилъ и писалъ о нихъ, какъ авторъ *Spaziengang's*. Это было во время путешествія по Испаніи, въ горахъ Сьерра Морена; онъ ждалъ тогда появленія на свѣтъ сына ¹⁾. Тутъ онъ впервые ощутилъ потребность выразить свои чувства въ поэтической

¹⁾ Его жена родила позднѣе въ Парижѣ дочь, см. письмо къ Вольфу отъ 26 мая 1800. G. W. V, 216.

формѣ. Выбора онъ не имѣлъ при этомъ: единственно возможный для него тонъ и манера были Шиллеровы. Въ двустипіяхъ, которыя своими безчисленными оборотами и образами напоминаютъ Шиллерову «Элегію», привѣтствуетъ онъ заранѣе ожидаемаго ребенка. Въ энергія воображенія онъ, правда, не могъ сравниться съ Шиллеромъ, но за то онъ глубже чѣмъ послѣдній — въ сущности глубже, чѣмъ это позволительно художнику, — погружается въ область мысли и оплодотвореннаго идеями чувства. Въ русло поэзіи направилъ онъ всѣ тѣ источники, которыми питалась его внутренняя жизнь; онъ вложилъ въ него сокровеннѣйшую глубину своей души — вложилъ вполне, безъ остатка. Здѣсь передъ нами его profession de foi, вся совокупность его тогдашнихъ воззрѣній на жизнь и развитіе.

Отъ полной движенія исторіи, отъ богатой формами жизни отсылаетъ насъ его стихотвореніе къ сокровищамъ, которыя человѣкъ хранитъ въ своей груди. Оторванный отъ направляющей руки природы — такъ изображаетъ поэтъ картину настоящего — человѣкъ, въ борьбѣ за свободу, отважно пустился въ далекое, бурное море. Но божественная свобода осквернена. Трусовость и необдуманность несутъ вину за то, что благороднѣйшая изъ цѣлей не достигнута. Нужно «во тьмѣ высоко вздымающагося моря» достигнуть полярной звѣзды, этой вѣрной руководительницы. Нужно сосредоточить свое вниманіе на голосѣ божества. Онъ звучитъ для человѣка въ его собственной груди, и тамъ именно находится ключъ къ пониманію богатой образами, населенной безчисленными силами природы. Нужно только изнурѣ настроиться согласно съ гармоніей міровъ:

Willst Du ihn finden, den Punkt, auf den Du mit Sicherheit tretend,
Leicht Dich, wohin Du nür willst, rechtshin und linkshin bewegst.
Wo Dein forschender Geist, stets schweifend weiter und weite,
Endlich die Räume sie all', all' die nnendlichen misst,
Wo Du Dich selbst umschaffst nach des Alls unendlichem Urbild,
Rings versammelnd in Dir, was zu erfassen Du magst.
Sich! er ruhet in Dir! In Dich versenke die Kräfte.
"Welche, göttlich und frei, reichlich dein Busen bewahrt!" 1)

Двойственна поэтому задача образованія, подготовляющаго къ истинному и благородному человѣческому существованію; человѣкъ долженъ всѣми силами своей души стремиться къ природѣ и пустить

1) Т. е.: Если хочешь найти то мѣсто, твердо стоя на которомъ, ты могъ-бы двигаться легко, куда пожелаешь — направо, налево; гдѣ твой испытующій духъ, неустанно стремишься все дальѣе и дальѣе, измѣряешь въ концѣ-концовъ всѣ, всѣ безконечныя пространства; гдѣ ты пересоздаешь самого себя по безконечному прообразу вселенной, собирая въ себя все, что ты можешь постигнуть: смотри, оно въ тебѣ самомъ! Въ себя самого погрузи тѣ силы, которыя, божественныя и свободныя, въ избыткѣ хранить твоя грудь.

въ нее крѣпкіе корни; воспринятое да старается онъ одушевлять дуповеніемъ своей внутренней жизни и претворять въ новые образы;

„Dass in der einsamen Brust, befruchtet von zeugender Fülle,
Stets die empfundene Natur neu sich gestalte in Dir“ 1).

Это тотъ путь развитія, который дѣлаетъ человѣка способнымъ ко всякому дѣйствію, воспріимчивымъ ко всякому наслажденію. Бодро, безъ трусливаго стремленія управлять жизненными путями, ожидаетъ онъ тогда благосклонности судьбы, принимаетъ то, что ему посылаетъ случай, и не пренебрегаетъ ни однимъ изъ цвѣтовъ жизни;

Denn wer die meisten Gestalten der vielfach umwohneten Erde.
Die er vergleichend ersah, trägt im bewegenden Sinn,
Wem sie die glühende Brust mit der fruchtbarsten Fülle durchwirken
Der hat des Lebens Quell tiefer und voller geschöpft* 2).

Это былъ тотъ-же образъ мысли и чувствованія, который Гумбольдтъ вычиталъ изъ комментированнаго имъ Гётевскаго эпоса—только выраженный въ поэтической формѣ. Она ясно выразилась въ первомъ-же большомъ письмѣ къ Шиллеру, написанномъ изъ Парижа. «Извѣстный родъ философствованія и ощущенія», пишетъ Шиллеръ по полученіи этого письма, «сходенъ съ религіей; онъ отрѣзываетъ извнѣ и изолируетъ, увеличивая вмѣстѣ съ тѣмъ внутреннюю глубину». Вѣрнѣе, однако, слѣдующее: подобно тому какъ вслѣдствіе поляризаціи электричество накапливается и усиливается, такъ и этотъ образъ мысли и чувствъ тѣмъ болѣе въ Гумбольдтѣ напрягались, чѣмъ болѣе они отличались отъ французскихъ воззрѣній, отъ ихъ прикрытаго идеализмомъ матеріализма, отъ показности и поверхностности повыхъ французовъ, отъ ихъ суетливаго, блестящаго, тщеславнаго, суетнаго и наклоннаго къ эффекту характера. Какая неизмѣримая разница между бесѣдой съ Шиллеромъ и салоннымъ разговоромъ, единственно возможнымъ въ Парижѣ! Какъ его раздражала пустота и пошлость этого рода разговора; безпрестанный обманъ и самообманъ, который словами и остротами замѣняетъ сущность, у котораго потребность правды удовлетворяется фразой, остроумнымъ словечкомъ! Какъ сильно его отталкивало и заставляло уходить въ себя выносимое имъ изъ каждаго разговора убѣжденіе, что эти остроумные и блестящіе французы, какъ выразился Гёте «совершенно не

1) Т. е.: Чтобы въ одинокой груди воспринятая природа, оплодотворенная изобильнымъ творчествомъ, всегда претворялась у тебя въ новые образы.

2) Т. е.: Ибо тотъ, кто носитъ въ своей дѣятельной душѣ большинство образовъ многообразно населенной земли, сравнительно имъ наблюдаемыхъ—тотъ, чью пламенную грудь они проникаютъ плодотворнѣйшею полнотой.—глубже и совершеннѣе исчерпать источникъ жизни.

понимають, что въ человѣкѣ можетъ быть что-нибудь, не внесенное въ него извнѣ». Въ такіе моменты онъ живо чувствовалъ свое «нѣмецество». Онъ чувствовалъ, что вся его мыслительная и эмоциональная системы выросли на почвѣ нѣмецко-национальной самобытности и вслѣдствіе этого чувство и пониманіе нѣмца стало для него вѣрнымъ мѣриломъ для характеристики чуждой национальности. Этотъ контрастъ страсти и характера, жизни внѣшней и жизни внутренней, эта противоположность французской и нѣмецкой манеры составляютъ предметъ его статьи о французскомъ театрѣ. Развитіе мысли, что какъ этическое, такъ и эстетическое содержаніе Гётевскаго эпоса тождественно съ нѣмецкимъ, отечественнымъ его характеромъ, составляетъ кульминаціонный пунктъ его разбора «Германа и Доротея». Никто не могъ быть болѣе нѣмцемъ, нежели Фоссъ; въ этомъ убѣдился самъ Гумбольдтъ, когда встрѣтился съ нимъ лицомъ къ лицу въ Эйтинѣ. Его переводъ Овидія былъ въ нѣкоторомъ смыслѣ не нѣмецкимъ, но именно только въ томъ смыслѣ, что его языкъ болѣе голштинскій, нежели нѣмецкій, и что языкъ этотъ нѣсколько эллицированъ и латинизированъ. Гумбольдту, съ давнихъ поръ привыкшему разсматривать греческое и нѣмецкое какъ близко родственное, послѣднее обстоятельство мѣшать не могло. Кромѣ того онъ перенесъ личное впечатлѣніе, произведенное на него порядочностью Фосса, на его переводный языкъ. Овидій, котораго онъ читалъ въ Парижѣ, привелъ его въ восторгъ. Онъ вызвалъ къ жизни все его «нѣмецество». «Счастливецъ» — такъ писалъ онъ Вольфу — живя въ Германіи и окруженный нѣмцами, вы и представить себѣ не можете, какъ много даетъ человѣку такой сильный, благородный и вдохновенный языкъ, какъ много значатъ такіе образы для чувства, такіа мысли для ума и сердца. Но въ этой пустынѣ, вдали отъ звука нѣмецкой рѣчи, ея звуки дѣйствуютъ совершенно иначе на нѣмецкое ухо. Въ самомъ дѣлѣ, здѣшнее безсердечіе и отсутствіе силы очень надѣдають, и я продолжаю держаться мнѣнія, что несмотря на то многое, что удовлетворяетъ здѣсь мое любпытство, единственную пищу для моихъ лучшихъ силъ я нахожу въ повышенномъ и, вслѣдствіе контраста, особенно живомъ сознаніи ббльшей полноты и силы нѣмецкой натуры». Выраженіе этого сознанія, соединенное съ тѣмъ, что онъ разъ назвалъ своею причудой — мнѣніе о сходствѣ между собою грековъ и нѣмцевъ и языковъ обѣихъ націй — не могло, конечно, не отразиться на стихотвореніи, которое онъ положилъ въ колыбель своего еще не родившагося ребенка. Онъ обѣщалъ ему, что его родители «тщательно и заблаговременно будутъ его читать нѣмецкимъ духомъ». Онъ почиталъ его счастливымъ, такъ какъ въ языкъ Тевтоніи судьба дастъ ему средство легче усвоить себѣ высокое человѣческое развитіе, своеобразіе и лучше наблюдать высоты и низины человѣческой природы — на томъ языкѣ, который

. . . von eigenem Stamm entsprossen, und kräftig und edel,
Näher des Griechen Flug rauschende Fittige schwingt“¹⁾).

считалъ его счастливымъ, потому что онъ, хотя и на чужбинѣ, но родился нѣмцемъ и восхвалялъ наконецъ «тотъ мало еще понятный народъ»,

das still und bescheiden,
Aber tieferen Ernsts, kühnere Bahnen sich bricht;
Doch sie kommt die vergeltende Zeit, schon winkt sie nicht fern mehr,
Wo es dem Folgegeselecht zeichnet den leichtenden Pfad.
Nicht mit Waffen wird es, nicht Kämpfen in blutigen Kriegen,
Sichrer herrschet durch's Wort, edler sein schaffender Geist.
Wie in den Tagen des Herbsts die Sonne, von Nebel umschleiert,
Durch den verhüllenden Flor einzelne Strahlen erst schießt;
Aber kräftiger bald zertheilt sie die fliehenden Wolken.
Und auf die freudige Flur giesst sie das flammende Licht“²⁾).

Здоровые, опредѣленные взгляды, живое и глубокое пониманіе чуждаго строя жизни, пропущенное черезъ внутреннее ощущение и повышенное нѣмецко-патріотическимъ чувствомъ — таковъ взятый въ цѣломъ результатъ его путешествій для развитія его индивидуальности. Въ его такимъ образомъ настроенномъ и возбужденномъ духѣ, филологическія и эстетическія занятія тотчасъ же зародили сѣмя, которому предназначено было принести самые плодотворные результаты. Его историко-философскія и антропологическія идеи, приводившія его то въ обширныя, съ необозримымъ горизонтомъ, области, то въ такія тѣсныя ущелья, какъ область фізіономики, нашли наконецъ средоточіе и основаніе. Въ поискахъ за предметомъ, который объединилъ бы всѣ его взгляды, за наукой, которая наполнила-бы все его существо, онъ напалъ на лингвистику. Изъ Мадрида, въ концѣ 1799 года, пишетъ онъ Вольфу о своемъ намѣреніи пройти практически, на примѣрахъ, теорію эстетики. Съ этою цѣлью, говоритъ тамъ, онъ изучилъ старую французскую литературу и изучаетъ испанскую литературу и языкъ. Еще болѣе, чѣмъ литература, интересуетъ его языкъ. «Я чувствую», прибавляетъ онъ, «что современемъ еще болѣе предамся изученію языковъ, и что обстоятельное и философски обоснованное сравненіе нѣсколькихъ языковъ есть

¹⁾ Т. е.: который, происходя отъ родного корня — сильный и благородный, замахиваетъ своими шумящими крылами болѣе сходно съ полетомъ грека.

²⁾ Т. е.: ...который, тихо и скромно, но съ глубокою серьезностью, пробираетъ себѣ смѣлые пути; но придетъ воздающее время — оно уже близко — когда онъ укажетъ грядущему поколѣнію свѣтлую тропу. Не силой оружія, не кровопролитными войнами достигнетъ онъ господство; его творческій духъ будетъ господствовать вѣрнѣе и благороднѣе — силою слова. Такъ, въ осенніе дни закутанное туманомъ солнце пропускаетъ сквозь покрывающую дымку сначала только отдѣльные лучи, по вскорѣ властно разсѣиваетъ бѣгущія облака и проливаетъ на веселую равнину ослѣпительный свѣтъ.

трудъ, который можетъ, пожалуй, оказаться мнѣ по плечу послѣ нѣсколькихъ лѣтъ серьезной работы» ¹⁾).

Такимъ образомъ лингвистика заняла мѣсто рядомъ съ эстетикой и философiей и, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе отодвигала ихъ на задній планъ. Но начало занятiй въ этой области носило на себѣ слѣды мѣста и обстоятельствъ. Первые работы въ области лингвистики относились къ старо-испанскому языку, къ языку тѣхъ басковъ, которые такъ сильно привлекали его вообще своими стародавними особенностями и своею самобытностью. Это-то изученiе языка басковъ задерживало его возвращенiе на родину. Осенью 1800 года, въ то время какъ его грузья съ недѣли на недѣлю ждали его возвращенiя ²⁾, онъ сидѣлъ усидчиво за книгами и рукописями, какiя имѣлись по этому вопросу въ парижской библиотекѣ. Такъ прошла зима. Снова назначилъ онъ срокъ для своего возвращенiя въ Эрфуртъ и Іену — конецъ мая ³⁾, и снова помѣшалъ баскiй языкъ. Съ цѣлью ознакомиться на мѣстѣ съ остатками старобаскаго языка и литературы и пополнить свои книжныя знанiя устными сообщенiями, онъ рѣшился вдругъ отправиться еще разъ въ Испанiю, оставивъ свою семью въ Парижѣ ⁴⁾. Нѣсколько недѣль провелъ онъ среди этихъ занятiй въ баскскихъ провинцiяхъ Испанiи и Францiи, и затѣмъ съ собранными матеріалами вернулся къ своимъ и оставилъ вмѣстѣ съ ними въ концѣ лѣта Парижъ. Послѣ продолжительной разлуки провелъ онъ нѣсколько дней съ тѣми, отсутствiе которыхъ на чужбинѣ особенно сильно ощущалъ. Гѣте, впрочемъ, отсутствовалъ; въ Веймарѣ онъ засталъ только Шиллера, отложившаго, въ ожиданiя его прiѣзда, свою поѣздку къ Кёрнеру ⁵⁾. Въ Бургернерѣ проснулись воспоминанiя еще болѣе старыя, о времени переписки и общихъ занятiй съ Вольфомъ и немедленно условлено было свиданiе и съ нимъ ⁶⁾. Отсюда онъ направился наконецъ въ Берлинъ и Тегель, куда нѣсколько времени спустя послѣдовала за нимъ и его семья. Здѣсь онъ прежде всего возобновилъ сношенiя съ Генцомъ. Въ своемъ дневникѣ послѣднiй отмѣчаетъ подъ 13 сентября «большой разговоръ между полночью и тремя часами», происходившiй между нимъ и Гумбольдтомъ о важнѣйшихъ предметахъ и интимнѣйшихъ отношенiяхъ въ его жизни; далѣе—въ мартѣ—упоминается о поѣздкѣ къ Гумбольдту въ Тегель ⁷⁾. Врядъ-ли что-либо

1) G. W. V. 264.

2) Письмо Шиллера къ Кёрнеру отъ 21 октября 1800 г., Переп. IV, 197, ср. тамъ-же 191 и письмо Гумб. къ Вольфу G. W. V. 216.

3) Письмо Рахли отъ 15 апрѣля 1801.

4) Собственныя указанiя Гумбольдта въ Mithridates IV, 277.

5) Письмо Шиллера къ Кёрнеру, Переп. IV, 225 и 229.

6) Письмо Гумбольдта къ Вольфу, G. W. V. 237 и слѣд.

7) Grenzboten, 1846, № 42, стр. 98 и 99.

могло лучше посвятить Гумбольдта въ тогдашніе порядки Пруссія и Берлина, какъ положеніе и обстоятельства, въ которыхъ находился въ то время Генцъ. Окруженный всеобщю фривольностью столицы, онъ опустился до невообразимой безнравственности и распущенности. По отношенію къ лишенной достоинства и корыстолюбивой политикѣ прусскаго правительства онъ, вопреки своему официальному положенію чиновника, представлялъ собою литературную оппозицію, которая оплачивалась англійскимъ золотомъ и австрійскимъ покровительствомъ, и превратился изъ апологета мира въ проповѣдника войны. Обстоятельства, составлявшія задній планъ этой Генцевской дѣятельности, не могли быть понутру и Гумбольдту. Мало удовлетворенный общественными условіями Берлина, чувствуя отвращеніе къ политическому ничтожеству своего отечества, онъ, вѣрный своему обыкновенію, погрузился въ изученіе языка басковъ ¹⁾. Также какъ и Генцъ, хотя и по другимъ причинамъ, стремился онъ всѣмъ сердцемъ снова разстаться съ Берлиномъ и случилось такъ, что оба почти одновременно покинули арену своихъ юношескихъ приключеній. Путемъ форменнаго бѣгства устроилъ одинъ свой переходъ на австрійскую службу. Почетвѣйшая миссія привела другого, послѣ годоваго отдыха на родинѣ, въ Италію.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

И т а л і я.

Десять лѣтъ, наиболѣе зрѣлые годы въ жизни мужчины, провелъ Гумбольдтъ въ непрерывномъ досугѣ. Со всѣмъ свойственнымъ этому возрасту рвеніемъ и такъ, какъ будто-бы достиженіе цѣли должно было увѣнчать собою высокія честолюбивыя мечты, предался онъ одному дѣлу: самообразованію. Онъ относился къ нему съ тою серьезностью, тою добросовѣстностью, которая болѣею частью примѣняются только къ принятымъ на себя профессиональнымъ обязанностямъ. Наслажденіе свободою онъ повысилъ постояннымъ трудомъ, самый трудъ ощущалъ непосредственно какъ наслажденіе. Избрать такой родъ жизни и слѣдовать ему было возможно только для такой идеалистически-сосредоточенной, такой глубокой и богатой и вмѣстѣ съ тѣмъ такой эпикурейски-эгоистической натуры, какъ его. Направляемая одною лишь цѣлью самообразованія, его жизнь вращалась исключительно только вокругъ его «я». Всякому другому чело-

¹⁾ Письмо Гумбольдта къ Вольфу. G. W. V. 240.

вѣку съ такою-же ограничевною продуктивною, было-бы трудно сохранишь при этомъ внутреннее равновѣсіе. Рядомъ съ серьезною работою надъ самимъ собою лежала опасность предаться хандрѣ, рядомъ съ многосторонними интересами образованія — опасность увлеченія; мало того: рядомъ съ влеченіемъ къ наслажденію — опасность пнѣжиться или развратиться. Но отъ крайностей подобнаго рода Гумбольдта предохраняли гармоническій складъ натуры, трезвенность и ясность ума. Но предохраняли однако же не настолькоъ, чтобы они не могли его совершенно коснуться. Его одухотворенность, въ соединеніи со свойственнымъ ему спокойствіемъ, облагораживала и ослабляла его стремленіе къ наслажденію, но вмѣстѣ съ тѣмъ и благоприятствовала ему и прикрашивала его. Его чувственность и впечатлительность, интересъ къ предметамъ и людямъ, отвлекали его, правда, отъ абстрактныхъ умозрѣній и отъ мучительнаго самоопализа, но все же не въ состояніи были освободить его отъ перевѣса рефлексіи, самонаблюденія, изолирующаго углубленія въ собственное «я». И наконецъ ни единство его натуры, ни стремленіе къ гармоническому развитію не могли удержать его отъ слишкомъ широкаго размаха, отъ стремленія къ все новымъ и новымъ задачамъ, отъ перевѣса на мѣреній надъ дѣятельностью. Было необходимо, чтобы онъ урѣзали нѣсколько тотъ избытокъ свободы, которымъ пользовался, и чтобы къ эгоистическимъ и духовнымъ цѣлямъ своей жизни, онъ присоединилъ реальныя и альтруистическія. Время, проведенное имъ въ Ауленбѣ и въ Іенѣ, было медовымъ мѣсяцемъ его музы: въ первомъ онъ жилъ исключительно въ мірѣ классиковъ, во второй — исключительно въ сферѣ Шиллерова идейнаго міра. Но съ тѣхъ поръ задача саморазвитія все болѣе и болѣе усложнялась. Чѣмъ богаче впечатлѣніями было тревожное время его странствованія, тѣмъ труднѣе было ему поставить свою дѣятельность въ центрѣ одного доминирующаго интереса. Лингвистическія его изысканія были тоже только началомъ и опытомъ подобной дѣятельности. Юношеская рѣшительность, съ какою онъ десять лѣтъ назадъ избралъ для себя опасное состояніе бездѣятельности, миновала. Въ Парижѣ и еще менѣе теперь въ Берлинѣ чувствовалъ онъ себя въ желательномъ настроеніи и причиной этого были не одни окружающія условія. Онъ чувствовалъ себя притупленнымъ однообразіемъ свободы, какъ другіе однообразнымъ бременемъ труда. Онъ убѣдился, что и полный досугъ составляетъ сомнительное счастье. Сколько времени выигрывается, когда нѣтъ опредѣленныхъ занятій, столько-же теряется отъ того, что нѣтъ вынужденной строгости въ распредѣленіи времени. Онъ видѣлъ ясно вредъ, наносимый этимъ его конечной цѣли — самообразованію. Онъ говорилъ себѣ, что многое знаетъ, во многомъ болѣе свѣдущъ, чѣмъ многіе другіе, и что несмотря на то эти различные элементы не соединяются для достиженія какого-нибудь

одного результата. Словомъ, онъ былъ недоволенъ «активною частью своего существованія». Въ немъ заговорило желаніе отказаться въ угоду своему самообразованію отъ части своего досуга, съ тѣмъ, чтобы зато съ большею пользою воспользоваться остальнымъ. Онъ пошелъ на встрѣчу тому, отъ чего бѣжалъ когда-то какъ въ обузы и отчего впоследствии снова отказался. Онъ рѣшился взять на себя какое-нибудь общественное и «обыкновенное» дѣло, потому что чувствовалъ потребность въ опредѣленной, пзвнѣ данной дѣятельности ¹⁾.

Съ самаго рожденія Гумбольдтъ былъ любимцемъ судьбы. Онъ имѣлъ возможность, что дано немногимъ, отказаться отъ какого-бы то ни было обязательнаго занятія; также точно имѣлъ онъ возможность получить мѣсто и почетъ отъ государства, котораго столько времени знать не хотѣлъ. Первое доставило ему его богатство, второе — его имя и личные связи. Семья Гумбольдтовъ съ давнихъ временъ состояла на службѣ Бранденбургскихъ курфюрстовъ; члены ея изъ поколѣнія въ поколѣніе занимали военные и дипломатическіе посты. Отецъ нашего Гумбольдта принадлежалъ къ самымъ большимъ любителямъ бывшаго впоследствии королемъ Фридриха-Вильгельма II; самъ Вильгельмъ Гумбольдтъ стоялъ въ близкихъ отношеніяхъ ко двору и къ ближайшимъ совѣтникамъ Фридриха Вильгельма III. Притязанія, которыя онъ могъ имѣть въ силу своего происхожденія, находили поддержку, если и не въ специальныхъ заслугахъ передъ монархіей, то въ его личныхъ качествахъ. Ему нужно было только протянуть руку, чтобы получить то, чего желалъ и въ чемъ нуждался. Между его проэктами первое мѣсто все еще занимало неудавшееся раньше путешествіе въ Италію; онъ все еще былъ занятъ мыслью о самообразованіи, все еще желалъ досуга, но досуга рядомъ съ какою-нибудь обязательною дѣятельностью. Онъ хотѣлъ служить государству съ тѣмъ, чтобы самую государственную службу превратить въ орудіе для своего самообразованія. Существовала только одна должность, которая удовлетворяла всѣмъ этимъ желаніямъ вмѣстѣ, и эту единственную должность онъ получилъ. Какъ разъ въ этотъ моментъ Уденъ (Uden), представитель Пруссіи при папскомъ дворѣ, просилъ объ отозваніи его оттуда. Совѣтникъ Бейме (Beime) указалъ королю на Гумбольдта, какъ на его замѣстителя. Должность очевидно подходила для человѣка, какъ и человѣкъ для должности. Король согласился; Гумбольдтъ былъ назначенъ тайнымъ совѣтникомъ посольства и резидентомъ въ Римѣ, и кромѣ того ему былъ пожалованъ камергерскій ключъ. То, чего съ такимъ трудомъ добился Винкельманъ, что Гете получилъ только тогда, когда стремленіе къ нему достигло болѣзненныхъ размѣровъ — это чистое, полное

¹⁾ Переписка съ Шиллеромъ, стр. 464, 481.

и зрѣлое счастье какъ бы съ неба упало въ руки Гумбольдта. Божѣ подготовленный, по его собственному сознанию, нежели семь лѣтъ назадъ, въ полномъ расцвѣтѣ жизни и силъ, осыпанный титулами и почестями, въ наиболѣе желательномъ положеніи и наиболѣе удобнѣе во всѣхъ отношеніяхъ время — вотъ въ какихъ условіяхъ попалъ Гумбольдтъ въ Римъ и Италію.

Осенью 1802 года мы видимъ его съ семьей на пути къ ихъ новому мѣстожителству. Покидая родину, онъ увезъ въ своей душѣ образы старыхъ друзей. Въ Галле онъ повидался еще разъ съ Вольфомъ и запасся отъ него филологическими указаніями и порученіями для страны и города, древностей и библиотекъ, языка и потомковъ Цицерона и Горація. Въ Веймарѣ онъ повидался съ Гёте, чтобы научиться отъ него, какъ слѣдуетъ созерцать Римъ и какъ воспринимать его сущность, — тотъ Римъ, «гдѣ самыя прекрасныя произведенія, созданныя искусствомъ, стоятъ подъ открытымъ небомъ и гдѣ любуются этими чудесами искусства бесплатно, какъ звѣздами на небосклонѣ». Онъ видѣлся въ Веймарѣ въ послѣдній разъ съ Шиллеромъ, видѣлся, какъ онъ всегда съ нимъ встрѣчался, видѣлся для того, чтобы выслушать отъ него, какъ величайшія всемірно-историческія явленія связаны съ вѣчнымъ городомъ, и что онъ самъ приберегаетъ для себя планъ исторіи Рима на позднѣйшее время, когда пламя поэзіи покинетъ его, быть можетъ ¹⁾. Въ октябрѣ онъ и его семья достигли Верхней Италіи; вечеромъ 25 ноября онъ въѣхалъ въ Римъ черезъ Porto del Popolo. Давно ожидаемый, онъ остановился въ приготовленной для него на первое время квартирѣ, въ Villa di Maia — въ страннаго вида зданіи на выступѣ холма Пяччіо, съ котораго преніе его обитатели, мальтійскіе рыцари, взирали на вѣчный городъ, на Кампанью и на высоты Альбано.

Только въ декабрѣ уѣхалъ его предшественникъ изъ Рима; такимъ образомъ Гумбольдтъ могъ быть имъ введенъ въ свою новую дѣловую дѣятельность. Она оказалась соотвѣтствующею вполне его желаніямъ и ожиданіямъ. Во враждебныхъ дѣйствіяхъ Франціи по отношенію къ папскому престолу произошелъ временный перерывъ. Однако несмотря на мудрое поведеніе кардинала Консальви и вопреки вынужденной санкціи, дарованной новому царству Піемъ VII, враждебныя дѣйствія опять возобновились, и не успѣлъ Гумбольдтъ покинуть снова свой постъ, какъ ужъ они, въ іюль 1809 года, привели къ изгнанію папы и къ упраздненію церковнаго государства. При такихъ обстоятельствахъ не трудно было представителю протестантской и миролюбивой державы приобрести расположеніе двора, терпящаго оскорбленія со стороны одной католической державы и повиную-

¹⁾ Переписка съ Шиллеромъ Предисловіе стр. 59. Ср. письмо Шиллера къ Кёрнеру въ ихъ „Перепискѣ“, IV, 294.

таго на произволь судьбы другою. Правда, и Пруссія, при Гаугвицъ и Гарденбергъ, не могла служить поддержкой — ни для Австріи, ни для Германіи, а тѣмъ менѣе для Италиі. Но она была далека отъ желанія оскорблять и не думала чего-нибудь требовать. Она казалась дружественною прежде всего потому, что не была враждебна и за тѣмъ потому, что тоже терпѣла отъ общаго врага. Къ тому-же первый представитель обладалъ въ высокой мѣрѣ тѣми привлекательными формами, которыя должны были въ особенности цѣниться тамъ, гдѣ привыкли изъ изученія подобія достоинства и благопристойности дѣлать цѣлую науку. Онъ далъ понять коварнымъ кардиналамъ, что владѣетъ тою утонченною хитростью, которая была когда-то такъ тонко развита умнымъ флорентинцемъ, и для котораго Италия была первоначальною школою. Въ религиозныхъ вопросахъ онъ держался воззрѣній Льва X, и ему было не трудно проявлять мягкость и терпимость, которыя въ протестантѣ даже католическое рвеніе Пія VIII могло находить похвальнымъ и достойнымъ благодарности. И наконецъ онъ былъ такъ увлеченъ Римомъ и его красотою, что это должно было льстить патріотической гордости римлянъ. Онъ занимался тѣмъ, чѣмъ занимались она, онъ любилъ то, что они любили. Онъ оказался знаткомъ римскихъ древностей, поклонникомъ римскихъ памятниковъ искусства. Онъ соединялъ въ себѣ нѣмецкую ученость съ итальянскимъ добродушіемъ. Первою онъ импонировалъ, вторую онъ привлекалъ и нравился. Отъ упрямѣйшаго въ мірѣ двора добился онъ всего, чего только можно было добиться. Обмѣнъ любезностей принесъ ему нѣкоторую выгоду. Отъ церкви и въ государственныхъ интересахъ Пруссіи онъ не требовалъ ничего сколько-нибудь значительнаго; отъ папы и его кардиналовъ онъ добился для себя и для тѣхъ, кто находился подъ его покровительствомъ, всего, чего желать. Никогда еще ни одинъ посланникъ въ Римъ не былъ окруженъ подобнымъ почетомъ, подобною предупредительностью. Никогда еще нѣмецкіе ученые и художники въ Римѣ не имѣли лучшаго трибуна. Онъ былъ любимцемъ народа и избранникомъ курии и такимъ образомъ, отказавшись добровольно отъ намѣренія добиться отъ престола апостола Петра того, чего, по его собственному выраженію, «самъ Архангелъ Гавріиль не добился-бы», онъ нашелъ способъ получить безъ труда все остальное ¹⁾).

Въ самомъ дѣлѣ, ничто не могло быть для Гумбольдта желательнѣе, какъ отсутствіе политическаго характера въ его миссіи. Въ то время какъ въ своей дѣятельности онъ вступилъ въ міръ практической и реальной, душа его оставалась въ мірѣ идей и поэзіи. При его наклонности къ тому роду наслажденія, который Аристотель на-

¹⁾ См. Schlesier, II, 91 и сл. Кромъ того рассказъ Генр. Герцъ тамъ-же стр. 152 и слѣд.

зываетъ наиболѣе высокимъ, къ наслажденію чисто интеллектуальнымъ созерцаніемъ, заботы и большая отвѣтственность были бы ему къ высшей степени ненавистны. При его наклонности къ уединенію, тишинѣ и замкнутости свѣтскія узы и свѣтскія развлеченія показались-бы ему невыносимыми. Ничего подобнаго не зналъ онъ въ Римѣ. Онъ могъ относиться къ вопросамъ политики съ чисто теоретическимъ и историческимъ интересомъ. Онъ былъ только, какъ онъ не разъ высказывалъ, человѣкомъ, сообщавшимъ новости (*Neuigkeitenschreiber*). Остальныя его дѣла были «очень миролюбивыя и святыя дѣла», порученія, хлопоты, обыкновенно въ интересахъ частныхъ лицъ. Но и въ этой части своей дѣятельности, при всей связанной съ нею докучливости и потери времени, онъ сумѣлъ выдвинуть самую лучшую сторону. Расширять свой кругозоръ, приобретать самыя разнообразныя свѣдѣнія, — вотъ что составляло постоянный предметъ его стремленій; онъ былъ самымъ любознательнѣйшимъ человѣкомъ, а чему нибудь всегда можно было научиться при этихъ хлопотахъ; сообщая всѣмъ нужныя свѣдѣнія, онъ изучалъ самъ сокровища римской литературы, искусства и древностей; какъ бібліотекарь, изучая свою бібліотеку узнаетъ попутно и еще кое-что. Забота о собственной пользѣ шла сверхъ того рука объ руку съ чувствомъ долга. Онъ держался убѣжденія, что постъ посланника предназначенъ именно для исполненія такого рода частныхъ услугъ. Многія изъ этихъ дѣлъ можно было разсматривать даже съ еще болѣе высокой точки зрѣнія. Не имѣлось въ виду отвоевать что-нибудь крупное и на вѣчныя времена у высокоумія римской куріи и ея стремленія къ вмѣшательству въ государственныя права. Въ данный моментъ не было намѣренія заключить съ папой конкордатъ, такъ далеко прусская политика не заглядывала. Но въ незначительныхъ и единичныхъ вопросахъ личное вліяніе посла могло во многихъ случаяхъ смягчить римскія притязанія. Гумбольдтъ имѣлъ достаточно поводовъ для ознакомленія съ іерархическими вождельніями и неукротимую гордость католической церкви. Въ виду твердости этого духа онъ долженъ былъ занять принципиальную позицію. Какъ-бы расплывчата, какъ-бы въ политическомъ отношеніи незначительна ни была его дѣятельность, онъ подчинилъ ее руководящей идеѣ. «Противодѣйствовать, насколько возможно тому гнету, который желали бы распространять изъ Рима на самыя отдаленнѣйшія мѣстности» — таковъ былъ смыслъ, который онъ вкладывалъ въ свою практическую дѣятельность, такова была задача, которую онъ никогда не упускалъ изъ виду ¹⁾.

¹⁾ По собственнымъ его словамъ въ письмахъ къ Шиллеру (тамъ-же, 480 и сл.), къ Вольфу (*G. W. V, 258, 259*) и къ В. Ф. Вольцогенъ (въ ея *Nachlass*'ѣ, II, 6).

Хотя онъ пользовался такимъ образомъ даже служебными дѣлами въ интересахъ своихъ индивидуальныхъ и теоретическихъ потребностей, хотя онъ и для нихъ нашелъ идейную точку зрѣнія, — его душа въ нихъ отсутствовала. Онъ позаботился о томъ, чтобы и эти служебныя дѣла были болѣе нежели обыкновенною работою, но онъ не забывалъ, что сталъ рабомъ извѣстной должности только для того, чтобы быть себѣ господиномъ, — что онъ хотѣлъ служить другимъ только для того, чтобы доставить себѣ возможность сдѣлать свое существованіе еще болѣе плодотворнымъ для себя и для своего развитія. Онъ былъ такъ счастливо организованъ, какъ онъ пишетъ Вольфу ¹⁾, что его занятія, пока они продолжались, не наскучали ему и не сердили его, но когда они кончались, его мысли были «въ сотнѣ миль отъ нихъ». Онъ исполнялъ свои служебныя дѣла съ тою-же вѣрностью долгу и добросовѣстностью, какъ и свои научныя занятія, какъ и все, чѣмъ онъ вообще занимался. Онъ дѣлалъ все самъ, какъ онъ пишетъ Шиллеру, и дѣлалъ все аккуратно; и былъ онъ такъ аккуратенъ и трудолюбивъ въ значительной долѣ для того, чтобы «отдѣлаться и быть затѣмъ свободнымъ». Эта свобода и то, что она могла дать въ результатъ его развитію, были для него всѣмъ. Досугъ, который онъ себѣ доставлялъ, былъ ему тѣмъ болѣе дорогъ, что онъ его заслужилъ; польза, которую Римъ принесъ его развитію, была тѣмъ болѣе цѣнна, что онъ ее добылъ и сберегъ. Частью поэтому, частью же потому, что Римъ былъ именно Римомъ, онъ сталъ для него тѣмъ, чѣмъ долженъ былъ стать — мѣстомъ, гдѣ завершилось его развитіе. «Римъ» — неустанно повторяетъ онъ своимъ друзьямъ — «дѣйствуетъ на меня благотворно». Тамъ былъ, какъ онъ это давно предполагалъ, самый подходящий климатъ для его духа. И на самомъ дѣлѣ: все лучшее въ его натурѣ здѣсь только достигло расцвѣта и полной зрѣлости, оно распустилось свѣжѣе, прекраснѣе, богаче, подобно растенію, перенесенному на ту почву, подъ тѣ небеса, которыя соотвѣтствуютъ его природѣ. Снова, какъ въ Аулебенѣ и еще болѣе въ Іепфѣ, онъ чувствовалъ себя продуктивнымъ и богатымъ идеями. Правда и здѣсь, въ Римѣ, его посѣщали милыя картины изъ времени, проведеннаго вмѣстѣ съ Шиллеромъ и Гете. Съ болѣе продолжительными перерывами, но такъ, какъ будто-бы въ этихъ перерывахъ время не протекало, обмѣнивался онъ поклонами и изліяніями души съ веймарскимъ поэтическимъ дуумвиратомъ, принималъ участіе въ ихъ дѣятельности, и въ особенности сдѣлалъ за Шиллеромъ на его все болѣе возвышающемся, все болѣе блестящимъ и благородномъ пути. Именно въ

¹⁾ Изъ Марино, воалъ Рима, 29 сент. 1804 г. И это, сообщенное Варнгагеномъ (*Denkwürdigkeiten*, тамъ-же стр. 154) письмо отсутствуетъ въ G. W.

этотъ моментъ, когда Шиллеръ считалъ его ушедшимъ въ интересы совершенно другого рода, онъ признавался, что самое незначительное изъ занятій Шиллера имѣеть для него болѣе значенія, нежели все, что онъ могъ бы самъ предпринять; онъ признался ему въ томъ чего такъ ясно и открыто быть можетъ никогда еще не высказывалъ — и вызвалъ у него такое-же признаніе, — что оба они раздѣляютъ Платоново воззрѣніе относительно ничтожества вещей и цѣнности однѣхъ лишь идей. Иногда имъ овладѣвала тоска; съ береговъ Тибра тянуло его къ берегамъ Ильма и Заале; даже посреди наслажденія, доставляемаго ему небомъ и искусствомъ Италіи, чувствовалъ онъ тоску по тѣмъ духамъ, которые уста поэта умѣли вызывать въ почныхъ бесѣдахъ съ нимъ. Особенно сильно охватила его эта тоска при извѣстіи о смерти Шиллера: теперь увы! онъ ужъ не увидитъ болѣе его благородныхъ, серьезныхъ чертъ, этого склоненнаго на грудь лица, высокую страдальческую фигуру; никогда ему ужъ не услышать голоса, котораго кроткая серьезность, глубокая страстность такъ часто проникали ему въ душу. Много пройдетъ времени, говорилъ онъ себѣ, прежде чѣмъ снова появится такой чисто интеллектуальный гений, всегда направленный на самое высокое въ вымыслѣ и поэзій, — много времени пройдетъ, прежде чѣмъ снова явится такое высокое искусство письменной и устной рѣчи. Онъ находилъ теперь, что провелъ съ этимъ человѣкомъ наиболѣе содержательные по богатству идей дни; онъ спрашивалъ себя, воспользовался ли онъ тогда тѣми импульсами, которыя онъ отъ него получалъ; онъ съ болью думалъ о томъ, что до извѣстной степени самъ, по своей охотѣ, оставилъ этотъ кружокъ; онъ завидовалъ Гёте, который могъ вызвать въ своей памяти послѣднія слова умершаго друга, тогда какъ для него — Гумбольдта, онъ исчезъ какъ тѣнь. «Какъ часто», писалъ онъ Гёте, «приходило мнѣ въ голову, что человѣкъ съ легкимъ сердцемъ расходится съ другими, порываетъ то, что даетъ ему счастье, и легкомысленно бѣжитъ за тѣмъ, что ново. Если бы дѣйствительная неизвѣстность относительно судьбы чувствовалась человѣкомъ такъ живо, какъ это должно бы быть, ни одинъ человѣкъ съ сердцемъ не рѣшился-бы покинуть тотъ уголокъ земли, гдѣ онъ впервые нашелъ друзей» ¹⁾). Такого рода размышленія внушила ему свѣжая скорбь объ утраченномъ; но они отступили на задній планъ передъ удовольствіемъ, вызываемымъ римскою жизнью. Въ его тоскѣ по днямъ, проведеннымъ въ Аулебенѣ и Іенѣ,

¹⁾ Сообщено Фр. Ф. Мюллеромъ въ дополненіи къ его рецензій первымъ томовъ собр. соч. Гумбольдта, въ Neue Jenaische L. Z. 1843, № 2. Ср. кромѣ того съ вышеприведеннымъ писемъ къ К. Ф. Вольцогенъ (Nachlass, II, 8) и къ Вольфу. Послѣднее въ G. W. (V, 261 и сл.) по небрежности все еще носитъ дату 20 юля 1803 вмѣсто 1805 и потому помѣщено не въ надлежащемъ мѣстѣ.

какъ по лучшему времени его жизни, была не малая доля самообмана. Самые «богатые въ идейномъ смыслѣ» дни не были самыми лучшими его днями; на самомъ дѣлѣ, Римъ былъ для него больше, чѣмъ Иена. Онъ давалъ ему столько, сколько всѣ прежнія мѣста его пребыванія въ общей сложности. Римъ захватывалъ и удовлетворялъ не одну какую-нибудь сторону его существа, а всего его въ цѣломъ, ибо здѣсь онъ нашелъ соединеннымъ все то, къ чему онъ ранѣе стремился въ отдѣльности и крайне неровно: греческія древности и искусство, исторію человѣчества и значительную часть исторіи языка—все это было здѣсь соединено, и не только какъ сумма отдѣльныхъ слагаемыхъ, а какъ однородное цѣлое. Остатки греческихъ древностей соединялись въ одно общее впечатлѣніе съ памятниками христіанскаго искусства: въ тѣхъ и другихъ отражались образъ человѣка и исторія міра; тотъ-же образъ и та же исторія чувались еще въ звукахъ и конструкціи новоримскаго языка. Римъ представлялъ собою цѣлый міръ мотивовъ, прекрасный, благоустроенный и одухотворенный міръ; произведеніе искусства, говорящее для понимающаго, захватывающее самое ядро его существа. Оно дѣйствовало на Гумбольдта гармонически-эстетично, дѣйствовало воодушевляюще идеалистически. Поэтому здѣсь именно завершилось и округлилось его развитіе. Къ Риму онъ прильнулъ впервые, какъ къ формѣ, которую его духъ давно искалъ. Здѣсь наконецъ онъ пересталъ колебаться, искать, сомнѣваться. Стоитъ только сравнить написанное имъ до пребыванія въ Римѣ съ тѣмъ, что было написано въ Римѣ. Все относящееся къ этому въ удивительномъ контрастѣ со всѣмъ предшествовавшимъ, носить на себѣ печать законченности, спокойствія, гармоніи и счастья.

Одного только ему недоставало и это одно поколебало его счастье. Онъ поддерживалъ широкія связи съ цѣлою массой самыхъ различныхъ людей. Онъ былъ посланникомъ, онъ былъ ученымъ, онъ былъ другомъ искусства и художниковъ. Его домъ былъ домомъ графа. Въ немъ царствовала, украшеніе всякаго общества, чарующая прелесть и плѣнительная любезность его жены. Тутъ бывали титулованные и знатные, знаменитые и интересные люди, нѣмцы прежде всего и французы; тутъ бывали ученые и художники, дипломаты и туристы. Римъ былъ большою гостиницей и вмѣстѣ съ тѣмъ большою школой; мѣстомъ веселой жизни для однихъ и мѣстомъ паломничества для другихъ. Немногіе изъ нихъ не побывали въ домѣ прусскаго министра-резидента, и не было ни одного, который не чувствовалъ-бы себя въ немъ хорошо и не отзывался бы о немъ съ похвалой. Кромѣ титулованныхъ и дипломатическихъ звѣздъ, первыми, заявившими съ Гумбольдтами знакомство, были Бонштетенъ и Фредерика Брунъ; изъ Берлина посѣтилъ ихъ Спальдингъ; съ m-me де-Сталь находился въ Римѣ Августъ Шлегель; позднѣе пріѣхали братья Рен-

некамффы, Велькеръ, Курье и другіе. И больше другихъ пользовались гостепріимствомъ этого дома художники. У посланника они находили защиту и помощь; они находили у него и у его жены сочувствіе и поддержку въ своихъ стремленіяхъ и работахъ. Новая эпоха въ искусствѣ, къ созданію которой стремились преимущественно нѣмецкіе художники въ Римѣ, совпала съ классическимъ періодомъ нѣмецкой литературы и поэзіи, развившейся при дѣятельнѣйшемъ участіи Гумбольдта. На его глазахъ скульпторы и живописцы избирали то самое направленіе, которое онъ пріветствовалъ и ободрялъ въ произведеніяхъ обонхъ великихъ нѣмецкихъ поэтовъ: дѣйствительную вѣрность природѣ и возвращеніе къ древнему мастерству и къ великимъ образцамъ Рафаэля и Микель Анжело. Отъ всей души сочувствовалъ онъ этимъ стремленіямъ своихъ соотечественниковъ, даже самъ попыталъ свои силы въ рисованіи; онъ покровительствовалъ художникамъ въ чемъ только могъ и заботился заранѣе посредствомъ многочисленныхъ заказовъ о будущемъ убранствѣ своей виллы. Жена Гумбольдта жила почти исключительно въ сферѣ этихъ художественныхъ интересовъ; она дѣйствительно просто утопала въ наслажденіи, для котораго ее предназначили ея тонкій вкусъ, ея пониманіе нѣжной красоты и всего блестящаго, чарующаго чувство и фантазію. Она была настоящею покровительницей художниковъ, ея личность заставляла какъ учителей, такъ и учениковъ превозносить ихъ гостепріимный домъ. Въ числѣ ихъ были Гмелинъ и Грассъ, Тикъ и Рипенгаузенъ, затѣмъ пользовавшійся особеннымъ и вполне заслуженнымъ почетомъ живописецъ Шякъ и великіе скульпторы Торвальдсенъ и Раухъ. И такъ, тутъ не было недостатка въ людяхъ и въ людяхъ выдающихся. Тѣмъ не менѣе Гумбольдтъ ощущалъ недостатокъ въ такихъ, къ которымъ могъ бы привязаться, съ которыми могъ бы насладиться содержательнымъ въ смыслѣ идей разговоромъ, какъ онъ привыкъ на родинѣ. Онъ наслаждался этимъ снова въ полной мѣрѣ, когда въ 1805 году пріѣхалъ къ нему въ Римъ братъ, полный картинъ новаго міра. До и послѣ этого, онъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ встрѣчъ, имѣлъ сношенія преимущественно съ итальянскими учеными и чувствовалъ себя между ними настолько-же одинокимъ, какъ впоследствии Нибуръ. Римеръ, котораго Вольфъ рекомендовалъ ему въ качествѣ домашняго учителя для его дѣтей, оставилъ его домъ въ іюль 1803 года. Съ нимъ-же уѣхалъ и Ферновъ. Феа и Марини и даже такой человекъ какъ Цоуга не могли удовлетворить Гумбольдта. Онъ находилъ римскій ученый міръ «сухимъ и деревяннымъ», и жители Рима казались ему чѣмъ-то въ родѣ «Аудебенской аристократіи». О, если бы ему удалось заманить Вольфа въ Италію! Если-бы Шиллеръ вѣсто того, чтобы умереть на сѣверѣ, жилъ съ нимъ на югѣ! Дипломаты удовлетворяли его почти такъ-же мало, какъ и ученые. Въ 1806 году онъ пишетъ Шиллеровой свояченицѣ, что не имѣетъ въ

Римъ никого, кромѣ своей жены, «добрый, всегда себѣ вѣрной Ли». Даже отъ ея общества онъ вынужденъ былъ на продолжительное время отказаться. Весною 1804 года она поѣхала для поправленія здоровья въ Германію. Изъ Веймара она отправилась въ Парижъ, гдѣ съѣхалась съ Александромъ Гумбольдтомъ и за тѣмъ только къ началу 1805 вернулась оттуда обратно къ мужу. Къ этимъ лишеніямъ присоединилась скорѣй тяжелая, невознаградимая утрата. Въ Ариччи, лѣтнемъ мѣстопребываніи семейства Гумбольдтъ, въ первомъ же году, проведенномъ ими въ Италіи, лихорадка унесла самаго любимаго изъ его дѣтей, старшаго сына. Родители были совершенно убиты. «Эта смерть», писалъ Гумбольдтъ Шиллеру подъ влияніемъ перваго впечатлѣнія, вызваннаго утратой, «отняла у меня всякую увѣренность въ жизни. Я не довѣряю болѣе ни своему счастью, ни судьбѣ, ни силѣ вещей. Если эта кипучая, цвѣтущая, полная силъ жизнь могла такъ скоро исчезнуть,—что же послѣ этого прочно?»

Но какъ бы сильно ни чувствовалъ Гумбольдтъ свое одиночество, какъ бы глубока ни была его скорбь объ утраченномъ любимцѣ, характерно для римской жизни было именно то, что мучительное настроеніе теряло тамъ свою остроту, горе—свою подавляющую тяжесть. У подножія пирамиды Кая Цестія, въ отгороженномъ мѣстѣ, отведенномъ прусскому послу римскимъ народомъ, почтили бранные останки любимаго дитяти; рядомъ съ нимъ, нѣсколько лѣтъ спустя, пришлось лечь одному изъ младшихъ сыновей. Это обстоятельство еще сильнѣе приковало Гумбольдта къ римской почвѣ. Начиная съ этой грустной эпохи имъ овладѣла—такъ раскрылъ онъ свою душу передъ тѣмъ, въ глубокомъ сочувствіи котораго онъ былъ особенно увѣренъ—невыразимая тоска и уныніе. Но даже уныніе—таково влияніе на него Рима—даже самая тяжелая скорбь не убиваютъ окончательно ясности и бодрости духа. Въ то время, какъ страстная и раздражительная натура Нибура не находила въ Римѣ утѣхи даже въ прекрасныхъ произведеніяхъ искусства, дѣйствіе Рима на Гумбольдта было во всѣхъ отношеніяхъ такое успокоительное и освѣжающее, возвышающее и окрыляющее: такъ дѣйствуютъ обыкновенно только произведенія поэзіи и искусства. Это было дѣйствіе гармоническое, эстетическое, какъ бы музыкальное. Извѣстно, что Гумбольдтъ былъ почти недоступенъ дѣйствію музыки, но прихода, казалось, щедро возмѣстила этотъ недостатокъ. Онъ не обладалъ способностью Гёте, «дѣлать глазъ свѣтомъ» (*das Auge Licht sein zu lassen*), но онъ умѣлъ при помощи чувства зрѣнія доставлять своей душѣ настроенія, которыя мы получаемъ обыкновенно только при помощи звуковъ и гармоніи. Онъ наблюдалъ и воспринималъ Римъ не какъ живописецъ, поэтъ или скульпторъ, онъ понималъ его какъ всѣ они вмѣстѣ взятые; онъ обладалъ универсальнымъ эстетич-

честнымъ чувствалищемъ; впечатлѣніе, производимое на него Римомъ, было просто общеэстетическое. «То человѣческое, что въ насъ звучитъ,—такъ выразилъ онъ много лѣтъ спустя это впечатлѣніе—какъ бы родомъ дѣятельности, какою бы стороною человѣческой или міровой судьбы оно въ насъ ни пробуждалось,—находить въ этой обстановкѣ болѣе ясный, болѣе сильный отзвукъ». Иными словами: онъ воспринималъ Римъ, какъ греки воспринимали ввѣшній міръ вообще. Римъ представлялъ матерію, которая легко и незамѣтно въ его душѣ идеализировалась; міръ, который воспринимался чисто пассивно и все же возбуждалъ въ душѣ живую реакцію.

Такъ дѣйствовала на него прежде всего римская природа, чарующую красоту которой онъ не уставалъ восхвалять — «широкая, безпредѣльная, только вдали граничащая съ моремъ и горными цѣпами равнина». Ему случалось даже, какъ въ одномъ письмѣ къ Гёте, въ созерцаніи этой красоты возвышаться до точки зрѣнія, напоминающей Винкельмана, которому альбанская возвышенность представлялась произведеніемъ, вышедшимъ изъ рукъ всемогущества и высшей красоты. Въ особенно счастливыя минуты онъ находилъ, что природа дѣйствуетъ здѣсь не такъ, какъ она дѣйствуетъ вообще на современнаго человѣка,—она не вызываетъ идеи контраста, ни эгегически, ни сатирически. Римская природа не сравнима ни съ какою другою. Она всегда возбуждаетъ дѣятельность фантазіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣшнія чувства приводятся ею «въ полную ясность—благодаря прелести очертаній, величію и простотѣ формъ, богатству растительности, опредѣленности контуровъ въ прозрачной средѣ и изяществу красокъ». Резюмируя свою мысль, онъ прибавляетъ: «наслажденіе природой является здѣсь чистымъ, непримѣснымъ художественнымъ наслажденіемъ».

Однако римская природа не всегда вызывала въ немъ такой наивный, не сопровождаемый никакими размышленіями восторгъ, ибо съ этою природою неразрывно связаны—и для него въ особенности—римскія стѣны. Римъ вліялъ на него какъ нѣчто цѣлое. Въ то время, какъ онъ восхваляетъ «прекрасное небо и божественные виды», его глазъ прикованъ къ «дивнымъ руинамъ на всѣхъ семи холмахъ». Точно также для того, чтобы онъ могъ наслаждаться видомъ римскихъ памятниковъ искусства, необходимо, чтобы это впечатлѣніе слилось въ немъ съ впечатлѣніемъ римской природы. «Я не люблю» — пишетъ онъ Вольфу — «боговъ, замкнутыхъ въ домахъ; но колоссовъ, удивительные головы которыхъ вы видѣли въ странѣ варваровъ, которые стоятъ подъ открытымъ небомъ и смотрятъ на Римъ съ высоты Квиринала, я привѣтствую почти каждый день. Мнѣ для полнаго наслажденія необходимо голубое небо, растилающаяся передъ глазами часть Лаціума и горная цѣпь на горизонтѣ». Но такое тѣсное сплетеніе природы Рима съ его стѣнами, со всѣмъ, что

онѣ въ себѣ заключаютъ, внесло въ его эстетическое воззрѣніе на Римъ въ цѣломъ своеобразную окраску. Оно перестало быть наивнымъ, оно стало въ лучшемъ смыслѣ этого слова сентиментальнымъ. Его наслаждающееся созерцаніе прониклось серьезною мыслью и чувствомъ. Въ его душѣ Римъ отражался только черезъ среду идей и эгегического чувства.

Мы плохо освѣдомлены относительно внѣшнихъ обстоятельствъ и событій этого періода жизни Гумбольдта. Для всѣхъ тѣхъ лѣтъ, когда онъ занимался государственными дѣлами, имѣющіеся у насъ источники весьма скудны; они становятся содержательнѣе только относительно лѣтъ его старческаго досуга. Зато неповѣрно богаты она свѣдѣніями о его внутренней жизни въ итальянскій періодъ. Чѣмъ для него былъ Римъ и какъ онъ его понималъ, объ этомъ онъ такъ часто и такъ одинаково высказывается, что было-бы достаточно привести просто все высказанное имъ въ соответствующемъ порядкѣ. Его многочисленныя письменныя изліянія напоминаютъ собою тѣ письма, при помощи которыхъ Гёте дѣлился со своими друзьями на киммерійскомъ сѣверѣ живыми впечатлѣніями, производимыми на него Римомъ. Но вполнѣ высказаться въ этомъ вопросѣ Гумбольдтъ считалъ возможнымъ только въ поэтической формѣ. Такимъ образомъ появились въ 1806 году стансы, озаглавленные «Римъ». Они обращаются къ Каролинѣ Ф. Вольцогенъ и заключаютъ въ себѣ, по его собственному признанію передъ этою подругой, «все, что съ прїѣзда въ Римъ его глубоко трогало и съ каждымъ годомъ овладѣвало имъ все глубже». «Итальянское путешествіе» Гёте дало ему запоздалый поводъ пережить еще разъ тотъ рядъ мыслей и чувствъ, который онъ нѣкогда выразилъ въ этихъ стансахъ: сдѣлавшись комментаторомъ Гёте, онъ написалъ комментарий къ своему собственному стихотворенію. Вся гамма, какъ и полный аккордъ Гумбольдтовыхъ чувствъ и размышленій, открывается передъ нами въ этихъ документахъ ¹⁾. Въ началѣ своего десятилѣтняго досуга онъ прежде всего ушелъ въ классическую древность. Уловить въ писаніяхъ древнихъ ихъ духъ, открыть образъ благородной человѣческой природы и проникнуться имъ — вотъ что составляло предметъ его непрерывнаго стремленія. Поэтому первое, что охватило его на римской почвѣ, было ощущеніе того, что здѣсь этотъ духъ становится для него

¹⁾ См. въ особенности отрывокъ одного изъ его писемъ къ Гёте, въ Гётевскомъ „Winkelmann's", затѣмъ письма къ Вольфу изъ Рима (G. W. V, 242 и сл.; дополн. къ нимъ Варнгагена Denkwürdigkeiten V, 154 и сл.) и къ Каролинѣ Вольцогенъ (Nachlass II, 8 и сл.). Стих. Римъ, изд. первоначально въ Берлинѣ 1806, 4. Александромъ Гумбольдтомъ, теперь въ G. W. I, 343 и сл. Наконецъ: Ueber Göthe's zweiten römischen Aufenthalt (о вторичномъ пребываніи Гёте въ Римѣ) въ Jahrb. für wissenschaftliche Kritik 1830, ч. II, № 45 и сл. G. W., II, 215 и сл.).

опредѣленнѣе, ярче, понятнѣе, что этотъ образъ здѣсь впервые получаетъ для него осязательную ясность. «Римъ—это мѣсто, гдѣ наши понятія о всей древности въ цѣломъ объединяются, и поэтому все то, что мы переживаемъ при знакомствѣ съ древними поэтами, древнимъ государственнымъ устройствомъ, въ Римѣ нами не только чувствуется, но и созерцается». И созерцаніе это—вотъ что для него наиболѣе удивительно и утѣшительно—не противорѣчитъ тому представленію, которое мы до этого носили въ своей душѣ, оно подтверждаетъ и оживляетъ его, оно охотно къ нему примыкаетъ, ибо они одного рода. Древность, составляющая при помощи цѣлой массы промежуточныхъ звеньевъ основу нашей нынѣшней цивилизаціи, возстаетъ передъ нами въ просвѣтляющемъ свѣтѣ фантазіи. И Римъ, въ стлицѣ отъ всѣхъ прочихъ классическихъ мѣстностей, не разрушаетъ этой иллюзіи—онъ напротивъ ее поддерживаетъ; древность представляется намъ идеальнѣе, чѣмъ она была. Впечатлѣніе, вынесенное Горациемъ отъ Тибра, было болѣе модернизировано, чѣмъ наше отъ Тиволи. Хорошо и полезно, что древній міръ представляется намъ въ такомъ видѣ: только въ отдаленія, какъ давнопрошедшее и отдаленное отъ всего низкаго, долженъ онъ представляться. Только тогда имѣетъ онъ для насъ образовательное въ высшемъ смыслѣ слова значеніе; только тогда является у насъ побужденіе искать въ немъ идеи и воздѣйствія, распространяющагося за предѣлы окружающей насъ жизни. Римъ и только одинъ Римъ всѣмъ своимъ существомъ идетъ на встрѣчу этому возрѣнію и вліянію. Здѣсь не только, какъ въ другихъ освященныхъ великимъ прошлымъ мѣстахъ, человѣкъ находится подъ вліяніемъ мысли, что онъ стоитъ тамъ, гдѣ стоялъ тотъ или другой великій человѣкъ, здѣсь онъ ощущаетъ могучее стремленіе погрузиться въ прошлое, которое, вслѣдствіе неизбежной иллюзіи, почитается болѣе благороднымъ, болѣе возвышеннымъ. Даже тотъ, кто желалъ-бы, не могъ-бы противостоять этой силѣ, ибо запущенность, въ которой нынѣшніе обитатели оставляютъ страну, и невѣроятная масса развалинъ невольно направляютъ наше вниманіе въ эту сторону. Однимъ словомъ, Римъ «является для насъ осязательно-живымъ образомъ идеализированной древности». Но болѣе глубокое основаніе этого явленія заключается въ исторіи Рима и въ связи между культурами римскою и греческою; та сила, при помощи которой Римъ собралъ въ себѣ духъ древности и былъ его носителемъ втеченіи цѣлаго ряда вѣковъ, была по существу своему сила духовная. Эта сила восприняла въ себя то, что было безсмертнаго въ древности, подобно тому, какъ мы воспринимаемъ его и по нынѣ. И благодаря удивительному сплетенію мірскихъ и религіозныхъ цѣлей, она спасла и увѣковѣчила именно то, что внутренно и духовно намъ всего ближе,—духъ эллинской древности. Римъ одинъ сохранилъ для насъ Грецію: греческая образованность не только на-

шла въ римской удивительное дополненіе, но безъ римскаго могущества она врядъ-ли достигла-бы такой прочности и распространенія. Такъ говорится въ римскихъ стансахъ:

Ewig hätt' Homeros uns geschwiegen,
Hätte Rom nicht unterjocht die Welt
Nimmer wär'aus Grabosnacht gestiegen
Der die Seele fest im Leiden hält
Da die Glieder Schlangen ihm umschwiegen,
Und der Knaben Tod den Busen schwellt:
Liess nicht Titus einst von Siegestrümmern
Seine weiten, goldnen Hallen schimmern ¹⁾.

Но представляя такимъ образомъ осязательно-живой образъ идеализированной древности, Римъ вмѣстѣ съ тѣмъ есть и нѣчто неизмѣримо большее. Закрѣпляя и продолжая своею силой и величіемъ болѣе проходящую по своему характеру красоту греческой жизни, онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и мостомъ, соединявшимъ древній міръ съ новымъ. Отъ изученія древности Гумбольдтъ и раньше обращался къ болѣе широкимъ взглядамъ на исторію человѣчества; отъ грековъ и римлянъ онъ перешелъ къ французамъ и итальянцамъ; одною изъ его любимыхъ темъ было сходство и въ то же время различіе между древними и современными народами. Пребываніе въ Римѣ внесло свѣтъ и въ эти научныя занятія и размышленія: «Громадное влияніе на меня Рима» — пишетъ онъ Вольфу — «болѣе нежели чѣмъ -нибудь другимъ объясняется тѣмъ, что онъ представляетъ средоточіе стараго и новаго міра». Двойственную власть стараго и христіанскаго Рима онъ воспѣваетъ въ одной изъ строфъ своей большой элегіи. Въ своей позднѣйшей статьѣ о Римѣ онъ подробно останавливается на ясно выраженной въ вѣчномъ городѣ преемственности древней и новой культуры. Новая культура могла вырасти только лишь изъ духа древней. Въ эту великую эпоху преобразования и перехода къ новому духовному состоянію Италия играла первенствующую и важнѣйшую роль. Языкъ итальянскій въ особенности представляетъ удивительный памятникъ этого перехода, ибо ни въ одномъ изъ производныхъ отъ римскаго корня языковъ духъ новаго времени не сохранилъ такой вѣрной привязанности къ древнимъ формамъ при полнѣйшей своей независимости и своеобразнѣйшемъ характерѣ. Но эта слава Италіи и тутъ принадлежитъ первому ея городу. Римъ, наконецъ, постоянно и во всемъ напоминаетъ намъ объ этой противоположности и объ этомъ поворотномъ пунктѣ въ развитіи культуры: въ колоссальныхъ

¹⁾ Т. е.: Гомеръ на вѣки остался бы для насъ нѣмымъ, если бы Римъ не покорилъ міра; никогда бы не явился намъ изъ могильной тьмы тотъ, кто остался твердъ въ страданіяхъ, когда змѣи обвили его члены и смерть дѣтей заволновала душу: развѣ Титъ не показалъ нѣкогда побѣднымъ развалинъ въ своихъ обширныхъ, золоченыхъ чертогахъ.

остаткахъ, въ глубокихъ художественныхъ произведеніяхъ. въ безчисленныхъ неотразимыхъ воспоминаніяхъ. Однимъ словомъ, Римъ «слился для насъ съ тѣми двумя крупнѣйшими моментами, на которыхъ основана наша духовная жизнь,—съ классическою древностью и ростомъ современнаго величія на почвѣ древняго».

Но даже эти размышленія не исчерпываютъ еще впечатлѣнія, производимаго на Гумбольдта Римомъ. Онъ дѣйствовалъ на него вообще эстетически. Онъ олицетворялъ для него прекрасный, дорогой для него древній міръ; онъ представлялся ему центромъ, вокругъ котораго вращаются классическая и новая культура и давалъ ему возможность видѣть какъ бы въ разрѣзѣ исторію развитія человѣческаго духа. Ко всѣмъ этимъ вліяніямъ присоединялось еще одно, самое сильное и самое естественное: Римъ былъ для него иллюстраціей того наполовину эмпирическаго, наполовину идеальнаго человѣческаго образа, который всегда стоялъ передъ его умственнымъ окомъ, и котораго онъ повсюду искалъ,—того образа, который составлялъ предметъ его философскихъ, эстетическихъ и филологическихъ, артистическихъ, фізіономическихъ и историко-литературныхъ, а въ послѣднее время въ особенности лингвистическихъ занятій. Римъ былъ для него нагляднымъ подтвержденіемъ того духа, который являлся двигателемъ научныхъ и даже образовательныхъ и жизненныхъ плановъ; планы историко-философской характеристики, планъ сравнительной антропологіи, планъ жить для себя и для вѣчныхъ идей и наконецъ планъ изучить возможно больше свѣтъ и людей. Римъ, однимъ словомъ, олицетворялъ для него всю сумму его убѣжденій и интересовъ, его философію и его воззрѣнія, его мысли и чувства, его мечты, желанія, вѣрованія; онъ находилъ здѣсь отраженіе своей собственной души со всѣмъ ея складомъ и всѣмъ содержаніемъ. Исторія человѣчества представлялась ему въ образѣ вѣчнаго города не въ разрѣзѣ только, а какъ цѣлое, какъ вся въ совокупности человѣческая судьба. Въ Римѣ, сказалъ Гёте, чувствуешь себя какъ-бы участникомъ великихъ рѣшеній судьбы. При видѣ Рима, съ горною цѣпью Лациума въ отдаленіи, пишетъ Гумбольдтъ, въ душѣ неудержимо возбуждаются размышленія объ исторіи и судьбѣ человѣчества, «и вокругъ холмовъ какъ бы сразу развертывается вся картина міровой исторіи». «Зерцаломъ міроваго порядка» называетъ онъ въ своемъ стихотвореніи Римъ. Онъ разъясняетъ позднѣе слова Гёте, что Римъ «внушаетъ чувственно-духовное убѣжденіе, что великое въ немъ было, есть и будетъ». Въ этомъ городѣ и его окрестностяхъ, говорятъ онъ, «какъ въ колоссальной картинѣ на вѣки выражено понятіе всемірно-историческаго развитія человѣчества, чувство неизбежной гибели всего существующаго во времени». Онъ комментируетъ Гёте; не разъ присваиваетъ онъ себѣ прямо какое-нибудь особенно выразительное слово поэта; онъ находитъ, что описаніе воз-

вращенія въ Римъ у Гёте вполнѣ выражаетъ его собственное состояніе. И не смотря на то, его пониманіе всемірно-историческаго характера «вѣчнаго города» далеко не совпадаетъ съ точкою зрѣнія Гёте. Реалистъ и поэтъ видѣлъ и воспринималъ иначе, чѣмъ идеалистическая и насъвозь созерцательная натура Гумбольдта. Первый, можно сказать, видѣлъ образъ исторіи и слышалъ ея ходъ, второму—открылся ея духъ и онъ слышалъ таинственный шепотъ этого духа. Не самая исторія, а ея философія проникала его духъ. Римъ былъ для него символомъ всемогущаго и вѣчнаго времени. Въ исторіи, которую олицетворялъ для него Римъ, онъ видѣлъ непосредственно тѣ высшія идеальныя силы, которыя направляютъ событія и управляютъ ими, вѣчность, въ которой исчезаютъ прошлое, настоящее и будущее. Эта римская дѣйствительность была для него дороже, чѣмъ всякое другое существованіе, потому что показывала одновременно безсиліе и ничтожество всякой дѣйствительности; на настоящемъ она показывала прошедшее и будущее. Здѣсь-то онъ нашелъ наконецъ мѣсто, которое не уединенностью своею и бѣдностью, какъ Монсерратъ, а, напротивъ, полнотой жизни и образовъ соответствовало всегда ему присущему чуждому дѣйствительности настроенію. Здѣсь онъ могъ одновременно наслаждаться богатствомъ чувственныхъ образовъ и въ то же время считать себя ушедшимъ отъ земнаго гнета чувственности въ область идеала. Положеніе, которое онъ десять лѣтъ назадъ создалъ для себя искусственно, устранившись отъ практическихъ требованій времени, отъ служенія отечеству, обществу и отъ всякой общественной дѣятельности вообще,—это положеніе существовало здѣсь само собою, въ видѣ той жизни и природы, которыя окружали его со всѣхъ сторонъ. Онъ имѣлъ здѣсь въ полности и внѣ себя то, что въ Ауленбѣ хотѣлъ создать для себя извнутри. Римъ не имѣлъ для него категорій «здѣсь», «сегодня»,—онъ былъ для него искомымъ мѣстомъ внѣ и надъ дѣйствительнымъ міромъ, единственное мѣсто на земномъ шарѣ, гдѣ онъ со своимъ эстетическимъ идеализмомъ могъ чувствовать себя какъ дома. Этотъ его эстетическій идеализмъ, дѣлавшій его враждебнымъ по отношенію къ свѣту, несправедливымъ къ настоящему, но за то, при посредствѣ фантазіи,—воспримчивымъ ко всему прекрасному, и обусловленное именно этимъ пониманіе Рима выразились особенно ясно въ двухъ мѣстахъ его писемъ изъ Рима. «Нашъ новый міръ»—пишетъ онъ Вольфу—«сбственно не міръ, онъ состоитъ только изъ тоски по прошлому и изъ неопредѣленнаго блужданія въ поискахъ за тѣмъ, что предстоитъ создать. Въ этомъ ужаснѣйшемъ изъ всѣхъ состояній фантазіи и чувство ищутъ для себя точку опоры и находятъ ее опять таки только здѣсь». Находятъ ее въ Римѣ, если предположить, что Кампанія не будетъ воздѣлана, и Римъ не превратится въ полицейски-благоустроенный городъ, въ которомъ ни одинъ человѣкъ

не носить при себѣ ножа. «Ибо»—такъ пишетъ онъ Гёте—«только до тѣхъ поръ пока въ Римѣ царствуетъ такая божественная анархія, а вокругъ него—восхитительная пустыня, остается мѣсто для тѣхъ тѣней прошлаго, изъ которыхъ каждый стоитъ больше, чѣмъ все это поколѣніе». Римъ для него городъ посвященный—онъ посвященъ грезамъ фантазіи и созерцанію, размысленію о прошломъ и настоящемъ. Граждане его живутъ на этой священной почвѣ не въ качествѣ собственниковъ, а какъ богомольцы, которые отдыхаютъ подъ сѣнью руинъ и пришли только затѣмъ, чтобы наслаждаться ихъ величіемъ ¹⁾.

Извѣстно, съ какимъ неодобреніемъ Нибуръ отозвался о Гёте по поводу его художественнаго сибаритства, «которое цѣлую націю и цѣлую страну разсматриваетъ исключительно какъ предметъ для своего наслажденія, а въ цѣломъ мірѣ и во всей природѣ не видитъ ничего кромѣ того, что служить для непрерывной декорациі жалкаго существованія». Подобный же и даже болѣе суровый упрекъ нетрудно было-бы сдѣлать и Гумбольдту. И для него современное поколѣніе есть только аксессуаръ на картинѣ, которую въ его воображеніи представляетъ Римъ. Желаніе, чтобы послѣдній никогда не пользовался благами благоустроеннаго управленія, содѣйствующаго благосостоянію и безопасности, настолько-же напоминаетъ повелѣніе тирана поджечь городъ, чтобы имѣть случай насладиться зрѣлищемъ пожара, насколько желаніе вообще можетъ псходить на дѣйствіе. Мы увѣрены, что Гумбольдтъ, если бы это было въ его власти, и если бы онъ былъ къ этому призванъ, не отказалъ-бы въ своей помощи для улучшенія дурнаго управленія Церковной области. Жестокость, навѣянная поэзіей, была не болѣе, какъ поэтическая жестокость. Предосудительно и характерно было только то, что это поэтическое отношеніе ко всему римскому препятствовало возникновенію прозаическаго, естественно-человѣчнаго и реальнаго отношенія. Онъ напоминаетъ того художника, котораго въ оборванномъ нищемъ интересуется только живописный видъ его лохмотьевъ. Онъ думалъ, чувствовалъ и писалъ въ Римѣ такъ, какъ выразился самъ Гёте, когда писалъ Ифигенію,—что онъ заставляетъ короля Thoas'a говорить такъ, «какъ будто въ Аполлѣ нѣтъ ни одного голоднаго чучелника». И что еще важнѣе—для этой эстетической вольности воззрѣній онъ имѣлъ меньше права, нежели художникъ или поэтъ. Онъ не вознаграждалъ за нее удачными произведеніями, которыя становятся радостью міра: онъ оплачивалъ ее только самимъ собою. Къ этимъ романтическимъ размысленіямъ онъ пришелъ не путемъ плодотворнаго изученія искусства, а путемъ эгоистическаго наслажденія и саморазвитія. Чтобы нравственно съ ними примириться, нужно при-

¹⁾ Письменные замѣчанія Гумбольдта, повторенныя г-жою Сталь въ ея „Коринтѣ“; ср. строфу 8 въ стихотвореніи Римъ (L. с. стр. 345).

нять въ соображеніе все то, что онъ въ послѣдствіи далъ міру и своему отечеству, — все равно, вопреки ли его эстетической культуры или благодаря ей. Но пока онъ былъ погруженъ исключительно для себя и по собственной волѣ въ фантастическіе образы и желанія. Субъективная и идеалистическая сторона его взгляда на Римъ—то, что все римское въ цѣломъ онъ исключительно приводилъ въ связь съ своимъ собственнымъ внутреннимъ міромъ, какъ съ единственнымъ средоточіемъ,—именно это придавало его эстетическимъ и историко-философскимъ взглядамъ совершенно своеобразную окраску. Хотя онъ вслѣдствіе этого во многомъ сходилъ съ Винкельманомъ и Гёте, онъ все-же совершенно иначе смотрѣлъ на Римъ, чѣмъ они; рядомъ съ художественнымъ интересомъ для него стоялъ существенный интересъ историческій, тѣмъ не менѣе нельзя себѣ представить большій контрастъ между отношеніемъ къ нему его самого и Нибура. Эстетически-историческимъ было оно у первого, историко-политическимъ — у другого. «Для меланхолика» — пишетъ Нибуръ, «Римъ убійственное мѣсто — такъ какъ въ немъ совершенно отсутствуетъ живая дѣйствительность, въ которой грусть могла-бы разсѣяться». Гумбольдтъ находилъ эту живую дѣйствительность въ избыткѣ и умѣлъ черпать изъ нея всю сладость томленія и грусти. Справедливо было высказано ¹⁾, что его взглядъ на Римъ болѣе всего совпадалъ со взглядомъ Гиббона. Не при полуденномъ освѣщеніи смотрѣлъ онъ на «городъ развалинъ», а при меланхолическомъ вечернемъ свѣтѣ. Длинные линіи города и его окрестностей, на которыхъ Гёте останавливалъ свой взглядъ съ цѣлью расширить и упростить свой кругозоръ, становятся для Гумбольдта основаніемъ его элегически-лирическаго настроенія. Даже въ воспоминаніи онъ чувствуетъ, какъ его влечетъ «всегда ему присущее стремленіе къ нимъ». Съ вершины Авентинской горы онъ смотритъ на протекающій внизу Тибръ; его серьезно и торжественно струющіяся волны «наполняютъ сердце глубокою тоской». По поводу Гётевскаго замѣчанія, онъ изображаетъ характеръ римской мѣстности: величіе, соединенное съ безконечною тишиной, прелесть, сочетающаяся съ уныніемъ — вотъ главные черты этого характера. Отъ этихъ именно чертъ онъ съ трудомъ освобождается въ своей поэтической характеристикѣ. Стихотвореніе все снова впадаетъ въ тотъ же тонъ и возвращается къ той-же тѣмѣ. «Какъ свозъ легкую траурную дымку» представляются его глазамъ римскія поля и «тоскуя тянется одна развалина за другою». Вездѣ господствуетъ суровая рука разрушенія: «уныніе утвердило здѣсь свое царство, объ унынія шепчуть тысячи безмолвныхъ жалобъ». И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствуетъ себя неотразимо плѣненнымъ, чув-

¹⁾ Guhrauer, Blätter für lit. Unterhaltung 1847, № 119.

ствуется себя убаюканнымъ чарами этихъ полей до состоянія «томительнаго одѣпенія».

„Stets an Alba's ornstem Scheitel hängen
Möchte zauberisch gebannt der Blick,
Wo einst Latium mit Festgesungen
Flehte von dem Donner Sieg und Glück,
Zu Soracte's lichten Höhn sich drängen,
Kehren über Tiburs Hain zurück:—
All die tiefen, schweifenden Verlangen
Halten in dem engen Raum gefangen“¹⁾.

Эстетическое наслажденіе, такъ субъективно понятое, такъ серьезно и глубоко прочувствованное, есть, очевидно, болѣе, нежели эстетическое наслажденіе. Римъ является для автора этой элегіи мѣстомъ поклоненія и молитвы. Настроенія такого рода, когда всѣ мысли и всѣ чувства сконцентрированы въ одномъ фокусѣ—настроенія религиозныя. Передъ фривольною поверхностностью и чувственностью католицизма, которая въ Римѣ выставляется вездѣ наружу, въ глубокихъ натурахъ необходимо пробуждается съ большею силою, чѣмъ гдѣ бы то ни было, все, что въ нихъ таится истинно религиознаго и благочестиваго. Съ отвращеніемъ отвернулся Гёте отъ пошлости католическаго культа. Гумбольдтъ не находилъ въ обрядахъ Святой недѣли ничего трогательнаго, ничего торжественнаго, онъ находилъ ихъ просто скучными²⁾. Оба стали-бы въ Римѣ протестантами, если-бы не были ими ранѣе. Для обонхъ впечатлѣнія, вызываемыя Римомъ, возвышались до чувствъ, для которыхъ мы не находимъ другого названія, кромѣ названія религіи. Это было живое ощущеніе вѣчно присутствующаго въ природѣ и человѣкѣ божества; это была эстетическая религія, вѣра Спинозы. Въ созданіяхъ поэтъ, подъ влияніемъ Гердера «Бога», искалъ и находилъ *Эв каі пѣв*, приводившее его въ удивленіе; въ высочайшихъ твореніяхъ античнаго искусства онъ чувствовалъ вѣчную необходимость, чувствовалъ Бога. Движимая этими впечатлѣніями душа его совершенно погрузилась «въ интеллектуальную любовь къ Богу»; онъ чувствовалъ, какъ исчезаютъ формы этого міра; онъ хотѣлъ заниматься только тѣмъ, что не имѣло характера эфемерности; онъ хотѣлъ «согласно ученію Спинозы, доставлять своей душѣ прежде всего вѣчность». То-же исканіе царства Божія, то-же стремленіе къ Единому Высшему видимъ мы и у Гумбольдта. Въ концѣ его большого стихотворенія, его религиоз-

¹⁾ Т. е.: никогда-бы не отрываться очарованнымъ взглядомъ отъ суровой вершины Альбы, гдѣ вѣкогда Лаціумъ съ торжественными цѣсношѣніями молилъ о побѣдѣ и счастья. Подняться-бы къ свѣтлымъ высотамъ Соракта, пролетѣвъ на обратномъ пути надъ роцею Тибра:—всѣ эти глубокия, измѣнчивыя желанія заключены въ этомъ тѣсномъ пространствѣ!

²⁾ „Скучнѣйшія церемоніи, какія когда-либо существовали“, въ письмѣ къ Вольфу, V, 247.

ныя размышленія и чувства и его эстетико-религіозное настроеніе сплетаются со всѣми его идеями объ исторіи, взятой въ цѣломъ и съ его высшими философскими воззрѣніями. Онъ видитъ божество въ великомъ движеніи всемірной исторіи; онъ видитъ его въ своей собственной душѣ; онъ видитъ его въ гармоніи человѣческаго и природнаго. Пантеистическая мысль, высказанная въ его статьяхъ въ «*Норел*», о тождествѣ физическаго и нравственнаго міровъ, также какъ и мысли, высказанныя въ стихотвореніи «*In der Sierra Morena*» появляются здѣсь снова болѣе прочувствованныя, эстетически болѣе законченныя, поддержанныя и подкрѣпленныя его воззрѣніями на Римъ. Именно здѣсь высказывается, что лучи римскаго блеска также потускнѣютъ: но вѣчно живетъ неподчиненный дѣйствию времени, всѣмъ управляющій духъ. Къ нему, сыну небесъ, «рѣюшему вокругъ ланить этихъ холмовъ» радостно спѣшить отъ мірской суеты тотъ, чью «душу тихо волнуютъ размышленія». Въ этомъ размышленіи о божественномъ тихо сплетаются грусть и удивленіе, ибо сущность божественнаго есть жизнь, все снова воспламеняющаяся отъ смерти и изъ нея развивающаяся:

„Der selbst, von dem alles Leben stammet
Ist nur ewig, weil stets neu er flammet“¹⁾.

Такъ прозвѣляется божественный духъ въ жизни людей, въ исторіи. Великое должно подчиняться времени, которое таитъ въ своихъ нѣдрахъ нѣчто болѣе великое; изъ него выдвигается «божественный хороводъ», въ которомъ болѣе прекрасное непрерывно возрождается изъ того прекраснаго, которое погибло. Но тотъ же духъ и тотъ же законъ господствуетъ и въ природѣ:

„Der des Menschen Busen heiss durch glühet,
Hält die Welten auch im ew'gen Gleis
Und die Funken, die er flammend sprühet,
Fasset keiner Ewigkeiten Kreis“²⁾.

Поэтому гуть, какъ и тамъ—въ міровомъ пространствѣ, какъ и въ глубинахъ собственной души—можно постигнуть божественное. Нужно только углубиться въ собственную душу и «наполнить ее богатою жизнью міра». Изъ соединенія этой двоякой жизни возникаетъ, какъ символъ божественнаго, родственная ему по своей сущности красота:

„Denn ein Abglanz göttlicher Gedanken,
Reisset, theilend keines Ird'schen Loos,
Aus der Ailtagsbilder irrem Wanken
Plötzlich, still verklärt, Gestalt sich los.

1) Т. е.: тотъ, отъ котораго исходитъ всякая жизнь, вѣченъ самъ только потому, что онъ непрерывно все снова возгорается.

2) Т. е.: тотъ, кто воспламеняетъ человѣческую душу, управляетъ также движеніемъ міровъ, и искры, которыя онъ, пламенѣя, разсыпаетъ, не обнѣмать никакая цѣнь вѣчностей.

Grösse, die nicht Wandel kennt, noch Schranken,
Ruht in ihrer Züge tiefem Schoos;
Was dem Geist entflieht als reine Wahrheit,
Strahlt aus ihr in hoher Sinnklarheit“ 1).

Изъ созерцанія Рима исходитъ этотъ апоэозъ красоты, также какъ религиозное ощущеніе судьбы человѣчества и величія міра; къ Риму же свободно возвращается поэтическое выраженіе всѣхъ этихъ идей и чувствъ; Римъ есть храмъ этой эстетико философской религіи, ибо «Божьею милостью» возросли эти холмы; все великое, что только можетъ потрясти душу, «связано съ радостнымъ блескомъ ихъ вершинъ».

По истинѣ, опасеніе, высказанное Шиллеромъ задолго до осуществленія плана путешествія по Италіи, оказалось неосновательнымъ. Шиллеръ встрѣтилъ съ большимъ сомнѣніемъ ту массу приготовленной, которая Гумбольдтъ сдѣлалъ когда-то для предполагаемаго путешествія. Онъ опасался, какъ бы эти приготовленія не лишили его спеціальнаго и высшаго воздѣйствія, которое Италія могла бы произвести на него; Шиллеръ боялся, что онъ найдетъ только то, что самъ привезетъ съ собою; что подъ вліяніемъ усиленнаго старанія достигнуть многихъ частныхъ результатовъ, онъ не предоставитъ цѣлому достаточно времени и простора, чтобы оно могло запечатлѣться какъ цѣлое въ его фантазіи 2). Гумбольдтъ обладалъ въ болѣе высокой степени, чѣмъ предполагалъ его другъ, ровною и безпритязательною, совершенно отдающею предмету восприимчивостію. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ на нѣсколько лѣтъ старше, зрѣлѣе, спокойнѣе. Путешествуя онъ научился путешествовать и видѣть. Испанія и Франція приготовили его къ Риму. Наконецъ и самъ Римъ научилъ его, даже неодолимо побуждалъ его къ тому именно образу дѣйствія, котораго желалъ Шиллеръ. Въ своей болѣе субъективной манерѣ онъ воспринялъ и узналъ въ Римѣ то же, что до него чувствовали Винкельманъ и Гёте. «Нѣтъ другого мѣста»—такъ подтверждаетъ онъ еще разъ слова Гёте—«которое бы такъ же мало, какъ Римъ, мирилось съ самимъ по себѣ похвальнымъ стремленіемъ путешествующаго неутомимо осматривать всѣ частности, стараться увезти съ собою извлеченное изъ нихъ поученіе и считать, что все исполнилъ, когда осмотрѣлъ такимъ образомъ все достойное обозрѣнія. Римъ требуетъ спокойствія, требуетъ, чтобы по возможности было

1) Т. е.: ибо изъ ряда блуждающихъ безъ мысли будничныхъ картинъ внезапно прорывается, не раздѣляя судьбы земного, просвѣтленный образъ—отблескъ божественной мысли. Величіе, не знающее ни перемѣны, ни предѣловъ, глубоко скрыто въ его чертахъ; что исходитъ изъ духа какъ чистая истина, то сіяетъ въ высокой чувственной красотѣ образа.

2) Письмо къ Кёрнеру. Переписка. IV, 46

забыто о необходимости обратного отъезда, какъ бы опредѣленно онъ ни предстоялъ. Нужно жить для себя, прежде чѣмъ научишься жить для нѣго, нужно спокойно и безъ помѣхи отдаваться впечатлѣнію». И онъ также чувствовалъ въ Римѣ и переживалъ это позднѣе еще разъ съ Гёте, что «только въ Римѣ можно подготовиться къ пониманію Рима»; не въ качествѣ «завоевателя», какъ выразился Шиллеръ, жилъ онъ тамъ, а какъ человѣкъ, попавшій наконецъ на свою дѣйствительную родину; «всѣ машины и снаряды», которыми онъ запасся, онъ откинулъ отъ себя; онъ пользовался и изучалъ римскую жизнь, предоставляя себя ея вліяніямъ, и предоставлялъ себя ея вліянію, наслаждаясь ею. Его памфлетъ и даже болѣе—его невольный образъ дѣйствія заключались въ томъ, чтобы «свободно отдаваться чистому наслаженію явленіемъ, такъ восхитительно открывающемуся всѣмъ нашимъ чувствамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ представляющему такую неизмѣримую глубину». Онъ былъ организованъ для наслаженія, какъ пемногіе: Римъ сдѣлалъ его мастеромъ въ искусствѣ наслаженія. «Пріѣзжайте только», приглашаетъ онъ издалека въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Вольфу своего «филологическаго друга» на прогулку въ лунную ночь въ Коллизеѣ. «Пріѣзжайте наслаждаться. Пробудьте только здѣсь нѣсколько недѣль и лотось будетъ скоро съѣденъ. И тяжелыя мысли о работѣ исчезнутъ. Вы захотите только наслаждаться, и наслаженіе будетъ вамъ пріятнѣе работы». На прогулкахъ, такъ пишетъ онъ ему-же въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ, въ восхитительныхъ окрестностяхъ Альбанскаго озера и у подошвы Монъ-Альбана, онъ беретъ съ собою Гомера и читаетъ его съ невѣроятнымъ удовольствіемъ. Вообще, онъ ведетъ «жизнь безконечно богатую наслаженіемъ». Оставивъ работу, онъ отправляется гулять, читаетъ, думаетъ и мечтаетъ. «Я, право, думаю, продолжаетъ онъ, что только здѣсь и наслаждаешься жизнью. Наслаженіе становится здѣсь плодотворнымъ дѣломъ и возбуждаетъ нѣчто въ родѣ презрѣнія къ дѣятельности. Вы найдете это неособенно похвальнымъ, дорогой другъ, но это такъ, и въ сущности что можетъ быть выше, какъ наслаждаться собою и природой, прошедшимъ и настоящимъ? Только такимъ образомъ живешь для себя и для того, что истинно».

Понятое такимъ образомъ, воодушевленное благороднѣйшими стремленіями и проникнутое высшими интересами наслаженіе не было враждебно духовной дѣятельности; оно содѣйствовало ей, облагораживая ее. Дѣло въ томъ, что въ римской стихіи работа сама становилась наслаженіемъ и наслаженіе—плодотворнымъ, какъ работа. «Ни въ какой другой обстановкѣ—предоставимъ слово снова Гумбольдту, чтобы дать ему возможность вмѣстѣ съ римскою жизнью описать и себя самого—«ни въ какой иной обстановкѣ изъ чистой и правдивой воспримчивости не исходить такъ непосредственно и

соотвѣтствующая дѣятельность, будетъ-ли то что-нибудь новое, добытое въ новой области, или же оно является продолженіемъ обычныхъ занятій,—размышленіе надъ мыслями, чувствами, образами, которые дома всего болѣе захватывали душу». Римъ, говорить онъ въ другомъ мѣстѣ, можетъ быть понятъ только, когда мы приведемъ въ движеніе лучшее изъ того, что заключается въ нашей душѣ: «но онъ самъ пробуждаетъ настроеніе, котораго требуетъ, и лучшія, благороднѣйшія силы расцвѣтаютъ тамъ въ живой и радостной дѣятельности». Такой именно родственной наслажденію, даже возжественной ему дѣятельности предавался и онъ. Онъ продолжалъ свои привычныя занятія; съ усиленною любовью предавался онъ идеямъ, давно и повсюду его занимавшимъ. Перенесъ всю свою внутреннюю жизнь въ Римъ, какъ въ новое духовное отечество, онъ перенесъ туда и занятія и работы, наполнявшія эту жизнь. Рядомъ и посреди этого наслажденія, которому онъ предавался, онъ продолжалъ занятія, давно начатыя, начиналъ новыя, примыкавшія сами собою къ прежнимъ. Правда, только мало-по-малу находилъ онъ, посреди своихъ служебныхъ занятій и подъ влияніемъ перваго могучаго впечатлѣнія, произведеннаго на него Римомъ, необходимые для этого досугъ и настроеніе. Новы и непривычны были для него служебныя занятія, новъ и непривыченъ удивительный городъ. Первое полугодіе въ Римѣ показалось ему тяжелымъ; только по истеченіи этого послушничества его занятія вошли въ колею. Тутъ уже онъ такъ ориентировался въ изученіи древностей, что могъ дать Вольфу подробныя свѣдѣнія о литературныхъ дѣлахъ и филологическихъ свѣтилахъ Рима. Онъ успѣлъ уже ориентироваться въ топографіи Рима, но правда въ общемъ согласенъ былъ съ Гёте, что «выковыривать старый Римъ изъ новаго»—дѣло неблагоприятное и непріятное. Его римскія экскурсіи были скорѣе очаровательными прогулками; только попутно онъ, въ силу своей основательности и филологической добросозвѣстности, не могъ не справиться, какъ Нардини, Зоэга или другой какой-нибудь ученый опредѣляли то или-другое мѣсто. Въ такомъ-же веселомъ стилѣ, въ такомъ-же широкомъ смыслѣ занимался онъ и изученіемъ древностей вообще. Онъ убѣдился, что Римъ не представляетъ благоприятнаго мѣста для настоящей научной дѣятельности. По части литературныхъ пособій плохо было въ городѣ, въ которомъ «только разъ въ пять лѣтъ пишется книга, и пяти лѣтъ потомъ о ней говорятъ». Въ этомъ отношеніи ему очень недоставало готовности и предупредительной любезности, которую онъ встрѣтилъ въ Парижѣ. Даже публичныя бібліотеки казались ему скрытыми сокровищами, пользованіе которыми было очень неудобно и отнимало много времени. Къ счастью, онъ одновременно убѣдился также и въ томъ, что Римъ тѣмъ болѣе благоприятствуетъ другому роду научныхъ занятій, къ которому онъ былъ въ высшей мѣрѣ на-

клоненъ. Въ библіотекѣ Ватикана угрюмый Илбуръ находилъ «лучшія своя радости». Гумбольдтъ не искалъ ихъ тамъ; даже музеи и галлерей онъ рѣдко посѣщалъ, а барельефы, монеты и геммы очень мало его интересовали. Настоящую его жизнь составляло—«ходить по Риму, держа въ головѣ всю совокушность римской исторіи и жизни». Снова, какъ въ Аулебенѣ, имѣлъ онъ только настольную библіотеку: онъ читалъ снова, какъ въ Аулебенѣ, классиковъ. Прежде всего римлянъ, затѣмъ и тѣхъ, чей духъ также населялъ римскую землю, учителей римлянъ—грековъ. Онъ не только читалъ ихъ, по снова и сильнѣе прежняго овладѣло имъ стремленіе подражать имъ, переводить ихъ «на свой любезный нѣмецкій языкъ». Здѣсь въ Римѣ, говорилъ онъ позднѣе, самая почва какъ бы проникнута духомъ античныхъ художественныхъ произведеній и, кажется, производитъ ихъ неисчерпаемое множество, какъ деревья и плоды. Тоже испытывалъ онъ по отношенію къ древнимъ авторамъ. Стремленіемъ къ творчеству отражался ихъ духъ въ его собственной душѣ; онъ окунулся въ жизнь, которая его здѣсь окружила и которая выросла изъ самой почвы. Онъ «упивался старыми и новыми писателями, преимущественно поэтами». Прежде всего онъ вернулся къ своимъ любимцамъ: принялся снова за переводъ Пиндара и Эсхила.

Рано прозвилась у него, какъ мы видѣли, любовь къ этимъ двумъ глубокомысленнѣйшимъ писателямъ древности. Не одинъ лишь философскій характеръ этихъ писателей привлекалъ его, не одно свойственное имъ соединеніе глубокомыслія съ тонкою прелестью и смѣлымъ благородствомъ. Рѣшающее значеніе для его предпочтенія имѣли два качества, которыя самымъ тѣснымъ образомъ сближали ихъ съ его собственной натурой. Изъ всѣхъ искусствъ болѣе всего, за исключеніемъ поэзій, онъ любилъ ваганіе, менѣе всего—музыку; но какъ уже было замѣчено, ему недоставало въ этомъ случаѣ не внутренняго, а только вѣшняго органа. Кто-то сказалъ, что Рафаэль былъ бы великимъ художникомъ, даже не имѣя рукъ. Также точно можно было-бы сказать въ переносномъ смыслѣ, что Гумбольдтъ былъ музыкальной натурой, не обладая музыкальнымъ чувствомъ. Именно пластически-музыкальными поэтами были Пиндаръ и Эсхиль. Нѣсколько разъ подчеркиваетъ Гумбольдтъ, что слабо связанныя части Пиндаровыхъ побѣдныхъ пѣсенъ объединяются лежащимъ въ ихъ основаніи настроеніемъ и фантазіей, что единство этихъ пѣсенъ существенно музыкальное. Въ другомъ мѣстѣ онъ указываетъ, какимъ великимъ мастеромъ Пиндаръ является въ своемъ какъ бы пластическомъ изложеніи, въ набросанной нѣсколькими удачными и смѣлыми штрихами характеристикахъ. Подобную-же комбинацію повидимому наиболѣе другу другу чуждыхъ преимуществъ находилъ онъ и у Эсхила. Онъ распространяется объ этомъ подробно, въ своемъ предисловіи къ пе-

реводу Агамемнона и открываетъ намъ такимъ образомъ, что его болѣе всего привлекало, какъ въ трагикѣ, такъ и въ лирикѣ. А именно, у Эсхила съ одной стороны, — несомнѣнное преобладаніе музыкальныхъ элементовъ, просто «безформенное возбужденіе ощущеній», тогда какъ съ другой — «дѣйствующія лица рисуются съ величайшею твердостью и опредѣленностью». Въ Агамемнонѣ, гогорить переводчикъ, хоръ насъ наполняетъ «грустными мелодіями»; и на этомъ фонѣ выступаютъ крупные образы трагедіи и притомъ такъ, что они представляютъ прекраснѣйшіе сюжеты для валянія, — комбинація музыкальныхъ и пластическихъ впечатлѣній, которая чужда «поэзіи новаго времени и въ такихъ поразительно великихъ и потрясающихъ чертахъ встрѣчается только у Эсхила и Пиндара».

Сохраняя по этимъ причинамъ постоянное пристрастіе къ двумъ названнымъ поэтамъ, онъ также твердо хранилъ намѣреніе перевести ихъ на нѣмецкій языкъ. Переводы онъ вообще очень любилъ, они удовлетворяли его поэтическому, также какъ и творческому стремленію. Уже въ своемъ этюдѣ о грекахъ (*Skizze über die Griechen*) онъ посвятилъ переводамъ цѣлый параграфъ и указалъ этому занятію мѣсто въ ряду научныхъ занятій древностями. Онъ попыталъ въ этомъ свои силы еще до знакомства съ Вольфомъ; но онъ и послѣ отъ него не отказался, хотя нельзя сказать, чтобы Вольфъ его къ этому поощрялъ. Онъ переводилъ даже тогда, когда не занимался ничѣмъ другимъ; для переводовъ онъ находилъ время и тогда, когда дѣлалъ многое другое. Въ Ауленбѣ и Іенѣ, въ Берлинѣ и снова въ Іенѣ, вездѣ продолжалъ онъ переводить; Пиндара крайней мѣрѣ онъ не забывалъ ни въ Вѣнѣ, ни въ Парижѣ, ни въ Мадридѣ. Аристофана и разные лирическія пьесы онъ переводилъ въ видѣ опыта, Пиндара онъ хотѣлъ перевести всего, изъ Эсхила — всего Агамемнона. Во время перваго своего пребыванія въ Іенѣ онъ работалъ въ видѣ пробы надъ одною одою; позднѣе, перевелъ девятую швейскую оду, онъ предполагалъ справиться такимъ же образомъ втеченіе года со всѣмъ Пиндаромъ. Во второй свой пріѣздъ въ Іену онъ прилежно работалъ надъ Агамемнономъ; онъ намѣревался тогда еще до конца года предложить публикѣ полный переводъ этой трагедіи. И всегда обращался онъ къ этому занятію по той-же самой причинѣ и въ томъ же внутреннемъ настроеніи. Существенно различно было его отношеніе къ этому и къ другимъ занятіямъ; иначе относился онъ къ переводу Пиндара, чѣмъ къ задуманной его характеристикѣ. А именно: безъ колебанія, страха и нерѣшительности, но съ энтузіазмомъ, какъ поэтъ, въ которомъ говоритъ Богъ. «Вся моя страсть къ переводамъ», пишетъ онъ, напримѣръ, Вольфу, «вытекаетъ у меня изъ истинно восторженной любви къ оригиналу». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ о своей переводнической страсти, какъ о «бѣшенствѣ», которое имъ «неотразимо овладѣваетъ». Приступивъ къ

переводу Агамемнона, оный хотѣлъ объяснить, какимъ образомъ онъ остановился на этой «совершенно собственно непереводимой» трагедіи, «но на это», прибавляетъ онъ, «не существуетъ собственно отвѣта: *ἀέκων ἀέκωντί γε θύμω*. Страсть мною овладѣла, я началъ и не могу перестать. Въ моемъ теперешнемъ настроеніи, я могъ-бы только насильно отъ него оторваться». «Этотъ переводъ», пишетъ онъ въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ, «мнѣ невыразимо дорогъ, я еще никогда не чувствовалъ себя въ такой степени заинтересованнымъ работою».

Удивительно-ли, что онъ обратился въ Римѣ къ любимѣйшимъ своимъ поэмамъ и любимѣйшимъ своимъ работамъ? Удивительно-ли, что здѣсь имъ особенно овладѣло то чувство наслажденія, та восторженная страсть, которую онъ всегда испытывалъ при этой работѣ? «Я опять перевелъ нѣсколько Пиндаровыхъ одъ, сообщаетъ онъ Вольфу, и не прочь снова серьезно этимъ позаняться; но я собственно не смотрю на это занятіе, какъ на работу, — «или скорѣе: я отношусь къ ней, какъ къ бесполезной работѣ и принимаюсь за нее только, когда не могу противостоять желанію. Въ послѣдніе нѣсколько мѣсяцевъ оно было во мнѣ сильно». Такъ писалъ онъ 16 іюня 1804 года изъ Рима. Позднѣе онъ бѣжалъ отъ зараженнаго лѣтнимъ зноемъ городского воздуха и наслаждался деревенскою жизнью и уединеніемъ въ римскихъ горахъ. Отдѣленный отъ Ариціо только ущеліемъ, расположенъ на горномъ хребтѣ очаровательный Альбано. Кого лѣса и горы, воды и небеса этой мѣстности не дѣлаютъ мечтателемъ и лѣнтяемъ, того они дѣлаютъ живописцемъ или поэтомъ. Тутъ именно и Гумбольдтъ мечталъ и писалъ: въ Альбано былъ доконченъ начатый восемь лѣтъ назадъ Агамемнонъ и передѣланы написанныя раньше части. Переводъ Пиндара такъ и не былъ законченъ, напечатанные опыты извлечены изъ оставшихся послѣ смерти переводчика бумагъ и дополнены посторонними сообщеніями ¹⁾; переводъ же Агамемнона долженъ былъ появиться въ печати еще при жизни Гумбольдта. Ему особенно хотѣлось издать его съ критическими примѣчаніями Вольфа къ греческому тексту. Онъ говорилъ объ этомъ съ Вольфомъ вскорѣ послѣ возвращенія изъ Италіи. Благодаря этому, а также и другимъ обстоятельствамъ, замедлился выходъ въ свѣтъ этого изданія. Но не проходило года, когда бы онъ не работалъ надъ исправленіемъ нѣмецкаго текста. *Notum prae matur in animis* исполнено было вдвойнѣ, когда въ 1816 году переводъ сданъ былъ наконецъ въ печать. Среди разнороднѣйшихъ

¹⁾ G. W. II, 264 и сл.; всего двѣнадцать цѣлыхъ одъ и три начатыя. Переводъ Агамемнона (Лейпц. у Флейшера, 1816, 4) въ G. W. III. I и слѣд.

занятій, въ тѣ немногія свободныя минуты, которыя оставляли ему возложенныя на него политическія переговоры, занимался онъ во Франкфуртѣ на Майнѣ окончательною отдѣлкой своей работы. По первоначальному предположенію переводъ долженъ былъ явиться въ сопровожденіи двухъ статей: одной — о сущности «Агамемнона» и другой — о метрикѣ трагедій; но теперь онъ ограничился болѣе короткимъ введеніемъ, въ которомъ даетъ общую оцѣнку и анализъ произведенія вмѣстѣ съ замѣчаніями о задачѣ перевода и о подражаніи греческой метрикѣ. Услуга, на которую онъ прежде разчитывалъ со стороны Вольфа, была ему теперь оказана не менѣе компетентнымъ въ вопросахъ, касающихся Эсхила, — Г. Германомъ. Посвятилъ онъ свой переводъ своей вѣрной сотрудницѣ въ занятіяхъ греческимъ языкомъ — той, съ которою онъ въ этотъ моментъ былъ снова, какъ въ 1804 году въ Альбано, въ разлукѣ.

Все тѣ же, слѣдовательно, были его сюжеты, все такъ же жива была страсть къ переводамъ. Въ Римѣ и Альбано онъ продолжалъ начатое въ Эрфуртѣ, Аулебенѣ и Іонѣ; во Франкфуртѣ онъ закончилъ возобновленное въ Альбано. Измѣнялись только его возрѣнія на переводъ и его методъ. Беря на себя смѣлость высказать въ общихъ чертахъ сужденіе о цѣнности этихъ работъ, мы должны связать его съ ихъ исторіей.

Первая попытка перевести Пиндара мало чѣмъ отличалась отъ попытки Шиллера перевести Эврипида. Правда, это не было, какъ у Шиллера, только посредственный переводъ, но, какъ и тотъ переводъ, это былъ скорѣе поэтический, нежели ученый трудъ, скорѣе поэтическое переложеніе, чѣмъ точная передача и подражаніе. Онъ возникъ «при счастливомъ невѣдѣніи» трудностей, безъ знакомства съ Пиндаровой метрикой, въ свободномъ полетѣ вдохновенія, независимо отъ какихъ бы то ни было правилъ. Изъ этого невѣдѣнія его впервые вывелъ опытъ Шнейдера о Пиндарѣ. Тутъ-то онъ убѣдился, насколько мало напоминаетъ Пиндара его нѣмецкая метрика. Онъ принялся за чтеніе всего Пиндара и за самостоятельное изученіе строенія Пиндарова стиха; онъ хотѣлъ составить себѣ собственное ясное представленіе, прежде чѣмъ попытаться снова переводить. Такимъ образомъ онъ вступилъ во вторую стадію своего переводничества. Къ поэтической цѣли присоединилась и филологическая. Цѣль, къ которой онъ стремился, заключалась въ томъ, чтобы сдѣлать для Пиндара то, что сдѣлалъ для Гомера Фоссъ, искусство котораго онъ высоко цѣнилъ. Однако же его пристрастіе къ поэзіи Пиндара и пониманіе его духа и послѣ продолжительнаго изученія все еще значительно превосходили пониманіе Пиндаровыхъ формъ. Псѣдъвліяніемъ Шиллера поэзія заявляла право на мѣсто рядомъ съ филологіей. Такимъ образомъ случилось, что еще въ Аулебенѣ онъ перевелъ четвертую пинейскую оду Пиндара размѣромъ, подходящимъ къ ориги-

налу повтореніемъ сходныхъ ритмическихъ періодовъ, но не строе-
ніемъ отдѣльныхъ стиховъ. По этой-же причинѣ онъ въ Іенѣ коле-
бался въ нерѣшительности между болѣе свободнымъ переложеніемъ и
строгимъ подражаніемъ формъ. Образцомъ послѣдняго должна была
явиться первая пифейская ода; при переводѣ ея онъ придерживался
усвоенныхъ имъ воззрѣній на метрику. Но Вольфъ былъ мало удов-
летворенъ этимъ образцомъ, и самъ Гумбольдтъ не могъ отрицать,
что въ одѣ встрѣчаются шероховатые мѣста и слабые переходы.
Направленная на частности и на форму забота вредно отразилась
на цѣломъ,—поэтической пылъ и полетъ, господствовавшіе въ пер-
выхъ опытахъ, исчезли. Снова обратился онъ поэтому къ прежней,
болѣе свободной манерѣ; онъ отчаявался даже въ томъ, чтобы
когда-либо ему удалась еще какая-нибудь ода въ этомъ-же размѣрѣ.
Подобное-же положеніе между филологическими и эстетическими со-
ображеніями занялъ онъ тотчасъ-же и по отношенію къ Агамемнону
Эсхила. Онъ такъ трудился надъ тѣмъ, чтобы передать хоры раз-
мѣромъ подлинника, что Шиллеръ уже тогда находилъ переводъ тя-
желымъ, деревяннымъ и неяснымъ, однако же въ его приѣмахъ не
было ни излишняго педантизма, ни ригоризма. Триметры діалога онъ
перелагалъ даже въ девяти и одиннадцатистопные ямбы, и только
трудности и неуѣстность такой замѣны, заставили его мало-по-малу
вернуться къ большей вѣрности оригиналу. Но при этомъ онъ имѣлъ
въ виду не филологическій переводъ, «который можно было бы удо-
стоверить строка за строкой», а «эстетическій и характеристическій—
такой, который бы стремился передать красоту и впечатлѣніе ори-
гинала». Поэтому онъ заботился болѣе всего о томъ, чтобы «вѣрно
передать характеръ и духъ цѣлаго» и только въ этомъ отношеніи
считалъ онъ свой переводъ болѣе близкимъ къ подлиннику, нежели
переводы Фосса. Эта точка зрѣнія представлялась ему въ такой мѣрѣ
вѣрною, что онъ считалъ возможнымъ установить разъ навсегда тотъ
родъ перевода, въ которомъ должны бы переводиться трагики. За-
мѣчательно то, что относительно этой работы—единственной, къ ко-
торой онъ относился съ большею увѣренностью и съ нѣкотораго
рода довѣріемъ къ своимъ силамъ,—сомнѣнія, обыкновенно тормозя-
шія его продуктивность, исходили отъ другихъ. Ни Шиллера, ни
Фридриха Шлегеля, ни Вольфа, Агамемнонъ не удовлетворялъ и—
что было лучше всего—критики въ своемъ порицаніи исходили изъ
совершенно различныхъ и даже противоположныхъ основаній. Не-
смотря на то и вопреки всѣмъ имъ, Гумбольдтъ продолжалъ твердо
держаться мнѣнія, составленнаго имъ о своей работѣ: онъ рѣшилъ
занять центральный пунктъ между различными требованіями, но въ
заключеніе признать цѣлое силою окончательнаго приговора завер-
шеннымъ.

Жаль, что онъ не сдѣлалъ, этого: лучше всего было-бы, по

всей вѣроятности, если-бы онъ напечаталъ своего Агамемнона въ томъ видѣ, какой онъ придалъ ему въ Альбано. Мы лично, признаемся, высокаго мнѣнія о Гумбольдтовыхъ переводахъ изъ Пиндара. Въ общемъ мы отдаемъ имъ предпочтеніе передъ всѣми остальными, которые намъ только пришлось видѣть. Правда, они не лишены ошибокъ въ пониманіи оригинала; въ болѣе раннихъ не трудно даже указать грубыя грамматическія ошибки. Позднѣйшіе переводы, какъ, напримѣръ, Тирша и Моммсена, искажены можетъ быть, гораздо менѣе, скажемъ даже -- безусловно вѣрны. Затѣмъ, они несомнѣнно имѣютъ одно преимущество: въ 1809 году появилась работа Бѣка о метрикѣ Пиндара; какъ эта, такъ и послѣдующія работы этого автора о Пиндарѣ произвели во взглядахъ на его метрику полнѣйшій переворотъ. Гумбольдтъ не могъ, подобно своимъ преемникамъ, воспользоваться результатами этихъ новыхъ глубокихъ изслѣдованій, — онъ основывался на недостаточныхъ результатахъ своихъ собственныхъ изученій и на принципахъ Германовой метрики. Тѣмъ не менѣе, или даже можетъ быть именно поэтому большинство переведенныхъ Гумбольдтомъ одъ по смыслу и содержанию, а нѣкоторыя даже и въ метрическомъ отношеніи, носятъ на себѣ истинно Пиндаровскій отпечатокъ. Они обнаруживаютъ — пользуясь выраженіемъ Отфрида Мюллера — ту соединенную съ точностью свободу, безъ которой переводъ становится рабскимъ трудомъ. Они вполнѣ заслуживаютъ похвалы, котрой одной только Гумбольдтъ для нихъ требовалъ — «что они уловили истинный характеръ Пиндара». При всѣхъ своихъ недостаткахъ, при зсей своей неровности они въ дѣйствительности даютъ то, что должны были дать: покуда не появится дѣйствительно хорошій переводъ, дать понятіе о томъ именно греческомъ писателѣ, который въ силу своей своеобразности намъ наиболее чуждъ. И этой цѣли они достигаютъ, какъ намъ кажется лучше, нежели болѣе корректныя и въ метрическомъ отношеніи болѣе вѣрныя позднѣйшія попытки перевода, и тотъ «настоящій хорошій переводъ», которому они должны-бы уступить свое мѣсто, какъ намъ кажется, все еще не появился. Именно въ Римѣ Гумбольдтъ нашелъ подходящее настроеніе и вѣрную точку зрѣнія на переводъ. Поэтически настроенный подъ вліяніемъ этого города, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ достигнулъ въ обращеніи со стихомъ, большей твердости и законности, — законности, не исключавшей извѣстной свободы и не жертвовавшей большому, духомъ — формѣ, словомъ — слога, искусствомъ — искусности. Однако-же другіе принципы и другая метода все болѣе и болѣе овладѣвала полемъ. Въ соглашеніи между историческими и филологическими соображеніями послѣднія взяли верхъ. А именно: съ каждымъ годомъ со времени альбанской редакціи метрическія воззрѣнія Гумбольдта становились все строже и педантичнѣе. Не обладая филологическою гениальностью

и свободой Вольфа, онъ становился въ требованіяхъ, предъявленныхъ имъ къ переводчику въ отношеніи метрики, еще менѣе снисходительнымъ; чѣмъ тотъ. Онъ не разъ жаловался прежде, что не обладаетъ настоящею поэтическою техникою, и потому переводы берутъ у него страшно много времени; онъ не стихотворецъ, какъ Фоссъ; переводъ перестаетъ быть благодарною работою только для того, кому онъ такъ мастерски удается, какъ переводчику Гомера. Впоследствии все это измѣнилось. Именно сочинителемъ стиховъ сдѣлался онъ; онъ заставлялъ себя быть точнѣе Фосса; онъ исходилъ изъ абсолютныхъ требованій правила; чтобы удовлетворить послѣднему, любовь къ дѣлу и фантазія найдутъ ужъ для себя выходъ. Онъ не прощаль, какъ бы велико ни было затрудненіе, ни малѣйшей неправильности, никакого даже наполовину научнаго выраженія; возня со слогами и словами доходила до границъ безвкусія ¹⁾. Его взгляды на внутреннюю вѣрность перевода стали такъ же строги или лучше сказать всегда отличались строгостью. Что переводчикъ долженъ писать такъ, какъ написалъ бы самъ авторъ на языкѣ переводчика, — это часто повторяющееся требованіе онъ совершенно справедливо считалъ превратнымъ и даже нелѣпымъ. Онъ совершенно основательно требовалъ, чтобы въ каждомъ переводѣ чувствовалось чужое, и именно большая или меньшая степень являются здѣсь рѣшающимъ моментомъ, и какъ далеко Гумбольдтъ въ этомъ отношеніи заходилъ, видно изъ того, что взгляды Вольфа казались ему слишкомъ свободными, а его переводъ Аристофана онъ находилъ модернизированнымъ.

Изъ подобныхъ воззрѣній исходитъ послѣдняя рецензія нѣмецкаго перевода Агамемнона. При всей своей точности этотъ переводъ носить на себѣ отпечатокъ педантизма и туги. Онъ такъ точенъ, что становится деревяннымъ и неяснымъ. Самъ Гумбольдтъ не скрывалъ отъ себя, что его усердное и постоянное стремленіе «устранить все, чего не было прямо въ текстѣ» повредило свободѣ и ясности перевода. Но онъ не зналъ, въ какой мѣрѣ это имѣло мѣста, если могъ думать, что въ его работѣ не встрѣчается по крайней мѣрѣ темныхъ мѣстъ, вызванныхъ неточнымъ употребленіемъ словъ или двусмысленнымъ ихъ сочетаніемъ. Она полна необычныхъ разстановокъ словъ, искусственныхъ построеній, синтаксическихъ нелюбопытностей всякаго рода. Обыкновенный, незнакомый съ греческимъ языкомъ читатель, прочтя весь переводъ, можетъ понять его не болѣе, чѣмъ если-бы ему прочли его въ оригиналѣ; ему можетъ по-

1) См. его письмо къ Вольфу, посланное вмѣстѣ съ переводомъ Агамемнона въ собр. соч. (G. W. V, 297) и его разборъ сдѣланнаго Вольфомъ перевода одной изъ элегій Овидія, тамъ-же стр. 298 и сл., кромѣ того стр. 296.

казаться, что онъ имѣеть передъ собою греческій текстъ написанный нѣмецкими словами и буквами. Филологъ будетъ при чтеніи его удивляться искусству и точности и, можетъ быть, еще болѣе трудолюбію и старательности переводчика. Читатель съ развитымъ въ метрическомъ отношеніи ухомъ будетъ очарованъ звучностью стиховъ и въ особенности красотою анапестовъ. Но что касается восторга, вызваннаго въ слушателяхъ при первомъ чтеніи Вольфомъ Гумбольдтовой рукописи, то главная доля его несомнѣнно зависѣла отъ юношескаго воображенія и милаго самообмана: какъ-бы близко этотъ переводъ ни знакомилъ насъ съ манерой Эсхила и съ греческимъ текстомъ, все же отдѣльные его достоинства никогда не вознаграждать безпристрастнаго читателя за непереваримую шероховатость цѣлаго; общее впечатлѣніе — говоря словами новѣйшаго переводчика Орестей — будетъ всегда впечатлѣніемъ жесткости, которая ничего не менѣе тягостна отъ того, что часто съ успѣхомъ подражаетъ самому подлиннику.

И на самомъ дѣлѣ, при всей искусной отдѣлкѣ стиха, при всемъ своемъ метрическомъ ригоризмѣ, Гумбольдтъ все еще держался мнѣнія, что на первомъ планѣ должно стоять стремленіе передать смыслъ и духъ поэта. Въ его намѣреніе не входило принести духъ въ жертву словамъ и характеръ всего произведенія — долготѣ и музыкальности отдѣльныхъ словъ. Какъ глубоко онъ понималъ нравственное и эстетическое значеніе Агамемнона доказывается предисловіемъ его къ переводу. И наконецъ даже его шероховатости рѣдко безвкусны. Неизмѣримая пропасть отдѣляетъ тяжеловѣсность Фоссова перевода отъ принужденности формы Гумбольдтова Агамемнона. Недостатки послѣдняго вызваны не неуклюжестью, а преувеличенною тонкостью. Не то, чтобы Гумбольдтъ недостаточно цѣнилъ содержаніе и красоты оригинала или вслѣдствіе эстетической тупости ихъ не понималъ, — напротивъ, онъ такъ тонко ощущалъ, съ такимъ глубокимъ вниманіемъ къ нему относился, что прослѣдилъ его до первичныхъ элементовъ композиціи, понималъ его еще въ изгибахъ, недоступныхъ для пониманія болѣе грубыхъ организацій. На томъ же основаніи, которое заставило его изучать философію исторіи на фізіономіяхъ и національный характеръ французовъ на ихъ сценѣ, — на томъ же основаніи полагалъ онъ, что пойметъ добрую половину духа Эсхила, углубившись совершенно въ его языкъ и передавая самымъ тщательнымъ образомъ его метрику. Общее впечатлѣніе, производимое его переводомъ, не потому неудовлетворительно и такъ мало способно дать непосвященному представленіе объ оригиналѣ, что онъ существенное принесъ въ жертву случайному, а потому, что отъ существеннаго онъ взялъ самое глубокое и толкое, болѣе чѣмъ крупное и замѣтное, отъ поддерживающаго все остальное. но скры-

таго фундамента — болѣе, нежели отъ возвышающагося на немъ зданія.

Дѣло въ томъ, что его переводъ созданъ подъ вліяніемъ преобладающаго интереса къ языку; онъ носитъ на себѣ слѣды его воззрѣній на сущность языка; какъ въ своихъ достоинствахъ, такъ и въ своихъ недостаткахъ онъ свидѣлствуетъ намъ о занятіяхъ Гумбольдта лингвистикой.

Напрасно думаютъ, такъ говорится во введеніи къ переводу Агамемнона, что все заключается всегда въ духовной сторонѣ содержанія. «Мнѣ лично всегда казалось, что интеллектуальная и даже въ значительной мѣрѣ нравственная и политическая судьба націй опредѣляется или выражается въ томъ, какъ въ языкѣ буквы слагаются въ слоги, а слоги въ слова, и какъ эти слова, въ свою очередь, относятся другъ къ другу въ рѣчи по долготѣ и ударенію». Разъ онъ имѣлъ такое высокое мнѣніе о языкѣ и его просодическихъ свойствахъ—удивительно-ли, что онъ и духомъ художественнаго произведенія думалъ овладѣть вмѣстѣ съ лексическими и ритмическими его элементами, вмѣстѣ съ ними и въ нихъ? Гумбольдтъ думалъ, что ему удастся перенести духъ Эсхила на нѣмецкую почву, какъ только онъ возбудитъ духъ его языка въ нѣмецкомъ языкѣ. Его работа исходила изъ глубочайшаго почтенія къ чужому языку и изъ глубокой любви къ своему родному. Еще разъ высказывается онъ во введеніи къ Агамемнону о цѣли переводовъ вообще. Прежде всего онъ усматриваетъ ее, разумеется, въ томъ, что и несвѣдущій въ языкахъ знакомится съ другими формами искусства и человѣчества; затѣмъ и преимущественно онъ видитъ ее въ возвышеніи содержательности и выразительности родного языка. Онъ переводитъ, слѣдовательно, по эстетико-антропологическимъ, а еще болѣе по лингвистическимъ мотивамъ. Но особенно его къ этому побуждаетъ сложившееся у него воззрѣніе на отношеніе нѣмецкаго языка къ греческому,—воззрѣніе, съ которымъ мы уже знакомы по двустипіямъ написаннымъ, во время путешествія по Испаніи. На долю грековъ преимущественно передъ другими народами, говорится въ предисловіи къ Агамемнону, «вышла счастливѣйшая участь, которую только можетъ пожелать себѣ народъ, задающійся цѣлью господствовать духомъ и словомъ, а не силой и дѣлами». Нѣмецкій-же языкъ изъ всѣхъ новѣйшихъ языковъ наиболѣе близокъ къ греческому и обладаетъ тѣмъ достоинствомъ, что лучше другихъ способенъ передавать его ритмъ; «тотъ, въ комъ съ сознаниемъ его цѣнности соединяется чувство ритма, тотъ будетъ все болѣе и болѣе стремиться укрѣплять въ немъ это преимущество». И за это онъ превозноситъ заслуги Клопштока и Фосса. Лексически-ритмическимъ переводомъ онъ и самъ добивается — и добивается съ успѣхомъ — такой-же заслуги. Его Агамемнонъ не составляетъ, какъ Гомеръ въ переводѣ Фосса, пріобрѣтеніе для нѣмецкой литературы,

но онъ все же составляетъ рѣшительное приобрѣтеніе для нѣмецкаго языка.

Однако, не въ 1816 году только возобладали эти лингвистическія воззрѣнія, вокругъ которыхъ, какъ вокругъ общаго фокуса, сгруппировались всѣ его филологическіе и эстетическіе, антропологическіе и историко-философскіе взгляды, — Италіи и именно въ связи съ его тамошними попытками переводовъ явилось это воззрѣніе. То, чѣмъ былъ для него Римъ, какъ опредѣленная территория, тѣмъ самымъ сталъ для него въ предѣлахъ этой территории въ научномъ отношеніи языкъ. Онъ сталъ для него тѣмъ священнымъ мѣстомъ, въ которомъ все его существо находило неиспытанное ранѣе удовлетвореніе. Онъ высказывается объ этомъ Вольфу въ томъ самомъ письмѣ, въ которомъ сообщаетъ ему о возобновленныхъ попыткахъ перевести Пиндара. «Въ сущности своей», такъ гласитъ это удивительное признаніе, «все, чѣмъ я занимаюсь, въ томъ числѣ и Пиндаръ, есть филологія. Я, кажется, открылъ способъ пользоваться языкомъ какъ экипажемъ, въ которомъ можно объѣхать все наиболѣе высокое и глубокое и все многообразіе цѣлаго міра, и я все болѣе и болѣе углубляюсь въ это воззрѣніе». Онъ углублялся поэтому все болѣе и болѣе въ лингвистическія занятія, начатыя имъ въ Парижѣ и Испаніи. То, надѣ чѣмъ онъ работалъ въ Римѣ по окончаніи Агамемнона, были изслѣдованія въ области языковѣдѣнія. Къ изслѣдованію баскскаго языка присоединились изслѣдованія происхожденія и родства европейскихъ языковъ вообще. Кругъ этихъ занятій еще болѣе расширился, когда Александръ Гумбольдтъ снабдилъ его матеріалами для изученія американскихъ языковъ, собранными имъ для него во время путешествія по Америкѣ. И самъ Римъ, приведшій Гумбольдта къ вышеупомянутому лингвистическому воззрѣнію, оказалъ благопріятное дѣйствіе и на вызванія этимъ воззрѣніемъ занятія. Еще разъ оправдалъ онъ свою репутацію мирового центра. Унаслѣдованное христіанскимъ Римомъ отъ древняго стремленіе къ правдивости и всемірному господству вызвало къ жизни институтъ для пропаганды, а этотъ институтъ требовалъ знакомства съ языками всего міра. Цѣли христіанства послужили научнымъ цѣлямъ Гумбольдта. Изъ богатой бібліотеки Collegio Romano, также какъ и изъ другихъ римскимъ книгохранилищъ, притекали къ этому институту сокровища, которыми трудолюбіе и глубокомысліе нѣмецкаго ученаго воспользовались впоследствии для сравнительнаго языковѣдѣнія и философіи языка ¹⁾.

Только поэзія продолжала дѣлать съ языковѣдѣніемъ право и пре-

¹⁾ А. Шлегель въ *Intelligenzblatt der Ienaischen All. Liter. Ztg.* (Іенская общелитературная газета) 23—28 октябрь 1805 г. Путешествіе А. Гумбольдта и Бонплана. нѣм. изд. I. 28. II, 215, 256, 257; ср. у Шлезіера, II, 50, 104, 126, 127.

имущество служить носительницей всего интеллектуального и природного богатства Гумбольдта. Даже и послѣ открытія «экипажа», посредствомъ котораго возможно стало изслѣдованіе всего высшаго и глубочайшаго, продолжались у него попытки поэтическаго творчества. Къ переводамъ Шиндара и Агамемнона присоединились самостоятельныя произведенія. Тогда-то была написана большая элегія, связавшая со стѣнами Рима все то, что волновало самого автора. Какъ ни индивидуально-Гумбольдтовски было ея содержаніе, но и она была не болѣе какъ подражаніе. И въ ней нетрудно открыть Шиллеровы мотивы. Кромѣ того возможно указать параллельныя мѣста у Виргилія и Горация, сходство съ которыми придаетъ всей элегіи римскій характеръ. Это стихотвореніе есть произведеніе дилеттанта; въ эстетическомъ отношеніи оно слабѣе элегіи, написанной въ горахъ Сьерра-Морена. Богатая приемами музыкальная форма, заимствованная у итальянскихъ поэтовъ, скрываетъ поэтическую несостоятельность произведенія, но не соответствуетъ его характеру, ибо то богатство чувственныхъ элементовъ и тотъ пылъ фантазіи, которые направляютъ кожную лирику, въ гармоніи съ языкомъ юга, въ сторону пестрыхъ метрическихъ формъ, наиболѣе чуждо нашему философу-поэту. Онъ воспринимаетъ глубоко, но не живо; онъ чувственъ, но не сладострастенъ. Его элегія безъ сомнѣнія выше той, которую раньше его на ту-же тему написалъ для г-жи Сталь А. В. Шлегель. «Холодною шуткой» справедливо назвалъ послѣднюю Клебель; это были машиннаго производства гексаметры и пентаметры, пропущенные сѣвось метрическое сито и совершенно очищенные при этомъ отъ всякой примѣси чувства. Гумбольдтовы стансы, наоборотъ, скорѣе слишкомъ погружены въ стихію чувства. Сѣрая окраска мысли и неопредѣленный цвѣтъ чувства слишкомъ мало отбѣняются яркимъ свѣтомъ фантазіи. Музыкальность приема, красота картинъ не сливаются въ горнило вдохновенія съ элегическимъ созерцаніемъ. Стихотворенію недостаетъ—и Гумбольдтъ самъ повидимому это чувствовалъ—свѣжести и ясности, сосредоточенности и захватывающей силы.

Еще сильнѣе отразились эти недостатки на другомъ поэтическомъ произведеніи, о которомъ мы тоже уже попутно упоминали. Стихотвореніе «Александру Гумбольдту» было послѣднимъ его произведеніемъ, написаннымъ въ Италіи ¹⁾. Оно было написано въ сентябрѣ 1808 года, въ Альбано, и служитъ отвѣтомъ на посвященіе Вильгельму Гумбольдту, которое было помѣщено во главѣ выпущеннаго знаменитымъ путешественникомъ въ 1807 году изданія «Картина природы». Уже устные описанія брата живо переносили Вильгельма

¹⁾ Это стихотвореніе было впервые напечатано въ собр. его соч. (G. W. I, 361 и сл.).

въ заатлантическій міръ. Въ прекрасномъ изложеніи, въ формѣ, которая такъ-же спеціально была создана или открыта для естественныхъ наукъ, какъ форма, примѣненная нѣкогда Платономъ для философіи, — представились теперь его фантазіи картины природы стараго и новаго свѣта. Это путешествіе брата расширило кругозоръ Гумбольдта, какъ въ отношеніи языкознанія, такъ и въ общемъ смыслѣ. Въ увеличенной вдвое картинѣ міра и человечества его собственный міръ мысли явился въ новомъ освѣщеніи. Его тянуло привить ядру своихъ идей всю полноту новаго матеріала и новыхъ воззрѣній. Давнишняя мысль о поэтической космогоніи соединилась съ его историческими и философскими идеями. Цѣлый рядъ внутреннихъ впечатлѣній, связанныхъ между собою личностью брата и его собственною, былъ изложенъ въ длинномъ философскомъ стихотвореніи въ формѣ кантоевъ. Противуположеніе волнующагося моря и неподвижнаго утеса открываетъ собою описаніе развивающагося изъ хаоса міра. Затѣмъ среди міра является человѣкъ. Судьба и природа благопріятствовали юношеской порѣ человечества: въ прекраснѣйшемъ союзѣ съ природой, въ странѣ полной прелести жилъ греческій народъ. Но какъ отличенъ отъ этого характеръ природы новооткрытаго материка! Степи и горы, лѣса Америки и ея растительный и животный міры рисуются авторомъ въ картинѣ, черты и краски которой несомнѣнно заимствованы изъ описаній брата. И снова обращается онъ къ человѣку: и человѣкъ среди такой природы является другимъ, онъ представляется здѣсь въ образѣ дикаря. Только Церера — тутъ повторяется мотивъ Шиллерова элевзинскаго праздника — только свѣтлоскудная Церера гуманизируетъ человѣка, только она приноситъ ему блага права, свободы, гражданственности. Но американскимъ берегамъ эти блага долгое время оставались чуждыми. Правда, и тамъ процвѣтало искусство, тамъ и теперь еще находятъ остатки погибшаго зоролевскаго величія, но эти деспотически управляемые народы и государства исчезли безслѣдно; другія народныя орды, бродившія по лѣсамъ, жили только для того, чтобы существовать и взаимно другъ друга истреблять. Однако, какъ-же? Развѣ американскіе дикари останутся навсегда дикарями? — ихъ существованіе исчезнетъ безплодно, «не давъ жизни какому-нибудь дѣятельному народу»? И пелазги были нѣкогда дикарями, также какъ и обитатели Германіи, родственные по духу эллинамъ и теперь оспаривающіе у нихъ пальму первенства въ образованности! Богаче и роскошнѣе, конечно, американскія природа; поборотъ или формировать эту блестящую роскошную жизнь труднѣе; но развѣ здѣсь поэтому должна находиться граница земной жизни? «Развѣ тамъ, гдѣ красуется во всей своей роскоши природа, не можетъ сіять всеосвѣщающимъ свѣтомъ человѣческой умъ»? Не слѣдуетъ думать, что судьбы всѣхъ придутся всегда одинаковыми нитями. Безконечна и многообразна жизнь божества;

изъ лона его на протяженіи времени развивается постоянно нѣчто новое; и на этой почвѣ возникнетъ когда нибудь другой народъ, «который изъ образовъ новаго свѣта создастъ новую форму искусства и мудрости»; благородные языки явятся тутъ, и настанетъ время, когда Америка не будетъ болѣе служить пришельцу, а только терпѣть и шадить его. Ибо тогда только преуспѣваетъ человѣкъ, когда онъ развивается въ духѣ собственнаго, роднаго языка, изъ своего роднаго племени—свободно и самостоятельно: «старый свѣтъ не разъ парилъ на золотыхъ крылахъ побѣды, теперь новому нужно добиться ея». Послѣ этого предсказанія стихотвореніе снова обращается къ тому, чье благополучное возвращеніе воспѣто въ начальныхъ строфахъ произведенія. Ты, дорогой Александръ, такъ обращается онъ къ брату, видѣлъ оба свѣта и изъ того, что ты глубокомысленно изслѣдовалъ, ты соткалъ богатый, охватывающій всю вселенную поясъ. Живо выступаютъ передъ нами въ твоихъ описаніяхъ, въ которыхъ ты заставилъ поэзію идти по слѣдамъ науки, чудеса новаго свѣта. Вмѣстѣ съ тѣмъ ты раскрылъ передъ нашими глазами внутреннюю работу силъ природы. Не забылъ ты въ своей картинѣ и человѣка. Отъ твоего вниманія не ускользнули и звуки человѣческой рѣчи, ибо ты зналъ, что и она несетъ на себѣ печать божества:

Glücklich bist Du gekehrt zur Heimathserde,
 Von fernem Land und Orinoco's Wogen.
 O! wenn—die Liebe spricht es zitternd aus—
 Dich andren Welttheils Küste reizt, so werde
 Dir gleiche Huld gevährt, und gleich gewogen
 Führe das Schicksal Dich zum Vaterherde,
 Die Stirn von neu errung'nem Kranzumzogen.
 Mir gnügt, im Kreis der Lieb', im stillen Haus,
 Dass mir den Sohn zum Ruhm Dein Name wecke,
 Mich einst Ein Grab mit seinem Brüdern decke 1).

Въ Римѣ Гумбольдтъ предполагалъ провести остатокъ своей жизни. Все его существо такъ сплелось съ тамошнимъ обиходомъ, что онъ не разъ повторялъ друзьямъ на родинѣ свое рѣшеніе, «никогда добровольно не покидать Рима». Онъ надѣялся почить современемъ у подножья пирамиды Цестія, рядомъ со своимъ любимцемъ. Сиромная семейная жизнь—вотъ все, чего онъ для себя желалъ; честолюбія не было въ его патурѣ. По личнымъ дѣламъ отправился онъ въ по-

1) Т. е.: благополучно вернулся ты на родину, съ чужой стороны, съ береговъ Ориноко. О, если — съ трепетомъ говорить это любовь — если тебя привлекаетъ новый свѣтъ, то да будетъ судьба къ тебѣ такъ-же благосклонна и да приведетъ тебя снова къ родному очагу увѣчаннымъ новыми лаврами. Для меня достаточно, живя въ кругу милыхъ сердцу, у мирнаго очага, видѣть, что твое имя побуждаетъ сына стремиться къ славѣ и почить когда-нибудь въ одной могилѣ съ его братьями.

ловинѣ октября 1808 года въ Германію. Онъ не зналъ, что теперь исполнится то, о чемъ онъ писалъ два года назадъ одной женщинѣ-другу: «Пока, я чувствую себя въ Римѣ такъ, какъ и всегда въ жизни: я каждый вечеръ думаю, что завтра можетъ произойти случайность, которая положить конецъ моему пребыванію здѣсь». Не совсѣмъ случайно было однако то, что явилось теперь прелѣтствіемъ для его возвращенія въ Римъ. Судьба отечества потребовала его. Довольно жилъ онъ для себя; онъ наслаждался полнотою счастья; онъ достигъ зрѣлости развитія, къ которой стремился. Ему предназначено было сдѣлать плодотворнымъ для государства и міра результатъ этой жизни, посвященной образованію и наслажденію. Передъ нимъ открылась сфера дѣятельности, которой онъ не искалъ и не желалъ. Его образъ мыслей не позволялъ ему отъ нея устраниваться, и пробнымъ камнемъ цѣнности его образованія стало то, что онъ сумѣлъ ее выполнить съ почетомъ и даже съ блескомъ.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Государственная дѣятельность.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Управление департаментом исповѣданій и народнаго просвѣщенія.

Хоть Римъ и сталъ для Гумбольдта второю духовною родиной, но своей настоящей родиной онъ тѣмъ не менѣе не измѣнилъ. Онъ также мало сдѣлался въ Римѣ римляниномъ, какъ въ Парижѣ французомъ; въ какую бы страну свѣта онъ ни попалъ, онъ вездѣ остался бы нѣмцемъ; Шиллеръ совершенно справедливо писалъ ему въ послѣднемъ письмѣ: «нѣмецкій духъ сидитъ въ васъ слишкомъ глубоко, чтобы вы могли гдѣ-либо перестать чувствовать и думать по нѣмцки».

Тѣмъ не менѣе эта привязанность ко всему нѣмецкому было совершенно особаго рода. Она была совершенно отлична, какъ отъ того, что обыкновенно называется любовью къ отечеству, такъ и отъ того, что зовется патриотизмомъ. Его чувства имѣли мало общаго съ тою болѣзненною тоской, которую испытываетъ швейцарецъ по своимъ горамъ и звукамъ родной пастушеской пѣсни. Еще менѣе имѣли они общаго съ чувствомъ ревнивой гордости и готоваго на самопожертваніе восторга, охватывавшихъ афинянина времянъ Перикла въ экклесіи или римлянина въ сенатѣ при извѣстии о пораженіи при Каннахъ. Слезы изъ его глазъ исторгала не мысль о нѣмецкой землѣ; его кровь волновало не воспоминаніе о быломъ величій германскаго государства: онъ любилъ нѣмецкій умъ и «нѣмецкій духъ». При звукахъ нѣмецкой рѣчи его охватывалъ родъ тоски по родинѣ и нѣчто вродѣ патриотической гордости; стихи дорогихъ ему Шиллера и Гёте возбуждали въ немъ какъ-бы сознаніе силы или радость побѣды. Его любовь къ отечеству была подобна любви къ чему-то прошлому, вѣрнѣе—къ тому, что не отъ міра сего, къ духовнымъ сокровищамъ и идеямъ. Онъ любилъ-бы «нѣмецкій духъ» и чувствовалъ-бы себя удовлетвореннымъ въ своемъ чувствѣ даже и тогда, если бы нѣмецкая нація перестала существовать какъ таковая, или если бы Германія была провозглашена провинціей французской

всемірної монархії. Онъ любилъ Германію, какъ любилъ Римъ и Элладу; онъ любилъ и идеализировалъ ее такъ же, какъ и ихъ. Нѣмецъ до мозга костей, какииъ онъ несомнѣнно былъ, онъ воспринималъ все нѣмецкое въ преобладающемъ большинствѣ случаевъ сообразно вкусамъ и потребностямъ своей индивидуальности. Онъ былъ, конечно, правъ, признавая отличительною чертой нѣмецкой поэзіи и нѣмецкаго характера «тихо но глубоко» ошущающій душевный складъ, — большую духовность и богатство внутренней жизни. Не лишена была безспорно нѣкоторой основательности такъ часто высказываемая имъ мысль о духовномъ сродствѣ нѣмецкаго языка и національности съ греческою. Нельзя не согласиться съ нимъ также и относительно усматриваемаго имъ двоякаго преимущества нѣмецкаго языка передъ греческимъ — большей его гибкости въ передачѣ мысли, большей теплоты и сердечности. Приходится также согласиться съ придаваемымъ имъ нѣмецкому языку и націи въ силу этихъ преимуществъ опредѣленіемъ «наиболѣе общечеловѣческихъ». Нѣкоторую справедливость надо признать и за тѣми соображеніями, которые онъ высказываетъ, по поводу сравненія южногерманскаго съ сѣверогерманскимъ характеромъ, объ общемъ характерѣ націи: нѣмецъ, говоритъ онъ, стоитъ, какъ безпристрастный судья и наблюдатель всѣхъ другихъ націй, на такомъ пунктѣ, съ котораго онъ ихъ всѣхъ видитъ, въ то время какъ всѣ онѣ на него вліяютъ; поэтому-то назначеніе и какъ бы конечная цѣль нѣмецкаго характера заключается въ томъ, чтобы построить мостъ между античнымъ и новымъ міромъ и вызвать сочетаніе особенностей того и другого въ одной формѣ. Всѣмъ этимъ, повторяемъ, не приписано нѣмецкому характеру ничего, чего бы въ немъ на самомъ дѣлѣ не заключалось, — онъ разсматривается тутъ только такъ, какъ только одинъ Гумбольдтъ могъ его разсматривать, и черты этой характеристики совершенно сплелись съ образомъ мыслей того, кто самъ отличался подобнымъ тихимъ, но глубокимъ душевнымъ складомъ, такой сильною мыслью и чувствомъ, такою горячею любовью ко всему эллинскому, — кто всегда стремился къ чело-вѣчности, слѣдовательно, — къ сочетанію античнаго и современнаго духа.

Однако-же это чувство и это пониманіе нѣмецкаго характера не носили исключительно индивидуально-Гумбольдтовской окраски: — въ такой-же мѣрѣ на нихъ наложила печать эпоха. Его патріотизмъ былъ такъ идеалистиченъ, написанная имъ картина нѣмецкаго характера была въ такой мѣрѣ идеализирована именно потому, что онъ самъ былъ сыномъ своего времени: этотъ патріотизмъ соответствовалъ тому, чѣмъ была тогда Германія, а картина не лишена была сходства съ тѣмъ, къ чему тогда сведенъ былъ нѣмецкій національный характеръ. Германія не представляла собою государства, способнаго внушить энгузіазмъ, подобный тому, какой

испытывали граждане Рима и Афинъ по отношенію къ своему общественному строю. Нѣмецкое государство существовало на самомъ дѣлѣ только въ прошломъ, нѣмецкая нація существовала собственно только въ идеѣ. Единственно, что связывало между собою члены этого большого организма—это былъ на самомъ дѣлѣ только нѣмецкій языкъ; господство нѣмцевъ того времени проявлялось не въ силѣ оружія, а въ мысли и словѣ, въ искусствѣ и наукѣ, философіи и поэзіи. Въ ихъ тогдашней жизни не было ничего, что заслуживало-бы любви и уваженія, кромѣ тѣхъ внутреннихъ формъ характера, на которыхъ они преимущественно сосредоточились, и которыя единственно уцѣлѣли при разгромѣ общественной и національной жизни Германіи. Эллинамъ они именно въ этотъ моментъ оказались такъ сродни, потому что ихъ поэты, за отсутствіемъ самостоятельнаго, выросшаго на національной почвѣ жизненнаго содержанія, искали грибъжища въ формахъ и воззрѣніяхъ эллиновъ, въ ихъ вѣрованіяхъ и идеалахъ. Въ томъ, что нѣмцы составляли самую человѣчную изъ націй, заключалась пронія въ томъ смыслѣ, что они почти совершенно не были націей. Тому же обстоятельству были они обязаны и своимъ космополитическимъ характеромъ, и своею посредствующею ролью между древнимъ и новымъ міромъ. Они были критиками и наблюдателями другихъ націй, подобно грекамъ послѣ Александра и евреямъ послѣ потери государственнаго существованія. Созерцательное безпристрастіе нѣмцевъ было печальнымъ плодомъ ихъ политическаго безсилія, — шюказательное обозначеніе ихъ слабости, положительное выраженіе для обозначенія отсутствія у нихъ государственнаго смысла и національнаго самосознанія.

Вполнѣ естественно, что нація, гордившаяся тѣмъ, что она есть нѣчто лучшее, нежели только нація, очень скоро стала представлять нѣчто гораздо худшее. Она стала добычей и предметомъ забавы того жаднаго къ завоеваніямъ народа, который пропагандировать космополитизмъ и идеализмъ въ смыслѣ національнаго честолюбія и эгоизма. Идеи и фразы французской революціи сплели для Германіи сѣть, которою дипломатія и оружіе французской республики вскорѣ ее задушили. Австрія, покннутая Пруссіей и имперіей, не разъ вступала въ борьбу, но не за Германію, а за собственное существованіе. Она отказалась отъ имперіи, съ трудомъ спасая себя. Въ одиночной борьбѣ она, несмотря на храбрость своихъ войскъ, была разбита, отброшена, поражена. Въ восточной части Германіи за безстыднымъ бѣгствомъ правителей послѣдовало еще болѣе безстыдное перебѣжничество; поступавшіе прежде деспотически по отношенію къ своимъ собственнымъ подданнымъ извѣдали теперь удовольствіе быть прихлебателями и прихвостнями болѣе сильнаго господина. Тутъ Наполеонъ повелѣвалъ въ качествѣ побѣдителя, тамъ -- протектора; дѣло порабощенія и уничтоженія нѣмецкой національности шло быстрыми шагами. Но

еще существовала монархія Фридриха Великаго. Она спокойно взрала на полное истощеніе Австріи, на распаденіе имперіи, на измѣну правителей рейнскихъ провинцій. Она не гнушалась выгодами, которыя извлекала изъ благосклонности Франціи и паденія имперіи. Алчное безъ мужества, высокоумѣнное безъ достоинства прусское правительство было безобразнымъ правительствомъ, какъ внутри, такъ и извнѣ. Послѣ неудачнаго и позорнаго мира оно было вовлечено Гангвицемъ и Ломбардомъ въ легкомысленную и неподготовленную войну. Система изолированія принесла свои плоды: бюрократическій и милитарный механизмъ разстроился. Теперь Австрія стала зрительницей паденія Пруссіи. Сраженіе при Іенѣ открыло побѣдителю путь къ столицѣ Пруссіи. Послѣдняя надежда Германіи пала, тильзитскій миръ лишилъ ее половины прусской территоріи; косвенно или прямо Наполеонъ сталъ властелиномъ всей Германіи.

Языкъ фактовъ—языкъ могущественный. Отъ него Гумбольдтъ не могъ замкнуться. Его благоговѣнное удивленіе передъ силой и глубиной нѣмецкаго національнаго духа было заглушено грохотомъ пушекъ. Раньше онъ не высказалъ ни малѣйшаго гнѣва по поводу поведенія обратившагося въ бѣгство майнцскаго курфюрста. Его желанія для Пруссіи и Германіи и послѣ не шли далѣе сохраненія мира. Съ неизмѣримо большимъ интересомъ разбирался онъ въ твореніяхъ нѣмецкихъ поэтовъ, нежели въ нелѣпостяхъ нѣмецкихъ политиковъ, въ несостоятельности нѣмецкихъ правителей; однимъ изъ самыхъ дорогихъ для него преимуществъ его поста въ Римѣ было то, что ему не приходилось имѣть дѣло со всѣмъ этимъ. Но теперь извѣстіе о прусскихъ пораженіяхъ и униженіяхъ достигло его слуха; страданія и судьбы отечества поразили его. Онъ не могъ не страдать при паденіи прусской монархіи, не могъ не предаваться размышленіямъ о причинахъ такого внезапнаго и позорнаго паденія. «Мы всѣ несчастны», писалъ онъ въ эту эпоху изъ Рима подругѣ юности, Генриеттѣ Герцъ, «я говорю—мы всѣ, составлявшіе прежде веселый, беззаботный кружокъ; сѣмена нашего несчастья заключались въ нашей тогдашней беззаботности; я давно уже началъ питать опасенія относительно исхода и со страхомъ ждалъ рѣшительной минуты». Съ живостью оспариваетъ онъ въ томъ же письмѣ намѣреніе Генриетты покинуть Германію, чтобы къ другимъ великимъ утратамъ не присоединилась еще и утрата лучшихъ людей.

Съ такими чувствами пріѣхалъ онъ годъ спустя, въ сопровожденіи своего двѣнадцатилѣтняго сына (семья оставалась въ Италіи), въ Германію; съ такими чувствами привѣтствовалъ онъ на пути въ Тюрингію, черезъ Мюнхенъ и Ландсгутъ своего стараго друга Якоби, видѣлъ въ Веймарѣ могилу Шиллера, а также бодрого еще, хотя и не оставшагося равнодушнымъ къ потрясающимъ мировымъ событіямъ Гёте. Здѣсь, гдѣ брошенъ былъ кровавый жребій, гдѣ былъ центръ

царства эстетики и литературы, здѣсь, въ разговорахъ съ Гёте, онъ долженъ былъ предаваться размышленіемъ, подобнымъ тѣмъ, которыя были высказаны въ послѣдствіе Гёте, когда онъ изданіемъ своей переписки съ Шиллеромъ поставилъ своему сотрудничеству съ нимъ такой неподражаемый памятникъ. Онъ чувствовалъ, можетъ быть, что въ слѣдствіе событій послѣдняго времени одна эпоха нѣмецкой жизни завершилась и что наступаетъ новая; онъ могъ сказать себѣ, что старый родъ образованія, возросшій въ продолжительный періодъ мира и постоянно повышавшійся, надолго прерванъ, что измѣнившееся время ставитъ новыя задачи и возлагаетъ на единичныя личности новыя обязанности. Надо думать, что среди такого именно рода размышлений получилъ онъ въ Эрфуртѣ, 6 января 1809 года, изъ Кёнигсберга, приглашеніе короля занять во вновь образованномъ управленіи должность директора департамента исповѣданій и народнаго просвѣщенія въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.

Пріѣздъ Гумбольдта въ Германію совпалъ какъ разъ съ самымъ тяжелымъ ударомъ, который могъ еще постигнуть Пруссію послѣ того, какъ она была побѣждена, ограблена и унижена. Она должна была по волѣ побѣдителя, пожертвовать единственнымъ человѣкомъ, который былъ бы въ состояніи поднять растоптанное государство. Штейнъ былъ вторично уволенъ, и опала Наполеона заставила его вскорѣ искать убѣжища и защиты въ австрійскихъ владѣніяхъ. Управление было передано въ другія руки. Между тѣмъ министерство Альтенштейнъ-Доона было мало наклонно и способно слѣдовать даннымъ Штейномъ импульсамъ и преобразовывать по его мысли государство въ духъ свободы. Оно сумѣло упразднить начало сословнаго устройства, основаніе которому было положено Штейномъ устройствомъ городского управленія. Съ предпринятаго пути реформъ оно свернуло на старую проторенную дорогу и начало прежде всего съ устраненія предложенныхъ Штейномъ порядковъ и людей. Оно сдѣлало однако же одинъ удачный шагъ—въ духъ Штейна. Оно призвало посланника въ Римъ на постъ руководителя дѣлами исповѣданій и просвѣщенія. Вильгельмъ Гумбольдтъ послѣдовалъ приглашенію. Въ началѣ января 1809 года онъ отправился изъ Эрфурта въ Берлинъ. Здѣсь его на нѣсколько мѣсяцевъ задержали подготовительныя распоряженія по его новой должности и только въ апрѣлѣ прибылъ онъ въ Кёнигсбергъ, центръ тогдашняго управленія.

Покинуть Римъ ему врядъ-ли было тяжело. Постъ, который онъ тамъ занималъ—въ послѣднее время съ титуломъ полномочнаго посла—сталъ ненужнымъ и невозможнымъ. Уже въ послѣдній годъ своего пребыванія въ Римѣ ему пришлось быть свидѣтелемъ того, какъ французскія войска заняли городъ, и какъ папа сталъ плѣнникомъ въ своей собственной резиденціи. Судьба папской области была рѣшена уже тогда, когда онъ ее покидалъ. Прошло нѣсколько мѣся-

повъ и побѣдитель Австріи, декретомъ изъ Шёнбруна, положилъ конецъ свѣтской власти папы. Церковная область, какъ государство, перестала существовать; папу какъ преступника увезли изъ Рима. Римъ пересталъ быть Римомъ, онъ сталъ *«une ville impériale et libre»* — наполеоновскій, французскій городъ. Что значили хвастливыя заявленія императора о великихъ воспоминаніяхъ, связанныхъ съ этою страшною, если онъ въ это же время грубо и произвольно топталъ ихъ ногами. Нѣтъ сомнѣнія, что даже и Гумбольдту было бы трудно не считаться съ такою переменною положеніемъ и, уходя отъ настоящаго, продолжать посреди новыхъ развалинъ мечтательное созерцаніе развалинъ древняго Рима. Вмѣстѣ съ случайнымъ положеніемъ утратило всякую почву и его личное счастливое существованіе. Онъ рѣшился отдаться своему дѣйствительному отечеству въ тотъ моментъ, когда городъ, который онъ считалъ своимъ вторымъ, духовнымъ отечествомъ, былъ у него отнятъ тою же самою силой, подъ гнетомъ которой стонали Пруссія и Германія.

Однако, рѣшиться принять въ такомъ затруднительномъ положеніи новое и въ такой мѣрѣ отвѣтственное назначеніе ему было не легко, и надо это одѣлать по достоинству. Ничто не препятствовало ему жить и въ Германіи для самого себя и вернуться къ наполнявшимъ его досуги занятіямъ, ничто кромѣ чувства долга и идеи, лежавшей въ основаніи всего предшествовавшаго его стремленія къ образованію. Вступая теперь всецѣло въ общественную и дѣятельную жизнь, онъ доказывалъ, что серьезно относился къ своему идеалу образованія, что его идеи о его цѣнности не были пустыми мечтами, а утвержденія о его цѣли — фразами или самообольщеніемъ. Онъ не порывалъ при томъ же внезапно со своею прежнею жизнью, онъ только продолжалъ ее. Онъ не выбрасывалъ вдругъ за бортъ своихъ убѣжденій о высшемъ благѣ жизни, онъ только снова подтвердилъ и засвидѣтельствовалъ ихъ. Онъ все еще продолжалъ держаться прежнихъ взглядовъ на роль индивидуальнаго совершенствованія, но чувствовалъ, что въ данный моментъ для этого существуетъ одинъ только путь, — путь отреченія отъ чисто теоретическаго самообразованія, путь дѣятельности на пользу общую. «Тѣ самыя преимущества», — такъ писалъ онъ шестнадцать лѣтъ тому назадъ въ своей статьѣ о грѣсахъ, — «которые дѣлали грека выдающимся человѣкомъ, дѣлали его и выдающимся гражданиномъ; такимъ образомъ, принимая участіе въ общественныхъ дѣлахъ, онъ только продолжалъ совершенствовать себя». Въ совершенно подобномъ же положеніи находился онъ самъ; и онъ перешелъ къ политической дѣятельности въ условіяхъ, выраженныхъ въ приведенныхъ словахъ, они составляютъ эпитафійу къ новому періоду его жизни и дѣятельности. И дѣлая этотъ шагъ онъ далеко опередилъ тѣхъ, которые когда-то замкнулись въ кругъ тѣхъ же идей, но только лишь ради своего удовольствія — тѣхъ, которые, подобно ему,

жили въ стихіи теоріи и эстетическаго наслажденія, но жили въ немъ только своею фантазіей, не участвуя ни живою вѣрой, ни своею совѣстью. Заботливая судьба похитила Шиллера до наступленія эпохи, которая должна была показать, былъ ли блескъ его идеаловъ истиннымъ и дѣйствительно ли полезно было для нѣмцевъ то эстетическое воспитаніе, которое онъ проповѣдывалъ, и надъ которымъ самъ работалъ. Безучастный, эгоистичный, унылый отвернулся Гёте, какъ отъ волненій, такъ и отъ страданій своего народа: поэтическое одушевленіе не устояло передъ серьезнымъ и энергичнымъ одушевленіемъ, вскорѣ охватившимъ всю націю. И каковъ корень, такovy и плоды. Новая, выросшая на почвѣ эленизирующаго классицизма философія преклонялась передъ счастливою звѣздой побѣдителя съ безпринципною ловкостью построенія; съ фаталистическою мудростью утѣшилась она въ разрушеніи всего нѣмецкаго; высококомѣрно взирала она на философа-оратора, чье сердце, вопреки всякой метафизикѣ, оказалось достаточно здоровымъ, чтобы, въ моментъ пораженія, видѣть въ націи абсолютное и въ патриотизмъ — категорическій императивъ. Не иначе относилась и новая филологія, тѣсно связанная съ нѣмецкою классическою литературой. Она играла ту же роль, какую въ эпоху реформаціи игралъ гуманизмъ.

Вольфъ занялъ по отношенію къ борьбѣ за національную самостоятельность положеніе, подобное тому, которое Эразмъ когда-то занималъ по отношенію къ борьбѣ за свободу вѣры и созвѣстия. Въ этотъ несчастный 1807 годъ онъ подвелъ итоги мыслямъ и занятіямъ, которыми они съ Гумбольдтомъ упивались въ послѣднее десятилѣтіе прошлаго столѣтія: теперь онъ занялся работою объ изученіи древности и находилъ эту работу особенно пріятною «вслѣдствіе отдаленности ея отъ бѣдствій настоящаго, которыя побуждаютъ насъ искать отдохновенія и новаго прилива энергіи въ болѣе привлекательныхъ періодахъ исторіи».

Иначе относился къ этому Гумбольдтъ. Никто не избѣгалъ въ такой степени всякаго соприкосновенія съ политикою, никто не жилъ такъ исключительно внутреннею жизнью, не наслаждался такъ полно блескомъ идеаловъ, какъ онъ. Крѣпче и продолжительнѣе кого-бы то ни было держался онъ за созданный имъ себѣ среди зартинъ и развалинъ Рима особый міръ фантазіи и грезъ. Радостнѣе даже самаго поэта пилъ онъ изъ кубка наслажденія, который наполняли для него чувство и фантазія. Никто не пилъ волшебнаго напитка красоты такими глубокими, сладострастными глотками. Съ спокойствіемъ и беззаботностью олимпійца осушилъ онъ его до дна — власть до мутнаго осадка, не теряя отъ этого вкуса къ пѣнящейся на верху влагѣ. Несмотря на то, онъ не былъ опьянелъ, не впалъ все-таки въ распушенность. Его чувственность не убила въ немъ идеализма, а его эстетическій идеализмъ не убилъ въ немъ идеализма нравственнаго.

Несмотря на всѣ свои мечтанія онъ не утратилъ все-же чувства и пониманія дѣйствительности, не утратилъ, несмотря на всѣ свои наслажденія, здоровой нравственной силы. Посреди всей массы наслажденій онъ самъ постоянно обращалъ къ себѣ напоминаніе: «не провести бы жизни въ одной только сладострастной нѣгѣ». Подъ небомъ Испаніи его восхищала мысль «изъ подъ нѣжащихъ лучей южнаго солнца вернуться веселымъ и бодрымъ къ родному сѣверу». При всемъ наслажденіи въ Римѣ и Римомъ, впечатлѣніе, производимое на него свѣтскимъ величіемъ древней республики, занимало у него не послѣднее мѣсто, и въ своемъ стихотвореніи онъ воспѣваетъ «предпріимчивый» духъ римлянъ, «безъ страха и бодро приступающій ко всему земному». Духовнымъ наслажденіемъ было для него изученіе вышшаго и внутренняго характера человѣка; оно представлялось ему всегда какъ основаніе воспитанія и какъ школа законодательства. Постоянно возвращался онъ въ своихъ разговорахъ къ мысли о нравственномъ вліяніи эстетики и изученія произведеній искусства и поэзіи. И онъ не только говорилъ объ этомъ—онъ пережилъ Шиллера, чтобы вмѣсто него подтвердить теорію его эстетическихъ писемъ на себѣ самомъ и доказать на крупномъ примѣрѣ, что образованіе, серьезно и совершенно проникнутое чувствомъ прекраснаго, въ концѣ-концовъ все-же приводитъ къ энергіи и нравственности, которыя оно какъ-бы грозитъ подорвать. Онъ стоялъ рядомъ съ Вольфомъ, чтобы опровергнуть его примѣръ. Онъ показалъ, что не напрасно, подобно Вольфу, читалъ Демосеена. Онъ показалъ, приди на помощь своему отечеству въ тяжелую для него годину, что изученіе древности дѣйствительно представляетъ тотъ источникъ живой энергіи, который для Вольфа была лишь поводомъ для громкихъ фразъ.

Мы могли бы однако назвать чудомъ, если бы Гумбольдтъ, въ качествѣ государственнаго человѣка, сразу заставилъ насъ забыть теоретически-эстетическій характеръ своего образованія. Въ самомъ дѣлѣ, глубоко идеально было также его воззрѣніе на практическую дѣятельность; его философія дѣйствія была совершенно тождественна съ тою, которую онъ изложилъ въ своемъ поэтическомъ profession de foi, написанномъ во время путешествія по Испаніи. Та точка, съ которой міръ можетъ быть направляемъ въ нравственномъ и практическомъ отношеніи, также какъ и въ теоретическомъ и эстетическомъ, лежала по его мнѣнію въ «нѣдрахъ дѣятельнаго человѣка». Въ такомъ смыслѣ высказывается онъ въ стихотвореніи, написанномъ въ Альбано, подъ впечатлѣніемъ воспоминанія о бѣдствіяхъ отечества:

An eihernen Gesetzen führt gekettet
Der irdischen Geschlechter Wandelreihen
Das Schicksal unerbittlich seinen Pfad;
Zufrieden, wenn das hohe Ziel es rettet,

Bleibt kalt es, ob sie leiden, ob sich freuen.
 Auch uns hat es auf Rosen nicht gebettet;
 Doch aus des Busens Tiefe strömt Gedeihen
 Der festen Duldung und entschlossner That.
 Nicht schmerz ist Unglück, Glück nicht immer Freude:
 Wer sein Geschick erfüllt, dem lächeln beide ¹⁾.

Это не языкъ человѣка, нетерпѣливо стремящагося измѣнить те-
 ченіе вещей и во что бы то ни стало играть роль въ исторіи. Удо-
 вольствіе испытываемое истинно практическими натурами отъ своей
 дѣятельности, какъ таковой, — отъ своего возбужденія и отъ своихъ
 успѣховъ, — было ему чуждо. Дѣятельность имѣла для него не глав-
 ное, а лишь подчиненное значеніе: она представлялаъ ему какъ
 нѣчто случайное по сравненію съ настроеніемъ и складомъ души. У
 него не было ни той страсти къ дѣятельности и творчеству, ни той
 жажды славы, которыя служатъ обыкловенно пружинами всѣхъ боль-
 шихъ предпріятій. Онъ былъ именно тѣмъ, чѣмъ называлъ себя
 самъ, — идеалистомъ. И однако, его идеализмъ оказалъ ему услугу,
 подобную той, которую другимъ оказываетъ непосредственное стрем-
 леніе къ дѣятельности. Это былъ не пустой, а мощный идеализмъ—
 идеализмъ Канта и Шиллера. И въ немъ жило то твердое мужество, —
 «которое раньше или позже преодолеваетъ противодѣйствіе тупого
 свѣта» — мужество, не исчезающее вмѣстѣ съ вызвавшимъ его ро-
 мантическимъ положеніемъ, а твердо противостоящее провъ, грозя-
 щей его подавить и убить. Вмѣсто нетерпѣливой и капризной страсти
 ко всему великому и доброму, онъ былъ проникнутъ спокойною вѣ-
 рой въ «вѣчно побѣждающее добро». Въ его душѣ было начертано,
 что владѣть всѣмъ тотъ, кто прежде всего стремится къ царству
 Божьему. Въ самомъ дѣлѣ, благочестіе — вотъ то настроеніе, кото-
 рое характеризуетъ его отношеніе къ дѣятельной жизни, — то свѣтлое
 благочестіе, какое подобало знатому Эсхила и комментатору благород-
 нѣйшей нѣмецкой поэзіи. «Если узы міра распадаются, то именно
 мы въ силахъ связать ихъ снова» — вотъ то поученіе, которое онъ
 извелъ для себя изъ «Германа и Доротей»; «съ твердымъ мужест-
 вомъ противостоять всѣмъ внѣшнимъ бурямъ, мощно противиться
 духу смятенія и тревоги», — такова была мораль, заимствованная имъ
 у поэта, таковъ былъ взглядъ, которымъ онъ теперь взиралъ на
 трагическое положеніе своего отечества и на задачу, по мѣрѣ своихъ
 силъ, исправлять, помогать и спасать.

¹⁾ Т. е.: скованными желѣзными законами ведетъ неумолимая судьба
 по своему пути ряды смѣняющихся земныхъ поколѣній; довольная, когда
 ей удастся спасти высокую цѣль, она равнодушна къ ихъ страданіямъ
 и радостямъ. И наше ложе не розами устлано, но въ глубинѣ души
 зрѣетъ твердое терпѣніе и рѣшительное дѣйствіе. Не скорбь — несчастье,
 а счастье — не всегда радость: тому, кто исполняетъ свое предназначеніе,
 онъ улыбаются обѣ.

Въ такомъ убѣжденіи принялъ онъ предложенный ему постъ, въ такомъ убѣжденіи выносили его тяготы, исполняя сопряженные съ нимъ обязанности. Все, написанное имъ въ ту эпоху, свидѣтельствуеетъ объ этомъ. Прекрасный и уравновѣщенный темпераментъ лежитъ въ основѣ такого душевнаго состоянія; но вмѣстѣ съ тѣмъ для насъ совершенно ясно, какъ оно пытается вѣчнымъ идейнымъ матеріаломъ. «Что касается общаго разгрома, какъ вы его называете»—такъ пишетъ онъ Вольфу посреди своей кѣнигсбергской дѣятельности¹⁾,—«то онъ проявляется не болѣе, даже можетъ быть или даже навѣрное менѣе, чѣмъ этого можно было еще недавно опасаться. Будущее отъ всѣхъ сокрыто, но, не знаю, я ощущаю мужество, которое многимъ можетъ показаться удивительнымъ. Будемъ же торопиться работать: не думаю, чтобы наше зданіе рухнуло, какижъ бы подозрительнымъ оно иногда ни казалось. Менѣе всего могутъ тутъ помочь размышленія. Можно скорѣе съ увѣренностью утверждать, что они только вредятъ». Нѣсколько дней спустя тому же: «Не слѣдуетъ покидать доброе на краю пропасти. Я продолжаю работать съ неустаннымъ рвеніемъ и какъ бы дурно ни сложились обстоятельства, я не вижу такого момента, когда-бы невозможна была хоть въ какомъ-нибудь направленіи живая и полезная дѣятельность». Не особенно привлекательно, пишетъ онъ позднѣе изъ Берлина своему кѣнигсбергскому пріятелю, Мотерби (Motherby)²⁾, было его тогдашнее существованіе; и конечно, въ этотъ именно моментъ онъ ощущалъ это, можетъ быть, вдвойнѣ, такъ какъ восторженные описанія красоты Неаполя, которыя онъ получалъ отъ своихъ домашнихъ, возбуждали въ его душѣ воспоминанія о болѣе прекрасномъ прошломъ;—«все же», прибавляетъ онъ, «въ этомъ тревожномъ настоящемъ его привлекаетъ одно, — то, что при этомъ получается нѣчто благодѣтельное для другихъ». Въ его дѣятельности былъ однако-же одинъ моментъ, когда онъ могъ спокойно оглянуться, моментъ, когда онъ могъ снова наслаждаться давно не испытаннымъ досугомъ и тишиной. Это было въ концѣ 1809 года, незадолго до переѣзда двора и правительства изъ Кѣнигсберга въ Берлинъ, когда смерть его тестя принудила его къ поѣздкѣ въ Тюрингію для устройства различныхъ семейныхъ дѣлъ. При этомъ случаѣ онъ снова увидѣлъ въ Аулебенѣ тѣ комнаты, въ которыхъ онъ нѣкогда проводилъ съ Вольфомъ веселые часы въ серьезныхъ разговорахъ. Онъ снова увидѣлъ мѣсто, гдѣ когда-то помѣщалась ихъ «настольная бібліотека», столъ, за которымъ онъ читалъ съ женой Гомера и Геродота. Картины этого идиллическаго времени ожили въ его душѣ. Тутъ, въ сочельникъ 1809 года, онъ написалъ Вольфу: «тогда были болѣе прекрасныя

1) Отъ 14 іюля 1809 г., G. W. V. 268; ср. далѣе тамъ-же стр. 272 и 276.

2) Въ № 2 Доровскихъ факсимиле.

времена, но и теперешнее имѣеть для меня свою предестъ. Настоящее представляетъ изъ себя великую богиню, которая рѣдко бываетъ равнодушна къ тѣмъ, которые подходятъ къ ней съ нѣкоторою бодростью духа».

Дѣйствительно этотъ бодрый духъ, эта увѣренность въ возможности спасенія, не смотря на самое крайнее паденіе, были именно качествами наиболѣе необходимыми для людей, стоявшихъ въ этотъ моментъ въ Пруссіи у кормила правленія. Даже болѣе. Только при вѣрѣ, что «въ глубинѣ души зрѣеть твердое терпѣніе, рѣшительное дѣйствіе», только при томъ идеализмѣ, который Гумбольдтъ носилъ въ душѣ, возможно было спасеніе государства. Положеніе государства соотвѣтствовало и даже требовало именно такого образа мыслей, съ какимъ Гумбольдтъ къ нему пришелъ.

Со времени Фридриха Великаго почетъ и сила Пруссіи покоились на двухъ основаніяхъ. Это было государство сильное и государство просвѣщенное. Со славой Спарты оно соединило славу Афинъ. И однако, одно единственное сраженіе измѣнило положеніе вещей. Непобѣдимыя, внушавшія страхъ войска были совершенно разбиты, крѣпости сданы врагу, страхъ передъ прусскимъ мечемъ разсѣянъ. Сведенная къ половинѣ своей территоріи, физически надломленная, матеріально истощенная, ей оставалось только утвердиться на принципѣ своего первоначальнаго основанія и на своихъ духовныхъ силахъ. Она была принуждена вспомнить о второмъ устоѣ своего павшаго значенія: только исходя изъ духа и средствами духа могла она снова подняться. Ничто не мѣшало ей быть по прежнему государствомъ образованности и интеллигенціи, колыбелью науки, очагомъ прогресса и свободы духа. Это уваженіе къ высшимъ жазненнымъ благамъ самымъ тѣснымъ образомъ сплелось съ условіями ея существованія; и равнѣ суженія ея границъ она могла возмѣщать недостатокъ естественной силы только избыткомъ нравственныхъ средствъ, а теперь требовалось еще большее напряженіе этой пружины. Это было единственное средство, оставшееся въ ея рукахъ и было вмѣстѣ съ тѣмъ именно то средство, при помощи котораго можно было съ наибольшою увѣренностью надѣться снова подняться. Нужно было, какъ это было выражено въ одной запискѣ оберпрезидента фонъ-Финке: «вновь завоевать внутри то, что государство утратило въ своемъ внѣшнемъ объемѣ». Нужно было посреди огромнаго политическаго и національно-экономическаго банкротства поддержать славу ревнительницы всѣхъ духовныхъ интересовъ. Нужно было построить новое зданіе государства на тѣхъ-же основаніяхъ, на которыхъ оно первоначально выросло,—на духѣ протестантизма, самобытности, нравственности и чисто гуманнаго образованія. Нужно было привести въ связь съ этимъ принципомъ всѣ реформы и при-

дать имъ, путемъ духовнаго и нравственнаго подъема народной культуры, крѣпость и прочность.

Такова-же была и основная мысль того, къ которому въ тяжелую годину прежде всего обратились, какъ къ единственному человѣку, способному найти спасительный исходъ. Практическій гений Штейна поставилъ себѣ идеалистическую цѣль—духовное возрожденіе государства. Въ основѣ всѣхъ мѣропріятій его дѣятельности, длившейся только одинъ годъ, лежала одна эта идея. Благодаря своему практическому смыслу и неутомимой энергіи, онъ сдѣлалъ эту идею краеугольнымъ камнемъ государственной и національной жизни. Проникнутый самыми духовными, самыми высокими мотивами, онъ совершалъ самую грубую работу. Философію французской революціи онъ очистилъ духомъ самой здоровой нравственности; ея идею свободы онъ германизировалъ и укрѣпилъ съ практической стороны. На духъ самоуваженія и самостоятельности отдѣльныхъ частей государства онъ основалъ надежду на освобожденіе цѣлаго. Путемъ освобожденія имущества и признанія за городами совершеннолѣтія, онъ сдѣлалъ первый крупный шагъ къ тому, чтобы освободить, развить и направить на пользу отечества заключающіеся въ націи живыя силы свободы и нравственности. Онъ былъ вынужденъ оставить поле своей дѣятельности, прежде чѣмъ окончилась закладка фундамента, но его политическое завѣщаніе нѣсколькими яркими штрихами начертало тотъ путь, который оставалось еще совершить для произведенія великаго мирнаго переворота. Устраненіе всѣхъ еще существующихъ остатковъ средневѣковаго періода, сближеніе разрозненныхъ сословій, введеніе всеобщей воинской повинности, завершеніе системы самоуправленія путемъ введенія всеобщаго національнаго представительства, наконецъ забота о воспитаніи, особенно о воспитаніи подрастающаго поколѣнія—вотъ тѣ задачи, которыя онъ при своемъ уходѣ настоятельно рекомендовалъ своимъ друзьямъ.

Идея этихъ задачъ—идея дѣятельности Штейна была идеей Гумбольдта. Сильною рукой, съ практическимъ пониманіемъ и осторожностью осуществлялъ и формулировалъ Штейнъ то, что Гумбольдтъ гораздо раньше, частью высказалъ какъ свое убѣжденіе, частью выразилъ въ идеалистической доктринѣ. Такъ въ той-же мѣрѣ, какъ и Штейнъ, онъ преклонялся передъ благороднымъ духомъ французской революціи, но онъ возмѣлалъ чисто нѣмецкое отвращеніе къ ея галлицизмамъ. Онъ вознегодовалъ по поводу «оскверненія божественной свободы» и трусости, которая «при полуначинаніи» отказывается отъ того, что куплено кровью. Сначала и прежде всего осудилъ онъ безуміе разума, полагающаго возможнымъ, наперекоръ исторіи, одними своими средствами создать идеальное государство. Тѣмъ не менѣе ему представлялась совершенно законною борьба противъ остатковъ прошлаго и противъ «злбнаго заб-

лужденія» деспотизма. Свобода не перестала быть для него божественною отъ того, что онъ видѣлъ, какъ ее «непредусмотрительно насаждали на почвѣ, на которой она не могла произрастать». Но среди всей массы произведенныхъ революціей опустошеній, онъ не утратилъ вѣры—съ какою онъ въ самомъ началѣ привѣтствовалъ великое событіе—въ то, что благотѣльные послѣдствія его не ограничутся настоящимъ временемъ и предѣлами Франціи; не утратилъ вѣры въ то, что «не для того все движется и вертится, чтобы въ этомъ смятеніи похоронить все сразу, а для того, чтобы преобразовать къ лучшему міръ и человечество». Какъ духъ просвѣщенія и классицизма, такъ и прежде всего гуманизмъ, лежавшій въ основѣ его философскихъ убѣжденій и поэтическихъ наклонностей, неизбѣжно ставили его въ ряды сторонниковъ свободы и прогресса. Онъ не могъ одобрить безрасуднаго шага своего друга Форстера, но врядъ-ли одобрилъ-бы и Ксеніонъ, подвергшій несчастнаго осмѣянію. Демократизмъ Канта, проявляющійся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его сочиненія о вѣчномъ мирѣ, казался ему нѣсколько жесткимъ, но онъ раздѣлялъ въ существенномъ его правовыя воззрѣнія, и разсужденія о естественномъ равенствѣ всѣхъ людей, о нѣкоторыхъ неотъемлемыхъ правахъ человѣка и гражданина, не казались ему нелѣпыми. Въмѣстѣ съ Штейномъ онъ держался мнѣнія, что необходимо бороться противъ французской революціи, осуществляя путемъ реформъ всѣ ея справедливыя требованія. Какъ Штейнъ—Штейнъ того времени—онъ былъ такъ демократически настроенъ, что считалъ уравниеніе сословій долгомъ гуманности и средствомъ для возбужденія патріотизма. Въ интересахъ нравственнаго подъема дворянства уже и Штейнъ былъ противъ всѣхъ исключительно дворянскихъ учебныхъ заведеній. Онъ думалъ, напримѣръ, дѣйствительно, «употребить *ad usum*» Лигницкую рыцарскую академію ¹⁾. Именно въ томъ-же духѣ смотрѣлъ на этотъ самый институтъ также и новый руководитель народнаго просвѣщенія. Онъ намѣревался преобразовать его въ высшее подготовительное къ университетскому курсу учебное заведеніе, соединивъ его, если окажется возможнымъ, съ специальною сельскохозяйственною школою. Часть проектовъ и соображеній Гумбольдта по этому предмету лежитъ теперь передъ нами ²⁾. Они ясно обнаруживаютъ его консервативный демократизмъ, обнаруживаютъ—по высокомѣрному, но мѣткому выраженію Кнебеля, высказанному имъ относительно дѣятельности Гумбольдта въ письмѣ къ Гёте ³⁾—что

¹⁾ Письмо Шефнера къ Штейну у Нерца, II, 418.

²⁾ Письмо Гумбольдта къ бреславльскому учителю гимназій, Рейху, отъ 4 іюня 1809 г., сообщенное Гурауэромъ (Guraucher) въ *Blätter für liter. Unterhaltung* 1848, № 120 и *Ueber die Liegnitzer Ritterakademie*, С. W. V, 344 и сл.

³⁾ Переписка между Гёте и Кнебелемъ, I, 367.

въ нѣкоторыхъ пунктахъ, онъ не боялся «снизойти до пошлаго духа просвѣщенія». И въ самомъ дѣлѣ Гумбольдтъ самымъ определеннымъ образомъ высказывается противъ специфическаго — рыцарскаго характера этой рыцарской академіи и противъ юнкерскаго духа, въ силу котораго первымъ лицомъ въ ней былъ шталмейстеръ. Однако-же согласно условіямъ ея первоначальнаго основанія, мѣстное дворянство сохраняло при пользованіи академіей преимущественное право, но въ ней не только открытъ былъ доступъ для не-дворянъ, но — что важнѣе всего — прямо упразднился аристократическій характеръ заведенія. Въ весьма трезвенно-просвѣтительномъ духѣ, совершенно просто и категорически, объявляетъ глава прусскаго департамента народнаго просвѣщенія, «что слѣды стараго предразсудка, будто дворянское воспитаніе должно быть отлично отъ воспитанія другихъ сословій, должны быть уничтожены».

Однако его демократизмъ шель еще далѣе, — онъ былъ еще истиннѣе и глубже. Теперь наступило время, когда основное убѣжденіе его жизни въ исключительной цѣнности индивидуальности и индивидуальной свободы могло показать себя на дѣлѣ. И вмѣстѣ съ тѣмъ это было время, когда общее бѣдствіе и потребность въ единеніи должны были указать теоріи индивидуализма ея настоящія границы. Призванный къ государственной дѣятельности послѣ Штейна и въ такой моментъ, когда государство было очевидно не необходимымъ зломъ, а предметомъ первой необходимости и вмѣстѣ съ тѣмъ единственнымъ якоремъ спасенія, Гумбольдтъ долженъ былъ, конечно, подвергнуть повѣркѣ абстрактную математическую задачу своей юношеской политической работы. Фактическое положеніе вещей, также какъ и великій примѣръ дѣятельности Штейна, давали ему возможность ориентироваться какъ въ истинахъ, такъ и ошибкахъ своей прежней теоріи. Основные предпосылки этой теоріи онъ долженъ былъ сохранить, но отъ крайнихъ выводовъ, сдѣланныхъ имъ, ему пришлось отказаться. Бюрократическій механизмъ долженъ былъ внушать ему теперь еще большее отвращеніе, а въ принципѣ индивидуальной самостоятельности онъ теперь особенно долженъ былъ видѣть надежную опору. Но цѣль освободить отдѣльную личность отъ государства должна была теперь преобразиться въ другую — освободить ее въ государствѣ и для государства. Государства, отъ вмѣшательства котораго онъ когда то хотѣлъ оградить личность, болѣе не существовало; нужно было создать государство, совершенно соответствующее тому, что онъ нѣкогда называлъ «національнымъ союзомъ». Онъ могъ и необходимо долженъ былъ, ни мало не измѣняя себѣ, повернуть въ сторону принциповъ Штейна. Его юношескія идеи о границахъ дѣятельности государства должны были претвориться въ систему Штейна — предоставить націи участвовать въ государственной дѣятельности путемъ самоуправленія и возвысить чувство патріотическаго долга расшире-

ніемъ политическихъ правъ гражданъ. Въ предѣлахъ его спеціальной задачи его дѣйствія вполнѣ гармонировали съ этою системою. Въ связи съ новымъ городоуымъ устройствомъ и его «благодѣтельной цѣлью» онъ въ одной изъ своихъ памятныхъ записокъ требуетъ, чтобы обращено было вниманіе на улучшение подвѣдомственной городскимъ властямъ музыки. Въ другой—по вопросу объ основаніи берлинскаго университета—онъ объявляетъ, что основной принципъ департамента народнаго просвѣщенія заключается въ томъ, чтобы привести мало-по-малу къ тому, чтобы все школьное и воспитательное дѣло держалось собственными силами и содѣйствіемъ націи. Ибо нація—такъ мотивируетъ онъ это положеніе—«принимаетъ болѣе живое участіе въ школьномъ дѣлѣ, когда оно и въ финансовомъ отношеніи представляется ея дѣломъ и ея достояніемъ, она сама становится просвѣщеніе и нравственіе, дѣятельно участвуя въ утвержденіи просвѣщенія и нравственности въ подрастающемъ поколѣніи»¹⁾.

Но спеціальная задача Гумбольдта—руководство преподаваніемъ и воспитаніемъ—и сама по себѣ была звеномъ этой общей системы, стремящейся основать возрожденіе самостоятельности государства на самостоятельности его гражданъ. Все это задуманное возрожденіе прусской монархіи было воспитательною системою; реформа воспитанія юношества составляла только вершину этого обширнаго плана. Въ этомъ смыслѣ требовалъ Финке преобразованія школы и церкви; мало того: онъ считалъ попеченіе о духовныхъ интересахъ націи самымъ существеннымъ, безъ чего всѣ другія преобразовательныя стремленія должны рухнуть²⁾. Оживленіе религіознаго духа въ народѣ и духовно-нравственное воспитаніе юношества Штейновское завѣщаніе тоже называетъ условіями, при существованіи которыхъ всѣ остальные мѣропріятія только и могутъ достигнуть цѣли. Австрійскому правительству Штейнъ въ написанной имъ въ Брюнѣ памятной запискѣ, тоже настойчиво рекомендовалъ, ссылаясь на примѣръ Пруссіи, обратить особенное вниманіе на учебное и воспитательное дѣло³⁾. Гумбольдтъ осуществлялъ на практикѣ то, чего требовали Штейнъ и Финке. Въ одной по крайней мѣрѣ подвѣдомственной ему сферѣ Пруссія двигалась впередъ по пути, указанному и проторенному ими. Справедливо порицая преемниковъ Штейна, друзья послѣдняго высказывали заслуженную похвалу департаменту, находящемуся въ вѣдѣніи Гумбольдта, за то, что въ немъ одномъ жилъ духъ Штейна, и сохранили силу его тенденціи. Это было только

¹⁾ Ueber geistliche Musik (о духовной музыкѣ) G. W. V., 319 и сл., тамъ-же стр. 321 и Antrag zur gründung der Unversität in Berlin, цит. м. стр. 325 и сл.; тамъ-же 330.

²⁾ Bodelschwingh, Leben Vinke's, I. 387, 427.

³⁾ Pertz, Leben Stein's. II. 423 и сл.

отголоскомъ такого рода одобрительныхъ голосовъ, когда самъ изгнанникъ многократно воздавалъ завѣдующему народнымъ просвѣщеніемъ справедливость, что по своему духу и характеру онъ въ высокой степени подходитъ для своего поста, что онъ примѣняетъ эти качества съ похвальною твердостью въ кругѣ своей дѣятельности,— можно было-бы ожидать самыхъ благотворныхъ послѣдствій для нѣмецкой націи, если-бы и въ Австріи во главѣ просвѣтительной дѣятельности стоялъ такой человѣкъ, какъ Гумбольдтъ, и дружно работалъ бы въ одномъ направленіи съ нимъ для достиженія одинаковыхъ цѣлей ¹⁾).

Самымъ важнымъ дѣломъ, можетъ быть, наиболее очевиднымъ и непосредственнымъ образомъ повліявшимъ на политическія мѣропріятія, предпріятыя съ цѣлью возрожденія государства, была забота о первоначальномъ воспитаніи. Тутъ преимущественно можно было воздѣйствовать на самый корень народной жизни. Тутъ какъ разъ былъ пунктъ, въ которомъ естественно встрѣчались политика съ педагогикой. Политическому принципу пробужденія самодѣятельности пришла тогда именно на помощь новая метода преподаванія. Песталоцци снова призвалъ къ жизни идеи Яна Коменскаго. Въ противоположность одностороннему интеллектуальному и литературному образованію вѣка, воспитаніе новаго поколѣнія должно было, по мысли Песталоцци, поставить себѣ задачей пробужденіе основныхъ силъ человѣческой природы: Человѣкъ долженъ самъ участвовать въ приобрѣтеніи знаній. Воспитаніе не должно быть только связаннымъ съ ученіемъ, самое ученіе должно быть уже воспитаніемъ. Воспитаніе ребенка должно идти изнутри, а не снаружи. Всякое преподаваніе должно быть подчинено вѣчнымъ законамъ, по которымъ развивается представленный самому себѣ человѣческій умъ, возвышался отъ чувственнаго воспріятія къ ясному представленію. Духъ этой новой педагогики, съ такою вѣрностью указавшей изъяснъ современнаго образованія и выставившей въ общемъ такіе прекрасные принципы, такія достойныя цѣли для реформы, былъ радостно пріѣтствованъ всѣми тѣми, которые глубоко чувствовали бѣдствіе настоящаго и уповали на будущее. Фихте требовалъ перевоспитанія всей націи; онъ совершенно справедливо усмотрѣлъ въ педагогикѣ Песталоцци духъ своей философіи и рекомендовалъ ее своимъ современникамъ. Съ такимъ-же правомъ находилъ и Штейнъ въ методѣ Песталоцци, которая «возвышаетъ самодѣятельность духа, возбуждаетъ какъ религіозное чувство, такъ и всѣ благороднѣйшія человѣческія чувства вообще, поддерживаетъ идейную жизнь, ослабляетъ и

¹⁾ Письма: Швальдинга къ Штейну, у Пертца, II, 406; Фишке къ Штейну у Бодельшвиига, I, 465; мемуаръ Штейна, у Пертца, II, 432.

противудѣйствуетъ стремленію къ наслажденіямъ» — находилъ въ этой методѣ духъ своей политики, онъ какъ и Фихте, видѣлъ въ ней союзницу въ борьбѣ за освобожденіе родины. Такъ-же, какъ Фихте и Штейнъ, въ силу тѣхъ-же самыхъ философскихъ и политическихъ воззрѣній, проникся и Гумбольдтъ интересомъ къ новой методѣ. Еще до вступленія его въ министерство были сдѣланы подготовительные шаги къ преобразованію элементарной школы на началахъ Песталоцци. Одинъ изъ учениковъ почтеннаго швейцарца, Целлеръ, предлагалъ открыть въ Кёнигсбергѣ нормальный институтъ по мысли Песталоцци. Гумбольдтъ предоставилъ талантливому педагогу полную свободу дѣятельности. Частыя посѣщенія института располагали его все болѣе и болѣе въ пользу дѣла, симпатичнаго не только для государственнаго дѣятеля, но также для знатока людей и философа, и даже для лингвиста. Онъ дѣйствительно относился къ этому дѣлу не только «какъ къ блестящему предпріятію и ради возбужденнаго имъ эффекта», какъ Шефнеръ писалъ къ Штейну, а съ живѣйшимъ интересомъ и слѣдуя своему глубокому убѣжденію ¹⁾: даже своего собственнаго сына, котораго привезъ съ собою изъ Италіи, онъ поручилъ Песталоццевскому воспитательному заведенію. И такъ сильно занимало его новое рѣшеніе педагогической проблемы, что и позднѣе, во время трудовъ Вѣнскаго конгресса, онъ находилъ еще время изучать и испытывать новую методу ²⁾.

Но не менѣе важно было также поднять высшее образованіе. Если въ соотвѣтствіи съ матеріальными облегченіями, которыя старалась доставить низшимъ классамъ новая прусская политика, нужно было прежде всего поднять націю и въ умственномъ отношеніи, то духъ этой политики, особенно въ наиболѣе идеалистической ея части, требовалъ, чтобы воспитательные и образовательные импульсы шли также сверху. Какъ могутъ въ низшихъ общественныхъ слояхъ держаться любовь къ отечеству и честный образъ мыслей, если имъ не будутъ подавать примѣра тѣ, которые въ постоянномъ общеніи съ науками имѣютъ возможность цитировать свою внутреннюю жизнь идеями добра и истины? И, съ другой стороны, могъ-ли не воспламенить огонь, взятый изъ храма науки, могло-ли не проникать одушевленіе, соединенное съ побѣдною силой образованія? Нужно было улучшить школы ученыхъ, заботиться объ университетахъ и вообще поощрять умственныя занятія. Подкрѣпленный многократными совѣтами Ф. Вольфа ³⁾ и искреннею поддержкой Зюверна (Süvern), Гумбольдтъ по-

¹⁾ См. объясненія Шлезіера, основ. на сообщеніяхъ Целлера, II, 164 и сл.; кромѣ того письмо Шефнера къ Штейну, у Пертца, II, 418, 419.

²⁾ Varnhagen, Denkwürdigkeiten, IV, 296.

³⁾ Письмо Вольфа въ департаментъ народнаго просвѣщенія, см. Körte, Leben und Studien Wolf's, II, 50. Письмо Гумб. къ Вольфу, G. V. 274.

пытался возвысить цѣль гимназическаго преподаванія и положить начало позднѣйшему расцвѣту этихъ заведеній въ Пруссіи. Прежде всего онъ обратилъ свое вниманіе на университеты, какъ на высшія хранилища и источники научной жизни, образовательные питомники учителей и чиновниковъ государства, центры литературныхъ вліяній. Съ одной стороны, онъ упразднилъ прежнія ограничительныя распоряженія и этимъ расширилъ свободу посѣщенія иностранныхъ школъ и университетовъ ¹⁾. Съ другой стороны, онъ съ большою щедростію, чѣмъ это, казалось бы, допускалось обстоятельствами того времени, заботился о возможно достойномъ профессорскомъ персоналѣ и пособіяхъ; при этомъ Кёнигсбергъ, а также Франкфуртъ пользовались преимущественнымъ его попеченіемъ. Но величайшимъ памятникомъ его дѣятельности и самымъ вѣрнымъ показателемъ того, какъ онъ понималъ свою задачу, является Берлинскій университетъ. Основаніе его есть исключительное дѣло одного Гумбольдта ²⁾.

Не нова была, правда, мысль сдѣлать учебный матеріалъ, находящійся въ библіотекахъ, собраніяхъ и другихъ учрежденіяхъ столицы, основаніемъ общаго, связаннаго съ Академіей наукъ учебнаго заведенія. Еще до войны Бейме обсуждалъ съ Энгелемъ провѣтъ такого учрежденія. Утрата университета въ Галле побудила вернуться къ провѣту. Такіе люди, какъ Вольфъ и Шлейермахеръ, дѣятельно о немъ хлопотали; а Бейме даже прямо заявилъ, что считаетъ осуществленіе его дѣломъ первой необходимости. Благодаря его посредничеству, удалось получить именной королевскій указъ отъ 4 сентября 1807 года, разрѣшавшій учредить въ Берлинѣ высшее учебное заведеніе. Заслуга Гумбольдта заключается такимъ образомъ въ завершеніи дѣла, начатаго другими. Покончивъ съ подготовительными работами, а именно, озаботившись привлеченіемъ солиднаго преподавательскаго персонала, онъ 10 іюля 1809 года ³⁾, въ Кёнигсбергѣ, обратился къ королю съ формальнымъ прошеніемъ объ учрежденіи въ Берлинѣ университета: по его мнѣнію, новое учрежденіе должно было необходимо носить характеръ университета, со всѣми его правами и атрибутами. Свободный отъ злоупотребленій и несовершенствъ другихъ университетовъ, онъ долженъ былъ явиться университетомъ образцовымъ. И даже еще болѣе: онъ предполагалъ связать его съ

1) Указъ 28 апр. 1810 г.

2) „Это новое учрежденіе доставитъ мнѣ еще много заботъ и труда, но вмѣстѣ съ тѣмъ и много радости, такъ какъ оно дѣйствительно устроено исключительно мною“. Письмо Гумбольдта къ Motherby (Dorow, I. c.).

3) Эта дата значится въ заголовкѣ помѣщ. въ G. W. V, 324 и сл. прошенія. У Dieterici, въ его историческихъ и статист. извѣстіяхъ о прусск. университетахъ (стр. 62 и 63), приводится другая дата, а именно 12 мая.

Академіей наукъ и искусствъ а также и со всѣми существовавшими уже въ Берлинѣ научными учрежденіями въ одно органическое цѣлое, притомъ такъ, чтобы каждая изъ составныхъ частей сохранила до извѣстной степени самостоятельность, въ то же время всѣ вмѣстѣ стремились къ одной общей высшей цѣли. Такимъ путемъ должно было возникнуть учрежденіе, соединяющее какъ въ фокусѣ все, что относится къ высшей наукѣ и искусству; оно должно было основаться въ резиденціи правительства, чтобы находиться съ нимъ въ благотворнѣйшемъ взаимодействіи. Это значило дать рѣпающее и внушительное выраженіе мысли о солидарности прусскаго государства съ духовнымъ просвѣщеніемъ,—той мысли, что сила Пруссіи поконится на силѣ просвѣщенія. Нынѣшнее поколѣніе знаетъ только по наслышкѣ о бѣдствіяхъ того времени. Страна была отягощена непоплатною контрибуціей, поля опустошены или вовсе не засеяны, земля обезцѣнена, всѣ съѣстные припасы чрезвычайно дороги, звонкая монета стояла гораздо ниже нарицательной цѣны. Какъ само государство, такъ и всякая единичная личность, отъ короля до послѣдняго подданнаго, должны были быть готовы къ жертвамъ, лишеніямъ и ограниченіямъ. Можно-ли назвать это аристократическою причудой, что именно въ такой моментъ дѣлалась колоссальная затрата для осуществленія мысли — создать въ Пруссіи высшее учебное заведеніе, не имѣющее себѣ равнаго и сдѣлать столицу страны метрополіей просвѣщенія? Это была вѣрнѣе чисто прусская мысль,—героическая, подобная подвигамъ нѣмецкихъ мужей и юношей на поляхъ битвъ во время освободительной войны. Въ этой мысли было не болѣе претенціозности, чѣмъ сколько ея вообще заключается въ вѣрѣ въ силу образованія и науки. Она была такъ же общепользна и популярна, какъ и мѣропріятія Штейна и Шарнгорста, какъ упраздненіе крѣпостнаго права и введеніе всеобщей воинской повинности. Это не было дѣломъ роскоши, а наоборотъ—мѣрой бережливости. Если Гумбольдтъ привлекъ бѣдную прусскаго государства къ тяжелому налогу для науки и для приличнаго обзаведенія новой высшей школы, то онъ зналъ, что спекуляція, имѣющая своимъ объектомъ умъ,—хорошая спекуляція. Онъ предвидѣлъ, что подъ знаменемъ науки явятся мужество и стремленіе жертвовать своею жизнью ради чести и свободы отечества; предвидѣлъ, что изъ аудиторій Фихте и Шлейермахера выйдетъ отрядъ юношей, готовыхъ свою кровью заплатить отечеству за то, чѣмъ они ему духовно обязаны. «Въ глубинѣ души и хранится залогъ успѣха»—на этой вѣрѣ основывалось новое Гумбольдтово твореніе, ибо въ его расчеты входили какъ эти, такъ и болѣе отдаленныя, еще болѣе государственныя соображенія. Кромѣ того, расходъ, сдѣланный Пруссіей для учрежденія подобнаго образовательнаго заведенія долженъ былъ оплачиваться тотчасъ-же и непосредственно: оплатиться нравственнымъ влі-

яніемъ, которое она, благодаря этому, могла по прежнему распростра-
нять на всю Германію; тѣмъ довѣріемъ къ Пруссіи и готовностью
къ помощи, которыя вслѣдствіе этого должны были развиться и въ
остальной Германіи. Именно на этомъ мотивѣ особенно настаиваетъ
Гумбольдтова записка. «Этимъ путемъ» — такъ гласить этотъ доку-
ментъ — «Ваше королевское Величество съизнова и самымъ рѣши-
тельнымъ образомъ привлекли бы на свою сторону всѣхъ, кто инте-
ресуется въ Германіи образованностью и просвѣщеніемъ, возбужди-
ли бы новое рвеніе и новой пылъ къ возрожденію Вашихъ государствъ
и въ эпоху, когда одна часть Германіи опустошена войной, а другая
управляется на чуждомъ языкѣ и чуждыми правителями, открыли-бы
нѣмецкой наукѣ пріютъ, на который врядъ-ли теперь возможно было
надѣяться». Къ такимъ соображеніямъ Фридрихъ Вильгельмъ III ве-
ликодушно присоединился. Именнымъ указомъ отъ 16 августа 1809
года онъ выразилъ свое окончательное соизволеніе. Гумбольдтъ
удвоилъ старанія для устройства дѣла. Повсюду розыскивалъ онъ
людей, которые могли во всѣхъ отношеніяхъ поддержать честь но-
ваго учрежденія, понимать его цѣль и содѣйствовать ей. Съ Воль-
фомъ въ особенности обсуждалъ онъ этотъ вопросъ о персоналѣ;
слѣды того, съ какою осторожностью онъ выбиралъ этотъ персо-
наль, и какъ мѣткіи были его сужденія, видны въ сохранившихся
мѣстахъ его переписки съ Вольфомъ. Пруссіе и не-пруссіе ученые
вербовались для «берлинскихъ келій мудрости». Люди, какъ Фихте и
Шлейермахеръ, Вольфъ и Бёкъ (Böckh), какъ Рейль и Савиньи, стояли
вмѣстѣ съ другими, равными имъ именами, въ первыхъ спискахъ.
Это было блестящее, многообѣщающее начало, поощреніе и напо-
мнаніе для будущаго.

Проектъ устройства новаго университета представлялъ собою точ-
ное выраженіе общихъ идеалистическихъ воззрѣній Гумбольдта. Въ
осуществленіи его проявились основательность и универсальность его
образованія. Пылъ его дѣятельности исходилъ изъ самыхъ глубинъ его
мысли, на содержаніи ея лежала печать той духовной зрѣлости, которую
онъ самъ въ себѣ выработалъ. Образованіе служило эпиграфомъ всей
предшествующей его жизни: видѣть въ Пруссіи государство образо-
ванности стало эпиграфомъ его новой дѣятельности. До сихъ поръ
онъ развивалъ на себѣ самомъ искусство образованія; теперь онъ
сталъ развивать его на организмъ прусскаго государства. Таковъ
былъ смыслъ, таково же было и содержаніе его дѣятельности въ
качествѣ руководителя народнаго просвѣщенія. Приобрѣтенное само-
образованіе онъ перевелъ въ образованіе своего народа: образованіе,
которое онъ взялся насаждать и культивировать, онъ понималъ въ
такомъ-же духѣ и такомъ-же масштабѣ, въ какомъ понималъ
и свое собственное образованіе.

Его индивидуальный идеаль образованія носилъ характеръ гумани-

стическій. Всесторонне и гармонически развиваться въ смыслѣ болѣе высокой человѣчности — вотъ формула его стремленія: въ ней образовательное вліяніе эпохи сочеталось съ тѣмъ, что было заложено въ самомъ его характерѣ. Онъ не допускалъ другого идеала, другой формулы и для развитія своего народа. Департаментъ народного просвѣщенія — такъ высказывается онъ въ одной изъ своихъ официальныхъ бумагъ о назначеніи этого органа — долженъ имѣть свою цѣлю способствованіе общему образованию; онъ долженъ заботиться о томъ, чтобы «научное образованіе не расваливалось сообразно высшимъ цѣлямъ и условіямъ на отдѣльныя вѣтви, а напротивъ — собиралось въ одномъ фокусѣ для достиженія высшей человѣческой цѣли». Ему было, слѣдовательно, чуждо то грубое утилитарное воззрѣніе, равнодушное къ образованію и цѣнящее только знаніе — и то не ради его самого, а ради его практической пользы. Ему была чужда тенденція поощренія спеціальнаго знанія, дрессировки — вмѣсто воспитанія. Онъ не былъ того мнѣнія, что въ вопросахъ образованія кратчайшій и наиболѣе дешевый путь самый лучший, — что тотъ вѣрнѣе и лучше исполняетъ свое дѣло, кто возможно менѣе способенъ заглядывать за его предѣлы. Онъ высказывается какъ противъ утилитарнаго, такъ и противъ матеріалистическаго направленія. Несомнѣнно, тогда уже уразумѣлъ онъ, какая опасность угрожаетъ духу чистой науки при преобладаніи естественныхъ наукъ, предвидѣлъ, что высокомѣріе опытнаго знанія поведетъ къ пренебреженію тѣми жизненными и научными мотивами, которые, какъ конечные и глубочайшіе, обуславливаютъ также успѣхъ истиннаго познанія природы. Онъ шелъ въ этомъ отношеніи, можетъ быть, дальше, чѣмъ это было совмѣстимо съ вѣрною оцѣнкой значенія естественныхъ наукъ: научный комитетъ, учрежденный имъ въ департаментѣ народного просвѣщенія, долженъ былъ имѣть своими дѣйствительными членами исключительно такихъ людей, которые посвятили себя философскимъ, математическимъ, филологическимъ и историческимъ занятіямъ, такъ что собственно естественная наука, какъ и теологія, не имѣла тамъ своихъ представителей; по мнѣнію Гумбольдта, наука, какъ таковая, совершенно замыкается этимъ кругомъ наукъ, и лишь однѣ эти науки обладаютъ формой, «при посредствѣ которой лишь всѣ отдѣльныя знанія только и возвышаются на степенъ науки, и безъ которой никакая ученость, обращенная на отдѣльный предметъ, не можетъ превратиться въ истинно интеллектуальное образованіе и стать плодотворною для ума» ¹⁾.

Не надо, однако, забывать, что братъ Александра Гумбольдта не

¹⁾ Ideen zu einer Instruction für die wissenschaftliche Deputation beider Sectionen öffentlichen Unterrichts (къ инструкціи для научной комиссіи департамента народного просвѣщенія) G. W. V, 333 и сл., тамъ-же стр. 334.

могъ относиться враждебно къ научному изслѣдованію природы. Онъ самъ одно время интересовался между прочимъ естественнонаучными вопросами; еще во время своего путешествія по Тюрингіи, въ началѣ 1810 года, онъ заставилъ Гёте изложить ему свое ученіе о цвѣтахъ ¹⁾. При назначеніи персонала новаго университета онъ отнюдь не пренебрегъ естественно-научною областью; онъ только не могъ ее признать воспріемницей и носительницей научнаго духа, совершенно справедливо полагая, что она-то главнымъ образомъ и должна быть поставлена подъ надзоръ научныхъ предметовъ, болѣе близкихъ нравственнымъ и чисто интеллектуальнымъ интересамъ человѣка—иначе естественныя науки вырождаются въ презирающій все духовное матеріализмъ и безыдейный эмпиризмъ. Въ отдѣленіи реальныхъ наукъ отъ гуманитарныхъ онъ совершенно справедливо усматривалъ односторонность, которая всей приносимую ею пользой не въ состояніи вознаградить за уничтоженіе духа гуманности. На этомъ основаніи высказался онъ противъ учрежденія специальныхъ реальныхъ школъ и противъ изгнанія древнихъ языковъ изъ круга преподаванія въ подобнаго рода школахъ. По его мнѣнію, реальныя школы должны бы отличаться не уменьшеннымъ, а напротивъ увеличеннымъ числомъ предметовъ преподаванія и вслѣдствіе этого болѣе продолжительнымъ курсомъ ученія ²⁾.

Необходимость противопоставить притязаніямъ естественныхъ наукъ идеалистическій противовѣсъ уясняется также и съ другой точки зрѣнія: издавна, какъ и въ новѣйшее время, теологія разсматривалась какъ сила наиболѣе способная держать на привязи эти наиболѣе безпутныя и дерзкія изъ всѣхъ наукъ, и эта ребяческая выдумка, по своему характеру принадлежащая вѣку схоластики, пыталась подъ личиной глубокомыслія стать подъ защиту частью авторитета, частью дерзости; съ поповскимъ безстыдствомъ заявлено было первенство догмы надъ наукой подѣ видомъ необходимаго поворота въ наукѣ. Правда, такимъ образомъ борются противъ низменнаго матеріализма и утилитаризма того времени и нѣкоторыхъ научныхъ направленій эпохи, но борются, къ сожалѣнію, заржавѣвшимъ оружіемъ столь же плохого идеализма—фантастическаго идеализма теологически-догматическаго ученія—и поэтому тотчасъ-же оказываются въ антагонизмъ съ наукой какъ таковою и съ тѣмъ идеализмомъ, который является свободнымъ продуктомъ совѣсти и здоровой мысли. За одно съ утилитарнымъ направленіемъ выступаютъ также противъ направленія гуманистическаго, и на мѣсто свободной, чисто человѣчной образованности стараются поставить образованность богословскую и рабскую,

¹⁾ Переписка Гёте съ Кнебелемъ I, 364, 367.

²⁾ Письмо Гумбольдта къ Рейху въ *Blätter für liter. Unterhaltung*, 1847 № 120.

которая въ концѣ-концовъ стремится къ еще болѣе низменнымъ цѣлямъ, нежели матеріалистическое образованіе въ духѣ времени.

Но эти теологическіе приемы были также діаметрально противоположны образованію и педагогическимъ взглядамъ человѣка, принимавшаго такое дѣятельное участіе въ духовномъ возрожденіи Пруссіи, какъ и односторонне реалистическое направленіе. Его практическая дѣятельность и тутъ оставалась вѣрна гуманизму его собственного образованія и идеямъ его юности. Его личная религія была по прежнему тѣмъ, что богословы назвали-бы язычествомъ; его благочестіе было все еще благочестіемъ нѣсколько обособленнымъ, аристократическимъ. Онъ не стоялъ на почвѣ христіанской догмы и для себя лично не чувствовалъ потребности въ церковномъ поученіи. Даже тѣ, которые относились съ полнѣйшимъ одобреніемъ къ его дѣятельности, не находили въ немъ той «религіозной простоты (Gemüthlichkeit)» каковая въ подобныя времена необходима тому, кто призванъ вліять на массы. Наше личное мнѣніе мало увлочается отъ мнѣнія этихъ послѣднихъ. Штейнъ и Финке, по нашему мнѣнію, имѣли передъ Гумбольдтомъ то преимущество, что они въ религіозныхъ вопросахъ стояли ближе къ непосредственной потребности и къ народному самосознанію; это придавало ихъ дѣятельности полетъ, болѣе родственныи тому, который нужно было возбудить въ массѣ: они могли обращаться къ чувству народа безъ посредства переводчика, имѣли въ рукахъ лишній рычагъ и могли дать болѣе глубокое, болѣе сердечное основаніе своему вліянію. Но мы совершенно согласны съ мнѣніемъ, высказаннымъ Шпальдингомъ Штейну, что «съ такимъ большимъ умомъ и основательностью характера человѣкъ невѣрующій можетъ быть полезнѣе, нежели тысяча ревнителей безъ разума». Кромѣ того намъ извѣстно, что такое представляло собою это невѣріе. Для себя и по своему онъ былъ такъ же набоженъ, какъ и самые набожные люди. Въ своемъ античномъ душевномъ складѣ, въ своемъ философскомъ образѣ мыслей и гуманистической философіи онъ находилъ полнѣйшую замѣну христіанско-религіознаго чувства другихъ. Чѣмъ выше и, пожалуй, чѣмъ болѣе одиноко стоялъ онъ надъ вѣрованіями массы, тѣмъ болѣе былъ онъ въ состояніи ихъ признавать, относиться къ нимъ справедливо и со вниманіемъ и предоставлять имъ свободу: такъ какъ собственная его религія была ничто иное, какъ глубоко воспринятый гуманизмъ и идеализмъ, то онъ искренно уважалъ гуманную и идеальную сторону въ религіозныхъ убѣжденіяхъ и церковной жизни народа. Онъ, правда, не говорилъ языкомъ массы, но въ своемъ собственномъ онъ обладалъ влечемъ къ его пониманію. Онъ поступалъ теперь такъ, какъ говорилъ въ своемъ юношескомъ сочиненіи и какъ думалъ при видѣ крестовъ на Монсерратѣ. Въ религіи народа онъ видѣлъ общедоступный идеализмъ. Онъ видѣлъ значеніе религіи въ томъ, что она —

какъ выразился онъ въ наброскѣ одного изъ своихъ мемуаровъ— только она одна есть именно то дѣло, «которое глубоко и серьезно интересуетъ всѣхъ членовъ націи безъ исключенія и одинакова близка какъ тѣмъ чувствамъ, которыя соединяютъ ихъ черезъ посредство семьи и отечества съ землей, такъ и тѣмъ, которыя черезъ посредство души соединяютъ ихъ съ міромъ неземнымъ». Цѣль богослуженія онъ видѣлъ въ томъ, что «оно соединяетъ всѣхъ членовъ націи исключительно какъ людей, не взирая на случайныя общественныя различія» ¹⁾. Человѣкъ, стоящій на такой точкѣ зрѣнія, могъ совершенно искренно заботиться о благолѣтіи и объ облагороженіи общественного богослуженія, хотя бы онъ для своего собственнаго назиданія не перешагнулъ никогда порога церкви. Стоя на этой точкѣ зрѣнія, онъ могъ смѣло работать рядомъ съ такимъ благочестивымъ церковникомъ, какъ Николовиусъ. Подъ верховнымъ руководствомъ Гумбольдта онъ управлялъ духовнымъ отдѣломъ Гумбольдтова департамента, въ то время какъ самъ Гумбольдтъ управлялъ отдѣломъ народнаго просвѣщенія. Онъ предоставилъ свободу дѣйствія человѣку, поставившему себѣ прямою задачей—возродить въ народѣ религиозныя вѣрованія. Онъ слѣдилъ только за тѣмъ, чтобы ихъ обоюдная дѣятельность тѣсно сплеталась, и чтобы ихъ общія старанія были одушевлены однимъ и тѣмъ-же духомъ свободы.

Такимъ образомъ по отношенію къ религиознымъ предметамъ Гумбольдтова дѣятельность носила обще-гуманистическую окраску; но самый его гуманизмъ и построенная на немъ педагогическая дѣятельность носили специфическую и до нѣкоторой степени чужестранную окраску. Человѣкъ, лучшіе свои годы прожившій среди классиковъ и среди тѣхъ, которые задавались цѣлью возродить духъ древности въ наукѣ, искусствѣ и поэзій, долженъ былъ видѣть въ эстетизмъ и эллинизмъ наилучшую основу и для преслѣдуемаго теперь нравственно-патріотическаго просвѣщенія націи. Мы уже упомянули о томъ, что онъ сдѣлалъ въ этомъ направленіи для гимназій: онъ очистилъ болѣе мѣста для преподаванія греческаго языка; онъ требовалъ даже и для реальныхъ школъ сохраненія древнихъ языковъ. Но особенно характерна записка, поданная имъ королю 14 мая 1809 года, объ учрежденіи высшаго музыкальнаго управленія съ цѣлью улучшенія общественной музыки. Онъ, человѣкъ не музыкальный, ходатайствовалъ о назначеніи, рекомендованнаго ему Гёте, Цельтера профессоромъ Академіи художествъ и инспекторомъ общественной музыки въ прусскомъ королевствѣ, чтобы такимъ образомъ мало-по-малу поднять церковную и свѣтскую музыку, также какъ и преподаваніе музыки въ школахъ. Онъ заботился при этомъ и объ облагороженіи

¹⁾ См. вычеркнутыя мѣста его работы: *Ueber geistliche Musik* (О духовной музыкѣ) V. 319 и сл.; тамъ-же стр. 323.

самого искусства, и о влияніи его на образованіе народа. Его доводы были доводы Платона и Аристотеля. Его точка зрѣнія основывалась на тѣхъ самыхъ воззрѣніяхъ, на основаніи которыхъ въ Спартѣ и въ Афинахъ эстетическое образованіе составляло главную часть гражданскаго образованія. Если въ политическомъ трудѣ своей юности онъ зашелъ такъ далеко, что хотѣлъ въ известномъ смыслѣ «изъ всѣхъ крестьянъ и ремесленниковъ сдѣлать художниковъ»¹⁾, то теперь онъ во всякомъ случаѣ остался вѣренъ тому положенію «что эстетическое наслажденіе необходимо для націи». Тамъ онъ, говоря объ образовательныхъ искусствахъ, отдавалъ музыкѣ предпочтеніе передъ поэзіей, живописью и скульптурой изъ-за глубины производимаго ею впечатлѣнія; теперь онъ снова указываетъ на то, что именно это искусство способно дѣйствовать «глубоко и образовательно на чувства и душевный міръ даже у низшихъ классовъ», — гармонируя со всѣмъ истинно общечеловѣческимъ, оно особенно способно служить связью между низшими и высшими слоями націи. На основаніи этого гуманистически-эстетическаго соображенія онъ распорядился объ улучшеніи богослужебной музыки. Онъ ввелъ преподаваніе музыки въ школѣ, дабы «душа рано пріучалась къ гармоніи и ритму», и такимъ образомъ «будетъ оказано противудѣйствіе такъ легко распространяющейся грубости».

Можетъ показаться, что подобнаго рода принципы слишкомъ тонки и хрупки и потому для примѣненія на практикѣ непригодны. Но не столько самые принципы, сколько форма, въ которой они добыты и разобраны, не соответствуетъ грубой матеріи дѣйствительности. Читаніе какого-нибудь мемуара Гумбольдта производитъ на насъ впечатлѣніе, подобное тому, какое мы получаемъ, заглянувъ при помощи микроскопа во внутреннее строеніе, нѣжные сосуды и правильную грань клѣтчатки могучаго, окруженнаго грубой корой ствола; только изъ лучшихъ мыслей, изъ наиболѣе высокыхъ чувствъ чловѣка складывается то, что можетъ имѣть въ жизни цѣнность и прочность. Общественныя условія также всего вѣрнѣе складываются на этомъ благородномъ фундаментѣ: и политически-практическая дѣятельность вырастаетъ только изъ идей. Идеалистическое воззрѣніе, которое лежало въ основѣ всей дѣятельности Гумбольдта, онъ вносилъ во всѣ отдѣльныя свои мѣропріятія и планы. Это выразилось уже въ самой организаціи его департамента. Такъ, къ отдѣленію народнаго просвѣщенія онъ присоединилъ особую ученую комиссію. Въ черновомъ проектѣ инструкціи²⁾ для этого учрежденія онъ объясняетъ его назначеніе: его задача «непоколебимо поддерживать общіе на-

¹⁾ Ideen zu einem Versuch. (См. приложение стр. 77).

²⁾ Она находится, какъ уже было указано, въ G. W. V. 323 и сл. ср. письмо къ Вольфу, тамъ же, стр. 276.

учные принципы» для того, чтобы департаментъ могъ всегда обзрѣть и оцѣнить ея дѣйствіе въ соотвѣтствіи съ ея общимъ направленіемъ». По его мысли это была корпорація, которая должна была какъ бы самостоятельно представлять руководящія идеи, должныя лежать въ основѣ всякой государственной дѣятельности и поэтому ей должна быть прежде всего предоставлена свободная инициатива по отношенію къ высшему управленію въ формѣ общихъ предложеній и соображеній. Въ такихъ и подобныхъ распоряженіяхъ не было, конечно, ничего ни непрактичнаго, ни преувеличеннаго. Гумбольдтъ грѣшилъ только тѣмъ, что иногда вносилъ въ свои практическія мѣропріятія слишкомъ много изъ своихъ предварительныхъ соображеній,—недостаточно тщательно стиралъ вспомогательныя линейки, которыя мысленно проводилъ и, можетъ быть, слишкомъ обнаруживалъ логическій методъ въ своихъ практическихъ концепціяхъ. Оно и совершенно понятно: ему приходилось постоянно бороться съ своимъ пристрастіемъ къ теоретической сторонѣ вопроса; онъ слишкомъ легко увлекался метафизикой своихъ проектовъ, такъ что ему трудно было скрывать въ своихъ дѣловыхъ бумагахъ тонкость своихъ соображеній и упростить изложеніе. Онъ самъ это живо чувствовалъ. Во второй редакціи инструкціи, данной ученой комиссіи, онъ старался исправить то, что въ первой «кажется слишкомъ метафизическимъ»¹⁾. Очевидно онъ по этой-же причинѣ вычеркнулъ въ своей работѣ о духовной музыкѣ тѣ мѣста, которыя въ собраніи его сочиненій возстановлены по первоначальному наброску.

Но этотъ «метафизическій» характеръ формы не вліялъ однако на предметъ и на образъ дѣйствія Гумбольдта, какъ таковой. Люди, жившіе раньше съ нимъ въ мірѣ эстетики, съ удивленіемъ отмѣчали, что онъ вообще понимаетъ, «что приблизительно можетъ имѣть въ жизни ходъ и значеніе»²⁾. Преимущество его передъ друзьями-эстетиками заключалось въ томъ, что онъ въ практическихъ вопросахъ нисколько не терялся и при этомъ не отрекался отъ принциповъ своего образованія,—что съ эстетическимъ чувствомъ онъ умѣлъ соединять способность къ дѣлу и талантливую дѣловитость. Его научныя занятія и умозрѣніе отнюдь не сдѣлали его непригоднымъ къ жизни; напротивъ—его занятія искусствомъ развили въ немъ пониманіе искусства дѣйствовать, изученіе челоуѣка—талантъ въ обращеніи съ людьми. Высказавшись еще въ юности противъ политическаго апіоризма, понимая самый законъ дѣятельности и жизни, также какъ и законъ мышленія, по эстетической схемѣ, онъ—этотъ практически-поэтический художникъ — развивалъ

1) Письмо къ Вольфу, G. W. V. 277.

2) Письмо Кнебеля къ Гёте, указ. мѣсто I. 367.

теперь повсюду искусство видѣренія идейныхъ формъ къ матерію дѣйствительности. Главная забота въ организациі круга его занятій заключалась въ томъ, чтобы идеальная ихъ сторона тѣсно соединялась съ чисто дѣловой и чтобы при проведеніи принциповъ не упускалась изъ виду исполнимость, при исполненіи—руководящая идея¹⁾. Поэтому его дѣятельность—при всей своей тенденціи къ перевороту и къ преобразованію всего менѣе была рѣзко революціонна. Глубоко въ духѣ его предшестующаго образованія коренился высказанный имъ принципъ, что «никогда не слѣдуетъ разрушать, пока нѣчто другое не замѣнило вполне стараго»²⁾. Это былъ принципъ консерватизма, наиболѣе наклоннаго къ прогрессу: стремленіе, одушевлявшее и Штейна,—произвести революцію путемъ реформъ.

Другія достоинства его государственной дѣятельности были связаны съ его характеромъ вообще и тутъ только нашли новую область для своего проявленія. Изъ своей научной дѣятельности онъ перенесъ въ политическую чистый интересъ къ самому предмету безъ примѣси чего-либо личнаго, благородную любовь къ истинѣ, всегда готовую къ самому свободному обсужденію, строгую добросовѣстность и точность, неустанное, согласное долгу трудолюбіе. Эти качества должны были признавать враги, какъ и друзья. Но никто не извѣдалъ ихъ лучше Вольфа, ни на кого другого не расточалъ Гумбольдтъ такъ свойственной ему любезности и сердечной доброты. Прекрасною мечтой была его надежда найти въ прежнемъ товарищѣ своихъ научныхъ занятій такого-же помощника въ своей практической дѣятельности. Онъ немедленно позаботился о томъ, чтобы поставить своего друга въ положеніе, соответствующее какъ его заслугамъ, такъ и его достоинству,—притомъ такое, которое было-бы одновременно и выгодно, и почетно, которое открывало-бы ему возможность плодотворнѣйшаго участія въ дѣлахъ, не мѣшая однако ни его научной профессіи, ни его работамъ, ни его славѣ. Предполагалось, что Вольфъ станетъ во главѣ ученой комиссіи, и именно его имѣлъ онъ въ виду при опредѣленіи положенія и научныхъ задачъ руководителя. Но принявъ предложенную ему должность, Вольфъ тотчасъ-же оставилъ ее³⁾. Болѣзненный физически, онъ былъ еще болѣе боленъ психически. Онъ постепенно развивалъ въ себѣ нестерпимую претенціозность, вслѣдствіе которой впалъ въ истерическую раздражительность и уныніе. Выдающагося нѣмецкаго критика точно обуяло дикое и безграничное высокомеріе Бенталя. Несмотря на всяческіе уговоры друга, онъ замкнулся въ міръ фантазій, вызванныхъ

¹⁾ Ideen zu einer Instr., указ. мѣсто, стр. 338, 341. Письмо къ Вольфу, I. с. стр. 287.

²⁾ Antrag zur Gründung der Universität (Ходатайство объ учрежденіи университета), I. с. стр. 328.

³⁾ См. Körte, I. с. стр. 34 и сл.

его большимъ отъ утомленія славою и погоней за гениальностью духомъ, и въ причуды зачерствѣлаго эгоизма. Письма къ нему Гумбольдта, писанныя по этому поводу, представляютъ прекрасное свѣдѣтельство «бодрости духа», вѣрности, терпѣнія и кротости—всѣхъ тѣхъ душевныхъ качествъ, которыя могли быть извѣстны только близкимъ ему людямъ. Вмѣстѣ съ герцогомъ Альфонсомъ имѣлъ-бы онъ право сказать, что «другъ ему данъ для испытанія его терпѣнія»:

Ich kenne nur zu gut den Sinn des Mannes,
Und weiss nur allzu wohl, was ich gethan,
Wie sehr ich ihn geschont, wie sehr ich ganz
Vergessen, das ich eigentlich an ihn
Zu fordern hätte ¹⁾. (Goethe. Torquato Tasso, V, 1).

Эти-же письма даютъ намъ еще разъ возможность заглянуть въ общій смыслъ всей дѣятельности Гумбольдта и въ благородный, безупречный характеръ его общественнаго служенія. Онъ вынужденъ былъ наконецъ указать Вольфу, что всѣ другія соображенія должны по праву уступить передъ интересами дѣла—«дѣла, прибавляетъ онъ, «которое я по крайней мѣрѣ не упускаю ни на одну минуту изъ виду, хотя и далеко отъ мысли требовать самопожертванія отъ другихъ». Спокойно выслушалъ онъ злое порицаніе, высказанное Вольфомъ, какъ всему его управленію, такъ и отдѣльнымъ его мѣропріятіямъ,— въ сознаніи того, что онъ дѣйствовалъ всегда «съ серьезною обдуманностью и рвеніемъ». Отдѣльные промахи не должны насъ смущать, иначе ничего не сдѣлаешь. «Послѣдній часъ», говорить онъ дальше, «еще не наступилъ; въ дѣлахъ я держусь того принципа, что дѣйствуешь хорошо только тогда, когда остаешься спокойнымъ, терпѣливымъ и настойчивымъ; самое зрѣлое размышленіе можетъ вслѣдствіе случайности не достигнуть своей цѣли, по если всегда имѣть эту цѣль передъ глазами и постоянно ее возстановлять, то въ концѣ концовъ все же приходишь къ ней» ²⁾.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Дипломатическая дѣятельность.

Ни общій разгромъ, ни бѣдствіе государства, не лишили Гумбольдта бодрости. Онъ почерпалъ мужество въ самомъ трудѣ возсозданія; ему удалось и посреди канцелярскихъ затрудненій и дѣ-

¹⁾ Т. е. слишкомъ хорошо знаю я характеръ этого человѣка, слишкомъ хорошо знаю, что я для него сдѣлалъ, какъ его щадилъ, совершенно забывалъ, что я собственно могъ бы предъявлять къ нему требованія.

²⁾ Письмо къ Вольфу, 1 с., стр. 288, 289. См. кромѣ того №№ LXVIII, LXIX, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXVII и LXXVIII ихъ переписки.

ловых прений сохранить ровное и веселое настроеніе его досуговъ. Съ однимъ только нельзя было справиться, одно было невыносимо: съ обстоятельствами онъ надѣялся совладать, но всякая надежда на спасеніе разбивалась о людей. «Истинное и наибольшее несчастье», такъ выразился онъ, заключается въ отсутствіи людей большого ума и энергіи, людей съ умомъ и характеромъ Штейна. Это было, поистинѣ, очень мягкое выраженіе въ примѣненіи къ людямъ вродѣ Доона и Альтенштейна, Гольца и Бейме. Дѣятельность этихъ министровъ не направлялась ни высшею цѣлью, ни общимъ планомъ, ни пониманіемъ предстоящей задачи. Существовалъ одинъ только принципъ — управлять не по принципамъ, а по волѣ случайностей, пользоваться вещами, какъ они есть, ждать фактовъ вмѣсто того, чтобы ихъ вызывать. Лишенное единообразнаго руководства государственнаго совѣта, управленіе разбилось на различные отдѣлы. Чѣмъ слабѣе была взаимная связь отдѣльныхъ частей, тѣмъ чаще случались вмѣшательства въ чужую область. За отсутствіемъ руководящаго ума, который стоялъ-бы во главѣ организаци, каждый стремился къ господству надъ другимъ, чѣмъ открывался просторъ для личныхъ интригъ. Нація не имѣла ни представительства, ни голоса: неудачное правительство въ тайнѣ именно и искало опоры. Несостоятельность короля дѣлала несостоятельность его совѣтниковъ еще болѣе роковою. Потрясенное ужаснымъ ударомъ извнѣ, лишенное спасительной руки Штейна, государство, благодаря неумѣлости и бездѣйствію своихъ руководителей, шло быстрыми шагами къ внутреннему распаденію.

Печальнѣе всего было, конечно, состоять членомъ таксго правительства, видѣть его слабость и ничтожество и не быть въ состояніи ему помочь. Изъ всѣхъ отраслей управленія только та, во главѣ которой стоялъ Гумбольдтъ, отличалась высшимъ пониманіемъ вещей, она даже была единственная, въ которой господствовалъ порядокъ и цѣлесообразная дѣятельность. Было ясно, что современемъ и здоровый членъ долженъ будетъ пострадать вслѣдствіе разложенія цѣлага, что вслѣдствіе расшатанности всей машины раньше или позже остановится и единственная годная еще колеса. Руководитель дѣлами исповѣданій и народнаго просвѣщенія не былъ поставленъ такъ, чтобы быть единственнымъ отвѣтственнымъ лицомъ за свою дѣятельность. По своему положенію въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ онъ былъ подчиненъ человѣку съ наилучшими, правда, стремленіями, но съ самою слабою волей и съ самымъ узкимъ кругозоромъ. Вслѣдствіе этой слабости гр. Доона находился въ полнѣйшей зависимости отъ Альтенштейна; инспекторъ хозяйства, какъ жаловался Шёнъ, находился въ рукахъ казначея. Министерство финансовъ, безсильное и расшатанное, господствовало надъ внутреннимъ управленіемъ и вносило въ него путаницу. Это былъ безконечный рядъ столкновеній;

и постоянно возрастающія финансовыя затрудненія были, кажется, единственнымъ господствующимъ принципомъ. Такой человекъ, какъ Гумбольдтъ, вся дѣятельность котораго опредѣлялась одною великою идеею, не подходилъ вообще къ этой бездѣйной компаніи. Но хуже всего было то, что его идеи стоили много, очень много денегъ. Вскорѣ онъ убѣдился, что руки его связаны, и что въ исполненіи своихъ плановъ онъ встрѣчаетъ препятствія со всѣхъ сторонъ. Это еще усилилось послѣ перенесенія резиденціи правительства изъ Кёнигсберга въ Берлинъ. Въ мартѣ 1816 года безпорядокъ, а съ нимъ вмѣстѣ и безразсудство достигли своего апогея. Альтенштейнъ и другіе министры прямо заявили, что при данныхъ условіяхъ, при полномъ истощеніи финансовъ невозможно «предпринимать значительныя реформы во внутреннемъ управленіи». Такимъ образомъ должна была исчезнуть для Гумбольдта всякая надежда продолжать дѣло на прежнихъ основаніяхъ. И не только это: послѣднія заявленія Альтенштейна были такого рода, что всякая общность съ правительствомъ, которое онъ представлялъ, становилась преступленіемъ по отношенію къ прусскому государству, — ибо, чтобы выйти изъ затруднительнаго положенія, онъ даже готовъ былъ поступиться достоинствомъ государства, пожертвовать частью государства ради него самого; тѣснымъ требованіями Наполеона относительно доплаты военной контрибуціи, онъ не постыдился предложить уступку Силезіи, какъ единственное средство спасенія въ бѣдѣ. Теперь настало время сдѣлать то, что сдѣлали уже ранѣе Меркель и Финке: пришлось отречься отъ правительства, которое съ своей стороны отреклось отъ самыхъ священныхъ наслѣдій прусскаго величія и прусской славы, отъ памяти Фридриха, отъ вѣры въ будущность Пруссіи. Принимая новый постъ Гумбольдтъ, оставилъ за собою возможность отступленія въ область дипломатіи; 29 апрѣля 1810 года онъ подалъ прошеніе объ увольненіи отъ должности.

Однако же Гогенцоллерны не дошли еще до того, чтобы не отступить передъ мыслью прикрыть лучшимъ капиталомъ монархіи — завоеваніями великаго короля — политическую несостоятельность неспособнаго министра. За это предложеніе министерство Альтенштейна платилось своею властью. Призванный изъ своего уединенія Гарденбергъ выяснилъ возможность иной системы управленія; ему было поручено образованіе новаго министерства и 7 іюня онъ сталъ во главѣ управленія съ титуломъ государственнаго канцлера. Это не измѣнило однако же рѣшенія Гумбольдта. Опасался-ли онъ даже и послѣ этой перемѣны возможности новыхъ столкновеній на такомъ мало самостоятельномъ посту, не считалъ ли онъ и Гарденберга подходящимъ человекомъ для даннаго положенія, или ему вообще слишкомъ опротивѣла правительственная дѣятельность, чтобы предпринимать новые опыты съ новыми и болѣе способными людьми, — какъ бы

то ни было, для него достаточно было признанія, что онъ далъ ввѣренной ему отрасли управленія надлежащій ходъ и создалъ по крайней мѣрѣ хоть одно великое дѣло. Дѣйствительно, кажется, что его рѣшеніе было поддержано главнымъ образомъ желаніемъ уйти изъ подъ гнета дѣлъ въ жизнь, болѣе соответствующую его наклонностямъ и его индивидуальному плану. Онъ не уклонился отъ призыва долга, и именно добросовѣстность, съ какою онъ его выполнялъ, не позволяла ему считать себя долге незамѣнимымъ. При такихъ обстоятельствахъ у него совершенно законно явилось сомнѣніе, долженъ-ли онъ, въ положеніи во всякомъ случаѣ ненадежномъ, отнимать совершенно свои силы у того, что считалъ выше всего другаго. Въ его намѣренія не входило отказаться совершенно отъ государства, какъ то было въ началѣ девятидесятихъ годовъ; онъ желалъ положенія, въ которомъ былъ-бы полезенъ государству, но которое предоставляло бы ему при этомъ возможность жить для себя и своихъ идей. Его желаніе было удовлетворено: онъ былъ назначенъ преемникомъ гр. Финкенштейна. Именнымъ указомъ отъ 14 іюня онъ былъ назначенъ чрезвычайнымъ посломъ и полномочнымъ министромъ съ титуломъ тайнаго государственнаго министра въ Вѣнѣ. Управление его департаментомъ принялъ на себя пока Николовиусъ. Позднѣе оно было передано тайному государственному совѣтнику Шукману, послѣ неудачной попытки Гарденберга отвлечь Александра Гумбольдта отъ его научныхъ работъ и замѣстить имъ покинутый его братомъ постъ.

Не совсѣмъ такимъ вернулся онъ къ дипломатической карьерѣ, какою когда-то, восемь лѣтъ передъ тѣмъ, ее оставилъ. Мысли и настроеніе, сопровождавшія его въ Вѣну, были не совсѣмъ тѣ, съ какими онъ пріѣхалъ въ Римъ. Онъ прошелъ серьезную школу; онъ видѣлъ вблизи бѣдствіе и оскудѣніе отечества; онъ стоялъ близко къ общественнымъ дѣламъ. Слѣдствіемъ этого было то, что оставляя управленіе, онъ питалъ болѣе сильный интересъ къ государственнымъ и дѣловымъ вопросамъ, чѣмъ когда-либо ранѣе. На каждомъ шагѣ его дѣятельности въ Пруссіи онъ встрѣчалъ духъ человѣка, съ которымъ иногда переписывался въ то время, когда онъ еще занималъ постъ посланника въ Римѣ ¹⁾). Тысячи устъ произносили имя Штейна съ благоговѣйнымъ удивленіемъ, и Гумбольдтъ былъ свидѣтелемъ того, что память о великомъ изгнанникѣ тѣмъ сильнѣе жила въ сердцахъ, чѣмъ болѣе новое правленіе уклонялось отъ немѣннаго имъ пути. Имъ овладѣло искреннее желаніе познакомиться съ Штейномъ лично. Въ сентябрѣ, не дождавшись открытія берлинскаго университета, былъ онъ же на дорогѣ въ Вѣну. Попутно, или, вѣрнѣе сдѣлавъ нарочно съ этою цѣлью крюкъ, онъ повидался въ Теплицѣ

¹⁾ Если въ цитатѣ у Pertz'a II, 614, прим. 36, подразумѣвается Вильгельмъ Гумбольдтъ.

съ Генцемъ и пробылъ у него два дня ¹⁾. Изъ Теплица онъ отправился въ Прагу, куда Штейнъ переселился въ июнѣ изъ Брюнна. Онъ могъ рассчитывать на самый дружескій приемъ съ его стороны, ибо Штейнъ съ живымъ сочувствіемъ слѣдилъ за дѣятельностью Гумбольдта, въ качествѣ руководителя департаментомъ исповѣданій и народнаго просвѣщенія. Мнѣніе, которое онъ составилъ себѣ о характерѣ и дарованіяхъ послѣдняго, было такъ благоприятно, что въ памятной запискѣ, посланной имъ Гарденбергу, вслѣдъ за назначеніемъ его государственнымъ канцлеромъ, онъ совѣтуетъ довѣрить Гумбольдту, кромѣ народнаго просвѣщенія, также и управление департаментомъ иностранныхъ дѣлъ, взамѣнъ неспособнаго гр. Гольца ²⁾. Это лестное мнѣніе укрѣпилось еще болѣе послѣ ихъ личнаго свиданія; свиданіе положило начало дружбѣ, которая, несмотря на чрезвычайное различіе ихъ натуръ, продолжалась до самого конца и постоянно поддерживалась личнымъ и письменнымъ общеніемъ. Штейнъ сожалѣлъ, что познакомился такъ поздно съ человѣкомъ, который могъ быть для него наиболѣе достойнымъ и полезнымъ сотрудникомъ при возстановленіи прусскаго государства. Но особенно глубоко было впечатлѣніе, произведенное великимъ реформаторомъ на Гумбольдта. Олицетворенными въ индивидуальномъ явленіи стояли передъ нимъ теперь тѣ интересы, съ которыми онъ со времени возвращенія своего на родину, частью противъ воли и еще болѣе противъ своихъ склонностей, близко познакомился. Не болѣе ясно проявилось для него нѣкогда въ Шиллерѣ глубокое значеніе художественнаго творчества въ элементъ идеи, чѣмъ теперь—значеніе патріотической и государственной дѣятельности. Благородный духъ настоящей, покоящейся на глубокомъ нравственномъ чувствѣ политики, стоялъ передъ нимъ во-очію. Онъ долженъ былъ сознать, что эта совершенная преданность судьбамъ отечества, эта единственная въ своемъ родѣ страстная заботливость о нравственномъ устроеніи общаго блага, это пылкое рвеніе въ общественныхъ дѣлахъ,—что и это нѣчто немаловажное. Послѣ двухъ дней, въ теченіе которыхъ они говорили о надеждахъ Германіи, положенія Пруссіи, о планахъ Гарденберга, который имѣлъ вышеупомянутое тайное свиданіе со Штейномъ, объ отношеніи Австріи къ Пруссіи, о людяхъ и вещахъ, принципахъ и мѣропріятіяхъ, Гумбольдтъ проникся сознаніемъ его неоцѣнимаго значенія, узналъ вполнѣ его великій умъ и еще болѣе великій характеръ. Онъ жалѣлъ теперь—такъ писалъ онъ вскорѣ послѣ того, изъ Вѣны, своему новому другу,—что не былъ въ Германіи въ то время, когда вы у насъ работали. Работать съ вами, подѣ вашимъ руководствомъ

¹⁾ Письмо Генца къ Адаму Мюллеру у Шлезіере, въ его изд. соч. Генца IV. 366 и къ Рахили. тамъ-же I. 117.

²⁾ Pertz, II. 498.

было-бы для меня теперь двойнымъ удовольствіемъ и успокоеніемъ». Все еще подъ вліяніемъ разговоровъ со Штейномъ, Гумбольдтъ пишетъ, что и онъ знаетъ свои обязанности по отношенію къ отечеству; хотя онъ и увѣренъ, что въ Берлинѣ къ нему никогда болѣе не обратятся, но онъ во всякомъ случаѣ рѣшилъ не уклоняться ни отъ какаго призыва и поэтому-то онъ хочетъ воспользоваться чудеснымъ досугомъ промежуточнаго времени не такъ, какъ прежде, — для однихъ научныхъ занятій, а вмѣстѣ съ тѣмъ для изученія финансовыхъ и политическихъ вопросовъ ¹⁾.

Однако, какъ уже явствуетъ изъ этихъ замѣчаній, на свой настоящій постъ онъ смотрѣлъ преимущественно, какъ на мѣсто отдохновенія и досуга. Онъ былъ наготовѣ для будущаго но пока считалъ себя человѣкомъ, освобожденнымъ изъ-подъ ярма дѣлъ, но въ то же время не вполне отказывающимъ въ своихъ услугахъ общественному дѣлу. И правда, что при данныхъ условіяхъ постъ посланника въ Вѣнѣ дѣйствительно былъ синекурой. Безъ сомнѣнія, Гумбольдтъ, также какъ и Штейнъ, былъ того мнѣнія, что конечная цѣль, къ которой должна стремиться прусская дипломатія, совпадаетъ съ цѣлью внутренняго управления и заключается въ освобожденіи Пруссіи и Германіи отъ французскаго ига. И несомнѣнно оба они согласились, какъ между собою, такъ и съ Гарденбергомъ, въ томъ, что для достиженія этой цѣли нѣтъ ничего важнѣе установленія единодушія между обѣими нѣмецкими большими монархіями; уже въ 1804 Генцъ называлъ миръ между ними «последнимъ и какъ бы гаснущимъ упованіемъ Германіи». Теперь это стало еще яснѣе, чѣмъ въ 1804 году, потому что оба государства успѣли съ тѣхъ поръ убѣдиться на опытѣ, что каждому изъ нихъ въ отдѣльности не справиться съ превосходящею ихъ по силѣ Франціей. Не менѣе ясно было и то, что попытка сближенія должна исходить отъ Пруссіи, ибо, когда Австрія, въ 1809 году, снова рѣшилась воевать, обѣ соперницы были что называется «въ разсчетѣ»; не смотря на то, Пруссія слѣдила за геройскою борьбой Австріи со сложными или—какъ она говорила въ свое оправданіе—со связанными руками. Къ сожалѣнію, однако, подобное сближеніе никогда еще не было такъ затруднительно, никогда еще возможность успѣха не была болѣе проблематична. Вѣдь и Австрія тоже была теперь въ конецъ истощена. За моментомъ наивысшаго напряженія силъ наступилъ моментъ полной простраціи. Система сопротивленія смѣнилась системой покорности. Цѣли рабства, ослабленныя какъ будто узами дружбы и родства, на самомъ дѣлѣ стали еще крѣпче. Съ тѣхъ поръ, какъ Меттернихъ

¹⁾ Письмо Гумбольдта къ Штейну, Pertz, II, 534. Настоящая дата этого письма есть, вѣроятно, 18 октября; ср. тамъ-же письмо Штейна къ Гумбольдту 28 октября.

смѣнилъ Стадіона, всякая мысль о войнѣ была оставлена и все вниманіе австрійскаго правительства поглотила забота о разстроенныхъ финансахъ государства. Съ другой стороны и Пруссія была связана, поднадзорна, истощена и подавлена. Въ лучшемъ случаѣ, она могла только вступить въ заговоръ и находила, что въ данный моментъ она могла-бы только вступить въ заговоръ съ тайными намѣреніями, но не съ военными силами и политикой Австріи. Поэтому-то инструкція и занятія прусскаго посланника въ Вѣнѣ представляли пока мало значенія. Они ограничивались наблюденіемъ и сообщеніемъ отчетовъ. Нужно было узнать настроеніе населенія. Главною задачей было вызвать довѣріе къ Пруссіи и подготовить на всякій случай возможность сближенія; лучшимъ способомъ для достиженія этого — болѣе видѣть, чѣмъ дѣлать, и вести себя по возможности тихо и скромно.

Гумбольдтъ былъ несомнѣнно самый скромный, Гарденбергъ, когда нужно было, — самый осторожный изъ людей. Со стороны государственнаго канцлера было уже много, что онъ сдѣлалъ австрійскому двору, интимное сообщеніе о томъ, что его мѣропріятія во внутреннемъ управленіи одобрены Штейномъ, съ которымъ онъ видѣлся секретно въ Силезіи ¹⁾). Въ его привычки не входило сообщать посланцѣмъ о томъ, что не имѣло непосредственнаго отношенія къ мѣсту ихъ служенія; еще съ начала 1812 года Гумбольдтъ имѣлъ только темныя и неполныя свѣдѣнія о положеніи дѣлъ въ Пруссіи ²⁾). Вслѣдствіе этого его должность была для него мало обременительна. Смыслъ добросовѣстнымъ образомъ исполнять онъ свои обязанности — но не болѣе. Какъ ни склоненъ онъ былъ бы при другихъ обстоятельствахъ взвалить на свои плечи болѣе сложную политическую дѣятельность, — естественно, что при данныхъ условіяхъ онъ снова разсматривалъ, какъ центръ своей жизни, себя самого, а не свои служебныя занятія. Чѣмъ болѣе жилъ онъ въ Вѣнѣ, тѣмъ болѣе утверждался онъ въ своемъ взглядѣ на время своего пребыванія въ Берлинѣ и Кеннigsбергѣ, гдѣ онъ вынужденъ былъ къ противоположному отношенію, какъ на аномалію въ своей жизни. Оно сдѣлало его совершенно другимъ. Теперь онъ снова сталъ прежнимъ, пишетъ онъ лѣтомъ 1812 года Вольфу ³⁾), каковымъ былъ до 1809 года, прежнимъ въ смыслѣ интересовъ и образа мыслей: посольскія обязанности, прибавляетъ онъ, «настолько расплывчаты и неопредѣленны, что онѣ не особенно занимаютъ мои мысли, и какъ нѣкогда Рубенсъ писалъ при этомъ большія картины, такъ и я могу многимъ за-

¹⁾ Pertz II, 571, на основаніи письма Гумбольдта къ Штейну, отъ 16 февр. 1811 г.; ср. цитир. мѣсто, стр. 621, прим. 71.

²⁾ Письмо Гумбольдта къ Штейну отъ 3 янв. 1812 г. у Pertz'a, III, 694.

³⁾ G. W. V, 294. Ср. письмо къ Паулусу отъ 12 мая 1812 года, у Рейхлинъ-Мельдига (Reichlin-Meldegg: Paulus und seine Zeit, II, 267).

ниматься, что я дѣлалъ и дѣлаю также теперь». Едва прѣхавъ, въ половинѣ октября 1810 года, въ Вѣну, онъ раскладываетъ свои книги, чтобы прийтись снова за свои старыя, заброшенныя со времени вступленія въ министерство филологическія занятія ¹⁾). На первомъ планѣ въ нихъ все еще стоялъ баскій языкъ. При массѣ служебнаго дѣла, среди котораго Гумбольдтъ вдругъ въ 1809 году очутился, онъ считалъ себя вынужденнымъ отказаться отъ давно задуманнаго плана написать самостоятельное сочиненіе о баскахъ и ихъ языкѣ, и тѣмъ хотѣе согласился на предложеніе кѣнигсбергскаго профессора Фатера помѣстить въ 3 томѣ издаваемого имъ теперь «Митридата» подробную статью о языкѣ басковъ; однако и эта работа не была выполнена. Онъ вернулся теперь къ мысли о самостоятельномъ трудѣ по этому предмету, началъ его разрабатывать и общалъ въ концѣ 1812 года, въ подробномъ объявленіи, его появленіе черезъ годъ или въ крайнемъ случаѣ полтора ²⁾). Одновременно приступилъ онъ и къ исполненію даннаго издателю «Митридата» обѣщанія, ограничился однако-же рядомъ поправокъ и дополненій къ статьѣ Аделунга о баскахъ ³⁾). Изъ вышеупомянутаго письма къ Вольфу мы узнаемъ, что онъ занимался въ Вѣнѣ также и изученіемъ венгерскаго языка. И наконецъ въ это-же время ему было облегчено изученіе американскихъ языковъ и снова благодаря брату. Александръ Гумбольдтъ окончилъ въ это время часть своего большого путешествія; въ ноябрѣ 1811 года онъ гостилъ у брата въ Вѣнѣ. Онъ выразилъ желаніе, чтобы послѣдній написалъ ему для этого сочиненія статью объ американскихъ языкахъ. Попытка исполнить это желаніе погела Вильгельма Гумбольдта къ усидчивому занятію языками, которые, вслѣдствіе своей аналогіи съ языкомъ басковъ, вдвойнѣ его прилекали ⁴⁾). Такимъ образомъ изученіе языковъ и философскія размышленія объ этомъ предметѣ наполняли большую часть его времени; все другое являлось только побочнымъ занятіемъ или въ качествѣ пережитка прежнихъ дней. Вольфъ снова нѣсколько сблизился со старымъ другомъ,

¹⁾ Письмо къ Штейну у Pertz'a, II, 534.

²⁾ Въ нѣмецкомъ музеѣ Ф. Шлегеля, т. II, стр. 12. Это объявленіе было также приложено къ Кѣнигсбергскому Архиву за 1812; въ собр. соч. оно отсутствуетъ.

³⁾ Эти *Berichtigungen und Zusätze zum ersten Abschnitt des zweiten Bandes des Mithridates* появились правда только въ 1817 году въ 4 т. Митридата, стр. 275 и сл. и въ отд. оттискѣ въ томъ же году въ Берлинѣ, у Фосса. Пока Фатеръ помѣстилъ только конецъ работы: *Proben baskischer Schreibart und Dichtung* (Образцы письменности и поэзіи басковъ) въ Кѣнигсб. Арх. философіи, теологіи, филологіи и исторіи за 1812 годъ III, стран. 277 и сл. И эта работа не попала въ собр. соч. Ср. впрочемъ также и предисловіе къ 1-й отд. 3 т. Митрид., стр. 3 и 4 и 2-й отд. того-же тома, стр. 432 прим. 2.

⁴⁾ Письмо Гумбольдта къ Штейну, Pertz III, 595.

приславъ ему изданные имъ три діалога Платона. Посвященіе прямо упоминаетъ объ участіи Гумбольдта въ подготовленіи этой работы. Гумбольдтъ читалъ эти діалоги во время путешествія, предпринятаго имъ, лѣтомъ 1812 года, изъ Вѣны въ Тюрингію для приведенія въ порядокъ своихъ частныхъ дѣлъ. Незадолго передъ тѣмъ во время поѣздки короля въ Прагу и Теплицъ, онъ встрѣтился въ Карлсбадѣ съ Гёте, съ которымъ бесѣдовалъ на старыя и новыя темы— о Вольфовомъ переводѣ Аристофана, о римской исторіи Нибура ¹⁾). Еще болѣе живымъ напоминаніемъ объ іенской эпохѣ послужило полученное имъ письмо отъ Кёрнера, занятого составленіемъ очерка жизни Шиллера ²⁾). Нѣсколько позже Кёрнеръ пріѣзжалъ въ Вѣну гостить; кромѣ друга, у него былъ здѣсь и сынъ. Въ талантѣ Теод. Кёрнера дало живые отростки старинное, благоговѣйное отношеніе къ Шиллеру со стороны Кёрнеровской семьи и вѣра въ его идеалы. Молодой поэтъ былъ желаннымъ гостемъ въ семьѣ Гумбольдта.

Что касается литературныхъ связей, то въ этомъ отношеніи здѣсь было немногимъ лучше, чѣмъ въ Римѣ. Онъ находилъ, правда, съ Фридрихомъ Шлегелемъ, искупавшимъ теперь на службѣ Австріи в католицизма литературныя и философскія прегрѣшенія своей юности, нѣкоторыя точки соприкосновенія въ филологической области, но въ вопросахъ древности онъ не могъ ставить его особенно высоко, а еще менѣе могъ мириться съ его историко-философскими причудами и съ его католико-романтическимъ доктринерствомъ. Вѣна вообще была тогда резиденціей, прибѣжищемъ и убѣжищемъ свихпувагося или облѣнившагося романтизма. Кромѣ Шлегеля, здѣсь появился, рекомендованный Гарденбергомъ Гумбольдту, Адамъ Мюллеръ, пытавшійся предварительно въ Пруссіи самыми безсовѣстными литературными приемами добыть себѣ мѣсто. Затѣмъ здѣсь былъ Генцъ—старѣйшій перебѣжчикъ; съ нимъ можно было хоть потолковать, онъ по крайней мѣрѣ былъ далекъ отъ увлеченія романтическою доктриной и, если слѣдовалъ ей иногда, то, въ сущности, изъ политики и по легкомыслію, — только его трезвенность возбуждала въ немъ иногда аппетитъ къ моднымъ произведеніямъ новѣйшей поэзій и метафизики. Именно въ этотъ моментъ онъ былъ, въ противоположность фантастическимъ умозрѣніямъ его друга Миллера, занятъ серьезнымъ изученіемъ природы бумажныхъ денегъ, слѣдовательно, вопросамъ, которыми и Гумбольдтъ началъ теперь интересоваться ³⁾). Давнишнія

¹⁾ Lebensnachrichten über Niebuhr (Биографическія свѣдѣнія о Нибурѣ), I, 527, 528.

²⁾ Отвѣтомъ на него было письмо Гумбольдта отъ 26 января 1811 (Aus Weimars Glanzzeit (Изъ блестящей эпохи Веймара, стр. 30 и сл.), на которое мы выше неоднократно ссылались.

³⁾ Письмо Гумбольдта къ Штейну отъ 3 января 1812 года, въ цитир. мѣстѣ. Ср. письмо Генца къ Пертесу (Perthes) въ біографіи Пертеса, II, 231.

воспоминанія самого интимнаго свойства поддерживали ихъ отношенія, но, не въ силахъ были—мы говоримъ это съ полною увѣренностью — вернуть ихъ къ той болѣе глубокой, духовной близости, существовавшей когда-то между ними въ Берлинѣ и возобновившейся до нѣкоторой степени впослѣдствіи. Если Генцъ хвасталъ тогда передъ Рахилью, что чувствуетъ себя теперь далеко выше Гумбольдта, который не представляетъ изъ себя ничего, кромѣ необыкновенно пріятнаго собесѣдника, что исчезли «всякій страхъ и всякое импонированіе», то это происходило отъ того, что Гумбольдтъ не считалъ нужнымъ показывать опустившемуся до простой разсудочной и житейской рутинѣ человѣку болѣе, чѣмъ онъ понималъ и заслуживалъ. Вообще онъ себя нехорошо чувствовалъ въ интеллектуальной атмосферѣ Вѣны. Въ сторонѣ отъ всего «моднаго» направленія, которое здѣсь такъ громко о себѣ заявляло, онъ жилъ тихою, внутреннею жизнью. Гумбольдтъ, конечно, вполне обладалъ тою салонною ловкостью, тою прелестью аристократическихъ манеръ, которыя такъ высоко цѣнились въ аристократическихъ кругахъ блестящей австрійской столицы, но предпочиталъ сидѣть за своими книгами или наслаждаться счастьемъ жить снова въ кругу своей семьи. И онъ надѣялся, что это счастье будетъ долго длиться; что круговоротъ общественной жизни вырветъ его изъ его семейнаго и научнаго міра и будетъ вертѣть имъ по произволу—объ этомъ онъ въ половинѣ 1812 г. даже еще и не помышлялъ. Пока, писалъ онъ около этого времени Вольфу, онъ охотно пробудетъ еще нѣсколько лѣтъ въ Германіи; но въ сущности онъ пока еще только переступилъ порогъ Германіи: онъ и его жена все время въ Вѣнѣ живутъ мысленно собственно въ Италіи, по итальянски даже говорятъ большею частью въ домѣ. Туда, слѣдовательно, онъ навѣрное вернется, хотя время пока еще нельзя опредѣлить; довольно, если хранится убѣжденіе, что всякая пережѣна логическимъ образомъ нигуда болѣе привести не можетъ.

Могучая пережѣна предстояла дѣйствительно, но она вела не въ Италію. Надежда на эту пережѣну привела Штейна въ Россію. Гумбольдтъ не засталъ болѣе этого великаго агитатора въ Прагѣ, гдѣ тотъ въ іюнѣ 1812 года съѣхался со своимъ монархомъ. Незадолго до этого Фридрихъ Вильгельмъ былъ въ Дрезденѣ; унижительнымъ угодничествомъ передъ Наполеономъ онъ подкрѣпилъ позорный договоръ, обязывавшій Пруссію принять участіе въ войнѣ противъ Россіи. Наполеонъ перешелъ уже черезъ Нѣманъ, когда Гумбольдтъ написалъ, изъ Бургернера, Вольфу то письмо, въ которомъ не говорится ни слова о войнѣ или политикѣ. Врядъ-ли посланникъ, пріѣхавшій въ концѣ іюля, передъ возвращеніемъ въ Вѣну, на десять дней въ Берлинъ, нашелъ тамъ уже какія-либо извѣстія, которыя давали-бы возможность судить объ исходѣ Наполеоновскаго похода; еще менѣе вѣроятно, чтобы онъ могъ получить какія-нибудь поли-

тическія инструкціи отъ правительства, которое, подчинивъ себя совершенно Франціи, отказалось отъ какой-бы то ни было самостоятельной политики. Вскорѣ однако-же на западъ проникли извѣстія—извѣстія самого удивительнаго рода. День возмездія, день освобожденія былъ уже недалеко. Московскіе пожары и снѣга русскихъ полей рѣшили судьбу завоевателя. Прекраснѣйшая и величайшая въ свѣтѣ армія была уничтожена: остались только жалкіе обломки ея; въ стремительномъ бѣгствѣ спѣшили Наполеонъ покинуть предѣлы государства, надъ которымъ мечталъ господствовать. За этимъ слѣдовала великодушная и знаменитая измѣна Іорка; слѣдовало возвышеніе Пруссіи. Народы востока поднялись противъ запада,—достаточно долго направлялся потокъ завоеваній съ запада на востокъ! Еще непродолжительное колебаніе въ Берлинѣ — и побѣда осталась наконецъ за совѣтомъ Шарнгорста: Пруссія стала союзницей враговъ Наполеона. Въ Бреславлѣ король объявлялъ побѣдителю при Іенѣ войну, я на его призывѣ «Къ моему народу» хватился за оружіе всякій, кто только могъ носить ружье.

Постъ посланника въ Вѣнѣ пересталъ быть синекурою; одушевленіе, схватившее все населеніе Пруссіи проникло также и за порогъ прусскаго посольства. Это обстоятельство еще болѣе затруднило рѣшеніе предстоявшей Гумбольдту большой задачи. Нужно было добиться содѣйствія Австріи; но Австрія, какъ по своему политическому характеру, такъ и по своему положенію была совершенно иначе поставлена. Она также была побѣждена и унижена французскимъ оружіемъ и въ этомъ отношеніи раздѣляла симпатіи и интересы калишскихъ союзниковъ; но она успѣла уже заключить миръ съ Наполеономъ, она была связана съ Франціей узами родства и политики и поэтому была заинтересована въ сохраненіи трона и могущества французскаго императора. Словомъ, Австрія была Австріей. Каждая страна имѣетъ свои обычаи и свой языкъ, — ненормальное строеніе этого государства придадо его политикѣ характеръ, совершенно отличный отъ политики всѣхъ другихъ государствъ: государство это не создано для смѣлыхъ виѣшнихъ дѣйствій, — оно нуждается во внутренней тишинѣ и спокойствіи. Еще не зажили у нея раны, полученныя въ трехъ кровавыхъ войнахъ, еще не изгладились изъ памяти пораженія при Аустерлицѣ и Ваграмѣ. Новый страшный призракъ вызванъ былъ демократическимъ духомъ, которымъ проникнуты были калишская прокламація и воззванія прусскаго правительства; онъ разжигаемъ былъ Штейномъ и Шарнгорстомъ и вызвалъ лихорадочное возбужденіе во всей Пруссіи. Достаточно было и одной попытки вести народную войну, — лучше, полагала она, держаться Франціи, чѣмъ пережить революцію. Наконецъ, освобожденіе Европы и независимость Германіи стояли для Австріи на второмъ планѣ; это были только средства для достиженія цѣли, великою же цѣлью было приобрѣтеніе

могущества и сохраненіе своей независимости. Привлекаемая и отталкиваемая обѣими враждующими сторонами, Австрія рѣшилась воспользоваться преимуществомъ этого положенія для своей собственной пользы. Обѣ стороны должны искать ей помощи. Разстроенные финансы заставляли желать достиженія цѣли безъ выстрѣла, исключительно въ роли посредницы; желательно было въ крайнемъ случаѣ продать помощь австрійскаго оружія какъ можно дороже, болѣе надежной и предложившей болѣе высокую цѣну сторонѣ. Поэтому въ данный моментъ, какъ и всегда, австрійская политика была эгоистична, уклончива и двоедушна. Она походила на поведеніе того врача, который, сознавая слабое тѣлосложеніе своего пациента и опасаясь употребленія сильныхъ средствъ, усматриваетъ торжество своего искусства не въ излеченіи, а въ продленіи жизни больного. Она походила на государство, отъ котораго исходила, и тѣмъ еще, что смѣшанная, какъ и само государство, она умѣла прикрывать итальянскую хитрость и искусство притвориться—личиною нѣмецкой честности и добродушія. И случилось такъ, что во главѣ австрійскаго правительства стоялъ какъ разъ человѣкъ, единственная добродѣтель котораго заключалась въ томъ, что онъ былъ австрійцемъ до мозга костей: характерная черта Меттерниха заключалась въ томъ, что онъ былъ совершенно лишенъ чувства индивидуальной нравственности, что эта специфически-австрійская политика вполнѣ заняла у него мѣсто нравственности. Онъ не былъ человѣкомъ истинно великимъ, но не былъ и совершенно дурнымъ. Затруднительное положеніе и слабость Австріи были мѣриломъ его мудрости и смѣлости: недостатокъ нравственности и честности покрывался его патріотизмомъ. Онъ былъ совершенно тупъ по отношенію къ какому бы то ни было идеальному требованію и обладалъ самымъ тонкимъ пониманіемъ потребностей своей страны. Теперь, со времени русской катастрофы, онъ твердо рѣшился, не заботясь ни о правдѣ, ни о чести, ни объ интересахъ нѣмецкой націи, дѣлать исключительно то, что могло быть полезно для его Австріи, такъ тяжко пострадавшей и едва только начавшей оправляться.

Намъ, къ сожалѣнію, неизвѣстны тѣ отчеты, которые Гумбольдтъ посылалъ своему двору изъ Вѣны, и такимъ образомъ мы лишены самаго лучшаго средства составить себѣ точное представленіе о его образѣ дѣятельности съ января 1813 года. Тѣмъ не менѣе мы совершенно убѣждены, что никто другой на его мѣстѣ не былъ-бы въ состояніи побудить австрійскій кабинетъ присоединиться къ союзу ранѣе, чѣмъ это сдѣлалъ Гумбольдтъ; намъ даже кажется, что именно у него было особенно много данныхъ для того, чтобы содѣйствовать благоприятному для союзниковъ обороту австрійской политики: человѣкъ горячій или страстный, рѣзкій или гордый былъ-бы здѣсь совершенно не у мѣста; приставаніе и навязчивость врядъ-ли можно было многого достигнуть, и навѣрное много было-бы испорчено. Кто

хотѣлъ имѣть хотя бы самое поверхностное вліяніе на политику Австріи, долженъ былъ освоиться съ особенностями положенія и пріемовъ австрійскаго государства,—онъ долженъ былъ близко ознакомиться съ характеромъ и индивидуальностью Меттерниха. Силу Гумбольдта составляло именно умѣніе оцѣнить своеобразіе вещей и людей. Своимъ образомъ мыслей и своими идеальными воззрѣніями онъ приобрѣлъ довѣріе и уваженіе Штейна, и не смотря на это, онъ, благодаря своей свѣтскости и общительному нраву, былъ въ прекрасныхъ отношеніяхъ и съ Меттернихомъ. Всею душой одобрялъ онъ возваніе короля и ликовалъ въ душѣ по поводу проснувшагося въ его соотечественникахъ духа, но онъ зналъ, что императору Францу внушала ужасъ это новѣйшая форма якобинства, и что было-бы верхомъ безумія говорить при вѣнскомъ дворѣ языкомъ лагеря и двора въ Балшѣ и Бреславлѣ. Гумбольдтъ безъ всякаго сомнѣнія сдѣлалъ все зависящее отъ него, чтобы успокоить вѣнскій кабинетъ въ этомъ щекотливомъ пунктѣ. Врядъ-ли согласился бы онъ со взглядомъ тѣхъ, которые послѣ битвы при Люценѣ побудили союзниковъ послать въ Вѣну Шарнгорста. Появленіе Шарнгорста въ Вѣнѣ помѣшало бы плану Меттерниха держать французовъ въ невѣденіи относительно намѣреній Австріи; оно скорѣе могло помѣшать благоприятному для союзниковъ обороту, нежели способствовать ему. Извѣстно, что намекъ Меттерниха побудилъ посланнаго вернуться вспять: неутомимый дѣятель былъ близокъ къ своему концу; онъ вернулся въ Прагу, и тамъ эта благороднѣйшая, истинно нѣмецкая душа—душа, полная мудрости и мужества, вскорѣ утасла. Но не только настойчивость Шарнгорста—всякое вмѣшательство постояннаго посланника скомпромитировало-бы Австрію въ глазахъ Франціи. Меттернихъ давно уже прекратилъ съ Гумбольдтомъ всякія явныя сношенія и посѣщенія. Прусскій посланникъ игралъ теперь только пассивную роль въ томъ крупномъ обманѣ, который велся съ такимъ успѣхомъ противъ французскаго посланника. Онъ ограничивался наблюденіемъ, сообщеніемъ и выжиданіемъ. Онъ не заблуждался, вѣроятно,—несмотря на всѣ увѣренія Меттерниха,—я насчетъ того, что при другихъ обстоятельствахъ этотъ обманъ могъ-бы такъ-же легко быть направленъ и въ другую сторону. Онъ не довѣрялъ своему другу Меттерниху, но довѣрялъ, помимо Меттерниха, слѣдъ вещей, гению Германіи и успѣху справедливаго дѣла.

Если таковъ былъ его расчетъ, то онъ не ошибся. Наполеона нельзя было долго обманывать. Графъ Нарбоннъ, замѣнившій прежняго французскаго посла въ Вѣнѣ—Отто, скоро замѣтилъ двойную игру австрійскаго министра и анти-французское настроеніе австрійской аристократіи. Онъ сообщилъ своему монарху, что видѣлъ и слышалъ. Оно согласовалось съ тѣмъ, что тотъ приблизительно къ тому же времени узналъ изъ перехваченныхъ депешъ аккредитованныхъ въ Вѣнѣ посланниковъ, въ томъ числѣ и депеши Гумбольдта прус-

своему королю. Съ этого момента гнѣвъ Наполеона противъ Австріи сдѣлался самымъ лучшимъ союзникомъ Пруссіи и Россіи. Наполеонъ самъ принудилъ Австрію стать на сторону его враговъ, принудилъ ее оставить наконецъ излюбленную роль посредницы и принять участіе въ войнѣ. Не забудется императору Францу письмо, которымъ онъ, послѣ сраженія при Люценѣ, побуждаетъ (своего августѣйшаго зятя къ миру, «послѣ того, какъ первое дѣло охладило страсти и разбило много иллюзій». Теперь въ особенности миръъ сталъ самымъ пламеннымъ желаніемъ Австріи, но миръ, при которомъ она могла что-нибудь выиграть. Мира желалъ и Наполеонъ, но наименѣе выгодъ онъ долженъ былъ принести Австріи, въ вѣроломствѣ которой онъ теперь убѣдился. Его планъ заключался въ томъ, чтобы добиться отдѣльнаго соглашенія съ императоромъ Александромъ. Онъ твердо надѣялся на это даже и послѣ полнѣйшей неудачи первой попытки. Только въ этой надеждѣ согласился онъ наконецъ, вторично разбивъ союзниковъ при Бауценѣ, на предложенное Австріей перемиріе и мирный конгрессъ и даже на поставленное союзниками условіе, чтобы посредничество Австріи стало бы прямо базисомъ для переговоровъ о мирѣ.

Ибо тѣмъ временемъ Австрія сѣумѣла между самымъ ловкимъ образомъ поддержать въ союзникахъ вѣру въ то, что она въ концѣ-концовъ будетъ дѣйствовать съ ними за одно. Только для удовлетворенія Австріи согласились они прервать военныя дѣйствія для дипломатическихъ переговоровъ. И дѣйствительно, Австрія, отвергнутая Наполеономъ, шла, казалось, постепенно на встрѣчу его врагамъ. Императоръ Францъ, въ сопровожденіи своего двора и министровъ, покинулъ 1 іюня Вѣну и находился съ 12 числа въ замкѣ Гитчинъ, гораздо ближе къ русско-прусской главной квартирѣ въ Рейхенбахѣ, нежели къ французской, въ Дрезденѣ. Съ этимъ вмѣстѣ измѣнилось и положеніе Гумбольдта. Онъ получилъ предписаніе отправиться въ отсутствіе императора и Меттерниха въ главную квартиру ¹⁾. Въ одинъ день съ императоромъ оставилъ онъ Вѣну и явился въ Рейхенбахъ, гдѣ прежде всего принялъ участіе въ заключеніи договоровъ о субсидіи съ Англіей. Но настоящей главной квартирой дипломатіи, центральнымъ пунктомъ всѣхъ значительныхъ операцій былъ Ратиборъ, увеселительный замокъ герцогини Саганъ. Поэтому-то сюда направился и Гумбольдтъ изъ Рейхенбаха, вмѣстѣ съ государственнымъ канцлеромъ, для свиданія съ Меттернихомъ. Но дальнѣйшаго развитія отношеній Австріи, результата переговоровъ Меттерниха съ Наполеономъ, еще необходимо было выжидать, и въ этомъ выжидательномъ положеніи государственный канцлеръ оставилъ Гумбольдта въ Ратиборѣ. Положеніе это во многихъ отношеніяхъ не лишено было

¹⁾ Ср. также и для послѣдующаго, письмо Гумбольдта къ принцессѣ Луизѣ Прусской отъ 28 іюня 1813 г., у Pertz'а, III. 673.

нѣкоторой прелести. Кромѣ Гумбольдта, здѣсь былъ и Генцъ, а это былъ именно такой человѣкъ, который могъ заставить забыть даже и непріятную сторону вещей и выдвинуть для себя и другихъ самую пріятную. Также какъ Генцъ, Гумбольдтъ умѣлъ цѣнить то, что здѣсь въ качествѣ гостя герцогини можно было чувствовать себя лучше, чѣмъ гдѣ-бы то ни было на землѣ. Представлять въ центрѣ четырехъ дворовъ какъ-бы свой собственный—пятый было безъ сомнѣнія чрезвычайно интересно. Принимали и отдавали визиты высочайшихъ особъ; не проходило дня безъ политическихъ новостей, безъ гостей и пирушекъ, безъ императорскаго или королевскаго обѣда. Тѣмъ не менѣе неопредѣленность общаго положенія должна была тяжело отзываться на такомъ человѣкѣ, какъ Гумбольдтъ. Со времени великаго поворота въ событіяхъ, съ момента подъема прусскаго народа, живая исторія пріобрѣла въ его глазахъ новую прелесть. Зрѣлище народа, одушевленнаго борьбой за свою независимость, готоваго на всякое самопожертвованіе, подіяло и его. Значительно ослабѣвшій за два года самой вялой дипломатической дѣятельности, его интересъ къ государственнымъ и національнымъ вопросамъ вдругъ снова оживился и оживился болѣе, нежели въ 1809 и 1810 гг. Тогда его участіе въ восстановленіи монархіи исходило изъ холоднаго сознанія долга, съ высоты его собственныхъ идеальныхъ требованій. Слишкомъ высоко стоялъ онъ тогда надъ бѣдственнымъ момента и потому, какъ воспитатель народа, обнаружилъ слишкомъ мало сердечной, простодушной симпатіи къ его страданіямъ. Его дѣятельность была въ высокой степени благородна и достойна, но она не была собственно народною и специфически національною. Идеи, которыми онъ руководствовался, были велики и прекрасны, но это были немножко слишкомъ классическія идеи, болѣе античныя, нежели прусскія, болѣе общечеловѣческія, нежели народныя. Онъ былъ государственнымъ человѣкомъ, какъ Гёте и Шплеръ были поэтами, — для прусскаго министра онъ слишкомъ напоминалъ Перикла, какъ тѣ слишкомъ напоминали Гомера и Софокла, и это свойство коренилось слишкомъ глубоко въ его образованіи и возрѣніяхъ, чтобы онъ когда либо могъ отъ него освободиться. Но этому порыву воодушевленія, этому удивительному проявленію патріотическихъ чувствъ въ томъ видѣ, какъ оно теперь обнаружилось, этой непосредственной силѣ національнаго чувства нельзя было противустоять. Кое-что по крайней мѣрѣ изъ своеобразнаго пафоса освободительныхъ войнъ проникло въ душу Гумбольдта. Обращеніе «Къ моему народу» нашло и въ немъ откликъ. Народъ, поднявшійся на призывъ своего насѣдственнаго правителя, чтобы разбить свои оковы и спасти свою національность, — это было зрѣлище, и для него глубоко потрясающее. Съ глубочайшимъ волненіемъ слѣдила Каролина Гумбольдтъ за грандіознымъ движеніемъ, отнявшимъ у нея самыхъ близкихъ для нея

людей для того, чтобы бросить ихъ въ пучину борьбы и опасности и увы! слишкомъ рано давшихъ поэту лиры и меча вкусить сладости и славы смерти за отечество. Дѣло въ томъ, что на призывъ къ оружію откликнулся и Теодоръ Гумбольдтъ, снова оставившій высшую школу въ Гейдельбергѣ, чтобы въ качествѣ волонтера вступить въ ряды арміи. Онъ побывалъ уже въ передѣлкѣ, когда явился къ отцу въ Ратиборъ; объ этомъ свидѣтельствовали полученные рубцы. Отецъ находилъ, что юношѣ подобаесть «принять участіе въ войнѣ, которая должна современемъ обезопасить, какъ его личное существованіе, такъ и существованіе его родныхъ» ¹⁾. Какъ могъ онъ при такихъ возрѣніяхъ не раздѣлять заботъ, которыя при перерывѣ военныхъ дѣйствій и при замедленіи въ рѣшеніи Австріи охватили насѣхъ, видѣвшихъ спасеніе только въ энергичномъ продолженіи войны? Съ давнихъ поръ состоялъ онъ въ близкихъ отношеніяхъ со многими членами королевской фамиліи. Съ Кёнигсбергской эпохи эти отношенія, также какъ и его участіе въ судьбахъ королевской семьи, стали еще сердечнѣе. Постоянную переписку поддерживалъ онъ съ графиней Радзивиллъ, принцессой Луизой Прусской и передъ ней высказалъ онъ теперь свой взглядъ на положеніе вещей. Какъ бы онъ желалъ разсѣять ту тревожную тьму, которая скрываетъ отъ насъ будущее, но пока онъ еще совершенно не имѣетъ яснаго представленія о предстоящихъ событіяхъ. «Я могу, мнѣ кажется, сказать», продолжаетъ онъ, «что дѣла пойдутъ не дурно, но однако мало вѣроятія, чтобы они и въ самомъ дѣлѣ пошли хорошо, и это-то и приводитъ меня въ отчаяніе, послѣ такихъ прекрасныхъ и благородныхъ усилій. Я, можетъ быть, ошибаюсь, но мнѣ кажется, что положеніе, которое теперь получится, будетъ представлять каменную стѣну, которую не такъ-то легко удастся снова пробить, и поэтому именно я боюсь, какъ бы оно не было построено на недостаточно солидныхъ основаніяхъ». Онъ боялся, какъ видно, что австрійское посредничество все-таки приведетъ къ миру, и что это будетъ плохой миръ.

Нѣсколько недѣль спустя, ему пришлось самому участвовать въ устраниеніи поводовъ для подобныхъ опасеній. Условный союзный договоръ былъ наконецъ заключенъ съ Австріей въ Рейхенгалъ; послѣ этого Меттернихъ самъ видѣлся съ французскимъ императоромъ въ Дрезденѣ; союзъ между Австріей и Франціей былъ расторгнутъ; Австрія могла свободно взять на себя посредничество между воюющими сторонами и въ Прагѣ должна была состояться послѣдняя попытка добиться заключенія мира. Съ продленіемъ перемирія срокъ открытія пражскаго конгресса былъ наконецъ назначенъ на 12 іюля. Съ французской стороны въ качествѣ представителя ожидали гр. Нарбонна и Коленкура, герцога Виченцакаго. Россія должна была

¹⁾ Письмо къ Каролинѣ Вольцогенъ, 1. с. стр. 13.

быть представлена статскимъ совѣтникомъ Анштетомъ, Пруссія—Гумбольдтомъ. Обоимъ уполномоченнымъ было строго вмѣнено въ обязанность держать высоко знамя своего двора и вполнѣ добросовѣстно принимать при этихъ переговорахъ въ соображеніе интересы Англіи.

Это быть, можетъ быть, самый странный конгрессъ, когда-либо имѣвшій мѣсто. Пріѣхавшій въ Прагу въ половинѣ іюля никогда-бы не догадался, что здѣсь происходитъ колоссальное дѣло установленія мира, который послѣ четверти вѣка непрерывныхъ войнъ и замѣшательства должнъ былъ вернуть покой цѣлой части свѣта. Одинокъ только Коленкуръ явился во всемъ блескѣ, соответствовавшемъ уполномоченному Наполеона и верховному сановнику имперіи. Но герцогъ прибылъ въ Прагу не ранѣе 27, до тѣхъ поръ тамъ все было тихо; показывались иногда только экипажи Анштета и Гумбольдта, но они двигались такъ спокойно, какъ будто-бы дипломатамъ совершенно нечего было дѣлать въ эту минуту. Пріѣхала изъ Вѣны молодая и красивая княгиня Эстергази, о которой говорили, что она предназначена дѣлать *les honneurs* конгресса; вечера въ ея домѣ и обѣды у Меттерниха—вотъ единственные, какіе предполагались, случаи для встрѣчи между собой дипломатовъ; кромѣ этого, не ожидалось ни собраній, ни преній. Такъ оно и было. Страненъ былъ внѣшній видъ, но еще болѣе страненъ характеръ и ходъ этого конгресса.

Ни одна изъ представленныхъ здѣсь державъ не была безусловно противъ заключенія мира, но каждая изъ нихъ хотѣла именно такого мира, который былъ безусловно ненавистенъ всѣмъ остальнымъ. Наполеонъ, бывшій послѣ двухъ удачныхъ сраженій въ выигрышѣ, надѣялся и желалъ мира, который оставилъ-бы въ его рукахъ большую часть его завоеваній. Онъ думалъ добиться его, привлекиши прежде всего на свою сторону Россію, и рѣшился сдѣлать скорѣе значительныя уступки Россіи и Пруссіи, нежели отказаться отъ мысли наказать Австрію за ея вѣроломство. Съ своей стороны Австрія, по многимъ причинамъ желавшая избѣгнуть тягостей и риска войны, надѣялась и желала мира, который вернулъ-бы ей по крайней мѣрѣ иллирійскія провинціи. Для нея было прежде всего важно устранить всякое невыгодное для нея соглашеніе между воюющими сторонами, и потому она тщательно стремилась пользоваться какъ можно шире своею ролью посредницы и отнять у нихъ всякую возможность непосредственнаго соглашенія. Союзники тоже не имѣли, разумеется, ничего противъ почетнаго и выгоднаго мира. Но какъ они его ни желали, они были далеки отъ этой надежды, — они опасались болѣе дурного мира. Они имѣли въ виду не столько миръ, сколько продолженіе войны и пріобрѣтеніе, на случай ея, дѣятельной помощи Австріи. Это было ясно выражено въ инструкціи ихъ уполномоченныхъ. Таково было личное мнѣніе Гумбольдта, совер-

шенно согласное съ мнѣніемъ его товарища. Онъ писалъ изъ Праги князю Луизѣ совершенно въ томъ-же духѣ, какъ и изъ Ратибора. Своевременно, извѣщаетъ онъ въ письмѣ отъ 21 іюля, прибыли они съ Анштетомъ въ назначенный день: со стороны Франціи пока прѣхалъ только Нарбоннъ—и то еще безъ полномочій и инструкцій. Это не свидѣтельствуетъ о горячемъ желаніи мира. «Мы, съ другой стороны», продолжаетъ онъ, «конечно, ничего бы не имѣли противъ заключенія мира, но соглашеніе, которое не дало бы намъ твердыхъ гарантій его прочности, представляло-бы сугубое зло и ухудшило-бы всѣ наши страданія; но чтобы мы могли добиться дѣйствительно хорошаго мира, это я считаю, съ тѣхъ поръ какъ нахожусь здѣсь, еще менѣе вѣроятнымъ, чѣмъ прежде». Хотя его настоящее положеніе представляетъ мало пріятнаго онъ тѣмъ не менѣе очень бодро настроенъ, — «ибо», продолжаетъ онъ «я льщу себя надеждой что мы здѣсь ничего не испортимъ и, напротивъ, въ случаѣ если враждебныя дѣйствія, какъ это слишкомъ вѣроятно, будутъ снова возобновлены, союзники получаютъ подкрѣпленіе, котораго общество такъ давно уже ждетъ. Ваше высочество найдете, можетъ быть, что я всегда слишкомъ вѣрю въ благополучный исходъ кризиса, который мы теперь переживаемъ. Но мнѣ невозможно отчаяваться въ виду справедливѣйшаго изъ дѣлъ, въ виду націи, готовой къ принесеннымъ уже жертвамъ присоединить новыя, въ виду арміи, стяжавшей всеобщее одобреніе и жаждущей возобновленія войны и наконецъ, въ виду матеріальныхъ военныхъ силъ—можетъ быть, не имѣвшихъ себѣ равныхъ. При такомъ положеніи вещей единственное настоящее и непоправимое несчастіе наступило бы въ томъ случаѣ, если-бы былъ принятъ порядокъ вещей, который, бѣдственный самъ по себѣ, почти разрушилъ бы всякую возможность достигнуть когда-либо порядка болѣе удовлетворительнаго».

Если таковы были взгляды и чувства прусскаго уполномоченнаго, то взаимное отношеніе всѣхъ заинтересованныхъ должно было содѣйствовать осуществленію его надеждъ. Тотчасъ-же была принята мѣра, одинаково соотвѣтствовавшая какъ интересамъ Австріи, такъ и интересамъ союзниковъ. По состоявшемуся заранѣе между Меттернихомъ, Гумбольдтомъ и Анштетомъ соглашенію, всѣ переговоры между уполномоченными отъ союзниковъ и отъ Наполеона должны были происходить исключительно на бумагѣ и при посредствѣ Австріи. Въ этой формальности выразилось отношеніе всѣхъ сторонъ къ предстоящимъ переговорамъ: стремленіе Австріи удержать въ своихъ рукахъ рѣшеніе вопроса, симпатія союзниковъ къ Австріи и ихъ недовѣріе къ Франціи. Эта формальность разрушила, какъ и слѣдовало ожидать, дѣло мира и рѣшила вопросъ объ участіи Австріи. Это предложеніе вести переговоры такимъ образомъ довольно странно мотивировано было Меттернихомъ необходимостью ускорить дѣло.

Какъ бы то ни было, прусскій и русскій уполномоченные выразили на то свое согласіе, и Гумбольдтъ воспользовался еще этою мотивировкой для того, чтобы указать на запоздалое появленіе Колленкура и заранѣе свалить вину замедленія и затрудненія мирныхъ переговоровъ со своего двора на французскій. Уже это первое вступленіе, кажется, совершенно разочаровало французовъ въ настроеніи союзниковъ. Если Наполеонъ читалъ надежду на возможность соглашенія съ императоромъ Александромъ, то его должно было отклонить отъ этого еще и другое обстоятельство. Императоръ Александръ послалъ въ Прагу Анштета, а Анштеть, природный эльзасецъ и французскій подданный, былъ въ глазахъ французовъ перебѣжчикомъ. Выборъ такого посредника самъ по себѣ являлся оскорбленіемъ и былъ въ этомъ смыслѣ и понятъ: къ гнѣву Наполеона противъ Австріи присоединилось и неудовольствіе его противъ Россіи. Врядъ-ли могъ онъ хоть одну минуту думать о возможности примиренія съ Пруссіей, но однако-же нота отъ 6 августа, которою французскіе уполномоченные, заручившись повыми инструкціями, наконецъ отвѣтили, заключала главнымъ образомъ только упреки, обращенные къ Австріи и оскорбленія по адресу Апштета. Если союзники изъ неаккуратности французовъ сдѣлали справедливое предположеніе, что отношеніе Наполеона къ миру не вполне серьезно, то и французы съ одинаковымъ правомъ вывели изъ предложенія, сдѣланнаго Меттернихомъ съ согласія Россіи и Пруссіи, — что всѣ три державы расположены скорѣе затруднить, чѣмъ содѣйствовать заключенію мира. Они обвиняли Австрію въ томъ, что она какъ будто не выдерживаетъ роли безпристрастной посредницы, признанной за нею по общему согласію. Россія — говорили они, обходя полнымъ молчаніемъ поведеніе Пруссіи — дала понять, что на вступленіе въ мирные переговоры она смотритъ только какъ на средство «компромитировать Австрію и продолжить бѣдствія войны». Затѣмъ, послѣ неопровержимой критики предложеннаго способа обсужденія, они заявляютъ все же о своей готовности согласиться на него, поскольку этимъ не исключается устное обсужденіе въ конференціяхъ. Если-же русскій уполномоченный, продолжаютъ они со злою ироніей, съ своей стороны настаиваетъ на томъ, чтобы обсуждать вопросъ о мирѣ, не раскрывая рта, то ему предоставляется свобода передавать взгляды своего двора только посредствомъ дипломатическихъ нотъ. Въ отвѣтъ на такіа раздражительныя рѣчи, нетрудно было сохранить на бумагѣ спокойствіе и достоинство. Спокойно и съ достоинствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ сильно и рѣшительно протестуетъ Анштеть противъ злостныхъ инсинуацій и нападокъ французской ноты, возвращаетъ имъ упрекъ въ нежеланіи мира и, разумѣется, заявляетъ, что онъ продолжаетъ настаивать на предложенной Меттернихомъ формѣ переговоровъ. Болѣе благопріятнаго

положенія, чѣмъ то, въ которомъ очутился теперь Гумбольдтъ, нельзя было и придумать. Онъ имѣлъ то неизмѣримое преимущество, что противникъ оказалъ ему, на счетъ Россіи и Австріи, любезность, которую онъ намѣревался съ презрѣніемъ отклонить. Въ его отвѣтной нотѣ отъ 7 августа, съ ея твердымъ и энергичнымъ тономъ, слышится, какъ намъ кажется, удовольствіе, которое доставляла дипломату возможность однимъ ударомъ оттолкнуть врага и приблизить къ себѣ друзей. Смѣшанный способъ переговоровъ отклоняется, разумѣется, и имъ; французской критикѣ способа обмѣна нотами и построеннымъ на ней упрекамъ онъ противопоставляетъ, конечно, только отвѣтные упреки. Французы, повторяется здѣсь снова, затянули дѣло; объ ихъ злую волю разбивается дѣло мира:—«Европа и потомство разсудятъ, которая изъ двухъ сторонъ противилась быстрому заключенію его». Но прежде всего онъ въ самыхъ определенныхъ выраженіяхъ спѣшитъ противодѣйствовать попыткѣ разъединить Пруссію и Россію, попыткѣ польстить первой, позора вторую. «Хотя нота французскихъ уполномоченныхъ дѣлаетъ видъ, что она какъ будто порицаетъ исключительно только поведеніе и взгляды русскаго двора (что однако распространяется на министровъ обоихъ дворовъ), но такъ какъ образъ дѣйствія какъ Россіи и Пруссіи, также какъ и ихъ уполномоченныхъ, обнаружилъ полнѣйшее между ними согласіе, то нижеподписавшійся врядъ ли имѣетъ надобности заявить, что его повелитель, король, будетъ тѣмъ болѣе задѣтъ словами, которыя относятся къ его высокому союзнику, и которыя было-бы неудобно охарактеризовать такъ, какъ они того заслуживаютъ; отвѣчая на нихъ значило бы поступить противъ своего достоинства». Подобно Россіи и держава-посредница принимается имъ въ самыхъ теплыхъ и уважительныхъ выраженіяхъ подъ свою защиту. Однимъ словомъ: теперь уже о Франціи говорится какъ о враждебной, непримиримой державѣ, объ Австріи—какъ о державѣ дружественной и союзной.

Этотъ обмѣнъ нотъ, очевидно, доказалъ, что пражскій конгрессъ не приведетъ къ заключенію мира. Ибо, если французскіе уполномоченные, въ своей нотѣ отъ 9 августа, и воздержались отъ всякаго обсужденія протестовъ и укоровъ союзниковъ, они тѣмъ не менѣе вынуждены были разбираться все въ томъ-же формальномъ вопросѣ, а между тѣмъ 9 августа былъ послѣднимъ днемъ перемирія. Гумбольдтъ былъ чрезвычайно радъ возможности отклонить въ своемъ отвѣтѣ всякія дальнѣйшія пренія по этому вопросу указаніемъ на дату дня, въ который онъ писалъ. Изобрѣтеніе такой формы конгресса, при которой люди вели переговоры, не зная, не видя и не говоря другъ съ другомъ, оказалось полезнымъ. Сначала своею неаккуратностью, а затѣмъ и своею раздражительностью французы сами поддержали намѣренія союзниковъ. Искусно воспользовавшись этими двумя обстоятельствами, Гумбольдтъ и Анштетъ устранили

опасность — заключеніе мира, желательнаго для Наполеона или для Меттерниха. Второе, чего надлежало добиться, было привлеченіе къ участию въ войнѣ Австріи, и тутъ опять угрожала возможность соглашенія Австріи съ Франціей за спиной конгресса. Извѣстно, что эта опасность не переставала угрожать Германіи до самой послѣдней минуты. Отвергнутый Россіей и Пруссіей, Наполеонъ превозмогъ себя и еще разъ вступилъ въ переговоры съ Меттернихомъ. Еще между 6 и 10 августа Коленкуръ усердно старался добиться соглашенія съ нимъ. И Гумбольдтъ объ этомъ зналъ или догадывался. За пять дней до окончанія перемирія онъ еще не имѣлъ опредѣленнаго мнѣнія о томъ, будетъ-ли Австрія воевать или нѣтъ. Даже еще 10 августа, въ полночь, подписывая ноту, въ которой онъ объявляетъ объ окончаніи своихъ полномочій, когда уже пылали огненные сигналы, пѣвшающіе главную квартиру о прекращеніи переговоровъ, онъ все еще не былъ увѣренъ въ рѣшеніи Австріи. И въ этой заключительной нотѣ онъ щедро расточаетъ комплименты державѣ-посредницѣ. Рассказываютъ, что онъ успокоился и счелъ свою миссію оконченною только тогда, когда объявленіе войны со стороны Австріи, подписанное и запечатанное, вышло изъ канцеляріи министра ¹⁾).

Въ извѣстномъ письмѣ къ Мюнстеру Штейнъ совершенно справедливо выдвигаетъ заслуги Гумбольдта и Анштета въ привлеченія Австріи къ участию въ войнѣ. Послѣ русской катастрофы и возвышенія Пруссіи эта была послѣдняя гарантія успѣха великой войны за освобожденіе. Поведеніе Гумбольдта встрѣтило полное одобреніе и со стороны его монарха. Еще въ Прагѣ получилъ онъ изъ его рукъ знамя желѣзнаго креста, — единственный знакъ отличія, относительно котораго, какъ писалъ Гумбольдтъ принцессѣ Луизѣ ²⁾, онъ питалъ честолюбивыя мечты. Вѣнцы имѣли полное основаніе дѣлать этотъ благородный символъ предметомъ культа; дамы вѣнскаго двора были правы, цѣлуя его, ибо сердце, бившееся подъ нимъ, было не менѣе предано великому отечественному дѣлу, чѣмъ сердца тѣхъ, которые подъ тѣмъ-же символомъ искали побѣды или смерти на полѣ брани.

Въ Вѣну Гумбольдтъ выѣхалъ изъ Праги непосредственно за отбытіемъ оттуда монарховъ, отправившихся къ своимъ войскамъ ³⁾. Ему нужно было проститься со своими и приготовиться къ продолжитель-

¹⁾ Настолько можно, кажется, вѣрить извѣстному разсказу Pirrel'a. неточность котораго указана уже у Шлеизера (II, 234). Выше приведенное описаніе пражскаго конгресса составлено преимущественно по официальнымъ актамъ.

²⁾ Pertz III, 678; ср. тамъ-же стр. 682.

³⁾ Письмо къ принц. Луизѣ, (Pertz III, 678), исправляющее показаніе Шлеизера (II, 234).

ному отсутствію. Его испытанною службой напѣревались пользоваться какъ можно больше. Онъ самъ, увлеченный событіями, удозлаторенный успѣхомъ своей дѣятельности, началъ смотрѣть на нее другими глазами и склонялся къ тому, чтобы на этотъ разъ дольше, чѣмъ онъ ранѣе предполагалъ, не покидать дипломатической карьеры. Послѣ восьмидневнаго пребыванія въ Вѣнѣ, 1 сентября онъ былъ уже снова въ Прагѣ—впрочемъ, только проѣздомъ въ Теплицъ, гдѣ находилась главная квартира. Здѣсь было достаточно дѣла, ибо ходъ войны былъ таковъ, что дипломатія въ своихъ заботахъ о будущемъ устройствѣ не должна была отставать отъ дѣйствій полководцевъ. Пораженіе Вандама подъ Кудльмомъ заставило забыть о неудачѣ большой чешской арміи подъ Дрезденомъ. Извѣстія о побѣдахъ приходили какъ изъ силезской, такъ и изъ сѣверной арміи. Тутъ Блюхеръ одержалъ большую побѣду при Бацбахѣ, тамъ Бюловъ разбилъ французскихъ маршаловъ сначала подъ Гроссбареномъ, а затѣмъ еще болѣе блестяще при Денневицѣ. Подъ вліяніемъ этихъ побѣдъ Австрія договоромъ отъ 9 сентября еще болѣе вовлечена была въ антинаполеоновскій союзъ,—и совершилось это несомнѣнно при живѣйшемъ участіи Гумбольдта, пользовавшагося теперь самымъ широкимъ довѣріемъ Гарденберга и полною благосклонностью короля. Теплицкій договоръ, правда, уже не былъ составленъ въ духѣ калішскаго. Помощь Австріи была недостаточно оплодотворена перемиріемъ и мирнымъ конгрессомъ; приходилось еще оплачивать ее постоянными уступками трусливой, вялой и эгоистичной политикѣ Меттерниха. Рейнскій союзъ подлежалъ расторженію, но предатели-князья должны были также сохранить свои верховныя права и послѣ освобожденія ихъ отъ ярма, которое они такъ охотно носили, въ качествѣ нѣмецкихъ князей. Напрасно возставалъ Штейнъ противъ этой политики уступокъ и малодушныхъ разсчетовъ, въ которой онъ совершенно справедливо усматривалъ опасность для будущаго однороднаго устройства Германіи, и изливалъ это въ своихъ выходкахъ противъ моллой хитрости и холоднаго эгоизма австрійскаго министра. Что часть вины въ слабости опредѣленнаго теплицкаго договора падаетъ на Гумбольдта, въ этомъ мало вѣроятія. Вѣрно по крайней мѣрѣ то, что относительно нѣмецкихъ дѣлъ онъ въ существенномъ согласенъ былъ со Штейномъ и вмѣстѣ съ нимъ неутомимо надъ ними работалъ. Въ то же время, однако, онъ былъ и оставался въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ Меттернихомъ. Какъ въ Прагѣ, гдѣ онъ каждый вечеръ посѣщалъ его и вмѣстѣ съ нимъ и Генцомъ бродилъ ночью по дурно мощеннымъ улицамъ города, такъ и въ Теплицѣ проводилъ онъ ежедневно нѣсколько часовъ въ обществѣ австрійскаго министра и продолжалъ письменно сообщаться съ его оставшеюся въ Прагѣ тѣнью. Кромѣ Меттерниха, онъ ближе всего сошелся въ дипломатическомъ кругу съ лордомъ Эберденомъ (Aberdeen), съ которымъ его связывала любовь къ искусству и наукѣ, также какъ и знакомство съ греческою литературой. Но въ

политическихъ вопросахъ онъ преимущественно стоялъ на сторонѣ Штейна. Въ Прагѣ онъ сблизился самымъ тѣснымъ образомъ съ его семьей. Чувства уваженія и симпатіи, которыя онъ давно уже питалъ къ его личности, могли только укрѣпиться, когда онъ получилъ возможность ежедневно убѣждаться въ широтѣ его взглядовъ, чистотѣ побужденій и высотѣ цѣлей. Возможность, о которой онъ мечталъ когда-то—работать съ нимъ и подъ его руководствомъ—теперь осуществилась. Правда, не во всемъ могъ онъ съ нимъ согласиться. Когда Штейнъ говорилъ о королѣ и имперіи, то Гумбольдтъ вмѣстѣ съ Гарденбергомъ высказывался, какъ теперь, такъ и послѣ, противъ него—по специфически-прусскимъ основаніямъ. Но онъ вполне раздѣлялъ то его мнѣніе, что въ будущемъ нѣмецкія государства должны соединиться въ прочномъ союзѣ, что лучшее средство для противудѣйствія господствовавшему въ нихъ до сихъ поръ произволу—введеніе представительнаго правленія, и что теперь именно наступилъ надлежачій моментъ заранѣе санкціонировать соответственные опредѣленія совмѣстнымъ рѣшеніемъ четырехъ державъ. Проектъ крѣпкаго союзнаго управленія нѣмецкихъ государствъ былъ разработанъ совмѣстно Гумбольдтомъ и Штейномъ. Къ сожалѣнію, чтобы принять его, австрійскому кабинету недоставало доброй воли, а остальнымъ—быстрой рѣшимости. Подъ гнетомъ событій пректъ былъ заброшенъ; его замѣнили неопредѣленные и неудовлетворительныя соглашенія. Достаточно было-бы все-же, если бы цѣлесообразный временный порядокъ далъ возможность укрѣпиться разумнымъ принципамъ и создалъ такимъ образомъ полезный прецедентъ для будущаго окончательнаго устройства. Нужно было позаботиться о временномъ управленіи могущихъ быть завоеванными союзниками земель, также какъ и о привлеченіи ихъ къ участию въ войнѣ. Этотъ вопросъ подвергается обсужденію въ частыхъ бесѣдахъ между Гумбольдтомъ и Штейномъ. Оба были согласны въ томъ, что предстояція къ занятію государства должны быть подчинены единообразному центральному управленію, глава котораго, зависимый въ общемъ отъ всѣхъ четырехъ державъ, долженъ дѣйствовать по возможно обширнымъ полномочіямъ подъ своею личною отвѣтственностью. Сфера дѣйствія этого управленія должна безусловно распространяться на всѣ тѣ занятія во время войны государства, которыя въ данный моментъ окажутся безъ правителей, или правители которыхъ не присоединятся къ союзу противъ общаго врага. Особые договоры должны опредѣлить границы вмѣшательства этого центрального органа въ управленіе также и тѣхъ государствъ, правители которыхъ принадлежатъ къ союзу; во всякомъ случаѣ и въ нихъ долженъ быть назначенъ агентъ центрального правительства. Итакъ, возможное усиленіе центрального управленія, возможное огражденіе общей цѣли отъ вреда, который можетъ причинять ей излишняя мягкость по отношенію къ вѣроломнымъ прави-

телямъ—вотъ руководящія принципы этихъ опредѣлений. Еще и другія основанія были ими приняты въ соображеніе,—именно тѣ, которые пали свое выраженіе въ калишскомъ манифестѣ и въ бреславльскомъ воззваніи. Въ ихъ глазахъ эта война была національною войной. Они были того мнѣнія, что отнынѣ Германія должна управляться не иначе, какъ при живомъ соучастіи народа, и согласились поэтому въ томъ, что губернаторы, назначаемые главой центрального правительства, должны управлять при посредствѣ земскихъ чиновъ вездѣ, гдѣ таковыя существуютъ, и возбуждать народъ къ дѣятельной помощи великому дѣлу освобожденія. Гумбольдтъ резюмировалъ результаты всѣхъ этихъ совѣщаній на бумагѣ. Непосредственно послѣ битвы подъ Лейпцигомъ Штейнъ былъ поставленъ во главѣ центрального управленія. Но осуществленію этихъ великихъ мѣропріятій воспрепятствовало опять-таки вліяніе австрійской политики. Демократическія постановленія Гумбольдтова проекта относительно участія въ управленіи народа и сословій были выкинуты. Но этого мало. Послѣ того, какъ Австрія еще до Лейпцигской битвы даровала приставшей къ рейнскому союзу Баваріи позорную амнистію, также точно и послѣ этого сраженія она освободила Вюртембергскаго короля отъ заслуженнаго наказанія и его государство—отъ вліянія центрального управленія. Кругъ ненадежныхъ созннковъ увеличивался; австрійская партія усилилась; снова и слишкомъ рано укрѣпились старыя препятствія къ учрежденію въ Германіи правового порядка. Сфера дѣйствія проектированнаго Гумбольдтомъ и Штейномъ центрального управленія сдузилась, а вмѣстѣ съ этимъ его сила и авторитетъ. Послѣ договоровъ Рига и Фульда временное управленіе странами, вошедшими въ Рейпскій союзъ, стало для союзниковъ фактически невозможнымъ. Единственное, чего еще можно было достигнуть послѣ всего предшествующаго, было установленіе общей формы для союзныхъ договоровъ съ остальными правителями рейнскаго союза ¹⁾.

Это-то дѣло и предстояло Гумбольдту, когда онъ въ началѣ ноября прибылъ, вмѣстѣ съ главною квартирой, во Франкфуртъ. И до, и послѣ Лейпцигскаго сраженія онъ постоянно слѣдовалъ за главною квартирой и время ея пребыванія въ Веймарѣ провелъ въ обществѣ Гете. Послѣ такого досуга слѣдовала весьма напряженная дѣятельность. Награда, полученная изъ рукъ Австрій правителями Баваріи и Вюртемберга за вѣроломство и дурное правленіе, возбудило аппетиты и другихъ protégés Наполеона. Они сами и ихъ министры явились во Франкфуртъ ко двору. Они наперерывъ отрекались отъ своего прежняго покровителя, наперерывъ старались добиться самыхъ выгодныхъ условій за самую низкую цѣну. Гумбольдту главнымъ обра-

¹⁾ Фактическая часть вышеназложеннаго основана почти исключительно на III-мъ т. Pertz'a.

зомъ пришлось нести на себѣ всю тяжесть вытекающихъ отсюда переговоровъ. Ибо хотя къ нему и приставлены были для этой цѣли со стороны Австріи Бяндеръ, а со стороны Россіи Анштетъ, но онъ былъ извѣстнѣе ихъ обоихъ, и его осаждали день и ночь. Безчисленные требованія, безчисленные жалобы, не подлежащія удовлетворенію, разсматривались въ безчисленныхъ засѣданіяхъ. Къ счастью для него, онъ умѣлъ, при всей глубинѣ интереса къ предмету, понимать также его смѣшную сторону. Онъ годился, какъ говаривалъ о немъ когда-то Кёрнеръ, «для смѣха и для дѣла (zu Schimpf und Ernst)». Никогда еще эти двѣ категоріи не соприкасались такъ тѣсно, какъ въ этомъ жалкомъ шестивъ союзныхъ правителей. Жалкая фигура Дальберга, по счастью, не попала на глаза его философскому другу: примасъ предпочелъ бѣжать. Комедія ничего отъ этого не потеряла. «Мы видѣли здѣсь», пишетъ Гумбольдтъ принцессѣ Луизѣ, «удивительнѣйшихъ уполномоченныхъ и присутствовали при комичнѣйшихъ сценахъ». Его обвиняютъ, говоритъ онъ, въ томъ что онъ изъ всего извлекаетъ для себя только забавную сторону, «но вы, ваше высочество, очень хорошо знаете, что это не мѣшаетъ мнѣ глубоко интересоваться дѣлами, — просто невозможно иногда удержаться отъ замѣчаній болѣе веселаго свойства»¹⁾.

Франкфуртъ оставался почти до конца декабря резиденціей главной квартиры. Дѣйствія союзниковъ снова подпали тяжелому гнету интересовъ монархіи и дома Габсбурговъ. Для Австріи сраженія, въ которыхъ она принимала участіе, были ничто иное, какъ ноты мирныхъ переговоровъ, которыя она, чтобы придать имъ больше значенія, писала кровью. Проникнутымъ ненавистью и чувствомъ мести одушевленіемъ народовъ она пользовалась, не безъ недовѣрія и опаски, какъ дипломатическимъ орудіемъ. Она давно уже беспокоилась, какъ бы національное движеніе не прорвало всѣхъ плотинъ стародавняго порядка и не унесло вмѣстѣ съ чужеземною тираніей также и свою домашнюю, патриархальную. По этому она заранѣе заботилась о гарантіяхъ противъ такого рода опасности и дала двоймъ нѣмецкимъ князьямъ, изъ которыхъ одинъ былъ самымъ закоренѣлымъ, самымъ безстыднымъ тираномъ, полную свободу дѣйствія по отношенію къ ихъ подданнымъ. Она была недовольна преобладающимъ вліяніемъ Россіи, приобретеннымъ ею въ Германіи благодаря ея роли въ качествѣ освободительницы, и находила, что болѣе сильное государство на востокъ для нея самой гораздо опаснѣе болѣе сильной Франціи. Она востро смотрѣла на военную славу, на юношескую силу и смѣлость Пруссіи. Австрія хотѣла побороть Наполеона — нарушителя мира и завоевателя, но не Наполеона — императора и супруга Маріи Луизы. Вотъ почему

¹⁾ Pertz, III, 700.

она, рѣшившись послѣднею на войну, первая заговорила о мирѣ. Уже въ Веймарѣ Меттернихъ снова поднялъ прерванную въ Прагѣ нить переговоровъ. Во Франкфуртѣ къ нимъ приступили еще серьезнѣе. Ограниченіе территоріи французской республики Рейномъ и Альпами—вотъ условія, на которыхъ Наполеонъ, при быстромъ рѣшеніи, могъ купить въ ноябрѣ у Меттерниха и другихъ дипломатовъ миръ и продолженіе своего господства. Но не всѣ, имѣющіе въ главной квартирѣ голосъ, были, послѣ столь значительныхъ успѣховъ, такъ безконечно скромны, не всѣ—такъ добродушны, не всѣ чувствовали до такой степени по австрійски—въ особенности же Штейнъ, Блюхеръ и Гнейзенау. Угрожающее и вызывающее поведеніе побѣжденнаго показывало достаточно ясно, что условія мира можно будетъ диктовать только на той сторонѣ французской границы. Штейнъ и императоръ Александръ, полководцы и пруссаки одержали верхъ. Перваго декабря рѣшено было продолжать войну, и союзныя войска двинулись растянутою линіей къ французской границѣ.

Но отъ вступленія въ предѣлы Франціи было еще далеко до овладѣнія столицей и низверженія Наполеона. Что такое только можетъ быть конецъ войны—это было мнѣніе прусскаго войска и его вождей, мнѣніе Штейна и его царственнаго друга. Меттернихъ и Кэстльро, Гарденбергъ и Нессельроде ни о чемъ другомъ не думали, какъ о томъ, чтобы путемъ занятія части Франціи вѣрнѣе сломить неподатливую кичливость врага. Таково было и мнѣніе Гумбольдта, слѣдовавшаго за главною квартирой черезъ Фрейбургъ и Базель въ Лангръ. Возможно, что онъ и во Франкфуртѣ принадлежалъ только къ числу тѣхъ, которые поддались уговорамъ. Вѣрно то, что онъ и теперь не думалъ, что побѣды Блюхера приведуть его въ Парижъ. «Если дѣйствительно», писалъ онъ изъ Фрейбурга своей августѣйшей покровительницѣ, «если наши арміи дѣйствительно пройдутъ порядочную часть Франціи, то императоръ Наполеонъ будетъ имѣть всѣя основанія искать мира; а если онъ не послушается голоса разума, то возможно, что его тронъ будетъ потрясенъ внутренними волненіями»¹⁾.

Подобнаго рода взгляды, а главнымъ образомъ старанія Меттерниха привели въ началѣ февраля, среди грохота орудій, къ мирному конгрессу въ Шатильонѣ. Снова, какъ и въ Прагѣ, явился Гумбольдтъ въ качествѣ прусскаго уполномоченнаго. Уже тамъ сила вещей предоставила дипломатической мудрости сравнительно незначительное участіе въ рѣшеніи вопроса: здѣсь же дипломатія значила совсѣмъ мало, а единичныя личности—ничего. Совершенно другимъ представлялось, правда, положеніе Коленкура, французскаго парламентаря. Оно составляло полный контрастъ съ положеніемъ уполномоченныхъ Австріи, Пруссіи, Россіи и Англіи. Онъ стоялъ одинъ

¹⁾ Pertz, III, 701,

противъ многихъ. Уполномоченный своенравнѣйшаго изъ повелителей. онъ долженъ былъ дѣйствовать по собственному усмотрѣнію. Не имѣя въ началѣ никакихъ инструкцій, а затѣмъ снабженный самыми неопредѣленными указаніями, онъ былъ вынужденъ импровизировать всю свою роль. Гумбольдтъ и его коллеги дѣйствовали по опредѣленной, по формѣ и содержанію заранѣе условленной программѣ. Они получили готовую роль. Они дѣйствовали какъ одно тѣло, говорили какъ бы одними устами. И тѣмъ не менѣе рѣшеніе великаго вопроса зависѣло столько-же отъ Коленкура, сколько и отъ каждаго въ отдѣльности изъ стоящихъ противъ него членовъ конгресса. Оно вообще не зависѣло отъ конгресса. Наполеонъ не намѣревался принять миръ на иныхъ основаніяхъ, какъ на франкфуртскихъ. Уполномоченные не намѣревались предоставить ему болѣе, нежели Францію Бурбоновъ. Всѣ переговоры основывались на убѣжденіи Меттерниха, что Наполеонъ скорѣе согласится не быть Наполеономъ, чѣмъ не быть императоромъ французовъ, и на надеждѣ Наполеона, что Австрія, чтобы удержать его на тронѣ, согласится оставить ему также и завоеванія республики. Поэтому-то Меттернихъ поддерживалъ на конгрессѣ самыя унизительныя требованія другихъ союзниковъ, въ то время какъ армія Шварценберга своею бездѣятельностью и своими отступательными движеніями дипломатизировала въ пользу августѣйшаго зятя. Поэтому-то Наполеонъ разрѣшилъ своему министру въ Шатильонѣ согласиться почти что на условія союзниковъ въ то время, какъ онъ напрягалъ всѣ свои силы на полѣ сраженія, чтобы привести эти условія къ нулю. Такимъ образомъ дошло до того, что рѣшеніе осталось за полемъ сраженія. Оно должно было доказать, что Наполеонъ правъ, что Франція Бурбоновъ не есть его Франція, — а Штейнъ и Блюхеръ правы, полагая, что только низверженіе узурпатора можетъ привести къ миру. Въ тотъ моментъ, когда счастье наименѣе благоприятствовало ихъ оружію, политика союзниковъ вступила рѣшительнѣе, чѣмъ когда-либо, на путь самыхъ суровыхъ требованій по отношенію къ общему врагу. Шомонскій договоръ внесъ единство въ ихъ намѣренія, рѣшительность въ ихъ военныя дѣйствія. И, напротивъ, въ тотъ моментъ, когда вслѣдствіе этого военное счастье наиболѣе отвернулось отъ Наполеона, Коленкуръ велъ на конгрессѣ самыя смѣлыя рѣчи. Отклоненіе предложенія, присланнаго имъ 15 марта въ отвѣтъ на требованія союзниковъ, положило совершенно естественно конецъ дальнѣйшимъ переговорамъ. Уполномоченные объявили свои полномочія исчерпанными и манифестъ, данный въ Витри ¹⁾, возвѣстилъ Франціи и Европѣ

¹⁾ Мы не раздѣляемъ предположенія Schlesier'a II, 243, будто этотъ манифестъ принадлежитъ перу Гумбольдта. Предназначенный главнымъ образомъ для Франціи, онъ написанъ въ совершенно французскомъ духѣ, такимъ колоритнымъ и декламационнымъ стилемъ, какимъ Гумбольдтъ никогда не писалъ и писать не могъ.

единодушное рѣшеніе державъ вооруженною рукою вынудить миръ, котораго не удалось добиться отъ Наполеона путемъ переговоровъ.

Въ самомъ Парижѣ продиктовали наконецъ союзныя державы условія этого мира. Послѣ кровопролитнаго боя подъ стѣнами города Парижъ былъ вынужденъ сдаться на капитуляцію; 31 марта вступили въ него монархи во главѣ своихъ побѣдоносныхъ войскъ. Наполеонъ пересталъ царствовать: отреченіе его отъ престола означало также и восстановление Бурбоновъ. Францію возвращали ея прежней династіи, Бурбонамъ возвращали ихъ старую Францію. Раздѣлъ завоеванныхъ земель между побѣдителями представлялъ болѣе затрудненій. Утвердить за Пруссіей подобающую ей часть лежало на обязанности Гарденберга и Гумбольдта. Къ сожалѣнію, результатъ этихъ переговоровъ намъ болѣе извѣстенъ, нежели ихъ ходъ. Особенно въ томъ, что касается къ дѣятельности Гумбольдта, его взглядовъ и степени его участія, мы бродимъ почти что въ потьмахъ. Неумоимость и трудолюбіе, обнаруженные имъ здѣсь также, какъ и вездѣ, не могли исправить того, что портила безхарактерность Гарденберга, и что уже ранѣе испортила его безпечность. Ни въ Рейхенбахѣ и Теплицѣ, ни позднѣе въ Шомонѣ, государственный канцлеръ не позаботился о томъ, чтобы условиться какъ съ Англіей, такъ и съ Австріей и Россіей, относительно размѣровъ причитающагося Пруссіи вознагражденія. Финке обращался теперь къ Гумбольдту съ настойчивыми представленіями относительно сохраненія восточной Фрисландіи; но это былъ совершенно потерянный трудъ съ его стороны ¹⁾. Восточная Фрисландія по рейхенбахскому договору отошла къ Ганноверу. Саксонія не была еще отдана, но относительно нея Гарденбергъ сдѣлалъ въ Парижѣ ту-же ошибку, что и при всѣхъ предшествовавшихъ переговорахъ: онъ отдавалъ, ничего не требуя взамятъ. Въ то время, какъ Австрія и Англія добялись осуществленія всѣхъ своихъ желаній, прусскіе государственные люди допустили, чтобы рѣшеніе вопроса объ округленіи ихъ страны было перенесено изъ Парижа въ Вѣну. Гумбольдтъ также подписалъ мирный договоръ вмѣстѣ съ государственнымъ канцлеромъ. Прекраснымъ и славнымъ называетъ онъ этотъ миръ въ письмѣ къ принцессѣ Луизѣ, написанномъ посреди массы дѣловыхъ занятій ²⁾. Онъ могъ его такъ называть, хотя и не былъ удовлетворенъ всѣмъ, что было или не было постановлено. Рассказываютъ, что онъ, напримѣръ, не одобрялъ легкомысленнаго отношенія Гарденберга къ саксонскому вопросу и неоднократно, хотя и тщетно, указывалъ государственному канцлеру на необходимость своевремен-

¹⁾ Bodelschwingh. Leben Vinke's, I, 542.

²⁾ Отъ 25 мая 1814 года, у Pertz'a, IV, 614.

наго рѣшенія его ¹⁾. Тѣмъ не менѣе его совершенно справедливо считаютъ совинovníкомъ въ этомъ грѣхѣ упущенія прусской дипломатіи. Что онъ тонкимъ критическимъ взглядомъ разсматривалъ слабости, промахи и упущенія государственнаго канцлера, въ этомъ мы были бы увѣрены и до этого разсказа. Гораздо менѣе увѣрены мы въ томъ, что, стой Гумбольдтъ одинъ или имѣи опъ рѣшающій голосъ, онъ провелъ бы все то, что упустилъ Гарденбергъ. Дѣло въ томъ, что онъ не обладалъ достаточной энергіей и силой сопротивленія, чтобы или отречься отъ Гарденберга сдѣлать на дѣлѣ преобладающимъ или влияние поста въ официальномъ смыслѣ второстепеннаго. Онъ и Гарденбергъ составляли запряженную пару, въ которой болѣе благородный конь. къ сожалѣнію, не достаточно сильно противился менѣе благородному. Уступчивый въ политической практикѣ и готовый слѣдовать чужимъ импульсамъ, онъ, чтобы проявить на пользу родины всю дѣльность своей натуры и всю силу своего дарованія, долженъ былъ бы работать вмѣстѣ со Штейномъ.

Истинность этого обнаружилась снова на Вѣнскомъ конгрессѣ, которому державы предоставили окончательное устройство европейскихъ дѣлъ и установленіе образа правленія въ Германіи. Уже въ Парижѣ Гумбольдту было обѣщано, что онъ будетъ привлеченъ къ участію въ предстоящихъ тамъ переговорахъ. Послѣ онъ долженъ былъ занять постъ посланника при дворѣ Людовика XVIII. Тѣмъ временемъ опъ вмѣстѣ съ государственнымъ канцлеромъ сопровождалъ своего монарха въ его поѣздкѣ въ Лондонъ. Онъ охотно знакомился съ страной, которую, по собственному признанію, любилъ ²⁾. Онъ познакомился тамъ и заслужилъ довѣріе принца-регента. Но уже въ концѣ іюня путешественники были снова на континентѣ. Онъ сопровождалъ короля черезъ Парижъ въ Нейенбургъ, Цюрихъ и Бернъ. Между тѣмъ какъ его жена, съ которою онъ снова съѣхался въ Швейцарію, рѣшила избрать на будущее время мѣстомъ своего пребыванія Берлинъ, онъ спѣшилъ еще до начала конгресса въ Вѣну. Въ августѣ опъ былъ уже въ сосѣднемъ Баденѣ и пользовался пока обществомъ Меттерниха, Генца и другихъ находившихся тамъ знатныхъ людей ³⁾.

Хотя настоящее открытіе конгресса было вскорѣ отложено до 1 ноября, но предварительныя совѣщанія государственныхъ людей начались уже въ половинѣ сентября. Для Гумбольдта наступило время самой напряженной дѣятельности. Никогда еще не представлялось болѣе богатаго матеріала и болѣе разнообразныхъ поводовъ для политической работы. Никогда еще не открывалось болѣе широкой арены для дипломатической борьбы. Работа, выпавшая на долю Прус-

¹⁾ Schlesier, II, 245, „по рукописнымъ источникамъ“.

²⁾ Письмо къ принцессѣ Луизѣ, Pertz, IV, 614—615.

³⁾ Дневникъ Генца, Grenzboten 1846, № 42.

си, отнюдь не была самою легкою и товарищу Гарденберга представляла несомнѣнно самую трудную и, какъ можно было предвидѣть, самая неблагоприятная задача. Слабость слуха существенно затрудняла для канцлера всякое дѣятельное участіе въ устныхъ переговорахъ. Какъ этотъ физическій недостатокъ, такъ и его лѣность и вялость съ годами усилились, а вмѣстѣ съ тѣмъ легкомысліе и безхарактерность не ослабли. Кто хотѣлъ похвалить его, тотъ хвалилъ его тонкое, свѣтское обращеніе, его несомнѣнное великодушіе и его патріотическое благомысліе. Это все были добродѣтели самаго опаснаго рода, а въ государственномъ человѣкѣ онѣ мало отличались отъ самыхъ большихъ недостатковъ; вдобавокъ онѣ теряли всякую цѣнность вслѣдствіе сильной примѣси тщеславія и фривольности. Было-бы необходимо держать благомыслящаго, но слабого человѣка постоянно подъ властью болѣе сильной и твердой воли, которая импонировала бы ему и поддерживала бы его. Вмѣсто того постъ Гарденберга дѣлалъ его первымъ, и онъ ревностно оберегалъ прерогативы своего положенія. Человѣкъ, приставленный къ нему въ товарищи, былъ на самомъ дѣлѣ ему подчиненъ. Послѣдній обладалъ самыми блестящими, самыми благородными дарованіями, но не тѣми именно, которыя внушаютъ болѣе слабымъ натурамъ неотразимое почтеніе и побуждаютъ ихъ къ рѣшимости. Въ его натурѣ не было ничего повелительнаго, ничего стимулирующаго. Природа не предназначила его быть первымъ, быть вождемъ. Его характеръ имѣлъ твердое основаніе, но былъ лишешъ того избытка силы, который находитъ выходъ во внѣшнемъ дѣйствіи, во влияніи на другихъ. Онъ обладалъ огромною выдержкой и постоянствомъ, но онъ отнюдь не былъ агрессивенъ и рѣшителенъ. Его образъ дѣйствія походилъ скорѣе на чистоту благороднаго золота, нежели на болѣе полезную твердость желѣза, и болѣе годился въ качествѣ матеріала для произведеній искусства, чѣмъ для выдѣлки оружія. Такія качества, соединенныя съ выдающеюся силой сужденія и самымъ рѣднымъ умомъ, могли часто придавать блгагимъ намѣреніямъ Гарденберга силу и твердость, но оказывались недостаточными тамъ, гдѣ надо было внушать ему въ рѣшительныя минуты мужество и твердость, а въ борьбѣ побѣда и честь остаются обыкновенно за этими послѣдними. Уже на вѣнскомъ конгрессѣ интересы Пруссіи были въ такомъ положеніи, что спасти ихъ могла бы только воля, готовая пожертвовать всѣмъ. А Гарденбергъ не пожелалъ бы пожертвовать даже своимъ постомъ. Именно этой воли, ставящей себя вездѣ цѣль, которой она хочетъ достигнуть, хочетъ непременно и при всѣхъ обстоятельствахъ и безъ уступокъ, этой именно воли и недоставало канцлеру какъ въ саксонскомъ вопросѣ, такъ и въ вопросѣ германскаго государственнаго устройства. Гумбольдтъ всячески его двигалъ, поддерживалъ и при отступленіи постоянно его прикрывалъ. Но наступилъ моментъ, когда тотъ, кто стоялъ

вперед, вдруг неожиданно и неосторожно повернуть. Въ такія минуты вліяніе Гумбольдта было совершенно бессильно. Его оттѣсняла вмѣстѣ съ нимъ, и хорошо, если ему удавалось хоть спасти достоинство дипломата, — достоинствомъ которыхъ Гарденбергъ готовъ былъ пожертвовать за одно съ дѣломъ.

При такихъ условіяхъ поразительная дѣятельность и еще болѣе поразительное дипломатическое искусство, обнаруженныя Гумбольдтомъ, представляютъ зрѣлище мало удовлетворительное. Это была болѣею частью бесплодная работа и даромъ потраченное искусство. Никакой другой человекъ съ равными умственными дарованіями не вынесъ бы того, чтобы имъ такъ много пользовались и такъ часто его покидали на произволъ судьбы. Причина такого скромнаго терпѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ такого ничтожнаго вліянія на послѣднія великія рѣшенія, лежала въ его образѣ мыслей. Онъ не былъ того мнѣнія, что теченіе государственныхъ дѣлъ важнѣе всего на свѣтѣ. Самою высокою цѣлью, для которой можно трудиться, онъ считалъ спокойствіе и свободу совѣсти. Его занимали и удовлетворяли не соображенія о предметѣ или о внѣшней цѣли, а развитіе внутренней силы самъ по себѣ. Что такой благородный и рѣдкій образъ мыслей дѣлаетъ возможнымъ самую благотворную работу на пользу общую, — это было доказано — если только оно вообще нуждалось въ доказательствѣхъ — собственною административною дѣятельностью Гумбольдта, также какъ его теперешнею и позднѣйшею дѣятельностью. Еще менѣе, кажется, можетъ подлежать сомнѣнію, что такой образъ мыслей заслуживаетъ съ чисто нравственной точки зрѣнія самой высокой похвалы. Тотъ, кто не задумывается добиваться политическихъ цѣлей цѣною спокойствія и свободы своей совѣсти, для кого рѣшительно нѣтъ ничего выше политическихъ дѣлъ, тотъ навѣрное не настоящій государственный дѣятель и еще менѣе — человекъ, способный выдержать чисто нравственную оцѣнку. Тѣмъ не менѣе отсюда далеко до того, чтобы истинно государственный дѣятель могъ мыслить какъ Гумбольдтъ, и почти такъ же далеко, — чтобы такой образъ мыслей могъ быть признанъ нравственно безвреднымъ. Если человекъ не питаетъ самаго высокаго уваженія къ матеріалу, надъ которымъ работаетъ, не отдается со страстью цѣлямъ, къ которымъ стремится, то возможно-ли, чтобы совѣсть не приводила его слишкомъ часто отъ борьбы къ резигнаціи, къ скептическому невѣрію въ достижимость цѣлей? Онъ можетъ совершить въ политикѣ много хорошаго и полезнаго, но рѣдко будетъ составлять широкіе планы и часто упуститъ самое лучшее, самое полезное. И съ другой стороны: кто не соразмѣряетъ постоянно внутренней силы съ внѣшнимъ воздѣйствіемъ, кто не провѣряетъ своихъ добрыхъ намѣреній на результатахъ, — можетъ ли: онъ избѣгнуть опасности самообмана и нравственной софистики? Онъ застрахованъ отъ возможности совершить что-нибудь

дурное, вязкое, но онъ часто допустить совершиться сомнительному и еще чаще упустить сдѣлать возможно хорошее.

Высочайшая вѣрность долгу, всегда равнобѣрно безастрасная, соединенная съ нѣскольکو скептическимъ и даже чуть ли не софистическимъ направлениемъ.— вотъ отличительныя черты дѣятельности Гумбольдта во время конгрессовъ. Онъ самъ по собственному выбору занялъ свой постъ. Общественныя дѣла не могли не заинтересовать до извѣстной степени его ума, души, воли,—этотъ интересъ еще возросъ въ наступившее великое время; въ Вѣнѣ, гдѣ собралась вся политика и всѣ государственные люди Европы, этотъ интересъ долженъ былъ достигнуть своего апогея. Въ его душѣ вспыхнула даже искра патріотическаго одушевленія, народнаго энтузіазма 1813 года; политическая независимость Германіи, военная и государственная честь Пруссіи стали до извѣстной степени его душевнымъ дѣломъ. Поэтому-то онъ прилагаетъ къ великимъ задачамъ настоящаго всю свою волю, всѣ свои силы. Немногіе изъ участниковъ конгресса могли бы помѣриться съ нимъ въ трудолюбіи и неутомимости. Только его и Генца не видно никогда среди прогуливающихъ на бастіонѣ. Онъ вмѣстѣ съ Вессенбергомъ и Кланкарти (Clancarty), Гепцомъ и Лабенардіеромъ (Labesnardière) — исполняетъ настоящую прагматическую работу. Онъ принимаетъ участіе во всѣхъ значительныхъ переговорахъ державъ; онъ не пропустилъ ни одного засѣданія пяти; вмѣстѣ съ Гарденбергомъ или безъ него онъ правильно посѣщаетъ конференціи восьми. Онъ самый дѣятельный, самый ревностный членъ комитета нѣмецкихъ государствъ. Въ многочисленныхъ комитетахъ, избранныхъ для спеціальныхъ задачъ, опытность и умѣніе работать такого человѣка незамѣнимы. Но во всей своей силѣ онъ рисуется намъ въ протоколахъ комитета свободнаго рѣчного судоходства. Онъ формулируетъ въ широкихъ и простыхъ чертахъ предстоящую ему задачу; онъ непрестанно напоминаетъ совѣщающимся о цѣли и существѣ ихъ работы; смягчая и примиряя противорѣчивыя воззрѣнія и интересы, онъ умѣетъ приводить ихъ къ удовлетворительному результату; онъ находитъ всегда окончательную формулу для отдѣльныхъ постановленій, руководить преніями, редактируетъ рѣшенія, справляется самымъ искуснымъ, самымъ ловкимъ образомъ, какъ съ дѣлами, такъ и съ людьми, съ содержаніемъ, какъ и съ формою. Поэтому-то ему преимущественно поручается рядъ переговоровъ, рефератовъ, редакціонныхъ работъ и еще въ послѣдней, окончательной редакціи актовъ конгресса онъ, вмѣстѣ съ Кланкарти и Генцомъ, принимаетъ дѣятельное участіе. Онъ раздѣляетъ съ послѣднимъ талантъ формулированія, но еще превосходитъ его въ этомъ. Какъ невѣроятная энергія его дѣятельности, такъ и его работы заслужили себѣ единодушное удивленіе членовъ конгресса. Менѣе другихъ благоволили къ нему французы, но и они не могли не согласиться, что

его работы безподобны, какъ въ отношеніи основательности, такъ и законченности формы ¹⁾.

Еще замѣчательнѣе и своеобразнѣе былъ стиль его дипломатическаго искусства. Онъ удивлялъ и смущалъ даже тѣхъ, которые менѣе всего привыкли смущаться. Самымъ острымъ языкомъ и быстрымъ умомъ вмѣстѣ съ самою растяжимою совѣстью и самымъ мѣднымъ лбомъ обладалъ Талеяранъ. Его жизнь представляла цѣлую цѣпь предательствъ. Удача, а также искусство, съ которыми онъ приводилъ ихъ въ исполненіе, успѣхъ снова достигнутый имъ въ интересахъ Франціи и на Вѣнскомъ конгрессѣ, укрѣпили его въ мнѣніи, раздѣляемомъ впрочемъ всѣми, что какъ Наполеонъ первый полководецъ, такъ онъ, Талеяранъ, первый дипломатъ своего столѣтія. Теперь онъ въ первый разъ въ своей жизни сталъ сомнѣваться въ своемъ искусствѣ. Въ первый разъ ему пришлось въ голову, что существуетъ, можетъ быть, родъ дипломатіи, недостижимый для него, изучить который онъ и надѣяться не можетъ. Съ Меттернихомъ и Гарденбергомъ онъ справился-бы всегда, но справиться съ Гумбольдтомъ онъ считалъ невозможнымъ. Противъ воли снискошелъ онъ до похвалы, что такихъ государственныхъ людей найдется въ Европѣ въ настоящее время не болѣе трехъ-четырехъ. Но въ глубинѣ души его мучило сознаніе, что тотъ ему не по плечу и еще болѣе унизительное чувство—что онъ не можетъ уяснить себѣ вполнѣ его демонической силы. Онъ вышелъ изъ этого затрудненія, по своему обыкновенію, посредствомъ остроты. *Le sophisme incarné*, воплощенный софизмъ—таковъ былъ почетный титулъ, данный имъ противнику и звучавшій въ его устахъ какъ высшая похвала. И это обозначеніе не было лишено истины, хотя въ сущности оно было характернѣе для самого Талеярана, нежели для Гумбольдта. Кто, какъ Гумбольдтъ, интересовался наиболѣе тонкими изгибами и сплетеніями мысли, тотъ, конечно, могъ легко въ пылу спора удалиться настолько отъ главнаго его пункта, что только онъ одинъ могъ найти къ нему обратный путь. Тотъ, кто былъ такого низкаго мнѣнія о матеріалѣ спора и такого высокаго о силѣ и правахъ ума, могъ легко воспользоваться своимъ умственнымъ превосходствомъ для того, чтобы уловить своего противника въ сѣть діалектики и привудить его сдаться. На аренѣ, на которой хитрость считалась добродѣтелью, онъ пользовался самою лукавою и самою позволительною, самою тонкою и все же самою открытою хитростью—хитростью мысли и разсужденія.

¹⁾ См. сказанія Гагерна (*Gagern: Antheil an der Politik*, Bd. II, стр. 39 и сл. и passim); затѣмъ у Варнгагена, въ характеристикѣ Гумбольдта и въ очеркѣ о Вѣнскомъ конгрессѣ (*Varnhagen: Denkwürdigkeiten*). Самые лучшія свидѣтельства, хотя и не наилучшую картину, имѣемъ мы въ протоколѣхъ въ собраніи Клюбера (*Klüber'sche Sammlung*), въ особенности. т. III, стр. 11 и сл. Ср. сооставленія у *Schlesier'a* II, 266 и сл.

На ложь и обманъ, на коварство и расчетливую скрытность онъ не былъ мастеромъ. Онъ предоставлялъ Талейрану и Меттерниху подтверждать улыбками и рукопожатіями увѣренія, которымъ имѣлось въ виду спустя измѣнить или отречься отъ нихъ. Онъ не обладалъ даромъ, свойственнымъ австрійцамъ—подъ личиною добродушія и чистосердечія затаивать злобу и злорадство. Онъ глубоко презиралъ суетливую дѣловитость французовъ, съ какою они устраиваютъ заговоры, создаютъ усложненія и вообще изъ политики дѣлаютъ занимательную пьесу à intrigues. Какъ ни невѣроятно это звучитъ—онъ глубоко ненавидѣлъ ее, что хоть отдаленнымъ образомъ напоминало интригу, и все-таки, вопреки этому недипломатическому свойству, былъ въ дипломатіи артистомъ перваго ранга. Его интригой были пренія. Единственнымъ его оружіемъ, служившимъ ему, какъ для защиты, такъ и для нападенія, была его непобѣдимая и неутомимая проникаемость. Блестящее и твердое какъ сталь было это оружіе. Приобрѣтенное имъ долгими годами знаніе людей давало ему возможность разбираться въ практическихъ вопросахъ съ такою-же точностью, съ какою онъ прежде анализировалъ высшіе проблемы метафизики, вопросы антропологіи, эстетики или грамматики. Легко открывалъ безъ прозорливый умъ тайныя намѣренія и заднія мысли противника. Безъ труда находилъ онъ въ спорѣ слабыя его стороны, обходилъ сильныя и бралъ надъ нимъ перевѣсъ. Во время самаго продолжительнаго и быстрого бѣга онъ сохранялъ спокойное и сильное дыханіе тогда, какъ его противникъ давно уже пыхтѣлъ и задыхался. Онъ былъ неистощимъ въ возраженіяхъ, и во всякаго рода дистинкціяхъ. Первыми онъ утомлялъ, вторыми смущалъ. Талейрановское искусство молчанія не могло справиться съ его мастерствомъ рѣчи. Искусно сплетенныя остроты французовъ были слишкомъ тупы какъ для тонкости, такъ и для силы этого ума. Отъ него отсканивали хитрость и лукавство, еще менѣе былъ онъ доступенъ дѣйствию фамильярности и лести. Напрасно искали въ немъ его противники на дипломатической аренѣ за, исколовшими ихъ, шипами его ума, пресловутую нѣмецкую сердечность и добродушіе. На политическомъ рынкѣ онъ ограждалъ свои чувства отъ профанации. Въ сознаніи своего внутренняго богатства, со всей гордостью умственнаго превосходства взиралъ онъ на тѣхъ, которые со страстью отдавали свои силы измѣнчивой матеріи, выворачивали наружу все, что заключалось въ нихъ какъ хорошаго, такъ и дурного, расходовали себя безъ остатка на рынкѣ честолюбія и тщеславія. Человѣкъ, душа котораго была соткана изъ самаго тонкаго матеріала, ощущенія котораго были нѣжны, какъ ощущенія женщины, являлся какъ-бы созданнымъ изъ льда или камня. Холодное, непроницаемое спокойствіе его поведенія отталкивало всякое интимное сближеніе. Его необыкновенно развитое чувство смѣшного, и его талантъ къ сарказму дѣлали его пред-

метомъ общаго страха. Онъ былъ, какъ о немъ писалъ Rheinische Merkur (Рейнскій Меркурій), «холоденъ и ясенъ какъ декабрьское солнце».

Что такою характеръ не всегда былъ полезенъ, это несомнѣнно. Ледяные отвѣты Гумбольдта могли иногда не вовремя оскорбить его противниковъ. Даже друзья могли сдѣлаться врагами вслѣдствіе его холодныхъ и въ то же время задорныхъ выходокъ. По поводу подобнаго оскорбленія произошла, незадолго до окончанія конгресса, дуэль между нимъ и прусскимъ военнымъ министромъ ф. Бойеномъ ¹⁾. Но обыкновенно удовольствіе, видимо доставляемое ему силою его ума, сдерживалось самымъ тонкимъ свѣтскимъ тактомъ. Его холодность отнюдь не была рѣзкостью. Онъ умѣлъ сообщать также и гладкость и гибкость тому хрупкому материалу, изъ котораго онъ строилъ свои рѣчи и свое поведеніе. Такъ же часто пользовался онъ и тонкими нитями рефлексіи для сплетенія въ одно цѣлое противорѣчивыхъ воззрѣній. Мастеръ уклоняться, онъ былъ такимъ же мастеромъ и вникать. И тутъ ему пригодились тонкость и проницательность его ума, позволявшія ему приспособляться къ чужимъ особенностямъ и выражать свои воззрѣнія въ формѣ, въ которой они легче сообщались другому. Его владычество надъ формой было вообще неограничено. Онъ умѣлъ придавать своимъ мыслямъ и выраженіямъ такіе тонкіе оттѣнки, что самая горькая истина теряла свою горечь, а возраженіе — свое жало. Онъ говорилъ и писалъ такъ, какъ могутъ говорить и писать только высоко образованные люди — съ аристократическою учтивостью даже и тогда, когда обращался къ единомысленнымъ людямъ, съ полною вѣжливостью по отношенію къ людямъ другихъ воззрѣній. Чтобы составить себѣ представленіе объ образѣ его дѣйствія, какъ дипломата, намъ приходится основываться почти исключительно на показаніяхъ тѣхъ, которые приходили съ нимъ въ эту эпоху въ соприкосновеніе. Кроме того, въ его письмахъ встрѣчается не мало мѣстъ, подтверждающихъ эти свидѣтельства. Два изъ нихъ, хотя и относящіяся къ болѣе поздней эпохѣ, нажутся намъ особенно характерными. Лѣтомъ 1819 года, Гумбольдтъ тщетно ожидалъ, во Франкфуртѣ на Майнѣ, своего отзванія въ Берлинъ, гдѣ онъ въ качествѣ министра долженъ былъ принять на себя управленіе земскими дѣлами. Виповнюкомъ такого промедленія былъ някто иной, какъ Гарденбергъ, съ которымъ у него въ это время установились крайне натянутыя отношенія. И вдругъ онъ получаетъ отъ государственнаго канцлера собственноручную записку. Въ заголовкѣ «cher Humboldt», томъ самый,

¹⁾ Подробности этого происшествія см. у Schlesier'a. II, 293, который придерживается въ точности разсказа de la Garde'a.

сердечный, содержаніе пустое личное порученіе, и только между прочимъ упоминается о переселеніи Гумбольдта въ Берлинъ, какъ о дѣлѣ совершенно рѣшенномъ и въ высшей степени желательномъ. Письмо Гумбольдта къ Штейну посвящаетъ насъ въ тѣ соображенія, которыя въ подобныхъ случаяхъ примѣнялъ этотъ предусмотрительный человѣкъ, и позволяютъ намъ составить себѣ представленіе о его дипломатическомъ методѣ. Дѣйствительно-ли дѣло шло только о заказѣ экипажа? Или порученіе было только предлогомъ, а настоящею цѣлью было сближеніе? Первое возможно, второе вѣроятно. Какъ въ такомъ случаѣ отвѣчать? «Отвѣчать такъ, какъ если-бы письмо было написано два съ половиною года тому назадъ», пишетъ онъ, «было противъ моего убѣжденія, но я не хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ ни раздражать его; ни увеличивать его недовѣрія я отвѣтилъ ему поэтому очень любезно по поводу его порученія, которое исполнилъ, но былъ сдержанъ и строго придерживался въ своемъ отвѣтѣ его титуловъ—*Mon prince* и *vous Alteesse*». Заключительною фразой онъ воспользовался для того, чтобы сказать канцлеру, что явится несомнѣнно тотчасъ-же, какъ только позволятъ его франкфуртскія дѣла. Дѣла-же эти заключаются въ ничего недѣланіи, тогда какъ въ Берлинѣ есть дѣло первой важности. И затѣмъ онъ присовокупляетъ просьбу, чтобы онъ былъ немедленно отозванъ и его дѣло передано другому. — Нельзя, какъ намъ кажется, быть правдивѣе, осторожнѣе, вѣжливѣе. Но существуетъ другое доказательство его тонкой, при всей честности—хитрой, при всей дружественности—дипломатической манеры—доказательство, пожалуй, еще болѣе характерное. Штейнъ намѣревался своимъ появленіемъ въ Берлинѣ лично повліять на ходъ земскихъ дѣлъ, которыя, вслѣдствіе вытѣсненія Гумбольдта изъ министерства, все болѣе и болѣе тормозились, и содѣйствовать имъ сильнѣе, чѣмъ это возможно было путемъ прошеній и памятныхъ записокъ. Зная какъ положеніе дѣлъ, такъ и личность Штейна, Гумбольдтъ былъ убѣжденъ, что дѣло отъ этого навѣрное не выиграетъ, а самъ Штейнъ можетъ себѣ этимъ повредить. Манера, съ какою онъ въ письмѣ, писанномъ въ январѣ 1823 года, даетъ ему это понятъ, неподражаема. «Я страшно радъ», пишетъ онъ, «видѣть васъ; я понимаю также, что вы рѣшились на это путешествіе, которое представляетъ свои непріятныя стороны, только въ виду благородной и самоотверженной цѣли—принести этимъ пользу. Не хочу однако скрывать отъ васъ, что я не знаю, найдете-ли вы въ этомъ истинное удовольствіе. Ваше мнѣніе получено здѣсь; будутъ-ли ваши устныя рѣчи имѣть болѣе значенія,—кажется мнѣ сомнительнымъ. Самое слабое впечатлѣніе производитъ здѣсь часто то, что не было прямо потребовано сюда. Такъ какъ вы любите, чтобы я говорилъ вамъ всегда все, какъ думаю, то я признаюсь вамъ, что на вашемъ мѣстѣ выжда-ль-бы прямого приглашенія. Вы приобрѣли себѣ—вы сами чув-

ствуете это меньше, потому что думаете всегда о самомъ дѣлѣ, а не о себѣ, и потому ваши друзья скорѣе могутъ вамъ это связать— вы приобрѣли себѣ въ силу того, что вами сдѣлано,—въ силу вашего ума, вашего образа мыслей, вашего положенія, то внутреннее и внѣшнее достоинство, которому всегда подобаешь, чтобы съ нимъ особенно и прямо считались. Я не могу совершенно отсовѣтовать вамъ такимъ образомъ пріѣхать сюда; но вѣрно то, что дѣло выиграло уже только потому, что здѣсь знаютъ, что вы хотѣли пріѣхать». Невозможно, кажется, выразить свое мнѣніе съ большею опредѣленностью, несмотря на облакающія его сомнѣнія и соображенія,—невозможно дать болѣе сердечный и разумный совѣтъ, невозможно соединить большую откровенность съ большею деликатностью и осмотрительностью.

Очевидно—мы возвращаемся теперь снова къ Вѣнскому конгрессу—Гумбольдтъ обладалъ всеми талантами, необходимыми дипломату, но изъ качествъ, необходимыхъ государственному человѣку, ему недоставало только одного: живости интереса къ практическимъ дѣламъ и, неразрывно съ нимъ связаннаго — настойчиваго и безусловнаго стремленія къ нимъ. Въ одномъ случаѣ особенно проявились какъ его блестящія дарованія, такъ и то, чего ему недоставало. За обладаніе Саксоніей онъ боролся какъ за проигранное и потерянное уже дѣло; сильную нѣмецкую конституцію онъ существенно помогъ проиграть и пропутить. Ни одинъ изъ предметовъ, обсуждавшихся въ Вѣнѣ, не вызывалъ въ немъ болѣе горячаго интереса; ни одному изъ нихъ не посвящалъ онъ столько труда и заботъ; ни на одинъ изъ нихъ не потратилъ столько ума и находчивости. Образъ мыслей его по отношенію къ этому вопросу былъ выше всякой похвалы, пониманіе его самое благородное и чистое. И тѣмъ не менѣе въ результатѣ получился нѣмецкій союзный договоръ и рядомъ съ нимъ—безсилно: добавленіе; и тѣмъ не менѣе исторія нѣмецкихъ дѣлъ представляетъ только рядъ отступленій и пораженій, уступокъ и компромиссовъ. При всемъ своемъ стараніи онъ могъ только помогать дѣлать изъ лучшихъ проектовъ худшіе. Вся его тонкость служила только для того, чтобы все болѣе и болѣе утончать нить нѣмецкой конституціи. Изъ всѣхъ своихъ убѣжденій онъ сохранилъ только одно утѣшеніе: сознаніе, что онъ хотѣлъ лучшаго и покорился неизбежному.

Уже съ дѣта 1813 года Гумбольдтъ началъ дѣятельно работать надъ будущимъ устройствомъ Германіи. Онъ обсуждалъ, боролся и работалъ надъ нимъ съ тѣмъ, кто изъ всѣхъ людей наиболѣе внимателенъ интересовался. Съ другой стороны и Штейнъ никому въ этомъ отношеніи такъ не довѣрялъ, какъ ему. Возможно, что именно возраженія Гумбольдта мало-по-малу заставили Штейна отказаться отъ его первоначальной идеи — возстановить императорское достоинство. Въ

допоможь мемуарѣ изъ эпохи переговоровъ въ Шатильонѣ Штейнъ излагаетъ основанія директоріальнаго правленія и въ члены комиссіи, долженствующей выработать на этихъ основаніяхъ нѣмецкую конституцію, предлагаетъ первымъ Гумбольдта. Когда затѣмъ лѣтомъ 1814 года Штейнъ во Франкфуртѣ сговорился съ Гарденбергомъ относительно новаго проекта конституціи съ сильно дуалистическою тенденціей, Гумбольдтъ былъ въ отсутствіи, но онъ былъ однимъ изъ первыхъ, кому онъ былъ сообщенъ еще до открытія конгресса въ Вѣнѣ. Вскорѣ ему пришлось поработать надъ нимъ. Опять-таки по инициативѣ Штейна вопросъ о нѣмецкой конституціи былъ отдѣленъ отъ другихъ великихъ европейскихъ вопросовъ и переданъ въ спеціальную комиссію, которая, впрочемъ, вопреки мнѣнію Штейна, образовалась изъ представителей Австріи, Пруссіи, Баваріи, Ганновера и Вюртемберга. Если ужъ въ самомъ этомъ составѣ лежало ядро непобѣдимыхъ противурѣчій, то и Гарденбергъ, съ своей стороны, еще до начала борьбы, показалъ, на какую уступчивость со стороны Пруссіи можно разсчитывать. Онъ позволилъ Меттерниху и Мюнстеру отнять у себя самыя важныя и положительныя постановленія проекта, подготовленнаго имъ вмѣстѣ со Штейномъ. Онъ пожертвовалъ не только дуалистическою главой союза, но и подробнымъ перечисленіемъ тѣхъ правъ, которыя имѣлось въ виду предоставить сословіямъ и подданнымъ въ отдѣльныхъ государствахъ. Изъ проекта слишкомъ, пожалуй, искусственнаго получился проектъ пустой, ничего не значущій. Это значило начать раньше начала и вмѣстѣ съ тѣмъ предвосхитить печальный конецъ, когда подобный проектъ предложенъ былъ подъ именемъ двѣнадцати совѣщательныхъ пунктовъ (Deliberationspunkten) на разсмотрѣніе такой сложной коллегіи. На долю Гумбольдта главнымъ образомъ выпала задача борьбы. Во многихъ засѣданіяхъ комиссіи онъ присутствовалъ одинъ, безъ канцлера. Съ добросовѣстнымъ рвеніемъ защищалъ онъ основную идею тѣсносплоченной единой Германіи, выдвигалъ необходимость союзнаго суда, настаивалъ на опредѣленіи минимума поземельныхъ и сословныхъ правъ, опровергалъ притязанія Баваріи и Вюртемберга на положеніе великой державы. Но тщетно! Баварія и Вюртембергъ твердо рѣшились не входить въ какой-либо союзъ съ Германіей, который сколько-нибудь заслуживалъ-бы названія конституціи; ихъ эгоизмъ самодержавія противился всякому, хотя-бы самому легкому контролю союза; ихъ преувеличенное представленіе о своемъ могуществѣ противился самому естественному преимуществу Австріи или Пруссіи. Существовала одинъ только способъ сломать это противодѣйствіе. Противъ непатріотическаго партикуляризма среднихъ государствъ нужно было призвать на помощь патріотизмъ и нужды маленькихъ государствъ. Въ этомъ разсчетѣ Штейнъ поднялъ на ноги представителей маленькихъ нѣмецкихъ дворовъ. Они требовали до-

пущенія въ участію въ засѣданіяхъ, заявили о своей готовности подчиниться необходимымъ ограниченіямъ верховныхъ правъ отдѣльныхъ государствъ, требовали возстановленія имперіи и императорскаго сана. Если Вюртембергъ упорно изолировался, заявляя о своемъ выходѣ изъ комиссіи—тѣмъ лучше! Имѣя за себя многихъ, можно будетъ побѣдить немногихъ, на зло имъ можно будетъ быстро, съ согласія всей націи, покончить съ вопросомъ о конституціи. Но болѣе роковыя событія, нежели тѣ, которыя происходили въ нѣдрахъ германской комиссіи, начали нарушать работы конгресса по мирному устройству. Нѣмецкія дѣла столкнулись съ польско-саксонскими распрями. Переданная 16 ноября и подписанная 29 мелкими государствами нота осталась безъ отвѣта, и ослабленная вслѣдствіе выхода изъ нея Вюртемберга комиссіи пяти перестала существовать.

Только много мѣсяцевъ спустя приступлено было снова къ обсужденію нѣмецкихъ дѣлъ. Штейнъ и Гумбольдтъ болѣе всего старались о возобновленіи засѣданій, но оба характерными въ своемъ различіи путями. Одинъ—практически, коротко, другой—теоретически и пространно. Если бы поступлено было по мысли Штейна, то союзныя державы издали-бы пока только дополнительное разъясненіе, относящихся къ нѣмецкимъ дѣламъ, статей шомонскаго и парижскаго договоровъ; развитіе и примѣненіе ихъ было-бы предоставлено германскому конгрессу, созванному во Франкфуртъ. Но Пруссія все еще надѣялась добиться въ Вѣнѣ удовлетворительнаго и окончательнаго завершенія союзнаго договора. Она думала, что для этого требовалось только прилежаніе и трудъ. Всѣ обнаружившіяся въ мѣнѣ важныхъ пунктахъ разногласія надо принимать только къ свѣдѣнію, всѣ справедливыя желанія должны быть удовлетворены, несущественное -- уступлено; зато съ другой стороны необходимо твердо настаивать на великой цѣли, о которой идетъ рѣчь и истинно патріотически поддерживать все существенное; наконецъ необходимо настолько возможно подготовиться къ совѣщаніямъ и то, что безусловно всѣми можетъ быть принято, заранее формулировать и разработать. Таковы были намѣренія прусской дипломатіи, представлявшія наиболѣе подходящую арену для таланта и воззрѣній Гумбольдта. Мелкія государства также не бездѣйствовали за это время. Пруссія была очень довольна поддержкой, которую они оказывали ей, настаивая на возобновленіи нѣмецкихъ конференцій при участіи всѣхъ заинтересованныхъ государствъ. Она поддержала это ихъ требованіе. Деятаго февраля 1815 года получено было согласіе Меттерниха, и уже десятаго Гарденбергъ и Гумбольдтъ переслали ему двойной проектъ конституціи съ объяснительной нотой къ нему ¹⁾.

¹⁾ Всѣ три документа у Klüber'a Acten d. Wiener Congresses II, 6 и сл.: въ собр. сочин. они всѣ отсутствуютъ. Между тѣмъ оттискъ Klüber'a очевидно

Утвержденіе, что никто иной какъ Гумбольдтъ былъ виновникомъ появленія этого двойного проэкта, основывается на прямомъ показаніи Клюбера, издателя протоколовъ конгресса. Въ сущности это былъ одинъ проэктъ, а не два. Они различались только признаемъ или непризнаемъ раздѣленія на округа, появившагося впервые въ Штейнъ-Гарденбергскомъ проэктѣ. Всѣ остальные, независимыя отъ него постановленія, какъ-то: раздѣленіе членовъ союза на болѣе сильныхъ и менѣе сильныхъ, пятичленный верховный совѣтъ рядомъ съ другимъ, исключительно законодательнымъ, союзный судъ, поземельныя права, — всѣ остальные существенныя пункты были тождественны въ обоихъ. Поэтому тѣ же крупные недостатки тяготѣли надъ обоимъ. Не могло быть ничего печальнѣе такого пятиглаваго правленія, — ничего мелочнѣе постановленія объ испытаніяхъ для членовъ союзнаго суда. Весь проэктъ съ раздѣленіемъ на округа или безъ него страдалъ очень сложною искусственностью. Постановленія касательно внѣшнихъ отношеній и права заключать союзы обнаруживаютъ слишкомъ много уступчивости по отношенію къ баварско-вюртембергскимъ притязаніямъ. Еще болѣе уступчивости проявила Пруссія, заявивъ, что она готова отказаться отъ второго голоса въ совѣтѣ. Хвалить подобныя вещи трудно, просто порицать ихъ нелѣпо. Не подлежитъ сомнѣнію, что Гумбольдтъ зналъ то, что понятно даже и для дѣтскаго ума: что единовластіе лучше пятивластія. Несомнѣнно, что онъ въ высшей степени охотно положилъ-бы крѣпкую узду на партикуляристическія поползновенія среднихъ государствъ. Онъ, безъ сомнѣнія, чувствовалъ, хотя вѣроятно и недостаточно сильно, что создаваемая имъ машина въ высшей степени сложна. Но его задача была, къ сожалѣнію, еще сложнѣе. Онъ не только долженъ былъ составить, въ согласіи съ различными интересами и принципами, проэктъ конституціи, — онъ долженъ былъ еще удовлетворять притязанія, дѣйствовать въ качествѣ посредника. Онъ былъ не только законодатель, но въ тоже время и дипломатомъ. Онъ имѣлъ позади опыты, вынесенныя изъ тринадцати безплодныхъ конференцій для созданія конституціи, впереди — окончаніе конгресса. Поэтому-то и случилось, что онъ подалъ вмѣсто одного проэкта два, не смотря на то, что самъ не сомнѣвался въ ихъ относительномъ достоинствѣ. Мы естественно не довѣряемъ своему собственному сужденію по отношенію къ мнѣнію такого ученаго, какъ авторъ «Исторіи девятнадцатаго столѣтія.» Но навѣрное эти два проэкта не по той причинѣ были предложены на выборъ, каковую предполагаетъ Гервинусъ, — по мнѣнію котораго имѣлась будто-бы въ виду одна только писательская цѣль, — быть первымъ въ проэктированіи, заслужить славу составителя

не вполне точенъ. Въ послѣдующихъ примѣчаніяхъ мы подчеркиваемъ предположенія, которымъ мы слѣдовали въ трехъ мѣстахъ текста.

проекта хоть для какойнибудь конституции. Закрепить существенное, уступить зъ менѣе важномъ — вотъ мысль, которая очевидно руководила постановленіями обоихъ проектовъ. Они носятъ вездѣ слѣды намѣреннаго, хотя и свободнаго соображенія съ совѣщаніями комиссіи пяти. Затѣмъ для осуществленія конституціи имѣли существенное значеніе два условія: соглашеніе съ Австріей и ускореніе всего дѣла. Но Австрія не понравилось раздѣленіе на округа; это раздѣленіе не могло, конечно, имѣть принципіальнаго значенія; въ глазахъ Гарденберга и Гумбольдта оно имѣло большія преимущества, но даже и въ ихъ глазахъ оно имѣло также и несомнѣнные недостатки. Штейнъ не одобрилъ его, по все же не выкинулъ его изъ Гарденбергскаго проекта. Былъ-ли это предметъ, изъ-за котораго стоило пожертвовать соглашеніемъ съ Австріей и быстрымъ завершеніемъ конституціоннаго устройства? Отъ него слѣдовало, безъ сомнѣнія, немедленно отказаться; но Австрія пожелала обсудить еще разъ этотъ пунктъ. На основаніи прямаго соглашенія съ Меттернихомъ, Гумбольдтъ составилъ дѣйную редакцію своего проекта конституціи. Не писательская, а въ высшей степени реальная дѣль руководила имъ: сдѣлать для австрійскаго министра послѣдствія того и другого устройства насколько возможно осязательнѣе и рѣшеніе — насколько возможно легче. Не тщесловіе прожектерства одушевляло прусскихъ министровъ, а честное желаніе придти наконецъ послѣ всѣхъ этихъ проектовъ къ разумному результату. «Нижеподписавшіеся», говорятъ они въ сопровождающей проекты нотѣ, «просятъ князя Меттерниха подвергнуть изложенины ими здѣсь предложенія внимательному разсмотрѣнію и, по возможности, сообщить имъ мнѣніе императорскаго австрійскаго двора: о введеніи окружнаго устройства и о будущемъ устройствѣ союзнаго управленія. Какъ только эти вопросы будутъ разрѣшены, понадобится не болѣе нѣсколькихъ часовъ для составленія изъ всѣхъ прежнихъ проектовъ одного новаго, который можетъ быть принятъ въ основаніе будущаго обсужденія».

И эта сопровождающая нота — нѣсколько въ этомъ не сомнѣваемся — вышла изъ подъ пера Гумбольдта. Она носитъ на себѣ печать его ума, — ума, который можетъ быть признанъ изъ тысячи, и который невозможно смѣшать съ умомъ Гарденберга. Это умъ тонкій, гибкій, метафизическій и вмѣстѣ съ тѣмъ кроткій, примиряющій и посредствующій. Это умъ, вѣрующій въ силу духа, въ благотворность свободы и свободнаго обсужденія. Хотя Гарденбергъ тоже высказался за окружное устройство, но одиакъ только Гумбольдтъ могъ его защищать такъ, какъ оно защищается въ этой нотѣ. Только посредственное преимущество проекта безъ окружнаго раздѣленія составляло въ глазахъ тонкаго и благороднаго теоретика то, что онъ былъ проще и вообще пригоденъ ко всеобщему примѣненію на практикѣ. Болѣе искусственное представлялось ему болѣе глубокимъ, а болѣе глубокое — болѣе

практичнымъ. И въ политической дѣйствительности онъ считалъ наиболѣе желательнымъ постоянное и мягкое примиреніе противорѣчій. Въ томъ-же «метафизическомъ» духѣ, въ какомъ онъ понималъ прежде организацію учебнаго дѣла, представлялъ онъ себѣ и организацію прусскаго государственнаго организма. Окружное дѣленіе представляется ему какъ «связующая промежуточная ступень» между дѣятельностью центральной власти и отдѣльных государствъ. Особенно благотворнымъ считаетъ онъ то, что посредствомъ постоянныхъ общихъ занятій окружныхъ чиновъ дѣлами союза «можно искуснымъ и мягкимъ образомъ избѣгать многихъ разногласій». Онъ ищетъ также посредствующаго фактора между болѣе сильными и болѣе слабыми членами союза. Введеніе въ исполнительный совѣтъ князей части членовъ законодательнаго совѣта кажется ему цѣлесообразною связью между обоими, средствомъ предохраняющимъ отъ того, чтобы «въ первомъ совѣтѣ не возникъ духъ недовѣрія и противорѣчія по отношенію ко второму». Объединяющую силу окружнаго устройства онъ видитъ главнымъ образомъ въ собраніяхъ и совѣщаніяхъ окружныхъ членовъ, — ибо при общихъ совѣщаніяхъ дѣло происходитъ совершенно иначе, чѣмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда единственнымъ средствомъ для обмѣна мнѣній является путь дипломатическихъ переговоровъ: «тутъ дѣйствуетъ совмѣстное обсужденіе доводовъ и то, что одновременно высказывается воля многихъ». Когда нѣсколько правительствъ въ періодическихъ собраніяхъ будутъ заботиться о благѣ одной и той-же части Германіи ¹⁾, то они мало-по-малу приобретутъ болѣе живой къ ней интересъ — «такой интересъ, при которомъ одностороннія и своекорыстныя воззрѣнія, легко проявляющіяся какъ у великихъ, такъ и у малыхъ, взаимно стираются». Наконецъ, совѣщанія во второмъ союзномъ совѣтѣ могутъ только выиграть отъ того, что будутъ подготовляться въ засѣданіяхъ окружныхъ чиновъ. Соображенія, какими онъ отражаетъ выставленныя противъ окружнаго устройства возраженія, не менѣе тонки, не менѣе для него характерны. Рѣзче всего выдвигается здѣсь столь свойственное ему глубокое уваженіе къ индивидуальному: на заднемъ планѣ передъ нами какъ-бы мелькаетъ привычная ему параллель между Германіей и Греціей, получившая теперь также и политическій характеръ. Предложенное окружное устройство, говоритъ онъ, отнюдь не имѣетъ намѣренія разрушить политическій индивидуализмъ въ Германіи. И дѣйствительно, протестъ Гумбольдта противъ этого чрезвычайно силенъ; слишкомъ низко оцѣнивается тутъ сила и единство цѣлаго по отношенію къ праву личности; горячо защищается дѣло этого индивидуализма. «Никто не чувствуетъ сильнѣе насъ, что именно тѣ преимущества, которыми отличаются нѣмцы, имѣютъ свое ос-

¹⁾ Въ текстѣ: noch verbundenen Theils, вѣроятно: noch nher verbundenen еще тѣснѣе соединеннаго).

пованіе во множествѣ правительствъ и въ различіи государственнаго устройства, хотя Германія и приходилось иногда дорого за это платиться потерей своей независимости. Никто поэтому не можетъ быть въ такой степени противникомъ всякой идеи, имѣющей въ виду подчиненіе, угнетеніе или поглощеніе маленькаго государства болѣе сильнымъ». Мало того—прусскіе государственные дѣятели готовы были высказаться даже и за восстановленіе медиатизированныхъ безъ вины князей. Оба были повидимому приведены къ этому воззрѣнію примѣромъ южно-германскихъ среднихъ государствъ, а Гумбольдтъ кромѣ того и свою эленизирующую теорію индивидуализма. Но какъ идеалистично, какъ глубоко и умно изложеніе доказательства, что конституція именно есть вспомогательное средство противъ распадѣнія Германіи на части и противъ угнетенія мелкихъ государствъ большими! Именно въ отысканіи отъ всякаго, хотя бы самаго естественнаго общественнаго управленія лежитъ зародышъ подобной опасности, и именно восстановленіемъ конституціи она будетъ отклонена. По меньшей мѣрѣ страннымъ надо признать разсужденіе, что не ¹⁾ слѣдуетъ увеличивать значительную и безъ того физическую силу введеніемъ конституціи,—ибо, въ государствахъ физическая сила, получая надлежащее назначеніе, становится благодѣаніемъ для болѣе слабаго, и именно тѣмъ самымъ, что она получаетъ соответственное мѣсто въ конституціи и подчиняется ей, она превращается въ нравственную силу,—создается законность и отвѣтственность, и такимъ образомъ ослабляется вредъ, наносимый исключительно физическимъ перевѣсомъ».

Болѣе извѣстно заключеніе этой ноты. Оно въ ясныхъ и рѣшительныхъ выраженіяхъ указываетъ предѣлъ, до котораго прусскіе государственные люди готовы идти въ своей уступчивости и деликатности. Охотно готовы они согласиться на другія предложенія или выставить свои, если только этимъ путемъ можетъ быть достигнута особенно важная для прусскаго двора конечная цѣль—твердое согласіе нѣмецкихъ правителей и болѣе живое ²⁾ участіе ихъ въ новомъ строѣ. «Ибо каждый строй въ своемъ развитіи и существованіи зависитъ отъ одушевляющаго его членовъ духа». Существуютъ однако-же три пункта, отъ которыхъ нельзя отказаться: сильное войско, союзный судъ и представительныя учрежденія, гарантированныя союзнымъ договоромъ. Эти требованія необходимы, ибо это долженъ быть по существу и а д і о н а л ь н ы й союзъ. «Нижеподписавшіеся льстятъ себѣ увѣренностью, что и австрійскій дворъ раздѣляетъ тотъ взглядъ, что учрежденія нѣмецкой конституціи необходимо не только въ виду отно-

¹⁾ Очевидно на стр. II въ приведенномъ мѣстѣ необходимо вставить это „не“.

²⁾ У Клюбера: „тѣсное“ (engeren).

шеній дворовъ, но въ такой же мѣрѣ и для удовлетворенія справедливыхъ требованій націи, которая, памятуя о старомъ, погибшемъ только вслѣдствіе печальнѣйшихъ событій, имперскомъ союзѣ, проникнута сознаниемъ, что ея безопасность и благосостояніе, также какъ и дальнѣйшее процвѣтаніе истинно отечественнаго просвѣщенія зависятъ главнымъ образомъ отъ ихъ соединенія въ вѣрпкій государственный организмъ, — націи, которая не хочетъ распаденія на отдѣльныя части, но увѣрена, что прекрасное многообразіе нѣмецкихъ племенъ только тогда можетъ оказать свое благотворное дѣйствіе, когда оно снова сгладится въ общемъ союзѣ».

Нравоученіе, преподаваемое въ этихъ словахъ Гумбольдтомъ южно-германскимъ дворамъ, было ими въ полнѣ заслужено; воззрѣнія, внушившія его, были единственно умѣстныя и достойныя. Можно было только сомнѣваться, дѣйствительно-ли такая искусственная форма союза, раздѣленная вверху на пять главъ, способна удовлетворить столь сильно выраженную потребность націи въ единствѣ. Одушевляющій членовъ союза духъ долженъ былъ вознаграждать за недостатки формы; между тѣмъ, суди по всему предшествующему поведенію Баваріи и Вюртемберга, можно было, напротивъ, ожидать, что онъ еще усугубитъ дѣйствіе этихъ недостатковъ. Неудивительно поэтому, что тотъ-же образъ мыслей, который лежалъ въ основѣ Гумбольдовыхъ проектовъ, далъ также начало и проекту совершенно отъ нихъ отличному. Рядомъ съ потребностью націи въ единствѣ и ближе всего къ ней лежали нужды мелкихъ нѣмецкихъ государствъ. Имъ вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе угрожали опасности, казавшіяся неизбѣжными при пятиглавомъ правительствѣ. Они готовы были подчиниться сильнѣйшему, но они совершенно справедливо не желали уступить честолюбію среднихъ государствъ и служить игрой для организованнаго раздора пяти правительствъ. Они не переставали агитировать въ пользу восстановленія императорскаго достоинства, что занимало также первое мѣсто и въ мысляхъ Штейна. Гумбольдтъ зналъ, что Австрія относится къ этому проекту равнодушно и выжидательно, и что Пруссія считала его упраздненнымъ въ силу помонскаго и парижскаго договоровъ; но несмотря на то, онъ рѣшился теперь поддержать требованіе мелкихъ государствъ, придавъ ему при помощи Россіи силу. Онъ инспирировалъ мемуаръ, тогда же переданный императору Александру графомъ Каподистріа, въ которомъ прусскіе государственные дѣятели начали обсуждать съ Меттернихомъ пентархическій проектъ. Въ живой, причудливой и небрежной манерѣ, свойственной писаніямъ этого богатаго уму и фантазіей чловѣка, изложилъ Каподистріа мысли Штейна. Съ драматическою наглядностью изобразилъ онъ неудобство и опасности пятивластія. Оно неизбѣжно вызоветъ зависть, столкновенія и раздоры. Слишкомъ скоро начнетъ Франція снова хозяйничать въ Гер-

манія, поощряемая къ тому интригами Баваріи и соперничествомъ Вюртемберга. Тогда Германія возстанетъ на Германію, тогда вся нація будетъ въ состояніи анархіи. Будетъ-ли Россія въ состояніи спокойно взирать на это? Не будетъ-ли Австрія, въ отвѣтъ на вмѣшательство Россіи, вынуждена къ союзу съ Франціей? Очевидно, сильная и прочная конституція невозможна безъ единоличнаго верховнаго главы—будь то наслѣдственнаго или выборнаго. Для этой роли естественнымъ образомъ предназначена Австрія. Сильная поддержкою всей Германіи, она будетъ тогда въ состояніи отказаться отъ непосредственнаго господства надъ Италіей и не будетъ пытаться поползновеній къ союзу съ Франціей, тогда какъ Пруссія, съ своей стороны, неприкосновенная въ своемъ настоящемъ положеніи, будетъ въ состояніи поддержать свои политическія отношенія къ Россіи. Опасности же никакой нельзя ожидать отъ Австріи, подкрѣпленной нѣмецкою короной. Перевѣсь, получаемый ею такимъ образомъ, по характеру своему не наступательный, а только лишь охранительный и пассивный.

Отлично, какъ мы видимъ, понималъ Каподистрія интересы Россіи, но какъ совершенно несвѣдущій, съ наивною поверхностностью говорилъ онъ о политикѣ Австріи. Штейнъ не былъ ни несвѣдующимъ, ни поверхностнымъ человѣкомъ; 17 февраля онъ въ свою очередь представилъ императору Александру записку о томъ-же предметѣ. Его записка обнаружила такое знакомство съ особенностями Австріи, какого только можно было ожидать отъ этого выдающагося государственнаго дѣятеля; но слабая ея сторона заключалась въ изложеніи, которое, наперекоръ обычной манерѣ Штейна, было блестяще, но необѣдительно, умно, но практически несостоятельно. Изъ самыхъ правильныхъ предпосылокъ дѣлаетъ онъ самые странные выводы. Наибольшій интересъ видѣть Германію крѣпко построенною и разумно управляемою имѣеть, по его словамъ, уже въ силу своего географическаго положенія, Пруссія. Наименьшій интересъ имѣеть Австрія. Между обитателями Австріи и нѣмцами существуетъ кромѣ того отчужденіе, первоначальная причина котораго лежитъ въ различіи ихъ характеровъ. Все указываетъ на раздѣленіе; нужно поэтому—такъ гласитъ заключительный выводъ—соединить Австрію съ Германіей узамъ конституціи; нужно привить Австрію, представивъ ей, посредствомъ передачи наслѣдственнаго императорскаго достоинства, вліяніе и перевѣсь, вслѣдствіе чего оба государства вступятъ во взаимодѣйствіе, покоящееся на долгѣ и интересѣ.

Нелегко было устранить возраженія противъ цѣлесообразности пятичленной директоріи, выставленныя въ этихъ обѣихъ запискахъ. Дѣло было такъ, какъ говорилъ Штейнъ, присоединившійся къ разсужденіямъ Каподистрія: подобная директорія не потому была учреждена, что ее считали полезною,—это былъ просто продуктъ со-

перничествова, существовавшего между Австріей, Пруссіей и Баваріей. Нетрудно было съ другой стороны доказать несостоятельность и уязвимость аргументовъ, приведенныхъ Штейномъ и Каподистріа въ пользу Австрійской имперіи. Ту и другую задачу взялъ на себя Гумбольдтъ. Написанная имъ по иниціативѣ Гарденберга въ концѣ февраля, его записка представляется намъ самымъ блестящимъ и самымъ основательнымъ, изъ всего того что было писано по этому предмету ¹⁾.

Невозможно, такъ говорится въ этой запискѣ, предоставить нѣмецкому императору ту широкую власть, которую онъ долженъ имѣть, — Пруссія не могла-бы ей подчиниться, Баварія и другія болѣе сильныя государства не хотѣли-бы. Безъ этой власти императоръ будетъ всегда подчинять интересамъ своего собственнаго государства интересы Германіи. Объ Австріи именно идетъ тутъ рѣчь, и къ Австріи все сказанное вдвойнѣ примѣнимо. Домъ Габсбурговъ всегда старался отвлечь тѣ нѣмецкія государства, которыми онъ владѣлъ, или которыя находились подъ его вліяніемъ, отъ ихъ обязательствъ по отношенію къ имперіи или сдѣлать чуждыми германскимъ интересамъ. Онъ дѣлалъ это и тогда, когда путемъ владѣнія или вліянія былъ многообразно связанъ съ другими германскими государствами. Тѣмъ болѣе теперь. «Теперь, когда всѣ политическіе интересы Австріи направлены на востокъ и въ сторону Италіи, она стала несравненно болѣе чужда Германіи. По самой природѣ вещей она была-бы приведена къ тому, чтобы разсматривать имперскую корону какъ пустую прерогативу, которою она въ случаѣ нужды можетъ пожертвовать въ пользу болѣе важныхъ интересовъ—что было-бы опасно для Германіи—или какъ средство увеличить свою силу, какъ самостоятельнаго государства — что было-бы опасно не только для Германіи, но и для всей Европы». Вооруженная императорскою властью она, въ случаѣ возникновенія распри между Австріей и Пруссіей, стала бы къ мелкимъ государствамъ въ отношеніе, подобное отношенію Франціи къ Рейнскому союзу. Одно изъ двухъ. Либо пужно стремиться противодѣйствовать возможнымъ злоупотребленіямъ императорскою властью противомѣсомъ ограничительныхъ учреждений,—и тогда открывается просторъ соперничеству, недобвѣрью, интригѣ, всѣмъ тѣмъ столкновеніямъ, которыми угрожаетъ директоріальная система. Либо нужно предоставить императору болѣе широкія полномочія: нужно предоставить ему, напримѣръ, исключительное рѣшеніе вопросовъ войны и мира. Тогда—здѣсь Гумбольдтъ апеллируетъ, не упоминая о томъ, къ опыту послѣдняго времени—тогда Австрія будетъ въ состояніи останавливать справед-

¹⁾ Она имѣется у Pertz'a, IV, 752 и сл., а не въ собр. соч. У Пертца, которымъ мы вообще пользуемся для всего вышеизложеннаго, помѣщены также мемуары Каподистріа и Штейна.

ливѣйшее и великодушнѣйшее національное движеніе, Германія окажется связанною съ судьбами Австріи, какъ европейской великой державы, и будетъ вовлечена противъ воли во всѣ случайности ихъ, — ибо нечего надѣяться на какія-нибудь мѣры, при помощи которыхъ можно было бы отдѣлить Австрію, какъ главу Германіи, отъ Австріи, какъ великой европейской державы: всѣ подобнаго рода различія существовали бы только на бумагѣ. И это какъ въ отношеніи внѣшней, такъ и въ отношеніи внутренней политики, — и тутъ рѣшеніе зависѣло-бы отъ Австріи, и тутъ оно опредѣлялось-бы политическими отношеніями Австріи и духомъ австрійской правительственной системы. Вліяніе общественнаго мнѣнія, которое могло-бы существовать при федеративной формѣ правленія, равнялось-бы нулю, а это не соответствуетъ духу нѣмецкой націи: это не духъ безпокойства и противодѣйствія, — это духъ, стремящійся къ прогрессу и просвѣщенію, онъ «противоборствуетъ той косности, для которой опытъ ничто, и стоцѣтія проходятъ бесполезно».

Все это было и по нѣмцамъ, и по прусски, столько же ясно, сколько и вѣрно. Это была, на самомъ дѣлѣ, полемика противъ Австріи, нѣ разительной истинности которой Штейнъ менѣе всего могъ сомнѣваться. Можетъ быть, именно поэтому ему не понравились ни форма, ни содержаніе Гумбольдтовой записки. Онъ не могъ безъ сомнѣнія внутренно не согласиться со всѣмъ тѣмъ, что говорилось въ запискѣ противъ австрійской имперіи, и въ то же время долженъ былъ всею душой держаться того убѣжденія, что нѣмецкая конституція безъ единого главы будетъ ничто иное какъ жалкая пародія. Убѣдительно было все, что приводилъ Гумбольдтъ противъ гегемоніи дома Габсбурговъ: убѣдительно все, что говорили Штейнъ и Каподистрія противъ пентархіи. Но, вопреки своему обыкновенію, Штейнъ увлекался теоретическимъ призракомъ или, можетъ быть, старался обмануть себя относительно тѣхъ очевидныхъ опасностей, которое должно было повлечь за собою господство Австріи надъ Германіей. Этотъ призракъ Гумбольдтъ разсѣялъ безъ труда, но онъ съ своей стороны подпалъ не менѣе странному самообману. Несостоятельно было все, что говорилъ Каподистрія объ «исключительно охранительномъ и пассивномъ» преобладаніи Австріи, что говорилъ Штейнъ о «связываніи Австріи узами долга и выгоды». Несостоятельно въ такой же мѣрѣ было все, что приведено въ памятной запискѣ Гумбольдта въ пользу федеративной, т. е. пентархической системы. Развѣ не было теоретическою иллюзіей увѣреніе, что поставленныя во главѣ союза пять правительствъ будутъ руководиться общественнымъ мнѣніемъ и потребностью націи въ реформахъ? И что сказать о заключительномъ выводѣ записки? Спокойствіе и безопасность Германіи, говоритъ онъ, зависитъ всецѣло отъ единенія Пруссіи и Австріи. Слѣдовательно, главный принципъ, ко-

того надо придерживаться при учрежденіи нѣмецкой конституціи, долженъ заключаться въ томъ, чтобы устранить всякій возможный поводъ къ раздвоенію между обѣими державами и позаботиться о томъ, чтобы въ случаѣ войны между ними столкновеніе было менѣе чувствительно для Германіи и Европы. Императорское достоинство самымъ своимъ существованіемъ создаетъ систему противуположенія Австріи и Пруссіи и вынуждаетъ Германію, въ случаѣ войны, стать на сторону первой или нарушить конституцію. Федеративная система, наоборотъ, дѣлаетъ всѣ сношенія между обоими государствами мягче и безопаснѣе; если-бы даже несмотря на то война возгорѣлась, то самой конституціей дается Германіи возможность подъ защитой Баваріи и другихъ болѣе сильныхъ союзныхъ государствъ, а также подъ защитой европейскихъ державъ, сохранить свой нейтралитетъ. Наконецъ даже и въ томъ случаѣ, если-бы она была вовлечена въ войну, ея правители раздѣлились бы вѣроятно между борющимися сторонами и сдѣлали бы такимъ образомъ ихъ силы менѣе опасными для Европы. Не было ли это разъясненіе простымъ признаніемъ, что федеративная система есть система конституціонной апархіи? Значило-ли это защищать директоріальное правительство или напротивъ осмѣять его? Имѣлъ-ли право тотъ, кто заявлялъ о своей готовности удовлетвориться такимъ жалкимъ фундаментомъ для этого зданія, имѣлъ ли онъ право говорить о союзномъ судѣ, какъ о «послѣднемъ и необходимѣйшемъ краеугольномъ камнѣ правового зданія въ Германіи?»

И вотъ—если даже такой человекъ какъ Гумбольдтъ не считалъ неудобнымъ апеллировать къ анархіи и къ *itio in partes*, какъ необходимымъ моментамъ конституціи и даже заранѣе принимать въ соображеніе коалицію Рейнскаго союза, если даже оба самые благомыслящіе и самые проникательные государственные люди до такой степени разошлись въ своихъ взглядахъ, тогда, конечно, одно изъ Гумбольдтовыхъ основаній въ пользу пентархическаго проекта было безспорно,— а именно, что онъ представляетъ «единственное, что при данныхъ условіяхъ достижимо». Какъ бы значительны ни были недостатки исключительно федеративнаго устройства, однако же— «elle seule est possible!» Что толку въ томъ, что всѣ предпосылки для самаго правильнаго вывода были на лицо въ обѣихъ запискахъ? Только при сильномъ однородномъ правленіи можетъ Германія добиться конституціи, которая носила бы сама въ себѣ залогъ прочности и силы. Австріи этого руководства нельзя предоставлять, ибо Австрія есть по существу государство нѣмецкое, и Пруссія ни въ какомъ случаѣ не можетъ подчиниться ей. Болѣе всего заинтересована въ германскомъ вопросѣ Пруссія; она не покоится, подобно Австріи, на принципѣ застоя и страха предъ просвѣщеніемъ; въ противуположность Австріи, она связана съ Германіей своимъ положеніемъ, своими интересами, своимъ отношеніемъ къ другимъ европейскимъ государствамъ.

Далѣ: конституція Германіи должна быть построена такъ, чтобы на нее могли вліять общественное мнѣніе и духъ націи, и наконецъ чтобы она не «компрометировала» постоянно Австрію съ Пруссіей. Союзъ Австріи съ Германіей, говорилъ Штейнъ, неизбѣженъ. Спокойствіе, безопасность, вліяніе Германіи, говорилъ Гумбольдтъ, будутъ всегда зависѣть отъ единодушія въ дѣйствіяхъ Пруссіи и Австріи. Сумма всѣхъ этихъ данныхъ, рѣшеніе этой запутанной загадки лежало не такъ далеко. Нашему времени и человѣку, сотрудничество съ которымъ Штейнъ и Гумбольдтъ почли бы для себя за честь, было предназначено формулировать его въ немногихъ общихъ и ясныхъ чертахъ. Единственная форма, въ которой Германія можетъ организоваться сообразно своимъ интересамъ, это—союзное государство безъ участія Австріи и при общей гегемоніи Пруссіи. Единственная форма правленія, при которой общественное мнѣніе могло бы имѣть силу и при единоличномъ главѣ,— это парламентарная. Единственные отношенія, при которыхъ, не смотря на гегемонію Пруссіи, и германскій парламентъ, несмотря на исключеніе изъ союза Австріи, возможно существованіе согласія между Пруссіей и Австріей и связи Австріи съ Германіей,— это отношенія тѣснаго и неразрывнаго союза, заботливо охраняющаго обоюдные интересы. Неизвѣстно, увидятъ ли будущее поколѣніе осуществленіе этой мысли послѣ того, какъ современное, съ восторгомъ ее привѣтствовавшее, видѣло сначала ея крушеніе въ неловкихъ и вѣроломныхъ рукахъ, а затѣмъ и поруганіе и осмѣяніе. Поколѣніе Вѣнскаго конгресса создало эту мысль только по частямъ. Ни одинъ изъ государственныхъ людей-совѣтниковъ, кромѣ Штейна, въ единичные моменты раздраженія, не думалъ о возможности исключенія Австріи. О народномъ представительствѣ передъ союзомъ писали журналисты, но Гумбольдтъ говорилъ: до этого еще далеко ¹⁾. О прусской имперіи осмѣливались думать только какъ о чемъ-то несбыточномъ. Штейнъ говорилъ раньше объ Австріи или Пруссіи; теперь онъ формулировалъ идею имперіи просто какъ наследственную австрійскую имперію. Только мемуаръ Каподистрія и теперь еще ставилъ альтернативу наследственности и выборности и закончилъ указаніемъ на будущее. Нужно столкнуться съ Австріей, говорится тамъ, относительно принятія имперской короны. Если Австрія откажется, то насильно этого сдѣлать нельзя; достаточно, если единственно желательное пока формулируется и доказывается. Достаточно, если оставить за собой право, при благоприятныхъ условіяхъ въ будущемъ, вернуться къ этому— будь то въ согласіи съ Австріей или Пруссіей.

При такихъ условіяхъ Гумбольдтъ безъ сомнѣнія правъ: *la fédération seule est possible*. И если, по собственному мнѣнію и волю

¹⁾ Варгигенъ: Воспоминанія (*Denkwürdigkeiten*), VII, 293.

прусскихъ государственныхъ людей, одна только союзная форма и возможна, то они должны были понимать, что тѣ самыя «даншыя условія», на которыя они ссылались, дѣлали возможною только самую дурную форму союза. Столько благородства и свободомыслія, соединенныя съ такимъ уваженіемъ къ самой печальной дѣйствительности, должны были привести къ полному торжеству послѣдней. Сжѣлыя слова о необходимости удовлетворенія національной потребности, о неотложности союзаго суда, сильнаго войска и отдѣльныхъ представительныхъ управленій—всѣ эти слова должны были неминуемо привести къ нулю, если въ принципѣ и въ основномъ планѣ конституціи исходили изъ прямо противоположнаго: не изъ потребности націи, а изъ упрямства ея правительствъ, не изъ стремленія къ единству первой, но изъ разлада и соперничества вторыхъ. Свершилось то, что должно было свершиться. Внутреннее противорѣчіе въ мотивахъ прусскаго проэкта такъ его подточило, что въ концѣ-концовъ ни одинъ параграфъ не устоялъ. Побѣда осталась за тѣми, которые съ самаго начала ставили себѣ доступную цѣль и никогда себя не затрудняли болѣе идеальными воззрѣніями. Ихъ путь былъ дуренъ, но былъ простъ. Они не искали похвалы за то, что хотъ желали или думали о благѣ, и избавляли себя отъ порицанія за то, что, желая его, измѣнили ему. Послѣ невѣроятныхъ усилій Гумбольдтъ и Гарденбергъ пришли именно туда, куда Вессенбергъ и Меттернихъ съ небольшими усиліями направили дѣло.

Между тѣмъ событіе, вѣсть о которомъ достигла 7 марта Вѣны, могло бы по своему характеру напомнить еще разъ нѣмецкимъ князьямъ и государственнымъ людямъ о томъ, что въ данный моментъ было единственно необходимо. Да и вообще всѣми чувствовалось, что опасность, которою угрожало всей Европѣ новое появленіе Наполеона, требовало ускоренія прежде всего нѣмецкаго конституціоннаго устройства. Снова предложилъ Штейнь сговориться относительно существеннѣйшихъ пунктовъ и передать ближайшую разработку собранію уполномоченныхъ всего союза. Другое предложеніе—составить соответствующую потребностямъ націи конституцію исходило отъ мелкихъ государствъ, причемъ въ послѣдній разъ обсуждался вопросъ объ имперской идеѣ. За ускореніе стояла и Пруссія, а также и Австрія. Сговорившись относительно устраненія имперскаго вопроса, они объявили, что конгрессъ не долженъ разойтись, прежде чѣмъ не будутъ установлены основанія нѣмецкой конституціи. Въ концѣ марта уполномоченные всѣхъ нѣмецкихъ государствъ были созваны для совмѣстнаго обсужденія этого вопроса, причемъ Пруссія подготовила для этихъ засѣданій новый проэктъ, авторомъ котораго снова былъ Гумбольдтъ. Ему пришлось теперь искупать то фальшивое положеніе, которое онъ добровольно съ самаго начала занялъ, какъ посредникъ между идеальнѣйшими требованіями и самою плохую дѣй-

ствительностью. Работая надъ самымъ неблагодарнымъ матеріаломъ, ему пришлось постоянно лавировать между своимъ убѣжденіемъ и гнетомъ необходимости. Ставъ разъ на наклонную плоскость уступчивости, онъ былъ вынужденъ вѣчно вставлять между самымъ лучшимъ и самымъ худшимъ все новыя промежуточные звенья и придумывать для посредственнаго все новыя формулы. Его искусство и изобрѣтательность въ формулировкѣ уступокъ начинается съ этого момента напоминать схематизирующій образъ дѣйствія одного болѣе современнаго прусскаго государственнаго дѣятеля, хотя въ другихъ отношеніяхъ и глубоко ниже его стоящаго, но походившаго на него тѣмъ, что его теоретическія дарованія были крупнѣе практическихъ, и что, слабѣй въ изобрѣтательности, онъ былъ чрезвычайно силенъ въ формулирующей отдѣлкѣ. Какъ отступающіе все далѣе и далѣе призраки прусско-нѣмецкаго унитарнаго проекта подъ рукой Радовица снова фиксировались и строились — это намъ, современникамъ, хорошо памятно. Нѣчто похожее на то производилъ Гумбольдтъ съ проектомъ нѣмецкой конституціи на Вѣнскомъ конгрессѣ. Уже тѣ четырнадцать пунктовъ, въ которыхъ онъ втиснулъ теперь свой прежній проектъ, были ничѣмъ инымъ, какъ формулированными отступленіемъ, уступкой союзнымъ воззрѣніямъ, которыя имѣлись въ виду въ составленномъ Вессенбергомъ австрійскомъ проектѣ. Но монетѣ предстояло еще болѣе испортиться. Новый перерывъ, наступившій въ апрѣлѣ въ ходѣ всего этого вопроса, далъ время для составленія новой редакціи, которая приблизилась еще на нѣсколько шаговъ къ постановленіямъ Вессенбергскаго проекта. Первоначальный чеканъ можно было еще кое какъ отличить, но отпечатокъ сталъ слабѣе, вѣсъ легче. Наиболѣе необходимые элементы еще существовали, но они видоизмѣнились такъ, что изъ нихъ невозможно уже было сдѣлать никакого разумнаго примѣненія. Тутъ наступилъ моментъ, когда Австрія могла воспользоваться вызванными ею колебаніями, утомленіемъ и нетерпѣніемъ, и 7 мая она объявила, что переговоры имѣютъ быть начаты. Переработанный проектъ Вессенберга былъ выставленъ противъ послѣдняго Гумбольдтовскаго проекта. Явился новый матеріалъ для новой посредствующей формулы, и въ концѣ мая, послѣ многочисленныхъ засѣданій, эта формула была наконецъ найдена. Принятъ былъ проектъ, въ которомъ, какъ выразился Штейнъ, очень много говорилось о медиатизированныхъ принцахъ и очень мало о нѣмецкомъ народѣ, — проектъ, въ которомъ гарантія земскихъ правъ и учрежденій сведена была къ неопредѣленному и общему положенію: «во всѣхъ нѣмецкихъ государствахъ должны быть введены земскія учрежденія». Но и этимъ еще дѣло не кончилось. Чего не испортило предшествующее колебаніе, то испортила наступившая спѣшка. Съ 26 мая по 8 июня происходилъ цѣлый рядъ общихъ совѣщаній. Протестъ болѣе благомыслищихъ оказался безсильнымъ передъ самыми пустыми,

самыми негодными постановленіями; и въ послѣднее засѣданіе прова-
дился союзный судъ, — тотъ союзный судъ, который Гумбольдтъ и
Гарденбергъ четыре мѣсяца назадъ объявили послѣднимъ и необходи-
мѣйшимъ краеугольнымъ камнемъ нѣмецкаго правового зданія! Тѣмъ не
менѣе и они подписали союзный договоръ. Съ своими взглядами и убѣжде-
ніями они раздѣлялись при помощи двухъ бумагъ: Гарденбергъ — пред-
писаніемъ отъ 22 мая объ имѣющемъ образоваться народномъ пред-
ставительствѣ въ Пруссіи, оба — разъясненіемъ, которымъ они моти-
вировали свое согласіе. Они желали-бы, заявляютъ они, чтобы этому
акту дано было болѣе широкое распространеніе, законченность и опре-
дѣленность. Все же лучше заключить пока менѣе полный и менѣе
совершенный союзъ, чѣмъ не заключать никакого. Совѣщанія союз-
наго собранія во Франкфуртѣ будутъ имѣть возможность исправить
недостатки конституціи. По этимъ только соображеніямъ они не счи-
тали возможнымъ отказать въ своей подписи.

Таковъ былъ конецъ нѣмецкаго вопроса, таково было начало сейма.
Одиннадцатаго іюня подписанъ былъ союзный договоръ, двумя днями
раньше — заключительный актъ конгресса. Когда уполномоченные разъ-
ѣхались изъ Вѣны, война была уже въ самомъ разгарѣ. Посреди
трудовъ по укрѣпленію европейскаго мира они были поражены вѣстью
о возвращеніи великаго нарушителя мира. «Отлично! — это насъ рас-
шевелить», воскликнулъ Гумбольдтъ при полученіи извѣстія, вызвав-
шаго въ однихъ страхъ, въ другихъ предательскія надежды. Отъ
угрожающей возможности войны онъ ожидалъ болѣе сильнаго воздѣй-
ствія на остановившіяся дѣла, нежели отъ застоя, быстро охватив-
шаго все, благодаря зависти, интригамъ, и раздорамъ. Да и нужно было
торопиться, — приходилось имѣть дѣло съ быстрымъ челоуѣкомъ и
съ быстрымъ народомъ. Наполеонъ также быстро очутился въ ре-
зиденціи Людовика XVIII, какъ прежде въ столицахъ Австріи и Прус-
сіи. Въ то время, какъ еще заняты были собираніемъ и возсозда-
ніемъ перепутанныхъ Наполеономъ государствъ и троновъ Европы,
краеугольный камень новаго порядка — бурбонская Франція была уже
снова распатана. На мирномъ конгрессѣ пришлось вслѣдствіе этого
готовиться къ новой войнѣ; поэтому первое заявленіе, направленное
противъ Наполеона восьмью членами, подписавшими парижскій миръ,
еще носятъ на себѣ слѣды поспѣшности и неприготовленности. По-
слѣдовало возобновленіе четырьмя великими державами шомонскаго
договора, а затѣмъ цѣлый рядъ присоединенныхъ договоровъ съ
другими государствами. Тутъ нашлась для Гумбольдта новая работа,
въ мартѣ и апрѣлѣ, какъ при отдѣльныхъ договорахъ съ болѣе
крупными государствами, такъ и при общихъ совѣщаніяхъ по во-
просу объ участіи болѣе мелкихъ нѣмецкихъ государствъ. Въ по-
слѣднихъ онъ сдѣлалъ немаловажную попытку оградить заранѣе ин-
тересы Пруссіи и ея будущее положеніе въ Германіи. Такова была

цѣль постановленія въ первой статьѣ договора, чтобы присоединеніе войскъ мелкихъ государствъ къ большимъ арміямъ происходило сообразно «географическому положенію этихъ государствъ». Послѣ преимуществъ, достигнутыхъ Австріей въ южной Германіи—преимуществомъ, которыхъ она посредствомъ конституціи имѣла въ виду достигнуть во всей Германіи, необходимо было гарантировать гегемонію Пруссіи на свѣрхъ и утвердить за Майномъ значеніе предѣльной линіи австрійскаго вліянія. Это ему не вполне удалось. Какъ защитникъ независимости мелкихъ гравителей онъ долженъ былъ довольствоваться тѣмъ, что ему удалось обезвредить предложенное Гагерномъ добавленіе, — что при присоединеніи должны быть свѣрхъ того принимаемы въ соображеніе спеціальныя отношенія мелкихъ государствъ, — тѣмъ именно, что, по его предложенію, кромѣ географическаго положенія рѣшающее значеніе должно принадлежать военной цѣлесообразности¹⁾.

Теперь наконецъ и Гумбольдтовы занятія въ Вѣнѣ окончились. Однимъ изъ первыхъ прибылъ онъ туда, а уѣхалъ онъ оттуда однимъ изъ послѣднихъ. Занятый до половины іюня заключительными трудами конгресса, онъ покинулъ городъ съ нѣсколькими другими запоздавшими только тогда, когда Блюхеръ и Веллингтонъ уже выиграли сраженіе при Бель-Альянсѣ (Belle-Alliance); на пути въ Берлинъ узналъ онъ о побѣдѣ. Несмотря на то онъ не думалъ, что конецъ борьбы такъ близокъ. Еще менѣе разсчитывалъ онъ на второе вступленіе въ Парижъ, ибо нечасто, полагалъ онъ, на небольшихъ пространствахъ историческаго пути повторяются одни и тѣ же повороты. Маршалъ «Впередъ» и Гнейзенау доказали несправедливость этого историко-философскаго умозаключенія. Въ то время, какъ Гумбольдтъ въ Берлинѣ снова принялся за своего Эсхила, чтобы на досугъ, при содѣйствіи Вольфа, отдѣлать свой переводъ, мстительный рокъ быстро проявилъ свою силу надъ дерзновеннымъ челоуѣкомъ. Поэзія осталась позади дѣйствительности. Въсть болѣе поразительная, нежели та, которую нѣкогда возвѣстили огненные знаки сторожу на крышѣ дома аттридовъ, облетѣла Европу. Также быстро почти, какъ въ трагедіи прибытіе Агамемнона слѣдуетъ за извѣстіемъ о паденіи Трои, такъ капитуляція непріятельской столицы слѣдовала за пораженіемъ Наполеона при Ватерлоо. Снова пришлось Гумбольдту прервать свою научную дѣятельность для дипломатической. Онъ имѣлъ право надѣяться, что она приведетъ на этотъ разъ къ болѣе отряднымъ результатамъ, чѣмъ въ Вѣнѣ и въ первый разъ въ Парижѣ: вѣдь, теперь пруссакамъ приходилось дѣлать труды и лавры только съ англичанами. Предстояла, казалось, легкая и славная задача: съ умѣренностью опредѣлять и съ рѣшительностью потребовать награду

¹⁾ См. Gzgerg, I. c., II, 164, 165: ср. Klüber, II, 280. *Traité d'accession* статья 1.

за побѣду, въ которой даже зависть не могла-бы отказать храброму прусскому войску. Торжествуя побѣду, ѣхалъ Гумбольдтъ черезъ Франкфуртъ въ Парижъ. Въ Саарбрюкенѣ опъ присоединился къ Гарденбергу и остальному дипломатическому персоналу; его присутствіе не мало содѣйствовало общей веселости и спокойствію ¹⁾.

Однако же ему вскорѣ пришлось совершенно разочароваться. Въ противность всякимъ ожиданіямъ, необыкновенно быстрымъ и счастливымъ успѣхомъ союзнаго оружія пришлось воспользоваться не побѣдителямъ, а скорѣе побѣжденнымъ. Опасность, еще разъ угрожавшая Европѣ и устраненная теперь однимъ ударомъ, казалось, не могла уже никогда болѣе возобновиться. Въ моментъ побѣды разорвалась связь, соединявшая чрезвычайно противорѣчивые интересы державъ, сплотившихся противъ наполеоновской Франціи. Болѣе старыя отношенія и болѣе естественныя связи выступили на первый планъ, какъ только исчезъ неестественный гнетъ, производимый Наполеономъ въ цѣлой части свѣта, какъ только исчезъ страхъ передъ преобладающею силой Франціи. Это проявилось уже на Вѣнскомъ конгрессѣ и должно было еще ярче проявиться, когда послѣ конгресса европейскія государства получили новое устройство и вновь обрѣли центръ тяжести своихъ коренныхъ интересовъ. Не воспоминанія о недавнемъ прошломъ направляли политику монарховъ и государственныхъ дѣятелей, а соображенія о послѣдующемъ положеніи и планы на будущее время. Въ этихъ соображеніяхъ и планахъ безопасность въ отношеніи новыхъ завоевательныхъ стремленій Франціи имѣла значеніе только для Германіи и прежде всего для Пруссіи. Всего менѣе соотвѣтствовало ослабленіе Франціи интересамъ Россіи. Она должна была освободиться отъ вліянія, которое на нее имѣлъ черезъ императора Александра Штейнъ, чтобы вернуться къ старымъ традиціямъ своей политики, къ завѣщанію Петра Великаго. Она не должна была рисковать плодами своей дѣятельности въ качествѣ охранительницы и защитницы, освобождая нѣмецкія государства на будущее время отъ надобности обращаться къ ея помощи. Она не могла желать, чтобы Германія и Пруссія стали самостоятельными и сильными и всего менѣе могла желать, чтобы это совершилось на счетъ Франціи. Въ душѣ императора Александра возникла мысль, воспламенившая всю его фантазію—мысль, поддерживаемая графомъ Каподистріа съ тѣмъ молчаливымъ рвеніемъ, на какое способенъ патриотизмъ отпрыска народа, изнемогающаго подъ игомъ рабства. Въ Парижѣ Александръ мечталъ о Византіи, а Каподистріа много уже лѣтъ лелѣялъ проэктъ освобожденія Греціи. Только во Франціи можно было надѣяться найти для этого византійско-греческаго проэкта союзницу,

¹⁾ Varnhagen: Denkwürdigkeiten VII, 142 и сл.

которая парализовала-бы возможное со стороны Англіи и Австріи противодѣйствіе. Защитить слабого, поднять павшаго было въ интересахъ, а также и во вкусѣ рыцарственнаго государя; играть роль великодушнаго щекотало его самолюбіе и въ тоже время соотвѣтствовало его цѣлямъ. Лестъ французовъ. совѣты, съ одной стороны—Каподистріи, разсчитывавшаго на освобожденіе своего отечества, а съ другой—Попцо ди Борго, добывавшагося портфеля французскаго министра—вотъ та атмосфера, въ которой находился Александръ I, ставшій на сторону побѣжденныхъ и воспротивившійся нанесенію Франціи какого-бы то ни было ущерба.

Удивительнѣе и ненатуральнѣе было то, что эти принципы милосердія раздѣлялись Веллингтономъ и Кастльро, ибо политика Веллингтона не совпадала съ интересами Англіи и рѣзко противорѣчила общественному мнѣнію страны. Несмотря на то, взгляды благороднаго герцога были, конечно, англійскіе. Это было совершенно по-англійски не увлекаться пріобрѣтеніемъ выгодъ, которыя, поскольку они заключались въ территоріальныхъ уступкахъ, не могли быть полезными инсулярному государству. Также точно расчетъ инсулярнаго эгоизма повелѣвалъ избѣгать вслкой комбинаціи, которая могла бы снова вовлечь Англію въ континентальную войну. Таковы были воззрѣнія Веллингтона-политика; другія основанія были у полководца; еще другія имѣли свой источникъ въ его личныхъ близкихъ отношеніяхъ съ Фушэ и Талейраномъ. Его мнѣнія были также и мнѣніями Кастльро. Специально послѣднему принадлежали развѣ только доводы въ родѣ того, что въ политикѣ безопасность въ теченіе семи или десяти лѣтъ составляетъ максимумъ того, что доступно человѣческому разуму. Совершенно зависимый отъ Веллингтона, его лордство былъ очень доволенъ, что въ согласіи Франціи на запрещеніе торговли неграми обладалъ талисманомъ, который долженъ былъ защищать его противъ неудовольствія парламента. Противъ этого ничего не помогли Пруссіи услуги, оказанныя ею Англіи на полѣ битвы. Именно ея сторонники самымъ позорнымъ образомъ ее покинули и разстроили ея планы.

Ей пришлось обратиться къ поддержкѣ Австріи, Нидерландовъ и средне-нѣмецкихъ государствъ. Однако поддержка послѣднихъ могла имѣть значеніе только при самомъ мудрому пользованіи ею; Нидерланды же только въ томъ случаѣ могли бы оказать болѣе вѣскую помощь, если-бы имъ удалось заручиться голосомъ Англіи; наконецъ, помощь Австріи была въ высшей степени ненадежною, ибо это была помощь злонамѣннаго интригана и зложелательнаго соперника. Вынужденная дѣйствовать съ такими союзниками и наученная прежнимъ опыгомъ, Пруссія должна бы формулировать своевременно свои требованія, она должна была поставить свои условія до начала войны. Въмѣсто этого подписаны были прокламація и союзный договоръ,

которые могли служить теперь оружіемъ противъ нея же. Еще другія ошибки сдѣланы были въ Парижѣ. Къ чести Гумбольдта нужно однако-же сказать, что онъ и за нихъ очень мало отвѣтствененъ. Снова далъ онъ доказательства своей удивительной рабочей силы. Гарденберга вначалѣ серьезное нездоровье держало вдали отъ дѣлъ, поэтому второму уполномоченному пришлось поработать за него такъ, что онъ послѣ того и самъ захворалъ. Рѣдко, кромѣ обѣденныхъ досуговъ, можно было его видѣть. Днемъ и ночью не переставалъ онъ неутомимо цѣлыми часами писать, а затѣмъ писалъ и въ мельчайшіе промежутки безчисленныхъ перерывовъ—и «всегда съ одинаковою ясностью, умомъ и увѣренностью» ¹⁾. Но это была еще наименьшая изъ его заслугъ, ему принадлежить большая, а именно: онъ старался вездѣ исправлять или дѣлать безвредными ошибки другихъ. Никто не былъ болѣе его пруссакомъ, притомъ пруссакомъ въ болѣе высокомъ смыслѣ. Никто не защищалъ единственно разумное съ большимъ рвеніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ съ большимъ достоинствомъ и чувствомъ мѣры. Однимъ словомъ, никогда еще его дипломатическіе таланты и политическій характеръ не проявлялись съ такимъ блескомъ и благородствомъ.

Немало также повредило пруссакамъ въ Парижѣ грубо-солдатское поведеніе Блюхера и Гнейзенау. Оно вредило тѣмъ болѣе, что рѣзко отличалось отъ рыцарственности Александра I и джентльменства англійскаго полководца. Но болѣе совершеннаго контраста, какъ воинственный Блюхеръ и тонкообразованный Гумбольдтъ, нельзя было себѣ представить. Характеристическую сцену изъ первой эпохи пребыванія ихъ въ Парижѣ передаетъ намъ очевидецъ ²⁾. Гумбольдтъ и другіе члены прусской дипломатіи сидѣли за столомъ въ гостинницѣ *Rocher de Cancale*, когда туда пришли Блюхеръ и Гнейзенау. Только что успѣли они сѣсть, какъ старый рубака открылъ клапанъ. Онъ кричалъ и бранилъ Бурбоновъ, и графа Мюнстера и присутствующихъ и отсутствующихъ. И на Гумбольдта обратилъ онъ свои любезныя выходки: было-бы гораздо лучше, по его мнѣнію, если-бы онъ и другіе дипломаты не пріѣзжали, они навѣрное опять все испортятъ. Честь пера и слова стояла противъ чести меча, и Гумбольдтъ стужѣлъ ее поддержать. «Никогда кажется», говоритъ Варнагенъ, «болѣе разнородныя силы не стояли другъ противъ друга.» Какое оружіе лучше—дубина или сабля—осталось невыясненнымъ, ясно было одно: Гумбольдтъ не былъ въ проигрышѣ, и когда противники нѣсколько столковались, они чокулись за добрый успѣхъ и за полное согласіе». Въ главномъ, дѣйствительно, оба были со-

¹⁾ Varnhagen, I. с. стр. 200 и 201.

²⁾ Varnhagen, I. с., стр. 170.

гласны. Въ одномъ пунктѣ Гумбольдтова дипломатія сильно поддерживала настойчивую грубость Блюхера. Какъ Блюхеръ былъ первымъ, настаивавшимъ при капитуляціи Парижа на возвращеніи награбленныхъ французами сокровищъ искусства и литературы, такъ и Гумбольдтъ употреблялъ все свое вліяніе, чтобы не оставлено было въ рукахъ грабителей ничего, что можно потребовать обратно. Прежде всего его стараніямъ, какъ во Франціи, такъ и въ Италіи обязана гейдельбергская бібліотека тѣмъ, что получила обратно драгоценнѣйшую часть своихъ литературныхъ сокровищъ, увезенныхъ во время тридцатилѣтней войны въ Римъ и частью, во время революціонныхъ войнъ, перешедшихъ въ Парижъ ¹⁾. Впрочемъ, въ случаяхъ, когда дипломатъ долженъ былъ выступить противъ солдата, какъ это имѣло мѣсто въ гостинницѣ Rocher de Casale, недостатка не было. Онъ старался примирять тамъ, гдѣ поведение Блюхера оскорбляло ²⁾, онъ старался согнуть то, что тотъ хотѣлъ сломать, — и не онъ виноватъ, если въ концѣ-концовъ сила прусскаго просвѣщенія и ума признана была нисколько не болѣе удобною, нежели грубый образъ дѣйствія прусской солдатчины.

Не только рядомъ съ Блюхеромъ, но и въ сравненіи съ Гарденбергомъ Гумбольдтъ является и болѣе проницательнымъ, и болѣе предусмотрительнымъ. Подобно тому какъ въ Вѣнѣ, во время совѣщаній о нѣмецкой конституціи, Пруссія не воспользовалась возможностью путемъ привлеченія болѣе мелкихъ государствъ создать себѣ съ самаго начала помощь и противовѣсъ противъ Австріи, Баваріи и Вюртемберга, такъ и теперь въ Парижѣ, вопреки союзнымъ постановленіямъ, устранены были: отъ участія въ мирныхъ переговорахъ государства второго и третьяго ранга, справедливо настаивавшія на допущеніи. Нота, подписанная также и прусскими уполномоченными, извѣщала ихъ, что въ данный моментъ—10 августа—имѣются въ виду только подготовительныя и предварительныя совѣщанія. На самомъ же дѣлѣ, рѣчь шла о тѣхъ именно совѣщаніяхъ, которыя должны были имѣть дѣйствительно рѣшающее значеніе; но, конечно, голоса Баваріи, Вюртемберга и Ганновера мало могли помочь, когда голосъ Пруссіи былъ уже въ «*délibérations préalables*» заглушенъ остальными тремя державами. Есть основаніе думать, что Гумбольдтъ все это прекрасно понималъ; самоимѣніемъ Пруссіи, какъ великой державы, онъ по меньшей мѣрѣ не увлекался. Три недѣли спустя, въ бесѣдѣ съ Гагерномъ, онъ не находилъ словъ для порицанія системы «великаго союза и четырехъ державъ», и самымъ рѣзкимъ образомъ высказывался противъ ненадежности, высокомерія и несправедливости четырехъ дер-

¹⁾ Подробности у Wilken'a (Gesch. der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen).

²⁾ Gager: Der zweite Pariser Frieden, I, 140 и сл.

жавъ. Онъ далъ нидерландскому посланнику еще ранѣе доказательство такого образа мысли, — доказательство того, что онъ умѣлъ въ полной мѣрѣ цѣнить значеніе для Пруссіи дружбы Нидерландовъ. Цѣлый рядъ недоразумѣній вызвалъ со стороны Пруссіи сильное неудовольствіе противъ нидерландскаго правительства, и Гарденбергъ слишкомъ ясно показывалъ посланнику этого правительства свое неудовольствіе. Гумбольдтъ выступилъ въ качествѣ миротворца и посредника. Съ перваго же момента старался онъ идти на встрѣчу любезности Гагерна и придать ихъ отношеніямъ тонъ, къ которому и канцлеръ выпущенъ былъ вскорѣ присоединиться ¹⁾.

Канцлеру, на самомъ дѣлѣ, можно сдѣлать еще болѣе серьезный упрекъ: слишкомъ рано, можетъ быть, выступилъ онъ — мы заимствуемъ обвинительную формулу у Гервинуса ²⁾ — съ большими требованіями, поддержать которыя у него послѣ не хватило ни мужества, ни силы. Въ виду существовавшего противъ Пруссіи недоброжелательства, онъ долженъ былъ требовать меньше для Пруссіи и больше для Германіи. Но къ Гумбольдту эти упреки не относятся. Никто не обладалъ въ такой мѣрѣ тѣмъ «великимъ патриотическимъ смысломъ», который ставилъ выше всего интересы Германіи и именно въ нихъ усматривалъ выгоду Пруссіи. «Пруссія», сказалъ онъ Гагерну, спустя нѣсколько дней по пріѣздѣ въ Парижъ, «Пруссія мало чего желаетъ, но вы должны быть сильнѣе, — вы должны имѣть болѣе крѣпостей, и территорію; постарайтесь только убѣдить въ томъ англичанъ» ³⁾. Таковъ былъ его взглядъ сначала и до конца. Въ качествѣ единственнаго фрагмента его необыкновенно обширной дѣятельности въ эпоху парижскихъ совѣщаній мы имѣемъ мемуаръ, въ которомъ онъ, въ началѣ августа, развиваетъ свой взглядъ на вознагражденіе и гарантіи, которыя должны быть потребованы отъ Франціи ⁴⁾. Ничего не можетъ быть болѣе дѣльнаго, патриотическаго, тактичнаго и болѣе свободнаго даже отъ тѣни эгоистическихъ притязаній. Мемуаръ касается ядра тѣхъ вопросовъ, вокругъ которыхъ все тогда вращалось, онъ вводитъ насъ непосредственно въ ходъ совѣщаній во всей ихъ совокупности.

Въ совершенно отвлеченной формѣ, какъ онъ самъ говоритъ, открылъ Каподистриа, послѣ первыхъ конференцій четырехъ державъ,

¹⁾ Gagern: Der zw. Par. Frieden, passim.

²⁾ Gerwinus: Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, I. 246.

³⁾ Gagern, стр. III и письмо его къ Штейну у Пертца, IV, 481.

⁴⁾ Mémoire devant servir de réfutation à celui du comte de Capo d'Istria G. W. VII, 279 и сл., по Schaumann'у, Geschichte des zweiten Pariser Friedens (Шауманъ, Ист. второго парижск. мира) Anhang стр. XXVII и сл. Въ собр. соч. этотъ мемуаръ не былъ однако исправленъ по болѣе вѣрному тексту, которымъ воспользовался Пертцъ; ср. его: Leben Stein's IV. 600, примѣч. 27 и 28.

удивительнымъ документомъ обсужденіе главныхъ пунктовъ вопроса о мирѣ. Даже послѣ измѣненій, внесенныхъ въ актъ рукою государя, онъ имѣлъ скорѣе характеръ французскаго, нежели русскаго мемуара. Авторъ выводитъ изъ подписанныхъ союзниками при началѣ войны прокламаций, что завершеніемъ войны должны быть охрана и умиротвореніе Франціи. Побудительною причиною войны была необходимость поддержать условія парижскаго мира и новаго учрежденнаго въ Вѣнѣ европейскаго порядка, поэтому всякое нарушеніе французской территоріи будетъ противорѣчить этой цѣли. Союзники признали Людовика XVIII во время деспотическаго управленія Наполеона, поэтому на нихъ лежитъ обязанность укрѣпить его тронъ; принуждая его къ унижительнымъ уступкамъ, они умаляютъ его авторитетъ и колеблютъ его тронъ. Отъ этого зависитъ спокойствіе и безопасность Европы, которая могутъ быть поддержаны матеріальными или нравственными гарантіями. Впрочемъ, послѣдній родъ гаранцій фактически заключаетъ въ себѣ и первый. А именно: какъ только Людовикъ XVIII, съ согласія союзниковъ, преобразуетъ свое государство такъ, что революція окажется подавленою, то самая возможность того, что всякое новое потрясеніе государственнаго строя привлечетъ на французскую территорію союзныя войска, будетъ лучшею уздой для подавленія страстей, вѣрнѣйшимъ средствомъ для поддержанія спокойствія, порядка и мира. Слѣдовательно, этимъ устраняется нарушеніе французской территоріи. Достаточно оккупировать Францію войсками до тѣхъ поръ, пока не явится убѣжденіе въ прочности новаго государственнаго порядка. Далѣе, отъ контрибуціи побѣжденные, конечно, не могутъ быть освобождены, но она должна быть умѣрена и теперь уже должно быть принято въ соображеніе допущеніе въ будущемъ ея облегченія. Обо всемъ этомъ, наконецъ, слѣдуетъ сговориться съ французскимъ правительствомъ какъ можно скорѣе и дружественнѣе, ибо ошибочно думать, что союзники находятся во враждебной и завоеванной странѣ: здѣсь миръ заключается не съ врагомъ, а съ союзникомъ.

Передъ этою русско-французскою логикой, поддержанною вскорѣ потою Талейрана и одобренною Веллингтономъ и Кастльро, на долю нѣмецкихъ государствъ выпала задача стать на защиту здраваго смысла и истинныхъ интересовъ не только Германіи, но и всей Европы. Это было сдѣлано съ полнѣйшей обдуманностью въ запискѣ Гумбольдта.

Въ этомъ мемуарѣ устраняется прежде всего основная предпосылка въ утвержденіяхъ противниковъ. Совершенно ложень, такъ говорятъ онъ, выводъ, сдѣланный изъ прокламаций союзниковъ отъ 13 и 25 марта и 12 мая, ибо положеніе державъ по отношенію къ Франціи постоянно измѣнялось въ зависимости отъ событій. Уже 25 марта отношеніе къ Франціи и къ Людовику XVIII было иное, нежели 13 марта. Еще позднѣе ихъ союзъ принималъ рѣшительно характеръ союза противъ Франціи въ

защиту безопасности самихъ державъ. Затѣмъ послѣдовала война, рѣшительное сраженіе, вступленіе въ Парижъ. «Нужно извратить всѣ понятія и измѣнить по произволу значеніе словъ, чтобы отрицать, что Франція стала теперь врагомъ союзниковъ, и что покоренная часть ея есть ихъ завоеваніе». Людовикъ XVIII нлчѣмъ не способствовалъ успѣху. Тщетна также совершенно и попытка освободить французскій народъ отъ всякой вины: воля народа посадила Наполеона снова на престолъ; національная армія сражалась за него при Ватерлоо, и союзникамъ было-бы фактически невозможно отдѣлать націю отъ узурпатора. Взятіе Парижа, правда, измѣнило снова положеніе вещей. Мало-по-малу, дѣйствительно, возстановлялось положеніе вещей, какъ оно было передъ кризисомъ, но тутъ есть однако же двойная и коллоссальная разница. Мы имѣемъ за собой огромный опытъ. мы убѣдились въ ненадежности и неустойчивости престола бурбоновъ, а также въ томъ, какъ много враждебнаго горючаго матеріала все еще накоплено во Франціи. Оплаченъ этотъ опытъ дорогими жертвами. Противъ обнаружившейся опасности нужны гарантіи, за принесенныя жертвы нужно удовлетвореніе. И во-вторыхъ: развѣ королевская власть уже укрѣплена, потому что Франція внѣшнимъ образомъ ей снова подчинилась? Если-же нѣтъ, то возможно-ли уже теперь разсматривать короля и Францію какъ одну и ту же власть? Таковъ, безъ сомнѣнія, историческій ходъ и фактическое положеніе вещей. Но конечнымъ мотивомъ войны была безопасность Европы. Отсюда слѣдуетъ, что союзники имѣютъ неоспоримое право требовать отъ Франціи и ея правительства все, что они полагаютъ въ интересахъ этой безопасности необходимымъ, не считаясь ни съ какими другими соображеніями. Отсюда слѣдуетъ, что такъ какъ они вынуждены были одни начинать и кончать войну, то они одни только имѣютъ право рѣшать, что необходимо для того, чтобы избавить ихъ въ будущемъ отъ подобныхъ же жертвъ. Отсюда непосредственно слѣдуетъ, что они имѣютъ такое же право требовать и территориальныхъ уступокъ. Имѣютъ право: ибо, допустимъ даже, что возможно было-бы безъ всякихъ оговорокъ сослаться на упомянутыя не разъ уже прокламаціи, — но въдн договоръ 25 марта, ни прокламаціи отъ 13 марта и 12 мая не заключаютъ въ себѣ прямого обѣщанія не касаться границъ Франціи. Даже обязательство соблюдать парижскій миръ не имѣетъ этого смысла. Ясно, что вовсе не имѣлось въ виду связать себѣ такимъ образомъ по отношенію къ Франціи руки, — это союзники между собою условились не допускать измѣненія парижскаго мира въ ущербъ своимъ интересамъ. Совершенно справедливо, что настоящая война не есть завоевательная война, но развѣ завоеваніе перестаетъ вслѣдствіе этого быть фактомъ? И развѣ требовать вмѣсто территоріи денегъ не значить пользоваться тѣмъ-же правомъ завоеванія? Если мы не имѣемъ права нарушать территорію Франціи, то въ силу ка-

кого права должна она приносить жертвы для сохраненія своей цѣлости?

Если дѣло такъ обстоитъ съ правовымъ вопросомъ, то остается рѣшить, какого рода гарантіи и вознагражденіе являются наиболѣе цѣлесообразными. Для этого представляются два пути. Можно гарантировать себя противъ будущей опасности, успокоивъ Францію внутренне, завершивъ революцію. И можно обезопасить себя, измѣнивъ, преходящими или постоянными средствами, силы Франціи по отношенію къ сосѣднимъ государствамъ такъ, чтобы лишить ее возможности нарушить въ будущемъ ихъ права. Прекрасна, безъ сомнѣнія, попытка идти первымъ путемъ. Но здравая политика должна всегда держаться главнымъ образомъ того, что она вполне въ состояніи сдѣлать. Союзники въ состояніи произвести сообразное обстоятельствомъ распредѣленіе наступательныхъ и оборонительныхъ силъ. Они не въ состояніи успокоить Францію внутренне, умѣрить страсти, направить интересы всѣхъ на сохраненіе законной власти. Трудно составить себѣ представленіе объ общественномъ мнѣніи во Франціи, еще труднѣе оказывать на него непосредственное воздѣйствіе. И даже право не такое вышестательство сомнительнѣе, нежели право заботиться о собственной безопасности. Собственными силами должно отнынѣ держаться французское правительство, ибо революція явилась слѣдствіемъ его слабости: она врядъ-ли прекратится, пока иностранныя державы будутъ опекать Францію. Остается, слѣдовательно, только второй путь — измѣненіе взаимнаго соотношенія силъ европейскихъ государствъ. Изъ всѣхъ пригодныхъ для этого способовъ самый простой заключается въ томъ, чтобы предоставить смежнымъ съ Франціей государствамъ безопасную границу, отдавъ имъ въ качествѣ средства для обороны тѣ самыя крѣпости, которыми Франція, съ тѣхъ поръ какъ онѣ находятся въ ея владѣніи, всегда пользовалась, какъ опорными пунктами для нападенія. Это не обуславливаетъ собою существеннаго измѣненія постановленій Вѣнскаго конгресса, — напротивъ, охрана независимости Германіи и Нидерландовъ совершенно соотвѣтствуетъ духу этихъ документовъ: Бельгія выиграла-бы при этомъ нѣсколько важныхъ пунктовъ; для Германіи облегчилось бы такимъ образомъ соглашеніе между Австріей и Баваріей—вопросъ, оставленный вѣнскими договорами открытымъ. «Пруссія достаточно выиграла-бы отъ подобнаго усиленія сосѣдей и потому могла-бы ограничиться очень немногими требованіями, направленными къ завершенію ея собственной системы обороны». Таковы естественныя, самсю природой вещей данныя и безопасныя средства ослабить Францію: ибо не только со времени Наполеона или революціи распространяеть она свои завоевательныя стремленія противъ Бельгіи и Германіи! А съ другой стороны, Германія есть государственно по существу миролюбивое, и затѣмъ ей все еще

приходится главнымъ образомъ требовать возвращенія прежнихъ несправедливыхъ захватовъ. Въ силу этого всѣ другія предложенныя для ослабленія Франціи средства невозможны или даже несправедливы. Особенно нецѣлесообразно предложеніе оккупировать Францію войсками, чтобы этимъ путемъ ознакомиться съ внутреннимъ состояніемъ страны; нецѣлесообразно также взиманіе значительной контрибуціи, которую сосѣднія государства могли бы употребить на сооруженіе пограничныхъ крѣпостей. Это значитъ смѣшивать понятія охраны и вознагражденія, это значитъ создать очевидное неравенство между союзниками, ибо такимъ образомъ были бы отягощены только сосѣднія съ Франціей государства. Далѣе, уступка территоріи забывается, тогда какъ нѣтъ ничего обиднѣе для гордаго народа, какъ продолжительное присутствіе въ странѣ чужеземныхъ войскъ: это обида, чувствуемая всеми и ежедневно—обида, за которую, конечно, придется поплатиться правительству. Но что важнѣе всего—предложенное средство вовсе не соотвѣтствуетъ своей цѣли: оно слишкомъ мало усиливаетъ сосѣднія государства и въ то-же время оставляя въ рукахъ французовъ главные наступательныя средства, раздражаетъ и возстановляетъ ихъ до крайности. Въ виду всего этого становится совершенно яснымъ, что, какъ интересамъ союзниковъ, такъ и интересамъ французскаго королевства болѣе всего соотвѣтствуетъ уступка территоріи съ цѣлью усиленія нидерландскихъ, нѣмецкихъ и швейцарскихъ границъ—въ качествѣ гарантіи—и выплата контрибуціи—въ качествѣ вознагражденія. Въ одномъ пунктѣ своего мемуара Каподистрія былъ неоспоримо правъ: настоятельно необходимо безотлагательно придти къ соглашенію какъ относительно гарантіи, такъ и относительно вознагражденія, вступить по этому предмету въ переговоры съ французскимъ правительствомъ и заключить договоры между Франціей и союзниками.

Таковы были приблизительно ходъ мыслей и содержаніе мемуара, относительно котораго мы только съ трудомъ могли воздержаться отъ того, чтобы не передать его еще полнѣе и дословнѣе: мы утратили-бы навсегда довѣріе къ собственному сужденію, если-бы могли допустить, что пристрастіе біографа заставляетъ насъ преувеличивать значеніе этой работы. По нашему мнѣнію, это самый блестящій дипломатическій документъ изъ всѣхъ, которые были составлены въ эпоху совѣщаній второго парижскаго мира. Самымъ яснымъ образомъ доказывается въ немъ, что прусская точка зрѣнія есть точка зрѣнія нѣмецкая, и что нѣмецкая и европейская точка зрѣнія тождественны:—здѣсь сосредоточено все, что могло быть приведено въ доказательство этого воззрѣнія. Меттерниху, Штейну и Гегерну не оставалось ничего прибавить къ мыслямъ, развитымъ Гумбольдтомъ. Мемуары Клезебека и Бойена глубже выжили въ военную точку зрѣнія, но во всемъ остальномъ они могли только повторить то, что было уже сказано и сказано прекрасно. Мемуаръ Гарден-

берга имѣеть то преимущество, что онъ формулируетъ болѣе опредѣленнымъ образомъ требованія относительно уступокъ; но именно здѣсь онъ несвоевременно перехватилъ черезъ край, въ другихъ отношеніяхъ это не болѣе какъ дурно составленное извлеченіе изъ мемуара Гумбольдта. Иначе и быть не могло, ибо мемуаръ этотъ былъ образцомъ справедливости, умѣренности и здраваго разсужденія; какъ въ смыслѣ разумности и цѣлесообразности, такъ и въ смыслѣ критики превратнаго и нецѣлесообразнаго ничего нельзя было прибавить. Можно ли было привести что-нибудь противъ правильности приведенныхъ фактовъ или ихъ толкованія? Могъ-ли разумный человѣкъ отрицать здравость основаній, на которыя разложенъ былъ вопросъ внутренняго умиротворенія Франціи или внѣшняго спокойствія Европы? Оставался-ли въ русскомъ мемуарѣ хоть одинъ аргументъ, который не былъ бы имъ сокрушенъ, хоть одинъ софізмъ, который не былъ бы имъ разрушенъ? Возможно-ли было ихъ полнѣе опровергнуть, или, вѣрнѣе, былъ-ли когда дипломатическій документъ безпощаднѣе растерзанъ, ископанъ и растоптанъ?

Дѣйстви тельно, одно преимущество имѣеть эта работа—преимущество, которое отличаетъ ее отъ всѣхъ остальныхъ дипломатическихъ работъ Гумбольдта. Всѣ онѣ, насколько онѣ намъ извѣстны, носятъ на себѣ печать его высокообразованнаго и тонкаго ума. Всѣ онѣ обнаруживаютъ передъ нами человѣка выдающагося ума, искусство владѣющаго какъ формами языка, такъ и формами логики; всѣ онѣ представляютъ собою образцы политическаго такта и дипломатическаго этикета, но иногда самое свойство задачи превращало его остроуміе въ хитрость; порою разумъ его утончался до такой степени, что онъ становился софистическимъ; иногда, какъ выражается Варягагенъ, предметъ до такой степени опутывается, что въ концѣ-концовъ вмѣсто него видишь только окружающую его сѣть; иногда, и даже довольно часто, форма такъ гладка и холодна, что сквозь искусную діалектику чувствуется пропасть, отдѣляющая политическую тему отъ болѣе глубокаго внутренняго интереса пишущаго. Но одинъ этотъ мемуаръ совершенно свободенъ отъ всѣхъ этихъ недостатковъ. Въ немъ нѣтъ ни одной фразы, продиктованной исключительно разсудкомъ: каждое его слово проникнуто живымъ убѣжденіемъ. Онъ не вращается вокругъ предмета, не ходитъ вокругъ да около, а прямымъ путемъ направляется къ цѣли; вполнѣ и безъ околичностей высказана вся правда, мемуаръ весь выдержанъ въ самомъ убѣжденномъ, энергичномъ и опредѣленномъ тонѣ, то, что слѣдуетъ сказать, онъ не только говорить вѣрно и ясно, но говорить горячо, съ одушевленіемъ. Видно, что авторъ участвуетъ тутъ головой и сердцемъ, — такой языкъ не обманываетъ. Несправедливость, которую намѣревались совершить по отношенію къ Пруссіи и Германіи, воспламенила его патрістизмъ, жалкая софистика русскихъ, французовъ и англа-

чанъ воспламенила его разумъ, самый холодный изъ всѣхъ когда либо существовавшихъ.

И въ самомъ дѣлѣ, достаточно было основанія говорить горячо; вскорѣ ему пришлось говорить ѣдко и рѣзко. Невозможно было справиться съ упорнымъ неразуміемъ англичанъ и съ подкупленною французскою лестью, волею Александра I. Напрасно высказался Баденъ за прусско-австрійскія предложенія, напрасно старался вюртембергскій кронпринцъ повліять на русскаго государя. Тщетны были старанія Мюнстера и Гагерна, тщетны усилія призванныхъ на помощь Штейна и Гарденберга. Пруссія и Австрія были одиноки и вскорѣ Пруссія была понинута и Австріей. Вначалѣ Меттернихъ прекрасно вторилъ Гумбольдту; онъ первый убѣдительношимъ образомъ показалъ, какъ Франція со временъ Людовика XIV послѣдовательно стремилась къ созданію на своей границѣ на счетъ своихъ сосѣдей системы укрѣпленія и обороны съ существенно агрессивнымъ характеромъ, и рѣзко подчеркнул, что эта оборонительная и фортификаціонная система не столько наполеоновскаго и революціоннаго происхожденія, сколько связана съ тенденціями французскаго королевства. Относительно общаго требованія, что Франція должна лишиться своихъ опорныхъ пунктовъ, онъ былъ совершенно согласенъ съ прусскимъ уполномоченнымъ; того-же, къ сожалѣнію, нельзя было сказать относительно согласія ихъ въ частныхъ требованіяхъ; затѣмъ, можно ли вообще было рассчитывать на Меттерниха? Какъ только этотъ хитрый министръ увидѣлъ, что Россія и Англія рѣшились защищать Францію, онъ тотчасъ-же утѣшился въ утратѣ умѣреннаго выигрыша, предстоявшаго Австріи, гораздо болѣе значительнымъ ущербомъ, предстоявшимъ Пруссіи, слишкомъ высоко поднявшейся благодаря своимъ побѣдамъ. Онъ сталъ искать чего-то средняго, что заключало-бы въ себѣ по немногу и тѣхъ временныхъ гарантій, которыхъ требовали отъ Франціи одни, и тѣхъ постоянныхъ гарантій, которыхъ отъ нея требовали другіе. Въ австрійскомъ духѣ говорилъ онъ вначалѣ о Германіи, еще болѣе въ австрійскомъ духѣ формулировалъ онъ теперь цѣль своей политики въ томъ смыслѣ, что Пруссія и Франція должны быть взаимно «приведены къ соглашенію». Таково было положеніе вещей въ началѣ сентября; Гарденбергъ былъ вынужденъ уступать шагъ за шагомъ; онъ готовился къ послѣдному опроверженію, послѣдному протесту и къ послѣдному робкому предложенію. Въ этотъ именно моментъ видѣлъ Гагернъ Гумбольдта въ крайне взволнованномъ состояніи, которое представлялось особенно поразительнымъ въ такомъ хладнокровномъ и сдержанномъ человѣкѣ. Онъ былъ боленъ отъ слишкомъ усиленныхъ занятій и еще болѣе—отъ негодованія противъ побѣды, которую эгоизмъ и неразуміе торжествовали надъ справедливѣйшимъ изъ дѣлъ. Но подобныя приступы гнѣва, какъ намъ кажется, украшаютъ его; никогда еще его воззрѣнія

и сужденіи не были болѣе здравы. Кастльеро, пустѣйшій и наиболѣе несамостоятельный изъ дипломатовъ, съ его любимымъ выраженіемъ: *features*, — былъ для него посмѣшищемъ уже въ Вѣтѣ; Кланкарти жаловался теперь на холодность въ манерахъ и рѣчахъ прусскаго министра. И эти двое всетаки еще болѣе нравились ему, нежели Веллингтонъ. Безъ стѣсненія критиковалъ онъ въ разговорѣ съ Гагерномъ методу герцога, его легкій, солдатскій тонъ, когда нужно отвѣчать на доводы и дипломатическія ноты. Къ большому еще удивленію Гагерна, онъ не щадилъ даже и Меттерниха; онъ говорилъ о фальшивомъ, двусмысленномъ и лукавомъ характерѣ человѣка, котораго всѣ считали его близкимъ другомъ и повѣреннымъ. Онъ шелъ еще дальше. Въ предчувствіи исхода, угрожавшаго дѣламъ, онъ изливалъ свое негодованіе противъ всей системы союзничества и противъ той солидарности четырехъ великихъ державъ, въ силу которой Пруссія приносила въ жертву себя и интересы Германіи¹⁾.

Съ какимъ горькимъ сарказмомъ въ душѣ долженъ онъ былъ принять извѣстіе о заключеніи еще болѣе нелѣпаго и ребяческаго союза, къ которому императоръ Александръ склонилъ императора австрійскаго и короля прусскаго въ тотъ именно моментъ, когда сдѣлалось совершенно очевиднымъ, что сентиментальность и довѣрчивость въ политикѣ бессильны противъ власти интересовъ и противъ права сильнѣйшаго! Это была выдумка вполне достойная какой-нибудь романистки, занимающейся временно политикой и религіей — дѣлать изъ политики романъ и изъ христіанства интригу. И развѣ Гумбольдтъ не употребилъ-бы всю остроту своего скептицизма, всю силу своего мужественнаго ума, цѣлый зарядъ злѣйшей насмѣшки, чтобы разрушить проэктъ «священнаго» союза, если-бы онъ узналъ о немъ свое-временно? Говорятъ, и намъ это представляется совершенно вѣроятнымъ, что императоръ Александръ прямо условился съ Фридрихомъ Вильгельмомъ, чтобы онъ не говорилъ объ этомъ планѣ Гумбольдту до заключенія союза²⁾.

Такимъ образомъ состоялся помимо него священный союзъ и вопреки ему парижскій миръ. Франція была сведена къ границамъ 1790 года, но это сокращеніе территоріи вовсе не дѣлало ее неспособною къ новымъ нападеніямъ, не обезпечивало Германію и Пруссію и не удовлетворяло ихъ сообразно принесеннымъ жертвамъ. Возмѣщенія за эту безопасность и это удовлетвореніе старался найти въ военной контрибуціи и во временной оккупаци; да и тутъ Ришельё, сдѣлавшійся въ силу вліянія императора Александра преемникомъ

1) Gageru: Der zweite Pariser Frieden I, 218.

2) Schleser III, 313: „по рукописнымъ сообщеніямъ изъ достовѣрнаго источника“.

Талейрана, съумѣлъ добиться существеннаго облегченія. Съ полною покорностью судьбѣ взиралъ государственный канцлеръ на этотъ мизерный результатъ. Въ самой усиленной и добросовѣстной дѣятельности искалъ Гумбольдтъ, какъ онъ дѣлалъ это уже не разъ, убѣжище отъ того пастроенія, которое вызвали въ немъ крушеніе его проэктовъ и пораженіе его взглядовъ. Снова, какъ и въ Вѣнѣ, его привлекли къ наблюденію надъ редактированіемъ главнаго мирнаго договора. До ноября еще тянулись конференціи уполномоченныхъ и только 20 числа этого мѣсяца объявлено было официальное закрытіе. Но и помимо этихъ конференцій было еще много работы. Гумбольдтъ главнымъ образомъ руководилъ работами комиссіи для установленія нормъ различныхъ, опредѣленныхъ парижскимъ миромъ, вознагражденій. Онъ-же долженъ былъ затѣмъ, въ отдѣльныхъ конференціяхъ, вести съ французами переговоры по этому предмету.

25 ноября покинулъ онъ наконецъ Парижъ, ибо хотя ему и предстояло вернуться туда въ качествѣ посла, но еще раньше онъ долженъ былъ принять участіе во Франкфуртѣ въ занятіяхъ, самымъ тѣснымъ образомъ связанныхъ съ установленіемъ мира. Оставался еще въ Германіи цѣлый рядъ нерѣшенныхъ вопросовъ, касавшихся территоріи, обмѣна и вознагражденія для разрѣшенія которыхъ учреждена была особая комиссія. Вессенбергъ съ австрійской, стороны и Гумбольдтъ съ прусской—должны были главнымъ образомъ руководить относящимися сюда совѣщаніями, которыя, по самой своей природѣ были запутаны и требовали много времени. Только въ январѣ 1817 года разошлась комиссія, не рѣшивъ все же окончательно своей задачи. Бодро выдержалъ Гумбольдтъ пробу терпѣнія, которую представляли эти занятія, съ стойческимъ спокойствіемъ переносилъ онъ связанную съ ними безкопечную канцелярскую работу. Очень возможно, что пространность дѣла часто еще увеличивалась благодаря строгой аккуратности и хладнокровію уполномоченнаго. Возможно, что иногда онъ не во время вознаграждалъ себя за сухость занятій тѣми ѣдкими остротами, которыя внушали такой страхъ всѣмъ педантамъ и глупцамъ. При большей практической сноровкѣ можно было-бы, вѣроятно, избѣжать нѣкоторыхъ непріятностей, легче было бы справиться съ чьей-нибудь злой волей. Таково по крайней мѣрѣ было мнѣніе утратившаго терпѣніе оберъ-президента Финке, когда руководимая Гумбольдтомъ передача Пруссіи гессенскимъ правительствомъ Вестфальскаго герцогства затянулась до лѣта 1816 года ¹⁾. Однако врядъ ли честный вестфалецъ былъ въ своемъ нетерпѣніи совершенно безпристрастенъ. Основываясь на слухахъ, говорилъ онъ о творимыхъ имъ безчинствахъ; онъ обвинялъ его въ томъ, что онъ доведетъ дѣло до того, что расзоритъ Пруссію со всѣми нѣмецкими правителями. Сви-

¹⁾ Bodelschwingh: Leben Vinke's I, 615, 616.

дѣтельство Гагерна стоять свидѣтельства Финке. Съ полнымъ одобреніемъ говорить нидерландскій посланникъ о переговорахъ, веденныхъ имъ съ Гумбольдтомъ по поводу Люксембурга и закончившихся договоромъ 8 ноября 1816 года.

Точность и суровость, холодность и рѣзкость прусскаго дипломата, часто неумѣстныя по отношенію къ мелкимъ государствамъ, оказались въ это время очень цѣлесообразными по отношенію къ опаснѣйшимъ соперникамъ Пруссіи. Еще перваго ноября 1815 года долженъ былъ состояться установленный Вѣнскимъ конгрессомъ сеймъ; между тѣмъ наступило уже лѣто 1816 года, и сеймъ все еще не былъ открытъ, все еще не улажена была даже путаница нѣмецкихъ территориальныхъ отношеній. Гарденбергъ все еще не отказывался отъ надежды дать опрометчиво направленнымъ въ Вѣнѣ нѣмцамъ дѣламъ оборотъ, болѣе благоприятный для Германіи и Пруссіи. Онъ не упускалъ изъ виду мысли, на которой построенъ былъ первоначальный, разработанный имъ вмѣстѣ со Штейномъ, проектъ конституціи, — равнаго участія Пруссіи и Австріи въ руководительство союзнымъ собраніемъ. Онъ хотѣлъ, прежде чѣмъ откроется собраніе, добиться отъ Австріи оформленнаго договоромъ признанія этого равенства, къ которому должны были присоединиться и другіе члены союза. Съ проектомъ подобнаго договора и явился назначенный посланникомъ при союзномъ собраніи во Франкфуртъ тайный совѣтникъ фонъ-Генлейнъ. Однако еще разъ пришлось государственному канцлеру пожать плоды той безопасности, которой до сихъ поръ приносились въ жертву, въ рѣшительную минуту, справедливыя притязанія Пруссіи; еще разъ пришлось ему убѣдиться, что значать словесныя обѣщанія въ устахъ людей, для которыхъ забота объ интересахъ Австріи составляла болѣе высокой законъ, нежели тотъ, который повелѣваетъ держать слово. Генлейнъ потерпѣлъ полное фіаско. Графу Буоль-Шауенштейну, представителю Австріи при союзномъ совѣтѣ, давно уже были извѣстны прусскія намѣренія; онъ знакомъ былъ съ главными пунктами проекта и сообщалъ ихъ многимъ изъ остальныхъ посланниковъ при союзномъ сеймѣ; ему не трудно было возстановить ихъ противъ проекта, который угрожалъ претенціозной самостоятельности мелкихъ государствъ двойною властью двухъ наиболее сильныхъ. Отказъ съ его стороны вступить въ переговоры безъ участія остальныхъ посланниковъ, возбужденіе и шумъ, произведенные послѣдними, заставили канцлера отказаться отъ своего намѣренія. Съ усвоенною имъ теперь любовною уступчивостью отказался онъ отъ вышняго уравненія Пруссіи съ Австріей. Онъ заявилъ о количѣшемъ согласіи обѣихъ державъ, какъ о безспорномъ фактѣ и неотъемлемомъ условіи всякаго успѣха. Онъ отозвалъ посланника; вмѣсто него представителемъ Пруссіи при сеймѣ назначенъ былъ бывшій министръ иностранныхъ дѣлъ графъ Гольцъ. Но

Гольцъ не могъ явиться немедленно и естественно, что Гумбольдту было временно поручено исполнять его должность.

Давно уже прошло время, когда Гумбольдтъ охотно занялъ бы франкфуртскій постъ. По тѣмъ-же причинамъ, какъ и Штейнъ, от- казался бы онъ теперь отъ продолжительнаго его занятія. Также какъ Штейнъ и онъ былъ совершенно убѣжденъ въ несовершенствѣ новаго союзнаго правленія; онъ сознавалъ, и высказывалъ это, что тѣ, которые видѣли открытiе настоящаго сейма не доживутъ до открытiя общаннаго ¹⁾. Но при подписанiи союзнаго договора онъ поручился, что будетъ сдѣлана попытка въ самомъ союзномъ собранiи исправить его недостатки,—его честь была замѣшана въ томъ, чтобы загладить поражение, которое прусская политика понесла только-что отъ австрiйской. Онъ сдѣлалъ все, что было въ его силахъ. Въ семи секретныхъ конференцiяхъ, начиная съ 1 октября, обсуждено было предварительное устройство сейма. Порядокъ дѣлъ представлялъ въ этомъ случаѣ вопросъ чрезвычайной важности. При помощи его Пруссiя могла до извѣстной степени возвратить себѣ то, что она утратила въ своемъ положенiи относительно Австрiи. Въ этомъ смыслѣ составилъ Гумбольдтъ проектъ и сзумѣлъ его защитить противъ возраженiй Буоля; Буоль узналъ тутъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло. Онъ нашелъ невозможнымъ продолжать по отношенiю къ этому, далеко превосходящему его по уму и таланту, дипломату ту систему интригъ и тайнаго противодѣйствiя, которую онъ съ такимъ успѣхомъ примѣнялъ къ его предшественнику. Гумбольдтъ искусно и энергично проявилъ превосходство своей личности. Оставался еще одинъ способъ добиться признанiя тѣхъ принциповъ, изъ которыхъ съ полнымъ правомъ исходилъ и государственный канцлеръ. По этому пути и пошелъ Гумбольдтъ. Шагъ за шагомъ, даже при вскрытiи получавшихся изъ Вѣны депешъ, слѣдилъ онъ за своимъ австрiйскимъ коллегою. Рѣшительно заявилъ онъ ему, что для того, чтобы изъ сейма что-нибудь вышло, Пруссiя и Австрiя должны дѣйствовать дружно, и потому онъ требуетъ, чтобы графъ Буоль совѣтовался съ нимъ предварительно о каждой мѣрѣ и сообщалъ собранiю только сообща рѣшенное; въ случаѣ же несогласiя съ его стороны, онъ должнымъ образомъ воспользуется принципомъ равенства всѣхъ посланниковъ при сеймѣ и будетъ самымъ строгимъ образомъ наблюдать и преслѣдовать австрiйское верховное управленiе ²⁾. Буолю оставалось только покориться и вступить на указанный ему путь. Такимъ образомъ къ началу ноября достигнуто было дѣйствительное открытiе союзнаго сейма. И тутъ опять сказалось влiяние властнаго ума Гумбольдта. Графъ Гольцъ

¹⁾ Varnhagen; Denkwürdigkeiten VII, 293.

²⁾ Pertz I, 92 и сл.

прибылъ наконецъ 3 ноября, но, вслѣдствіе случившагося съ нимъ въ дорогѣ несчастья не былъ еще въ состояніи вступить въ отправленіе своихъ функцій. Благодаря этому, Гумбольдтъ имѣлъ случай при открытіи засѣданій, 5 ноября, высказать еще разъ отъ имени своего правительства тѣ воззрѣнія на цѣли и задачи нѣмецкаго союза, которыя онъ изложилъ въ нотѣ отъ 10 февраля 1815. Посланникъ не могъ не высказаться въ такомъ же смыслѣ раньше его. Предназначенія, при которыхъ начались занятія во дворцѣ Турнъ и Такса, были самыя благопріятныя. Великолѣпно торжественнаго богослуженія и извѣстнымъ «возбуждающимъ» тостамъ за параднымъ столомъ австрійскаго посланника Гумбольдтъ съумѣлъ помѣшати. Онъ видѣлъ, безъ сомнѣнія, мало основанія при началѣ въ высшей степени несовершеннаго объединенія выставлять на видъ старый религіозный разладъ, а о возбуждающихъ гостахъ думалъ вѣроятно немного разумнѣе Фридриха Шлегеля и Доротей Мендельсонъ ¹⁾. Однако, разумному и многообѣщающему началу совершенно не соответствовали дальнѣйшій ходъ дѣла. Уже въ первомъ распорядительномъ засѣданіи, 11 ноября, появился Гольцъ на своемъ посту, который былъ ему отнюдь не по плечу. Съ отступленіемъ на задній планъ Гумбольдта, исчезла надежда на то, что болѣе либеральная политика Пруссіи составитъ противовѣсъ тормозящимъ влияніямъ австрійской. Началась та эра, когда сѣмъ реакціи начало давать все болѣе полныя и богатые выходы. Франкфуртъ сталъ отдѣленіемъ Вѣны. Былъ моментъ, когда нація съ колеблющеюся надеждой взирала на старую имперскую столицу. Прошло еще нѣсколько лѣтъ, и учрежденіе, которое должно было укрѣпить публичное право, силу и единство Германіи, стало предметомъ всеобщаго презрѣнія. Въ устахъ народа союзный сеймъ сталъ посмѣшищемъ: онъ сталъ объектомъ гнѣва и отчаянія для всякаго патриота.

Въ то же время начали скопляться симптомы, свидѣтельствовавшіе о томъ, что духъ, вызвавшій энтузіазмъ освободительныхъ войнъ и питавшійся достигнутыми результатами, до крайности стѣсненъ. Тѣ самыя воззрѣнія и стремленія, которыми пользовались въ моментъ опасности, стали въ эпоху возстановленнаго мира внушать подозрѣнія и страхъ. Послѣдовало запрещеніе редактировавшагося Гёрресомъ «Рейнскаго Меркурія» — главнаго органа либеральной партіи, стремившейся къ достиженію общанной конституціи. Послѣдовало дарованіе Шмальцу ордена за то, что онъ написалъ первый пасквиль на національный энтузіазмъ послѣднихъ лѣтъ. Въ то время, какъ порученіе и заподозриваніе давали какъ

¹⁾ Письмо Доротей Шлегель къ Рахили у Дорова (Dorow: Denkschriften and Briefe VI, 122).

бы право на награду, патриотическая преданность, прямодушіе и долговременныя заслуги награждались пренебреженіемъ. При замѣщеніи должностей какъ въ войскѣ, такъ и въ гражданскомъ управленіи проявился новый масштабъ въ распредѣленіи милости и немилости. Гнейзенау считалъ себя по чести обязаннымъ просить объ отставкѣ; оберъ-президентъ Закъ съ трудомъ добился удовлетворенія за самое оскорбительное и пренебрежительное обращеніе. Всѣ подобныя вещи дѣлались именемъ и авторитетомъ человѣка, все прошлое котораго, казалось, ручалось за либеральныя мѣропріятія, — на устахъ котораго все еще звучали чистѣйшее свободомысліе и самыя лучшія намѣренія. Было очевидно, что Гарденбергъ не могъ болѣе поступать какъ хотѣлъ, и не хотѣлъ того, чего долженъ бы хотѣть.

Вскорѣ и Гумбольдту, во Франкфуртѣ, пришлось испытать это на самомъ себѣ. Снова предложилъ Гарденбергъ его брату Александру, и безъ того привязанному своимъ научными занятіями къ Парижу, замѣнить Вильгельма: онъ долженъ былъ дѣйствовать за него въ Парижѣ до тѣхъ поръ, пока его франкфуртскія дѣла позволятъ Вильгельму вступить въ отправленіе своихъ обязанностей, какъ посла. Александръ снова отказался: любовь къ наукѣ превозмогла въ немъ страсть къ политикѣ. Тогда нашли другого, худшаго замѣстителя; представительство Пруссіи при французскомъ правительствѣ — этотъ видъ всякаго сравненія важнѣйшей политической постъ — былъ временно порученъ малоспособному графу Гольцу, бывшему посланнику въ Мюнхенѣ. Самая малоспособность была для него рекомендаціей въ глазахъ французскаго министерства. Какъ только Ришельё, этотъ, покровительствуемый Россією, преемникъ Талейрана узналъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло, онъ немедленно вступилъ съ Гарденбергомъ въ переговоры относительно дальнѣйшаго пребыванія Гольца на своемъ посту. Тѣ самые доводы, которые были съ такимъ успѣхомъ выставлены противъ прусскихъ условій мира, были теперь выдвинуты противъ того, кто во мнѣніи кабинета занималъ мѣсто рядомъ съ Блюхеромъ и Гнейзенау. Назначеніе Гумбольдта было-бы будто-бы оскорбительнымъ напоминаніемъ объ унижительномъ мирѣ, заключенномъ при его участіи; его присутствіе было-бы въ глазахъ націи постояннымъ упрямомъ тому правительству, которое желали укрѣпить и поддержать. Гарденбергъ, въ высшей степени внимательный къ желаніямъ русскаго кабинета, охотно прислушивался къ этимъ доводамъ. Освободившійся какъ разъ въ это время постъ посланника въ Лондонѣ далъ ему возможность раздѣлаться съ даннымъ Гумбольдту обѣщаніемъ. Не одобряя совершенно уступчивости Гарденберга вообще, онъ лично очень мало сожалѣлъ о случившемся; онъ самъ просилъ о мѣстѣ въ Лондонѣ ¹⁾.

1) Письмо къ Каролинѣ Вольцогенъ, Nachlass II, 29.

Дѣйстви́тельно, онъ могъ только радоваться, что избавленъ былъ отъ миссін, которая, при открытомъ отвращеніи французскаго правительства къ его личности, не представляла́ ничего привлекательнаго, а при неустойчивости положенія дѣль въ эпоху реставраціи во Франціи сопряжена была съ тяжелою отвѣтственностью. Если бы только эта уступчивость по отношенію къ Ришельё не была вмѣстѣ съ тѣмъ доказательствомъ несостоятельности всей политической системы государственнаго канцлера! Если бы его образъ мыслей не сказался также и въ томъ, что постъ посланника при союзномъ сеймѣ онъ предложилъ Гумбольдту только тогда, когда уже нуженъ былъ какой бы то ни было замѣститель, и когда этотъ постъ уже пересталъ быть желательнымъ. Тѣмъ важнѣе было поэтому данъ Гумбольдту воспользоваться свободнымъ временемъ до переѣзда въ Лондонъ и прежде всего пустить въ ходъ свое вліяніе въ Берлинѣ. Приглашеніе явилось оттуда вмѣстѣ съ утвержденіемъ его въ лондонской должности. Онъ долженъ былъ принять участіе въ предстоявшихъ въ ближайшемъ будущемъ въ Берлинѣ важныхъ совѣщаніяхъ по вопросу о финансовомъ устройствѣ королевства и о конституціи. Государственный канцлеръ находился очевидно въ тискахъ между противоположными партійными вліяніями и воззрѣніями. Можно было думать, что онъ серьезно намѣренъ подкрѣпить свое упавшее значеніе при помощи своего прежняго товарища на дипломатическомъ поприщѣ, а этотъ, насколько это было въ его силахъ, вполне готовъ былъ оказывать поддержку либеральнымъ намѣреніямъ Гарденберга противъ гоисковъ партіи реакціонеровъ.

Въ январѣ 1817 года отправился поэтому Гумбольдтъ въ столицу со своей семьей, съ которой отъ счастливо проживалъ послѣдніе полгода во Франкфуртѣ ¹⁾; онъ поѣхалъ туда черезъ Веймаръ, гдѣ посѣтилъ Гёте, и черезъ Бургѣрперъ, гдѣ намѣревался освѣжить другія старыя воспоминанія. Въ Берлинъ онъ прибылъ въ февралѣ. Здѣсь его ожидали почести и награды. Его дипломатическія заслуги были уже раньше щедрымъ образомъ вознаграждены милостью государя и цѣлою массой орденовъ, изъ которыхъ самыми почетными были желѣзный крестъ второй и первой степени. Онъ получилъ теперь въ области Оттмахау, въ княжествѣ Рейссъ, еще ранѣе обѣщанную ему аренду, выбранную имъ самимъ во время специально съ этою цѣлью предпринятой поѣздки въ Силезію. Именнымъ указомъ отъ 20 марта учрежденъ былъ государственный совѣтъ. Новымъ отличіемъ для Гумбольдта было то, что тѣмъ-же указомъ въ числѣ другихъ и онъ назначался членомъ этого учрежденія.

Честь такого назначенія была, правда, сомнительна, какъ и до-

¹⁾ Письмо къ Вольфу отъ 10 августа 1816, G. W. V, 297; къ Каролинѣ Вольцогенъ, Nachlass, II, 22. Ср. Шлезіеръ, II, 326 и слѣд. и тамъ-же сообщенія изъ писемъ Цельтера и Рахили.

стоипство всего учрежденія. Списокъ назначенныхъ членовъ представлялъ пеструю смѣсь именъ; было ясно, что государственный канцлеръ, предсѣдатель совѣта, хотѣлъ угодить какъ врагамъ, такъ и друзьямъ. Въ далекой перспективѣ и при помощи очень неудобнаго аппарата показывало новое учрежденіе въ будущемъ реформы въ управленіи. Оно должно было представлять еще одинъ шагъ на пути къ обѣщанной конституціи, но Штейнъ былъ правъ, называя подобный законодательный корпусъ *hors d'œuvre* ома на ряду съ конституціей,—ибо такого рода учрежденіе могло съ одинаковымъ удобствомъ служить средствомъ къ обходу и упраздненію конституціи. Тѣмъ не менѣе самое благоразумное было воспользоваться представившимся случаемъ для того, чтобы повліять на мѣропріятія правительства. Нужно было торопиться: признаки наступающей реакціи были вблизи страшныя, нежели вдали. Всѣ тѣ опасенія, съ которыми Гумбольдтъ пріѣхалъ, на мѣстѣ болѣе чѣмъ подтвердились. Онъ нашелъ, что сила и значеніе государственнаго канцлера самымъ серьезнымъ образомъ поколеблены. Люди, для которыхъ Штейнъ-Гарденберговская политика съ давнихъ поръ была бѣльмомъ на глазу, и которые съ весны 1813 года соединились въ оппозиціонную канцлеру партію, со времени окончанія войны, начали съ постоянно возрастающимъ успѣхомъ направлять короля по своему желанію и противодѣйствовать канцлеру. Всѣ недовольные прежнимъ отношеніемъ къ себѣ, всѣ юнкеры, пострадавшіе въ своихъ интересахъ вслѣдствіе законодательства Гарденберга ограниченные военные, фанатическіе приверженцы стараго,—всѣ тѣ, на зло которымъ Пруссія поднялась, побѣдила и освободилась, составили, подкрѣпленные австрійскими и русскими вліяніями, замкнутую фалангу противъ новой Пруссіи и противъ политической системы, какъ она выражена была въ завѣщаніи Штейна и повторена въ послѣднее время въ узаконеніи отъ 15 мая 1815 года. Рядомъ съ министерствомъ и въ немъ самомъ управляла котерія; правильное управленіе дѣлами съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе вырывалось изъ рукъ канцлера организованною кликою. Сами эти руки ослабли и дрожали. Гарденбергъ—по правдѣ говоря—былъ уже не болѣе, какъ тщеславный и слабый человѣкъ. Изъ всѣхъ качествъ, которыя сдѣлали его когда-то, въ эпоху вынужденнаго союза съ Франціей, самымъ подходящимъ руководителемъ прусской политики, онъ сохранилъ только вылощенную привѣтливость дипломата и изящную любезность свѣтскаго человѣка. Отъ той твердости, которую онъ смѣло противопоставилъ когда-то мятежному юнкерству, осталась только рѣшимость сохранить во что бы то ни стало почетъ и доходы своей должности. При помощи этой слабости, связанной съ недостатками худшаго и презрѣннѣйшаго рода, держали его въ своей власти разные Витгенштейны и Шукманы, Бюловы и Лоттумы. Рабъ своего тщеславія и своей чувственности, неумѣряемой подъ старость ни раз-

судкомъ, ни чувствомъ стыда, онъ былъ рабомъ какъ тѣхъ, которые ему льстили, такъ и тѣхъ, которые ему угождали. Колеблясь между безпринципнымъ либерализмомъ и между безпринципными уступками реакцій, лѣнливо и бессмысленно стоялъ онъ у кормила государства, которое никогда еще не нуждалось такъ въ твердомъ управленіи, какъ въ этотъ моментъ. Окружали его люди нигуда негодные: его министры внушали къ себѣ всеобщее презрѣніе; во всѣхъ отрасляхъ управленія господствовалъ ужасающій безпорядокъ. Тѣмъ-же самымъ въ соединеніи съ произволомъ особенно отличалось финансовое управленіе министра Бюлова. Ко всему этому присоединялось еще самое худшее: благомыслящіе люди начали уже отчаяваться въ возможности перемены къ лучшему. Царствовавшая въ высшихъ кругахъ апатія начинала овладѣвать также и общественнымъ настроеніемъ. Самые мужественные утратили мужество, утратили охоту говорить и дѣйствовать противъ этого положенія, и даже такой сильный человѣкъ какъ Шёнъ не могъ посоветовать ничего лучше, какъ «предоставить дальнѣйшее теченіе случаю и судьбѣ».

Не таковы были однако взгляды и стремленія Вильгельма Гумбольдта. Не успѣлъ онъ убѣдиться собственными глазами въ разстройствѣ дѣлъ и въ несостоятельности государственнаго канцлера, какъ ужъ у него созрѣлъ планъ дѣйствія. Никто такъ искренно не признавалъ прежнихъ заслугъ Гарденберга, какъ Гумбольдтъ, никто не былъ ему болѣе вѣрнымъ и скромнымъ помощникомъ. Въ немъ увѣнчавшееся успѣхомъ искусство канцлера въ управленіи внѣшними дѣлами государства въ періодъ 1811 и 1812 гг. нашло себѣ горячаго защитника. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ, которые не умѣли цѣнить или враждовали противъ благотворной его дѣятельности по преобразованію внутренняго управленія изъ-за связанныхъ съ нею отдѣльныхъ ошибокъ. Въ 1813 году онъ вполне гармонировалъ съ нимъ во взглядахъ и не желалъ для себя лучшей похвалы, какъ признаніе, что его образъ мыслей такъ-же правиленъ, какъ и образъ мыслей канцлера. Рядомъ съ Гарденбергомъ и въ тѣснѣйшемъ товарищескомъ союзѣ съ нимъ защищалъ онъ во все продолженіе войны и на трехъ большихъ конгрессахъ интересы Пруссіи. Не легко было, правда, иногда другимъ дипломатамъ опредѣлить степень согласія во взглядахъ обоихъ прусскихъ пословъ. Во многомъ, само собою разумѣется, ихъ мнѣнія расходились, и Гумбольдтъ не всегда держалъ свое особое мнѣніе про себя. Онъ не могъ одобрить безопасности государственнаго канцлера и говорилъ не безъ ѣдкости объ его уступчивости. Не смотря на то, дѣло не дошло до разрыва между ними. При холодномъ и спокойномъ темпераментѣ одного, легкомъ и миролюбивомъ характерѣ другого всякій споръ безъ труда устранялся, всякое несогласіе легко сглаживалось. Дѣйствительно, въ существенномъ, что касается воззрѣній, они были согласны;

разногласіе начиналось обыкновенно тамъ, гдѣ дѣло касалось послѣдняго практическаго шага. Но и тутъ существовало важное основаніе не обнаруживать несогласія. Представители Пруссіи стояли большею частью одиноко противъ соединенной оппозиціи другихъ державъ. Первое условіе для достиженія чего-нибудь заключалось въ томъ, чтобы не стремиться къ различнымъ цѣлямъ и различными путями. Это соображеніе теперь отпало. Сцена совершенно измѣнилась. Слабость канцлера сдѣлала его орудіемъ въ рукахъ партій, враждебной ему самому, лучшимъ его убѣжденіямъ и цѣлямъ, враждебной истиннымъ интересамъ государства. Если еще возможно было вырвать его изъ недостойныхъ узъ, связывавшихъ его волю, то это могло быть сдѣлано только, возставая открыто и рѣзко противъ хѣропріятій, которыя онъ санкціонировалъ своимъ именемъ. Во всякомъ случаѣ долгъ передъ отечествомъ стоялъ выше долга дружбы и соображеній товарищества. Рискавъ порвать съ канцлеромъ и возставая противъ себя еще болѣе высокія сферы, принялъ Гумбольдтъ свое рѣшеніе. Онъ первый въ то время, какъ всѣ молчали и уходили въ сторону, поднялъ знамя оппозиціи противъ начинающейся реакціи и вступилъ съ этимъ знаменемъ въ непріятельскій лагерь.

Одновременно съ торжественнымъ открытіемъ государственнаго совѣта, 20 марта, послѣдовали два именныхъ указа объ образованіи изъ его состава двухъ комиссій. Одна должна была заниматься составленіемъ проекта общанной конституціи, другая—обсужденіемъ проектированнаго министромъ финансовъ новаго закона податнаго устава. Гумбольдтъ былъ назначенъ членомъ обѣихъ комиссій, но первая его мало затрудняла: пока состоялось только одно засѣданіе,—это было только начало начала. По предложенію государственнаго канцлера приступлено было къ выбору комиссаровъ, которые должны были собирать на мѣстѣ свѣдѣнія о существующихъ или прежде существовавшихъ въ различныхъ областяхъ управленіяхъ, обсуждать вопросъ съ мѣстными жителями и готовить такимъ образомъ матеріалъ для дальнѣйшаго обсужденія его въ засѣданіяхъ будущаго года.

Болѣе живую дѣятельность обнаруживала финансовая коммиссія. Гумбольдтъ предсѣдательствовалъ въ ней и дѣлалъ это со свойственными ему спокойствіемъ и ясностью. Врядъ-ли когда эти два качества были болѣе необходимы. Коммиссія должна была высказать свое мнѣніе о представленіи министра и въ случаѣ неодобренія представить собственные проекты. Финансовый отчетъ Бюлова и его проектъ податнаго устава совершенно соответствовали тому, чего можно было ожидать отъ этого чловѣка: его легкомысліе превосходило еще его неспособность, а принципы его управленія напоминали принципы, господствовавшіе когда-то въ кабинетѣ покойнаго вестфальскаго короля. Поэтому въ коммиссіи происходили

горячіе споры; еще болѣе горячіе происходили позже въ полномъ засѣданіи государственнаго совѣта. Комиссія большинствомъ своихъ голосовъ высказалась противъ министерскаго проекта и установила основанія болѣе современнаго и правильнаго податнаго устава. Главнымъ ораторомъ, вмѣстѣ съ докладчикомъ въ засѣданіи совѣта 2 іюля, былъ Гумбольдтъ. Безпощадно вывелъ онъ наружу всѣ недостатки мнимо блестящаго отчета, составленнаго министромъ о финансовомъ положеніи Пруссіи. Съ знаніемъ дѣла и проникательностью разобралъ онъ проэктъ устава. Давно уже такъ не говорили; такой смѣлый и открытый протестъ противъ воззрѣній правительства былъ новъ и поразителенъ. Въ маленькомъ парламентѣ поднялась буря; представители министерства исполняли свой долгъ: они поспѣшили на помощь и всѣми силами старались спасти проэктъ. Но тутъ только и оказалась вся сила нападающаго. Въ блестящей репликѣ, въ краснорѣчивѣйшемъ и блестящемъ изложеніи отвѣчалъ Гумбольдтъ каждому въ отдѣльности и на каждый отдѣльный доводъ. Засѣданія государственнаго совѣта были вскорѣ послѣ этого отложены; новая финансовая система не была утверждена, но проэктъ Бюлова окончательно провалился. Бюловъ принужденъ былъ еще въ томъ же году откататься отъ своей должности и удовлетвориться незначительнымъ, специально для него созданнымъ министерствомъ торговли. Но не онъ одинъ пострадалъ при этомъ. — все управленіе государственнаго канцлера потерпѣло тяжелое пораженіе, которое онъ самъ глубоко ощутилъ. Говорили, что онъ выйдетъ въ отставку, и что Гумбольдтъ его замѣнитъ. Слухъ былъ ложный, но онъ характеризовалъ общественное настроеніе. Сцены въ государственномъ совѣтѣ не остались въ тайнѣ; стало извѣстнымъ, какъ старые друзья и единомышленники вступили въ борьбу. Всѣ единодушно удивлялись краснорѣчю, присутствію духа и знанію дѣла, обнаруженнымъ Гумбольдтомъ при этомъ случаѣ. Онъ сдѣлался популярнымъ человекомъ и главой оппозиціи. Со страхомъ взиралъ Гарденбергъ на опаснаго соперника, котораго желанія и надежды общества дѣлали преждевременно его преемникомъ ¹⁾.

Средствъ освободиться отъ того, кто внушалъ ему страхъ, заключалось въ назначеніи его на постъ посланника въ Лондонѣ, но образъ дѣйствія Гарденберга былъ характеристиченъ по своей скрытности и непрямодушію. Государственный совѣтъ закрылъ свои засѣданія въ текущемъ году; Гумбольдтъ уѣхалъ въ Силезію, государственный канцлеръ въ Карлсбадъ, гдѣ въ началѣ августа его

¹⁾ Для изложенія всего, происшедшаго въ государственномъ совѣтѣ, мы, къ сожалѣнію, не имѣли другихъ источниковъ, кромѣ тѣхъ, которыми пользовался Шлезіеръ; поэтому мы и стѣдовали имъ во всемъ вышеназложенномъ.

посѣтилъ Гумбольдтъ. Казалось, что между обоими государственными дѣятелями ничего не произошло, и Гарденбергъ дѣлалъ видъ, что ничто не можетъ быть ему пріятнѣе продолженія ихъ совмѣстной товарищеской дѣятельности. Онъ рѣшилъ объѣхать вновь пріобрѣтенныя прусскія владѣнія на Рейнѣ. Во Франкфуртѣ на Майнѣ—такъ они условились—Гумбольдтъ долженъ былъ его ждать для того, чтобы затѣмъ вмѣстѣ съ нимъ заняться устройствомъ новыхъ областей. Но едва только Гумбольдтъ прибылъ во Франкфуртъ, какъ уже пришло отъ канцлера извѣщеніе, что вслѣдствіе ухудшенія здоровья онъ отправился для дальнѣйшаго лѣченія въ Пирмонтъ, ему-же, Гумбольдту, онъ предлагаетъ по возможности скорѣе явиться къ своему лондонскому посту, гдѣ его присутствіе крайне необходимо. Цѣль такого распоряженія не могла укрыться отъ Гумбольдта. Было очевидно, что его присутствіе въ Пруссіи болѣе необходимо, нежели въ Лондонѣ; было очевидно, что своимъ удаленіемъ изъ отечества онъ на время отказывается отъ личнаго вліянія на ходъ дѣлъ. Несмотря на то онъ рѣшилъ повиноваться. Онъ не жаждалъ политической борьбы и личныхъ столкновеній и не дорожилъ вліяніемъ: основывать его на измѣнчивомъ настроеніи общества противорѣчило всѣмъ его воззрѣніямъ. Онъ рѣшилъ ѣхать, но какъ можно скорѣе вернуться.

13 сентября покинулъ онъ Франкфуртъ ¹⁾. Дорогой онъ посѣтилъ Брюссель и прибылъ въ началѣ октября въ Лондонъ въ сопровожденіи барона фонъ-Бюлова, секретаря посольства и жениха своей дочери Габріэли. Въ Англіи онъ встрѣтилъ самый почетный пріемъ; принцъ-регентъ обращался съ нимъ съ дружескою простотою. Но дѣятельность его тамъ была равна нулю ²⁾. Все его пребываніе въ Лондонѣ было ничто иное, какъ блестящее изгнаніе; для него оно тѣмъ болѣе было изгнаніемъ, что страна тумановъ не могла быть по душѣ тому, кто въ глубинѣ души носилъ постоянно тоску по ясному небу Италіи ³⁾. Къ этому присоединилось еще то, что государственный канцлеръ постарался воспользоваться отсутствіемъ Гумбольдта: безпрепятственно продолжалъ онъ хозяйничать по своему и стремился заранѣе заградить для Гумбольдта всѣ дороги къ власти и вліянію, на случай его возвращенія въ Берлинъ. Вновь учрежденное министерство исповѣданій и народнаго просвѣщенія было поручено Альтенштейну; департаментъ иностранныхъ дѣлъ также получилъ

¹⁾ Письмо къ Каролинѣ Вольцогенъ отъ 10 сент. 1817 г. I. с. стр. 23.

²⁾ Письмо къ Штейну, у Pertz'a, V, 258: „дѣла у меня повсе нѣтъ; отъ департамента съ тѣхъ поръ какъ канцлеръ вернулся въ Берлинъ, я не получилъ ни строчки; только нѣсколько ничего непачущихъ дешешъ отъ гр. Лоттума, который при своемъ назначеніи не въ состояніи былъ даже велѣть написать что-нибудь“.

³⁾ Письмо къ Вольцогенъ, I. с. стр. 26.

наконецъ отдѣльнаго начальника. Не разъ намекалъ канцлеръ въ прежнее время, что онъ готовить это мѣсто своему вѣрнѣйшему помощнику. Теперь, всѣ обѣщанія, казалось, были забыты въ вѣсть со всѣми заслугами, и новая должность была ввѣрена гр. Бернсторфу, бывшему датскому посланнику при прусскомъ дворѣ.

И все же не это пренебреженіе вызвало въ душѣ Гумбольдта рѣшеніе, которое сдерживалось такъ долго только чувствомъ долга и напряженіемъ дѣятельности. Уже въ апрѣлѣ 1818 года, слѣдовательно, до назначенія гр. Бернсторфа, писалъ онъ черезъ государственнаго канцлера королю о своемъ отозваніи и присовокуплялъ, что кромѣ занятій въ государственномъ совѣтѣ онъ не проситъ никакой должности и намѣревается жить въ сельскомъ уединеніи ¹⁾. Государственный канцлеръ достигнулъ своей цѣли; его маневръ удался ему вполне. По отношенію къ другому сопернику было бы опасно поблагодарностью и невниманіемъ усиливать въ немъ жажду вліянія и возбуждать чувства мести и честолюбія. Съ Гумбольдтомъ это средство имѣло послѣдствіемъ только то, что отбило у него охоту къ общественной дѣятельности и заставляло его добровольно отказаться отъ вліянія, удержать которое за собой онъ могъ бы только при помощи самой ожесточенной борьбы и на счетъ своихъ важнѣйшихъ и глубочайшихъ духовныхъ интересовъ. Опыта послѣднихъ лѣтъ и немногихъ мѣсяцевъ посольскаго изгнанія въ Лондонѣ было совершенно достаточно, чтобы дать перевѣсъ его давнишней склонности къ созерцательной жизни надъ его интересомъ къ политикѣ и чтобы снова оживить его стремленіе къ досугу и самостоятельнымъ занятіямъ.

Прошло пять лѣтъ неутомимой и въ высшей степени напряженной политической дѣятельности. Втеченіе всего этого времени эта склонность къ созерцанію никогда въ немъ совершенно не приходила. Скрытое стремленіе къ досугу его юности было въ немъ приглушено, но никогда не было подавлено. Событія времени отодвинули на задній планъ его мысли объ истинной цѣли и смыслѣ жизни, но не ушитожили ихъ. «Всѣ мои внутреннія стремленія», писалъ онъ Каролишъ Вольцогенъ нѣсколько недѣль спустя послѣ конгресса въ Прагѣ, «направлены собственно гораздо болѣе въ сторону спокойнаго и созерцательнаго существованія, но случай втянулъ меня въ міровой потокъ, и я больше всего люблю самую горячую, самую отчаянную суматоху. Я сохраняю и среди нея всегда свое одиночество, которое меня никогда не оставитъ» ²⁾. Этими многократнымъ признаніямъ соответствовалъ и образъ его жизни втеченіе всѣхъ

¹⁾ Письмо къ Штейну отъ 7 Іюня 1818 г., у Pertz'a. V, 256.

²⁾ L. с. стр. 17; ср. для нижеслѣдующаго: тамъ же. стр. 478, 18, 22, 27 и сл.

этих тревожных лѣтъ. Онъ удвоивалъ и удесятерялъ свое время. Онъ умѣлъ объединять короткіе промозутки покоя и бездѣятельности въ одно связное цѣлое, протекавшее самостоятельно рядомъ съ часами работы. Онъ обладалъ искусствомъ подобнымъ таинственной силѣ кольца Гига, дѣлавшаго своего обладателя невидимымъ—быть среди самаго шумнаго общества одинокимъ и среди самой напряженной работы быть празднымъ и наслаждаться. Какъ только предлагающія ему практическія задачи позволяли ему возвратиться къ самому себѣ, онъ снова принимался за тѣ занятія, которыя привлекали его болѣе, нежели государственные договоры и конституціонныя проекты. Посреди актовыхъ кипъ и дипломатическихъ нотъ углублялся онъ въ тайну языка и отъ времени до времени наносилъ на бумагу невольню сложившейся сонетъ. Въ Вѣнѣ, Берлинѣ, Франкфуртѣ продолжалъ онъ работать надъ переводомъ Агамемнона. И въ главной квартирѣ древніе его не покидали: и среди шума оружія прислушивался онъ къ звукамъ эллинской поэзіи. «Я читаю», писалъ онъ изъ Прати, «Гомера и вижу казаковъ». «Я читаю вчера спокойно весь вечеръ», пишетъ онъ изъ Фрейбурга, «классиковъ, къ которымъ я всегда собственно ежедневно возвращаюсь; все прекрасное въ прошедшемъ; я стараюсь, какъ всякій другой и можетъ быть даже болѣе, работать для настоящаго и будущаго, но мы переживаемъ все такъ желѣзное время, и не только мы, но и все современное. Оно можетъ дать достойный матеріалъ для дѣятельности, но для наслажденія требуется нѣчто болѣе глубокое и возвышенное». Поэтому-то переплеталъ онъ всегда прошлымъ, какъ самымъ древнимъ, такъ и имъ самимъ пережитымъ, свою настоящую жизнь. Среди трудовъ, разгоняющихъ обыкновенно всѣхъ музъ, онъ думалъ о времени, навсегда исчезнувшемъ, когда двое благородныхъ, дружественныхъ ему поэтовъ создавали міръ образовъ, близко родственныи Гомеру и Пиндару. Изъ круга холодныхъ и эгоистическихъ полтиковъ, изъ среды сухихъ и педантическихъ государственныхъ дѣятелей волшебная сила фантазіи переносила его въ тотъ поэтический, полный ума кружокъ, который увы! разсѣявъ былъ безпощадной рукой смерти и судьбы. Даже о «бѣдномъ примасѣ» — Гумбольдту пришлось участвовать какъ въ раздѣлѣ его великаго герцогства, такъ теперь и въ назначеніи ему нищенской пенсіи—онъ не могъ не вспомнить съ сожалѣніемъ, гуляя на франкфуртскихъ валахъ. Часто въ то время, когда его холодныя язвительныя рѣчи пугали дипломатовъ и когда онъ изощрялъ свой саркастическій юморъ на слабостяхъ аристократическаго общества, его сердце исходило любовью и тоской. Посреди блеска салоновъ и шума дипломатическихъ пировъ уносился онъ въ грезахъ къ своимъ и къ тѣмъ, которые вслѣдствіе ранней встрѣчи стали ему навсегда дороги. Живя почти всегда въ это бурное время въ разлукѣ съ женой, онъ, благодаря не пре-

рывавшейся почти ни на одинъ день переписки, въ мысляхъ и чувствахъ былъ всегда съ нею. Онъ не прекращалъ своей переписки съ Каролиною Вольцогенъ. Въ бытность свою на конгрессѣ въ Вѣнѣ его, по его собственнымъ словамъ, разрывали на части заботы, дѣла, развлечения; въ это время ему напомнила о себѣ письмо тѣ пріятельница, съ которою онъ, во время своего студенчества, провелъ три чудныхъ юношескихъ дня въ Пирмонтѣ ¹⁾, и двадцать шесть лѣтъ не въ состояніи были стереть образъ, запечатлѣвшійся тогда въ его душѣ, — никакія развлечения, никакія дѣла не могли ему помѣшать отвѣтить неизмѣнно преданной, нуждающейся, съ довѣріемъ къ нему отнесшейся пріятельницѣ. Несмотря на то, что его мысли были заняты положеніемъ Европы, конституціей Германіи, интересами Пруссіи, «картины прошлаго и юности» наполнили его радостью и умиленіемъ. Онъ признавался пріятельницѣ, что онъ все тотъ-же, что онъ такъ же доступенъ, какъ и прежде; что онъ живетъ, по велѣнію долга, въ запутанныхъ условіяхъ, мало соответствующихъ его наклонностямъ; болѣе тихая жизнь была-бы ему по душѣ. Образъ пріятельницы по его словамъ глубоко связанъ въ его душѣ со всѣми чувствами его юности и съ болѣе прекраснымъ состояніемъ Германіи и міра вообще. «Я питаю», говоритъ онъ въ заключеніе, «сильную любовь къ прошлому; лишь то, что оно даетъ намъ, вѣчно и неизмѣнно, какъ сама смерть, и въ то же время тепло и благотворно, какъ жизнь» ²⁾.

Мудрено ли, что подобный человекъ въ томъ положеніи, въ которое его поставила зависть государственнаго канцлера, стремился къ прежней свободѣ, отъ которой онъ съ трудомъ и только въ силу долга отказался? Если бы честолюбіе было свойственно его натурѣ, канцлеру врядъ-ли удалось бы такъ легко его отодвинуть; во всякомъ случаѣ честолюбіе подсказало-бы ему средство отомстить канцлеру за его поведеніе. Но холодность, съ которою онъ относился къ политическимъ дѣламъ вообще, и философское равнодушіе, съ которыми онъ взиралъ на личную славу и вліяніе, вытекали у него изъ одного и того же источника. Не разъ уже эта слабость политическихъ интересовъ проявлялась какъ основной недостатокъ его государственной дѣятельности: онъ доказалъ теперь, что и этотъ недостатокъ честолюбія составляетъ не менѣе значительный порокъ. Онъ по прежнему готовъ былъ добросовѣстно и съ забвеніемъ личныхъ интересовъ исполнить свой долгъ по отношенію къ отечеству тамъ, гдѣ оно дѣйствительно въ немъ пуждалось, и гдѣ онъ по своимъ убѣжденіямъ, могъ быть ему дѣйствительно полезенъ. Но именно такое положеніе онъ могъ себѣ только отвоевать, и такое

1) См. выше стр. 12.

2) Briefe an eine Freundin, I, 9.

именно положеніе Гарденбергъ совершенно не намѣренъ былъ ему добровольно предоставлять. Государственный канцлеръ медлилъ передать королю его прошеніе объ отозваніи. Очевидно, онъ одинаково боялся какъ уволить этого высокоуважаемаго и популярнаго чловека, такъ и отвеситъ ему соответствующее поле дѣятельности. Поэтому онъ представилъ свои объясненія: если Гумбольдтъ не желаетъ вступить въ министерство, то это исключительно его собственная вина; онъ могъ бы по крайней мѣрѣ взять какой-нибудь другой посольскій постъ, могъ бы работать во Франкфуртѣ при союзномъ сеймѣ, вернуться снова въ Римъ или наконецъ выбрать какой угодно дипломатическій постъ. Но не таково было мнѣніе Гумбольдта. Не получивъ еще объясненій канцлера, онъ совершенно разобрался въ своихъ убѣжденіяхъ. Онъ высказался по этому поводу ясно и полно въ письмѣ къ пріятельницѣ, передъ которой привыкъ открывать всю свою душу. «Я твердо рѣшилъ», писалъ онъ въ началѣ апрѣля изъ Лондона Каролинѣ Вольцогенъ, «не оставаться болѣе, какъ это было до сихъ поръ, въ промежуточномъ положеніи, предоставляя себя, въ качествѣ таланта, въ распоряженіе то тому, то другому. Я не ищу никакой дѣятельности, но и не приму такой за которую я самъ и только я одинъ не могу быть отвѣтственъ. Я убѣжденъ затѣмъ, что въ своемъ положеніи я могу дѣлать добро и способствовать ему только въ Берлинѣ: что бы тамъ ни было, внѣ этого находишься всегда въ ложномъ положеніи, въ которомъ вредишь и себѣ, и дѣлу. Впрочемъ, вы знаете кеня съ юношескихъ лѣтъ. Я не обладаю ни честолюбіемъ, ни наклонностью къ практической дѣятельности, ни страстью вмѣшиваться; я даже думаю, что теченіе политическихъ дѣлъ далеко не представляетъ самаго важнаго на свѣтѣ. Я навѣрное охотнѣе всего ушелъ бы и ни за что бы снова не приступилъ, но такъ какъ это эгонстическій образъ мыслей, не имѣющій оправданія, когда человекъ прошелъ уже, какъ я, часть пути, то я, пока позволятъ мои силы, такъ не поступлю,—но ужъ конечно не стану больше отказываться отъ общественной жизни съ молми и отъ своихъ личныхъ плановъ изъ-за незначительной, ложной или половинчатой дѣятельности».

Въ этихъ взглядахъ и рѣшеніяхъ письмо канцлера не могло, разумѣется, произвести никакой перемѣны. Онъ повторилъ ему свои доводы и просилъ о немедленной передачѣ королю своего прошенія. Важное мѣсто среди этихъ доводовъ занимала забота о женѣ. Последняя жила съ весны 1817 года въ Италіи; она надѣялась поправиться, пребывая въ болѣе мягкомъ климатѣ и пользуясь тѣми духовными наслажденіями, которыя ей доставлялъ любимый Римъ. Она думала со страхомъ о «туманномъ островѣ», и здоровье ея было, дѣйствительно, въ такомъ состояніи, что Гумбольдту нельзя было рисковать перевезти ее, какъ онъ предполагалъ раньше, къ себѣ въ

Лондонъ. Но и въ разлукѣ съ нею онъ не хотѣлъ болѣе оставаться: лучшая честь жизни пропадаетъ такимъ образомъ, писалъ онъ Штейну. Совмѣстная жизнь съ женой была для него тѣснѣйшимъ образомъ связана съ его высшими умственными и душевными интересами. То, что представлялось только вѣнскимъ поводомъ, на самомъ дѣлѣ было самымъ глубокимъ основаніемъ; жить для жены и жить для себя было для него одно и тоже. Каролинѣ Воллтогенъ онъ высказался и по этому поводу и высказался такъ, что врядъ-ли возможно было бы передать это иначе, какъ его собственными словами. «Я началъ», пишетъ онъ 18 іюля своей пріятельницѣ, описывая ея состояніе здоровья жены, «я началъ—никто не видѣлъ этого такъ какъ вы— мою жизнь съ мыслью жить только съ ней и въ замкнутомъ семейномъ кругу. Время и обстоятельства измѣнили это послѣдствіе и я былъ противъ воли вовлеченъ въ иную, многообразную дѣятельность, которая ни на мигъ не раздѣлила насъ внутренно, но вѣнскимъ образомъ насъ другъ отъ друга совершенно отдалила. Но это не измѣняетъ дѣйствительной цѣли моей жизни, т. е., я, разумѣется, возвращусь къ этой цѣли, какъ только можно будетъ. Нѣтъ возможности охотно и въ лучшемъ смыслѣ этого слова оказывать воздѣйствіе на окружающее, если не поддерживать въ себѣ бодромъ и дѣятельнымъ своего внутренняго міра, построеннаго на идеяхъ и чувствахъ и вѣчно независимаго отъ всего вѣнскаго; и проживъ вмѣстѣ такъ долго и всегда въ одинаковой близости невозможно отдѣлить свое существованіе отъ существованія другого. Поэтому я въ глубинѣ души питаю втайнѣ надежду жить отнынѣ и возможно долго такъ же уединенно, какъ мы жили вначалѣ; отъ этого стремленія я во всякомъ случаѣ могу отказаться только ради чего нибудь дѣйствительно важнаго, и что не въ такой уже степени разрываетъ связь между нами, какъ это имѣло мѣсто въ послѣдніе годы». То самое письмо, изъ котораго мы извлекли эти слова, повторяетъ вмѣстѣ съ тѣмъ разъясненія прежняго письма. Мы находимъ въ немъ то, что онъ, вѣроятно, писалъ государственному канцлеру, но находимъ кромѣ того и болѣе глубокіе мотивы, комментарий къ его отказу отъ всего, что ему предлагалъ Гарденбергъ. Онъ отнюдь не противъ того, чтобы принять участіе въ общественной дѣятельности, ему только въ высшей степени наскучило «вратить колесо отдѣльнаго поста, только случайнымъ и малозначущимъ образомъ связаннаго съ цѣлымъ». Онъ все же и во всякомъ случаѣ намѣренъ продолжать свою дѣятельность члена государственнаго совѣта, — ибо «это есть именно положеніе, гдѣ возможно безъ интригъ, которыя мнѣ всегда ненавистны, въ надлежащемъ мѣстѣ высказывать свои мнѣнія о всемъ важномъ, а также—смотря по тому приносить-ли это пользу или нѣтъ—болѣе или менѣе вступать въ дѣло, или удалаться». Съ другой стороны, въ полномъ противорѣчій съ тѣмъ, что

дѣлають для него необходимымъ его личные планы, находится его пребываніе въ Лондонѣ, также какъ и франкфуртскій постъ, или вступленіе въ министерство въ его настоящемъ состояніи. Вступленіе въ министерство потому, что «какъ ни неприятно для меня порицать все, но необходимо сознаться, что вся его организація несостоятельна, а если я эти недостатки исправить не могу, то и раздѣлять ихъ не хочу» Франкфуртскій же постъ потому, что «союзному сейму—такъ пишетъ онъ Штейну—можно быть полезнымъ только въ Берлинѣ и Вѣнѣ: въ Франкфуртѣ приходится быть только несамостоятельнымъ орудіемъ, и непременно попадешь въ положеніе, въ которомъ нужно дѣлать и говорить то, чего не одобряешь». Ему стало, прибавляетъ онъ въ письмѣ къ Вольцогеню, очень не по себѣ во Франкфуртѣ уже скоро послѣ открытія союзнаго сейма; онъ ясно видѣлъ, что въ сущности ничего не хотѣли и все же не хотѣли и того, чтобы ничего не было. Онъ не можетъ теперь желать вернуться туда, гдѣ невозможно ожидать какого-либо успѣха, и откуда онъ вслѣдствіе этого, принимая лондонскій постъ, желалъ уйти. Всѣ эти мотивы получили еще болѣе вѣское основаніе. Нетрудно было разгадать намѣренія государственнаго канцлера, и Гумбольдтъ ихъ вполне разгадалъ. «Вы можете мнѣ вполне повѣрить», писалъ онъ своей пріятельницѣ, «что тѣ, которые прямо желали бы видѣть меня на внѣшнемъ посту, не имѣютъ при этомъ другой цѣли, кромѣ той, чтобы казалось какъ будто я занялъ очень важнымъ дѣломъ, но чтобы на самомъ дѣлѣ я былъ далеко отъ всѣхъ важныхъ дѣлъ. Я имѣю для этого неоспоримыя доказательства. Даже о Франкфуртѣ они заговорили по необходимости, потому что нѣтъ возможности удержать меня въ Лондонѣ».

Послѣ всего этого онъ рѣшился вызвать въ своей дѣятельности кризисъ, вслѣдствіе котораго она должна будетъ получить рѣшающее значеніе или перестать быть общественной. Онъ не желалъ посредствомъ какого-нибудь положительнаго шага вырвать изъ рукъ канцлера то положеніе и вліяніе, которыя принадлежали ему по праву. Онъ хотѣлъ дѣйствовать только при помощи вліянія, которое могли имѣть его имя и личность. Онъ хотѣлъ испытать, не произведетъ-ли какой-либо перемены въ системѣ государственнаго канцлера та мысль, что онъ, человекъ облегченный общественнымъ довѣріемъ, оставляется внѣ общественной дѣятельности, — перемены, послѣ которой ему возможно будетъ принять какой-нибудь портфель съ надеждой на успѣхъ и въ согласіи со своими принципами.

Послѣднее, дѣйствительно, подѣйствовало и произвело кризисъ. Въ первыхъ числахъ ноября 1818 года возвратился Гумбольдтъ со своего лондонскаго поста. Онъ засталъ правителей и министровъ въ Аахенѣ на первомъ изъ тѣхъ конгрессовъ, повтореніе которыхъ было предусмотрено еще въ Парижѣ; конгрессы эти имѣли цѣлью повести далѣе великое дѣло умиротворенія Европы въ духѣ реакціи и по-

давить всѣ свободолюбивыя народныя движенія. Здѣсь была рѣшена ближайшая будущность Гумбольдта. Гарденбергъ убѣдился въ невозможности парализовать долге вліяніе соперника, удерживая его вдали при помощи посольскихъ и мнимыхъ дѣлъ и чувствовалъ, что невозможно, въ виду общественнаго мнѣнія, оставлять его не у дѣлъ. Нужно было, слѣдовательно, чтобы онъ вступилъ въ министерство. Ему было обѣщано, что организація управленія будетъ измѣнена; къ этому присовокупили, что онъ займетъ именно то положеніе, ту должность, какою самъ для себя изберетъ, но пока онъ долженъ согласиться взять на себя другое дѣло, которое окончится въ самомъ непродолжительномъ времени и някъмъ не можетъ быть сдѣлано такъ быстро и хорошо, какъ имъ. Между тѣмъ можно будетъ принять въ Берлинѣ тѣ предварительныя мѣропріятія, которыя онъ самъ поставилъ условіемъ своего вступленія въ министерство.

Дѣло, порученное такимъ образомъ Гумбольдту временно, было дѣйствительно такого рода, что ему неудобно было отказаться отъ него. А именно: въ числѣ вопросовъ, разсматривавшихся на конгрессѣ въ Аахенѣ, были между прочимъ притязанія Баваріи на Пфальцъ и слѣдовательно, на часть великаго герцогства Баденскаго—притязанія, основанныя на договорѣ въ Ридѣ. Австрія уже ранѣе дѣлала примирительныя предложенія въ смыслѣ удовлетворенія, этихъ притязаній на счетъ Бадена, но другіе кабинеты высказались противъ этого и за нераздѣльность великаго герцогства. Послѣ того какъ территоріальная коммиссія,—послѣ парижскаго мира Гумбольдтъ въ качествѣ члена этой коммиссіи работалъ во Франкфуртѣ,—дѣло разсматрѣла, но не рѣшила, оно получило окончательное рѣшеніе въ смыслѣ отклоненія притязаній Баваріи на конгрессѣ. Оставалось только оформить рѣшеніе. Послѣднее, также какъ и изготовленіе общей территоріальной росписки было передано во Франкфуртъ, гдѣ должна была еще разъ собраться прежняя коммиссія. Въ началѣ декабря вмѣстѣ съ другими членами коммиссіи въ резиденцію союзнаго сейма явился и Гумбольдтъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Вопросъ о конституціи.

Не легко было Гарденбергу исполнить данное въ Аахенѣ обѣщаніе. Но между людьми, пользовавшимися довѣріемъ короля, былъ одинъ, связанный съ Гумбольдтомъ родственностью ихъ образа мыслей и лучшими душевными качествами. Генераль-адъютантъ фонъ-Виц-

дебенъ обладалъ именно тою степенью духовнаго дарованія и тою мягкостью и честностью характера, которыя въ глазахъ Фридриха Вильгельма были лучшею рекомендаціей, нежели геніальность. Не будучи выдающимся политикомъ, онъ сумѣлъ однако-же оцѣнить такого человѣка, какъ Гумбольдтъ. Дружба сдѣлала его краснорѣчивымъ и настойчивымъ: не смотря на всѣ колебанія, и Гарденбергъ не въ состояніи былъ далѣе препятствовать тому, что онъ выдавалъ Гумбольдту за свое желаніе. 11 января 1819 года объявленъ былъ именной указъ, которымъ министерству внутреннихъ дѣлъ давалась новая организація. Князь Витгенштейнъ былъ назначенъ министромъ королевскаго двора; состоявшее до тѣхъ поръ въ его управленіи министерство полиціи соединено съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ; управленіе сословными и общинными дѣлами съ цѣлымъ рядомъ другихъ предметовъ управленія, въ качествѣ отдѣльной вѣтви министерства внутреннихъ дѣлъ, поручено Гумбольдту вмѣстѣ съ мѣстомъ и голосомъ въ министерствѣ.

Очень возможно, что при этомъ раздробленіи подчиненныхъ ему министерствъ Гарденбергъ надѣялся скорѣе выиграть въ своемъ вліяніи, неужели проиграть, но онъ удовлетворялъ вмѣстѣ съ тѣмъ этимъ устройствомъ желаніямъ и условіямъ Гумбольдта. Для этого послѣдняго казалось созданнымъ положеніе, въ которомъ для него возможна была самостоятельная дѣятельность. Вмѣстѣ съ сословными дѣлами онъ получалъ возможность содѣйствовать также и введенію общанной конституціи. Онъ былъ такимъ образомъ поставленъ на самое важное мѣсто въ государственнымъ управленіи. Надежда, хотя и слабая, послужить своему отечеству и поставить снова на ноги дѣло, по его мнѣнію наполовину потерянное, въ соединеніи съ просьбами друзей пробудили его принять предложенное. Нѣкоторыя опасенія относительно возможности столкновеній между вновь созданными и смежными департаментами окажутся, надо было думать, устраняемыми; нужно было во всякомъ случаѣ попытаться, возможно-ли рѣшить при Гарденбергѣ задачу, которая, трудная сама по себѣ, была еще въ высшей степени осложнена предшествующимъ образомъ дѣйствія и напряженнымъ ожиданіемъ націи. Честолюбіе отступило-бы можетъ быть передъ нею, но мы знаемъ, что рѣшающее значеніе для Гумбольдта имѣли только самое разумное чувство долга и самый чистый патріотизмъ.

Поэтому, выразивъ готовность принять на себя новый постъ, онъ тотчасъ же сосредоточилъ все свое вниманіе на вопросѣ о конституціи. Ему повезло найти въ Штейнѣ, находившемся съ ноября 1818 года во Франкфуртѣ, единомысленнаго друга, горячность и умъ котораго вызывали между ними живѣйшій обменъ мыслей. Онъ умѣлъ цѣнить это счастье и пользоваться имъ. Онъ понималъ вполнѣ, чѣмъ Штейнъ былъ, и что онъ представлялъ въ на-

стоящемъ вообще и для него лично въ частности. «Для дѣлъ», писалъ онъ еще изъ Лондона Каролинѣ Вольцогенъ, «Штейнъ болѣе не годится, не годится, можетъ быть, даже и для того, чтобы въ извѣстныхъ случаяхъ дать совѣтъ; но онъ превосходенъ тамъ, гдѣ нужно всегда поддерживать того, кто дѣйствуетъ, въ высшихъ сферахъ мысли и чувства; онъ вліяетъ на человѣка подобно древнимъ историкамъ или ораторамъ, а такъ какъ онъ стоитъ ближе, то сильнѣе и реальнѣе. Я всегда отдалъ бы все, чтобы имѣть его въ важныхъ случаяхъ около себя». Онъ испытывалъ это не разъ и испытывалъ это еще недавно во время своей франкфуртской дѣятельности, въ 1816 году. Теперь снова воскресли старыя времена. Снова наслаждались они разговоромъ и взаимнымъ общеніемъ. Какъ прежде онъ бесѣдовалъ съ Вольфомъ о Пиндарѣ и Гомерѣ, съ Шиллеромъ о конечныхъ вопросахъ эстетики и философіи, такъ теперь бесѣдовалъ онъ со Штейномъ о ближайшемъ будущемъ отечества и о проектѣ представительнаго правленія для Пруссіи.

Со свойственною ему дѣловою неутомимостью и безкорыстнымъ интересомъ къ общественнымъ дѣламъ преслѣдовалъ Штейнъ эту мысль и не упускалъ случая всячески содѣйствовать ей въ качествѣ частнаго человѣка. Онъ слѣдилъ съ самымъ серьезнымъ интересомъ за каждымъ шагомъ, который дѣлался въ этомъ направленіи какъ въ Пруссіи, такъ и въ остальной Германіи. Онъ скорбѣлъ о замедленіи и о потерянныхъ годахъ и рѣзко порицалъ сдѣланныя ошибки. Онъ побуждалъ членовъ своего сословія къ совѣщаніямъ, прошеніямъ и къ мѣрамъ разнаго рода. Онъ неутомимо собиралъ матеріалы, частію инспирировалъ, частію самъ составлялъ записки, проекты, сочиненія, касавшіяся какъ отдѣльныхъ частей, такъ и всего этого вопроса вообще. Теперь, ему казалось, дѣло нѣсколько приблизилось къ концу. Назначеніе Гумбольдта—«этого умнаго, опытнаго, трудолюбиваго и благомыслящаго человѣка»—какъ онъ его теперь снова называетъ, представлялось ему прекраснымъ предзнаменованіемъ. Немедленно сообщилъ онъ ему цѣлый рядъ собранныхъ имъ по этому вопросу важнѣйшихъ документовъ, побуждалъ своихъ друзей направлять къ новоназначенному министру свои письменныя мнѣнія въ разговорахъ съ послѣднимъ обсуждалъ вопросъ со всѣхъ сторонъ.

При такой живой поддержкѣ и на основаніи такого богатаго матеріала изложилъ Гумбольдтъ въ началѣ февраля свои собственныя мысли въ пространномъ мемуарѣ. Разработанные имъ въ Вѣнѣ проекты нѣмецкой конституціи давали только поверхностное понятіе о его воззрѣніяхъ на конституціонализмъ. Кромѣ нихъ главнымъ источникомъ для ознакомленія съ его взглядами на этотъ вопросъ служило намъ прежде письмо, написанное имъ въ 1823 году въ отвѣтъ на одинъ изъ мемуаровъ Финке по вопросу о восстановленіи

провинціальныхъ министровъ. Теперь довольно давно намъ сталъ извѣстенъ также и франкфуртскій мемуаръ. Мы имѣемъ въ немъ программу, которую онъ предполагалъ положить въ основу своей будущей дѣятельности и вмѣстѣ съ тѣмъ почти исчерпывающее общее его политическое profession de foi. Только несовершеннымъ образомъ могли мы представить себѣ его дѣятельность въ качествѣ руководителя вѣдомства исповѣданій и народнаго просвѣщенія. Немного богаче были наши источники и для оцѣнки его дипломатической дѣятельности. Теперь мы имѣемъ почти полную возможность судить о его взглядахъ на основы политики, на государственное устройство, правительство и управленіе. Мы извлекаемъ ихъ изъ упомянутаго мемуара и изъ другихъ относящихся сюда документовъ: какъ упомянутый отвѣтъ Финке, такъ и болѣе короткое письмо отъ 31 марта 1819 года къ Зоммеру, адвокату при гофгерихтѣ, автору сочиненія о государственномъ устройствѣ Вестфалии, наконецъ, цѣлый рядъ писемъ къ Штейну повторяютъ развитые подробности въ мемуарѣ взгляды яли служатъ для защиты и разъясненія отдѣльныхъ главнѣйшихъ его пунктовъ¹⁾.

Гумбольдтъ былъ глубоко заинтересованъ значеніемъ перемѣны въ государственномъ устройствѣ, заключавшейся въ зведеніи въ Пруссіи сословныхъ учреждений. Онъ видѣлъ въ этомъ отчужденіе части королевскихъ правъ, измѣненіе чисто монархическаго характера предшествовавшаго строя²⁾. Рискъ такого измѣненія могъ быть оправданъ только съ высшей точки зрѣнія. Въ глазахъ общественнаго дѣятеля, въ духѣ времени усматривающаго духъ живой исторіи, это оправданіе могло заключаться въ требованіи времени. Даже и не принадлежа къ школѣ Ж. Ж. Руссо, глубокомысленный политикъ въ дарованія представительнаго устройства могъ усматривать признаніе правъ народа по отношенію къ правителю. Въ вѣрности и героизмѣ прусскаго народа въ эпоху освободительныхъ войнъ онъ могъ видѣть подтвержденіе этого права и свидѣтельство въ пользу зрѣлости и совершенности этого народа. Наконецъ государствен-

¹⁾ Записка о сословномъ устройствѣ Пруссіи (письмо Гумбольдта къ Штейну, отъ 4 февраля 1819) появилась первоначально въ изданныхъ Pert'зомъ „Denkschriften des Ministers Freiherrn von Stein, Berl. 1848 (Мемуары министра барона ф. Штейна) и отсюда перешла въ G. W., VII, 199 и сл. Письмо Финке сообщ. Доровымъ въ соч.: Job v. Witzleben (Лейпц. 1842), стр. 13 и сл. См. Schlesier II, 383 и 417, 118, прим., гдѣ справедливо оспаривается показаніе Дорова, что это письмо адресовано къ Вицлебену.— Письмо къ Зоммеру сообщ. Шлезеромъ, II, 377 примѣч. заимствов. изъ A. A. Z. отъ 10 іюня 1819 (см. объ этомъ: письмо Гумбольдта къ Штейну отъ 4 іюля 1819 у Pertz'a: Leben Stein's, V, 393).— Письма Гумбольдта къ Штейну въ пятомъ томѣ біографіи Штейна (тамъ же см. 254, 374, 380, 390, 393, 436, 448, 694, 769, 777).

²⁾ Записка § 15, § 22.

ный дѣятель съ глубоко развитымъ чувствомъ законности могъ просто считаться съ данными обѣщаніями и на исполненіе ихъ смотрѣть какъ на стоящій выше всякихъ сомнѣній долгъ. Характерно для Гумбольдта то, что онъ не хотѣлъ успокоиться ни на одномъ изъ этихъ мотивовъ. Они принадлежали реально-историческому воззрѣнію на вещи, въ противоположность которому его собственное должно быть опредѣлено какъ теоретически-раціональное или, употребляя снова его собственное выраженіе, какъ метафизическое. Это были мотивы ходячаго, тривіальнаго образа мыслей, а Гумбольдтъ не привыкъ черпать свои воззрѣнія изъ одного мутнаго источника съ толпой.

Можетъ показаться преувеличенною лояльностью съ его стороны и даже псдслуживаніемъ, когда онъ представленіе, будто дарованіе конституціи вынуждено у правительства народомъ, называетъ «непристойною самой по себѣ идеей». Привыкши слышать порицанія справедливыхъ требованій духа времени изъ устъ реакціонеровъ, мы становимся втупикъ, когда человѣкъ, подобный Гумбольдту, встаетъ противъ «уступчивости такъ называемому духу времени» или разгсворъ объ этомъ духѣ называетъ «пагубной и въ сущности безсмысленной фразой» ¹⁾. Мы становимся точно также втупикъ, когда онъ отрицаетъ зрѣлость народа и отклоняетъ мысль о вознагражденіи патріотическихъ усилій націи. Еще болѣе будутъ удивляться тѣ, которые въ политическихъ вопросахъ отводятъ первое мѣсто мѣрилу права, что и данное обѣщаніе въ глазахъ Гумбольдта не имѣетъ значенія, поскольку оно не опирается на прочные и слѣдовательно говорящіе сами за себя основанія. Не то, чтобы онъ не зналъ значенія даднаго слова; но зачѣмъ его вообще давать? «Нѣтъ ничего», пишетъ онъ уже 7 іюня 1818 года Штейну, «на чемъ менѣе возможно было бы построить что-нибудь прочное, какъ та, выраженная въ злополучномъ эдиктѣ въ общіхъ и неопредѣленныхъ чертахъ, идеѣ, что король намѣренъ дать своимъ подданнымъ земское устройство»;—мало того, онъ называетъ крайнею самоадѣянностью» намѣреніе составить на основаніи этого эдикта планъ государственнаго устройства. Долгое время послѣ выхода изъ министерства, онъ высказываетъ то же мнѣніе. «Безумно и опасно», пишетъ онъ еще въ январѣ 1823 года, единственно изъ-за эдикта, держаться намѣренія учредить земскіе чины.

Такимъ образомъ Гумбольдтъ находится въ полномъ разногласіи съ либеральными воззрѣніями дня: Онъ отрекается отъ всѣхъ боевыхъ словъ и важнѣйшихъ доводовъ вождей современной прессы. Онъ стоитъ какъ будто, вмѣстѣ съ Меттернихомъ и Генцомъ, Витгенштейномъ и Кампцомъ, на сторонѣ велемудрой практичности

¹⁾ Записка § 15. Письмо къ Штейну отъ 7 іюня 1818 года.

противъ туманности и фантастики тогдашняго либерализма: какъ будто—на самомъ же дѣлѣ онъ стоитъ настолько-же выше наивностей и тривіальностей юношескаго увлеченія конституціей, какъ и коварства и самоубійствія ревнителей реставраціи. Онъ глубоко проникнуть необходимостью и благотворностью земскихъ учрежденій. Если бы дѣло завязѣло отъ него одного, то упомянутый эдиктъ, правда, не былъ бы яданъ, за то и не сидѣли бы изъ года въ годъ сложа руки, а безъ обѣщаній работали бы надъ конституціей ¹⁾: ибо внутренняя необходимость конституціи, чистая идея самой вещи, требуетъ ея введенія,—она-же одна опредѣляетъ ея мѣру и характеръ. «Ибо, такъ пишетъ онъ много мѣсяцевъ до своего вступленія въ министерство, ни одинъ изъ приводимыхъ обыкновенно доводовъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые заключали-бы въ себѣ одновременно основанія мѣры и характера такого пожалованія и поэтому то, что дается при такихъ условіяхъ, можетъ всегда дающему казаться самымъ большимъ даромъ, а получающему неизмѣримо малымъ». И совершенно въ согласіи съ этимъ высказывается онъ три года спустя послѣ своей краткой министерской карьеры: «земскія учрежденія только тогда хороши и по возможности не опасны, когда въ основаніи ихъ установленія лежитъ глубокое и искреннее убѣжденіе, что оны благотворны и спасительны,—только тогда дѣйствуешь смѣло и не уступаешь никакому несправедливому требованію, потому что навѣрное знаешь, чего и какъ хочешь, потому что это обусловлено сознаніемъ цѣлю, и никакое ложное и несправедливое соображеніе не можетъ ни слишкомъ далеко увлечь, ни помѣшать оставаться въ должныхъ предѣлахъ. Если правительство при введеніи земскихъ учрежденій исходитъ не изъ этого глубокаго убѣжденія, а имѣетъ для этого побочное основаніе, то оно дѣйствуетъ, поскольку распространяется дѣйствіе этого побочнаго основанія, или еѣ свободно, или въ силу соображеній, самому земскому устройству чуждыхъ. При этомъ естественно получается неопредѣленность, теряются дѣйствительныя границы, для всѣхъ дѣлается, можетъ быть, слишкомъ много, и вмѣстѣ съ тѣмъ ни для кого достаточно». Вмѣсто этого онъ требуетъ—и слова его исчерпывающимъ образомъ опредѣляютъ общій характеръ его собственнаго политическаго направленія—величайшей ясности взгляда, глубочайшаго убѣжденія въ благотворности учрежденія и самаго твердаго мужества при его введеніи».

На чемъ-же покоится его собственное убѣжденіе во внутренней необходимости, какая внутренняя идея лежитъ въ основаніи введенія представительнаго правленія? Стоитъ-ли она въ противорѣчій съ требованіями духа времени, съ правомъ націи, съ духомъ королев-

¹⁾ Письмо къ Штейну отъ 7 іюня 1818 года и января 1823.

скихъ обѣщаній или она является подтвержденіемъ и оправданіемъ всего этого?

Очевидно послѣднее. По мнѣнію Гумбольта, это есть само по себѣ призваніе каждого гражданина—въ качествѣ дѣятельнаго члена государственнаго союза, принимать участіе въ установленіи и поддержаніи общественнаго порядка ¹⁾, а не пассивно только подчиняться, предоставляя общественную дѣятельность сдѣлалась собственно государственнымъ чиновникамъ въ качествѣ ихъ профессиональной обязанности. Это участіе въ жизни государства возвышаетъ личную нравственность въ силу того, что гражданинъ, связывая тѣснѣе свою дѣятельность съ общимъ благомъ своихъ согражданъ, придаетъ ей тѣмъ самымъ болѣе высокое значеніе. Вслѣдствіе этого участія отдѣльной личности въ цѣломъ выигрываетъ также и само цѣлое. Такимъ образомъ не только дѣйствія правительства становятся лучше, устойчивѣе, проще, дешевле, справедливѣе и правильнѣе, но и само правительство только такимъ образомъ можетъ пребывать въ гармоніи съ потребностями и воззрѣніями народа, въ живомъ соотношеніи съ живою дѣятельностью. Исключительное господство чиновничества, превышеніе власти и вмѣшательство въ чуждыя сферы со стороны органовъ управленія—вотъ главное зло, которому нужно противодействовать. Ибо это исключительное управленіе посредствомъ государства, создавая одни дѣла изъ другихъ, должно съ теченіемъ времени само себя разрушить, становясь въ своихъ средствахъ все болѣе абсолютнымъ, а въ своихъ формахъ, какъ и въ содержаніи—все болѣе ничтожнымъ. Преимущества конституціоннаго участія народа въ управленіи обнаруживаются наконецъ и въ моменты общественной опасности. Невозможно предоставить государству въ несчастныхъ случаяхъ, которые могутъ всегда повториться, защитѣ однихъ только физическихъ силъ. Нужны нравственные; и нужна не только добрая воля, не только внезапное и преходящее одушевленіе,—нужна привычка къ правильной общей работѣ съ правительствомъ, опытная, иначе говоря—надежно подготовленная сила націи. Резюмируя это словами самаго Гумбольдта: смыслъ и дѣйствіе представительнаго правленія заключаются въ томъ «чтобы доставить государству въ повышенной нравственной силѣ націи и въ ея живомъ и цѣлесообразно-направленномъ участіи въ его дѣлахъ болѣе значительную опору и вслѣдствіе этого болѣе твердое ручательство его вѣшной цѣлости и внутренняго прогрессивнаго развитія». ²⁾

Легко признать въ этомъ подчеркиваніи нравственныхъ мотивовъ народнаго участія и въ этомъ противоположеніи его пустому формализму бюрократіи то самое согласіе съ воззрѣніями Штейна, ко-

¹⁾ Записка § 12, 13.

²⁾ Записка § 3, 4, 12, 13, 15. Письмо къ Зоммеру.

торое мы замѣтили уже въ дѣятельности Гумбольта въ 1809 и 1810 гг. Въ зрѣломъ государственномъ дѣятелѣ мы встрѣчаемъ снова основныя черты идей, выраженныхъ имъ, юнымъ политическимъ писателемъ, въ его «Опытѣ». Возвышеніе индивидуальной жизни посредствомъ государства и въ государствѣ все еще остается одною изъ его цѣлей; по прежнему полемизируетъ онъ противъ «*l'aveuglement du gouverner*». Но для государственнаго дѣятеля послѣднее, какъ таковое, получило большее значеніе: возвышеніе индивидуальной жизни должно прежде всего служить цѣлому, оно не составляетъ ни единственной цѣли, ни исключительно только цѣли. Оно должно явиться не вопреки государству, но вмѣстѣ съ нимъ. не только при его посредствѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и для него. Онъ понимаетъ его столько-же въ смыслѣ дѣйствія, сколько и причины, столько-же какъ цѣль, сколько и какъ средство.

Изъ этого пониманія смысла и цѣли земскихъ учрежденій вытекаеть для Гумбольдта тотчасъ и вся конкретная картина ихъ состава; и характеръ картины соответствуетъ ея происхожденію: картина, безъ сомнѣнія, сложилась бы совершенно иначе, если бы идейное представленіе было болѣе проникнуто историческимъ пониманіемъ. Но если это ставится ему въ вину, то эта вина заразе съ него снимается. Гумбольдтъ, помимо своеобразнаго склада его ума, очевидно болѣе, чѣмъ мы въ настоящее время, имѣлъ право сказать изъ чистаго понятія государства и правительства. Онъ составлялъ свои планы организаціи въ эпоху, когда по крайней мѣрѣ лучшіе люди проникнуты были еще тѣмъ духомъ общности, которая существовала между княземъ и народомъ, сознаніемъ солидарности ихъ обоюдныхъ интересовъ. Онъ былъ увѣренъ, что, по крайней мѣрѣ, въ высшихъ сферахъ нѣтъ ни дурныхъ намѣреній, ни вѣроломства. Онъ представлялъ себѣ прусское королевство въ образѣ челоуѣка, одушевленнаго чистѣйшею любовью къ своей странѣ, неспособнаго ни на большую несправедливость, ни на большое вѣроломство, — челоуѣка, честолюбіе котораго, также какъ и его энергія, не угрожали странѣ большими опасностями. Онъ отдавалъ поэтому преимущественное вниманіе тѣмъ опасностямъ, которыя самъ испытать, — опасностямъ бюрократическаго правленія и беззащитности противъ вѣшняго врага. Но онъ упустилъ при этомъ изъ виду и совершенно не припаялъ въ расчетъ опасности королевскаго произвола въ управленіи, опасности самообезпеченія и предательства врагамъ. Онъ, только четвертью вѣка отдѣленный отъ взрыва движенія 1848 года, не допускалъ и мысли о революціи ¹⁾, также какъ и о томъ, чтобы въ Пруссіи конституція была нужна для обезпеченія страны противъ посягательствъ короны. Онъ думаетъ только о

1) Записка § 137.

гарантияхъ противъ посягательствъ и прерогативъ бюрократіи. Онъ почти готовъ объяснить насилія французской революціи и непосредственное вмѣшательство народа въ верховное управление государства и массою существовавшихъ злоупотребленій¹⁾; но возможность подобныхъ злоупотребленій въ Пруссіи, возможность того, что можетъ наступить время, когда необходимо будетъ обуздать верховную власть силой, что государство придется такъ сказать защищать и спасать отъ него самого, — всѣ эти соображенія лежали за предѣлами его воззрѣній. Именно поэтому онъ, нужно сознаться, понималъ задачу не въ полномъ ея объемѣ; однако, въ указанныхъ предѣлахъ, понималъ онъ ее удивительно, глубоко и вѣрно.

Онъ не допускаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и мысли, чтобы тутъ дѣло шло о системѣ взаимнаго ограниченія, объ установленіи равновѣсія силъ. Животворящимъ принципомъ новаго учрежденія должно быть не желаніе участвовать въ управленіи цѣлымъ, а чистое общественное чувство, направленное на то, чтобы путемъ цѣлесообразной организаціи отдѣльныхъ отношеній сдѣлать ненужнымъ слишкомъ дѣятельное управленіе цѣлымъ. Онъ не исключаетъ участія народа въ высшихъ и общихъ мѣропріятіяхъ правительства, онъ хочетъ только очистить это участіе отъ мотивовъ властвованія. Онъ понимаетъ это отношеніе въ идеалистическомъ смыслѣ, но отнюдь не абстрактно. Онъ цѣнитъ очень низко интересъ къ властвованію, потому что придаетъ очень большой вѣсъ интересу свободы и самостоятельности. Это участіе въ государственной жизни отнюдь не должно висѣть въ воздухѣ; оно должно корениться глубоко и распространяться на мельчайшіе интересы. Оно должно строиться снизу, а не сверху и начинаться тамъ, «гдѣ непосредственное соприкосновеніе съ цѣлами дѣлаетъ возможнымъ истинное пониманіе и усилѣнное вмѣшательство» и можетъ подниматься отсюда къ самымъ важнымъ и общимъ интересамъ. Нація должна принимать участіе въ дѣятельности правительства во всемъ ея объемѣ — но въ предѣлахъ твердо установленныхъ границъ и степеней. «Законодательная, наблюдательная, а отчасти и административная дѣятельность правительства должны раздѣляться между органами государства и органами народа, выбранными ими самими изъ своей среды и изъ разныхъ общественныхъ разрядовъ, такимъ образомъ, чтобы тѣ и другіе, подъ верховнымъ надзоромъ правительства, но съ точнымъ разграниченіемъ правъ, сходились на всѣхъ ступеняхъ своего положенія въ общей работѣ; чтобы съ каждой стороны въ верховный органъ совѣщанія объ общихъ дѣлахъ государства возносились предложенія, только въ такомъ порядкѣ разсмотрѣнныя, взаимно уже сближенныя, взятыя изъ самой жизни націи и поэтому истинно практическія».

¹⁾ Ibid § 4, 13, 17.

Расчлененіе есть, слѣдовательно, сущность и необходимая основа участія народа въ государственной жизни. Земскія собранія не должны быть основаны непосредственно на базисѣ всей народной массы, исключительно на числовыхъ отношеніяхъ, игнорирующихъ существующія различія, — они должны восходить, черезъ промежуточные члены, отъ управленія простѣйшихъ гражданскихъ союзовъ до верховнаго органа, вѣдающаго интересы цѣлаго. «Дѣло не только въ учрежденіи избирательныхъ собраній и совѣщательныхъ палатъ» — не только въ представительствѣ: «дѣло во всей политической организаціи самого народа 1)».

Затѣмъ — мы передаемъ давленнѣйшій ходъ мыслей Гумбольдта — попятая такимъ образомъ идеи земскаго устройства подкрѣпляется еще и другими соображеніями. Существуетъ, по его мнѣнію, старое и мудрое правило, что новыя мѣропріятія и учрежденія въ государствѣ должны примыкать къ существующимъ для того, чтобы они могли пустить корни въ качествѣ родныхъ и отечественныхъ. Это вполне возможно при строѣ, представленномъ здѣсь въ общихъ чертахъ. Онъ можетъ и долженъ примкнуть къ старымъ учрежденіямъ, сохранившимся еще во многихъ мѣстахъ Германіи. Нельзя примѣнять къ Германіи новѣйшій конституціонный типъ; нельзя принять за образецъ американскую конституцію, не нашедшую ничего стараго, или французскую, разрушившую все старое. И не только сохранить — собственно даже возстановить нужно все существенное этихъ древнихъ управленій. Въ противоположность народному представительству, которое послѣ предварительной общей нивеллировки исходитъ исключительно изъ числовыхъ и имущественныхъ отношеній, это существенное заключается или въ чемъ нномъ, какъ въ томъ, «что политическая организація цѣлаго составляется изъ равномѣрно организованныхъ частей 2)».

Такимъ образомъ Гумбольдтъ ставитъ, повидному, ту-же альтернативу: представительное правленіе или земское? — которая пѣсколько мѣсяцевъ спустя была выставлена Генцомъ на Карльсбадскомъ конгрессѣ въ качествѣ лозунга реакціонной политики. Какъ и Генцъ, высказался онъ за земскія учрежденія и противъ представительныхъ. Подобно реакціонной доктринѣ, повторяющей это до сихъ поръ, заклеилъ онъ современный конституціонный строй упрекомъ въ нивеллировку а старыя земскія учрежденія призналъ органическими. Онъ громко называлъ себя послѣдователемъ консервативнаго ученія. Онъ не скрывалъ, что его реформаціонныя идеи не руководимы духомъ времени, а напротивъ — имѣютъ цѣлью реставрацію прежняго, историческаго. И несмотря на то, даже, современ-

1) См. особенно § 16, стр. § 6, 10, 11, 14.

2) § 18, 19, 20, 117. Ср. письмо къ Зоммеру.

ники не рѣшались отнести его въ одинъ лагерь съ Меттернихомъ и Генцемъ, съ Галлеромъ и де-Мэстромъ. Они судили по его образу дѣйствія я находили, что Герденбергъ, при всѣхъ своихъ симпатіяхъ къ французскому конституціонализму и при своемъ заигрываніи съ духомъ времени, не помѣшалъ ни карлсбадскимъ рѣшеніямъ, ни торжеству реакціи въ Пруссіи, тогда какъ Гумбольдтъ протестовалъ противъ первыхъ и былъ побѣжденъ послѣднею. И что сужденіе это было вѣрное, совершенно ясно изъ дальнѣйшихъ разсужденій Гумбольдта. Они доказываютъ, что онъ высказывался за земскій принципъ въ такомъ смыслѣ, противъ котораго Генцъ со своими произвольными софистическими и каррикатурными опредѣленіями этого понятія заявилъ-бы отводъ. Они доказываютъ, что онъ хотѣлъ воспользоваться для новой постройки старымъ, существующимъ матеріаломъ, но такимъ широкимъ, свободнымъ отъ предрасудковъ образомъ, что онъ не разъ опережалъ при этомъ болѣе ограниченное пониманіе и сословный духъ даже такого человѣка, какъ Штейнъ. Они доказываютъ, что его консерватизмъ и раставраціонныя стремленія образовали только путь, по которому шелъ истинный либерализмъ, и пробивалось наружу такое уваженіе къ духу свободы, передъ которымъ могли бы покраснѣть ученики французской свободы. Они доказываютъ—чтобы сказать все—что онъ и только онъ одинъ, при болѣе благоприятныхъ для себя условіяхъ, могъ бы создать въ Пруссіи учрежденія, которыя соотвѣтствовали бы истиннымъ потребностямъ страны, успокоили-бы умы и предохранили-бы будущее поколѣніе отъ бѣдствія революціи.

Штейнъ сообщалъ Гумбольдту—правда, въ эпоху, когда тотъ пересталъ уже официально заниматься конституціоннымъ вопросомъ—письмо редактора Hammer Wochenblatt, д-ра Генриха Шульца. Это письмо даетъ ему поводъ высказаться противъ доктринерскаго пониманія историческаго принципа, противъ воззрѣнія, именующаго себя «индивидуальнымъ историческимъ». По поводу этого вопроса о доктринерствѣ обнаруживается вся свобода и подвижность его собственнаго пониманія, также какъ и все превосходство его образа мыслей. Исторія для него не только прошлое; примыканіе къ настоящему не равносильно для него возвращенію къ отжившему. Дѣло не въ томъ, чтобы «возстановить то, что было и какъ было», но скорѣе въ томъ, чтобы отлить то, что есть, въ форму, обусловленную правомъ и справедливостью, но при этомъ въ такую форму, которая не противилась-бы упорно дальнѣйшему совершенствованію». Онъ знаетъ, какъ онъ это зналъ еще въ 1791 году, когда впервые писалъ о государственномъ устройствѣ, — онъ знаетъ, что всякая практическая дѣятельность и всякое творчество въ области политики есть компромиссъ — компромиссъ съ дѣйствительностью, въ которой многое половинчато и нечисто, компромиссъ съ настоящимъ, которое по праву

жизни опередило прежнія условія. Съ нимъ приходится согласиться, его приходится признавать и тогда, когда хотятъ принципиально оживить духъ старыхъ земскихъ учреждений. Церковь перестала быть сословіемъ. «Дворянство — пишетъ Гумбольдтъ Штейну, который не упускаетъ отмѣтить на поляхъ свое несогласіе, — дворянство вырыло себѣ яму, еще до вліянія революціи, вслѣдствіе собственной вялости и слабости, вслѣдствіе легкомысленнаго должанія, отчужденія своихъ земель вездѣ, гдѣ только законъ имъ прямо не препятствовалъ, уклоненія отъ простоты и чистоты прадѣдовскихъ обычаевъ. И наконецъ главное: образовалось среднее сословіе, не принадлежащее ни къ одному изъ прежнихъ сословій и всеже проникшее во владѣнія и занятія всѣхъ. Таковъ существующій матеріалъ для земскихъ учреждений, таковы условія настоящаго. И эти условія съ точки зрѣнія человѣческой и исторической въ своемъ правѣ. Они не слѣдствіе только «дурныхъ законодательствъ» и «революціонныхъ настроеній», они являются естественнымъ продуктомъ подъема всей торговой и промышленной дѣятельности, — подъема, въ которомъ нужно уважать прогрессъ человѣческаго ума. Далѣе. Подобно тому какъ этотъ подъемъ торговли и промышленности невозможенъ былъ безъ умственной дѣятельности, точно также онъ въ свою очередь — не будемъ подробно пересказывать или цитировать — вліяетъ и на нее; взгляды становятся свободнѣе и не такъ легко отливаются въ опредѣленныя формы. Но если бы «индивидуальное историческое воззрѣніе» требовало, чтобы вся эта болѣе энергичская жизнь — разсматриваемая съ другой точки зрѣнія, она имѣетъ, можетъ быть, гораздо менѣе цѣны, нежели болѣе простая и скромная, но болѣе достойная жизнь прежняго времени — вернулась въ болѣе тѣсныя рамки, чтобы собственность была ограничена, промышленность прекращена, и чтобы мѣры въ томъ же духѣ были приняты повсюду, то я, признаюсь, считалъ бы это невозможнымъ. Перегородки были-бы, по моему мнѣнію, такъ или иначе проломлены; а если бы даже возможно было воспрепятствовать этому, наступилъ-бы застой; легко было-бы добиться смерти того, что существовало, но не пробудить жизнь въ томъ, что хотѣли вызвать изъ прошлаго ¹⁾».

Какъ глубоко Гумбольдтъ былъ проникнутъ этими воззрѣніями, это ясно изъ всей разработки земскаго вопроса во всѣхъ его частностяхъ. Но особенно рѣзко обнаруживается это на его отношеніи къ дворянству и составляетъ контрастъ съ менѣе свободными и менѣе смѣлыми воззрѣніями Финке и Штейна. Благородный характеръ Штейна выше всякой похвалы и всякаго, мы увѣрены, сравненія. Его энергія и патриотическое рвеніе сдѣлали то, чего Гумбольдтъ никогда-бы не сдѣлалъ. Непокорливо стремясь къ своей цѣли — осво-

¹⁾ Письмо къ Штейну въ янв. 1823, 1. с. стр. 180.

божденію отечества, онъ опрокинулъ всѣ преграды, воздвигнутыя предразсудкомъ; смѣлость его мѣропріятій пренебрегла всѣми побочными соображеніями. Его политическая дѣятельность была подобна дѣйствіямъ героя на войнѣ. Смотри по обстоятельствамъ, онъ былъ то тираномъ, то революціонеромъ,—но онъ былъ всегда великимъ человѣкомъ, которому Богъ внушилъ спасти отечество, и котораго рука не ослабѣла, пока онъ не достигъ цѣли. Но его героическая карьера въ то время близплазъ къ концу. Его сильный умъ былъ все еще силенъ, его мужественное сердце было все еще мужественно,—и все же Штейнъ 1820 года не былъ уже Штейномъ 1807 или 1812 года. Министръ Штейнъ былъ не то, что баронъ фонъ-Штейнъ. Въ противоположность большинству людей онъ былъ смѣлѣе и свободнѣе на практикѣ, чѣмъ теперь въ теоріи. На его образъ мыслей оказала вліяніе прежде всего его личныя связи. Его политическія идеи стали сильно отдавать аристократическими предразсудками и антипатіей къ свойственному вѣку стремленію къ новшествамъ. Человѣкъ, который когда-то доходилъ въ мысляхъ до совершеннаго упраздненія дворянства, былъ теперь самымъ яркимъ защитникомъ необходимости фидеикомиссовъ; величайшій изъ существовавшихъ когда либо демагоговъ и революціонеровъ говорилъ теперь часто въ самыхъ презрительныхъ выраженіяхъ о «суетной, пустой толпѣ» и неутомимо и горячо ратовалъ противъ господствующаго духа анархіи и разнузданности. Подобно тихо и мягко свѣтящему свѣту рядомъ съ пылающимъ огнемъ, представляется намъ гений Гумбольдта рядомъ съ гениемъ Штейна. Политическія воззрѣнія Гумбольдта въ существенномъ были тѣ же, что и до начала его политической карьеры. Взгляды Канта и прежде отдавали для него слишкомъ сильно демократизмомъ, а личныхъ аристократическихъ предразсудковъ не питалъ онъ и теперь. Высоко вѣдымающіяся волны событій не сдѣлали его смѣлѣе и свободнѣе, наступившій отливъ не сдѣлалъ его болѣе робкимъ и узкосердечнымъ. Его *profession de foi* не зависѣло отъ одушевляющихъ или подавляющихъ впечатлѣній реальныхъ условій. Оно коренилось въ характерѣ, который неподвижно покоился въ оболочкѣ высокой и тонкой интеллигентности, способной и подготовленной къ пониманію всего человѣческаго. Онъ раздѣлялъ поэтому со Штейномъ общую здравость и свободу взгляда, но превосходилъ его устойчивостью и свободой, тонкостью и справедливостью, глубиной и универсальностью своего сужденія.

Гуманистическое воззрѣніе въ самомъ чистомъ видѣ руководило перомъ Гумбольдта при созданіи «Опыта о границахъ государственной дѣятельности». Недостойнымъ казалось ему тогда даже и къ самымъ низшимъ общественнымъ слоямъ не прилагать самаго высокаго масштаба человѣчности. Та-же гуманность отличаетъ его и теперь, когда онъ съ практически-политическою цѣлью возвращается къ различіямъ сослов-

даго дѣленія и самымъ положительнымъ образомъ высказывается за дальнѣйшее существованіе дворянства. Но противъ всякой попытки сдѣлать изъ дворянства касту онъ протестуетъ со всѣмъ пыломъ своего чувства гуманности и индивидуальнаго права свободы. Въ силу этого онъ не допускаетъ доказательства дворянскаго происхожденія: ибо «запрещеніе смѣшенія посредствомъ брака есть одна изъ первыхъ признаковъ касты» и «съ истиннымъ понятіемъ о нравственности и бракъ несомнѣваемо, чтобы послѣдній встрѣчалъ какія-либо постороннія препятствія, не лежащія въ волѣ самихъ брачующихся и тѣхъ, отъ которыхъ они непосредственно зависятъ, или находилъ какія-либо иныя препятствія, кромѣ взаимной склонности и индивидуальныхъ соображеній». Оставить дворянству какую-либо полезную, приносящую денежную выгоду привилегію было-бы, по мнѣнію Гумбольдта, нелѣпо и несправедливо, и онъ выставляетъ нѣсколько предложеній, какъ путемъ справедливыхъ мѣропріятій упразднить податную льготу дворянства, дальнѣйшее существованіе которой кажется ему невозможнымъ ¹⁾. Пусть дворянство существуетъ, но оно должно занимать только то положеніе, которое обусловливается цѣлью политической организаціи и основаннаго на ней государственнаго строя. Поэтому учрежденіе маіоратовъ, говоритъ онъ Штейну, не есть прерогатива дворянства, оно разсматривается имъ исключительно въ связи съ правомъ на представительство въ земствѣ и съ необходимостью оживить къ нему интересъ ²⁾. Вообще же онъ въ дворянскомъ вопросѣ исходитъ вездѣ изъ того великаго принципа, что его сохраненіе должно быть дѣломъ свободнымъ, и законодательство не должно выходить за предѣлы жизненнаго стремленія, заложеннаго въ самомъ институтѣ. Дворянство нужно поддерживать и охранять не путемъ насилія или искусственныхъ и положительныхъ мѣропріятій, какъ, напримѣръ, нарочитое возведеніе во дворянство и т. п., — а лишь постольку, «поскольку его поддерживаютъ обычай и его собственная сущность». Государство уже достаточно для него дѣлаетъ тѣмъ, что возстановляя его политическое значеніе, оно даетъ ему новый импульсъ, предоставляя ему путемъ законодательства возможность и свободу «вернуться къ жизни собственными силами» ³⁾.

Но вѣра Гумбольдта въ его жизненную силу невелика. Онъ знаетъ, что появленіе средняго сословія отняло у дворянства не малую долю его значенія. Онъ знаетъ, что теченіе какъ матеріальнаго, такъ и интеллектуальнаго прогресса эпохи враждебно дворянству. Онъ между прочимъ и потому противъ слишкомъ частыхъ семейныхъ фидеикомисовъ, что видитъ въ нихъ преграду для вліянія промышленности,

¹⁾ Записка, § 93, § 98—101.

²⁾ Письмо къ Штейну 14 мая 1819, Pertz V, 376.

³⁾ Записка. § 88, § 94, 95.

что по его мнѣнію, не можетъ не имѣть невыгодныхъ послѣдствій и въ нравственномъ отношеніи ¹⁾. Такимъ образомъ, онъ не только отказываетъ дворянству въ какой-бы то ни было положительной помощи со стороны государства, — онъ съ сомнѣніемъ даетъ ему даже тотъ импульсъ, при помощи котораго дворянство можетъ себя спасти и вдохнуть въ себя новую жизнь. Этотъ импульсъ не долженъ во всякомъ случаѣ стать дѣйствительною, хотя бы только политическою, прерогативой. Чтобы одно лишь дворянское происхожденіе и нѣкоторый достатокъ сами по себѣ предоставляли земскій чинъ, избавляя даже отъ необходимости быть выбраннымъ — таково было воззрѣніе Финке, — это кажется ему уже слишкомъ большою привилегіей. Болѣе того — чтобы не заграждать нигдѣ путей прогрессивному ходу вещей, чтобы въ рамкахъ будущаго государственнаго строя дать мѣсто настоящему, какъ оно есть, и будущему, какимъ оно обѣщаетъ быть, онъ вездѣ намѣревается поставить дворянство и не-дворянство, поскольку они фактически соприкасаются, также и путемъ конституціи въ живыя соотношенія. Дворянство должно стараться быть особеннымъ сословіемъ, хотя бы исключительно политическаго характера, но границы этого сословія ни въ какомъ случаѣ не должны быть совершенно замкнутыми. Прекрасно, если дворянство сумѣетъ возродиться собственными силами и на общемъ пути, но безусловно разсчитывать на это не слѣдуетъ. Предполагаемый государственный строй не погибнетъ, если эта одна опора и рухнетъ. Необходимы мѣры приняты, чтобы реальныя жизненныя условія служили коррективомъ для сомнительнаго возрожденія дворянства. Не-дворяне, владеющіе дворянскими помѣстьями, стоятъ слишкомъ близко къ землевладельцамъ-дворянамъ для того, чтобы возможно было ихъ раздѣлить въ политическомъ отношеніи. Можно даже ожидать, что, такъ какъ воспитаніе, обычаи и образъ жизни одинаковы, то въ будущемъ у дѣтей и внуковъ незамѣтно будетъ болѣе никакого неравенства. Нужно-ли при такомъ положеніи вещей настаивать все-же на существованіи замкнутаго дворянскаго сотоварищества? возводить-ли этихъ владѣльцевъ не-дворянъ нарочито въ дворянство? возобновить-ли запрещеніе не-дворянамъ владѣть дворянскими имѣніями? Гумбольдтъ рѣзко подчеркиваетъ свое разногласіе со Штейномъ въ этомъ пунктѣ и заявляетъ уже въ своей запискѣ о необходимости вездѣ, гдѣ рѣчь идетъ о выборахъ, соединять для земскихъ дѣлъ не-дворянъ, владеющихъ дворянскими помѣстьями съ дворянской корпораціей ²⁾. Онъ полемизируетъ противъ всякаго учрежденія, которое слишкомъ отдѣ-

¹⁾ Письмо къ Штейну 14 мая 1819, Pertz, V, 375.

²⁾ Записка, § 114.

³⁾ Письмо къ Штейну, 4 апрѣля 1823, цитир. м. стр. 781, 782. Ср. Записка, § 104

дядо-бы дворянство отъ другихъ сословій. Должны существовать двѣ палаты, но принципъ раздѣленія ихъ онъ ищетъ не въ дворянскомъ сословіи. По плану Гумбольдта не-дворяне засѣдаютъ въ первой палатѣ и дворяне во второй ¹⁾. Такимъ образомъ онъ вездѣ ищетъ посредства между подлежащимъ восстановленію старымъ и не могущимъ быть игнорируемымъ новымъ. Онъ одинаково консервативенъ и остороженъ какъ по отношенію къ прошлому, такъ и къ зачаткамъ будущаго. Наконецъ онъ принимаетъ также въ соображеніе различіе мѣстныхъ условій и настроеній. Во всей его разработкѣ дворянскаго вопроса на заднемъ планѣ стоитъ соображеніе объ условіяхъ существующихъ, по ту сторону Рейна, гдѣ успѣли распространиться новыя французскія учрежденія. Насильственное и нарочитое восстановленіе дворянства вызвало бы тамъ только неудовольствие и отчужденіе. Предложенный здѣсь средній путь имѣетъ, слѣдовательно, за себя другія соображенія. «Гражданскія прерогативы дворянства должны и по эту сторону Рейна мало-по-малу исчезать, но само дворянство, какъ политическую корпорацію, нужно по ту сторону съ осторожностью восстанавливать». «При всемъ томъ», прибавляетъ скептически осторожный политикъ, «намъ кажется болѣе вѣрнымъ то, что въ Рейнскихъ провинціяхъ нельзя въ вопросѣ о дворянствѣ идти далѣе, — чѣмъ то, что можно вообще идти такъ далеко, и при этомъ еще дѣло зависить отъ точнаго знакомства со всѣми округами» ²⁾).

Какъ въ разработкѣ дворянскаго вопроса, такъ и во всякомъ другомъ нетрудно было-бы показать, какое значеніе имѣли реставраціонныя тенденціи Гумбольдта. И здѣсь, какъ и вездѣ, онъ не намѣренъ жертвовать своими «старыми ученіями» о важности индивидуальной свободы и о законности матеріальнаго прогресса этимъ реставраціоннымъ тенденціямъ и отказаться отъ нихъ въ угоду иному воззрѣнію, хотя-бы даже это было воззрѣніе Штейна. Въ вопросѣ о восстановленіи промышленныхъ стѣсненій или цехового устройства онъ не могъ съ нимъ согласиться ³⁾. Все различіе между сословіями сводится, по его мнѣнію ⁴⁾, къ дѣленію на горожанъ, земледѣльцевъ и землевладѣльцевъ-дворянъ — дѣленіе, основанное на самыхъ простыхъ и ясныхъ основаніяхъ. Въ городахъ онъ требуетъ раздѣленія на корпораціи, въ цѣляхъ управленія городскими дѣлами и «согласно съ принципомъ, что участіе въ маленькомъ, опредѣленно-ограниченномъ органѣ управленія усиливаетъ гражданское чувство и нравственность болѣе, нежели дѣятельность въ большой массѣ». Но это не

¹⁾ Записка, § 111, 112.

²⁾ Записка, § 117: ср. письмо къ Штейну отъ 14 мая 1859 г., цит. м. стр. 374.

³⁾ 4 апр. 1823; 1. с. стр. 781.

⁴⁾ Записка, § 74 и сл. и § 138.

должно привести къ установленію ненужныхъ преградъ, а также искусственныхъ или многочисленныхъ различій. Простѣйшее дѣленіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ и наилучшее, — поэтому онъ останавливается на дѣленіи на занимающихся земледѣліемъ, торговлей и ремеслами; сюда присоединяется еще четвертый «смѣшанный» разрядъ. Въ меньшихъ городахъ это дѣленіе еще болѣе упрощается—достаточно, чтобы съ принадлежностью къ такой корпораціи связывалось полное право гражданства, и чтобы членами корпораціи могли быть исключительно только члены общины ¹⁾

Очевидно, нашъ законодатель не смущается устарѣлымъ покроемъ своихъ учреждений; тѣмъ болѣе занять онъ устраненіемъ дѣйствительныхъ недостатковъ старыхъ институтовъ, подлежащихъ возрожденію. Принципіально несостоятельны они прежде всего въ слѣдующемъ пунктѣ. Всѣ они имѣютъ частно-правовой характеръ; они не проникнуты понятіемъ о цѣлокупномъ государствѣ, объ общихъ общественныхъ и національныхъ интересахъ. Въ этомъ нужно безусловно признать преимущество новаго времени передъ старымъ. При всемъ соблюденіи завѣтовъ старины, т. е. сущности раздѣленія цѣлаго на расчлененныя въ свою очередь части, слѣдуетъ все же избѣгать всего, что противорѣчитъ понятію государства; «не слѣдуетъ допускать, чтобы части неправильнымъ образомъ другъ друга насилывали, чтобы онѣ между собою враждовали и, даже того, чтобы онѣ были настолько рѣзко разграничены, что не могли-бы слиться въ одно цѣлое». Что вездѣ требуется верховный надзоръ государства за различными органами представительнаго управленія, это явствуется изъ всего предшествующаго — надзоръ, состоящій, разумѣется, не въ опекѣ, а лишь во введеніи строгой отвѣтственности, которая должна не подавлять духъ и способность самоуправленія, а способствовать имъ. Но и взаимная связь между собою различныхъ земскихъ органовъ и ихъ общее служеніе цѣлому не упускается имъ также изъ виду. Самымъ опредѣленнымъ образомъ высказывается онъ за учрежденію рядомъ съ общегосударственными чинами (*allgemeine Stände*) также и областныхъ чинновъ (*Provinzialstände*), но съ такою же опредѣленностью стремится онъ также и предотвратить сопряженную съ ними опасность партикуляризма. Онъ пытается устранить ее тѣмъ, что общегосударственные чины, по его мысли, происходятъ не изъ областныхъ, также точно какъ и эти послѣдніе въ свою очередь не происходятъ изъ муниципальных, — но всѣ эти корпораціи избираются непосредственно народомъ: безъ такого постановленія «муниципальный духъ переходилъ-бы въ областныя собранія, областной—въ общегосударственные, а такъ какъ духъ этотъ въ различныхъ провинціяхъ не можетъ быть одинаковымъ, то въ генеральныхъ собраніяхъ

¹⁾ *ibid.* § 58—62.

засѣдали-бы рѣзко раздѣленные партіи». И наконецъ самымъ рѣшительнымъ образомъ требуетъ онъ, чтобы дѣло не ограничилось учрежденіемъ однихъ только провинціальныхъ чиновъ. Онъ требуетъ этого по различнымъ причинамъ, но главнымъ образомъ потому, что одни провинціальные собранія безъ объединяющаго все единства имперскихъ собраній неизбежно привели-бы къ раздѣленію провинцій, къ распаденію государственнаго единства. Онъ убѣждаетъ, что «единство государства не основывается на одинаковости гражданскихъ и политическихъ условій во всѣхъ его частяхъ»; онъ убѣжденъ, что дѣленіе, подобное французскому департаментальному, способствуетъ единству, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ легко возможнымъ деспотизмъ ¹⁾. Но съ другой стороны, онъ точно также убѣжденъ въ необходимости не допускать, чтобы провинціальные различія становились источникомъ распаденія и ослабленія. Этимъ объясняется заявленное имъ позднѣе veto противъ вазельянскаго Финке проекта учрежденія особыхъ областныхъ министровъ. Сущность государства, говоритъ онъ въ запискѣ, обращенной къ Финке въ 1823 году ²⁾, заключается въ комбинированіи отдѣльныхъ силъ въ одну общую силу. Неблагопріятное положеніе прусскаго государства въ Европѣ особенно настоятельно предписываетъ ему не ослаблять эти силы путемъ раздѣленія, но поддерживать и оберегать ихъ посредствомъ разумно направленаго руководства. Даже самый вопросъ: слѣдуетъ ли учреждать областныя собранія, не учреждая генеральныхъ или не иначе какъ вмѣстѣ съ послѣдними? — касается ему, какъ онъ высказывается въ концѣ записки, тождественнымъ съ тѣмъ: должно-ли государство стать снова союзомъ нѣсколькихъ государствъ или оставаться однимъ государствомъ?

Еще одинъ недостатокъ, связанный съ частно-правовымъ ея происхожденіемъ и характеромъ, тяготѣетъ надъ системой сословнаго расчлененія. Гумбольдтъ не скрываетъ отъ себя, что она можетъ вызвать упрекъ въ слишкомъ большой сложности и въ раздробленіи нашіхъ на части. Онъ старается и тутъ найти выходъ. Стремленіе къ упрощенію несомнѣнно во многихъ изъ приведенныхъ постановленій: оно одно между прочимъ служитъ причиной того, что онъ высказывается противъ установленія особыхъ окружныхъ собраній ³⁾, которыя занимали бы мѣсто между муниципальными управленіями съ одной стороны и областными собраніями—съ другой. Нужно однако же сознаться, что это стремленіе не вполне осуществлено. Въ цѣломъ система все еще настолько сложна, что не можетъ не дать повода къ столкновенію между отдѣльными частями и, слѣдовательно, къ остановкѣ и замедленію въ дѣлахъ. Напримѣръ, постановленія

¹⁾ Записка, § 135, 20, 53, 134, 136.

²⁾ Dogow, I. с. стр. 21.

³⁾ Записка, § 46.

о правахъ областныхъ и генеральныхъ собраній касательно пзданія провинціальныхъ законовъ, фигурирующія въ одномъ изъ позднѣйшихъ параграфовъ, въ высшей степени мало примѣнимы. Несомнѣнно то, что тамъ, гдѣ только Гумбольдтъ высказывается въ пользу слишкомъ сложныхъ учрежденій, имъ руководить не пристрастіе къ прошлому, а рѣшительно господствующее у него и много уже разъ подчеркнутое убѣжденіе, что не можетъ быть ничего пагубнѣе, какъ управлять безъ знанія дѣла, на основаніи однихъ общихъ идей. Но сложная искусственность отличала уже и его проекты нѣмецкаго государственнаго устройства. Сложная искусственность есть вообще область, въ которую ему всегда особенно свойственно было уклоняться. Простота была ему по его интеллектуальному своеобразію мѣтѣ всего обычна. Въ писаніи, какъ и въ дѣйствіи, онъ, помимо своей воли, всегда слишкомъ обстоятеленъ. Какъ его воззрѣнія были иногда для практическихъ цѣлей слишкомъ глубоки, такъ его учрежденія были очень часто слишкомъ замысловаты и хрупки.

Близко родственна преувеличенной тонкости его размышленіи была другая, болѣе реальная особенность его ума, которая также проявилась въ его проектѣ конституціи. Конечно, никто не обладалъ болѣе его мужествомъ свободы: то, что то представляется ему какъ слѣдствіе ясно сознанной имъ идеи свободной жизни, онъ готовъ высказать безъ мелочности, безъ страха и колебанія. И тѣмъ не менѣе это мужество шло у него рука объ руку съ нѣкоторою робостью. Мы называемъ робостью то, что было-бы, можетъ быть, правильнѣе назвать скромностью. Это не опасенія по отношенію къ людямъ или вещамъ, — это общій, почти инстинктивный страхъ преступить мѣру, это невозможность дѣйствовать смѣло, безъ оглядки, необдуманно. Его привычный къ порядку и мѣрѣ глазъ, его тонкій и развитый вкусъ, его тонкая и аристократическая организація хотять видѣть лишь свободы проведенными ясно и опредѣленно, чисто и изящно. Все, что вытекаетъ изъ самой природы вещи, должно быть допущено, — но ничего сверхъ этого. Свобода должна быть, какъ онъ самъ, пропитана чувствомъ мѣры и скромности: она должна быть чужда пышности, шума и излишества. Самоуправленіе въ принципѣ расточается имъ самымъ щедрымъ образомъ, возможность свободнаго развитія горячо имъ пріѣтствуется; но власть отпускается бережливо и скупо, аппаратъ свободы дѣйствуетъ въ весьма скудныхъ и скромныхъ размѣрахъ. Онъ остается въ этомъ случаѣ позади Штейна, смѣло и твердо выступающаго, тогда какъ собственно въ принципахъ свободы Гумбольдтъ его опережаетъ. Гумбольдтъ никогда не предоставляетъ инициативы земскимъ учрежденіямъ. Онъ высказывается противъ періодическаго утвержденія налоговъ. Продолжительность функцій уполномоченныхъ должна быть опредѣлена въ семь — восемь лѣтъ, и онъ считаетъ совершенно достаточнымъ созывать генеральныя собранія каждыя че-

тыре года. Выборы должны происходить без рѣчей и волнений, и публичность совѣщаній должна быть допущена только со странными и мелочными оговорками ¹⁾).

Достаточно однако этого раздробленнаго изложенія, представленнаго въ мемуарѣ, государственнаго устройства. Переходя теперь къ разсмотрѣнью его проекта въ цѣломъ и соединяя его постановленія въ одну самостоятельную картину, мы тѣмъ самымъ продолжаемъ характеризовать самого Гумбольдта въ его отношеніи къ принципамъ конституціонализма.

На первомъ планѣ этой картины, какъ базисъ всего строя, стоитъ учрежденіе городскихъ и сельскихъ общинъ. Въ городскомъ устройствѣ существуетъ уже, хотя и изолированное, такое общинное устройство. Основнымъ принципомъ является здѣсь назначеніе начальствующихъ лицъ общиной, принципъ, который слѣдуетъ однако проводить съ осторожностью по отношенію къ существующимъ еще правамъ дворянъ-землевладѣльцевъ или къ другимъ противорѣчающимъ этому условіямъ. Для городовъ имѣется въ виду корпоративная организація. Предсѣдатели сельскихъ и городскихъ общинъ, также какъ и окружные предсѣдатели составляютъ низшую степень земскаго управленія. Они должны исключительно только управлять, причѣмъ все управленіе общинными дѣлами должно по возможности производиться безвозмездно.

Вторую ступень составляютъ областныя чины. Они образуются изъ названныхъ сословныхъ разрядовъ путемъ народнаго избранія, притомъ такъ, что каждое сословіе выбираетъ только лицъ изъ своей среды, а каждое окружное избирательное собраніе выбираетъ только въ томъ округѣ, къ которому принадлежитъ. Не слишкомъ высокій размѣръ платимаго налога, хотя и болѣе высокій, нежели требуется при избраніи общинныхъ представителей, даетъ первое право участвовать въ выборахъ. Выборы происходятъ безъ посредствующихъ ступеней, такъ какъ противное неестественно и нецѣлесообразно. За то публичность совершенно исключается ибо въ Германіи для обезпеченія свободы выборовъ нѣтъ надобности въ такой гласности и усиленіи общественнаго мнѣнія, какъ въ Англии. Къ выборнымъ членамъ областныхъ чиновъ присоединяются еще и наследственные, и такимъ образомъ, а также въ силу общей цѣлесообразности двойнаго обсужденія, образуются двѣ палаты. Не то, чтобы это составляло вопросъ существенной важности—образуютъ-ли областныя чины одну или двѣ палаты; но допустимъ, что выбрано будетъ, не смотря на кажущуюся затруднительность, послѣднее,—въ такомъ случаѣ составъ одной палаты будетъ наследственной, другой—выборной. Палата господъ состояла-бы въ такомъ

¹⁾ См. записка, § 37—38, § 129, § 144, 331. § 140, 132.

случаѣ прежде всего изъ дѣйствительныхъ, т. е. наследственно и лично, уполномоченныхъ и высшаго духовенства, затѣмъ изъ тѣхъ землевладѣльцевъ, которые владѣютъ фидеикомисными владѣніями извѣстнаго размѣра, и наконецъ изъ тагихъ, которые уплачиваютъ налоги въ размѣрѣ, превосходящемъ, смотря по провинціи, въ два и три раза размѣръ налоговъ, платимыхъ депутатами нижней палаты,—ибо верхняя палата не должна быть многочисленна. Для первыхъ двухъ разрядовъ дворянское достоинство не имѣло-бы значенія и депутаты-дворяне, платящіе меньшій размѣръ налоговъ, засѣдали-бы въ нижней палатѣ. Таковы составъ и организація провинціальныхъ собраній; функции ихъ двойственны—частью административныя частью совѣщательныя. Они завѣдуютъ частными интересами своей провинціи, что для нихъ возможно только при посредствѣ комитета, по отношенію къ которому они въ цѣломъ своемъ составѣ играютъ роль совѣщательную и наблюдательную; ихъ вторая и дѣйствительная функция заключается въ томъ, что они совѣщаются. Опредѣляющійся этимъ кругъ ихъ дѣйствія сводится къ утверженію провинціальныхъ законовъ и провинціальныхъ налоговъ; совѣщанію объ общихъ законахъ и налогахъ съ точки зрѣнія специальныхъ условій провинціи, къ предложенію собственныхъ проектовъ законовъ и учрежденій и къ разбору жалобъ. Управление какъ низшими, такъ и провинціальными органами находится, разумѣется, подъ контролемъ правительства. Контроль земскихъ управленій, поскольку они исполняютъ административныя функція, производится, на различныхъ ихъ ступеняхъ, соответствующими правительственными учрежденіями. Ландратъ наблюдаетъ за округомъ, правительство — за комитетомъ провинціального собранія, поскольку онъ принадлежитъ къ ихъ президіальному округу, оберъ-президіумъ за всѣмъ комитетомъ въ цѣломъ. Послѣдній или особенный комиссаръ исполняетъ при провинціальныхъ собраніяхъ все то, что при общихъ собраніяхъ лежитъ на обязанности князя. Созывъ уполномоченныхъ можетъ, разумѣется, исходить только отъ правителя страны, но слѣдовало-бы постановить, что они должны созываться разъ въ два года.

Перейдемъ наконецъ къ генеральнымъ чинамъ. Они не имѣютъ никакого отношенія къ управленію и обсуждаютъ только законопроекты и денежные вопросы абсолютно или относительно общаго характера, касающіеся всего государства. Поскольку они не наследственны, они также избираются непосредственно народомъ, а не выходятъ изъ областныхъ чиповъ. Остается подъ сомнѣніемъ, слѣдуетъ-ли повысить для этихъ выборовъ цензъ или нѣтъ; несомнѣнно однако то, что они должны дѣлиться на двѣ палаты, въ высшей можетъ состоять только изъ членовъ, лично управомоченныхъ, а не изъ выборныхъ. Въ нее вступаютъ королевскіе принцы, за ними медиатизированные принцы, силезскіе родовые дворяне; изъ

остального дворянства тѣ, которые владѣютъ самыми значительными помѣстьями, и наконецъ высшее протестантское и католическое духовенство. Новое государственное устройство должно было бы, по мнѣнію Гумбольдта, признать за владѣтельнымъ княземъ право возводить въ потомственные или пожизненные пѣры, ибо «отсутствіе такого права слишкомъ связало-бы ему руки». Съ другой стороны это все-же «нецѣлесообразно измѣняетъ истинный характеръ верхней палаты», и потому должно стать «государственной максимой—не слишкомъ часто пользоваться этимъ правомъ». Что касается правомочій верхней палаты по отношенію къ областнымъ собраніямъ, то записка самымъ рѣшительнымъ образомъ высказывается противъ того, чтобы они имѣли только совѣщательный голосъ, и за то, чтобы они имѣли рѣшающій голосъ. Сдѣлать представительныя учрежденія исключительно совѣщательными органами значить «отнять у этого института слишкомъ большую долю его достоинства и значенія», а «стремиться какъ-бы вызвать общее неодобреніе по поводу рѣшеній, которые во всякомъ случаѣ намѣрены привести въ исполненіе никакъ не можетъ быть названо цѣлесообразнымъ». Не цѣлесообразно также ограничивать право рѣшенія только неконституціонными мѣропріятіями, ибо «это побудило-бы представительныя учрежденія при помощи, если не софистическихъ, то по крайней, мѣрѣ хитроумныхъ доводовъ изыскивать при посредствѣ конституціонныхъ законовъ очень отдаленныя послѣдствія сдѣланныхъ предложеній съ цѣлью найти въ нихъ нарушеніе закона», благодаря чему они прониклись-бы самымъ ужаснымъ духомъ, какимъ только могутъ обладать такого рода учрежденія,—духомъ крючкотворства». Слѣдовательно, нужно предоставить имъ дѣйствительно рѣшающее право относительно всѣхъ законовъ въ собственномъ смыслѣ и въ вопросѣ о налогахъ. Съ другой стороны однако-же, для того, «чтобы предоставить правительству достаточную свободу и спокойствіе при исполненіи его намѣреній», нужно точно «опредѣлить понятіе закона, также какъ и способъ утвержденія налоговъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ затруднить формы для изъявленія неодобренія. Въ видахъ перваго не слѣдуетъ разсматривать въ качествѣ законовъ, подлежащихъ обсужденію чиновъ, всѣ тѣ, хотя бы общаго характера, предписанія, которыя относятся непосредственно къ исполненію административныхъ обязанностей правительства. Что касается, во-вторыхъ, утвержденія налоговъ, то, по мнѣнію Гумбольдта достаточно, если каждое измѣненіе въ налоговомъ или имущественномъ положеніи государства будетъ предоставляться на рѣшеніе представительныхъ учрежденій; что же касается всего остального, то хотя имъ при каждомъ созывѣ и будетъ сообщаться бюджетъ, но ихъ замѣчаніямъ и поправкамъ по этому предмету не будетъ придано принудительнаго

характера ¹⁾. Наконецъ относительно третьяго пункта—формы для выраженія неодобренія законопроектовъ—можно было-бы, по его мнѣнiю, постановить, что для принятiя законопроекта достаточно абсолютнаго большинства голосовъ, для того-же, чтобы онъ былъ признанъ отвергнутымъ, нужно, чтобы противъ него соединилось двѣ трети голосовъ. Затѣмъ, что ни провинціальныя, ни имперскiе чины не должны имѣть права инициативы, это намъ уже извѣстно. Они не лишаются права дѣлать собственныя предложенiя относительно законовъ и учрежденiй, «но они никакимъ образомъ не могутъ принудить правительство къ обсужденiю какого-нибудь ихъ проэкта», и самые проэкта «должны имѣть общiй характеръ, указывая скорѣе предметъ, чѣмъ обсуждая его». Остается еще право веденiя жалобъ и связанное съ нимъ право генеральныхъ чиновъ входить съ жалобами на министровъ. Странна и вмѣстѣ съ тѣмъ характерна какъ для наивности того времени, такъ и для скромности Гумбольдта манера, съ какою онъ хотя и высказывается въ пользу этого послѣдняго права, но окончательно вопроса не рѣшаетъ. «Противъ такого права ничего нельзя сказать, оно имѣетъ безспорно благотворное значенiе»; но «оно ставитъ представительное учрежденiе, выступающее даже противъ находящагося подъ защитой верховной власти министра, до извѣстной степени въ импонирующее положенiе по отношенiю къ этому послѣднему». Поэтому «такой вопросъ долженъ рѣшать только самъ владѣтельный князь».

Однако Гумбольдтъ хотѣлъ не земскаго управленiя только, а конституцiя въ полномъ смыслѣ этого слова. Уже въ своихъ проэктахъ нѣмецкаго государственнаго устройства онъ, рядомъ съ правами сословiй, называетъ также общiя права подданныхъ, которыя должны быть имъ предоставлены. Также точно и теперь. Вмѣстѣ съ новымъ государственнымъ строемъ, какъ интегрирующая его часть, должны быть даны и формально гарантированы безопасность личная и имущественная, свобода совѣсти и печати. Онъ прибавляетъ къ этому: обезпеченiе правильнаго теченiя правосудiя посредствомъ установленiя несмѣняемости судей и склоненъ распространить послѣднее также и на нѣкоторыя другiя должности ²⁾.

Таковы приблизительно были принципы и внѣшнiе контуры, задуманнаго Гумбольдтомъ, государственнаго строя. Одно преимущество имѣлъ этотъ планъ, можетъ быть, передъ всѣми тѣми, которыя впоследствии частью были только написаны, частью дѣйствительно испытаны: коротко выражаясь,—это былъ планъ честный. Въ немъ не было ни одного параграфа, который былъ-бы отвоеванъ у свободнаго

¹⁾ Записка § 28, § 129.

²⁾ Ibid. § 7—8.

убѣжденія автора какимъ-нибудь требованіемъ его односторонней доктрины. Въ немъ не было ни одного постановленія, которое было-бы рассчитано на то, чтобы являть на бумагѣ либерализмъ, который на практикѣ исчезнулъ-бы тотчасъ-же. Все выводилось изъ идеи самой вещи, съ тою-же осмотрительностью и послѣдовательностью, съ тою-же дѣльностью и правдивостью, которыя внушаютъ намъ въ научныхъ трудахъ Гумбольдта уваженіе и удивленіе. И это была не только либеральная идея, а идея самой свободы, идея самостоятельности и самоуправленія націи. Мы повѣтому твердо убѣждены, что это государственное устройство, съ его тщательнымъ ограниченіемъ правъ парламента, втеченіе полустолѣтія повело-бы націю гораздо далѣе по пути свободы и права, чѣмъ она дошла теперь послѣ болѣе продолжительнаго времени. Указанные выше предѣлы расширились бы, истинный смыслъ и дѣйствительная способность къ участію въ государственной жизни укрѣпились-бы. Если-бы намъ предоставлено было на выборъ имѣть въ 1819 государственный строй, проактивированный Гумбольдтомъ, или теперь нынѣшній прусскій, то мы безъ малѣйшаго колебанія выбрали-бы первый. Ибо по своему происхожденію и характеру нынѣшній государственный строй не препятствуетъ тому, чтобы его формализмъ сдѣлался сосудомъ и опорой бюрократическаго произвола, и чтобы нація безучастно слѣдила за пагубнымъ ходомъ государственнаго управленія. Этотъ бюрократизмъ партія Гумбольдта сломала-бы и сдѣлала-бы народный духъ живымъ, бдительнымъ и ревнивымъ къ интересамъ и чести королевства. Такого дѣйствія самъ Гумбольдтъ ожидалъ отъ введенія своей хартіи. Онъ умственнымъ окомъ провидѣлъ, что колеблющееся и слабое правительство не устоитъ передъ собраніемъ генеральныхъ чиновъ. Онъ хотѣлъ и надѣялся обрѣсти въ этомъ гарантію противъ дурнаго управленія. Онъ видѣлъ, что благодаря этому отвѣтственность министерства становится двойкою: «во-первыхъ, передъ лицомъ представителей народа, и, во-вторыхъ, по отношенію къ королю, который имѣетъ въ собраніи представителей, для своей помощи и руководства, строгаго и свѣдущаго судью своихъ министровъ». И наконецъ онъ усматривалъ въ предложенномъ имъ представительствѣ принципъ консервативности и устойчивости, конечной цѣли и главнаго условія всякаго управленія,—узду, какъ онъ думалъ, противъ страсти къ новымъ законамъ и учрежденіямъ, которые иначе вырождаются въ пустыя выдумки. Онъ правда, думаемъ мы, ошибался, рассчитывая достигнуть въсѣхъ этихъ цѣлей при помощи такого ручнаго парламентаризма; но именно потому, что онъ неуклонно стремился къ этимъ цѣлямъ, онъ не отказался-бы и отъ ведущихъ къ нимъ путей и имѣлъ-бы мужество способствовать всякому расширенію представительныхъ полномочій, необходимость котораго выяснилась-бы на опытѣ. «Для того, чтобы предоставить опыту его право и прогрес-

сивному самостоятельному развитію институтовъ свободное поле» — таково заключеніе записки — «необходимо, чтобы только самое существенное и характерное было твердо и неизмѣнно установлено, — все же остальное должно разсматриваться какъ относительно безразличное и не формулироваться сразу въ видѣ закона» ¹⁾).

Онъ составилъ себѣ не только проэктъ будущаго государственнаго строя, но также планъ, и очель опредѣленный, процесса его введенія. Къ Штейновскому городовому устройству должно было постепенно примкнуть все остальное; въ его намѣренія входило возможное ускореніе дѣла. Нужно работать одновременно на всѣхъ пунктахъ, но если зданіе на одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ окажется болѣе продвинутымъ, чѣмъ на другомъ, то не слѣдуетъ останавливать работы изъ-за послѣдняго. Одно было для него неизмѣнно установлено: ни въ какомъ случаѣ, повторяетъ онъ многократно, не долженъ отсутствовать краеугольный камень всего цѣлага. Нельзя ограничиться введеніемъ одного областного представительства или даже только замедлить учрежденіемъ генеральныхъ чиновъ. Областное устройство должно нѣсколько предшествовать общему государственному. Нація должна составить себѣ прежде наглядное представленіе о земской жизни. Многое должно быть подготовлено въ провинціяхъ, прежде чѣмъ внести его въ качествѣ законопроекта въ генеральное собраніе. Такимъ образомъ и управленіе выиграетъ время для того, чтобы занять по отношенію къ представителямъ болѣе твердую позицію. Но втеченіе двухъ лѣтъ послѣ завершенія областного устройства генеральное собраніе во всякомъ случаѣ должно быть созвано, и за этотъ промежутокъ все должно обнаружить твердую волю прлвести его въ дѣйствіе. Онъ рассчитывалъ, что при благопріятныхъ обстоятельствахъ, въ 1820 или самое позднее въ 1821 году, представительныя собранія во всѣхъ провинціяхъ будутъ уже составлены и въ 1822 и во всякомъ случаѣ не позднѣе 1823 года можетъ послѣдовать созывъ имперскихъ чиновъ. Къ этому сроку должны быть, по его мнѣнію, составлены всѣ относящіеся къ государственному устройству ограническіе законы и положено основаніе свободѣ печати, такъ чтобы созывъ генеральнаго собранія и въ этомъ отношеніи завершилъ цѣлое. Такова была его мысль въ февралѣ 1819 года, такою-же она въ главномъ пунктѣ оставалась еще и въ ноябрѣ 1821 и въ апрѣлѣ 1823 года — въ эпоху, когда эти сроки были уже давно пропущены, въ эпоху, когда уже даже Финке и Штейнъ привыкли къ мысли о возможности удовлетвориться одними областными представителями, Гумбольдтъ остался при своемъ мнѣніи, что лучше не вводить областныя чины безъ общеимперскихъ; какъ уже ранѣе въ

¹⁾ Записка § 157.

запискѣ 1819 года, изложилъ онъ теперь свое отличное отъ мѣстнѣй Фляке и Штейна воззрѣніе съ опредѣленностью и аргументаціей, которая при всей ея утонченности представляется все же весьма убѣдительною. Необходимо, чтобы при введеніи областныхъ чиновъ пласть генеральныхъ былъ совершенно утвержденъ и даже въ цѣломъ оглашенъ. При отдѣленіи однихъ отъ другихъ исчезнутъ всѣ достоинства генеральныхъ чиновъ, останутся одни лишь недостатки съ прибавленіемъ новыхъ. Что одинъ изъ этихъ недостатковъ и не самый маловажный Гумбольдтъ усматривалъ въ ослабленіи государственной евязи, объ этомъ мы уже упоминали. Затѣмъ, не только государство какъ таковое, но и самое управление было-бы приведено въ странную дисгармонію. Областное представительство можетъ служить только для областныхъ надобностей, при общихъ же цѣляхъ государство не можетъ рассчитывать на ихъ содѣйствіе. Общегосударственныя мѣропріятія останутся слѣдовательно внѣ вліянія представительныхъ установленій ил и—что еще хуже—получать превратное и вредное направленіе. Мало того: обнаружилось-бы еще болѣе пагубное явленіе. Существующая потребность и сила самой вещи искажи-бы удовлетворенія на ненормальномъ пути. Областные собранія старались занять мѣсто недостающихъ центральныхъ, они искусственнымъ образомъ стремились-бы придать областнымъ дѣламъ общій характеръ и общимъ—областной. И это нарушеніе нормальныхъ границъ, пагубное само по себѣ, представило бы для правительства безконечныя затрудненія: ему пришлось-бы въ такомъ случаѣ сговариваться относительно каждаго мѣропріятія съ четырьмя, пятью и болѣе собраніями, изъ которыхъ каждая, согласно своему положенію, рассматриваетъ вопросъ съ односторонней точки зрѣнія, а жители провинцій были-бы вездѣ на сторонѣ своихъ представителей и противъ правительства. Но этого недостаточно. Чѣмъ болѣе ограничены полномочія областныхъ представителей, тѣмъ болѣе они считали бы самымъ существеннымъ своимъ дѣломъ право веденія жалобъ. Какъ бы различны ни были ихъ воззрѣнія въ другихъ отношеніяхъ, противъ плановъ правительства они всегда явно или тайно соединялись-бы и поддерживали-бы другъ друга, и государство было-бы вовлечено по отношенію къ нимъ въ вѣчную борьбу, въ необходимость издавать полицейскія мѣропріятія и въ постоянное противоудѣйствіе. Такимъ образомъ во всѣхъ отношеніяхъ стало бы очевидно невозможностью ограничиться одними областными представителями. Затрудненія, которыя встрѣтило-бы при этомъ управленіе, очень скоро доказали-бы необходимость генеральныхъ представителей. Но тогда-то именно зло проявится во всемъ своемъ объемѣ: не непременно въ формѣ революціи—но подобно тому «какъ въ шахматной игрѣ посредствомъ незамѣтнымъ образомъ поставленныхъ фигуръ узнають,

какой ходъ противникъ долженъ будетъ сдѣлать послѣ восьми или десяти ходовъ», такъ и подобная недоконченная система управленія раньше или позже заставляетъ правительство предпринимать завершеніе цѣлаго въ совершенно другомъ духѣ, чѣмъ оно, можетъ быть, первоначально предполагало. Духъ учрежденія будетъ извращенъ и исправить его будетъ уже трудно ¹⁾.

Что таковы были убѣжденія и настроеніе министра, предназначеннаго для управленія дѣлами, касающимися представительныхъ учреждений, и что несмотря на то только 28 лѣтъ спустя было созвано первое генеральное собраніе чиновъ — это фактъ, бросающій яркій свѣтъ на злополучный духъ германскаго реставраціоннаго періода. Какъ мало доброй воли участвовало въ назначеніи Гумбольдта, и какъ много злой заключалось въ позднѣйшемъ стремленіи парализовать его вліяніе, обнаружилось довольно скоро. Въ то время какъ каждый часъ, на который задерживалось введеніе новаго строя, составляетъ невознаградимую потерю, Гумбольдта, подъ предлогомъ замедленнаго территоріальнаго устройства, оставляли цѣлые мѣсяцы за сравнительно маловажнымъ дѣломъ во Франкфуртѣ. И вѣна въ этомъ лежала ни на комъ другомъ, какъ на Гарденбергѣ. Онъ очевидно желалъ привести дѣла по введенію конституціи до приѣзда Гумбольдта въ такое положеніе, въ которомъ они были бы поставлены внѣ вліянія его особыхъ воззрѣній; многократно заявлялось даже, что проектъ конституціи уже готовъ и подписанъ королевемъ. Между тѣмъ, съ неизбѣжнымъ приближеніемъ срока вступленія Гумбольдта въ должность, Гарденбергъ пытался снова съ нимъ сблизиться. Въ тотъ моментъ, когда закончились франкфуртскія дѣла, Гумбольдтъ сталъ получать отъ канцлера самыя любезныя письма, въ томъ числѣ ненужное уже теперь разрѣшеніе передать должность другому. Двадцатаго іюля подписана была уполномоченнымъ окончательная территоріальная роспись и два дня спустя Гумбольдтъ покинулъ Франкфуртъ. До послѣдней минуты пользовался онъ своимъ франкфуртскимъ сидѣніемъ для подготовленія себя къ наступающей берлинской дѣятельности. Уже послѣ того, какъ Штейнъ въ апрѣлѣ вернулся въ Нассау, между ними происходилъ обменъ мыслей и пренія по вопросу о конституціи, продолжавшіеся также устно при посѣщеніи Гумбольдтомъ, въ маѣ, Нассау и Штейномъ, въ іюнѣ, Франкфурта. Гумбольдтъ сообщилъ и Нибуру объ этихъ совѣщаніяхъ и запросилъ его мнѣнія; онъ переписывался и съ Вицлебенемъ. И наконецъ еще изъ Эиса, — гдѣ онъ, въ началѣ іюля, жилъ съ вернувшеюся изъ Италіи женой — отправился онъ въ Кобленцъ, чтобы путемъ бесѣды со своими та-

¹⁾ Записка, § 150. Письмо къ Финке Drogow, l. c. и къ Штейну въ янв. и 4 апр. 1823 (Pertz V, 769—775 и 783).

мошными друзьями и землевладѣльцами ознакомиться съ условіями и съ настроеніемъ Рейнской области.

Прибывъ въ началѣ іюля въ Берлинъ, онъ былъ 12 августа торжественно введенъ государственнымъ канцлеромъ въ свою новую должность. Какъ оказанный ему канцлеромъ и новыми сослуживцами пріемъ, такъ и положеніе, въ которомъ онъ засталъ дѣло государственнаго устройства—все внушило ему въ началѣ надежду, что при нѣкоторой твердости возможно будетъ сослужить королю и націи большую службу. Съ той-же надеждою привѣтствовало и общество его вступленіе въ министерство. Какъ Штейнъ и Нибуръ, такъ и всѣ друзья конституціоннаго дѣла усматривали въ немъ гарантію того, что о данныхъ обѣщаніяхъ все еще серьезно думаютъ и что въ нерѣшительномъ ходѣ прусской политики наступитъ наконецъ поворотъ къ лучшему.

Но достаточно было однако нѣсколькихъ недѣль, чтобы благія ожиданія Гумбольдта понизились. Онъ скоро испыталъ, что и будучи министромъ можно не имѣть никакого вліянія на высшее управленіе дѣлами. Онъ пробылъ два съ половиною мѣсяца въ Берлинѣ, не видѣвшись ни разу съ королемъ. Между послѣднимъ и министерствомъ существовало только письменное общеніе, и только одинъ человѣкъ сносился съ нимъ непосредственно—государственный канцлеръ, который, по выраженію Гумбольдта, составлялъ «обособленное управленіе» и пользовался вслѣдствіе этого такимъ всемогущимъ положеніемъ, что могъ задержать всякое неудобное для него мѣропріятіе, устранить всякое благотворное вліяніе министерства на ходъ дѣлъ.

При такомъ положительномъ всемогуществѣ государственнаго канцлера и при такомъ разстроенномъ состояніи высшаго управленія не могло быть и рѣчи объ ускореніи дѣла государственнаго устройства. Правда, незадолго до вступленія Гумбольдта въ министерство, выдѣленъ былъ королемъ изъ существовавшей уже ранѣе коммисіи государственнаго устройства болѣе тѣсный комитетъ. Онъ состоялъ подъ предсѣдательствомъ государственнаго канцлера изъ Гумбольдта, Шукмана, Ансильона, Эйхгорна и Даниельса; его задача заключалась въ выработкѣ проекта, который затѣмъ подлежалъ разсмотрѣнію болѣе обширнаго собранія. Но засѣданія этого комитета начались только въ половинѣ октября. До тѣхъ поръ занятія Гумбольдта ограничивались регулированіемъ предметовъ занятій всего министерства, реформированіемъ порядковъ въ его специальномъ департаментѣ и разработкой текущихъ дѣлъ. Онъ поступалъ здѣсь, вѣроятно, согласно принципамъ, выраженнымъ имъ позже въ запискѣ: во-первыхъ,—таковъ былъ первый принципъ—ничего не можетъ быть пагубнѣе стремленія вмѣшиваться въ детали отдаленныхъ, областныхъ дѣлъ; во-вторыхъ,—духъ, въ какомъ законы примѣняются, одинъ только способенъ восполнять ихъ пробѣлы и сдѣлать ихъ постановленія

цѣлесообразными или нецѣлесообразными, обременительными для тѣхъ, которые имъ подчинены, или необременительными для нихъ ¹⁾).

Однако и для того, чтобы приступить даже только въ подготовительнымъ преобразованіямъ общиннаго устройства, онъ считалъ необходимымъ выждать установленія общихъ принциповъ будущаго государственнаго строя, также какъ и усиленія своего рабочаго персонала.

Онъ ждалъ напрасно. Въ высшихъ сферахъ взяли верхъ возрѣнія и настроенія, далекія отъ того духа, въ которомъ было когда-то дано обѣщаніе конституціи, — возрѣнія и настроенія, которыя неминуемо должны были вести по совершенно иному пути. Въ Австріи съ самаго начала утвердились въ мысли, что прежде всего нужно успокоить, вызванное борьбой за освобожденіе, возбужденіе умовъ и необычный подъемъ національнаго духа. Поэтому старались вернуться назадъ къ системѣ опека и полицейскихъ мѣръ; въ остальной Германіи также старались противодѣйствовать конституціоннымъ учрежденіямъ. Много было выиграно уже благодаря замедленію дѣла въ Пруссіи. На робость Фридриха Вильгельма можно было рассчитывать, они надѣялись также справиться съ его добросовѣстностью; въ слабости, лѣни и тщеславіи Гарденберга можно было найти при умѣломъ пользованіи, достаточно сильное противодѣйствіе его поверхностному либерализму и конституціонализму; и наконецъ они были увѣрены въ поддержкѣ этихъ реакціонныхъ плановъ со стороны партіи, во главѣ которой стоялъ Витгенштейнъ. Сверхъ того на помощь имъ пришли и политическая незрѣлость народа, и естественное утомленіе, вызванное напряженіемъ военнаго времени, опрометчивость и крайности юношества. Вскорѣ поклонники Меттерниховой мудрости взяли въ Пруссіи верхъ. За прелюдіей Вартбургскаго праздника послѣдовало дѣло Санда и покушеніе Лѣнинга. «Теперь уже конституція невозможна», воскликнулъ Гарденбергъ. И дѣйствительно всѣ тѣ, которые и слышать не хотѣли о конституціи, имѣли теперь самый желательный предлогъ для своихъ стремленій. Началась антидемагогическая дѣятельность Кампца, поворная и нелѣпая система заподозриванія и шпионства, война государства противъ студентовъ за то, что они пѣли пѣсни, и противъ людей вообще за то, что они въ письмахъ говорили объ общественныхъ дѣлахъ. Тогда только и сразу явилась система управленія — система страха и нечистой совѣсти; тутъ-то объединились въ Германіи для общей цѣли — цѣли подавленія и полицейской тираніи. Изъ Вѣны послѣдовало приглашеніе ко всѣмъ кабинетамъ собраться для совѣщаній въ Карлсбадъ. Рѣшенія этихъ конференцій, поразившія однимъ ударомъ прессу, университеты, представительныя правленія и тяжело оскорбившія въ угоду новой союзной полиціи са-

¹⁾ О возстановленіи должности провинціальныхъ министровъ, стр. 27 и 16.

мостоятельность отдѣльныхъ государствъ, были единогласно признаны рѣшеніями союза. Но все это было только начало конца, ибо созванъ былъ уже новый конгрессъ въ Вѣнѣ, чтобы ковать желѣзо, пока оно горячо. Нужно было подсѣчь зло въ корнѣ, сдѣлать безвреднымъ обѣщаніе конституціи, данное въ 13 статьѣ союзнаго договора. Для этого конгресса Меттернихъ выбралъ себѣ въ сотрудники Гумбольдта, который принималъ главное участіе въ составленіи этой статьи союзнаго договора, — Гумбольдта, объ оппозиціи котораго противъ карлсбадскихъ рѣшеній онъ не могъ не слышать. Очевидно онъ хотѣлъ его не вопреки этому, а именно поэтому. Онъ зналъ о существующемъ между ними разногласіи въ мнѣніяхъ, но зналъ также и силу его ума, его талантъ къ дебатамъ и дипломатіи. Болѣе смѣлый и увѣренный въ себѣ, чѣмъ Гарденбергъ, онъ не боялся стараго друга и надѣялся привлечь его на свою сторону. Уже въ 1817 году, когда до него дошло ложное извѣстіе о смерти Гарденберга, онъ въ память старой дружбы, высказалъ, какъ это ни странно, надежду, что Гумбольдтъ будетъ его преемникомъ ¹⁾. Меттернихъ разсчитывалъ теперь, что если ему удастся привлечь Гумбольдта на свою сторону, то дѣло будетъ выиграно; если-же нѣтъ, то надѣялся, быть можетъ, дискредитировать его въ общественномъ мнѣніи и сдѣлать такимъ образомъ безвреднымъ. Но онъ сильно ошибся въ разсчетѣ. И Гумбольдтъ въ демагогическихъ дѣйствіяхъ видѣлъ «родъ ослѣпленія и безумія, составляющихъ повѣтріе»; но онъ, конечно, не думалъ, что можно излѣчить болѣзнь, устранивъ насильственно ея симптомы. Онъ зналъ ихъ причины и зналъ для нихъ и лекарство. «Я не могу одобрить», писалъ онъ Штейну, «способъ отношенія къ политическимъ дѣламъ. Поступать чисто инквизиціоннымъ образомъ, преувеличивать въ высшей степеніи ядею опасности и — что собственно опаснѣе всего — окутывать все это глубокою таинственностью (не раскрытою большею частью и для насъ, сидящихъ въ государственномъ министерствѣ), — послѣ того, какъ оказалось невозможнымъ согласиться въ чемъ-бы то ни было, соединиться именно въ этомъ на союзномъ сеймѣ и этому собранію, составъ котораго вамъ извѣстенъ, предоставить такую силу, — ограничить верховныя права отдѣльныхъ государствъ и именно Пруссіи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ навсегда, а въ другихъ показать, по крайней мѣрѣ, примѣръ, какъ они могутъ быть ограничены, — это значитъ, по моему разумѣнію, далеко перешагнуть за предѣлы того, что въ этомъ случаѣ необходимо и полезно. Всякая исключительно полицейская дѣятельность никогда не достигнетъ цѣли, она усиливаетъ всегда зло въ его корнѣ и никогда не успѣваетъ задержать или только открыть всѣ его проявленія. По моему мнѣнію полиціей можно пользоваться только для того, чтобы слѣдить, — наказывать же должно судебнымъ

¹⁾ Gagern: Der zweite Pariser Frieden I, 226.

порядкомъ и по закону; въ дисциплинарномъ порядкѣ должно вести дѣло строго и дѣльно; правительства должны проявить наружу увѣренность въ своемъ авторитетѣ, также какъ къ настроенію и намѣреніямъ народныхъ массъ; государственное устройство должно быть не такъ, какъ всегда говорятъ, — либеральнымъ, а честнымъ и разумнымъ; въ управленіи долженъ быть введенъ возможный порядокъ, бережливость и стремленіе къ справедливости» ¹⁾).

При такомъ отношеніи Гумбольдта къ демагогіи, непрочное положеніе министерства и отношеніе послѣдняго къ государственному канцлеру были для него вдвойнѣ тягостны. Чѣмъ ближе соприкасались порученныя ему дѣла по народному представительству съ карлсбадской и франкфуртской системой репрессіи, тѣмъ менѣе могъ онъ мириться съ тѣмъ, чтобы политика государственнаго канцлера шла своимъ особымъ путемъ. Онъ не хотѣлъ нести отвѣтственность за дѣло конституціи въ то время, какъ въ высшихъ сферахъ дѣйствовали въ духѣ карлсбадскихъ рѣшеній противъ конституціи. Тѣмъ не менѣе такая масса препятствій для усилѣнной дѣятельности подавляла его также мало, какъ и «расптанность» 1809 года. «Я работаю», писалъ онъ Штейну, «смирненно (mit Resignation), со рвеніемъ и могу даже сказать — съ бодростью. Но если дѣла не поправятся, и я не съумѣю прозвести никакой перемены, то я не могу продолжать этого даже въ лучшемъ случаѣ долѣ весны». Потому что тогда, прибавляетъ онъ, «исчезнетъ и то довѣріе, которое теперь еще питають ко мнѣ, а безъ довѣрія ничего не сдѣлаешь въ управленіи» ²⁾).

Но его дѣятельность еще раньше нашла себѣ цѣль. Эта дѣятельность была и должна была быть по существу оппозиціонной борьбой противъ положенія государственнаго канцлера и противъ его системы. Въ первомъ Гумбольдту легко было привлечь на свою сторону все министерство. Въ особомъ докладѣ королю онъ указалъ на неопредѣленность своего положенія и невозможность долѣ нести отвѣтственность, когда государственный канцлеръ составляетъ обособленное управленіе; но этимъ онъ однако же ничего не достигъ. Гумбольдту удалось также объединить министерство въ общей оппозиціи противъ карлсбадскихъ рѣшеній, которыя онъ называетъ «позорными, антинациональными, возмущающими мыслящій народъ». Онъ говорилъ объ этомъ въ министерствѣ такъ, какъ писалъ Штейну. Онъ утверждалъ, что министръ, согласившійся подчинять прусскихъ подданныхъ чужеземнымъ судамъ, превысилъ свою власть. Онъ требовалъ поэтому, чтобы Бернсторфъ былъ преданъ суду, а его дѣяствія въ Карлсбадѣ объявлены нератификованными; а вѣстѣ съ тѣмъ должны были бы быть приняты мѣры къ тому, чтобы на бу-

¹⁾ Pertz V, 437.

²⁾ Ibid., стр. 440.

дущее время такого рода рѣшенія могли быть принимаемы только съ одобренія всего министерства. Министерство не разъ пользовалось случаемъ для того, чтобы высказываться въ этомъ смыслѣ въ письменныхъ представленіяхъ королю, и такого рода заявленія, разумѣется, не могли нравиться; государственному канцлеру было очень легко помѣшать ихъ успѣху, и въ самомъ дѣлѣ, отвѣтомъ на нихъ была немилостивая резолюція. Несмотря на то Гумбольдтъ продолжалъ свою оппозицію, и изъ министровъ Бойенъ и Бейме все еще держали его сторону. Они втроемъ подали королю особыя записки противъ карлсбадскихъ рѣшеній, опубликованныхъ тѣмъ временемъ въ Пруссіи 18 октября. Однако-же несогласіе между Гумбольдтомъ и государственнымъ канцлеромъ не ограничилось этимъ. Дѣла не разъ давали поводъ критиковать существующее управленіе и слѣдовательно косвеннымъ образомъ государственнаго канцлера. Тѣснимый со всѣхъ сторонъ Гумбольдтомъ, послѣдній понялъ, что онъ не можетъ оставаться государственнымъ канцлеромъ, если Гумбольдтъ будетъ министромъ. Онъ высказывалъ открыто, что одинъ изъ нихъ долженъ уступить, и представилъ рѣшеніе на усмотрѣніе короля. Между тѣмъ военный министръ фонъ-Бойенъ, недовольный мѣропріятіями касательно ополченія, противъ которыхъ онъ тщетно возставалъ противъ нихъ, потребовалъ въ половинѣ декабря своей отставки. Съ этимъ поступкомъ связалъ Гарденбергъ ударъ, который онъ рѣшилъ нанести всей министерской оппозиціи и главнымъ образомъ ея вождямъ. Ему мало уже осталось терять отъ славы своихъ лучшихъ лѣтъ и отъ своихъ истинныхъ убѣжденій; но и жить ему оставалось уже не долго, и онъ твердо рѣшилъ дожить свой вѣкъ въ должности государственнаго канцлера. И ради этого онъ рѣшилъ порвать со своимъ прошлымъ и со всѣмъ тѣмъ, чему онъ собственно обязанъ былъ своимъ положеніемъ. Бывшій сотрудникъ Штейна и Гумбольдта, долголѣтній представитель либерализма въ Пруссіи, снизошелъ до того, что соединился съ Витгенштейномъ—отцомъ реакціи—только потому, что тотъ пользовался довѣріемъ короля. Въ союзѣ съ нимъ и съ австрійской партией, сталъ онъ настаивать на удаленіи Гумбольдта—и добился. Нѣсколько дней спустя послѣ отставки Бойена и генераль-маіора Грольмана—въ послѣднее число декабря, получилъ и Гумбольдтъ отставку ¹⁾.

Таковъ былъ конецъ настоящей политической карьеры Гумбольдта. Въ послѣдней своей половинѣ она была не особенно блестяща, но чиста. Она была вообще небогата успѣхомъ и закончилась неудачей, но зато въ нравственномъ отношеніи она свободна отъ какихъ бы

¹⁾ Для вышеизложеннаго мы пользовались, въ дополненіе къ сообщеніямъ Шлезіера (11,390), перепиской со Штейномъ (см. въ особен. Pertz стр. 448 и сл.).

то ни было упрековъ или раскаянія. На какомъ посту онъ ни стоялъ, онъ съ образцовою добросовѣстностью отдавался задачамъ, которыя ему ставило его положеніе. Его вздумчивая натура не дѣлала его слишкомъ извѣженнымъ ни для практической работы, ни для практической борьбы, по скольку послѣдняя была необходима. Это былъ грифъ, исполнившій еще свой долгъ передъ самымъ полетомъ; однако вѣрность долгу и трудолюбіе занимали въ ряду его государственныхъ добродѣтелей второстепенное мѣсто. Долголѣтняя политическая дѣятельность ни на юту не ослабила ни его правдивости ни нравственной его чистоты во всемъ, касающемся общественной жизни. Переходя отъ администраціи къ дипломатіи, онъ принесъ съ собою сознаніе, что нѣтъ для дѣятельности цѣли болѣе высокой, чѣмъ спокойствіе и свобода совѣсти. Онъ вернулся къ дипломатіи съ рѣшимостью работать по мѣрѣ силъ, въ честномъ и свободномъ направленіи, безъ интриги и своекорыстія: онъ былъ убѣжденъ, что истинно доброе не достигается нечистыми средствами. И вотъ—подъ конецъ ему пришлось выдержать самое трудное испытаніе. Какъ это ни мало вѣроятно, но безъ сомнѣнія буквально вѣрно то, что онъ писалъ Штейну, а именно,—что не смотря на полное разногласіе съ Гарденбергомъ во взглядахъ, онъ всегда подвергалъ критикѣ его мѣропріятія, хотя и съ полною правдивостью, но безъ всякой партійности и злобы. Съ другой стороны, онъ оправдалъ ожиданія своихъ друзей, доказавъ, что онъ знаетъ, что подобаетъ его чести и что наноситъ ей уронъ. Поэтому онъ покинулъ арену съ тѣмъ-же спокойствіемъ, съ какимъ вступилъ на нее: съ глубокимъ сожалѣніемъ, что не можетъ быть полезенъ страпъ и королю, которыхъ любилъ, въ той мѣрѣ, въ какой желалъ и надѣялся,—но безъ всякаго чувства мести и гнѣва. Пережитые имъ въ его послѣдней должности борьба и непріятности были въ тотъ-же почти моментъ забыты, когда онъ отъ нихъ отвернулся. Онъ такъ именно и желалъ, чтобы все это было забыто,—онъ рѣшительно не желалъ сохранять ихъ въ своей памяти. Охотнѣе всего—писалъ онъ послѣ смерти Гарденберга Варнгагену—отказался бы онъ за себя отъ всякаго участія въ драмѣ современнаго историческаго момента ради того, чтобы «съ положительнымъ величіемъ и твердостью стать выше событій».

Дѣйствительно, эти слова, также какъ и многочисленные подобныя-же признанія, показывали, въ чемъ заключалась его сила, но вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживали недостатки его, какъ политика, и причину его незначительныхъ успѣховъ. Онъ стоялъ, говоря коротко, въ шире вещей. Поразительно сильный и чистый, разумный и отнюдь не отвлеченный идеализмъ дають ему право претендовать на государственное значеніе. Поставленный на сцену историческаго момента, онъ не отрывалъ взгляда отъ идей, которыя составляли для

него высшее благо; онъ извлекалъ изъ нихъ импульсъ и направле-
ніе для своей практической дѣятельности. Его практическій методъ
стоялъ въ самой тѣсной связи съ его научнымъ методомъ. Какъ бы
чувствуя потребность отыскать переходъ отъ дѣятельной жизни
въ созерцательной, онъ написалъ вскорѣ послѣ выхода въ отставку,
прекрасный трактатъ «О задачахъ историка». Въ строгой аналогіи
съ тѣмъ, что онъ требуетъ здѣсь отъ историка, понимаетъ онъ и
задачу политика. Изображеніе фактическаго матеріала, полагаетъ онъ,
удается историкѣ только тогда, когда онъ возвышается до об-
щихъ идей. Еще менѣе—такимъ замѣчаніемъ сопровождается онъ
посылку трактата Штейну—можетъ обойтись безъ этого обща-
го принципа тотъ, кто хочетъ дѣйствовать и, слѣдовательно,
принимать участіе въ созданіи исторіи; но, конечно, между не-
посредственною дѣятельностью и поставленнымъ себѣ высшимъ
принципомъ лежитъ цѣлый рядъ ступеней, на которыхъ прихо-
дится мало-по-малу обращаться къ исторіи въ болѣе ограниченномъ
объемѣ, въ особенности къ исторіи отечественной. Такимъ обра-
зомъ идеализмъ Гумбольдта отнюдь не былъ оторванъ отъ почвы;
онъ былъ только недостаточно проникнутъ реалистическими тенден-
ціями и эффектами. Государственный человѣкъ-практикъ очевидно
долженъ быть созданъ изъ болѣе грубаго матеріала. Онъ долженъ
умѣть пламенно ненавидѣть и любить, всею душой уважать и пре-
зирать. Онъ долженъ обладать тою благородною любовью къ славѣ,
которая жаждетъ найти себѣ удовлетвореніе въ достиженіи великихъ
общественныхъ цѣлей. Онъ пожалуй, не долженъ даже быть на-
столько мудръ, чтобы не быть въ состояніи сдѣлать глупость, и во
всякомъ случаѣ не настолько добродѣтеленъ, чтобы изъ-за сомнѣ-
ній въ чистотѣ средствъ терять рѣшительность и смѣлость въ дѣй-
ствіи: на этомъ пути легко сбиться. Безпримѣрный фактъ, возмож-
ность котораго заключалась въ основныхъ чертахъ нѣмецкаго
характера: политику для положительнаго величія недоставало только
человѣческихъ слабостей и страстей!

Трудно отдѣлаться отъ мысли, что послѣдняя неудача должна быть
отчасти отнесена на счетъ этой именно особенности Гумбольдта.
Борьба, которую нужно было при этомъ вести, была-бы, можетъ
быть, съ лучшимъ успѣхомъ ведена человѣкомъ, который присту-
пиль-бы къ дѣлу менѣе деликатно и менѣе добросовѣстно, но зато
рѣшительнѣе и смѣлѣе. Какъ бы то ни было; если наступившая
эволюція была неизбежна то хорошо, что погибшее съ нимъ дѣло
въ его лицѣ явилась еще разъ такъ блестяще-представленнымъ.
У тѣхъ, которые были причиной этого, отнята такимъ образомъ
даже тѣнь оправданія. Они могли-бы благодаря ему пользоваться
частымъ и благороднымъ продуктомъ истинной свободы, могли-бы

ступить на путь самаго мирнаго и здороваго развитія: вмѣсто того они пережили бурю и извѣдали плодовъ революціи. И несмотря на то, ихъ преемники не сдѣлались благоразумнѣе: именно въ этотъ моментъ они необдуманно опять направляютъ государственный корабль къ опаснымъ берегамъ.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ВДАЛИ ОТЪ СВѢТА.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА

Я з ы к о з н а н і е.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Ходъ лингвистическихъ занятій Гумбольдта и развитіе его воззрѣній.

29 іюня 1820 года, вскорѣ послѣ своего выхода изъ министерства, Гумбольдтъ прочелъ въ Берлинской Академіи наукъ, которая еще въ 1810 году выбрала его своимъ членомъ, трактатъ о предметѣ и значеніи сравнительнаго изученія языковъ.

Первое, къ чему онъ обратился, какъ только сбросилъ съ себя обязанности общественной дѣятельности, была работа надъ тѣмъ, что со времени его пребыванія въ Римѣ занимало въ его научныхъ интересахъ центральное мѣсто: это была филологія, наполнявшая до самой его смерти большую часть его досуга. Принятый сознаниемъ, что его жизнь быстрыми шагами стремится къ тому, что ожидаетъ насъ всѣхъ, и, какъ всегда, страстно желая направить всю свою дѣятельность «къ одному результату», онъ не нашелъ лучшаго средства къ достиженію этого, какъ углубленіе въ духъ человѣческаго языка. Грамматики и словари безчисленныхъ языковъ были для него въ его уединеніи тѣмъ, чѣмъ библія или молитвенникъ являются для благочестиваго пустытника въ его келіи. Знакомясь съ его изслѣдованіями въ области лингвистики и философіи языка, мы вступаемъ въ лучшую и важнѣйшую часть его жизни.

Начало этихъ изслѣдованій восходитъ къ гораздо болѣе раннимъ временамъ; затѣмъ они составляютъ замкнутое въ себѣ и самостоятельное цѣлое. Намъ кажется цѣлесообразнымъ остановиться на нихъ именно теперь, когда мы достигли предѣльной грани между предшествующею и послѣдующею эпохами его жизни, и считаемъ необходимымъ обозрѣть ихъ какъ нѣчто законченное и въ непрерывной связи.

Напомнимъ, что первоначально привело Гумбольдта къ филологіи. Путемъ многочисленныхъ неуверенныхъ попытокъ и неудачныхъ исканій стремится онъ въ половинѣ девяностыхъ годовъ найти точку соприкосновенія философіи съ филологіей. Эстетика, кульминаціонный пунктъ которой составляло понятіе объ идеальномъ человѣкѣ, и наука о древности, полагавшая своею цѣлью изученіе греческаго міра, въ одинаковой мѣрѣ овладѣли его умомъ. Онъ старался сочетать одно съ другимъ; онъ объявилъ эмпирико-философское изученіе человѣка истиннымъ предметомъ сво-

ихъ образовательныхъ стремленій. Исходя изъ этой точки зрѣнія, предпринялъ онъ характеристику Пиндара и свой переводъ Агамемнона. Та же точка зрѣнія господствовала и въ его эстетическихъ работахъ, также какъ и въ его наблюденіяхъ и размышленіяхъ въ области фізіономіки. Въ это время явились впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ путешествія по Франціи и Испаніи, и его точка зрѣнія частью расширилась въ сторону историко-эмпирическую, частью углубилась въ направленіи внутренняго чувства. Сознаніе противоположности своего собственнаго нѣмецкаго духа съ чужою національностью рѣшило наконецъ вопросъ, и занятія французскою и испанскою литературой было послѣднимъ внѣшнимъ этапнымъ пунктомъ, черезъ который онъ пришелъ къ историко-философскому сравненію языковъ. Съ давнихъ поръ носилъ онъ въ душѣ предчувствіе того, что онъ въ концѣ 1799 года впервые рѣшительно называетъ своимъ научнымъ призваніемъ. Уже по поводу Фоссовскаго перевода Гомера и еще разъ тогда, когда Шиллеръ высказалъ свое намѣреніе заняться греческимъ языкомъ, признался онъ ему, что давно уже изыскиваетъ категоріи, подъ которыя могли-бы быть подведены и изображены особенности какаго-либо даннаго языка ¹⁾; но прибавляетъ, что онъ пока еще не нашелъ для этого путей. Эти давнишнія грезы, со времени путешествія по Испаніи, получили значительно большую ясность, — и наконецъ подъ вліяніемъ итальянскаго солнца онѣ перестали быть грезами. Въ Римѣ все его существо достигло полной зрѣлости; тамъ онъ понялъ, что для него не существуетъ другихъ занятій, кромѣ филологіи, и что единственный путь къ пониманію міра заключается для него въ языкѣ. Съ этого момента ничто не могло уже болѣе поколебать его убѣжденія; онъ опредѣлялъ этимъ разъ навсегда судьбу всей своей послѣдующей научной жизни. Съ этого времени языкъ неизмѣнно оставался фокусомъ, вокругъ котораго вращалась вся его ученость и вся его философія; мало того: онъ былъ для него компасомъ, при помощи котораго онъ, несмотря на все разсѣяніе и многообразіе своей жизни, постоянно ориентировался. Прежде онъ въ своихъ литературныхъ проѣктахъ брался то за политическую тему, то за историко-культурную, то за тему филологическую, эстетическую или историко-литературную, но съ этого момента единственнымъ предметомъ его работъ стала филологія. Правда, онъ кончалъ еще въ 1816 году свой переводъ Эсхиловой трагедіи; писалъ еще и послѣ 1820 года кое-какія работы по философіи или эстетикѣ, но ясно сквозящій фонъ всѣхъ этихъ работъ составляли лингвистическіе интересы; правда, со времени возвращенія изъ Италіи его время по преимуществу занимала политическая дѣятельность,

¹⁾ Письма къ Шиллеру отъ 14 сент. и 20 ноября 1795 г. Перешиска, стр. 201, 305.

но и посреди этой дѣятельности онъ всякій болѣе продолжительный перерывъ посвящалъ лингвистическимъ изысканіямъ; лингвистика занимала его какъ во время его посланничества въ Вѣнѣ, такъ и во время его пребыванія въ Лондонѣ ¹⁾. Наконецъ устранены были всѣ прятствія, всякій отвлекающій интересъ; онъ былъ свободенъ и имѣлъ досугъ. И съ первой-же минуты его свобода и его досуги не могли принадлежать ничему другому, какъ филологіи.

Хотя его призваніе къ филологіи выяснялось для него только мало-по-малу, тѣмъ не менѣе между этою эпохой и моментомъ, когда смерть оторвала его отъ этого призванія, лежалъ продолжительный періодъ развитія. Большое разстояніе отдѣляло изученіе провансальскаго и баскаго языковъ отъ обширнаго изслѣдованія «О различіи въ строеніи человѣческаго языка». Только послѣ многихъ дней усидчивой работы и многихъ бессонныхъ ночей его убѣжденіе, что языкъ есть ключъ къ пониманію всего человѣческаго, преобразилось въ то съ виртуозностью примѣняемое искусство пользоваться имъ на дѣлѣ въ качествѣ ключа. Не только объемъ его знаній, но и глубина его взглядовъ и методы работы находились въ процесѣ постоянного развитія, который можно прослѣдить шагъ за шагомъ и раздѣлить на опредѣленные характерныя эпохи.

Первоначальное отношеніе его къ языку соотвѣтствовало первому побужденію къ болѣе глубокому его изученію. Онъ началъ изучать баскій языкъ потому, что во время своего путешествія по Испаніи заинтересовался баскою страной и народомъ. Ревностно разыскивая остатки старо-баскихъ пѣсень, онъ дѣлалъ это не только изъ интереса къ языку, но вмѣстѣ съ тѣмъ и для того, чтобы при его помощи по возможности пролить свѣтъ на древнѣйшую исторію, религію и нравы древнихъ басковъ. Такимъ образомъ первоначальный принципъ, руководившій имъ въ его занятіяхъ баскимъ языкомъ, былъ историко-этнографическій; филологія же представлялась ему «вспомогательною наукой при изученіи исторіи и этнографіи». Онъ намѣревался, такъ объявилъ онъ въ 1812 году въ своемъ обращеніи къ публикѣ, написать «монографію о баскомъ племени». Онъ постарается, говорится въ этомъ обращеніи «изобразить басковъ въ ихъ обычаяхъ, языкѣ и исторіи для того, дабы тѣмъ путемъ рѣшить вопросъ, представляютъ-ли они особое племя, или только часть другого, большаго, и опредѣлить ихъ настоящее мѣсто, въ качествѣ того или другого, въ генеалогіи всего человѣческаго рода» ²⁾. Обѣщанная монографія, правда, не появилась, и только отрывки ея или матеріалы для перваго отдѣла сохрани-

¹⁾ Ср. письмо къ Вольфу отъ 22 ноября 1819 г. G. W. V. 305.

²⁾ „Ankündigung“ въ нѣмецкомъ музеѣ Фр. Шлегеля, т. II, вып. 12, стр. 487 и 490; дополненія къ Митридату въ 4-й т. Митридата, стр. 351; ср. выше стр. 291, прим. 2 и 3.

лись для насъ въ «Reiseskizzen aus Biscaya» (Путевые очерки изъ Бискайи). Тѣмъ не менѣе, когда въ 1821 году Гумбольдтъ предложилъ наконецъ публикѣ въ отдѣльномъ самостоятельномъ произведеніи плоды своихъ изученій баской народности, въ немъ сказалась та-же самая историко-этнографическая точка зрѣнія. Не филологическій, а именно историко-этнографическій интересъ стоитъ на первомъ планѣ въ его «Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelt der baskischen sprache» (Разборъ изслѣдованій о древнихъ обитателяхъ Испаніи при помощи баскаго языка) ¹⁾. Филологическій анализъ старо-испанскихъ названій мѣстностей становится здѣсь орудіемъ для изученія отношеній населяющихъ ее народовъ и древнѣйшихъ судебъ пиринейскаго полуострова, и главную цѣль своего труда авторъ полагаетъ въ томъ, чтобы другія изслѣдованія объ аборигенахъ всей западной и южной Европы современемъ примкнули къ нему.

Хотя онъ и продолжалъ держаться этой этнографической точки зрѣнія вплоть до своей послѣдней работы о баской народности, но вскорѣ въ немъ на ряду съ этимъ началъ развиваться болѣе глубокій интересъ къ баскому языку, какъ таковому. Баскій языкъ все еще продолжалъ быть для него средствомъ для достиженія другого, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ и самъ по себѣ цѣлью.

По инициативѣ Фатера написалъ онъ свои чисто лингвистическія поправки и дополненія къ статьѣ Аделунга о баскомъ языкѣ въ Митридатѣ. Точно также и второй отдѣлъ обѣщанной монографіи долженъ былъ заключать въ себѣ исключительно только полный анализъ баскаго языка. Мало того: рядомъ съ глубокимъ изученіемъ построенія старо-иберійскаго языка въ соединеніи съ изученіемъ сначала романскихъ, а затѣмъ и другихъ языковъ, возгорѣлась въ немъ любовь къ языкованію вообще, все болѣе и болѣе развивались въ немъ пониманіе сравнительнаго языкованія и интересъ къ общей сущности языка. Въ изученію баскаго языка примкнулъ во время его пребыванія въ Римѣ и Вѣнѣ прежде всего интересъ къ американскимъ языкамъ. Поэтому для второго отдѣла монографіи имѣлся въ виду не только восполняющій и исправляющій очеркъ баскаго языка, какъ въ дополненіяхъ къ Митридату: старое нарѣчіе басковъ должно было подвергнуться тамъ разбору при помощи «систематическаго и исчерпывающаго метода». Предполагалось «выяснить сначала отношеніе всѣхъ отдѣльныхъ частей языка между собою, а затѣмъ и всего языка, какъ средства для изображенія къ его предмету, т. е. къ тому, что должно быть изображено». Причемъ и прежде всего слѣдовало постоянно привлекать для сравненія другіе языки и сдѣлать опытъ, какъ подготов-

¹⁾ Перепечатано во 2-омъ томѣ G. W. Ср. тамъ-же предисловіе, стр. 1.

лать постепенно подобные разборы «всѣхъ языковъ для общаго сравненія и какъ затѣмъ объединить ихъ въ большой общей энциклопедіи языка». При этомъ случаѣ онъ признается, что давно уже носится съ идеей такого труда, и, чтобы уяснить тотъ родъ анализа языка, который онъ имѣлъ въ виду, набрасываетъ основныя черты своей позднѣйшей философіи языка¹⁾.

Но переходя такимъ образомъ отъ одного языка ко всѣмъ языкамъ, отъ всѣхъ языковъ къ языку вообще, онъ не только достигъ метафизики языка, но и далъ вмѣстѣ съ тѣмъ своему историко-этнографическому принципу болѣе прочный базисъ. Какъ бы проводя изъ центра баскаго языка радіусы ко всѣмъ точкамъ, онъ пришелъ къ точкѣ зрѣнія для сравнительнаго языковеденія. Распространяя предѣлы этого воззрѣнія одновременно въ глубь и въ ширь, онъ открылъ «въ глубочайшихъ нѣдрахъ человѣческой сущности» точку пресѣченія философіи языка съ философией исторіи. Въ двухъ направленіяхъ вывелъ онъ языковеденіе за его предѣлы и соединилъ его, съ одной стороны, съ конечными вопросами всякаго бытія, съ другой — съ всемірною исторіей въ ея универсальнѣйшемъ понятіи. И онъ сознавалъ вполне ясно новизну этой точки зрѣнія. «До сихъ поръ», — говоритъ онъ между прочимъ, подчеркивая именно историко-философскую точку зрѣнія, — «имѣются еще слишкомъ смутныя понятія о томъ, какимъ образомъ языкъ націи является одновременно мѣриломъ и орудіемъ ея развитія, чтобы возможно было не признать объединеніе филологическихъ, историческихъ и этнографическихъ знаній для изученія и оцѣнки человѣческаго рода, — какъ великаго дѣлага, раздѣленнаго на расы, племена и націи, подчиненнаго естественнымъ законамъ и неизмѣнно даннымъ условіямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ самоопредѣляющагося черезъ свободу», — и новою областью, которая только еще подлежитъ дѣйствительной обработкѣ²⁾.

¹⁾ Ankündigung, I. с. стр. 495 и сл.

²⁾ Ibid. стр. 488, 489. Переживаемая Гумбольдтомъ въ эту эпоху колебанія между историко-этнографическою и метафизическою и историко-философскою точками зрѣнія болѣе осязательно высгупаютъ въ письмѣ его къ Штейну отъ 3 янв. 1812 г. (Pertz III, 595, 596). Мы процитируемъ только одно мѣсто. „Вообще, — говоритъ онъ, — вопросъ, какимъ образомъ, основываясь на свойствахъ языковъ, дѣлать выводы относительно самыхъ раннихъ судебъ и переселеній народовъ, далеко еще не достигъ полной ясности. Вопросъ этотъ не мало усложняется тѣмъ, что часто почти невозможно рѣшить, не могли-ли различныя народы, безъ всякаго общенія между собою, придти къ одинаковымъ особенностямъ при изобрѣтеніи или развитіи своего языка. Я все же убѣжденъ, что вопросъ могъ-бы получить болѣе твердыя и полныя основанія, — для этого нужно-бы только сопоставить все имѣющіяся фактическія данныя. Но главное мѣсто при этомъ должны бы во всякомъ случаѣ занять философскіе взгляды, которые необходимо положить въ основаніе подобнаго рода работъ“.

Хотя онъ такимъ образомъ совершенно вѣрно опредѣлилъ въ общемъ ту почву, на которой должны были отнынѣ держаться его лингвистическія воззрѣнія и работы, тѣмъ не менѣе онъ все еще былъ довольно далекъ отъ цѣли. Что именно языкъ древнихъ индейцевъ въ связи съ нарѣчіями Америки послужили исходнымъ и центральнымъ пунктомъ его изслѣдованій изъ области сравнительнаго языкознанія и философіи языка—это была не болѣе какъ случайная односторонность. Отчасти вслѣдствіе его все еще односторонне ограниченныхъ познаній въ области филологіи и грамматическихъ фактовъ, отчасти же, можетъ быть, вслѣдствіе вліянія Шлегеля, общіе лингвистическіе взгляды, которыми онъ дебютировалъ въ 1812 году, были мало разработаны, мало опредѣлены, и въ своей эскизной формѣ даже не были чужды нѣкотораго мистическаго тумана. Пока еще самое поучительное явленіе всей филологической области—санскритскій языкъ—явился передъ нимъ только въ далекой перспективѣ; онъ вообще не имѣлъ еще случая провѣрить и изложить свои взгляды на основаніи болѣе точнаго знанія фактовъ; онъ не прошелъ еще и на половину школу государственной дѣятельности, которая такъ пригодна для выработки привычки къ ясности и точности даже въ цѣляхъ научной и литературной практики. Удивительно ли послѣ этого, что извѣщеніе относительно монографіи о баскахъ въ дѣйствительности было только возвѣщеніемъ о томъ, что только еще должно было появляться. Удивительно-ли, что какъ въ этой программѣ, такъ и въ отрывкѣ изъ Митридата, онъ высказываетъ о значеніи общей грамматики, о классификаціи языковъ, о филологіи вообще и объ отдѣльныхъ ея вопросахъ въ частности такіе взгляды, которые онъ долженъ былъ впоследствии отвергнуть или видоизмѣнить? Его филологическія познанія должны были расширяться въ объемѣ, его пониманіе—выиграть въ точности, опредѣленности и ясности. Въ то время какъ американскіе языки продолжали привлекать его вниманіе, поскольку общественныя дѣла предоставляли ему на то досугъ¹⁾, его вниманіе въ 1814 и 1815 гг. впервые болѣе рѣшительнымъ образомъ сосредоточилось на санскритскомъ языкѣ и его значеніи для всего языкознанія. Санскритскому языку посвятилъ онъ вскорѣ затѣмъ первый свой годъ полной свободы отъ государственныхъ дѣлъ²⁾ и все болѣе и болѣе совершенно овладѣвалъ имъ. Свойства этого

1) „Ueber das vergleichende Sprachstudium“. (О сравнительномъ языкознаніи). G. W. III, 249.

2) Началъ болѣе основательнаго ознакомленія съ санскритскимъ языкомъ устанавливается письмомъ его къ Римеру, отъ 25 іюня 1821 г., въ прибавл. къ изданной Римеромъ переписки съ Гёте, стр. 145. Кроме того см.: письмо къ Вольфу отъ 3 іюля 1821 г. (G. W. V, 309). Ср. также примѣчаніе, которое А. Шлегель предпосылаетъ работѣ Гумбольдта въ своей индійской бібліотекѣ, т. I, стр. 483.

языка вполнѣ естественно должны были его побудить къ болѣе глубокому проникновенію въ общую сущность языка и его элементовъ вообще.

Очевидно въ связи съ этимъ новымъ вліяніемъ находится то, что онъ выступилъ въ трехъ академическихъ трактатахъ какъ бы съ новою и болѣе широкою филологическою программой. Уже въ первомъ трактатѣ, прочитанномъ имъ 29 іюня 1820 года: «Ueber das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung» (О сравнительномъ языкованіи въ отношеніи къ различнымъ эпохамъ развитія языка) ¹⁾ опредѣляетъ онъ прежде всего предметъ и цѣль изученія и выдвигаетъ при помощи глубокой аргументаціи его значеніе и самостоятельность. Прочитанный имъ 12 апрѣля 1821 года трактатъ: «Ueber die Aufgabe des Geschichtsschreibers» (О задачахъ историка) ²⁾ былъ въ одномъ по крайней мѣрѣ отношеніи ничѣмъ инымъ, какъ подготовительною работою къ его трудамъ по философіи языкованія, самостоятельное и обобщенное изображеніе того момента въ языкованіи, которое ставить его въ непосредственную близость съ исторіей какъ наукой. Подъ специфическимъ вліяніемъ своихъ занятій по санскритологіи составилъ онъ трактатъ, читанный 24 января 1822 года: «Ueber das Entstehen der grammatischen Formen und deren Einfluss auf die Ideenentwicklung» (О происхожденіи грамматическихъ формъ и объ ихъ вліяніи на развитіе идей) ³⁾, въ которомъ онъ въ связи съ понятіемъ грамматическихъ формъ даетъ важнѣйшія указанія какъ относительно историческаго происхожденія, такъ и относительно внутренней и общей природы языка. Однимъ словомъ, эти три трактата представляютъ первое углубленное и распространенное развитіе тѣхъ его взглядовъ, которые въ «Извѣщеніи» только намѣчены, а въ предисловіи къ Агамемнону отрывочно и лишь мимоходомъ повторены. Они обозначаютъ въ процессѣ развитія филологическихъ взглядовъ Гумбольдта вторую стадію, начало которой совпадаетъ съ началомъ новаго періода въ его жизни. Они впервые вступили съ рѣшающимъ вліяніемъ въ кругъ общаго языкованія и дали ему болѣе одухотворенное направленіе: если сильныя своими международными связями англійская и французская націи положили начало знѣкомству съ неизвѣстными до тѣхъ поръ языками востока, то нѣмцамъ Гумбольдтъ доставилъ славу приведенія этого знанія въ связь съ высшими и конечными человѣческими интересами и превращенія его на основаніи идеалистическихъ принциповъ въ глубокомысленнѣйшую науку.

Никто между тѣмъ не сознавалъ такъ живо, какъ Гумбольдтъ, до

¹⁾ G. W. III, 241 и сл., первоначально въ „Трудахъ Академіи“ за 1820—21 гг.

²⁾ G. W. I, 1 и сл. (Труды Академіи 1820—21 гг.).

³⁾ G. W. III, 269 и сл. (тамъ-же въ 1822—23 гг.).

какой стѣпени несовершенны еще и недостаточны установленныя основанія. Для того чтобы его филологическія изслѣдованія, такъ писалъ оъ въ мартѣ 1882 года¹⁾ Штейну, могли дать болѣе значительные и плодотворные результаты, имъ необходимо созрѣть. «Теперь», прибавляетъ онъ, «нужно только работать, чтобы посредствомъ основательнаго изученія деталей придать имъ болѣе прочный базисъ». Этимъ-то основательнымъ изученіемъ деталей онъ немедленно и неукоснительно занялся.

По отношенію къ высказаннымъ имъ въ упомянутыхъ академическихкихъ трактатахъ общимъ принципамъ китайскій языкъ составлялъ прежде всего какъ бы враждебную инстанцію. Это побудило его заняться изученіемъ этого языка и связать его своеобразный характеръ со своею теоріей. Отсюда письмо къ Абелю-Ремюза «*Sur la nature des formes grammaticales en général, et sur le génie de la langue chinoise en particulier*» (О природѣ грамматическихкихъ формъ вообще и о духѣ китайскаго языка въ частности)²⁾— работа, въ которой изложенны имъ прежде воззрѣнія на понятіе грамматическихкихъ формъ, на происхожденіе, развитіе и сущность языка, подъ вліяніемъ принимаемыхъ имъ постоянно въ соображеніе уклоненій и аномалій китайскаго языка, частью провѣряются, частью расширяются и точнѣе опредѣляются.

Не менѣе своеобразный интересъ представляла для лингвиста система египетской іероглифики,—интересъ, въ началѣ двадцатыхъ годовъ снова оживившійся, благодаря попыткамъ разбора ея, предпринятымъ Шампильономъ младшимъ. Іероглифы имѣютъ двойное значеніе—и художественное и лингвистическое: они представляютъ одновременно и литературное произведеніе (*Schriftdichtung*), и литературный языкъ (*Schriftsprache*). Тою и другою стороною они должны были занять вниманіе человѣка, выпешаго изъ эстетическихкихъ изслѣдованій,—человѣка, который кромѣ того ни въ тѣхъ, ни въ другихъ не упускалъ никогда изъ виду культурно-исторической точки зрѣнія. Поэтому съ разборомъ шампольоновскаго открытія Гумбольдтъ соединилъ изученіе коптскаго языка. Снова въ цѣломъ рядѣ академическихкихъ чтеній сообщилъ онъ результаты и этихъ своихъ работъ. Хотя прочитанная въ мартѣ 1824 года работа «*Ueber die phonetischen Hieroglyphen des Herrn Champillon des Jüngeren*» (О фонетическихкихъ іероглифахъ Шампольона младшаго), также какъ и сообщенная въ слѣдующимъ году «*Ueber vier ägyptische löwenköpfige Bildsäulen*» (О четырехъ египетскихкихъ статуяхъ съ львиной головой)³⁾, существеннымъ образомъ заняты критикою Шампольоновскаго метода

1) Pertz V. 695. 696.

2) Нарикл. 1827 г., въ собр. соч. VII, 294 и сл.; письмо помѣчено: мартъ 1826 г.

3) Тенеръ въ G. W. VI, 488 и сл. и G. W. IV, 302 и сл.

дешифрированія; но къ этой темѣ примыкають у Гумбольдта и соображенія болѣе общаго характера. На іероглифахъ, какъ на новомъ языкѣ, занялся онъ опять изученіемъ общаго характера и происхожденія всѣхъ языковъ вообще. Подобно тому, какъ прежде онъ стремился проникнуть въ сущность языка, такъ онъ теперь стремится проникнуть въ сущность письменъ и въ ихъ взаимное внутреннее соотношеніе. Его философская теорія языка теперь снова была частью обогащена новою главой о соотношеніи языка и письма. Въ его намѣренія входило съ самаго начала предпослать критикѣ Шампольновскаго метода общія соображенія о природѣ письма и его отношенія къ языку вообще. Такъ, повидимому, явился неоконченный набросокъ академическаго сообщенія «Ueber den Zusammenhang der Schrift mit der Sprache» (О соотношеніи письма и языка), которое ставило себѣ задачей вслѣдъ за предпосланнымъ вступленіемъ, разобрать по порядку письмо въ формѣ картинъ, письмо фигурное и буквенное, а также и «отсутствіе всякаго письма»; но на дѣлѣ сообщеніе прерывается посреди разбора перваго ¹⁾. Позднѣе вмѣсто этой фрагментарной работы появилась другая. Двадцатаго мая 1824 года Гумбольдтъ сообщилъ академіи общіе результаты своихъ размышленій на эту тему въ трактатѣ озаглавленномъ: «Ueber die Buchstabenschrift und deren Zusammenhang mit dem Sprachbau» (О буквенномъ письмѣ и его связи съ построеніемъ языка) ²⁾.

Санскритскій языкъ указалъ ему еще путь и къ другимъ областямъ знанія. Не оставляя еще своего намѣренія выпустить цѣлый рядъ работъ объ американскихъ языкахъ, онъ все болѣе и болѣе сосредоточивался на языкахъ азіатскаго и австралійскаго архипелаговъ. Еще въ 1829—31 гг. видимъ мы его съ новымъ пыломъ отдавашагося изученію мексиканскаго и оттоманскаго языковъ, между тѣмъ въ 1827 году составилъ онъ уже планъ обширной работы о языкахъ, распространенныхъ на всемъ пространствѣ отъ

¹⁾ Первоначально въ прилож. къ соч. о языкѣ кави, во II-мъ т., теперь G. W. VI, 426 и сл.

²⁾ G. W. VI, 526. Что именно таково было соотношеніе и происхожденіе обѣихъ работъ и что, слѣдовательно, показаніе издателя сочин. объ языкѣ Кави (т. II прил., стр. 1 прим.), утверждающее, будто первое было читано въ академіи 20 мая 1824 г. основано на недоразумѣніи, — было впервые остроумно доказано Штейнталемъ (Die Entwicklung der Schrift 1852, стр. 31 и 32). Недоказаннымъ какъ изъ характера самой работы, такъ и приведеннымъ у Штейнтала мѣстомъ кажется намъ только то, будто Гумбольдтъ во время разработки этого наброска возымѣлъ мысль рассмотреть этотъ вопросъ въ отдѣльной, болѣе обстоятельной работѣ. Лучшимъ внѣшнимъ доводомъ въ пользу дѣйствительнаго положенія вещей является то обстоятельство, что въ „Трудахъ академіи“ подъ 20 мая 1824 г. напечатана не первая, а вторая изъ упомянутыхъ работъ (см. тр. акад. за 1824 г. истор.-филос. отд. Берл. 1826, стр. 161—188).

Суматры до острова Пасхи и отъ Новой Зеландіи до Сандвичевыхъ острововъ. Онъ видѣлъ въ нихъ промежуточное звено между индійскими и американскими языками¹⁾. 24 января 1828 года онъ читалъ въ академіи первый набросокъ этой работы «Ueber die Sprache der Sudseeinsulaner» (О языкѣ обитателей южнаго архипелага²⁾). Вскорѣ относящіяся сюда знанія заняли его исключительное вниманіе, онъ предоставилъ поэтому дальнѣйшее развитіе американскихъ изслѣдованій болѣе молодымъ силамъ.

Но въ предѣлахъ обширной области языковъ южнаго архипелага онъ скорѣе сосредоточился преимущественно на еще болѣе тѣсной области. Это выборъ въ этомъ отношеніи опредѣлился частью преобладающимъ его интересомъ къ санскритскому языку, частью неупускаемою имъ никогда изъ виду культурно-историческою точкою зрѣнія. Въ одной части населенія архипелага, которую онъ выдѣлялъ въ качествѣ болѣе тѣсной группы малайскаго племени замѣтны были безспорные слѣды вліянія индійской культуры и языка. Фокусомъ этого вліянія очевиднымъ образомъ являлся островъ Ява, и здѣсь опять таки это вліяніе находило себѣ выраженіе въ своеобразномъ языкѣ ученыхъ и поэтовъ. Поэтому-то Гумбольдтъ считалъ необходимымъ поставить во главу угла «тѣснѣйшее сплетеніе индійскаго и малайскаго образованія» и связать съ нимъ дальнѣйшее изученіе малайскаго группы языковъ. «Ueber die Kawi-Sprache» (О языкѣ кави) трактовало сообщеніе, сдѣланное имъ въ академіи 24 января 1831 года: таково-же и названіе большого труда, надъ которымъ онъ работалъ въ послѣдніе годы своей жизни, и окончанію котораго помѣшала только его смерть. Онъ намѣревался разложить языкъ кави на его грамматическіе и лексическіе элементы и представить его какъ результатъ той эпохи, когда индійская культура на Явѣ достигла высшаго своего расцвѣта. Главное вниманіе въ этомъ соединеніи языковъ должно было быть направлено на малайскаго элементъ; этотъ элементъ въ дальнѣйшихъ частяхъ работы долженъ былъ быть подвергнутъ изученію съ болѣе широкой точки зрѣнія, во всѣхъ его развѣтвленіяхъ, и прослѣженъ въ различныхъ малайскихъ языкахъ. Такимъ образомъ съ острова Явы должно было происходить обзорнѣе всего архипелага и къ заключенію на этомъ основаніи имѣлся въ виду заняться рѣшеніемъ вопроса о его лингвистическомъ и этнографическомъ характерѣ. Таковъ былъ планъ Гумбольдта, но онъ оставилъ въ законченномъ видѣ только работу «О языкѣ кави», также какъ и вступительную первую книгу «О связи между Индеей и Явой», притомъ отдѣлъ о языкѣ кави подлежалъ

1) Kawi-Sprache, III. 428.

2) См. О родствѣ нарѣчій мѣста съ мѣстоименіями см. Abhandlungen der histor.-philos. Klasse der Akademie за 1829, стр. 8.

еще новой обработкѣ. Для всего остального существовалъ только цѣлый рядъ болѣе или менѣе разработанныхъ подготовительныхъ работъ, которыя издателью всего труда пришлось связать, дополнить и продолжить ¹⁾.

Если уже занятія китайскимъ языкомъ и египетскою іероглификою дополнили и расширили его общія филологическія воззрѣнія, то и это изученіе малайской группы не осталось безъ вліянія на окончательную формировку его воззрѣній. Какъ баскій языкъ составляетъ первую, санскритскій вторую, такъ языкъ кави со всею связанною съ нимъ океанійскою филологическою группою составляетъ третью и высшую стадію въ развитіи Гумбольдтовой теоріи языка. Или говоря точнѣе: вся эта полнота филологическихъ знаній, которую мы такимъ образомъ обозрѣваемъ, давала ему все болѣе и болѣе право на окончательное и исчерпывающее изложеніе сущности и вліянія языка вообще. Уже въ двухъ его академическихъ трактатахъ 1827 и 1829 г. замѣчаются слѣды болѣе широкаго изученія въ большей ясности и глубины въ изложеніи общихъ воззрѣній. Трактатъ «Ueber den Dualis» ²⁾, — къ сожалѣнію, не законченный, — опредѣляетъ общія задачи лингвистики и соотвѣствующій этой наукѣ методъ съ ясностью, не встрѣчающеюся въ прежнихъ его работахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, спираясь на исчерпывающее знакомство съ фактами, опредѣляетъ съ остроуміемъ и увѣренностью природы разсматриваемыхъ грамматическихъ формъ и устанавливаетъ ихъ связь съ глубочайшею сущностью языка. Также и его работа «Ueber die Verwandtschaft der Ortsadverbia mit dem Pronomen in einigen Sprachen» (О родствѣ нарѣчій мѣста съ мѣстоименіями въ нѣкоторыхъ языкахъ ³⁾), исходя изъ высшей, историко-философской точки зрѣнія, выводитъ съ истинно философскою глубиною и точностью обоснованныя на природѣ языка и человѣческаго духа законы возникновенія мѣстоименій, — законы, которые онъ при помощи сравненія съ языками тонгскимъ, японскимъ и армянскимъ тутъ же разъясняетъ и подтверждаетъ. Безъ труда переходитъ онъ отъ самаго общаго къ самому частному и отъ самаго частнаго снова къ самому общему; мы получаемъ впечатлѣніе духовной силы, которая тѣмъ болѣе осваивается съ областью идей, чѣмъ полнѣе она знакомится съ безконечнымъ многообразіемъ фактовъ. Разсматривать отдѣльныя явленія съ точки зрѣнія философіи языка и

¹⁾ Какъ извѣстно эта работа принадлежитъ д-ру Бушману, взявшему на себя, по порученію берлинской академіи, эту задачу. Въ качествѣ части „Трудовъ“ этой академіи за 1836, 1838 и 1839 гг. явилась въ свѣтъ работа „Ueber die Kawi-Sprache auf der Insel Java“. 37 in 4—to.

²⁾ G. W. VI, 562 и слѣд. (Труды академіи за 1827 г.).

³⁾ Труды академіи, I. с. Также въ отдѣльномъ оттискѣ, не попавшемъ по совершенно непонятной причинѣ въ собр. соч.

выводить ихъ изъ ихъ первоначальныхъ причинъ становится для него все болѣе и болѣе привычнымъ. На основаніи двухъ названныхъ трактатовъ мы можемъ вывести заключеніе относительно многихъ не напечатанныхъ его работъ. Какъ теперь природу мѣстоименій и двойственного числа, такъ еще раньше природу глагола сдѣлалъ онъ предметомъ прочитаннаго также въ академіи сообщенія и подкрѣпилъ при этомъ свои выводы фактами, доставленными ему американскими языками ¹⁾. Въ читанномъ въ 1828 году въ французской академіи трактатѣ «Ueber die Verwandschaft des griechischen Plusquamperfectum, der reduplicirenden Aoriste und der attischen Perfecta mit einer sanskritischen Tempusbildung» (О родствѣ греческаго plusquamperfectum, удвоивающихъ аористовъ и аттическихъ perfecta съ санскритскимъ времѣобразованіемъ) разъяснилъ онъ подробно сходство и различіе обохъ языковъ въ этихъ формахъ и опять-таки связалъ съ этимъ попытку «вывести ихъ изъ ихъ первоословъ» ²⁾; и наконецъ въ п сымѣ къ сару Александру Джонстону, читанномъ 14 іюня 1828 года въ лондонскомъ Royal Asiatic Society ³⁾, развиваетъ онъ самымъ опредѣленнымъ образомъ тѣ общіе принципы, которые должны имѣть рѣшающее значеніе при научномъ обсужденіи родственности языковъ ⁴⁾.

1) См.: Einleit. zur Kawi-Sprache, стр. CCXXVIII, G. W. VI, 258, прим. и Zettreâ Abel-Rémusat, G. W. VII, 352.

2) Einleit. zur Kawi-Sprache, l. c. 156, примѣч.

3) An essay on the best means of ascertaining the affinities of oriental languages. G. W. VII, 423 и слѣд.

4) Выше мы коснулись только тѣхъ работъ и статей, которыя характеризуютъ ходъ развитія филологическихъ познаній и взглядовъ Гумбольдта. Перечень всѣхъ его печатныхъ лингвистическихъ работъ долженъ быть пополненъ слѣдующими: 1) „Ueber die in der Sanscritsprache durch die Suffixa tvâ u ya gebildeten Verbalformen“ (О глагольныхъ формахъ санскритскаго языка, образовающихся при помощи суффиксовъ tvâ u ya) въ Ind. sche Bibliothek, изд. А. Шлегелемъ, т. I, стр. 433 и сл. и т. II, стр. 71 и сл. (1828); 2) „Ueber die Bhagavad-Gita“, въ связи съ отзывомъ о Шлегелевомъ изд. въ парижскомъ Journal Asiatique, G. W. I, 110 и сл. (1826); 3) „Notice sur la grammaire japonaise du P. Oyanguren“ G. W. VII, 382 и сл. (1826); 4) „Memoire sur la séparation des mots dans les textes sanscrits“, Journ. Asiat. XI, 163 и сл. (1827); 5) „Ghatakaramam oder das gebrochene Gefâz“ (Гатакарпамъ или разбитый сосудъ) санскр. поэма, изданная, переведенная, передѣланная и объясненная Г. Дуршемъ, вторая статья, рецензія въ Jahrbuch. für wissensch. Kritik, 1829, апрѣль, № 73—75; 6) Lettre à M. Jaquet sur les alphabets de la Polynésie Asiatique, G. W. VII, 397 и сл., гдѣ впрочемъ отсутствуютъ дополненія, сдѣл. Бушманомъ (О языкѣ кави II, 311, прим. 1); 7) „Ueber den Infinitiv“ (Объ изъявительномъ наклоненіи) письмо къ Макс. Шмидту отъ 28 окт. 1826 г., сообщ. въ Zeitschr. ft. v. vergl. Sprachkunde, дек. 1852. Въ собр. соч. помѣщены только тѣ изъ названныхъ здѣсь работъ, относительно которыхъ это нами прямо указано. Изъ неапечат. работъ называемъ: „Ueber die verschiedenen Formen des Präteritums der Causalverba im Sanorit (см. „Введеніе въ языкъ кави“ G. W. VI, 161 прим.) и „Ueber die Verschiedenheit

На основаніи всѣхъ названныхъ сочиненій мы могли бы въ крайнемъ случаѣ составить себѣ цѣльное представленіе о философіи, какъ ее понималъ Гумбольдтъ, но, къ счастью, мы обладаемъ въ послѣдней и самой зрѣлой работѣ этого выдающагося человѣка подведенные имъ самимъ итоги его воззрѣній. На почвѣ знанія языковъ, которое ни раньше, ни послѣ него не встрѣчалось въ такомъ обширномъ масштабѣ въ единичной личности, вызывается удивительное произведение: «Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (О различіи въ строеніи человѣческаго языка и о вліяніи этого различія на духовное развитіе человѣческаго рода)—произведеніе, которое полнотой и глубиной своего содержанія противорѣчитъ, какъ своему заголовку, такъ и своему положенію въ качествѣ введенія къ сочиненію о языкѣ кави¹⁾. Что въ первой его философско-филологической программѣ, въ «Объявленіи» 1812 года мелькаетъ еще только въ неопредѣленныхъ очертаніяхъ, что онъ снова пытался дать въ своихъ академическихъ сообщеніяхъ 1820—22 г. въ болѣе глубокомъ изложеніи, то развито въ этомъ «Введеніи» исчерпывающимъ, рѣшающимъ и законченнымъ образомъ. Мы имѣемъ здѣсь передъ собой вѣнецъ Гумбольдтовой философіи языка и обозрѣваемъ съ этой высоты какъ безпредѣльную область фактическаго знанія, надъ которою онъ господствовалъ, такъ и всю глубину его ума, соперничающую съ широтою его горизонта. Онъ держитъ насъ постоянно на высотѣ того воззрѣнія, которое при посредствѣ понятія о произведеніи и развитіи духовныхъ силъ человѣка дѣлаетъ общее языкознаніе интегральною частью общей исторической науки; и именно при помощи этого связующаго звена онъ вводитъ насъ одновременно въ природу языка и въ природу человѣческаго духа. Открывая передъ нами глубочайшую сущность языка, онъ даетъ намъ возможность проникнуть въ его начало. Мы видимъ, какъ онъ разлагаетъ его на элементы и вслѣдъ затѣмъ слова охватываетъ его во всей его конкретности какъ явленія. Мы знакомимся какъ съ физиологическимъ, такъ и съ историческимъ вліяніемъ духа въ языкѣ и на языкъ. Онъ останавливаетъ наше вниманіе то на различіи въ строеніи языковъ, выясняемомъ въ опытѣ классификаціи всѣхъ языковъ,

der Sprachen u. Völker (О разл. языковъ и племенъ), см. А. Гумбольдтъ Космосъ I, 381. Кромѣ того литературное наслѣдіе Гумбольдта заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ обширныхъ подготовительныхъ работъ объ американскихъ языкахъ (см. предисл. А. Гумбольдта къ 1 т. соч. о языкѣ кави, стр. XII, предисл. Вушмана ко 2 т. того-же соч. стр. XIV, ср. Шлезіеръ II, 561).

¹⁾ Только это введеніе, за исключеніемъ первыхъ шестнадцати стр. текста изданія in quarto, перешло въ собр. соч.; оно помѣщено въ т. VI, стр. 1—425.

то на создающей языкъ жизненной силѣ, открывающейся намъ въ исторіи развитія отдѣльныхъ языковъ. Объ руку съ авторомъ сочиненія «О языкѣ кави» мы то рассматриваемъ языкъ со стороны его самостоятельнаго явленія, то въ его отношеніи къ природѣ и свободѣ, мы то углубляемся въ анализъ общей сущности всѣхъ языковъ вообще, то въ индивидуальную характеристику какого-нибудь одного языка—словомъ: мы обзрѣваемъ всю совокупность вопросовъ, связанныхъ съ таинственною сущностью языка, соприкасаясь при этомъ болѣе или менѣе со всѣми проблемами метафизики.

Задача наша заключается въ томъ, чтобы, при помощи остальныхъ сочиненій Гумбольдта, выяснить для себя содержаніе этого глубоко-мысленнаго труда. Но чтобы подойти къ этимъ результатамъ, намъ необходимо рассмотретьъ частью философскія основоположенія, частью ту общую форму, въ какой эти результаты добыты и изложены.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Философскія предпосылки и основоположенія.

За исключеніемъ формъ эллинскаго духа, ничто не имѣло на научный образъ мыслей и міросозерцаніе Гумбольдта вліянія, равнаго вліянію кенигсбергскаго старца. Въ своей первой политической работѣ, какъ и въ статьѣ о «Германѣ и Доротеѣ», въ письмахъ къ Шиллеру, какъ и въ стихотвореніяхъ, наконецъ, даже въ нѣкоторыхъ изъ своихъ должностныхъ работъ онъ явнымъ образомъ опирается на принципы Канта. Мы вездѣ были вынуждены обращать вниманіе читателя на то, какъ своеобразно видоизмѣнилось и индивидуализировалось въ немъ кантовское воззрѣніе; но при этомъ всегда можно было обнаружить и подлинныя кантовскіе элементы. И наконецъ, въ связи со всѣми прежними его научными работами возникла филологическая дѣятельность Гумбольдта. Кантіанство, проявившееся въ первыхъ, перешло и въ эту послѣднюю: мы ясно видимъ въ его лингвистическихъ работахъ кантовскій духъ и букву.

И въ самомъ дѣлѣ, Гумбольдтъ перенялъ не мало отъ Канта буквально, особенно въ «эстетическихъ опытахъ»; пожалуй, въ болѣе-шей еще мѣрѣ это относится сказанное къ его философіи языка. Какъ далеко было то время, когда онъ прилежно изучалъ главнѣйшія сочиненія Канта,—а между тѣмъ и въ позднѣйшее еще время онъ вполне свободно владелъ формальными основами критицизма. Многое въ этой области онъ несомнѣнно относилъ къ числу тѣхъ твердыхъ основъ, которые остаются на вѣки неизмѣнными. Кое что

изъ пнхъ онъ на всегда запечатлѣлъ въ себѣ во дни Бургѣрпера и Іены. Пользуясь имъ на старости лѣтъ, онъ врядъ-ли сознавалъ, что оперяруетъ аппаратомъ какой-нибудь опредѣленной системы.

Однимъ изъ первыхъ результатовъ анализа, которому критика чистаго разума подвергаетъ человѣческое познаніе, есть понятіе о пространствѣ и времени, какъ о чистыхъ формахъ внутренняго созерцанія. Вторымъ элементомъ явленія, по Канту, есть матерія созерцанія, которой съ внутренней стороны соотвѣтствуетъ ощущеніе. Эти первые и основные результаты Кантовой критики разума представляютъ для Гумбольдта-филолога непреложныя истины. Если-бы Кантъ вздумалъ въ анализѣ языка искать доказательства правильности своего анализа познавательныхъ элементовъ, ему пришлось бы доказать, что первоначальныя слова въ каждомъ языкѣ суть тѣ, которыя обозначаютъ ощущенія или отношенія времени и пространства, — это именно и есть то, что Гумбольдтъ, въ тѣснѣйшемъ соотвѣтствіи съ терминологіей Канта, многократно доказываетъ. Если Гердеръ свое опроверженіе Кантовской критики отчасти почерпаетъ въ поверхностныхъ ссылкахъ на языкъ, то Гумбольдтъ, напротивъ, какъ бы намѣренно, именно на языкѣ испытываетъ правильность Кантовскихъ утвержденій. Онъ показываетъ на фактахъ, что въ основаніи образованія личныхъ мѣстоименій лежало понятіе пространства, и видитъ въ этомъ «новое доказательство того, что чистымъ формамъ созерцанія — пространству и времени — особенно свойственно содѣйствовать, такъ часто встрѣчающемуся въ языкѣ, переводенію отвлеченныхъ или съ трудомъ представляемыхъ понятій въ конкретныя» ¹⁾. Въ связи съ этимъ онъ показываетъ, что личные мѣстоименія необходимо являются первообразными въ каждомъ языкѣ. Къ нимъ, по его мнѣнію, непосредственно примыкаютъ предлоги и междометія, — «ибо первые выражаютъ отношенія пространства или времени разсматриваемаго какъ протяженіе, къ опредѣленному пункту, неотдѣлимому отъ ихъ понятія; послѣднія суть только непосредственныя выраженія чувства жизни» ²⁾. Намѣреваясь дать краткое изложеніе членовъ въ языкахъ Южнаго океана, онъ не упускаетъ случая указать при этомъ на то, что они большею частью образовались изъ отношеній пространства и времени ³⁾. И наконецъ, чтобы показать насколько дуализъ естественно вытекаетъ изъ сущности языка, онъ указываетъ на то, что понятіе о двойственности, какъ о числѣ, слѣдовательно, какъ объ одной изъ чистыхъ формъ воспріятія духа, представляетъ «удачную аналогію съ языкомъ» ⁴⁾.

¹⁾ „Ueber die Verwandtschaft der Ortsadverbien und т. д. О родствѣ нарчій мѣста и т. д.) инт. м. стр. 25.

²⁾ Einleitung zur Kawi Sprache, G. W. VI, 115.

³⁾ Kawi-Sprache III, 526.

⁴⁾ Ueber den Dualis, G. W. VI, 592.

Но и далѣ идетъ онъ по стопамъ «Критики чистаго разума». За анализомъ чувственности слѣдуетъ въ послѣдней анализъ разсудка. Надъ чистыми воспріятіями чувственного возвышаются, въ качествѣ высшаго апіористическаго элемента познанія, основныя понятія разсудка или логическія категоріи. Этого именно порядока имѣетъ онъ очевидно въ виду, признавая послѣдовательность для различныхъ возрѣній, имѣвшихъ рѣшающее значеніе при образованіи обозначеній для мѣстоименій третьяго лица. «Первое изъ этихъ возрѣній исключительно чувственного рода; второе относится уже къ чистой формѣ чувственности—къ пространству; третье основывается на абстракціи и логическомъ различеніи понятій» ¹⁾). При опредѣленіи полнезрѣлыхъ членовъ онъ снова находитъ естественную скалу пространственныхъ, временныхъ и логическихъ категорій ²⁾). Въ Кантовской таблицѣ категорій онъ повидимому чувствуетъ себя какъ дома; онъ отзывается о ней какъ о таблицѣ категорій *par excellence*. Въ сравнительно болѣе раннемъ періодѣ своихъ филологическихъ занятій, заинтересованный болѣе чѣмъ когда-либо впоследствии мыслью объ общей философской грамматикѣ, онъ думаетъ найти отличіе падежныхъ знаковъ отъ предлоговъ въ томъ, что первые могутъ стѣять вездѣ, гдѣ «отношеніе само по себѣ вытекаетъ изъ самаго понятія отношенія, представляетъ необходимый его родъ и потому понятно безъ какого-бы то ни было посредствующаго члена», изъ чего онъ заключаетъ далѣе, «что число падежей опредѣляется непосредственно таблицей категорій, тогда какъ число предлоговъ совершенно произвольно» ³⁾). Уже въ самомъ началѣ его трактата о сравнительномъ языковѣдѣніи находится мѣсто, въ которомъ онъ развиваетъ мысль, что языкъ въ каждый моментъ своего существованія долженъ обладать тѣмъ, что дѣлаетъ изъ него нѣчто цѣльное, ибо, такъ разсуждаетъ онъ, организмъ мышленія тоже представляетъ нераздѣльную, цѣльную ткань—и тутъ же перечисляетъ всѣ нити этой ткани, отъ созерцательныхъ формъ чувственности до идей разума—совершенно такъ, какъ онѣ выводятся и разъясняются въ «Критикѣ чистаго разума» ⁴⁾).

Существуетъ цѣлый рядъ мѣстъ, въ которыхъ Гумбольдтовскій анализъ языка составляетъ какъ-бы параллель къ Кантовскому анализу человѣческаго познанія. Здѣсь являются на сцену взгляды, понятія и методы, перенесенные изъ абстрактной области организма познанія въ болѣе конкретную область организма языка. Приведемъ одинъ примѣръ изъ множества. Вспомнимъ своеобразное понятіе Канта о схемѣ. Для того чтобы возможно было примѣнять чистыя

¹⁾ Ueber den Dualis, *ibid* 588.

²⁾ *Kawi-Sprache*, III, 527.

³⁾ Дополненія и поправки и т. д. *Mithridates IV*, 317.

⁴⁾ *G. W.* III, 243.

понятія мысли къ явленіямъ вообще, должно существовать, по мнѣнію Канта, посредствующее между ними третье, однородное какъ съ категоріями, такъ и съ явленіями. Это посредствующее понятіе есть понятіе времени и въ качествѣ такого получаетъ названіе трансцендентальной схемы. Схема-же вообще опредѣляется Кантомъ какъ «представленіе объ общемъ приѣмѣ воображенія для сообщенія понятію его образа» и созданіе такихъ схемъ онъ называетъ скрытымъ въ нѣдрахъ человѣческой души искусствомъ, «истинные приѣмы котораго мы врядъ-ли когда-либо у природы подсмотримъ и раскроемъ»¹⁾. Это въ высшей степени плодотворное понятіе играетъ и у Гумбольдта выдающуюся роль. Подобно тому какъ существуетъ схематичность мысли для того, чтобы сдѣлать возможнымъ сужденіе, т. е. подведеніе воспріятій подъ категоріи мысли, точно также существуетъ и схематичность языка—болѣе того: самъ языкъ и первый его элементъ—слово образуются только благодаря ей. Совершенно аналогично Канту вводится и имъ это понятіе. Обозначеніе понятія звукомъ есть «соединеніе вещей, по своей природѣ совершенно несоединимыхъ»; для соединенія этихъ различныхъ природъ необходимо поэтому «посредство чего-то третьяго, въ чемъ бы онѣ сходились». Далѣе выводится, что это посредствующее третье по природѣ своей всегда чувственно и что въ послѣдней инстанціи (тутъ опять всплываетъ основа Кантовскихъ опредѣленій) оно при все болѣе тщательномъ выдѣленіи изъ него конкретныхъ чертъ, можетъ быть сведено—вполнѣ или исключивъ его индивидуальныя особенности—къ экстенсіи или интенсіи либо къ измѣненію въ томъ и «другомъ», такъ что въ концѣ-концовъ приходишь снова къ общимъ сферамъ пространства, времени и степени напряженія чувства»²⁾.

Такъ сильно переплетаются филологическіе взгляды Гумбольдта возрѣніями и понятіями Кантовской критики разума, такъ многочисленны слѣды простирающейся даже и на терминологию зависимости отъ формальныхъ основъ Кантовой системы! И это еще далеко не самыя существенныя доказательства кантіанства Гумбольдта. Сильнѣе зависимости отъ буквы Кантова ученія согласіе съ его духомъ. Въ сущности говоря, самая мысль или вѣрнѣе неотразимое влеченіе къ изученію языка вытекло изъ духовнаго родства ихъ образа мыслей; и вся его философія языка въ цѣломъ движется въ орбитѣ этого образа мыслей,—въ особенности тамъ, гдѣ по свойствамъ самого предмета согласіе съ формулами и положеніями Кантовой системы должно было прекратиться.

Можно сказать, что Гумбольдтъ былъ-бы кантіанцемъ даже и въ

¹⁾ Kant, Kr. der. reinen Vernunft изд. Hartenstein'a, II, 180.

²⁾ Einleitung zur Kawi-Sprache G. W. VI, III.

томъ случаѣ, если бы не читалъ ни одной строки Канта, даже если бы Кантъ ничего не писалъ и никогда не существовалъ. Не отъ него онъ узналъ впервые «что истинный и единственно неподвижный полюсъ человѣкъ носить въ своей душѣ», не ему обязанъ онъ своимъ интересомъ къ человѣку и своимъ стремленіемъ разгадать самыя тончайшія и глубочайшія черты человѣческой природы. Его воззрѣнія и наклонности только укрѣпились и дисциплинировались подъ вліяніемъ ученія человѣка, который, по выраженію самого Гумбольдта, «снова ввелъ въ глубь человѣческой души философскіе въ истинномъ смыслѣ этого слова». Поэтому болѣе по-кантовски, чѣмъ если бы онъ былъ кантіанцемъ въ обыкновенномъ значеніи этого слова, философствовалъ онъ нѣкогда на тему объ отношеніи индивидуума къ государству какъ цѣлому, о сущности и происхожденіи поэзіи, о проявляющемся въ исторіи образѣ человѣка. Уже въ ту эпоху, когда онъ болѣе всего способенъ былъ бы относиться къ нему какъ ученикъ, онъ не могъ его читать иначе, какъ платонизируя его при самомъ чтеніи. Съ тѣхъ поръ онъ постоянно останавливался на такихъ пунктахъ, въ которыхъ абстрактно-трансцендентальное находитъ прочный базисъ въ болѣе конкретномъ антропологическомъ интересѣ. Такой предметъ представляло искусство; такой-же предметъ представляло и различіе половъ, также какъ и фізіономика. Но въ области антропологіи болѣе всего привлекалъ тотъ духовный центръ, который въ глазахъ Канта представлялъ самъ по себѣ законченный кругъ. Предметъ, къ которому онъ пришелъ послѣ всѣхъ предшествовавшихъ этапныхъ пунктовъ и на которомъ ему суждено было успокоиться, не могъ быть просто сверхчувственнымъ, какъ «чистый» или «практическій разумъ», но онъ долженъ былъ быть по возможности близокъ трансцендентальной основѣ человѣческаго существа. Такой предметъ представлялъ языкъ. Въ самомъ дѣлѣ, языкъ находился на первомъ переходномъ пунктѣ человѣческаго духа къ естественному явленію—тамъ гдѣ этотъ духъ легкими и едва уловимыми шагами переходитъ въ область чувственного; и онъ дѣйствительно лежалъ ближе всего къ этой изслѣдованной Кантомъ области. Только такому глубокому, въ такой высокой степени способному къ отвлеченію уму, какъ умъ Канта, возможно было сдѣлать предметомъ изслѣдованія познающій и устанавливающій законы духъ въ его чистомъ видѣ. Такая же глубина и душевная полнота, но соединенная однако только съ весьма скромною примѣсью чувственности, нужны были для того, чтобы принять, такъ сказать, изъ рукъ Канта этотъ умъ и подвергнуть его тутъ-же, на порогѣ природы, при его первомъ выходѣ изъ чистаго «я», глубокому и пристальному разсмотрѣнію. Въ этомъ состояла задача Гумбольдта; духовныя свойства, предназначавшія его для выполненія этой задачи были: способность подмѣтить первую

вѣжную оболочку, которою духъ окружаетъ себя въ языкѣ, и готовность далѣе слѣдовать за духомъ, ускользающимъ изъ этой оболочки назадъ въ свою безплотную сущность. Совершенно освоившись съ тою глубиной человѣческой души, въ которой оперировало изслѣдованіе Канта, онъ могъ создать теорію, характерная черта которой, по его собственному выраженію, заключается въ томъ, что она постоянно приводитъ языкъ въ связь съ «наиболѣе глубокимъ въ человѣческой душѣ».

Но останавливаться на трансцендентальной и субъективной тенденціи Канта замысла значитъ понимать его духъ только весьма поверхностно. Что Кантъ ухватился за эту субъективную точку зрѣнія и на ней утвердился—это имѣло болѣе глубокую причину въ его надъ всѣмъ преобладающемъ и все проникающемъ стремленіи къ свободѣ. Кантовская философія есть философія субъективизма, но еще болѣе это философія свободы. Она ограничивается изслѣдованіемъ глубинъ человѣческой души, но она не успокоивается, пока не найдетъ здѣсь для себя въ абсолютномъ самоопредѣленіи нравственнаго чувства конечный и незыблемый базисъ. Она дѣлаетъ человѣка центромъ міра, потому что хочетъ сдѣлать его властелиномъ міра. Ради свободы отказывается ея міросозерцаніе отъ замкнутаго единства и гармоніи и подчиняетъ природу законамъ и схемѣ субъективнаго духа, потому что она хочетъ подчинить исторію законамъ и схемѣ морализма. Поэтому совпаденіе въ этомъ пунктѣ завершаетъ согласіе между Кантомъ и Гумбольдтомъ. Последній прямо высказываетъ, что только при помощи Кантовой дедукціи нравственнаго закона возвращены, по его мнѣнію, естественному человѣческому чувству его права и его чистое философское обоснованіе ¹⁾. Ясно подчеркнутою выступаетъ мысль о свободномъ самоопредѣленіи и высокое уваженіе къ человѣческой свободѣ во всѣхъ писаніяхъ Гумбольдта. Правда, и эта идея получила въ его умѣ специфическую окраску. Только въ болѣе конкретномъ пониманіи, въ силу котораго долгъ свободнаго самоопредѣленія смягчается до степени права свободной индивидуальности, могла она сдѣлаться пазлюбленною его идеей и въ такомъ видѣ она выступаетъ передъ нами на каждомъ шагѣ. Въ этомъ духѣ говорилъ онъ въ своемъ равнемъ политико-философскомъ сочиненіи, въ такомъ-же духѣ высказывался онъ и въ своей запискѣ о представительныхъ учрежденіяхъ Пруссіи въ пользу свободнаго индивидуальнаго развитія на почвѣ государственнаго единства. Такъ и теперь въ своихъ изслѣдованіяхъ о различіяхъ въ строеніи языка настаиваетъ онъ на томъ значеніи, какое имѣютъ для творчества въ этой области индивидуальныя особенности племенъ и отдѣльныхъ личностей. Только у

¹⁾ Герсеписка съ Шиллеромъ, предисл. стр. 50.

отдѣльнаго лица, говоритъ онъ, языкъ получаетъ окончательную опредѣленность, ибо власти языка надъ человѣкомъ послѣдній прѣтивоставляетъ и свою власть надъ языкомъ, и это проявленіе принципа свободы филологическому изысканію приходится признавать и уважать ¹⁾. И каждый разъ, переходя отъ филологическихъ соображеній къ связаннымъ съ ними всегда историко-философскимъ размышленіямъ, онъ съ особенною любовью останавливается на этомъ зрѣлищѣ проявляющагося наружу принципа свободы. Ни одна идея не играетъ при этомъ такой важной роли, какъ идея о внезапномъ, чудесномъ появленіи гениальныхъ силъ и стремленій въ ряду историческихъ явленій. Это идея объ апіорности и самости (Aseität) духа — та самая, которая въ наиболѣе отвлеченномъ своемъ видѣ, какъ внутренняя увѣренность въ абсолютной автономіи нашего существа, составляетъ центръ и фонъ Кантовской критики разума.

Однако не только въ томъ, что они прямо и принципиально выдвигаютъ на первый планъ значеніе свободы, сходятся оба мыслителя — еще очевиднѣе выступаетъ ихъ согласіе въ выводахъ, вытекающихъ изъ этого основного взгляда. Безчисленное множество разъ повторялось и выставлялось на видъ, какъ бы для окончательнаго опроверженія Канта, что его взглядъ на вещи приводитъ къ дуализму, который хотя и смягчается или скрывается въ нѣкоторыхъ частяхъ его философіи, но въ концѣ-концовъ все снова выходитъ наружу. Есть сомнѣнія, этотъ дуализмъ дѣйствительно у Канта существуетъ, но стольже несомнѣнно и то, что избѣжать его можетъ только такое міросозерцаніе, которое рѣшается заодно отречься также и отъ понятія о человѣческой свободѣ въ его простой и чистой формѣ. Дуализмъ Кантовской философіи, — дуализмъ, непрестанно, однако, стремящійся къ монизму, — есть необходимое слѣдствіе ея основоозрѣнія, коренящагося въ понятіи свободы. Такъ какъ человѣческая свобода существуетъ только по столько, по скольку она проявляется, проявляется же она по столько, по скольку дѣйствуетъ и борется, то отсюда получается противоположность между законодательствующимъ разумомъ и апостеріорнымъ элементомъ познанія; отсюда же предѣлъ, который неминуемо встрѣчаетъ теоретическій разумъ, какъ только онъ хочетъ расширить условное до степени безусловнаго; отсюда и возникающій у этой грани разладъ антимоній, антагонизмъ между разумомъ и чувственностью, свободой и природой, динамическою и механическою связью вещей; отсюда наконецъ — насильственное рѣшеніе цѣлаго ряда противорѣчій въ формѣ постулатовъ и ссылки на будущее, которое никогда не можетъ сдѣла ься настоящимъ. Однимъ словомъ, это — міросозерцаніе, которое удовлетворяло потребности свободы тѣмъ, что ставило передъ ней безконечную задачу —

¹⁾ Einleitung zur Kawi-Sprache, G. W. VI, 66.

устранить при помощи своей собственной силы и энергии границы и пробьлы теорія. Таково оно у Канта, совершенно таково же и у Гумбольдта. И онъ можетъ уяснить себѣ тайны духовной жизни только путемъ различенія силы и проявленія, сущности и явленія ¹⁾. И онъ проникнуть сознаниемъ непроходимости границъ доступнаго для насъ познанія. Краснорѣчивый выразитель нашего духа — языкъ и для него не представляется всеоткрывающею силой: въ человѣкѣ заложено «предчувствіе области, невмѣстимой въ предѣлы языка», но съ другой стороны языкъ возвышаетъ ощущение этой «доступной только предчувствію области идей», и величіе Канта отчасти именно въ томъ и заключается, что онъ, несмотря на остроту своей крайне разсудочной діалектики, не утратилъ чутья этой области ²⁾. Такъ какъ и для него сущность человѣческаго духа совершенно исчезаетъ въ дѣятельности и энергіи, то и языкъ получаетъ для него неразрушимый характеръ свободы. Сущность его есть стремленіе, никогда не достигающее конечной цѣли, безпрестанно повторяющаяся работа духа, направленная на то, чтобы претворить членораздѣльный звукъ въ выраженіе мысли; въ звукахъ постоянно слышится стремленіе внутренней идеи побороть какую-то трудность; проникновеніе въ звукъ, составляющее крайній предѣлъ этого стремленія, всегда сопровождается неизгладимымъ дуалистическимъ остаткомъ, — то звукъ преобладаетъ надъ мыслью, то внутренний смыслъ выходитъ за предѣлы своего выраженія ³⁾. Изученіе языка въ его самомъ общемъ явленіи ведетъ необходимо къ различенію фізіологическаго и динамическаго дѣйствія — принципа заложенной въ него природой закономѣрности и принципа человѣческой свободы ⁴⁾. Именно уваженіе къ этому принципу свободы дѣлаетъ нашего мыслителя вѣчнымъ врагомъ поспѣшной систематизаціи и охраняетъ его въ отношеніи ко всей области языка отъ ошибочнаго желанія представить эту область какъ замкнутый организмъ въ исчерпывающей классификаціи языковъ. Область языка не представляетъ для него органически замкнутаго круга, точно также какъ слово не представляетъ для него абсолютнаго тождества идеи и звука. Какъ послѣднее есть только условное тождество, такъ первое есть только стремленіе къ организаціи. Кругъ языка остается, согласно его воззрѣнію, открытымъ въ сторону свободы и исторіи; это и есть тотъ пунктъ, въ которомъ онъ чувствуетъ себя вынужденнымъ

¹⁾ Ср. относит. этого Steintal: Die Klassifikation der Sprache (Штейнталь, Классификація языка), 1850, стр. 17 и сл.

²⁾ Einleitung zur Kawi-Sprache, G. W. VI, 210, 288 и т. д. Переп. съ Шиллеромъ, предисл., стр. 44

³⁾ Einleitung, стр. 42, 88; ср. ниже Отд. 4.

⁴⁾ Ibid, стр. 66.

перейти изъ области филологій въ историческую науку ¹⁾. Но и въ этой области имъ руководятъ идеи свободы, прогресса и возможности безконечнаго совершенствованія, — т. е. Кантовское пониманіе исторіи. Въ цѣли человѣческой исторіи естественная склонность человѣка сходится, несмотря на кажущееся противорѣчіе, съ высшими законами его духовнаго существа. Это та тема, которую Кантъ развилъ въ своемъ прекрасномъ трактатѣ «Объ идеѣ всеобщей исторіи»; таково же и убѣжденіе, которое предпослано было Гумбольдтомъ его общимъ изслѣдованіямъ въ области философіи языка, и которое онъ счелъ необходимымъ повторить во вступленіи къ такому спеціальному изслѣдованію, какъ его работа о языкахъ южнаго океана ²⁾.

Между тѣмъ въ концѣ 18 столѣтія всему этому воззрѣнію Канта, въ существѣ дуалистическому, исходящему изъ права субъективнаго и свободы, нанесенъ былъ сильный ударъ. Проникнутыя духомъ эллинской древности произведенія нѣмецкихъ поэтовъ ввели въ народное сознаніе чувство давно неиспытаннаго удовлетворенія и примиренія. Что въ воспроизведеніи и въ созерцаніи прекраснаго дуализмъ свободы и природы до извѣстной степени исчезаетъ, показала уже третья изъ Кантовскихъ критикъ; еще яснѣе развили это эстетическія письма Шиллера; а живые образцы прекраснаго въ поэзій Гёте и Шиллера освоили съ этимъ также и чувства современнаго. Изъ теоріи «Эстетическихъ писемъ» Шиллера и изъ практики нѣмецкой классической поэзій вышло новое философское міросозерцаніе, рѣшительно объявившее Кантовскую философію устарѣлою. За господствомъ Канта и его школы послѣдовало господство Шеллинга и Гегеля. На мѣсто моральной схемы и въ качествѣ единственной и всеобщей выставлена была схема эстетическая; искусство было объявлено единственнымъ истиннымъ и вѣчнымъ органомъ и документомъ философіи, а вся вселенная подчинена формулѣ абсолютнаго безразличія субъективнаго и объективнаго.

Намъ извѣстно, какъ стнесся къ этому перелому въ области идей и чувствованій своего вѣка Гумбольдтъ. Его собственная натура влекла его болѣе, чѣмъ кого-либо другого, къ доказанному Шиллеромъ совпаденію чувственныхъ силъ съ законами разума. Глубже обояхъ

¹⁾ Иначе высказывается въ своемъ разборѣ Гумбольдта Штейнталь (Klassific. стр. 65), доказывая этимъ только, что при всей своей зависимости отъ Гумбольдта съ одной стороны и несмотря на все свое отрицаніе систематики Гегеля съ другой, — онъ не въ состояніи познать во всей ея глубинѣ скромную правдивость и уваженіе къ свободѣ Гумбольдта, ни освободиться отъ конструктивно-эстетической схемы гегелевскаго міросозерцанія.

²⁾ Kawi-Sprache, III, стр. 426; ср. Einleit. zur Kawi-Sprache, G. W. IV, стр. 1 и 7. См. впрочемъ еще ниже отд. 4.

поэтовъ былъ опъ посвященъ въ духъ эллинской жизни; глубже обонхъ философовъ ощущалъ опъ прелесть поэзіи Гёте и Шиллера. Онъ слѣдилъ шагъ за шагомъ за эстетическими изслѣдованіями Шиллера; онъ ихъ дополнялъ, распространялъ, примѣнялъ. Въ помѣщен-ныхъ имъ въ «Noen» статьяхъ о различіи половъ онъ, задолго до провозглашенія системы тожества, указывалъ на параллелизмъ свободы и природы и на великое единство физическаго и нравственнаго міровъ. Но за этимъ пунктомъ дороги ихъ раздѣлялись. Онъ правда, перешагнулъ такимъ образомъ за предѣлы философіи Канта, но все же не перешелъ въ область Шеллингова умозрѣнія. Единство идеальнаго и реальнаго хотя и стало для него высшимъ руководящимъ принципомъ, конечной опредѣляющей идеей, но оно не стало для него тиранническою формулой, пустою рамою для картины вселенной. Такова была точка зрѣнія стаетей о различіи половъ, совершенно та же была и точка зрѣнія, на которой выросла и утвердилась его философія языка. Гумбольдтъ не основалъ подобно романтическому философу, новой метафизической системы, — онъ сдѣлалъ то, что было гораздо труднѣе: онъ поставилъ себѣ задачу — съ неподкупною правдивостью опредѣлить, насколько кульминирующее въ искусствѣ взаимное проникновеніе субъективнаго и объективнаго достижимо въ другихъ проявленіяхъ человѣческаго духа. Съ этою цѣлью и съ этою точкой зрѣнія направилъ онъ все свое вниманіе на сущность языка. Онъ сдѣлалъ такимъ образомъ работу, которую не придется дѣлать вторично. Система тожества вмѣстѣ съ системой абсолютнаго идеализма пала, подобно другимъ системамъ. Философія языка Гумбольдта, подобно эстетикѣ Шиллера, составляетъ вѣчное достояніе, неизгладимый прогрессъ въ приобрѣтеніяхъ познающаго разума, неразрушимую основу настоящаго и будущаго языковѣдѣнія.

Невозможно однако-же исчерпывающимъ образомъ охарактеризовать измѣненіе, какое претерпѣло Гумбольдтовское кантианство въ его философіи языка подѣ влияніемъ эстетики, если не коснуться другаго философскаго промежуточнаго звена. Извѣстно, какой существенный моментъ въ развитіи современной нѣмецкой философіи составляетъ «Наукоученіе» Фихте. Съ толкованіемъ этого произведенія связано главнымъ образомъ Шеллингово открытіе абсолютнаго тождества; его принципы, и въ особенности его формализмъ сослужили службу Шиллеру въ дедукціи его эстетической теоріи. Послѣдователей привлекала прежде всего сама систематическая форма «Наукоученія», а затѣмъ и поставленное принципиально во главѣ единство человѣческаго «я», посредствомъ котораго оно прокладывало путь стремленію эстетизирующаго воззрѣнія къ болѣе конкретному единству противоположностей. Въ ней кантовскій дуализмъ, также какъ и содержащіяся въ немъ требованіе и тенденція синте-

тического объединенія впервые нашли строгую формулировку и методъ. Такимъ образомъ свой богатый идейный матеріалъ Шиллеръ безъ сомнѣнія почерпнулъ у Канта, а на строго методическую форму, въ которой онъ его изложилъ, имѣло несомнѣнно рѣшающее вліяніе знакомство съ Фихте. На двойномъ основаніи воззрѣній Фихте и Шиллера видоизмѣнился также и Кантовскій элементъ въ Гумбольдтовской философіи языка. Слѣды болѣе рѣзкаго субъективизма и болѣе правильнаго метода соединяются съ воззрѣніями, коренящимися въ эстетикѣ—именно только слѣды, ибо на индивидуальность Гумбольдта жесткій и односторонній образъ мыслей Фихте могъ въ общемъ дѣйствовать только отталкивающимъ образомъ ¹⁾ Но обойти его по этой причинѣ онъ все-же не могъ. Одинъ изъ пунктовъ въ его разъясненіяхъ особенно напоминаетъ каждый разъ о Фихте,—именно тотъ, гдѣ философія языка наиболее глубоко задѣваетъ область отвлеченной метафизики, гдѣ генезисъ языка можетъ быть понятъ только вмѣстѣ съ генезисомъ познанія. Правда, предпосылки, изъ которыхъ онъ здѣсь исходитъ, опять таки чисто кантовскія: «языкъ соединяетъ міръ съ людьми»; «дѣятельность органовъ чувствъ должна синтетически сливаться съ внутренней работой духа». Но вслѣдъ затѣмъ эти выраженія видоизмѣняются въ духѣ Фихте и самое воззрѣніе колеблющимися шагами переходитъ въ воззрѣніе «Наукоученія». Теперь уже говорится, что языкъ «связываетъ самодѣятельность человѣка съ его впечатлительностью», и связь мышленія и языка изображается точнѣе въ слѣдующемъ видѣ: субъективная дѣятельность образуетъ въ мышленіи объектъ; представленіе становится по отношенію къ субъективной силѣ объектомъ и, въ качествѣ такого, снова воспринятое, возвращается къ ней обратно. Очевидно, это та же рефлексивная дѣятельность «я», тотъ-же аналитико-синтетическій образъ дѣйствія «я», которые описываются въ «Наукоученіи»—съ тою только разницей, что здѣсь «я» сразу понимается болѣе конкретно и живо, и что у Гумбольдта дѣйствіе, а всемогущаго у Фихте, воображенія получаетъ сразу опору и поддержку. А-именно: чисто идеальное, субъективное раздѣленіе, по мнѣнію Гумбольдта, «не

¹⁾ Къ сожалѣнію единственное мѣсто въ перепискѣ Шиллера съ Гумбольдтомъ, которое могло бы бросить свѣтъ на мнѣніе Гумбольдта о „Наукоученіи“ (письмо Шиллера къ Гумбольдту отъ 9 ноября 1795 г.; ср. письмо Кёрнера къ Шиллеру отъ 6 ноября) недостаточно опредѣленно. Но самое умолчаніе переписки наводитъ на неблагоприятный для Фихте выводъ. Что личныя отношенія ихъ были сносны, ясно изъ письма къ Шиллеру отъ 22 сент. 1794 г. и изъ того, что передаетъ I. Фихте въ жизнеописаніи своего отца (I, 312). Что Гумбольдтъ умѣлъ его цѣнить въ полномъ объемѣ, объ этомъ свидѣтельствуетъ извѣстное мѣсто во „Einleit. zur Kawi-Sprache“, въ которомъ восхваляется величіе Фихтевскаго слога въ сравненіи со слогомъ Канта и Шеллинга.

достаточно»; «объективация представления тогда только завершена, когда представляющий действительно видит мысль внѣ самого себя»; но это возможно только въ другомъ, тоже воспринимающемъ и мыслящемъ существѣ, возможно только при помощи языка, только такимъ путемъ, что «духовное стремленіе открываетъ себѣ выходъ черезъ уста», ибо «произведеніе его возвращается къ собственному его уху». Языкъ представляетъ необходимый органъ, чувственный субстратъ и тотъ путь, на которомъ совершается «переведеніе въ возвращающуюся къ субъекту объективность» ¹⁾. Смыслъ этихъ объясненій очевидно тотъ, что указаніемъ на роль, какую играетъ языкъ при образованіи понятія возрѣніе Фихте приводится къ его безспорному и истинному содержанію, ослабляется его парадоксальность и то, что въ немъ вѣрнаго, приводится въ согласіе съ прямымъ и природнымъ смысломъ. Если бы мы себѣ представили, что Фихте стали извѣстны выводы Гумбольдта, то можно сомнѣваться не въ интересѣ, который они бы ему внушили, а только въ томъ, увидѣлъ-ли бы онъ въ нихъ одну лишь иллюстрацію и подтвержденіе своей теоріи представленія или же, можетъ быть, излѣчился бы благодаря имъ отъ абстрактной односторонности своей теоріи. Мы съ своей стороны почти не сомнѣваемся въ томъ, что именно первое имѣло бы мѣсто: оно было бы ему на руку, — онъ принялъ бы это за доказательство истинности своего собственного ученія, если бы прочелъ, какъ Гумбольдтъ описываетъ и обосновываетъ появленіе мѣстоименія въ какомъ-нибудь языкѣ. «Я», говоритъ онъ, «есть субъектъ; но для того, чтобы быть мыслимымъ, оно должно стать объектомъ». Поэтому оно должно быть «объектомъ, сущность котораго заключается только въ томъ, что оно есть субъектъ». Большая легкость понятія «ты» только кажущаяся, ибо это понятіе существуетъ только потому, что приводится въ связь съ выше-описаннымъ субъектомъ-объектомъ — съ «я». На мѣстоименіи покоится поэтому все богатство языка. Личныя мѣстоименія суть «первоначальные и необходимые пункты отношенія для всякаго дѣйствія путемъ языка». Какое обозначеніе идеи человѣкъ ни возвышалъ до степени мѣстоименія, доказано, что онъ при этомъ придавалъ ему на всегда истинное и дѣйствительное чувство самости (Ichheit), и что никогда не говорилъ о себѣ, какъ о постороннемъ». Эти мѣста ²⁾ Фихте несомнѣнно отиѣтилъ бы въ качествѣ комментарія и доказательства вѣрности своего принципа и съ удовольствіемъ-бы узналъ, что армянскія, китайскія или малайскія мѣстоименія а posteriori доказываютъ то, въ чемъ онъ былъ а priori совершенно увѣренъ. На

¹⁾ Ср. Ueber die Verwandtschaft u. s. w. I. c. стр. 1 ср. Einleit. zur Kawi-Sprache I. c. стр. 53, 54.

²⁾ Ueber die Verwandtschaft и т. д. I. c., стр. 3 и 5.

самомъ же дѣлѣ эти мѣста доказываютъ только то, что глубокосмысленный анализъ необходимаго образа дѣйствія «я», данный Фихте, сталъ для Гумбольдта исходнымъ пунктомъ и руководящею линіею при его наблюденіяхъ надъ приемами языка.

Но съ другой стороны Гумбольдтъ, подобно Шиллеру, и подъ вліяніемъ его эстетическихъ разсужденій, выходитъ за предѣлы воззрѣній Фихте. Только начальные моменты дѣйствія языка опредѣляетъ онъ исходя изъ природы абстрактнаго «я», — во всемъ же остальномъ онъ языкъ въ его конкретномъ проявленіи приводитъ въ связь съ «цѣлымъ и цѣльнымъ человѣкомъ». Поэтому-то онъ постоянно и преимущественно стремится отыскать удачное совпаденіе субъективнаго и объективнаго, синтезъ противоположныхъ членовъ, обнаруживающійся въ полной мѣрѣ въ явленіи прекраснаго, и непрестанно стремится открыть ихъ границы въ языкѣ. Въ этомъ смыслѣ онъ, подобно Шиллеру, при помощи Фихтевскаго формализма совершенно освободился отъ Фихтевскихъ противоположеній и абстракцій. Съ одной стороны языкъ, какъ унаслѣдованный запасъ словъ и твердая система правилъ, является по отношенію къ душѣ чѣмъ-то чуждымъ и независимымъ, съ другой — онъ по своему происхожденію, а также и въ рѣчахъ людей связанъ съ душой и отъ нея зависимъ. Мы имѣемъ здѣсь тезисъ и антитезисъ, подобно цѣлому ряду ихъ, встрѣчающемуся въ «Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre» (Основы полнаго наукоученія); но разрѣшеніе этой антиноміи совершенно отлично отъ того, которое играетъ главную роль тамъ. Она должна рѣшаться не въ томъ смыслѣ, говорится во введеніи къ сочиненію о языкѣ Кави ¹⁾, что языкъ въ нѣкоторыхъ частяхъ чуждъ душѣ и независимъ отъ нея, въ другихъ же — ни то, ни другое: языкъ самостоятеленъ и дѣйствуетъ на душу какъ посторонній для нея предметъ именно въ той мѣрѣ, въ какой онъ зависитъ отъ субъекта и является продуктомъ его внутренней дѣятельности; истинное рѣшеніе этого противоположенія лежатъ въ тождествѣ чловѣческой природы у всѣхъ людей ²⁾. Но это только одно изъ многихъ противоположеній, разрѣшеніе которыхъ составляетъ истинную задачу Гумбольдтовой философіи языка, ибо повсюду языкъ для него прежде всего «посредникъ» — посредникъ между тѣмъ, что говорится теперь, и тѣмъ, что говорилось ранѣе, между единичною личностью и націей, между однимъ индивидомъ и другимъ, между конечною и безконечною природою. Созданіе языка есть въ особенности сннтетическое дѣйствіе въ самомъ полномъ смыслѣ, — дѣйствіе, «при которомъ синтезъ создаетъ нѣчто такое, что не заключается ни въ одной

¹⁾ G. W. VI, 64.

²⁾ Ср. также I. с., стр. 201.

пзъ составныхъ частей»¹⁾). И въ этомъ именно пунктѣ онъ, на что мы указывали выше, хотя и не упускаетъ изъ виду несовершенства этого синтетическаго процесса, но въ то же время представляетъ соединеніе и взаимное проникновеніе другъ другомъ интеллектуальной и фонетической формы языка во всей глубинѣ и ясности, какія понятіе тождественнаго проникновенія одного элемента другимъ обрѣло при теоретической разработкѣ эстетики. Болѣе подробное разъясненіе этого пункта относится уже къ изложенію самой его философіи языка, но зато здѣсь будетъ совершенно уместно отмѣтить, что именно эстетическая схема господствуетъ въ этой философіи языка и является въ ней руководящею. Гумбольдтъ ясно высказываетъ, что языкъ въ самой глубокой и необъяснимой части своего образованія напоминаетъ искусство». Онъ находитъ, что происхожденіе какого-нибудь слова, человѣческимъ образомъ задуманнаго, подобно происхожденію какого-нибудь идеальнаго образа въ фантазіи художника». Даже болѣе: вопліи удавшійся снѣтезь языка, можно сказать, сливается воедино съ явленіемъ прекраснаго. «Художественная красота языка... есть необходимое слѣдствіе всего остальнаго его существа, вѣрнѣйшій пробный камень его внутренняго и общаго совершенства; ибо внутренняя работа духа только тогда достигла высочайшей вершины, когда чувство прекраснаго озаряетъ ее своею ясностью»²⁾).

При такомъ высокомъ пониманіи явленій тождества, повторяемъ, нужно считать на самомъ дѣлѣ лучшимъ свидѣтельствомъ въ пользу чувства правды и свободы Гумбольдта то, что онъ не поддался романтическому духу времени и не увлекся до провозглашенія универсальности закона тождества. Когда онъ высказывалъ убѣжденіе, «что начало и конецъ всякаго раздѣльнаго существованія есть единство»³⁾, то отсюда было недалеко до помѣщенія этого единства метафизически или исторически во главѣ міра явленій, подлежащаго объясненію. Въ общемъ онъ остался совершенно чуждъ этому догматическому романтизму. Только мимоходомъ—говоря по сушей правдѣ—касался онъ грани, на которой критическое воззрѣніе переходитъ въ романтически-мистическое. Порою, въ особенности въ программѣ 1812 года, къ доказательству тождества, въ которомъ коренятся языкъ, примѣшивается такъ сильно чувство непостижимости этого явленія, что онъ какъ бы теряется въ мистической дали болѣе давняго его начала. И хотя онъ при этомъ избѣгаетъ метафизическаго объясненія, все же въ его философіи исторіи рядомъ съ безконечною

¹⁾ Einleitung zur Kawi-Sprache I. c., стр. 104; см. объявленіе, цит. м., стр. 497 и 498.

²⁾ Einl. z. Kawi-Sprache I. c. стр. 105 и 108 и введ. къ пер. Агамемнона. G. W. III, 13.

³⁾ Ueber den Dualis, G. W. VI, 589.

перспективою въ будущеретроспективный взглядъ его воззрѣній на исходный пунктъ исторiи не лишень романтическаго фона. Здѣсь — и только здѣсь — указанное тожество останавливается иногда на допущенiи болѣе чистаго и болѣе первобытнаго существованiя человечества въ прошедшемъ ¹⁾, и въ связи съ этимъ онъ въ тонѣ, напоминающемъ Шеллинга и Шлегеля, съ любовью изображаетъ то время, «когда человѣкъ въ процессѣ своего развитiя еще представлялся единымъ», и когда влѣдствiе этого поэзiя, наука, философiя и исторiя (Thatenkunde) также не утратили еще своего первоначальнаго и существеннаго единства ²⁾.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Методъ и способъ изложенiя.

Господствующiя въ лингвистическихъ изслѣдованiяхъ Гумбольдта философскiя воззрѣнiя выступаютъ съ полною ясностью только тамъ, гдѣ мы видимъ ихъ въ движенiи, и только методъ его изслѣдованiя и форма его изложенiя даютъ намъ окончательное разъясненiе его научнаго мiросозерцанiя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и настоящiй ключъ къ пониманiю его философiи языка.

И въ этомъ отношенiи его лингвистическiя работы подводятъ итогъ стремленiямъ его предшествующей научной дѣятельности. Нерѣдко размышлялъ онъ надъ истиннымъ методомъ науки. Выраженiя вродѣ того, что при всякомъ философствованiи воззрѣнiе и чувство соединяются съ разсудкомъ для общаго дѣйствiя, или что мысль должна углубляться въ индивидуальную природу предмета, давали уже понятiе о его образѣ мыслей раньше, чѣмъ онъ сдѣлалъ попытку разработать самостоятельно какую-нибудь определенную тему. Подобными же разсужденiями переплетенъ фактическое изложенiе почти въ каждой изъ его послѣдующихъ работъ. Съ большею или меньшею удачей онъ каждый разъ, когда принимаясь за перо, стремился осуществить этотъ идеалъ философа и писателя. Во имя этого идеала боролся онъ въ ущербъ ясности въ своихъ статьяхъ въ «*Норен*» и въ ущербъ связности—въ эстетическихъ опытахъ. Но ученическiе годы прошли: онъ нашелъ объектъ, котораго такъ долго искалъ, и вмѣстѣ съ объектомъ нашелъ онъ и методъ его разработки. Наконецъ-то для него стало возможнымъ

¹⁾ Ср. напр. *Kawi-Sprache* Bd. II, 15.

²⁾ Ueber die unter den Namen *Bhagavad-Gita* и т. д. *G. W.* I, 98.

охарактеризовать точно и исчерпывающим образом истинный научный методъ, и съ каждымъ днемъ онъ все болѣе и болѣе имъ овладѣвалъ.

Въ введеніи къ работѣ «Ueber den Dualis» онъ выводитъ въ самыхъ общихъ чертахъ изъ природы самой вещи истинные приемы филологическихъ изслѣдованій. А именно: языкъ исходитъ изъ глубины челоѳического духа; слѣдовательно, наука о языкѣ заключаетъ въ себѣ такой элементъ, который можетъ быть почерпнуть только изъ міра идей. Языкъ вступаетъ въ дѣйствительность черезъ посредство отдѣльныхъ индивидуумовъ, — поэтому наука о языкѣ необходимо должна заключать въ себѣ эмпирическую часть. Такимъ образомъ самъ по себѣ предметъ требуетъ «руководимаго правильною методикою совмѣстнаго примѣненія чистаго мышленія и строго историческаго изслѣдованія» ¹⁾. Невыясненнымъ остается здѣсь, въ чемъ заключается эта «правильная методика». Но Гумбольдтъ давно уже далъ на это обстоятельный отвѣтъ. Даже именно съ этою цѣлью написалъ онъ трактатъ «Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers» (О задачахъ историографа). Цѣль этого трактата заключалась ни въ чемъ иномъ, какъ въ изображеніи идеальнаго метода въ сущности одного и того-же для всѣхъ наукъ, но въ особенности общаго для филолога и историографа, ибо и филологъ есть историкъ, а языкъ въ его фактическомъ явленіи — живой кусокъ исторіи: онъ есть «одна изъ сторонъ, въ которой духовныя силы челоѳка проявляютъ свою непрестанную дѣятельность» ²⁾.

Но историкъ въ состояніи вѣрно и правдиво изображать все, что на землѣ дѣлается и происходитъ, только при томъ условіи, чтобы онъ ни на минуту не упустилъ изъ виду идеи, правящія и господствующія во всѣхъ частяхъ всемірной исторіи. Чтобы приблизиться къ исторической правдѣ, говоритъ Гумбольдтъ, для этого нужно одновременно слѣдовать двумя путями: путь точнаго, безпристрастнаго, критическаго изслѣдованія прошлаго — съ одной стороны, а съ другой — соединеніе добытаго и предчувствіе того, что не можетъ быть достигнуто первымъ путемъ ³⁾. Поэтому и въ характеристикахъ истинно научнаго метода Гумбольдтъ отъ идеалистическаго воззрѣнія переходитъ къ монистическому; и посредствующимъ звеномъ въ этомъ переходѣ является опять таки эстетика: историографъ сближается съ поэтомъ, научный приемъ описывается какъ аналогическій съ поэтическимъ и художественнымъ. Такъ какъ дѣйствительность несетъ на себѣ печать идеальнаго, то историографъ,

¹⁾ G. W. VI, 564.

²⁾ Einleitung zur Kawi-Sprache, VI. 10.

³⁾ Ueber die Aufgabe etc. G. W., I, 4.

также какъ и естествоиспытатель должны представить это идеальное, притомъ не только воспринимая пассивно самыя явленія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и активно раскрывая съ помощью особаго чутья и высшаго дара комбинаціи идеальную форму и законъ явленій. Глубочайшее и въ то же время самое трезвое и тѣсное соединеніе другъ съ другомъ обоихъ моментовъ завершаетъ понятіе истинной исторіографіи. Событія могутъ быть узнаны даже только по ихъ нагой дѣйствительности, если наблюдающій умъ при самомъ наблюденіи всегда отзывчивъ къ воспріятію идеи. Но, съ другой стороны, эта идея не должна быть просто выдуманна по произволу, она можетъ быть познана только въ самыхъ событіяхъ и на нихъ; «чтобы къ наблюденію хаотически запутанныхъ событий... присоеди нить форму, въ которой одной открывается ихъ истинная связь»—исторіографъ можетъ только «отвлечь эту форму отъ нихъ самихъ». Всякое пониманіе предполагаетъ въ понимающемъ «присутствіе аналогівъ тому, что впоследствии понято будетъ реально,—связначальное, предшествующее всему остальному, согласіе между субъектомъ и объектомъ».

Это описаніе истинно научнаго метода съ разительною очевидностью уясняетъ то, что мы высказали выше въ отношеніи къ содержанию Гумбольдтовой философіи языка, а именно,—что эстетическій взглядъ на вещи всегда былъ для него только ориентирующею идеей. Тѣмъ, что онъ пользуется эстетическою точкой зрѣнія въ должной мѣрѣ, онъ возвышается, говоримъ это не обпнуясь, до самаго высокаго и самаго чистаго понятія истинной науки, какое только мыслимо. Въ упомянутой работѣ содержится непреложный научный канонъ, изложены основанія наукоученія и «*Novum Organon*», которыя имѣютъ на это ямя больше правъ, чѣмъ его предшественники. Описанный здѣсь методъ, самымъ тѣснымъ образомъ соединяющій аналитическій моментъ съ синтетическимъ, идеальный съ эмпирическимъ на основѣ эстетической схемы, по своей истинности далеко превосходитъ описанную Бэкономъ индукцію и завершаетъ то, что носилось передъ послѣднимъ какъ догадка, въ единичныхъ намекахъ. И тѣмъ не менѣе описанный здѣсь методъ есть коррективъ къ тому диалектически конструктивному методу Гегелевой философіи, которая, на основѣ метафизически попятаго тожества идеальнаго и реальнаго,—преимущественно, значить, систематизируя—представляетъ повсюду видимость согласія между элементами эмпирическимъ и отвлеченнымъ (*Allgemeine*), тогда какъ на самомъ дѣлѣ она искуснымъ образомъ незаметно подчиняетъ первое безпощадному и логически строгому господству априорнаго, господству принциповъ и категорій¹⁾. Наконецъ это методъ,

¹⁾ Cp. Steinthal, *Die Sprachwissenschaft* W. v. Humboldt's und die Hegel'sche Philosophie Berl. 1848, стр. 3 и сл. Специфическій характеръ Гумбольдтова

который ведетъ одновременно какъ къ сущности вещей, такъ и къ ихъ простой правдѣ, характеръ котораго слѣдовательно—говоря словами самого Гумбольдта—находить свое завершеніе въ соединеніи «свободы и тонкости воззрѣнія».

Выдающееся глубокомысліе Бэкона, какъ мы полагаемъ, ближе подошло-бы къ этому методу, удѣляло бы больше вниманія необходимому присоединенію духа, если бы природа не занимала такого преобладающаго мѣста въ его интересахъ. Правда, Гумбольдтъ указываетъ на необходимое присоединеніе духовнаго элемента и въ области естествовѣдѣнія, но дѣло обстоитъ именно такъ, какъ онъ говоритъ: въ примѣненіи къ исторіи это первоначальное основаніе, эта, такъ сказать, антиципация пониманія пріобрѣтаетъ особенную ясность, «ибо все то, что является дѣятельнымъ началомъ во всемірной исторіи, дѣйствуетъ и въ душѣ человѣка». Но если это относится къ исторіи, то тѣмъ болѣе относится оно къ языку, и было-бы странно, если-бы Гумбольдтъ, установивши понятіе объ истинномъ методѣ, не примѣнилъ-бы его въ близкой ему области исторической науки—въ области языка.

И въ самомъ дѣлѣ—идея этого метода составляетъ фонъ всѣхъ его лингвистическихъ изслѣдованій и въ отдѣльныхъ пунктахъ примѣняется имъ поистинѣ гениально. Правда, что по самому существу вещи этотъ методъ собственно никогда не можетъ быть непосредственно виденъ. Тутъ дѣло обстоитъ совершенно не такъ, какъ при конструктивномъ или эпагогическомъ методахъ, которые, переходя отъ опредѣленнаго къ опредѣленному, отъ готоваго къ готовому, могутъ быть представлены съ совершенною очевидностью. Приемъ Гумбольдта имѣетъ субъективное существованіе только въ движеніи ума, какъ нѣчто парящее между фактическимъ и идеальнымъ, а съ другой стороны онъ проявляется только въ удачномъ соединеніи этихъ двухъ моментовъ, въ изображенномъ результатѣ. Каждый разъ, когда мы имѣемъ передъ собою изслѣдованіе, а не готовый результатъ изслѣдованія, живой процессъ метода въ приложеніи къ внѣшнимъ явленіямъ необходимо раздваивается: съ одной стороны исходнымъ пунктомъ является общее, а съ другой—частное. Поэтому Гумбольдтъ, какъ общее правило, историческій путь изслѣдованія предпосылаетъ умопостигаемому или сопровождаетъ имъ послѣдній. Большинство его лингвистическихъ работъ распадается въ этомъ

метода кажется намъ все-же не вполне схваченнымъ. ни даннымъ тамъ изложеніемъ, ниже эпитетами „мыслящее созерцаніе, созерцательное мышленіе“, ибо въ томъ именно и заключается рѣшающее обстоятельство, что при помощи эстетической схемы Гумбольдтъ пріобрѣтаетъ для мышленія и созерцанія живую связь—столько-же энергическую, сколько и тонкую.

отношеніи на двѣ взаимно другъ друга пополняющія части. Такъ именно раздѣляются его работы о дуализмѣ и о связи между письменностью и языкомъ; тотъ-же порядокъ соблюденъ и въ его письмѣ къ Abel-Rémusat; таково же и отношеніе между работой о языкѣ Бави и трактатомъ предпосланнымъ, ей въ качествѣ введенія. Къ этому присоединяется еще и то, что въ этомъ приемѣ можно усматривать часто только лишь уступку потребности въ большей ясности. Но приглядимся поближе. Во всѣхъ этихъ случаяхъ кажущееся сосуществованіе превращается въ умѣ читателя въ нѣчто внутренне объединенное: онъ вскорѣ проникается чувствомъ живѣйшей взаимности обѣихъ частей, ибо общія разсужденія носятъ вездѣ окраску фактовъ, изъ наблюденія которыхъ они почерпнуты, а факты располагаются и открываются въ такомъ порядкѣ, что они сами направляютъ умъ обратно въ сторону этихъ идей или въ противоположную отъ нихъ сторону.

Но бываютъ такіе случаи, когда Гумбольдтъ примѣняетъ въ сущности одинъ лишь конструктивный методъ, -- бываютъ и такіе, когда онъ пользуется какъ будто простою индукціей.

Самый разительный примѣръ повидимому чисто апіорной дедукціи изъ общихъ законовъ человѣческаго ума встрѣчается въ статьѣ: «О родствѣ нарѣчій мѣста». Изъ образа дѣйствія человѣческаго ума здѣсь прежде всего выводятся необходимыя свойства личныхъ мѣстоименій. Эти свойства подвергаются затѣмъ анализу на основаніи тѣхъ требованій, которыя въ силу этого должны предъ-являться къ обозначеніямъ этихъ мѣстоименій. А именно: избранное для нихъ выраженіе должно подходить ко всѣмъ возможнымъ индивидуумамъ, ибо всякій изъ нихъ можетъ стать «я» или «ты», и при этомъ все же должно опредѣленнымъ образомъ выражать разницу между этими двумя понятіями, какъ настоящими отношеніями противоположности; оно должно кромѣ того быть чуждымъ всякому качественному различію и все же быть чувственнымъ выраженіемъ — притомъ такимъ, которое, замыкая «я» и «ты» въ двѣ различныя сферы, допускаетъ однако возможность уничтоженія разведенія и противоположенія ихъ обоихъ вмѣстѣ по отношенію къ какому-нибудь третьему. Всѣмъ этимъ условіямъ удовлетворяетъ, по его мнѣнію, понятіе пространства — и отсюда онъ немедленно переходитъ къ доказательству того, что существуютъ факты, дѣйствительно ясно показывающіе, что въ нѣсколькихъ языкахъ понятіе пространства переносилось на понятіе мѣстоименія. Здѣсь очевидно конструктивный моментъ беретъ перевѣсъ, но онъ исчезаетъ при болѣе внимательномъ углубленіи въ апіорную дедукцію, такъ какъ при этомъ обнаруживается, что носящійся передъ умственнымъ окомъ филолога образъ паличнаго языка успѣлъ уже очистить и видоизмѣнить отвлеченное воззрѣніе на общіе интеллектуальные приемы.

Также обстоит дѣло и въ противоположномъ случаѣ, гдѣ намъ на первый взглядъ представляется только Бэконовскій путь индукціи. Чѣмъ спеціальнѣе изслѣдованіе, тѣмъ ближе лежитъ этотъ путь. Самый разительный примѣръ встрѣчается поэтому въ сочиненіи: «Ueber die in der Sanscritsprache durch Suffixa tvā und ya gebildeten Verbalformen». (О глагольныхъ формахъ въ санскритскомъ языкѣ, образуемыхъ суффиксами tvā и ya) сочиненіе, методичность котораго выдвигаетъ въ своемъ предисловіи къ нему еще А. Шлегель. Дѣйствительно, при чтеніи его намъ кажется, что мы имѣемъ передъ собой таблицу Бэконовскихъ Instantiae. Сочиненіе начинается съ изложенія чистаго грамматическаго факта во всемъ его объемѣ. Случая, въ которыхъ встрѣчаются эти формы, приводятся въ порядкѣ различія ихъ внѣшней грамматической структуры, сопровождаются и поясняются постоянно примѣрами. Охотнѣе всего авторъ присоединилъ-бы къ этому непосредственно также и изложеніе мнѣній мѣстныхъ грамматиковъ о природѣ этихъ формъ; онъ желалъ-бы слѣдовать не только предписаніямъ веруламскаго философа, но и вмѣстѣ съ тѣмъ образцамъ Стагирита. Только недостатокъ въ необходимыхъ вспомогательныхъ средствахъ вынуждаетъ его отказаться отъ этого намѣренія, онъ приступаетъ поэтому просто къ суммированію приведенныхъ доказательствъ, къ установленію грамматическаго факта съ его чисто фактической стороны и во всемъ его своеобразіи. До сихъ поръ онъ слѣдуетъ, какъ мы видимъ, правиламъ индукціи. Но вдругъ эти правила сталкиваются съ противоположными принципами, и чисто эмпирическій путь сворачиваетъ въ сторону. Къ дѣлу привлекается запасъ общеграмматическихъ понятій. При помощи приѣма сокращенія опредѣляется сначала приблизительное мѣсто, гдѣ можно было - бы пристроить упомянутыя глагольныя формы, и затѣмъ это мѣсто ограничивается такъ тѣсно, что остается только спросить, принимать-ли эти формы за причастія или за дѣепричастія. Затѣмъ начинается какъ-бы сравнительное изученіе. На болѣе точно установленномъ понятіи причастій и дѣепричастій проверяются эти сомнительныя формы. Добросовѣстнымъ образомъ испытывается, насколько они соотвѣтствуютъ природѣ того или другого, и этимъ путемъ получается окончательное рѣшеніе въ пользу дѣепричастія. Но результатъ изслѣдованія выходитъ за предѣлы этого ближайшаго рѣшенія. Понятіе дѣепричастія разъясняетъ для насъ упомянутыя образованія при помощи суффиксовъ; свойства этихъ формъ расширяютъ понятіе дѣепричастія и дѣлаютъ его болѣе яснымъ и опредѣленнымъ.

Но если такимъ образомъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда, судя по первому взгляду, односторонній приѣмъ беретъ верхъ надъ идеей болѣе высокаго метода, тотчасъ-же является и коррективъ, то обшій взглядъ на филологическую дѣятельность Гумбольдта самымъ

рѣшительнымъ образомъ убѣждаетъ насъ въ томъ, что эта идея никогда имъ не утрачивалась, что эта методика составляетъ ж-вой нервъ его интеллектуальныхъ приѣмовъ. Когда онъ начинаеть съ общей характеристики чуть ли не цѣлой группы языковъ, за которой слѣдуетъ обстоятельнѣйшее расчлененіе ихъ грамматическаго строенія, а затѣмъ въ таблицахъ для сравненія словъ раскрываетъ передъ нами мельчайшія частности, за которыми располагаетъ объединяющую общую картину сравненныхъ языковъ,—когда онъ безчисленное множество разъ исходитъ изъ точно выдѣленнаго и твердо установленнаго факта, чтобы непосредственно къ этому присоединить его разъясненіе,—наконецъ, когда онъ повсюду одухотворяеть историческое изображеніе деталей самыми общими, самыми идеальными воззрѣніями—всегда и вездѣ даже въ моменты полнѣнней духовной дѣятельности ощущается вліяніе потребности высшаго эстетическаго объединенія. Это не простое восхожденіе отъ многого къ единичному, а научная аналогія того, въ чемъ, согласно Гумбольдтовой формулѣ, заключается приѣмъ художника: это есть индивидуализація идеальнаго и въ то же время идеализація индивидуальнаго. Когда онъ такъ часто указываетъ на то, что родство различныхъ языковъ раскрывается только изъ согласія ихъ конкретныхъ формъ, изъ сходства ихъ грамматическихъ индивидуальностей¹⁾, то это въ сущности не болѣе какъ простой выводъ изъ его воззрѣнія на синтетическую природу языка; но само это филологическое воззрѣніе покоится на способности одновременнаго созерцанія идеальнаго и индивидуальнаго; и въ самомъ дѣлѣ, указанный выше подборъ конкретныхъ формъ, исчерпывающее изученіе ихъ грамматической индивидуальности производится имъ самимъ съ высокими мастерствомъ. Въ этоу именно и заключается характерная черта его филологическихъ приѣмовъ; въ силу этого именно онъ и сталъ творцомъ такой науки о языкѣ, какой до тѣхъ поръ не существовало. Онъ поставилъ объединенное въ одно цѣлое, идеальное и индивидуальное пониманіе языка на мѣсто исключительно эмпирическаго и логическаго его пониманія, создалъ науку о языкѣ вмѣсто простаго языковѣденія, философію языка вмѣсто философствованія по поводу языка Основываясь на этой построенной и руководимой эстетическими воззрѣніями внутренней работѣ, указалъ онъ границы «одностороннему логическому пониманію языка»²⁾. Еще въ самомъ началѣ, еще тогда, когда онъ

¹⁾ См. напр., *Einleit. in die Kawi-Sprache*, G. W. VI, 30s. *Ueber den Dualis*, *ibid.* 585. Развитію этой темы всецѣло посвященъ *Essay on the best means etc.*, G. W. VII, 423 и сл., см. особенно стр. 428. Ср. наконецъ также и *Kawi-Sprache*, т. III, стр. 432 и даже уже „Поправки и дополненія“, *Mithridates*, т. IV, стр. 306.

²⁾ *Kawi-sprache*, III, 526.

изучать грековъ, онъ ненавидѣлъ «разсудочные доводы въ филологическихъ вопросахъ» ¹⁾). Убѣжденіе, что живое тѣло языка не должно быть распинаемо на крестѣ логики, составляетъ въ нѣкоторомъ смыслѣ сумму его позднѣйшихъ филологическихъ взглядовъ. Онъ исполненъ признательности, напримѣръ, къ Бернгарди за его труды по такъ называемой общей или философской грамматикѣ ²⁾). Онъ не оспариваетъ ея правъ и значенія ея выводовъ, но подобно тому какъ прежнее естественное право представляло въ сущности только абстракцію системы римскаго права, такъ, по мнѣнію Гумбольдта, и «чистыя понятія нашей общей грамматики встрѣчаются всегда только въ языкахъ высшаго строенія, да и тамъ лишь при философскомъ отношеніи къ нимъ» ³⁾). Логическому воззрѣнію на языкъ онъ противопоставляетъ въ общемъ такое, «которое пытается разъяснить самый языкъ», и только оно одно, по его мнѣнію, ведетъ къ «истинному воззрѣнію» на природу лексическихъ формъ. Онъ не считаетъ поэтому нужнымъ при анализѣ некультурныхъ языковъ класть въ основаніе схему нашихъ обычныхъ грамматическихъ понятій и дѣленій, схему, которая въ сущности принадлежитъ только грамматикѣ санскритскихъ языковъ. Напримѣръ, грамматика языковъ Южнаго Архипелага можетъ быть разработана только по схемѣ индивидуальныхъ формъ этихъ языковъ. Чтобы «ни въ чемъ не затемнить своеобразнаго построенія этихъ языковъ» онъ начинаетъ изложеніе ихъ грамматики съ анализа частицъ, но и то лишь послѣ того, какъ онъ предварительно разъяснилъ читателю, что понятіе частицы должно быть принимаемо здѣсь только какъ аналогія тому, что по обычнымъ грамматическимъ понятіямъ носитъ это названіе ⁴⁾). Этого мало: какъ ни приступать къ дѣлу, грамматика остается грамматикой; въ каждой изъ нихъ особенный, своеобразный типъ даннаго языка рискуетъ быть затемненнымъ общимъ характеромъ языковъ вообще; уже въ силу дробленія, которому грамматика подвергаетъ языкъ, теряется многое изъ его истиннаго характера и жизненности. Поэтому для болѣе глубокаго изученія строенія какого-нибудь языка Гумбольдтъ считаетъ совершенно необходимымъ чтеніе подлинныхъ текстовъ даннаго языка. Къ чтенію ихъ нужно переходить отъ чисто грамматическаго изученія, а затѣмъ снова возвращаться къ грамматикѣ ⁵⁾). Онъ самъ слѣдуетъ этому правилу при изложеніи языковъ тонга, таити и новозеландскаго.

¹⁾ Письмо къ Вольфу, G. W. V, 82.

²⁾ „Ueber die durch suffixa etc“ I. e. II, 71, примѣч.; ср. „Ueb. d. Intinitif“ *ibid.*, особенно стр. 244.

³⁾ Ueber die Verwandtschaft etc. *Ibid.*, стр. 2.

⁴⁾ Kawi-Sprache, III, 524 и сл. Ср. для всего отношенія Гумбольдта къ общей или логической грамматикѣ: Steinthal: Grammatik, Logik und Psychologie (Berlin, 1855), стр. 118 и сл. и *passim*.

⁵⁾ Kawi-Sprache, III, 476. 478.

Но не одна только грамматическая схема приводит его къ разумѣнію живой и индивидуальной правды отдѣльныхъ языковъ—логическое ихъ содержаніе, понятія и дѣленіе вообще онъ понимаетъ только такъ, какъ пластическій художникъ понимаетъ анатомическій эскизъ, т. е. какъ основаніе и вспомогательное средство для изображенія предмета такимъ, какимъ онъ представляется въ дѣйствительности. Изученіе анатоміи конечно особенно высоко цѣнится наиболее выдающимися художниками. Также точно и очень немногіе могутъ помириться съ Гумбольдтомъ въ силѣ отвлеченія, во внутренней логической ясности и глубокомысліи. Ему никогда не приходило въ голову презирать въ духѣ романтической философіи здравый смыслъ, разсудокъ или логику; но онъ знаетъ однако, что эти качества не составляютъ еще всего и знаетъ это опять таки лучше, чѣмъ названная философія; главное—знаетъ и относится къ этому знанію серьезно. Воззрѣнія конструктивной философіи, вродѣ, напримѣръ, гегелевской, также признають, что языкъ есть живой организмъ, что вся совокупность человѣческихъ языковъ имѣетъ ту-же самую органическую природу и жизнечность, но конструктивное понятіе организма избавляетъ ее отъ необходимости обращаться съ органическими именно какъ съ таковымъ, и предоставляетъ ей возможность трактовать и систематизировать живое съ формально-логической точки зрѣнія. Это методъ, который нарушаетъ простоту, чистоту и правдивость логики, не приближаясь однако-же тѣмъ самымъ къ правдѣ природы. Иное положеніе занимаетъ Гумбольдтъ. Съ глубокимъ, непреклоннымъ умомъ старается онъ всегда занять твердые опорные пункты, провести чистыя линіи, родственное объединить, разнорѣчивое раздѣлять. Но вслѣдъ за этимъ анализирующимъ и регулирующимъ разумомъ его эстетическое пониманіе направляется на живой образъ. Гдѣ бы онъ ни пытался произвести раздѣленіе и классификацію, будь-то во всей области человѣческихъ языковъ въ совокупности или въ одномъ изъ нихъ въ отдѣльности, они вездѣ представляютъ для него не болѣе, какъ «нѣкотораго рода этапные пункты» (ungefähre Anhaltspunkte). Слишкомъ строго проведенныя они навязали-бы предмету вѣчто ему чуждое и насильовали-бы его въ его конкретной опредѣленности: нужно всегда отвлеченное дополнять конкретнымъ, логическое воззрѣніе проверять и оживлять эстетическимъ.

Во всемъ этомъ нетрудно узнать ту же тенденцію сближенія научнаго изложенія съ художественнымъ, которая подъ разными видами сквозила въ предшествовавшихъ лингвистическихъ работахъ Гумбольдта. Но вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтенъ и прогрессъ по сравненію съ прежними работами. Въ основаніи его убѣжденія по-прежнему лежатъ увѣренность, что границы между наукою и искусствомъ растяжимы. Но какъ объ этихъ границахъ, такъ и о возможности ихъ перешагнуть онъ только теперь получаетъ ясное представленіе,

приобрѣтенное путемъ самаго обширнаго опыта. Многократно останавливается онъ теперь на трудностяхъ, стоящихъ на пути изложенія сущности и формы языковъ. Эта «истинная сущность языка», говоритъ онъ уже въ своей первой программѣ по философіи языка, подобна атмосферѣ, которая окружаетъ цѣлое, но вслѣдствіе своей тонкости на отдѣльныхъ элементахъ теряетъ видимую для глаза форму ¹⁾. Въ послѣднемъ своемъ большомъ произведеніи по философіи языка онъ сравниваетъ языки съ человѣческими фізіономіями. Искусство живописца можетъ и ихъ воспроизвести, но «никакое измѣреніе, никакое описаніе частей въ отдѣльности и въ ихъ совокупности не можетъ дать удовлетворительнаго понятія объ индивидуальной особенностяхъ той или другой фізіономіи». Также точно и языкъ. «Сколько бы мы въ немъ ни объединяли и ни сливали, а съ другой стороны—ни расчленяли, ни дробили на отдѣльные элементы, послѣ этого все же остается нѣчто неразгаданное, ускользающее отъ разработки,—это именно и есть то, что составляетъ цѣльность и душу (Odem) всего живого». Оно можетъ быть «въ самой ясной и убѣдительной формѣ воспринято нашимъ чувствомъ», но попытка уловить его въ опредѣленные понятія потерпятъ крушеніе ²⁾. Это ясное сознаніе границъ научнаго изложенія, безъ всякаго сомнѣнія, дѣлаетъ изслѣдователю большую честь. Но торжество генія заключается въ томъ, что онъ тѣмъ не менѣе сумѣлъ отнестись къ этимъ границамъ, какъ къ эластическимъ и, растягивая ихъ до крайнихъ предѣловъ, совершенно правильно и съ чувствомъ мѣры сближалъ науку съ искусствомъ. Соотвѣтственно тому, что онъ принципиально сдѣлалъ при разъясненіи задачи исторіографа, онъ въ наиболѣе удачныхъ частяхъ своихъ лингвистическихъ изслѣдованій представляетъ наглядно и совершенно другимъ образомъ, чѣмъ въ своихъ статьяхъ въ *Noten* или въ своихъ эстетическихъ опытахъ, соединенное дѣйствіе логическихъ и эстетическихъ силъ духа. Гёте, который въ отношеніи пониманія природы былъ, можетъ быть, также удивительно организованъ, какъ Гумбольдтъ для пониманія языка, не допускалъ при научной дѣятельности исключенія какой-бы то ни было изъ человѣческихъ силъ». Еще болѣе, нежели Гумбольдтъ, дорожа сліяніемъ научнаго изложенія съ художественнымъ, онъ говорилъ, что и для цѣлей перваго нельзя отказаться ни отъ чего,—«ни отъ бездны предчувствія, ни отъ вѣрнаго представленія о настоящемъ, ни отъ математической глубины и физической точности, ни отъ высоты разума и ясности разсудка, ни отъ подвизной, исполненной стремленій фантазій, ни отъ наслажденія

1) *Ankündigung*, I. c., стр. 497.

2) *Einleit. zur Kawi-Sprache*. G. W. VI, 44, 45.

чувственнымъ». Очищенное яснымъ сознаниемъ того, что содержится въ наукѣ специфически своеобразнаго, Гумбольдтово отношеніе къ языку во многихъ случаяхъ является краснорѣчивымъ комментариемъ къ этимъ словамъ. Констатируя съ величайшею добросовѣстностью все фактическое, расчлениая его при помощи самого искуснаго анализа, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ явно старается восполнить пробѣлы этой разсудочной операціи всѣми ресурсами фантазіи и чувства. Разсудокъ пользуется руководящею нитью чувства, онъ идетъ рука объ руку съ научнымъ инстинктомъ и догадкой. Онъ получаетъ такимъ образомъ возможность вникать въ тончайшія черты, въ мельчайшія поры языка и улавливать на самомъ дѣлѣ кое-что изъ того эфироподобнаго, что, казалось бы, не поддается никакому описанію. Было бы излишне приводить тому примѣры, такъ какъ ими переполнены работы Гумбольдта; но мы съ удивленіемъ читаемъ каждый разъ описаніе мексиканской системы всевокупленія (*Einverleibungssystem*) во «Введеніи къ языку Кави»; не менѣе достойнымъ удивленіемъ представляется намъ и то необыкновенно тонкое чутье, при помощи котораго онъ въ третьемъ томѣ сочиненія о языкѣ Кави старается разгадать природу и значеніе частицъ въ южноокеанійскихъ языкахъ.

Такимъ образомъ здѣсь наконецъ, въ послѣдней стадіи научной дѣятельности Гумбольдта, находитъ подтвержденіе еще одна особенность, наблюденная нами еще въ прежнихъ стадіяхъ. Существуютъ области знанія, для которыхъ совершенно достаточно трезвости рефлектирующаго разсудка, но существуютъ и такия, которыя оставались-бы для насъ вѣчно замкнутыми, если-бы анализирующей умъ и очищающая сила сужденія не довѣрялись помощи и руководству чувства и предчувствующаго дара комбинаціи. Загадки древней мѣфологии и первобытныя сказанія народовъ, на примѣръ, безъ этого были-бы прямо непостижимы. Поэтому здѣсь прагматическая исторіографія англичанъ оказывается несостоятельною и предоставляетъ терпѣливому глубокомыслию нѣмцевъ распознавать краски и образы еще и въ сумеркахъ. Чрезвычайно характерно для Гумбольдта то, что всѣ его научныя изслѣдованія относились къ такимъ вопросамъ, въ которыхъ одно рефлектирующее глубокомысліе ничего бы не достигло, если-бы оно не поддерживалось въ немъ болѣе глубоко заложеннымъ инстинктомъ правды. Всегда и вездѣ привлекало его темное и таинственное; только тутъ чувствовалъ онъ себя въ стихіи, которая возбуждала и приводила въ движеніе всѣ силы его существа. Теперь онъ отдалъ все свое вниманіе предмету, существо котораго было еще удивительнѣе, нежели тайна полового различія, нежели іероглифика чертъ лица, нежели чудо искусства и поэзіи. Но и въ этой области его изслѣдованіе съ самаго начала направляется на самые отдаленные, самые недоступные пункты. Централь-

ное мѣсто въ его лингвистико-историческихъ работахъ занималъ прежде всего исчезающій, не имѣющій литературы языкъ первобытныхъ обитателей Испаніи, и языкъ этотъ въ свою очередь долженъ былъ служить ему руководящею нитью для изученія первобытной исторіи Европы. Каковъ-же былъ языкъ, сдѣлавшійся въ послѣдній періодъ его филологическихъ изученій центральнымъ пунктомъ его изслѣдованій и его писательства? Языкъ Кави—языкъ мертвый. Это языкъ, который всегда былъ живъ только въ поэтической и научной литературѣ. Изъ сохранившихся еще въ оригиналъ сочиненій на языкѣ Кави единственный источникъ для нашихъ изученій этого языка составляетъ эпосъ приблизительно въ семьсотъ строфъ, изъ которыхъ Гумбольдтъ могъ пользоваться только пятою частью приблизительно. Онъ имѣется въ сообщеніи, въ которомъ яванскія письма оригинала переданы латинскими буквами и эта транскрипція, какъ оказалось, сдѣлана была на шаткихъ основаніяхъ и не достаточно точно. Таковы вспомогательныя средства и таковъ языкъ, грамматическую природу котораго онъ опредѣлилъ; а это послужило ему исходною точкой для изученія грамматическаго строенія цѣлага ряда другихъ языковъ, матеріалы которыхъ по большей части такъ же скудны, и для выясненія историческихъ отношеній и связей между народами, стоящими, съ всемірно-исторической точки зрѣнія, на низшей ступени.

Симпатія къ далекому и таинственному, склонность вращаться въ областяхъ, въ которыхъ догадкѣ должно быть отведено мѣсто наравнѣ съ холоднымъ разсудкомъ, пристрастіе къ тому, что темпо, могло бы возбудить подозрѣніе, что такимъ путемъ поощряется нѣкоторый научный мистицизмъ. На самомъ же дѣлѣ это какъ разъ наоборотъ: общій обзоръ изслѣдованій Гумбольдта приводитъ всегда къ убѣжденію, что въ нихъ принимали участіе всѣ его глубочайшія душевныя силы; а изъ взгляда, брошеннаго на частности его изслѣдованій, выносятся впечатлѣнія, что здѣсь какъ будто дѣйствовалъ одинъ лишь глубочайшій и тончайшій разсудокъ. Въ общемъ мы дѣйствительно усматриваемъ здѣсь направленіе, которое дается разсудку гениальнымъ созерцаніемъ и комбинаціоннымъ даромъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы на каждомъ шагѣ видимъ примѣненіе строжайшаго научнаго мышленія. Разсудокъ какъ будто-бы укрѣпляется и обостряется отъ сопрякосновенія съ гениальнымъ чутьемъ, которое руководитъ имъ и опредѣляетъ его направленіе. Въ проэкціи его научныхъ толкованій нѣжно воспринятія особенности становятся тонко объясненными различіями, а глубокой мысли, составляющей душу изслѣдованія, никогда не измѣняетъ органъ критической пронизательности. Тому, кому въ другихъ работахъ Гумбольдта эта сторона не представляется въ такой степени ясною,

слѣдовало бы указать на его сочиненіе о Шамполионовскихъ фонетическихъ іероглифахъ—сочиненіе, въ которомъ неподкупность критическаго разсудка по истинѣ поразительна. Вопросъ касается разбора тогда еще новаго открытія остроумнаго француза. Этотъ разборъ ведется на основаніи недостаточныхъ данныхъ, но данныя оцѣниваются во всемъ ихъ значеніи, и на этомъ основаніи выростаеъ методическій скептицизмъ по отношенію къ системѣ Шамполиона. Но благодаря тщательности анализа, сдержанности какъ въ отрицаніи, такъ и въ утверженіи, глубинѣ и тонкости сужденія—можно сказать, единственной въ своемъ родѣ—Гумбольдтъ въ концѣ выводѣ ставитъ эту систему въ основныхъ ея чертахъ выше всякаго сомнѣнія, полагая, однако, что примѣненіе ея въ частностяхъ должно быть подчинено строжайшему контролю. Критика выполнила въ этомъ случаѣ свое дѣло въ совершенствѣ. Устранивъ неосновательныя сомнѣнія и подкрѣпивъ положенія основательныя, она утвердила границы истины и подготовила незыблемую почву для дальнѣйшихъ изслѣдованій.

По различнымъ поводамъ Гумбольдта не разъ сравнивали съ Лессингомъ въ томъ, что касается ихъ эстетико-критической дѣятельности. Въ частностяхъ это сравненіе мало мотивировано. Лессингъ сказалъ о себѣ самъ, что его муза—критика. Гумбольдтъ писалъ Вольфу, въ которомъ онъ совершенно справедливо усматривалъ отчасти духъ Лессинга, что ему недостаетъ критической складки ума, критическаго недовѣрія, критической строгости ¹⁾. Эти признанія какъ съ той, такъ и съ другой стороны не вполне вѣрны,—въ особенности, какъ намъ кажется, послѣднее; тѣмъ не менѣе они могутъ служить свидѣтельствомъ того, что комбинація духовныхъ особенностей у обоихъ писателей была существенно различна. Лессингъ былъ правъ, усматривая свою настоящую силу въ критикѣ, Гумбольдтъ правъ, что не искалъ своей силы въ этой области. Онъ былъ по преимуществу воспринимавшей натурой, Лессингъ натурой по преимуществу самодѣятельною и работающей. Гумбольдтъ чувствовалъ потребность вступать возможно больше въ соприкосновеніе съ окружающимъ міромъ и сознавать себя господиномъ надъ извлекаемымъ изъ этого знаніемъ. Лессингъ также былъ погруженъ въ безконечное многознаніе, но онъ находилъ, что собралъ ужъ слишкомъ много матеріала: во всемъ самымъ главнымъ для него было классифицированіе, провѣрка и самостоятельное мышленіе. Первый безъ конца собиралъ камни и размышлялъ надъ тѣмъ, какъ онъ могъ бы употребить ихъ для постройки; второй также поднималъ камни въ огромномъ числѣ, по мѣрѣ находженія ихъ на своемъ

¹⁾ G. W. V, 131, 133, 175.

пути, какъ бы низко не пришлось ему для этого нагнутьяся, — но изъ каждаго, поднятаго имъ камня онъ тутъ же высъжалъ огонь. Оба одинаково жаждали знанія и правды, но въ соотвѣствіи съ различіемъ своихъ темпераментовъ: различнымъ образомъ—утоляли они свою жажду одинъ медленно и вдумчиво, другой торопливо, большими глотками. Трудно стать рѣшительно на сторону одного или другого. Нельзя найти болѣе горячей любви къ правдѣ, чѣмъ ее выразилъ и фактически подтвердилъ Лессингъ, но она все-же не болѣе чиста, не болѣе рѣшительна, чѣмъ та, которая проявилась въ научныхъ пріемахъ Гумбольдта. Твердость, глубина и сила сужденія у Лессинга увлекательнѣе, но добросовѣстность, съ какою Гумбольдтъ взвѣшиваетъ, медлитъ, сдерживаетъ или ограничиваетъ свое сужденіе, удивительнѣе. Привлекательнѣе то горячее стремленіе къ правдѣ, которое не боится ошибокъ, лишь бы добиться ея, — болѣе почтенна скромность, которая колеблется, боясь ошибиться. Одинъ любитъ правду, какъ певѣсту, другой — какъ *χορηγίῃ ἀλοχός*. Первый беретъ ее какъ-бы приступомъ, второй вкрадчивостью. Одинаково чуждые догматизму, одинъ изъ нихъ былъ болѣе критикомъ, другой — болѣе скептикомъ, но первый съ тѣмъ, чтобы совершенно оунуться въ критику, другой — чтобы черезъ скептицизмъ достигнуть наслажденія истиной. Страсть къ истинѣ никогда не находила болѣе чистаго воплощенія, нежели въ Лессингѣ, полная преданность и глубочайшая симпатія къ ней не находили себѣ воплощенія болѣе чистаго, нежели въ Гумбольдтѣ.

Вѣрнѣе было-бы, можетъ быть, сравненіе Гумбольдта-филолога съ Нибуромъ. Оба они представляли рѣдкій въ Германіи примѣръ соединенія государственной дѣятельности съ научной. Въ той и другой имъ пришлось соприкасаться, какъ лично, такъ и въ дѣлахъ. Судьбы Пруссіи и ея внутреннее развитие составляли ихъ общій, родственннй въ смыслѣ направленія интересъ; изслѣдованія Гумбольдта о первобытныхъ обитателяхъ западной Европы тѣснѣйшимъ образомъ примыкаютъ къ изслѣдованіямъ Нибура. Одною изъ цѣлей лингвистическихъ работъ перваго было установленіе историческихъ фактовъ, однимъ изъ источниковъ для историческихъ изслѣдованій второго были лингвистическіе факты. Оба посвятили большой научной темѣ всѣ досуги своей жизни; наконецъ, оба открыли совершенно новые пути для изслѣдованія и положили начало новымъ научнымъ воззрѣніямъ. Но эти результаты добыты были совершенно различными путями. Если и нельзя не отдать полной дани справедливости гению исторіографа Рима и его широкому взгляду на вещи и отношенія, съ которыми его духъ чувствовалъ себя внутренне сроднымъ, то приходится вмѣстѣ съ тѣмъ сознаться, что онъ самъ нѣсколько злоупотреблялъ своимъ положеніемъ, и что часто для подтвержденія своихъ результатовъ слишкомъ властно пус-

каль въ ходъ авторитетъ своего генія и проистекающее изъ него одушевление. Не только въ стилѣ, но также въ методѣ и въ выводахъ мы чаще чувствуемъ у него *impetus* Гая Гракха, нежели *maturitas* Люція Красса. Насъ увѣряютъ, что то или другое обстоитъ именно такъ, или мы узнаемъ, какъ писатель представляетъ его себѣ,—и чувствуемъ при этомъ, что утверждающій можетъ обидиться, если-бы мы вздумали на его *αὐτός ψημι* отвѣтить сомнѣвающимся: *unde nosii?* Мы избавлены отъ басни Ливія, но мы рискуемъ замѣнить ей басней Нибура. Въ его критицизмѣ заключается немалая доля догматизма и позитивизма. Нибуръ критикуетъ, но онъ критикуетъ иногда повѣствуя и повѣствуетъ иногда такъ, какъ это дѣлаютъ ораторы. Съ этими приѣмами представляютъ истинно разительный контрастъ приемы Гумбольдта. Далекій отъ мысли ссылаться на свой гениальный взглядъ, онъ самъ исполненъ недовѣрiя къ нему. Близкое ознакомленiе съ предметомъ изслѣдованiя ведетъ его къ все большему отвѣтненiю его фактической стороны. Онъ все болѣе и болѣе до педагогизма стремится къ тому, чтобы очистить изслѣдованiе отъ всѣхъ патологическихъ мотивовъ. О томъ, чтобы убѣдить читателя, онъ не заботится нисколько—онъ заботится исключительно только о томъ, чтобы убѣдить себя самого. Убѣжденiе подходит тихими, осторожными шагами, оно носится, боясь себя закрѣпить, надъ деталями изслѣдованiя и вырастаетъ наконецъ незамѣтнымъ образомъ изъ всей сѣти аргументацiи. Тутъ всякiй доводъ имѣетъ свой реальный вѣсъ, тутъ среди массы приведенныхъ фактовъ чувствуется только одно лишь всегда осмотрительное руководство разума, стремящагося проникнуть во внутреннiй смыслъ этихъ фактовъ. Нужно бы признать самую истину обманчивою, еслибы на этомъ пути могла явиться какая-либо иллюзiя, какой-нибудь превратный или ложный результатъ. Но истина не обманываетъ, она только нелегко дается и потому тутъ можетъ имѣть мѣсто только тотъ случай, что какое-нибудь частное изслѣдованiе окажется безрезультатнымъ или закончится колебанiемъ между двумя равноцѣнными аргументами.

По нашему мнѣнiю, чистое и высокое чувство правды, какимъ дышетъ подобнаго рода изслѣдованiе выше всякой похвалы; дѣло въ томъ, что Гумбольдтъ по самой своей природѣ чуждъ какому бы то ни было разсчета на эффектъ. Это стремленiе къ чистой и совершенной истинѣ, этотъ методъ, находящiй конечную и глубочайшую норму въ законѣ эстетическаго творчества, не разсчитанъ ни на то, чтобы произвести впечатлѣнiе, ни на легкость пониманiя. Таковъ былъ упрекъ, высказанный некогда по адресу друга Шиллеромъ и Кёрнеромъ; тотъ-же самый упрекъ можетъ быть сдѣланъ и его лингвистическимъ работамъ и въ особенности тѣмъ изъ нихъ, которыя въ другихъ отношенiяхъ наиболее безупречны. То, что составляетъ его добродѣтель какъ ученаго, становится, этого нельзя отри-

цать, недостаткомъ его какъ литератора. Такъ какъ наука и искусство всегда находятся между собою въ отношеніи несоизмѣримости, и наука можетъ только болѣе или менѣе приближаться къ законченности искусства, то она имѣетъ право предвосхищать иногда эту недостижимую для нея цѣль и представлять свои предварительные результаты какъ конечные, по схемѣ искусства. На этомъ основаніи покоится значеніе всякой вообще систематики. Но что для науки, какъ для таковой, есть только право, то является обязательнымъ для научнаго изложенія. Для того, чтобы увлечь, воздействовать и быть понятнымъ, излагающій въ силу вполне законной хитрости, долженъ пользоваться для своихъ цѣлей прерогативами поэта. Истину, находящуюся въ процессѣ становленія, онъ долженъ представлять шагъ за шагомъ какъ нѣчто уже обрѣтенное. Онъ долженъ расчленять свое изложеніе такъ, какъ если-бы онъ имѣлъ дѣло съ чѣмъ-то готовымъ и законченнымъ. Онъ долженъ посредствомъ строгаго разграниченія и правильнаго расположенія матеріала сообщать частностямъ характеръ цѣлаго. «Торжество историографическаго искусства», говорить одинъ современный мастеръ историографіи, «заключается въ томъ, чтобы выбирать такія части, которыя могутъ произвести впечатлѣніе цѣлаго, выдвинуть на первый планъ всѣ характеристическія черты и распредѣлить свѣтъ и тѣни такъ, чтобы впечатлѣніе отъ этого усиливалось. Всякій, читавшій хоть нѣсколько страницъ изъ исторіи Англіи Маколея, долженъ былъ испытать вліяніе и значеніе описаннаго здѣсь искусства. Каждый, хотя бы только попытавшій прочесть «Введеніе къ языку Кави», долженъ съ сожалѣніемъ отнѣстись почти полное отсутствіе такого рода искусства въ этомъ неподобномъ сочиненіи. Не во всѣхъ сочиненіяхъ Гумбольдта выступаетъ этотъ недостатокъ въ одинаково сильной стѣпени. Какъ мы уже упоминали выше, тѣ именно, въ которыхъ глубокомысліе его научныхъ приемовъ выступаетъ менѣе рельефно, имѣютъ достоинство изложенія, какахъ, наиримѣръ, совершенно лишено «Введеніе къ языку Кави»; а въ оставшемся, къ сожалѣнію, несконченнымъ трактатѣ о двойственномъ числѣ («Ueber den Dualis») глубокомысліе метода и искусство изложенія находятся, можетъ быть, въ наибольшемъ равновѣсіи. Въ цѣломъ однако-же эта глубокая нормировка научныхъ задачъ по аналогіи съ эстетическимъ творчествомъ повсюду мѣшаетъ автору придать своимъ мыслямъ ту пластическую ясность и ту выразительную форму, при помощи которыхъ онъ могли бы легко запечатлѣться въ умѣ и памяти читателя. Страхъ передъ систематизаціей часто растягиваетъ изложеніе до безконечности. Глазъ не находитъ точки, на которой могъ-бы остановиться съ тѣмъ, чтобы разобраться въ строеніи цѣлаго. Постоянно чувствуется потребность въ схемѣ для дѣленія; недостаетъ ясной группировки матеріала, понятной формы научной рѣчи. Если точность,

благородство и твердость идейной ткани напоминаетъ здѣсь болѣе всего о Кантѣ, то тутъ все же безконечно труднѣе, чѣмъ у послѣдняго, узнать рисунокъ этой благородной ткани. Здѣсь совершенно отсутствуетъ та ясная архитектура, которою отличаются критики Канта; незольно поддаешься искушенію искать въ строго и глубоко продуманномъ матеріалѣ вспомогательныя линіи плана, которыя полагаешь скрытыми: замѣчаешь нѣкоторые признаки, слѣдуешь имъ и стараешься такимъ путемъ открыть при помощи вооруженнаго глаза многіе другіе, но увы! даже и вѣрный повидимому слѣдъ заметается, нити перекрещиваются и спутываются, приходится вернуться назадъ и тогда обнаруживается, что даже и первоначальные признаки не находятся болѣе тамъ, гдѣ мы ихъ первоначально какъ будто видѣли, гдѣ мы ихъ чуть что не осязали. Естественно, что въ изложеніи Гумбольдта такъ-же мало видно умѣніе экономно распределять матеріалъ. Тамъ, гдѣ имѣется стремленіе исчерпать истину до конца, непременно должны явиться на сцену два недостатка: загроможденіе въ частностяхъ и повторенія въ цѣломъ. И эти недостатки еще усиливаются вслѣдствіе неумѣлаго и незначительнаго пользованія со стороны автора разнообразными техническими средствами научнаго изложенія. Самое необходимое изъ этихъ средствъ — это терминологія Гумбольдтъ, по поводу манеры французовъ, самъ какъ-то обратилъ вниманіе на то, что нѣмецъ недостаточно понимаетъ необходимость внѣшнихъ знаковъ, что онъ непосредственно и независимо отъ нихъ стремится проникнуть въ самую суть предмета. Это пренебреженіе къ знакамъ и стремленіе къ сути становится у него самого однимъ изъ величайшихъ препятствій къ уразумѣнію его мыслей. Мысль, имѣющая быть выраженною, воспроизводится постоянно во всей своей глубинѣ и широтѣ. Такъ какъ авторъ пренебрегаетъ всякимъ сокращеннымъ выраженіемъ сути предмета, всякимъ опредѣленнымъ обозначеніемъ, то читатель часто возвращается только въ кругѣ вмѣсто того, чтобы идти впередъ; то, что онъ выигрываетъ вслѣдствіе этого постояннаго пересмотра понятій въ смыслѣ тонкости и глубины пониманія, онъ теряетъ въ смыслѣ твердости и цѣльности. Читатель только съ трудомъ можетъ уловить въ изложенныхъ воззрѣніяхъ ихъ постоянные элементы; онъ какъ бы стоитъ на вѣчно колеблющейся поверхности, движеніе которой его утомляетъ и смущаетъ.

Вполнѣ понятно, какъ тѣсно эти особенности связаны съ духовною индивидуальностью Гумбольдта и съ его интеллектуальными приемами; однако, въ одномъ отношеніи они несомнѣнно обуславливались его личнымъ положеніемъ въ наукѣ. Никто не можетъ быть болѣе насъ проникнуть убѣжденіемъ, что на поприщѣ науки Гумбольдтъ принадлежалъ къ самымъ избраннымъ; тѣмъ не менѣе — какъ-бы парадоксально это ни звучало — вѣрно то, что его изложе-

ніе производитъ впечатлѣніе дилетантизма. Аристократъ по происхожденію и по своему генію, онъ обращается съ наукой съ аристократическою свободой. Независимости его духа соотвѣтствуетъ независимость его положенія. Онъ углубляется въ науку ради науки и ради себя самого. Онъ посвящаетъ себя ей, не принадлежа къ цеху ученыхъ; ученость есть его занятіе, а не его профессія или его ремесло. Обычный порядокъ совершенно другой. Наука въ Германіи есть преимущественно университетская наука; ею занимаются, чтобы стать учеными. Требования академическаго изложенія придають ей существенно дидактическую окраску; и сколько-бы она вслѣдствіе этого ни теряла въ смыслѣ популярности, она по той же причинѣ выигрываетъ въ строгости формы, въ порядкѣ, въ стройности изложенія. Научное нѣмецкое сочиненіе есть почти всегда учебникъ; очень часто это есть плодъ дѣйствительно читанныхъ лекцій. Пѣкоторыя изъ нихъ вызваны недостаточностью средствъ къ существованію, большая часть — обязанностями профессіи. Какъ же имъ послѣ этого не отдавать хоть въ пѣкоторой степени школьную пылью, но какъ-же имъ въ то же время не носить на челѣ — вслѣдствіе цѣлесообразнаго ограниченія и распредѣленія матеріала — удостовѣреніе: *docendo discimus*? Хотя бы въ томъ, по крайней мѣрѣ, что они содержатъ правильную терминологию и раздѣляютъ для ясности свой предметъ на главы и параграфы? Но возьмемъ первый томъ сочиненія «О языкѣ Кави». Чтобы проложить себѣ путь для анализа этого языка авторъ предпосылаетъ предварительныя изслѣдованія о сношеніяхъ между Индіей и Явой. Они занимаютъ не менѣе половины большого тома *in quarto*. Не упускается изъ виду ничего, что могло бы на этомъ пути хоть сколько нибудь заинтересовать, — какъ-бы далеко оно ни стояло отъ конечной цѣли изслѣдованія. Одно отступленіе слѣдуетъ за другимъ. Съ благодушною обстоятельностью входитъ онъ въ мельчайшія детали. Видно, что ничто не вынуждаетъ автора торопиться съ окончаніемъ книги; онъ располагаетъ полнымъ досугомъ какъ для изслѣдованія, такъ и для писанія. Также точно, ничто не можетъ быть произвольнѣе того порядка, въ какомъ авторъ располагаетъ свой матеріалъ: несоразмѣрно длинныя параграфы смѣняются несоразмѣрно короткими, призмѣчанія пишутся съ обстоятельностью текста, а въ текстъ вносятся то, что должно бы стоять въ выносахъ. Авторъ очевидно не обладаетъ ни малѣйшею дидактическою опытностью: онъ не привыкъ принимать въ соображеніе любознательную публику; онъ пишетъ такъ, какъ изучаетъ: совершенно свободно, изъ непосредственнаго интереса къ самому предмету. Порою и онъ, правда, выступаетъ передъ публикой, но эта публика состоитъ изъ знаменитѣйшихъ мужей науки. Его аудиторію составляютъ не ученики, а мастера учености, — не студенты, а академики. Поэтому и здѣсь онъ собственно

сообщает, а не учитъ, и вмѣсто ровнаго, систематическаго и авторитетнаго академическаго изложенія, передъ нами является отрывокъ изслѣдованія, который сразу дѣйствуетъ на насъ импонирующимъ образомъ, какъ своею безиретенціозною и глубокою скромностью, такъ и своею высокою свободой и аристократическимъ характеромъ своего выраженія.

Такимъ образомъ научныя работы Гумбольдта одинаково далеки какъ отъ налагаемой цеховыми требованіями формы, такъ и отъ свѣтской манеры изложенія, которая господствуетъ въ англійскихъ «Essays» и является слѣдствіемъ интереса къ наукѣ высшаго класса англійскаго общества. Но можетъ показаться, что въ научномъ методѣ и языкѣ Гумбольдта отражалась порою его политическая или дипломатическая практика. Указывали на «дипломатическую осмотрительность и осторожность въ словахъ»¹⁾. Вѣрно то, что тонкость и глубокость его ума дѣлала его столько-же мастеромъ въ дипломатическихъ сношеніяхъ, сколько придавала его изложенію дипломатическій характеръ. Все же въ приемахъ его, какъ политическаго дѣятеля, было болѣе умозрительныхъ элементовъ, нежели въ его теоретическихъ и литературныхъ работахъ элементовъ политическихъ. Въ документахъ его научной дѣятельности мы можемъ только въ очень слабой степени подмѣтить вліяніе, какое за рѣдкими исключеніями обыкновенно имѣеть занятіе практическими задачами. Дипломатія не могла сдѣлать его умъ болѣе тонкимъ, политическая дѣятельность врядъ-ли сдѣлала его сужденіе болѣе мѣткимъ, его изложеніе болѣе связнымъ и ровнымъ. Его лингвистическія работы, правда, менѣе неуклюжи, чѣмъ «эстетическіе опыты», и отличаются большею научною точностью, чѣмъ его статьи въ *Norøn*; но въ томъ и другомъ отношеніи онъ не въ такой мѣрѣ выигралъ, въ какой можно было ожидать отъ автора плавныхъ, изящныхъ, блестящихъ записокъ по политическимъ вопросамъ. Въ одномъ только пунктѣ мы выносимъ всегда впечатлѣніе, что въ разработкѣ научныхъ проблемъ отразился какъ будто образъ мыслей либеральнаго аристократа и государственнаго дѣятеля. Это скептическая скромность въ сужденіи, ограниченіе своихъ утвержденій однимъ только относительнымъ значеніемъ, вытекаетъ, повидимому, такъ же часто изъ интеллектуальной добросовѣстности, какъ и изъ той благовоспитанности, которая коренится въ характерѣ и путемъ общественнаго и политическаго общенія съ людьми можетъ достигнуть степени виртуозной привычки. Не столько дипломатическая осторожность, сколько дипломатическая учтивость переносится на научное воззрѣніе и на форму, въ которой

¹⁾ Steintal „Die Sprachwissenschaft W. s. v. Humboldt“, стр. 29. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ онъ очень мѣтко характеризуетъ манеру его изложенія. Такъ, напр., „Die Classification der Sprachen“, стр. 22 Ср. для вышеизл. также Böckh въ *Zodiacus Mundt'a*, сент. 1835, стр. 168.

оно выражается. Въ отношеніи къ обсужденію чужихъ работъ, къ критикѣ чужихъ взглядовъ эта учтивая манера понятна сама собою. Но для него и языки становятся живыми существами, съ которыми слѣдуетъ обращаться съ почтительною деликатностью: всякое отрицательное сужденіе оскорбило-бы ихъ самихъ или ихъ геній; оно задѣло-бы не только языки, но и самые народы; оно было бы несправедливостью по отношенію къ людямъ и грѣхомъ противъ гуманности ¹⁾. Этотъ образъ мыслей и представленія проявился прежде всего въ отношеніи къ китайскому языку. Уже въ письмѣ къ Abel-Rémusat личная вѣжливость по отношенію къ творцу синологіи соединяется столько-же съ этою общою гуманностью, сколько и съ деликатностью его автора какъ ученаго.

До сихъ поръ, пытаясь охарактеризовать способъ изложенія Гумбольдта, мы собственно не останавливались еще на его стилѣ; но мы уже знакомы съ общимъ типомъ этого послѣдняго по трактату «О границахъ государственной дѣятельности». Слишкомъ сознательное и при этомъ все же неувѣренное въ себѣ стремленіе достигнуть законченности формы повредило стилю позднѣйшихъ его работъ и имѣло своимъ результатомъ постоянное колебаніе между поэтическимъ богатствомъ и схоластическою сухостью. Но это колебаніе прошло, тогда какъ первоначальный идеалъ оставался все тотъ же. Со времени его пребыванія въ Римѣ занятія стилистикой, предпріятыя Гумбольдтомъ подъ вліяніемъ Шиллера, принесли свои плоды, и вмѣстѣ со складомъ его ума установилась и форма его разговорной и письменной рѣчи. Чѣмъ болѣе характеръ предмета, составляющій въ данный моментъ тему его изложенія, побуждаетъ къ «напряженію всего комплекса духовныхъ силъ», чѣмъ яснѣе совмѣстное дѣйствіе всѣхъ духовныхъ силъ сознано какъ законъ научнаго метода,—тѣмъ свободнѣе и естественнѣе стилистическая оболочка изложенія сливается съ его ядромъ. Самъ Гумбольдтъ даетъ намъ опредѣленіе и характеристику своего стиля въ различіи, которое онъ въ своей статьѣ о сравнительномъ языкознаніи проводитъ между «строга научнымъ» и «ораторскимъ» употребленіемъ языка. Говорящій—полагаетъ онъ—можетъ принимать слово преимущественно въ смыслѣ образа или символа и, благодаря силѣ абстракціи нашего ума, онъ можетъ достигнуть въ этомъ весьма высокихъ результатовъ; но онъ можетъ также, «открывъ всѣ входы своей впечатлительности», воспринять въ полномъ объемѣ воздѣйствіе своеобразнаго матеріала языка и индивидуальнаго отпечатка словъ. Къ этому послѣднему роду воспріятія языка говорящій можетъ дать толчокъ тѣмъ употребленіемъ, какое онъ изъ него дѣлаетъ; напримѣръ, примѣненіе поэтическаго, чуждаго прозѣ выраженія въ результатѣ «настроить

1) Einleit. in die Kawi-Sprache, l. c., стр. 309, 311.

душу такъ, что языкъ не будетъ разсматриваться какъ символъ, а будетъ воспринятъ во всѣхъ своихъ особенностяхъ». Не подлежитъ, какъ намъ кажется, ни малѣйшему сомнѣнiю, что, слѣдуя этой терминологiи, стиль Гумбольдта преобладающимъ образомъ построенъ на ораторскомъ употребленiи языка. Вся его малодоступность, какъ и вся его прелесть связаны съ этимъ его характеромъ: на самомъ дѣлѣ, онъ даетъ только направленiе и законъ для отысканiя мысли и вынуждаетъ читателя, посредствомъ такой же энергiи и совокупной духовной дѣятельности, овладѣть изложеннымъ на свой ладъ. Опъ подходитъ на таинственную рукопись, которая становится понятной только тогда, когда читающiй наворачиваетъ ее на скиталу. Этотъ характеръ изложенiя проявляется въ каждой строкѣ «Введенiя къ языку Кави» и замѣтенъ еще въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ тою таблицей словъ и формъ, на которую мы наталкиваемся въ серединѣ этой большой филологической работы. Вездѣ, гдѣ только изслѣдованiе углубляется, въ Гумбольдтовомъ языкѣ чувствуется живой ростъ; и даже тамъ, гдѣ повидимому только накапливается матеріалъ, рѣдко исчезаютъ всѣ слѣды его скрытой жизненной силы: посреди сухого грамматическаго изслѣдованiя предполагаешь всякую жизнь вымершею; готовишься шествовать только по потухшему пеплу—какъ вдругъ выдвигается зеленая вѣтвь, ощущается свѣжее дуновенiе воздуха, и подъ пепломъ обнаруживается пылающее мѣсто.

Стилемъ наиболѣе пригоднымъ для изложенiя научныхъ идей Гумбольдтъ призналъ нѣкогда стиль Шиллера. Интересно отмѣтить, какъ сильно и какъ индивидуально его собственный стиль, при всемъ сходствѣ его со стилемъ Шиллера, отличается отъ этого послѣдняго, и именно на высшей ступени своего совершенства. Стиль, въ которомъ Фихте написалъ свое «Наукоученiе», Гумбольдтъ—свое «Введенiе», представляютъ два различныхъ рода, но это же «Введенiе» и Шиллеровы «Письма объ эстетическомъ воспитанiи» принадлежатъ къ одному и тому же роду—и все-таки характеръ ихъ изложенiя было бы также трудно смѣшать, какъ и черты лица обоихъ авторовъ. Со страстною фантазiей стремится одинъ воплотить всякую зарождающуюся мысль въ чувственный образъ, одѣтъ ея стволъ и вѣтви листвою созерцанiя. Не отъ огня поэтической страсти, а отъ вроткаго сiянiя совершенно безстрастнаго воображенiя заимствуютъ идеи другого свою мягкую, благотворно дѣйствующую на глаза окраску. Тамъ фантазiя прямо рассыпаетъ передъ нами свое богатство, тутъ она какъ бы даетъ разуму только ассигновку на скрытыя въ ней сокровища. Тамъ—богатство образовъ, въ каждой фразѣ обнаруживающихъ поэта, тутъ—такая скромность въ пользованiи образами, которая въ поэтѣ была бы скудостью. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Гумбольдту удается вылить мысль въ форму созерцанiя, его выраженiя часто принимаютъ захватывающую

конкретность и удивительную мягкость. Но это ему не всегда удается; онъ дѣлаетъ многократныя попытки выработать для своей мысли конкретную форму; воображеніе также какъ и разсудокъ поддерживаются въ состояніи мучительной неопредѣленности и утомительнаго напряженія. Даже въ области чувственнаго ему рѣдко удается выдѣлить наиболѣе конкретную сторону. Матеріаломъ для обличенія идеи служатъ ему не тѣлесныя, а преходящія, неуловимыя, духовныя элементы физическаго міра. Для своего воплощенія мысль пользуется образами дрожащей струны, катящагося тѣла, аромата дали, дыханія усть. Еще чаще обращается онъ къ созерцанію внутренняго міра. Идея отражается въ зеркалѣ нѣжнаго чувства или кроткаго одушевленія; иногда идеи отражаются даже въ идеяхъ и бросаютъ тогда свой отраженный яркій свѣтъ на поверхность языка. Такъ образуется тонкая ткань, нѣжный, но иногда чрезвычайно блестящій матеріалъ которой соответствуетъ растянутому, но чистому и всегда симметрическому строенію періодовъ. Читая его про себя, боишься разорвать эту тонкую ткань; отъ читающаго вслухъ требовалось бы, чтобы онъ читалъ равномерно и безъ перерывовъ.

Во второмъ томѣ сочиненія о языкѣ Каваи есть мѣсто, гдѣ автору приходится говорить объ изученіи грамматики въ древней Индіи. По мнѣнію Гумбольдта, мы убѣждаемся при этомъ, что духъ, выражающійся въ языкахъ, живетъ еще въ теченіе столѣтій и тысячелѣтій и въ ихъ изслѣдователяхъ ¹⁾. Это можетъ быть примѣнено его къ самому Гумбольдту и къ его отношенію къ благороднѣйшему изъ языковъ, звучавшихъ послѣ того времени, какъ замолкъ языкъ, на которомъ Демосеенъ воодушевлялъ нѣкогда своихъ соплеменниковъ къ послѣдней борьбѣ за національную независимость: нѣмецкій языкъ есть та единственная почва, на которой одной могло вырасти языковѣднѣе Гумбольдта. Геній этого языка освѣтлялъ ему построеніе языковъ Америки и Австраліи; этотъ языкъ открылъ ему неразгаданную до тѣхъ поръ тайну происхожденія и сущности языковъ. Онъ украшалъ своего любимца каждый разъ, когда онъ отдавался ему въ научныхъ изслѣдованіяхъ, своими прекраснѣйшими, хотя и скромными на видъ вѣнками, и Гумбольдтъ въ полной мѣрѣ понималъ и цѣнилъ родной языкъ. Почти никогда не чувствовалъ онъ потребности прибѣгать для выраженія своей мысли къ запасу словъ чужого языка. Пользуясь въ своихъ научныхъ работахъ однимъ лишь нѣмецкимъ языкомъ, онъ, которому было бы такъ легко писать по французски или по англійски, сознательно отказывался отъ болѣе широкаго круга читателей ²⁾. Только въ сношеніи

¹⁾ Ibid, стр. 292.

²⁾ Предисловіе къ „Prüfung der Untersuchungen“, G. W. II, 4.

яхъ съ иностранными учеными или научными корпораціями, членомъ которыхъ онъ состоялъ, прибѣгалъ онъ къ чужому языку. Врядъ ли нужно упоминать, что эти писанныя на французскомъ и англійскомъ языкахъ работы свидѣтельствуютъ о томъ, съ какими мастерствомъ онъ владѣлъ этими языками—какъ ихъ научно, такъ и разговорною и дипломатическою формою. Однако можно было ожидать, что духъ французскаго языка побудитъ его къ большей отчетливости, духъ англійскаго—къ болѣе ясному и простому выраженію своихъ идей. На сколько мы можемъ довѣриться впечатлѣнію, произведенному на насъ чтеніемъ *Essay*'я, обращеннаго къ сѣру Александру Джонстону, послѣднее дѣйствительно имѣло мѣсто; но чтобы французскій языкъ вынудилъ его къ подобной же уступкѣ своему духу,—этого мы не находимъ. Письмо къ Abel Rémusat написано на чистѣйшемъ французскомъ языкѣ, но отнюдь не во французской манерѣ: учтивость и гибкость мірового языка сливаются всецѣло съ Гумбольдтовскимъ образомъ мыслей, и изящество его какъ-бы поставлено въ услуженіе глубокомыслию нѣмецкаго изслѣдованія.

Попытка изложить связно и ясно конечные и самыя общіе результаты этого изслѣдованія близко родственна попыткѣ перевести ихъ на чужой языкъ. Отмѣченныя особенности Гумбольдтова образа мыслей и изложенія говорятъ въ пользу такого предпріятія, но это же дѣлаетъ его трудности совершенно осязательными. Ничто не должно быть утрачено изъ содержанія и глубины Гумбольдтовскихъ идей. Освободить ихъ совершенно отъ особенностей ума, въ которомъ онѣ возникли, значило бы ихъ разрушить; между тѣмъ только ядро ихъ должно быть передано,—онѣ должны быть освобождены отъ обволакивающаго ихъ тумана, должны быть классифицированы и сгруппированы, закрѣплены и точно сформулированы. Это задача, которая можетъ быть выполнена только приблизительно. Намъ во всякомъ случаѣ легко будетъ избѣгать одной ошибки прежнихъ изслѣдователей. Мы не чувствуемъ ни малѣйшей склонности критиковать мысли Гумбольдта съ точки зрѣнія предвзятой системы или, будь то сознательно или безсознательно, перекладывать ихъ въ воззрѣнія подобной системы ¹⁾. Зато очень возможно, что въ виду противуположности обоихъ указанныхъ выше соображеній, мы скорѣе погрѣшимъ противъ тонкой вдумчивости, нежели пожертвуемъ опредѣленностью и ясностью. Вѣрнѣе: мы будемъ менѣе опасаться ошибокъ въ этомъ направленіи, нежели въ противоположномъ. Со-

¹⁾ Что мы не считаемъ изложеніе Штейнтала совершенно свободнымъ отъ этого недостатка, объ этомъ мы при случаѣ уже упоминали. Но что Гегелева схоластика совершенно не въ состояніи ни излагать, ни критиковать Гумбольдта, это доказано уже Штейнталемъ по поводу нелѣпой книги Макса Шаалера: „Die Elemente der philosophischen Sprachwissenschaft W. v. Humboldt's“, 1847.

блазнительно, конечно, подчиниться формамъ этого ума, но больше заслуга въ томъ, чтобы сдѣлать его содержаніе въ болѣе общей формѣ доступнымъ для пониманія.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Результаты.

I.

Вопросъ о происхожденіи и существѣ языка.

Вопросъ о происхожденіи языка принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ вопросовъ. Уже Платоновскій Кратилъ разсматриваетъ, не приходя впрочемъ къ положительному рѣшенію, вопросъ о томъ, принадлежать-ли лексическія обозначенія объектамъ обозначенія по природѣ, или они приданы имъ по общему соглашенію. Его разсужденія объ этой проблемѣ ясно показываютъ, насколько она обычна была въ этой формѣ среди его современниковъ; она очевидно многократно подвергалась обсужденію со стороны Гераклитовыхъ учениковъ и софистовъ. Этотъ вопросъ снова возбужденъ былъ Аристотелемъ и рѣшенъ самымъ положительнымъ образомъ въ томъ смыслѣ, что языкъ созданъ людьми, что слова произошли *κατὰ συνθήκην*. Позднѣе ученики Зенона и Эпикура разошлись въ этомъ пунктѣ въ диаметрально противоположныя стороны. Со времени Бэкона верхъ взяло Аристотелево воззрѣніе. Для него, какъ и для его послѣдователей, отъ Гоббса до Беркля, языкъ есть дѣло рукъ человѣческихъ, изобрѣтенное для нуждъ общественныхъ сношеній, скрывающее истинныя свойства вещей и потому являющееся источникомъ величайшихъ заблужденій. У Спинозы и Лейбница повторяются тѣ-же взгляды, тогда какъ французскій матеріализмъ по своему стремился дать физиологію языка, какъ онъ уже пытался создать физиологію ума и идей. Величайшій интересъ должна была представлять эта старая тема для нѣмецкаго просвѣщенія 18 вѣка. Она совпадала съ интересомъ, который возбуждала въ современныхъ адептахъ популярной философіи эмпирическая психологія. Прагматизирующій разсудокъ и поверхностное стремленіе все объяснить, свойственные всему этому направленію, естественнымъ образомъ снова привели къ тому выводу, что языкъ есть человѣческое изобрѣтеніе, и что слова придуманы для практическихъ цѣлей и представляютъ собою условныя обозначенія предметовъ. Это воззрѣніе въ эпоху просвѣщенія

встрѣтило противудѣйствіе только со стороны теологіи. Вопросъ вступилъ теперь въ новый фазисъ, такъ какъ богословы, въ противность мнѣнію просвѣтителей, стали настаивать на божественномъ происхожденіи языка. Въ сущности съ той и другой стороны проявлялся тотъ-же самый прагматизмъ и та-же поверхностность—съ тою только разницею, что одни творцомъ и учителемъ языка признавали человѣка, другіе—Бога. Несмотря на то это новое разногласіе дало поводъ къ изслѣдованію, хоть нѣсколько подвинувшему старую проблему къ удовлетворительному рѣшенію. На премію, объявленную Берлинскою Академіею Наукъ, Гердеръ написалъ увѣнчанное этою преміею сочиненіе, съ которымъ выступилъ въ защиту человѣческаго происхожденія языка. Гердеръ устранилъ гипотезу о божественномъ установленіи языка, углубивъ смыслъ его земного происхожденія. Стоя на почвѣ просвѣтителей, онъ возвысился надъ воззрѣніями ихъ. Понимая человѣка въ живой связи съ природою, онъ тѣмъ самымъ дѣлалъ его болѣе человѣчнымъ. Переносясь поэтическимъ чутьемъ въ сущность и развитіе языка, онъ дѣлалъ его созданіемъ человѣка. Человѣкъ какъ таковой могъ и долженъ былъ изобрѣсти языкъ. Изъ его природной организаціи и его связи съ природою возникаетъ, какъ характерная особенность его рода, разсудительность, т. е. способность размышлять. Эта свободно дѣйствующая разсудительность необходимо должна была изобрѣсти языкъ. Она превратила звуки окружающей природы въ символы и очеловѣчила ихъ, также какъ и формы и краски внѣшняго міра, которыя она при посредствѣ чувства преобразила въ звуки рѣчи. Поэтому языкъ не настолько выше человѣка, чтобы его долженъ былъ изобрѣсти Богъ, и съ другой стороны—не настолько ниже его, чтобы его могло изобрѣсти каждое животное. Онъ не есть неизбѣжный продуктъ одной только физической организаціи органовъ рѣчи; это не есть механически слагающійся крикъ одного только ощущенія; менѣе всего созданъ онъ въ силу произвольнаго соглашенія общества: онъ есть соглашеніе души съ самою собою и такое-же необходимое соглашеніе какъ то, что человѣкъ есть человѣкъ. Онъ является отличительнымъ знакомъ нашего рода съ внѣшней стороны, какъ разумъ—съ внутренней. Этимъ доводамъ Гердера Гаману очень хотѣлось противопоставить «высшую гипотезу» божественнаго происхожденія языка. Но на самомъ дѣлѣ они въ существенномъ стояли на одной почвѣ. Теологическій характеръ, какой онъ салился придать Гердеревскому воззрѣнію, мистическая окраска, которою онъ старался его прикрыть, могли служить только доказательствами того, что защита божественнаго установленія языка, подобная защитѣ Зюсмилъха, отнынѣ стала невозможною.

На этомъ пунктѣ присоединился къ спору Гумбольдтъ и продолжалъ его далѣе. Языкъ не есть изобрѣтеніе или установленіе чело-

вѣка, но онъ несомнѣнно человѣческаго происхожденія и характера— вотъ двойной выводъ, который необходимо было точнѣе опредѣлить и глубже разобрать. Слѣдовало вывести его изъ поэтической неопредѣленности, сообщенной ему Гердеромъ, возвысить его до научной ясности. Слѣдовало при помощи болѣе глубокой формулировки элемента человѣческаго отнять всякую почву у попытокъ, подобныхъ Гамановой, затемнить предметъ. Средства къ тому заключались въ глубокомъ анализѣ содержанія и характера человѣческой природы, какой данъ былъ Кантомъ, а также въ полномъ и блестящемъ изображеніи ея, данномъ Шиллеромъ и Гёте. Исходя изъ критической философіи и эстетическаго гуманизма, Гумбольдтовы воззрѣнія являются почти всецѣло выясненіемъ, развитіемъ и оправданіемъ того представленія о языкѣ, которое впервые было достигнуто Гердеромъ въ поэтической интуиціи и должно быть поставлено ему въ неоспоримую заслугу.

Поэтому Гумбольдтъ и не останавливается болѣе на божественномъ происхожденіи языка. Теологическая точка зрѣнія и тутъ существуетъ для него такъ-же мало, какъ и въ области политики. Онъ также далекъ отъ вѣры въ божественное установленіе государства, какъ и въ божественное установленіе языка. Тамъ, какъ и здѣсь, онъ разсматриваетъ вопросъ исключительно съ точки зрѣнія человѣческаго творчества, притомъ съ наиболѣе возвышенной точки зрѣнія. Поэтому онъ не менѣе далекъ и отъ прагматически-просвѣтительнаго представленія объ изобрѣтеніи языка. «Человѣкъ является человѣкомъ только благодаря языку, но для того, чтобы изобрѣсти языкъ онъ долженъ былъ быть имъ равнѣ»; «его вельзя было бы изобрѣсти, если-бы его типъ не существовалъ уже въ человѣческомъ разсудкѣ» ¹⁾. Одно изъ наиболѣе превратныхъ мнѣній о происхожденіи языка составляетъ, по мнѣнію Гумбольдта, выведеніе его преимущественно изъ потребностей людей во взаимной помощи. Слова, напротивъ, текутъ изъ груди свободно, безъ нужды и безъ цѣли; «человѣкъ есть существо покоее, но съ тѣмъ отличіемъ, что съ звуками онъ соединяетъ мысли» ²⁾. Сказать, что источникъ языка лежитъ въ «общей способности рѣчи» или опредѣлять языкъ какъ «естественное развитіе той способности, которая свойственна человѣческой природѣ какъ таковой» ³⁾ — значитъ выражать ту-же самую мысль только въ другой формѣ. На этомъ покоится, если угодно, болѣе истинное значеніе и оправданіе мнѣнія о божественномъ установленіи языка. Если подъ человѣческимъ происхожденіемъ под-

¹⁾ Ueber das vergl. Sprachstudium G. W. III, 252, 253; ср. также Введеніе къ перепискѣ съ Шиллеромъ, стр. 41.

²⁾ Einleit. zur Kawi-Sprache G. W. XI, 60, 61.

³⁾ Ibid, стр. 90 и 304.

разумѣвается то, что языкъ есть продуктъ рефлексіи и условности, что онъ вообще «дѣло» рукъ человѣческихъ или даже отдѣльных индивидовъ, то въ противность этому Гумбольдтъ — въ одномъ изъ болѣе раннихъ періодовъ своихъ лингвистическихъ изученій—говоритъ, что языкъ «выливается изъ устъ цѣлой націи какъ настоящее, необъяснимое чудо; не менѣе поразительное чудо, хотя и постоянно передъ нами повторяющееся и потому не возбуждающее нашего интереса, есть проявленіе того же въ лепетѣ каждаго ребенка». Истинно и вѣчно человѣческое тождественно для него съ божественнымъ; только поэтому не упоминаетъ онъ съ полною ясностью о «надземномъ родствѣ чловѣка» ¹⁾). Даже еще въ письмѣ къ Ремюза онъ хотя и отвергаетъ самымъ опредѣленнымъ образомъ мысль объ участіи сверхъ-человѣческихъ силъ въ созданіи языка— происхожденіе и развитіе языка, по его мнѣнію, вполнѣ выясняются изъ свободнаго творчества націй, изъ «genie inné a l'homme pour les langues»—но онъ требуетъ зато, чтобы эта творческая сила была признаваема во всей ея свободной самодѣтельности; чѣмъ отказать отъ этого, онъ скорѣе готовъ присоединиться къ воззрѣнію тѣхъ, которые приписываютъ происхожденіе языка непосредственному божественному откровенію:—«ils reconnaissent au moins l'étincelle divine, qui luit à travers tous les idiomes, même les plus imparfaits et les moins cultivés» ²⁾).

Первое болѣе точное опредѣленіе человѣческаго происхожденія языка выражается у Гумбольдта въ часто повторяющемся положеніи, что для языка прежде всего слѣдуетъ искать объясненія въ «физиологій человѣческаго интеллекта»: либо въ языкѣ «человѣчскій умъ дѣйствуетъ подобно природѣ»; онъ — «продуктъ разумнаго инстинкта». Языкъ есть продуктъ природы, но природы человѣческаго разума или, какъ онъ выражается въ другомъ мѣстѣ, народженіе языка нужно искать въ первомъ «проявленіи духовнаго начала», какъ у индивидовъ, такъ и у народовъ ³⁾).

Всѣмъ этимъ опредѣляется однако уже и общая сущность языка. Будучи продуктомъ интеллектуальнаго инстинкта чловѣка, онъ, какъ и этотъ послѣдній, живетъ вѣчно. Его нужно разсматривать «не какъ мертвый продуктъ, а въ самомъ процессѣ созданія». Понятый въ его истинной сущности, онъ представляетъ нѣчто всегда и непрерывно измѣняющееся. Онъ—весь жизнь и вѣчно настоящее. Даже и сохраненіе его посредствомъ письменности есть сохраненіе неполное, тре-

¹⁾ Ankündigung I. c., стр. 498.

²⁾ Lettre à Abel Rémusat. G. W. VII, 337.

³⁾ О вторичномъ пребываніи Гёте въ Римѣ, G. W. II, 240. Ueber das vergleichende Sprachstudium, G. W. III, 253, 254. Lettre, G. W. VII, 336. Ueber d. Zusammenhang der Schrift, G. W. VI, 428.

бующее живого возрожденія. Языкъ — не произведение (*ἔργον*), а дѣятельность (*ἐνέργεια* ¹).

Притомъ человекъ проявляется въ языкѣ какъ нѣчто цѣльное и во всей своей полнотѣ. Постоянно возвращается Гумбольдтъ къ этой мысли и многократно напоминаетъ, что, когда дѣло идетъ вообще о способности рѣчи, подѣ этимъ надо разумѣть не какую нибудь изолированную силу, а всего человека, во всей цѣлостности его силъ, по сколько эти послѣднія направлены на созданіе языка ¹).

Но вытекая изъ этого источника, языкъ принимаетъ участіе въ живой энергіи человѣческаго существа. Въ его дѣятельности сливаются тѣ самыя противоположности, полнымъ жизни единствомъ которыхъ является человекъ. Наиболѣе общимъ выраженіемъ его бытія и дѣйствія — это посредничество. «Языкъ повсюду является связующимъ звеномъ» ²).

Онъ прежде всего связующее звено между конечною и безконечною природою человекъ. «Вылитая въ форму символа, двойственная природа человекъ находитъ въ языкѣ свое выраженіе» ³). Эти опредѣленія повторяютъ въ болѣе чистой и болѣе развитой формѣ то, что прорицалъ въ своей дикой, безалаберной манерѣ и въ непосредственной критической связи съ Кантомъ магъ сѣвера. «Въ народномъ языкѣ» Гаманъ усматриваетъ «лучшій образецъ гипостатическаго соединенія чувственной и разумной природы, взаимный обмѣнъ сѣеобразнаго языка ихъ силъ (*Idiomenwechsel ihrer Kräfte*)» и т. д. Здѣсь въ языкѣ можно видѣть цѣлые толпы представленій, поднимающихся въ твердь чистаго разума, и толпы понятій, нисходящихъ въ глубочайшую пропасть тончайшей чувственности». Эти Гамановскія выраженія — въ болѣе полномъ видѣ съ ними можно ознакомиться у него самого ⁴) — Гумбольдтъ, какъ сказано, сначала подтверждаетъ, а затѣмъ шагъ за шагомъ комментируетъ. Въ языкѣ — эти основныя опредѣленія находятъ у Гумбольдта почти на каждой страницѣ — субъективное соединяется съ объективнымъ. Въ немъ свободное творчество и воспримчивость дѣйствуютъ совмѣстно. Поэтому въ языкѣ внѣшній міръ углубляется и очеловѣчивается. Языкъ переводитъ природу въ человѣческое, — притомъ какъ предметы природы, такъ и формальную ихъ закономерность. Онъ представляетъ собою «une prorosorée continuee». «Подобно тому, какъ отдѣльный звукъ занимаетъ мѣсто между предметомъ и человекомъ, точно также весь языкъ въ цѣломъ становится между человекомъ и, вліяющею на него внѣшнимъ и внутреннимъ образомъ, природою. Онъ представляетъ собою «связанный зву-

1) Einleit. zur Kawi-Sprache, G. W. VI, 40. 42.

2) Ankündigung I. с. стр. 497.

3) Введеніе въ переписку съ Шиллеромъ, стр. 38.

4) Metakritik über den Purismus der reinen Vernunft, Сочин. т. VII, 1 и слѣд.

ками духовный міръ, являющийся соединительнымъ звеномъ между челоѣкомъ и внѣшнимъ міромъ». «Вмѣстѣ съ представляемымъ объектомъ онъ возстановляетъ произведенное имъ впечатлѣніе; постоянно повторяющимся процессомъ онъ связываетъ міръ съ челоѣкомъ, или, иначе выражаясь, самодѣтельность челоѣка съ его восприимчивостью»¹⁾.

Онъ является соединительнымъ звеномъ «между однимъ индивидуумомъ и другимъ, между отдѣльнымъ индивидуумомъ и націей, между настоящимъ и прошедшимъ. Живой звукъ языка вноситъ жизнь, изъ которой простекаетъ языкъ, въ воспринимающую его душу. Его вообще «можно представить себѣ только какъ продуктъ одновременнаго взаимодѣйствія», при которомъ «всякій долженъ носить въ себѣ свою собственную работу и въ то же время работу другихъ»²⁾. Ибо «пониманіе и словесное выраженіе суть только различныя дѣйствія одной и той же силы языка». «У понимающаго, какъ и у говорящаго матеріалъ рѣчи необходимо развить изъ собственной внутренней силы, и то, что первый воспринимаетъ, есть только созвучно настроивающее возбужденіе»³⁾. Эта сторона дѣятельности языка въ качествѣ посредника подтверждаетъ прежде всего то, что сущность и происхожденіе его челоѣческія. Поэтому именно здѣсь разрѣшаются тѣ антиноміи, которыя вначалѣ выступаютъ предъ нами въ явленіи языка.

Во-первыхъ слѣдующая. Языкъ никогда не является дѣломъ отдѣльнаго челоѣка, а всегда принадлежитъ всей націи, и тѣмъ не менѣе всякій языкъ предназначенъ служить орудіемъ самымъ разнообразнымъ индивидуальностямъ. Онъ обладаетъ обоими свойствами, — свойствомъ въ качествѣ одинаго языка дѣлиться на безконечное множество, съ другой стороны — свойствомъ соединять это множество языковъ въ единый. Во-вторыхъ. Языкъ это вѣчно живой процессъ творчества, — онъ по существу своему есть разговоръ, — и однако же, онъ не только нѣчто подвижное, но въ то же время и нѣчто устойчивое: въ немъ накапливается запасъ словъ и система правилъ, благодаря которымъ онъ на протяженіи тысячелѣтій вырастаетъ въ самостоятельную силу. Онъ не только нѣчто высказываемое, но въ то же время и сказанное (*Gesprochenhaben*). Своеобразие языка заключается именно въ томъ противурѣчьи, что онъ представляется душѣ чѣмъ то чуждымъ и въ то время однако роднымъ, что онъ дѣйствуетъ объективно и вмѣстѣ съ тѣмъ субъективно, что онъ въ одно и то же время пассивность и активность.

Та и другая антиномія находятъ свое разрѣшеніе въ челоѣче-

¹⁾ Сравн. напр. Einleitung l. c. стр. 53—59. *Über die Buchstabenschrift etc.* G. W. VI. 530 и во многихъ другихъ мѣстахъ.

²⁾ Einleitung zur Übersetzung des Agamemnon G. W. III, 13.

³⁾ Einleitung стр. 55.

скомъ происхожденіи и человѣческомъ характерѣ языка. Ибо во-первыхъ: индивидуальный языкъ связанъ съ языкомъ націи, а языкъ націй съ языкомъ вообще одною стоящею надъ ними связью—единствомъ человѣческой природы. И именно различіе, которое до нѣкоторой степени сглаживается въ разговорѣ на родномъ языкѣ и въ изученіи чужого языка, является доказательствомъ того, «что человѣкъ не обладаетъ самою по себѣ рѣзко ограниченной индивидуальностью, что «я» и ты» не только суть понятія, взаимно требующія другъ друга, но, если бы можно было вернуться къ пункту ихъ раздѣленія, они оказались бы понятіями истинно тождественными, и что въ этомъ смыслѣ существуютъ разные круги индивидуальности—начиная съ слабого, хрупкаго и нуждающагося въ помощи индивида и кончая древнѣйшимъ племенемъ человѣчества,—ибо иначе всякое пониманіе было бы во вѣки вѣковъ невозможнымъ»¹⁾. И во-вторыхъ: антиномія, заключающаяся въ противоположности между активностью и пассивностью, точно также находитъ свое разрѣшеніе въ тождествѣ человѣческой природы. Въ томъ, «что вытекаетъ изъ чего-то, что въ существѣ тождественно съ мной «я», понятія субъекта и объекта, зависимости и независимости сливаются другъ съ другомъ». То, въ чемъ меня языкъ, какъ нѣчто твердое, традиціонное, опредѣляетъ и ограничиваетъ, привзошло въ него отъ общечеловѣческой, внутренне связанной со мною природы, и то, что мнѣ въ немъ чуждо, является таковымъ для моей индивидуальной природы въ извѣстный моментъ ея существованія, но не для моей первоначальной реальной природы»²⁾.

Такимъ образомъ, здѣсь остается только противоположность между «видимостью» человѣческой природы, въ ея индивидуально расщепленной формѣ, и «сущностью» (das Ansich) этой природы, «если бы только вообще можно было проникнуть до этого пункта». Остается положеніе, что «отдѣльная индивидуальность вообще только проявленіе условнаго бытія духовныхъ существъ», боже о боже съ другимъ положеніемъ, что у насъ нѣтъ «даже самаго отдаленнаго представленія о другомъ сознаніи, кромѣ какъ объ индивидуальномъ»³⁾. Если пожелать, какъ это пытаются въ одной своей парентезѣ самъ Гумбольдтъ, и что сдѣлано въ совершенно опредѣленной формѣ Штейнталемъ⁴⁾, если—говоримъ мы—пожелать этотъ взглядъ, открывающій безконечную перспективу, завершить словами: единство человѣческой и божественной природы,—то противъ этого собственно нельзя ничего возразить; но, къ сожалѣнію, этимъ «преодоленіемъ

1) Ankündigung стр. 498.

2) Einleitung стр. 65.

3) Einleitung стр. 31.

4) Über den Ursprung der Sprache (Berlin 1851) стр. 17.

кантовскаго дуализма» мало выигрывается въ смыслъ положительнаго воззрѣнія. Для насъ выясняется только то, въ какомъ смыслѣ можно сказать, что и для Гумбольдта слѣды человѣческаго происхожденія и сущности языка приводятъ къ его божественному происхожденію. Какимъ образомъ самъ Гумбольдтъ разрѣшилъ этотъ дуализмъ не метафизическими опредѣленіями, а практически,—станетъ яснымъ тогда, когда мы разсмотримъ его воззрѣнія о методѣ и цѣли науки о языкѣ.

II.

Подробный анализъ способа образованія языка.

Участвуя въ живой энергіи человѣческаго существа, языкъ является такимъ образомъ соединительнымъ звеномъ между человекомъ и природой,—между однимъ человекомъ и другимъ. Всякое соединеніе (*Vermit tlung*), всякое истинное соединеніе въ существѣ своемъ вѣчно непостижимое ¹⁾; однако до извѣстной степени можно ближе подойти къ процессу языка и попытаться его анализировать.

Абстрактную основу образа дѣйствія разумнаго инстинкта должно искать только въ механизмѣ духовной жизни. Гумбольдтъ изображаетъ его много разъ. Дѣятельность нашихъ чувствъ связана синтетически съ внутреннею дѣятельностью духа. Изъ этой связи, «изъ этой подвижной массы представляемаго», выступаетъ отдѣльное представленіе и противопоставляетъ себя субъективной силѣ въ качествѣ предмета, съ характеромъ объективности. Можно было бы сказать, что этотъ процессъ рождаетъ языкъ, но правильнѣе будетъ то, что онъ самъ только благодаря языку и становится возможнымъ, что онъ самъ ни что иное какъ языкъ. Только благодаря языку представленіе становится представленіемъ, т. е. чѣмъ то объективнымъ, что съизнова можетъ быть воспринято и этимъ путемъ перейти обратно въ субъектъ; ибо въ немъ «духовная жизнь пролагаетъ себѣ путь черезъ уста», и «продуктъ его тотчасъ же возвращается обратно въ ухо субъекта». Неопредѣленная дѣятельность духовной способности—такъ изображаетъ Гумбольдтъ этотъ процессъ въ красивомъ образѣ—«сгущается въ слово, подобно тому, какъ поднимаютъ легкія облака на ясномъ небѣ». Такимъ образомъ при помощи языка человекъ представляетъ міръ, внутренній и внѣшній, себѣ самому, какъ кому то другому,—своему «я» какъ чему то внѣ его стоящему. Языкъ какъ необходимый путь и составная часть его духовной дѣятельности, совершенно совпадаетъ съ этой дѣятельностью. Онъ въ одномъ и томъ же актѣ является объективацией субъективнаго и обратнымъ возвращеніемъ объективнаго въ субъек-

¹⁾ Ankündigung стр. 498.

тивное, въ одно и то же время онъ — общеніе человѣка съ самимъ собою и условіе очеловѣченія природы. Двойственная роль языка въ качествѣ соединительнаго звена представляется съ этой точки зрѣнія единою и тождественною.

Однако косвенно съ этимъ совпадаетъ и его дальнѣйшая дѣятельность въ качествѣ органа для общенія одного человѣка съ другимъ и со всѣмъ родомъ. Какъ указано выше, даже самому себѣ человѣкъ сообщаетъ собственныя свои представленія такъ, какъ кому-то другому. «Помимо общенія одного человѣка съ другимъ, языкъ является необходимымъ условіемъ мышленія отдѣльнаго человѣка даже и въ замкнутомъ уединеніи» — «мышленія», говоритъ Гумбольдтъ, придавая этому слову совершенно особый, болѣе широкій, имъ самимъ разъясненный смыслъ, т. е. той объективации духовной дѣятельности, которая, какъ полагаетъ онъ, лежитъ въ основѣ всякаго мышленія. Въ этомъ смыслѣ, конечно, безъ языка невозможно обойтись даже и при самомъ уединенномъ мышленіи». Однако объективация является еще болѣе полною, если описанное раздвоеніе совершается не въ одномъ только субъектѣ, т. е. когда субъектъ представленія на самомъ дѣлѣ усматриваетъ идею внѣ себя, что возможно только въ другомъ, подобно ему, представляющемъ и мыслящемъ существѣ». «Объективность возрастаетъ, когда мы слово, созданное нами самими, слышимъ изъ чужихъ устъ. Разговоръ съ другимъ «ты» является такимъ образомъ только болѣе яснымъ проявленіемъ общенія, покоющагося на самой природѣ языка. Субъективность же отъ этого ничего не теряетъ, ибо человѣкъ является и чувствуетъ себя всегда тождественнымъ съ другимъ человѣкомъ — наоборотъ: вмѣстѣ съ возрастаніемъ объективности усиливается и субъективность, ибо представленіе, превращенное въ языкъ, не принадлежитъ уже исключительно одному субъекту. «Будучи усвоено другими людьми, представленіе примыкаетъ къ тому, что является общими состояніемъ всего человѣческаго рода; каждый отдѣльный человѣкъ обладаетъ только видоизмѣненіемъ этого общаго — видоизмѣненіемъ, несущимъ въ себѣ стремленіе восполнять себя черезъ посредство другихъ». Поэтому наружно языкъ развивается только въ обществѣ, «и человѣкъ понимаетъ себя самого только послѣ того, какъ онъ удостоверился въ понятности своихъ словъ для другихъ».

Таковы воззрѣнія Гумбольдта. И здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ, интересно слѣдить за тѣмъ, какъ онъ благодаря болѣе глубокому проникновенію доходитъ и до болѣе ясной формулировки остроумныхъ, но туманныхъ опредѣленій Гердера. «Превосходно» — такъ возвѣщаетъ Гердеръ послѣ того, какъ онъ уже установилъ основной пунктъ своего изслѣдованія — «превосходно то, что языкъ — это новое искусственное чувство духа — уже въ самомъ началѣ является и долженъ быть средствомъ для общенія! Я не могу себѣ представить

даже первой человѣческой мысли, перваго обдуманнаго сужденія иначе, какъ ведя въ душѣ своей діалогъ или пытаясь его вести; такимъ образомъ первая человѣческая мысль самимъ существомъ своимъ создаетъ возможность разговаривать съ другими; первый понятый мною знакъ является словеснымъ знакомъ для меня и средствомъ общенія съ другими» ¹⁾.

Однако все это выяснило намъ только въ абстрактной формѣ основной законъ дѣятельности языка въ качествѣ связующаго звена. Каково конкретное содержаніе этой дѣятельности? Какимъ опредѣленнымъ образомъ языкъ является носителемъ и завершителемъ замкнутаго въ себѣ духовнаго процесса, или—что одно и то же—каковы конститутивные элементы языка?

Сущность языка—энергія и посредничество; въ этихъ обоихъ понятіяхъ выражается поэтому и его конкретная природа. Предположемъ наиболѣе общее опредѣленіе его собственными словами Гумбольдта: языкъ, по скольку вообще цѣлокупность произносимаго можно разсматривать какъ языкъ, «есть неустанная работа духа съ цѣлью приспособить членораздѣльный звукъ къ выраженію мысли» ²⁾. Такимъ образомъ онъ является посредникомъ между всѣмъ духовнымъ или, какъ Гумбольдтъ кратко выражается, между мыслью—и звукомъ; притомъ эта связующая энергія есть неустанная, все снова возобновляющаяся работа, никогда не успокаивающаяся на какомъ нибудь конечномъ результатѣ. Если для цѣлей анализа раздѣлить то, что находится другъ съ другомъ въ живомъ соединеніи, то въ немъ можно отличить два конститутивныхъ принципа—внутреннее чувство языка (Sprachsinn) и звукъ; можно въ общей способности языка—что съзначала и по существу своему составляетъ нѣчто единое—различить силу, рождающую идеи, и силу, отмѣчающую ихъ, и въ соотвѣтствіи съ этимъ усматривать въ развитіи языка процессъ, въ которомъ внутренняя идея, для того чтобы проявить себя наружу, должно преодолѣть внѣшнюю трудность—звукъ ³⁾.

Какимъ образомъ въ общей способности языка или въ «порывѣ» рѣчи то и другое между собою соединяется, остается во всякомъ случаѣ тайной. «Неразрывная связь мысли, голосовыхъ органовъ и

¹⁾ Sämtliche Werke, Taschenausgabe (карманное изданіе), 1827. Zur Philosophie und Geschichte, т. II. стр. 54—55. Изложенныя разсужденія Гумбольдта частью повторены буквально въ слѣдующихъ мѣстахъ: Über die Verwandtschaft der Ortsadverbien, I. c. 1; Über den Dualismus etc., G. W. VI, 590—591; и Einleitung стр. 53—55; сравн. также Einleitung zur Agamemnonübersetzung, G. W. III 13.

²⁾ Einleitung стр. 42 и въ др. мѣстахъ,

³⁾ Einleitung стр. 304 и 88.

слуха въ языкѣ неизмѣнно заложена въ первоначальномъ, необъяснимомъ въ своихъ основахъ, устройствѣ человѣческой природы» ¹⁾. Однако наблюдение и сравнение обоихъ элементовъ приводитъ по крайней мѣрѣ къ уразумѣнью внутренней возможности ихъ взаимной связи и взаимнаго сращенія.

Если разсматривать предметъ съ самой общей точки зрѣнія, то прежде всего бросается въ глаза внутреннее сродство (*Wahlverwandschaft*) и аналогія между «мыслью» и звукомъ. Развитію этой аналогіи посвящено одно изъ лучшихъ мѣстъ въ большой вводной статьѣ Гумбольдта. «Мысль, подобно молніи или удару грома, сосредоточиваетъ всю силу воображенія въ одномъ пунктѣ, исключая все одновременно совершающееся; звукъ точно также является въ рѣзкой опредѣленности и единствѣ. Подобно тому, какъ мысль охватываетъ всю душу, точно также и звуку дана особая сила проникать внутрь и потрясать всѣ нервы». Въ звукѣ ухо въ отличіе отъ остальныхъ чувствъ, въ которыхъ это происходитъ не всегда или инымъ образомъ, получаетъ впечатлѣніе движенія, а при звукѣ, производимомъ голосомъ, даже впечатлѣніе настоящаго дѣйствія, какимъ является и мыслительная дѣятельность. И далѣе. «Подобно тому какъ мышленіе въ своемъ наиболѣе человѣческомъ значеніи является стремленіемъ изъ мрака къ свѣту, изъ ограниченности въ безконечность, точно такъ-же звукъ рвется изъ глубины груди наружу и находитъ удивительно соответствующую ему матерію въ воздухѣ, этою наиболѣе тонкою и наиболѣе подвижною изъ всѣхъ элементовъ, видимая безтѣлесность котораго соответствуетъ духу и по своей чувственной формѣ». Не смотря на свою однородность и опредѣленность, соответствующую потребности разума, звукъ, однако, не вытѣсняетъ ни одного изъ другихъ впечатлѣній, производимыхъ предметами, — онъ, наоборотъ, въ состояніи приспособиться къ общему характеру предмета, также какъ и къ индивидуальному образу воспріятія говорящаго. Въ формѣ живого звука выходитъ голосъ изъ груди, являясь «какъ-бы дыханіемъ самого бытія», и такимъ образомъ онъ вдыхаетъ въ чувство, которое его воспринимаетъ, ту жизнь, изъ которой онъ вытекаетъ. Наконецъ, къ звукамъ языка «вполнѣ подходитъ прямое положеніе человѣка, въ которомъ отказано животнымъ. Имъ человѣкъ какъ-бы призывается къ высотамъ: ибо человѣческая рѣчь не хочетъ глухо раздаваться по земной почвѣ; она хочетъ свободно переливаться отъ устъ къ устами, сопровождаемая при этомъ выраженіемъ глазъ и лица, движеніями рукъ и окружая себя такимъ образомъ всѣмъ, что характерно для человѣка какъ таковаго» ²⁾.

Однако общая аналогія не только существуетъ между мыслью и

1) Ibid. стр. 51.

2) *Einleitung* стр. 51—53.

звукомъ, — она имѣетъ мѣсто и выступаетъ особенно ясно въ артикуляціи. Артикуляція или членораздѣльность это сущность языка; въ языкѣ вѣтъ ничего такого, что не могло бы быть частью и цѣлымъ ¹⁾. Въ членораздѣльности потребность мысли и способность звука другъ съ другомъ соприкасаются: изъ соприкосновенія въ этомъ пунктѣ и вырастаетъ языкъ. Въ членораздѣльности звука заключается его способность къ формировкѣ идей въ членораздѣльности мысли заключается его сила, превращающая звукъ въ языкъ. Именно слѣдующимъ образомъ. Функція мышленія въ существѣ своемъ сводится къ понятію расчлененія. Образъ дѣйствія духа двойной: онъ разлагаетъ свою область, т. е. неопредѣленную массу представляемаго, на элементы, сочетаніе которыхъ образуетъ сплошь агрегаты, имѣющіе тенденцію стать частями новыхъ агрегатовъ; при этомъ духъ постоянно стремится слить многообразное въ единое. Точно также поступаютъ и органы рѣчи со звукомъ. Они суть экзекуторы при расчленяющей дѣятельности духа; этотъ послѣдній обладаетъ способностью подъ вліяніемъ органовъ рѣчи принимать форму членораздѣльнаго звука. Членораздѣльность является такимъ образомъ истинно связующимъ началомъ, въ которомъ для духовной дѣятельности съ одной стороны, и для звука съ другой — заключается возможность стать языкомъ. У глухонѣмыхъ сама природа представляетъ намъ какъ бы абстракцію этого звена, служащаго посредникомъ между звукомъ и мыслью, т. е. способность членораздѣленія въ голомъ видѣ. Лишь благодаря этой способности они научаются понимать и даже говорить: «благодаря связи мышленія съ органами рѣчи у нихъ самихъ, они по одному члену — движенію голосовыхъ органовъ говорящаго — догадываются о другомъ членѣ — его мысляхъ». Поэтому, когда дѣло идетъ объ опредѣленіи членораздѣльнаго звука, опредѣленіе это въ лучшемъ случаѣ доходитъ только до перечисленія тѣхъ необходимыхъ признаковъ, которые представлены были какъ характерные для членораздѣльной дѣятельности духа: т. е. прежде всего способность разложенія и сочетанія, затѣмъ, ясно воспринимаемое единство, связанное съ возможностью полного выдѣленія. Всякая попытка описать звукъ съ органической стороны или со стороны его физическихъ качествъ необходимо должна потерпѣть крушеніе, — дѣло при этомъ едва доходитъ до отрицательныхъ опредѣленій. Членораздѣльный звукъ — это есть звукъ рѣзко выдѣляющійся, а не спутанный или смѣшанный гулъ или шумъ, подобно большинству звуковъ, выражающихъ ощущенія. Его отличительный признакъ съ музыкальной стороны не заключается «въ вышотѣ и глубинѣ»; онъ точно также не обуславливается «удлиненіемъ и укороченіемъ, ясностью или туманностью, рѣзкостью или мягкостью».

¹⁾ Ueber die Buchstabenschrift etc. G. W. VI 537, 545.

Исчерпывающее представление о сущности членораздѣльныхъ тоновъ получается исключительно только изъ понятія языка, какъ продукта, соединяющаго мысль и звукъ путемъ расчлененія. Получается оно такимъ образомъ, что членораздѣльнымъ звукамъ приписывается свойство «непосредственно воспроизводить понятія самимъ фактомъ своего проявленія наружу, причемъ либо къ этому приспособленъ каждый звукъ въ отдѣльности, либо характеръ каждаго отдѣльнаго звука дѣлаетъ возможнымъ и вызываетъ известное число группирруемыхъ въ опредѣленные классы однородныхъ, но специфически различныхъ звуковъ, которымъ свойственно входитъ другъ съ другомъ въ необходимыя или произвольныя сочетанія». Что отличаетъ членораздѣльный звукъ какъ отъ животнаго крика, такъ и отъ музыкальнаго тона—это только его намѣреніе и способность приобрѣтать значеніе черезъ изображеніе мыслимаго. Членораздѣльные звуки—вотъ къ чему сводится всякая такая попытка ихъ опредѣлить—суть звуки языка (*Sprachlaute*) и наоборотъ ¹⁾.

Однако артикуляція является только крайнимъ условіемъ и наиболѣе общимъ приемомъ, каковымъ пользуется конкретная работа языка въ качествѣ посредника. Мы находимся еще на ступени, предшествующей возникновенію слова. Если остановиться на образованіи буквъ и слоговъ, то языкъ не болѣе какъ членораздѣленіе, т. е. внѣшнее проявленіе расчлененнаго звука, дѣлающаго возможнымъ выраженіе мысли. Но онъ болѣе чѣмъ членораздѣленіе тамъ, гдѣ онъ въ формѣ слова и рѣчи дѣйствительно становится выраженіемъ мысли, ибо единый расчлененный звукъ, т. е. слогъ или сочетаніе нѣсколькихъ слоговъ, лишь въ словѣ становится языкомъ: лишь въ словѣ единство звука и понятія совпадаютъ. Только слово есть истинный элементъ рѣчи; оно есть то же, что въ живомъ мірѣ индивидуумъ. Объемъ слова—это тотъ предѣлъ, до котораго языкъ способенъ къ самостоятельному и самостоятельному развитію ²⁾. Поэтому съ работой языка въ качествѣ посредника болѣе подробно и въ общемъ видѣ надлежитъ ознакомиться при словѣ.

Если съ этой цѣлью остановиться прежде всего на интеллектуальной сторонѣ языка, то по Гумбольдту духовная дѣятельность сводится къ двумъ или точнѣе—къ тремъ формамъ. Духъ прежде всего

¹⁾ Einleitung, стр. 67 и слѣд. *Über die Buchstabenschrift etc.* G. W. VI 538 и слѣд. *Über das vergleichende Sprachstudium.* G. W. III 244.

²⁾ Einleitung, стр. 76. *Ueber das vergleichende Sprachstudium* G. W. III 257. Съ другой стороны въ словѣ весь языкъ выражается яснѣе и чище, чѣмъ въ цѣломъ предложеніи; ибо „хотя рѣчь льется всегда какъ связанное цѣлое“, однако всякое пониманіе языка исходитъ изъ познанія словъ—логическихъ элементовъ рѣчи; сравн. *Jahrbücher für Wissenschaftliche Kritik* 1829 № 73, стр. 582 и *Mémoire sur la séparation des mots*, *Journ. Asiat. m.* XI.

стремится отмѣтить отдѣльные предметы, какъ тѣ, которые затрогиваютъ внѣшнія чувства, такъ и тѣ, которые затрогиваютъ чувства внутреннія. Онъ отмѣчаетъ ихъ въ определенной индивидуальной формѣ, онъ обозначаетъ ихъ для себя: онъ образуетъ понятія. Затѣмъ въ отдѣльныхъ предметахъ онъ отмѣчаетъ ихъ отношеніе къ другимъ: кромѣ понятій онъ образуетъ болѣе общія категоріи. Наконецъ, въ третьихъ, онъ замѣчаетъ присутствіе определенныхъ отношеній или самъ создаетъ такія отношенія, благодаря которымъ предметы или понятія приводятся между собою въ связь или болѣе тѣсно соединяются другъ съ другомъ.

Этому тройкому интеллектуальному приему соответствуетъ такое же тройкое явленіе въ звуковой формѣ, а слѣдовательно и въ дѣйствительномъ языкѣ. А именно. Выраженію совершенно индивидуальныхъ предметовъ отвѣчаютъ корни языка или—въ виду того, что корни въ голомъ видѣ рѣдко являются въ рѣчи—коренныя части словъ и словесныхъ формъ. Въ сущности однако корни, входя въ составъ рѣчи, тотчасъ же являются выраженіемъ болѣе общаго отношенія. Самый актъ обозначенія сопровождается своеобразною дѣятельностью ума, которою это понятіе ставится въ определенную категорію мысли или слова: къ объективному принципу «обозначенія» (*Bezeichnung*) присоединяется принципъ болѣе субъективный логическаго рубрицированія или «указанія» (*Andeutung*), т. е. сведенія къ общей категоріи. Вотъ этой-то второй дѣятельности, въ связи ея съ первой, соответствуетъ въ звуковой формѣ полное слово. Но въ концѣ концовъ и слова при введеніи ихъ въ рѣчь необходимо должны обозначать разныя состоянія. Языкъ въ формѣ рѣчи представляетъ собою сплетеніе идейныхъ отношеній; подобно тому какъ «обозначеніе» примыкаетъ непосредственно къ «указанію», точно также это послѣднее переходитъ непосредственно въ логическую связь (*Begriffsverbindung*). Этому третьему приему соответствуетъ третья стадія звуковой формы: рядомъ съ корнями и словами различаются, въ третьихъ, грамматическія формы ¹⁾.

Пока мы можемъ удовлетвориться этимъ сжатымъ, выдѣленнымъ изъ обширныхъ разсужденій Гумбольдта изображеніемъ трехъ стадій, въ которыхъ проявляется наружу интеллектуальная и въ соотвѣтствіи съ нею звуковая форма языка. Ибо здѣсь вопросъ заключается только въ томъ, какими средствами и какимъ образомъ то и другое соединяется путемъ языка,—какъ эта такимъ путемъ специфицированная звуковая форма приводится въ связь съ спецификаванною такимъ же путемъ интеллектуальною формою. Иначе говоря: каково отношеніе звука къ смыслу слова?

¹⁾ Einleitung, стр. 75 и слѣд.; сравн. и стр. 97 и слѣд.; затѣмъ *ibid.* стр. 122 и слѣд.

Первымъ звеномъ является опять таки артикуляція, — по какъ бы дѣйствующая въ болѣе высокой потенціи. Подобно тому какъ стремленіе придать звуку смыслъ создаетъ общую природу членораздѣльнаго звука, точно также это самое стремленіе вліяетъ на опредѣленіе смысла. Чѣмъ глубже способность расчлененія какой нибудь націи, т. е. чѣмъ яснѣе интеллектуальное расчлененіе, совершаемое ею въ области мысли, и съ другой стороны, чѣмъ болѣе расчлененіе проявляется наружу въ ея звуковой системѣ, тѣмъ въ болѣе высокой степени этотъ принципъ станетъ руководствомъ, и тѣмъ глубже будетъ его вліяніе въ томъ, что касается опредѣленія смысла. Истинная область, въ которой проявляется вліяніе этого принципа — это область опредѣленія общихъ отношеній между заранѣе обозначенными предметами, т. е. область грамматическихъ формъ.

Но если это дѣйствіе способности расчлененія въ чистомъ видѣ оставить въ сторонѣ, то сверхъ того можно различить еще троякаго рода обозначеніе понятій, которымъ основой служить все то же указанное дѣйствіе способности расчлененія, а именно: обозначеніе подражательное, символическое и аналогическое.

Прежде всего обозначеніе непосредственно подражательное. Звукъ, издаваемый звучащимъ предметомъ, воспроизводится въ словѣ по столько, по сколько вообще членораздѣльные звуки въ состояніи передавать звуки нечленораздѣльные. Это обозначеніе, при которомъ членораздѣльный звукъ вступаетъ въ непосредственную борьбу со звукомъ нечленораздѣльнымъ, не свободно отъ нѣкоторой грубости; при дальнѣйшемъ развитіи языка этого рода обозначеніе исчезаетъ и по самой своей природѣ имѣетъ мѣсто только при обозначеніи предметовъ.

• Символическое обозначеніе, т. е. обозначеніе, подражающее предмету не непосредственно, а въ какомъ нибудь его качествѣ, общемъ у него со звукомъ. «Для подлежащихъ обозначенію предметовъ оно прибѣгаетъ къ такимъ звукамъ, которые частью сами по себѣ, частью по сравненію съ другими производятъ на ухо впечатлѣніе, подобное тому, какое производитъ на душу самъ предметъ, какъ напримѣръ: стоять, стойкій, застывшій — производятъ впечатлѣніе чего-то твердаго и т. п.» Этотъ родъ обозначенія имѣлъ особенно большое вліяніе на первоначальное словообразованіе. Этимъ приемомъ можно пользоваться также для обозначенія общихъ отношеній, т. е. для выраженія грамматическихъ формъ.

Наконецъ аналогическое обозначеніе, т. е. обозначеніе сходными звуками, по сродству подлежащихъ обозначенію понятій: приемъ обозначенія очевидно второстепенный, хотя и весьма плодотворный. А именно, для словъ, «близкихъ другъ другу по смыслу, и звуки употребляются одинаковые; но на характеръ самихъ этихъ звуковъ

здѣсь, въ отличіе отъ предыдущаго приѣма, не обращается низакого вниманія» 1).

Однако Гумбольдтъ этимъ перечисленіемъ различныхъ принциповъ соединенія звука съ идеей не ограничивается. Одушевленный подвижному стремленіемъ приписать духу возможно больше и въ интеллектуальномъ явистинитѣ—такъ называетъ онъ языкъ—выдвинуть на первый планъ элементъ интеллектуальный, онъ затѣмъ въ другихъ мѣстахъ своего введенія старается найти въ этой связи еще одно звено, именно—въ предшествующей дѣятельности духа. Обозначать понятіе посредствомъ звука значитъ приводить въ связь такіа вещи, которыя по природѣ своей никогда не могутъ другъ съ другомъ настоящимъ образомъ соединиться. Вслѣдствіе этой разнородности, для соединенія обоихъ элементовъ,—«если даже оставить вещественныя свойства звука въ сторонѣ и имѣть въ виду лишь самое представленіе,—необходимо пѣчто третье, въ чемъ бы они могли сойтись». Это соединительное звено—такъ доказываетъ онъ далѣе—по природѣ своей всегда чувственно, какъ въ словѣ «понятіе» (Begriff) представленіе взиманія (greifen) и т. п. 2). Этимологическое изслѣдованіе имѣетъ свою задачу, поскольку возможно, отыскать повсюду этотъ соединительный чувственный элементъ и такимъ образомъ восходить отъ конкретныхъ словъ къ тѣмъ, такъ сказать, кореннымъ возрѣніямъ и ощущеніямъ, посредствомъ которыхъ всякій языкъ, слѣдуя одушевляющему его гению, соединяетъ въ своихъ словахъ звукъ съ понятіемъ». Однако ясно, что этотъ схематизмъ имѣетъ для соединенія звука и понятія только второстепенное значеніе. Онъ имѣетъ значеніе только тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ отвлеченныхъ понятіяхъ или о понятіяхъ какъ таковыхъ, а при самыхъ этихъ «коренныхъ возрѣніяхъ и ощущеніяхъ» онъ вовсе не выступаетъ. Связующую силу способности членораздѣленія, точно также какъ и подражательный, символическій и аналогическій приѣмы языка онъ предполагаетъ заранѣе. Это—болѣе принципъ сродства словъ (Wortverwandschaft), чѣмъ образованія ихъ (Wortformung), это—скорѣе вспомогательное средство для соединенія звука съ идеей, нежели энергія, связывающа скрѣпляющая оба элемента между собою 3).

Какъ бы то ни было—хотя посредничество составляетъ самую сущность языка, хотя поддерживающіе другъ друга и сливающиміеся

1) Einleitung, стр. 80—85.

2) У Гумбольдта приведены непереводимые примѣры изъ нѣмецкаго языка: въ словѣ „разумъ“—Vernunft представленіе „взятія“—Nehmen; въ словѣ разсудокъ—Verstand представленіе о „стоячемъ положеніи“—stehen и др. *Перев.*

3) Einleitung, стр. 109—111. Отвести этому Гумбольдтовскому ученію о схематизмѣ языка другое мѣсто, чѣмъ то, которое указано нами выше, мы, по крайней мѣрѣ, не въ состояніи.

между собою соединительные мотивы проявляются у него въ большой степени, тѣмъ не менѣе столь же важною остается и другая сторона предмета, именно та, что эта посредническая функція никогда не представляется завершеною: послѣ всего и не смотря ни на что, интеллектуальный и звуковой моментъ языка находятся между собою въ противурѣчїи, которое никогда не можетъ быть вполнѣ устранено. Вслѣдствіе этого языкъ со всею заключающеюся въ немъ синтетическою силой является работой и борьбой—работой, которая представляется въ общемъ какъ непрестанное стремленіе и противустремленіе. А именно, съ одной стороны неискоренимая разнородность понятія и звука, а съ другой—взаимная связанность ихъ другъ съ другомъ: «понятіе столь же мало можетъ освободиться отъ слова, какъ человѣкъ скинуть черты своего лица». Поэтому душа постоянно силится «стать независимою отъ узъ языка, ибо слово во всякомъ случаѣ является преградой для ея внутренняго ощущенія, которое всегда полнѣе по своему содержанію,—своею природой, со стороны звука слишкомъ матеріальной, а со стороны духовнаго значенія слишкомъ общей, оно часто грозитъ подавить именно наиболѣе своеобразные оттѣнки этихъ ощущеній». «Но все то, что душа отстаиваетъ и добываетъ въ этой борьбѣ со словомъ, она опять-таки вкладываетъ въ слово, и такимъ образомъ въ результатѣ этого ея непрестаннаго стремленія, при надлежащей живости духовныхъ силъ, является все болѣшая чуткость языка, все возрастающее обогащеніе его духовнымъ содержаніемъ, но при этомъ и требованія его по мѣрѣ того, какъ они лучше удовлетворятся, становятся все выше» ¹⁾).

Цѣль языка, его, такъ сказать, недостигаемый идеаль — это полное слїянїе звука съ мыслью, «взаимное правильное и энергическое проникновеніе звуковой и идейной формы другъ другомъ». Высшая степень завершенности языка выражается въ томъ, что соединеніе звуковой формы съ внутреннимъ закономъ языка «доведено до истиннаго и чистаго проникновенія». Ибо съ перваго же элемента созиданіе языка есть въ истинномъ смыслѣ слова процессъ синтетическій. «Поэтому цѣль достигается только въ томъ случаѣ, если весь строй звуковой формы и внутренняго образованія тѣсно сливаются между собою, притомъ въ одно и то же время съ обѣихъ сторонъ; благотворнымъ слѣдствіемъ этого будетъ тогда полное соотвѣтствіе между обоими элементами, и ни одинъ изъ нихъ не возьметъ перевѣса надъ другимъ». Другими словами: языкъ по мѣрѣ удачи своего синтеза, приближается къ искусству, сущность котораго именно и заключается въ полномъ проникновеніи другъ другомъ идеи и матерїи. Поэтому на кульминаціонномъ

¹⁾ Einleitung, стр. 110.

пунктъ развитія языка является сама собою красота. Художественная красота языка является «безошибочнымъ пробнымъ камнемъ его внутренняго и общаго совершенства» ¹⁾.

III.

Языкъ какъ явленіе.

Пунктъ, изъ котораго исходитъ Гумбольдтъ въ своемъ обширномъ «Введеніи» статья, — это различіе въ строеніи человѣческаго языка и связь этого различія съ различіемъ въ той духовной силѣ народовъ, изъ которой выросли языки земли. Съ цѣлью выясненія этой связи онъ отъ языка, какъ явленія, нисходитъ къ процессу образованія языка, т. е. къ анализу его приемовъ, и лишь этимъ путемъ для него все полнѣе раскрывается сущность языка. Мы шли обратнымъ путемъ. Исходя изъ первоначала и сущности языка и слѣдя за всею его дѣятельностью, мы теперь лишь въ состояніи понять языкъ въ его бытіи и явленіи. Разсматривая теперь происхожденіе языка въ проекціи его дѣйствительныхъ формъ, мы дѣлаемъ только выводы изъ прежнихъ разсужденій.

Съ этой точки зрѣнія языкъ, поскольку онъ вытекаетъ изъ цѣлостности человѣческаго существа и приводитъ его въ связь съ природой, представляется организмомъ ²⁾. Это опредѣленіе, какъ первое и наиболѣе общее понятіе, выражаетъ всю основанную на артикуляціи подвижность языка и всевязующую его энергію. Всякій языкъ, говоритъ Гумбольдтъ ³⁾, есть организмъ съ принципомъ, создающимъ единство. Строеніе языка, сказалъ онъ уже ранѣе въ «Ankündigung» ⁴⁾ является до мельчайшихъ подробностей строеніемъ органическимъ и все въ немъ покоится на аналогіи. «Непосредственное произведеніе органическаго существа въ его чувственномъ и духовномъ значеніи — языкъ сходится съ природой всего органическаго въ томъ отношеніи, что каждый отдѣльный его элементъ существуетъ только благодаря другому, а все въ цѣломъ обязано своимъ существованіемъ единой всепроникающей силѣ ⁵⁾. Согласно этому онъ особенно часто указываетъ на взаимно обусловленное тѣсное сплетеніе между всеми частями языка, какъ органическаго цѣлага. Хотя языкъ создается человѣкомъ постепенно, однако «уже первое слово отражаетъ языкъ какъ цѣлое и предполагаетъ его заранѣе» ⁶⁾.

¹⁾ Einleitung, стр. 104—108.

²⁾ Einleitung, стр. 107.

³⁾ Ueber Goethe's zweiten römischen Aufenthalt, G. W. II, 240.

⁴⁾ L. c. стр. 496.

⁵⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium, G. W. III, 243.

⁶⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium, G. W. III, стр. 253.

Всѣ составныя элементы рѣчи даются сразу и безсознательно способностью рѣчи ¹⁾. «Языкъ можно сравнить съ гигантскою тканью, въ которой одна часть находится въ болѣе или менѣе замѣтной связи со всѣми другими. Изъ какой бы стороны ни подходить, человѣкъ въ рѣчи всегда касается только отдѣльной части этой ткани, но онъ всегда дѣлаетъ это инстинктивно такъ, какъ будто въ тотъ же моментъ онъ имѣлъ передъ глазами всѣ остальные части, съ которыми эта часть находится въ неизбѣжной связи и гармоніи» ²⁾. «Языки», говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ ³⁾, «нельзя разсматривать какъ агрегаты словъ; каждый изъ нихъ есть извѣстнаго рода система, по которой духъ соединяетъ звукъ съ мыслью». Наконецъ изъ понятія организма вытекаетъ то, что каждый языкъ обладаетъ единымъ принципомъ. «Воспринимая элементы языка, народъ или человѣческая мысль вообще, даже помимовольно и не вполне ясно это сознавая, необходимо должны слить эти элементы въ единое цѣлое, ибо безъ такого рода операциі невозможно было бы ни мышленіе при посредствѣ языка въ индивидуумѣ, ни взаимное пониманіе между людьми... А это единство можетъ быть дано только исключительнымъ господствомъ одного начала» ⁴⁾.

На ряду съ опредѣленіемъ языка какъ организма у Гумбольдта имѣется другое нѣсколько болѣе обширное опредѣленіе, усматривающее его сущность въ формѣ.

«Понятіе языка существуетъ и исчезаетъ вмѣстѣ съ понятіемъ формы, ибо онъ есть форма и ничего болѣе какъ форма» ⁵⁾. Всякій языкъ имѣетъ поэтому свою индивидуальную форму; она—ничто иное, какъ разсѣяныя черты языка, связанные въ одно органическое цѣлое. Иначе и опредѣленіе говоря: работа духа, направленная на то, чтобы возвысить членораздѣльный звукъ до орудія мысли, дѣйствуетъ въ каждомъ языкѣ опредѣленнымъ и всегда одинаковымъ образомъ. Постоянное и единообразное въ этой дѣятельности, понятное возможно полнѣе во всей совокупности и представленное систематически, какъ это подобаетъ органическому цѣлому, и составляетъ форму языка. Она есть въ полности представленная объективная сторона единаго и индивидуальнаго стремленія, посредствомъ котораго нація даетъ мысли и чувству выраженіе въ языкѣ. Эта форма, какъ и вездѣ, гдѣ дѣло идетъ о чемъ либо органическомъ, тѣсно связана только съ языкомъ какъ цѣлымъ, но съ другой стороны она присуща каждому изъ его самыхъ малыхъ элементовъ. Форма

¹⁾ Ueber die Verwandtschaft etc. ibid. стр. 3.

²⁾ Einleitung, стр. 73, срвн. стр. 85, 113 и 338.

³⁾ Kawi-Sprache т. II стр. 220.

⁴⁾ Einleitung, стр. 189.

⁵⁾ Kawi-Sprache т. II 221.

проходить какъ нѣчто единое черезъ весь языкъ; работа языка начинается съ перваго же ея элемента—членораздѣльнаго звука, который благодаря формироваѣ именно и становится членораздѣльнымъ,—и господствуетъ вплоть до правилъ синтаксиса. Форма языка проявляется паружу уже въ алфавитѣ; она видна въ словопроизводствѣ; она проявляется еще и въ наиболѣ индивидуальных синтаксическихъ тонкостяхъ. Она собственно составляетъ весь языкъ, понятый разумомъ и воспринятый чувствомъ, какъ нѣчто органическое въ самомъ его существѣ ¹⁾).

Однако въ дальнѣйшемъ Гумбольдтъ нѣсколько ограничиваетъ это столь широкое понятіе формы: онъ сводитъ его, такъ сказать, болѣе къ матеріальному значенію. Или скорѣе такъ: изъ всеобъемлющаго понятія формы онъ выдѣляетъ болѣе узкое понятіе грамматическаго строенія въ самомъ общемъ его видѣ — структуры, яля, въ узкомъ смыслѣ слова,—организма, и такимъ образомъ онъ устанавливаетъ различіе между формой въ болѣе узкомъ смыслѣ или «формальной стороны въ собственномъ смыслѣ» и тѣмъ, что онъ называетъ характеромъ языка. Первымъ сущность языка по его мнѣнію не исчерпывается; оно только необходимая основа, изъ которой развивается болѣе тонкая и благородная сторона языка. Царство формъ не есть единственная область, въ которой работаетъ изслѣдователь языка; въ языкѣ существуетъ еще нѣчто болѣе высокое и первичное, если я не всегда доступное ясному познанію, то все же до нѣкоторой степени ощущаемое. Напримѣръ, въ языкахъ санскритскомъ, греческомъ, латинскомъ, мы встрѣчаемъ весьма близкую другъ другу и во многихъ отношеніяхъ даже одинаковую организацию словопроизводства и синтаксиса; однако, помимо уже различій въ самой организаціи, языки эти отличаются другъ отъ друга по своему индивидуальному характеру.

Для того чтобы выяснитъ, что надо понимать подъ характеромъ въ отличіе отъ формы въ собственномъ смыслѣ или отъ организма, Гумбольдтъ затрогиваетъ моментъ, который въ нашемъ изложеніи его возрѣній до сихъ поръ не нашелъ еще себѣ мѣста. Мы должны съ нимъ ознакомиться, поскольку это необходимо для нашей цѣли. Это именно моментъ историческій. Въ историческомъ развитіи всякаго языка наступаетъ такой періодъ, когда языкъ этотъ представляется какъ бы готовымъ; его строеніе, его форма въ главныхъ чертахъ завершены. Дѣятельность націи какъ бы переходитъ отъ самого языка къ его примѣненію. Народъ въ цѣломъ, его поэты и учителя, наконецъ его грамматики примѣняютъ и обрабатываютъ языкъ. Отъ различныхъ способовъ, какими это совершается, зависитъ характеръ

1) Einleitung § 8 стр. 41—49.

языка. Однако это явление вытекает вмѣстѣ съ тѣмъ прямо и изъ сущности языка. Вѣдь нами указано было на то, что языкъ—это работа духа, пмѣющая цѣлью—никогда вполне не достижимую—сдѣлать изъ членораздѣльнаго звука орудіе для выраженія мысли. Цѣль эта вызываетъ непрестанную борьбу между двумя противоположными стремленіями. Вотъ почему—при употребленіи языка съ одной стороны возникаетъ чувство, что существуетъ нѣчто, чего языкъ непосредственно не содержитъ, и что должно быть восполнено духомъ, при воздѣйствіи языка,—но затѣмъ однако является стремленіе все то, что чувствуетъ душа, связать со звукомъ. Указанное выше чувство и это стремленіе, дѣйствуя вмѣстѣ, образуютъ основу для проявленія въ языкахъ ихъ характера. Остается еще вопросъ: съ чѣмъ этотъ характеръ преимущественно связанъ, въ какой изъ частей языка онъ выражается съ особенною ясностью?

Онъ прежде всего связанъ съ формой самого языка (этимъ между прочимъ восстанавливается первоначальная ширина понятія формы и опять стирается граница между формой и характеромъ); или, становясь на историческую точку зрѣнія, то настроеніе, которое живѣе пробуждается только при употребленіи языка, народная индивидуальность до нѣкоторой степени проявляетъ уже въ томъ первоначальномъ стремленіи, благодаря которому языкъ съ самаго начала создается и выстраивается изъ духа. Затѣмъ характеръ связанъ преимущественно съ примѣненіемъ и употребленіемъ наличной системы образованія. Онъ проявляется въ болѣе или менѣе видимомъ господствѣ правильныхъ и полныхъ грамматическихъ понятій и въ болѣе или менѣе тщательномъ распредѣленіи звуковыхъ формъ по грамматическимъ понятіямъ. Онъ проявляется въ той мѣрѣ, въ какой народности дѣлаютъ употребленіе изъ техническихъ средствъ своего языка, въ той, напримѣръ, мѣрѣ, въ какой онъ образуютъ составныя слова. А при болѣе тщательномъ разсмотрѣніи онъ проявляется особенно въ значеніи словъ, которое при сравненіи одного языка съ другимъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло повидному идетъ объ одномъ и томъ же понятіи, никогда вполне не совпадаетъ. Но еще болѣе проявляется интеллектуальное различіе между народностями въ строѣ рѣчи,—въ томъ объемѣ, какой могутъ принять его предложенія и въ многообразіи, которое можетъ быть достигнуто въ этихъ предѣлахъ. Наконецъ, въ языкахъ существуютъ два явленія, въ которыхъ сходятся все до сихъ поръ затронутыя стороны ихъ характера: характеръ этотъ проявляется полнѣе и яснѣе всего въ поэзіи и прозѣ—тѣхъ двухъ формахъ, въ которыхъ идея и дѣйствительность на базисѣ языка смыкаются двоякимъ образомъ въ единство болѣе высокое, чѣмъ самый организмъ языка ¹⁾).

¹⁾Einleitung § 20 стр. 195 и слѣд.

Этимъ философія языка незамѣтно переходитъ въ философію литературы и исторіи.

IV.

Идея языка и отдѣльные языки. Опытъ классификаціи.

Мы все болѣе приближаемся къ тому, что образуетъ исходный пунктъ «Введенія». Уже во всѣхъ прежнихъ рассужденіяхъ повсюду обращено было вниманіе на то, что всеобщій даръ слова принимаетъ различную національную и индивидуальную форму. Съ одной стороны можно сказать, что весь родъ человѣческой обладаетъ только однимъ языкомъ; однако съ другой стороны вѣрно и то, что всякій человѣкъ имѣетъ свой особый языкъ. Между этими двумя крайностями лежатъ круги національныхъ различій. Языкъ есть внѣшнее проявленіе народнаго духа. Национальность лучше всего, пожалуй, опредѣлить какъ группу людей, образующую свой языкъ по особому способу. И поэтому строеніе языковъ въ человѣческомъ родѣ различно — постольку, поскольку и самое духовное своеобразіе народовъ различно ¹⁾.

Если вмѣстѣ съ этимъ обратить вниманіе на единую, соединяющую всѣ языки связь и на выступающія въ предѣлахъ единства различія, то это необходимо приводитъ къ изслѣдованію отношенія, въ какомъ отдѣльные языки стоятъ другъ къ другу и къ идеѣ или конечной цѣли всѣхъ языковъ вообще. Гумбольдтъ очень рано началъ стремиться къ классификаціи всѣхъ языковъ; уже въ первой лингвистической программѣ онъ объявилъ объ этомъ своемъ намѣреніи ²⁾. Онъ указываетъ на него уже въ самомъ заглавіи, которое онъ далъ своей послѣдней большой лингвистической работѣ. Различія между языками и постоянное отношеніе языковъ къ идеѣ ихъ единства — такова его главная тема. Поэтому онъ находитъ возможнымъ разсматривать вообще различія между языками какъ ту силу, «съ какою врожденная всѣмъ людямъ способность рѣчи, въ зависимости отъ содѣйствія или препятствія, встрѣчаемаго въ присущей народамъ духовной силѣ, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ проявляется наружу». Если поэтому дѣло идетъ о болѣе точномъ обозначеніи этого различія, то языки необходимо измѣрять языкомъ вообще. Всякое внѣшнее мѣрило, взятое не изъ самой идеи языка, было бы неумѣстно и односторонне. Было бы, напримѣръ, неумѣстно въ основу дѣленія и классификаціи языковъ положить цивилизацію и культуру и согласно этому различать языки образованные и необразованные. Идея языка совпадаетъ съ идеєю

¹⁾ Einleitung, стр. 38, 203, 39.

²⁾ Ankündigung l. с. стр. 501.

совершенства языка. Слѣдовательно, различіе между языками — это «въ различной степени удавшееся стремленіе раскрыть идею совершенства языка въ дѣйствительности» ¹⁾).

Оцѣнка языковъ, исходящая изъ этой точки зрѣнія, упрощается тѣмъ, что на первый взглядъ сѣдалищемъ этого различія представляется только одинъ изъ обѣихъ факторовъ языка. Внутреннее чувство языка всегда собственно стремится къ одинаковости во внѣшнемъ выраженіи: чувство это основано на тѣхъ требованіяхъ, которыя мышленіе предъявляетъ къ языку, — слѣдовательно эта сторона въ своемъ первоначальномъ направленіи у всѣхъ людей, какъ таковыхъ, одинакова». Такимъ образомъ, въ противоположность этому, «истинно конститутивнымъ и руководящимъ принципомъ различія между языками» является звуковая форма. И это вполне естественно, ибо одинъ только дѣйствительный, физически формулированный звукъ составляетъ реальный языкъ, и самъ по себѣ онъ допускаетъ гораздо большее многообразіе. Онъ «находится въ зависимости отъ свойства органовъ, которые главнымъ образомъ участвуютъ въ образованіи алфавита, составляющаго основу всякаго языка». Далѣе, именно членораздѣльный звукъ «имѣетъ свои особые законы и обычаи, основанные отчасти на легкости, отчасти на благозвучіи произношенія; правда эти законы и привычки ведутъ къ нѣкоторому единообразію, однако въ частномъ примѣненіи они необходимо служатъ источникомъ различій». «Чувственные и тѣлесныя индивидуальныя явленія вытекаютъ изъ такого множества разнородныхъ причинъ, что опредѣлить всѣ ихъ особенности и оттѣнки рѣшительно невозможно» ²⁾).

Однако, это только кажется, будто всѣ языки по своимъ интеллектуальнымъ приѣмамъ другъ другу равны. Конечно, во внутренней сторонѣ языка мы видимъ нѣсколько большее однообразіе, чѣмъ во внѣшней; тѣмъ не менѣе и здѣсь по многимъ причинамъ возникаютъ значительныя различія. Интеллектуальная сила, творящая языкъ, уже по степени своей различна — и не по степени только: «здѣсь участвуютъ такія силы, продукты которыхъ разумомъ и одними понятіями измѣрить невозможно; фантазія и чувство создаютъ индивидуальныя образованія, въ которыхъ въ свою очередь отражается индивидуальный характеръ народа, и въ которыхъ, какъ во всемъ индивидуальномъ, многообразіе приѣмовъ, какими одно и то же содержаніе представлено въ различныхъ опредѣленіяхъ, простирается до безконечности». Мало того: различія имѣются и въ чисто-идеальной части языка, на самомъ дѣлѣ зависящей отъ сочетаній разума, — они происходятъ отъ того, что эти сочетанія бываютъ ино-

¹⁾ Einleitung, стр. 8—9, 18 и 10.

²⁾ Einleitung, стр. 306, 50, 87. 93—94.

гда неправильны или неудачны. Напримѣръ, даже въ столь совершенномъ въ другихъ отношеніяхъ санскритскомъ языкѣ чистѣ идеальное строеніе глагола не раскрылось творческому духу націи съ достаточною ясностью, — при этомъ безъ всякой вины со стороны звуковой формы ¹⁾).

Истинное положеніе дѣла, слѣдовательно, таково: различіе между языками основано столько же на звуковой формѣ, сколько на интеллектуальной. Оно должно быть обсуждаемо на основаніи общаго результата той силы, которая творитъ языкъ, — силы у разныхъ народностей различной. Оно проявляется въ характерѣ и способѣ соединенія внутренней формы съ вѣшной. Оно, однимъ словомъ, связано со всею формою или со всѣмъ организмомъ языковъ. Если же дѣло идетъ о сравнительномъ достоинствѣ отдѣльныхъ языковъ, то необходимо индивидуальную форму привести въ сравненіе съ наиболѣе завершеною изъ мыслимыхъ формъ, «и оцѣнивать преимущества и недостатки существующихъ языковъ по той степени, въ какой они приближаются къ этой единой формѣ ²⁾).

Однако, форма языка, если обратиться къ ея генезису, есть ни что иное какъ интенсивность и манера ея синтетическаго, т. е. спаивающаго мысль со звукомъ, процесса. Слѣдовательно, отъ силы, глубины и живости этого процесса зависитъ совершенство языка и всѣ особыя его достоинства ³⁾. Въ конкретныхъ его проявленіяхъ мы познали этотъ процессъ, какъ процессъ образованія корней, словъ и грамматическихъ формъ. Наиболѣе ясно онъ выступаетъ въ послѣднихъ двухъ образованіяхъ, гдѣ дѣло одновременно идетъ о процессѣ обозначенія понятій и категоризаціи ихъ. Этотъ процессъ, или какъ Гумбольдтъ довольно странно выражается, это «свойство» (Eigenschaft) различныхъ языковъ является тѣмъ «полюсомъ, вокругъ котораго вращается совершенство или несовершенство организма языка» ⁴⁾).

Наиболѣе чистый и совершенный методъ для достиженія того, что обозначено выше, — это методъ флексіи (Flexionsmethode). Характерная его особенность заключается въ полномъ сліяніи того, что выражаетъ понятіе съ обозначеніемъ той категоріи, въ какую оно ставится, — такъ что эта двойная операція представляется замкнутой въ себѣ, какъ нѣчто единое, и въ то же время открытою для потребностей рѣчи. Достигнуть этого можно двоякимъ образомъ. Лучшю всего намѣреніе — «сохранить тождественность слова и въ то же время представить его въ различной формѣ» — достигается первыимъ приемомъ, т. е.

1) Einleitung, стр. 94 и слѣд.

2) Ibid. стр. 306.

3) Ibid. стр. 253.

4) Einleitung, стр. 122.

внутреннимъ измѣненіемъ. Но оно можетъ быть достигнуто и другимъ образомъ, а именно самимъ по себѣ несамостоятельнымъ приростомъ, находящимся со словомъ во внутренней связи, или наращеніемъ (Anbildung). Что создаетъ единство—это въ обоихъ случаяхъ по существу своему символика, которая дѣйствуетъ при помощи и на основаніи способности разъясненія ¹⁾.

Этому методу и языкамъ, проникнутымъ имъ, противуполагаются языки, упорно «замыкающія», всѣ слова «въ ихъ коренныя формы». Синтетическая сила языка простирается вплоть до первоначальнаго сліянія звука съ мыслью, т. е. до образованія корней. Нѣтъ никакого указанія на категоріи словъ. Языкъ—такъ понимаетъ это Гумбольдтъ — предоставляетъ эту работу, которой онъ самъ на себя не принимаетъ, духу; у него имѣется почти одна только *grammaire sousentendue* ²⁾. Это явленіе извѣстно подъ именемъ изолированія (Isolierung) или дробленія звуковъ; примѣромъ его можетъ служить китайскій языкъ.

Кромѣ этого полнаго отсутствія всякаго признака категорій словъ съ одной стороны и истинною флексіей съ другой—существуетъ еще нѣчто третье—среднее между ними. А именно: употребляемое въ качествѣ флексіи словосложеніе; это—флексія, не достигшая завершенія,—пріемъ болѣе или менѣе механическій, въ отличіе отъ наращенія путемъ флексіи, которое всегда представляется процессомъ органическимъ. Это извращеніе второго пріема, какимъ флексивные языки пользуются съ цѣлью обозначенія категорій. Именно только въ такомъ видѣ, въ качествѣ чего-то «двойственнаго» (Zwitterwesen), Гумбольдтъ, въ своемъ «Введеніи», допускаетъ то, что обозначается агглютинаціей. Если онъ прежде ³⁾, хотя и не безъ оговорки, призналъ различіе между языками, которые знаютъ скопленіе (Aggregation) или составленіе, а не флексію—различіе, введенное въ употребленіе Фридрихомъ Шлегелемъ,—если онъ еще въ своей статьѣ «О возникновеніи грамматическихъ формъ» ⁴⁾ высказалъ совершенно ясно, что различіе между грамматически развитыми языками и тѣми, которые обладаютъ только зачатками или аналогіями грамматическихъ формъ, дѣйствительно абсолютное,—то теперь онъ даже порицаетъ Шлегелевское дѣленіе ⁵⁾ и, эти такъ называемые агглютинирующіе (приставочные) языки—такъ говорится во «Введеніи» ⁶⁾—отличаются отъ флексивныхъ языковъ не по роду, подобно языкамъ, отвергающимъ всякое обозначеніе категорій посред-

¹⁾ Ibid. стр. 124—132.

²⁾ Lettre à Abel-Rémusat, VII, 327. Einleitung. стр. 374.

³⁾ Mithridates, I. c. стр. 318.

⁴⁾ G. W. III, 302.

⁵⁾ Einleitung стр. 151. примѣч.

⁶⁾ Ibid. стр. 133.

ствомъ склоненія, а лишь по той степени, въ какой ихъ глухое стремленіе въ направленіи, свойственномъ языкамъ флексивнымъ, кончается неудачей».

Какъ бы то ни было: въ флексіи мы имѣемъ точное опредѣленіе наиболѣе совершенной формы языка; въ ней конкретно и наглядно проявляется синтетическій процессъ языка въ своей величайшей силѣ, глубинѣ и живости. Но сущность флексіи захватываетъ, конечно, весь организмъ языка. Стремленіе ея направлено было на сліянiе двойственнаго элемента въ единое цѣлое, она, слѣдовательно, самымъ тѣснымъ образомъ связана съ единствомъ слова (Wortseinheit). Съ другой стороны, ея стремленіе направлено было на то, чтобы вывести слово изъ его оцѣненнаго состоянія, чтобы обозначенное понятіе сдѣлать способнымъ стать въ отношеніе со всѣмъ составомъ рѣчи и приладиться къ нему, — она, слѣдовательно, находится въ самой тѣсной связи со строеніемъ рѣчи и способствуетъ болѣе свободному и надлежаще расчлененному образованію предложений¹⁾. Процессъ языка, такъ ясно обнаруживающійся въ флексіи, проявляется въ методѣ образованія предложений какъ бы въ болѣе широкой сферѣ. Подобно тому какъ флексія (или при сравненіи съ флексіей — отсутствіе флексіи или ея суррогатъ) раскрыла силу синтеза языка, точно также сила эта еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ, такъ сказать, въ еще болѣе удобочитаемыхъ письменахъ — становится очевидно въ образованіи предложений. Образование предложений является такимъ образомъ не столько новымъ, сколько увеличеннымъ мѣриломъ относительнаго достоинства различныхъ языковъ. — слѣдовательно, и новымъ опорнымъ пунктомъ для дѣленія и классификаціи ихъ. Съ болѣе широкой точки зрѣнія это сейчасъ установленное дѣленіе будетъ отчасти съизнова мотивировано, отчасти измѣнено, отчасти же восполнено и расширено.

Наиболѣе правильный приѣмъ для построенія и расчлененія предложения исходитъ конечно изъ истинной флексіи. Если даже исходить изъ метода образованія предложений, то флексированные языки занимаютъ первое или скорѣе — особое мѣсто. Уже изъ составъ слова вносятъ эти языки его отношеніе къ предложенію; именно при помощи флексіи они тщательно готовятъ слово къ образованію предложения, и изъ словъ, такимъ образомъ подготовленныхъ, предложеніе возникаетъ у нихъ безъ всякаго труда — какъ бы само собою. Этими они избавлены отъ тягостной необходимости оберегать предложеніе въ цѣломъ, какъ отдѣльное слово. Они могутъ спокойно относиться къ его распаденію на отдѣльныя части, въ какихъ оно, по своей природѣ, представляется разуму, —

¹⁾ Einleitung, стр. 135.

ибо они совершенно увѣрены, что легко съумѣютъ привести эти части къ единству ¹⁾).

Другой методъ образованія предложеній исходитъ изъ изолированія. По скольку дѣло идетъ о предложенія, изолирующіе и флексирующіе языки не только не противоположны другъ другу, но даже имѣютъ между собою нѣчто общее. И въ главномъ представителѣ изолирующихъ языковъ — китайскомъ — предложеніе распадается на свои отдѣльныя части, пожалуй, еще болѣе рѣзко, ибо слова совершенно разъединены между собою. Это и есть то, что въ нихъ общее. Однако съ другой стороны китайскій языкъ держитъ всякое коренное слово въ оцѣпенѣлой неподвижности; вслѣдствіе этого чувство единства предложенія выражается въ немъ только въ весьма недостаточной степени; формировка предложеній отдалается по возможности меньше отъ формъ математическихъ уравненій. Построеніе цѣлаго предложенія изъ его отдѣльныхъ частей предоставлено главнымъ образомъ разсудку, и въ этомъ такіе языки ему помогаютъ частью беззвучными средствами, какъ напримѣръ, размѣщеніемъ словъ, частью особыми, опять таки разрозненными словами ²⁾). Въ этомъ ясно обнаруживается противоположность между флексирующими и изолирующими языками.

Наконецъ третій методъ образованія предложеній противопологается этимъ обоимъ методамъ, въ особенности методу флексирующихъ языковъ. Это — методъ всесовокупленія (*Einverleibung*). Исходнымъ пунктомъ является не отдѣльное, а цѣлое; предложеніе со всеми его необходимыми частями разсматривается не какъ цѣлое, составленное изъ словъ, а какъ одно отдѣльное слово; всему предложенію придается форма, произносимая въ одинъ приѣмъ. Основной способъ представленія состоитъ здѣсь въ томъ, что предложеніе не выстраивается постепенно изъ отдѣльныхъ частей, а дается сразу какъ форма, отмѣченная единствомъ. Въ дальнѣйшемъ Гумбольдтъ демонстрируетъ этотъ методъ совокупленія на мексиканскомъ языкѣ ³⁾).

Вотъ до какихъ размѣровъ распространяется мотивъ, заимствованный изъ метода образованія предложеній. Онъ сосредоточиваетъ свое вниманіе на новой характеристической формѣ, проникающей весь организмъ языка, — на методѣ совокупленія: съ прежней точки зрѣнія, на основаніи одного лишь разсмотрѣнія способа обозначенія отношеній, онъ не могъ быть понятъ. А съ другой стороны, съ точки зрѣнія образованія предложеній, исчезаетъ важность — и помимо того лишь относительная — другой характеристичной формы, которая съ прежней

¹⁾ Ibid. стр. 135, 166, 7, 186.

²⁾ Einleitung, 166, 167. Lettres à Abel Rémusat, G. W. VII, въ особ. стр. 307 и слѣд.

³⁾ Einleitung, стр. 166 и слѣд.

точка зрѣнія обращала на себя особое вниманіе — именно, метода приставокъ (Agglutination). Остается во всякомъ случаѣ вѣрнымъ то, что различный методъ для обозначенія отношеній или же полное его отсутствіе находится въ неразрывной связи съ методомъ образованія предложеній, — и наоборотъ. Гумбольдтъ въ самомъ дѣлѣ изображаетъ вліяніе пріема всесокупленія на методъ обозначенія отношеній; но онъ точно такимъ же образомъ могъ бы, наоборотъ, представить вліяніе пріема агглютинаціи (приставокъ) на методъ образованія предложеній. Связь между обоими мотивами дѣленія стала бы тогда яснѣе; основаніе соединять одно дѣленіе съ другимъ выступило бы тогда съ полною ясностью. Теперь же это сочетаніе мотивируется одною только въ общемъ доказанною связью между обозначеніемъ отношеній и образованіемъ предложеній, и именно съ этой точки зрѣнія надо смотрѣть на то единственное мѣсто, въ которомъ Гумбольдтъ дѣйствительно соединяетъ оба дѣленія въ одно и представляетъ образованіе предложеній высшимъ принципомъ для этого одного дѣленія. Для того, чтобы достигнуть образованія предложенія, какъ осторожно выражается Гумбольдтъ, онъ въ общемъ выставилъ четыре возможныя формы языковъ: изолирующую, флексирующую агглютинирующую, приставочную и всесокупающую ¹⁾.

Чтобы не запутаться въ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ нашего автора, мы должны твердо держаться двухъ вещей. При обзужденіи различій между языками Гумбольдтъ принимаетъ во вниманіе методъ обозначенія отношеній и методъ образованія предложеній, лишь по столько, по сколько въ нихъ обнаруживаются сила и характеръ синтетическаго процесса языка. Если имѣть это въ виду, то вышеприведенныя разсужденія ничего не теряютъ въ своемъ значеніи отъ того, что затѣмъ въ другихъ мѣстахъ онъ ищетъ проявленій синтетическаго процесса еще и въ другихъ сторонахъ языка и учитъ оцѣнивать его съ этой точки зрѣнія. Одно дѣло изучать силу и живость этого процесса на всемъ конкретномъ явленіи словопроизводства и образованія предложеній, другое дѣло — обращать вниманіе на отдѣльные критеріи и симптомы, въ которыхъ природа этого процесса проявляется особенно рѣзко и наглядно. Дѣлать послѣднее вовсе не значитъ уничтожать смыслъ словопроизводства и образованія предложеній, какъ мѣрилъ оцѣнки языковъ, а лишь облегчить эту оцѣнку для цѣлей историческаго и практическаго изслѣдованія. Такова повидимому ²⁾ точка зрѣнія, съ

¹⁾ Einleitung стр. 308. буквально: „для того, чтобы достигнуть (zum Erreichung) образованія предложенія, мы, кромѣ китайскаго языка, сбходящагося безъ всякихъ грамматическихъ формъ, установили три возможныя формы языковъ: флексирующую, агглютинирующую и всесокупающую.

²⁾ Einleitung, стр. 256.

которой затѣмъ выдвигаются три пункта какъ такіе, въ которыхъ синтезъ языка выступаетъ наружу болѣе открыто и непосредственно. Именно потому эти три пункта и не являются чѣмъ-то лежащимъ внѣ сферы образованія словъ и предложений, — они суть необходимые элементы обиха; это — явленія, въ которыхъ синтетическая дѣятельность, проявляющаяся во всей области образованія словъ и предложений, сосредоточивается какъ бы въ одномъ пунктѣ и выступаетъ поэтому особенно рѣзко и осязательно. Это именно: глаголѣ, союзъ и относительное мѣстоимѣніе ¹⁾). Подобно тому какъ путемъ анализа корнеобразованія, этимологіи творчества формъ и соединенія предложений, была, такъ сказать, раскрыта вся глубина языка и его синтетического процесса, точно также особымъ разсмотрѣніемъ указанныхъ трехъ пунктовъ черезъ весь языкъ какъ бы проводится поперечный разрѣзъ; особеннаго удивленія заслуживаетъ то разсужденіе, въ которомъ глаголѣ по своей формѣ и функціи, а также и въ соединеніи того и другого, характеризуется какъ истинное средоточіе всего предложенія, вносящее въ него жизнь, а по внутренно единой символиѣ своей формы и по своей подвижности онѣ характеризуется какъ истинный первѣ всего языка. Не менѣе глубокомысленно и остроумно связанная съ этимъ попытка дѣйствительно представить и оцѣнить отдѣльные языки, основываясь на свойствахъ ихъ глагола.

Но если вышеуказанныя дѣленія этимъ не устраняются, то они во всякомъ случаѣ должны повидимому уничтожиться рядомъ другихъ разсужденій. Чтобы не сбиться съ толку, слѣдуетъ еще имѣть въ виду, что до этого дѣйствительно исчерпывающая и окончательная классификація языковъ не входила въ намѣренія Гумбольдта, — дѣло шло только объ установленіи одной изъ формъ языка, какъ высшаго масштаба, которымъ могли бы быть измѣрены отдѣльные языки, если бы желательно было привести ихъ подѣ общее сравненіе. И въ самомъ дѣлѣ, такая форма языка найдена и представлена выше: это та, которая вся находится подѣ господствомъ метода флексіи. Исходя изъ идеи языка, мы пришли къ тому выводу, что одинѣ лишь методѣ флексіи заключаетъ въ себѣ принципъ строенія языка въ чистомъ видѣ ²⁾). Онѣ одинѣ даетъ слову, какъ со стороны звуковъ, такъ и со стороны ихъ смысла, настоящую внутреннюю крѣпость и синтетическое единство ³⁾). Онѣ одинѣ свободно отдѣляетъ другъ отъ друга части предложенія, соотвѣтственно необходимымъ сочетаніямъ мыслей, — и въ то же время держитъ всѣхъ

¹⁾ Ibid. стр. 256 и слѣд.

²⁾ Einleitung, стр. 192.

³⁾ Einleitung, стр. 192.

ихъ вмѣстѣ, какъ нѣчто единое. Въ немъ одномъ синтетическая сила, образующая языкъ, проявляется въ своей высшей энергій, и это весьма ясно распознается въ свойствѣ глагола, союза и относительнаго мѣстоимѣнія. Наконецъ, опъ одинъ—если мы заранѣе позволимъ себѣ ввести сюда историческій мотивъ—вносить въ языкъ плодотворный и устойчивый жизненный принципъ, и такого рода языкъ производить вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе благопріятное вліяніе на духовное развитіе націй. И далѣе, флексивный методъ, безъ всякаго сомнѣнія, не только представляется какъ абсолютный принципъ языка вообще,—этотъ идеаль языка осуществленъ въ дѣйствительности. Чтобы какая нибудь изъ наличныхъ группъ языковъ или даже хотя бы только отдѣльный языкъ во всѣхъ пунктахъ соответствовалъ совершеннѣйшей формѣ языка,—этого, правда, мы въ предѣлахъ нашего опыта не находимъ; однако, языки санскритскіе (а рядомъ съ ними, хотя и въ низшей степени—семитическіе языки) наиболѣе приближаются къ этой формѣ и суть именно тѣ, въ которыхъ духовное образованіе человѣческаго рода наиболѣе удачно развилось путемъ длиннаго ряда поступательныхъ движеній ¹⁾.

Если считать это установленнымъ, то разумѣется само собою, что то, что намъ до сихъ поръ представлялось какъ классификація всѣхъ языковъ, весьма приближается въ своемъ значеніи. Если дѣло идетъ о дѣйствительномъ раздѣленіи, то Гумбольдтъ прежде всего предлагаетъ вотъ какое: существуютъ нѣсколько языковъ въ высокой степени приближающихся къ современной формѣ языка; а остальные въ такой же степени уклоняются отъ чистаго принципа, вытекающаго изъ истинной сущности языка ²⁾. Иначе говоря, санскритскіе языки служатъ твердымъ пунктомъ при сравненіи съ ними всѣхъ остальныхъ языковъ; остальные языки стремятся къ той же конечной цѣли, но достигаютъ этой цѣли не въ той же мѣрѣ или же неправильными путями ³⁾. «Между языками чисто закономѣрной формы и тѣми, которые уклоняются отъ этой чистой закономѣрности, существуетъ» — Гумбольдтъ указываетъ на это весьма настойчиво—«рѣшительная противоположность». Эти уклоненія, прибавляетъ онъ, безконечно многообразны, и потому кругъ этого рода языковъ «не можетъ быть исчерпанъ и классифицированъ на основаніи какихъ либо принциповъ» ⁴⁾. Если тѣмъ не менѣе вѣрно то, что методъ для обозначенія отношеній, а еще болѣе методъ для образованія предложеній служатъ мѣриломъ для опредѣленія ихъ отношенія къ чистому принципу языка,

¹⁾ Ibid. стр. 192. 307—308.

²⁾ Einleitung стр. 193.

³⁾ Ibid. стр. 308.

⁴⁾ Ibid. стр. 313.

мотива, посредствомъ этого именно добытому, то какое же, спрашивается, значеніе приобретаютъ вышеуказанныя категоріи дѣленія—изолированіе, агглютинація и всесовокупленіе, намѣченныя съ этой точки зрѣнія? Флективная форма, отвѣчаетъ на это Гумбольдтъ, также какъ агглютинирующая и всесовокупляющая суть абстрактныя категоріи. «Всѣ языки заключаютъ въ себѣ одну или многія изъ этихъ формъ, и для оцѣнки ихъ относительныхъ достоинствъ рѣшающее значеніе имѣетъ то, въ какомъ видѣ эти отвлеченныя формы восприняты въ ихъ конкретныя формы, или точнѣе,—что служить основаніемъ этого воспріятія или смѣшенія» ¹⁾.

Легко замѣтить, что именно страхъ передъ всякой систематикой, на который намъ приходилось указывать въ прежнихъ отдѣлахъ, и связанное съ этимъ пристрастіе и бережное вниманіе ко всему особенному и индивидуальному приводятъ Гумбольдта къ разрушенію всѣхъ прежнихъ его попытокъ дѣленія. Онъ вполне способенъ понять и характеризовать отдѣльные языки во всѣхъ ихъ особенностяхъ; но онъ вовсе не пригоденъ для того, чтобы произвести принципиальное раздѣленіе всей области языка и твердо придерживаться этого раздѣленія. Даже попытки дѣленія, приведенныя выше, удались ему только потому, что онъ могъ при этомъ опереться на конкретные языки, и это же именно послужило въ отрицательномъ смыслѣ причинойъ того, что характеристика агглютинаціи вышла по сравненію съ характеристикой другихъ категорій явно поверхностною. Даже построеніе абсолютнаго мѣрила едва ли далось бы ему съ такою легкостью, еслибы онъ въ конкретной группѣ языковъ—именно, въ санскритскихъ—не нашель формы, вторая потому совершенно почти совпадаетъ съ флексивною, что въ этихъ языкахъ онъ собственно и открыль флексивную форму, отсюда же онъ извлекъ и ея характеристику. Несомнѣнно, что все то, что у Гумбольдта можетъ быть обозначено какъ истинная классификація языковъ, покоится на совпаденіи общихъ категорій съ индивидуальными, конкретными языками. Поскольку такое совпаденіе имѣетъ мѣсто, постольку же существуетъ у Гумбольдта классификація—не болѣе.

Рядомъ съ тѣмъ фактомъ, что флективная форма въ санскритскихъ языкахъ представляется классическимъ явленіемъ, существуетъ еще другой: еще одна изъ абстрактныхъ формъ языка непосредственно совпадаетъ съ его конкретной формой: а именно, прямо противоположный методу флексіи, методъ изолированія находитъ себѣ почти чистое выраженіе въ китайскомъ языкѣ. Благодаря этому и только этому, для Гумбольдта становится возможной истинная классификація. Во всей совокупности не-санскритскихъ языковъ китайскій языкъ занимаетъ особое мѣсто, какъ отдѣльный самъ по себѣ

¹⁾ Einleitung, стр. 308.

существенный видъ. О немъ нельзя даже сказать того, что о другихъ,— что онъ стремится къ абсолютной, т. е. флексивной формѣ. «Всѣ прочіе не флексивные языки, хотя они и выказываютъ весьма сильное стремленіе къ флексіи, остаются, однако на полпути, не достигнувъ цѣли; одинъ лишь китайскій языкъ, совершенно оставляя этотъ путь, проводитъ свой основной принципъ до конца». Такимъ образомъ его недостатокъ прямо превращается въ достоинство. Чѣмъ менѣе у него внѣшней грамматики, тѣмъ болѣе за то внутренней; ибо онъ вынуждаетъ умъ тѣ грамматическія отношенія, для которыхъ у него нѣтъ звукового выраженія, «соединять со словами болѣе утонченнымъ образомъ—притомъ такъ, что не будучи собственно вложенными въ самыя слова, эти отношенія все же чувствуются въ нихъ». Такимъ образомъ онъ отличается отъ санскритской группы языковъ своимъ прямо противоположнымъ характеромъ, а отъ не-санскритской — послѣдовательностью и правильностью своей особой грамматической системы ¹⁾.

Очевидно, это изолированное положеніе китайскаго языка до нѣкоторой степени суживаетъ то утвержденіе, что флексивная санскритская форма является абсолютною нормою для оцѣнки языковъ,— ибо, строго придерживаясь этого утвержденія, должно было бы безъ оговорокъ счесть китайскій языкъ наименѣе совершеннымъ изъ языковъ. Что онъ «какъ языкъ» стоитъ ниже санскритскихъ и семитическихъ,—это Гумбольдтъ признаетъ ²⁾, и по стольку нормальный масштаб находитъ свои примѣненія также и по отношенію къ нему. Однако, если оставить въ сторонѣ тѣ соображенія, на которыя нами указано было выше, то становится яснымъ, что именно понятіе «внутренней грамматики», т. е. различеніе между духомъ и языкомъ и углубленіе въ то, что стоитъ за языкомъ, препятствуетъ Гумбольдту примѣнить это мѣрило въ полности и повсюду; но съ другой стороны лишь благодаря этому становится возможна конкретная классификація. Именно слѣдующимъ образомъ.

Во всей извѣстной намъ области языка китайскій и санскритскій образуютъ, по воззрѣнію Гумбольдта, двѣ твердыя конечныя точки, равныя другъ другу, если и не по годности своей для цѣлей духовнаго развитія, то во всякомъ случаѣ по внутренней послѣдовательности и законченности своихъ системъ». Всѣ прочіе языки находятся на срединѣ между этими конечными точками, такъ какъ всѣ они необходимо приближаются либо къ китайскому выдѣленію (*Entblössung*) словъ изъ ихъ грамматическихъ отношеній, либо къ тѣсному сплоченію всѣхъ звуковъ, обозначающихъ отношеніе». Всѣ они стремятся къ истинной грамматической формировкѣ, т. е. къ санскрит-

¹⁾ Einleitung стр. 329 и слѣд. *Lettres à Abel Rémusat*, G. W. VI 331 и слѣд.

²⁾ Einleitung стр. 331

скому строению и образуютъ такимъ образомъ третью большую группу; группа эта, однако, крайне неопредѣленна, ибо всѣмъ отнесеннымъ сюда языкамъ общи только отрицательныя качества, а именно: всѣ они не обходятся безъ нѣкотораго грамматическаго обозначенія и не обладаютъ флексіей ¹⁾).

Если такимъ образомъ для всей большой массы языковъ, образующей этотъ третій *γένος ἀόριστον*, флексія очевидно снова получаетъ значеніе абсолютнаго мѣрила, то по отношенію къ нимъ возникаетъ также вопросъ о дальнѣйшей классификаціи. Возникаетъ вопросъ, не являются ли эти языки, занимающіе середину, другъ по отношенію къ другу и по отношенію къ нормальной формѣ, какъ бы постепенными приближеніями къ этой послѣдней? ²⁾. Отвѣтъ Гумбольдта въ существѣ своемъ гласитъ такъ же, какъ и раньше. Онъ рѣшительно не желаетъ быть плохимъ рубакой, который разсѣкаетъ члены, вмѣсто того чтобы разложить ихъ въ томъ порядкѣ, какъ они росли. Конкретныя формы различныхъ человѣческихъ языковъ являются живымъ продуктомъ. свойственнаго всѣмъ народностямъ. внутренняго стремленія проявить наружу присущее имъ чувство языка и встрѣчаемыхъ ими на этомъ пути препятствій, лежащихъ отчасти въ нихъ самихъ, отчасти въ окружающихъ условіяхъ. Поэтому всякая конкретная форма языка въ своихъ уклоненіяхъ отъ правильнаго строенія «всегда заключа-етъ въ себѣ въ одно и то же время отрицательную часть, означающую границы, и часть положительную, приводящую то, что не исполнѣ достигнуто, къ общей цѣли». Въ отрицательной части, «можно было бы себѣ, пожалуй, представить извѣстнаго рода постепенность въ той мѣрѣ, въ какой хватало у языка творческой силы. Положительная же часть, въ которой даже у менѣ совершенныхъ языковъ часто встрѣчается весьма искусственное строеніе, далеко не всегда допускаетъ такія простыя опредѣленія». А разъ нельзя установить никакихъ ступеней, то должно также «усомниться въ возможности исчерпывающей классификаціи языковъ» — тѣмъ болѣе, что при те-перешнемъ состояніи языкознанія даже внѣшняя эмпирическая основа для этого недостаточна. Единственно что можно было бы установить, — это классификацію «опредѣленныхъ цѣлей, при томъ условіи, что бы за основаніе дѣленія приняты были частныя явленія въ языкахъ». Наиболѣе благовиднымъ такое дѣленіе будетъ въ томъ случаѣ, если главное вниманіе будетъ направлено на пункты, «которые находятя въ наиболѣе близкой связи съ духовнымъ стремленіемъ». Съ этой именно стороны намъ представлены были выше свойства глагола. Поэтому Гумбольдтъ какъ бы для примѣра рѣшается въ концѣ

¹⁾ Einleitung стр. 333—334; Lettres à Abel Rémusat, G. W. VI 331—332; Kawi-Sprache т. III стр. 524.

²⁾ Einleitung стр. 334.

концовъ испытать свойства глагола въ качествѣ основанія для дѣленія и характеристики. Однако эта попытка въ сущности превращается у него въ характеристику одного только барманскаго языка; и если даже этимъ въ нѣкоторой степени достигается дѣйствительное дѣленіе, то послѣ всего сказаннаго разумѣется само собою, что дѣленіе это не является ни исчерпывающимъ, ни единственнымъ ¹⁾).

Общій выводъ изъ всего сказаннаго. Если бы насъ кто либо спросилъ, какова Гумбольдтовская классификація языковъ, то мы бы ему сказали, что Гумбольдтъ занимался различіями между языками вовсе не съ цѣлю систематическаго раздѣленія послѣднихъ, — онъ только старался, исходя изъ общей идеи языка, оцѣнить относительное достоинство каждаго отдѣльнаго языка, а съ тѣмъ вмѣстѣ найти высшій и твердый пунктъ для сравненія всѣхъ ихъ между собою; пунктъ этотъ онъ усматривалъ въ томъ строеніи рѣчи, которое всецѣло проникнуто флексіей. Между тѣмъ, по мѣрѣ его исканій ему постепенно представились четыре формы или метода въ приемахъ языка, которые могли бы служить абстрактными полюсами для таковаго сравненія. Не въ качествѣ группъ языка выставилъ онъ изолирующую, флексивную, агглютинирующую и всесокупающую формы, а въ качествѣ отвлеченныхъ формъ, которыя то въ болѣе, то въ менѣе чистомъ видѣ, въ разныхъ видоизмѣненіяхъ и съ разными примѣсями встрѣчаются въ конкретныхъ языкахъ, — и этимъ онъ уклонился отъ всѣхъ тѣхъ, которые до него употребляли эти названія. Къ истинному же дѣленію языковъ онъ пришелъ только тогда, когда нашелъ, что санскритскій языкъ представляетъ почти въ чистомъ и совершенномъ видѣ флексивную форму, а китайскій языкъ стль же совершенно изолированную форму языка. Только тогда его стремленіе оцѣнить относительныя достоинства различныхъ языковъ, слѣдуя высшей твердо стоящей нормѣ, соединилось у него со стремленіемъ классифицировать конкретныя и дѣйствительныя языки, и въ результатѣ этого явилось слѣдующее опредѣленіе: языки китайскій и санскритскій суть два прямо противоположныхъ

1) Мнѣ кажется, что это упускается изъ виду Штейнгалемъ, который (Klassifikation стр. 52) на основаніи вышеприводимыхъ мѣстъ считаетъ себя вправѣ выставить схему классификаціи и усматривать въ этомъ *Entwickelung der Schrift* стр. 13) изложеніе „истинно Гумбольдтовской классификаціи“. Вся попытка представить „κόσμος міра звуковъ“ въ формѣ замкнутой схемы обнаруживаетъ только до какой степени авторъ находился подъ господствомъ понятія организма, т. е. подъ вліяніемъ Гегелевскихъ воззрѣній. Но насколько однако мы вполне согласны съ Штейнгалемъ во всѣхъ прочихъ пунктахъ его пониманія и критики Гумбольдтовскаго воззрѣнія на дѣленіе языковъ, — совершенно ясно изъ всего нашего изложенія. Срвн. впрочемъ *Einleitung* стр. 334—338 и слѣд.; *Lettre à Abel-Rémusat*, G. W. VII 332—333.

другъ другу полюса; между этими двумя крайностями не существуетъ ни одного языка, ясно организованнаго и совпадающаго притомъ съ какою либо изъ абстрактныхъ формъ. Въ этой средней, такъ сказать, помѣсной группѣ, господствуютъ, смѣшиваясь между собою, изолирование, агглютинація, флексія и всесовокупленіе. При этомъ въ общемъ обнаруживается постепенно возрастающая тенденція къ флексивной формѣ; однако, твердо установить эти ступени, обозрѣть ихъ и привести въ порядокъ невозможно. Всякая попытка, направленная на то, чтобы расположить ихъ въ извѣстномъ порядкѣ или группировать необходимо окажется одностороннею и только относительно правильною. Ясно — съ этимъ мы отпустили бы вопрошающаго — что нигдѣ результатъ Гумбольдтовскихъ изысканій въ области языкознанія не является столь труднымъ для пониманія и столь мало устойчивымъ, какъ въ отдѣлѣ о классификаціи языковъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ никакой отдѣлъ не является столь характернымъ для самого Гумбольдта: глубокое пониманіе всего общаго борется у него съ тонкимъ пониманіемъ частнаго; стремленіе къ классификаціи прорывается у него много разъ, но чрезмѣрная осмотрительность въ связи съ его чуткостью ко всему индивидуальному беретъ верхъ и оставляетъ попытки дѣленія незавершенными.

У.

Языкъ и исторія.

Во всей попыткѣ разсматривать различные языки какъ постепенное восхожденіе къ совершенной формѣ языка выступаетъ еще другая сторона. Языки суть созданія націй и различныхъ духовныхъ особенностей ихъ. Но націи поставлены во времени и развиваются исторически. Общечеловѣческое не только возвышается надъ всѣми національными особенностями въ качествѣ идеальной объединяющей связи, — оно проявляетъ себя также, сознательно и безсознательно, какъ историческая сила. Всякій отдѣльный языкъ имѣетъ исторію, которая самымъ рѣшительнымъ образомъ препятствуетъ рѣзкому и абсолютному отдѣленію этого языка отъ всѣхъ остальныхъ. Можно съ чисто идеальной точки зрѣнія видѣть въ языкахъ постепенно возрастающее приближеніе къ наиболѣе человѣческой формѣ языка, наиболѣе соответствующей идеѣ языка. Но можно и должно также стараться отдать себѣ отчетъ въ томъ, поскольку это поступательное движеніе представляется въ то же время преемственно-историческимъ развитіемъ языка, или, другими словами, поскольку классификація языковъ является въ то же время исторіей языка.

Само собою разумѣется, что такой человѣкъ какъ Гумбольдтъ

былъ очень далекъ отъ умозрительнаго отождествленія идеальной точки зрѣнія съ историческою. Последняя была ему вообще чужда, и онъ чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе замыкался исключительно въ первую. Если въ его наиболѣе раннихъ, читанныхъ въ академіи, лингвистическихкихъ работахъ выступала особенно сильно историческая сторона, то во «Введеніи къ языку Кави» онъ отодвинулъ ее на задній планъ ¹⁾. Однако, Гумбольдтъ имѣлъ въ виду объ эти точки зрѣнія, фактически дополняющія другъ друга. Въ одномъ мѣстѣ «Введенія» ему приходится разсматривать идеальную лѣстницу языковъ во временно-исторической проекціи, поэтому мы считаемъ необходимымъ представить Гумбольдтовское воззрѣніе на этотъ предметъ въ общей связи. Задача наша заключается въ томъ, чтобы выдвинуть въ достаточной мѣрѣ осмотрительность и колебанія Гумбольдта въ этомъ вопрѣсѣ.

Прежде всего самъ Гумбольдтъ въ разнообразнѣйшихъ выраженіяхъ указываетъ на то, что уже изъ самого понятія языка, какъ вѣчно живаго творчества, вытекаетъ, что всякій языкъ имѣетъ историческое развитіе. Всѣ языки представляются намъ въ извѣстной «исторической средѣ». Всякій изъ нихъ, «подобно самому человѣку, есть нѣчто безконечное, постепенно развивающееся во времени». Какъ со стороны прошлаго, такъ и со стороны будущаго всякій языкъ заключаетъ въ себѣ таинственную нераскрытую глубь. Въ языкахъ, «подобно тому какъ и въ неугасимо теплящемся мышленіи самихъ людей, не можетъ быть истиннаго покоя ни на одинъ мигъ; языкъ по самой своей природѣ представляется непрерывнымъ развитіемъ, совершающимся подъ вліяніемъ духовной силы каждаго изъ говорящихъ ²⁾. Зачатки этой исторіи языковъ недоступны для нашего изслѣдованія. Съ прошлымъ языковъ-можно познакомиться лишь до извѣстной степени; а затѣмъ, невѣдомое богатство, изъ котораго они проистекаютъ, исчезаетъ изъ виду, оставляя въ насъ только чувство своей неизмѣримости. Для насъ существуетъ первоначальная коренная форма языка, за предѣлы которой мы проникнуть не можемъ — тѣмъ болѣе, что кругъ этихъ первоначальныхъ формъ, по видимому, замкнутъ, и въ томъ положеніи. въ какомъ мы находимъ теперь развитіе человѣческихъ силъ, онъ снова открыться не можетъ; весьма вѣроятно, что для возникновенія новыхъ языковъ предназначена была въ человѣческомъ родѣ одна какая нибудь эпоха ³⁾. «Замѣчательно то», говоритъ Гумбольдтъ въ статьѣ о сравнительномъ языковознаніи, «что ни одинъ изъ языковъ не найденъ былъ за пре-

¹⁾ См. въ особ. Einleitung стр. 17 и 334.

Ibid. стр. 211, 63, 188—189.

²⁾ Einleitung стр. 63, 12.

дѣлами полной грамматической формировки, ни одинъ изъ нихъ не былъ захваченъ во время процесса образованія его формъ». Для того, чтобы проникнуть въ первоначальную исторію языковъ, которая тутъ же сравнивается съ доисторическими превращеніями нашего земного шара, существуетъ только одинъ путь — путь, аналогичный попыткамъ геологій освѣтить первоначальную исторію творенія. Исходя изъ общей сущности человѣка, изъ идеальной природы языка, Гумбольдтъ со свойственной ему осторожностью дѣлаетъ догадки относительно этого первоначальнаго періода организаціи. Языкъ есть организмъ; поэтому онъ можетъ возникнуть только сразу. Онъ въ каждый отдѣльный моментъ своего существованія долженъ обладать тѣмъ, что превращаетъ его въ нѣчто цѣльное — однако такъ, чтобы весь его организмъ въ своей потенціи установлезъ былъ съ перваго же слова, — что бы онъ въ формѣ закона обуславливалъ функція мышленія, т. е. такъ, чтобы дѣйствительное возникновеніе языка во всякомъ случаѣ совершалось «только постепенно» ¹⁾. Слѣдуя этому, Гумбольдтъ считаетъ всякое стремленіе опредѣлять время образованія существенныхъ элементовъ рѣчи нелѣпостью ²⁾, но въ то же время онъ, исходя изъ природы разумнаго дѣянія, которое онъ кладетъ въ основу генетическаго объясненія языка, — вынужденъ опредѣлять нѣкоторыя части языка какъ болѣе раннія, нежели другія. Такъ, онъ показываетъ, что основное понятіе трехъ личныхъ мѣстоименій дано самою природою языка, что они при помощи языка, какъ таковаго, обозначаютъ коренныя, необходимыя условія дѣятельности: поэтому, мѣстоименіе не могло развиться въ позднѣйшее время, а должно было существовать уже съ самаго начала ³⁾. Онъ повторяетъ это во «Введеніи» ⁴⁾. Обозначеніе трехъ лицъ посредствомъ схемы пространства, времени и степени воспріятія онъ считаетъ кореннымъ и прибавляетъ, что по всѣмъ вѣроятіямъ къ мѣстоименіямъ непосредственно примкнули предлоги и междометія. Онъ идетъ даже далѣе: различая вмѣстѣ съ Боппомъ объективные и субъективные корни, онъ считаетъ субъективные корни, т. е. тѣ, въ которыхъ главное значеніе имѣеть выраженіе или отношеніе къ чувствующей личности, болѣе ранними, нежели объективные. Эти субъективные корни, «выработаны, повидимому, самимъ языкомъ; ихъ смыслъ не допускаетъ никакого расширенія, а является повсюду рѣзкимъ выраженіемъ индивидуальности; первоначально это именно необходимо было говорящему и въ нѣкоторой степени могло оказаться достаточнымъ вплоть до времени завершенія

¹⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium, G. W. III 242, 243, 253.

²⁾ Ueber die Verwandtschaft etc. *ibid.* стр. 3.

³⁾ Ueber die Verwandtschaft etc. стр. 2, 3.

⁴⁾ *ibid.* стр. 115.

постепеннаго развитія языка: поэтому оно... указываетъ на первобытное состояніе языковъ». Затѣмъ наконецъ столь же ранними онъ считаетъ понятія движенія и качества, такъ какъ они опираются наиболѣе непосредственно на внутреннее ощущеніе и находятся поэтому съ субъективными элементами въ наиболѣе тѣсной связи. — «Изъ самаго характера развитія языка, говоритъ онъ, вытекаетъ, что даже съ исторической точки зрѣнія понятія движенія и качества должны были прежде всего другого получить выраженіе въ языкѣ, потому что они же, вслѣдъ за своимъ образованіемъ и часто даже въ самомъ актѣ образованія, въ свою очередь должны были служить для обозначенія предметовъ въ коренныхъ словахъ» ¹⁾.

Однако эти послѣднія опредѣленія выводятъ уже пожалуй за предѣлы первоначально организаціоннаго процесса языковъ. Въ самомъ дѣлѣ, Гумбольдтъ много разъ самымъ тѣснымъ образомъ связываетъ этотъ процессъ съ болѣе широкимъ процессомъ возобновленнаго и продолжающагося далѣе броженія. Эту границу между періодомъ организаціи и періодомъ болѣе, «тонкой разработки» — «пунктъ завершенной организаціи», «пунктъ зрѣлости», послѣ котораго языки своей «разъ достигнутой формы въ существенномъ болѣе не мѣняютъ, — онъ то болѣе отодвигаетъ назадъ, то болѣе выдвигаетъ впередъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ не хочетъ знать, достигаютъ ли языки границы своей зрѣлости постепенно или какъ бы однимъ взмахомъ ²⁾; въ другомъ — онъ отличаетъ первый процессъ органическаго строенія языка отъ измѣненій, имѣющихъ своей причиною чуждую прѣмь и продолжающихся до тѣхъ поръ, пока языкъ снова не достигнетъ состоянія покоя, — и согласно съ этимъ, считаетъ стеченіе многихъ нарѣчій, однимъ изъ главнѣйшихъ моментовъ въ развитіи языковъ»; но онъ тутъ же прибавляетъ, что объ эти стадіи развитія языка трудно отдѣлать другъ отъ друга ³⁾; наконецъ, въ связи съ этимъ онъ находитъ вѣроятнымъ, что ни одинъ языкъ не можетъ достигнуть совершеннаго развитія, пока онъ не прошелъ многихъ переходныхъ состояній — притомъ такихъ, которыя совершенно измѣняли первоначальный характеръ представленій, такъ что прежнее значеніе элементовъ не вполне ясно» ⁴⁾.

Какъ ни шатки и ни переменчивы эти опредѣленія Гумбольдта, который «періоду образованія формы» отводитъ то болѣе, то менѣе мѣста, онъ все же остается себѣ вѣрнымъ въ томъ, что вездѣ различаетъ второй періодъ, въ которомъ совершается, «внутренняя, болѣе тонкая разработка языка». Этотъ періодъ отличается отъ пред-

¹⁾ Einleitung стр. 117, 119.

²⁾ Lettre à Abel-Rémusat, G. W. VII, 349, 350.

³⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium, G. W. III, 244, 256.

⁴⁾ Ibid. стр. 354.

шествующаго (или по другому представленію отъ двухъ предшествующихъ) «завершенною организаціей, обнаруживающейя въ томъ, что языкъ владѣетъ и свободно пользуется всѣми своими функціями и не испытываетъ болѣе никакихъ измѣненій въ основаніи своемъ строе»¹⁾. Это различіе мы опять встрѣчаемъ въ нѣсколько измѣненномъ видѣ въ «Введеніи». Въ періодъ образованія формы народности запяты болѣе языкомъ, нежели его цѣлью. «Языкъ, если позволительно дѣлать сравненія, возникаетъ такъ, какъ въ физической природѣ. одинъ кристаллъ осаждается на другомъ» — постепенно, но закономерно. Когда эта кристаллизація приходитъ къ концу, языкъ представляется какъ бы завершеннымъ; орудіе готово, и духу остается только «пользоваться имъ и воплощаться въ немъ» (*sich hineinbauen*). Съ другой стороны этотъ переходъ народной дѣятельности отъ языка къ прижизненію его представляется ослабленіемъ творческаго стремленія въ области языка. Масса созданнаго въ эпоху строенія языка матеріала разрастается, и эта «внѣшняя масса, оказывая съ своей стороны воздѣйствіе на духъ народа, слѣдуетъ при этомъ своимъ особымъ законамъ и препятствуетъ свободному и самостоятельному воздѣйствію интеллекта»²⁾. Языкъ вступаетъ вмѣстѣ съ народнымъ духомъ во всѣхъ его особенностяхъ на новое поприще, «въ которомъ ни одинъ изъ обихъ этихъ факторовъ не можетъ считаться независимымъ другъ отъ друга, — наоборотъ, каждый изъ нихъ пользуется одушевляющей помощью другого». Этотъ второй періодъ есть періодъ литературной дѣятельности націи и предварительный, подготовляющій ее къ этой дѣятельности. Подобно тому, какъ въ первомъ періодѣ развивается форма языка, во второмъ развивается его характеръ³⁾.

Наконецъ, отъ этого второго періода Гумбольдтъ въ одномъ мѣстѣ своего «Введенія» отгличаетъ еще третій періодъ. Если именно прослѣдить судьбу языковъ еще далѣе, то наблюдается новый упадокъ языка. Подобно тому какъ ослабляется творчество въ образованіи формъ языка, точно также можетъ ослабнуть творчество въ пользованіи формами и въ усовершенствованіи и обогащеніи ихъ при самомъ пользованіи. «Можетъ наступить и такая эпоха, когда языкъ какъ бы перерастаетъ народный духъ, и этотъ послѣдній вслѣдствіе своей слабости не является болѣе самостоятельно творческимъ, а пускается въ пустую игру оборотами и формами, явившимися первоначально плодомъ глубокомысленнаго пользованія ими». Въ этотъ періодъ «цвѣтъ характера вянетъ», — покуда гений нѣсколькихъ великихъ людей не возбудитъ языкъ къ жизни и не выведетъ изъ этого разслабленнаго состоянія⁴⁾.

1) Ibid. стр. 246.

2) Einleitung стр. 195—198.

3) Ibid. стр. 198, 200 и слѣд.

4) Einleitung стр. 199, 200.

Слѣдую этой періодизаціи, всѣ различія формы относятся къ первому изъ трехъ отмѣченныхъ періодовъ. Такимъ образомъ, мы для формальныхъ различій, до этого времени группировавшихся по идеальному масштабу, приобретаемъ теперь принципъ развитія во времени, и поэтому возникаетъ вопросъ: являются ли—и въ какой степени являются—различія въ строеніи языковъ не только различіями естественнѣисторическими, вытекающими изъ различій въ національныхъ особенностяхъ, по вмѣстѣ съ тѣмъ и различіями историческими, означающими различныя ступени въ развитіи языка? Въ письмѣ къ Kémusat ¹⁾ вопросъ этотъ выступаетъ у Гумбольдта въ слѣдующемъ видѣ: задача заключается въ томъ, чтобы объяснить реальное, историческое происхожденіе діаметрально притивуположныхъ свойствъ китайскаго и санскритскаго языковъ, также какъ и языковъ межлежащихъ, приближающихся къ санскритской формѣ.

Однако ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ ожидать того, что эта попытка историческаго объясненія будетъ вполне удачною: идеальныя ступени формъ языка невозможно безъ всякихъ оговорокъ рассматривать вмѣстѣ съ тѣмъ какъ ступени историческаго развитія; ни въ коемъ случаѣ нельзя будетъ согласно этому представить китайскій языкъ какъ самый старый, а санскритскій — какъ самый молодой. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что духовная индивидуальность народа еще до развитія индивидуальности другого народа одарена яснымъ и глубокимъ чувствомъ языка. Затѣмъ, надо будетъ считаться также и съ различнымъ воздѣйствіемъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Такія обстоятельства, какъ переходъ одного языка въ другой, могутъ въ одномъ случаѣ дать языку болѣе быстрый и болѣе высочій полетъ, между тѣмъ какъ въ другомъ случаѣ противуположное вліяніе можетъ явиться причиной того, что языки пребываютъ въ состояніи мало подвижнаго несовершенства ²⁾. Нельзя поэтому никоимъ образомъ дать общій типъ постояннаго развитія формъ языка. То, что характеризуетъ первоначальныя языки Америки и сѣверной Азіи, не относится непременно и къ первичнымъ племенамъ Индіи и Греціи. Но съ другой стороны, сводить всѣ различія между языками къ различію между первичными національными особенностями значило бы игнорировать естественный путь человѣческаго развитія и вступать въ противурѣчіе съ тѣмъ, что можетъ быть доказано фактами: этого не допускаетъ естественный путь человѣческаго развитія. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только представить вещи въ ихъ настоящемъ видѣ, и сразу станетъ ясно маловѣроятность того, чтобы флексія могла когда-либо существовать уже при самомъ возникновеніи языка. Отдѣльныя, чисто граммати-

1) G. W. VII, 333.

2) Ueber das Entstehen etc., G. W. III, 286.

ческія формы обозначенія могли конечно уже съ самаго начала вырости изъ неопредѣленнаго ощущенія; но всецѣло логическая природа грамматическихъ отношеній допускаетъ для нихъ только очень ограниченное число связей съ силою воображенія и съ чувствомъ; такихъ случаевъ было поѣтому только очень немного. Къ этому же результату приводятъ и факты. Въ самомъ дѣлѣ, если сдѣлать болѣе точный анализъ языка, то обнаруживается всесторонняя гибкость существенныхъ слоговъ, и падаетъ, слѣдовательно, мнѣніе о безусловной первичности истинной флексіи. Надо поѣтому предположить общій процессъ развитія высшей формальности языка. Мало того: для этой исторической точки зрѣнія, какъ и для идеальной, высшая форма языка образуетъ твердый пунктъ; сообразно съ нимъ можно будетъ опредѣлять другіе, столь же твердые пункты. Такимъ образомъ постепенное развитіе языка можно будетъ распознать по несомнѣннымъ признакамъ: въ немъ можно различить опредѣленные ступени во времени ¹⁾).

Представимъ это прежде всего въ общемъ видѣ. Все направленіе языка формально. Первоначальный языкъ владѣетъ формою только въ весьма недостаточной степени; даже грамматическій элементъ, поскольку онъ вообще существуетъ, носитъ матеріальный характеръ. При дальѣйшемъ развитіи матеріальное значеніе вскорѣ уступаетъ формальному примѣненію; однако грамматика выступаетъ только въ случаѣ надобности, она еще не владѣетъ языкомъ и не господствуетъ въ немъ. Затѣмъ слѣдуетъ болѣе высокая и наивысшая ступень: ни одинъ элементъ не мыслимъ болѣе внѣ формы, и матеріалъ какъ таковой въ рѣчи совершенно подавленъ; этой ступени достигаютъ только наиболѣе развитые языки ²⁾).

Разсмотримъ то же болѣе подробно и обстоятельно. Въ статьѣ «О возникновеніи языковъ» ³⁾ Гумбольдтъ различаетъ четыре ступени постепеннаго приближенія къ грамматической формальности. «Первоначально языкъ обозначаетъ только предметы, предоставляя понимающему подразумѣваніе формъ, связующихъ рѣчь; но онъ старается облегчить это подразумѣваніе разстановкою словъ и съ помощью тѣхъ изъ нихъ, которыя, обозначая предметы и вещи, вмѣстѣ съ тѣмъ намѣчаютъ отношеніе и форму. Такимъ-то образомъ на самой низкой ступени грамматическое обозначеніе достигается путемъ оборотовъ, фразъ и предложеній». Затѣмъ, «это вспомогательное средство становится до нѣкоторой степени правиломъ, разстановка словъ укрѣпляется, упомянутыя слова мало по малу теряютъ свое предметное значеніе и первоначальное произношеніе. Такимъ обра-

¹⁾ Ueber das Entstehen etc. G. W. III, 270 и слѣд.

²⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium, G. W. III, 225. 256.

³⁾ Ibid. стр. 296. 297.

зомъ на второй ступени грамматическое обозначеніе достигается опредѣленною разстановкою словъ и при помощи тѣхъ изъ нихъ, которыя колеблются между предметнымъ значеніемъ и формальнымъ». Въ третьихъ. «Разстановки словъ пріобрѣтають единство, къ нимъ присоединяются слова, имѣющіе формальное значеніе, и становятся аффиксами. Но связь еще не прочна, видны еще соединительныя звенья, цѣлое является агрегатомъ, а не чѣмъ-то единымъ. Такимъ образомъ на третьей ступени грамматическое обозначеніе достигается аналогіями формъ». Наконецъ, въ четвертыхъ. «Формальность пробивается наружу. Слово представляетъ собою нѣчто единое и видоизмѣняется въ своихъ грамматическихъ отношеніяхъ только лишь путемъ внутренняго преобразованія звука; каждое изъ нихъ относится къ опредѣленной части рѣчи и имѣетъ не только лексическую индивидуальность, но и грамматическую; слова, обозначающія формы, не имѣють никакого посторонняго, запутывающаго значенія, а суть чистыя выраженія отношеній. Такимъ образомъ на высшей ступени грамматическое обозначеніе достигается съ помощью дѣйствительныхъ формъ, путемъ внутренняго измѣненія и чисто грамматическихъ словъ».

Если привести въ ясность отношеніе этихъ ступеней во времени къ ступенямъ идеальнымъ, то въ общемъ изолирующая и всевокупающая формы совпадаютъ съ двумя низшими ступенями, а форма агглютинирующая съ третьей ступеню; что же касается флекспирующей формы, то она не приблизительно только, а вполне совпадаетъ съ высшею ступеню. Но такъ какъ эти четыре формы самими Гумбольдтомъ обозначаются какъ абстрактныя, то отъ такого рода формъ еще меньше, чѣмъ отъ конкретныхъ формъ и классовъ языка, надо будетъ ожидать того, чтобы они въ то же время могли быть представлены и объяснены какъ историческія ступени. Идеальныя ступени, конечно, тѣмъ болѣе приближаются къ историческимъ, чѣмъ болѣе тѣ и другія конкретны; намъ поэтому остается представить еще одну, третью теорію развитія языка, въ которой идеальное и фактическое изслѣдованіе формъ языка, ради этой именно конкретности, наиболѣе приведены между собою въ согласіе: это та теорія, которая изложена въ посланіи къ Rémusat. Мы однако позволимъ себѣ восполнить ее въ нѣкоторыхъ пунктахъ, пользуясь для этого много разъ упомянутыми академическими работами.

Человѣкъ, который еще близокъ къ естественному состоянію, часто заходитъ слишкомъ далеко въ разъ принятомъ образѣ представленія; онъ мыслить каждый предметъ и каждое дѣйствіе вмѣстѣ со всѣми ихъ побочными условіями и переноситъ это въ языкъ ¹⁾. Онъ представляетъ себѣ каждое отдѣльное явленіе со всѣми его особен-

¹⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium, G. W. III, 256.

ностями, а не съ тѣми только, которыя необходимы для предлагающей цѣли; такъ, напримѣръ, въ языкѣ абиноновъ мѣстоименіе третьяго лица различно, смотря по тому, мыслится ли человекъ присутствующимъ или отсутствующимъ, стоящимъ, сидящимъ, лежащимъ или ходящимъ ¹⁾. Это находится въ связи съ тѣмъ, что въ этомъ наиболѣе раннемъ періодѣ говорящій не пользуется существующими формами, а въ каждый отдѣльный моментъ самъ ихъ создаетъ. Затѣмъ, на этой ступени человекъ, такъ сказать, чрезвычайно расточителемъ на слова; онъ повторяетъ то, что уже сказалъ; онъ вводитъ тона, которые менѣе выражаютъ его мысль, чѣмъ движеніе его души ²⁾. Наконецъ на этой ступени развитія нѣкоторыя націи имѣютъ «обыкновеніе» — такъ говоритъ Гумбольдтъ въ 1822 году — «отливать цѣлыя предложенія въ мнимыя формы, такъ, напримѣръ, вводить предметъ, управляемый глаголемъ, — въ особенности, если это мѣстоименіе, — въ самыя нѣдра глагола».

Изъ этихъ-то зачатковъ, которые можно еще наблюдать отчасти въ китайскомъ языкѣ, а въ значительномъ объемѣ въ языкахъ, пользующихся приѣмомъ всевокупленія или другими видами не настоящей формальности, — изъ этихъ зачатковъ выросли въ большой или меньшей степени всѣ языки, достигнувъ при этомъ то большаго, то меньшаго совершенства. Прогрессъ заключается въ томъ, что съ одной стороны оставляются лишнія формы, а съ другой — слова и формы, первоначально обозначающія второстепенныя особенности, сгущаются и очищаются для выраженія необходимыхъ грамматическихъ отношеній. Грамматическія слова становятся аффиксами, аффиксы же въ концѣ концовъ становятся дѣйствительными флексіями ³⁾.

Несомнѣнно таковъ былъ ходъ развитія языковъ, которые либо совершенно не имѣютъ флексіи, либо обладаютъ флексивною системой неполною и ошибочною. Это языки той большой группы, которая занимаетъ среднее мѣсто между китайскимъ и санскритскимъ языками; въ нихъ сохранились различныя ступени процесса отъ вышеупомянутыхъ зачатковъ до дѣйствительной флексіи ⁴⁾.

Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ дѣло нѣсколько иначе обстоитъ въ языкахъ, владѣющихъ совершенною флексіей. Въ большей части и они исходили, вѣроятно, отъ тѣхъ же зачатковъ — съ тѣмъ однако отличіемъ, что обобщеніе отношеній, первоначально совершенно частныхъ, и уничтоженіе излишнихъ отношеній обнаружались здѣсь нѣсколько полнѣе, — въ концѣ концовъ эти отношенія слились органически съ основными словами, а грамматическія обозначенія отно-

¹⁾ Ueber das Entstehen etc., G. W. III, 292; Lettre à Abel Rémusat, G. W. VII, 334.

²⁾ Ibid. въ обѣихъ названныхъ статьяхъ.

³⁾ Lettre à Abel Rémusat, стр. 354.

⁴⁾ Ibid. стр. 335.

шеній, первоначально только присоединенныя, срослись въ неразрывное цѣло съ обозначеніемъ понятій и т. д. Такъ происходило въ большинствѣ случаевъ. Однако на ряду съ этимъ нельзя будетъ отрицать и первичность истинныхъ грамматическихъ формъ. Болѣе полный успѣхъ въ процессѣ превращеній простыхъ аналогій грамматическихъ формъ въ дѣйствительныя грамматическія формы является слѣдствіемъ большей одаренности нѣкоторыхъ народовъ въ области языка; и именно эта одаренность, вѣроятно, и создала въ отдѣльныхъ случаяхъ истинную флексію съ самого начала и сразу ¹⁾.

Иначе обстоитъ дѣло съ китайскимъ языкомъ. Не смотря на то, что языкъ этотъ не имѣетъ флексіи, онъ, надо думать, началъ съ того же, что и всѣ остальные языки, которые находятся въ одинаковомъ съ нимъ положеніи, и въ которыхъ слова, вначалѣ служившія для обозначенія второстепенныхъ и побочныхъ отношеній, мало по малу стали выраженіемъ грамматическихъ формъ. Но именно тотъ прогрессъ, который съ этого момента сдѣланъ былъ другими языками, въ языкѣ китайскомъ не имѣлъ мѣста. Языкъ этотъ не достигъ того, чтобы, подобно тѣмъ, превратить грамматическія слова въ аффиксы, а изъ этихъ послѣднихъ сдѣлать флексію. Были, повидимому, какія нибудь причины, которыя отклонили китайскій языкъ отъ общаго хода развитія и толкнули его на путь, ему одному свойственный. Главною виною этого, развиваетъ далѣе Гумбольдтъ, была, вѣроятно, фонетическая часть языка. Возможно, что бѣдность звуковъ соединилась съ интеллектуальной сухостью китайскаго духа, и такимъ образомъ изъ совмѣстнаго дѣйствія этихъ причинъ и подъ влияніемъ китайскихъ письменъ возникло то своеобразное несовершенство языка, которое впоследствии, благодаря счастливому таланту методической обработки идеи, стало даже въ значительной мѣрѣ положительнымъ качествомъ ²⁾.

Если такимъ образомъ Гумбольдтовская группировка конкретныхъ формъ языка находитъ себѣ почти точную параллель въ его историческомъ происхожденіи, то въ концѣ концовъ для этой связи между внутренними ступенями языка и внѣшними ступенями его развитія во времени, открывается еще и другая перспектива. Представленная выше преемственность въ развитіи языка главнымъ образомъ исходила изъ внутренней или интеллектуальной его стороны; но можно также исходить изъ звуковой стороны. Съ этой точки зрѣнія различались языки односложные и многосложные; и съ этой точки зрѣнія историческій ходъ развитія языка, до сихъ поръ познанный нами какъ восхожденіе къ большому господству формы и какъ постепенный переходъ отъ обозначенія случайнаго и особеннаго къ обозна-

Lettre à Abel Rémusat стр. 335—338.

2) Lettre à Abel—Rémusat стр. 354 и слѣд.

чеію необходимаго и соотвѣтствующаго идеѣ, представляется теперь Гумбольдту какъ переходъ отъ односложности къ многосложности. Послѣдній параграфъ «Введенія къ языку Кави» занимается исключительно этой темой.

Односложность есть не болѣе какъ переходное состояніе, изъ котораго мало по малу развились многосложные языки. Всѣ языки начинаютъ съ односложнаго строенія корней, но путемъ сочетанія, присовокупленія и наращенія они достигаютъ многосложности; тщательно произведенный анализъ языка приводитъ историческое наслѣдованіе къ мысли о первичности односложныхъ языковъ. Къ тому же приводитъ и природа самого предмета. «Въ процессѣ созданія языка понятіе есть то впечатлѣніе, которое объектъ, — ви́шшій или внутренній—производитъ на человѣка; и звукъ, вырвавшійся изъ груди вслѣдствіе живости этого впечатлѣнія, есть слово. Такимъ образомъ два звука едва ли могутъ соотвѣтствовать одному впечатлѣнію. Если бы въ дѣйствительности явились, непосредственно слѣдуя другъ за другомъ, два звука, то они свидѣтельствовали бы о двухъ впечатлѣніяхъ, вызванныхъ однимъ и тѣмъ же объектомъ, и образовали бы сложность при самомъ зарожденіи слова, нисколько не нарушая этимъ принципа односложности»¹⁾. Постепенный переходъ къ многосложности съ самого начала идетъ рука съ руку съ постепеннымъ переходомъ языковъ къ болѣе чистой формальности. Объемъ слоговъ въ связи съ приемами ихъ сочетанія можетъ служить новымъ основаніемъ для того, чтобы разсматривать китайскій и санскритскій языки какъ два крайнихъ полюса, — всѣ же прочіе языки какъ межлежанія, соединительныя ступени²⁾. Прежде всего китайскій языкъ представляется и въ этомъ отношеніи языкомъ какъ бы остановившимся въ своемъ развитіи и не прошедшимъ пути, пройденнаго всѣми остальными языками. Въ немъ имѣются сложныя соединенія, но настоящая многосложность отсутствуетъ. Его внутренняя природа, — отсутствіе всякой флексіи вмѣстѣ съ тою его фонетическою особенностью, что даже тамъ, гдѣ понятія по внутреннему смыслу находятся между собою въ связи, звуковые слогги все же остаются раздѣленными, — служитъ причиной того, что онъ не выходитъ изъ своей односложности. Въ противоположность этому, языки санскритскій и семитическій, т. е. истинно флексивные языки, наиболѣе приближаются къ настоящей многосложности: они приближаются къ ней — иначе говоря, и они первоначально исходили изъ односложныхъ корней, съ тѣмъ однако отличіемъ, что рядомъ съ этимъ въ нихъ уже съ самаго начала существовали какъ двусложные корни, такъ и флексія. И здѣсь надо будетъ опять

1) Einleitung стр. 386.

2) Einleitung стр. 425. Сравни. Lettre à M-r Jaquet sur les alphabets de la Polynésie Asiatique, G. W. VII, 419.

таки рядомъ съ естественнымъ воздѣйствіемъ времени принять также въ соображеніе своеобразную силу націй, одаренныхъ чувствомъ флексіи. Очень возможно поэтому, что у этихъ народовъ соединеніе или скорѣе—слиянiе двухъ впечатлѣній совершалось уже въ душѣ того, кто впервые произносилъ слово. Скорѣе слияніе, чѣмъ соединеніе,—ибо по скольку эти языки приближаются къ многосложности, они приближаются къ истинной многосложности: какъ со стороны внѣшней, такъ и со стороны внутренней здѣсь обнаруживаются свойства прямо противоположныя свойствамъ китайскаго языка. Стремленіе къ благозвучію и къ ритмическому размѣру дѣйствуютъ совмѣстно со стремленіемъ духа соединять понятіе и его отношеніе въ единствѣ одного и того же слова. Однимъ словомъ, способность къ флексіи приводитъ на протяженіи времени къ многосложности, отличающейся какъ отъ внѣшняго, такъ и отъ внутренняго соединенія, и такова въ самомъ дѣлѣ исторія семитическаго и санскритскаго племени. Къ ней въ различной степени приближается также исторія языковъ средней группы. У этихъ языковъ—Гумбольдтъ ссылается въ особенности на барманскій и малайскій—также исходятъ отъ односложнаго строенія и постепенно приходятъ къ многосложному; они возвышаются надъ точкой зрѣнія китайскаго языка, не достигая однако цѣли истинно флексивныхъ языковъ: они остаются на стадіи, лежащей между внѣшнимъ соединеніемъ и агглютинаціей съ одной стороны и частичной флексіей—съ другой. Множественность слоговъ весьма несовершенно совладаетъ съ единствомъ слова. Не особенно удачно сливая слоги въ нѣчто единое, языки эти часто напизываютъ большое количество ихъ крайне негармонически одинъ на другой, между тѣмъ какъ совершенное стремленіе къ единству истинно флексивныхъ языковъ соединяетъ въ гармоническое цѣлое лишь небольшое количество слоговъ.

Резюмируемъ все сказанное. Вѣвременная группировка и раздѣленіе языковъ совпадаетъ въ общемъ съ исторіей развитія языковъ; а эта исторія въ свою очередь въ общемъ та же, разсматриваемъ ли мы ее по внутреннимъ моментамъ, или руководствуемся количествомъ и разработкой слоговъ.

Но этимъ однако еще не исчерпано то значеніе, какое по мнѣнію Гумбольдта имѣетъ историческій моментъ въ области языка. Если значеніе историческаго момента относится главнымъ образомъ къ организационному періоду языковъ, — Гумбольдтъ понимаетъ этотъ періодъ въ весьма широкомъ смыслѣ, то его можно прослѣдить въ развитіи романскаго, новогреческаго и англійскаго языка не только путемъ умозрительныхъ построеній, но и на основаніи историческихъ фактовъ¹⁾. При этомъ наблюденію представляется цѣлый рядъ новыхъ и своеобразныхъ явленій²⁾. Прежде всего

¹⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium G. W. III 246.

²⁾ Ueber das Entstehen etc. G. W. III 306.

бросается въ глаза различіе «между такими языками, которые, какъ сродные между собою отпрыски одного и того же ствола, вырастаютъ одинъ изъ другаго въ силу внутренняго развитія, и такими, которые возвышаются на развалинахъ другихъ языковъ, т. е. подъ вліяніемъ вышнихъ условий» ¹⁾. Представляется затѣмъ то явленіе, что при возникновеніи указанныхъ отпрысковъ классическихъ языковъ паденіе какъ говоритъ Гумбольдтъ, постигло «ихъ формы, но не форму», — послѣдняя наоборотъ пропитала своимъ древнимъ духомъ новыя образованія» ²⁾. Наконецъ выясняется необходимость того, что эти языки, чтобъ быть новыми, должны были воспринять отъ духа создавшихъ ихъ народовъ «измѣненный принципъ единства», индивидуальную «первоформу для новой кристаллизаціи» ³⁾.

Однако значеніе историческаго момента не ограничивается однимъ лишь періодомъ организаціи, — развитіе и усовершенствованіе языка во второмъ его періодѣ тоже служитъ предметомъ историческаго наблюденія; и въ этомъ періодѣ интересъ сосредоточиваетъ на себѣ опять-таки судьба формы и развитіе характера языка. Что касается перваго, то Гумбольдтъ во «Введеніи» указываетъ на тотъ фактъ, что языки тотчасъ же лишаются богатства флексіи, какъ только они переходятъ отъ процесса броженія первой формаціи къ періоду ихъ примѣненія. Грамматическія слова становятся на мѣсто настоящихъ формъ, и этимъ путемъ истинно флексивные языки могутъ въ частностяхъ приблизиться къ тѣмъ языкамъ, которые по самому своему корню отличаются совсѣмъ инымъ и менѣе совершеннымъ принципомъ образованія. вмѣсто стремленія создать духовное орудіе на первый планъ выступаетъ «вразумительность», значеніе элементовъ затемняется, и изощренный навыкъ порождаетъ безпечность относительно частныхъ словостроенія и точнаго сохраненія звуковъ; на мѣсто радости, которую фантазія находитъ въ замысловатомъ соединеніи знаковъ съ полнозвучною ритмичностью, вступаетъ удобопонятность и разлагаетъ формы на вспомогательные глаголы и предлоги». Это — дѣйствіе формы, которая какъ таковая съ позитивной точки зрѣнія касается вмѣстѣ съ тѣмъ и характера языка ⁴⁾. Что же касается этого послѣдняго, то природу его еще труднѣе понять, чѣмъ природу формы; это не языкъ самъ по себѣ, а языкъ

¹⁾ Einleitung стр. 300.

²⁾ Ibid. стр. 295.

³⁾ Ibid. стр. 297., сравн. о вторичномъ пребываніи Гёте въ Римѣ, G. W. II. 240 и вообще § 21 „Введенія“. Рядъ мѣткихъ замѣчаній, которыя тамъ посвящаются болѣе подробному изложенію этихъ явленій, не могутъ найти себѣ мѣсто въ нашихъ изслѣдованіи, имѣющемъ въ виду самое общее.

⁴⁾ Einleitung, стр. 289—298.

въ примѣненіи. Это ничто иное, какъ характеръ народа, по скольку онъ просвѣчиваетъ черезъ языкъ или пропитываетъ языкъ своимъ духомъ. Группировать и изображать языки по ихъ характеру это то же, что характеризовать народы. Поэтому, когда Гумбольдтъ въ отношеніи характера языковъ, считаетъ наиболѣе важнымъ различіемъ то, что въ однихъ языкахъ преобладаетъ направленіе ко внутренней сторонѣ душевной жизни, а въ другихъ къ внѣшней дѣятельности ¹⁾, то различіе это является главнымъ образомъ различіемъ въ національныхъ особенностяхъ. Однако исторія развитія характера языковъ выходитъ за предѣлы лингвистики; въ существенномъ она совпадаетъ съ исторіей литературы. «Введеніе» изобилуетъ общими соображеніями относительно этой послѣдней: оно бѣгло намѣчаетъ возникновеніе литературы; оно обращаетъ вниманіе на двойную форму, какую получаетъ языкъ въ дѣдствіе того, что онъ попадаетъ въ руки учителей и поэтовъ народа, такъ что языку послѣднихъ постепенно противопоставляется языкъ въ народномъ употребленіи. Оно изображаетъ то вліяніе, какое производятъ на языкъ грамматика въ собственномъ смыслѣ. Гумбольдтъ мастерски представляетъ возникновеніе прозы и поэзіи, указывая при этомъ на родство и на различіе между ними. Употребленіе прозы въ цѣляхъ краснорѣчія онъ противопоставляетъ примѣненію его въ наукѣ и при этомъ характеризуетъ эпоху возникновенія науки и развивающейся нѣтъ нея учености. Наконецъ, онъ указываетъ на то значеніе, какое получаетъ въ литературѣ употребленіе письменъ, и съ этимъ приводитъ въ связь различіе между болѣе ранней естественною поэзіей и позднѣйшею—болѣе искусственною ²⁾.

VI.

Понятіе и цѣль языкознанія. Связь его съ философскою исторіей.

По воззрѣнію Гумбольдта эти разсужденія не выходятъ за предѣлы общаго языкознанія. На глубоко имъ заложенномъ фундаментѣ поднимается эта наука въ гордую высь.

Само собой разумѣется, что прежде всего необходимо самымъ рѣшительнымъ образомъ освободить сравнительное языкознаніе отъ всякихъ внѣшнихъ отношеній: это «наука, которая въ себѣ самой несетъ свою пользу и свою цѣль»; она должна быть «разрабатываема ради нея самой». Но, какъ и всякая истинная наука, она именно этой самостоятельной разработкой служитъ единой и высшей цѣли,

¹⁾ Einleitung, стр. 214.

²⁾ Einleitung, стр. 198, 199 и стр. 230—251; сравн. Ueber das vergleichende Sprachstudium, G. W. III, 265.

— той цѣли, «чтобы человѣчество пришло въ ясность относительно себя самого и относительно своей связи со всѣмъ видимымъ и невидимымъ, вокругъ себя и надъ собой ¹⁾».

Эти тезисы о значеніи лингвистики выясняются затѣмъ разсужденіями объ ея объемѣ и цѣли.

Прежде всего, въ соотвѣтствіи съ двумя главными эпохами, которыя можно различать въ историческомъ бытіи языковъ, сравнительное языкознаніе тоже распадается на двѣ части. Въ первомъ періодѣ языки созидаютъ свой организмъ; во второмъ періодѣ они подвержены непрерывному и болѣе тонкому развитію въ предѣлахъ готоваго организма. Согласно этому одна часть языкознанія имѣетъ своимъ предметомъ изслѣдованіе организма языковъ, другая — изслѣдованіе языковъ въ состояніи ихъ развитія; первая главнымъ образомъ занимается формою языковъ, вторая — ихъ характеромъ; первая требуетъ по возможности болѣе обширнаго сравненія между языками, вторая — сосредоченія на одномъ какомъ нибудь изъ нихъ и проникновенія въ его тончайшія особенности; первая требуетъ поэтому главнымъ образомъ ширины изслѣдованія, вторая — глубины его ²⁾.

При болѣе близкомъ разсмотрѣніи первая изъ этихъ частей носитъ по существу своему характеръ естественно-историческій ибо организмъ языковъ относится къ «физиологіи интеллектуальнаго человѣка». Анализъ отличительныхъ особенностей этого организма приводитъ къ измѣренію и испытанію всей области языка и лингвистической способности человѣка ³⁾. Различные языки должны быть разсматриваемы какъ естественные виды; но при этомъ необходимо избѣгнуть поверхностности прежняго сравнительнаго языкознанія и его фрагментарныхъ приѣмовъ. Діалектъ даже наименѣе еультурныхъ народовъ является слишкомъ благороднымъ созданіемъ природы для того, чтобы разбивать его на части и представить паблюденію фрагментарно; онъ — органическое созданіе, и именно какъ такое его и слѣдуетъ разсматривать ⁴⁾. Гумбольдтъ живо сознаетъ, что установленіемъ понятій «формы» и «принципа» языковъ и обстоятельнымъ анализомъ лингвистическаго приѣма онъ твердо обозначилъ тѣ пункты, до которыхъ можетъ возвыситься анализъ языка, и такимъ образомъ открылъ сравнительному языкознанію новые, до тѣхъ поръ еще не изслѣдованные пути ⁵⁾. Но для полноты всего этого изслѣ-

¹⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium. G. W. III, 241. Ueber den Duals. G. W. II, 564.

²⁾ Ueber das vorgeleichende Sprachstudium, G. W. III, 247—248.

³⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium G. W. III 248.

⁴⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium G. W. III 249.

⁵⁾ Einleitung стр. 191—192.

дованія онъ требуетъ двухъ вещей. Во первыхъ, необходимо изучить каждый изъ известныхъ языковъ въ его внутреннемъ строеніи, необходимо прослѣдить всѣ имѣющіяся въ немъ аналогіи и систематически ихъ группировать, — иначе говоря: сравнительное языкознаніе нуждается въ монографіяхъ объ отдѣльныхъ языкахъ. Однако связующія нити въ строеніи языковъ должны быть отыскиваемы не только въ длину, но и въ ширину: отдѣльныя части, организма языка, отдѣльныя слова и разряды словъ и затѣмъ отдѣльныя грамматическія формы необходимо прослѣдить во всѣхъ языкахъ, — т. е. сравнительное языкознаніе нуждается, во вторыхъ, въ монографіяхъ объ отдѣльныхъ, такъ сказать, членахъ и органахъ организма языка. Физиологическая часть языкознанія получить свое завершеніе только путемъ изслѣдованія обоого рода; лишь эта двойная работа сдѣлала-бы возможнымъ «набросить общій очеркъ человѣческаго языка, мыслимаго какъ нѣчто общее — во-всѣхъ его объемѣ, со всею необходимостью его законовъ и гипотезъ и возможностью его допущеній» ¹⁾.

Теперь можно бы попытаться, слѣдуя даннымъ Гумбольдтомъ указаніямъ, рассмотреть и вторую часть общаго языкознанія какъ нѣчто отдѣльное. Очевидно, что эта часть носить по преимуществу историческій характеръ. Изслѣдованіе языковъ въ состояніи болѣе высокаго развитія, изслѣдованіе характера языка, приводитъ къ познанію его пригодности для достиженія всѣхъ человѣческихъ цѣлей. Различіе между языками съ этой точки зрѣнія представляется явленіемъ не столько естественно-историческимъ, сколько «интеллектуально-телеологическимъ» ²⁾. Въ полности изслѣдованія этого рода возможны только по отношенію къ языкамъ болѣе высокаго развитія и лишь у тѣхъ народовъ, которые проявили свое міровоззрѣніе въ литературѣ и выразили его въ связной рѣчи. Это именно и есть тотъ пунктъ, въ которомъ выступаетъ различіе между такъ называемой филологіей въ узкомъ смыслѣ и лингвистикой, а въ то же время и связь между ними. Для филологической точки зрѣнія характерно то, что оно выдвигаетъ на первый планъ отношеніе къ литературѣ. Лингвистика поэтому нуждается въ филологіи: та часть языкознанія, которую указаннымъ образомъ можно совершенно отдѣлить отъ чисто физиологической части, должна опираться исключительно только на филологическую разработку имѣющихся въ языкѣ письменныхъ памятниковъ ³⁾.

Однако дѣленіе это, въ сущности говоря, не точно и не выполнимо.

¹⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium стр. 250. Ueber den Dualis, VI 562 и слѣд. 585.

²⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium стр. 247, 248.

³⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium стр. 251; Einleitung стр. 206, 207.

Въ организмѣ языка заложено зерно для болѣе тонкаго его развитія. Характеръ языка вырастаетъ на основѣ, данной его формой. Историческій моментъ оказываетъ уже вліяніе и на развитіе формы, а съ другой стороны—и въ развитіи характера сказывается еще естественно-историческое различіе между народами. Даже въ культурномъ состояніи языки все еще остаются естественно-историческими явленіями; уже съизнала различіе между ними представляется вмѣстѣ съ тѣмъ и «интеллектуально-телеологическимъ» явленіемъ. Поэтому невозможно отдѣлять другъ отъ друга обѣ указанныя части сравнительнаго языкознанія. Характера языка нельзя изслѣдовать безъ формы, формой же не слѣдуетъ заниматься внѣ ея связи съ характеромъ языка. Физиологическая разработка должна идти рука объ руку съ историческою. Передъ изслѣдователемъ языка всегда должны носиться два вопроса: во первыхъ, каковы тѣ многоразличные пути, которыми человѣкъ создалъ языкъ; а затѣмъ, въ какомъ отношеніи отдѣльные языки находятся къ области идей и къ идеальнымъ цѣлямъ человѣчества:—съ одной стороны, какимъ образомъ индивидуальность нація воздѣйствовала на языкъ, а съ другой, — какъ языкъ дѣйствовалъ обратно на нее. Разсмотрѣнію лингвиста подлежитъ весь тотъ путь, на протяженіи котораго языкъ беретъ свое начало въ духѣ и съ своей стороны дѣйствуетъ на него. Изученіе грамматики и лексикона не слѣдуетъ отдѣлять отъ изученія литературы, и въ наиболѣе высокихъ твореніяхъ языка дѣйствіе его организма должно быть познано и уважено. Наиболѣе тонкія составныя части и наиболѣе высокіе, наиболѣе духовные продукты языка въ одинаковой мѣрѣ должны быть приняты во вниманіе; наконецъ, зачатки языковъ необходимо привести въ соединеніе съ ихъ завершеной формой ¹⁾).

Однако, при всей связи между обѣими частями сравнительнаго языкознанія, истинный ключъ высшаго смысла всей науки содержитъ въ себѣ послѣдняя часть. Взглядъ на разнообразіе въ языкахъ какъ на явленіе «интеллектуально-телеологическое»—вотъ та точка зрѣнія, отъ которой общее языкознаніе получаетъ высшее освѣщеніе—въ этомъ именно пунктѣ она примыкаетъ къ наукѣ и къ искусству. Языкознаніе по существу своему наука историческая. Подобно тому какъ задача историка заключается въ томъ, чтобы представить стремленіе господствующихъ въ исторіи идей къ воплощенію въ дѣйствительности, точно также дѣло лингвиста представить направленіе, въ которомъ идея совершеннаго языка стремится проявить себя въ реальныхъ формахъ ²⁾. Мало того. Для языкознанія наиболѣе

¹⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium стр. 267. Ueber den Zusammenhang etc. G. W. VI, 428 и др.

²⁾ Ueber die Aufgabe etc. G. W. I, 24. Einleitung стр. 11.

высокою точкой зрѣнія является точка зрѣнія историко-философская: будучи наукою историческою, языкознаніе въ то же время входитъ въ составъ философской исторіи человѣчества вообще ¹⁾. Оно должно «найти связь языка съ культурнымъ состояніемъ и духовными особенностями отдѣльныхъ народовъ»; оно должно всегда «имѣть въ виду ходъ духовнаго развитія человѣческаго рода и открыть его истинную цѣль» ²⁾; на различія между языками оно должно смотрѣть не какъ на различія въ звукахъ, а какъ на различія въ мировоззрѣніяхъ,—какъ на необходимое, ничѣмъ другимъ не замѣнимое средство для разработки идейной области», какъ на «источникъ» болѣе богатаго многообразія и большаго своеобразія интеллектуальныхъ продуктовъ, — источникъ основаннаго на взаимномъ чувствѣ индивидуальности и потому болѣе тѣснаго объединенія болѣе культурной части человѣческаго рода» ³⁾. Въ самомъ дѣлѣ, это, — все большее сплоченіе всего человѣческаго рода, — идея гуманизма и есть та идея, которая наиболѣе выступаетъ на протяженіи всей исторіи и лучше всего доказываетъ усовершенствованіе нашего рода ⁴⁾. Реализація этой идеи именно и способствуетъ языкъ—тѣмъ, что онъ «болѣе, чѣмъ что либо другое въ человѣкѣ, обнимаетъ весь родъ» и удивительнымъ образомъ соединяетъ національныя и индивидуальныя особенности съ общечеловѣческими элементами.

И все же не въ этой телеологической точкѣ зрѣнія заключаются конечное и истинное основаніе той связи, какая существуетъ между языкомъ и исторіей, между языкознаніемъ и философіей исторіи. Наоборотъ, Гумбольдтъ много разъ полемизируетъ противъ всякаго, въ строгомъ смыслѣ слова телеологическаго воззрѣнія на исторію, такъ какъ это воззрѣніе нарушаетъ и извращаетъ свободное представленіе о своеобразномъ дѣйствіи господствующихъ въ исторіи силъ. Въ этомъ пунктѣ онъ повсюду уклоняется отъ воззрѣній Банта и приближается къ воззрѣніямъ Гердера. Пониманіе исторіи съ точки зрѣнія конечныхъ цѣлей (Endursachen?) противурѣчитъ его нерасположенію ко всему систематическому и конструктивному; онъ точно также противурѣчитъ высокому значенію, которое онъ придаетъ индивидуальной жизни. Свободное поставленіе цѣлей онъ можетъ себѣ представить только въ индивидуумѣ: онъ остерегается связывать цѣль съ понятіемъ идеальнаго цѣлаго. Въмѣсто цѣлей, которыя находятся въ конечномъ пунктѣ всемірной исторіи, онъ говоритъ объ идеяхъ и силахъ, которыя на протяженіи ея одушевлены стремленіемъ себя проявить и раскрыть. «Всякая исторія», говоритъ онъ въ статьѣ о

1) Ueber den Dualis, G. W. VI, 564.

2) Ueber den Zusammenhang etc. G. W. VI, 428; сравн. Ueber die Verwandtschaft etc., I. c. стр. 1.

3) Ueber das vergleichende Sprachstudium, стр. 247.

4) Kawi-Sprache, III, стр. 426.

задачѣ историка, «есть ничто иное какъ осуществленіе идеи, а въ идеѣ заключается вмѣстѣ съ тѣмъ сила и цѣль; такимъ образомъ, углубляясь въ изслѣдованіе однѣхъ лишь творческихъ силъ, болѣе правильнымъ путемъ достигаешь (пониманія) конечныхъ цѣлей (Endursachen), къ которымъ духъ естественно стремится». Это воззрѣніе съ одной стороны близко подходитъ къ воззрѣнію Аристотеля касательно тождественности между *αἰτία*, *εἶδος* и *τέλος*, а съ другой—переворачиваетъ его почти что вверхъ дномъ. Это различіе чисто Гумбольдтовское по своей утонченности и едва ли выдерживаетъ критику, но для самого Гумбольдта оно тѣмъ не менѣе имѣетъ огромную важность. Въ третьемъ параграфѣ «Введенія» онъ снова и съ настойчивостью обращаетъ вниманіе на это различіе. При всякомъ обзорѣ исторія, говорится тамъ, замѣчается движеніе впередъ; проявляется наружу все болѣе возрастающее «очеловѣчиваніе» а вмѣстѣ съ тѣмъ и совершенно очевидная «планомѣрность». Однако онъ тутъ же возражаетъ: вѣтъ вовсе не имѣется въ виду построить систему цѣлей; планомѣрность не должна быть предположена существующею заранѣе; ее проявленіе указываетъ только на самостоятельную и первичную причину, на силу, идею, «на внутренній принципъ жизни, свободно развивающійся во всей своей полнотѣ».

Согласно этому основному воззрѣнію, «которое исходитъ не изъ поставленной заранѣе цѣли, а изъ перво-причины, признанной неисповѣдимой», формулируетъ Гумбольдтъ основное положеніе своей философіи. Въ концѣ его писательской дѣятельности оно то же, что и въ началѣ ея: во «Введеніи къ языку Кави» мы находимъ то же воззрѣніе, что и въ «Опытѣ о предѣлахъ дѣятельности государства». Конечная идея, осуществленіемъ которой представляется всемірная исторія, это—«многообразное откровеніе (Offenbarung) духовной силы человѣчества». Къ этой именно точкѣ зрѣнія, въ истинномъ смыслѣ наиболѣе высокой, и примыкаетъ наука о языкѣ. Идею совершеннаго языка слѣдуетъ разсматривать не отдѣльно, а въ связи съ духовною силою человѣка, ибо языкъ имѣетъ свои корни въ этой послѣдней. Языкъ есть «одна изъ формъ, въ которыхъ духовная сила человѣка вступаетъ въ вѣчно дѣятельный процессъ». Онъ—органъ внутренняго бытія—само это бытіе, шагъ за шагомъ входящее до внутренняго познанія и внѣшняго выраженія. Онъ «тѣсно сплетенъ съ духовнымъ развитіемъ человѣчества, онъ сопровождаетъ это развитіе на каждой ступени мѣстнаго его прогресса и регресса, и культурное состояніе даннаго момента отражается также и въ немъ» ¹⁾. Языкъ во всякомъ случаѣ имѣетъ одно преимущество передъ всѣми прочими проявленіями духовной силы человѣка, передъ правовыми воззрѣніями народовъ и ихъ государственными учрежде-

¹⁾ Einleitung, стр. 10, стр. 2, 5.

ніями, передъ ихъ наукой и искусствомъ, обычаями, твореніями и дѣлами, — это именно то, что изъ всѣхъ откровеній человѣческаго духа онъ безусловно первое: до него невозможно себя представить въ человѣкѣ что либо человѣческое, онъ — первичная эманация его природы. Существуетъ такая эпоха, когда мы только языкъ и видимъ, когда онъ не только сопровождаетъ духовное развитіе, но и занимаетъ все его мѣсто. Онъ — первая необходимая ступень, исходя изъ которой народы только и могутъ преслѣдовать болѣе высокую человѣческую цѣль. Такимъ образомъ языкъ, идя, повидимому, параллельно со всѣми остальными проявленіями человѣческаго духа, въ сущности предшествуетъ имъ какъ по времени, такъ и внутренно. Вслѣдствіе этого существуетъ необходимая связь между языкомъ и успѣхами во всѣхъ другихъ родахъ интеллектуальной дѣятельности ¹⁾. Мало того, даже обозначеніе языка какъ формы проявленія или какъ чего-то по отношенію къ интеллектуальности вторичнаго не вполне соотвѣтствуетъ истинѣ: онъ вытекаетъ изъ глубины человечества, что не допускаетъ возможности рассматривать его собственно какъ произведеніе и созданіе народовъ. Онъ «обладаетъ самодѣятельностью, открывающеюся намъ въ видимыхъ чертахъ»; «интеллектуальныя особенности народовъ можно точно также считать результатомъ его воздѣйствія»; «мы различаемъ интеллектуальность и языкъ, но въ дѣйствительности такого раздѣленія не существуетъ». Изъ этой тождественности и изъ этой первородности слѣдуетъ, наконецъ, и то, что изъ всѣхъ внѣшнихъ выраженій, въ которыхъ проявляются духъ и характеръ народовъ, языкъ одинъ способенъ представить то и другое во всѣхъ ихъ развѣтвленіяхъ и тонкостяхъ. И поэтому языки слѣдуетъ разсматривать «какъ принципъ послѣдовательнаго духовнаго развитія», а различія въ языкахъ и продукты человѣческаго духа слѣдуетъ разсматривать въ постоянной связи какъ два взаимно обуславливающія и взаимно освѣщающія другъ друга явленія ²⁾.

Это несомнѣнно возвышенная точка зрѣнія для языковѣдѣнія, — наиболѣе высокая изъ мыслимыхъ. Это именно та точка зрѣнія, практическое проведеніе которой, какъ нами указано было выше, уничтожаетъ противоположность между человѣческимъ и божественнымъ происхожденіемъ языковъ не однимъ лишь словомъ «тожество» обоихъ. Съ этой точки зрѣнія становится вполне понятнымъ, какимъ образомъ, по возвращенію Гумбольдта, въ языкѣ сбывается старый сонъ о «сравнительной антропологіи» и объ историко-философс-

¹⁾ Briefwechsel mit Schiller (Переписка съ Шиллеромъ), стр. 41; Einleitung стр. 5, 36, 37.

²⁾ Einleitung, стр. 39 и стр. 3. О слѣдствіяхъ и практическомъ примѣненіи этого воззрѣнія см. ниже, вторая половина четвертой книги.

комъ «образъ человѣчества». Гумбольдтъ въ самомъ дѣлѣ всегда оставался вѣрнымъ этой точкѣ зрѣнія. Онъ придерживается ея во всемъ «Введеніи»; она—руководственная нить, которая проходитъ черезъ всѣ его работы. Вся ширина и глубина, какія отъ этого пріобрѣтаетъ языковѣдѣніе, выражены наиболѣе полно и ясно въ вводномъ параграфѣ отдѣла: «О языкахъ обитателей Южнаго Архипелага» въ его большомъ произведеніи о языкѣ Кави. «Найти различія въ строеніи человѣческаго языка, представить существенныя ихъ особенности, систематизировать съ правильной точки зрѣнія ихъ съ виду безконечное многообразіе, изслѣдовать источники этихъ различій, также какъ и вліяніе ихъ на мышленіе, ощущенія и мировоззрѣніе говорящаго и, руководствуясь языкомъ, тѣсно сплетеннымъ съ духовнымъ развитіемъ человѣчества и сопровождающимъ его на каждомъ шагѣ, прослѣдить ходъ этого развитія во всѣхъ его историческихъ превращеніяхъ—вотъ важное и многообъемлющее дѣло общаго языковѣдѣнія».

Чѣмъ выше однако мы поставимъ то, что Гумбольдтъ ни на какой иной точкѣ зрѣнія не могъ успокоиться, кромѣ какъ на историко-философской,—тѣмъ менѣе удовлетворительными представляется намъ характеръ этого его воззрѣнія и жѣра, въ какой онъ его проводитъ. Указывая на то, что духовная сила человѣка есть тотъ пунктъ, который связываетъ языкъ съ исторіей, Гумбольдтъ даетъ объ этомъ очень мало конкретныхъ опредѣленій. Изъ всего богатства историческихъ силъ и ихъ движенія передъ нами выступаетъ почти что одна только сторона интеллектуальнаго развитія; при этомъ выступаетъ не столько развитіе, сколько общая сущность духа. Гумбольдтъ представляетъ намъ языкъ связаннымъ съ судьбами и дѣлами народовъ въ ихъ живомъ движеніи одною только тонкою нитью; онъ прямо заявляетъ, что языкъ невозможно привести въ прямую связь съ этими реальными проявленіями народной жизни. Въ непосредственное отношеніе Гумбольдтъ ставитъ развитіе языка только съ духовными особенностями, причемъ онъ ищетъ ихъ во «внутреннемъ настроеніи души». Яркая картина и свободный и реальный процессъ народной жизни отступаетъ на задній планъ; исторія, о которой здѣсь идетъ рѣчь, соткана изъ тончайшей матеріи внутренней жизни; все что, по индійскому воззрѣнію,—по перенятому Гумбольдтомъ выраженію,—относится къ «земной сторонѣ» (Irdischkeit) исторіи, очень рѣдко принимается во вниманіе,—и то лишь въ самой общей формѣ. Это глубина и душевная тишина позднѣйшаго, ушедшаго изъ міра Гумбольдта приводятъ его къ тому, что онъ пребываетъ только въ высшихъ сферахъ человѣческой исторіи—тамъ, гдѣ дѣла и судьбы еще не родились или уже стали безсмертными. Направляя свой взоръ не столько на цѣль, сколько на основаніе человѣческихъ дѣлъ, онъ смотритъ на исторію, какъ на

вторую природу. Его философія исторіи это скорѣе фізіологія исторіи; одною своею стороною она находится въ предѣлахъ той науки, которую самъ Гумбольдтъ какъ-то называлъ «естествовѣдніемъ духа», другою же стороною она едва выходитъ за предѣлы исторіи въ собственномъ смыслѣ.

И такъ основные законы фізіологіи во вѣки человѣчнаго, какими они представляются въ явленіи времени,—вотъ что его занимаетъ, вотъ на чемъ онъ все снова и всегда съ одинаково глубокимъ чувствомъ останавливаетъ свое вниманіе. «Всемирную исторію невозможно понять безъ міроуправленія»; планъ міроуправленія понятенъ лишь до столько, по сколько выходишь за предѣлы явленія и возвышаешься до воспріятія идей, которыя дѣйствуютъ во всемирной исторіи и управляютъ ею во всѣхъ ея частяхъ ¹⁾. Все эти идеи коренятся въ неизмѣримой глубинѣ человѣческаго существа; онѣ суть откровенія духовной способности человѣка. Но рядомъ съ ними дѣйствуютъ неизмѣнныя условія человѣческаго бытія,—рядомъ со свободой дѣйствуетъ природа ²⁾.

Изъ этого воззрѣнія тотчасъ же вытекаетъ первый основной историко-философскій законъ. «Гумбольдтъ повторяетъ ту самую мысль, которую Кантъ развилъ въ своемъ несравненномъ трактатѣ: *Idee einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht*» (Идея общей исторіи съ точки зрѣнія всемирно-гражданской). Во всемъ устройствѣ человѣческаго рода на землѣ мы находимъ слѣдующую особенность: то именно, что вытекаетъ изъ природной необходимости и физической потребности, въ дальнѣйшемъ развитіи служитъ самымъ высокимъ идеальнымъ цѣлямъ. Первоначальное различіе въ языкахъ и обусловленное этимъ возникновеніе класса образованныхъ, который становится носителемъ болѣе высокой духовной силы, являются доказательствомъ этого универсальнаго явленія, и такимъ образомъ обѣ, вначалѣ различныя части языкознанія представляются едиными и съ историко-философской точки зрѣнія ³⁾.

Не въ меньшей степени отражается въ языкѣ и другой великій фізіологическій законъ, который всецѣло относится къ идеальной части исторіи. «Ткань всемирной исторіи, по сколько она кажется внутренняго человѣка, состоитъ изъ двухъ скрещивающихся другъ съ другомъ и въ то же время связанныхъ между собою направлений», а именно—«изъ вѣчно прерывающейся жизни индивидовъ и изъ цѣпи того, что создано съ ихъ помощью и въ зависимости отъ рока», или, какъ это выражено въ другомъ мѣстѣ, изъ

¹⁾ Ueber die Aufgabe etc., G. W. I, 18—19.

²⁾ Ibid. стр. 19; Ankündigung, I. c. стр. 489.

³⁾ Ueber das vergleichende Sprachstudium, I. c., стр. 267, 268; сравн. Ankündigung, I. c. стр. 485 и слѣд.

того, «что является слѣдствиемъ общей природы человѣка, и того, что происходитъ изъ рѣшеній, воли и судьбы индивидуальности»¹⁾. И опять-таки языкъ, какъ указано выше, является живою иллюстраціей созвучія этихъ двухъ противоположныхъ элементовъ: нѣтъ ничего болѣе индивидуальнаго и болѣе связаннаго съ моментомъ, чѣмъ живая рѣчь, и въ то же время нѣтъ ничего, что въ такой же степени, какъ языкъ, обуславливалось бы всею націей и человѣческимъ родомъ и въ такой же степени зависѣло бы отъ прошлаго²⁾.

Но чѣмъ менѣе Гумбольдтъ, по основнымъ особенностямъ своей природы, могъ удержаться отъ того, чтобы изъ двухъ направленій всемірно-историческаго процесса «не поставить на первомъ мѣстѣ индивидуальное», съ тѣмъ болѣею любовью обращаетъ онъ вниманіе на третій законъ, проявляющійся наружу въ исторіи. Весьма характерно для человѣка, который и изъ работы мысли дѣлалъ для себя наслажденіе, — что нѣкоторыя идеи были ему особенно дороги, и онъ лелеялъ ихъ съ особенною любовью. Съ одною изъ этихъ его любимыхъ идей мы встрѣчаемся здѣсь. Исторія есть продуктъ свободы и природной необходимости, — жизни индивидовъ и жизни цѣлаго. Къ этимъ двумъ отчасти покрывающимъ другъ друга и скрещивающимся между собою явленіямъ присоединяется еще третье, высшее явленіе, — повтореніе той же противоположности историческихъ факторовъ въ болѣе высокой степени. А именно: существуетъ высочайшее проявленіе человѣческой свободы и человѣческой индивидуальности,

¹⁾ Einleitung стр. 25. Письмо къ Gëte (Neue Ienaische Literaturzeitung 1843 № 2 и у Schlesier'a II 470); сравн. Prüfung der Untersuchungen etc. G. W. II 120. Наиболѣе полно — въ письмѣ къ Вольцогенъ (I. c. II, 45). „Достоиню удивленія и захватываетъ своимъ величіемъ міроустроеніе, въ которомъ, несмотря на неустойчивость и кратковременность дѣятельности отдѣльнаго человѣка, все же существуютъ средства, расширяющія эту дѣятельность и до нѣкоторой степени ее увѣковѣчающія — мірозданіе, въ которомъ мы, несмотря на то, что судьбы отдѣльныхъ существъ представляють собою оторванныя нити, имѣемъ однако возможность прослѣдить на большомъ протяженіи, какъ въ видимой, такъ и въ идеальной связи, большіе періоды исторіи земли, такъ что изъ этого образуется одно цѣлое въ составъ котораго входитъ весь человѣческій родъ и даже планеты. Отдѣльный человѣкъ какъ бы существовалъ только ради этого цѣлаго, въ которомъ онъ однако дальнѣйшаго участія не принимаетъ. Безъ сомнѣнія, на его образъ жизни это цѣлое оказываетъ огромное вліяніе, потому что оно опредѣляетъ то положеніе, въ какомъ всякій новорожденный вступаетъ въ свѣтъ; но вполнѣ исчерпываетъ эту связь только тотъ, кто прорѣзываетъ ее въ духѣ. Изъ этого такимъ образомъ становится яснымъ, что наиболѣе важнымъ въ планѣ мірозданія представляется мысль, — все, что она обнимаетъ и производитъ; но мысль существуетъ только въ индивидуумѣ, слѣдовательно, конечная цѣль заключается въ этомъ послѣднемъ“. Въ „Письмахъ къ другу“ (Briefe an eine Freundin) имѣется много разсужденій въ этомъ же родѣ.

²⁾ Einleitung §§ 5 и 6.

самое блестящее подтвержденіе того, что въ исторіи господствуютъ идеальныя силы. Въ причинномъ сцѣпленіи человѣческихъ вещей одна часть можетъ получить достаточное объясненіе съ этиологической точки зрѣнія; но эта область подвергается также дѣйствію новыхъ и не поддающихся измѣренію внутреннихъ силъ. Вліяніе человѣческаго духа выражается отчасти въ явномъ историческомъ продуктѣ, видимо подчиненномъ закону причинности; но на ряду съ этимъ духовная сила по временамъ выступаетъ наружу въ формѣ неожиданныхъ и необъяснимыхъ явленій; явленія эти расширяютъ жизнь, ибо сами они произошли изъ жизненной полноты, порожденной «воспламеняющимъ духомъ генія въ отдѣльныхъ лицахъ и въ цѣлыхъ народахъ»¹⁾. Многоразличные факты служатъ подтвержденіемъ этого. Напримѣръ, алгебра была именно такимъ новымъ гениальнымъ и удивительнымъ явленіемъ духа въ математическомъ направленіи; точно такимъ же явленіемъ было возникновеніе искусства въ его чистой формѣ въ Египтѣ, неожиданное развитіе въ Греціи индивидуальности—свободной и все же державшейся въ извѣстныхъ предѣлахъ. То же имѣло мѣсто во всѣхъ случаяхъ, когда гениальныя личности или цѣлые народы давали исторіи человѣческаго рода новое направленіе. Но наиболее очевидно это явленіе въ языкахъ. Въ исторіи всѣхъ языковъ введеніе письма является такого рода, составляющимъ эпоху событіемъ²⁾. Другимъ примѣромъ можетъ служить возникновеніе романскаго языка на развалинахъ римскаго³⁾. Но этотъ же законъ ставить опредѣленныя границы объясненію историческаго происхожденія болѣе совершеннаго языка изъ менѣе совершеннаго. По мнѣнію Гумбольдта, именно поэтому необходимо отказаться отъ мысли доказать постепенное развитіе санскритскаго языка изъ китайскаго⁴⁾,—на нихъ слѣдуетъ смотрѣть только какъ на идеальныя ступени въ успѣшномъ развитіи языка.

Такимъ образомъ Гумбольдтова философія исторіи при огромномъ значеніи, какое она придаетъ оригинальному и гениальному, сворачиваетъ съ исторіи обратно на метафизику и переноситъ историческія протяженія во времени въ идеальное пространство, сводя ихъ къ различіямъ и ступенямъ идеѣ.

¹⁾ Einleitung §§ 2 и 4. Ueber die Aufgabe etc. I, 17, 18, 20; сравн. болѣе раннія работы, напр., Ueber den Geschlechtsunterschied, G. W. IV, 277. Въ какой степени на разработку этой любимой идеи Гумбольдта повліялъ Кантъ, ясно для каждаго, кому памятно предисловіе къ „Критикѣ чистаго разума“.

²⁾ Ueber den Zusammenhang et. G. W. VI, 429 и слѣд.

³⁾ Einleitung, стр. 13.

⁴⁾ Ibid. стр. 17.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ВДАЛИ ОТЪ СВѢТА.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Дѣятельность въ другихъ областяхъ
и послѣдній періодъ жизни.

Можно было ожидать, что послѣ завершения той части его жизни, которую онъ самъ склоненъ былъ разсматривать только какъ одинъ изъ ея эпизодовъ, Гумбольдтъ исполнить давно задуманный планъ возвращенія въ Италію. Но онъ былъ однако слишкомъ многими нитями связанъ съ родиной. Его задержало прежде всего устройство дарованнаго ему помѣстья, которымъ онъ долженъ былъ заняться тотчасъ по выходѣ въ отставку, а затѣмъ и привязанность къ семьѣ. Еще въ 1815 году одна изъ его дочерей вышла замужъ за подполковника Гедеменна, а въ началѣ 1821 года вернулся изъ Лондона Бюловъ, вступившій въ департаментъ иностранныхъ дѣлъ и женившійся на его дочери Габріэли. Его женатый сынъ Теодоръ жилъ въ Силезіи. Младшій, Германъ, воспитывался подъ крылышкомъ у родителей; въ тѣсномъ союзѣ съ родителями жила также ихъ старшая незамужняя дочь Каролина¹⁾. Такимъ образомъ жизнь взяла свое и пересилила его внутреннее стремленіе къ могильнымъ холмамъ у подножія пирамиды Цестія; съ любовью къ своимъ соединилась любовь къ родинѣ и взяла верхъ надъ любовью къ небу Рима и Альбано.

Но глубокое чувство вѣрности по отношенію къ прошлому шло у Гумбольдта еще далѣе, — на его рѣшеніе повліяло представленіе еще болѣе идиллическое: онъ задумалъ вернуться къ моменту своей жизни, значительно предшествовавшему римской эпохѣ, — къ первой счастливой порѣ своей юности, къ медовому мѣсяцу своего супружества. Вторичное удаленіе въ частную жизнь должно было быть подобнымъ первому. Въ его воспоминаніяхъ пережитое имъ когда-то въ Аулебенѣ и Бургёрнерѣ и позднѣе въ Римѣ представлялось ему въ еще болѣе привлекательномъ свѣтѣ. Онъ хотѣлъ жить исключи-

¹⁾ Ср. относит. этихъ фактовъ семейной жизни: Briefe an eine Freundin (перв. изд.) I, 40; письмо къ Штейну отъ 5 марта 1822 г. у Pertz'a V, 693; А. Гумбольдтъ въ предисл. къ сонетамъ В. Гумбольдта, стр. XV; Schlesier, II, 560.

тельно только «съ нею, въ замкнутомъ семейномъ кругу»: «однако вдвоемъ» совершенно такъ же, какъ они жили въ началѣ дѣвятидесятихъ годовъ.

Мѣстомъ дѣйствія для этой идилліи онъ избралъ Тегель; это было мѣсто, гдѣ онъ провелъ свое дѣтство. Отсюда — рукой подать до столицы, съ которою его связывали разнообразныя научныя и общественныя отношенія. И вмѣстѣ съ тѣмъ, несмотря на свою близость къ столицѣ — два или три часа ѣзды, — Тегель представлялъ полнѣйшее сельское уединеніе. Мѣстоположеніе его не было лишено нѣкоторой прелести; его нельзя сравнивать съ Ариціей, нельзя на берегахъ Гавеля искать красоту, какія представляютъ покрытыя виноградниками берега Рейна и Неккара, но природа сдѣлала тутъ все, что она въ силахъ сдѣлать въ этой мѣстности. Послѣ покрытой сосновымъ лѣсомъ песчаной равнины, окружающей Берлинъ, глазъ съ пріятнымъ удивленіемъ останавливается на украшенныхъ растительностью холмахъ Тегеля, съ которыхъ открывается далекій видъ на перерѣзанный цвѣтущими островами Гавель. Искусство пришло тутъ на помощь природѣ. Различнаго рода насажденія и сады окружали уже во времена Фридриха II тегельскій замокъ, бывший тогда охотничьимъ замкомъ великаго курфюрста; отецъ Гумбольдта расширилъ паркъ и сады; а теперь кустарники и деревья парка густо разрослись, старыя, высокія деревья осѣняли замокъ, аллеи каштановъ и платанъ пересѣкали поле въ различныхъ направленіяхъ. Домъ показался новому владѣльцу слишкомъ тѣснъ; онъ рѣшилъ построить новый, болѣе помѣстительный и художественно украсить его. Красивая постройка, возведенная въ двадцатыхъ годахъ, составляетъ заслугу архитектора, внутреннее убранство — заслугу Гумбольдта ¹⁾. Онъ не могъ болѣе созерцать статуи и фигуры боговъ подъ открытымъ небомъ, какъ прежде, но не хотѣлъ отъ нихъ отказаться; онъ хотѣлъ перенести хоть кусокъ Италіи въ свою любимую резиденцію; поэтому всѣ антики и всѣ гипсы, приобретенныя имъ въ Римѣ и въ другихъ мѣстахъ, были перевезены въ Тегель, и только картины остались въ городской квартирѣ. Лишь то, что было ему всего дороже, должно было окружать его здѣсь, и теперь онъ съ удвоенною любовью относился къ мѣсту, «гдѣ могъ бродить, окруженный одними только прекрасными образами» ²⁾.

Если-бы онъ могъ слѣдовать только своей личной склонности,

¹⁾ Изображенія какъ внѣшняго, такъ и внутренняго вида новаго зданія имѣется у Шинкеля (Schinkel, Sammlung architect. Entwürfe), т. I, стр. 49 и 50.

²⁾ Briefe an eine Freundin, I, 25, 130, 206 и сл., 218, 256. Письма къ Gutz'у отъ 21 мая 1827 г. въ изд. Schlesier'омъ. Сочин. Gutz'a, VI, 292. Ср. Schlesier, I, 6, 7 и II, 413.

онъ проводилъ-бы въ Тегелѣ также и зиму; но семейныя обстоятельства и главнымъ образомъ желанія жены опредѣлили порядокъ ихъ жизни такъ, что зиму они всегда проводили въ городѣ. Вначалѣ и дѣтнее пребываніе въ Тегелѣ приходилось значительно сокращать. Недавно приобретеныя владѣнія въ Силезіи въ первые годы не разъ требовали болѣе продолжительнаго его присутствія, владѣнія въ Мансфельдской и Магдебургской областяхъ также приходилось посѣщать по временамъ. Охотно провелъ-бы онъ, а еще охотнѣе его жена, нѣкоторое время въ Бургёрнерѣ—томъ мѣстѣ, которое было свидѣтелемъ ихъ первоначальной счастливой совмѣстной жизни. Пребываніе въ Оттмахау представляло привлекательность много рода: съ вершины холмовъ, окаймляющихъ берега Нейсы черезъ плодородныя поля и равнины открывался видъ на цѣпи силезскихъ, богемскихъ и моравскихъ горъ. Изъ Бургёрнера можно было навѣщать друзей въ Іенѣ и Веймарѣ, въ Рудольштадтѣ и Шульпфортѣ. Путешествіе въ Силезію давало случай для подобныхъ же экскурсій въ Бреславль и Глогау. И какъ въ Оттмахау, такъ и въ Бургёрнерѣ не разъ собирались всѣ члены семьи для веселой и счастливой совмѣстной жизни, и какъ ни обширно и гостепріимно было ихъ жилище, оно едва вмѣшало многочисленныхъ гостей.

Въ 1824 закончилась между тѣмъ постройка новаго дома въ Тегелѣ,—и чтобы по возможности меньше покидать лѣтомъ этотъ любимый уголокъ, путешествія въ отдаленныя имѣнія съ этого времени все болѣе и болѣе сокращались и были перенесены на весну и осень, а поѣздка въ Тюрингію даже на зиму. Вскорѣ однако-же являлась помѣха другого рода. Въ 1826 году женѣ Гумбольдта пришлось впервые пользоваться леченіемъ въ Гаштейнѣ; въ слѣдующемъ году супруги отправились туда вмѣстѣ и воспользовались этимъ для посѣщенія богатаго художественными произведеніями Мюнхена. Слѣдующій 1828 годъ былъ почти весь посвященъ путешествію: Бюловъ былъ назначенъ посланникомъ въ Лондонъ и давно уже отправился къ своему посту; теперь предполагалось совершить большое путешествіе съ цѣлью перевезти къ нему жену и дѣтей. Въ сопровожденіи старшей дочери отправились супруги въ концѣ марта изъ Берлина черезъ Парижъ въ Лондонъ. Снова проснулась въ Гумбольдтѣ старая страсть къ путешествію. Такъ какъ пребываніе въ деревнѣ приходилось такимъ образомъ прервать, то онъ былъ непрочъ замѣнить его на время пребываніемъ въ обихъ столицахъ, которые были ему такъ хорошо знакомы и такъ интересовали его какъ сами по себѣ, такъ и своими обитателями. Въ Парижѣ провели они нѣсколько недѣль и, какъ въ былое время, Гумбольдтъ снова отдался круговороту парижской жизни; съ тою-же глубокой наблюдательностью и пониманіемъ людей и вещей, какъ тридцать и сорокъ лѣтъ тому назадъ, съ чисто-юношескою подвижностью бродилъ онъ по

многолюднымъ улицамъ столицы, разыскивая многочисленныхъ старыхъ знакомыхъ и завязывая новыя связи. Тоже самое было и въ Лондонѣ. Онъ прибылъ сюда изъ Калѣ со всею своею семьей 19 мая. Около двухъ мѣсяцевъ продолжалось ихъ пребываніе въ Лондонѣ; здѣсь онъ тѣмъ свободнѣе могъ отдаваться многообразнымъ общественнымъ, политическимъ и научнымъ интересамъ, что домъ его зятя представлялъ уютное и спокойное убѣжище. Самъ Гумбольдтъ впрочемъ въ этомъ мало нуждался. Онъ оставилъ по себѣ въ Лондонѣ прекрасную память; король Георгъ IV относился къ нему съ особеннымъ вниманіемъ; онъ почтилъ его орденомъ и еще болѣе тѣмъ, что его портретъ, написанный художникомъ Лауренсомъ, занялъ въ Виндзорской галереѣ мѣсто рядомъ съ портретами монарховъ, полководцевъ и государственныхъ людей эпохи освобожденія. Тѣмъ не менѣе парижская жизнь и французскій характеръ повидимому нравились ему болѣе, нежели англійскій, и хотя въ этомъ году имъ снова предстояла поѣздка въ Гаштейнъ, они и на возвратномъ пути захлѣли снова въ Парижъ и такъ пріятно провели тамъ недѣлю, что явилась даже мысль поселиться тамъ снова на годъ. Три дня провели они затѣмъ въ Мюнхенѣ и только въ половинѣ августа достигли Зальцбурга и Гаштейна. Медленно и окольными путями двинулись они наконецъ по направлѣнію къ родицѣ и въ первыхъ числахъ октябрия прибыли въ Берлинъ. Послѣ чудной природы, только что видѣнной ими, скромный Тегель все же не утратилъ для нихъ своей привлекательности; позднюю осень удалились они еще на нѣсколько недѣль въ его тихое уединеніе и только въ ноябрѣ переѣхали на свою зимнюю квартиру въ Берлинъ ¹⁾.

Но эта свѣтская и кочевая жизнь въ значительной мѣрѣ выбивала Гумбольдта изъ его обычной колеи: то что было ему теперь наименѣе желательно—улица и салонъ,—того менѣе всего онъ могъ избѣгнуть въ Парижѣ и Лондонѣ. На родинѣ онъ жилъ жизнью ученаго—самую правильную, самую трудолюбивую, какую только можно себѣ представить. Окруженный книгами и бумагами онъ проводитъ цѣлые дни съ утра и до полуночи за своимъ письменнымъ столомъ; онъ покидаетъ свой музей только въ послѣобѣденные и вечерніе часы, которые проводитъ въ кругу семьи; рѣже посѣщаетъ въ это время какого-нибудь стараго знакомаго, еще рѣже—дѣлаетъ какой-нибудь неизбѣжный визитъ. Перемѣна мѣстопребыванія мало вліяла на эту однообразную правильность, также какъ и перемена временъ года—съ тою только разницей, что зима дѣлаетъ его еще прилежнѣе, еще большимъ домохозяиномъ, ибо въ деревнѣ его отрываешь еще иногда отъ работы гость, пріѣхавшій изъ города, или онъ совершаетъ во время солнечнаго заката прогулку съ женой. Въ

¹⁾ См. отчетъ о путеш. въ Briefe an eine Freundin, I, 339, 341 и сл.

городъ-же зимой его даже и мартовское солнце не можетъ оторвать отъ его книгъ; видъ январьскаго снѣга онъ закрываетъ отъ себя опущенными занавѣсками; онъ отказался даже отъ привычки прежняго времени блуждать въ свѣтлыя, звѣздныя ночи по улицамъ. «Мои работы», пишетъ онъ, — «это моя жизнь», и онъ правъ, говоря въ другомъ мѣстѣ, что онъ болѣе занятъ, чѣмъ большинство изъ тѣхъ, которые завалены дѣлами. Едва-едва успѣваетъ онъ позаботиться о своихъ многочисленныхъ личныхъ дѣлахъ и поддерживать свою обширную переписку. Для этой стороны его дѣятельности ему служатъ ночные часы; остальное время принадлежитъ исключительно его научнымъ занятіямъ. И въ этомъ отношеніи онъ соблюдаетъ строжайшій порядокъ и экономію. Все, что его окружаетъ, и съ чѣмъ онъ приходитъ въ соприкосновеніе, свою внутреннюю жизнь и въ особенности свою научную дѣятельность, онъ подчинилъ опредѣленной системѣ. Онъ считаетъ даже нравственнымъ долгомъ и въ этомъ отношеніи идти твердымъ путемъ, даже самое незначительное подчинять правилу и нормѣ и какъ можно менѣе зависѣть отъ измѣчивости настроенія: «самое ненавистное для меня», говоритъ онъ, «это—зависящая только отъ каприза смѣна идей или блужданіе ошущью» ¹⁾).

Но если даже путешествіе въ Лондонъ и нарушило внѣшнимъ образомъ и на короткое время правильное теченіе семейной и духовной жизни Гумбольдта, тѣмъ не менѣе существовали условія, въ достаточной мѣрѣ гарантировавшія эту жизнь отъ болѣе продолжительныхъ и болѣе значительныхъ отклоненій. Гарантіи эти лежали какъ въ его образѣ мыслей, такъ и во внѣшнихъ обстоятельствахъ. Онъ былъ, по правдѣ сказать, въ такой-же мѣрѣ радъ избавиться отъ служебныхъ занятій, въ какой вызвавшая его паденіе партія была рада избавиться отъ него самого. Онъ никогда не скрывалъ отъ близкихъ ему людей, что смотритъ на свою политическую дѣятельность какъ на нѣчто случайное въ общемъ теченіи своей жизни. Ему свойственно было всегда, какъ онъ самъ говоритъ, «смотрѣть на эти занятія, какъ на нѣчто побочное по сравненію съ внутреннею и истинною жизнью». неизмѣримо выше ставилъ онъ занятія идеями и наукой, — «не будь ихъ, акты испортили-ли бы человѣка вконецъ». Только въ подчиненіи своей дѣятельности идеямъ, а также въ чисто искусственномъ расчлененіи своихъ интересовъ искалъ онъ средства ослабить гнетъ, который необходимость дѣйствовать налагала на его склонность къ созерцанію. Естественно, что посвященный научнымъ занятіямъ досугъ, которымъ онъ теперь уживался, казался ему те-

¹⁾ Briefe an eine Freundin, въ многочисленныхъ мѣстахъ, писанныхъ между 1822 и 1829 гг. писемъ. И въ дальнѣйшемъ изложеніи мы часто заимствуемъ изъ этого источника отдѣльныя характерныя черты.

перъ еще болѣе привлекательнымъ, и что наслажденіе этимъ досугомъ, любовь къ нему, съ каждымъ днемъ возрастали. Онъ близился уже къ закату своей жизни; даже римляне—и тѣ требовали только, чтобы отечеству посвящались молодость и средній возрастъ. И если онъ позволилъ себѣ въ самый дѣятельный періодъ жизни устраниваться отъ всякой общественной дѣятельности,—могъ-ли онъ не считать себя въ правѣ, пройдя съ полнымъ самоотреченіемъ путь, предначертанный долгомъ, уподобить дни своей старости днемъ своей юности? Онъ рассчитывалъ даже на одобреніе Штейна, говоря, «что нельзя-же прямо отъ канцелярскаго стола сойти въ могилу»; ему всегда была въ высшей степени антипатична мысль, писалъ онъ Штейну, «до конца жизни принимать участіе въ дѣлахъ, которыя съ момента смерти человѣка превращаются въ ничто, и изъ которыхъ мы ничего не беремъ съ собою при переходѣ въ другую жизнь».

Тѣмъ не менѣе онъ и теперь не уклонился-бы отъ служенія своей эпохѣ и отечеству. Онъ увѣрялъ въ этомъ Штейна своимъ словомъ. Но время было какъ разъ такое, что избавляло его отъ необходимости пожертвовать еще разъ своею индивидуальною жизнью. Его увольненіе было опалой. Именнымъ указомъ отъ 31 декабря 1819 года онъ увольнялся не только изъ министерства, но также и изъ государственнаго совѣта. Правда, король подписалъ бумагу безъ всякаго личнаго неудовольствія противъ него, уступая только тому, что Гарденбергъ и Витгенштейнъ представляли ему какъ государственную необходимость. Онъ принялъ очень милостиво заявленіе Гумбольдта объ отказѣ отъ какой-бы то ни было пенсін. Наслѣдныи принцъ, также какъ и другіе принцы королевскаго дома, удвоили свою благосклонность по отношенію къ павшему министру. Тѣмъ не менѣе Гумбольдтъ былъ все же политически опальнымъ. Ни благопріятное мнѣніе монарха, ни его имя, характеръ и заслуги не защищали его отъ заподозриваній приверженцевъ Шмальца и отъ дерзости полиціи, начавшей теперь проявлять свою всемогущую власть. Его письма вскрывались; его оппозиція противъ антидемагогическихъ мѣропріятій давали имъ достаточный поводъ указывать на него, какъ на соучастника въ политическихъ преступленіяхъ. Но независимо отъ этого, одно стояло и должно было стоять для него внѣ сомнѣнія, потому что этого требовала его честь и убѣжденія: вмѣстѣ съ государственнымъ канцлеромъ онъ не могъ болѣе работать; въ рядахъ правительства, не отказавшагося окончательно отъ господствовавшихъ государственныхъ принциповъ, для него не было мѣста. Ему оставалось только съ патріотическимъ интересомъ слѣдить издалека за ходомъ дѣлъ, вліять на которыя онъ не имѣлъ ни возможности, ни желанія. Онъ искреннѣйшимъ образомъ желалъ, чтобы общественныя дѣла приняли безъ его участія благопріятный оборотъ. Въ ближайшемъ будущемъ это каза-

лось ему однако-же мало вѣроятнымъ. Съ большей тревогой и неудовольствіемъ, чѣмъ Штейнъ наблюдалъ онъ затѣмъ, что дѣлалось и что упускалось. По собственному опыту зналъ онъ недостатки управленія и безсиліе тогдашнихъ правителей ихъ устранить. Онъ полагалъ поэтому наиболѣе желательнымъ, чтобы первые годы прошлаго безъ вѣдѣній толчковъ и значительныхъ новшествъ во внутреннемъ управленіи, ибо, какъ ни рѣшительно стоялъ онъ за введеніе представительнаго правленія, онъ не видѣлъ въ немъ однакоже универсальнаго средства для ослабленія господствующаго недовольства и возбужденія. Конституція была для него только частью, только послѣднимъ, замыкающимъ звеномъ необходимой реформы всей системы управленія. Справедливое и мудрое управленіе онъ считалъ первую и главнѣйшую защитой противъ опасностей демагогическихъ стремленій. Обновленіе государственнаго строя безъ реформы управленія онъ считалъ еще болѣе опаснымъ. Онъ боялся его тѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе одобрялъ тотъ духъ, въ которомъ оно должно было повидимому совершиться. Угнетеніе съ одной стороны, либеральная комедія съ другой—таковы были проявленія, въ которыхъ обнаруживался духъ Витгенштейнъ-Гарденберговскаго управленія. Съ одной стороны неутомимо преслѣдовался призракъ заговоровъ и революціи, съ другой—дѣлали видъ, будто не побоялись-бы даже и оппозиціи палатъ, подобныхъ французскимъ. Гумбольдтъ продолжалъ считать такого рода полицейскіе приемы столько-же недостойными, сколько и вредными и съ неодобреніемъ встрѣтилъ новое обѣщаніе конституціи, выраженное въ эдиктѣ отъ 17 января 1820 года. «Я боюсь теперь всякаго новаго порядка», писалъ онъ въ мартѣ 1820 года Штейну, «меня положительно успокаиваетъ то, что вопроса о конституціи пока, какъ кажется, не трогаютъ». Его однако-же не то, что «не трогали»,—дѣло лишь въ томъ, что конституція, благодаря стараніямъ Австріи и неустойчивости Гарденберга, спустилась до того уровня, на которомъ она ужъ не сталкивалась болѣе съ мелочнымъ и трусливымъ духомъ полицейской и бюрократической монархіи, съ реакціонными стремленіями Меттерниха и съ политикою Священнаго союза и его конгрессовъ. Одна сторона дѣлала представленія въ томъ смыслѣ, что духъ самоуправленія не долженъ быть прививаемъ народу снизу, также точно, какъ голосъ цѣлой націи не слѣдуетъ сосредоточивать на одномъ пунктѣ, въ одномъ собраніи; другая же сторона охотно принимала такіа представленія: не нужно поэтому общиннаго и окружнаго устройства въ духъ Штейновскаго городского устройства, не нужно имперскихъ чиновъ; вѣдь и областные чины—тоже «представительство народа»; между тѣмъ они не представляютъ тѣхъ опасностей, какія связаны съ генеральными чинами, и могутъ, если не сдѣлать появленіе послѣднихъ совершенно ненужнымъ, то во всякомъ случаѣ дать возмож-

ность отложить их осуществленіе на болѣе или менѣе продолжительное время. Съ неодобреніемъ и опасеніемъ слѣдилъ Гумбольдтъ за ходомъ вещей. Мы уже имѣли случай познакомиться съ его принципиальными доводами противъ введенія однихъ областныхъ чиновъ; особенно неудобнымъ казался ему такой порядокъ при тогдашнихъ обстоятельствахъ, ибо все еще, даже въ 1823 году, не было исполнено первое условіе, которое по его мнѣнію, должно было, предшествовать всякой государственной реформѣ: управление все еще не стало ни лучшимъ, ни болѣе разумнымъ. Его промахи должны были неизбежно стать мишенью для нападеній сословныхъ чиновъ, а между тѣмъ именно первыя пробы машины должны-бы происходить гладко, безъ тренія. «Я отъ всей души желаю и надѣюсь, что недостатки управленія будутъ исправлены имъ самимъ, но грезде чѣмъ созывать собранія, разумнѣе было-бы подождать, пока это будетъ сдѣлано и пока возстановится довѣріе къ управленію, — собранія по самой своей природѣ особенно склонны критиковать и порицать».

Эти взгляды, а также и свой интересъ къ судьбамъ монархій, Гумбольдтъ выразилъ въ своей перепискѣ съ разными лицами и прежде всего въ своихъ письмахъ къ Штейну¹⁾. Какъ ни мало склоненъ онъ былъ заниматься этими вопросами по собственной инициативѣ, онъ никогда не отказывался отъ ихъ обсужденія съ друзьями, когда они обращались къ нему за его мнѣніемъ или совѣтомъ, какъ къ опытному и глубокомысленному человѣку. Его готовность быть всегда полезнымъ, его глубокое чувство долга, наконецъ его преданность королю и странѣ брали тогда верхъ надъ его убѣжденіемъ, что общественныя дѣла въ сущности неинтересны и «ничего не могутъ дать ни уму, ни сердцу», надъ его отвращеніемъ къ политикѣ, которое было настолько сильно, что онъ даже съ неохотой бралъ въ руки газету. Но вызванный на отвѣтъ, онъ давалъ его всегда не иначе, какъ прилагая къ вопросу весь свой умъ и свою душу, всегда исходя изъ высшихъ точекъ зрѣнія и оставаясь вѣрнымъ широкимъ и либеральнымъ принципамъ своей политической дѣятельности. Таковъ характеръ его писемъ къ Штейну, написанныхъ въ отвѣтъ на посланія этого послѣдняго, таковъ-же былъ и характеръ разсужденій, которыми онъ отвѣтилъ на записку Финке о возстановленіи поста провинціальныхъ министровъ. И тутъ и тамъ онъ полемизируетъ противъ старо-историческаго воззрѣнія, не понимающаго сущности современнаго государства и условій его существованія. Въ послѣднемъ его произведеніи мы видимъ образецъ того, какова

¹⁾ Изъ этихъ часто цитируемыхъ нами писемъ, помѣщенныхъ въ 5 т. сочиненія Pertz'a, мы почерпнули также и фактическое содержаніе вышеизложеннаго.

была-бы его административная дѣятельность, если-бы онъ занималъ положеніе, подобное государственному канцлеру. Его административныя максимы исходятъ именно изъ идеи современнаго государства. Для насъ не нова опредѣленность, съ какою онъ настаиваетъ на единствѣ государства, но въ данномъ сочиненіи существуетъ одно мѣсто, показывающее яснѣе, чѣмъ все предшествующее, какое положеніе по отношенію къ проповѣдывавшейся имъ нѣкогда свободѣ индивидуальныхъ силъ заняло признаніе этого единства. Это—отношеніе полнѣйшаго равновѣсія: ибо общее правило отношенія къ мѣстнымъ различіямъ, говоритъ онъ, заключается въ томъ, чтобы никогда не задѣвать этого различія тамъ, гдѣ онъ способствуетъ индивидуальной силѣ—физической или нравственной, благосостоянію или характеру, но вмѣстѣ съ тѣмъ, не терпѣть его никогда въ томъ случаѣ, когда оно, при отсутствіи этого условія, является помѣхой для цѣлаго. Напротивъ, имѣя дѣло съ партикуляристомъ, а не съ централистомъ, онъ переноситъ центръ тяжести на сторону единства. Последнее, какъ онъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ, есть идея, измѣненіе, внесенное въ образъ дѣйствія правительства, и потому легко можетъ быть разрушено; живыя силы отдѣльныхъ частей государства защищаютъ себя сама; они борются или ищутъ спасительнаго выхода. Отсюда вытекаетъ далѣе требованіе однородности также и въ организаціи высшихъ правительственныхъ органовъ. Онъ не только объявляетъ учрежденіе провинціальныхъ министерствъ безусловно вреднымъ, но и требуетъ, чтобы среди государственныхъ министровъ былъ одинъ министръ въ самомъ высокомъ смыслѣ этого слова—министръ государства какъ однороднаго цѣлаго—и такимъ министромъ долженъ быть никто иной, какъ министръ внутреннихъ дѣлъ. «Министръ военный, министръ финансовъ и даже юстиціи имѣютъ въ своемъ вѣдѣніи тавія отрасли управленія, которыя при всемъ желаніи и при большомъ умѣ могутъ привести къ одностороннему воздѣйствію на управляемыхъ; министръ внутреннихъ дѣлъ долженъ предотвращать возможность такой односторонности». Это несомнѣнно вѣрныя воззрѣнія; еще болѣе цѣнны разсѣянные въ письмѣ общіе принципы: знакомый уже намъ протестъ противъ излишне дѣятельнаго управленія и противъ правительственнаго регулированія деталей управленія, особый вѣсъ, придаваемый имъ не самому закону, а его примѣненію. Но болѣе цѣнно и характерно связанное съ этимъ разсужденіе о значеніи формъ и учрежденій вообще—протестъ противъ политическаго хитроумія и страсти къ созданію законовъ. «Формы», говоритъ Гумбольдтъ,—онъ высказывался уже въ такомъ духѣ рапѣе въ эпоху 1810—12 гг., защищая Гарденберговское управленіе,—«формы очень важны, но онѣ не составляютъ всей сути; дѣло даже не въ томъ, чтобы обладать болѣе совершенною формою, ибо и худшія мо-

гутъ быть улучшены соответствующими измѣненіями въ обращеніи съ ними: самое важное—то, чтобы существовало уваженіе къ формамъ вообще и къ существующимъ въ частности, чтобы ихъ не измѣняли постоянно, не стремились вѣчно что-нибудь организовать. Форма сама по себѣ, безъ того духа, который въ ней царствуетъ,—ничто. Только изъ соединенія обѣихъ создается хорошее управленіе ¹⁾).

Подобные взгляды заставляють не разъ жалѣть, что удаленіе Гумбольдта отъ управленія не было временнымъ явленіемъ. Былъ одинъ моментъ, когда могло казаться, что надеждамъ, которыя либеральная партія не перестала возлагать на него, какъ будто суждено осуществиться. Въ декабрѣ 1822 умеръ въ Генуѣ Гарденбергъ. Назначенный его преемникомъ фонъ-Фоссъ пережилъ его только на нѣсколько недѣль. Тогда въ февралѣ и мартѣ 1823 года Виццебенъ снова выступилъ съ кандидатурой своего друга и многократно указывалъ на него королю, какъ на единственнаго, способнаго съ честью занять постъ, освободившійся за смертью государственнаго канцлера ²⁾. Но его старанія были безуспѣшны. Реакціонные конгрессы въ Тропау, Лайбахѣ и Веронѣ продолжали политическую систему, въ которой для такого человѣка какъ Гумбольдтъ не было мѣста. Для чрезмѣрно робкаго монарха всего важнѣе было поддержать свои дружественныя опредѣленныя Священнымъ союзомъ, отношенія къ другимъ державамъ. Реабилитациі тегельскаго философа препятствовали прежде всего отношенія къ Австріи и къ императору Александру; поэтому ему было предоставлено оставаться въ роли зрителя—и зрителя довольно индифферентнаго. Это было для него тѣмъ болѣе пріятно, что послѣ смерти Гарденберга въ управленіи и безъ его содѣйствія началъ проявляться болѣе благородный духъ. Съ нѣкоторыми опасеніями, но и не безъ упованія встрѣтилъ онъ состоявшееся наконецъ учрежденіе областныхъ чиновъ; но примѣру Штейна, принявшаго постъ ландтагъ-маршала Вестфали, онъ все же никогда-бы не послѣдовалъ. Онъ не имѣлъ ни намѣренія, ни желанія выступить еще разъ на общественномъ поприщѣ:—даже возможность чего-либо подобнаго не возникала въ его умѣ съ половины двадцатыхъ годовъ ³⁾.

Такимъ образомъ предался онъ всецѣло наукѣ. Онъ неутомимо превозноситъ ее и постоянно противопоставляетъ научныя занятія

¹⁾ О возстановленіи провинц. министровъ у Döring'a, цит. м., стр. 15, 22, 26 и 27; ср. письмо къ Штейну отъ 3 янв. 1812 г. у Pertz'a, III, 594, 595.

²⁾ См. сообщ. у Döring'a: Erlebtes 327 и сл. и IV, 298 и сл. (перепечатано у Schlesier'a II, 415 и сл.).

³⁾ Письмо къ Штейну отъ дек. 1826 и 25 мая 1830 г. у Pertz'a, VI, 356 и 922.

общественнымъ дѣламъ. Безконечна, по его словамъ, область знанія и изслѣдованія, — она безпрестанно открываетъ все новыя прелести. Она наполняютъ всѣ его часы, онъ желалъ бы только по возможности увеличить число этихъ послѣднихъ. Научными занятіями исчерпывается большею частью вся его внутренняя жизнь, за исключеніемъ развѣ только какихъ-нибудь мимолетныхъ мыслей. Дѣйствительно, даже путешествіе въ Парижъ и Лондонъ не прервало его занятій языкознаніемъ, — оно даже было для нихъ во многихъ отношеніяхъ очень полезно. Лингвистика, какъ и филологія, преувеличала въ этотъ моментъ въ Парижѣ свой высшій расцвѣтъ. Тутъ все еще жила и дѣйствовала Сильвестръ де Саси (Sacy). Цѣлый рядъ болѣе молодыхъ ученыхъ, отчасти подъ его вліяніемъ, бодро занялись изслѣдованіемъ языковъ и памятниковъ Востока во всѣхъ направленіяхъ. Безпокойный, увлекаемый къ завоеваніямъ и переворотамъ духъ французовъ какъ-бы искалъ для себя выхода въ этой области. Почти все, что наиболѣе интересовало въ послѣдніе годы жизни нѣмецкаго филолога, было навѣяно изслѣдованіями парижскихъ ученыхъ. Здѣсь онъ встрѣтилъ Шампольона, нашедшаго ключъ къ іероглифамъ; онъ могъ бесѣдовать съ Абель-Ремюза, основателемъ научныхъ изслѣдованій китайскаго языка, о духѣ этого самаго удивительнаго изъ языковъ міра. Онъ могъ обмѣниваться съ Бурнуфомъ (Bournoif) взглядами и познаніями о языкѣ, литературѣ и исторіи Индіи, съ Жаке (Jaquet) — о полинезійской группѣ языковъ. Еще въ 1825 году былъ онъ избранъ членомъ — корреспондентомъ парижской Académie des Inscriptions et des Beaux-Arts. Теперь, въ бытность свою въ Парижѣ, онъ прочелъ въ стѣнахъ института лекцію по сравнительному языкознанію. Лондонъ также былъ центромъ научнаго языковѣднія. Съ того момента, когда при протекторатѣ Уаррена Гастингса вызвано было къ жизни азіатское общество, оно не переставало дѣятельно заботиться о разъясненіи чудесъ и загадокъ восточнаго міра. И съ этимъ обществомъ былъ въ общеніи нѣмецкій филологъ. Его сообщеніямъ обязанъ онъ главнымъ образомъ тѣмъ матеріаломъ, который далъ ему возможность написать послѣднее большое сочиненіе. И ему также принесъ онъ во время своего пребыванія въ Лондонѣ даръ. Здѣсь было написано имъ прочтенное 14 іюня въ засѣданіи общества письмо къ Александру Джонстону, въ которомъ онъ пытается разъяснить англичанамъ элементарнѣйшія основанія сравнительнаго языкознанія и философіи языка.

Но при всей сосредоточенности, съ какою Гумбольдтъ предался языкознанію, оно не убило въ немъ другіе научные интересы. По самому своему характеру, по свойственному ему своеобразному пониманію ея, эта наука постоянно удерживала его въ кругѣ философіи и исторіи. Для него естественъ былъ переходъ отъ изученія

алфавитовъ чуждыхъ языковъ, отъ анализа ихъ грамматическихъ формъ и разбора безформенныхъ письменъ къ размышленію о внутренней сущности человѣческаго духа и о началахъ всякой исторіи. Онъ былъ правъ, говоря, что занимается только идеями, правъ и тогда, когда говорилъ, что «истинный предметъ его изученія составляетъ собственно древность».

Менѣ всего забылъ онъ, конечно, о грекахъ. Въ его сочиненіи о первоначальныхъ обитателяхъ Испаніи классическая филологія даже и внѣшнимъ образомъ тѣсно соприкасается съ лингвистикой. Еще разъ обсуждаетъ онъ въ перепискѣ съ Вольфомъ заглавіе и предметъ этого сочиненія¹⁾. Въ высокой степени симпатично постоянство, съ какимъ онъ поддерживалъ остатки отношеній, за которыя в Вольфъ, не смотря на свой разладъ съ міромъ и людьми, хватался какъ за послѣдній якорь. До печальной поѣздки Вольфа въ Марсель, въ 1824 году, откуда ему не суждено было вернуться, продолжалось между ними общеніе,—съ остановками, правда, и довольно лѣнливо, но въ общемъ все же постоянно. Посредствующимъ звеномъ служила филологія. Къ Вольфу обращались то за указаніемъ въ области филологіи, то за подписью для возникающаго въ Тегелѣ кабинета древностей. Вольфъ носился съ мыслью о составленіи греческой грамматики, онъ нашелъ въ своемъ другѣ самый живой интересъ къ этому плану. Благодаря такому постоянному общенію, являлся часто поводъ для письменныхъ и устныхъ сообщеній. Одно изъ нихъ, и именно позднѣйшее, переноситъ насъ еще разъ въ пору расцвѣта этой переписки. Мы говоримъ о письмѣ Гумбольдта, относящемся къ 1823 году. Оно заключаетъ въ себѣ обстоятельное какъ и въ прежнее время, изложеніе его мнѣнія объ Аристофанѣ и о сущности комическаго. Тонъ тотъ-же, что и въ девяностыхъ годахъ, самое сужденіе только зрѣлѣе и увѣреннѣе.

Но что и послѣ смерти Вольфа греческія древности продолжали занимать у Гумбольдта свое прежне мѣсто, это доказывается лучше всего массою цитатъ, ссылокъ и разъясненій въ его лингвистическихъ работахъ. И даже во введеніи въ сочиненіи о языкѣ Кавія разсужденіе объ общей сущности языка безпрестанно и невольно соприкасается съ этою темой. Нельзя сказать, чтобы авторъ уклонялся отъ настоящаго предмета своего изслѣдованія, характеризуюя то Аристофана, то Аристотеля, то эллинскій духъ вообще,—это какъ-бы невольно возникающія воспоминанія прежнихъ занятій этимъ предметомъ; иногда попадаются мѣста, даже буквально папомапающія нѣкоторымъ мѣста изъ прежней переписки его съ Вольфомъ и Шал-

¹⁾ См. номера XC и XCIII до XCV писемъ къ Вольфу въ 6 т. G. W. Понятно, что порядокъ вышеупомянутыхъ номеровъ долженъ быть измѣненъ.

леромъ; и тѣмъ не менѣе на всѣхъ этихъ вставкахъ, какъ и на позднѣйшей редакціи перевода Агамемнона, лежитъ одинъ и тотъ же отпечатокъ: всѣ онѣ носятъ совершенно общій характеръ и всѣ обнаруживаютъ на себѣ вліяніе языковѣдѣнія. Не разъ приступалъ Гумбольдтъ въ прежнія времена къ «характеристикѣ грековъ»—и всякій разъ терпѣлъ при этомъ неудачу и никакъ не могъ совладать съ нею. Совершенно иначе теперь! Наконецъ-то овладѣлъ онъ магическимъ словомъ, которое раскрываетъ сущность древне-греческаго духа; въ языкѣ грековъ нашелъ онъ такую точку, съ которой могъ безъ труда обозрѣвать и изучать всѣ стороны эллинскаго духа болѣе того. С такою-же легкостью могъ бы онъ теперь охарактеризовать и всякій другой душевный складъ, всякую другую национальность, другой вѣкъ. Всякая исчерпывающая характеристика—такъ излагаетъ и разрѣшаетъ онъ теперь задачу—должна отъ внѣшнихъ явленій переходить къ внутренней сущности, къ верховной причинѣ жизнедеятельности описываемаго народа или вѣка. Этотъ основной пунктъ всякаго человѣческаго бытія и дѣятельности опредѣляется формой и степенью, въ какой человѣкъ приводитъ себя въ связь съ дѣйствительностью; показатель его сущности и цѣнности получится самъ собою, какъ только мы опредѣлимъ, какъ глубоко и какимъ образомъ «онъ пускаетъ корни въ дѣйствительность». И вотъ—для опредѣленія этой наиболѣе характерной особенности лучшимъ способомъ является языкъ, ибо языкъ «одухотворяетъ (intellektualisirt) человѣка до достижимаго для него пункта» и все болѣе и болѣе освобождаетъ его отъ темной области неопредѣленнаго ощущенія. Этимъ объясняется то обстоятельство, что каждый языкъ имѣетъ свой опредѣленный характеръ, что въ этомъ послѣднемъ лучше и яснѣе обрисовывается характеръ данной націи, нежели въ ея нравахъ, обычаяхъ и дѣяніяхъ¹⁾. Только языкъ своимъ формами и звуками непосредственно внушаетъ слушателю ощущеніе того, что онъ возникаетъ на духовной почвѣ, которая однако-же не исчерпывается имъ всецѣло; только языкъ, исходя изъ самой глубины человѣческаго духа, вынуждаетъ человѣка пополнять эту глубину своею индивидуальностью; только одинъ онъ побуждаетъ воспримчивый умъ обращаться къ тому, что «является въ душѣ производимымъ и настраивающимъ»—и въ чемъ прежде всего завершается индивидуальность говорящаго.

Для разъясненія этихъ разсужденій онъ тотчасъ-же переходитъ къ грекамъ и пытается обрисовать ихъ посредствомъ найденнаго имъ при помощи языка канона всякой характеристики. Направленіе грековъ было первоначально внутреннее и интеллектуальное. Ихъ

¹⁾ Einleitung zur Kawi-Sprache, стр. 212. 204. Ср. выше IV кн., I полов., 4 отд. № 6.

умъ останавливался не столько на значеніи, какое вещи имѣютъ въ обычномъ употребленіи, сколько на ихъ дѣйствительномъ значеніи и на формахъ, какія онѣ получаютъ въ реальномъ мірѣ. Почти всякій изъ ихъ внѣшнихъ образовъ напоминаетъ — часто въ ущербъ практической пригодности — внутренний. Это заставляло ихъ во всѣхъ областяхъ духовной дѣятельности стремиться къ уразумѣнію и изображенію характера, — именно характера, а не одного лишь характернаго: ибо только въ совершенномъ углубленіи въ созерцаніе индивидуальнаго образа какъ цѣлаго нашло себѣ удовлетвореніе свойственное имъ сильное чувство ихъ собственной индивидуальности. Такимъ образомъ произошло то, что, въ силу своей интеллектуальности, они были вовлечены въ самую глубь живого и многообразнаго чувственнаго міра и изъ этого послѣдняго — «такъ какъ они искали въ немъ того, что можетъ относиться только къ идеѣ» — снова были оттолкнуты въ область интеллектуальнаго. Стремленіе къ истинно индивидуальному характеру влекло ихъ всегда попутно и къ идеальному, къ желанію «уничтожить индивидуальное, какъ нѣчто ограничивающее, и сохранить его только какъ тонкую грань опредѣленной формы». Здѣсь лежитъ объясненіе эстетическаго типа эллиновъ; этимъ-же объясняется и совершенство эллинскаго искусства: греческое искусство является подражаніемъ дѣйствительной природѣ, но подражаніемъ, исходящимъ изъ центра живого организма каждаго предмета; такого подражанія греки достигли благодаря тому, что у нихъ глубочайшее проникновеніе въ дѣйствительность соединялось со стремленіемъ къ высшему единству идеала ¹⁾).

Возможно, что для того, кто никогда не ощутилъ сущности языка, — кому недоступно пониманіе «настраивающаго и творящаго въ душѣ человѣка», Гумбольдтова характеристика греческаго національнаго типа врядъ-ли будетъ понятна. Возможно также, что въ нашемъ изложеніи, въ которомъ мы останавливались только на самыхъ выдающихся пунктахъ разсужденія, ясность и наглядность его еще болѣе теряется. Возможно наконецъ и то, что даже и тотъ, кто въ состояніи стать вполне на точку зрѣнія Гумбольдта, потребуетъ болѣе конкретнаго изображенія картины и менѣе всего согласенъ будетъ отказаться отъ тѣхъ пополняющихъ картину чертъ, которыя извлекаются изъ нравовъ и дѣяній, изъ домашней и общественной жизни народа. Но все это дѣлаетъ характеристику тѣмъ болѣе характерною для ея автора; тѣмъ яснѣе показываетъ она намъ ту глубокую связь, какая существовала между всѣми его воззрѣніями, и законченность во всѣхъ направленіяхъ его міросозерцанія. Ибо то, что онъ говоритъ о грекахъ, можетъ быть отнесено и къ нему самому. Его собственный научный методъ проникнуть тѣмъ-же самымъ

¹⁾ Einleit zur Kawi-Sprache, стр. 215 и сл.

стремленіемъ и сопровождается приблизительно такимъ же успѣхомъ, какъ и тотъ, который онъ обозначаетъ, какъ постоянный и общій методъ грековъ. Какъ тѣ, по его словамъ, поступали со всякою дѣйствительностью, такъ онъ оперировалъ надъ дѣйствительностью языка. Было бы не трудно подвести его филологическій методъ подъ ту самую формулу, въ которой онъ выражаетъ своеобразныя особенности и интеллектуальный методъ грековъ. Данная имъ характеристика грековъ обуславливается проникновеніемъ въ ихъ языкъ. Его философія языка обнаруживаетъ умъ, воспитавшійся на глубокомъ изученіи греческаго духа. То и другое сливается между собою, взаимно проникается другъ другомъ и составляетъ какъ-бы замкнутый кругъ.

Дѣйствительно, если онъ сколько-нибудь удаляется отъ формы греческаго ума, если равновѣсіе между его эллинизмомъ и его языкознаніемъ не полное, то это имѣетъ мѣсто лишь въ той мѣрѣ, въ какой онъ самъ признаетъ существованіе различія между греческимъ и нѣмецкимъ духомъ. Въ то время, какъ первый склоненъ идеализировать внѣшнее представленіе (*äussere Anschauung*), второй, говоритъ онъ, преимущественно идеализируетъ внутреннее ощущеніе (*innere Empfindung*). И именно эта-то сторона его характера дала Гумбольдту возможность въ довольно позднемъ возрастѣ предаться съ юношескимъ одушевленіемъ изученію еще и другой древности кромѣ эллинской, и другого національнаго характера. Языкознаніе снова привело его къ грекамъ, оно же привело его впервые и къ обитателямъ долины Ганга и подъ старость сдѣлало ихъ для него соперниками того народа, которому онъ отдалъ свою юношескую любовь.

Въ 1824 году — онъ успѣлъ уже тогда глубоко проникнуть санскритскій языкъ и его памятники — во время пребыванія въ Оттомаху, ему случилось заняться чтеніемъ Баагавадъ-Гита, этого дидактическаго эпизода великаго индійскаго эпоса Магабарата. Уже самое ознакомленіе съ древностью, которая здѣсь открывалась для него съ совершенно новой стороны, представляло для него величайшую прелесть. Кромѣ того онъ нашелъ тутъ, какъ ему казалось, нѣчто, что было если и не лучше Гомера, то во всякомъ случаѣ лучше Парменида и Эмпедокла. Это произведеніе, пишетъ онъ Гейтцу, представляетъ собою наиболѣе глубокое и возвышенное произведеніе, какимъ обладаетъ міръ. При чтеніи его все время не покидало чувство благодарности къ судьбѣ за то, что она дала ему дожить до знакомства съ этимъ произведеніемъ ни за какія блага въ мірѣ не хотѣлъ-бы онъ отказаться отъ знакомства съ нимъ ¹⁾. И снова пробудилось въ немъ стремленіе къ глубокому проникнове-

¹⁾ Письмо къ Гейтцу отъ 21 мая 1827 и 1 марта 1828 въ сочин. Гейтца. изд. Schlesier'омъ, V, 291 и 300.

нію въ новое явленіе, какъ нѣкогда по отношенію къ храмамъ трагиковъ и къ гимнамъ Пиндара. Переводя и излагая это произведеніе, онъ старался усвоить себѣ совершенно духъ и форму ученія Кришны. Частью въ выдержкахъ, частью въ метрическомъ подражаніи старался онъ какъ можно ближе передать міросозерцаніе индусскаго памятника, чтобы затѣмъ на этомъ основаніи оцѣнить его какъ съ философской, такъ и съ поэтической стороны. Эта работа, прочтенная имъ въ двухъ засѣданіяхъ берлинской академіи, вполне ему удалась ¹⁾. Она представляетъ образецъ яснаго, полнаго и вѣрнаго изложенія и была-бы также образцомъ справедливой оцѣнки, если-бы историческія данныя для этой оцѣнки не были такъ скудны. Нисколько, конечно, не удивительно, что при тогдашнемъ состояніи нашего знакомства съ индусскою литературой, симпатическое настроеніе, побудившее его съ такой любовью заниматься воспроизведеніемъ поэмы, привело его къ тому, что онъ проглядѣлъ философскую искусственность въ ея композиціи и преувеличилъ ея художественное значеніе. Мудрено-ли, что человекъ, признающій неизбежность высшихъ принциповъ Кантовой философіи морали, съ радостнымъ удивленіемъ внималъ этому голосу съдой старины — голосу, проповѣдующему самымъ настоячивымъ образомъ исполненіе долга ради одного только долга и даже въ своемъ требованіи полного самоотреченія исходящему еще изъ допущенія нравственной свободы? Могъ-ли тотъ, кто оставилъ живую дѣятельность, чтобы съ удвоеннымъ стремленіемъ къ жизни въ мірѣ идей вернуться къ наукѣ, — могъ-ли такой человекъ не увлечься системой, основанной на чистой интеллектуальности и ставящей во главѣ всѣхъ человѣческихъ стремленій познаніе? Не писалъ-ли онъ нѣкогда самъ, что преуспѣваніе исходитъ только изъ человѣческой души, что страданіе не всегда несчастье, радость не всегда счастье? Мудрено-ли что его глубоко потрясли родственные звуки стародавней мудрости:

„Wer immer in des Selbsts Gleichheit dasselbe schauet, Ardschunas

„Wenn er empfindet Lust, wenn Schmerz, am tiefsten der vertieftet ist?“²⁾.

Не соотвѣтствовало-ли его собственному возрѣнію и образу дѣйствія, что дѣятельность, какъ разъясняетъ богъ Кришна, сковыва-

¹⁾ Ueber die unter dem Namen Bhagaved-Gita bekannte Episode des Maha-Bharata (Объ эпизодѣ Магабараты, извѣстномъ подъ именемъ Баагавадь-Гита) изъ Труд. Академіи за 1825—26 гг. перешедш. въ G. W. I, 26 и слѣд. Другая, возникшая почти одновременно съ этимъ, чисто лингвистическая работа о Баагавадь-Гита была намъ уже цитирована выше.

²⁾ Кто, оставаясь всегда вѣрнымъ себѣ видитъ всегда тоже самое. Ардшувасъ, тотъ не достигъ ли, испытывая радость или страданіе, наибольшей глубины?

еть духъ, и что поэтому нужно стремиться къ освобожденію себя отъ этихъ оковъ и въ своей дѣятельности собственно не дѣйствовать? Развѣ и его собственная философія не вращалась, подобно индусской, вокругъ проблемы отдѣленія конечнаго отъ безконечнаго, стремленія къ воссоединенію обоихъ и къ установленію гармоніи между единичнымъ духомъ и духомъ вселенной? Развѣ не восхвалялъ онъ съ юности на ряду съ индивидуальной силой образование и стремленіе къ внутреннему равновѣсію? Не имѣлъ онъ развѣ основанія видѣть въ изображеніи «темныхъ» и «земныхъ», недостатки этой двойственности—себя-же самого причислять къ тѣмъ, которыхъ поэтъ обозначаетъ какъ «самосушихъ» (Wesenhaften)?

И если философское содержаніе ученія Йога привлекало его такъ сильно, что онъ частью вносилъ въ него извѣстную долю кантіанства, частью передѣлывалъ по его образцу свое кантіанство,—мудрено-ли, что его такъ-же сильно привлекала и живая связь, въ какой являются здѣсь поэзія и философія? То, что увлекло его нѣкогда такъ могуче въ поэтическихъ произведеніяхъ его друга Шиллера, то предстало здѣсь передъ нимъ въ формѣ народной поэзіи. Онъ, не обинуясь, призналъ удивительное произведеніе за истиннѣйшій и совершеннѣйшій образецъ дидактическаго рода поэзіи. Несмотря на то, отъ его взгляда не ускользнуло ни безвкусіе его поэзіи, ни крайности изложеннаго ученія. Его восторгъ передъ возвышенностью первой и глубиной второго покоился на слишкомъ ясной основѣ, онъ не могъ поэтому повторить ошибки Новалиса и Виндишмана и впасть въ справедливо осмѣянную Гёте индоманію романтиковъ. Онъ не преминулъ подчеркнуть слегка вычурность и преувеличенія, составляющія отличительную черту поэтическихъ и религиозныхъ представленій Баагавадъ-Гита. Онъ никогда не говорилъ объ индусахъ съ тѣмъ безграничнымъ удивленіемъ, съ какимъ говорилъ о грекахъ, напротивъ—онъ прямо порицалъ ихъ наклонность къ разрушительному раздумію (nihilistische Grübele) и къ фантастическому мистицизму¹⁾. При всемъ томъ это изученіе индусской поэзіи было сладкою отравой для его духовнаго склада. Оно вліяло не столько на его сужденіе, сколько на общій строй его души. Это было то самое вліяніе, какое производили на склонную къ созерцательности душу индусовъ блескъ безоблачнаго неба и безмолвный мракъ дѣсовъ. Его душевный складъ былъ по самой своей природѣ родственъ душевному складу индусовъ. По тонкости, по силѣ анализа и отвлеченія его умъ походилъ на умы тѣхъ, которые создали задолго до Аристотеля древнѣйшія системы логики и впервые въ грамматикѣ пытались уловить формы и законы языка. Въ немъ жи-

¹⁾ См. напр. Ueb. die unter dem Namen и т. д., цит. м., стр. 72 и Einleit. zur Kawi-Sprache, стр. 100, 101.

ла та же склонность къ единенному размышленію, къ проникновенію во внутреннюю сущность и къ удаленію отъ практической дѣятельности, которые мало-по-малу сдѣлали изъ героевъ Рамайяны и Магабагаты покаянниковъ, богомольцевъ и мечтателей. Поэтому звуки индусской поэзіи какъ бы переносили его подъ небо Индіи, и въ душу его незамѣтно вкрадывались воззрѣнія индусскаго ученія о самоотреченіи и самоуглубленіи. Стихи Баагаватъ-Гита убаюкивали его подобно музыкѣ; онъ ощущалъ въ себѣ развитіе того равнодушія и спскоствія не отъ міра сего, которымъ дышетъ каждая ея строка. Онъ прямо высказывалъ, что походить отчасти на тѣхъ «углубленнымъ», которые тамъ описываются; и съ той поры онъ охотно при описаніи своихъ современныхъ душевныхъ настроеній, употребляетъ выраженія и обороты, заимствованные изъ обращенія Бришны къ Ардшуну.

Но если онъ дѣйствительно былъ такимъ «углубленнымъ», то онъ, конечно, не могъ усматривать конечной цѣли даже и въ научныхъ занятіяхъ. И наука, пишетъ онъ Гентцу, имѣетъ тоже только побочное значеніе и не составляетъ истинной цѣли. Достигнуть зрѣлости въ себѣ самомъ и въ своихъ идеяхъ, «чтобы при помощи идей вознестись надъ жизнью»—вотъ что представлялось ему цѣлью. Слава привлекала его теперь въ его научныхъ занятіяхъ еще менѣе, нежели въ его прежней политической дѣятельности. Только при случаѣ и вслѣдствіе внѣшнихъ побудительныхъ причинъ дѣлился онъ съ публикой результатами своихъ работъ и своихъ размышленій. Онъ любилъ науку ради нея самой и ради себя; онъ любилъ ее, потому, что она двигала его по пути идей, и идеи онъ любилъ въ значительной мѣрѣ за то, что онъ переносили его въ область сокровеннѣйшихъ чувствъ. Но для этой индивидуальной жизни чувства существовали также другіе источники, и онъ ревностно стремился ихъ исчерпать. Онъ находилъ, что индивидуальность развивается всего богаче и полнѣе при взаимодействіи одной души на другую. Поэтому онъ всю свою жизнь исповѣдывалъ культъ любви и дружбы. Но для этого культа нѣтъ лучше алтаря, какъ женская душа, и опираться на «вѣчно женственное» было глубокою потребностью его природы; онъ между мужчинами не имѣлъ себѣ равнаго въ пониманіи прекрасной женственной души; въ этомъ заключается, говорить онъ, «познаніе всего прекраснаго въ человѣкѣ и въ природѣ, мало того—раскрытая сущность полной душевной жизни, по скольку она доступна воспріятію на землѣ». Это слова изъ его письма къ Каролинѣ Вольцогенъ. Его отношенія къ послѣдней всецѣло покоились на вышеупомянутой потребности, также какъ и его отношенія къ Терезѣ Губеръ—бывшей женѣ Форстера, длившіяся со времени жизни въ Геттингенѣ и Майнцѣ. Подобнаго же рода отношенія соединяли его и съ тою подругой, письма которой неожиданно ожи-

вили въ немъ въ эпоху Вѣнскаго конгресса воспоминаніе объ одномъ изъ очаровательнѣйшихъ эпизодовъ его юности. Послѣднія отношенія стали для насъ совершенно ясными благодаря выходу въ свѣтъ ихъ переписки подъ заглавіемъ: *Briefe an eine Freundin* (Письма къ другу) ¹⁾.

Намъ извѣстно уже, какъ это воспоминаніе юности повліяло на Гумбольдта въ 1814 году. Но если-бы для возбужденія его интереса къ корреспонденткѣ нужно было еще одно основаніе, онъ могъ-бы найти это основаніе въ ея своеобразной судьбѣ. Это судьба женскаго существа, впечатлительность котораго была порождена господствующею болѣзнью вѣка и которому крайнюю экзальтированность, развитую въ немъ воспитаніемъ и чтеніемъ, пришлось искупать жизнью — жизнью болѣе странною и романическою, нежели романъ Клариссы. Вскорѣ послѣ ихъ встрѣчи въ Пирмонтѣ Шарлотта Диде вышла замужъ безъ любви. Пять лѣтъ длилась ея бездѣтная супружеская жизнь и наконецъ Шарлотта, въ порывѣ отчаянія, разорвала связывающія ее узы. Во время супружеской жизни она отдала свое сердце одному молодому человѣку, для котораго она считала себя какъ-бы созданкою. Существовалъ только одинъ способъ освободиться. Шарлотта пожертвовала своею репутациею, обвинивъ себя передъ судомъ въ винѣ, въ которой совѣсть ее оправдывала. Разочарованіе слѣдовало за виной по пятамъ. Она желала только одного: рядомъ съ любимымъ человѣкомъ наслаждаться счастьемъ чистой дружбы и считала, что въ силу своего шага приобрѣла право на осуществленіе этой мечты. вмѣсто того ей пришлось испытать то, что испытала Кларисса съ Ловеласомъ, а именно, — что ея сентиментальныя желанія были непоняты и осмѣяны, и что ея образъ дѣйствія только успялъ навязчивость мужской страсти. И вотъ — чтобы избавить свое сердце отъ горькаго разочарованія, а себя самое оградить отъ требованій настойчиваго поклонника, ей оставалось только бѣжать. Она отправилась въ Брауншвейгъ. Здѣсь ей пришлось понести серьезныя денежныя потери, сдѣлавшія ея существованіе еще болѣе тяжелымъ и принудившіи ее работать для обезпеченія его. Обладая умѣниемъ и хорошимъ вкусомъ, она занялась изготовленіемъ искусственныхъ цвѣтовъ и поселилась для этого въ Касселѣ, бывшемъ въ то время столицею Вестфальскаго королевства. Благодаря роскоши, царствовавшей при дворѣ короля Жерома, дѣло ея развилось, и въ эпоху, когда забывалось такъ многое изъ прошлаго, забыты были и слухи, которые возбудила прежняя ея жизнь, замолкли клеветы. Но ея искупленіе еще не кончилось. То, что для многихъ другихъ было источникомъ радости — изгнаніе французовъ, возвра-

¹⁾ Какъ извѣстно, эти письма тотчасъ послѣ выхода въ 1847 г. выдержали шесть изданій.

шеніе курфюрста и его двора, — стало для нея новымъ тяжелымъ ударомъ. На сцену снова вышло общество, не склонное къ прощенію грѣховъ ея юности. Фамилная ненависть и чувство обиды соединились съ морализирующимъ настроеніемъ публики, и Шарлотта снова была осуждена. Покинутая всѣми, она потеряла вмѣстѣ съ тѣмъ и кусокъ хлѣба. Безпомощная, безъ средствъ, больная, близкая къ отчаянію, она и на этотъ разъ послѣдовала внушенію своего чувствительнаго сердца, бывшаго источникомъ ея несчастій. Она вспомнила о своемъ другѣ изъ Цирмонта и въ письмѣ къ нему открыла ему свою душу. Она не обманулась въ своемъ довѣрїи къ нему. Самымъ деликатнымъ образомъ предложилъ онъ ей свою помощь и совѣтъ, и до конца ея жизни его письма доставляли ей счастье, которое въ изыткѣ осуществило мечты ея юности ¹⁾.

Еще въ 1816 году свидѣлся Гумбольдтъ со своею прїятельницей во Франкфуртѣ, и съ тѣхъ поръ ихъ отношенія постоянно поддерживались посредствомъ писемъ, которыми они отъ времени до времени обмѣнивались. Теперь, освободившись отъ служебныхъ занятій, онъ рѣшилъ придать перепискѣ болѣе постоянный характеръ и даже сдѣлать ее частью своей жизни. При помощи двухъ, слѣдовавшихъ одно за другимъ писемъ, весною 1822 года изъ Бургѣрнера, пытался онъ ободрить робкую сдержанность своей прїятельницы. Ея отвѣтъ снова доказалъ ему, что переписка съ нею можетъ доставить ему такое счастье, такое наслажденіе, отъ котораго онъ ни за что на свѣтѣ не хотѣлъ-бы отказаться. Въ томъ обстоятельстве, что женская душа свято и довѣрчиво сохранила для него первыя чувства юнаго сердца, онъ видѣлъ даръ судьбы, которой долженъ быть принять съ благодарностью. «Если судьба», такъ писалъ онъ Шарлоттѣ, «сохранила что-либо подобное для двоихъ людей, то не слѣдуетъ оставлять его втунѣ, но нужно беречь его и принести въ связь со всѣми внѣшними и внутренними отношеніями». Онъ предложилъ ей поэтому вступить въ переписку, которая должна была замѣнить личное общеніе. Съ тою почти педантическою любовью къ разумному порядку, которую онъ проявлялъ какъ въ своихъ научныхъ занятіяхъ, такъ и въ дѣлахъ — на бумагѣ и въ жизни, установилъ онъ готчасъ порядокъ въ перепискѣ, устроилъ свои отношенія къ прїятельницѣ, какъ устраивается хозяйство. Въ свой внутренній міръ, исполненный разсудительности и зрѣлой мысли, влетаетъ онъ такимъ образомъ нѣкоторую долю той сентиментальности, которая жила въ немъ съ дѣтскихъ и юношескихъ лѣтъ. Съ искреннею симпатіей и сердечною готовностью быть ей полезнымъ онъ соединялъ

¹⁾ Вышеприведенныя данныя касательно ея жизни, заимствованы нами изъ анонимаго сообщенія въ *Blätter für literarische Unterhaltung*, 1848, № 108 и 109.

ту высокую любовь къ наслажденію, къ которой влекла его природа, и которую онъ все болѣе и болѣе возвышалъ. Съ полнымъ правомъ могъ онъ сказать, что подходитъ къ своей пріятельницѣ безъ эгоистическихъ побужденій, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ также правъ и тогда, когда увѣряетъ ее, что въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ она отнюдь не играетъ исключительно пассивной роли: ибо онъ дѣйствительно намѣревался извлечь для себя изъ ея преданности и постоянства, изъ всего ея существа и ея довѣрчивой экспансивности какъ можно больше наслажденія. Поэтому онъ побуждаетъ ее открыть ему глубочайшія тайники своей души и сердца, онъ проситъ ее — и проситъ успѣшно — сообщить ему подробный рассказъ о ея прежней жизни и внутреннемъ развитіи. Онъ не стѣсняется выпытывать у нея тайны, за безусловное сохраненіе которыхъ ручается глубина и твердость его собственнаго сердца. Онъ имѣетъ право считать, что не погрѣшаетъ противъ довѣрія женщины, пользуясь исторіей ея жизни и развитія какъ психологическимъ матеріаломъ, — ибо онъ поступаетъ такъ, не теряя ни на минуту сердечнаго участія къ автору признаній. Имъ руководитъ не любопытство, но облагороженный любовью и пониманіемъ интересъ — интересъ человѣка, привыкшаго углубляться во все, что было ему сколько нибудь сродно, не иначе какъ всею душою и умѣвшимъ, какъ онъ самъ хвалится, уважать сокровище прекрасной женской души «во всей ея нетроутости и утонченности».

Къ этому присоединялось еще то — и здѣсь именно лежитъ ключъ къ вѣрному пониманію его образа дѣйствія — что личность корреспондентки отнюдь не заключала въ себѣ однѣ только пріятно дѣйствовавшія на него черты. Горькій опытъ ея жизни сдѣлалъ ее раздражительный нравъ еще болѣе раздражительнымъ. Физическая болѣзненность еще болѣе разстроила струны ея души, и потому веселому и спокойному характеру счастливаго друга приходилось не разъ страдать отъ вѣчно безпокойнаго страха, отъ унынія, упадка духа и подавленности пріятельницы. Эгоистическое сердце отвернулось бы отъ этого, утомилось бы въ концѣ-концовъ необходимою сочувствовать подобнымъ состояніямъ. Нельзя не умиляться тѣмъ терпѣніемъ, съ какимъ Гумбольдтъ передаетъ эти совершенно чуждыя ему настроенія женщины, пріобрѣвшей освященное временемъ право на его симпатію и какъ онъ ее поддерживаетъ. Неутомимо пытается онъ повліять на нее кроткимъ, сердечнымъ убѣжденіемъ; онъ переноситъ ее въ ясную область своего собственнаго духовнаго существованія и сопровождаетъ деликатное увѣщаніе ободряющимъ призывомъ опереться на него и набраться силъ. При абсолютной противуположности ихъ обоюдныхъ положеній, не могло не возникнуть между ними разногласій самаго остраго свойства, не могло

обойтись съ ея стороны безъ мѣнѣй и выраженій, для него не-приятныхъ, даже просто отталкивающихъ. Но и это не вліяетъ на него. Начало и основная причина ихъ отношенія никогда не упускаются имъ изъ виду; въ нихъ почерпаетъ онъ постоянно терпѣніе и кротость, вѣрность и любовь, при помощи которыхъ восполняетъ или уменьшаетъ пробѣлы существующихъ между ними отношеній. Онъ то поправляетъ ее, то предоставляетъ полную свободу особенностямъ ея характера, отказываясь отъ мысли убѣдить ее или пересоздать. Съ милою предупредительностью спускается онъ къ ея образу мысли и чувствъ, заставляетъ себя потакать ей даже въ такихъ вопросахъ, которые для него неприятны. Это самый любящій пастырь, самый лучшій духовникъ, самый терпѣливый учитель, самый разумный совѣтникъ и помощникъ. Въ теченіе цѣлыхъ двадцати лѣтъ ни разу не измѣняетъ онъ своего отношенія. Къ ней ни перемѣна мѣстопребыванія, ни событія его собственной жизни, ни измѣненія въ его положеніи и занятіяхъ не въ состояніи прервать переписки или внести въ ихъ отношенія реальный диссонансъ. Онъ пишетъ къ ней изъ Тегеля, изъ Париза и Лондона; онъ не отказываетъ себѣ въ удовольствіи навѣстить ее еще разъ, во время своего путешествія въ 1828 году, въ ея скромномъ и уютномъ уголкѣ, чтобы составить себѣ самое точное представленіе о ея повседневномъ существованіи. Онъ пишетъ и тогда, когда здоровъ, и когда боленъ; послѣднее его письмо похоже на гербовое: тотъ же тонъ, то же отношеніе, та же любовь и преданность отражаются одинаково во всѣхъ.

Поэтому-то его пріятельница и могла смотрѣть на эти письма какъ на сокровище, изъ котораго она почерпала утѣшеніе, ободреніе и облегченіе; счастье, доставляемое ей этими отношеніями, примиряло ее съ судьбой и ея невзгодами. Тѣмъ не менѣе вѣрно то, что въ этой перепискѣ Гумбольдтъ искалъ вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворенія и для себя самого. И не только ея полная любви преданность и поклоненіе, ея «нѣжная и глубокая симпатія» безконечно его радовали: мастеръ создавать себѣ счастье, дѣлая счастливыми другихъ, онъ даже изъ ея женскихъ слабостей, даже изъ недостатковъ ихъ отношенія сумѣлъ извлечь наиболѣе привлекательныя стороны. Вся кротость и мягкость его характера могла здѣсь свободно проявляться. По отношенію къ женщинѣ, воспринимающей каждое его слово всѣмъ своимъ сердцемъ, онъ можетъ являться совершенно «на распахку»; свободный отъ всякаго гнета, лицомъ къ лицу съ женскимъ поклоненіемъ какъ единственнымъ слушателемъ, онъ можетъ предаваться чистому обмѣну чувствъ, мыслей и настроеній. Онъ можетъ говорить съ ней, «какъ говорить самъ собой», онъ можетъ являться передъ нею съ мимолетными и самыми незначительными мыслями, съ отзвуками болѣе серьезной своей умственной дѣятельности, съ на-

строевнїями, идеями и образами, возникающими совершенно свободно въ концѣ дня. И прежде всего онъ знаетъ, что владѣтъ этою душею всецѣло и безраздѣльно; онъ знаетъ, что самая мягкая изъ его просьбъ есть уже безусловное приказаніе, и эта зависимость отъ него его прїятельницы доставляетъ ему повидимому огромное удовольствіе. Съ искусствомъ, подобнымъ тому, которымъ пользуется женщина для того, чтобы добиться чего-нибудь отъ мужчины, но которое неизмѣримо сильнѣе, потому что имѣетъ за собою всю опредѣленность характера мужчины, вводитъ онъ свою прїятельницу въ сферу своей жизни и направляетъ ее по путямъ своей воли. Его уступки ея желаніямъ, его снисходительность къ ея слабостямъ имѣютъ хотя и слабо подчеркнутую, но твердо опредѣленную границу. Мягкими словами, прївѣтливо, но рѣшительно отстраняетъ онъ нѣкоторыя ея просьбы, устраняетъ то, что неудобно, ограничиваетъ отдѣльныя ея желанія и мнѣнія. Онъ вліяетъ, управляетъ и направляетъ ее какъ дитя; до самыхъ пустыхъ и безразличныхъ деталей предписываетъ онъ ей характеръ ея отношеній къ нему. И даже еще болѣе: онъ не хочетъ только того, чтобы она ему повиновалась, но хочетъ также, чтобы она свое повиновеніе прямо признавала; — вмѣстѣ съ подчиненіемъ онъ требуетъ, чтобы ему выданы были знаки и печать этого подчиненія.

Въ его жизни были однако-же еще и другія отношенія, гораздо важнѣе только что описанныхъ—отношенія къ женѣ, которыя по своей глубинѣ и сердечности далеко превосходили всѣ другія отношенія. Если-бы намъ удалось нарисовать портретъ жены Гумбольдта со всею точностью и тонкостью, какія для этого требуются, мы еще яснѣе освѣтили-бы его собственную личность. Описанія и указанія современниковъ, также какъ то небольшое, что послѣ нея осталось и было опубликовано, даетъ намъ представленіе о такой прелести и очарованіи, какія рѣдко встрѣчаются въ жизни,— поэту удается иногда это изобразить, но простому описанію оно не поддается. Мы видимъ ее вначалѣ во всемъ блескѣ молодости: колоритъ ея лица прекрасенъ, ея большія глаза горятъ ослѣпительнымъ блескомъ; все ея существо—само изящество, ея движеніе—сама грація, она окружена «ореоломъ очарованія». И то, что выступаетъ на ея лицѣ—кротость и пылъ, доброта и умъ—все это имѣетъ свой источникъ въ крайней подвижности ея внутренней жизни. Она создана изъ самаго мягкаго и вмѣстѣ съ тѣмъ самаго крѣпкаго, изъ самаго дорогаго и самаго воспримчиваго матеріала. Письма раннихъ лѣтъ ея жизни открываютъ намъ весь пылъ ея сердца, всю силу ея чувствъ, ея доходящую до страстности сердечность. Она стремится побороть эту страстность, она чувствуетъ потребность, пишетъ она Рахили Варнгагенъ, «привести въ себѣ все въ ясность, если-бы даже пришлось это испустить цѣною жизни». Пребываніе въ Римѣ дѣйствуетъ на

нее подобнымъ же образомъ, какъ и на ея мужа. Полною грудью вдыхаетъ она воздухъ юга; она живетъ въ стихіяхъ красоты; она блаженствуетъ, свободно отдаваясь наслажденію искусствомъ и жизнью. При такихъ условіяхъ ея натура сохранила свойственный ей полетъ; ея легко воспламеняющееся сердце продолжаетъ усиленно биться и вмѣстѣ съ тѣмъ она все-же стала зрѣлѣе, болѣе кроткою и гармоничною. Она чувствуетъ себя—такъ она пишетъ въ 1812 году—просвѣтленною и окрѣпшею, болѣе способною наслаждаться блаженною явностью: все глубже, какъ она выражается, замыкается въ ней «способность безконечной любви». Такъ переживаетъ она великія событія той эпохи. Глубоко потрясенная бурнымъ временемъ, она остается при этомъ тверда. «Мы находимся», говоритъ она, «въ рукѣ Божьей и личная жизнь въ концѣ-концовъ растворяется въ вѣчной гармоніи вселенной». Съ безпредѣльнымъ сочувствіемъ слѣдить она за судьбою борцовъ святого дѣла, она всѣмъ своимъ сердцемъ съ ними; съ дѣятельною заботливостью служить она потребностямъ и нуждамъ тяжелой години. Но это время прошло, и она можетъ перейти къ болѣе тихому, болѣе сосредоточенному существованію. Она отвѣдала всего радостнаго, всего блестящаго; она носитъ его въ себѣ, она окружена имъ, и теперь она, сохранившая еще свою привлекательную наружность, живетъ въ домашней обстановкѣ, съ мужемъ, въ кругу близкихъ. Она оживляетъ и украшаетъ всякое общество; всякій, кто къ ней приближается, чувствуетъ на себѣ чарующее вліяніе ея нѣжной души, ея открытаго сердца, ея живого ума; онъ сознаетъ, что такое явленіе единственно, непонятно и неописуемо ¹⁾).

Чѣмъ такое существо могло быть для Гумбольдта, это мы могли бы предъугадать, если-бы онъ не высказывалъ этого самъ сотни разъ въ стихахъ и прозѣ. При первой встрѣчѣ съ нею холодность его рефлектирующей натуры стремилась скрыть отъ него самого то счастье, которое должна была дать ему совмѣстная жизнь съ нею ²⁾). Однако и тогда уже онъ въ глубинѣ души сознавалъ, что это единственная женщина, съ которою онъ въ состояніи вступить въ подобный сюзъ, а къ концу его жизни, благодаря ихъ совершенно исключительнымъ отношеніямъ, любовь стала для него понятіемъ,

¹⁾ Главныя матеріалы для ея характеристики представляютъ ея письма къ Рахили, у Варнгагена—„Galerie von Bildnissen“, I, 143 и сл.; письма къ Фредерикѣ Брунъ въ ея „Bömisches Leben“, II, 320 и сл., къ Штейну у Pertz'a, VI, 401 и тамъ-же приведенное стих. „Erinnerung an Sorrento“, стр. 697; см. кромѣ того замѣчанія Гумбольдта въ письмахъ къ Вольцогенъ, также какъ и многочисленныя мѣста въ его сокетахъ.

²⁾ Письмо Кар. Вольцогенъ къ Шиллеру отъ 11 февр. 1790, Nachlass, I, 372. Для послѣдующаго см. тамъ-же II, 39; Pertz V 390; Briefe an eine Freundin, II, 7, 8.

о которомъ онъ боялся говорить изъ опасенія нарушить его святость. Онъ жилъ только въ ней, съ нею и тѣмъ, что она ему давала. Какъ ни несомнѣнно вліяніе его сильнаго ума на складъ ея идей и образа мысли, онъ зналъ только то, что ея существо его поддерживало и формировало. Только «пылъ ея любви» вызвалъ къ жизни все, что было въ немъ «болѣе иѣжнаго происхожденія». Она была руководящею звѣздою его жизни и дѣятельности, и даже въ общественныхъ дѣлахъ она самымъ положительнымъ образомъ вліяла на его образъ мысли и дѣйствія. «Я знаю», пишетъ онъ Каролинѣ Вольцогенъ, «чѣмъ я былъ обязанъ ей въ роковую эпоху 1813—1819 гг. въ смыслъ воззрѣній, направленій, стремленій». Подобнымъ же образомъ высказывается онъ и въ письмѣ къ Штейну: «ея взгляды, ея принципы и воззрѣнія направляютъ, укрѣпляютъ, вообще ободряютъ; цѣль, которой слѣдуетъ достигнуть, становится яснѣе и опредѣленнѣе, и человекъ менѣе уклоняется съ прямого пути подъ вліяніемъ затрудненій и случайностей исполненія; притомъ мужчина самъ по себѣ менѣе чувствуетъ настоящую чистоту средствъ, безъ которой истинно доброе никогда не можетъ быть создано». Такимъ образомъ нормировалъ и очищалъ онъ въ себѣ при ея помощи чувство долга, относилъ къ ней то, что доставляло ему счастье, и чѣмъ онъ въ глубинѣ души дѣйствительно былъ. При такой близости съ нею, при вплетеніи своихъ отношеній къ ней во все свое существованіе «складъ ея натуры отражался на немъ» — она одна была основнымъ началомъ прекраснѣйшей, наиболѣе мыслящей части его самого».

Такой глубокой внутренней связи не могла вредить даже и внѣшняя разлука. Они начали съ самой тѣсной общей жизни, которая съ незначительными перерывами продолжалась до отъѣзда изъ Рима. Затѣмъ только въ Вѣнѣ соединились они снова, но здѣсь благодаря характеру жизни города ихъ общая жизнь наиболѣе часто нарушалась. Внѣшнимъ образомъ она была почти совершенно нарушена событіями, слѣдовавшими за 1813 годомъ, и дипломатическою дѣятельностью Гумбольдта, его пребываніемъ въ главной квартирѣ, въ Парижѣ, Вѣнѣ и Лондонѣ. Мимолетно видѣлись они въ Берлинѣ и Франкфуртѣ. Мы знаемъ уже, что главнымъ мотивомъ для отказа отъ лондонскаго поста было его желаніе возобновить свою прежнюю совмѣстную жизнь съ нею, но это желаніе получило удовлетвореніе только послѣ его окончательнаго удаленія въ частную жизнь, и тогда наконецъ его счастье стало полно и безмятежно. Отношеніе между ними не утратило ничего въ своей свѣжести, — долгая разлука и развѣивающее вліяніе времени содѣйствовали его углубленію. Онъ радовался, что могъ устроить все — путешествія, образъ жизни, занятія — совершенно согласно ея желаніямъ, и верхомъ счастья было для него то, что даже научная его жизнь вращалась въ кругу тѣхъ

мыслей и чувствъ, которыя онъ могъ ежедневно и ежечасно возбуждать и освѣжать въ общеніи съ нею.

Но тутъ его постигъ самый тяжелый для него ударъ. Со времени внезапной смерти своего сына въ Римѣ онъ не испытывалъ такого ужаснаго горя, какъ теперь, стоя у гроба своей жены. Онъ не думалъ, что потеряетъ ее такъ скоро. Ея нѣжный организмъ, правда, страдалъ съ ранней юности. Значительная часть ея жизни была посвящена заботамъ о здоровьѣ: она пользовалась ваннами въ Ноцеръ, Руанъ, Карлсбадъ, Теплицъ и Гаштейнъ. Въ 1818 году ея состояніе впервые начало возбуждать серьезныя опасенія; но опасенія эти были затѣмъ разсѣяны,—ея здоровое тѣлосложеніе успѣшно боролось со всѣми приступами подагры, а сильный духъ поддерживалъ физическія силы; терпѣніе не оставляло ее даже при самыхъ тягостныхъ страданіяхъ и неудобствахъ. Она въ состояніи была совершить еще разъ утомительное путешествіе въ Парижъ и Лондонъ и была счастлива, что, благодаря своему пребыванію въ столицѣ Англіи, она имѣла возможность составить себѣ наглядное представленіе о тѣхъ условіяхъ, въ какихъ приходилось жить на чужбинѣ ея любимой дочери. Но изъ Гаштейна она вернулась больная. Всю зиму 1828—29 года ея состояніе продолжало быть въ высшей степени тревожнымъ и почти не оставляло надежды на возможность выздоровленія. Несмотря на то въ ея болѣзни наступилъ еще разъ благопріятный оборотъ. Въ февралѣ опасность, казалось, совершенно миновала. Снова предавался Гумбольдтъ самымъ радужнымъ надеждамъ и ждалъ спокойно весны и лѣта. Но надежда эта была обманчивая: 26 марта ея прекрасныя уста въ послѣдній разъ открылись для прощанія съ милымъ: тихо, съ яснымъ сознаніемъ, окруженная всѣми своими близкими, отошла она въ вѣчность ¹⁾.

День ея смерти открываетъ новый періодъ въ жизни Гумбольдта. Во время своей счастливой совмѣстной жизни съ нею онъ могъ сказать, что «жить только для себя, какъ бы внѣ міра». Эти слова должны были теперь еще болѣе подтвердиться. Теперь онъ почувствовалъ, что между нимъ и міромъ какъ будто оборвалась послѣдняя связь; теперь онъ чувствовалъ себя «какъ-бы уединеннымъ отъ людей». Сознывая, какъ пуста и одинока будетъ его жизнь безъ той, которая была такъ тѣсно связана со всѣми его интересами, онъ находилъ утѣшеніе только въ одномъ. «Вы спрашиваете меня», пишетъ онъ Каролинѣ Вольцогенъ, «что мнѣ теперь представляется наиболѣе утѣшительнымъ; признаюсь вамъ—ничто, кромѣ полнѣйшаго абсолютнаго уединенія: тутъ у человѣка являются всегда чувства, идеи, воспоминанія, которыя его поддер-

¹⁾ Письмо Гумбольдта къ Кар. Вольцогенъ, цит. м. II, 36 и сл.; письмо къ Штейну у Pertz'a, VI 698; къ Шарлоттѣ, Briefe an eine Freundin, II, 2.

живають и подкрѣпляютъ, и грусть превращается въ тихое чувство, обладающее даже сладкою притягательною силой; но какому образомъ я снова могу полюбить общеніе съ людьми, по скольку оно не заключается въ уединенной бесѣдѣ съ одинаково настроенными, этого я пока себѣ не представляю». Подобнымъ же образомъ изъбражаетъ онъ свое душевное состояніе и въ письмѣ къ Шарлоттѣ. Онъ прямо высказываетъ, что съ утратой любимой жены для него начинается новая эпоха. Все до тѣхъ поръ прожитое замыкается; онъ смотритъ на него какъ на нѣчто цѣлое и запечатлѣть путемъ воспоминанія въ своей душѣ. Всякому желанію въ будущемъ отнынѣ положенъ предѣлъ. Правда, жизнь еще представляла для него извѣстную цѣнность, — какъ условіе этихъ воспоминаній и чувствъ, вызываемыхъ духовною близостью дорогой усопшей и сладостнымъ сочетаніемъ съ самою скорбью; точно также природа, — ея явленія легко сливаются со всѣми душевными движеніями. Другое дѣло — люди. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ говоритъ: «всѣ наслажденія, возбуждаемыя въ насъ природою я ощущаю не менѣе сильно, чѣмъ прежде, — только людей я избѣгаю, потому что удивленіе есть потребность моей души».

Итакъ уединеніе, которое онъ посреди самой оживленной свѣтской и дѣловой жизни восхвалялъ какъ «средоточіе прекрасной жизни», — уединеніе стало съ этого момента для него жизненною стпихіей. Чувство, охватившее его въ первый моментъ утраты, не покидало его болѣе. Какъ прежде отъ государства и государственныхъ дѣлъ, такъ отвернулся онъ теперь и отъ общества. Рѣшившись отнынѣ «не приносить своей жизни въ жертву какой-бы то ни было общественной условности», онъ суживалъ все болѣе и болѣе сферу своего общенія съ людьми. Только его семейный кругъ былъ ему дорогъ по прежнему: — это были все люди, съ которыми его соединяли грустные воспоминанія объ усопшей. Его дочь Каролина, которая была всегда наиболѣе близка съ родителями, и трогательная скорбь которой объ утратѣ матери дѣлала для него ея заботливость и преданность вдвойнѣ дороже, оставалась почти непрерывно при немъ; она была его компаньонкой дома и его спутницей въ путешествіяхъ. Вмѣстѣ съ нею, у одра смерти матери, находилась также и другая дочь, Адельгейда. Изъ сердечнаго вниманія къ ихъ горю король перевелъ ея мужа, Гедеманна, въ Берлинъ, и Гумбольдтъ могъ поддерживать самыя тѣсныя отношенія съ ними. Естественно, что онъ удалился теперь въ свое тихое Тегельское помѣстье. Сюда пріѣзжали къ нему лѣтомъ его дѣти, съ которыми онъ видался и зимой, когда дѣла призывали его въ городъ, гдѣ у нихъ была большая общая квартира.

Такія же сердечныя отношенія поддерживалъ онъ съ любимымъ братомъ. Большую часть своей жизни братья провели: врозь и, не

смотря на то, они сходились всегда при встрѣчахъ такъ, какъ будто никогда не разставались. Такъ они встрѣтились въ Парижѣ, въ эпоху переговоровъ о мирѣ; позднѣе Александръ посѣтилъ брата въ Лондонѣ и отправился вмѣстѣ съ нимъ въ Ахенъ, гдѣ въ это время собрались монархи. Послѣ того Александръ прожилъ продолжительное время во французской столицѣ; въ 1823 году онъ провелъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Берлинѣ и только въ 1827 году переселился туда окончательно. Тогда то, именно въ зиму 1827—28, онъ прочелъ въ университетѣ, и почти одновременно въ большомъ залѣ пѣвческой академіи (Singakademie), рядъ блестящихъ лекцій по физической географіи, сопровождавшихся большимъ успѣхомъ и доставившихъ ему, какъ Вильгельмъ писалъ Гентцу, «новый родъ славы». Можно себѣ представить съ какимъ неудовольствіемъ взиралъ Вильгельмъ, нѣсколько недѣль спустя послѣ смерти жены, на приготовленія брата къ новому большому путешествію. Однако и съ Урала и съ береговъ Каспійскаго моря Александръ наконецъ счастливо возвратился. По братски связанные душою и сердцемъ, они съ этого момента стали близки и внѣшнимъ образомъ, они обмѣнивались взглядами и мнѣніями, и, несмотря на различіе областей, въ которыхъ имъ приходилось научно работать, они сходились въ основныхъ точкахъ зрѣнія, съ которымъ одинъ пытался установить законы и единство физическаго міра, другой—интеллектуальнаго.

У него были также и другіе друзья, съ которыми онъ былъ душевно связанъ; съ ними онъ охотно отъ времени до времени поддерживалъ переписку и вступалъ въ личное общеніе. Это были главнымъ образомъ друзья по академіи и по научнымъ занятіямъ. Въ академіи онъ нашелъ старыхъ и молодыхъ товарищей по занятію языковѣднѣемъ; его связывали съ ними родственныя взгляды и интересы. Участіе Боппа въ изданія его большого физическаго труда, которому онъ посвящалъ теперь все свое время, было для него неогцненной. Въ Беккѣ (Böckh) онъ встрѣтилъ достойнаго преемника великаго реформатора филологіи, бывшаго когда-то его ближайшимъ другомъ. Съ великимъ теологомъ Шлейермахеромъ, — къ которому особенное влеченіе чувствовала жена его, — онъ самъ былъ по духу гораздо ближе, чѣмъ оба они могли предполагать. Риттеръ внушалъ къ себѣ уваженіе столько-же своими умственными стремленіями и эрудиціей, сколько душевнымъ богатствомъ и мягкостью нрава. Нелегко было порвать и безчисленныя знакомства минувшихъ бурныхъ лѣтъ, связи съ писателями и художниками, съ членами королевскаго дома, съ министрами и государственными людьми — нелегко особенно тому, кто прежде болѣе всякаго другого ихъ искалъ и поддерживалъ. Его уединеніе изрѣдка нарушалось тѣмъ или другимъ гостемъ — иногда даже почетнымъ посѣщеніемъ короля. И все-же, какъ неуріятно было ему это нарушеніе! Втеченіе перваго года по-

слѣ смерти жены нерасположеніе къ обществу людей, даже тѣхъ, которымъ былъ преданъ, настолько усилилось, что самое короткое посѣщеніе было для него уже тягостно. Съ признательностью относился онъ къ деликатности тѣхъ, которые его понимали и доволствовались тѣмъ, что издали съ постояннымъ участіемъ за нимъ слѣдили.

Въ рѣзкой противоположности съ этимъ внутреннимъ состояніемъ уединившагося человѣка шли событія внѣшняго міра. Въ то время какъ онъ все болѣе и болѣе уходилъ въ мирную атмосферу уединенія, одинаково равнодушный какъ къ крупнымъ, такъ и къ мелкимъ внѣшнимъ событіямъ, надъ болышею частью Европы, вкушавшей спокойствіе со времени второго парижскаго міра, носились повидимому самыя опасныя бури. Послѣ іюля 1830 года въ Европѣ опять появился лишенный трона и изгнанный изъ своей страны король. Даже и при большей мудрости Бурбонамъ было бы трудно удержать въ своихъ рукахъ скипетръ, данный имъ посторонними людьми. Между тѣмъ мудрость никогда не принадлежала къ наследственнымъ добродѣтелямъ этой династїи, а черезъ революцію воспитывается, правда — хотя и весьма медленно — народъ, но не короли. Казалось, что іюльская революція привела Европу снова къ отправному пункту 1789 года. Дѣйствительно ли суждено воскреснуть сценамъ національнаго собранія и конвента? Не найдеть ли примѣръ Франціи подражанія и въ другихъ государствахъ Европы? Существовала-ли какая-либо гарантія, что то, что происходило въ Бельгїи и Польшѣ, не выйдетъ за предѣлы этихъ странъ? Можно-ли было предполагать, что тотъ, кому суждено царствовать во Франціи послѣ Наполеона и Карла X, будетъ править страной согласно принципамъ и желаніямъ Священнаго союза? Не придется-ли освободителю быть вмѣстѣ съ тѣмъ и мстителемъ? Не наводнять-ли снова французскія войска чужія земли?—и гдѣ найти въ такомъ случаѣ, послѣ всѣхъ этихъ многочисленныхъ разочарованій, самопожертвованію ту вѣрность королю и готовность къ жертвамъ, которыя побѣдили иѣкогда Наполеона?

Извѣстно, какая почти религіозная любовь къ миру, какое отвращеніе ко всѣмъ народнымъ движеніямъ утвердилось въ Германїи у большей части эпигоновъ великой военно-революціонной эпохи, завершенной въ 1815 годахъ. Трудно было найти человѣка миролюбивѣ Гумбольдта. Ему особенно прискорбно было видѣть, какъ «страсть, дикость и задорная кичливость угрожаетъ спокойствію, которымъ міръ такъ долго наслаждался». Однако онъ совершенно иначе ощущалъ это нарушеніе міра, чѣмъ другіе ветераны революціонной и освободительной эпохи. Онъ любилъ міръ съ истиннымъ проникновеніемъ въ его смыслъ. Онъ былъ далекъ отъ того фанатизма миролюбія и той партійной злобы, съ какою отнесся къ предстоя-

щему новому міровому движенію Нибуръ. Такъ же далекъ онъ былъ и отъ того страха нечистой совѣсти, отъ ужаса и унынія, которые омрачили въ эту эпоху жизни его друга Гентца. Онъ питалъ всегда, такъ пишетъ онъ Гентцу—только «историческій интересъ» къ вѣшнимъ событіямъ. И теперь, при неограниченной свободѣ самоуглубленія, онъ болѣе чѣмъ когда-либо былъ расположенъ связать этотъ историческій интересъ съ благочестивою вѣрою въ пути провидѣнія. «Вѣшнія событія», такъ говорилъ онъ осенью рокового 1830 года, «находится вѣчно въ состояніи подъема и паденія, въ непрерывной измѣнчивости,-- и эта измѣнчивость должна лежать въ волѣ Бога, ибо Онъ не далъ ни могуществу, ни мудрости силы остановить ее. Отсюда вытекаетъ великое правило, что въ такія времена слѣдуетъ сугубо напрочь свои силы, чтобы выполнить свой долгъ и поступить какъ слѣдуетъ, но что для счастья и душевнаго покоя необходимо искать другихъ, во вѣки неотъемлемыхъ благъ»¹⁾).

Втянуть снова человѣка, покончившаго такимъ образомъ съ міромъ, въ политическій круговоротъ, представляется почти жестокостью. Правда передъ нимъ были въ долгу: ему должны были дать удовлетвореніе за удаленіе его отъ дѣлъ, да и вообще съ тѣхъ поръ какъ прусская раставраціонная политика перешла къ болѣе равномѣрному и разумному образу дѣйствія, она обязана была реабилитировать его въ политическомъ смыслѣ. Такого рода удовлетвореніе имѣлось въ виду, когда именованъ указомъ отъ 15 сентября 1830 года онъ былъ призванъ снова къ участию въ засѣданіяхъ государственнаго совѣта, изъ котораго онъ былъ изгнанъ одиннадцать лѣтъ тому пазаць. И несомнѣнно, если-бы эта почетная должность была связана съ какою-нибудь властью, это было-бы не въ ущербъ общему дѣлу. Престарѣлый государственный человѣкъ употребилъ-бы свои силы, которыми еще вполне владѣлъ, и свято выполнилъ-бы свой долгъ. Онъ доказалъ-бы, какъ онъ писалъ когда-то Штейну, что способность къ общественному служенію не утрачивается отъ того, что человѣкъ, удалившись отъ общественной жизни, предается размышленіямъ и не даетъ своему духу погружаться въ вялость и бездѣйствіе». Если-бы только прислушались къ его совѣту, то услышали-бы «чистый голосъ правды и разума», а если-бы ему послѣдовали, то заручились-бы сильнымъ оружіемъ противъ опасностей критическаго момента. Онъ дѣйствительно понималъ новую эпоху и обладалъ программю дѣйствія; программа эта была не менѣе разумна чѣмъ та, съ которою онъ вѣкогда вступилъ въ управленіе. «Невозможно ни терроризировать силою»,—такъ онъ вкратцѣ резюмировалъ свои политическіе взгляды,—«ни обходить хитростью тенден-

¹⁾ Письмо къ Шарлоттѣ Дидо отъ 7 сент. 1830 г. Briefe an eine Freundin, II, 89, 90.

цію, которая лежитъ въ духѣ времени и которая сама по себѣ— по духу и значенію своему— не должна быть подавляема. Искусство управленія и задача ближайшихъ лѣтъ и десятилѣтій будетъ заключаться въ томъ, чтобы дать эпохѣ самой раскрыть свой пастоящій смыслъ, дать благотворное направленіе его исканіямъ я, умиряя бурю, мирно проводить ихъ въ жизнь. Я считаю это возможнымъ, если только приступимъ къ это мусъ яснымъ пониманіемъ, съ большою твердостью и неустанною любовью въ насажденіи всего возвышеннаго на землѣ. Будемъ-же ждать, не теряя мужества»¹⁾).

Таковы были его убѣжденія, и безъ сомнѣнія, назначеніе его въ государственный совѣтъ состоялось именно потому, что убѣжденія эти были извѣстны. Назначеніе не стояло впрочемъ ни въ какой связи съ истиннымъ глубокимъ смысломъ этихъ убѣжденій, оно было лишь хитростью и попыткой успокоить умы: очевидно нуженъ былъ не человекъ, а его имя. Это имя должно было служить маленькимъ искушеніемъ за обиду, нанесенную въ 1819 году ожиданіямъ и нуждамъ нація. Гомеопатическою дозой либерализма хотѣли излечить критическую возбужденность общественнаго настроенія. Мы не порицаемъ Гумбольдта за то, что онъ не отвликнулся на зовъ своего монарха: не подлежитъ сомнѣнію, что онъ пожертвовалъ своими наклонностями и спокойствіемъ изъ чувства долга, изъ лояльности и патриотизма. Мы не порицаемъ также и общій характеръ прусской политики по отношенію къ событіямъ 1830 года; она остерегалась грубыхъ ошибокъ и, лавируя, инстинктивно попала на то, что было въ данный моментъ нужно; стремясь жить въ мирѣ съ орлеанскою Франціей и новыми конституціями въ чужихъ краяхъ, она въ общемъ поступала цѣлесообразно и обдуманно, но она была очень далека отъ благороднаго, исполненнаго глубины и дальновидности образа дѣйствій во вкусѣ Гумбольдта. Поэтому и его реабилитация, какъ бы о ней ни фантазировала и чего-бы ни ожидала отъ нея публика, была лишена всякаго значенія и осталась безъ результатовъ. Онъ аккуратно участвовалъ въ засѣданіяхъ государственнаго совѣта; былъ даже членомъ отдѣла иностранныхъ дѣлъ, но значеніе этихъ занятій и положеніе этихъ должностей было таково, что онъ могъ вліять на дѣла прусскаго государства не болѣе, чѣмъ если-бы онъ въ своемъ Тускуданѣ изучалъ новые алфавиты или диктовалъ сонеты²⁾).

Призваніе къ участію въ засѣданіяхъ государственнаго совѣта было однако связано съ другимъ, болѣе приятнымъ для Гумбольдта

¹⁾ Письмо къ Кар. Вольцогенъ отъ 29 дек. 1830 г., цит. м., стр. 63.

²⁾ Письмо къ К. Вольцогемъ отъ 27 окт. 1830 г., цит. м., стр. 60: „относительно моего официальнаго положенія вы дурно освѣдомлены: я только государственный совѣтникъ (Staatsrath), который имѣетъ дѣло только съ законодательствомъ“.

обстоятельствомъ, также нарушившихъ его досугъ и уединеніе. Ему былъ пожалованъ орденъ Чернаго Орла; подходящимъ поводомъ для того другого было удачное исполненіе Гумбольдтомъ одного королевскаго порученія, даннаго ему еще въ первыя недѣли послѣ смерти жены. Послѣ окончанія ностройки новаго музея въ Берлинѣ король назначилъ комиссію изъ художниковъ, которая должна была наблюдать за внутреннимъ устройствомъ, за выборомъ и постановкою художественныхъ произведеній; руководство этимъ дѣломъ онъ предоставилъ дѣльному и компетентному въ вопросахъ искусства министру. Последнему было неприятно какъ разъ въ такой моментъ, когда онъ особенно дорожилъ полною свободой и уединеніемъ, быть вынужденнымъ къ частымъ поѣздкамъ въ городъ и къ сношеніямъ съ людьми. Однако занятіе представляло для него интересъ; люди, съ которыми онъ приходилъ при этомъ въ соприкосновеніе, давно принадлежали къ его кругу; а Шинкель и Вахъ, Раухъ и Тикъ, были связаны съ его домою, благодаря любви къ искусству покойной его жены. Наконецъ дѣло было нетрудное и еще болѣе облегчалось образомъ дѣйствія короля. Двадцать перваго августа слѣдующаго года Гумбольдтъ могъ уже представить королю отчетъ о дѣйствіяхъ комиссіи, а тридцатого числа того-же мѣсяца послѣдовало открытіе музея ¹⁾.

Любовь къ искусству, культивируемая при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ втеченіе долголѣтней жизни, заняла у Гумбольдта, съ момента удаленія его въ частную жизнь, первое мѣсто послѣ любви къ наукѣ. Это поставило его еще въ 1825 году въ положеніе, позволившее ему не только практически содѣйствовать развитію искусства, но и давшее ему вмѣстѣ съ тѣмъ возможность теоретически вліять на развитіе эстетическихъ воззрѣній общества: въ Берлинѣ образовался тогда «Verein der Kunstfreunde im preussischen Staate» (Общество любителей искусства въ прусскомъ государствѣ),— общество, подобно другимъ подобнымъ же обществамъ въ Германіи и за ея гредѣлами, задававшееся цѣлью не только оказать поддержку талантливымъ художникомъ, но и способствовать возникновенію выдающихся произведеній искусства. Распространять ихъ въ возможно большемъ числѣ и этимъ путемъ воздѣйствовать одновременно какъ на искусство, такъ и на распространеніе и облагороженіе художественнаго вкуса. Гумбольдтъ былъ однимъ изъ учредителей этого общества поставленный съ самаго пачала во главѣ дирекціи, онъ оставался на этомъ посту и во всѣ послѣдующіе года. Онъ составилъ программу, по которой общество организовалось; онъ же представлялъ членамъ общества ежегодные отчеты о значеніи и результатахъ дѣятельности общества ²⁾.

¹⁾ Письмо къ Шарлоттѣ отъ 12 іюня 1829 и къ Штейнцу тоже лѣтомъ того же года у Pertza, VI, 790.

²⁾ Какъ программа, такъ и отчеты, послѣдніе съ пропускомъ всѣхъ

И эти отчеты съ ихъ разсужденіями о сущности и направленіяхъ въ искусствѣ представляютъ ничто иное какъ «эстетическіе опыты» его старости. Его пониманіе древности, также какъ и его эстетическіе взгляды получаютъ здѣсь свое завершеніе. Только теперь ему далась удовлетворительная характеристика грековъ, теперь только вылилось въ чистотѣ его сужденіе о сущности искусства. Эти новые опыты во всѣхъ отношеніяхъ — и по формѣ, и по содержанию — отличаются отъ прежнихъ его эстетическихъ работъ. Они живѣе и яснѣе; но они вмѣстѣ съ тѣмъ и глубже и зрѣлѣе. Они также исходятъ, какъ радіусы изъ одного общаго фокуса, изъ сокровищницы идей, накопленной путемъ размышленія о прирѣдѣ языка.

Поразительно въ нихъ прежде всего постоянное стремленіе къ высшимъ и наиболѣе общимъ точкамъ зрѣнія. Поводъ для этого удивительный составитель отчетовъ находитъ въ характеристикѣ дѣятельности общества, въ связи этой дѣятельности съ цѣлями общества, въ разъясненіи предложенныхъ на премію темъ, наконецъ въ описаніи и оцѣнкѣ поступившихъ или пріобрѣтенныхъ обществомъ картинъ. Такимъ образомъ эти отчеты, примыкая всегда къ ближайшимъ и реальнымъ фактамъ, становятся курсомъ популярной эстетики. Эстетикъ-ораторъ не отрекается ни отъ одного изъ убѣжденій бывшаго эстетика-писателя. Прежде всего — какъ въ статьѣ о Германнѣ и Доротеѣ, такъ и здѣсь искусство не составляетъ для него конечной цѣли: цѣль общества, напротивъ, даетъ ему неоднократно случай напомнить объ обратномъ воздѣйствіи искусства на общество, о связи между искусствомъ и жизнью. Это обратное воздѣйствіе стоитъ, по его мнѣнію, даже выше самого искусства, и настоящее свое значеніе искусство пріобрѣтаетъ только въ силу своего вліянія «на человѣка и на его общее развитіе». Еще болѣе, во вторыхъ, обнаруживается въ его теперешнихъ художественныхъ взглядахъ и сужденіяхъ специфическое вліяніе той эпохи, которая дала ему его первоначальное эстетическое направленіе. Вѣдь самъ онъ являлъ изъ себя посредника между оживившимися благодаря Вольфу гуманистическими науками и поэзіей Шиллера и Гёте, и онъ же представлялъ собою кульминаціонную точку своеобразнаго соединенія новаго порыва чувства и фантазіи съ приверженностью къ формѣ греческаго генія — того соединенія, изъ котораго развилась нѣмецкая классическая эпоха литературы и искусства. Склонно къ античному было его художественное направленіе прежде, такимъ же оно оставалось и теперь. За направленіемъ, которое послѣ смерти Шиллера приняла нѣмецкая литература, и которое во время его пребыванія въ

Италія начала принимать и живопись, онъ не послѣдовалъ. Правда, онъ не могъ отказаться отъ признанія и до извѣстной степени отъ одобренія новаго духа, охватившаго современныхъ римскихъ художниковъ и увлекшаго живой умъ и вкусъ его жены. Онъ пошелъ даже такъ далеко, что по поводу «Мессинской невѣсты» Шиллера высказалъ послѣднему сомнѣнiе въ томъ, не составляетъ ли исключительная приверженность античной формѣ ошибки, и не можетъ ли «такъ называемое романтическое», рядомъ съ чисто античной художественной формой, значительно обогатить сферу искусства. Однако, произведенія нѣмецкой романтической поэзіи были мало пригодны для того, чтобы двинуть его дальше по пути обращенія. Произведенія Шлегеля и Тика, Арнима и Brentano, Клейза и Шенкендорфа заставляли его еще болѣе уходить въ древнихъ писателей и въ тѣхъ, которые возродили въ своихъ произведеніяхъ классическій духъ. Своеначицъ Шиллера онъ высказалъ въ 1813 году, свое искреннее мнѣнiе по этому предмету. Правда, говорить онъ, диадохамъ Гёте-Шиллерова дуумвирата нельзя отказать во многихъ достоинствахъ, но истинные элементы внутренней красоты, свободы и гармоніи духа, у нихъ нѣтъ, или элементы эти проявляются у нихъ не въ чистомъ видѣ. Увлеченные удивительными религіозными и патриотическими представленіями, они угловаты и жестки, и эти ихъ свойства переходятъ также и на ихъ произведенія. Это не отталкиваетъ его, онъ живетъ съ ними, старается войти въ кругъ ихъ идей: — но открыться имъ вполне — ему невозможно.

Стало ли оно для него болѣе возможнымъ по прошествіи такого продолжительнаго времени? Можно ли было ожидать, что онъ обратится на склонѣ лѣтъ къ образу мыслей, въ силу котораго онъ долженъ былъ бы измѣнить не только убѣжденіямъ, но и друзьямъ своей юности? Напротивъ, все, чѣмъ онъ занимался и съ чѣмъ входилъ во внутреннее общеніе, все болѣе и болѣе — даже до односторонности и предрасудка — укрѣпляло его въ любви къ тому, что было ему нѣкогда дорого. Восхищеніе, съ какимъ онъ говорилъ о томъ искусств. произведеніи, надъ которымъ трудился на старости Гёте, можно объяснить себѣ вліяніемъ личныхъ отношеній¹⁾; но та же самая односторонность проявляется и въ отчетахъ художественнаго общества. Какъ разъ тѣ члены дирекціи и художественной комиссіи, которые давали тонъ, раздѣляли пристрастіе Гумбольдта къ классической древности. Первые объявленія о преміяхъ поразительно напоминаютъ тѣ, которыя отстаивала когда Гёте въ своихъ Прои-

¹⁾ Письмо къ Кар. Вольцогенъ отъ 21 дек. 1826 г.: „Я читалъ Гетову Елену. Объ этомъ можно было бы пожалуй говорить, но не писать. Въ пѣломъ и въ деталяхъ она удивительна: нѣчто своеобразно новое, что еще неизвѣстно, для чего еще не существуетъ ни правила, ни закона, но что живетъ высшею поэтической жизнью“.

деяхъ. Сюжеты античны по своему содержанию и должны быть въ такомъ же духѣ трактованы. Авторъ отчета съ горячностью говорить объ античныхъ художникахъ и становится пристрастнымъ, какъ только ему приходится хвалить какого-нибудь современнаго художника, успѣшно усвоившаго себѣ духъ и стиль античнаго искусства. Между тѣмъ публика чувствовала и судила иначе: эпоха исключительнаго поклоненія всему классическому миновала. Такой художникъ какъ Лессингъ удачнымъ выборомъ своего матеріала доказалъ, что искусство только тогда способно воздѣйствовать истинно животворящимъ образомъ, когда художникъ почерпаетъ свои образы изъ жизни болѣе близкой къ настоящему и возбуждаетъ чувства и воспоминанія, естественно развивающіяся изъ чувстваванія націи. Публика интересовалась болѣе какою нибудь сценой изъ отечественной исторіи и изъ будничнаго семейнаго быта, нежели сюжетомъ, заимствованнымъ изъ классической мѳологіи, отрывками изъ Гомера или Овидія; она восторгалась личностями Гуса и Лютера и оставалась равнодушною къ освобожденію Андромеды въ описаніи Филострата. Это расхожденіе вкуса общества и тенденцій руководящихъ слоевъ вскорѣ замѣтно обнаружилось; его почувствовалъ и Гумбольдтъ. И тутъ снова проявилась, при всей опредѣленности его убѣжденій, его удивительная терпимость и гибкость. Когда художественное общество къ предложеннымъ сюжетамъ изъ древне-эллинской жизни начало присоединять другіе, взятые изъ библіи или изъ итальянскаго романтическаго эпоса, то Гумбольдтъ не только призналъ законность такихъ темъ, но и сдѣлался истолкователемъ интереса публики къ нео-историческимъ или жанровымъ картинамъ. Возможно-ли было, чтобы тотъ, кто въ грубыхъ нарѣчіяхъ южно-океанійскихъ островитянъ призналъ ту самую творческую силу человѣческаго духа, которая проявилась въ благозвучіи и мудрости языка Гомера и Платона, — возможно-ли было, чтобы онъ проглядѣлъ тотъ пунктъ, на которомъ духовная жизнь новаго времени становится какъ равноправная рядомъ съ жизнью древнихъ. Въ идеѣ единства всего человѣческаго онъ давно уже обрѣлъ этотъ пунктъ. Эта идея наглядно проявилась для него въ современномъ Римѣ, еще болѣе наглядною стала она для него вслѣдствіе совершенно особаго обстоятельства, — а именно: самъ онъ въ своихъ ощущеніяхъ былъ всецѣло преданъ простой красотѣ и ясности древности, но его жена при всемъ углубленіи своемъ въ духъ классическаго, интересовалась не менѣе живо также и всѣмъ, что носило характеръ романтизма; она раздѣляла съ мужемъ его любовь къ образу и ритму, но обладала въ то же время и тѣмъ, чего ему недоставало, — пониманіемъ звуковъ и красокъ. Въ ея душѣ оба міра окружены были одинаковою любовью, — воспріять богатство этой души составляло для него величайшее наслажденіе, настоящую

жизнь: онъ не могъ поэтому отнестись несправедливо или отрицательно къ содержанію или эстетическому значенію современнаго искусства. Онъ снова о немъ высказался, какъ и ранѣе въ письмѣ по поводу «Мессинской невѣсты» Шиллера. Время выдвинуло, по его словамъ, идеи и чувства, чуждыя предшествовавшимъ эпохамъ. Гениальный художникъ умѣетъ усвоить себѣ то великое, что заключаетъ въ себѣ каждая эпоха, и перенести его въ область прекраснаго. Но этого мало. Искусство какъ таковое обязано новому времени однимъ новымъ приобрѣтеніемъ: развитіемъ того, что, будучи совершенно безформенно, путемъ одной только нюансировки и градации дѣйствуетъ на воображеніе и, слѣдовательно, непосредственно затрогиваетъ чувство. Это — область музыки, принадлежащей въ высшихъ своихъ проявленіяхъ новому времени; на томъ-же принципѣ освѣщено дѣйствіе красокъ, незнакомое древности, и слѣвавшее живопись современнымъ искусствомъ; къ этой-же области относится также и все наше религіозное искусство; наконецъ въ ней же коренится все то, что обозначается словомъ «романтическое».

До этихъ предѣловъ — и именно до этихъ только предѣловъ простирается признаніе съ его стороны современнаго духа. Ибо на самомъ дѣлѣ онъ признаетъ его только для того, чтобы тѣмъ настойчивѣе подчеркнуть, что чистая форма искусства тѣмъ не менѣе всегда должна быть заимствуема у древнихъ. Онъ требуетъ, чтобы изъ современнаго искусства строго изгонялось все то, что противурѣчитъ простому, вѣрному природѣ и чисто художественному духу древности. Онъ внушаетъ своимъ читателямъ, что художникъ можетъ придерживаться строгихъ требованій античнаго искусства: правильности формы, правды и граціи своихъ образовъ, отнюдь не нарушая этимъ ни глубины и искренности чувства въ изображеніи библейскихъ сюжетовъ, ни смѣлости и богатства фантазіи романтическихъ сюжетовъ. Его послѣднее слово — указаніе на общій источникъ древняго и современнаго гениа, и отсюда онъ дѣлаетъ выводъ о необходимости единенія обояхъ — и не въ одномъ только искусствѣ. «Своихъ вершинъ, говоритъ онъ, живопись достигла только тогда, когда въ картинахъ Рафаэля духъ современной ему эпохи проникся духомъ древности, и когда великій расколъ, возникшій въ человѣческой душѣ и рѣзко раздѣлившій міровую исторію на двѣ половины, смѣнился — по крайней мѣрѣ, въ искусствѣ, символически всегда опережающимъ жизнь — гармоническимъ единствомъ».

Такое рѣзко и опредѣленно ограниченное признаніе современнаго искусства мало однако измѣнило его прежнія воззрѣнія. Въ главномъ пунктѣ онъ придерживается того же: истинную сущность искусства онъ объясняетъ, исходя изъ эллинскаго духа, истинную же сущность эллинизма — изъ сущности искусства. Но именно въ томъ, какъ онъ взаимно связываетъ и взаимно провѣряетъ эти два

понятія, — слѣдовательно, въ главномъ пунктѣ его эстетическихъ воззрѣній замѣтенъ прогрессъ или точнѣе — углубленіе. Не то, чтобы онъ отрекся отъ теоріи, формулированной имъ нѣкогда подробно въ комментаріи къ Гётевскому стихотворенію. Онъ по прежнему усматриваетъ задачу искусства въ идеализированномъ подражаніи дѣйствительности; по прежнему объясняетъ, что воображеніе обладаетъ удивительною способностью — оставаясь вѣрнымъ дѣйствительности, упразднять все-же ея условность и конечность; онъ по прежнему поимаетъ художественное дарованіе, какъ способность воспламенять воображеніе посредствомъ воображенія же. Онъ ничего не беретъ назадъ, но прибавляетъ нѣчто такое, что подтверждаетъ тотъ «прогрессъ его мысли» (Fortrücken in Ideen), который онъ самъ въ то время въ себѣ сознавалъ. Углубленіе взгляда, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, шло у него рука объ руку съ болѣе глубокимъ проникновеніемъ въ характеръ греческой національности. Языковѣденіе дало ему для этого болѣе глубокую формулу, и эта формула, также какъ и путь, приведшій его къ ней, оказываются плодотворными для его эстетическихъ взглядовъ. Чтобы уяснить себѣ существо языка, онъ часто прибѣгаетъ къ аналогіи съ искусствомъ. Подобнымъ-же образомъ сущность языка бросаетъ обратно свѣтъ на сущность искусства, когда онъ говоритъ, что художникъ умѣетъ обращаться съ искусствомъ, «какъ съ языкомъ, который можетъ включить въ себя всю природу, но изъ котораго она всегда выходитъ еще прекраснѣе и яснѣе». На первый взглядъ это не болѣе какъ остроумное сравненіе, но смыслъ его ведетъ насъ дальше, — онъ ведетъ къ пониманію искусства, совершенно совпадающему съ вновь установленною формулировкой характера греческой національности. Мастерами въ изображеніи прекраснаго греки стали благодаря тому, что въ каждомъ индивидуальномъ явленіи они стремились уловить его понятіе или чистый его характеръ. То-же самое присвоивается теперь искусству какъ таковому, и такимъ образомъ это опредѣленіе искусства возвышается надъ тѣмъ болѣе субъективнымъ пониманіемъ его, какое выразилось въ «эстетическихъ опытахъ». Дѣятельность художника, объясненіе которой прежде опиралось исключительно на дивную силу фантазіи, получаетъ теперь болѣе объективное основаніе. Какимъ образомъ для фантазіи дѣлается возможною идеализація природы? Какъ разрѣшается объективно то кажущееся противорѣчіе, что искусство живетъ и дѣйствуетъ только въ природѣ, между тѣмъ художникъ долженъ отрѣшиться отъ предѣловъ дѣйствительности? Разгадка кроется въ самомъ предметѣ. Художникъ передаетъ понятіе и чистый характеръ предмета, но именно это понятіе и характеръ и составляютъ ядро самой природы. Художникъ улавливаетъ и передаетъ въ образѣ «ея глубочайшую суть» (ihre eigenstes Inneres). Кажущееся противорѣчіе разрѣшается

посредствомъ того особеннаго изученія природы, которое свойственно художникамъ. Въ этомъ изученіи природы греки были мастерами. Художникъ поступаетъ такъ, какъ греки вообще поступали во всемъ: онъ переходитъ отъ внутренняго къ ви́шнему, отъ невидимаго къ видимому. Художникъ «заимствуетъ изъ жизни не субъективныя, досужую фантазіей созданныя отношенія, но въ самой жизни онъ постоянно находитъ нѣчто новое и болѣе возвышенное, чѣмъ то, что представляется непосредственно въ дѣйствительности, если не смотрѣть на эту послѣднюю его глазами». Онъ ищетъ въ явленіи понятія—не отвлеченнаго, а конкретнаго; онъ ищетъ и находитъ его въ такомъ видѣ, въ какомъ оно связано съ явленіемъ.

Въ этомъ воззрѣніи примираются, какъ мы видимъ, наиболѣе глубокимъ образомъ эллинизмъ Гумбольдта съ его эстетизмомъ, и оба они вмѣстѣ—съ тѣмъ, что интересовало его въ филологіи. Возрастающая гармонія всего его идейнаго міра представляется еще болѣе полною, если принять въ соображеніе, что вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворяется и тѣмъ самымъ растворяется, — передвигаясь въ область реальнаго — присущій ему избытокъ идеалистическихъ стремленій, и что онъ получаетъ наконецъ возможность сознательно и ясно привести свое «германофильство» въ гармонію со своею любовью къ искусству и древности. Ибо, какъ онъ замѣчаетъ, именно нѣмецкій идеализмъ въ соединеніи съ нѣмецкою впечатлительностью и даетъ нѣмецкой націи возможность познать, оцѣнить и возсоздать духъ классической древности, дѣлаетъ ее способною къ самому высокому въ искусствѣ и поэзіи. И опять—таки исходя изъ языка, разсматриваетъ онъ существенныя особенности нѣмецкаго духа. Отличительныя черты этого языка — «чистая объективность, способность къ выраженію философскихъ идей и глубокая задушевность». Каковъ языкъ, такова нація. «Одну изъ особенностей нѣмецкаго духа», говоритъ онъ, «составляетъ то, что онъ всесторонне изслѣдуетъ глубину понятія каждаго существа и познаетъ каждое изъ его первоначальной сущности; другую его особенность составляетъ то, что отъ ви́шнихъ явленій онъ переходитъ къ ихъ внутреннимъ причинамъ и мыслить явленія и причины внутренне между собою связанными. Изъ этой, родственной греческому духу, особенности вытекаетъ возможность для нѣмцевъ болѣе совершеннаго и правильнаго пониманія величавой простоты античнаго міра. Съ нею же связано совершенно своеобразное, углубляющееся въ сущность природы, естествознаніе и истинное, «всецѣло принятое природой и потому наиболѣе идеалистическое искусство».

Сочетаніе всѣхъ этихъ взаимно связанныхъ, легко и свободно одна въ другую переходящихъ идей нигдѣ не выступаетъ такъ отчетливо, какъ въ характеристикѣ человѣка, который дѣйствительно по природѣ своей могъ служить ихъ выраженіемъ. Гумбольдтъ находился въ постоянномъ личномъ и письменномъ общеніи съ вели-

кимъ Гёте. Не разъ посѣщалъ онъ его въ продолженіи двадцатыхъ годовъ въ Веймарѣ и еще въ 1826 г. наслаждался его обществомъ и находилъ его оживленнѣе, общительнѣе и милѣе, чѣмъ когда-либо ¹⁾. Сокровищницы, изъ которыхъ поэтъ подарилъ уже націи такъ много прекраснаго, еще не были исчерпаны. Въ 1829 году онъ выпустилъ послѣднюю часть своего путешествія по Италіи, въ которомъ описывалось его второе, болѣе продолжительное пребываніе въ Римѣ. По предложенію Варнгагена, Гумбольдтъ далъ отчетъ объ этомъ новомъ произведеніи въ *Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik* ²⁾. Такимъ образомъ явилось описаніе римской жизни, какъ ее воспринялъ самъ Гумбольдтъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ явилось и неподражаемое изображеніе поэтической индивидуальности Гёте. Оно входитъ всѣми сторонами своими въ тотъ кругъ идей, который описанъ нами выше на основаніи отчетовъ художественнаго общества: такъ же какъ и эти послѣдніе, она во всѣхъ отношеніяхъ представляетъ углубленіе того, что было когда-то высказано въ разборѣ «Германа и Доротей»; хотя здѣсь и устраняется всякое сравненіе Гёте какъ съ древними, такъ и съ новыми писателями—только съ самимъ собою онъ можетъ быть сравниваемъ,—но устраняется оно для того лишь, чтобы связь, его съ тѣми и другими уяснилась съ той высшей точки зрѣнія, съ которой сущность искусства связывается съ сущностью античнаго, а искусство и античное связываются тѣснѣйшимъ образомъ съ глубиною, основательностью и задумчивостью нѣмецкаго генія. Ибо совершенно правильно приписывается здѣсь Гёте то, что составляетъ общую связь всѣхъ указанныхъ элементовъ—то, прибавимъ мы отъ себя, что жило и въ самомъ Гумбольдтѣ и составляло основаніе его научнаго метода, представленнаго въ его работѣ объ исторіографіи и затѣмъ постоянно принимаемаго имъ въ филологическихъ изслѣдованіяхъ. Такъ, прежде всего въ Гёте, по его мнѣнію, совершенно совпадали—совпадали въ принципѣ—поэтическое и художественное стремленіе со стремленіемъ къ изслѣдованію внутренней сущности и законовъ развитія природы. Задача художника заключается ни въ чемъ иномъ, какъ въ отысканіи «образа въ образѣ» или въ пониманіи образа изъ собственнаго существа его. И именно на этомъ широкомъ базисѣ построено рѣшительно все въ поэзій Гёте. «Вездѣ передъ нами прочная постройка, каждый образъ развивается изъ своей собственной сущности; онъ прежде всего правдивъ, а затѣмъ ужъ заявляетъ свои права на красоту». И рядомъ съ этимъ «пониманіемъ и изложеніемъ, исполненнымъ

1) Письмо къ К. Вольцогенъ, цит. м. стр. 33; письмо къ Штейну, Пертца, VI, 356.

2) Письмо къ Варнгагену у Dörwig'a: Denkschriften u Briefe, III, стр. 4 и 6. Самую статью мы указали уже выше, стр. 180, примѣч.

вѣчной художественной правды» — нѣчто на видъ противоположное: «внутренній страстный порывъ, душевныя силы, какъ будто не нуждающіяся во внѣшнемъ мірѣ, цѣлый міръ мыслей и чувствъ!» Только въ слияніи этихъ двухъ элементовъ находитъ свое завершеніе поэтическая индивидуальность Гёте. Въ необыкновенно удачныхъ выраженіяхъ резюмируетъ Гумбольдтъ общее ея впечатлѣніе: въ высокой степени жывой и возбуждающій духъ поэтически выливается въ форму глубокомысленнаго, какъ солнечный свѣтъ, яснаго созерцанія».

Немногое могъ прибавить Гумбольдтъ къ этой характеристикѣ Гёте, заканчивая 1 мая 1832 года, нѣсколько недѣль спустя послѣ смерти поэта, свой годовой отчетъ въ «Обществѣ любителей искусства» воспоминаніемъ о великомъ усопшемъ. То, что онъ сказалъ здѣсь новаго по сравненію съ прежнимъ, относилось не столько къ поэту, сколько «къ великой и единственной личности» и къ тому вліянію, какое она своимъ существованіемъ и дѣятельностью оказывала на своихъ современниковъ. Онъ указалъ на то, что индивидуальности Гёте суждено было воздѣйствовать на глубочайшую сущность національнаго характера. Онъ упоминаетъ о языкѣ — могло-ли быть иначе? — о языкѣ, «посредствомъ котораго поэтъ только и могъ выразить свою индивидуальность и которому въ свою очередь придалъ такой сильный душевный характеръ». Онъ изложилъ затѣмъ въ самыхъ жѣткихъ выраженіяхъ главную сущность жизни и дѣятельности Гёте, чтобы затѣмъ свободно, безъ труда, перейти къ изображенію художественнаго характера и того, чѣмъ искусство прежде всего прямо или косвенно, обязано незабвенному поэту.

Какъ эти размышленія о Гёте естественнымъ образомъ примыкали ко всему кругу Гумбольдтовыхъ идей, такъ же точно примыкали къ нему размышленія и о другомъ великомъ поэтѣ. Непосредственно передъ своею статьей о вторичномъ пребываніи Гёте въ Римѣ, весною 1830 года, онъ написалъ также предисловіе къ своей перепискѣ съ Шиллеромъ. Мы уже достаточно знакомы съ этимъ предисловіемъ. Характернымъ для зрѣлости его возрѣній является то, насколько спободѣе и полнѣе онъ оцѣниваетъ теперь гармонирующее различіе обѣихъ поэтическихъ индивидуальностей. Теперь, когда ему, какъ - бы окольнымъ путемъ удалось нейтрализовать чрезмѣрный идеализмъ своей природы въ пониманіи сущности искусства и античнаго, ему было легко обращаться съ одинаковою симпатіей то къ поэту по преимуществу реалистическому то къ поэту по преимуществу идеалистическому. Нѣкогда, въ сочиненіи, специально посвященномъ поэзіи Гёте, онъ только при помощи искусственнаго и натянутого различенія сумѣлъ воздать одновременно хвалу и Гёте и Шиллеру. Теперь стоитъ ему только немножко сильнѣе натянуть ту или другую изъ перекрещивающихся

витей своей идейной ткани, чтобы съ одинаковымъ блескомъ выдвинуть образъ то одного, то другого. Если при этомъ и обнаруживается еще кое-какая разница, то развѣ въ томъ, что образъ перваго вызываетъ въ немъ больше удивленія, образъ втораго—больше симпатіи, любви и умиленія, ибо наиболѣе сродный ему строй душевныхъ струнъ былъ все же тотъ, который былъ у него общій съ Шиллеромъ и въ которомъ замѣтно преобладали идеалистическіе звуки. Только характеристика Шиллера даетъ ему возможность вернуться къ тому сплетенію въ индійской литературѣ поэзіи и философіи, передъ которымъ онъ останавливался съ чрезмѣрнымъ удивленіемъ. Только изложение Шиллеровыхъ идей даетъ ему возможность, прямо, безъ скачковъ перейти къ великому вопросу, ставшему средоточіемъ всѣхъ его изслѣдованій и размышленій—къ глубокому его сожалѣнію—только послѣ эпохи сношеній его съ поэтомъ-философомъ. И наконецъ только это предисловіе даетъ ему поводъ, даже болѣе—вынуждаетъ его упомянуть о философіи величайшаго изъ всѣхъ мыслителей, Канта, которому онъ съ юныхъ лѣтъ считалъ себя особенно обязаннымъ, и съ ученіемъ котораго была всесторонне связана его собственная система мыслей.

Нельзя было поставить Канту лучшаго памятника, чѣмъ это вплетенное въ «Предисловіе» похвальное слово. Философское твореніе Канта и философскій геній его нигдѣ не встрѣчали болѣе чистаго и безусловнаго и вмѣстѣ болѣе справедливаго признанія. Не безъ намѣренія, можетъ быть, указывалъ онъ, именно теперь на то, что было въ этой философіи непреходящаго, — превозносилъ твореніе Канта какъ величайшее, изъ всего того, что когда-либо было создано единичнымъ философствующимъ умомъ, особенно подчеркивалъ его универсальность, соединенную съ удивительною свободой духа, съ любовью упоминалъ о соединеніи у него глубины и остроты мышленія съ величіемъ и силой фантазіи. Это писалось въ эпоху, когда неизбежное выраженіе почтенія къ патриарху нѣмецкой умозрительной философіи почти всегда отдавало примѣсью сострадательнаго пренебреженія; это было во времена расцвѣта и начинающагося единовластія системы Гегеля.

И тутъ опять было нѣчто, чего Гумбольдтъ также не въ состояніи былъ себѣ усвоить, какъ не въ состояніи былъ усвоить романтическаго направленія въ области поэзіи. Въ этихъ двухъ пунктахъ современное ему теченіе очевидно пронеслась надъ нимъ или, вѣрнѣе, мимо него. Противъ современнаго аристотелизма, — какъ ни странно это кажется на первый взглядъ, — должна была особенно возставать вся его природа. И что еще удивительнѣе: конечная причина этого возмущенія лежала несомнѣнно въ томъ, что, казалось-бы, должно было содѣйствовать проникновенію его въ новое философское построеніе. Самъ онъ, правда, не создалъ философіи, какая

рисовалась передъ нимъ въ его рецензїи на книгу Якоби («Вольдемаръ»), — такой философин, которая была бы построеннымъ на Кантовой основѣ и проникнутымъ эстетическимъ чутьемъ древнихъ изслѣдованіемъ человѣческаго существа какъ цѣлаго. Однако онъ жилъ и дѣйствовалъ, мыслилъ и воспринималъ въ духѣ этой именно философин. Все его существо — въ свидѣтельствахъ нѣтъ недостатка — твердо и счастливо покоилось на достигаемомъ всегда созвучїи его индивидуальнаго существованїя съ космическимъ цѣлымъ природы. Вышедшая изъ мотивовъ, родственныхъ этимъ, Гегелева система имѣла также и родственное содержаніе. Она создавалась изъ Кантова критицизма подъ вліяніемъ греческой древности и вновь возникшихъ у нѣмецкихъ классическихъ поэтовъ эстетическихъ воззрѣній. Въ своихъ зачаткахъ и въ своей конечной цѣли она имѣла въ виду ничто иное, какъ эстетическое, построенное на критицизмѣ примиреніе «я» съ вселенной. Короче говоря: эта философин въ формѣ чистаго выведенїя понятїи (Begriffsausführung) представляло то самое, что представляла собою, въ качествѣ живой системы, индивидуальность Гумбольдта. И въ этомъ именно заключалось неизмѣримое различіе и невозможность примиренїа. Попытка эстетизировать самое мышленіе могла представляться Гумбольдту только дерзкимъ даже болѣе грубымъ и безвкуснымъ нарушенїемъ нравъ мысли, также какъ и индивидуальной и живой правды красоты. По его воззрѣнію идеи, которые онъ виѣстѣ съ Бантомъ признавалъ неизмѣрими посредствомъ мысли, реализовались черезъ присоединяющуюся къ мысли энергію индивидуальнаго чувства и фантазїи; то, что составляетъ «последнее звено соединенїа» (das Letzte der Verknüpfung) — идея абсолютнаго и универсальнаго — требуетъ также, какъ онъ говоритъ въ одномъ замѣчательномъ мѣстѣ въ «Briefe an eine Freundin»¹⁾, и цѣльнаго душевнаго настроенїа, а слѣдовательно, сседиеннаго дѣйствїа всѣхъ душевныхъ силъ. Это воззрѣніе цѣлою прочастью отдѣляется отъ системы Гегеля. Ибо мысли — и только ей одной — Гегель довѣряетъ всѣ сокровища міра идей, на тонкую поверхность понятїа перенесъ онъ то цѣльное воззрѣніе на міръ, какъ на космосъ, которое только при посредствѣ эстетическаго акта могло быть первоначально усвоено сознаниемъ. Могло-ли эстетическое чувство Гумбольдта и его интеллектуальная добросовѣстность не оскорбляться насильственностью, подкрѣпляемою по мѣрѣ развитїа ученїа ухищренїями? Могъ-ли онъ не утрашиться дер-

¹⁾ II, 202. Эти письма, какъ совершенно вѣрно указываетъ въ своей Исторїи нѣмецк. націон. литературы XIX в. (Auf. I, 27), Ю. Шмидтъ. болѣе чѣмъ что-либо другое обнаруживаютъ, какъ глубоко Гумбольдтъ сидѣлъ въ воззрѣнїяхъ Канта. Достаточно упомянуть, на примѣръ, кромѣ приведеннаго разсужденїа о понятїи, чисто Кантовское рѣшенїе антиномїи между свободой и механизмомъ природы I, 191.

зости и беспощадности этой діалектики, которая только тѣмъ держалась, что уничтожала всякую другую душевную дѣятельность, содѣйствующую уясненію истины? Ничто не могло такъ претить всей его натурѣ, какъ эта самонадѣянная попытка создать путемъ одного умствования цѣлую систему, исчерпывающее и полное построение всего сущаго на небѣ и землѣ. Онъ не находилъ здѣсь ни тонкости, ни свободы духа не находилъ всего того, что внушало ему такое высокое уваженіе къ философіи Канта. Вдобавокъ и форма, въ которой Гегель излагалъ свои мысли, была груба, лишена изящества, беспомощна. Въ его языкѣ отражалась насильственность его интеллектуальныхъ приемовъ. «Его языкъ какъ будто-бы еще не сложился», говоритъ Гумбольдтъ ¹⁾; даже тамъ, гдѣ онъ говоритъ о совершенно обыкновенныхъ предметахъ, онъ далекъ отъ легкости и благородства. Къ тому-же Гумбольдту — по одному поводу, очень близко его касавшемуся пришлось испытать, какъ безцеремонно апіоризмъ этой философіи всюду забирается, и какъ онъ со своими однообразными конструктивными приемами расправляется съ вещами. Гегель помѣстилъ въ *Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik* большую рецензію на сочиненіе Гумбольдта о Баагавадъ-Гита, въ которой обнаружилъ болѣе философской смѣлости, нежели исторической осмотрительности. Съ такими приемами Гумбольдтъ ни въ какомъ случаѣ не могъ согласиться; еще менѣе могъ онъ помириться съ внѣшними проявленіями новаго ученія, слишкомъ походившими на всеобщемлющій деспотизмъ его діалектики. Дѣло обстояло такъ, какъ писалъ Генцу Гумбольдтъ; абсолютный идеализмъ искалъ прозелитовъ, искалъ ихъ намѣренно. Для тѣхъ же цѣлей пропаганды возникли и *Jahrbücher*; поэтому-то Гумбольдтъ вступилъ въ члены общества, издававшего ихъ, поэтому же онъ напоминалъ о болѣе благородномъ образѣ Канта: ибо Кантъ, такъ говоритъ онъ въ посвященномъ Канту похвальномъ словѣ «Предисловія», училъ не столько философіи, сколько философствованію, — не столько сообщалъ результаты своихъ изслѣдованій, сколько побуждалъ къ самостоятельному изслѣдованію.

Въ статьяхъ о Шиллерѣ о Гёте чувства Гумбольдта участвовали болѣе, нежели его умъ. Чтеніе Гётевскаго «Путешествія по Италіи» воскресило въ его душѣ все, что онъ самъ переживалъ и пережилъ во время своего пребыванія въ Римѣ. Изданіе Гётевской переписки съ Шиллеромъ еще живѣе перенесло его въ эпоху жизни во многихъ отношеніяхъ еще болѣе интересную. Появленіе писемъ Шиллера и Гёте, въ которыхъ эта эпоха какъ-бы сама себя рисуетъ, доставили ему по этой причинѣ безграничное удовольствіе. Неохотно приступилъ онъ, правда, послѣ того къ приготовленію къ печати

1) Письмо къ Генцу отъ 1 марта 1828 г., въ Соч. Генца V, 299—299.

также и своей переписки съ Шиллеромъ; только данное наслѣдникамъ послѣдняго общаніе могло его на то подвинуть. Онъ былъ вообще противъ печатаніе писемъ и для него невысказано было поступить такъ, какъ поступили по отношенію къ Гёте. Онъ считалъ нужнымъ просмотрѣть всю переписку и устранить все, что имѣло исключительно интересъ минуты; въ полномъ своемъ объемѣ должны были явиться только идеи и разсужденія. Эта работа, сократившая изданіе на половину, заняла нѣсколько мѣсяцевъ, и то, что было ему въ началѣ тягостно, стало для него вскорѣ источникомъ наслажденія. Чѣмъ менѣе онъ былъ теперь расположенъ къ обществу людей и разговору, тѣмъ болѣе кстаті явились для него посѣщеніе усопшаго друга и воспоминаніе о проведенныхъ въ бесѣдѣ съ нихъ ночахъ. Съ какимъ захватывающимъ интересомъ читалъ и перечитывалъ онъ теперь письма Шиллера! Какъ трогала его выражающаяся въ этихъ письмахъ нѣжная привязанность къ нему друга! Снова почувствовалъ онъ какое рѣшающее вліяніе на все его существованіе имѣла эта эпоха. Уединеніе, въ которомъ онъ теперь замкнулся, было самымъ подходящимъ условіемъ для такой работы; та даль, въ которой выступалъ передъ нимъ образъ друга, была наиболѣе благоприятна для пониманія и изображенія его. И потому-то ему и удалось теперь то, для чего ему 20 лѣтъ тому назадъ, когда его побуждалъ къ тому Кёрнеръ, недоставало мужества. Шиллера можно спасти, какъ онъ высказался когда-то, только показавъ его съ безстрашною правдивостью во всей идеальности его натуры, во всемъ его неоспоримомъ величій. Такъ изобразилъ онъ его въ своемъ «Предисловіи». Ничего прекраснѣе этого предисловія и связанной съ нимъ статьи о Гёте онъ не написалъ. Только въ своемъ уединеніи, говорить его братъ, могъ онъ написать такое «Предисловіе»; и самъ онъ раздѣлялъ мнѣніе брата. Вотъ что онъ пишетъ свояченицѣ поэта, занятой въ тоже самое время изложеніемъ своихъ воспоминаній о немъ: «настроеніе, приводящее меня къ уединенію, невыразимая грусть, затѣмъ тишина и спокойствіе вокругъ удивительнымъ образомъ раскрываютъ мою душу; то, что при такихъ условіяхъ выходитъ наружу, должно по крайней мѣрѣ носить отпечатокъ глубокой, внутренней правды» ¹⁾.

Воспоминаніе о прожитомъ съ Шиллеромъ времени тѣсно связывалось у него и съ другими воспоминаніями. Гумбольдтъ писалъ свое предисловіе къ перепискѣ какъ разъ въ тѣ мѣсяцы, которые онъ ровно годъ тому назадъ проводилъ между страхомъ и надеждой у одра болѣзни своей Ли. Она собственно ввела его въ Шиллеровскій

¹⁾ 27 Окт. 1830. Nachlass II, 58. Ср. кромѣ того относительно изданія переписки, тамъ же стр. 55 и письмо къ Шарлоттѣ отъ 2 авг. 1832 г. Br. an eine Freundin II, 174.

кругъ, и ея образъ выступалъ теперь передъ нимъ во всѣхъ воспоминаніяхъ; этого образа искала, на немъ сосредоточивалась вся его душа, заниматься, жить мысленно съ нею—къ этому сводилась вся сумма его желаній. Какъ прежде о живой, такъ заботился онъ теперь объ умершей. Она пожелала быть погребенной въ саду, въ Тегель, и указала даже мѣсто, гдѣ желала-бы лежать, — тамъ гдѣ среди группы сосенъ стоитъ одинокій дубъ, и откуда «виденъ домъ». Тутъ онъ ее и похоронилъ. Вскорѣ появилась рядомъ съ нею на высокомъ постаментѣ легкая гранитная колонна, на нее поставлена была статуя надежды, работу Торвальдсена, которую она сама много лѣтъ тому назадъ въ Римѣ заказала художнику; колонну окружала желѣзная рѣшетка. Въ то время какъ онъ былъ занятъ этими работами и насажденіями вокругъ могилы, онъ получилъ хорошій портретъ усопшей, сдѣланный рукою другого художника. Вахъ попытался нарисовать ее по памяти, и работа ему удивительно удалась. Но еще болѣе прекрасное и живое воспоминаніе заключалось въ сохранившейся почти цѣликомъ перепискѣ его съ нею. Эти письма восходили ко времени, предшествовавшему ихъ браку, и ея письма лучше всего другого обрисовывали особенности ея натуры, ея внутреннее развитіе, ея отношеніе къ нему. Они составляли для него какъ-бы реликвию святой. Онъ читалъ и перечитывалъ ихъ; онъ разобралъ ихъ— сначала по годамъ, потомъ по числамъ. Ежедневно во всѣ годы, которые ему пришлось прожить одному, возвращался онъ въ ранніе утренніе часы къ этому занятію, и это были самые счастливые для него часы, и то, что воспринимала при этомъ его душа,—воспоминаніе о прошломъ и безконечная тоска по безвозвратно потеряному,—сопровождало его втеченіе всего дня, который заканчивался посѣщеніемъ ея могилы. Ощущеніе близости ея не покидало его и тогда, когда онъ засиживался до поздней ночи за работой. Это ощущеніе возносило его въ ту самую область, къ которой стремились его мысли и занятія, а послѣднія, съ своей стороны, шли навстрѣчу воспоминанію о ней. Въ этомъ одномъ заключалось для него все. Его научная дѣятельность сдѣлалась теперь и въ другомъ отношеніи всегда и всюду пригоднымъ «орудіемъ». Къ этой дѣятельности примыкали, по его собственнымъ словамъ, и всѣ воспоминанія о тѣхъ, которые украсили его жизнь въ прошломъ. А его воспоминанія точно также охотно становились «орудіемъ» для его мыслей и работъ. Они поднимали его надъ земною юдолюю въ «болѣе чистую жизнь—въ сферу, гдѣ дышется свободнѣе». Ибо «миръ моей души», признается онъ,—«всякое тайное и сладостное ощущение, всякая ободряющая и возвышающая мысль о прошломъ или будущемъ,—все это отъ нея и будетъ отъ нея до конца моихъ дней» ¹⁾.

¹⁾ Относительно писемъ его жены ср. письмо къ К. Вольцогенъ цит.

Для душевнаго склада съ такимъ отношеніемъ къ вѣшнему міру и съ такимъ внутреннимъ настроеніемъ существовала очевидно только одна совершенно подходящая форма — поэтическая. Гумбольдтъ и прежде нѣ разъ обращался къ поэтическому творчеству, и именно въ самыя счастливыя минуты своей жизни, когда онъ наиболѣе полно ощущалъ гармонію своего существа. Эта гармонія никогда не была полнѣе, его внутреннее счастье никогда не было прочнѣе, какъ теперь, когда онъ жилъ въ стихіи печали. Его поэтическіе спыты никогда не были порывами мощной и живой фантазіи или напряженной страсти; они тихо и незамѣтно расцвѣтали на почвѣ нѣжнаго ощущенія. Для такой поэтической потребности возрастъ не могъ имѣть никакого значенія, — напротивъ, поэтическая сила возрастала въ немъ постоянно по мѣрѣ приближенія къ смерти. Ядро его поэтическихъ произведеній составляли всегда идеи, — и только созданиемъ идей, смѣной мыслей и чувствъ заняты были теперь всѣ его жизненныя силы. Постоянный недостатокъ его поэтическихъ произведеній заключался въ томъ, что онъ не умѣлъ вносить въ нихъ матеріалъ, почерпнутый изъ жизни и дѣйствительности; теперь эта жизнь и дѣйствительность, превращенныя въ прошлое, утратили свою неподвижность; идеализирующее воспоминаніе шло теперь навстрѣчу поэтической фантазіи. И наконецъ муза всего охотнѣе посѣщаетъ любящихъ; какъ много юношей, которымъ удавался первый гимнъ къ возлюбленной и никогда ничего болѣе! А существовалъ-ли гдѣ-либо любовникъ, любившій болѣе глубоко и искренно? Что значилъ весь пылъ первой юношейской любви въ сравненіи съ глубокой чувствза, съ какою Гумбольдтъ за предѣлами смерти оставался вѣренъ тѣи, которая составляла счастье его жизни?

Поэтому изъ всего и среди всего, что онъ дѣлалъ и думалъ, что въ немъ происходило и его окружало, всходилъ безконечный поствъ поэзіи. Согласно его собственному прекрасному сравненію, какъ лебеди, которые только передъ лицомъ смерти «раскрываютъ сокровище своей души» и изливаютъ въ своей пѣснѣ «только то зрѣлое, что накоплено жизнью», такъ и онъ собралъ теперь и только теперь въ безчисленныхъ пѣсняхъ всѣ образы, идеи и воспоминанія, которые хранилъ въ себѣ втеченіе всей своей долгой жизни. Каждый день приносилъ съ собою сонетъ. Незванные посѣщаютъ его безпрестанно «звуки пѣсней»; подобно снамъ, соединяемымъ фантазіей, нанизываются сама собой рѣмы; онъ пишетъ стихи, потому что не можетъ не писать ихъ. Что неволью изливается изъ сердца и при возникновеніи едва отъ него отдѣляется, — тому, конечно, предназначено только находить отголосокъ въ собственномъ ощущеніи. Онъ

поеть, говорить сами сонеты, не для далекаго будущаго; онъ одинъ только въ состояннн разгадать смыслъ, часто глубоко скрытый въ словахъ его пѣсни. Можетъ, быть, впрочемъ, дружеская симпатя и спасеть небольшое ихъ число — воспоминанiе для тѣхъ, которые требують отъ него звуковъ. Тогда:

Wie Stimme aus dem Grabe wird erschallen
Bald diese leichtgeschlungne Liederkette
In Tageseil' geborener Sonette,
Verborgen den vor mir Entschlafnen allen ¹⁾.

Глубочайшею тайной окружалъ онъ поэтому все свое поэтическое творчество, относящееся исключительно только къ промежутку времени между исходомъ 1831 года и короткимъ временемъ, предшествовавшимъ его смерти. По памяти диктовалъ онъ иногда сложившиеся втеченiе дня сонеты своему довѣренному секретарю позднюю ночью. Каждая сотня выдѣлялась и подвергалась поверхностной корректурѣ; только послѣ его смерти переданъ былъ этимъ довѣреннымъ лицомъ его роднымъ ящичекъ, въ которомъ они хранились. Рѣшено было подѣлиться и съ публикой найденнымъ сокровищемъ. Александру Гумбольдту обязаны мы появленiемъ части — болѣе 450 — этихъ замѣчательныхъ стихотворенiй. ²⁾

Гумбольдтъ упоминаетъ въ одномъ мѣстѣ, что онъ нѣсколько разъ, почти съ самаго дѣтства принимался вести дневникъ и всегда послѣ нѣ котораго времени сжигалъ написанное. Въ его сонетахъ мы по справедливости можемъ видѣть ничто другое, какъ послѣднiй, поэтической дневникъ; это пониманiе ихъ даетъ намъ единственное вѣрное мѣрило для сужденiя о нихъ. Они раздѣляютъ судьбу Милтоновскихъ сонетовъ: ихъ поэтическое достоинство неотдѣлимо отъ ихъ отношенiя къ личности поэта. Въ нихъ врядъ-ли найдется хоть одно, которое, рассматриваемое съ исключительно эстетической точки зрѣнiя, производило-бы полное поэтическое впечатлѣнiе, но въ то же время врядъ-ли найдется хоть одно, которое не затрогивало-бы въ человѣческомъ сердцѣ какихъ-нибудь струнъ. Что при критическомъ обзорѣ прежде всего бросается въ глаза, это — просодическiя и лексическiя шероховатости, вдвойнѣ замѣтныя при стихотворной формѣ, предназначенной подкупать насъ благозвучiемъ языка и звучностью риѣмы. Но сами сонеты просятъ о снисхожденiи и мы должны при-

¹⁾ Т. е.: „Подобно голосу изъ могилы зазвучитъ вскорѣ эта легко связанная цѣпь созданныхъ въ дневной суетѣ сонетовъ, — скрытая для всѣхъ отошедшихъ раньше меня“.

²⁾ Въ полномъ собр. соч., въ которыхъ они въ качествѣ поэтическаго прибавленiя приложены въ концѣ cadaго тома, ихъ нѣсколько меньше. Они были позднѣ собраны и пополнены и съ предисловiемъ брата напечатаны въ Берлинѣ въ 1853 г. Ср. это предисл. также какъ и предисл. къ 1-й т. Полн. собр. соч.

нять ихъ извиненіе, Прекрасно безъ сомнѣнія—говорится въ нихъ—если мысль и форма сами собою стремятся слиться, но это дано только истинному художнику, добиться этого трудомъ невозможно. Стихъ не долженъ быть Прокрустовымъ ложемъ для ощущеній и мыслей, они должны быть заключены въ легкія границы: смыслъ долженъ примирять со звукомъ. Однако: развѣ менѣ стѣснительный размѣръ не могъ-бы скорѣе привести къ нѣкоторой законченности? Почему въ противность серьезной и глубокой цѣли поэта избрана была именно эта самодовольно-кокетливая форма и избрана исключительно только одна она? Поясняющій отвѣтъ можетъ дать только особенность Гумбольдтовой натуры, также какъ характеръ и степень его поэтическаго дарованія. Пристрастіе къ этой всецѣло романтической формѣ было несомнѣнно навѣяно изученіемъ итальянцевъ. Но привлекало и удерживало его при этомъ то самое, что сдѣлало его при переводѣ стиховъ Эсхила ригористомъ: съ одной стороны—уваженіе къ правилу и потребность въ гнетѣ, а съ другой—чувственное наслажденіе музыкой языка. Онъ избралъ на этотъ разъ болѣе мягкую форму, потому что все въ немъ стало мягче и музыкальнѣе. Онъ избралъ самую трудную и стѣснительную форму подъ вліяніемъ сознанія, что онъ нуждается во внѣшней опорѣ для того, чтобы характеръ его материала и недостаточный полетъ его фантазіи не увлекли его въ область прозы. То же самое относится не только къ выбору сонетной формы, но и къ обращенію съ нею. То и другое указываетъ на ту промежуточную грань между поэзіей и прозой, на которой онъ стоялъ, колеблясь то въ ту, то въ другую сторону. Между его сонетами встрѣчаются такіе, которые такъ и хочется переложить въ прозу, чтобы лучше насладиться ими. И въ тоже время уже въ его «Опытѣ о предѣлахъ государственной дѣятельности», также какъ и позднѣе въ «Введеніи къ языку Кави, встрѣчаются мѣста, которыя только выиграли-бы, если-бы внести въ нихъ размѣръ и риму. Онъ не претендовалъ на названіе поэта, но былъ тѣмъ не менѣ поэтическою натурой. Онъ живетъ, онъ существуетъ тѣмъ матеріаломъ, изъ котораго поэты творятъ; его лучшее стихотвореніе, непередаваемое цѣлою тысячею сонетъ, это его индивидуальность въ цѣломъ. Александръ Гумбольдтъ несомнѣнно правъ: кто читаетъ сонеты въ отдѣльности,—того неприятно поражаютъ недостатки формы въ каждомъ отдѣльномъ стихотвореніи; но тотъ, кто читаетъ ихъ сплошь, цѣликомъ, кто ихъ читаетъ и перечитываетъ, невольно забываетъ объ этихъ недостаткахъ и привязывается къ благородному и высокому характеру поэта, лежащему въ основѣ всѣхъ стихотвореній,—онъ имѣетъ дѣло не съ сонетами, а видитъ передъ собою одно лишь неисчерпаемое творчество и душу, преломляющуюся въ безчисленныхъ лучахъ, непрерывно волнуемую тихимъ прибоемъ ощущеній.

Однако избранная Гумбольдтомъ форма представляла все же одно преимущество. Мы знаемъ, какъ склоненъ онъ былъ расплываться въ ширину—въ прозѣ, также какъ и въ поэзіи. То же самое—только въ другой формѣ—мы усматриваемъ въ этомъ ежедневномъ поэтическомъ творествѣ, въ этомъ безконечномъ повтореніи одной и той же монотонной формы. Онъ никогда не кончаетъ, никогда не высказывается во всей полнотѣ; онъ пишетъ сегодня то, что писалъ вчера; онъ возвращается постоянно къ тѣмъ же самымъ темамъ, въ кругъ тѣхъ-же самыхъ рѣмъ. Но это только въ цѣломъ. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сжатая и замкнутая форма принуждаетъ его къ законченности и къ объединенію содержанія. Картина должна войти въ готовыя рамки,—и это ему удается. Почти всегда съ послѣднею рѣмой завершается также и мысль или ощущеніе. Съ одинаковымъ правомъ можно сказать какъ то, что каждый изъ этихъ сонетовъ находится въ общей связи съ другими, такъ и то, что каждый изъ нихъ представляетъ замкнутое цѣлое.

Внутренній характеръ этой сонетной формы не отличается такою же опредѣленностью, какъ внѣшній. Она наиболѣе подходитъ для того, что можно бы назвать эпиграмматическою лирикой,—для выраженія ощущеній, которыя связаны съ какимъ-нибудь единичнымъ предметомъ, вынуждающимъ ихъ вылиться въ опредѣленную картину; этого же, съ другой стороны, требуютъ число строфъ и законъ созвучія рѣмъ. И эпиграмматическій характеръ является дѣйствительно преобладающимъ въ этомъ собраніи сонетовъ. Большинство стихотвореницъ представляютъ собою музыкальныя эпиграммы—не эпиграммы во вкусъ Марціала и Лессинга, а въ духъ греческой антологіи или Гётевскихъ венеціанскихъ эпиграммъ. Въ высшей степени рззородны предметы, служащіе поводомъ или руководящею нитью для поэтическихъ проявленій. Самымъ обширнымъ источникомъ является внѣшняя природа; небеса, море, облака, звѣзды, деревья и цвѣты,—все это складывается въ образы. Рѣмы сонета обвиваютъ или украшаютъ то картину, то статую,—цѣлое поэтическое произведеніе или отдѣльную поэтическую фигуру. Субъективная связь заложена часто уже въ самомъ предметѣ. Мы вступаемъ съ поэтомъ въ темную кипарисовую аллею, ведущую къ могилѣ дорогой усопшей, или приближаемся къ шумящему дубу его двора. Озеро съ плавающими по немъ лебедями, колонна, на которой возвышается статуя надежды, его домъ, его будущая могила, его трость, его халатъ: все это навѣваетъ на него поэтическія думы. Мелкія событія его интимной жизни, прогулка вечернею зарей или сонъ, вызвавшій навѣки усопшую на мгновеніе въ міръ живыхъ, становятся сонетами. Ему доставляютъ для нихъ матеріалъ и его путешествія, и его одинокія размышленія, и чтеніе, и научныя занятія. Снова переживаетъ онъ весь кругъ своихъ идей, а съ ними выступаютъ его любимыя образы и воспоминанія. Рядомъ съ

образами греческой миеологии возстают сцены индійской жизни; рядомъ съ тайной искусства—чудо языка; равнины Эрфурта и горы Тюрингии, окрестности Альбано и могилы его дѣтей въ Римѣ. Также разнообразенъ и эпиграмматическій характеръ, какой онъ придаетъ этимъ предметамъ. Иногда стихотвореніе представляетъ только простое изложеніе сюжета: это поэтическія надписи, безпретенціозно сопровождающія картину; иногда же лирическое ощущеніе отодвигаетъ на задній планъ самый сюжетъ. Но чаще всего онъ пользуется предметомъ или картиной только для того, чтобъ представить какую-нибудь глубже лежащую идейную связь. Уже одно это обстоятельство, самый перевѣсъ серьезнаго размышленія, насилуетъ естественное и ближайшее назначеніе сонета. Двустипшіе или неріемованные ямы антологій кажутся намъ перѣдко болѣе подходящими. Но между этими стихотвореніями встрѣчаются такія, которыя не носятъ ни лирическаго, ни эпиграмматическаго характера. Обычная форма становится причудой, когда она употребляется тамъ, гдѣ намъ рассказывается басня или легенда; она представляется по меньшей мѣрѣ странною въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя по своему тону и содержанію подражаютъ характеру греческой, индійской или какой-либо другой восточной поэзіи.

Какъ-бы то ни было, сонеты Гумбольдта вмѣстѣ съ его «Briefe an eine Freundin» представляются такими памятниками его духа, которые наиболѣе способствовали знакомству съ нимъ нынѣшняго поколѣнія; они внушили глубокое уваженіе и симпатію даже и такимъ людямъ, которымъ его научные философскіе труды по своему характеру недоступны. Первые стали молитвенникомъ мірянина, вторые—назидательнымъ чтеніемъ для женщинъ. Это собственно листки изъ дневника и монологи. Благодаря содержащемуся въ тѣхъ и другихъ самоизображенію, авторъ ихъ, въ общемъ болѣе нежели кто-либо другой замыкавшійся отъ людей, страннымъ образомъ сталъ послѣ своей смерти имъ болѣе извѣстенъ, чѣмъ даже Св. Августинъ или Руссо, чѣмъ всѣ тѣ, которые охотно открывали міру свою душу. И намъ эти страницы даютъ возможность окинуть еще разъ взглядомъ всю его личность въ цѣломъ. Эти наиболѣе достовѣрныя изъ всѣхъ признаній даютъ намъ руководящую нить для уразумѣнія позднѣйшей стадіи его развитія въ связи со всѣми предшествовавшими.

Часто повторяются слова Рахили Варнагенъ, что Гумбольдтъ «стоялъ внѣ возраста». Постоянно увѣряетъ онъ и самъ своихъ друзей и пріятельницъ, что онъ все тотъ-же, и въ одномъ изъ своихъ стихотвореній говоритъ, какъ объ особенномъ счастіи, что оставался всю жизнь вѣренъ своей молодости, что всегда неизмѣнно слѣдовалъ одному направленію. Стремленіе магнитной стрѣлки къ сѣверу и движеніе звѣздъ не могутъ быть болѣе надежными, чѣмъ вѣрность его души и прочность его чувствъ. Онъ хранитъ въ себѣ втѣченіе всей

своей жизни цѣлое сокровище любви; никого изъ тѣхъ, кто былъ ему когда-либо близокъ, не въ состояніи онъ забыть или отвергнуть; его дружба кончается только со смертію— да и тогда еще не кончается. Что пустило разъ корни въ его сердцѣ, глубоко и вѣрно, то никогда не пропадаетъ, а пускаетъ все новые ростки. И какимъ онъ является по отношенію къ другимъ, таковъ онъ и по отношенію къ самому себѣ. Онъ съ ранней юности установилъ планъ и принципы своей жизни и никогда, несмотря на различныя вѣшнія отклоненія, не отрекался отъ него внутренно. Жизнь не представляла для него только незаконченный рядъ слѣдующихъ другъ за другомъ идей и часовъ,—онъ видѣлъ въ ней нѣчто цѣлое, работу, которую должно выполнить,—«актъ, который долженъ быть хорошо веденъ и хорошо законченъ». Поэтому все, что когда-либо начинается, продолжается у него до конца. Все, что общается въ планъ, приводится на протяженіи времени въ исполненіе. Тотъ-же самый необходимый, неподкупный для почестей и успѣховъ индивидуализмъ проявляется въ признаніяхъ его старости, какъ и его юности. Сотни разъ повторяетъ онъ до конца жизни старое свое мнѣніе о несравненномъ значеніи идей. Еще юношей съумѣлъ онъ стать на свободную точку зрѣнія между скудоуміемъ просвѣтителей и тоскливостью мистиковъ; онъ увлекается затѣмъ родственнымъ ему по духу современнымъ теченіемъ, философіей въ одно и то-же время кроткой и возвышенной, гуманизмомъ древнихъ, идеаломъ красоты поэтовъ; исполненный этимъ духовнымъ богатствомъ идетъ онъ своею дорогою до конца; онъ сохраняетъ свою свободу какъ по отношенію къ новой схоластикѣ, такъ и по отношенію къ новому мистицизму: его духовный складъ остается неизмѣнно здоровымъ, занимая среднее положеніе между двумя крайностями: «трезвеннымъ и сухимъ» съ одной стороны, «мечтательнымъ и пустымъ (Wesenlose)»—съ другой. Въ этомъ и заключается та духовная діета, которая сохраняетъ его молодымъ и не даетъ ему состарѣться. Старость обыкновенно ворчлива и несправедлива, эгоистична и упряма;—надъ старостью же Гумбольдта неизмѣнно покоится дуновение юности и твердое мужество зрѣлости. Онъ не находитъ, чтобы люди и времена, при которыхъ онъ былъ молодъ, были лучше современныхъ. Какъ ни дорого ему прошлое, онъ все же не *laudator temporis acti*; онъ яснымъ окомъ видитъ, что новое поколѣніе, благодаря пройденной имъ школѣ страданій и жертвъ, серьезнѣе и нравственнѣе стараго. Онъ, правда, боится теперь непосредственнаго соприкосновенія съ людьми, но при всемъ томъ его любовь къ нимъ, его участіе и готовность быть полезнымъ еще возросли. Правда, онъ отрѣшился отъ земли, его взглядъ витаетъ въ болѣе высокой сферѣ,—но тѣмъ не менѣе до послѣдняго вздоха остается вѣрнымъ стремленію «вліять на все окружающее съ любовью и согласно долгу» или, какъ онъ выразился разъ, «стремле-

ніе, направленное на жизнь,—желаніе округлить жизнь и сдѣлать изъ нея внутренне объединенное цѣлое».

Слова Гахили вдвойнѣ справедливы: Гумбольдтъ не старѣлся, потому что онъ во многихъ отношеніяхъ никогда не былъ молодъ. Если онъ въ одномъ мѣстѣ хвалится тѣмъ, что не утратилъ живости, то за то онъ не разъ сознается, что извѣстный родъ живости никогда не былъ ему свойственъ. Уже въ Пирмонтѣ его пріятельница находила въ немъ—двадцатилѣтнемъ юношѣ—то «ясное спокойствіе» (heitere Ruhe), которымъ дышатъ письма шестидесяти лѣтняго старика. Сильныя желанія и страстныя проявленія были ему, по его собственнымъ словамъ, всегда чужды; очень возможно, прибавляетъ онъ, что это зависитъ отъ «недостатка огня», въ которомъ человѣкъ нуждается во многихъ наиболее важныхъ и серьезныхъ случаяхъ жизни. Такъ оно и было. То эстетическое пониманіе, къ которому нѣмецкая литература пришла сквозь бурю и натискъ страсти, было дано ему въ удѣлъ отъ рожденія: даръ, способствующій болѣе счастью, чѣмъ величію. Если онъ превозноситъ «ясное спокойствіе» какъ основу счастливой жизни, то хотя онъ и называетъ это речершимъ возвращеніемъ на жизнь, но это возвращеніе тѣмъ не менѣе было ему всегда сродно и выросло естественнымъ образомъ изъ его темперамента. Наиболее часто встрѣчающійся въ его письмахъ и сонетахъ мотивъ—это прославленіе могущества воли. Онъ хвалится тѣмъ, что постоянно и непрерывно укрѣплялъ ее, для того чтобы усвоить себѣ мужество и терпѣніе. Онъ рассказываетъ, какъ онъ съ ранней юности приучилъ себя быть строгимъ къ себѣ самому. Онъ началъ, говоритъ онъ, съ того, что сталъ изучать себя и владѣть собою; никто не видитъ себя яснѣе, не управляетъ собою полнѣе: можно-бы думать, что въ немъ олицетворяется вся строгость Кантова морализма. На самомъ-же дѣлѣ, если мы при этомъ и вспоминаемъ практической разумъ Канта, то еще болѣе вспоминаемъ этику Аристотеля. Дѣло въ томъ, что для того, чтобы не владѣть собою, чтобы не насиловать себя, Гумбольдтъ долженъ бы насильственно противодействовать своей природѣ. Эти ригористическія максимы, это самообладаніе покоятся всецѣло на почвѣ естественныхъ склонностей. «Мое спокойствіе», говоритъ онъ, «отнюдь не заслуга, это только счастливое преимущество моего темперамента». «Мое терпѣніе», говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, «не требовало съ моей стороны никакого усилія, оно было мнѣ какъ-бы приращено». Онъ никогда не раздражается, онъ рѣдко не въ духѣ. Онъ одаренъ талантомъ быть счастливымъ, онъ рожденъ для того, чтобы быть добродѣтельнымъ.

При такомъ совпаденіи естественныхъ склонностей и принципиальныхъ усилій старость несомнѣнно должна быть завершающимъ въ нравственномъ смыслѣ періодомъ жизни. Не существуетъ освѣ-

щенія болѣе благопріятнаго для такого характера, какъ вечерній свѣтъ. И обладай онъ волшебною силой, которая могла бы поставить его въ возможность провести остатокъ своей жизни въ юношеской силѣ и свѣжести, онъ не воспользовался-бы этой силой. И онъ былъ-бы правъ, — ибо именно подѣ старости, какъ этого и требуетъ Аристотель, добродѣтель, выросшая на природной основѣ, сопровождается самымъ яснымъ разумѣніемъ и путемъ привычки и упражненія пріобрѣтаетъ твердость и стойкость. Въ немъ всегда было болѣе чертъ Нестора, чѣмъ Ахилла. Только теперь, выбравшись изъ жизненнаго течения на берегъ, является онъ тѣмъ, что онъ есть. Только такое уединеніе и такой свободно избранный родъ занятій вводитъ подобное воззрѣніе на жизнь и такого рода нравственное стремленіе въ соответствующую имъ среду — среду идей и созерцанія. Совсѣмъ не то было въ среднемъ періодѣ его жизни. Только его поразительная духовная сила дала ему возможность удовлетворять одновременно требованіямъ дѣйствительности и своему внутреннему идеалу. Въ «Письмахъ къ другу» мы находимъ по этому поводу замѣчательныя признанія и объясненія. Его жизнь была двойною жизнью, его личность — двойственною личностью. Его внѣшнія и внутреннія дѣйствія представляли двѣ параллельныя линіи. «Можно», какъ онъ говоритъ, «почти цѣлый день продолжать вести совершенно внутреннюю жизнь, не теряя и не нарушая при этомъ ничего своихъ работахъ или профессіи». Онъ усвоилъ себѣ привычку, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, что ни внѣшняя дѣятельность, какова-бы она ни была, ни сношенія съ людьми, не мѣшаютъ и не прерываютъ того, что происходитъ въ его душѣ, и даже часто, въ то время, какъ онъ ведетъ продолжительный разговоръ, его внутренній рядъ мыслей продолжаетъ развиваться вдали отъ предмета разговора, и при этомъ онъ не обнаруживаетъ ни малѣйшей разсѣянности. Такая раздвоенность придала ему тотъ демоническій характеръ, который многимъ бросался въ глаза прежде всего другого и внушалъ страхъ. Такъ долженъ былъ быть организованъ человекъ, который занимался политическою дѣятельностью такъ, какъ Сократъ, — въ то время когда онъ сидѣлъ среди притановъ или исполнялъ воинскую службу. Эту же двойственностью объясняются, можетъ быть, и нѣкоторыя черты яркой чувственности, которая такъ трудно согласить съ такою высокою духовностью. Чтобы понять это, нужно вспомнить Сократа съ его фигурой сатира, нужно вспомнить, какъ странно искажена была также и въ школахъ Аристиппа и Антисѣена Сократова добродѣтель. Въ особенности надо вспомнить при этомъ рѣчь Діогены изъ Мантинеи объ Эросѣ, который, начиная съ чувственно прекраснаго, послѣдовательно возвышается до сверхчувственнаго и до чистой красоты. Очевидно въ глубинахъ Гумбольдтовой индивидуальности его отдѣленные другъ

отъ друга и рядомъ существующія истинная и не-истинная природы соединялись между собою при помощи эстетическаго ощущенія. Связанныя такимъ образомъ, обѣ стороны переходили одна въ другую, то погружая его въ настроеніе ироніи, то вызывая его на самый веселый юморъ. Удивительно, какъ мало такого рода настроенія отразились на писаніяхъ Гумбольдта. Тотъ, кто знаетъ только писателя, врядъ-ли въ состояніи представить его себѣ смѣющимся. Чаще всего встрѣчаемъ мы тонъ добродушной шутливости въ его письмахъ къ принцессѣ Луизѣ. Когда онъ описываетъ ей Вѣнскій конгрессъ, какъ кладезъ веселости, то это даетъ намъ нѣкоторое представленіе о томъ, какъ онъ въ веселомъ обществѣ, по выраженію Рахили, «сравнивалъ людей съ морскими кошками», или, по разсказу Варнгагена, повергалъ своихъ спутниковъ въ путешествіи изъ Франкфурта въ Парижъ въ самое смѣшливое настроеніе своими кощунственно-юмористическими парадоксами. Что касается причинъ такого рода выходокъ, то они вполне выясняются для насъ изъ его собственныхъ признаній. Въ томъ и состоитъ, говоритъ онъ, поэтическое направленіе жизни, чтобы стоять всегда выше вещей и событий и не поддаваться ихъ давленію; такимъ образомъ серьезное настроеніе разрѣшается шуткой, не исчезая однако-же въ ней, эти слова, высказанныя имъ Каролинѣ Вольцогенъ, составляетъ какъ-бы тему, которую онъ многократно разъясняетъ и развиваетъ въ письмахъ къ другой своей пріятельницѣ. Ему болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, свойственно «смотреть на жизнь какъ на зрѣлище». Даже и въ тѣхъ положеніяхъ, въ которыхъ ему приходилось играть наиболѣе дѣятельную роль, онъ испытывалъ всегда удовольствіе отъ одного наблюденія людей и событий въ ихъ развитіи. Всякая дѣйствительность вліяетъ на него черезъ посредство фантазіи; наслажденіе отъ ясно выраженнаго характера людей и вещей перевѣшиваетъ въ немъ ихъ непосредственное воздѣйствіе и отношеніе, въ которомъ они къ нему становятся. Первое его ощущеніе, когда съ нимъ случается что-либо непріятное, это желаніе смѣяться надъ самимъ собой—и далѣе въ томъ-же духѣ.

Этотъ методъ поэтическаго отношенія къ дѣйствительности перестаетъ теперь быть двусмысленнымъ и парадоксальнымъ. Имъ руководить только дипломатія дружбы, когда онъ увѣряетъ какого-нибудь Гентца, что не можетъ себѣ представить, чтобы они расходились съ нимъ въ воззрѣніяхъ, что онъ на самомъ дѣлѣ о всякомъ предметѣ имѣетъ два мнѣнія и т. п. Самое его положеніе избавляетъ его отънынѣ отъ всякой какъ мнимой, такъ и дѣйствительной софистики и фривольности. Природная склонность къ тому роду ироническаго игры съ дѣйствительностью, который разочарованности романтиковъ придавалъ отпечатокъ оригинальнаго міровоззрѣнія, исчезла съ того момента, когда онъ оказался занятъ и

окружень только тѣмъ, что само по себѣ стоитъ на поэтической и идеальной почвѣ. Поэтическій юморъ замѣтнымъ образомъ превратился въ серьезное поэтическое настроеніе. Окраска его идеализма стала чище съ тѣхъ поръ, какъ онъ освободился отъ непосредственнаго соприкосновенія съ дѣйствительностью и потемнѣла съ момента его незамѣнимой утраты. Неизгладимая скорбь, чувство безконечной грусти даютъ его существу послѣднее просвѣтлѣніе. Его постоянное настроеніе подобно тому, какое онъ пережилъ когда-то въ Римѣ послѣ смерти сына. Сквозь призму его внутренняго счастливаго настроенія просвѣчиваетъ горе—идеализированное, принявшее поэтическій характеръ. Со всею силой своихъ чувствъ держится онъ этого горя, живетъ въ немъ; онъ совершенно слился съ нимъ, онъ умѣетъ проникаться имъ до самой глубины: ибо и скорбь, говоритъ онъ; «обладаетъ великою очистительною силой и даже невыразимою прелестью, когда она, подобно плещу, обвивается вокругъ сердца; даже и тогда, когда она подтачиваетъ насъ, она имѣетъ свою собственную цвѣтущую жизнь». И эта мелодія грусти звучитъ въ цѣломъ рядѣ сонетовъ—то веселѣе, то печальнѣе, то торжественнѣе, то мягче.

Итакъ, даже скорбь становится источникомъ глубочайшаго удовлетворенія. Примиреніе существа съ тѣмъ, что составляетъ его гибель!—болѣе убѣдительнаго доказательства того, что Гумбольдтъ достигъ внутренней гармоніи не можетъ и существовать. Какъ его научныя занятія, его взгляды и убѣжденія, переходя одинъ въ другой, собираются вокругъ общаго центра, такъ все его существо объединяется въ совершенную гармонію. Какъ-бы смутно или неопредѣленно, идеализированно или восторженно это ни звучало—другой формулы для характеристики Гумбольдта не существуетъ. Та прекрасная человѣчность, которую поэты такъ усиленно стремились изобразить, то чистое и истинное перенесеніе всего эллинскаго въ современную дѣйствительность—въ Гумбольдтѣ оно воплотилось и стало живою дѣйствительностью. То, что въ различныхъ стадіяхъ развитія его жизни представлялось намъ какъ непрестанное и сознательное стремленіе, стало теперь фактомъ. Вспомнимъ замѣчаніе, высказанное имъ когда-то въ письмѣ къ Шиллеру: только при свободной дѣятельности или свободномъ наслажденіи стоитъ жить и по меньшей мѣрѣ противною является для него то міропониманіе, которое предписываетъ только работу безъ преобладанія наслажденія и видитъ цѣль ея въ удовлетвореніи потребностей. То-же самое воззрѣніе высказываетъ онъ и на склонѣ лѣтъ. Онъ неустанно повторяетъ, что втеченіе всей своей жизни свободно переходилъ отъ желанія къ его осуществленію и къ наслажденію въ обыкновенномъ, современномъ смыслѣ этого слова, и что для его чувства наиболѣе ненавистна «потребность» (Bedürfnis). Отсюда отклоненіе всякихъ утѣшеній со

стороны, отсюда мучительное состояніе, въ которое повергали его слишкомъ явно выступающая забота и уходъ другихъ за его физическимъ здоровьемъ. Отсюда-же и безразличное отношеніе къ счастью и несчастью, страданію и отсутствію его, этимъ объясняется и его равнодушіе къ благодарности и славѣ; онъ не рассчитываетъ на благодарность со стороны другихъ,—онъ самъ самый благодарный человѣкъ. Никто не чувствуетъ менѣе его въ чемъ-бы то ни было недостатка—и все-же рѣдко кто бываетъ въ такой степени внутренно доволенъ и счастливъ, какъ онъ; нельзя быть воспримчивѣе его ко всякой жизненной радости—и тѣмъ не менѣе невозможно равнодушнѣе относиться къ тому, что называется удовольствіемъ; онъ болѣе, чѣмъ кто либо, презираетъ счастье вообще—и въ то же время однако мало кто относится съ такимъ признательнымъ уваженіемъ къ тому счастью, которое является свободно, безъ стараній со стороны человѣка—того, какъ онъ говоритъ, «истинно чистаго счастья, которое боги посылаютъ намъ, безъ всякаго усилія съ нашей стороны». Такъ чувствовать способна только гармонически настроенная душа, только индивидуальность, родственная по духу и сущности греческой индивидуальности. Одно только необходимо имѣть при этомъ въ виду. Это и для грековъ характерное презрѣніе къ нуждѣ и къ труду направленному непосредственно на удовлетвореніе потребностей,—это идеалистическое, эстетико-этическое отношеніе къ условіямъ, какъ общественной, такъ и частной жизни, свое настоящее основаніе несомнѣнно имѣло въ духовномъ складѣ націи, но сохранилось оно и развивалось благодаря внѣшнимъ условіямъ: искусство, государство и философія грековъ покоились на почвѣ благосостоянія и свободы. Мнѣніе, подобное тому, какое высказано было Платономъ,—что наименьшая заслуга астрономіи и геометріи заключается въ подготовленіи мореплавателей и землеѣровъ,—художественная передача дѣйствительности, которая встрѣчается у Эсхила и въ другомъ видѣ у Аристофана,—все это было возможно только благодаря тому, что всѣ эти писатели были свободны отъ матеріальной нужды и отъ необходимости работать для поддержанія своего существованія. Какъ бы парадоксальнымъ это ни казалось, но на защитѣ рабства, столько разъ подзергавшейся осужденію, держится и съ нею падаетъ вся философія Аристотеля, и врядъ-ли бы насъ въ такой степени восхищали тѣ мѣста въ его метафизикѣ, въ которыхъ онъ восхваляетъ философію, какъ единственную свободную, достойную и божественную науку, если-бы вмѣстѣ съ ними намъ пришлось также принять и варварскіе аргументы его политики. Почти то-же самое относится и къ Гумбольдту, который болѣе нежели кто-либо другой былъ по духу сродни грекамъ. Только на почвѣ благополучнаго въ матеріальномъ смыслѣ существованія, только въ совершенно независимомъ положеніи могъ созрѣть въ немъ образъ мыслей, обла-

гороживавшій ви́шнюю независимость внутреннею и дѣлавшій «отсутствіе потребности» (Bedürfnisslosigkeit) обязанностью и принципомъ. Такое пренебреженіе къ обычнымъ потребностямъ можетъ развить въ себѣ только тотъ, кому легко доставить себѣ необходимое даже и въ избыткѣ. Такое радостное смиреніе по отношенію къ утратамъ и несчастію обыкновенно проявляетъ только тотъ, кто не привыкъ къ нуждѣ и не зналъ унижительныхъ ударовъ судьбы. Какъ его добродѣтель, такъ и его счастье несомнѣнно имѣли источникъ въ его душевной красотѣ, но это богатство и эта легкость ви́шняго существованія неразрывно связаны съ самымъ формированіемъ красоты. Не разъ вспоминается при этомъ описаніе связи между добродѣтелью и счастьемъ, которое даетъ Аристотель въ чисто греческомъ вкусѣ и съ полнымъ пониманіемъ греческаго духа и греческой жизни. И въ этомъ описаніи философское созерцаніе является кульминаціоннымъ пунктомъ и духа, и жизни. И тутъ добродѣтельный отличается прежде всего воздержностью и умѣренностью, за что окружающая среда должна увѣнчать его счастье всѣми благами жизни, матеріальнымъ благополучіемъ и симпатіей вѣрныхъ друзей.

Но отъ этихъ размышленій мы тѣмъ легче переходимъ къ внутренней жизни Гумбольдта, что его собственныя замѣчанія освѣщаютъ намъ почти исключительно послѣднее. Составляя комментарий къ этикѣ Аристотеля, она вмѣстѣ съ тѣмъ представляютъ нѣчто большее. Къ античному элементу присоединяется современная сознательность. Нравственная красота, составлявшая идеалъ аттической философіи, представляется углубленною этическими воззрѣніями Канта и Шиллера. Размышленіе, въ которомъ она кульминируетъ, носить тотъ одухотворенный характеръ, который такъ глубоко дѣйствуетъ на насъ въ этикѣ Спинозы. Ко всему этому присоединяется еще одна черта, которую можно было-бы назвать христіанскою, если-бы она не коренилась бы еще очевидно въ особенностяхъ нѣмецкаго душевнаго склада,—это та мягкость и сердечность, которая въ концѣ концовъ въ такой окраскѣ составляетъ особенность одного Гумбольдта. Мы могли-бы привести цѣлый рядъ мѣстъ, въ которыхъ Гумбольдтъ, явно примыкая къ классическимъ разсужденіямъ Шиллера, восхваляетъ «нравственно-прекрасный характеръ», — со всею силой прочувствованныхъ и проверенныхъ убѣжденій повторяетъ положенія, высказанныя имъ уже въ его статьяхъ въ «Noen» и даже равьше. Но вся та индивидуальная подкладка, изъ которой вытекаетъ его образъ дѣйствія, идеи, работы и поэзія, также какъ методъ и результаты его научныхъ работъ, выясняется для насъ окончательно только тогда, когда онъ, еще болѣе раскрывая передъ нами глубины своего внутреннего «я», онъ обнаруживаетъ самое строеніе своей души. Если только человѣкъ жилъ внутреннею жизнью, говорить онъ, онъ долженъ былъ составить себѣ духовное достояніе, состоящее изъ

убѣжденій, чувствъ, надеждъ, предвидѣнiя—и тогда ко всему этому кругу присоединяется свободно и ничѣмъ ему не мѣшая также и грусть. И далѣе описываетъ онъ эту идеальную атмосферу, въ которой душа можетъ жить въ тихой радости; онъ изображаетъ себя и гармонiю своей натуры, когда присовокупляетъ, что мысль сливается при этомъ во едино съ чувствомъ. «Это слiянiе», говоритъ онъ въ заключенiе, «содержитъ въ себѣ настоящее средство для истинно благотворнаго умиротворенiя. Мысль тернеть въ немъ свои холодъ, а чувство возносится на высоту, на которой обидное и одностороннее отношенiе къ собственной личности и къ настоящей минутѣ притупляется».

При такой гармонiи всѣхъ сторонъ его духа не могъ, конечно не пополниться также и послѣднiй пробѣлъ, который въ прежнее время наиболѣе, можетъ быть, нарушалъ гармонiю его существа. Онъ всегда отличался рѣзко выраженнымъ перевѣсомъ индивидуалистическихъ тенденцiй. Еще юношей онъ «индивидуальную силу» чтилъ болѣе, чѣмъ «общiй порядокъ»; его юношеская государственная теорiя отмѣчена этю-же индивидуалистическою односторонностию. И на склонѣ лѣтъ онъ, правда, продолжаетъ думать, что «конечная цѣль человѣческаго существованiя заключается въ индивидуумѣ». Но то обстоятельство, что ему пришлось попытать свои силы на практикѣ въ государственной и житейской сферѣ, заставляло его мало по малу отвести къ житейскомъ отношенiю больше мѣста этому «общему устройству», праву и значенiю цѣлаго. Еще сильнѣе и въ болѣе широкомъ смыслѣ научилъ его искать противовѣса этому индивидуализму покой его старости. Къ тому глубокому уваженiю, которымъ онъ проникся къ государству, какъ цѣлому, присоединяется теперь, возрастающая съ годами и одиночествомъ, любовь къ природѣ. Въ его письмахъ и стихотворенiяхъ ясно обнаруживается, какъ по мѣрѣ удаленiя отъ людей росла его близость съ природой. Вѣчныя звѣзды, подвижныя морскiя волны, переливы цвѣтовъ и образовъ въ облакахъ, прикрѣпленные къ земной поверхности и гнущiяся подъ влiянiемъ вѣтра деревья, правильное теченiе временъ года, образованiе изъ утра и вечера дня, изъ дней и ночей—года, вотъ что является символами его настроенiй, зеркаломъ его идей. Онъ живетъ съ природой, съ ея великимъ цѣлымъ, онъ углубляется въ ея жизнь,—подобно отшельникамъ въ лѣсахъ Ганга или затворникамъ на Монсератѣ. Въ самомъ дѣлѣ, его умъ сближается съ природой въ томъ же самомъ пунктѣ, въ которомъ вдумчивый умъ индусовъ воспринималъ впечатлѣнiе неба и земли. Онъ самъ высказывается о томъ, что для него значить природа. Какъ бы важенъ ни былъ человѣкъ для человѣка, говорятъ онъ, тѣмъ не менѣе мы, прежде чѣмъ обратиться къ человѣку, именно въ природѣ должны часто признать высшее правящее человѣчествомъ существо.

На этомъ чувствѣ преломляется и исправляется его индивидуализмъ. Все то, что оставалось въ немъ еще отъ фальшиваго и сентиментальнаго субъективизма, очищается этою преданностью природѣ. Укажемъ здѣсь на рядъ сонетовъ подъ названіемъ Леа. Не требуется особой проницательности, чтобы догадаться, что подъ этимъ именемъ скрывается Рахиль Варнгагенъ. Гумбольдтъ познакомился съ нею раньше, чѣмъ поступилъ въ геттингенскій университетъ. Впослѣдствіи она продолжительное время жила съ нимъ въ Парижѣ; позднѣе въ Берлинѣ они также часто и охотно сходились. И она всегда привлекала его прелестью своего характера, своею оригинальностью и своимъ живымъ, всѣхъ оживляющимъ разговорамъ. Онъ цѣнилъ ея умъ, онъ уважалъ ея часто парадоксальную и нерѣдко оскорбительную правдивость, отличавшую всѣ ея слова и поступки. И тѣмъ не менѣе онъ никогда не могъ сблизиться съ нею совершенно. Его сонеты обнаруживаютъ передъ нами коренную причину раздѣлившей ихъ пропасти, которую онъ теперь снова созналъ при чтеніи опубликованныхъ ея мужемъ послѣ ея смерти писемъ, и обнаруживаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и ту черту, которую онъ ощущалъ теперь сильнѣе прежняго, стоя передъ жизнью цѣлаго, вмѣщающею въ себя всѣ отдѣльныя существованія. Что непріятно дѣйствовало на него въ характерѣ Рахили, это то неподатливое своеобразіе, которое, несмотря на все стремленіе къ правдѣ, бессильно было съ полнымъ самоабвеніемъ подняться въ сферу конкретнаго и общаго. Все его благородное, самодовлѣющее душевное равновѣсіе протестовало противъ односторонняго субъективизма Рахили, не находящаго себя удовлетворенія ни въ себѣ, ни внѣ себя.

Zwei Punkte sind im menschlichen Gemüthe,
 Von welchen aus der Weg zum Tiefsten führet:
 Das Ich, in dem das Forschen sich verlieret,
 Das All, der Götterkraft freiwillige Blüthe.
 Du hast gelebet in des Ichs Gebiete,
 Hast jeder seiner Falten nachgespüret,
 Gefühlst alle Flammen, die es schüret;
 Kein Blick sieht mehr, wie er hinstarrend brüte.
 Allein das All in dem das Ich sich findet,
 Doch das darin es ist, als Ich nicht fühlet,—
 Nie wölbte sich hervor aus deinem Wesen.
 Vertraut mit Allem, was die Brust durchwühlet,
 Mit jedem ird'schen Tragen und Genesen,
 Bliest fremd Du dem, was überirdisch bindet 1).

1) Т. е.: „Два пункта существуютъ въ человѣческой душѣ—оба открываютъ путь къ глубочайшему: „я“, въ которомъ изслѣдованіе теряется, и „цѣлос“—свободный расцвѣтъ божественной силы. Ты жила въ сферѣ „я“, прослѣдила всѣ его изгибы, переживала весь пламень, разжигаемый имъ; далѣе не проникаетъ ни одинъ глазъ — при всемъ напря-

Признаціе такого рода не нуждается въ комментаріяхъ. Въ сліяніи «я» съ цѣлымъ завершается гармонія его внутренней жизни. Его эстетическій индивидуализмъ, перенесенный въ сферу чувства и размышленія, принимаетъ характеръ нѣкотораго рода благочестія. Мы отмѣтили этотъ переходъ отъ эстетическаго къ религіозному ощущенію еще въ эпоху его пребывания въ Римѣ, когда онъ находился на кульминаціонномъ пунктѣ художественно-поэтическаго удовлетворенія. Но досугъ старости и связанное съ послѣднею внутренняя сосредоточенность имѣла еще болѣе значеніе, чѣмъ Римъ, и поэтому теперь чувство гармоніи въ себѣ и гармонія своего «я» съ цѣлымъ еще сильнѣе и рѣшительнѣе принимаетъ форму истиннаго благочестія, которое Шлейермахеръ превозносилъ передъ поколѣніемъ, презиравшимъ религію, потому что оно на понимало ея. Дѣйствительно, благочестіе Гумбольдта стоитъ не той-же почвѣ, вытекаетъ изъ совершенно того-же источника, который далъ начало Шлейермакеровымъ «Рѣчамъ о религіи» (*Reden über die Religion*), съ тою только разницею, что въ сильной индивидуальности Гумбольдта онъ нашелъ еще болѣе плодородную почву, болѣе полное и широкое содержаніе. И эта связь эстетическаго и религіознаго благоговѣнія, это углубленіе въ Бога посредствомъ пониманія вселенной, какъ живого тѣла божества, крѣпче и потому прочнѣе и неотдѣлимѣе у него, чѣмъ у Шлейермахера въ болѣе ранній періодъ жизни послѣдняго. Ему не угрожаетъ опасность перехода отъ благочестія къ многовѣрію, отъ религіи къ фантастической и разсудочной мѣологіи догматика. Ему не нужно затягивать искусственными нитями діалектики ту прощаль, которую отдѣляетъ у Шлейермахера мысль и дѣйствіе отъ благочестиваго чувства. Тѣсно сливается въ немъ религіозная жизнь съ жизнью мысли; его благочестіе просто ничто иное, какъ послѣдній, свободно распустившійся цвѣтъ всего его полно и живо прочувственнаго существа.

Здѣсь не можетъ поэтому быть и рѣчи о превращеніи или обращеніи пенѣрующаго. Онъ былъ все-же не болѣе вѣрующъ, чѣмъ Спиноза, и былъ все тѣмъ-же язычникомъ, что и прежде. По-прежнему не терпѣтъ онъ мистицизма; онъ имѣетъ потребность, говорить онъ въ одномъ мѣстѣ, въ ясности мысли и сознанія, также какъ и въ томъ, чтобы ничто въ немъ не происходило помимо его опредѣленной разумной воли. Несмотря на свою наклонность представлять себѣ иногда возможность вмѣшательства сверхчувственнаго въ чувственное, онъ все же сохраняетъ при этомъ свой чудный скепти-

женіи. Но „цѣлое“, въ которомъ живетъ „я“, не сознавая однако какъ „я“, что оно въ немъ — оно никогда не выступало изъ твоего существа. Вблизи знакома со всѣмъ, что волнуетъ душу, со всякимъ земнымъ страданіемъ и исцѣленіемъ, ты осталась чуждою тому, что связываетъ на небесахъ“.

цизмъ; его вѣра въ духовъ и въ ихъ явленіе походитъ очень сильно на упрямое невѣріе въ нихъ. Еще въ одномъ изъ позднѣйшихъ своихъ писемъ высказывается онъ рѣзко и опредѣленно противъ «извѣстнаго фальшиваго пренебреженія къ земному» и противъ того ошибочнаго интереса къ загробному существованію, отвлекающаго людей отъ жизненнаго долга или по крайней мѣрѣ не дающаго чело-вѣческому сердцу насладиться въполнѣ земными благами, ниспосылае-мыми Провидѣніемъ. Его благочестіе есть благодарность и ясность духа, но не самомученіе или мученіе, причиняемое Богомъ. Его теорія о сущности и положеніи религіи почти не измѣнилась по срав-ненію съ той, которую онъ изложилъ въ своемъ юношескомъ опытѣ. «О границахъ государственной дѣятельности». Идейное ядро его ре-лигіозной вѣры попрежнему кантовское. Попрежнему видитъ онъ въ сущности религіи только углубленную до ощущенія нравственность. Религіозное и нравственное воспитаніе онъ прямо признаетъ то же-ственными. Долженъ-ли нравственный челоувѣкъ необходимо быть религіознымъ, — это вопросъ представляется ему празднымъ, ибо истинная нравственность предполагаетъ, по его мнѣнію, въ своихъ высшихъ основаніяхъ такое признаніе отношенія челоувѣка къ тому, что можетъ за предѣлами конечнаго, что сама она неизбѣжно стано-вится религіей. Точно также не видитъ онъ противоположности въ какомъ-бы то ни было смыслѣ и между религіей и искусствомъ; истинная, настоящая поэзія витаетъ абсолютно въ той-же сферѣ, что и религія; въ доказательство этого положенія онъ приводитъ цитаты изъ великихъ трагедій древняго и новаго времени; все онъ, говорятъ онъ, «построены на идеѣ зависимости конечнаго челоувѣка отъ безконечной силы и на необходимости приносить конечное въ жертву безконечному» ¹⁾.

Таковы благочестіе и религіозная теорія Гумбольдта. Эта форма благочестія не представляетъ собою ничего особеннаго и ничего новаго. Единственно, что въ ней ново, это то, что свойственныя ему всегда благоговѣніе и глубина чувства извлекаютъ для себя ма-териаль преимущественно изъ области надземнаго и витаетъ болѣе въ сферѣ предвидѣнія, нежели созерцанія. Онъ любитъ теперь больше, чѣмъ прежде, говорить языкомъ религіи. Онъ прямо сравниваетъ свое внутреннее состояніе съ состояніемъ «очень набожныхъ людей». Онъ намѣренно пользуется выраженіями въ родѣ тѣхъ, что центръ его стремленій лежитъ въ спасеніи своей души, или что онъ «стре-мится къ спокойствію, котораго не можетъ дать свѣтъ». Ему почти

¹⁾ Ср., кромѣ многочисленныхъ мѣстъ въ Br. an e. Freundin, сообщен-ный Александромъ Гумбольдтомъ въ предисловіи къ собранію сокетовъ отрывокъ: „Ueber das Verhältniss der Religion und der Poesie zu der mittli-chen Bildung“. (Объ отношеніи религіи и поэзіи къ нравственному воспи-танію) цит. м. стр. IX и сл.

одинаково привычны формы благочестиваго созерцанія какъ древняго, такъ и христіанскаго міра. Онъ то придаетъ христіанскому характеръ античнаго, не вызывая этимъ въ своемъ чувствѣ ни малѣйшимъ образомъ hiatus'a, то античному придаетъ христіанскій характеръ. Поворность велѣнію судьбы составляетъ тему очень многихъ изъ его сонетовъ, но также часто и охотно высказываетъ онъ въ терминахъ христіанскаго вѣрованія благочестивое упованіе, что надъ человѣческой судьбой «бдитъ вѣчное благо». Вѣришь всего, что сила глубочайшей, наиболѣе чистой и человѣчной религіи одерживаетъ побѣду и надъ этимъ наиболѣе сильнымъ и гордымъ умомъ. Съ любезною снисходительностью принимается онъ толковать своей пріятельницѣ, по ея просьбѣ, какое-нибудь мѣсто изъ Новаго Завѣта. Но это ужъ не снисходительность только, когда онъ неоднократно защищаетъ христіанское представленіе объ отношеніи человѣка къ Богу или отдааетъ предпочтеніе картинамъ и поученіямъ Новаго Завѣта передъ вѣми другими, потому что они наиболѣе соотвѣтствуютъ его собственному настроенію и взгляду.

Да и могло-ли быть иначе? Никакая другая религія не учитъ такъ какъ христіанство отреченію отъ «привязанности къ міру»; никакая другая не умѣетъ при полномъ самоотреченіи и приданіи себя рукѣ Божьей узаконить и цѣнить безконечное значеніе личности. Но въ этомъ-то именно его благочестіе и должно было найти высшее свое выраженіе. Онъ могъ быть набоженъ только въ томъ случаѣ, если ему разрѣшалось, послѣ всяческаго отреченія отъ своей конечной личности, придти снова къ ощущенію и идеѣ, обеспечивающимъ ему обладаніе его настоящею индивидуальностью. На почвѣ его благочестія развивается надежда на безсмертіе, вѣра въ продолженіе личнаго существованія, а къ этой вѣрѣ и къ этому упованію стремится вся его душа. Только здѣсь находятъ себѣ разрѣшеніе проблемы его историко-философскихъ размышленій; только за предѣлами этого міра находятъ себѣ опредѣленную цѣль его представленія о загробномъ существованіи. Въ этотъ загробный міръ влечетъ его любовь къ усопшей и стремленіе къ воссоединенію съ нею. Вѣра въ жизнь послѣ жизни есть для него постулатъ любви и мысли. Такъ высказывается онъ въ цѣломъ рядѣ сонетовъ, также какъ и неоднократно въ письмахъ къ Шарлоттѣ, и особенно въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Каролинѣ Вольцогенъ. «Я съ молодости чувствовалъ», говоритъ онъ, «большое довѣріе къ силѣ мысли, и эта вѣра еще возрастаетъ, когда сознаешь въ себѣ чувство, которое не могло-бы быть такъ сильно, такъ прочно, если-бы оно не заключало въ себѣ элементъ вѣчности. Истинно прочувствованная любовь не можетъ пройти; въ ней заключается сила, которая переноситъ ее за предѣлы смерти». Въ дальнѣйшихъ выраженіяхъ этого письма выступаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ особенно рѣзко и индивидуалистическій мотивъ

этого вѣрованія. Чувство индивидуальности въ немъ такъ сильно, что приводитъ его къ парадоксальной мысли, будто загробная жизнь можетъ быть привилегіей отдѣльныхъ личностей, заслуженною ими своею жизнью. «Существуетъ духовная индивидуальность», говоритъ онъ, «не для всѣхъ достижимая, которая въ качествѣ особеннаго душевнаго склада вѣчна и непреходяща. То, что не можетъ сложиться такимъ образомъ, возвращается, вѣроятно, къ общей жизни природы».

Изъ этого — и не изъ одного только этого видимъ мы, что такое былъ этотъ единственный членъ Гумбольдтовскаго символа вѣры. Самая его вѣра была только колеблющимся предчувствіемъ и упованіемъ, смиреннымъ желаніемъ и стремленіемъ. Отъ увѣренности переходитъ онъ постоянно къ скептическому взвѣшиванію, а отъ скептицизма снова къ убѣжденности. Только въ колебаніяхъ между вѣрой и невѣріемъ находитъ онъ удовлетвореніе. Благочестіе приводитъ его къ мысли, что будетъ еще благочестивѣе отказаться отъ самой дорогой изъ своихъ надеждъ. «Я долженъ чистосердечно сознаться», говорится въ благороднѣйшемъ и прекраснѣйшемъ его признаніи, «что, хорошо-ли это или дурно, но я неслишкомъ дорожу надеждою на загробную жизнь. Я вѣрю въ продолжительное существованіе, я считаю встрѣчу возможною, если одинаково сильное взаимное чувство дѣлаетъ изъ двухъ существъ какъ бы одно. Но это не составляетъ для моей души главнаго пункта; человѣческія представленія объ этомъ я не хотѣлъ-бы себѣ составлять, другія—невозможны. Я смотрю на смерть съ абсолютнымъ спокойствіемъ, но безъ стремленія и безъ восторга».

Къ человѣку, который съ такимъ полнѣйшимъ спокойствіемъ, стоя на почвѣ самаго безкорыстнаго благочестія, умѣлъ возвышаться надъ тѣмъ, что было для него самаго дорогаго, — къ такому человѣку земля не могла предъявлять никакихъ требованій. Жизнь подготавливала его, и смерть нашла его вполне готовымъ.

Вмѣстѣ съ недугами старости появились предвѣстники приближающейся смерти. Они явились внезапно и только послѣ смерти подруги его жизни. Переутомленные глаза, страдавшіе часто и прежде, стали плохи, и, чтобы ихъ побережъ, пришлось отнять у усидчивой работы не одинъ часъ и посвятить тихому раздумью, — онъ такъ любилъ его и умѣлъ его дѣлать такимъ плодотворнымъ. Но и рука начала отказываться, и, чѣмъ дольше, тѣмъ больше сказывалась общая беспомощность и неловкость членовъ. Этотъ организмъ производилъ всегда такое впечатлѣніе, какъ будто онъ представляетъ обиталище неутомимо и равножѣрно работающаго духа. Высокій, нѣсколько отлогій лобъ, большіе, выпуклые глаза, спокойствіе лица, нѣжная блѣдность, сутуловатая худощавая фигура — все обличало въ немъ господство могучаго неизсякаемаго интеллекта. Теперь его хре-

беть еще сильнѣе согнулся, походка стала болѣе медленною и невѣрною; замѣчалось постоянно возрастающее трясеніе членовъ и колебаніе головы; вѣжнѣйшій голосъ сталъ еще тоньше и тише, чѣмъ прежде. Но несмотря на то, общее состояніе его здоровья мало измѣнилось; онъ обладалъ сильнымъ, здоровымъ тѣлосложеніемъ, а правильный образъ жизни, пребываніе въ деревнѣ и ежедневныя прогулки дѣйствовали на него весьма благотворно. Пущены были въ ходъ и болѣе сильныя средства — и не безъ успѣха. Всѣ болѣзненныя проявленія указывали на страданіе спинного хребта, поэтому, по совѣту врача, Гумбольдтъ согласился прибѣгнуть къ морскимъ купаньямъ. Въ послѣдній разъ посѣтилъ онъ въ 1830 Гаштейнъ; въ послѣдующіе годы онъ ѣздилъ въ сопровожденіи дочери на Нордерней. Это единственныя путешествія, которыя онъ еще предпринимаетъ; съ неудовольствіемъ разстается онъ каждый разъ съ родиною. Годъ раздѣляется для него на двѣ части, и наиболѣе пріятное для него это тѣ десять мѣсяцевъ, которые онъ спокойно проводитъ въ своемъ помѣстьи. Лѣтомъ 1833 года прощается онъ навсегда съ моремъ и въ первый разъ проводитъ весь слѣдующій годъ въ Тиголь. Но хотя цѣлебная сила морскихъ купаній приносила каждый разъ извѣстную пользу, тѣмъ не менѣе въ цѣломъ его недугъ медленно непрерывно прогрессируетъ.

Послѣ того, какъ зимою 1834 на 1835 годъ его здоровье замѣтнымъ образомъ ухудшилось, онъ схватилъ простуду въ день рожденія усопшей жены при посѣщеніи ея могилы. Это ухудшило общее его состояніе, и все усиливающіеся обморочныя припадки приводятъ его въ концѣ марта на одръ смерти. Прошло десять дней самаго тяжелаго волненія, смѣняющихся надеждъ и опасеній для его близкихъ. Онъ умеръ такъ, какъ онъ желалъ: съ полною ясностью сознанія, съ бодрою вдумчивостью наблюдая за угасающею жизнью; отъ бреда и безпамятства онъ просыпался только для того, чтобы съ полнымъ сознаніемъ успокаивать окружающихъ словами благодарности, любви и утѣшенія. Коснѣющими устами повторялъ онъ изреченія древнихъ писателей, сопровождавшихъ его втеченіе жизни и въ послѣднюю минуту его глаза, прежде чѣмъ сомкнуться на вѣки, остановились на портретѣ той, свиданіе съ которой составляло самую дорогую изъ его упованій. Вечеромъ 8 апрѣля съ послѣдними лучами заходящаго солнца испустилъ онъ послѣдній вздохъ. Онъ умеръ на исходѣ 60 года своей жизни ¹⁾.

Существовало одно только мѣсто для его упокоенія. Въ саду Тегеля, возлѣ колонны, увѣнчанной статуей надежды, покоится рядою со своею женою Вильгельмъ Гумбольдтъ. Это самое прекрасное и

¹⁾ См. отчеты о ходѣ болѣзни и смерти врача и брата у Schlesier'a II, 552 и сл.

привлекательное мѣсто погребенія, какое только можно себя представить. Надъ этимъ мѣстомъ какъ бы витаетъ тотъ духъ, котормъ Гумбольдтъ проникнуть былъ на склонѣ своей жизни; еще умирая онъ проситъ своихъ близкихъ вспоминать о немъ не иначе, какъ въ радости. Тутъ передъ нами выступаетъ не столько глубокомысленный писатель, мудрый политикъ, проникающій въ глубины изслѣдователь, сколько благородный, богато одаренный, въ совершенствѣ развитой человекъ. Въ этомъ вѣрнѣе всего выражается его глубочайшая сущность, и дается возможность правильной и истинной оцѣнки его. Мы называемъ его не великимъ человекомъ — мы называемъ его человекомъ счастливымъ, мудрымъ и добрымъ. Самыя человѣчныя слабости онъ уравнивалъ самыми высокими человѣческими добродѣтелями. Его значеніе заключалось несравненно болѣе въ томъ, чѣмъ онъ былъ, нежели въ томъ, что онъ творилъ и дѣлалъ. Онъ не столько направлялъ свое время по новымъ путямъ, сколько воспринималъ въ себя все лучшее, что въ немъ заключалось, и претворялъ его въ индивидуальную форму.

Если такому человеку не ставятъ памятника, ¹⁾ то онъ въ немъ и не нуждается. Достаточно памятниковъ поставилъ онъ себѣ тѣмъ, чѣмъ былъ, что есть и чѣмъ будетъ,—ибо онъ несомнѣнно приобрѣлъ себѣ почетъ и уваженіе у тѣхъ, которые въ состояніи одушевиться благородствомъ его характера и привлекательностью его душевнаго склада. Но и наука, также какъ и политика не обойдутъ того, что нашло себѣ выраженіе въ его характерѣ и жизни. Когда блескъ всякаго рода системъ окончательно померкнетъ и болтовня софистовъ забудется, тогда поднимется въ цѣнѣ тотъ методъ изслѣдованія, который при помощи живого духа искалъ только простой и живой истины; когда политика безсмыслин закончитъ свой кругъ, и безуміе реакціи уляжется, тогда засіяетъ во всемъ блескѣ образъ человека, который училъ подчинять государственную жизнь закону разумной свободы—и непокорную дѣйствительность господству идей.

1) Ему поставленъ памятникъ въ Берлинѣ передъ университетомъ.

Издательство УРСС

специализируется на выпуске учебной и научной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской Академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.



Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!

Основываясь на широком и плодотворном сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом, мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.

Среди вышедших и готовящихся к изданию книг мы предлагаем Вам следующие:

Кондрашов Н. А. История лингвистических учений.

Томсен В. История языковедения до конца XIX века.

Журавлев В. К. Язык, языкознание, языковеды.

Дрезен Э. За всеобщим языком. Три века исканий.

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность.

Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения нестратических языков.

Философия языка. Под ред. *Сёрла Дж. Р.*

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем.

Сартр Ж. П. Бодлер.

Барт Р. S/Z. Бальзаковский текст (опыт прочтения).

Ушаков Д. Н. Краткое введение в науку о языке.

Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики.

Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика. Вводный курс.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов.

Кузнецов В. Г. Женевская лингвистическая школа: от Соссюра к функционализму.

Серия «Женевская лингвистическая школа»

Балли Ш. Жизнь и язык.

Сеше А. Очерк логической структуры предложения.

Сеше А. Программа и методы теоретической лингвистики.

Фрей А. Грамматика ошибок.

Серия «История лингвофилософской мысли»

Вайсгербер, Й. Л. Родной язык и формирование духа.

Радченко Э. А. Язык как мирозидание.

Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей.

Серия «Школа классической филологии»

Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка.

Нидерман М. Историческая фонетика латинского языка.

Эрну А. Историческая морфология латинского языка.

Шантрен П. Историческая морфология греческого языка.

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:

тел./факс (095) 135-42-16, 135-42-46

или электронной почтой URSS@URSS.ru

Полный каталог изданий представлен

в Интернет-магазине: <http://URSS.ru>

Издательство УРСС

Научная и учебная
литература

Издательство УРСС



Представляет Вам свои лучшие книги:

Серия «Академия фундаментальных исследований»

Шпет Г. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на темы Гумбольта).

Крачковский И. Ю. Над арабскими рукописями.

Шрадер О. Индоевропейцы.

Серия «Лингвистическое наследие XX века»

Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка.

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении.

Мартине А. Основы общей лингвистики.

Десницкая А. В. Сравнительное языкознание и история языков.

Порциг В. Членение индоевропейской языковой области.

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков.

Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании.

Шрадер О. Сравнительное языковедение и первобытная история.

Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания.

Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию.

Дельбрюк Б. Введение в изучение языка.

Балли Ш. Французская стилистика.

Балли Ш. Упражнения по французской стилистике.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка.

Вандриес Ж. Язык (лингвистическое введение в историю).

Серия «История языков народов Европы»

Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка.

Бруннер К. История английского языка.

Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка.

Бах А. История немецкого языка.

Мейе А. Основные особенности германской группы языков.

Доа А. История французского языка.

Бурсье Э. Основы романского языкознания.

Григорьев В. П. История испанского языка.

**Издательство
УРСС**

**(095) 135-42-46,
(095) 135-42-16,
URSS@URSS.ru**

Наши книги можно приобрести в магазинах:

«Библио-Глобус» (м. Лубянка, ул. Мясницкая, 6. Тел. (095) 925-2457)

«Московский дом книги» (м. Арбатская, ул. Новый Арбат, 8. Тел. (095) 203-8242)

«Москва» (м. Охотный ряд, ул. Тверская, 8. Тел. (095) 229-7355)

«Молодая гвардия» (м. Полянка, ул. Б. Полянка, 28. Тел. (095) 238-5083, 238-1144)

«Дом деловой книги» (м. Пролетарская, ул. Марксистская, 9. Тел. (095) 270-5421)

«Гнозис» (м. Университет, 1 гум. корпус МГУ, комн. 141. Тел. (095) 939-4713)

«У Кентавра» (РГТУ) (м. Новослободская, ул. Чайнова, 15. Тел. (095) 973-4301)

«СПб. дом книги» (Невский пр., 28. Тел. (812) 311-3954)